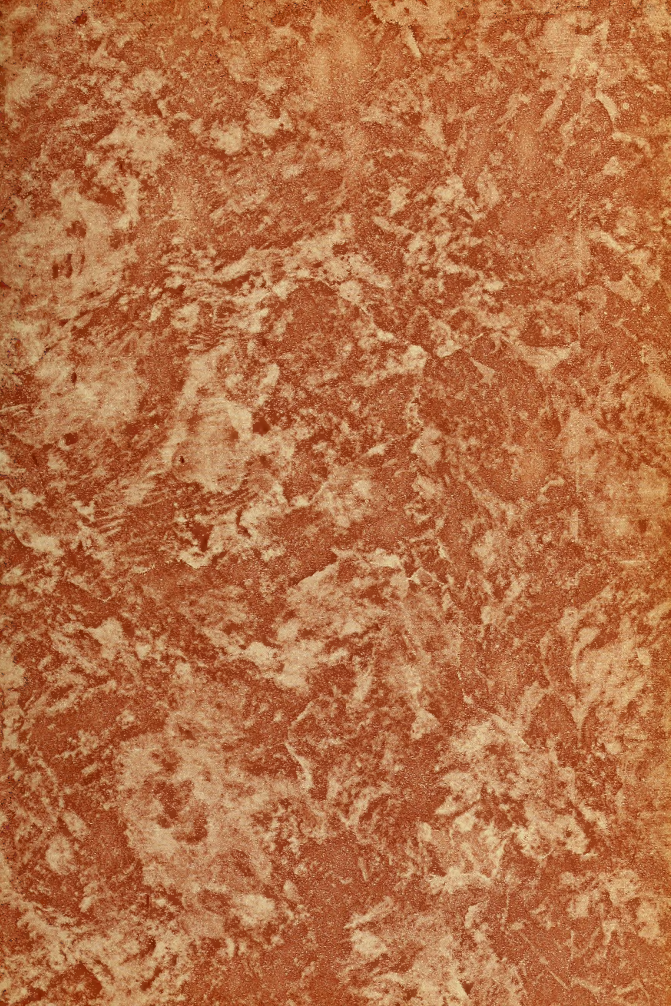


ВЕРСТЫ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ КН. Д. П. СВЯТОПОЛК-МИРСКОГО, П. П. СУВЧИНСКОГО, С. Я. ЭФРОНА И ПРИ БЛИЖАЙШЕМ УЧАСТИИ АЛЕКСЕЯ РЕМИЗОВА, МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ И ЛЬВА ШЕСТОВА

N. 1

ПАРИЖ

1 9 2 6

ВЕРСТЫ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ КН. Д. П. СВЯТОПОЛК-МИРСКОГО, П. П. СУВЧИНСКОГО, С. Я. ЭФРОНА И ПРИ БЛИЖАЙШЕМ УЧАСТИИ АЛЕКСЕЯ РЕМИЗОВА, МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ И ЛЬВА ШЕСТОВА

N. I

ПАРИЖ

1 9 2 6

ВЕРСТЫ не ставят себе задачей об'единение всего, что есть лучшего и самого живого в современной русской литературе. Такая задача была бы не под силу журналу, издающемуся заграницей. Задача наша — указывать на это лучшее, направлять на него читательское внимание, и подобное задание легче осуществимо со стороны, чем в России. Здесь мы в условиях более благоприятных и не только потому, что мы с в о б о д н е й, но и потому, что издали мы лучше видим целое, и деревья не заслоняют от нас леса. Понять это целое не с точки зрения практической борьбы, а с точки зрения национально-исторической предначертанности — такова главная наша задача.

В настоящее время — р у с с к о е больше самой России; оно есть особое и наиболее острое выражение с о в р е м е н н о с т и. Намереваясь подходить ко всему современному, ВЕРСТЫ будут отзываться не только на явления русской культуры, но и на иностранную литературу и жизнь.

Что же касается попытки найти естественное сочетание наиболее живых и нужных тяготений русской современности, то, об'единяя в одном издании русскую поэзию, беллетристику, литературную критику, библиографию и литературные материалы со статьями, посвященными вопросам философии, искусства, языкознания, русского краеведения и востоковедения, мы — как нам кажется — устанавливаем один из возможных обобщающих подходов к нынешней России и к р у с с к о м у.

ЧЕТЫРЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Посмертные

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

***

Какая ночь! Я не могу.
Не спится мне. Такая лунность.
Еще как будто берегу
В душе утраченную юность.

Подруга охладевших лет,
Не называй игру любовью,
Пусть лучше этот лунный свет,
Ко мне струится к изголовью.

Пусть искаженные черты
Он обрисовывает смело,
Ведь разлюбить не сможешь ты,
Как полюбить ты не сумела.

Любить лишь можно только раз,
Вот оттого ты мне чужая,
Что липы тщетно манят нас,
В сугробы ноги погружая.

Ведь знаю я, и знаешь ты,
Что в этот отсвет лунный, синий,
На этих липах не цветы,
На этих липах снег да иней.

Что отлюбили мы давно,
Ты не меня, а я другую,
И нам обоим все-равно
Играть в любовь не дорогую.

Но все ж ласкай и обнимай,
В лукавой страсти поцелуя,
Пусть сердцу вечно снится май
И та, что навсегда люблю я.

* * *

Не гляди на меня с упреком,
Я презренья к тебе не таю,
Но люблю я твой взор с поволокой,
И лукавую кротость твою.

Да, ты кажешься мне распростертой,
И , пожалуй, увидеть я рад,
Как лиса, притворившись мертвой,
Ловит воронов и воронят.

Ну, и что же лови, я не струшу,
Только как бы твой пыл не погас?
На мою охладевшую душу
Натыкались такие не раз.

Не тебя я люблю, дорогая,
Ты лишь отзвук, лишь только тень,
Мне в лице твоем снится другая,
У которой глаза голубень.

Пусть она и не выглядит кроткой,
И, пожалуй, на вид холодна.
Но она величавой походкой
Всколыхнула мне душу до дна.

Вот такую едва ль отуманишь
И не хочешь пойти, да пойдешь,
Ну, а ты даже в сердце не вранишь
Напоенную ласкою ложь.

Но и все же, тебя презирая,
Я смущенно откроюсь на век,
Если б не было ада и рая,
Их бы выдумал сам человек.

* * *

Ты меня не любишь, не жалеешь,
Разве я немного не красив?
Не смотря в лицо, от страсти млеешь,
Мне на плечи руки опустив.

Молодая, с чувственным оскалом,
Я с тобой не нежен и не груб,
Расскажи мне, скольких ты ласкала?
Сколько рук ты помнишь? Сколько губ?

Знаю я, они прошли, как тени,
Не коснувшись твоего огня,
Многим ты садилась на колени,
А теперь сидишь вот у меня.

Пусть твои полузакрыты очи,
И ты думаешь о ком-нибудь другом,
Я ведь сам люблю тебя не очень,
Утопая в дальнем, дорогом.

Этот пыл не называй судьбою,
Легкодумна вспыльчивая связь,
Как случайно встретился с тобою,
Улыбнусь, спокойно разойдясь.

И, когда с другим по переулку
Ты пройдешь, болтая про любовь,
Может быть я выйду на прогулку,
И с тобою встретимся мы вновь

Отвернув к другому ближе плечи,
И немного наклонившись вниз,
Ты мне скажешь тихо «добрый вечер!»
Я отвечу «добрый вечер, miss».

И ничто души не потревожит,
И ничто ее не бросит в дрожь,
Кто любил, уж тот любить не может,
Кто сгорел, того не подожжешь.

***

Может поздно, может слишком рано,
И о чем не думал много лет,
Походить я стал на Дон-Жуана,
Как заправский ветреный поэт.

Что случилось? Что со мною сталось?
Каждый день я у других колен;
Каждый день к себе теряю жалость,
Не смиряясь с горечью измен.

Я всегда хотел, чтоб сердце меньше
Билось в чувствах нежных и простых,
Что ж ищу в очах я этих женщин
Легкодумных, лживых и пустых?

Удержи меня, мое презренье,
Я всегда отмечен был тобой,
На душе холодное кипенье
И сирени шелест голубой.

На душе лимонный свет заката,
И все то же слышно сквозь туман:
— За свободу в чувствах есть расплата,
Принимай же вызов, Дон-Жуан.

И, спокойно вызов принимая,
Вижу я, что мне одно и то ж —
Чтить мятель за синий цветень мая,
Звать любовью чувственную дрожь.

Так случилось, так со мною сталось,
И с того у многих я колен,
Чтобы вечно счастье улыбалось,
Не смиряясь с горечью измен.

«Новый Миръ»
1926
Москва
кн. 2.

ПОЭМА ГОРЫ

«Dich wundert die Rede? Liebster! alle Scheidenden reden wie Trunkene und nehmen gerne sich festlich.»

Hölderlin.

ПОСВЯЩЕНИЕ

Вздрогнешь — и горы с плеч!
И душа — горѐ.
Дай мне о гóре спеть:
О моей горе!

Красной ни днесь ни впредь
Не заткну дыры.
Дай мне о гóре спеть
На верху горы.

I

Та гора была как грудь
Рекрута, снарядом сваленного.
Та гора хотела губ
Девственных, обряда свадебного

Требовала та гора.
— Океан в ушную раковину
Вдруг ворвавшимся ура! —
Та гора гнала и ратовала.

Та гора была как гром!
Зря с титанами заигрываем!
(Той горы последний дом
Помнишь — на исходе пригорода?)

Та гора была — миры!
Бог за мир взымает дорого!
. . . .
Горе началось с горы
Та гора была над городом.

II

Не Парнас, не Синай,
Просто голый казарменный
Холм. — Равняйся! Стреляй! —
Отчего же глазам моим
(Раз октябрь, а не май)
Та гора была — рай?

III

Как на ладони поданный
Рай — не берись, коль жгуч!
Гора бросалась под ноги
Колдобинами круч.

Как бы титана лапами
Кустарников и хвой
Гора хватала за полы,
Приказывала: стой!

О, далеко не азбучный
Рай — сквознякам сквозняк!
Гора валила навзничь нас,
Притягивала: ляг!

Оторопев под натиском,
— Как? Не понять и днесь! —
Гора, как сводня — святости,
Указывала: здесь...

IV

Персефоны зерно гранатовое,
Как забыть тебя в стужах зим?
Помню губы двойною раковиной
Приоткрывшиеся моим.

Персефона, зерном загубленная!
Губ упорствующий багрец,
И ресницы твои — зазубринами,
И звезды золотой зубец.

V

Не обман — страсть, и не вымысел!
И не лжет — только не дли!
О когда бы в сей мир явились мы
Простолюдинами любви!

О когда б, здраво и по просту:
Просто — холм, просто — бугор...
Говорят, тягою к пропасти
Измеряют уровень гор.

В ворохах вереска бурого,
В островах страждущих хвой...
(Высота бреда — над уровнем
Жизни)
　　　　　　— На же меня! Твой...

Но семьи тихие милости,
Но птенцов лепет — увы!
Оттого что в сей мир явились мы —
Небожителями любви!

VI

Гора горевала (а горы глиной
Горькой горюют в часы разлук),
Гора горевала о голубиной
Нежности наших безвестных утр.

Гора горевала о нашей дружбе:
Губ непреложнейшее родство!
Гора говорила, что коемужды
Сбудется — по с л е з а м его.

Еще горевала гора, что табор —
Жизнь, что весь век по сердцам базарь!
Еще горевала гора: хотя бы
С дитятком — отпустил Агарь!

Еще говорила, что это демон
Крутит, что замысла нет в игре.
Гора говорила. Мы были немы.
Предоставляли судить горе.

VII

Гора горевала, что только грустью
Станет — что ныне и кровь и зной.
Гора говорила, что не отпустит
Нас, не допустит тебя с другой!

Гора горевала, что только дымом
Станет, что̂ ныне и Мир, и Рим.
Гора говорила, что быть с другими
Нам (не завидую тем другим!)

Гора горевала о страшном грузе
Клятвы, которую поздно клясть.
Гора говорила, что стар тот узел
Гордиев: долг и страсть.

Гора горевала о нашем горе:
Завтра! Не сразу! Когда над лбом
Уж не memento, а просто — м о р е !
Завтра, когда поймем.

Звук, но как будто бы кто то просто
Ну... плачет вблизи?
Гора горевала о том, что врозь нам
Вниз, по такой грязи —

В жизнь, про которую знаем всѐ мы:
Сброд — рынок — барак.
Еще говорила, что все поэмы
Гор — пишутся — т а к.

VIII

Та гора была как горб
Атласа, титана стонущего.
Той горою будет горд
Город, где с утра и до ночи мы

Жизнь свою — как карту бьем!
Страстные, н е б ы т ь упорствуем.
Наравне с медвежьим рвом
И двенадцатью апостолами

Чтите мой угрюмый грот.
(Грот — была, и волны впрыгивали!)
Той игры последний ход
Помнишь — на исходе пригорода?

Та гора была — миры!
Боги мстят своим подобиям!
. . . .
Горе началось с горы.
Та гора на мне — надгробием.

IX

Минут годы. И вот означенный
Камень, плоским смененный, снят.
Нашу гору застроят дачами,
Палисадниками стеснят.

Говорят, на таких окраинах
Воздух чище и легче жить.
И пойдут лоскуты выкраивать,
Перекладинами рябить,

Перевалы мои выструнивать,
Все овраги мои — вверх дном!
Ибо надо ведь хоть кому-нибудь
Дома в счастье, и счастья — в дом!

Счастья — в доме! Любви без вымыслов!
Без вытя-гивания жил!
Надо женщиной быть — и вынести!
(Было-было, когда ходил

Счастье — в доме!). Любви, не скрашенной
Ни разлукою, ни ножом.
На развалинах счастья нашего
Город встанет: мужей и жен.

И на том же блаженном воздухе
— Пока можешь еще — греши! —
Будут лавочники на отдыхе
Пережевывать барыши,

Этажи и ходы надумывать,
Чтобы каждая нитка — в дом!
Ибо надо вѐдь хоть кому-нибудь
Крыши с аистовым гнездом!

X

Но под тяжестью тех фундаментов
Не забудет гора — игры.
Есть безпутные, нет — безпамятных:
Горы времени — у горы!

По упорствующим расселинам
Дачник, поздно хватясь, поймет:
Не пригорок, поросший семьями, —
Кратер, пущенный в оборот!

Виноградниками Везувия
Не сковать! Великана — льном
Не связать! Одного безумія
Уст — достаточно чтобы львом

Виноградники за-ворочались,
Лаву ненависти струя.
Будут девками ваши дочери
И поэтами — сыновья!

Дочь, ребенка расти внебрачнаго!
Сын, цыганкам себя страви!
Да не будет вам места злачного
Телеса, на моей крови!

Тверже камня краеугольного,
Клятвой смертника на одре:
Да не будет вам счастья дольнего,
Муравьи, на моей горе!

В час неведомый, в срок негаданный
Опознаете всей семьей
Непомерную и громадную
Гору заповеди седьмой.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Есть пробелы в памяти — бельма
На глазах: семь покрывал.
Я не помню тебя отдельно.
Вместо черт — белый провал.

Без примет. Белым пробелом —
Весь. (Душа, в ранах сплошных,
Рана — сплошь). Частности мелом
Отмечать — дело портных.

Небосвод — цельным основан.
Океан — скопище брызг?!
Без примет. Верно особый —
Весь. Любовь — связь, а не сыск.

Вороной, русой ли масти —
Пусть сосед скажет: он зряч.
Разве страсть — делит на части?
Часовщик я, или врач?

Ты как круг, полный и цельный:
Цельный вихрь, полный столбняк.
Я не вижу тебя отдельно
От любви. Равенства знак.

(В ворохах сонного пуха:
Водопад, пены холмы —
Новизной, странной для слуха,
Вмѣсто: я — тронное: мы...)

Но зато, в нищей и тесной
Жизни: «жизнь как она есть» —
Я не вижу тебя совместно
Ни с одной:
— памяти месть!

Марина Цветаева

Прага, январь 1924 г.

«ПОТЕМКИН»

Из книги «1905 год»

Приедается все. Лишь тебе не дано примелькаться.
Дни проходят и годы проходят и тысячи, тысячи лет.
В белой рьяности волн, прячась в белую пряность акаций,
Может ты-то их, море, и сводишь и сводишь на-нет.
Ты на куче сетей. Ты курлычешь, как ключ, балагуря.
И, как прядь за ушком, чуть щекочет лазурь за кормой.
Ты в гостях у детей. Но какою неслыханной бурей
Озираешься ты, когда даль тебя кличет домой!

Допотопный простор свирепеет от пены и сипнет,
Расторопный прибой сатанеет от прорвы работ,
Все расходится врозь и по-своему воет и гибнет,
И, свинея от тины, по сваям по-своему бьет.
Пресноту парусов оттесняет назад одинакость
Помешавшихся красок, и близится ливня стена,
И все ниже спускается небо и падает накось,
И летит кувырком и касается чайками дна.
Гальванической мглой взбаламученных туч неуклюже,
Вперевалку, ползком, пробираются в гавань суда,
Синеногие молньи лягушками прыгают в лужу.
Голенастые снасти швыряет туда и сюда.

Все сбиралось всхрапнуть, и карабкались крабы, и к центру
Тяжелевшего солнца клонились головки репья,
И мурлыкало море, в версте с половиной от Тендра,
Серый кряж броненосца оранжевым крапом рябя.
Солнце село. И вдруг электричеством вспыхнул
«Потемкин».

Из камбуза на спардек нахлынуло полчище мух.
Мясо было с душком... И на море упали потемки.
Свет брюжжал до зари, и забрезжившим утром потух.

С мятежа в экипажах повеяло волей над флотом,
Смутно мысль зародилась, смутнее молва разнеслась:
Плоть от плоти рабочих, матросы им будут оплотом.
Знак к восстанью эскадре в ученьи даст «Ростислав».

Глыбы утренней зыби скользнули, как ртутные бритвы,
По подножью громады, и, глядя на них с высоты,
Стал дышать броненосец, и ожил. Пропели молитву.
Стали скатывать палубу. Вынесли в море щиты.

А на деке роптали. Приблизившись к тухнувшей стерве,
И увидя, как кучится слизь, извиваясь от корч,
Доктор бряк наобум: — Порчи нет никакой, это черви.
Смыть, и только, — и — кокам: — Да перцу поболее в борщ.
За обедом к котлу не садились, и кушали молча
Хлеб да воду, как вдруг раздалось: — Все на ют! По местам!
На две вахты! — И в кителе некто, чернея от желчи,
Гаркнул: — Смирно! — С буксирного кнехта грозя семистам.

— Недовольство?! Кто кушать, — в камбуз. Кто не хочет, — на рею.
Выходи! — Вахты замерли, ахнув. И вдруг, сообща,
Все пустились в смятеньи от кнехта бегом к батарее.
— Стой! Довольно! — Вскричал озверевший апостол борща.

Часть бегущих отстала. Он стал поперек. — Снова шашни?! —
Он скомандовал: — Боцман, брезент! Караул, оцепить! —
Остальные, забившись толпой в батарейную башню,
Ждали в ужасе казни, имевшей вот-вот наступить.
Шибко бились сердца. И одно, не стерпевшее боли,
Взвыло: — Братцы! Да что ж это! — И, волоса шевеля,
— Бей их, братцы, мерзавцев! За ружья! Да здравствует воля! —
Лязгом ружей и ног откатилось к ластам корабля.

И восстанье взвилось, шелестя, до высот кабестанов,
И раздулось, и там кистенем описало дугу.

— Что нам взапуски бегать! Да стой же, мерзавец!
Достану! —
Трах-тах-тах... Вынос кисти по цели и залп на бегу.

Трах-тах-тах... И запрыгали пули по палубам, с палуб,
Трах-тах-тах... По воде, по пловцам. — Он еще на борту?! —
Залпы в воду и в воздух. — Ага! Ты звереешь от жалоб?! —
Залпы, залпы, и за ноги за борт и марш в Порт-Артур.

А в машинном возились, не зная еще хорошенько,
Как на шканцах дела, когда, тенью проплыв по котлам,
По машинной решетке гигантом прошел Матюшенко,
И, нагнувшись над адом, вскричал: — Степа! Наша
взяла! —
Машинист поднялся. Обнялись. — Попытаем без нянек.
Будь покоен! — Под стражей. А прочим по пуле и вплавь.
Я зачем к тебе, Степа, — каков у нас младший механик? —
Есть один. — Ну и ладно. Ты мне его наверх отправь. —
День прошел. На заре, облачась в дымовую завесу,
Крикнул в рупор матросам матрос: — Выбирай якоря! —
Голос в облаке смолк. Броненосец пошел на Одессу
По суровому кряжу, оранжевым краном горя.

Новый Мир Кн. II. Москва. 1926 г. **Б. Пастернак**

ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА.

«Борщъ кушать было невозможно, вслѣдствіе чего команда осталась безъ приварочнаго обѣда и кушала только хлѣбъ съ водою». Изъ дѣла № 3769 — 1905 г. Д-та Полиціи 7-го дѣлопроизводства о бунтѣ матросовъ на броненосцѣ «Князь Потемкинъ Таврическій». Показаніе матроса Кузьмы Перелыгина.

«Ребята, почему не кушаете борща?» — «Кушай самъ, а мы будемъ кушать воду съ хлѣбомъ».

Изъ «Правды о Потемкинѣ», написанной минно-машиннымъ квартирмейстеромъ первой статьи броненосца «Князя Потемкина Таврическаго» Аѳанасіемъ Матюшенко.

Шканцы — средняя часть корабля. Считается самой почетной и даже священной его частью.

Кнехт — железный столбик для зацепки каната.

Скатить палубу значит вымыть ее, закрыв люками входы во все находящиеся помещения.

Батарейная палуба с башнею — бронированная надстройка на средине броненосца со входами в машинные и минные части и в арсенал.

Щит — железное приспособленье, служащее прицелом для оружейной стрельбы на маневрах.

Камбуз — судовая кухня.

Спардек — площадка, которая образуется потолком надстройки, имеющейся в средней части корабля.

Ют — часть кормы до бизань-мачты.

Б. Пастернак Фот. Шумова.

Марина Цветаева Фот. Шумова.

КАЗНЬ СТЕЦЮРЫ

(Новелла)

А было Стецюре 20 годов,
Он работал борца. У Труцци.
Звался Бовой, весил 6 пудов
И не знал ни журбы, ни грусти.-

Но тут революция — наперерез
Цирк подумал да рухнул.
Арбитр с кассой махнул в Бухарест,
Директора взяли «на муху».

Что ж его делать? Пропасть же одну
Некуда парню деться,
День голоднул, другой голоднул
И заделался красногвардейцем.

Канонады снарядов взрывали обрыв.
Контузия резала кожу
Глотая пули с коня комбриг
Щерился вырванной рожей.

Когда ж из под Киева и на Чонгар
Он с пехтурою драпал —
В оскале ботинка гнила нога
И зевала рана по храпу.

Очнулся, сказал по привычке «ура»,
Но вокруг лишь степь да небо.
Волчьими сотнями выл буран
И трупами мерз Днепр.

Тут сховал он берданку, в город ушел
Долю шукать у знакомых.
И стал, опушив себе ноги душой,
Курьером у Губисполкоме.

Нигде не видано эдаких ног —
Мозоль да и этот рвенится
Шутка ли: мать, сестрята, сынок —
Шесть едоков иждивенцев.

Но раз призывает Стецюру власть
В кожаной куртке, статный:
— «Товарищ. К сожалению я увольняю вас
В силу сокращения штатов.

В будущем, конечно — вот вам рука
Когда станет всего у нас вдоволь —
Вы будете сыты, обуты — а пока
Увольняются даже вдовы».

Так сказал ему кожаный зав,
Достав из портфеля завтрак.
Понесло Стецюру тогда на низа
Страшным словом «завтра».

Обивал порог — только всюду удар
Никак не может он спеться
Под самым носом на Бирже Труда
Хватали места спецы.

Тогда по Херсонщине гайда Бова
Перекрестився, заплакал. —
Сотню шашек завербовал
И всех посадил на конь.

Соловийская свищь: «Эгей не робей».
И под пляской в бок перед бандой
Яровой ржой запевал жеребец
И чекиста за ноги валандал.

За ним пулеметною саранчей
На тачанках шпана орала
Сзади в кряках, дыша горячо
Село набекрень пылало.

И где не пройдут — комиссаров на «кик»,
А на шею тугое монисто
С плакатом: «Да здравствуют большевики
Долой нехай коммунистов».

Ой-же-ж время. Гудел гай,
Плавая трупной грязью
Стецюра летел и жег буга
И полгода с коня не слазил.

Но раз из Москвы в перепрыге пуль
В международном экспрессе
Прибыл в Отдел комиссар ГПУ
И потребовал — репрессий.

Уисполком возразил: «Хорошо —
На вас вон бриджи да свитер
А тут поневоле попрешь на рожон
Ежели в брюхе вітер».

Предисполком по болезни был снят
И уволен в бессрочный отпуск;
С озер Бычиха и Вересня
Двинулся конный корпус;

В лесу и болоте пять батарей
Телефонная звень по плану,
В срочном порядке встал на горе
Ангар для аэроплана;

И командиры, считая рвы,
Зубрили статьи диспозиций...
Стрибожий вiтер дул ковыль
В стэпу кували зегзицы.

На заре, в купэ, через чащу и снега
Комиссар операцией гордый,
Протирая окисший от газов ноган,
Мчал получать орден.

А ночью в лесу, а уж как пала тень
В листве, лисьей, каурой
Казнен по семьсят шестой статье
Душегубец лютый Стецюра.

Сборник литературного центра конструктивистов.

Москва-Ленинград.

КАЗАЧЬЯ ПОХОДНАЯ

Éхали казàки, да ехали казàки,
Да ехали, казаhа?ки чубы пà губàм
Ехали казаки ды на башке? па?пахи
Ды нàб'шке папахи чéрез Дон да Кубàнь.

Скулы непобриеты, между-зубàми угли,
П'коленям лея? наварàчивает — Но. Эх.
Кóнские гриевы ды от крови? па?жухли
Ды плыло сало от обстре?ла в язвы и гной.

Дóбре, лошадиеха, что вышла?ат набèгà,
Опалило поры?хом, смердючье полымё.
Тóльк штó там зàвтря-ды наш жизь?ка?пейка,
Ды не дорубит шàшыкà-дохалóпнет пулемёт.

Кóни, вы коняэги, винтóвки мèж ушàми;
Сивою, кукушко?й перекликались подковы.
По степу барханы, ды на бархан ем?шаны
Ды на емшан «татарыки» да сивàй ковыль.

Гайда-гайда-гайда-гайда гàй дàлàрайда
Гайдаяра-гайдàдида гàй дà ларà. *(Свист)*
По степу барханы, ды на бархан ем?шаны
Ды на емшан «татарыки» да сивàй ко?выль.

Лит. Центр. Констр.
Госплан Литературы
Москва, изд-во «Кругъ».

ЦЫГАНСКАЯ

Тройкой, гей, безалаберных коней
Вниз пущу на степя с обрыва я —
Уж ты попомнишь-повыпомянешь, гей,
Ты. Красавка. Рыжая. Гривая.

Погляжу холодныхигорячиль
Пàды ножом ваши ласки женские.
Вы грызитесь, подкидывая пыль,
Вы. Жеребцы. Мои. Оболенские.

Ай-дай да, яядà-даяя
Эх, нож колыдованный, кони крадены
Зацелуешь ты, шалая моя,
Черыные губы кóнóкрàдина.

Прыгает к версте полосатая верста
Дррр! как тын гарагачут под палочкой!
Уж ты моя ль расписная красота
Горыбаносая, черная, галочья.

Крупом пляшет коренник,
Цок серебром в передок железаный
Нà дóхè индивеет воротник
Вихрем все лицо изрезано.

Эгей, сокола, золотые удилàа,
Мчитесь вы на степя приволяны
Может где оброню еще до зла
Жгучую боль о ней.

Мена всех
Поэты конструктивисты
Москва 1924

ЦЫГАНСКИЙ ВАЛЬС НА ГИТАРЕ

Нночь-чи? Сон'ы. Прох? ладыда.
Здесь в аллейеях загалохше?го са̀д'ы
И доносится толико стон'ы? гит-та̀оры.
Тарантина-таратинна ten

«Милылый мойи — не сердься —
Не тебе мое горико?е серды?це
В нем Яга наварилыла с перы?цем ядыды
Черыну?ю пену любави».

«Милылая-я сыча̀сталив
Задыхаясь задушен?ной страстью
Все твои повторю за тобою?я муу?уки
Толи?ко бы с сердыцем бы в лад».

Аха нночь-чи,? сон'ы прох?ладыда
Здесь в аллейеях загалохше?го сад'ы —
И доносится толико стон? (эс) гиттарара̀ры
Таратин?на. Та̀ратинна ten.

Илья Сельвинский

Мена всех
Поэты конструктивисты
Москва 1924

ЧАСТУШКИ

записаны в Рязанской губ. (1923)

1. Ах, подружка моя Вера,
Ты скажи мине секрет:
Когда с милым расста-
валась,
Сердце билось али нет?

2. У меня коса большая,
Ленточка белеется;
Почему же не любить
Красного армейца?

3. Из горы в гору ходила, —
От горы ноги болят;
Черноусого любила, —
Да и то люди корят.

4. Ах, подружка моя Маня,
Чаю не заваривай:
У табе милого нет, —
Маво не заманивай!

5. На столе стоит бутылка,
А в бутылке — два пера;
Ты скажи, подружка Катя,
С кем гуляла авчера?

6. Я куплю себе ботинки
На резиновом ходу:
Чтобы спали, не слыхали,
Как я с уль'цы прихожу.

7. Из колодца вода л'ется,
Вода зеленеется;
Со мной милый расстается,
Ней'кого надеяться.

8. Из колодца вода льется,
Вода — чистый леденец;
Я тогда табе поверю,
Когда станешь под венец.

9. Ах, папаша, ты, папаша,
Ты — не родный мне отец:
Купил беленькое платье
И поставил под венец!

10. Я родную свою мать
Завсегда буду ругать:
За кого хотела замуж, —
И то не могла отдать!

11. Не брани меня, мамаша,
Что сметану пролила:
Я сама тому не рада,
Что симпатью завела!

12. Я тогда боялася,
Когда коса моталася;
А теперь моя коса
В пучок измоталася.

13. У меня коса по пояс,
Ленточка малинова;
Пойду лягу я под поезд
За измену милого.

14. Пойду лягу под машину
Под первое колесо;
Ты дави меня машина:
Все равно — нехорошо!

15. Я по линии ходила,
В травушке запуталась;
Я, девчонка молодая,
Славушки достукалась.

16. Я под липочкой сидела,
Липочкой душилася,
Любовь нову заводила,
Старую решилася.

17. Я сидела на возу,
На зеленом сене;
Какой милый негодяй:
Гуляет со всеми!

18. Уж Параша, ты, Параша,
Кудрявые волоса!
Тебя Ваня за то любит,
Что прическа хороша.

19. Что это за лужица, —
Голубки купаются!
Что это за Лизочка, —
Все в нее влюбляются!

20. Рукава, рукава,
Рукава на вате!
Старых девок не берут,
А мы виновати!

21. Стой машина, стой вагон,
Пошлю милому поклон!
Чем поклоны посылать,
Сама с'езжу побывать!

22. Не хотела я плясать,
Хотела печалиться;
Телеграмм вчера пришло,
Что война кончается.

23. С крыши яблочко упало,
А я думала — с крыльца;
Не пойду за Ваньку замуж,
За такого подлеца!

24. Всему лесу провалиться,
А березкам постоять;
Всем ребятам пожениться,
Моей милке пострадать!

25. Шла по дорожке лесовой,
Нашла платочек носовой:
Краемочки красеньки,
Не маво ли Васеньки?

26. Съ ветки яблочко упало
На сарайчик сеновой:
Вся любовь моя пропала
За платочек носовой.

27. Я свои перчаточки
Отдала Васяточки,
А сама надеюся:
Пойду плясать, — согреюся.

28. Я надену бело платье,
Отойду подальше;
Говорила я милому
Про измену раньше.

29. Говорила я отцу:
Не работница росту;
Я тому работница,
С кем гулять охотница!

30. С крыши капала вода,
Спросил милый про года:
«Сколько, милка, тебе лет?
«Перь'венчають али нет?»

31. У меня в кармане роза,
Роза непомятая;
Я — девчонка молодая,
Никем незанятая.

32. У меня в кармане роза,
Роза осыпучая;
Офицеры меня любят, —
Моя неминучая!

33. Ах и кудри мои!
Всю головку увили!
Чернобровые ребята,
До чего вы довели!

34. Шут возьми нашу деревню!
Шут возьми наших ребят!
Они с нами не гуляют,
И с другими не велят.

35. Как у Вали под окном
Стоит кустик, вянет;
Как Ванюша не пройдет, —
Все на Валю глянет.

36. Что же, милый не пришел?
Я тебе велела;
У меня для тебя
Лампочка горела.

37. Уж и девки к нам!
И молодки к нам!
А старые ведьмы,
Пошли вы к обедни!

38. Я стояла в череду,
Получать картошку;
Рядом баба родила
Мальчика Антошку.

Из книги «НИКОЛАЙ-ЧУДОТВОРЕЦ»*)

Bankers Trust Company.

В век (270-341), когда жил на земле Николай-чудотворец, в его молодые годы — еще не скажут про него ни «чудотворец», ни «архиепископ мирликийский», а у всех на виду «младший» священник Патарской церкви, а главное единственный сын потарских богачей — помрут, все наследство ему! — (священники и епископы могли быть только из богатых семей), Патары гремели на весь мир: мировая торговля, банки и самая разнообразная «надстройка» искусств, магии и развлечений (Александрия под боком!) — город «централизованных воль» и бесчисленных рабов этих воль, богатства и нищеты, мечты и отчаяния, а никакого болота и эти пески —? — песком дорожки посыпали в pension de familles да дети, как во всем свете во все времена, в песке играли.

По смерти родителей этот младший священник (имя Николая скоро станет самым громким в Патарах!) широко раздавал наследство. И чем больше, тем большую чувствовал он радость — давать людям средства жить, выручать из беды, поддерживать жизнь —

> а радость — послушайте меня! — когда от нее радость и у других, как и тайная личная скорбь, глубят душу. А голубиная душа открывает «внутренее зрение»: что обыкновенно проходит незаметно за сутолокой и шумом рядовой жизни — сколько н земле народа! сколько жи-
> рядовой жизни — сколько на земле народа! сколько жи-
> — но такой так не пройдет — —

Был в Патарах один человек, не простой — Урс. И было у этого Урса три дочери. Очень их любил отец и никогда с ними не рас-

---

*) В изд. YMCA PRESSE появится книга Алексея Ремизова «Николай-чудотворец». С любезного согласия издательства печатаются некоторые главы из этой книги.

тавался и все, что делал, делал для них — самому ему ничего уж не надо было, ему, хоть в книжный ящик залезай, вот тебе и дома, нет, хотелось их жизнь украсить — дать радость жизни. Ведь жить на земле — это великое счастье!

Большой город — жизнь жадная, цепкая: подавай без никаких или пропал! Выйдите вы днем, станьте где-нибудь у Opéra или Madeleine, посмотрите кругом — идет народ — какая стена! — это человеческая воля, сосредоточенная в нескольких живейших центрах по боковым улицам, гонит и подгоняет весь этот человеческий заворот: бежать исполнить. Да, жизнь этого дневного часа — жесточайшая: не послушаешь или опоздаешь — пропал!

Сестры, чтобы жить в таком городе, морды куклам раскрашивали: раскрашенных отдавали закасчику Ивану Ивановичу, а этот закасчик нес в большой магазин для продажи. Если бы половину того, за что покупали в магазинах эти раскрашенные морды, перепадало сестрам, жили бы они, не тужа, но какая там половина! — заработка еле хватало на день, а одеться и на квартиру думать нечего.

Урс служил в газетах по информации. Весь день в бегах. Надо, чтобы было интересно и схватить на-лету : чего еще не случилось, но что может произойти. А если не было ничего особенного, надо было выдумывать. И что странно: на этом вся деловая жизнь стоит, без-того заскучали б и дело б не делалось, а между тем цена этой выдумки — этой «ложной» информации — цена кукольных раскрашенных морд.

И из всех плоше всех ему было, хтому Урсу.

Может, другой и нашелся бы, как обернуться в жизни, да и он как-ни-как всю жизнь карабкался, а вот сорвался —

> А отчаяние, это вот что: не посидит человек на месте, одно возьмет, за другое схватится, и все бросает, закинет все дела — — ничего не интересно!

Поздним вечером лежит Урс на сомье, дети в соседней компате морды куклам раскрашивают. (Приходил сегодня Иван Иванович, заказ принес — морда у него не бритая, а просто волос не растет, потная — вот уж кто никогда не отчаивается! — дурак не поймет, на что намекал!) И раздумался Урс и так раздумал, что куда ни ткнись, все стена: пропадут! И никуда не пойдешь, не объяснишь словами, что вот пропадаем! Ведь это и есть жизнь — стукотня —

и иначе невозможно; в этом и есть жизнь: одним надо пропасть, чтобы другие поднялись. Мечтать, чтобы иначе было в жизни, сделай милость! — когда защемит, выдирайся из тисков— *«вставай проклятьем заклейменный...»* — сделай милость! Но жизнь не переделывается: «пропасть или подняться» — во всем и всегда — «борьба», а «не развалясь». И когда есть силы, здоровье — и дело идет с успехом, это даже хорошо, весело: и пусть хлещет, видишь цель, знаешь, а когда достигнешь, и сам хлестонешь, весело! А когда силы не те — и удачи нет — вот руки и опустились и одно останется: пропасть. Ну, если он и пропадет — так и надо, пришел черед! — но им-то? да такое и в голову не придет: пропадать? Он один это чувствует и знает (разве можно забыть?), когда был молод, ничего не боялся, и как хочется жить, как все занимает, и на люди хочется и принарядиться хочется, ведь это такое счастье жить на земле! — и вот: «пожалуйте бриться!»

. . . .

. . . .

«кто стар или больной, беднота, отчаянные, все пусть соберутся, я освожу вас!» И отозвались — все горе-горькое, и старость и болезнь и отчаяние, без числа нищих и от бедовой жизни. Он же велел построить огромный барак, расставить столы и всякое угощение. И собрав всех в этот барак, поил и кормил вволю. В расгар он вошел на пир. «Чего еще вам хочется?» — «Тебе знать, сам рассуди!» — «А хотите я сделаю вас без печали и никто не будет знать никакой нужды?» — «Согласны». Тогда оставил он несчастных, и сам велел: с четырех концов поджечь барак. И загорелось. И все сгорели, кто был в бараке — все горе-горькое и старость и болезнь и отчаяние и нищих без числа.»

. . . .

«это будет последний и самый решительный бой!» — Урс схватился за веревку — — Вот тебе и твердыня «Ile de France»! для которого океан с московскую Яузу — одни щепцы! И лезет Урс на мачту, единственное спасение, а сверху Иван Иванович (этот всегда успеет!) с мешком — раскрашенные из мешка морды — «неужто не поможет?» — «поможет!» да как саданет сапогом — Урс сорвался, а ветер шварк, захлебнуло волной — каюк! И горчайшее, тинистое, мутно — хоть бы! все равно! не мучиться так! — зажмурил глаза. И вдруг воздухом

в лицо, глотнул глоток и ему совсем легко, смотрит: палуба, на палубе священник — молодой в сутане — море благословляет. И волны подобрались, рябят и тихо кругом. И все сужается, близится — священник совсем близко, совсем над ним, благословляет — —

Урс открыл глаза —

И странно: или все еще сон? этот самый священник — видел спину, как священник выходит из комнаты. В соседней комнате темно, дети заснули. Урс погасил электричество, разделся и лег по-человечески.

А когда на утро он проснулся, пошарил на столе папиросы — нет ни одной! — свертывает из окурочного табаку, языком муслит — что такое? — глазам не верит: на столе — чек:

Bankers Trust Company.

Детей не было дома. Урс сварил себе кофе и без пальто — тепло, весна! — вышел.

В St. Sulpice звонили к обедне.

И так он почувствовал всеми корешками — а ведь и он хочет жить на белом свете — и как хорошо в Божьем мире — и этот звон и тепло и люди!

Когда получишь деньги, рассказывать особенно нечего: сейчас же заплатили за квартиру, накупили шляпок, кофточек, у одной не было ботинок, у другой чулки продряны — все нужно, а Урс себе бумаги купил сразу, чтобы не бегать за несколькими листками, и конвертов всяких размеров. И долги порассовали — все ведь беднота, сами из последнего, отдавать надо.

Но кто же это мог положить чек? Кто мог войти ночью, а главное узнать, что вот так нужно тебе сейчас — — священник? —И вспомнился сон. — Где он видел это лицо: наклонился, благословляет?

И как осенило: да это «младший» священник —

Урс первый назвал это имя громко — Н и к о л а й .

И с тех пор имя Николай стало самым громким в Патарах. Только о нем и говорили. А тут и еще: «пропал!» — служил обедню, вышел из церкви и пропал. И куда скрылся? Неизвестно.

К СТЕНКЕ

Ни возрост архиепископа — не такие ж лета седьмой десяток! — ни тюрьма и опасность — в гонения не мало высидел, а уж принял горя, на глазах самых близких расстреливали! горько и малодушие! — нет, заботы: человек-то, вон его как!

Все назывались христианами, не быть христианином опасно, строились церкви, справлялись праздники — постоянно процессии, крестный ход, всюду образа, иконы, кресты, и всегда толпы, не проткнешься или задавят, а попробуй-ка не пойди, попадешь на заметку.

И откуда эта черная злоба — человеческая, ненавист, подсиживание? — братский крест, а как последние враги!

В соседней Фригии взбунтовались из-за какого-то продналога. Из центра послан был карательный отряд под начальством трех командиров. Имена их известны: Непотиан, Урзос и Герпилион — отчаянный народ! Метил отряд во Фригию безо всякой задержки, а поднялась буря и высадились в Ликии. Ликийцы перепугались, а те думают, приехали — и пошла потасовка. Начальники справиться не могут. Порт Мирский — Андриаки, сейчас же послали в Миры. А там — дряньцо народ! — перетрусили и к архиепископу: ему ехать. (Шкура-то своя больно близко!) Приехал архиепископ: в чем дело? А такое творится — и не подступись. Архиепископ вышел к народу:

— Не случись бури, не видали б и в глаза эти несчастные банды!

И благословил их.

А отряду велел итти в казармы: там их напоят и накормят, а успокоится море, ни минуты не задержат, поедут туда, куда их послали.

— Ликия не Фригия, Фригия подальше!

И благословил их.

И когда на улицах началась обычная жизнь, открыли магазины, архиепископ пошел к начальникам. Очень были все довольны.

Но просили архиепископа перебыть день и переночевать: мало ли что может выйти!

—А на утро, даст Бог, и в путь пойдем!

Архиепископ остался.

Вечером за чаем любопытно послушать — молодежь порассказать горазда: Константинополь, Константин и какие новые порядки и столичная жизнь. А на воле море погуляло-побесилось и успокоилось — и это хорошо: и в городе тишина, огоньки зажгли — и того лучше. А намучились-то как за день! Пораньше б спать лечь.

А вот и опять: приехали из Мир, просят — надо переговорить с архиепископом по важному делу.

Непутевое дело вышло в Мирах:

по проискам начальника схватили трех ни в чем неповинных (зуб имел!), обвинили в тягчайшем преступлении — «против государства», суд в спешном порядке, и вынесли приговор: к высшей мере наказания — и каждую минуту приговор может быть приведен в исполнение.

Рассказывала сестра одного из осужденных, плакала, просила за брата — «не виновен и те его товарищи ни в чем не виноваты!» Она обращалась к самому начальнику — Евстафий! — ее турнули и пригрозили самое засадить. Одно спасение — слово архиепископа.

— Но надо сейчас же, сию минуту!

— Да кого ж это?

Имена известны: Крессан, Диоскорид и Ликоклес — честные, прямые люди, и не вихляй какой, ни шкурник, и нет этой гадости человеческой — «выслужиться», лакейства!

Архиепископ поднялся, чтобы немедленно ехать. И с ним командиры отряда: любопытно!

И как раз во-время поспели — еще минута и уж было б поздно.

На тюремном дворе перед белой стеной в одних сорочках стояли осужденные, сливаясь со стеной, и только лица черные от фонарей, да ноги, как жерди — архиепископ появился внезапно в дверях двора и с ним вооруженные командиры — палач нацеливался —

«и только что я нацелил—солдат рассказывал, исполнявший обязанности палача,—вдруг меня как кольнет в пах, вздрогнула рука, я отвел глаза и вижу, в дверях архиепископ и рукой жалостно так, до смерти не забуду!»

Да и никому не забыть: архиепископ остановил казнь!

Перепуганный Евстафий (начальник) — не столько архиепископа, сколько этих молодцов: «дойдет до центра, вытурят да еще под суд!» — признался, что зря все наделал, «сшибся»! — и просил прощение.

Осужденных освободили.

Не покидавшие архиепископа командиры — Непотиан, Урзос и Герпилион: огромное впечатление — «вот что может сделать один человек!» — распростились с архиепископом и назад в Андрпаки, а архиепископ остался в Мирах.

«Архиепископ мирликийский Николай!» — записал себе в записную книжку который-то: будет о чем порассказать!

Непотиан, Урзос и Герпилион — начальники карательного отряда благополучно добрались с отрядом во Фригию, бунт усмирили и все, что требовалсь по продналогу, даже с лишком (с перепугу обсчитывались, а кто и задобрить), победителями вернулись в Константинополь.

Ответственное это дело — Фригия, а за то и награда.

И не думали, взлетели!

И жить бы тихо-смирно — деньги, почет, слава. Ведь повезет же людям! Но не дай Бог этого счастья! Тебе счастье — другому зависть. Без этого невозможно.

А позавидовал сам префект — правая рука царя: и у самого некуда девать, и чего, кажется, человеку надо, так нате ж — и зачем и почему? — успокоиться не может. Этот префект — имя известно: Авлалий — необыкновенное честолюбие, похвалить при нем никого нельзя, морду надует, бя-бя — (должно быть, во все времена все народы на всех языках, важничая, бякали!) обиделся!

Если человек человека извести захочет, найдет себе. А если еще власть, и ждать не заставит.

Так этот Авлалий с этими. (Это вам не Фригия — Константинополь!)

Зацапали. В тюрьму. И обвиняют: за участие в организации — против царя. А на самом деле: организации-то никакой, все подстроено, да и в мыслях не было против царя. Да кто ж твои мысли проверит: а может и было? Такие дела скоро решаются. А конец — к стенке. И никто не заступится: еще и тебя приплетут!

Вот и сидят — и на уме ничего нет — все лазейки испробованы — ничего не поможет. Последняя ночь. Завтра: «пожалуйте бриться!»

И вспомнили они всю свою жизнь — много было всяких авантюр! — буря, Мирский порг, бунт, Миры и вдруг отчетливо: тюремный двор и у белой стены в одних сорочках — черные от фонарей лица и ноги, как жерди, архиепископ поднял руку — и палач задрожал — и потом, какие это лица! — не черные — белые, как стена — «они не виноваты!» — они тоже невиноваты — —

И последним словом — в памяти своей — последним голосом, безнадежно ко всякой людской защите, взмолились они —

Милостивый наш Никола,
где бы ты ни был, явись к нам!

И на сердце тепло — вера — успокоилось и заснули.

Была глубокая ночь. Давно все спали. Только в ресторанах еще безобразничали да угрюмо, бессонные, дальние поезда шли, да пароходы внимательно колесили море.

Спал и царь.

И в ту минуту, когда несчастные заключевники из последних воззвали к архиепископу мирликийскому, видит царь сон:

> раскрывается дверь в спальню , входит старик и в раскрытой двери свет, как морское дно, колеблющийся, зеленоватый и в свете старик приблизился к кровати.
>
> «Освободи Непотиана, Урзоса и Герпилиона, — сказал старик, — они невиновны!»
>
> Царь оторопел было, но старик стоял очень спокойно —
>
> «Как ты смел войти сюда?»
>
> Ничего не ответил, спокойно, и только по улыбке прошло: «дурак ты, дурак!»
>
> «Кто ты такой?»

«Я — — архиепископ мирликийский Николай! — и нахмурился, — говорю тебе, освободи невинных или самому не сдобровать!»
Царь хотел крикнуть: «вон!» — да рот не разлипается и свет заливает глаза.

Утром пришел Авлалий: принес бумаги для подписи — и эту, приговор — помилования не может быть.

—Вот: Непотиан, Урзос и Герпилион, по делу о покушении — — странный сон мне сегодня снился! Эти господа чего-то мудрують! Только что я заснул, вижу, отворяется дверь и входит старик и прямо с угрозой: «освободи Непотиана, Урзоса и Герпилиона или сам погибнешь!» Я говорю: «послушайте, кто ты такой?» — «Я архиепископ мирликийский Николай!» И я проснулся.

Царь — как холодом обдало:

— И мне тоже, — сказал он пугливо, — снился — Миры ликийские...

— Около Родоса в Малой Азии, теперь это все Анатолия.

— А интересно бы проверить, какой такой способ: насылать один и тот же сон одновременно двум разным лицам?

И царь велел привести к себе осужденных.

И когда их привели из тюрьмы, первый вопрос: пусть откроют секрет, как наводить сон —

— Один и тот же одновременно двум разным лицам?

— Мы не умеем.

— Но ведь вы же это сделали!

— — —

Пользуясь случаем говорить с царем — а ведь их обвиняли в организации покушения на царя! — стали они рассказывать о себе, о своей службе. Но царь их не слушал: ему на счет сна интересно!

И они это поняли: их с кем-то перепутали, в первый раз слышат, им и снов никогда не снилось, и дело их пропащее; вот и последнее — лично говорить с царем — ни к чему. И не видя себе никакого спасения, как тогда в раздумье в последнюю ночь, вырвалось у них из самого сердца, последнее:

Милостивый наш Никола,
где бы ты ни был, явись к нам!

А их уж хотели уводить назад в тюрьму.

— Кто такое этот Николай? — остановил царь.

— Николай архиепископ мирликийский!

И опять — как холодом обдало, нет еще жутче.

— Когда мы были во Фригии по продналогу — — и осужденные рассказали, как в Мирах архиепископ освободил от казни трех невинно осужденных, — мы это своими собственными глазами видели.

Царь поднялся.

— Вы свободны, — сказал царь, — не я вас помиловал, Николай архиепископ мирликийский! Идите и поблагодарите его.

И взял со стола у себя евангелие — работа московских доброписцев, и два серебряных подсвечника со свечами (ростовской резьбы):

— Передайте ему от меня, и скажите: говорит царь: «я — исполнил!»

А Непотиан, Урзос и Герпилион, ухватя царские дары — теперь они на свободе! — от счастья как обалдели: топочутся в дверях, а выпихнуться не могут —

— Покажите нам выход!

БЕСПРИЗОРНЫЕ

В жаркое лето, какое бывает только здесь, улицы вечерами пустеют — все раз'ехались, кто на море, кто в горы, но, конечно, еще больше просто прячутся после знойного дня в какой-нибудь запыленный, продушенный автомобилем сад, или у ворот толчется. Развлечения всегда беднее и музыка что полегче. После заката особенно тяжелый воздух, точно везде одна пекарня и липкие руки.

Архиепископ, незадолго до своей смерти, приехал побывать в родной город.

Вечером — такой вот после зноя! — шел он по набережной к Notre Dame. У моста — перед ним — неизвестно куда двое детей и как они шли и глядели, видно было, бродячие и дом их — хорошо еще лето — под мостом.

Архиепископ доганал их: это были совсем маленькие, брат и сестра, ничего толком не понимают. Из расспросов выяснилось: ни отца, ни матери —«отца вообще у них никогда не было», а мать померла.

— Кто же ваша мама?

— La crocodile, — ответили оба.

И это «крокодил» совсем сурьезно, не в смех, а чего-то путали: или это прозвище матери?

— La crocodile!

Дичились, но понемногу привыкли: болтали на перебой и о себе и о соседях словами улицы, где когда-то жили, непонятными в соседнем квартале.

Так дошли до Notre Dame, не отставая.

Архиепископ вошел в собор и твердо по каменным плитам к каменной статуе Богоматери — и дети за ним — —

В соборе никого не было, только Moretto da Brescia, художник из Ломбардии — иностранцам-туристам, им и зной ни по чем, всякое лето едут, не здешние! — художник зашел в собор взглянуть.

« — — и я вижу, — рассказывал Моретто, — одной рукой взял он за плечо детей, а другой так — как омофор — к Богородице, и глаза его были полны мольбы, скорбной — куда они денутся? кто

защитит? ведь жизнь такая суровая, беспризорно! прожил он жизнь — сколько было! — и теперь возвращает омофор Богородице — — И я видел, как Богородица протянула руку: показывала ли она Младенцу на этих вдруг засмиревших брата и сестру или им: «никогда я вас не оставлю!» И крупные слезы задрожали в мудрых и скорбных глазах архиепископа — — »

ВНЕ ЗАКОНА

Знаменитый храм Артемиды в Мирах был с благословения архиепископа еще при его жизни реквизирован под Пятницу Параскеву. Священная роща срублена, жрецы разогнаны.

Какие-то странные — зеленые появились в «Охране памятников старины и искусства». Лопочущими голосами просили они взять на учет храм, как драгоценный памятник искусства, и не велеть ничего трогать.

«С рощей дело упущено, но хоть внутри — не трогать!»

Вид у них был жалкий — очень странный, а речь, точно ни на каком языке не говорили.

Зам-заведующий ничего не имел против — « памятник исторический» — но заведующий, с ним не очень поговоришь.

«Ваша религия опиум для народа!».— уперся и никаких.

Так и пошли.

Я видел в окно — побежали! затравленные.

Откровенно говоря: столкнуться ночью на пустыре с таким — ей Богу, бросится кусаться.

Из Яффы шел пароход в Ликию — это все были паломники от святой земли в Миры к Николаю-чудотворцу. На Кипре села какая-то — я очень хорошо помню: высокая, очень худая и страшно бедно одета, а видно, не из бедных, точно — дунь только, пыль слетит и загорится богатый наряд; все было настоящее, только от носки и непривычной работы истерлось и зашмыргалось. Я и раньше встречал таких: это из вдруг обнищавшей знати и богатых, когда старшая дочь идет стоять на рынок. Не поднимая глаз, прошла она на палубу и села у трубы, бережно держа в руке бутылку.

Помню еще капитан, обходя, спросил:

«Чего везете?»

Должно быть, он думал, что какое-нибудь особенное вино.

«Масло святителю Николаю!» — сказала она сухими губами и в первый раз посмотрела.

И я увидел, она совсем еще молодая — да, это верно, как старшая дочь.

Верно на сердце у нее большая обида, и вот почему это масло, в этом масле в лампадке все сожжется — примет Угодник! — тогда и заплачет, такие не плачут, и голос будет другой — с этой обидой сгоришь!»

И я все следил за ней.

Я ехал весь путь от самой Яффы и все было хорошо — погода хорошая, ветерок продувает — и никаких ссор всю дорогу, не спорили, не задирали, мирный народ — и осталось-то всего ничего, на утро и приехали! да вдруг как загудит. Ветер! а море вцепилось зубами, ну, никуда.

Все, сколько нас было, все мы на палубу, кричим, вопим: «или неугодно?» — «и неужто Угодник допустит?» — «ведь к нему же едем на его могилу!» И та тут же с нами, стиснула зубы, бутылку свою прячет, бледная такая — зелень!

Покричали-покричали, а легче не стало, так и швыряет — стали мы на колени, скрестили руки и ждем — конец.

— — —

Да ка-ак грохнет — все небо упало — и все мы, кто как стоял, так и ткнулся. И сколько прошло, не скажу, только очень тихо стало — а открыли глаза — и свет, белый такой свет, лодка плывет, а в лодке старичок и лодку волной, как кони катят, прямо к пароходу.

И слышим голос — после грома-то человечий голос так прямо в душу:

«Чего это вы, горемыки, бушуете?»

«Милостивый Никола, — отвечаем, — не мы бушуем, море нас топит.»

Он к капитану:

«Послушай-ка, — говорит, — у тебя там пассажирка масло везет, конфискуй ты у нее бутылку — бутылку! (повторил) а ее не тронь, слышишь!»

Капитан: кто? где?

А я ему тихонько: вон-эта, говорю — — у! что море и глаз не подымет, а и через жжет, не подступись! Ну, капитан, ему чего, этот — рукой под платок ей — и бутылка в руках.

И с бутылкой к лодке.

«Нате, дедушка, эта самая?»

— — —

Взял старик бутылку, подавил пальцем пробку, покрепче чтоб, перекрестился — волна катит — да по волне ее бац — —

Все так и присели — огнище!!! море горит! все море! и скачет! по зелени красные кони! песьи языки лижут — и сини и черны! — глазам ужасно. И пошел такой удушливый запах.

— — —

А когда рассеялось — и нет ничего: ни старика, ни лодки. Бросились искать: «кто вез бутылку?» — «кто вез бутылку?» А я понимаю — куда уж! — найдешь!

Воображаете: что б это было! — — маслица такого в лампадку? — да не только Миры, полмира разнесло бы в куски.

Алексей Ремизов

11. 4. 26
Париж

РОСИЯ

1

ЦАРСКАЯ ЖАЛОВАЛЬНАЯ ГРАМОТА

1669 г.

«Русь» Слова о полку Игореве — от русской земли, но какая преисподняя и никаких-то корешков с ивановской «Русией» — с русским Домостроем и Стоглавом — с Русией, завершившейся «Росией» (с одним «с») Аввакума, протопопа всея Росии; а за Росией идет «Россия» (о двух «с») — — Лесков, Розанов, а там поперла вся зазеленелая «Рос-с-сія».

«Русь» — археология ((Китеж?), «Росия» — современно.

«Росию» в ы с к а з а л Аввакум, грамоты и писцовые выписи: Аввакум — проговоря на «о» (нижегородец да и протопоп!) с московским защелком (аллитерацией) медведчика-гудца (родной брат Даниила Заточника); грамоты — выпевая знаменным догматиком с окриком по «Уложенью»; выписи — деловым кудрявым «столбцом».

В 1654 г. нарушен «вечный мир» (1634 г.) с Польшей, Росия пошла воевать:

за Божьей помощью —
молитвою, надежды христианские, Пресвятые Богородицы —
взяв, непобедимое оружие, святый и животворящий крест Господен —
царь своею государскою особой —
с царевичи: грузинским, касимовским, сибирскими —
с боярами, воеводами и ратными людьми.

В 1667 г. война кончилась (Андрусовское перемирие, заключенное Афанасием Лаврентьевичем Ордин-Нащокиным с товарищи) — вернулись с победой:

милостью всесильного Бога —
заступлением, надежды христианские, Пресвятые Богородицы —
молитвами московскихъ чудотворцевъ: Петра, Алексея, Ионы и Филиппа —
а царя и детей его государских счастьем.

Тут уж не сказ, а величание, за которым следует окрик по Уложенью:

« — — а в той вотчине он, Макарей Чириков, дети его и внучата и правнучата, по нашему царскому жалованью, вольны и продать и заложить и в приданые дать, а в монастыри тое вотчины по душе не отдать!»

Макарий Григорьевич Чириков, участник в войне с Польшею, получил в Луцком уезде (отсюда «лученин») в вотчину поместье — 170 четвертей (85 дес.) — царь пожаловал «по своему царскому милосердному осмотрению» за его службу к «нам, великому государю царю и великому князю Алексею Михаиловичу, всея великие и малые и белые России самодержцу, и к нашим государским благородным чадом, и ко всему Московскому Государству», в роды «неподвижно».

Грамота с красной царской печатью, справленная дьяком Андрюшкой Соколовым, напечатана с пробелами — записаны рукой: кому и чего с ссылкой на Отказные Книги Кирилла Скрыплицина (1640 г.) и Федора Очкасова (1653 г.)

В напечатанном тексте поставлены ударения: читаешь, как слушаешь — московское: «лучен-и-на», «всчал-а-сь» (началась), «после Пол-я-новскаго докончания», «прот-и-венство», «Смоленеск», «по-имали», (взяли), «детем», «внучатом», «вольн-ы», «в прид-а-ные», «не продан-а», «не заложен-а».

(1669 г. — в царствовании Алексея Михайловича (1645-1676); 1634 г. — Поляновский мир — Михаил Феодорович (1613-1645).

Божiею Милостью, мы великiй Государь Царь, и великiй Князь Алексiй Мiхаиловичь, всея великiя, и малыя, и бѣлыя Россiи Самодержецъ, по своему Царскому милосердому осмотренiю, пожаловали *лученина Макарья Григорьевича Чирикова*, за его к намъ великому Государю Царю, и великому Князю Алексiю Мiхаиловичю, всея великiя, и малыя, и бѣлыя Россiи Самодержцу, и к на-

шымъ Государскимъ благороднымъ чадомъ: Благовѣрному Царевичю и великому Князю, Алексію Алексіивичю, и благовѣрному Царевичю и великому Князю, Ѳеодору Алексіивичю, и благовѣрному Царевичю и великому Князю, Симеону Алексіивичю, и благовѣрному Царевичю и великому Князю Іоанну Алексіивичю, и ко всему Московскому Государству многую службу, которая всчалась въ прошломъ во 162-мъ (1654) году, послѣ Поляновскаго докончанія (1634-1654), что было во многихъ разрушительныхъ писмахъ, вѣчному миру противенство учинено. И за тѣ досадительства, за Божіею помощію, и надежды христіанскія пресвятыя Богородицы молитвою, взявъ непобѣдимое оружіе, святый и животворящій Крестъ Господень, мы великій Государь Царь, и великій Князь Алексій Михаиловичь, всея великія, и малыя, и бѣлыя Россіи самодержецъ, своею Государскою особою, съ Царевичи, которые служать намъ великому Государю в московскомъ Государствѣ, з грузинскимъ, и с касимовскимъ, и съ сибирскими, и з бояры нашими и воеводы, и со многими ратными людми, на Полское и Литовское королевство ходили, и Смоленескъ, и Вилну, и Бресть, и иные многіе городы, в Литвѣ, и на Бѣлой - россіи поимали: и коруны полскія, и княжества литовскаго в далныхъ мѣстахъ в походѣхъ великое одолѣніе учинилось. И в прошломъ во 175-мь (1667) году, Генваря в 20 день, Милостію того всесилнаго Бога, и заступленіемъ надежды христіанскія пресвятыя Богородицы, и силою честнаго и животворящаго Креста Господня, и молитвами московскихъ чюдотворцовъ, Петра, и Алексіа, и Іоны, и Филиппа, а нашимъ великого Государя Царя, и великого Князя Алексіа Міхаиловича, всея великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержца, и дѣтей нашихъ Государскихъ, благовѣрнаго Царевича, и великого Князя Алексіа Алексіивича, и благовѣрнаго Царевича, и великого Князя Ѳеодора Алексіивича, и благовѣрнаго Царевича, и великаго Князя Симеона Алексіивича, и благовѣрнаго Царевича, и великого Князя Іоанна Алексіивича, счатіемъ, будучи на с(ъ)ѣздѣхъ великіе и полномоцные послы, бояринъ нашъ и намѣстникъ шацкой Аѳанасій Лаврентіевичь Ординъ-Нащокинъ с товарыщи, съ полскими и литовскими послы и комисары договоръ учинили на перемиріе на тринатцать лѣтъ и на шесть мѣсяцовъ. А в тѣ перемирные лѣта, за Божіею помощію, намъ великому Государю, нашему Царскому величеству, с братомъ нашимъ с великимъ Государемъ, съ его Королевскимъ величествомъ, искать вѣчного миру: и в надежду того во всякой помочи Государственной противъ бусурманъ союзъ учинили. А завоеваного за нами великимъ Государемъ, княжество смоленское, и украина по Днепръ. А уступили в сторону Королевского величества, по Двинѣ рѣкѣ всѣ городы до Инѳлянтъ, и договорную запись на чемъ вѣру учинили, к намъ великому Государю к Москвѣ привезли. И мы великій Государь Царь, и великій Князь Алексій Михаиловичь, всея великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержецъ, за тѣ службы которые с начала в нашемъ великого Государя в Царственномъ, с благодареніемъ всесилнаго Бога, в походѣ были, и во всѣ лѣта тое войны с полки в розныхъ походахъ, многое одолѣніе над противными славно по всему свѣту показали, пожаловали *его Макарья Чирикова*, похваляя его службу, промыслы, и

храбрость, в роды и роды, с помѣстнаго его окладу *со 850* четвертей, со 100 четвертей по 20 четвертей, и того *170* четвертей из его —
помъсья — в вотчину: в Луцком уъзде в Жижецкой волости селцо Наумовское, над озером над Жижцом пустош Кононово, Посниково тож, на ръчке на Кодоснице пустош, что была деревня Мостъевская в Глиніщахъ; Алексъевская и Шванево тож, над озером над Глиніщем і над Жисцом деревня, что был починок Василково в заръчье на устье Вясячи реки над озером над Жисцом над Иваною лукою, Пякалово тож, да ис тое ж деревни выставок — словетъ Мокъйково пустошъ, Еремінъ починок, Красная Гостево тож, на ръчке на Вісяче деревня Матвъевская, Бородино тож, на ръчке на Кодоснице деревня, что была пустош Подколодье, надъ озером над Жисцом над Ивановою лукою деревня Гузново на ръчке на Кодоснице, да ис тое ж деревни выставок на отхожей землъ тое ж деревни над озером над Едрецом и возле Лохтевы, что нынъ зовут Панкратовым, над ръчкою над Едрицею деревня, что была пустош Івановская в заръчье, над озером над Жисцом пустош Переволока, над озером над Жисцом на Нарове на лукъ пустош Шилово, Шиловское тож, а нынъ словет Шухново, на озере на Жисце на острову на Серебренике деревня Ортемьевская, Спарино тож, над озером над Жисцомъ надъ Івановою лукою пустош, что была деревня Юдино, Максимово, Звешня и Лысохино тож, на ръчк: на Коденице пустош Кудіновская, Теренино тож, на ръчкъ на Кодоснице пустошъ Олябьево, пустошь Ануфрево, Синяково тож, над ръчкою над Лупкою; да в Торопецком уъзде в Казаринской волости двъ-трети деревни Колюховой, Ісаковское тож, на суходоле двъ-трети пустоши в Олфимовской полупустоши Фофановской, Лопатино тож, над Торопою рекою и над Городном озером полупустоши Фалъевской; а в томъ ево Луцком помъсье в селце Наумовском з деревнями і с пустошми по дачам і по Отказным Книгам отказу лученина Кирила Скрыплицына 148-го (1640) да отказу лученина Федора Очкасова 161-го (1653) году написано — «пашни паханые и перелогом и лъсом поросло добрые и середние земли и худые сто пятьдесят шесть четвертей с осминою»; а в Торопецком ево помъсье по даче и по Отказнымъ Книгамъ отказу лученина Федора Очкасова 152-го (1644) году написано — «пашни паханые и перелогом і лъсомъ поросло середние земли четырнадцать четей с осміною и с полъ-полтретником»; обоево в Луцком и в Торопецкомъ ево помъсье — пашни сто семдесят одна четверть с пол-полтретникомъ в поле, а в дву потому ж, со всъми угодьи; и за вотчиною дачею в том ево Макарьеве помъсье Чирикова в пустоши Онофреевой, Синяково тоже, осталосъ одна четверть с полъ-полътретникомъ, и тою перехожею землею владъть ему жь, Макарью, в помъсье.
И на ту вотчину велѣли есмя дать сію нашу Царскую жаловалную грамоту, за нашею Царскою красною печатью. И по нашему великого Государя Царя, и великого Князя Алексіа Міхаиловича, всея великія и малыя и бѣлыя Россіи самодержца, Царскому жалованью, — та вотчина ему , *Макарью Чирикову*, и его дѣтемъ, и внучатомъ, и правнучатомъ в роды ихъ неподвижно: чтоб наше Царское жалованье, и их великое дородство, и храбрая служба, за вѣру и за насъ великого Государя, и за свое отечество, послѣднимъ родомъ было на память, и

ИСТОРИЯ МОЕЙ ГОЛУБЯТНИ

М. Горькому.

В детстве я очень хотел иметь голубятню. Во всю жизнь у меня не было желания сильнее. Мне было девять лет, когда отец посулил дать денег на покупку тесу и трех пар голубей. Тогда шел тысяча девятьсот четвертый год. Я готовился к экзаменам в приготовительный класс Николаевской гимназии. Родные мои жили в городе Николаеве, Херсонской губернии. Этой губернии больше нет, наш город отошел к Одесскому району.

Мне было всего девять лет, и я боялся экзаменов. Теперь, после двух десятилетий, очень трудно сказать, как ужасно я их боялся. По обоим предметам — по русскому и по арифметике — мне нельзя было получить меньше пяти. Процентная норма была трудна в нашей гимназии, всего пять процентов. Из сорока мальчиков только два еврея могли поступить в приготовительный класс. Учителя спрашивали этих мальчиков хитро; никого больше не спрашивали так замысловато, как нас. Поэтому отец, обещая купить голубей, требовал двух пятерок с крестами. Он совсем истерзал меня, я впал в нескончаемый странный сон наяву, в длинный детский сон отчаяния, и пошел на экзамен в этом сне и все же выдержал лучше других.

Я был способен к наукам. Учителя, хоть они и хитрили, не могли отнять у меня ума и жадной памяти. Я был способен к наукам и получил две пятерки. Но потом все изменилось. Харитон Эфрусси, торговец хлебом, экспортировавший пшеницу в Марсель, дал за своего сына взятку в пятьсот рублей, мне поставили пять с минусом вместо пяти и в гимназию на мое место приняли маленького Эфрусси. Отец мой очень убивался тогда. С шести лет он обучал меня всем наукам, каким только можно было. Случай с минусом привел его к отчаянию. Он хотел побить Эфрусси или подговорить двух грузчиков, чтобы они побили Эфрусси, но мать отговорила его от дурных мыслей, и я стал готовиться к другому экзамену, в будущем году, в первый класс. У меня за спиной родные подбили учителя, чтобы он в один год прошел со мною курс приготовительного и первого классов сразу,

и так как мы во всем отчаивались, то я выучил наизусть три книги. Эти книги были: грамматика Смирновского, задачник Евтушевского и учебник начальной русской истории Пуцыковича. По этим книгам дети не учатся больше, но я выучил их наизусть, от строки до строки, и в следующем году на экзамене из русского языка получил у учителя Караваева недосягаемые пять с крестом. Небольшой наш город долго шептался о необыкновенной моей удаче, и отец был так жалко горд ею, что мне непереносимо становилось думать о суетливой, переменчивой его жизни и о том, что он поддается так бессильно всем переменам и только радуется на них или слабеет.

Учитель Караваев был по мне лучше отца. Караваев был румяный негодующий человек из московских студентов. Ему едва ли исполнилось тридцать лет. На мужественных его щеках цвел румянец, как у крестьянских ребят, не работающих тяжелой работы, не противная бородавка сидела у него на щеке, из нее рос пучок пепельных кошачьих волос. Кроме Караваева, на экзамене был еще помощник попечителя Пятницкий, считавшийся важным лицом в гимназии и во всей губернии. Помощник попечителя спросил меня о Петре Первом, я испытал тогда чувство забвения, чувство близости конца и бездны, сухой бездны, выложенной восторгом и отчаянием.

О Петре Великом я знал наизусть из книжки Пуцыковича и стихи Пушкина. Я навзрыд сказал эти стихи, цветистые человечьи лица покатились вдруг в мои глаза и перемешались там, как карты из новой колоды. Они тасовались на дне моих глаз, и в эти мгновения, дрожа, выпрямляясь, торопясь, я кричал Пушкинские строфы изо всех сил. Я кричал их долго, никто не прерывал безумного моего визга, захлебыванья, бормотанья. Сквозь багровую слепоту, сквозь неистовую свободу, овладевшую мною, я видел только старое, склоненное лицо Пятницкого с посеребренной бородой. Он не прерывал меня и только сказал Караваеву, ликовавшему за меня и за Пушкина:

— Какая нация, — прошептал старик, — жидки ваши, в них дьявол сидит...

И когда я замолчал, он сказал:

— Хорошо, ступай, мой дружок....

Я вышел из класса в коридор и там, прислонившись к набеленной стене, стал просыпаться от судороги загнанных моих снов. Русские мальчики играли вокруг меня, гимназический колокол висел неподалеку над пролетом казенной лестницы, маленький сторож дремал на продавленном стуле. Я смотрел на сторожа и просыпался. Дети подбирались ко мне со всех сторон. Они хотели

щелкнуть меня или просто поиграть, но в коридоре показался вдруг Пятницкий. Миновав меня, он приостановился на мгновение и сюртук трудной медленной волной пошел по его спине. Я увидел смятение на просторной этой, мясистой, барской спине и двинулся к старику.

— Дети, — сказал он гимназистам, — не трогайте этого мальчика, — и положил жирную нежную руку на мое плечо.

— Дружок мой, — обернулся Пятницкий, помощник попечителя, — передай отцу, что ты принят в первый класс.

Пышная звезда блеснула у него на груди, ордена зазвенели у лацкана, и большое черное мундирное его тело стало уходить на прямых ногах. Оно стиснуто было сумрачными стенами, оно двигалось в них, как движется барка в глубоком канале, и исчезло в дверях директорского кабинета. Маленький служитель понес ему чай с торжественным шумом, а я побежал домой в лавку.

В лавке нашей, полон сомнения, сидел и скребся мужик-покупатель. Увидев меня, отец бросил мужика и, не колеблясь, поверил моему рассказу. Он закричал приказчику закрывать лавку и бросился на Соборную улицу покупать мне шапку с гербом. Бедная мать едва отодрала меня от помешавшегося этого человека. Мать была бледна в ту минуту и испытывала судьбу. Она гладила меня и с отвращением отталкивала. Она сказала, что о всех принятых в гимназию бывает об'явление в газетах, и что Бог нас покарает, и люди над нами посмеются, если мы купим форменную одежду раньше времени. Мать была бледна, она испытывала судьбу в моих глазах и смотрела на меня с горькой жалостью, как на калечку, потому что одна она знала, как несчастлива наша семья.

Все мужчины в нашем роду были доверчивы к людям и скоры на необдуманные поступки, нам ни в чем не было счастья. Мой дед был раввином когда-то в Белой Церкви, его прогнали оттуда за кощунство, и он с шумом, очень скудно прожил еще сорок лет, изучал иностранные языки и стал сходить с ума на восьмидесятом году жизни. Дядька мой Лев, брат отца, учился в Воложинском ешиботе, в 1892 году он бежал от солдатчины и похитил дочь интенданта, служившего в Киевском военном округе. Дядька Лев увез эту женщину в Калифорнию,в Лос-Анжелос, бросил ее там и умер в дурном доме, среди негров и малайцев. Американская полиция прислала нам после его смерти наследство из Лос-Анжелоса — большой сундук, окованный коричневыми железными обручами. В этом сундуке были гири от гимнастики, пряди женских волос, дедовский талес, хлысты с золочеными набалдашниками и цветоч-

ный чай в шкатулках, отделанных дешевыми жемчугами. Изо всей семьи оставались только безумный дядя Симон, живший в Одессе, мой отец и я. Но отец мой был невыразимо доверчив к людям, он обижал их восторгами первой любви, люди не прощали ему этого и обманывали. Отец верил поэтому, что жизнью его управляет злобная судьба, необ'яснимое существо, преследующее его и во всем на него не похожее. И вот только один я оставался у моей матери изо всей нашей семьи. Как все евреи, я был мал ростом, хил и страдал от ученья головными болями. Все это видела Рахиль, моя мать, которая никогда не бывала ослеплена нищенской гордостью своего мужа и непонятной его верой в то, что древняя наша семья станет когда-нибудь сильнее и величественнее других людей на земле. Она не ждала для нас удачи, она не хотела новой форменной блузы и только позволила мне сняться у фотографа для большого портрета. И все же нам пришлось купить шапку с гербом.

Двадцатого сентября тысяча девятьсот пятого года в гимназии вывешен был список поступивших в первый класс. В таблице упоминалось и мое имя. Вся родня наша ходила смотреть на эту бумажку, и даже Шойл, мой двоюродный дед, пришел в гимназию. Я любил хвастливого этого старика за то, что он торговал рыбой на рынке. Толстые его руки были всегда влажны, покрыты рыбьей чешуей и воняли холодными прекрасными мирами. Шойл отличался этим от обыкновенных людей и еще лживыми историями, которые он рассказывал о польском восстании 1861 г. В давние времена Шойл был корчмарем в Сквире; он видел, как солдаты Николая Первого расстреливали графа Годлевского и других польских инсургентов. Может быть, он и не видел этого. Теперь-то я знаю, что Шойл был всего только старый неуч и наивный лгун, но побасенки его не забыты мной, они были очень хороши. И вот даже глупый Шойл пришел в гимназию прочитать таблицу с моим именем, и вечером, не боясь никого, не боясь того, что никто в свете его не любит, плясал и топал на нашем нищем балу.

Отец устроил бал на радостях и позвал товарищей своих — торговцев зерном, маклеров по продаже имений и вояжеров, продававших в нашей округе сельско-хозяйственные машины. Вояжеры эти продавали машины всякому человеку. Мужики и помещики боялись их, от них нельзя было отделаться, не купив чего-нибудь. Изо всех евреев вояжеры самые бывалые, веселые люди. На нашем вечере они пели хасидские песни, состоявшие всего из трех слов, но певшиеся очень долго, со множеством смешных интонаций. Тро-

гательную прелесть этих интонаций может узнать только тот, кому приходилось встречать пасху у хасидов или кто бывал на Волыни в их шумных синагогах. Кроме волжеров, к нам пришел старый Либерман, обучавший меня Торе и древне-еврейскому языку. Его называли у нас мосье Либерман. Он выпил бессарабского вина поболее, чем ему бы надо, шелковые традиционные шнурки вылезли из-под красной его жилетки, и он произнес на древне-еврейском языке тост в мою честь. Старик поздравил родителей в этом тосте и сказал, что я победил на экзамене всех врагов моих, я победил русских мальчиков с толстыми щеками и сыновей грубых наших богачей. Так в древние времена Давид, царь Иудейский, победил Голиафа, и подобно тому как я восторжествовал над Голиафом, так несгибаемый наш народ силой своего ума победит врагов, окруживших нас и ждущих нашей крови. Мосье Либерман заплакал, сказав это, плача выпил еще вина и закричал: «виват!». Гости взяли его в круг и стали водить с ним старинную кадриль, как на свадьбе в еврейском местечке. Все были веселы на нашем балу, даже мать напилась пьяна, хоть она и не любила водки и не понимала, как можно любить ее; всех русских она считала поэтому сумасшедшими и не понимала, как живут женщины с русскими мужьями.

Но счастливые наши дни наступили позже. Они наступили для матери тогда, когда она стала привыкать к счастью делания для меня бутербродов до ухода в гимназию и когда она ходила по лавкам и покупала елочное мое хозяйство — пенал, копилку, ранец, новые книги в картонных переплетах и тетради в глянцевых оберт ках. Никто в мире не чувствует новых вещей сильнее, чем дети. Дети содрогаются от этого запаха, как собака от заячьего следа, и испытывают безумие, которое потом, когда мы становимся взрослыми, называется вдохновением. И это чистое, детское чувство собственничества над вещами, пахнувшими нежной сыростью и прохладой новых вещей, передавалось матери. Мы месяц привыкали к пеналу и к утреннему незабываемому сумраку, когда я пил чай на краю большого освещенного стола и собирал книги в ранец; мы месяц привыкали к счастливой нашей жизни, и только после первой четверти я вспомнил о голубях.

У меня все было припасено для них — рубль пятьдесят копеек и голубятня, сделанная из ящика дедом Шойлом. Голубятня была выкрашена в коричневую краску. Она имела гнезда для двенадцати пар голубей, резные планочки на крышу и особую решетку, которую я придумал, чтобы удобнее было приманивать чужаков.

Все было готово. В воскресенье двадцатого октября я собрался на охотницкую, но внезапные беды преградили мне путь.

История, о которой я рассказываю, т.-е. поступление мое в первый класс гимназии, происходила осенью тысяча девятьсот пятого года. Царь Николай давал тогда конституцию русскому народу, ораторы в худых пальто взгромождались на тумбы у здания городской думы и говорили речи народу. На улицах по ночам раздавалась стрельба, и мать не хотела отпускать меня на охотницкую. С утра в день двадцатого октября соседские мальчики пускали змей против самого полицейского участка, и водовоз наш, забросив все дела, ходил по улице напомаженный, с красным лицом. Потом мы увидели, как сыновья булочника Калистова вытащили на улицу кожаную кобылу и стали делать гимнастику посреди мостовой. Им никто не мешал, городовой Семерников подзадоривал их даже прыгать повыше. Семерников был подпоясан шелковым домотканным пояском, и сапоги его были начищены в тот день так блестко, как не бывали они начищены раньше. Городовой, одетый не по форме, больше всего испугал мою мать, из-за него она не отпустила меня, но я пробрался на улицу задворками и добежал до охотницкой, которая помещалась далеко за вокзалом.

На охотницкой, на постоянном своем месте, сидел Иван Никодимыч, голубятник. Кроме голубей, он продавал еще кроликов и павлина. Павлин, распустив сияющий хвост, сидел на жердочке и поводил по сторонам бесстрастной прелестной головкой. Лапа его была обвязана крученой веревкой, другой конец веревки лежал прищемленный Ивана Никодимыча плетенным стулом. Я купил у старика, как только пришел, пару вишневых голубей с затрепанными пышными хвостами и пару чубатых и спрятал их в мешок за пазуху. У меня оставалось сорок копеек после покупки, но старик за эту цену не хотел отдать голубя и голубку крюковской породы. У крюковских голубей я любил их клювы, короткие, зернистые, дружелюбные. Сорок копеек им была верная цена, но охотник дорожился и отворачивал от меня желтое лицо, сожженное нелюдимыми страстями птицелова. К концу торга, видя, что не находится других покупщиков, Иван Никодимыч подозвал меня. Все вышло по-моему, все вышло худо.

В двенадцатом часу дня или немногим позже по площади прошел человек в валеных сапогах. Он легко шел на раздутых ногах, в его истертом лице горели оживленные глаза.

— Иван Никодимыч, — сказал он, проходя мимо охотника, — складайте инструмент, в городе иерусалимские дворяне консти-

туцию получают. На Рыбной Бабелевского деда на-смерть угостили...

Он сказал это и легко пошел между клетками, как босой пахарь, идущий по меже.

— Напрасно, — пробормотал Иван Никодимыч ему вслед, — напрасно, — закричал он строже и стал собирать кроликов и павлина и сунул мне крюковских голубей за сорок копеек. Я спрятал их за пазуху и стал смотреть, как разбегаются люди с охотницкой. Павлин на плече Ивана Никодимыча уходил последним. Он сидел, как солнце в сыром осеннем небе, он сидел, как сидит июль в длинной холодной траве. Я смотрел вслед старику, его сапожному стулу и милым клеткам завернутым в цветное тряпье. На рынке никого уже не было, и выстрелы гремели неподалеку. Тогда я побежал к вокзалу, пересек сквер, сразу опрокинувшийся, и влетел в пустынный переулок, утоптанный желтой землей. В конце переулка на креслице с колесиками сидел безногий Макаренко, ездивший в креслице по городу и продававший папиросы с лотка. Мальчики с нашей улицы покупали у него папиросы, дети любили его, и я бросился к нему в переулок.

— Макаренко, — сказал я, задыхаясь от бега, и погладил плечо безногого, — не видел ли ты деда моего Шойла?

Но калека не ответил. Грубое его лицо, составленное из красного жира, из кулаков, из железа, просвечивало. Он в ужасном волнении ерзал на креслице, и жена его Катюша, повернувшись ваточным задом, разбирала вещи, валявшиеся на земле.

— Чего насчитала? — спросил безногий и двинулся от женщины всем корпусом, как будто ему наперед невыносим был ее ответ.

— Камашей четырнадцать штук, — сказала Катюша, не разгибаясь, — пододеяльников шесть, теперь чепцы рассчитываю...

— Чепцы, — закричал Макаренко, задохся и сделал такой звук, будто он рыдает, — видно, меня, Катерина, Бог сыскал, что я за всех ответить должен.... Люди полотно цельными штуками носят, у людей все, как у людей, а у нас чепцы....

И в самом деле, по переулку пробежала женщина с распалившимся прекрасным лицом. Она держала охапку фесок в одной руке и штуку сукна в другой. Счастливым, отчаянным голосом сзывала она потерявшихся детей; шелковое платье и голубая кофта волочились за летящим ее телом, и она не слушала Макаренко, катившего за ней на кресле. Безногий не поспевал за ней, колеса его гремели, он вертел рычажки и все не поспевал.

— Мадамочка, — оглушительно кричал он, — ради Бога, мадамочка, где брали сарпинку?

Но женщины с летящим платьем уже не было. Ей навстречу из-за угла выскочила вихлявая телега. Крестьянский парень стоял стоймя в телеге.

— Куда люди побегли? — спросил парень и поднял красную вожжу над клячами, прыгавшими в хомутах.

— Люди все на Соборной, — умоляюще сказал Макаренко, — там все люди, душа человек; чего наберешь — все мне тащи, все покупаю.

Но парень, услышав про Соборную, не стал мешкать... Он изогнулся над передком, хлеснул по пегим клячам. Лошади, как телята, прыгнули грязными своими крупами и пустились вскачь. Желтый переулок снова остался желт и пустынен; тогда безногий перевел на меня погасшие глаза.

— Меня, што ль, Бог сыскал, — сказал он безжизненно, — я вам, што ль, сын человеческий....

И Макаренко протянул мне руку, запятнанную апоплектической проказой.

— Что у тебя в торбе? — сказал он и взял мешок, согревавший мое сердце.

Толстой рукой калека разворошил турманов и вытащил на свет вишневую голубку. Запрокинув лапки, птица лежала у него на ладони.

— Голуби, — сказал Макаренко и, скрипя колесами, под'ехал ко мне, — голуби, — повторил он, как неотвратимое эхо, и ударил меня по щеке.

Он ударил меня наотмаш, сжатой ладонью, голубка треснула на моем виске, Катюшин ваточный зад повернулся в моих зрачках, и я упал на землю в новой моей шинели.

— Семя ихнее разорить надо, — сказала тогда Катюша и разогнулась над чепцами, — семя ихнее я не могу навидеть и мужчин их вонючих...

Она еще сказала о нашем семени, но я ничего не слышал больше. Я лежал на земле, и внутренности раздавленной птицы стекали с моего виска. Они текли вдоль щек, извиваясь, брызгая и ослепляя меня. Голубиная нежная кишка ползла по моему лбу, и я закрывал последний незалепленный глаз, чтобы не видеть мира, расстилавшегося передо мной. Мир этот был мал и ужасен. Камешек лежал перед моими глазами, камешек, выщербленный, как лицо старухи с большой челюстью, обрывок бечевки валялся неподалеку и пучок перьев, еще ды-

шавших. Мир мой был мал и ужасен. Я закрыл глаза, чтобы не видеть его, и прижался к земле, лежавшей подо мной в успокоительной немоте. Утоптанная эта земля ни в чем не была похожа на нашу жизнь и на ожидание экзаменов в нашей жизни. Где-то далеко по ней ездила беда на бодрой лошади, но шум копыт слабел, пропадал, и тишина, горькая тишина, поражающая иногда детей в несчастьи, истребила вдруг границу между трепещущим моим телом и никуда не двигавшейся землей. Земля моя пахла сырыми недрами, могилой, цветами. Я услышал ее запах и заплакал без всякого страха. Я шел по чужой улице, заставленной белыми коробками, я шел в убранстве из окровавленных перьев, один в середине тротуаров, подметенных чисто, как в воскресенье, и плакал так горько, полно и счастливо , как не плакал больше во всю мою жизнь. Побелевшие провода гудели над головой, суетливая дворняжка бежала впереди, и в переулке сбоку молодой мужик в жилетке разбивал раму в доме Харитона Эфрусси. Он разбивал ее деревянным молотом, замахивался всем телом и, вздыхая, улыбался на все стороны доброй улыбкой опьянения, пота и душевной силы. Вся улица была наполнена хрустом, треском, пением разлетавшегося дерева. Мужик бил только затем, чтобы перегибаться, запотевать и кричать необыкновенные слова на неведомом, нерусском языке. Он кричал их и пел, раздирал изнутри голубые глаза, пока на улице не показался крестный ход, шедший от думы. Старики с крашенными бородами несли в руках портрет расчесанного царя, хоругви с гробовыми угодниками метались над крестным ходом, и воспламененные старухи летели вперед неудержимо. Мужик в жилетке, увидев шествие, прижал молоток к груди и побежал за хоругвями, а я, выждав конца процессии, пробрался к нашему дому. Он был пуст, наш дом. Белые двери его были раскрыты, трава у голубятни вытоптана. Один Кузьма не ушел со двора. Кузьма, дворник, сидел в сарае на трупе Шойла и убирал мертвеца.

— Ветер тебя носит, как дурную щепку, — сказал старик, увидев меня, — убег на целые веки... Тут народ деда нашего, видишь, как тюкнул...

Кузьма засопел, отвернулся и стал вынимать у деда из прорехи штанов судака. Их было два судака всунуты в деда: один в прореху штанов, другой в рот, и хоть дед был мертв, но один судак жил еще и содрогался.

— Деда нашего тюкнули, никого больше, — сказал Кузьма, выбрасывая судаков кошке, — он весь народ из матери в мать погнал,

изматерил дочиста, такой славный... Ты бы ему пятаков на глаза нанес...

Но тогда, десяти лет от роду, я не знал, зачем бывают надобны пятаки мертвым людям.

— Кузьма, — сказал я шопотом, — спаси нас...

И я подошел к дворнику, обнял его старую кривую спину с одним поднятым плечом и увидел деда из-за милой этой спины. Шойл лежал в опилках, с раздавленной грудью, с вздернутой бородой, в грубых башмаках, одетых на босу ногу. Ноги его, положенные врозь, были грязны, лиловы, мертвы. Кузьма хлопотал вокруг них, потом он подвязал челюсти и все примеривался, чего бы ему еще сделать с покойником. Он хлопотал, как будто у него в дому была обновка, и поостыл только расчесав бороду мертвецу.

— Всех изматерил, — сказал он, улыбаясь, и оглянул труп с любовью, — кабы ему татары попались, он татар погнал бы, но тут русские подошли, и женщины с ними, кацапки; кацапам людей прощать обидно, я кацапов знаю...

Дворник подсыпал покойнику опилок, сбросил плотницкий передник и взял меня за руку.

— Идем к отцу, — пробормотал он, сжимая меня все крепче, — отец твой с утра тебя ищет, как бы не помер...

И вместе с Кузьмой мы пошли к дому податного инспектора, где спрятались мои родители, убежавшие от погрома.

И. Бабель

Исторiя моей голубятни.

Изд. Земля и Фабрика. Москва — Ленинград.

ВОЛЬНИЦА

Буй

Крыло из стокрылья

ПРАЗДНИЧЕК

Весна восемнадцатого. Первая н а ш а весна. Кубань, Черноморье, Новороссийск, Ресефесерия. Пыл. Ор. Ярь. Половодье — урывистая вода...

Всю дорогу разговоры в вагоне. Об чем крики. Об чем споры. Все дела в одно кольцо своди: Бей буржуев. Бей, душа с них вон. Все наше. Голова мы. Когти мы. Беломордые? Што нам беломордые. Сила наша. Всех потопчем. Всех порвем.. Простонародная революция. Плач и стенанье. Песни и слезы. Навстречу под Тоннельной два эшелона попались. Урезный фронтовик. Кровь родная, Стогне Днипр, стогне широкый. И все одного аправления: ж а б н у т ь. Все машут винтовками и страшными олосами эрзерумских высот гукают

Долой Хвилимонова

Рви кадетню

Поиздили попили. Теперичко мы поиздимо Товарищи

Крой

Капиталу нет пощады

Долой.

А Хвилимонов главковерх царизма по-на-Кубани. В чине свахи гад ползучий: войсковой казачий круг с Радой спаривал. Но мы раз и навсегда против всей этой лавочки. И бои кругом рикотят:

под Тихорецкой, Тимашевкой, Невинкой... Скрозь бои по всей Тамани, по всей Кубани, аж до самого Терека. Диствительно долой генерала Покровского: дюже вредный генерал для крестьянского народонаселения. Ду ду. Фюьюрр

Березай... Вылезай

Новороссесйкый город. Станция Новороссейская. Где комендант? Аах, братишка. Сурьезные дела. Фронтовики не подкачают. В один мент обделают дела в лучшем виде. Эх ваша благородия держис ни валис. Фронтовик он... Где комѐндант под девято ево ребро

Есть

Здрастуйте

Ваш мандат?

Налицо.

Правильный мандат. Станичник Авдоким Гулько, как делегат за оружием. А комендант сучара развалился в мяхкой кресле и языком ледве-ледве

Ни от меня зависит

Як так?

Так

Да як же так?

Эдак

Да який же ты и комендант ко ли оружие немае? А ежли экстренное нападение контры?

Ни от меня зависит.

Га, чортов сынок

Плюнул делегат через коменданта на стенку. Давай в город срываться. Чи Совет рабочих солдатских. Чи Ревком. На лестницах народ. В залах народ. Руки ни пробьешь. С Черноморья мужики. Молдаване с Джубги, Дефановки, Сапсульской. Матросики шныряют туда-сюда: где-бы горилочки похрамчить. Тут-же неизвестный солдат серебряны тарелки продает. Потолкался потолкался Авдоким — ходов ни найти и пронял его такой-то ли апетит, такой апетит... Примостился на подоконнике. Хлеба отломтил и токо-токо за сало... Глядь-дорогой товарищ Васька Галаган

Каже, здорово голубок

Та неужто-ж ты

живый остався?

Ээ меня ни берет ни

дробь ни пуля

Ах . . . . мать,

рад я ужасно...

Вышел экстренный разговор. Смеется Васька откровенный друг. Подманил товарищей и давай рассказывать как с Авдокимом в трубе ночевали, как вдвоем по телеграфу город кавказскый взяли. Смеются матросы — щикатурка с потолка сыпится, советски шпалеры вянут стружкой по стенам завиваются. А в совет здешний всякая сволота понабилась. И большевики и меньшивики и кадеты и эстервы. Оружия тебе солдат не достать

Як так?

Да так

Да як же так?

Да эдак.

Ни по назначению попал

И—эх сердцу стало прискорбно. Уцепил Авдоким Ваську за рукав давай молить-просить

Васек товарищ подсердечный. За что мы скомлели, терхались? Долой золотую шкурку. И зачем нам кисла меньшевицка власть? В контрах вся Кубань — тридцать тысяч казаков. Што тут делать? И как тут быть?

Успокой ты свое солдатское

сердце Христаради

Будь уверен

Оружья мы

тебе достанем

Слово олово

Действительно долой кислу

меньшевицку власть.

А совет?.. Совет чхи

будь здоров — погремушка

Вся власть в

наших руках

Хоромы, дворцы и так и далее

Обрадовался Авдоким. Так-то ли обрадовался — сало и хлеб на подоконнике забыл. Табуном притопали в гостиницу Россия.

Картинки, диваны эти самые и занавески чистый шелк. Барахла понавалено барахла́. Сюда повернется — чемодан, туда — узел двоим не поднять. Расстегнули бутылочку, другую. Вспомнили с Васькой как на ахтомобили мимо дороги чесали — выпили. Про трубу вспомнили — еще выпили. За поповский сапог снова выпили. И опосля того вывел Васька гостечка дорогого через стеклянную дверь на тераску. Вывел да и показывает

Вон немцы в Крыму.

Вон Украина страна хлебородная.

Всю ее покорили стервозы

А флот наш сюда отсунули

Немцы?

Немцы, Авдоша, немцы хлесть иху мать. Шлем блем даешь флот по Брест-Литовскому. Шалишь. Распустили мы дымок — сюда уплитовали. Выпьем вино до последнего ведра — дальше поедем, разгромим все берега и с честью умрем

Зачем умирать? Умереть не хитро. Жить надо да радоваться. Погляди што кругом робится...

Я? Мы? Никогда сроду. Все прошли с боем, с огнем. Гайдамаков били. Раду били. Под Белградом Корнила шарахнули. С Калединым цапались. С татарами в Крыму дрались. Офицеров топили в пучине морской. Раз офицер — фактически контрик

Бей стычка.

Бей с навесу.

Бей наотмашь.

Хрули гадов.

Ни давай курвам пощады ни на........волос

Справедливо дядя. Полный оборот саботажа. Весь путь под саботажем. Мок-

роусовский отряд. Наш отряд. Черный флот. И кругом теперь судовые комитеты, Наша бражка. Чумазая, нечосаная. Дни и ночи у нас собранья и митинги, митинги и собранья. На дню выталкиваем по тыще резолюций: клянемся, клянемся и клянемся — **БЕЙ** контру. Баста...

Правильно, от Новороссийска море начинается. Корабли гуськом. Весь Черный флот. Пушечки. Дымок. Флаги праздничные. По утрам с дредноута Воля малым током радио по всей эскадре

В
сем
всемв
семсегод
днявечеро
мвгорсадуот
крытаясценана
вольномвоздухек
онцертмитингшампа
нскоебалдоутравходс
вободныйвоенморыпригл
ашаютсябезисключениядаз
дравствуетдаздравствуетдо
лойдолойдолойдаздравствуетсв
ободныйчерноморскийфлоттройка

Команды на берегу. Двенадцать тысяч матросов на берегу. Сколько это шуму. Гостиницы и дома буржуйские ломятся. Чи Совет? Чи Ревком? Хоромы дворцы и так далее. Лучше об нем и не говорить и слов не тратить. Даешь шампанского. И кислый Совет из бездонных подвалов Абрау-Дюрсо перекачивал на корабли шампанское. В неделю по два ведра на рыло. И цена подходящая. Двенадцать рублей бутылка. Твердая цена. Хватало и водки. Николаевской белоголовой. Слезу вышибала, за сердце брала: старорежимная, злая водка. Совет чхи будь здоров — погремушка с горохом. И такое бывало. Ночью загнав всех рысаков и смеху ради перетопив лихачей в вине и керенках, подваливалась к Совету буйная ватажка, обвешанная бомбами кольтами.

Даешь авто
Тыл штатска провинция
Душу
вынем
Го го го
Даешь авто

Высунется в окошечко дежурный член в шинель одетый.

Товарищи. Я сам четыре года кровь проливал.
Сам фронтовик, но автомобилей в Совете нет.
Даю честное благородное слово — нет. Вы
как сознательные...
Ботай.
Куда подевали?
Пропили.
Немцам берегут.
Душу выдерем
Товарищи...

Из толпы для забавы стреляли. Можбыть кверху. Можбыть в члена промахивались. Ни всякый скажем понятие о прицеле имеет. Да. А член мечет:

Я ни против. Я сам фронтовик. Вместо авто
Совет выставит пятьдесят бутылок шам панс
кого
Мало
Ни заливай нам.
Тоже фронтовик? — нажевал рыло-то.
Мало
Двести

Сходились на сотне. Всяко бывало. Девочки мармуленочки до одной за моряками. Вихрем свадьбы. Сплошная гульня. Свадебные поезда кишками. Через весь город. Скрозь. Свадьбы каждый час, каждую минуту. Кругом свадьбы. Пьянка — гулянка. Дым. Ураган. Жизня на полный ход. Хриплые женишки. Невесты первый сорт — карамельки. Шафера, подруженьки, тетушки — честь честью. И кольца. Колец ураган. С пальцами нарубили у корнил — офицеров. Венчанье — лохмачи осипли. Музыка крышу рвет. Денег много. Все пляшут. Все поют. Дым в небо. Женится Васька на буржуйской дочке. Денежки всему шапка. Васька с Маргариточкой за красным столом сидят. Друг

дружке эдак улыбаются. Маргариточка в форменке — женихов подарок. Куражится Васька. Уцепил ее за хребет. В миндальные губки целует. Вино пьет, стаканы бьет, похваляется.
Ах и веселый-жа народ матросы. Делегат за оружием Авдоким среди них ровно ржавый курган в зеленой степи. Дума грызет — и как-бы оружием разжиться? Ждут станичники. Хотя какое тут оружие ежели Васька женится? Отгуляем, отпляшем и... Ржет братва. На слово ни верит.

Га га га

Го го го

Ха ха ха

Васька пузырится. Васька из двух шпаллеров на спор садит в пустые бутылки понаставленные на рояль. Бабы визжат. Братва потешается. Чечеточку, ползунка, лягушечку как тряхнет — тряхнет Васька: локти на отлет

Рви ночки

Равняй деньки

Папаша то есть буржуй ихний безусловно пляшет. На затылке смятый котелок. Глотка буржуйская — голянище разношенное. Рвет камаринскаго на демократических началах. Ржут матросики над буржуем, подтыривают

Нет. Спой-ка ты нам яблочку

Тряхни

брылами.

Развесели гостей

Сыпь на весь

двугривенный.

Уморушка Татьянушка...

А матушка то есть буржуйка ихняя дышит над голубками. Пылью стелется.

Девушка она у меня деликатная, чуткая
Гимназию с золотой медалью...
Уж вы Василий Петрович ради бога будьте
с ней понежней... Она совсем, совсем ребенок

Ваську от умиления слеза прошибает

Мамаша... Да рази-ж мы не понимаем?..
Да я в лепешку расшибусь

Маргариточка за роялем трень — брень. Ее восковой голосок гаснет в мутном, утробном реве

Ах ты яблочко
Д' с боку верчено

И на улице под окнами подхватывают с подсвистом. Трещит выдираемая рама и в окошко рожа дико веселая

Э, да тут гулянка

Под окошками летучий митинг.

Свадьба
Ну
Залетим братва
Вались
Заходи,
братишки, заходи. Места хватит. Вина хватит
Зачем-же бить окошки?

Утром с похмѣльки

Ах ах
Где молодой?
Пропал молодой

Теща плачет. Маргариточка белугой ревет: охорашивает ягодки помятые. Шафера похмеляются, к подружинькам присватываются. Нету Васьки. Оказывается на фронт махнул. А можа и не на фронт. Вечером будто видали Ваську: в гортеатре зеркала бил. А завтра слышишь будто влюбилась в него артиска. Зафаловал Васька артиску французскую. Раз — раз, по рукам и в баню. Лафа этому Ваське. Куражится подлец: артиска, прынцеса, баба свыше всяких прав. Пришли ребята гулять и видят артиска ни артиска, а самая заправская чеканка Клавка Бантик. Кто-же ни знает Клавку Бантика? Перва стерва на всей планете. Васька начто доброго сердца человек и то взревел

Ах, ты кудлячко

Плеснул ей леща, другово и в расчете: безхитростный Васька человек.

Стонут качаются дома. Пляшут улицы. Прислонился ходя к России. По неизвестной причине плачет ходя разливается

Вольгуля мольгуля

Выкатились из России ребятки и навалились на ходю
Хам
Гам
Китаеза
Черепашьи яйца
Что обозначают твои слезы?
Вольгуля мольгуля
Моя лаботала лаботала, все денихи плолаботала — папилоса нету, халепа нету
Ха ха ха
Гу гу гу
Бедолага, сковырни слезы — едим с нами
А — яй, чудачок, кругом слобода, а ты плачешь
Едим
Моя каласо. Уф каласо

Эх развезло. Стой ни вались. В дымину пьяного делегата Авдошку в десять рук втолкнули в реквизированную архирейскую карету с проломленным боком. Ввалились Галаган, Суворов, китаеза, еще кто-то. Сорвалась пара разукрашенная красными лентами. И у лошадей праздник. И лошадям весело
Пошел
Качай — качай
Рви малину
Руби самородину

Помнил Авдоким станицу. Фронт помнил. Каурого жеребчика Сокола. А слова ровно раки пьяные расползаются
Вася , родной. Господи. Братишки. Контра.
Вся Кубань. Тридцать тысяч казаков. Вася, можешь ты меня. понять?..
Погоди и до казаков доберемся и их на луну шпилить будем
За што мы страдаем?
Ни разстраивай солдат ты своих нервов.

Всех
беломордых перебьем и
БББББАААААСССССТТТТТТАААААА
останется одна
пролетария
Оружия мы тебе достанем
Должны мы погулять? Первый праздник в жизни
Буржуям такого не снилось.

Гортеатр. Гейша. Занятная штука. Радовался китаеза ровно малый ребенок. Смеялся китаеза, в ладоши прихлопывал

Уф мая каласо

Авдоким под стульями спал. Трое в карточки перекидывались на заднем плане. А Галаган с Суворовым расставили по борту ложи бутылки. Хлебали шампанское. Гейшей интересовались. И языками причмокивали

Вот это буфера
Вот это нда
Вот бы вышибить пистонку
Бравааааааааааааааааааа

Вахтаналия. Разбудил Васька Авдокима

Едим
Куда

За денежками на дредноут Свободная Россия. Открыл Галагал сундучек кованый. Керенки, николаевски гривны, карбованцы, браслеты: все на свете. Подарил дружку бинокль Цейс на три фазы

Вот и портсигар бери. Не сомневайся — портсигар семь каратов...

У делегата руки трясутся. Бинокль за пазуху сунул. Часы золотые утопил в кулак. Подмигнул делегат Авдошка

За два оглядка куплено?

Ни боже мой.
Грабиловки ни когда и ни где на грош не сочинили. Все у мертвых отнято. Скажи зачем мертвому портсигар в семь каратов?
Показал-бы ты Вася корабль мне.

Эка махина...

Это можна.

Спускались в кочегарку. Васька сыпал:

У нас на миноносце Пронзительном из Кеевских-Харьковских сейфов 300 мест золота на палубе без охраны валяются. Ни кто пальцем ни трогает. А ты — грабиловка... Тут браток, особый винт упора. Понимать надо

Черно. Угарно. Топки жаром плескали. Ветрогонки ревели. Забитые угольной пылью задымленные кочегары в рукавицах, без рубашек. Бегали, мотались. Ширяли ломами. Подламывали скипевшийся шлак. Из угольных ям на руках чугунные кадки подтаскивали. Сопел, ревел огонь в топках. Угольные лампочки тухли. Авдоким утерся

Дюже жарко

Васька близко припадая к нему кричал

Это что. Два котла пущены. Это что. Вот когда все десять заведем УУУУУУ жара 80. Ветрогонки стара система — тяга слабая. Жара 80. Да ведь надо ни сидеть платочком обмахиваться. Надо работать без отверту, без разгибу. Ни пот — кровь гонит с тебя...

Жизня горьки слезы

Эх

в ,................ мать пять годиков я тут так отчубучил. Теперь свет увидал. Али и теперь ни погулять? Первой празник в жизни. Едим

Прыгнули в ялик. В город поцарапали. Город в огнях, в музыке. Кафе, рестораны все за матросами. Черно от матросов. Пьяно. льно. Пляско. Сплошной праздник

Штатским вход воспрещен

Горсад. Куплетисты. Цыганы. И кругом дешевка. В десятером, скажем, за тысячу всю ночь гуляй с девочками, с музыкой, с вином. Не любил Васька деньги перещитывать. А денег этих самых у него с полпуда. Пропивай — не пропьешь. Гуляй ни прогуляешь.

Ээх братишки в ....
Нонче гу-
ляй — завтра фронт.
Пей, все равно флот
пропал
Кто там бузит?
Бей буржуев — деньги надо
На верх вы товарищи все по
местам...
Надоела вся борьба. Домой...
Ни хочешь-ли на мой?
Врагу ни сдаетца
наш гордый Варяг... Пощады ни кто ни
желааааааает
Братишки, в ....
.... мать...

Сцена. Вальсняшка. Яблочко. Танец. Две киски. Дамочки мамочки бирюзовы васильки. Цыганка Аза в рот тебя в глаза. Рви рр рр рр ночки. Равняй деньки. Руби малину. Ни хочешь ли чаю с черной самородиной? Цыганка Аза в переверт тебя... Хор цыганский

Где болит? Чево болит?
Голова с похмелья
Нынче пьем, завтра пьем
Целая неделья
Иэх, давай
А ну давай
Пошевеливай давай
Иэх дою
А ну даю
Пошевеливаю
Даю
Даю
Даю
Пошевеливаю.

Наливался — наливался китаеза на голодное-то брюхо и вдруг поперло из него все обратно: мадера, шампанское и всевозможные закуски. За столом Авдоким, Васька, Ильин, Суворов, жид

Абрашка-слесарь из депа, пленный мадьяр Франц. На привольном воздухе. Ээх якорь глубины морской. Авдоким целует всех под ряд, сморкается в рукав:

> Абрашка, дай свою черствую руку... и рассознательный-жа у вас в депе пролетарият — ох... Законный пролетарьят — из рабочава строю. Глаза страшат — руки делают. Руки ни достанут — ребрами берете. Это так. Это по нашему. Шутка-ли? В неделю два бронепоезда сгрохали. Под Батайском, под Кореновкой шибко они нам помогли. Вот как помогли... Вася обрати внимание — два бронепоезда... В неделю два бронепоезда.

И Васька целует Абрашку, китаезу, Авдокима, шкипера Ильина, Суворова, шестерку

> Пей гуляй... Нонче наш праздник... Хозяин, даешь ужин из пятнадцати блюд. За все платим. А беломордых передушим до одного. Душа с них вон. Мы...

...На горе стоит ольха
Под горою вишня
Буржуй цыганку полюбил
Она за матроса вышла
Иэх давай
А ну давай
Пошевеливай давай
Иэх даю
А ну даю
Пошевеливаю
Даю
Даю
Даю
Пошевеливаю

Распалилось сердце Васькино. На стол влез ревом

> Братишки... Слушай сюда а а а...

И начался тут митинг с слезами с музыкой

Гра
Бра
Вра
Дра
Зра
С кровью
С мясом
С шерстью

И ночью же прямо из горсада на вокзал добровольческий отряд. Васьки Галагана партизанский отряд в триста голов. Ввалились к коменданту рявом

Оружья
Вынь да выложь

С пятого пути два вагона винтовок. Один Авдокиму достался. На крыши пульмановских ставили пулеметы. Грузили мешки с рисом хлебом сахаром. Китаеза работал как черт

Садиииииись

Длянь... Длянь... Длянь... Ду ду у у. Мотай Крути Винти

Поезд мчится
Огоньки
Дальняя дорога.

Артем Веселый

«Леф» № 1 (5)
1925 г.

«ВОИСТИНУ»

памяти В. В. Розанова
к 70-й годовщине со дня рождения
3.5 — 20.4 1856 (+ 1919) — 1926.

«Сегодня исполняется 70 лет со дня Вашего рожденья, честь имею Вас поздравить, Василий Васильевич! В молодости я все некрологи писал — — Ну, а как же! живым, известно: Бердяев, Щеголев, Савинков — — Никогда! Я ж не от худого сердца. Это кто в сердцах, тому и прет одна осклизлость в человеке, а в человеке, Вы это сами знаете, всегда найдется, отчего так хорошо бывает, ну, весело! (в нашем-то печальном мире — весело!) другой и сам за собой не замечает, в мелочах каких-нибудь или повадка. Раз как-то Пришвин помянул своего приятеля-земляка (из Ельца тоже и Ваш в роде как земляк) и вдруг так засиял — автомобильный фонарь! — и всем стало весело, а вспомнил он не «победы и одоления» приятеля, а про яйцо, как ловко приятель яйцо в смятку ел: «Ну так, знаете, скорлупку содрал чисто, сдунул и все подъел на-чисто, замечательный человек!»

> А мне сейчас почему про яйцо — со стола они на меня глядят яйца: и красные и синие и лиловые и желтые и зеленые и золотое и серебряное и пестрые — корзиночка: сегодня второй день Пасхи!

А теперь я пишу не «некрологи», а память пишу усопшим. Крестов-то, крестов понаставили! И все тесней и теснее — и Брюсов «приказал долго жить» и Гершензон «обманул»: в прошлом году в Москве похоронили! и этот, помните, кудрявый мальчик—«припаду к лапоточкам берестяным, мир вам, грабли, коса и соха, я гадаю по взорам невестиным на войне о судьбе жениха» — Есенин. Я, Василий Васильевич, памятью за каждое доброе слово держусь — это мне как свечи горят по дороге (и это мое счастье!), а должно быть, очень страшно брести последний путь — и одни пустые могилы — повторять во тьму: «люди — злые!» Нет, когда-нибудь соберу книгу — «Мое поминанье», все, как следует, в лиловом или в вишневом бархатном переплете и золотой крест посередке, там соберу всех, все, что доброе запало, и «о упокой» и «о здравии». Время-то идет, давно-ль все расписывались

«молодыми писателями», а теперь, посмотрите: в этом году исполнилось 60 лет — Вяч. И. Иванову, Д. С. Мережковскому, Л. И. Шестову. Юбилей Л. Шестова справляли по-русски — три вечера: на дому — литературное сборище, у С. В. Лурье — семейное, и третий вечер — философское: только философы. Бердяев, Вышеславцев, Эфрон, Ильин, Познер, Лазарев, Лурье, Сувчинский кн. Д. С. Мирский, Федотов, Мочульский (Степун не приехал!) и только я не философ, я за музыканта: читал весь вечер — три часа без перерыва — «Житие протопопа Аввакума им самим написанное», самую жизнерадостную книгу, а на тему: путь к вольной смерти! А Вячеслав Иванович Иванов в Риме отшельником: подп, пришел сосед П. П. Муратов, поставили самовар, попили чайку с итальянскими баранками, спели орфические гимны, ушел Муратов «комедию» писать, а юбиляр засел за «римские древности» — познания всесветные! достойный ученик своего великого учителя Момзена!

. . . .

Дождика не идет, все деревья зеленые — три дня дождь! — закурил и домой не хочется, так бы все и шел — — вот она, какая земля! любимая! — — Вы не понимаете? — — А ведь как Вы здесь-то, как любили: каждый корешок, каждую каплю, вот с крыши на меня сейчас и еще — это оттуда! Василий Васильевич! — «воистину!»

. . . .

Жил в России протопоп Аввакум (Аввакум Петрович Петров, 1621-1681), жил он при царе Алексее Михайловиче во дни Паскаля, когда Паскаль свои «Pensées» сочинял (1623-1662), и итог своих дел — это «житие им самим написанное»: ума проникновенного, воли огненной (конец его — сожгли в срубе!), прошел весь подвиг веры и, стражда, на цепи и в земляной тюрьме долгие годы сидя, не ожесточился на своих гонителей. «Не им было, а бысть же было иным!» А это называется: не только что около своего носа... да с другого и требовать нельзя: жизнь жестокая, осатанеешь! А как написано! Я и помянул-то протопопа «всея Росии» к слову о его «слове». Ведь, его «вяканье» — «русский природный язык» — и ваш «Розановский стиль» одного кореня. Во дни протопопа этот простой «русский природный язык» (со своими оборотами, со своим синтаксисом «сказа») в противоположность высокой книжно-письменной речи «книжников и фарисеев» в насмешку, конечно, и презрительно называли «вяканьем» (так про собак: лает, вякает), как ваше «розановское» зовется и поныне в академических кругах «юродством». А кроме Вас, от того же самого кореня, Иван Осипов (Ванька Каин) и Лесков — про Лескова или ничего не говорили (это называется в литературном мире «замораживать») или выхватывали отдельные чудные слова в роде: «жены переносицы», «мыльнопыльный завод» и само собой, в смех, но и не без удовольствия, а самый-то склад лесковской

речи, родной и Вам и Осипову и Аввакуму — да просто за смехом не вникали. В русской литературе книжное церковно-славянское перехлеснулось книжным же европейским и выпихнулось литературной «классической» речью: Карамзин, Пушкинская проза и т.д. и т. д. (ведь и думали-то они по-французски!) и рядом с европейским — с «классическим стилем» «русский природный язык»: Аввакум, Осипов, Лесков, Розанов. И у Вас тоже есть — ваша книга «О понимании»: Вы тоже могли и умели выражаться по-книжному, как заправский книжник и фарисей, и очень ценили эту книгу, и Аввакум щеголял Дионисием Ареопагитом и мифическим римским папою Фармосом латинского летописца (знай наших!) Но в последние годы Вашей жизни на этой чудеснейшей земле то, что «розановский стиль» — это самое «юродство» — это и есть настоящее, идет прямой дорогой от «вяканья» Аввакума из самой глуби русской земли. Сами Вы это знали-ли? (Аввакум проговорился: «люблю свой русский природный язык», Лесков, должно быть, не сознавал, иначе не умалялся бы так перед Львом Толстым!) Помните, в Гатчине, как мы у Вас на даче-то ночевали, Вы с сокрушением говорили, что рассказов Вы писать не можете, — «не выходит». А Вам хотелось, как у Горького или у Чехова — у аккуратнейшего «без сучка и задоринки» Чехова, которым упиваются сейчас англичане, а это что-нибудь да значит! и у Горького, который «махал помелом» по литературным образцам. Василий Васильевич, да ведь они совсем по-другому и фразу-то складывали — ведь в «вяканье» и в «юродстве» свой синтаксис, свое расположение слов, да как же Вы хотели по их, эка! Розанов — форму Чеховского рассказа? — да никак не уложишь, и не надо. Их синтаксис — «письменный», «грамматический», а Ваш и Аввакума — «живой», «изустный», «мимический». Теперь начали это изучать, докапываться в России — там книжники и вся казна наша книжная! Но и среди русских, живущих за-границей, есть та же дума. Сидит тут, в Париже Федотов, ученый человек, Вашими книгами занимается, опять же Сувчинский, глава евразийцев, Петр Петрович, а в этой самой Англии кн. Д. Святополк-Мирский — — да, да, сын Петра Дмитриевича, еще «весной»-то прозвали, благодаря ему нам разрешение вышло в Петербург до срока переехать, и с Вами тогда познакомились! — — А книг Ваших, Василий Васильевич, не видно: переиздали «Легенду о великом инквизиторе». Изд. Разум. Берлин, 1924. Стр. 266. А мне попалось тут единственное, что по французски переведено: Vassili Rozanov, «L'Eglise russe». Traduit avec l'autorisation de l'auteur par H. Limont-Saint-Jean et Denis Roche. Paris, Jouve et Cie. Editeurs, 1912. — p. 42.

От Ваших переводчиков получил. А в России — не в поре: «борьба на духовном фронте» и попади Вы в эту категорию «мистическую», ну Вас и изъяли — а уж про издание и говорить нечего. Только, думаю, этим немного возьмешь. Запрещенный-то плод сладок — тянет. По себе сужу, уж что ни сделал бы, а книжку достал, и всю б ее от доски до

Алексей Ремизов

Фот. Шумова.

доски — — Василий Васильевич, какой собрался богатый матерьял в мире всяких глупостей и губокомысленнейших, ну и несчастных! Война! — до сих пор не расхлебали. Конечно, во всем Божий промысел и дело не-человеческое — и «надо всему было быть, как было!» (Аввакум прав!) и не без «обновления жизни» такие встряски! но и правду сказать, и человек «действующий элемент» постарался — поду- ровали! А теперь, смотрите: и беды не оберешься и от беды не схоронишься —

— «Эй, дурачье, дурачье!»

А живи Вы тут — от сумы да от тюрьмы не зарекайся! — кто ж его знает, «борьба на духовном фронте!» и угодили б Вы сюда с Бердяевым и Франком и были б мы опять соседями, или в Clamart'е около Бердяева или где на Convention (Paris, XV^{e}) : Насоновуто, помните, подруга Вашей Веры, она за профессором Сеземаном, два у нее мальчика, старший Алеша, а другой Митька и что странно, Митька — вылитый с лица С. П., ведь вот же уродится так, и большой ее приятель, называет «подруга». И скажу Вам, и из здешней «зарубежной русской жизни» был бы вам матерьял. Когда-то Вы писали, что «заработал на полемике с каким-то дураком 300 рублей», ну, 300 не рублей, а франков — ручаюсь! — было бы Вам к Пасхе. Дождались мы Пасхи — а сколько было за зиму и болезни и всего! — и там в России! Хотите я Вам расскажу старый один советский анекдот про Пасху? Больно он из всех мне запомнился, а Вам, знаю, будет интересно —

. . . .

Действующее лицо: батюшка из тех, кого Вы ни к Чернышевскому, ни к Добролюбову не относите, нет, другой породы — не затейливой — («извините, с яйцами?») *) все эти попы Иваны и отцы Николаи, у которых одно лицо безвозростное с бороденкой и ходят они как-то, плечо опущено, и говорить «неспособны», а проповедь читает, бывало, по епархиальному листку, как поминанье без запятых и точек, сплошь без разбору. Так вот на Пасху в Москве у Гужона — рельсопрокатный завод (с детства помню, по вечерам из окна видно полыхающее зарево — Гужон — московская Бельгия) — устроили собрание с антирелигиозными целями от какой-то «безбожной» ячейки. Собралось народу видимо-невидимо — сколько одних рабочих на заводе! — тысячи. А выступал докладчиком сам нарком А. В. Луначарский. А видите ли, слыхал я ораторов: Федор Степун (во Фрейбурге под Дрезденом сидит), не переслушаешь или Виктор Шкловский (в Москве), такой отбрыкливый, ничем не подцепишь, а Луначарский — ну тот (собственными ушами слышал и не раз!) прямо рекой льется. И по

*) Алексей Ремизов, Кукха, Розановы письма. Изд. З. И. Гржебина, Б. 1923, стр. 93

окончании речи (часа два этак) выносится единогласно через поднятие рук резолюция, что ни Бога, ни Светло-Христова Воскресения нет и быть не могло, предрассудок. И тут же на собрании этот самый поп Иван выряет: в оппоненты записался. «Да куда, говорят, тебе, отец, нешто против наркома! да и уморились канителиться.» А ему — и Бог его знает, с чего это пристукнуло? — одно только слово просит. Ну, и пустили: «слово — гражданину Ивану Финикову». И вылезает — ну, ей Богу, Ваш! Ваш, безсловесный, самый русский природный, без которого круг жизни не скружится, а чего-то стесняющийся, плечо на бок — — «Христос воскрес!» — и поклонился, так полагается на Пасхе, приветствие, как здравствуйте, трижды: «Христос воскрес!» — «Воистину!» — загудело в подхват собрание, все тысячи, битком-набитый завод. Гужон с полыхающим вечерним заревом красных труб, московская Бельгия, — «воистину воскрес!»

Алексей Ремизов

Paris, 3. 5. 26.

НЕИСТОВЫЯ РѢЧИ

(по поводу экстазовъ Плотина) *)

> «Если бы взвѣшена была горесть моя, и вмѣстѣ страданіе мое на вѣсы положили, то нынѣ было бы оно песка морского тяжелѣе ; оттого слова мои неистовы».
>
> Книга Іова, VI. 2. 3.

«Пока душа въ тѣлѣ, говоритъ Плотинъ (III. 6. 6.), она спитъ глубокимъ сномъ».

Вотъ уже цѣлое столѣтіе, какъ вниманіе философовъ все больше и больше привлекаетъ къ себѣ ученіе Плотина. Каждый разъ появляются новыя изслѣдованія о немъ и каждое новое изслѣдованіе есть новый гимнъ Плотину. Нѣкоторые изъ его комментаторовъ не боятся ставить его наряду съ божественнымъ Платономъ. И почти никто не сомнѣвается въ томъ, что «ученіе» Плотина есть то, что на современномъ языкѣ принято называть философіей, т. е. прежде всего наука, такъ же какъ никто не сомнѣвается, что «ученіе» Платона тоже есть наука.

Но вотъ приведенныя выше слова Плотина: «поскольку душа въ тѣлѣ, она спитъ глубокимъ сномъ». Въ этихъ словахъ ключъ къ философіи Плотина. Можно въ нихъ видѣть научное утвержденіе, т. е. можно ихъ примирить со всѣми прочими утвержденіями, которыя добываются другими многочисленными науками? Иными словами—согласится ли «законъ противорѣчія», которому дано, какъ извѣстно, верховное право провѣрять закономѣрность человѣческихъ сужденій, признать это сужденіе истиннымъ и разрѣшить ему, наряду съ другими истинами, свободное обращеніе среди людей?

Я сказалъ, что приведенныя слова Плотина являются ключемъ къ его философіи. И точно, Плотина совсѣмъ нельзя понять, если постоянно, при чтеніи его эннеадъ, не вспоминать, что поскольку душа связана съ тѣломъ, она спитъ глубокимъ сномъ. Но, съ другой стороны, вѣдь вся жизнь всѣхъ людей, какъ объ этомъ свидѣтельствуетъ нашъ повседневный опытъ, есть жизнь не душъ, отъ тѣлъ освободившихся, а душъ, неразрывно съ тѣлами связанныхъ. И тѣмъ не менѣе эти связанныя съ тѣлами души размышляютъ, ищутъ, и находятъ истины ни мало не похожія на сновидѣнія и этимъ истинамъ законъ противорѣчія и всѣ законы, ему сподручные, безъ колебанія даютъ свою послѣднюю санкцію. Самъ собою возникаетъ вопросъ: въ какомъ отношеніи другъ къ другу стоятъ истины, добытыя душой отъ тѣла освободившейся, къ истинамъ, добытымъ душой отъ тѣла не освободившейся? Есть ли межъ ними, можетъ быть межъ ними какая либо связь? Видятъ ли онѣ и признаютъ одна другую?

Средневѣковье, какъ извѣстно, подняло вопросъ о двоякаго рода истинахъ — истинахъ теологическихъ и истинахъ философскихъ. И разрѣшило его или, по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ разрѣшало, въ томъ смыслѣ, что то, что можетъ быть истиной съ точки зрѣнія теологической, можетъ быть ложью съ точки зрѣнія фило-

*) Старая орфография по желанию автора.

софской — и наоборотъ. Но «нормальный теологъ» средневѣковья такой противуположности не допускалъ. Ѳома Аквинскій строго стоялъ на томъ, что истина — божественная ли, человѣческая ли, всегда одна и та же. «Principiorum naturaliter notorum cognitio nobis divinitus est indita, qum ipse Deus sit auctor nostrae naturae. Haec ergo principia etiam divina sapientia continet. Quidquid igitur principiis hujusmodi contrarium est, est divinae sapientiae contrarium: non igitur a Deo esse potest. Ea igitur quae ex revelatione divina per fidem tenetur non possunt naturali cognitione esse contraria». Иными словами: основные принципы нашего познанія и познанія божескаго одни и тѣ-же. Это положеніе доказывается посредствомъ цѣлаго ряда igitur, т. е. способомъ или методомъ того же cognitio naturalis, правомѣрность котораго какъ будто подлежала сомнѣнію и требовала оправданія. Такъ что выходитъ, что безупречный діалектикъ допустилъ на этотъ разъ petitio principii — и при томъ столь плохо скрытое, что его можетъ замѣтить даже торопливый и поверхностный читатель.

Правда и то, что ученіе о двоякой истинѣ не менѣе уязвимо. Для всякого очевидно, что одинъ и тотъ же человѣкъ одновременно не можетъ принять два взаимно исключающихъ положенія. Если истина теологическая гласитъ, что Богъ создалъ міръ въ шесть дней, а истина философская утверждаетъ, что міръ всегда существовалъ, то не можетъ быть, чтобы и философія, и теологія говорили правду. Либо философія заблуждается, либо теологія. Ибо, конечно, уже совершенно немыслимо, чтобъ законъ противорѣчія, самый незыблемый изъ всѣхъ законовъ, допускалъ хоть единое исключеніе. А тутъ рѣчь идетъ даже не объ одномъ, а о безконечно большомъ количествѣ исключеній. Библія, основной источникъ теологическихъ познаній, заключаетъ въ себѣ одинъ непрерывный разсказъ о событіяхъ, которыя съ точки зрѣнія разумнаго человѣка, должны быть признаны безсмысленными и противоестественными.

Стало быть, нужно отвергнуть ученіе о двоякой истинѣ и вернуться къ ученію нормальнаго теолога? Ea quae ex revelatione divina per fidem tenetur, non possunt naturali cognitione esse contraria: истина откровенія и истина познаваемая естественнымъ путемъ не могутъ противорѣчить одна другой. И еще меньше допустимо, чтобъ передъ лицомъ какого бы то ни было откровенія, самъ законъ противорѣчія, этотъ верховный судья надъ живыми и мертвыми, согласился бы, въ какомъ бы то ни было смыслѣ, поступиться присвоенными имъ себѣ — неизвѣстно когда и за что — суверенными правами.

Но, обратимся опять къ Плотину. Для Плотина, хотя онъ и жилъ въ сравнительно позднюю эпоху, когда «свѣтъ съ Востока» сталъ доступенъ всему греко-римскому міру, Библія была, конечно, такая же книга, какъ и всѣ другія книги: откровенія онъ въ ней видѣть не могъ. Значитъ это, что для него вопросъ о двоякой истинѣ не существовалъ? Иначе говоря, что онъ не чувствовалъ возможности та-

кихъ источниковъ познанія, которые не доступны «естественному» разуму и даютъ истины, не мирящіяся съ истинами, добываемыми нами «естественнымъ» путемъ?

Уже приведенныя въ началѣ слова его говорятъ намъ о другомъ. Плотинъ зналъ истины, которыя — хотимъ мы того или не хотимъ — приходится назвать откровенными, словомъ, такъ мало говорящимъ современному сознанію и даже возбуждающимъ въ немъ крайнюю степень негодованія. И — главное — когда ему приходилось выбирать между истинами «откровенными» и истинами «естественными», онъ, ни мало не колеблясь, бралъ сторону первыхъ: ἃ γὰρ ἡγεῖταί τις εἶναι μάλιστα, ταῦτα μάλιστα οὐκ ἔστι — т. е. то, что обыкновенному сознанію кажется наиболѣе существующимъ — наименѣе существуетъ (V.5.11.). Причемъ «обыкновенное сознаніе» — вовсе не есть сознаніе, свойственное другимъ людямъ, толпѣ, τοῖς πολλοῖς, такъ же какъ и истины, добываемыя обыкновеннымъ сознаніемъ тоже не суть истины, признаваемыя лишь толпой. Нѣтъ, самъ Плотинъ, какъ и всѣ прочіе люди, обычно находится во власти этихъ истинъ и только временами чувствуетъ въ себѣ силы освободиться отъ нихъ. «Часто, просыпаясь къ самому себѣ изъ тѣла (πολλάκις ἐγειρόμενος εἰς ἐμαυτὸν ἐκ τοῦ σώματος и отрывая свое вниманіе отъ внѣшнихъ вещей, чтобъ сосредоточиться на себѣ самомъ, я вижу дивную и великую красоту и убѣждаюсь твердо въ томъ, что судьба предназначила меня къ чему то высшему (τῆς κρείττονος μοίρας εἶναι ; тогда я живу лучшей жизнью, отождествляюсь съ богомъ и, погружаясь въ него, достигаю того, что возвышаюсь надъ всѣмъ умопостигаемымъ...» (IV.8.1.). Совсѣмъ, какъ у Пушкина, который, конечно, Плотина не зналъ. Пока не требуетъ поэта къ священной жертвѣ Аполлонъ — онъ, какъ и всѣ прочіе люди, погруженъ въ заботы суетнаго свѣта и является (Пушкинъ выражается сильнѣе и, нужно думать, болѣе адекватно, чѣмъ Плотинъ) самымъ ничтожнымъ существомъ между прочими ничтожными существами нашего міра. И только въ тѣ рѣдкія мгновенія, когда Божественный глаголъ касается чуткаго слуха поэта, душа его, отяжелѣвшая въ забавахъ міра, вдругъ, какъ пробудившійся орелъ, срывается съ мѣста и устремляется къ той дивной и непостижимой красотѣ, которую обыкновенное сознаніе считаетъ «по преимуществу не существующей».

Когда такъ говоритъ Пушкинъ, мы принимаемъ его слова за метафору. Или даже, вслѣдъ за Аристотелемъ, повторяемъ про себя: много лгутъ поэты. Но, Плотинъ, вѣдь, не поэтъ. Плотинъ — философъ и, какъ мы уже знаемъ, философъ, которому даже наша современность отводитъ лучшее мѣсто въ Пантеонѣ великихъ искателей послѣднихъ истинъ. Что же, и о немъ сказать — «много лгутъ»? Или сдѣлать, какъ это нерѣдко дѣлаютъ съ Платономъ, — выкорчевать изъ него всѣ такого рода признанія и сохранить только «обоснованныя», доказанныя положенія? И пробужденіе, о которомъ онъ такъ часто и такъ вдохновенно говоритъ, замѣнить какимъ либо другимъ, менѣе рискованнымъ словомъ?

II

Несмнѣнно одно: у Плотина, какъ и у нѣкоторыхъ замѣчательныхъ представителей средневѣковья, истина теологическая или истина откровенія находится въ непримиримой враждѣ съ истиной философской, т. е. научной въ обычномъ значеніи этого слова. Но тоже несомнѣнно: въ противуположность средневѣковымъ мыслителямъ Плотинъ ни разу не формулировалъ съ желательной ясностью и опредѣленностью свои мысли о взаимоотношеніи этихъ двухъ истинъ. Онъ говоритъ объ этомъ такъ, какъ будто тутъ нѣтъ и не можетъ быть никакого вопроса или какъ будто бы этотъ вопросъ самъ собой разрѣшался. Въ VI-й Эннеадѣ (9, гл. III и IV) онъ пишетъ: «каждый разъ, когда душа приближается къ безформенному ἀνείδεον), она, не будучи въ состояніи постичь его, т. к. оно не имѣетъ опредѣленности и не получило точнаго выраженія въ отличающемъ его типѣ — бѣжитъ отъ него и боится, что она стоитъ передъ «ничто» (ἐξολισθάνει καὶ φοβεῖται μὴ οὐδὲν ἔχει). Въ присутствіи такихъ вещей она смущается и охотно спускается долу... Главная причина нашей неувѣренности (происходитъ) от того, что постиженіе единаго (т. е. истина откровенія) дается намъ не научнымъ знаніемъ (ἐπιστήμη и не размышленіемъ (νόησις) какъ знаніе другихъ идеальныхъ предметовъ (τὰ ἄλλα νοητά), но причастіемъ (παρουσία) чѣмъ то высшимъ, чѣмъ знаніе. Когда душа пріобрѣтаетъ научное знаніе предмета, она удаляется от единаго (т. е. опять же отъ истины откровенной) и перестаетъ быть единымъ: ибо всякое научное знаніе предполагаетъ основаніе, а всякое основаніе — предполагаетъ множественность λόγος γὰρ ἐπιστήμη, πολλὰ δὲ ὁ λόγος).»

Это значитъ, что Плотинъ измѣняетъ основному завѣту своего божественнаго учитебя, онъ отрекается отъ λογοσ'а, становится, въ терминахъ Платона μισόλογος'омъ, ненавистникомъ разума. — Платонъ, вѣдь, училъ, что стать мисологосомъ — величайшее несчастье, какое можетъ приключиться человѣку. Да и самъ Плотинъ говорилъ — и эти слова постоянно повторяли его ученики и послѣдователи — ἀρχὴ οὖν λόγος καὶ πάντα λόγος — въ началѣ разумъ, и все разумъ (III. 2. 15).

Какъ же, если разумъ есть начало всего и все — есть разумъ, и, если величайшее несчастье — отречься отъ разума и возненавидѣть его, какъ же, спрашивается, могъ Плотинъ столь восторженно воспѣвать свое «Единое» и послѣднее съ нимъ соприкосновеніе? И гдѣ былъ, чего смотрѣлъ законъ противорѣчія, тоже ἀρχή, даже βεβαιοτάτη τῶν ἀρχῶν — самое непоколебимое начало?

Думаю, что обойти этотъ вопросъ никакъ нельзя. И тоже думаю, что новѣйшіе коментаторы Плотина напрасно такъ усиленно стараются доказать, что Плотинъ никогда отъ разума не отрекался и все время, когда размышлялъ и записывалъ свои размышленія, не сводилъ глазъ съ закона противорѣчія. Повидимому, прозорливѣе молодыхъ и ближе къ истинѣ былъ старикъ Целлеръ. Онъ не побоялся сказать: es steht mit der ganzen Richtung des klassischen Den-

kens im Widerspruch und es ist eine entschiedene Annaeherung an die orientalische Geistesweise, wenn Plotin nach dem Vorgange eines Philo das lezte Ziel der Philosophie nur in einer solchen Anschauung des Goetlichen zu finden weiss, bei welcher alle Bestimmtheit des Denkens und alle Klarheit des Selbstbewustseins in mystischer Ekstase verschwindet (V, 611). Въ другомъ мѣстѣ Целлеръ выражается еще сильнѣе: dem Philosophen (т. е. Плотину) ist das unbedingte Vertrauen zu seinem Denken verloren gegangen (V, 482). Целлеръ правъ, безусловно правъ. Плотинъ, тотъ Плотинъ, который столько разъ и такъ страстно превозносилъ разумъ и мышленіе, потерялъ довѣріе къ разуму, сталъ, вопреки завѣту Платона, μισόλογον'омъ — ненавистникомъ разума...

Фактъ значенія необычайнаго. И жаль, страшно жаль, что Целлеръ, умѣвшій подмѣтить, не захотѣлъ вдуматься или повнимательнѣй всмотрѣться въ такое исключительное явленіе и даетъ ему шаблонное объясненіе ссылкой на вліяніе Филона и восточныхъ умонастроеній! Я не стану здѣсь касаться вопроса, зналъ ли Плотинъ Филона и былъ ли онъ посвященъ въ тайны восточной мудрости. И не потому что не располагаю достаточнымъ мѣстомъ, а единственно потому, что считаю этотъ вопросъ празднымъ и безразличнымъ. Можетъ быть и зналъ — но, вѣдь, зналъ онъ тоже и классическую философію. И еще многое «зналъ». И зналъ, конечно, какъ никто другой, что говорилъ Платонъ о μισόλογος'ѣ и Аристотель о законѣ противорѣчія, которымъ однимъ только и держится всякая ясность и опредѣленность и власть котораго, въ свою очередь, только и держится отчетливостью и ясностью. Что же могло внушить ему дерзновенную мысль отказать въ повиновеніи величайшему изъ самодержцевъ — βεβαιοτάτη τῶν αρχῶν?? Какъ рѣшился онъ, забывъ предостереженія Платона, обречь себя на жалкое существованіе μισόλογος'а? Неужели писанія Филона или дошедшія до него изрѣченія восточныхъ мудрецовъ?

Въ исторіи философіи такія объясненія очень въ ходу. Но, по мнѣ, они были бы умѣстны только въ томъ случаѣ, если бы исторія философіи ставила себѣ цѣлью изучать творенія бездарныхъ и посредственныхъ философовъ. У такихъ, въ дѣйствительности, прочитанная книга опредѣляетъ собой многое, даже все. Но говорить по поводу Плотина объ идейныхъ вліяніяхъ — совершенно недопустимо. «Идеи» Плотина выросли непосредственно изъ его собственныхъ душевныхъ переживаній, изъ того, что онъ своими глазами видѣлъ, своими ушами слышалъ. И, если онъ дерзнулъ вступить въ борьбу съ «закономъ противорѣчія» или обречь себя на участь μισόλογος'а, то вовсе не потому, что до него кто то гдѣ то уже такое дерзновеніе проявилъ. Тутъ причины были болѣе глубокія и несравненно болѣе важныя.

Порфирій, біографъ и ученикъ Плотина, озабоченный — какъ и всѣ біографы и преданные ученики, больше всего тѣмъ, чтобъ обезпечить своему учителю благоговѣйное удивленіе потомства, разсказываетъ намъ много разныхъ подробностей о его жизни. Плотинъ

былъ очень безкорыстнымъ, очень честнымъ; очень умнымъ и наблюдательнымъ человѣкомъ. Онъ пользовался исключительнымъ довѣріемъ и любовью въ той средѣ, къ которой онъ принадлежалъ — и потому его охотно назначали опекуномъ надъ малолѣтними сиротами, выбирали въ третейскіе судьи, спрашивали у него въ трудныхъ случаяхъ совѣтовъ и т. д.. И всегда обращавшіеся къ нему оставались имъ довольны. Имущество малолѣтнихъ сохранялось, страдавшій подагрой сенаторъ излѣчился отъ своей болѣзни и даже важная дама, у которой пропали драгоцѣнности, благодаря Плотину, узнала, кто эти драгоцѣнности похитилъ. Нужно думать, что все, разсказанное Порфиріемъ, правда. Навѣрное, Плотинъ не соблазнялся ввѣрявшимся ему чужимъ богатствомъ, вѣроятно тоже его совѣты пошли на пользу и сенатору и дамѣ. И, несомнѣнно, что всѣ знавшіе его люди, какъ и его наивный біографъ, думали, что эти практическія добродѣтели Плотина находились въ непосредственной связи съ его философіей. Даже больше того — вполнѣ вѣроятно, что потому именно и цѣнили такъ его философію, что она, какъ говорятъ, оправдывалась жизнью философа. Въ новое время то-же повторилось и со Спинозой. И его философія многимъ импонируетъ прежде всего въ виду того, что Спиноза былъ человѣкомъ образцовой жизни. Но, вѣдь, навѣрное среди современниковъ Плотина въ Римѣ можно было найти — не скажу много, но десятки людей, которые такъ же добросовѣстно управляли чужимъ имуществомъ, такъ же хорошо давали совѣты и были такъ же наблюдательны, какъ и Плотинъ. И въ Голландіи въ XVII столѣтіи тоже мы могли бы найти людей столь же безкорыстныхъ, нетребовательныхъ и «спокойныхъ», какъ Спиноза. Но философами они не были. Можетъ лучше было бы, если бы намъ поменьше разсказывали о добродѣтеляхъ Плотина и Спинозы. Добродѣтели ихъ ушли вмѣстѣ съ ними въ могилу — а остались ихъ сочиненія, которыя нужно расшифровать и которыя не становятся менѣе загадочными благодаря сообщаемымъ ихъ біографами свѣдѣніямъ. Эти свѣдѣнія такъ же мало годятся для насъ, какъ и соображенія о вліяніи Филона Іудейскаго или восточныхъ мудрецовъ.

Тотъ же Порфирій сообщаетъ намъ, правда — между прочимъ, какъ будто бы объ этомъ и говорить не стоило, что его учитель никогда не перечитывалъ того, что писалъ. И опять таки, словно затѣмъ, чтобъ будущіе читатели Плотина не слишкомъ задумывались надъ этой странностью — тутъ же прибавляетъ и объясненіе: не перечитывалъ — потому, что глаза у него были слабы. Не знаю, какъ такое объясненіе могло кого бы то ни было удовлетворить. Слабые глаза — но, вѣдь, у Плотина было не мало учениковъ и друзей со здоровыми глазами. Тотъ же Порфирій — да и другіе, во время отлучекъ Порфирія — могли бы предоставить въ распоряженіе учителя свои глаза. Но, видно, Плотину глаза — ни свои, ни чужіе — не были нужны. И не нужно было, *нельзя было* перечитывать однажды написанное. *Такое* не приходило въ голову добросовѣстному Порфирію? А межъ тѣмъ, это — единственно допустимое объясненіе. Плотинъ не перечитывалъ того, что писалъ, такъ какъ два раза одно и

тоже ему нельзя было ни передумывать, ни повторять. И, вѣдь, въ самомъ дѣлѣ — мы только что слышали отъ Плотина, что то «главное», что служитъ предметомъ философіи не выноситъ опредѣленности, какъ и, наоборотъ, наше обыкновенное мышленіе не выноситъ безформенности. Когда душа приближается къ настоящей реальности — ею овладѣваетъ ужасъ, ей кажется, что она погружается въ ничто, что она гибнетъ. И, наоборотъ, когда послѣднюю, высшую реальность мы пытаемся захватить въ сѣти нашихъ точныхъ и ясныхъ высказываній, готовыхъ и привычныхъ категорій, она вытекаютъ изъ нихъ, какъ вода изъ рыбачьяго невода, когда его извлекаютъ изъ воды, — она превращается на нашихъ глазахъ въ страшное «ничто». Плотинъ не перечитывалъ своихъ писаній — это, конечно, такъ. Но не глаза ему мѣшали. Плотинъ могъ писать то, что писалъ только при томъ условіи, что ему самому никогда не придется перечитывать написанное. Ибо, если бы онъ рѣшился или былъ почему либо принужденъ перечесть написанное, то онъ самъ долженъ былъ бы произнести надъ собой тотъ приговоръ, который ему вынесъ черезъ полторы тысячи лѣтъ Целлеръ, сказать себѣ, что онъ потерялъ довѣріе къ разуму.

III

Скажутъ — мое предположеніе не только не разрѣшаетъ трудности постиженія Плотина, но, наоборотъ, какъ бы подчеркиваетъ невозможность какого бы то ни было разрѣшенія. Плотинъ могъ писать то, что онъ писалъ только въ томъ случаѣ, если онъ не перечитывалъ написаннаго имъ, — но какъ же тогда быть намъ, его отдаленнымъ читателямъ? Вѣдь чтобъ узнать мысль Плотина — приходится изучать его писанія, т. е. перечитывать ихъ не разъ, и не два — а очень много разъ, и искать у него какъ разъ той опредѣленности, которой онъ всячески старался избѣгать. Иначе выражаясь, изучать Плотина — значитъ убивать его. Но не изучать — значитъ отказаться отъ него. Что же дѣлать, какъ выйти изъ создавшагося безсмысленнаго положенія? Повидимому, выходъ только одинъ — тотъ, который нашелъ самъ Плотинъ: хоть у насъ глаза здоровые, нужно читать, но нельзя перечитывать его сочиненія. Т. е. не нужно искать у него единства мысли. Не нужно искать и убѣдительности, доказательности. Нужно сказать себѣ, что всѣ «доказательства», приводимыя имъ въ его писаніяхъ, только неизбѣжная дань школьной традиціи. Плотинъ былъ «профессоромъ», Плотинъ былъ «писателемъ» и, стало быть, этимъ самымъ обязывался говорить только то, что можетъ быть и должно быть признано всѣми, кто у него учился, т. е. слушаетъ его или читаетъ его книги. И Плотинъ былъ великимъ философомъ — стало быть, то же, мысль его должна черезъ вѣка и даже тысячелѣтія сохранить свою силу и принуждать всѣхъ къ покорности. Въ этомъ, только въ этомъ — т. е. въ силѣ и способности принудить, подчинить, покорить себѣ всѣ видятъ основной признакъ истинности мысли. Оттого всякая мысль ищетъ и добивается опредѣленности. Ибо подчи-

ниться можно только строгимъ и опредѣленнымъ требованіямъ; и наоборотъ — тамъ, гдѣ нѣтъ точности и опредѣленности, тамъ не можетъ быть рѣчи о принужденіи, тамъ начинается то царство свободы, которое уже совсѣмъ не отличается отъ ненавистнаго людямъ произвола. Тамъ нѣтъ уже никакой надобности перечитывать однажды написанное, ибо тамъ нѣтъ тоже никакой надобности не только другихъ, но и самого себя принуждать повторять то, что было уже однажды сказано и сглаживать «противорѣчія» въ своихъ высказываніяхъ. Тамъ «знаніе» т. е. ἐπιστήμη — есть λόγος, а λόγος — есть та предательская множественность, которая преслѣдовала Плотина во всю его жизнь.

Конечно, и слово «множественность» не имѣетъ у Плотина той опредѣленности, которую навязываютъ ему тѣ, кто вопреки его примѣру или, если хотите, завѣту непрерывно «перечитываютъ» (изучаютъ филологически) его сочиненія и стремятся сдѣлать его философію достояніемъ всего человѣчества. Какъ всѣ почти плотиновскія слова и это слово, «допускаетъ» разныя толкованія или, лучше сказать, заключаетъ въ себѣ много смысловъ. Да какъ могло быть иначе, когда, съ одной стороны ему надо было сказать «несказанное», а съ другой стороны, его «система» хотѣла впитать въ себя всѣ элементы, изъ которыхъ слагалась греческая философія въ теченіе своего уже тысячелѣтняго существованія? «Несказанное» для тѣхъ, кто его вообще принимаетъ въ серіозъ, можетъ быть выражено только въ томъ случаѣ, если слова, въ которыя его облекаютъ, такъ же измѣнчивы, многосмысленны и мимолетны, какъ и оно само. А «примирить» Аристотеля съ Платономъ или Платона со стоиками (какъ это дѣлалось въ школѣ Плотина) не значитъ-ли заранѣе отказаться отъ всякаго «ученія»? И не правъ-ли былъ учитель Плотина, мѣшечникъ Аммоній, запретившій ученикамъ оглашать свое ученіе? И самъ Плотинъ, ослушавшійся учителя, не внушалъ ли намъ, что правило элевзинскихъ мудрецовъ — открывать тайны только посвященнымъ, имѣло глубочайшій смыслъ? И все же онъ разрѣшилъ своимъ ученикамъ опубликовать свои сочиненія, которыхъ онъ никогда не перечитывалъ, которыя онъ, быть можетъ, не написалъ бы, если бы остался вѣренъ самому себѣ — вѣдь и въ самомъ дѣлѣ онъ началъ писать, когда ему уже исполнилось пятьдесятъ лѣтъ.

Какъ распутать всѣ эти противорѣчія? Но вотъ вопросъ: необходимо-ли ихъ во что бы то ни стало распутывать? Конечно, если хотѣть видѣть въ Плотинѣ «учителя» — какимъ онъ и былъ на самомъ дѣлѣ — то, ничего не подѣлаешь: придется распутывать, или хоть притвориться, что распутываешь. Но, если забыть объ его учительствѣ, какъ и о тѣхъ его добродѣтеляхъ и талантахъ, о которыхъ намъ разсказалъ преданный ему Порфирій? Вѣдь иной разъ забыть не менѣе полезно, чѣмъ припомнить. Сказать себѣ, что, вопреки всѣмъ, дошедшимъ до насъ свѣдѣніямъ, Плотинъ никого не обучалъ, никого не опекалъ, никакими имуществами не управлялъ, никакихъ сенаторовъ не излѣчивалъ и т. д.. И что онъ вовсе не такъ былъ озабоченъ тѣмъ, чтобъ мирить Платона съ Аристотелемъ. Что вся эта область — есть область «множественности» — ему, Плотину, чуждая и далекая.

Что это сонъ души, еще всецѣло погруженной въ тѣло и что настоящая жизненная задача Плотина состояла совсѣмъ не въ томъ, чтобъ самому спать и другимъ давать спать, но что настоящему своему дѣлу онъ могъ отдаваться только въ тѣ рѣдкія мгновенія (а вовсе не часто — πολλάκις — какъ онъ самъ говоритъ), когда, неизвѣстно почему и какъ, онъ «вдругъ» приближался къ чему то такому, о чемъ всѣ наши знанія говорятъ, что это есть только чистое «ничто»!

Конечно, — ни съ «ученіемъ» Платона, ни съ философіей Аристотеля и еще менѣе стоиковъ все это не имѣетъ ничего общаго. Ибо все это есть прежде всего не ученіе т. е. знаніе, держащееся на достаточномъ основаніи. И, стало быть, посколько послѣдующія поколѣнія усвоили себѣ Плотина, они усвоили то, чего у Плотина не было. Можно, конечно, повторять слова, фразы — можно даже цѣлыя страницы или главы изъ эннеадъ повторять или воспроизводить, какъ дѣлали прославленные отцы церкви и мистики. Историки могутъ по этому поводу разсуждать объ историческомъ значеніи Плотина, а насмѣшливые люди могутъ поддразнивать, что элевзинскія и иныя тайны перестали быть тайнами...

Но, все это не должно насъ смущать. Сущность тайны въ томъ, что ее «открыть» никакъ нельзя или, лучше сказать, сколько не открывай ее, все останется тайной. И историческое значеніе Плотина — призрачно. Онъ вліялъ и могъ вліять лишь въ той мѣрѣ, въ какой его слова истолковывались согласно преходящимъ нуждамъ и запросамъ той или иной исторической полосы. А вѣдь нужды и запросы человѣческія вовсе не въ томъ, чтобъ пробудиться отъ сна. Наоборотъ,люди хотятъ спать и всячески устраняютъ то, что мѣшаетъ спокойному сну. Нужно устранить и противорѣчія между ученіемъ Платона, Аристотеля и стоиковъ. Ибо противорѣчія безпокоятъ, будятъ, напоминаютъ о томъ, что хочется позабыть... Оттого столько говорятъ о «положительныхъ задачахъ философіи», оттого всякій философъ, не только самозванецъ, который дѣлаетъ изъ философіи профессію, но и настоящій, какъ Плотинъ, принужденъ являться на люди, какъ учитель: иначе онъ не можетъ оправдать себя предъ ближними и даже предъ дальними.

Но вотъ — Сократъ, котораго самъ Богъ призналъ мудрѣйшимъ изъ людей — Сократъ называлъ себя оводомъ или шпорой (μύωψ) — т. е. видѣлъ свое назначеніе не въ томъ, чтобъ успокаивать ближнихъ, давая имъ готовыя рѣшенія всѣхъ тайнъ и загадокъ жизни, а въ томъ, чтобъ отнимать спокойствіе у тѣхъ, кто собственными силами научился не видѣть въ жизни ни тайнъ, ни загадокъ. Сократовское «я знаю, что ничего не знаю», вовсе не было «ироніей», какъ насъ пріучили думать. И завѣтъ дельфійскаго бога — «познай самого себя» тоже не значилъ, что человѣку дано познать самого себя. Въ Дельфахъ людямъ были уготовлены не разгадки старыхъ загадокъ, а новыя загадки. Это всѣмъ было извѣстно, и все таки въ трудныхъ случаяхъ жизни люди запрашивали оракула, словно какая то непонятная сила толкала ихъ какъ разъ туда, гдѣ имъ суждено было запутаться. Въ довершеніе всего — Сократовскій демонъ, который,

конечно, былъ живымъ воплощеніемъ «ирраціональнаго остатка» и долженъ былъ бы тѣмъ, кто видѣлъ въ Сократѣ всезнающаго учителя, служить свидѣтельствомъ, что философія имѣетъ не только своимъ началомъ, но тоже и концомъ не спокойствіе, а безпокойство. Судьи, разбиравшіе дѣло Сократа, очевидно, догадались, кого они судили и въ этомъ смыслѣ оказались куда болѣе чуткими, чѣмъ наши современники, старающіеся оправдать Сократа отъ взведенныхъ на него обвиненій или, на худой конецъ, по примѣру Гегеля, видѣть въ «судьбѣ Сократа» діалектическій, неизбѣжный моментъ развитія идеи. Все это не такъ, какъ объясняютъ историки. Все это, съ одной стороны, много проще, а съ другой — много непостижимѣе. Проще — ибо Сократъ дѣйствительно былъ повиненъ въ томъ, за что его преслѣдовали — т. е. онъ, дѣйствительно, развращалъ юношей и на самомъ дѣлѣ не признавалъ боговъ, которыхъ чтили греки. Развращаетъ юношей не только тотъ, кто пріучаетъ ихъ къ праздности, пьянству и т. п.. Есть видъ «разврата»много болѣе раздражающій, чѣмъ пьянство и праздность. И непочтеніе къ принятымъ богамъ совмѣстимо съ глубокимъ и искреннимъ устремленіемъ къ тайнамъ иного міра. Сократъ, въ своей защитительной рѣчи нисколько не оправдывался отъ предъявленныхъ ему обвиненій: онъ откровенно самъ называлъ себя оводомъ, онъ ссылался на своего демона, а не на тѣхъ боговъ, которымъ приносили жертвы его сограждане. Но, вѣдь Анитъ съ Мелитомъ ни о чемъ другомъ и не говорили. Такъ что, если бы намъ пришлось теперь пересмотрѣть дѣло Сократа, и, если бы, къ тому, мы знали, что оправдательный приговоръ воскреситъ его къ жизни и дастъ ему возможность такъ же отравлять наше существованіе, какъ онъ отравлялъ существованіе своихъ современниковъ, мы бы, не колеблясь, вынесли ему тотъ же приговоръ, который ему былъ вынесенъ 2500 лѣтъ тому назадъ. И убѣдились бы, что вопреки Гегелю, «духъ» нисколько за этотъ огромный промежутокъ времени не развился и не подвинулся впередъ. «Безпокойство» было и осталось по настоящій день тѣмъ, чего люди больше всего боятся. И демоновъ, и оводовъ люди истребляли и всегда будутъ истреблять со всей безпощадностью, на которую они способны.

IV

Думаю, что теперь намъ не будетъ казаться такъ страннымъ, что Плотинъ до пятидесяти лѣтъ ничего не писалъ а, когда началъ писать, не перечитывалъ написаннаго. И то же, думаю, будетъ понятно, почему Порфирій, такъ близко стоявшій къ Плотину, его другъ и ученикъ, въ этихъ странностяхъ учителя не могъ и не хотѣлъ видѣть ничего загадочнаго. Тайна философіи открывается только «посвященнымъ». И главная, самая непостижимая тайна, о которой разсказалъ намъ Плотинъ, повидимому, въ томъ именно и заключается, что послѣдняя, а можетъ быть и предпослѣдняя истина дается намъ не какъ результатъ методическаго размышленія, а приходитъ извнѣ, неожиданно — какъ мгновенное просвѣтленіе (V III, 17,

конецъ). Но, если это такъ, если правъ Плотинъ, и философская истина не дается размышленіемъ, то вѣдь ей и «научиться» никакъ нельзя. Нельзя ее и провѣрить. Больше того: нельзя быть увѣреннымъ, что она, такъ - же, какъ и тѣ истины, которыя даются размышленіемъ, всегда и для всѣхъ равна и даже всегда равна для одного и того же человѣка. Можетъ быть Плотинъ, «прикасаясь» или «причащаясь» истинѣ, то видѣлъ одно, то видѣлъ другое. Правда, объ этомъ Плотинъ ничего не разсказываетъ.Даже, наоборотъ, онъ говоритъ такъ, что можно думать, что дѣло обстоитъ совсѣмъ иначе, что непостоянство есть признакъ явленій міра эмпирическаго, а въ мірѣ надъэмпирическомъ все всегда себѣ равно и перемѣны тамъ невозможны и недопустимы. Но, если бы было такъ, то почему всѣ слова, всѣ понятія, какія мы имѣемъ въ нашемъ разпоряженіи, совершенно непримѣнимы къ міру истинно дѣйствительному? Вѣдь, послѣ Сократа, наши понятія такъ именно и создавались, какъ если бы имъ суждено было выразить собой неизмѣнное, а не измѣняющееся. Даже Парменидъ въ знаніи (ἐπιστήμη) цѣнилъ возможность видѣть подъ измѣняющимися явленіями неизмѣнную сущность. Платонъ, какъ извѣстно, училъ тому же. И Плотинъ, въ этомъ отношеніи прочно державшійся традиціи Парменида и Платона, все измѣняющееся считалъ несуществующимъ, а существующее — неизмѣннымъ. Даже то обстоятельство, что онъ послѣднее, высшее начало называетъ «единымъ», какъ будто свидѣтельствуетъ, что измѣнчивость въ глазахъ Плотина есть порокъ, дефектъ бытія. Какъ же можно утверждать, что онъ, постигая или сливаясь со своимъ «единымъ», могъ въ разное время испытывать разное? Не значитъ-ли это извращать «систему» Плотина?

Спору нѣтъ: съ системой Плотина все, что я здѣсь говорю, ладится плохо. Но, вѣдь, задача наша вовсе не въ томъ, чтобъ найти у Плотина систему. Система — есть ἐπιστήμη, а ἐπιστήμη — есть λόγος. Мы же помнимъ, что послѣднее устремленіе Плотина въ томъ именно и состояло, чтобъ вырваться изъ власти λόγοσ'а. И, быть можетъ, въ его писаніяхъ это самая поразительная черта — при чемъ, вопреки Целлеру, въ этомъ его устремленіи нужно видѣть не разрывъ его съ древней философіей, а скорѣй наиболѣе полное и смѣлое выраженіе заданій, которыя ставила себѣ философія грековъ и, которыя, въ силу вышеупомянутаго закона судьбы или исторіи, осуществить ей не было дано. И Парменидъ, и Сократъ, и Платонъ — такъ же какъ и Плотинъ не добивались ни ἐπιστήμη, ни λόγος'а. Самъ Платонъ, который такъ прославлялъ λόγος — былъ, по своей природѣ, мисологосомъ. Ибо, что такое λόγος, что такое ἐπιστήμη Что такое та научная философія, въ измѣнѣ которой укоряетъ Плотина Целлеръ?

Припомнимъ опять то, что было сказано раньше о теологической и философской истинѣ. Нѣкоторые думаютъ, что средневѣковье, устанавливая такое раздѣленіе, имѣло тайную мысль — отдѣлаться отъ теологической истины, чтобъ открыть путь «свободному изслѣдованію». Несомнѣнно, между философами средневѣковья были по-

пытки такъ использовать ученіе о двоякой истинѣ. Но, по существу, здѣсь шло дѣло объ иномъ. Можно, конечно, тяготиться рамками, въ которыя тебя ставитъ принадлежность къ опредѣленному исповѣданію. Это, однако, вовсе не значитъ, что свобода отъ теологической истины приводитъ человѣка къ свободѣ изслѣдованія. Я думаю, что ученіе о двухъ истинахъ имѣло своимъ источникомъ мечту о совсѣмъ иной свободѣ — о той, которую воспѣвалъ Плотинъ.

Теологія стѣсняетъ человѣка, она насильно навязываетъ ему неприкосновенные догматы. Ну, а наука—она развѣ не связываетъ? Она отъ своихъ догматовъ (предпосылокъ) откажется? Она добровольно согласиться освободить васъ отъ «закона» противорѣчія? Она признаетъ, что часть равна цѣлому? Она поступится принципомъ, что ex nihilo nihil fit? Или что однажды бывшее можно сдѣлать не бывшимъ? Нормальный теологъ, такъ увѣренно утверждавшій, что не можетъ быть столкновенія между божескимъ и человѣческимъ разумомъ, осуждалъ людей на двойное рабство — и передъ догматами католичества, и предъ «истинами» Аристотеля. И тѣ, которые въ настоящее время, исходя изъ мысли о единствѣ философіи и науки, стремятся примирить ихъ межъ собой, дѣлаютъ то-же, что дѣлалъ Ѳома Аквинскій, т. е. служатъ не дѣлу освобожденія, а дѣлу порабощенія человѣчества. Наша задача, повидимому, не въ томъ, чтобъ мирить философію съ наукой, а ссорить ихъ. И чѣмъ напряженнѣе, чѣмъ ожесточеннѣе будетъ вражда философіи съ наукой, тѣмъ болѣе выгадаетъ человѣчество. Я думаю, что, если бы Сократъ сейчасъ воскресъ, то онъ почувствовалъ бы, что ему опять нужно превратиться въ «овода» и на этотъ разъ онъ всю силу своей ироніи прежде всего направилъ бы на тѣхъ, которые добиваются мира и добраго лада между философіей и наукой. И еще думаю, что его тревога, въ виду господствующихъ въ наше время тенденцій, была бы еще болѣе неизбывной, чѣмъ въ его первую жизнь. И, навѣрное пришлось бы ему припомнить ученіе о двоякой истинѣ, только не затѣмъ, чтобы дать «свободу» научному изслѣдованію, а чтобъ освободиться отъ научнаго изслѣдованія. Его демонъ, которому была дана власть приказывать, ничѣмъ не мотивируя свои приказанія, потребовалъ бы отъ него прежде всего открытаго разрыва съ научной философіей.

V

Конечно, уже первымъ шагомъ къ разрыву была бы рѣшимость Сократа поставить на мѣсто логоса и *φυσικὴ ἀνάγκη* своего демона, съ его загадочнымъ «вдругъ». Ему сказали бы, что, если каждый человѣкъ станетъ ссылаться на своего демона, то люди никогда межъ собой не сговорятся и вмѣсто принудительнаго единства и обязательной гармоніи, о которыхъ онъ хлопоталъ въ свою первую жизнь, получится нелѣпый хаосъ и невыносимая дисгармонія. Это возраженіе 2500 лѣтъ тому назадъ показалось бы Сократу совершенно неотразимымъ. Можетъ быть, тогда онъ согласился бы даже отречься отъ своего демона или хоть припрятать его подальше. Вѣдь демонъ и есть

та «тревога»,которая такъ отличала Сократа отъ его современниковъ, да и потомковъ. Но за двѣ съ половиной тысячи лѣтъ своего потусторонняго, внѣисторическаго существованія, Сократъ, нужно полагать, многому научился. Можетъ статься въ иномъ мірѣ открылось ему и ученіе о двоякой истинѣ и еще о томъ, что даже въ нашемъ эмпирическомъ бытіи истина не можетъ и не хочетъ быть единой. Или, иначе, что истина не выноситъ единства — такъ-же, какъ она не выноситъ неизмѣнности. Основной предикатъ потусторонней, т. е. метафизической истины въ нашемъ мірѣ есть то, чего люди больше всего избѣгаютъ и боятся — есть измѣнчивость и связанная съ измѣнчивостью непрерывная тревога. Вотъ почему — опять скажу — философія никогда не примирится съ наукой. Наука добивается «самоочевидности» и въ самоочевидностяхъ отыскиваетъ ту естественную необходимость, которая, провозгласивъ себя премірной, хочетъ служить основой всякого знанія и господствовать надъ самовластными «вдругъ». Философія же всегда была и будетъ борьбой, преодолѣніемъ самоочевидностей. Она вовсе не ищетъ «естественной необходимости» — она и въ естественности, и въ необходимости видитъ злые чары, которые нужно, если не совсѣмъ стряхнуть съ себя — что, повидимому, еще ни одному изъ смертныхъ никогда не удавалось, то хоть назвать ихъ настоящимъ именемъ. (Это тоже уже кой что значило бы!). Соотвѣтственно этому, теорія познанія, поскольку она является философіей, если не явно, то въ тайнѣ стремилась не къ оправданію, а къ обличенію положительнаго знанія. На худшій конецъ, всѣ почти философы приберегали хоть какого нибудь, хоть самого маленькаго, но самовластнаго deus ex machina. Даже безпечный Эпикуръ, (какъ иногда мнѣ кажется, съ плохо скрытымъ злорадствомъ) говорилъ о чуть-чуть замѣтномъ, но произвольномъ, ни на чемъ не основанномъ отклоненіи атомовъ отъ «естественнаго» направленія. И чѣмъ глубже и отважнѣе былъ философъ, тѣмъ щедрѣе прибавлялъ онъ къ сладкому меду понятнаго знанія дегтя проблематичности и загадочности. И стоики, которыхъ всѣ привыкли считать матеріалистами и раціоналистами, не только никогда не отказывались отъ «чудеснаго», но такъ же искали чудесъ и даже творили чудеса, какъ и другія философскія школы.

Я приведу здѣсь небольшой отрывокъ изъ Эпиктетовскихъ діатрибъ , въ которомъ сущность стоицизма выражается гораздо полнѣе, чѣмъ въ безконечныхъ писаніяхъ Сенеки и во всѣхъ дошедшихъ до насъ стоическихъ разсужденіяхъ. «Вотъ, по истинѣ, говоритъ онъ, жезлъ Меркурія: къ чему ты не прикоснешься имъ все обратится въ золото. *Дай мнѣ что хочешь — я все превращу въ добро* (Ὃ θέλεις φέρε, κἀγὼ αὐτὸ ἀγαθὸν ποιήσω). Дай мнѣ болѣзни, смерть, бѣдность, обиды, смертные приговоры — все обратится въ полезное, посредствомъ жезла Меркурія» (Diatr. III. 20). Такъ иногда умѣлъ говорить Эпиктетъ и вотъ въ чемъ *послѣдняя* завѣтная мысль стоицизма. И не только Эпиктетъ и не только стоики такъ смотрѣли на задачи философіи. Основная проблема философіи всегда была онтологическая. Въ древности болѣе открыто, въ наши дни — тайно,

но философы никогда не довольствовались ролью простыхъ «созерцателей», каковыми они слыли среди непосвященныхъ. Они, какъ Эпиктетъ, хотѣли творить чудеса, т. е. изъ того, что есть самого непригоднаго, изъ отбросовъ жизни, даже изъ абсолютнаго ничто, дѣлать самое лучшее, самое цѣнное. Всѣ знаютъ, что бѣдность, болѣзни, изгнаніе, смерть — есть тотъ матеріалъ, изъ котораго ничего сдѣлать нельзя — это, вѣдь, самая непреложная, самая очевидная истина, оспаривать которую могутъ либо глупцы, либо безумцы. А Эпиктетъ, которому, конечно, отлично извѣстно, что думаютъ «всѣ», безбоязненно говоритъ, что всѣ заблуждаются и торжественно заявляетъ, что онъ обладаетъ жезломъ Меркурія, который своимъ прикосновеніемъ превращаетъ самое безобразное и самое страшное — въ прекрасное, въ «добро»...

Мнѣ уже приходилось на это указывать, но здѣсь не безполезно будетъ повторить, что историки философіи всегда недооцѣнивали значеніе стоицизма. На самомъ дѣлѣ, вы не укажете ни одной философской системы, которая не была бы въ своей основѣ и глубочайшихъ корняхъ стоическою. Всѣ философы, когда говорили объ истинѣ, стремились къ всемогуществу. Всѣ искали жезла Меркурія, прикосновеніе котораго превращаетъ что угодно — въ чистое золото. И, въ этомъ смыслѣ, Плотинъ гораздо ближе къ Эпиктету, чѣмъ къ Аристотелю и даже Платону. И онъ прежде всего стремился прорваться сквозь строй самоочевидностей на просторъ свободнаго творчества. Вотъ почему въ его сочиненіяхъ, этикѣ и теодицеѣ отведено такое выдающееся мѣсто. Этика у Плотина, какъ у Эпиктета, какъ и въ новѣйшей философіи, есть ученіе о возможности немотивированнаго дѣйствія или, лучше сказать, дѣйствія безъ причины. Оттого этика всегда хотѣла быть автономной. Она не признаетъ «закона» достаточнаго основанія: у нея собственный «законъ». Обычно люди въ поступкахъ своихъ сообразуются съ условіями своего существованія: человѣкъ, по природѣ своей, хочетъ быть здоровымъ и потому выбираетъ себѣ въ пищу, что для здоровья полезно; человѣкъ хочетъ быть богатымъ, поэтому работаетъ въ потѣ лица, прикапливаетъ на черный день; человѣкъ хочетъ долго жить, потому избѣгаетъ опасностей, ищетъ сильныхъ друзей и союзниковъ и т. п.. Стоики, а за ними и Плотинъ, всѣ такого рода «потому» презираютъ и отвергаютъ. Здоровье, богатство и т. д., т. е. то, чѣмъ, повторяю, опредѣляются поступки людей — для нихъ не могутъ служить достаточнымъ «основаніемъ». Другіе, «безумцы» со всѣмъ этимъ считаются, видятъ въ этомъ «добро», потому что сами они не умѣютъ дѣлать добро, а берутъ его готовымъ изъ рукъ природы. Эпиктетъ неустанно твердитъ, что все, сдѣланное не самимъ человѣкомъ для человѣка совершенно безразлично. Важно только то, что имъ создается и потому находится въ его власти. И Плотинъ, когда «учитъ», что душа должна освободиться отъ тѣла, если хочетъ проснуться къ свободѣ, говоритъ то-же, что и Эпиктетъ. Онъ тоже отказывается принимать отъ природы или даже изъ рукъ боговъ готовое «добро». Добро должно самому сдѣлать, а что не можетъ быть сдѣлано самимъ человѣкомъ, то ни

на что не нужно. Совсѣмъ, какъ Эпиктетъ, онъ пренебрегаетъ не только богатствомъ, здоровьемъ, почестями — но и близкими, друзьями, даже отечествомъ. И, какъ извѣстно, очень хорошо доказываетъ, что все это — не блага, что все это призрачно и что только безуміе людей могло принять призрачное бытіе за реальность.

И еще любопытная аргументацiя плотиновской этики, тоже такъ близкая къ аргументанціи стоиковъ — Эпиктета, Марка Аврелія и болѣе раннихъ. Плотинъ безъ колебанія принимаетъ положеніе, что цѣлое больше своихъ частей и отсюда дѣлаетъ выводъ, что, если мы хотимъ постичь жизнь, мы должны глядѣть на міръ въ его цѣломъ, и не считаться съ судьбами отдѣльныхъ индивидуумовъ. И тогда то, что кажется ненужнымъ или дурнымъ выйдетъ и нужнымъ и хорошимъ. Какъ на картинѣ нужны не только свѣтлыя или яркія краски, но тоже и темныя или, какъ въ пьесѣ нужны не только добродѣтельные и прекрасные герои, но тоже и ничтожные и смѣшные. Эта излюбленная аргументація стоиковъ цѣликомъ воспринята Плотиномъ и занимаетъ въ его «системѣ» центральное положеніе. Судьбы отдѣльныхъ людей не тревожать его или, лучше сказать, по его «ученію» никого тревожить не должны. Шелъ торжественный хоръ къ храму и по пути раздавилъ черепаху, которая была слишкомъ недогадлива и тяжела на подъемъ, чтобъ во время свернуть въ сторону — есть о чемъ тутъ безпокоиться? И если бы то была не черепаха, а человѣкъ, скажемъ библейскій Іовъ, то развѣ было бы больше «основанія» для безпокойства? Тутъ даже нѣтъ, не можетъ быть вопроса. Наши вопрошанія должны быть направлены въ иную совсѣмъ сторону. Мы должны глядѣть не на отдѣльные случаи, а на общее, на цѣлое. Тогда мы добьемся того, что всего нужнѣй, тогда мы добудемъ волшебный жезлъ Меркурія и будемъ творить чудеса — будемъ превращать и бѣдность, и изгнаніе, и болѣзни, и даже самое смерть въ добро. Тогда этика станетъ на мѣсто онтологіи и можно будетъ забыть объ Іовѣ и его «неистовыхъ» рѣчахъ.

VI

Теперь, думаю, будетъ умѣстно вспомнить Паскаля и его размышленія объ Эпиктетѣ. Эпиктетъ былъ любимѣйшимъ философомъ Паскаля. Онъ цѣнилъ въ немъ человѣка, который лучше другихъ понималъ идею долга. Поскольку Эпиктетъ проповѣдывалъ покорность судьбѣ, готовность безропотно принимать отъ боговъ трудности жизни, Паскаль былъ всецѣло съ нимъ. Но все же что то отталкивало Паскаля отъ Эпиктета. И это «что-то» онъ назвалъ очень сильными словами: superbe diabolique. Нужно думать, что дьявольскую гордыню Паскаль усмотрѣлъ въ тѣхъ словахъ, которыя я привелъ выше. Эпиктету казалось, что онъ — самый скромный человѣкъ, и что его даръ творить чудеса не только не находится въ противорѣчіи съ его общимъ ученіемъ о нашихъ обязанностяхъ предъ богами, но, наоборотъ, логически или естественно выростаетъ изъ его ученія. Обязанность, основная обязанность наша — жить «сообразно съ природой»

и, разумѣется, тотъ, кто живетъ сообразно съ природой, добивается наибольшихъ результатовъ. Тому-же, на первый взглядъ, училъ и Плотинъ. И у Плотина чудо послѣдняго единенія съ богомъ было возможно только для тѣхъ, кто путемъ катарсиса, т. е. безупречнаго исполненія высшаго долга, приводилъ свою душу въ такое состояніе, при которомъ сами собой падали преграды, отдѣляющія его отъ горняго міра. Чтобъ достичь созерцанія того, что прекраснѣе всего, душа наша сама должна прежде стать прекрасной. И, совсѣмъ, какъ у стоиковъ, Плотиновскій κάθαρσις состоялъ въ освобожденіи отъ власти «тѣла». При чемъ — подчеркиваю это сейчасъ, ибо это имѣетъ рѣшающее значеніе — Плотинъ свое чудо послѣдняго свобожденія и единенія съ богомъ — умѣлъ воспѣть несравненно лучше, чѣмъ Эпиктетъ свой жезлъ Меркурія. Но — и тотъ, и другой искали чуда. И способъ исканія былъ у нихъ одинъ и тотъ-же: оба были убѣждены, что только преодолѣвъ тѣ очевидности, которыя внушены намъ чувственнымъ міромъ, мы обрѣтемъ послѣднюю свободу, свободу творчества изъ ничего, которая называется у Эпиктета добромъ, а у Плотина единеніемъ съ богомъ.

Паскаль Плотина не зналъ, но я думаю, что, если бы зналъ его, то, вѣроятно, тоже вспомнилъ бы о superbe diabolique. И остался бы при своемъ, даже въ томъ случаѣ, если бы его ученые друзья изъ Port Royal указали ему, что самъ бл. Августинъ не могъ противиться чарамъ послѣдняго великаго греческаго философа, и что идеями Плотина напоены творенія величайшихъ отцовъ церкви и несравненныхъ мистиковъ средневѣковья. Онъ бы — хоть это покажется страннымъ на первый взглядъ — съ ужасомъ и негодованіемъ воскликнулъ, что тутъ чувствуется несомнѣнное enchantement et assoupissement surnaturel. Иными словами, что стремленіе преодолѣть самоочевидности у стоиковъ, и у неоплатониковъ, и у поддавшихся вліянію греческихъ философовъ отцовъ церкви и мистиковъ, благодаря сверхъестественному вмѣшательству, превратилось въ свою противуположность. Эпиктетъ, вообразившій, что онъ овладѣлъ волшебнымъ жезломъ Меркурія и Плотинъ, который думалъ, что вырвавшись изъ оковъ тѣла, онъ взлетитъ къ небесамъ и пріобщится божественной сущности, стали жертвами своей гордыни. Они захотѣли уподобиться Богу — творить изъ ничего. Они и творили изъ ничего и думали, что могутъ свое творчество приравнять, даже поставить выше творчества Бога... Какъ могла такая безумная мысль придти въ голову людямъ — да еще такимъ людямъ, какъ Эпиктетъ или Плотинъ? Не ясно-ли, что тутъ замѣшана сверхъестественная сила? И не ясно-ли тоже, что во всемъ этомъ насъ должны интересовать не столько необыкновенныя «достиженія» Эпиктета и Плотина, сколько та невѣдомая и невидимая сверхъестественная сила, которая обрекла на безплодность величайшія усилія величайшихъ людей. Эпиктетъ и Плотинъ торжествуютъ, имъ кажется, что, наконецъ, они справились съ завѣщанной имъ Сократомъ тревогой. Что можно уже не тревожится, не искать, а — пѣть и учить. Плотинъ даже, какъ будто забылъ, что ему пришлось от-

речься отъ разума и надѣется, что ему удастся, при посредствѣ все того-же разума, превратить ниспосланныя ему мгновенныя видѣнія во всеобщія и необходимыя, всѣмъ всегда доступныя сужденія... Или, быть можетъ, онъ на то никогда не разсчитывалъ — это только его ученики такъ разсчитывали, ибо только при такомъ условіи они могли у него чему нибудь научиться? Порфирій — а за нимъ всѣ, кто изучалъ Плотина по изданнымъ Порфиріемъ его сочиненіямъ — это они искали и находили у Плотина всеобщія и необходимыя сужденія. А Плотинъ — мы помнимъ, что Плотинъ, по свидѣтельству самого Порфирія, ни разу не перечелъ того, что онъ написалъ. Онъ чуялъ, что, если перечтетъ, если повторитъ то, что разъ сказалъ, то его «истина» станетъ «сужденіемъ» — а всякое сужденіе есть то, что истину убиваетъ. И онъ могъ бы снять съ себя отвѣтственность за то, что его ученики или «исторія» сдѣлала съ его постиженіями. Онъ хотѣлъ вырваться изъ власти эллинскихъ идей, продиктованныхъ разумомъ, внѣ котораго древній міръ не видѣлъ спасенія. Онъ, мы помнимъ, зналъ что ἐπιστήμη и λόγος есть — множественность или выражаясь болѣе современными и потому понятными словами Целлера — онъ потерялъ безусловное довѣріе къ разуму. Онъ видѣлъ, что разуму дана власть разрушить міръ, что разумъ можетъ «доказать» иллюзорность и призрачность существующаго, но что творить изъ ничего разуму не дано, ибо тотъ же разумъ имѣетъ надъ собой непреоборимый для него законъ: ex nihilo nihil fit. И, стало быть, Плотину въ его борьбѣ съ самоочевидностями слѣдовало бы направлять свои удары не туда, куда онъ направлялъ. Онъ правъ, безконечно правъ былъ, утверждая, что человѣческія души находятся въ состояніи сна. И тоже былъ правъ, когда такъ безумно стремился къ пробужденію. Жившая въ его душѣ непрекращающаяся тревога и сейчасъ слышна намъ сквозь вдохновенныя строки его сочиненій. Но Плотинъ, какъ и Эпиктетъ, какъ и всѣ философы — поскольку имъ приходится говорить съ людьми, принуждены исходить изъ предположенія, что здѣсь, на землѣ, все и начинается, все и кончается. И тревога есть только начало — начало, которое должно на нашихъ глазахъ привести къ какому нибудь концу. Вѣдь и это — основной принципъ разума: все, что имѣетъ начало, имѣетъ и конецъ, какъ и ex nihilo nihil fit или цѣлое всегда больше части своей. Это все самоочевидности, отрицать которыя нѣтъ никакой возможности. И тоже самоочевидно, — что къ невозможному стремиться нельзя. Наконецъ, еще одна самоочевидность, здѣсь для насъ особенно существенная: философія обязана учить людей, иначе она не можетъ оправдать своего существованія. Вѣдь такъ и Сократъ думалъ. Онъ называлъ себя оводомъ, т. е. утверждалъ какъ будто, что его дѣло — только жалить людей, иначе говоря передавать имъ свою неизбывную тревогу. Но и Сократъ не могъ ограничиться этой ролью. И надъ нимъ тяготѣли самоочевидныя истины, на которыя онъ не осмѣливался поднимать руку. Онъ жалилъ, онъ будилъ людей — но онъ же обѣщалъ людямъ и истину, т. е. новый міръ, въ которомъ никто не будетъ спать, а всѣ бу-

дутъ бодрствовать — иначе говоря онъ обѣщалъ розворожить отъ чаръ старый міръ. Вѣдь это не Эпиктетъ впервые провозгласилъ, что ему дана власть превращать страшное и безобразное въ доброе и прекрасное. Это все тотъ же Сократъ, котораго соблазнилъ дельфійскій богъ, признавши его мудрѣйшимъ изъ людей, былъ первымъ философомъ, возмечтавшимъ о своемъ всемогуществѣ. Сократа соблазнилъ Аполлонъ, Сократъ же соблазнилъ послѣдующія поколѣнія эллинскихъ философовъ. Вѣдь это Сократъ, какъ свидѣтельствуетъ въ своей «Апологіи» Платонъ, заявилъ въ защитительной рѣчи, что, вопреки очевидности, хорошему человѣку никто не можетъ причинить зла. Сократъ же требовалъ, чтобъ это его утвержденіе было признано разумнымъ, т. е. всеобщимъ и необходимымъ — болѣе очевиднымъ, чѣмъ повседневный опытъ, который, выражаясь языкомъ Спинозы, доказываетъ, что удачи и неудачи равно выпадаютъ на долю благочестивыхъ и неблагочестивыхъ. Эпиктетъ въ своей вдохновенной фразѣ только вдохнулъ новую жизнь въ старую Сократовскую мысль. И Плотинъ, когда ему нужно было учить людей, искалъ истину у Сократа: въ третьей эннеадѣ (II. 6.) онъ буквально повторяетъ приведенныя только что слова Сократа.

VII

Теперь для насъ пріобрѣтаетъ новый смыслъ плотиновское утвержденіе: поскольку душа въ тѣлѣ, она спитъ глубокимъ сномъ. Плотинъ чувствовалъ, что нужно отъ чего то проснуться, преодолѣть какія то самоочевидности, какъ чувствовали его великіе предшественники — Эпиктетъ, Платонъ, Сократъ. Нужно найти чародѣя, заворожившаго человѣческія души. Гдѣ онъ? Какъ бороться съ нимъ? Казалось бы, что нужно начать борьбу съ логосомъ, освободиться отъ властвующихъ надъ людьми идей, что тотъ «сонъ души», который грозитъ переходомъ къ небытію и есть наше довѣріе къ самоочевиднымъ истинамъ. Но древняя философія — и Плотинъ тутъ не составляетъ исключенія — никогда не рѣшалась на *открытую* борьбу съ самоочевидностями. Новая философія, до сихъ поръ живущая завѣтами эллиновъ — даже въ лицѣ тѣхъ ея представителей, которые, какъ Плотинъ, не имѣютъ уже безусловнаго довѣрія къ разуму, проявляетъ ту-же нерѣшительность. Ибо бороться съ самоочевидностями — не значитъ ли заранѣе обречь себя на неудачу?

Я только что привелъ слова Спинозы: повседневный опытъ доказываетъ намъ, что удачи и неудачи равно выпадаютъ на долю и благочестивыхъ и нечестивыхъ. Можно возразить что либо на это? Это объективная истина, которую люди знаютъ уже много тысячелѣтій. Но можно принять ее? Мы тоже только что слышали отъ Сократа, что хорошему человѣку никто не можетъ сдѣлать зла. Какъ примирить эти два противуположныхъ утвержденія? Рядомъ жить въ нашемъ мірѣ, гдѣ законъ противорѣчія всевластенъ, онѣ не могутъ. Либо истина повседневнаго опыта пожретъ истину Сократа, либо сама ею будетъ пожрана. И наряду съ этой системой еще цѣ-

лый рядъ поддерживающихъ ее истинъ, отъ которыхъ нѣтъ и не можетъ быть спасенія ни во снѣ, ни на яву. Проснуться отъ этихъ истинъ — нельзя. Онѣ пропитали все наше бытіе: и одушевленный и неодушевленный міръ въ ихъ власти. Что же дѣлать? Какъ принять непріемлемое, преодолѣть непреодолимое? Отвѣтъ былъ одинъ — подсказанный Сократомъ циникамъ и возведенный въ теорію стоиками: непреодолимое, неизбѣжное должно такъ, или иначе быть признано пріемлемымъ. Или, какъ выразился Эпиктетъ, дайте мнѣ что угодно — я все превращу въ добро. Философъ превращается, долженъ превратиться въ чудотворца. Основной частью философіи не только, у стоиковъ, какъ принято думать, но во всѣхъ системахъ, какъ древности, такъ и новаго времени становится этика, которая питаетъ собою все — даже онтологію. Что такое этика? Послѣ всего сказаннаго выше едва-ли кто станетъ возражать, что этика есть, была и, очевидно, всегда будетъ искусствомъ творить *естественныя* чудеса. Именно — естественныя, т. е. согласныя съ разумомъ и подчинившіяся необходимости, усмотрѣнной разумомъ во вселенной. Прочтите діатрибы Эпиктета—вы убѣдитесь въ этомъ, прочтите эннеады Плотина — вы убѣдитесь въ томъ-же. И тогда вы поймете, почему Паскаль говоритъ о superbe diabolique Эпиктета и почувствуете удѣльный вѣсъ его восклицанія: «Богъ Авраама, Исаака и Якова — а не Богъ философовъ». Вѣдь и Паскаль искалъ чуда — но «естественное чудо» возбуждало въ немъ все негодованіе, на которое онъ былъ способенъ. И не потому, что онъ испугался «противорѣчія» заключающаго въ такомъ словосочетаніи. Эпиктету точно казалось, что противорѣчіе невыносимо для человѣческой души (πᾶσα δὲ ψυχὴ λογικὴ φύσει διαβέβληται πρὸς μάχην — — II. 26), но Паскаль зналъ, что на свѣтѣ есть вещи, много болѣе нестерпимыя для насъ, чѣмъ противорѣчія — внутреннія или внѣшнія. И тоже зналъ онъ, конечно, что чудо сверхестественное — не менѣе противорѣчивое понятіе, чѣмъ чудо естественное. И, если онъ отвергъ чудеса философіи и предпочелъ имъ чудеса Библіи, то у него, нужно полагать, было на то основаніе. Или, быть можетъ, онъ сдѣлалъ свой выборъ произвольно, не имѣя на то никакого опыта? «Вдругъ» открылось ему, что иной разъ отсутствіе основанія, какъ великолѣпно выразился Бергсонъ, лучше всякого основанія? И тогда тоже внезапно «прозрѣлъ», убѣдился, что всѣ наши основанія, всѣ наши очевидности только assoupissement et enchantement surnaturel?

Тутъ, повидимому, и кроется принципіальная противуположность между Паскалемъ и традиціонной философіей, противуположность, которую даже и самому Паскалю въ дошедшихъ до насъ pensées не удалось выявить съ достаточной остротой. Когда то Милль сказалъ, что если бы каждый разъ, когда мы беремъ два предмета и прибавляемъ къ нимъ еще два, какое нибудь существо подсовывало бы намъ еще одинъ предметъ, мы были бы убѣждены, что $2 \times 2 = 5$. И, вѣдь, Милль правъ или, вѣрнѣе сказать, противъ своей воли высказалъ глубочайшую мысль. Сплошь и рядомъ, когда мы

беремъ два предмета и прибавляемъ къ нимъ еще два, выходитъ пять: пятый кто-то подсовываетъ. Но люди «подсовывателя» не замѣчаютъ, и только «заключаютъ», что въ извѣстныхъ случаяхъ 2×2=5. Въ новѣйшее время Бергсонъ формулировалъ эту мысль такъ, что научное мышленіе избѣгаетъ всего «новаго». Каждый разъ, когда кто то «подсовываетъ» намъ новое, мы стараемся «объяснить» его, т. е. сдѣлать видъ, что ничего новаго не произошло. Ибо, по ученію разума, исходящаго изъ самоочевидностей или, что то-же, изъ идеи естественной необходимости, всякое «новое» — есть дерзновеніе, есть недолжное, есть ему, разуму, противное или ираціональное. А стало быть — ничего новаго нѣтъ, такъ какъ нѣтъ того, чего быть не можетъ.

Почему такъ происходитъ? Почему люди такъ боятся новаго, какъ будто бы оно было тѣмъ страшнымъ «ничто», о которомъ говорилъ Плотинъ? Отвѣтъ, кажется, возможенъ только одинъ. Возможность «новаго» вырываетъ изъ рукъ человѣка волшебный жезлъ Меркурія, который давалъ ему воображаемую силу творить естественныя чудеса. Новое — значитъ совершенно неожиданное, непредвидѣнное и непредвидимое; новое — это такое, что непохоже ни на что, до сихъ поръ бывшее и, конечно, не подчиняющееся человѣку и тому волшебному жезлу, о которомъ мечталъ Эпиктетъ. Но, вѣдь все «старое», т. е. уже извѣстное людямъ, тоже было когда-то «новымъ», т. е. тоже когда то появилось на свѣтъ, не испросивъ согласія человѣка и не ожидая мановенія его жезла! Стало быть старое новое, какъ и новое новое когда то «дерзновенно» появилось на свѣтъ, не заручившись разрѣшеніемъ разума и держателей разума, людей. Какъ съ нимъ быть съ этимъ прежде появившимся новымъ? Если признать старое новое нужно будетъ признать и новое новое? Разумъ, вѣдь не согласится стать въ противорѣчіе съ самимъ собой, разумъ, вѣдь, ни за что не откажется отъ послѣдовательности!

VIII

Изъ сказаннаго выше ясно, что въ этикѣ и теодицеѣ Плотина нѣтъ ничего оригинальнаго и значительнаго. И все же «историческое» значеніе Плотина держалось на его этикѣ и теодицеѣ. И средневѣковье и новое время — вплоть до нашихъ дней — упивалось и продолжаетъ упиваться переданными ему черезъ Плотина идеями стоиковъ. Возьмете-ли вы бл. Августина, мейстера Экгарта, Спинозу, Лейбница, Гегеля или даже кого-либо изъ нынѣ живущихъ философовъ, у всѣхъ вы найдете болѣе или менѣе ясно выраженное убѣжденіе, что, т. к. сверхъестественныя чудеса невозможны, то нужно удовольствоваться чудесами естественными. Конечно, нигдѣ эта мысль такъ не формулируется. Обычно, доказательства о невозможности чуда сверхъестественнаго вовсе и не связываются съ утвержденіями, что нужно довольствоваться чудесами естественными. Даже у стоиковъ приведенное выше изрѣченіе о жезлѣ Меррурія является въ своемъ родѣ единственнымъ. Теорія познанія, т.

е. ученіе объ объективной истинѣ, разрабатывается обычно совершенно независимо отъ этики и теодицеи, которыя имѣютъ своимъ заданіемъ оправданіе міра и творца. Но не даромъ столько говорятъ о «единствѣ» философскаго міросозерцанія. Этика всегда была неразрывно связана съ теоріей познанія, теоріей познаній обусловливалась и изъ нея вытекала. Когда теорія познанія выставляла свой принципъ естественной необходимости, или невозможности чудеснаго, этикѣ и теодицеѣ ничего другого не оставалось, какъ предложить взамѣнъ невозможныхъ сверхъестественныхъ чудесъ свои возможныя чудеса, естественныя. Самоочевидность устанавливала, что Сократа, лучшаго изъ людей, по признанію Платона, «мудрѣйшаго изъ людей» по признанію дельфійскаго бога, погубили два бездѣльника — Анитъ и Мелитъ. Измѣнить это люди не умѣютъ, ибо по свидѣтельству разума, однажды бывшее нельзя сдѣлать небывшимъ. Разумъ, одинъ разумъ, вѣдь, знаетъ, что возможно и что невозможно. И знаетъ, что нужно стремиться къ возможному и не добиваться невозможнаго. Этикѣ ничего больше не остается, какъ, принявши отъ разума готовую дѣйствительность, объявить, что эта дѣйствительность не существуетъ, что она даже не дѣйствительность, а призракъ и что настоящая дѣйствительность эта не та, которая дана человѣку, а та, которая самимъ человѣкомъ творится. Ибо, какъ учили стоики, для насъ цѣнно только то, что въ нашей власти, все же, что не въ нашей власти, для насъ безразлично, стало быть какъ бы не существуетъ или даже просто не существуетъ.

Остановимся на минуту и спросимъ себя опять: какъ удалось этикѣ захватить права онтологіи? Иначе: какъ творитъ она свои естественныя чудеса? Въ чемъ тайна жезла Меркурія? Вѣдь это не такая тайна, которая не можетъ стать явной; чудеса стоиковъ — чудеса естественныя и тайны ихъ не боятся дня и свѣта. И точно, у стоиковъ нѣтъ ничего такого, что приходилось бы скрывать отъ непосвященныхъ. Даже Плотинъ,, который знаетъ, что тайна никогда не становится истиной, доступной всегда для всѣхъ, даже Плотинъ въ своей этикѣ и теодицеѣ такъ же ясенъ и откровененъ, какъ и стоическіе мудрецы. Чтобъ творить чудеса, учитъ онъ, нужно только отвергнуть тѣло. И не только собственное тѣло — но и весь тѣлесный міръ. Міръ тѣлъ людямъ не подвластенъ. Мы не можемъ сдѣлать такъ, чтобъ одинъ Сократъ былъ сильнѣе, чѣмъ Анитъ и Мелитъ, со стоявшими за ними аѳинянами. Не можемъ тоже превращать слѣпыхъ въ зрячихъ, глухимъ даровать слухъ, побѣжденныхъ дѣлать побѣдителями, воскрешать умершихъ и т. д.. Но мы можемъ, такъ учили стоики, сказать себѣ: намъ все равно, что быть слѣпыми, что зрячими, что быть побѣдителями, что быть побѣжденными, намъ все равно — жить или умереть. Все это насъ не касается — а нашихъ тѣлъ. Даже, если и отечество погибнетъ — мы можемъ сказать: намъ все равно. Все, что происходитъ въ тѣлесномъ, чувственномъ мірѣ — для насъ безразлично. Душа человѣческая призвана не къ тому, чтобы повиноваться, а къ тому, чтобы повелѣвать. Добро — автономно, самозаконно. Добро добываетъ свои принципы не изъ

внѣшняго міра — оно подчиняетъ міръ своимъ принципамъ. Всѣ впечатлѣнія извнѣ — только вѣстники (ἄγγελλος), они доносятъ о томъ, что происходитъ, душа же — царь, (βασιλεύς) ей дано верховное право распоряжаться всѣми. А разъ такъ, разъ право вязать и рѣшать принадлежитъ душѣ — кого и чего бояться ей? Ничто во всей вселенной не страшно для того, чья душа отвернулась отъ тѣлеснаго міра.

И для стоиковъ, и для Плотина было самоочевидно, что бороться съ «естественной необходимостью», которая породила міръ — безплодно. Необходимость нужно принять и покориться ей. Бороться можно только съ человѣческимъ Я, съ нашими оцѣнками того, что намъ дано. Мы ропщемъ, негодуемъ, радуемся, плачемъ, торжествуемъ, приходимъ въ отчаяніе, надѣемся и т.д. въ зависимости отъ того, посылаетъ ли намъ судьба удачи или неудачи. Всѣмъ кажется, что это такъ и быть должно, что этого нельзя и не нужно измѣнить. Но какъ разъ это и можно и должно измѣнить. «Стоитъ только» то, что люди цѣнятъ и чего боятся отнести къ области безразличнаго и мы изъ рабовъ превращаемся въ царей, изъ людей — въ боговъ. Свободное существо — царь, богъ: ни отъ кого ничего не принимаетъ и не ждетъ. Ему не страшны ни бѣдность, ни болѣзни, ни изгнаніе, ни даже смерть. Раздавили черепаху, отравили Сократа, разрушили отечество — все это такъ и быть должно, все это мудреца не касается и не тревожитъ его. Волшебный жезлъ Меркурія творитъ свои естественныя чудеса и разумный человѣкъ презираетъ неистовыя рѣчи библейскаго Іова, вообразившаго, что его скорбь можетъ на какихъ то сверхъестественныхъ вѣсахъ оказаться тяжелѣе, чѣмъ песокъ морской. Was wirklich ist — ist vernüftig.

Все время я говорю о Плотинѣ наряду съ Эпиктетомъ, какъ будто бы отожествляю стоицизмъ съ неоплатонизмомъ. И я думаю, что это давно уже нужно было сдѣлать: не отожествлять, конечно, а сблизить въ гораздо большей степени, чѣмъ это было до сихъ поръ принято. «Ученіе» стоиковъ и неоплатониковъ несомнѣнно выросли изъ общаго корня. Философія всегда была борьбой и преодолѣніемъ самоочевидностей. Но, каждый разъ, когда философу приходилось выбирать между самоочевидноостями, которыя нужно преодолѣть и самоочевидностями, которыя можно принять, сказывалась основная черта нашей природы — наше неодвѣріе къ творческимъ силамъ, т. е. къ возможности новаго и необычнаго во вселенной. Вотъ почему истина «откровенная» всегда враждовала съ истиной «научной». И Богъ, какъ училъ св. Ѳома, не можетъ сдѣлать что либо, что не согласно съ принципами человѣческаго разума. Ex nihilo nihil fit, все что есть, всегда было и къ тому, что было уже никогда ничего не прибавится. Чудеса, стало быть, возможны только естественныя и самъ Богъ, какъ превосходно доказалъ въ своемъ теолого-политическомъ трактатѣ Спиноза, долженъ быть только естественнымъ чудомъ, сотвореннымъ людьми. Но, такъ какъ люди могутъ творить только «идеальныя» сущности, только принципы, только начала — то и Богъ, котораго сотворили люди, долженъ быть чисто идеальной

сущностью. Надъ міромъ реальностей человѣкъ не воленъ, онъ не можетъ создать не только ни одного живого существа, ему не дано вызвать къ бытію и неодушевленный предметъ, даже почти призрачный атомъ. Значитъ, и Богъ ничего создать не можетъ: міръ существуетъ самъ по себѣ, сществуетъ извѣчно, въ силу все той же «естественной необходимости». Да и существуетъ-ли онъ вообще? Не есть ли онъ только обманъ, наважденіе, отъ котораго мы должны стремиться во что бы то ни стало освободиться? Библейское сказаніе о томъ, что Богъ сотворилъ міръ изъ ничего для нашего разума совершенно не пріемлемо, оно оскорбляетъ его въ самой его сущности. Это истина теологическая, предъ которой истина научная ex nihilo nihil fit ни за что не согласится склонить свою гордую главу. И такъ какъ законъ противорѣчія въ свой чередъ ни за что не отречется отъ себя, то, стало быть, этимъ двумъ истинамъ рано или поздно неизбѣжно было вступить между собой въ послѣдній и страшный бой.

Такъ оно и случилось. Въ новѣйшее время, какъ извѣстно, полную побѣду одержала истина научная. Изъ всѣхъ «доказательствъ» бытія Божія сохранило силу только одно — доказательство онтологическое и сохранило именно потому, что оно находится въ полномъ согласіи съ самоочевидностями разума, т. е. что въ немъ этика цѣликомъ вытѣснила онтологію. Богъ есть всесовершеннѣйшее существо, а идея совершенства, вѣдь, цѣликомъ опредѣляется разумомъ и, стало быть, можно впередъ быть твердо увѣреннымъ, что въ ней мы не найдемъ элементовъ, для разума непріемлемыхъ. Даже предикатъ «реальность», всегда доставлявшій разуму наибольше всего хлопотъ въ этомъ доказательствѣ настолько обезвреженъ или, какъ предпочитаютъ въ такихъ случаяхъ говорить умные люди, на столько «преображенъ», что онъ уже не враждуетъ и не соперничаетъ съ предикатомъ «идеальность». Гегель могъ со спокойной совѣстью защищать онтологическое доказательство бытія Божія. Онъ зналъ, что его логосъ при этомъ нисколько не пострадаетъ и что верховныя права разума не только не понесутъ ущерба, но будутъ еще лишній разъ подтверждены и жезлъ Меркурія останется въ его рукахъ. У Бога будетъ отнята возможность творить сверхъестественныя чудеса, но человѣкъ тѣмъ болѣе сохранитъ свою власть творить естественныя чудеса, которыми похвалялся Эпиктетъ.

IX

И все же исторія философіи, которая хочетъ видѣть въ слѣдовавшихъ одна за другой системахъ философіи преемственную связь, жестоко ошибается, полагая, что наша современность не только усвоила все, что добыли древніе, но еще ушла далеко впередъ. Гегель изучалъ Плотина, Гегель преклонялся предъ Плотиномъ, но, очевидно тайна Плотина, его ἀληθινὴ ἐγρήγορσις (истинное пробужденіе — III, 6. 6) Гегелю не открылась. Не открылась она, повидимому, и новѣйшимъ его комментаторамъ — какъ Гартману съ его школой, такъ и другимъ. И не открылась, надо думать, именно по-

тому, что они такъ добросовѣстно изучали его. Плотина, который до 50 лѣтъ ничего не писалъ, а написаннаго послѣ пятидесяти лѣтъ не перечитывалъ, нельзя изучать. И еще меньше можно включать его въ цѣпь историческаго развитія. Насъ не должно соблазнять то обстоятельство, что самъ Плотинъ, воспринявъ въ свою «систему» всѣ элементы существовавшей до него эллинской философіи, этимъ какъ бы подвелъ итоги тысячелѣтней работѣ духа Эллады. Онъ это сдѣлалъ, онъ «послужилъ исторіи», какъ служитъ исторіи всякій живущій на землѣ человѣкъ. Но, если мы хотимъ постичь истинную задачу философа, то мы прежде всего должны вырвать его изъ тѣхъ историческихъ рамокъ и условій, въ которыя его вставила капризная случайность бытія. Или, во всякомъ разѣ, въ этихъ условіяхъ научиться видѣть если не помѣху его творчеству, то не больше чѣмъ одинъ изъ многочисленныхъ чисто внѣшнихъ предлоговъ для размышленія.

Такъ, по поводу Плотина, охотно и много говорятъ о трудностяхъ политической жизни въ его эпоху. Римскіе императоры произвольно смѣнялись и, добившись власти, сами сажали на престолъ тотъ отвратительный произволъ, благодаря которому имъ удалось добиться власти. Этимъ охотно и просто объясняется стремленіе Плотина бѣжать изъ нашего міра. Кажется вполнѣ «естественнымъ», что живи Плотинъ въ другую эпоху, онъ бы иначе думалъ и говорилъ. Но опять скажу: такого рода «объясненія» имѣютъ своимъ назначеніемъ скрывать отъ насъ истину. Если бы Плотинъ жилъ въ средніе вѣка, въ эпоху Перикла или при Людовикѣ XIV, онъ говорилъ бы на другомъ языкѣ, но то-же, что говорилъ въ своихъ эннеадахъ. Вѣдь тотъ «произволъ» и та звѣриная жестокость, которыя въ III вѣкѣ по Р. Х. сидѣли на римскомъ тронѣ —развѣ ихъ не было въ другія эпохи? Развѣ блескъ вѣка Елизаветы Англійской или царя -солнца затмилъ бы настолько взоръ Плотина, чтобъ онъ увѣровалъ въ благополучіе человѣческаго существованія? Порфирій намъ разсказалъ, что Плотинъ стыдился своего тѣла, — неужели можно думать, что живи онъ въ эпоху, когда произволъ облачался въ видимость справедливости и твердой законности, ему бы зависимость отъ тѣла казалась менѣе постыдной? И онъ не стремился бы всѣми силами тому, чтобы τὴν ψυχὴν χωρὶς εἶναι τοῦ σώματος, чтобъ душа его была внѣ тѣла? Или не прославлялъ бы ἀφοβία τοῦ θανάτου (безстрашіе передъ смертью), какъ высшую добродѣтель ἀνδρεία (мужество)? И не видѣлъ бы свой философскій идеалъ въ возможности взлетѣть надъ знаніемъ (ἐπιστήμη), потому что знаніе — есть логосъ, а логосъ — есть множественность? А разъ такъ, значитъ и при Елизаветѣ, и при Людовикѣ XIV, и когда хотите забота и философскій пафосъ Плотина сводились бы къ тому, чтобъ бѣжать, бѣжать безъ оглядки изъ того царства самоочевидностей, въ которомъ на престолѣ сидятъ не императоры однодневки, — какъ бы они не назывались, а то «вѣчное», безплотное, идеальное начало, которое съ незапамятныхъ временъ называется «естественной необходимостью» (φυσικὴ ἀνάγκη). Вотъ съ этой то естественной необходимостью и съ сопутствующими ей самоочевид-

ностями и боролся Плотинъ. О нихъ онъ и говорилъ, что, пока душа въ тѣлѣ, она спитъ непробуднымъ сномъ.

Въ этомъ можетъ убѣдиться всякій, кто съ должнымъ интересомъ читалъ девятую книгу второй эннеады, въ которой Плотинъ полемизируетъ съ гностиками. Еще задолго до Плотина — подъ вліяніемъ Платона, и еще болѣе подъ вліяніемъ циниковъ и стоиковъ, въ древнемъ мірѣ назрѣвало убѣжденіе, что «тѣло» есть источникъ зла на землѣ. Плотинъ, повидимому, первый изъ языческихъ философовъ, принялъ это убѣжденіе цѣликомъ, безъ всякихъ оговорокъ и передалъ его отъ себя средневѣковью, какъ принципъ, не подлежащій ни сомнѣнію, ни пересмотру. Есть всѣ основанія думать, что этотъ принципъ являлся условіемъ возможности проникновенія христіанства въ культурный греко-римскій міръ. Ветхій Завѣтъ, какъ извѣстно, начинается словами — *ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ γῆν* — въ началѣ Богъ создалъ небо и землю. Но 4-ое Евангеліе начинается другими словами: *ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος*. Ученіе Ветхаго Завѣта въ такомъ видѣ, въ какомъ оно излагается въ Книгѣ Бытія было абсолютно непріемлемо для греко-римскаго міра. И гностики были послѣдовательнѣе и выдержаннѣе другихъ христіанскихъ сектъ первыхъ вѣковъ нашей эры. Они рѣшительно отвергли Ветхій Завѣтъ. Они отвергли и Бога Ветхаго Завѣта, творца неба и земли. Если мы спросимъ себя, что побудило ихъ отречься отъ Ветхаго Завѣта, для насъ станетъ ясно, что они исходили изъ того же желанія, которое вдохновляло Плотина — *τὴν ψυχὴν χωρὶς εἶναι τοῦ σώματος* — освободить душу отъ тѣла. Гностики тоже стыдились и боялись «тѣла» и они были убѣждены, что все зло въ мірѣ отъ тѣла и отсюда выводили, что, если хочешь избавиться отъ зла, нужно избавиться отъ тѣла. Приведу удивительныя слова Валентина, сохранившіяся въ сочиненіяхъ Клемента Александрійскаго: «отъ начала (*ἀπ᾽ ἀρχῆς*) вы безсмертны и дѣти вѣчной жизни: вы захотѣли раздѣлить смерть межъ собой, чтобъ побѣдить ее, истребить, разрушить, уничтожить въ себѣ и черезъ себя. Если вы разрушите міръ, не давши ему разрушить себя, вы будете господствовать надъ сотвореннымъ и надъ всѣмъ преходящимъ». Въ этихъ словахъ съ рѣдкимъ своеобразіемъ и силой выражена уже знакомая намъ мысль, давшая жизнь и содержаніе многимъ главамъ плотиновскихъ эннеадъ. Гностики видятъ источникъ зла въ «мірѣ», т. е. въ тѣлесной сущности. И утверждаютъ, что люди, по своей природѣ, безсмертны и дѣти вѣчной жизни и что лишь по-стольку, по-скольку они связаны съ внѣшнимъ міромъ, они обречены тлѣнію и смерти. А стало быть — нужно преодолѣть міръ и разрушить его: тогда вся власть будетъ въ человѣческихъ рукахъ и самое страшное — смерть — перестанетъ быть страшнымъ.

Казалось бы, Плотинъ долженъ былъ признать въ гностикахъ друзей и союзниковъ. Онъ же — мы только сейчасъ объ этомъ говорили — училъ, что наша задача освободить душу отъ оковъ тѣлесности, онъ же проповѣдывалъ, что нужно бѣжать изъ видимаго міра. Но, когда онъ услышалъ свои собственныя слова изъ устъ гностиковъ, онъ пришелъ въ неописуемое негодованіе: вся девятая кни-

га второй эннеады есть выраженіе этого негодованія. Плотинъ, словно онъ самъ никогда не утверждалъ ничего и похожаго на это, заявляетъ, что поносить міръ есть величайшее кощунство и еще большее кощунство — поносить Творца міра. Въ противуположность гностикамъ, онъ въ этой книгѣ говоритъ о видимомъ мірѣ почти тѣми же вдохновенными словами, какими онъ въ другихъ книгахъ говоритъ о мірѣ умопостигаемомъ. Историки и этой непослѣдовательности Плотина нашли, какъ и слѣдовало ожидать, «простое» объясненіе. Въ Плотинѣ сказался эллинъ и эллинское преклоненіе предъ тѣлесно прекраснымъ. Простое объясненіе! Не даромъ говорятъ, что иная простота хуже воровства. А гдѣ же «азіатскія вліянія», о которыхъ намъ прежде столько говорили? И развѣ Плотинъ не былъ грекомъ, когда взывалъ: бѣжимъ какъ можно скорѣй изъ этого міра? Или когда училъ, что путь къ высшему достиженію — — μόνος γενέσθαι (оторваться отъ всего, извнѣ пришедшаго)? Или развѣ Платонъ не былъ грекомъ, когда говорилъ почти то-же? Ясно, для того, кто хочетъ видѣть, что «простыя» объясненія здѣсь совершенно неумѣстны. Тутъ причины совсѣмъ другого порядка. Плотинъ, очевидно, не выносилъ логической обработки своихъ мыслей. Онъ самъ могъ отрекаться отъ видимыхъ, тѣлесныхъ вещей, онъ могъ стремиться прочь изъ міра, могъ предпочитать смерть жизни и т. д. Но, когда гностики захотѣли превратить всѣ эти измѣняющіяся душевныя состоянія его въ неизмѣнную истину т. е. во всеобщія и необходимыя сужденія — Плотинъ вышелъ изъ себя. Вѣдь самъ онъ никогда не перечитывалъ того, что писалъ! Каково же было ему, когда онъ вдругъ увидѣлъ и услышалъ, что то, что онъ чувствовалъ и говорилъ только иногда и только для себя, вдругъ, (тоже при посредствѣ жезла Меркурія!) у гностиковъ было провозглашено вѣчной истиной, т. е. тѣмъ, что всегда есть, всегда было и будетъ и инымъ быть не можетъ? Да, онъ писалъ, что только забывши все и сосредоточившись всецѣло на самомъ себѣ, онъ достигалъ той свободы, безъ которой для него невозможно было единеніе съ Богомъ. И писалъ, конечно, правду. Временами ему нужна была эта великая внутренняя тишина, при которой все, даже «естественная необходимость», перестаетъ связывать и давить человѣка. Но, развѣ отсюда слѣдуетъ, что міръ созданъ дурнымъ богомъ и что міръ нужно порочить? И, что должно удовольствоваться тѣмъ созданнымъ человѣческими руками міромъ идеальныхъ сущностей, который воспѣвали гностики и стоики? Міръ во злѣ лежитъ : онъ это говорилъ, онъ такъ думалъ и писалъ — но опять же такое можно испытать, но изъ этого нельзя и не нужно дѣлать «истину». Мы знаемъ, какъ тщательно избѣгалъ Плотинъ всякихъ положительныхъ опредѣленій этой своей высшей сущности, которую онъ, конечно, умышленно назвалъ ничего не говорящимъ словомъ «Единое». Ὑπέρκαλος, ὑπεράγαθος и т. д., говорилъ онъ ней. Онъ ее и сущностью не хотѣлъ называть, онъ утверждалъ, что она ἐπέκεινα νοῦ καὶ νοήσεως. Всѣ эти отрицанія и суперпревосходныя степени имѣли, очевидно, одинъ смыслъ и одно назначеніе, какъ и плотиновскій завѣтъ — «взле-

тѣть надъ познаніемъ»: освободиться — не отъ тѣхъ даровъ, которые намъ принесли боги, а отъ тѣхъ самоочевидностей, которыя привносятся нашимъ разумомъ (опять таки, въ терминахъ Эпиктета, волшебнымъ жезломъ Меркурія) и при посредствѣ которыхъ разнообразный, противорѣчивый матеріалъ переживаній превращается въ неподвижную, всегда себѣ равную, а потому, «понятную» идею. Что и говорить: чтобъ вырваться на свободу, нужно забыть о томъ, что внѣ тебя. Но забыть можно лишь то, что зналъ. И забыть лишь по-стольку, по-скольку знаніе связываетъ, т. е. по-стольку, по-скольку то, что однажды испыталъ, притязаетъ на абсолютную власть надъ тобой. Плотиновское «забвеніе» нужно понимать не въ томъ смыслѣ, что онъ стремился вытравить изъ своей души все, что ей дано было испытать. Наоборотъ — и объ этомъ свидѣтельствуетъ его несдержанныя нападки на гностиковъ — для Плотина уйти отъ внѣшняго міра значило расколдовать его отъ чаръ разума, повелѣвающаго человѣку въ «естественномъ» видѣть предѣлъ возможнаго. Плотинъ въ этихъ, устанавливаемыхъ разумомъ, «предѣлахъ» чувствуетъ то-же enchantement et assoupissement, о которыхъ намъ впослѣдствіи разсказывалъ Паскаль. И тоже чувствуетъ, что эта завороженность и оцѣпеніе вовсе не естественны, а въ высокой степени противоестественны и даже сверхъестественны. Прочтите хотя бы отрывокъ изъ шестой книги первой эннеады (глава девятая), отрывокъ, который, думаю, можно, не рискуя, (а то — и рискуя: иной разъ приходится рисковать!) потвергнуться упреку въ произволѣ, перевести слѣдующими словами Достоевскаго изъ братьевъ Карамазовыхъ: «Вдругъ, круто повернувшись, онъ (Алеша) вышелъ изъ кельи (почившаго старца). Полная восторга душа его жаждала свободы, мѣста, широты. Надъ нимъ широко, необозримо опрокинулся небесный куполъ, полный тихихъ, сіяющихъ звѣздъ. Съ зенита до горизонта двоился еще неясный млечный путь. Свѣжая и тихая до неподвижности ночь облегла землю. Бѣлыя башни и золотыя главы собора сверкали на яхонтовомъ небѣ. Осенніе роскошные цвѣты въ клумбахъ около дома заснули до утра. Тишина земная какъ бы сливалась съ небесною, тайна — земная соприкасалась со звѣздною. Алеша стоялъ, смотрѣлъ и вдругъ, какъ подкошенный, повергся на землю...«Облей землю слезами радости твоея и люби сіи слезы твои», прозвенѣло въ его душѣ. О чемъ плакалъ онъ? О, онъ плакалъ въ восторгѣ своемъ, даже и объ этихъ звѣздахъ, которыя сіяли ему изъ бездны и «не стыдился изступленія своего». Какъ будто нити ото всѣхъ этихъ безчисленныхъ міровъ Божіихъ сошлись разомъ въ душѣ его и она вся трепетала, соприкасаясь мірамъ иныхъ».

X

Если все происходило у Плотина такъ, какъ это мнѣ представляется, если его борьба съ самоочевидностями была не отказомъ отъ ниспосланныхъ свыше даровъ, а лишь стремленіемъ преодолѣть предпосылки, при помощи которыхъ разумъ превращаетъ полученную отъ бо-

говъ жизнь въ научное знанiе — тогда эннеады его получаютъ для насъ совсѣмъ иной смыслъ и иное значенiе. Становится понятнымъ тогда, отчего его теодицея и его этика такъ наскоро и небрежно построены по готовому стоическому образцу, зачѣмъ онъ старался примирить Платона съ Аристотелемъ, почему онъ иной разъ не брезгалъ никакими подъ руку попадавшимися «доказательствами» — и почему онъ до 50 лѣтъ ничего не писалъ, а когда началъ писать, не перечитывалъ написаннаго. Тоже понятно будетъ, отчего онъ такъ старательно исполнялъ свои гражданскiя обязанности и даже его странное чувство стыда (можетъ — страха!), что онъ живетъ въ тѣлѣ. И этика, и теодицея ему не нужны были — это онъ только исполнялъ предназначенную ему роль въ исторической драмѣ — такъ же, какъ не нужны были ему имущество опекаемыхъ сиротъ. Что *ему* могли дать богатства? И что *ему* могла дать этика? Слова нѣтъ — чтобъ существовать, нужно имущество. Нужны тоже житейскiя правила и нравственные устои: безъ этого совмѣстная жизнь людей здѣсь, на отмели временъ, становится невыносимой. Нужна тоже людямъ и теодицея — спокойная увѣренность, что въ мiрѣ все обстоитъ благополучно. Но, вѣдь, Плотина больше всего пугали спокойствiе и увѣренность. И спокойствiе и увѣренность предполагаютъ тотъ глубокiй сонъ души, который для Плотина былъ какъ бы началомъ и предверiемъ смерти и небытiя. Но этого никому нельзя разсказать: не только непосвященнымъ, но и посвященнымъ. Нельзя даже и себѣ самому этого больше, чѣмъ разъ сказать, и сказавши, нужно забыть сказанное, п. ч. на привычномъ для насъ языкѣ это не имѣетъ никакого смысла. Это — та теологическая истина, которая искони враждовала съ истиной научной, уже въ силу своей «логической» конструкцiи. Истина научная облекается въ форму сужденiя, т. е. утвержденiя всегда, вездѣ и для всѣхъ прiемлемаго и обязательнаго. Но, какъ выразить въ формѣ сужденiя, владѣвшую душой Плотина, тревогу? «Поскольку душа въ тѣлѣ, она спитъ глубокимъ сномъ», говоритъ онъ намъ. Но ему можно возразить: а эта истина есть истина души, отъ тѣла освободившейся? Вѣдь, чтобъ освободиться отъ тѣла — нужно умереть. И пока ты живъ — ты отъ тѣла не освободился. И стало быть твое утвержденiе — «по-скольку душа въ тѣлѣ, она спитъ глубокимъ сномъ» — есть тоже истина не бодрствующаго, а спящаго человѣка. Плотинъ не хуже насъ зналъ, что ему такъ можно возразить, равно, какъ онъ зналъ, что всѣ этики и теодицеи придуманы его предшественниками для непосвященныхъ, т. е. для людей, которые даже не подозрѣваютъ, что они спятъ и что задача философiи не въ томъ, чтобъ оберегать сонъ, а въ томъ, чтобъ сдѣлать продолженiе сна невозможнымъ. То внѣшнее «спокойствiе», котораго онъ добивался своими «теодицеями» и которое такъ импонировало его неискушеннымъ ученикамъ, не только не исключало величайшей напряженности и внутренней тревоги, но ей предполагалось. Плотинъ отбивался отъ заботъ и тревогъ дня лишь затѣмъ, чтобъ отдаться всецѣло одной великой и послѣдней тревогѣ, которой онъ уже не могъ «раздѣлить» ни съ кѣмъ и которая ни съ кѣмъ раздѣлена уже быть не можетъ. Онъ не хочетъ тратить

силы свои на разрѣшеніе вопросовъ, подсказываемыхъ ему повседневностью и разрѣшаетъ ихъ наскоро, какъ придется, какъ Богъ на душу положитъ. И только, когда онъ видитъ и слышитъ, что его собственые отвѣты превращаются у другихъ людей въ вѣчныя истины, онъ иногда, какъ это было у него съ гностиками, теряетъ свое «философское самообладаніе» и разражается гнѣвными рѣчами. Какъ можно назвать міръ дурнымъ? И Бога, создавшаго міръ, злымъ? Я думаю, что, если бы кто нибудь въ его присутствіи сказалъ, что нечего плакать по поводу гибели отечества, онъ тоже возмутился бы и изъ глубины души своей воззвалъ: пусть прилиннетъ мой языкъ къ гортани, пусть отсохнетъ моя правая рука, если я забуду тебя, Іерусалимъ. Я думаю, что Плотинъ умѣлъ, почти такъ-же какъ псалмопѣвецъ, произнести de profundis ad te, Domine, clamavi. И, что въ его душѣ были и великія радости и великій плачъ по поводу тѣхъ «повседневныхъ» событій, о которыхъ онъ, по указкѣ стоиковъ, училъ непосвященныхъ, что они — ἀδιάφορα и что о нихъ и вспоминать нельзя. Можетъ быть онъ допрашивалъ судьбу и Творца не только о смерти великаго Сократа, но и о той раздавленной черепахѣ (библейскомъ, никому не извѣстномъ Іовѣ), для которой не нашлось мѣста въ его теодицеѣ. И ужъ навѣрное самъ смѣялся надъ своими разсужденіями о томъ, что каждый человѣкъ долженъ быть доволенъ той ролью, которая выпала на его долю, ибо въ пьесѣ, къ которой онъ приравнивалъ мірозданіе, однимъ людямъ назначены высокія, другимъ — низкія роли и дѣло не въ томъ, какую роль вамъ назначили, а въ томъ, насколько старательно вы ее исполните: цѣлью является, вѣдь, пьеса, а не актеры и исполнители. Навѣрное, говорю, смѣялся Плотинъ надъ такими своими разсужденіями и тоже, навѣрное, вышелъ бы изъ себя, если бы услышалъ ихъ изъ устъ гностиковъ или другихъ, далекихъ для него, людей, если бы, напримѣръ, довелось ему прочесть теодицею Лейбница, въ которой такъ обстоятельно и подробно развиты его мысли. Все свое вдохновеніе Плотинъ черпалъ въ сознаніи высокаго назначенія человѣка. Вѣдь не убѣждалъ онъ злодѣя добросовѣстно исполнять свои злодѣйскія дѣла или дурака — свои дурацкія по тѣмъ соображеніямъ, что въ пьесѣ нужны не только благородныя и умныя, но тоже подлыя и глупыя лица! Философія Плотина, которую онъ самъ опредѣлялъ однимъ словомъ — τὸ τιμιώτατον —имѣла своей задачей освободиться отъ кошмара видимой дѣйствительности. Но, въ чемъ кошмаръ? Въ чемъ ужасъ? Откуда они? Гностики говорили: міръ самъ по себѣ безобразенъ. Для Плотина это было непріемлемо. Онъ зналъ, что не въ «мірѣ» — зло и не «міръ» закрываетъ отъ насъ τὸ τιμιώτατον, то «самое важное», чего онъ искалъ. И что пробудиться отъ кошмара — можно только «вдруг» — почувствовавъ, что наши самоочевидныя истины — есть лишь нѣкое enchantement et assoupissement. И не «случайное» это навожденіе. Плотинъ въ свое время, какъ Паскаль въ свое, видѣлъ и чувствовалъ всей душой ту «сверхъестественную» (surnaturel) силу, которая околдовала людей, внушивъ имъ убѣжденіе о «естественной необходимости» и о непогрѣшимости разума, дающаго людямъ вѣчныя и для всѣхъ обяза-

тельныя истины. Плотинъ боролся съ доставшейся ему отъ предшественниковъ «теоріей познанія», т. е. теоріей о самоочевидныхъ для всѣхъ истинахъ. Онъ, какъ мы помнимъ, противоставлялъ теоріи познанія теорію о «двоякой истинѣ», которую Паскаль такъ смѣло выразилъ въ непризнанныхъ исторіей словахъ: on n'en end rien aux ouvrages de Dieu si on ne prend pour principe qu'il a voulu aveugler les uns et éclairer les autres. И, я думаю, можно безбоязненно сказать, что подобно тому, какъ Паскаль въ Summum bonum философовъ, такъ и Плотинъ въ эпиктетовскихъ притязаніяхъ на волшебный жезлъ видѣлъ только superbe diabolique, а въ естественныхъ чудесахъ, которыми похвалялась стоическая этика — видѣлъ не чудеса, а только безсильное подражаніе или даже карикатуру на чудеса. Пожалуй — superbe diabolique въ устахъ Плотина не звучало бы осужденіемъ — хотя, кто знаетъ? — можетъ и Паскаль въ глубинѣ души Эпиктета не осуждалъ. Можетъ Паскаль понималъ, что Эпиктетъ предался своему естественному колдовству только faute de mieux: разумъ, которому онъ вслѣдъ за своими великими эллинскими учителями, такъ беззавѣтно ввѣрился, усыпилъ въ немъ способность даже въ рѣдкія мгновенія душевнаго подъема видѣть ту «теологическую» истину, которую, въ состояніи «выхожденія», экстаза видѣли Паскаль и Плотинъ. Эпиктетъ, какъ и другіе стоики, какъ и вся оффиціальная эллинская философія, наслѣдниками которой противъ воли оказываемся и мы, не допускалъ возможности дѣйствительныхъ чудесъ. Для него законъ противорѣчія былъ высшимъ послѣднимъ закономъ, равно обязательнымъ и для людей, и для боговъ. Ему показалось бы безуміемъ, если бы Паскаль сказалъ ему, что законъ противорѣчія — это тотъ ангелъ съ огненнымъ мечемъ, котораго Богъ поставилъ у вратъ Эдема послѣ грѣхопаденія нашего праотца, Адама. По убѣжденію Эпиктета, путь къ высшему достиженію — опять таки и для людей и для боговъ — въ безусловномъ повиновеніи закону. Законъ «былъ въ началѣ» — и тоже будетъ въ концѣ. Изъ закона онъ сотворилъ себѣ кумира, которому поклонялся, какъ богу, ибо законъ, какъ и Богъ есть «духъ», идеальная сущность, не знающая на γένεσις'а ни φθορά. Ученіе Эпиктета, до сихъ поръ такъ чарующее людей, и не только простецовъ, но и филисофовъ, сводилось къ тому, чтобъ убѣдить ближнихъ, что созданный имъ кумиръ — есть Богъ, что внѣ этого кумира — боговъ нѣтъ, и что въ служеніи этому кумиру смыслъ и назначеніе человѣка. Онъ отвергъ кумировъ, которые дѣлали его предки — изъ золота, серебра, слоновой кости или мрамора. Но кумиру идеальному онъ поклонился — и даже не призналъ въ немъ кумира. И такъ пошло послѣ него, что даже тѣ люди, которые знали принесенную съ Синая заповѣдь, не догадывались, что кумиръ, сдѣланный изъ идеи такъ же мало похожъ на Бога, какъ кумиръ, сдѣланный изъ какой хотите грубой тѣлесности. Истина перестала быть для людей живымъ существомъ и превратилась въ идеальную сущность (математическую функцію, этическій идеализмъ: понятія почти равнозначущія). Сейчасъ для насъ «естественная необходимость» — предѣльное понятіе, знаменующее собой окончательное тор-

жество «разума». Сейчасъ и въ Плотинѣ тѣ, которые особенно усердно изучаютъ и перечитываютъ его эннеады, видятъ и цѣнятъ философа, зачарованнаго самоочевидностями разума. И, повторяю, сочиненія Плотина даютъ для того достаточно поводовъ. Но — напомню въ послѣдній разъ — Плотинъ своихъ писаній никогда не перечитывалъ и не только не озаботился о томъ, чтобъ освободить ихъ отъ противорѣчій, но сдѣлать все отъ него зависящее, чтобъ сохранить противорѣчія во всемъ ихъ дерзновенномъ безстыдствѣ. Ему эти противорѣчія были необходимы. Онъ, какъ и дальній его духовный предокъ, Сократъ, чувствовалъ, что ему нужно не усыпить въ себѣ безпокойство и душевную тревогу, а довести ихъ до той степени напряженія, при которой сонъ станетъ невозможнымъ. Оттого, надо полагать, онъ такъ настойчиво отрывалъ душу отъ тѣла. Онъ зналъ, что въ отрывѣ души отъ тѣла — величайшая боль, и что только великая боль можетъ привести съ собой то «истинное пробужденіе», о которомъ онъ мечталъ всю жизнь. Отъ людей онъ требовалъ отреченія отъ всего, что для нихъ наиболѣе дорого и постоянно твердилъ имъ, что самое дорогое можетъ быть у нихъ отнято. Самое нужное, самое важное, самое цѣнное — τὸ τιμιώτατον — всегда, во всякое время можетъ быть у насъ отнято, напоминаетъ онъ намъ при всякомъ случаѣ. А тѣ чудеса человѣческія, которыя обѣщалъ намъ стоицизмъ и вслѣдъ за стоицизмомъ гностицизмъ, никогда не замѣняетъ этого τιμιώτατον. Нельзя мѣнять дары боговъ на дары людей...

И временами (не часто, не πολλάκις, скажу еще разъ — а рѣдко, очень рѣдко), когда душѣ удастся проснуться отъ самоочевидностей разума, она убѣждается, что она — κρείττονος μοίρας (præstantioris sortis, какъ перевелъ Марсиліо Фичино) — что ее ждетъ иное назначеніе, чѣмъ думаютъ всѣ. Она рождена не затѣмъ, чтобъ «покоряться». Покорности и возвеличеніе покорностей есть результатъ навѣянныхъ с вышечаръ. Плотину, который и самъ не разъ воспѣвалъ покорности, иногда начинаетъ казаться, что столь опороченное имъ «дерзновеніе» — τόλμα есть высшій даръ боговъ. На землѣ сущесствуютъ законы. Земные властители — и помазанники цари и тираны узурпаторы — они всѣ приказываютъ и превыше всего цѣнятъ повиновеніе. На землѣ иначе нельзя. На землѣ законы — и законы природы и законы общежитія — суть условія возможности человѣческаго существованія. Но «въ началѣ» — законовъ не было, законъ «пришелъ послѣ». И въ концѣ законовъ не будетъ. Богъ ничего отъ людей не требуетъ, Богъ только одаряетъ. И въ Его царствѣ, въ томъ царствѣ, о которомъ въ порывахъ вдохновенія поетъ намъ Плотинъ, слово «принужденіе» теряетъ всякій смыслъ. Тамъ, за вратами, охраняемыми ангеломъ съ огненнымъ мечемъ, даже истина, которая, по нашему, имѣетъ безспорнѣйшія права требовать себѣ повиновенія — и она откажется принуждать кого бы то ни было и радостно признаетъ, на ряду съ собой, истину, ей противуположную. Тамъ и жалкая черепаха, которой здѣсь полагалось либо свернуть съ дороги, либо быть раздавленной, не свернетъ съ дороги, и не будетъ раздавленной.

Тамъ будутъ реальныя чудеса боговъ, а не идеальныя чудеса Сократа и Эпиктета. Тамъ будетъ и Творецъ реальныхъ земныхъ чудесъ, тотъ «Единый», который навелъ сонъ и оцѣпѣненіе на людей и заворожилъ ихъ самоочевидностями разума. Къ нему, къ этому Единому, создавшему нашъ дивный видимый міръ, и обращается душа Плотина въ рѣдкія мгновенія вдохновенія и подъема. Тогда видитъ онъ, что на новыхъ, невѣдомыхъ доселѣ людямъ вѣсахъ, скорбь Іова и въ самомъ дѣлѣ перевѣшиваетъ тяжелый песокъ морской, тогда рѣчи его становятся «неистовыми», въ философѣ рождается псалмопѣвецъ: — φυγὴ μόνου πρὸς μόνον.

Парижъ. Май 1924 г.

Л. Шестовъ

МУЗЫКА СТРАВИНСКОГО

1

Демон скуки овладел современной музыкой. То что мы привыкли называть на протяжении последних 10-15 лет «модернизмом» — в действительности оказалось опустошением музыкального искусства. Это беспочвенное словечко стало клеймом распада. Веселая разнузданность развивалась параллельно деформации музыкального творчества. В последние годы дошло уже до полной анархии, и — как всякая анархия — она обернулась на всех прежде всего прочего ужасающей скукой.

Исполинский паук сидит в современном концертном зале и держит в паутине скуки слушателя и исполнителя. Французская музыка — непрерывная борьба со скукой, немецкая обречена скуке и покорилась этому. Стравинский преображает концертный зал и вызывает активное к себе отношение. Наша эпоха в музыке проходит под знаком этого артиста. Он в числе тех немногих, кто в разных областях действенно выражают высший *качественный* смысл современности. В смысле формальном — Стравинский — сегодня прежде всего — *призыв к порядку*. Властный окрик среди распада, в котором музыка пребывает. Он диктатор, но по существу — его диктатура есть символ живого сознания. Догматика нового и подлинно современного мироощущения.

Мировосприятие, на котором возникло искусство прошлого столетия, ушло. Новое рождается на смену с огромным трудом. Девятнадцатый век был веком трудным и вся первая четверть двадцатого ушла на преодоление его. В музыке, там где держатся еще традиции недавнего времени — растерянность и беспочвенность. Либо вялое изживание уже свершенного опыта, либо честный самообман. Декадентствующій модернизм все еще со щитом новаторства и «дерзновенья во что бы то ни стало», — но он уже больше никого не искушает. Еще недавно прельщавший чарами quasi чистой эс-

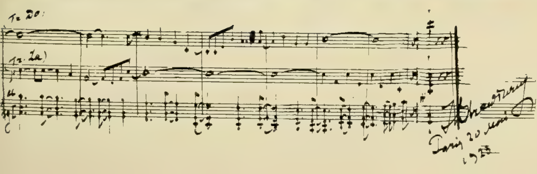
тетики, сегодня стал он едва-ли не самой вульгарной ценностью художественного рынка.

У тех, кто творит живой опыт наших дней — *пафос переживания явно сменяется пафосом сознания.* В коллизии этих двух сил рождается новый стиль. С одной стороны — новая *готика;* понимаю под этим отнюдь не средневековый стиль, а стремление к выразительности, которое становится самоцелью, проявляясь через сферу личности, суб'ективизма, случайности и незакономерности. Это все тот же, но подновленный индивидуализм (прямая, атавистическая связь с 19 стол.), и его естественное следствие — предельно выраженный экспрессионизм. С другой стороны *мышление геометрическое* (чисто музыкальное), истинным выражением которого является *пластический реализм.* Точнее: *чувствование* неоромантическое, т. е. революционное преодолевается *сознанием* классическим или религиозным.

Эти две идеологии, основные для наших дней, — полярны. Они друг друга исключают. Первый путь всегда эгоцентричен, — в узком или широком смысле — безразлично. Он связан фатально с временем только «календарным» и ведет лишь к самоутверждению, массовому или индивидуальному — безразлично. Второй путь — теоцентричен. Он ведет к утверждению незыблемого и к единству. Его смысл в выходе из «календарного» времени в *концепцию времени музыкального.* Стравинский существует в этой сфере. Он восстанавливает утраченное равновесие — формальное и духовное — и вводит непосредственно в музыкальную сущность мира. Его искусство в этом смысле одноприродно Баху, Палестрине, Моцарту, Глинке. Равновесие, им достигаемое, создает поразительную vitalité его произведений. Животворящая, солнечная сила, данная нам в музыке Стравинского, его непостижимый, беспощадный оптимизм, звучат для нас раскрытием смысла нашего времени.

На его искусстве нет трагических теней. В устойчивом оптимизме, единстве и целостности, столь редких качествах для искусства нашей эпохи — исключительная ценность Сравинского. Он свободен от раздвоенности и шатаний, доставшихся нам в наследие от прошлого века.

Стравинский отвечает духу современного строительства, страстному порыву к прочности, простоте и непоколебимым основам. Он очень прочен, он тверже всего, что создавалось в музыкальном искусстве с очень давних времен. Техника его так же точна, как

A mon ami
Mr. Arthur Lourié
souvenir des concerts de
notre grand Strawinsky, et
de son „idiot" complètement
fou sur cette photographie
et de son devoué
Willem Mengelberg.
Amsterdam 2. III 26

у хирурга за операционным столом, или у акробата на цирковой трапеции. Диалектика его последних произведений настолько сильна, что в данный момент она не только непобедима, но даже немногими воспринята по существу.

Сняв все внешние покровы литературности, психологизма и пр., которыми музыка последних эпох обросла, как твердой корой, он возвращает нас к давно утраченным радостям, когда гений ремесла был основой искусства.

Самый волевой процесс строительства он делает наслаждением, утверждая эстетику именно этого порядка.

Разница между его методом равномерного распределения энергии в каждом из его произведений и методом «романтиков» — сумма его достижений. Его музыка реалистична и утилитарна в подлинном и простом значении этих слов.

Стравинский пришел непосредственно на смену Рих. Штраусу, Скрябину и Дебюсси, которые были, каждый в условиях своей национальности, властителями дум как будто недавнего, но уже столь отдаленного прошлого. В действительности уже сейчас несомненно, что именно он оказался тем, кому суждено было воплотить новые основы, пришедшие окончательно на смену музыкальной культуры, созданной Вагнером, которая, отвечая духу 19-го столетия, держала более полувека человечество в своей власти.

Выросшая на национальной почве, из мощного национального ствола, музыка Стравинского сейчас становится сверхнациональной и общечеловечной. Чисто русский ее смысл имеет теперь уже только частное значение. На примере его воздействия на молодую музыку Запада, видно как ассимилируются его принципы с особенностями музыкального языка и основами формального мышления той или иной страны. Огромное большинство современной музыкальной продукции подвержено его двоздействию. Там, где наличие подлинных творческих сил дает живые всходы, это воздействие органично и плодотворно. В нем залог преодоления распада и нового расцвета.

2

В России никогда не было музыкального модернизма или импрессионизма. Был один лишь Скрябин, который построил свой бредовой и искусственный мир ценой сознательного разрыва с приро-

дой русской музыки. Скрябинская готика выросла в созвучии с символизмом и декадентством литературными, и в их окружении. Сила Скрябинского творчества, враждебная духу русской музыки, стоила ей немалого. Поколение музыкантов в России, отравленное скрябинизмом, до сих пор его изживает и находится в инерции. В отношении к чистым истокам русской музыки, эти годы ознаменовались полным забвением Глинки, и большим чем когда либо пренебрежением к Чайковскому.

Стравинский никогда не был модернистом. Правда, он выступил в пору расцвета символизма и «Мира Искусства», и в этом кругу его сочли своим, но это было заблуждением. Подлинной связи с эстетикой, среди которой он вырос, у него не было и тогда, но было внешнее ее воздействие, творчески преодоленное. Что общего между живой интонацией «Незабудочки» и «Голубка» и вялыми стихами Бальмонта? Одновременно с декадентской живописью Рериха возникла «Весна Священная».

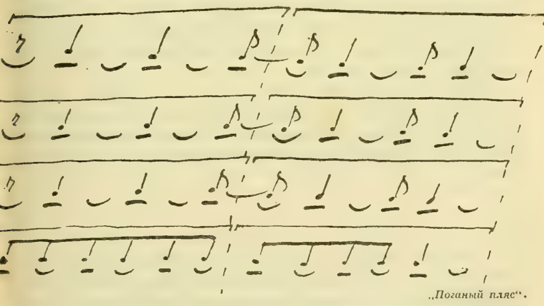
Во всех юношеских сочинениях Стравинского (от 1-ой симфонии до «Жар-Птицы») была прямая связь с официальной русской школой, которую в это время возглавляли Р. - Корсаков, Лядов, Глазунов. Эта связь чисто - традиционная. Он утверждает ее прочно и отчетливо, завязав крепкие узлы. В этот юношеский период им сочинены: 1-ая симфония (1905-1907), соната для фортепиано (1907 — рукопись), сюита для пения с оркестром «Фавн и пастушка» (1907), скерцо для оркестра «Пчелы» (1908), «Фейерверк» для орк. (1908), Траурная песня (на смерть Р.-Корсакова, рукопись), этюды для ф.-п. и романсы на слова Городецкого и Верлэна (1908-11) и «Жар-Птица» (1909-10). В этом первом своем балете он уже мастер, вооруженный «до зубов». Здесь он дает всю сумму достижений русской школы в том ее аспекте, выразителем, которого был Римский - Корсаков. Эта вещь, построенная на Корсаковском принципе звуковой раскраски, доведена до предельного блеска и пышности в оркестровом наряде. После «Жар-Птицы» связь Стравинского с школой Корсакова порвалась. Красочная мозаичность «Жар-Птицы» стала ему чуждой. В 1919-ом году он заставил себя вернуться к этому сочинению, и переинструментовал его, сведя оркестровый прибор к минимуму, и упростив колориты до необходимых соотношений. Любопытно сравнить обе партитуры. Появление новой редакции вызвало протесты сожаления французской критики.

«Tout en soulignant le vif intérêt d'une réorchestration comme celle de l'Oiseau de feu, oserai-je avouer qu'il n'est pas souhaitable de voir cet exemple suivi par d'autres musiciens? Strawinsky ne songe certes pas à renier l'Oiseau de feu, mais malgré tout, en réinstrumentant sa partition, il y a introduit inconsciemment quelques-unes de ses préoccupations auditives actuelles. Il l'a rendue souvent plus âpre, plus rude, plus mordante. Il nous a privé de certains effets de grâce qui ne l'intéressent plus, mais sur lesquels beaucoup d'auditeurs n'étaient pas encore blasés. En avait-il le droit?»

(Musique d'aujourd'hui, E.Vuillermoz. Paris 1923)

По мнению културного фрацусского критика, Стравинский не имел права менять свою партитуру, раз публика еще не присытилась ее звуковой изысканностью. Стравинский же действовал подчиняясь творческой необходимости.

В «Жар-Птице» любопытны ритмические акценты, впервые появляющиеся у Стравинского (без изменений в обеих редакциях). Метрическая строфа здесь еще традиционная и типичная для Корсаковско - Балакиревской группы. Но появляются характерные синкопы, в дальнейшем приводящие к эволюции ритмических форм.



„Поганый пляс".

В последовавшие годы (1911-14) Стравинский с поразительной быстротой создал ряд монументальных произведений. «Петрушка», «Весна Священная» и «Соловей», возникшие на протяжении трех лет, составили музыкальную эпоху исключительного значения.

В Париже, в это время переживавшем полосу влюбления в рус-

скую музыку, эти три сочинения открыли Игорю Стравинскому путь к мировой славе. В России уже «Соловей» вызвал вопль отчаянья, и именно в кругу, близком к Корсакову, до такой степени эта вещь уводила от корсаковской псевдо - народной оперы, взошедшей на немецкой закваске.

Первый акт «Соловья» был написан в 1909-ом году, и он весь еще по матерьялу и приемам близок к «Жар - Птице». Лишь после того, как были сочинены «Петрушка» и «Весна Священная», Стравинский вернулся к своей первой опере и закончил ее. Между техникой 1-го действия и последних двух нет ничего общего. 2-ой и 3-й акты «Соловья», это предельное утончение приемов тембровой конструкции (которые шли от «Петрушки»), в соединении с об'емными принципами «Весны». В «Соловье» — Стравинский отказался от русской музыкальной стилизации Востока, восхитительной у Глинки и Бородина, и ставшей слащавой у Корсакова. Восток в «Соловье» — это игра в chinoiserie, изысканная и вычурная, как «китайщина» 18-го века. Парадный спектакль и хрупкая лирика — игрушечная.

«Жар-Птица» была завершением колористической техники инструментального письма. «Соловей» синтетизировал в творчестве Стравинского период тембровой и об'емной конструкции, в применении к большим оркестровым массам. Чрезвычайная изощренность фактуры «Соловья» — следствие этих уже до конца развернутых приемов.

В 20-м году он возвращается к «Соловью», чтобы, сохранив весь тематический и гармонический материал, создать симфоническую поэму («Chant du Rossignol»). В этой партитуре (с минимальным составом), кристаллизованы формулы уже новых приемов.

3

«Петрушка» был реакцией против эротической мистики Скрябина. Рядом со скрябинскими «надземными» устремлениями, «Петрушка» был гимном России, но России не реальной, а преломленной сквозь призму литературных и живописных видений эпохи. Эстетике одного порядка противопоставлялась эстетика другая. Это был сплав элементов быта народного и мещански - городского, создававший музыкальный портрет 30-ых годов прошлого столетия. За

этим внешним планом обнаруживается истинная природа произведения — в «Петрушке» впервые проявляется тяготение Стравинского к *канонизации «сниженного» вида* музыкальных форм. Это первое сознательное утверждение «вульгарных» музыкальных материй и возведение их в высший план. То, что считалось отбросами музыкального быта и находилось за чертой «настоящей» музыки, он взял за основу своего мелоса.

С другой стороны, эта партитура характерна столкновением народно-эпических элементов («хор») с драматизмом индивидуального действия («герой»). Песенный русский лад противопоставлен инструментально - интонационной хроматике. Музыкальный сюжет «Петрушки» — это формально разрешенная борьба индивидуальности с хоровым началом. «Переживания» «индивидуалиста» Петрушки (трагическая, кукольно - деревянная его интонация) раздавлены инструментальными («хоровыми») массами, как мельничными жерновами.

«Петрушка» — последнее произведение Стравинского, в котором существует еще противопоставление этих двух стихий. В последовавших сочинениях герой перестает существовать, как индивидуальное музыкальное начало. Он принесен в жертву «хору». В «Свадебке» драматического действия уже нет, потому что бывшие в раз'единении начала срослись в одну плоть. Хор есть герой, а герои — части хора. Музыкальный сюжет «Свадебки» — это формально разрешенное слияние хора с индивидуальностью. «Петрушка» драматическое действие, «Свадебка» — религиозная мистерия.

В «Петрушке» Стравинский отбрасывает аналитические приемы инструментовки. Импрессионистической технике оркестровой раскраски и разложения звука, противопоставлена органическая инструментальная фактура. Музыкальная материя неразрывно связана с формой инструментального письма. В основу взят тембр не в его вкусовой, колористической роли, а как конструктивное начало. Тембром здесь определяются формы сопряжения голосов, контрапункт, гармонии. Очень характерен в этом смысле знаменитый контрапункт в вальсе балерины и арапа, который сделан на соединении тембрированных планов в одновременном движении. Флейтам (в соединении с арфами) противопоставлены английский рожок с контрафаготом в двойных октавах, поддержанные pizz. виолончелей и контрабасов. Вся прелесть этого контрапункта именно в том, что

он не вкусовой, а конструктивный. Это соединение не отдельных голосов, а целых гармонических планов.

Дальнейшая эволюция мастерства Стравинского направлена в сторону наибольшей об'ективации формальных приемов и упразднения всего, что связано с суб'ективным и случайным. Он создал «Весну Священную», в которой об'ективный метод стал уже самодовлеющей основой, и продолжает утверждать его непрерывно.

По поводу «об'ективного метода» Стравинского было сказано и написано множество слов. Этот пресловутый об'ективизм Стравинский не изобрел. Со времен Глинки он всегда был формальной основой русской культурной музыки. Эта об'ективная основа всегда была звеном, соединявшим всех русских музыкантов в одну семью, делавшую одно родовое дело, независимо от художественных стремлений каждого, и несмотря на разницу в темпераментах, в индивидуальных вкусах и т. д. Один лишь Скрябин нанес временный удар — Стравинский его парализовал. Он восстановил об'ективный метод в русской музыке и придал ему новую силу.

4

В «Весне Священной» стихия русской музыки выражена с силой и обнаженностью большими, чем кем бы то ни было прежде. Самая сущность звукового языка освобождена от всякого до нея существовавшего в русской музыке подчинения западным формальным устоям. В «Весне Священной» все средства выражения, от первой до последней ноты, были новы и необычайны.

«Весна» возникла из непосредственного чувства веры в стихийную народную первооснову. Она впервые воплотила в музыке скифский аспект России. В творчестве Стравинского «Весна» была моментом высшего становления, и одновременно моментом разрыва. Становлением было утверждение азийного духа России, и оно же было разрывом со всем, что этому духу было враждебным не только на Западе, но и в России. Ведь и «кучкисты» стремились к воплощению того же скифского лица России, но все они, кроме Мусоргского и Бородина, вливали русское вино в немецкие меха. Поэтому в периоде «Весны» Стравинский близок только с Мусоргским и Бородиным. Он выпрямляет наследственную линию шедшую от Мусоргского и разрушает ложно - русские традиции, установленные

Балакиревым и Р. - Корсаковым ради «профессионализации» русской музыки.

Путь, преемственный от Мусоргского в этот период был для Стравинского непреложным, но сходства в музыке «Весны» с музыкой Мусоргского нет никакого. Мусоргский был крайним индивидуалистом. Он был романтиком, пользовавшимся натуралистическим методом. Творческие импульсы его возникали вне музыки, будь то: психологический драматизм, или речевая интонация. Он всегда был во власти вне-музыкального сюжета, который развивал в нем творческую энергию. У Стравинского же эта творческая энергия возникает только от конкретного ощущения самой музыкальной материи. Мусоргский исходил из нарушаемого равновесия (аналогично Достоевскому), Стравинский после «Весны» шел к постепенному восстановлению и утверждению полного равновесия.

Музыка Мусоргского была «musica per poesia». Музыка Стравинского есть «poesia per musica».

«Весна Священная» — уже вне личного начала. Автор ее растворен в им самим воплощенной стихии.

В смысле чисто - музыкального движения — «Весна» статична. Весь огромный динамизм, в ней заключенный — биологического порядка. Движение в «Весне Священной» — это органический рост звучащей материи. В этой динамике органического прорастания — стихийно - эмоциональный смысл «Весны». Ритм в ней скорее ноуменальный, чем музыкальный. В его специальном значении, ритм был разработан Стравинским после «Весны» уже как самостоятельная проблема движения. В формах движения в «Весне» дано «устремление». Или же в ней «семенят», «втаптывают». А еще есть скользящая, как облако, ладья в хороводной сфере.

„Пляска щеголих"

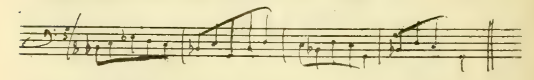
Привожу один из наиболее характерных ритмов «Весны». Симметрическое деление метра и несимметрическое перемещение акцента. Передвигаются части внутри строфы, но самая метрическая строфа еще и здесь остается неподвижной.

Сейчас «Весна» стала классическим произведением. Раскрыв многообразие русского музыкального лада, она утвердила в нем новые законы тяготений, и по новому определила его строй. То что при появлении «Весны» казалось только произволом и случайностью, сейчас стало самым типичным и наиболее убедительным проявлением этого лада. Стравинский в «Весне» и последовавших за нею (до «Свадебки» включительно) произведениях осуществил то, что созревало в России десятилетиями, воплотил и завершил целую эпоху. Логическим следствием был его уход от этого исчерпаннаго им направления и метода.

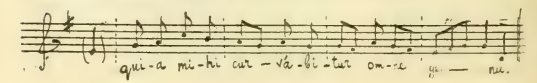
После «Весны Священной» им были созданы следующие сочинения: 3 пьесы для смычкового квартета (1914), «Воспоминания юношеских лет» (1913), «Прибаутки» (1914), «Колыбельная кота» (1915-16), 3 песенки для детей (1917), 2 тетради пьес для ф.-п. в четыре руки (1915-17), «Лисичка» (1916-17), 4 русских песни (1917), «Свадебка» (1917-23).

После «Весны» начинается у Стравинского сознательная работа над расчленением песенного и инструментального мелоса. В сочинениях написанных до «Весны» инструменты имитируют пение. В оркестре чистая инструментальность нарушается инструментальной песенностью. После «Весны» этого нет больше. Песенные элементы отделены от инструментальной фактуры и сообщены живым голосам. В «Петрушке» было еще смешение песенных и инструментальных элементов.

Ср. эту мелодичную форму в «Петрушке»:

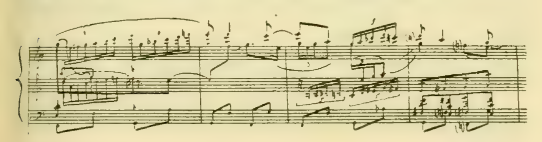


с одной из типичных форм грегорианского хорала:



Это несомненно близкое сходство ясно показывает песенный лад оркестра в «Петрушке».

После «Весны» инструментальный аппарат, будь то большой состав оркестра или нарочито - малый прибор, приобретает специфически инструментальный характер, без поползновений к имитации живых голосов. Песенный мелос из инструментальной области извлекается окончательно и замещается мелосом инструментальным в собственном смысле. Стравинский строит его на изобретаемой им ладовой полифонии, иногда натуральной, иногда искусственной. Эта его полифония является неким единством, как бы сплавом нерасчленимых элементов: метра, ритма, динамики и интонации. В «Свадебке» утверждено уже окончательное и четкое разделение на éléments chantés и éléments sifflés et frappés.

В «Лисичке», «Прибаутках», «Колыбельных» и пр. — основной материал взять из тех же «недр», откуда вышла «Весна». Но здесь, раз'единяя песенные элементы с инструментальными, Стравинский постепенно их все больше механизирует. Из «органического» метода постепенно вырастает метод конструктивный».

„Лисичка“.

«Свадебка» с формальной стороны основана на соединении материй *разных температур*. С одной стороны 4 рояля с набором ударных —инструментальный механизм. С другой стороны — хоровое действие, построенное в ладовом многоголосии. Независимость каждой из этих материй проявлена с «химической» точностью. Их соединение в одну живую плоть не поддается критическому анализу. Между «Весной» и «Свадебкой» заключен весь круг, пройденный Стравинским в этом периоде. Если «Весна» исходит из нарушения равновесия формального и эмоционального, что и характеризует ее, как языческое действо, то «Свадебка» восстанавливает утраченное равновесие. Это мистерия православного быта, построенная на иконописных ритмах. «Свадебка» — динамична в смысле музыкальном, но в плане эмоциональном она насыщена спокойствием и «тихостью» иконы. В ней от-

сутствует экстатичность. Если - бы равновесие во внутренней жизни этого произведения не было дано Стравинским с таким совершенством, ни в одном моменте не нарушенном, — «Свадебка» — была бы хлыстовским радением.

5

В «Симфониях для духовых инструментов» — памяти Дебюсси (1920) — есть еще следы «биологического» роста. Но вместе с тем, именно этим сочинением открывается ряд произведений последних лет, связанных единством метода и материала, с которыми Стравинский и сам вышел на новую дорогу и открыл ее для современных музыкантов. От *произвольно* созданных форм периода «Весна» — «Свадебка», Стравинский возвращается сознательно к западно - европейской *«классической первооснове»*, возрождая формы-типы. Если в основу «Симфоний для дух. инстр.» положен хорал, при том не западного образца, а близкий к православному обиходу, то «Pulcinella» уже весь построен на возрожденной классике. Восстановлены: увертюра, ария, тарантелла и, наконец, намечается реставрация вариационной формы, мощно развернутая позднее в октете для духовых инструментов (1923).

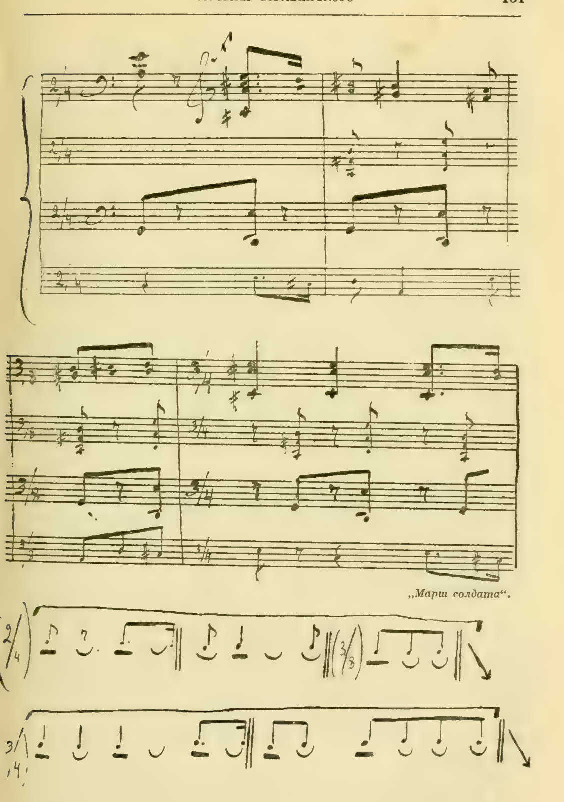
«История Солдата» вся сплетена из классических форм. В ней даже tango и ragtime трактованы как классика.

В «Октете». Фортепьянном Концерте, Сонате и Серенаде - возрожденные классические формы - типы окончательно кристаллизованы.

Начиная с «Симфоний памяти Дебюсси», самая инструментальная база радикально меняется. Стравинский избегает смычковых инструментов, т. к. их теплая звучность — эмоционально - рефлективного порядка. В основу взяты духовые инструменты — их внеэмоциональные температуры дают ему возможность создавать чистые музыкальные конструкции, в которых вес, плотность, емкость тембра каждого инструмента служат основой.

На этом принципе развернута вся его новейшая инструментальная техника.

В «Симфониях памяти Дебюсси» нет ничего общего с традиционной симфонией 19-го века. Это по существу еще произвольная композиция, примыкающая к прежнему кругу сочинений. Создав впервые в этом сочинении композицию на основе духовых. Стравин-



„Марш солдата“.

„Марш солдата“.

ский выявил природу этих инструментов. Игру звучностями — то отдельного инструмента, то целых семейственных групп — деревянных или медных, — он сделал самоцелью. Напр.: дуэт альтовой флейты с альтовым кларнетом, или наигрыш альтовой флейты, опирающейся на тубу, и т. д. Отсюда и название: это не обозначение формы, а квалификация звучностей — «Symphonies».

Дальше, духовые утверждаются как конструктивная основа, и Стравинский пользуется ими уже в конкретных и точных композиционных целях. Так возник «Октет». Широкое вступление, род увертюры — вводит в сеть вариаций, построенных не на традиционно - аналитической схеме, существовавшей в 19 в., а на синтетическом обобщении. Отсюда и конструктивный план этих вариаций: A-B-A-C-D-A-E., причем, первая вариация (A) возвращается каждый раз в неизменном виде. Она — стержень, вокруг котораго вращаются все остальные вариации. Последняя из них — fugato с каденцообразным заключением, вводящая непосредственно в финал, свободно разработанный на подобие фуги. С этого финала начинается связь Стравинского с Баховской диалектикой.

Инструментальная музыка в нашу эпоху потеряла чистоту своей природы. Уже музыка «романтиков» к концу 19-го века выродилась в песенную риторику. Ею инструментальная музыка была подменена. Возврат к чистому инструментализму привел Стравинского к Баху, т. к. диалектика Баха оказалась единственной незыблемо уцелевшей после всех «потрясений основ». Баховское инструментальное мышление (которое синтетизирует бывшую до него архаическую классику) послужило Стравинскому отправным моментом его последних произведений и дало новое становление в области чистой инструментальной музыки. «Октет для духовых», ф.-п.Концерт, Соната и Серенада для рояля возникли на этой почве. После всех завоеваний Стравинского, всеми признанных, этот новый его этап встречен новыми сопротивлениями и пока еще не понят. Моя статья о последнем из опубликованных Стравинским сочинений — Ф. п. Сонате, — вызвала страстную и длительную полемику среди французской критики.

В диалектике Стравинского — доказательство жизнеспособности им возрождаемых классических форм. Споры, возникающие по этому поводу, не имеют под собой почвы. Они основаны на непонимании существа дела. Спорить можно было бы только, если бы этой диалектике была противопоставлена другая. Стравинскій не теоретически, а твор-

чески утверждает, что инструментальная форма живая, а не схематически-традиционная, влачащая свое существование со времени ложно-классической немецкой традиции, — возможна только на основе диалектического метода. Его диалектика близка мышлению Баха, на которое он опирался, как на единственное до сей поры непреодоленное. В «Серенаде», последовавшей за «Сонатой» (1925), есть еще та же система мышленія, идущая от Баха, но есть в ней и нечто новое.

От тех, кто в оппозиции, любопытно было бы услышать указание на чистую инструментальную форму — современную, основанную на *иной* диалектике, чем та, которую утверждает Стравинский. Если же отрицается и самый метод по существу, то не менее любопытна была бы ссылка на другой метод, в равной мере живой и убедительной. Что бы это могло быть? Может быть, инструментальная композиция, основанная исключительно на «непосредственном чувстве»? Где они, такие сочинения, не впадающие в риторическую сентиментальность, ничего общего с музыкой не имеющую?

25 лет тому назад величайший французский музыкант, Дебюсси, стремился приблизительно к тому же что осуществляет теперь Стравинский. Но путь этот тогда еще не был расчищен. Музыка Дебюсси — полу-рапсодическая импровизация, восхитительного вкуса, опирающаяся на традиции клавесинистов 18-го века. Музыка Скрябина — результат подлинного творчества, но это индивидуалистическая экстатика, в которой «поэмность» связана с школьной, традиционной схемой. Параллель: Скрябин — Дебюсси отчасти аналогична параллели: Шенберг — Стравинский. То же противопоставление стихии индивидуализма и суб'ективной экспрессии, экстра-музыкальной — началу вне-личному, несущему с собой равновесие и единство.

В инструментальной диалектике Стравинского — пафос его музыкального мышления, сила которого, для данного момента, во всяком случае, непреодолима. Последние его сочинения вызывают в Европе безотчетное и стремительное подражание архаике. Но лишенное его диалектической силы, оно приводит большей частью к стилизации.

Поскольку музыкальная диалектика есть чистое развитие музыкальной мысли, т. е., нечто в себе заключенное и по своему неоспоримое, как доказательство теоремы — единственным плодотворным способом борьбы с нею (для тех, кому она не по вкусу) было бы *творческое* осуществление иной диалектики, такой же чисто музыкальной. Математик опровергает математика — математикой, а не поэмой о любви к своей науке.

Против произведений, основанных на «чувстве» нельзя спорить. Их можно полюбить, или отвергнуть. Диалектическое сочинение можно оспаривать. Даже Баховской диалектике, самой неуязвимой и «железной», можно противопоставить диалектику Палестрины или Моцарта. Но надо уметь это сделать так, как Стравинский, который, взяв за основу мышление Баха, сумел найти подлинное музыкальное выражение современного мироощущения.

От «органического» метода, от «скифства» «Весны»—через механизацию—к герметической фактуре и классическому канону в последних сочинениях, — так можно обозначить весь путь, пройденный Стравинским. Он начал тем, что разорвал существовавшую прежде в России связь с западной традицией. Теперь, вернувшись к ней, он возродил ее уже на совершенно иных основаниях, чем те, на которых она существовала прежде.

Начиная с Глинки и до самого последнего времени, в русском музыкальном опыте происходило всегда только повторение и своеобразное отражение того, что свершалось в опыте европейском. В наши дни русский музыкант Стравинский сам творит универсальный опыт, и европейское музыкальное сознание влечется за ним. Впервые русская музыка теряет свое «провинциальное», «экзотическое» значение, и с музыкой Стравинского оказывается «во главе угла», становясь водительницей всемирного музыкального искусства.

То, что прежде Стравинский совершил в отношении русской музыки, он в настоящем периоде своей деятельности производит в музыке Запада. Он проверяет и выпрямляет линию ее развития, и выясняет ее формальное наследство.

На протяжении всей статьи, я ни разу не упомянул о «Мавре». Я сделал это сознательно. Об этой опере Стравинского нужно говорить особо. Здесь я скажу только, что по отношению к «Мавре» и русская и французская критика совершила фатальную ошибку. Ее никто до сих пор не понял и не оценил. Между тем, это, может быть, самое замечательное из всего, что создал Стравинский за последние годы. Ее огромное значение несомненно.

«Мавра» возрождает для Запада чистую оперную форму, забытую и утерянную. Для России она воскрешает неверно понятую и непродолженную линию Глинки и Чайковского. Глинка был забыт и сдан в архив. На Чайковского поплевывали всегда. Путь к ним был

так засорен, что для того, чтобы «открыть» их снова, понадобилось непреодолимое упорство Стравинского и его зоркость. «Маврой» Стравинский доказал, что для нашего времени весь «упор» в русской музыке там, где Глинка и Чайковский, а не там, где «кучкисты». Заблуждаются все те, кто считает «кучкистов» прямыми продолжателями Глинки. Настоящая связь существовала только между Чайковским и Глинкой. Стравинский теперь принял это наследство. «Мавра» — это путь от «Жизни за Царя», через Чайковского — к возрождению оперы, как самостоятельной области музыкального искусства.

Артур Лурье

Париж,
Апрель 1926.

ДВА РЕНЕССАНСА

(90-ые — 900-ые и 920-ые годы)

В настоящее время существует несколько систем размышлений о русской революции, толкующих и раскрывающих ее причины и сущность. Качество их весьма различно: от маниакальных жидо-масонских подозрений, через формально политические и экономические выкладки — до подлинного историософского понимания. Однако, во всех случаях один факт остается нераз'ясненным — революционный срыв 1917-18 гг., которому суждено было определить новый цикл в истории всей русской культуры, произошел в эпоху начавшегося ренессанса. Можно, конечно, сводить на нет культурный под'ем 90 — 900 гг. (Вл. Соловьев, С. Н Трубецкой, Лопатин, Лосский, З. Гиппиус, Розанов, Блок, Белый, Ремизов, Флоренский, Каринский, Тареев, Несмелов, Зарин, Ал. Бенуа, «Мир искусства», «Символизм», «нео-славянофильство», Стравинский, Кастальский ...) и проводить линию русского государственного распада от 1 марта через этапы русско-японской войны, первой революции — непосредственно к военным неудачам 1915-16 гг. и самоупразднению самодержавия. Но это значило бы «по иностранному» подходить к сложнейшей сущности русской жизни.

Нельзя также основываться и на расчлененном анализе отдельных сторон и элементов дореволюционного прошлого. Если в некоторых и, может быть, даже многих случаях такой метод и показал бы действительную отсталость и неблагополучие в среде русского хозяйства, политики и даже культуры, *то общее, непосредственное,* ощущение ренессансного под'ема 90-900 гг. этим все равно не опровергнуть.

Пусть этот ренессанс основывался на ложных устоях и представлениях, он тем не менее *наличествовал.* Важно установить, что историческая мутация, которая привела к нарождению нового исторического вида России и в корне изменила ее государственные перспективы и внутреннюю расценку ряда явлений, произошла в неожиданный срок, многих застала врасплох и резко прервав какой то, хотя бы в формальном отношении положительный культурный про-

цесс, начисто уничтожила складывавшуюся было государственно-общественную традицию ближайшего прошлого.

Трудно сказать, есть ли возможность вообще установить некий исторический закон русского развития, согласно которому кризисы и катастрофы неизменно совпадают в нем с начальными сроками ренессансных процессов, срывая их эволюционную планомерность, размыкая непосредственную преемственность и тем самым двигая жизнь поступательными толчками и жестокими перебоями. Во всяком случае события 90-900 гг. подобную закономерность могли бы подтвердить.

II

Если рассматривать с точки зрения внутренно-социальной динамики состояние передовой русской интеллигенции 80-900 гг., по сравнению с началом и серединой второй половины 19 в., то поразительным оказывается то действенное бессилие, тот упадок поступательной воли и какая то *неблагополучная оседлость,* которыми определился весь ее жизненный уклад в предреволюционную пору. И это вопреки Гос. Думе, земствам, земско-городским об'единениям, военно-промышленным комитетам, кооперативам и пр. Социальная встревоженность, транс обличительства и фанатическая подвижность (а в некоторых случаях и подвижничество) русской интеллигенции 40-80 гг. сменились формально деловым политическим оппозиционерством, расчетливой тактикой—у одних, и комфортабельным отсутствием интереса к социальным проблемам—у других. Можно ужасаться идеологической слепоте и душному провинциализму русского народовольчества, но нельзя не признавать его действенной одержимости и выносливости. Декабрьский мятеж (гвардейский) всколыхнул лишь поверхность русской жизни, но он все же был широко охватывающим историческим *движением,* а не простым политическим выпадом и демонстрацией. Начиная с 40-х гг. волнение начало проникать все глубже и слежавшаяся толща русского быта стала быстро поддаваться разрежению и расслоению. Все разночинно-армейское (но все же дворянское) народническое движение второй половины 19 в. унаследовало от декабристов их общественную взволнованность и способность легко и беззаветно сниматься с корней. «Хождение в народ», при всем безвкусии и идейном убожестве, было со своей точки зрения праведным и страстным *бегством* в (на) святую землю, стихийным влечением к предмету своего лже-обожения. Люди, ужаленные всем виденным и надуманным, снимались с мест, становились «бегуна-

ми», исступленно рьяными и сухопарыми. Это было страшное, преступное порою, но все же жизненное дело живых людей. Конечно, и народовольцы были во многом обывателями, с спутанными и запаздывавшими мыслями, но подвижность, риск и исступленное притяжение к идее и «мечте» делали их, по сравнению с оседлой общественностью, все же пионерами и даже героями.

Интеллигентская Россия 40-80 гг. была воспаленной и бродячей, и правительство верно ощущало и понимало всю опасность этой зыбкой подпочвы и всячески старалось способствовать (жестоко и неумело) оседанию взболтавшихся частиц едкой эмульсии тогдашней общественности. И это намерение в значительной степени реакции удалось, но вместе с осуществлением пришло еще худшее зло...

К 80-90 гг. революционное бродяжничество как широкое *движение* было подавлено. Мелкая и средняя интеллигенция, подорванная реакцией, оседает и начинает пускать корни, но не в землю, а в гущу чеховской обывательщины и начинает предаваться в жутком цепенении безконечным разговорам о прогрессе, «изящной» жизни и о том, что будет через тысячу лет. Армейские заговорщики 70-80 гг. становятся героями «Поединка». Воля к социальному действию в значительной мере подточена, зато лихорадочно и путано начинает работать голова...

Кроме прямой и неумело суровой правительственной реакции был еще один фактор, который подточил силы интеллигенции и запутал ее миросозерцание — это противоречивое сочетание в 60-80 гг. поздней славянофильской проповеди с зарождением русской псевдокапиталистической буржуазии европейского образца. Кажется непонятной чудовищная революционная травля, преследовавшая Александра II. Между тем она изобличала то внутреннее неблагополучие, ту роковую культурно-идеологическую путаницу, в которой очутилась Россия после 61 г. Революционеры-террористы той поры, конечно, неправы, но симптоматичны. Они в слепой конвульсии, своими безумными делами свидетельствовали об уродстве и злокачественности совершавшихся в самой сердцевине русской жизни процессов, приводивших к противузаконному сочетанию и срощению тогдашнего российского империализма (прусского образца) с правительственным сентиментальным славянофильством, неистового разлагающего «нутра» народника-Достоевского — с либерально-западнической просвещенной сановностью Лорис-Меликова и позже православно-самодержавного ледяного деспотизма Победоносцева с индустриальным кон-

цессионизмом и грюндерской горячкой 90 гг. (Губонин, Поляков, Утин...)

Из темных десятилетий конца прошлого века передовые ряды русской интеллигенции вышли по двум основным путям. Одна часть пошла в сторону романтического идеализма и тотчас же обессилела в соловьевском эпигонстве. Этот интеллигентский стан, быстро заволоченный декадентскими и символистическими туманами, оставаясь политически прогрессивным и даже революционным, потерял всякое представление о реальной действительности. Другая часть интеллигенции стабилизировалась на интересах легальной и полулегальной общественности различных оттенков. Это привело к Гос. Думе, к октябристам, кадетам, националистам и т. п.

Нет ничего более внутренно не русского, всесторонне ошибочного и стилистически фальшивого, чем все Думы Таврического Дворца, которые привели к логическому концу — к разгону Учредительного Собрания. Сколько было бурных заседаний, конфликтов, уличений, разоблачений и крылатых слов и как мало действительной жизни. Как будто бы в прошлом и не бывало социальной воодушевленности декабристов и народников. Вместо работы по созданию большого *движения,* широкого *действия* (а в этом только и нуждалась Россия) — наивное позерство на деловой, «благополучный» парламентаризм Европы (да и парламентаризма-то не было); и, конечно, прав был Розанов, когда в 18 г., вспоминая поездку русских «парламентариев» в Лондон, яростно писал, что Дума «продала народность, продала веру»... «нашей паве хочется везде показаться...» Прав потому, что с упоением подделываться к формам европейской политической благопристойности и в то же время терять ощущение и память подлинных русских социальных *движений,* а вместе с этим и чувство реальности — означало действительную деградацию руководящих интеллигентских кругов. Столыпин, октябристы, кадеты... были тактиками (хорошими ли?), а не идеологами-двигателями. Они по разному отстраняли революционные кулаки, позволяя за своей спиной рушиться самодержавию, прикрывая временную возможность для одной части интеллигенции интересоваться Штейнером, Далькрозом и издавать «Золотое Руно», «Апполон», «Старые Годы»... а другой капитализироваться (строительство зданий под банки в 900 гг. породило даже особый архитектурный стиль). Но между идеологией и реальностью была пропасть. «Башня» Вяч. Иванова и земский начальник, проводящий столыпинскую аграрную реформу — это абракадабра. Последней попыткой перейти *от политики к движе-*

нию была мрачная затея «Союза русского народа», но о ней лучше не говорить. А последним народным героем — до Ленина — не был ли о. Іоанн Кронштадтскій?... Не Гапон-же?

Между тем после кустарной и провинциальной идеологии русских народников, блестящая, «всеразрешающая» и в Европе сформулированная система марксизма оказывалась соблазнительной. Не спасли от этого соблазна никакие символизмы и неославянофильства, так как не имели чутья к социальному делу. Но проводниками марксизма стали уже не прежние идейные интеллигенты, не прежние бегуны и ошалевшие кликуши, а революционеры-спецы, для которых революция стала предприятием, расчитанным и размеренным. Те люди, что в свое время «ходили» и «бегали» в народ, отяжелели и осели. Новая интеллигенция частью облагопристоилась в кадетской и октябристской партиях, частью эстетствовала, частью же сошла на нет, подготовляя «соглашательство» 18-го г. и инородческое засилие. Причины этого паралича нужно искать в правительственной реакции конца 19 в.. Подрезав в корне народническую энергию интеллигенции, оно само и вызвало то инородческое засилие, которое в нашу пору так всех удивляет. И это понятно. В инородческой среде накопилось много затаенной злобы и ненависти, но вместе с тем, в прошлом, русское еврейство не знало общественных поражений, которые испытала русская интеллигенция. Во весь бунтарский 19 в., который так дорого обошелся русской интеллигенции, оно вовсе не выходило на сцену и тем сохранило свои революционные силы.

Будучи выпущенной из рук упадочным самодержавием и осевшей, или потерявшей инициативу социального дела интеллигенцией*), — русская стихия оказалась схваченной марксистами-профессионалами.

III

Русский культурный ренессанс конца 19-го века, захвативший все последующие десятилетия, определился прежде всего исцелением интеллигенции от нигилистического безумия 60-80 гг. Однако, выходя из этого круга мыслей и веры, наиболее *современные* тогдашние поколения одновременно переставали чувствовать всю остроту и центральность русской социальной проблемы и теряли сознание русско-

*) Истерическая и слабосильная жестикуляция с-р'ов в предбольшевицкую пору революции — с трагической очевидностью раскрыла всю упадочную несостоятельность позднего народничества.

го политического неблагополучия. Дело в том, что шестидесятнический нигилизм был скорее практикой, чем теорией. Быть в свое время нигилистом значило лихорадочно интересоваться принципиально общественной стороной жизни. Вся «социология» тех годов была окрашена и отравлена нигилистической эмоциональностью. Поэтому, приходя в себя от шалого дурмана, интеллигенция соответственно охладевала и к реально прикладным социальным вопросам. После «эпохи великих реформ» некоторая часть русского дворянства сочла свою освободительную миссию законченной. Социально-этическая проблема, которая в свое время так волновала декабристов и народников, перестала ощущаться живой болью, способной перевернуть всю биографию человека и превратилась в предмет формально политического интереса. Толстой был последним фанатиком - проповедником, завершителем цикла русского общественно - революционного диллетантизма. Не будучи по существу социологичным, и сводясь к «свободному» учительскому морализму, «толстовство» не породило социального движения и не смогло конкурировать, в смысле влияния, ни с реакционным «здравомыслием», ни с системной революцией. В результате — Ленин победил Толстого...

Большевицкая революция в корне изменила не одну лишь социально-политическую структуру былой России. Прервав общественно-идейный канон 900-х гг., она устанавливает обстановку для выработки нового культурного типа и для развития нового культурного темперамента.

Вне связи с отвращением к коммунистической власти нельзя не признать, что за последние годы в России до максимума напряглось чувство социально - практической стихии. Именно эта стихия и обезвреживает ядовитость коммунистической доктрины, превращая «философский» материалистический монизм Ленина в стихийный практицизм народной массы. Русская революция в народном понимании не атеистична и не социалистична, а стихийно *практична.* Раскрылся огромный плацдарм, на котором по новому сталкиваются, наступают и отступают такие социальные силы, которые давно не участвовали в реальной жизни русской государственности. Большевики сдвину: і со своих мест тысячи оседлых людей. Наново развивается социальная подвижность, специфически русское *континентное кочевничество* и страсть к социальному делу. Из рук революционеров-спецов это дело постепенно отнимается.По сравнению с оживающей многосложностью жизни—бессильно элементарное доктринерство коммунизма. Революционно социалистический плановой распорядок жизни,

пытающийся (как когда то самодержавие) стабилизировать миллионные массы, срывается и пятится перед растущей молекулярной подвижностью народной среды. Следовало бы задуматься и над самой компартией: не является ли ее наличный состав, в какой то части, лишь впервые государственноподобно организованной массой прежних «бегунов», воскресших и нашедшихся в общем сдвиге и смятении революции. Подвижность и зыбкость русской социальной массы достигают в настоящее время тех размеров, при которых в ней начинает развиваться характерная психология и общая настроенность прошлого кочевья. Сталкиваясь с пафосом советского организационизма и несомненно заражаясь им, эта психология и настроенность могут определить собой в будущем совершенно исключительное по силе и внутренней значительности духовно-социальное движение. Ибо в структуре русского типа и в закономерностях русской истории есть таинственная связь между началами *мистики* и *практики*, между движениями социальными и религиозно-духовными, между кочевьем и организованностью. Все наиболее яркие и внутренно устойчивые религиозные движения имели всегда социально практическую обращенность и сдвигаясь, и срываясь со своих мест и корней русская масса всегда получала удивительную способность к организации и выносливости (старообрядчество, мистическое сектантство).

Болезненную оседлость и небрежение к реально-практической стихии жизни интеллигенция 90-900-х гг. искупила своим полным уничтожением. В каких то новых большевицких людях тяга к социальному делу и жизненной подвижности проснулась с необычайной силой, и конечно только на этих началах и будет основываться — и уже основывается — новый русский ренессанс 920-х годов.

П. П. Сувчинский

ПОЭТЫ И РОССИЯ

Никогда поэты не занимали такого места в русской жизни, как в наше, революционное, время. Ими, с 1905 года пишется самая значительная страница нашего самопознания. Правда, их голос доходит до немногих, и те не всегда имеют уши. Но это в порядке вещей, чтобы пророков не слышали, не слушали и не узнавали. В пророческой же природе современной русской поэзии сомневаться уж нельзя, — слишком она очевидна. И дело, конечно, не в отдельных, «поразительных предсказаниях» (вроде прославленного и затасканного Лермонтовского «Настанет год, России черный год»), в конце концов случайных и лишенных необходимости, а в том, что в наши дни русские поэты снова стали *чувствилищем* народной души, в которой события совершаются раньше чем в мире событий гражданских. Флаг поэзии взвивается ветром истории прежде чем приходит в движение поверхность народного моря.

Поэзия 19-го века была лишена этой пророчественности. Золотой Век нашей поэзии был обращен лицом в прошлое. Позднейшая поэзия была оторвана от общей жизни России, и питалась поверхностными соками, — отсюда ее худосочие . Одно исключение — Некрасов. У него и, гораздо раньше, у Державина была та со-чувственность общей жизни, которой отмечены высшие поэты современности. Поэтому Державин и Некрасов самые близкие нам теперь поэты. Начала Державинское и Некрасовское, — начала восторга и со-страдания, начала современной нам Русской поэзии.

При всем их внешнем, и внутреннем, несходстве, общего у Державина и Некрасова то, что они поэты более чем личные, — гражданские, национальные, политические (zoon politikon), словом поэты *общей* жизни. И другие поэты (Пушкин, Тютчев) писали стихи на политические и общественные темы, — но подлинно «гражданские» поэты, как Державин и Некрасов отличаются от других тем, что их творчество устанавливает некоторый знак равенства между общим и частным, и что ими жизнь общая переживается, как неотдельная от своей. У Державина рамки личного раздвинуты настолько,

что включают высокие и обширные переживания торжествующей России; у Некрасова, наоборот, «страдания народа» как бы сжимаются до совпадения со страданиями личными.*) Но и у того и у другого общее слито с личным, и поэт — чувствилище «общества». Отсюда свойственная обоим поэтам гиперболичность, некоторое, как бы, отсутствие чувства меры, столь резко отделяющее их от великого гуманиста и «личника» Пушкина.

При таком сходстве, такое же, если не еще большее различье. Победный, восходящий, мажорный строй Державина —

«Необычайным я пареньем
От тленна мира отделюсь».

И мученический, нисходящий, минорный у Некрасова —

«Холодно, странничек, холодно,
Холодно, родименькой, холодно».

В поэзии предреволюционной, поскольку она была «гражданской», господствовало начало Некрасовское. Начало Державинское, после больше чем столетнего сна, впервые вновь зазвучало в поэзии, гражданской и негражданской, наших дней.,

Когда после 1905 года впервые были услышаны гражданские, «некрасовские» стихи символистов, на них мало обратили внимания, разве что удивились, как это «декаденты», начавшие реакцией против «гражданской поэзии» 80-х годов (которая не была, конечно, ни гражданской, ни поэзией, а всего только интеллигентским дребезжанием), вдруг занялись не своим делом. На поверхности «общественного» сознания эпоха Третьей Думы была одной из самых благополучных, наименее трагических эпох Русской истории. Новая, обуржуаженная, интеллигенция устраивалась не на вулкане. Был Золотой Век эстетики и экономики. Революция исчезла. Мы обогащались и развивались, и с высоты *Аполлона* и *Речи* посматривали с презрением на допотопное *Русское Богатство.* Но в глубине национальной жизни происходило другое. И то, чего не слышали газеты, слышали поэты. Гражданская поэзия Блока (и в меньшей мере Белого) была ветром из близкого будущего, ветром —

*)У Некрасова есть и другой путь совпадения с общим , с этими несходный, путь подлинного народного, сверх-индивидуального творчества («Коробейники» «Кому на Руси жить хорошо» и т. д.) в котором «страдания» уже преодолеваются общностью.

С Галицийских кровавых полей

за которым вставали

Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи.

Новое, высокое бремя пророчества и со-чувствования с еще не наставшими страданиями народа принимали на себя поэты, и особенность этого факта подчеркивалась тем, что принимал это бремя, самый индивидуальный, самый замкнутый, самый бесплотный из поэтов. Не менее удивительно была пророческая и некрасовски со-чувственная настроенность у поэта еще более личного, (и к тому же гораздо менее стихийного и очень «только-человеческого») — Анны Ахматовой, в стихах ее написанных в июле 14-го года. И еще удивительнее, может быть, первые звуки «Державинской» гражданственности, (первые раскаты революционного грома) в поэмах написанных в глушайшие для Революции годы войны, — шарлатаном и шутом, ходившим еще тогда в желтой кофте и никем из революционеров в серьез не принимавшимся — Владимиром Маяковским. Все эти предчувствия не были случайны и разрознены, — они органически и неразрывно входил в целое творчества каждого из этих поэтов (теряли даже свою понятность вне связи с этим целым). Вместе же они сливались в один грозный гул надвигающихся Событий.

Переставши после Революции быть пророчественной, «Некрасовская» линия не сразу умолкла и не сразу ослабла. Наоборот, самые, может быт, сильные ее создания возникли после События — *Двенадцать* Блока, лучшие гражданские стихи Ахматовой. Но общая *тональность* русской поэзии стала меняться. Ее равнодействующая впервые после многих поколений из нисходящей стала восходящей: Есть символический смысл в дате и в имени книги Бориса Пастернака, написанной летом семнадцатого года, — *Сестра Моя Жизнь:* на человеческой памяти ни один русский поэт с такой сестрою не братался.

В младшей, после-революционной поэзии господствует мажорная, восходящая, «Державинская» тональность. Державинское начало воскресло в поэзии Гумилева, Маяковского, Пастернака, Марины Цветаевой. (То, что эти поэты существовали уже до 17-го года, кроме общеизвестного факта, что история не считается с хронологией, только подтверждает пророческую природу поэзии).

Кроме мажорности, этих поэтов об'единяет еще одна черта, —

то, что можно было бы назвать их не-, или сверх-человечностью. В этом опять, они через голову 19-го века подают руку Державину. Узкие границы человеческой меры, предписанные нам Пушкиным и укрепленные великими реалистами — перейдены. Мир возвращается в поэзию. Северное Сияние Ломоносова перекликается с Солнцем Маяковского, и золотые стерляди Державина с красными быками Гумилева. И не только 18-ый век (наше средневековье, по верному слову Кохановской, и, конечно, раннее средневековье космических мифов, а не схоластиков и трубадуров) приближается к нам. До-Петровская Россия, Аввакум и Игорь, и вся народная поэзия (уже не в сентиментально-славянофильском преломлении) становятся нам ближе. «Вдруг стало видно далеко во все концы света», слова Гоголя, знаменательно стоящие эпиграфом к одному из удивительнейших стихотворений *Сестры моей жизни*. И Россия, как единство, как один рост, «от князя Игоря до Ленина» для нас реальнее и зримее, чем была когда нибудь.

И еще одно — современная, рожденная из декадентства, «оторванная от почвы», настойчиво-индивидуальная и оригинальная поэзия наших дней, чуть ли не впервые за все существование нашей литературной поэзии, перекликается с поэзией народной — с современной частушкой.

Кн. Д. Святополк-Мирский

ТРИ СТОЛИЦЫ

Старая тяжба между Москвой и Петербургом становится вновь одной из самых острых проблем русской истории. Революция — столь богатая парадоксами — разрубила ее по славянофильски. Впрочем, сама проблема, со времени Хомякова и Белинского, успела изменить свой смысл. Речь идет уже не о самобытности и Европе, а о Востоке и Западе в русской истории. Красный Кремль — не символ национальной святыни, а форпост угнетенных народов Азии. Этому сдвигу истории соответствует сдвиг сознания: евразийство расширяет и упраздняет старое славянофильство. Но другой член антитезы, западничество, и в поражении своем сохраняет старый смысл. Дряхлеющий, зарастающий травой, лишенный имени Петербург духовно живет своим отрицанием новой Москвы. Россия забывает о его существовании, но он еще таит огромные запасы духовной силы. Он все еще мучительно болеет о России и решает ее загадку: более, чем когда-либо, она для него сфинкс. Если прибавить, что почти вся зарубежная Россия — лишь оторванные члены России петербургской, то становится ясным: Москва и Петербург еще не изжитая тема. Революция ставит ее по новому и бросает новый свет на историю двухвекового спора.

I

Как странно вспоминать теперь классические характеристики Петербурга, из глубины Николаевских годов: Петербург — чиновник, умеренно-либеральный, европейски-просвещенный, внутренне черствый и пустой. Миллионы провинциалов, приезжавших на берега Невы обивать пороги министерских канцелярий, до самого конца смотрели так на Петербург. Оттого и не жалеют о нем: немецкое пятно на русской карте! Уже война начала его разрушение. Похерила ненавистный «бург»,эвакуировала Эрмитаж, скомпрометировала немецкую науку. Город форменных виц-мундиров, уютных василеостровских немцев, шикарных иностранцев — революция слизнула его без остатка.

Но тогда и слепому стало ясно, что не этим жил Петербург. Кто посетил его в страшные, смертные годы 1918—1920, тот видел, как вечность проступает сквозь тление. Разом провалилось куда-то «чрево» столицы. Бесчисленные доходные кубы, навороченные бездарными архитекторами четырех упадочных царствований, — исчезли с глаз, превратились в руины, в пещерное жилье доисторических людей. В городе, осиянном небывалыми зорями, остались одни дворцы и призраки. Истлевающая золотом Венеция и даже вечный Рим бледнеют перед величием умирающего Петербурга. Рим — Петербург! Рим опоясал Средиземное море кольцом греческих колонн, богов и мыслей. Рим наложил на южные народы легкие цепи латинских законов. Петербург воплотил мечты Палладио у полярного круга, замостил болото гранитом, разбросал греческие портики на тысячи верст среди северных берез и елей. К самоедам и чукчам донес отблеск греческого гения, прокаленного в кузнице русского духа. Кто усомнится в том, что Захаров самобытнее строителей римских форумов, и что русское слово, раскованное Пушкиным, несет миру весть благодатнее, чем флейты Горация и медные трубы Вергилия?

Русское слово расторгло свой тысячелетний плен и будет жить. Но Петербург умер и не воскреснет. В его идее есть нечто изначально-безумное, предопределяющее его гибель. Римские боги не живут среди «топи блат»; железо кесарей несет смерть православному царству. Здесь совершилось чудовищное насилие над природой и духом. Титан восстал против земли и неба, и повис в пространстве на гранитной скале. Но на чем скала? Не на мечте ли?

Петербург вобрал все мужское, все разумно-сознательное, все гордое и насильственное в душе России. Вне его осталась Русь, Москва, деревня, многострадальная земля, жена и мать, рождающая, согбенная в труде, неистощимая в слезах, не успевающая оплакивать детей своих, пожираемых титаном. Когда слезы все выплаканы, она послала ему проклятье. Бог услышал проклятье матери, «коня и всадника его ввергнул в море».

При покорном безмолвии Руси, что заполняет трагическим содержанием петербургский период? Борьба Империи с порожденной ею культурой, — еще резче: борьба Империи с Революцией. Это борьба отца с сыном, — не трудно узнать фамильные черты: тот же дух системы, «утопии», беспощадная последовательность, «западничество», отрыв от матери-земли. В революции слабее отцовские черты гуманизма, зато сильнее фанатические огоньки в глазах — отблеск

материнской веры, но, пожалуй, сильнее и тяга к ней, забытой, непонятной матери. Народничество — болезнь этой неутоленной сыновней любви. Отец не знает ни любви, ни тоски по ней. Он довольствуется законным обладанием.

Размышляя об этой борьбе перед кумиром Фальконета, как не смутиться, не спросить себя: кто же здесь змий, кто змиеборец? Царь ли сражает гидру революции, или революция сражает гидру царизма? Мы знаем земное лицо Петра — искаженное, дьявольское лицо, хранящее следы божественного замысла, столь легко восстанавливаемого искусством. Мы знаем лица революционеров — как лица архангелов, опаленные печалью. В жестокой схватке отца и сына стираются человеческие черты. Кажется, что не руки и ноги, а змеиные кольца обвились и давят друг друга, и яд истекает из разверстых пастей. Когда начиналась битва, трудно было решить: где демон, где ангел? Когда она кончилась, на земле корчились два звериных трупа.

Империя умерла, разложившись в невыносимом зловонии. Революция утонула в крови и грязи. Теперь нет города в России, где бы не было Музея Революции. Это верный признак ее смерти: она на кладбище. Дворцы царей — тоже музеи. Да и вся Европа превратилась в сплошной Музей Русской Империи — или, что одно и то же, в ее кладбище. Когда ходишь по Зимнему Дворцу, превращенному в Музей Революци, или по Петропавловской крепости, то начинаешь уже путать: чьи это памятники и чьи гробницы: цареубийц или царей?

Ужасный город, бесчеловечный город! Природа и культура соединились здесь для того, чтобы подвергать неслыханным пыткам человеческие души и тела, выжимая, под тяжким давлением прессов, эссенцию духа. Небо без солнца, промозглая жижа под ногами, каменные колодцы дворов среди дворцов и тюрем, — дома-гробы, с перспективой трясины кладбища, — туберкулез и тиф, изможденные лица тюремных сидельцев... И закон жизни — считай минуты, секунды, беги, гори, колотись сердце, пока не замолчишь навсегда! Для пришельца из вольной России этот город казался адом. Он требовал отречения — от солнца, от земли, от радости. Умереть для счастья, чтобы родиться для творчества. Непримиримо враждебный всякому язычеству, не взирая на свои римские дворцы, он требовал жизни аскета и смерти мученика. Над каждым жильем поднимался дым от человеческих всесожжений. Если бы каждый дом здесь поведал все свое прошлое — хотя бы казенной мраморной доской — прохожий был бы

подавлен этой фабрикой мыслей, этим костром сердец. Только коренные петербуржцы — есть такая странная порода людей — умели както приспособиться к почве, создать быт, выработать защитный цвет души. Они острили над жизнью и смертью, уверенным мастерством заменяли кровь творчества — шлифовальщики камней, снобы безукоризненного. Спасибо мэтрам неряшливой, распущенной России, но не ими оправдываются граниты Невы и камни Петропавловской крепости. Провинциалы, умиравшие здесь, лучше их слышали голос Петербурга.

Да, этот город торопился жить, точно чувствовал скупые пределы отмеренного ему времени. Два столетия жизни, одно столетие мысли, немногим более сроков человеческой жизни! За это столетие нужно было, наверстав молчание тысячи лет, сказать миру слово России. Что же удивительного, если, рожденное в муках агонии, это слово бывало часто горьким, болезненным? Аскетизм отречения Петербург простер — до отречения от всех святынь: народа, России, Бога. Он не знал предела жертвы, и этот смертный грех искупил жертвенной смертью.

Россия приняла факел из его холодеющих рук. О если бы он не потух на ветру ее степных дорог, не заглох под мерою косного, уютного быта, не разошелся на тысячи мелких свечечек!..

Чем же может быть теперь Петербург для России?

Не все его дворцы опустели, не везде потухла жизнь. Многие из этих дворцов до чердаков набиты книгами, картинами, статуями, Весь воздух здесь до такой степени надышан испарениями человеческой мысли и творчества, что эта атмосфера не рассеется целые десятилетия. Даже большевики, не останавливающиеся ни перед чем, не решились тронуть этих сокровищ из старых стен. Эти стены будут еще притягивать поколения мыслителей, созерцателей. Вечные мысли родятся в тишине закатного часа. Город культурных скитов и монастырей, подобно Афинам времен Прокла, — Петербург останется надолго обителью русской мысли.

Но выйдем из стен Академии на набережную. С Невы тянет влажный морской ветер, — почти всегда западный ветер. Не одни наводнения несет он Петровской столице, но и дух дальних странствий. Пройдитесь по последним линиям Васильевского Острова или к устью Фонтанки, на Лоцманский островок, — и вы увидите просвет моря, отшвартовавшийся пароход, якоря и канаты, запах смолы и соли, — и сердце дрогнет, как птица в неволе. Потянет в даль, на чудесный

Запад, омытый Океаном, туда, где цветут сады Гесперид, где из лона вод возникают Острова Блаженных. Иногда шепчет искушение, что там уже нет ни одной живой души, что только мертвые блаженны. Все равно, тянет в страну призраков, «святых могил», неосуществленной мечты о свободной человечности. Тоска целых материков — Евразии — по Океану скопилась здесь, истекая узким каналом Невы в туманный, фантастический Балт. Оттого навстречу западным ветрам с моря дует вечный «западнический» ветер с суши. Петербург останется одним из легких великой страны, открытым западному ветру.

Не сменил ли он здесь, на Кронштадтской вахте, Великий Новгород? Мы в школе затвердили: «Шлиссельбург-Орешек», но только последние годы с поразительной ясностью вскрыли в городе Петра город Александра Невского, князя Новгородского. Революция, ударив всей тяжестью по Петербургу, разогнала все пришлое, наносное в нем, — и оказалось, к изумлению многих, что есть и глубоко почвенное: есть православный Петроград, столица Северной Руси. Многие петербуржцы впервые (в поисках картошки!) исколесили свои уезды, и что же нашли там? На предполагаемом финском болоте русский суглинок, сосновый бор, тысячелетние поселки-погосты, народ, сохранивший в трех часах езды от столицы песни, поверья, богатую славянскую обрядность, чудесную резьбу своих изб, не уступающую вологодским... И среди этих изб Старая Ладога с варяжскими стенами, с древнейшей росписью, память о новгородских крепостях — Ям, Копорье, Ивангород — о шведских могилах — следы вековой тяжбы племен. Ижорские деревни, эстонские хутора среди славянского моря говорят о глухой, но упорной этнографической борьбе, борьбе деревьев, сплетающихся ветвями в глухом лесу, отвоевывая у чужих пород каждую пядь почвы, каждый луч света. Когда бежали русские из опустелой столицы, вдруг заговорила было по-фински, по-эстонски петербургская улица. И стало жутко: не возвращается ли Ингерманландия, с гибелью дела Петрова, на берега Невы? Но нет, русская стихия победила, понажала из ближних и дальних уездов, даже губерний, возвращая жизнь и кровообращение в коченевшую Северную Коммуну. В ту пору отмирали кровеносные сосуды по всему телу России, и с особенной ясностью прощупывались естественные, географические связи. Петербуржцы чувствовали тогда: Москва на краю света, Украина едва ли вообще существует, но близки, ощутимы Ладога, Новгород, Псков, Белозерск, Вологда. Пока мешечничал обыватель, искусствоведы, этнографы исколесили всю Северо-Восточную Русь,

чьи говоры сливаются на питерских рынках, и связи эти не заглохнут.

В последние годы перед войной новгородские церковки и часовни одна за другой начали возникать по окраинам столицы — памятник новых художественных вкусов и *древней народной религиозности*. Интеллигенция почти не замечала народного православного Петербурга с его чудотворными иконами, живыми угодниками, накаленной — быть может, как нигде в России — атмосферой пламенной веры. Только скандалы хлыстов или братцев привлекали внимание. Теперь остатки старой интеллигенции вросли в этот народный церковный массив и внесли в него чистую пламенность новых культурных катакомб. Есть верная молва, что в последние дни Оптиной Пустыни один из ее старцев послал свое благословение Петрограду, «самому святому городу во всей России».

Богат и сложен Великий Новгород. Мы и сейчас не понимаем, как мог он совместить с буйным вечем молитвенный подвиг, с русской иконой ганзейский торг. Все противоречия, жившие в нем, воскресли в старом и новом Петербурге... Васька Буслаев предсказал уже нигилизм, как Садко, гусляр и купец, -- вольнолюбивое, широкое творчество. Есть в наследстве Великого Новгорода завещанное Петербургу, чего не понять никому, кроме города святого Петра. Первое — завет Александра: не сдавать Невской победы, оборонять от ливонцев (ныне финнов) и шведов невские берега. Второе. Хранить святыни русского Севера, самое чистое и высокое в прошлом России. Третье. Слушать голоса из-за моря, не теряя из виду ганзейских маяков. Запад, некогда спасший нас, потом едва не разложивший, должен войти своей справедливой долей в творчество национальной культуры. Не может быть безболезненной встреча этих двух стихий, и в Петербурге, на водоразделе их, она ощущается особенно мучительно. Но без их слияния — в вечной борьбе — не бывать и русской культуре. И хотя вся страна призвана к этому подвигу, здесь, в Петербурге, слышнее историческая задача, здесь остается, если не мозг, то нервный узел России.

II

Москва куда проще Петербурга, хотя куда пестрее его. Противоречия, живущие в ней, не раздирают, не мучают, как-то легко уживаются в нарядной полихромии. Каждый найдет в Москве свое, для

себя, и если он в ней проезжий гость, то не может не почувствовать себя здесь совсем счастливым.

Многоцветность архитектурных одежд, слой за слоем, как луковицу, покрывают тело Москвы. На каждой печать эпохи — настоящая ярмарка стилей, разбросанная в зелени садов под вольным небом и ласковым солнцем. Сама история утратила здесь свою трагическую тяжесть, лаская глаз пышностью декораций. За два века благодушного покоя развенчанная столица отвыкла от ответственности дела государева — и такую любил ее народ: безвластную и вольную, широкую и святую. Вероятно, Москва, сердце России, любовь ее, не похожа на строгую царскую Москву, но новое чувство Москвы органически переработало памятники царского времени, утопив их в мягком свете благочестивых воспоминаний.

Революция пощадила тело Москвы, почти ничего не разрушив — и ничего не создав в ней. Она лишь исказила ее душу, вывернув наизнанку, вытряхнув дочиста ее особняки, наполнив ее пришлым, инородческим людом. С тех пор город живет, как в лихорадке — только не красной. Стучат машинки, мчатся форды, мелькают толстовки, механки, портфели. В кабаках разливанное море, в театрах балаган. В учреждениях беличий бег в колесе. Ворочают камни Сизифы, распускают за ночь, что наткали за день, Пенелопы. Здесь рычаг, которым думали перевернуть мир, и надорвались, нажив себе неврастению. Осталась кричащая реклама, порою талантливая, безумно смелая, которая облепила Москву, кричит с плакатов, полотнищ, флагов, соблазняет в витринах окон, играет электрическими миражами в небе. «Нигде, кроме, как в Моссельпроме»... «Пролетарии всех стран... покупайте облигации выигрышного займа!»

Но ступите шаг от Тверской, от Никитской, и вы очутитесь в тихих, мирных переулочках, где редко встретишь прохожего, где гуляют на солнышке бабушка с внучком, вспоминая минувшие дни. Все так же гудит золотой звон «сорока сороков», по-прежнему чист снег, и ярки звезды, по-прежнему странно волнуют в сумерках башни и зубцы древних стен. На несколько часов Москва, как добрая, старая няня, убаюкает истерзанного россиянина.

За что Россия так любила Москву? За то, что узнавала в ней себя. Москва сохраняла провинциальный уклад, совмещая его с роскошью и культурными благами столицы. Приезжий мещанин из Рыбинска, из Чухломы, мог найти здесь привычный уют уездного трактира и торговых бань, одноэтажные домики, дворы заросшие травой, где

можно летом дуть самовар за самоваром, обливаясь потом, и услаждаясь пением кенара или граммофона, в зависимости от духа времени. Замоскворечье и сейчас огромный провинциальный, едва ли не уездный, город, во всей его нетронутости. А чудесные дворянские усадьбы, с колоннами или без колонн, с мезонинами или без мезонинов, но непременно в мягком родном ампире — разве не кажутся перенесенными сюда прямо из глуши Пензенских и Тамбовских деревень? Хотите видеть теперь, воочию, как жили в них поколения наших дедов? — Пойдите в дом Хомяковых на Собачьей Площадке, где, кажется, ни один стул не тронут с места с 40-х годов. Какой тесный уют, какая очаровательная мелочность! Низкие потолки, диванчики, чубуки, бисерное бабушкино рукоделие — и полка с книгами: все больше немецкие, романтики да любомудры. Если Бог убережет вас от экскурсии «с классовым подходом», и если вы еще не до конца растратили способность умиления, вы поймете здесь корни старого славянофильства.

Да и не только славянофильства. Весь вклад Москвы в культуру двух истекших столетий таков: не отделим от культуры русских дворянских усадеб и провинциальных иерейских домов. На нем лежит печать светлой наивности, доброй, здоровой лени. Здесь нет ни грана петербургского излома, мучительства, — зато нет и мучительной напряженности подвига. Свободная от тяжести власти, Москва жалела Россию, как жалеют отсталого, но милого ребенка, не имея сил принуждать его к учению. Оттесняемая Петербургом, Москва не злобствовала, но пребывала — два столетия — в лойяльнейшей, кротчайшей оппозиции. Москва по сердцу, не по идеям, всегда была либеральной. Не революция, не реакция, а особое московское просвещенное охранение. Забелины, Самарины, Шиповы до последних дней отрицали «средостение», мечтая о Земском Соборе и земском царе. Здесь либералы были православны, чуть-чуть толстовцы. Здесь Ключевский был гостем «Русской Мысли» и ходил церковным старостой. Здесь именитое купечество с равной готовностью жертвовало на богадельни, театры и на партию большевиков.

Эта милая обывательская Москва не воскреснет. Лихорадящий Петербург и обломовская Москва — дорогие покойники. Но за последнее человеческое поколение Москва необычайно росла и менялась, явно готовясь снова стать духовной столицей России. Новая промышленная, купеческая Москва покрылась небоскребами, передовыми театрами, музеями, щедро, по-царски обставив новую русскую культуру. Москва сравнялась с Петербургом, как центр научный, и обогна-

ла его, как центр художественный. Здесь сложилась и крепла русская философская школа, здесь культивировались самые левые направления в живописи. Щукин и Морозов ограбили Париж, Мясницкая старалась обскакать Монпарнасс. Кабацкая Москва, ориентируясь на Монмартр, вещала самоновейшие слова. Все это было буйно, но молодо, всегда пленяло здоровьем, если не вкусом. По сравнению с Петербургом, здесь можно было скорее встретить «почти гениальное», но никогда — безукоризненное.Новая Москва работала широко, торопливо, и не любила доделывать до конца. Философы без метода, блещущие афоризмами, художники, побивающие рекорды квадратных аршин... Москва все еще жила слишком привольно и слишком безответственно. Почти на всех ее созданиях лежал отпечаток порою милого, порою претенциозного бесвкусия.

Новая большевистская Москва уродливо продолжает эту «метропольно» - кабацкую традицию. Современное творчество Москвы так же относится к до-революционному, как дутый Нэп к размашистому индустриализму довоенных годов. И это на фоне все той же безответственности. Политическая мысль Кремля столь же далека Москве, как была далека государственная мысль Петербурга.

И все же основное русло нашей культуры пролегает именно здесь. Сюда несет свои воды русская провинция — особенно Юг и Восток. Здесь верят в будущее, захлебываются настоящим — пусть подурацки, — и не в силах вырваться из власти прошлого. Здесь стены слишком насыщены воспоминаниями, чтобы ультра-модерные жильцы могли уцелеть от их заразы. Мечтающая стать Америкой, Москва в плену декоративных чар XVII века. Москва-модерн, быть может, более Москвы ампирной... Метрополь на фоне Китай-города понятнее Большого Театра. И это ставит вопрос о качестве культуры древней Москвы.

Что говорят нам фасады и купола ее бесчисленных церквей? Конструктивно — перенесенный в камень северный шатер да Владимирский куб, отяжелевший, огрузневший с пышно изогнутой восточной луковицей. Нет новых идей, нет и строгости завершений. Нет ничего, что взволновало бы присутствием подлинно-великого искусства. В Москве есть несколько чудесных церквей. Но, ведь и очарование нарышкинского стиля только в его декоративности. О, в декоративном чутье нельзя отказать Москве! Архитектурно-бессмысленная идея Василия Блаженного разрешена с удивительным мастерством. Самые грузные и грубые формы согреты и оживлены яркой живопис-

ностью. Чтобы вполне оценить декоративный эффект лубочного искусства в его ансамбле, нужно видеть Троицкую Лавру. Когда я пишу эти слова, я пытаюсь с усилием оторваться от того лирического наваждения, перед которым бессилен в Москве. Хочется целовать эти камни и благословлять Бога за то, что они еще стоят. Но, вдумавшись, видишь, что это художественное впечатление не глубоко, что его идея бедна. Как назвать ее? умилением? — нет. Стоит увидеть эти формы, хотя бы в недалеком Угличе, где еще чувствуется дыхание Севера, чтобы понять, каков может быть чисто религиозный смысл этого искусства. Московские кокошники, барабаны, крыльца и колокольни — как пасхальный стол с куличами и крашеными яйцами... Веселый трезвон, кумачевые рубахи, шапки набекрень, гулящая, веселящаяся Русь! Это идеал великорусской, нарядной праздничности. Очевидно, в Москве мы видим пышный закат великого и строгого древне-русского искусства. — Непонимание этого факта натворило много бед делу нашего национального возрождения. Подражать Москве — значит обрекать себя на педантическую пошлость: таково «русское возрождение» Александра III.

Беда Москвы в том, что искусство ее слишком неполно выражает ее историческую идею. В нем сказалась показная пышность царской власти да бытовая, праздничная сторона уже оплотневающей народной религиозности. Где же искать нам величие старой Москвы?

Попробуем подойти к Кремлю. Отрешимся от мишуры «николаевской готики», от шума людных площадей, от обступивших небоскребов новой Москвы, — обойдем, лучше всего ночью, окружность его стен и башен, — и, может быть, тогда, за лубочной декоративностью Кремля, мы почувствуем его тяжкую мощь. А если вообразим себе старую деревянную («Васнецовскую») Москву с ее лабиринтом клетей и теремов, то эта каменная твердыня, словно орел упавший с облаков в сердце нищей России, покажется грозным чудом. Тени Ивана III и Ивана IV встают над древними стенами, столько раз облитыми кровью — врагов Руси и царских недругов. Набеги ханов, казни опричнины, поляки в Кремле — всю трагическую повесть Москвы читаем мы на стенах Кремля: повесть о нечеловеческой воле, о жестокой борьбе, о надрыве. Недаром Грозный, Годунов просятся в шекспировскую хронику. Дух тиранов Ренессанса, последних Медичи и Валуа живет в кремлевском дворце, под византийско-татарской тяжестью золотых одежд. Грозные цари взнуздали, измучили Русь, но не дали ей развалиться, расползтись по безбрежным просторам.

Обойдите когда-нибудь в летний день кольцо южных московских монастырей-сторож: Донской, Данилов, Симонов. Поднимитесь на гигантскую колокольню Симонова, и, окинув взглядом безкрайную равнину, вы поймете географический смысл Москвы и ее историческое призвание. Северная лесная Русь, со своими соснами, остатками некогда дремучих лесов, добегает до самого города, защищает его, создает ему надежный тыл. Москва питается северной Русью, ее духовными силами, ее трудовой энергией, но, чувствуя ее за плечами, она смотрит — на Юг и Восток. Эти колокольни - крепости вглядываются зорко в безлесную (ныне) равнину, по которой расходятся ленты дорог: на Калугу — Смоленск, Коломну — Рязань, на Нижний, Саратов. Здесь, за Ордынкой, пролегала дорога в Орду. Отсюда ждали крымчаков. Степь набегала в вихре пыли, в пожарах деревень, чтобы разбиться у московских стен. И отсюда Москва посылает, рой за роем, своих стрельцов и детей боярских в остроги на Дикое Поле, в вечной борьбе со степью.

Но странная эта борьба: она как будто чужда ненависти. Овладевая степью, Русь начинает любить ее; она находит здесь новую родину. Волга, татарская река, становится ее «матушкой», «кормилицей». Здесь, в Москве, до Волги рукой подать: до Рыбинска, до Ярославля, до Нижнего Новгорода. Порою кажется, что Москва сама стоит на Волге. То, что Москва сжала в тройном кольце своих былых стен, то Волга развернула на тысячи верст. Умиление Углицких и Костромских куполов, крепкую силу раскольничьего Керженца, буйную волю Нижнего, Казани, Саратова, разбойничью жуть Жигулей, тоску степных курганов, поросших полынью, и раскаленное море мертвых песков: ворота Азии. В сущности, Азия предчувствуется уже в Москве. Европеец, посетивший ее впервые, и русский, возвращающийся в нее из скитаний по Западу, остро пронзены азиатской душой Москвы. Пусть не святые и дикие, но вечно родные степи — колыбель новой русской души. В степях сложилось казачество (даже имя татарское), которое своей разбойной удалью подарило Руси Дон и Кавказ, Урал и пол-Азии. В степях сложился и русский характер, о котором мы говорим всегда, как о чем-то исконном и вечном. Ширь русской натуры и ее безволие, безудержность, порывистость, — и тоска, и тяжесть, и жестокость. Ненависть к рубежам и страсть к безбрежному. Тройка («и какой же русский не любит быстрой езды»), кутежи, цыганские песни, «безсмысленный русский бунт» и мученический подвиг и

надрыв труда. В природе Азии живет дух тяжести. Туранскую безблагодатную стихию он гнетет к земле, то зажигая пожарами страстей, то погружая в дремотную лень. Для религиозного гения славян дух тяжести — тема творческого преодоления, как грудь земли для пахаря. Микула подымает «тягу земную», которой не поднять удалому и хитрому витязю. В этом тема русского творчества. Старая Москва не могла художественно осмыслить свое призвание. Это сделал Толстой, в котором воплотился гений Москвы, как в Достоевском гений Петербурга.

Ныне тяжесть государственного строительства России опять ложится на плечи Москвы. Конец двухвековому покою и гениальному баловству. На милое лицо Москвы ляжет трагическая складка, наследие освобожденного Петербурга. Опять Москва на-стороже, — и как должны быть зорки ее глаза, как чутки и напряжены ее нервы! Все, что творится на далеких рубежах, в Персии, в Китае, у подошвы Памира — все будет отдаваться в Кремле. С утратой западных областей, Восток всецело приковывает к себе ее творческие силы. Москва призвана руководить под'емом целых материков. Ее долг — просветлять христианским славянским сознанием туранскую тяжелую стихию, в любовной борьбе, в учительстве, в свободной гегемонии. Да не ослабеет она в этом подвиге, да не склонится долу, побежденная — уже кровным и потому страшным — духом тяжести.

III

Западнический соблазн Петербурга и азиатский соблазн Москвы — два неизбежных срыва России, преодолеваемые живым национальным духом. В соблазнах крепнет сила. Из немощей родится богатство. Было бы только третье в борьбе двух и над нею, — магнитный полюс, куда обращается в своих колебаниях стрелка духа. Этим полюсом, неподвижной, православной вехой в судьбе России, является Киев: то-есть идея Киева.

О Киеве кажется странным говорить в наше время. Мы сами в недавнем прошлом с легкостью отрекались от Киевской славы и бесславия, ведя свой род с Оки и с Волги. Мы сами отдали Украйну Грушевскому и подготовили самостийников. Стоял ли Киев когда-либо в центре нашей мысли, нашей любви? Поразительный факт: новая русская литература прошла совершенно мимо Киева. Ничего, кроме «Печерских антиков» да слабого стихотворения Хомякова. А народ русский во все века своего существования видел в Киеве

величайшую святыню, не уставал паломничать к нему и в былинах, говорят, очень поздних, славил чудный город и его светлого князя.

Для северянина Киев не только святыня, но и город прекраснейший всех городов русских. И прекраснейший вовсе не башнями храмов, не золотом куполов, а первозданною красотой Божьего мира, которая открывается здесь превыше всех памятников человеческих. С холмов старого Киева, Печерска, Щековицы — отовсюду выступает из зелени лазурная бескрайная ширь, от которой дух захватывает. Кажется, что не стоит человек такой красоты, что не перенести человеку надолго такой красоты. Понятно, что от нее зарывались в пещеры, из простого самосохранения. Или только измученной великорусской душе не по силам сияющая осанна земного рая? И потому прошел мимо нее северный поэт, принимающий красоту только в аскетической строгости. Впрочем, что могло бы прибавить здесь человеческое слово, когда земля уже сказала все? Изумительная особенность киевского городского пейзажа — это вторжение в него природы, почти нетронутой человеком. Над людным Подолом, над старыми — с Ярославовых времен! — «Гончарами» и «Кожемяками» высятся необитаемые, обрывистые холмы, по которым карабкаются козы. Монастырь на Киселевке, кладбище на Щековице не нарушают тихого сельского характера этих урочищ. Эти просторы манят в даль, во все стороны света — трудно засидеться здесь на горах: на Запад, к Карпатам и к Польше, теперь уже не далекой, на Восток, сквозь черниговские леса, на Москву, и больше всего, конечно, на Юг, куда змеится серебряная лента Днепра — за пороги, к степям половецким, к Черному, «Русскому» морю, к святой Греции.

Сколько народу проходило по этим холмам, сколько культур осаживалось здесь! Нигде в России не топчешь почвы, столь насыщенной обломками древности. Человек каменного века уже облюбовал эти холмы, уже гнездился в пещерах по их склонам. Если у вас есть чувство времени, которое в Киеве волнует так же, как пространство, зайдите в богатый Археологический Музей подивиться останками множества народов, наших предков на Киевской земле. Киммерийцы, скифы, люди не имеющие имени для нас... И среди них, древнее всяких скифов, те таинственные «трипольцы», которые обжигали здесь горшки на своих «площадках», прежде чем спустились на Балканы, чтобы строить по берегам Архипелага Эгейскую культуру. Уже позволительно думать, что Киевские горы

были родиной будущих эллинов. С этих холмов, с черепками в руках, быть может легче, чем где бы то ни было, обозреть древнейшую историю Европы. Как в Риме, чувствуешь здесь святость почвы, но насколько глубже уводят здесь воспоминания в седую древность!

Я не обмолвился: это предки наши, не прохожие гости. Мы носим их память в крови, в языке, в быту. Вспомним вклад скифов в наш словарь, греческие формы малороссийской посуды, азиатский орнамент украинских ковров. Недавно в армянском фольклоре Н. Я. Марр отыскал легенду о Кие, Щеке и Хориве и сестре их Лебеди — с тождеством самих имен, и вероятным становится незапамятно-древнее, «яфетическое» ее происхождение.

Все это спит под землей, на земле же идет и поныне борьба двух культур: византийско-русской и польско-украинской. На фасадах древних церквей археолог читает летопись этой борьбы, но отчетливы и центры культур. Киев с чрезвычайной легкостью срывался со старых насиженных мест, с каждым переломом своей бурной истории. Русский княжеский город на старейшем холме (Кия?), украинский Подол с польской крепостью (разрушенной) на Киселевке, русский правительственный Киев на Печерске, и современный, всего более еврейский город — Киев, с упадком Одессы, столица русскаго еврейства, — сливший старые островки и раздавшийся в степь по плоскогорью.

Живописен украинский Киев, нарядно и мило его провинциальное барокко, на Мазепинском Никольском соборе — увы, безжалостно изрешетенном ядрами гражданской войны — это барокко не лишено и благородства. На Подоле обступает рой почтенных воспоминаний: магистрат с магдебургскими вольностями, Академия Петра Могилы — бурсаки со своими виршами, латынью и сомнительной «философией». Но тут же упраздненный доминиканский монастырь напоминает, что мы в польской провинции: словно в захолустном углу Галиции, куда, сквозь толщу Восточной Европы, доносятся отголоски итальянского и немецкого Возрождения. Стойко борятся с ополячением, но не могут спастись от полонизмов: в архитектуре, в языке, в богословии. Весь излом современного украинского возрождения уже дан в этом возрождении XVII века: Малороссия сознает себя, как мятежная Украина, окраина Польши.

Любуясь широкими выкрутасами киевского барокко, как не подосадовать, когда оно облепило, точно слоем жира, стройные, скромные стены княжеских храмов? Как ни дороги воспоминания

о национальном пробуждении Украины-Малороссии, они исчезают перед памятью о единственной, великой эпохе киевской славы. В этой славе все исчезает. Бесчисленные народы, проходившие по этим горам, культуры, сменявшие друг друга, имели один смысл и цель: здесь воссиял крест Первозванного, здесь упало на славянско-варяжские терема золотое небо св. Софии. И этого нам не забыть, пока стоит Русь. Впрочем, в Киеве об этом забыть невозможно. Северянин-великоросс, привыкший к более скромным историческим глубинам, не верит глазам своим, видя, в какой сохранности и блеске встречает его византийский и княжеский Киев. Спас на Берестове, Кириллов, Выдубицкий, Михайлов-Златоверхий монастыри — стоят, вплоть до самых куполов своих, с XI или XII века, лишь снаружи приукрашенные не в меру ревностной рукой современников Могилы и Мазепы. И венец всему — неповрежденная внутри, девственно чистая св. София.

Быть может, южно-русский домонгольский храм, гармоничный и стройный, не является еще совершенным образом русской идеи храма, достигнутым на Владимирском и Новгородском Севере. Но в св. Софии — едва ли не единственный раз на русской земле — воплотилась идея греческая. Я говорю не о знаменитых мозаиках ее и их религиозной символике, но о самом пространстве. Здесь земля легко и радостно возносится к небу в движении четырех столпов, и свод небесный спускается ей навстречу, любовно об'емля крылами парусов своих. Здесь все полно завершенным покоем, достигнутой мерой, свободой в законе, безконечностью, замкнутой в круг. Тем, кто не видел иной, великой св. Софии, кажется, что лучше не выразить в камне самой идеи п р а в о с л а в и я .

Большинство киевских мозаик — как, впрочем, и римских— не представляют самых совершенных образцов византийскаго искусства, хотя по богатству и сохранности своей делают Киев одним из главных центров его изучения. Но последние годы под слоем известки — в Софийском соборе, в Спасе на Берестове — вскрыли ряд фресок-икон, выполненных в духе поразительного архаизма. С ними в Киеве чувствуешь себя на почве древнейшего христианского искусства — как в Santa Maria Antiqua или перед лицом энкавстических икон, — словно не даром вывезенных с Синая в Киев, как редчайшая драгоценность, епископом Порфирием. Здесь заря русского христианства встречается с зарей христианства восточного, сочетающего в искусстве своем заветы эллинизма и Азии.

Мы знаем, что русский Киев лишь очень мало использовал культурные возможности, которые открывала ему сыновняя связь с матерью-Грецией. Говорят, что он даже торопился оборвать и церковные связи, рано утверждая свою славяно-русскую самобытность. Захлестнутый туранской волной, он не сумел спасти во всей чистоте на счастливом юге очагов и русской культуры. Но в куполе св. Софии был дан ему вечный символ — не только ему, но и всей грядущей России.

О чем говорит этот символ?

Не только о вечной истине православия, о совершенной сфере, об'емлющей в себе многообразие национально-частных миров. В нем дано указание и нашего особого пути среди христианских народов мира.

В жизни России было не мало болезненных уклонов. В Москве нам угрожала опасность оторваться от вселенской жизни в гордом самодовлении, в Петербурге — раствориться в германо-романской, т. е. латинской по своему корню, цивилизации. Теперь нам указывают на Азию и проповедуют ненависть к латинству. Но истинный путь дан в Киеве: не латинство, не бусурманство, а эллинство. Наш дикий черенок привит к стволу христианского человечества именно в греческой ветви его, и это не может быть незначущей случайностью. Культура народа вырастает из религиозных корней, и какие бы пышные побеги и плоды не приносило славяно-русское или турано-русское дерево, оно пьет соки земли христианской — через восточно-греческие корни. Но религия не живет вне конкретной плоти — культа, культуры — и вместе с греческим христианством мы приобщились и к греческой культуре. Как германство — хочет оно этого или не хочет — не может, не убивая себя, разорвать связи с латинским гением, так православная Русь не может отречься от Греции. В глубине христианской Греции — Византии живет Греция классическая, созревающая ко Христу, и ее-то драгоценный дар принадлежит нам по праву, как первенцам и законным наследникам.

Неизбежный и для России путь приобщения к Ренессансу не был бы для нас столь болезненным, если бы мы пили его воды из чистых ключей Греции. Романо-германское, т. е. латинское посредничество определило раскол нашей национальной жизни, к счастью, уже изживаемый. Но безумием было бы думать, что духов-

ная жизнь России может расти на «диком корню» какой-либо славянской или туранской исключительности.

Великое счастье наше и незаслуженный дар Божий — то, что мы приняли истину в ее вселенском средоточии. Именно в Греции, и больше нигде, связываются в один узел все пути мира. Рим ее младший брат и духовный сын, ей обязанный лучшим в себе. Восток и на заре и на закате ее истории — в Микенах и в Византии — обогащает своей глубиной и остротой ее безукоризненную мерность, залог православия. Чем дальше, тем больше мы открываем в эллинизме даров Востока. Нам не страшен ни Восток ни Запад. Весь мир обещан нам по праву, нет истины, нет красоты, которой бы не нашлось места во вселенском храме. Но каждому камню укажет место и меру тот зодчий, который повесил в небе «на золотых цепях» купол святой Софии.

Е. Богданов

«ХОЖЕНИЕ ЗА ТРИ МОРЯ» АФОНАСИЯ НИКИТИНА, как литературный памятник

Древнерусская литература недоступна непосредственному восприятию современного, не только иностранного, но и русского читателя. Мы ее не понимаем и не умеем ценить ее, *как литературу*. Древнерусскую икону теперь «открыли», открыли не только физически, тем, что счистили с нее копоть и позднейшие краски, но и духовно: научились смотреть на нее, видеть и понимать, что она говорит. Но к памятникам древнерусской письменности мы продолжаем быть глухи и слепы.

На этом основаны специфические особенности науки «истории древнерусской литературы». Пишу в кавычках, ибо это «история литературы» очень странная, непохожая на другие. В этом легко убедиться, просмотрев любой учебник или университетский курс этой науки. Собственно, о литературе, как о таковой, в этих учебниках и курсах говорится мало. Говорится о просвещении (точнее, об отсутствии просвещения), о бытовых чертах, отразившихся (точнее, недостаточно отразившихся) в проповедях, летописях и житиях, об исправлении церковных книг и т. д., словом — об очень многом. Но о литературе говорится мало. Существует несколько трафаретных оценок, прилагаемых к самым различным древнерусским литературным произведениям: одни из этих произведений написаны «витиевато», другие — «простодушно» или «бесхитростно». Отношение авторов учебников и курсов ко всем этим произведениям неизменно презрительное, пренебрежительное, в лучшем случае снисходительно - презрительное, а иногда и прямо негодующе - недоброжелательное. «Интересным» древнерусское литературное произведение считается не само по себе, а лишь постольку, поскольку отражает в себе какие нибудь бытовые черты (т. е. поскольку является памятником не истории литературы, а истории быта) или поскольку заключает в себе прямые или косвенные указания на знакомство автора с какими нибудь другими литературными произведениями (преимущественно переводными). От древнерусского автора почему то требуют непременно выражения «народного миросозерцания», примыкания к народной поэзии: если этого у него нет, — его презирают с оттенком негодования, если же это у него есть, — его похваливают, но, всетаки, с оттенком снисходительного презрения.

Нечего и говорить, что все эти особенности науки истории древнерусской литературы (в том виде, как эта наука отражается в учеб-

никах и университетских курсах) мыслимы лишь при допущении, что древнерусская литература *не есть литература.* В этом особенно легко убедиться, если в виде опыта попробовать подойти к новой русской литературе с теми же мерилами, которые применяют к литературе древнерусской: Пушкинский «Евгений Онегин» оказался бы интересен только потому, что отражает быт русских помещиков начала XIX в. и свидетельствует о знакомстве автора с Ричардсоном и Адамом Смитом;Тургеневу пришлось бы поставить в вину, что он не примыкает к народной поэзии и лишен народного мировоззрения и т. д.. Конечно, в этих особенностях истории древней литературы повинно общее враждебное отношение русской интеллигенции к допетровской Руси, как к царству варварства, темноты и убожества во всех областях жизни. Но, казалось бы, «открытие» иконы, показавшее, что в допетровской Руси существовала высокая эстетическая культура и глубокая, отнюдь не варварская и не первобытная, а мистически и богословски осознанная религиозность, должно было бы поколебать это ходячее предубеждение против древней Руси. И если, тем не менее, история древнерусской литературы продолжает и по сие время относиться к своему предмету так же, как относилась раньше, то об'ясняется это конечно тем, что произведения древнерусской литературы до сих пор «открыты» еще только физически, а не духовно, что мы еще не умеем воспринимать их как художественную ценность.

Чтобы выйти из этого затруднения, у нас есть только одно средство. Надо подойти к произведениям древнерусской литературы с теми же научными методами, с которыми принято подходить к новой русской литературе, ко всякой литературе вообще. В этом отношении как раз в последнее время создано могучее средство научного исследования литературы. Это средство — «формальный метод». Применение этого метода к изучению древнерусской литературы раскрывает перед исследователем совершенно неожиданные горизонты: произведения, которые прежде было принято считать «бесхитростными», оказываются сотканными из «приемов», при этом, большею частью, довольно «хитрых». И каждый такой «прием» имеет не только свой смысл, свою цель, но и свою историю. Сразу меняется и все представление об истории древнерусской литературы: вместо той картины многовекового беспомощного барахатанья в сетях невежества, которой представляется история древнерусской литературы в ходячих учебниках, получается картина работы над разрешением формальных проблем. Словом, форма древнерусских литературных произведений оживает, получает смысл. А, постигая этот смысл, и начиная ценить чисто техническую, формальную сторону древнерусских литературных произведений, мы получаем возможность воспринимать и самую художественную ценность этих произведений. Конечно, для этого ценения одного формального метода, одного рассудочного понимания смысла и цели древнерусских композиционных и стилистических приемов недостаточно. Нужно еще раскрыть свою душу для восприятия, сделать ее доступной действию всех этих приемов, пере-

стать сопротивляться этому действию. А для этого надо порвать с ходячим предвзято-недоброжелательным и презрительным отношением к древнерусской культуре и заменить его отношением *предвзято - доброжелательным*. Это есть непременное условие ценения всякого искусства: острая ненависть к какому нибудь народу или культуре делает невозможным ценение искусства этого народа, и, наоборот, ценение этого искусства становится возможным лишь тогда, когда мы, хотя бы условно, методологически, стараемся отнестись к данному народу любовно или максимально - благожелательно.

В нижеследующих строках я хочу попытаться произвести вышеописанную работу над одним древнерусским литературным памятником конца XV в., именно, — над «Хожением за три моря» Афонасия Никитина. Памятник этот изучался историками русской литературы главным образом с точки зрения культурно - исторической. Т. к. содержание его составляет описание путешествия тверского купца Афонасия Никитина в Индию в 1468 г., то из него старались извлечь материал для истории Индии, для истории сношений России с Востоком и т. д.. Такой подход, разумеется, вполне правомерен, точно так же, как вполне допустимо рассматривать «Письма русского путешественника» Карамзина, как памятник бытописания Европы конца XVIII в. или извлекать из «Фрегата Паллады» Гончарова сведения по этнографии и географии разных посещенных Гончаровым стран. Но, конечно, ограничиваться только таким подходом ко всем этим *литературным* произведениям было бы неправильно. Впрочем, по отношению к «Хожению» Афонасия Никитина историки литературы таким подходом и не ограничились: они использовали этот памятник и как свидетельство о низком уровне культуры в России XV в., об отсутствии в тогдашнем русском обществе научных запросов и интересов, при чем, для большей убедительности, сопоставили Афонасия Никитина с Васко-ди-Гама, путешествовавшем по Индии приблизительно в то же время. Но, при этом, речь шла вовсе не о сравнении литературных достоинств «Хожения» Афонасия Никитина с мемуарами Васко-ди-Гама. Таким образом, разбор «Хожения» Афонасия Никитина с точки зрения собственно - литературной до сих пор так никем и не был сделан.

В последующем изложении мы займемся сначала композицией «Хожения за три моря», потом перейдем к стилистическим особенностям этого памятника, а в заключение попытаемся сквозь форму добраться и до внутренняго смысла этого памятника. 1)

* * *

Манеру изложения Афонасия Никитина можно описать так: Афонасий Никитин ведет изложение в спокойном тоне, потом вдруг вспо-

1) Мы будем пользоваться текстом напечатанным в VI-м томе «Полнаго Собранія Русскихъ Лѣтописей» (Спб. 1853) стр. 330-345 и представляющим из себя наиболее полную редакцию «Хожения». Другая редакция этого памятника (напечатанная там же стр. 345-354) сильно искажена и потому нами в расчет приниматься не будет. В цитатах мы будем указывать страницу и строку (считая сверху) помянутого издания.

минает, как он был одинок среди иноверцев и начинает плакаться, жаловаться, сокрушаться, молиться; потом опять начинает спокойно излагать дальше, но через некоторое время опять съезжает на жалобы и молитвы, потом опять принимается спокойно рассказывать, через некоторое время опять переходит к жалобам и молитвам и т. д. Словом, — все «Хожение» представляет из себя чередование довольно длинных отрезков спокойного изложения с более короткими отрезками религиозно - лирических отступлений.

Спокойное изложение и религиозно-лирические отступления являются, таким образом, двумя основными композиционными элементами, двумя строительными материалами Афонасия Никитина. Эти два элемента отличаются друг от друга не только по содержанию, но и по форме словесного выражения. В религиозно-лирических отступлениях нередки восклицательные предложения, встречаются и обращения к читателям, 2) — чего в отрезках спокойного изложения не наблюдается. Язык религиозно - лирических отступлений более «литературен», т. е. заключает в себе больше церковнославянских элементов и черт, чем разговорно - деловой, почти чистый русский язык отрезков спокойного изложения. 3) Это различие двух языковых стилистических типов еще усугубляет различие между двумя основными композиционными элементами «Хожения» и делает их взаимопротивупоставление особенно явственным.

По содержанию своему отдельные отрезки спокойного изложения довольно явственно отличаются друг от друга. В самой середине «Хожения» стоят два отрезка, из которых один (336,4—337,18) всецело посвящен религии Индии, а другой (338,3—339,25) — сведениям об индийских «пристанищах» (портовых городах). Каждый из этих отрезков представляет из себя замкнутое и внутренне - однородное целое, систематическое собрание сведений одной определенной категории.

С двух сторон к этим двум центральным отрезкам примыкают два другие (334,10—335,32 и 340,18—341,11), заключающие в себе разрозненные наблюдения над природой и бытом Индии, при чем

---

2) Напр. «Ино, братья русьстiи христiяне!» (334,6), «О, благовѣрныи христiяне!» (339,27).

3) Это различие сказывается прежде всего в синтаксисе. Разговорно-деловой язык XV-го века избегал придаточных предложений. В «Хожении» находим соединения главных предложений (при помощи соединительных союзов *а*, *и*, *оа* или без союзов) часто даже в таких случаях, где современный русский язык употребил бы придаточное предложение, напр.: «...ѣздять на волах, *оа* у вола рога окованы мѣдью, да на шiѣ (у него) колокольцовъ 300, да копыта подкованы, *а* тѣ волы ачьче зовуть» (337, 12-13), «а [illegible] къ нему не ѣдеть, блюдется» (т. е. «*потому что* блюдется») 341,19 и т. д... Напротив, церковнославянский язык всегда охотно прибегает к придаточным предложениям. В «Хожении» придаточные предложения встречаются (вводимые союзами *яко*, местоимением *иже* и т. д.) в религиозно - лирических отступлениях гораздо чаще, чем в отрезках спокойного изложения. Исключительно в религиозно-лирических отступлениях встречается также неупотребительное в разговорном языке XV-го века деепричастие прошед. времени («восликнув Махмета» 331,7, «и розговѣвся съ ними» 343,9). Неупотребительный в разговорном языке аорист (рекохъ, рече и т. д.) в отрезках спокойного изложения встречается редко (исключение в этом отношении составляет только самый последний отрезок «Хожения»), а в религиозно - лирических отступлениях — гораздо чаще.

наблюдения эти изложены в хаотическом безпорядке. Так, в первой из этих двух отрезков сначала рассказывается о морской торговле и пиратстве, потом — о базаре в городе Бедере, потом — о господствующих над Индией хорасанских правителях и вооружении их войск, потом — о ярмарке в день памяти шейха Алауддина, потом — о диковинах индийской фауны (птица гукук, обезьяны), потом — о длительности времен года, потом — опять о хорасанских вельможах, о пышности их выездов, о великолепии дворца бедерского султана, наконец, о змеях, ходящих по улицам Бедеря. Так же непоследовательно изложение другого из этих двух отрезков. Разнородность наблюдений, сгруппированных в этих двух отрезках, резко отличает их от внутренне - однородных центральных отрезков. С другой стороны, между обоими «боковыми» отрезками, кроме этой формальной общности беспорядочного изложения, существует сходство в самом содержании: так, и в том и в другом описывается пышность выезда бедерского султана, и в том и в другом даются сведения о климате.

Все четыре вышерассмотренные отрезка составляют вместе взятые *статическое* описание Индии. Описание это более или менее систематично только в самых центральных своих частях, а в «боковых» частях — несистематично и безпорядочно. Распределение отдельных сведений, повидимому, находится в зависимости от существенности и важности их: в центре помещены более существенные, по бокам — менее существенные сведения, и это подчеркнуто самой манерой изложения, — систематичной в центре, и безпорядочной по бокам. Как купец и, в тоже время, религиозный человек, Афонасий Никитин более всего придавал значения тому, что ему удалось узнать о религии Индии и о коммерческих возможностях индийских портовых городов.

В отличие от *статически - описательного* характера четырех отрезков срединной части «Хожения», самое начало и самый конец «Хожения» носят характер *динамически - повествовательный:* в начале (331,2 — 332,25) рассказывается о событиях путешествия из Твери до «Гурмыза» (Гурмуз — город на острове в Персидском заливе), а в конце (341,1-30) о событиях обратного путешествия от последнего индийского «пристанища» Дабиля до Крыма. В этих двух отрезках Афонасий Никитин говорит исключительно о событиях своего путешествия, совершенно не останавливаясь на описании того, что он во время этого путешествия видел. И наоборот, в средней части «Хожения», посвященной, как указано было выше, статическому описанию Индии, не сообщается никаких данных о тех событиях и приключениях, которыми, несомненно, сопровождались путешествия и передвижения автора внутри самой Индии, из одного города в другой. Таким образом, статическое описание и динамическое повествование в «Хожении» композиционно разграничены: статика вся сконцентрирована в середине, а динамика вся размещена по краям произведения.

Между статически - описательной серединой и динамически - повествовательными краями «Хожения» имеются отрезки, которые можно назвать «переходными». Первый такой отрезок (332,28 — 334,1) представляет из себя переход от динамического повествования к статическому описанию. Уже в конце того отрезка, в котором описываются события путешествия от Твери до Гурмыза, имеется несколько кратких сообщений описательного характера, вставленных в перечисление персидских городов. 4) После прибытия в Гурмыз повествование о путешествии идет уже все время в перемешку с описанием страны и ее обитателей. Уже первые впечатления об Индии носят суб'ективную окраску. («И тут есть Индѣйская страна, и люди ходять нагы все, а голова непокрыта, а груди голы, а волосы в одну косу плетены, а все ходят брюхаты, дети родят на всякий год, а детей у них много, а мужики и жонки все черны, — *яз хожу куды, ино за мною людей много, дивятся белому человеку*», 332,33—36). И в дальнейшем, в этом отрезке каждое сообщение описательного характера, делается как бы по поводу какого нибудь эпизода путешествия: по поводу приезда в Чюнейрь, резиденцию Асад-хана, сообщаются данные о быте хорасанских вельмож в Индии: наступление зимы, заставившее Афонасия Никитина задержаться в Чюнейре, дает повод сообщить сведения о климате, о том что «в те же дни у них орють да сеють», и вообще разные сведения о сельском хозяйстве; то же наступление зимы дает повод рассказать и о зимнем костюме. Вобщем, в этом отрезке мы находим тот же беспорядочный способ сообщения разрозненных наблюдений, который характерен для «боковых» отрезков срединной, чисто статически-описательной части «Хожения»: но в отличие от этих «боковых» отрезков, где это беспорядочное изложение ничем не мотивировано, здесь оно мотивировано тем, что это — «путевые заметки». Благодаря этому, в рассматриваемом отрезке элементы описательный и повествовательный соединены друг с другом, и весь отрезок является постепенным переходом от чисто динамического повествования начала «Хожения» к чисто статическому описанию средней части «Хожения».

Обратный переход от статического описания средней части «Хожения» к динамическому повествованию конца «Хожения» осуществляется двумя «переходными» отрезками, следующими друг за другом. Оба эти отрезка тесно связаны друг с другом по содержанию: в обоих рассказывается о войнах и военных событиях, имевших место в Индии во время пребывания там Афонасия Никитина. Еще перед началом первого из этих отрезков Афонасий Никитин, жалуясь на то, что выехать из Индии стало трудно, вследствие повсеместных

---

4) А язъ пошелъ къ Дербенти, а изъ Дербенти къ Бакѣ, *гдѣ огнь горитъ неугасимы*, а изъ Баки пошелъ есми за море къ Чебокару (332,15-17) ..., а оттуды къ Димовонту, а изъ Димовонту къ Дрею, *а ту убили Шаусеня Алеевыхъ дѣтей и внучатъ Махметевыхъ, и онъ ихъ проклялъ, ино 70 городовъ ся развалило*, а изъ Дрея къ Кашени (332,19-21) ..., а изъ Сырчана къ Тарому, *а фуники кормятъ животину, батманъ по 4 алтына*, а изъ Тарома къ Лару» (332, 22-23).

войн («вездѣ булгакъ сталъ», т.е. смута, сметение), кратко обрисовывает общее политическое положение, создавшееся на Востоке: «князей вездѣ выбили, Яншу-мурзу убилъ Узу(н)осамбекъ,а Солтамусаитя окормили, а Узу(н)осамбекъ на Ширязе сѣлъ, и земля ея не окрѣпла, а Едгеръ Махметъ атъ къ нему не ѣдетъ, блюдется» (341,17—19). Самый отрезок (341,23—343,4) начинается с сообщения о том, что полководец бедерского султана Меликтучар «два города взялъ индѣйскыя, что разбивали (т.е. занимались разбоем) по морю индѣйскому, а князей поймал 7, казну их взял... а стоял под городом два году, а рати съ нимъ два ста тысячь, да слоновъ 100, да 300 верьблюдовъ» (341,23—25). Затем рассказывается о приезде этого Меликтучара в Бедер, о встрече его с султаном и о выступлении войск бедерского султана в поход против чюнедарского князя. Попутно с повествованием об этих событиях описывается пышность образа жизни Меликтучара и пышный выезд султана, подробно перечисляется состав войск султана с указаниями о вооружении. Таким образом, здесь динамичекое повествование о событиях соединено с описанием, при чем описание преобладает над повествованием и по самому своему содержанию и форме живо напоминает описание пышного выезда бедерского султана в предыдущем, «боковом» отрезке средней, чисто статически-описательной части «Хожения». Следующий отрезок (343,10—31) в начале своем заключает продолжение рассказа о походе бедерского султана, 5) но в этот рассказ вставлено краткое описание одного города, который особенно трудно было завоевать. Затем следует рассказ о переезде Афонасия Никитина из Кельберга в Дабиль, при чем попутно даются краткие сведения о достопримечательности некоторых городов. 6)

Таким образом, и в этом отрезке элемент динамического повествования смешан с элементом статического описания, но, в противуположность предшествующему отрезку, повествование преобладает над описанием. Этим подготовляется следующий за только что рассмотренным отрезком, чисто динамически - повествовательный рассказ об обратном пути от Дабиля до Крыма, заканчивающий все «Хожение».

Таким образом, постепенный переход от динамически - повествовательного начала к статически - описательной середине «Хожения» осуществляется при помощи «переходного» отрезка с путевыми заметками, а обратный постепенный переход от статически - описательной середины к динамически - повествовательному концу «Хожения» осуществлен двумя «переходными» отрезками, посвященными военным событиям. Это различие в содержании переходных отрезков зависит от различия в содержании тех чисто повествователь-

5) «Султанъ же пришелъ до Меликтучаря съ ратію 15 денъ по улубаграмѣ, а все Кельбергу; и война ся имъ не удала, одинъ городъ взяли индѣйской, а людей много изгибло, а казны много истеряли». (343,10-12) и т. д.

6) «А в Курули же родится ахикъ (сердоликъ), и ту его дѣлаютъ и на весь свѣтъ его развозятъ... оттуды же пойдохъ Калики, а ту же базаръ велми великъ... а отъ Сури пойдохъ къ Дабили, пристанище великаго Моря Индѣйскаго. Дабыль же есть градъ велми великъ, а къ тому жъ Дабили съѣжщается вся поморья индѣйская и ефіопьская».

ных частей, к которым переходные отрезки примыкают: путешествие Афонасия Никитина из Твери до Индии происходило в спокойной политической обстановке, а обратное путешествие из Индии в Крым совершалось на фоне военных событий, которые упоминаются не только в переходных отрезках, но и в самом чисто - повествовательном конце «Хожения». И все же, несмотря на все эти различия, переходные отрезки по своей формальной, композиционной функции аналогичны друг другу, т. к. служат связующими звеньями между двумя основными видами спокойного изложения — динамическим повествованием и статическим описанием, — и, благодаря этому, соединяют середину «Хожения», с одной стороны, с его началом, с другой стороны — с его концом. 7)

Резюмируя все сказанное об «отрезках спокойного изложения» в «Хожении», получаем для «Хожения» следующую общую схему: чем ближе к середине, тем чище вид статического описания, чем дальше от середины, тем чище вид динамического повествования. Эта «кривая», идущая от динамического повествования к статическому описанию и вновь возвращающаяся к динамическому повествованию, является не «сплошной», а разлагается на 9 отрезков, каждый из которых представляет из себя отклонение в определенном направлении. Отрезки эти таковы:

1-й: «Путешествие от Твери до Гурмыза» (чистый вид динам. повеств.);
2-й: «Первые путевые впечатления» (смесь динам. повеств. и статич. опис.);
3-й: «Отдельные сведения о природе и жителях Индии» (статич. опис. при беспорядочном и несистематическом характере изложения);
4-й: «Сведения о религии Индии» (систематическое статич. опис.);
5-й: «Описание портовых городов Индии» (системат. статич. опис.);
6-й: «Отдельные сведения о природе и жителях Индии» (статич. опис. при беспорядочном и несистематическом характере изложения);
7-й: «Военные события в Индии» (смесь статич. опис. с динам. повеств., при преобладании элемента описания);
8-й: «Военные события в Индии. Переезд Афонасия Никитина к берегу моря» (смесь динамич. повеств. с статич. опис., но с преобладанием повествования);
9-й: «Обратное путешествие из Дабиля в Крым» (чистый вид динамич. повеств.).

7) Кроме этой общности композиционной функции между переходными отрезками до и после середины «Хожения» есть и ассоциативная связь. В отрезке, связующем начало «Хожения» с серединой, по поводу прибытия в Чюнейрь говорится, что тамошний правитель Асадхан есть «холопъ Меликтучара; а Меликтучаръ сѣдитъ на 20 тмахъ, а бьется съ Кафары (т. е. с язычниками-туземцами) 20 лѣтъ есть, то его побіють, то онъ бовизаеть ихъ многажды» (333.10-11): это замечание предвосхищает содержание переходных отрезков, связующих середину с концом.

Нельзя не обратить внимания на поразительную симметрию и стройность этой композиционной схемы.

Обратимся к другому композиционному элементу «Хожения», к религиозно - лирическим отступлениям. В отличие от разнообразия содержания отрезков спокойного изложения, религиозно-лирические отступления по своему содержанию все однородны. Все они связаны с упоминанием какого нибудь двунадесятого праздника, подчеркивают тяжелое чувство одиночества православного христианина среди иноверцев, и трудность для такого христианина сохранить свою веру (в смысле бытового исповедничества). Отличаются эти отступления друг от друга, главным образом, тем, что одни из них пространны и развиты, другие — короче и, так сказать, «недоразвиты», т. е. заключают в себе только указание на психологическую ситуацию, а не разработку самой этой ситуации. Как уже было указано выше, каждое из этих религиозно - лирических отступлений стоит в промежутке между двумя отрезками спокойного изложения, т. е. на каждом изгибе вышеупомянутой композиционной «кривой», осуществляя, таким образом, самое членение этой кривой. Присматриваясь внимательнее к распределению религиозно - лирических отступлений, замечаем, что пространные и вполне развитые отступления выступают во всех тех случаях, когда хотя бы один из непосредственно примыкающих к данному отступлению отрезков спокойного изложения является чисто статически - описательным. 8) Исключение из

---

8) Вот все эти случаи: — А) на месте спайки 2-го отрезка с 3-м: «А се — Олло, Олло -а(кь)б(е)рь, Олло-акъ, Олло-керимъ, Олло-рагымъ! А въ томъ Чюнерѣ ханъ у меня взялъ жеребца, а увѣдалъ, что я не бесерменинъ, русинъ, и онъ молвить: и жеребца дамъ да тысячу золотыхъ дамъ, — а стань въ вѣру нашу въ Махметъ-дени; а не станешь въ вѣру нашу въ Махметъ-дени, — и жеребца возму, и тысячу золотыхъ на главѣ твоей возму! — А срокъ учинилъ на 4 дня, въ Госпожино говѣйно на Спасовъ день. И Господь Богъ смиловася на Свой честный праздникъ, не остави отъ меня милости своея грѣшныя, и не повелѣ погыбнути въ Чюнерѣ съ нечестивыми. И (о) канунъ Спасова дня пріѣхалъ Хозяй-очи-Махметъ Хорасанець, билъ есми челомъ, чтобы ся о мнѣ печаловалъ, и онъ ѣздилъ къ хану въ городъ да меня отпросилъ, чтобы меня въ вѣру не поставили, да и жеребца моего у него взялъ. Таково Господарево чюдо на Спасовъ день! Ино, братья русьстіи христіяне! кто хочеть пойти въ Индѣйскую землю, и ты остави вѣру свою на Руси, да воскликнувъ Махмета да поиди въ Гу(ст)анъ ставьскую землю. Меня залгали псы бесермена, а сказывали, всего много товару, — ано нѣтъ ничего на нашу землю,все товаръ бѣлой на бесерменьскую землю; перець да краска-то дешево»... и т. д... — Б) На месте спайки 4-го отрезка с 5-м: «Отъ Первати же пріѣхалъ есми въ Бедерь за 15 дній до бесерменьского улубагря. А Великого дня, Воскресенія Христова не вѣдаю а по примѣтамъ гадаю, — Великій день бываеть хрестіяньской первіе бесерменьскаго баграма за 9 день, или за 10 день. А со мною нѣтъ ничего, никакоя книгы: а книгы есмя взяли съ собою съ Руси ино, коли мя пограбили, ини ихъ взяли. И язъ позабылъ вѣры хрестьяньскыя всея, и праздниковъ хрестьяньскыхъ. Ни Велика дня, ни Рожества Христова не вѣдаю, ни среды, ни пятницы не знаю. А промеж(у) вѣры семи. Таньгрыданъ истерменъ олъ саклясынъ. Олло-Худо, Олло акъ, Олло ты Олло акъберъ, Олло рагым, Олло керим, Олло рагымелло, Олло-карим(елло), Таньгри сень, Худо сень! Богъ единъ, то Царь славы Творецъ небу и земли! А иду я на Русь — кеть мышь-тыръ имянъ: урусь тутъ тымъ! Мѣсяцъ мартъ прошелъ и я заговѣлъ съ бесермены въ недѣлю, да говѣлъ есми мѣсяць, мяса есми не ѣлъ и ничего скоромнаго, никакыя яствы бесерменьскыя а ялъ есми все на двожды днемъ хлѣбъ да воду, авратъ иля ятъ-мадымъ, да молился есми Богу Вседержителю, кто сътворилъ небо и землю, а иного есми не призывалъ никотораго имени: Богъ Олло, Богъ Керимъ, Богъ Рагымъ, Богъ Худо Богъ Акъберъ, Богъ Царь славы, Олло варенно (? бапнна -нашъ-Творецъ ?) Олло Рагымъ Олло сень (сень), Олло Ты!.. А отъ Гурмыза ити моремъ до Галатъ 10 дни, а отъ Галата до Дѣгу...» и т. д.

этого правила составляет только место спайки 3-го отрезка с 4-м, где, несмотря на чисто статически - описательный характер обоих отрезков, религиозно - лирическое отступление только намечено, но не развито, т. е. имеется и упоминание двунадесятого праздника, и указание на исповедничество Афонасия Никитина среди иноверцев, но лирика отсутствует и должна дополняться воображением читателя. 9) Об'ясняется это, конечно, тем, что 4-й отрезок, перед которым стоит это отступление, всецело посвящен религии Индии: слишком настойчивое подчеркивание духовного одиночества Афонасия Никитина в этом месте было бы излишним и могло бы даже затруднить переход к дальнейшему спокойному изложению.

Там, где ни один из соседних отрезков не является чисто ста-

— В) На месте спайки 5-го отрезка с 6-м: «Мѣсяцъ мая Великій день взялъ есми въ Бедерѣ бесерменьскомъ въ Гондустани, а бесермене Боrрамъ взяли въ среду мѣсяца мая, а заговѣлъ есми мѣсяца априля 1 день. О, благовѣрныи христіане! Иже кто по многымъ землямъ много плаваеть, въ многыя грѣхы впадаеть и вѣры ся лишаеть христіанские. Азъ же, рабище Божіе Аѳонасіе, исжалих(х) ся по вѣрѣ. Уже проидоша четыре Великыя Говѣйна и 4 проидоша Великыя Дни, азъ же грѣшный не вѣдаю, что есть Великый День или говѣйно, ни Рожества Христова не вѣдаю, ни иныхъ праздниковъ не вѣдаю, ни среды, ни пятницы не вѣдаю. А книгъ у меня нѣтъ: коли мя пограбили, ини книги взяли у мене. Азъ же отъ многыя бѣды поидохъ до Индѣи, заньже ми на Русь поити не съ чѣмъ, не осталося товару ничего. Първый же Великый день взялъ есми въ Каинѣ, другой Великъ день—въ Чебукару въ Маздраньской земли, третій Великый день —въ Гурмызѣ, четвертый Великый день—въ Индѣи съ бесермены въ Бедери. И ту же много плакахъ по вѣрѣ по хрестьяньской. Бесерменинъ же Меликъ ,тотъ мя много понуди... (см. ниже прим. 29). Азъ же въ многыя помышленія впадохъ и рекохъ себѣ: горе мнѣ окаянному, яко отъ пути истиннаго заблудихся и пути не знаю, уже самъ поиду! Господи Боже Вседержителю, Творецъ небу и земли! Не отврати лица отъ рабища Твоего, яко скорби близь есмь! Господи, призри на мя и помилуй мя, яко Твое есмь созданіе! Не отврати мя, Господи,отъ пути истиннаго и настави мя, Господи, на путь Твой правый, яко никоея же добродѣтели въ нужи той сотворихъ Тебѣ, Господи мой, яко дни своя преплыхъ всѣ во злѣ, Господи мой, Олло-Перво(р)дигерь, Олло Ты Керимъ, Олло Рагымъ, Олло рагымелло, а(л)хамду-лилло! Уже проидоша 4 Великыя дни въ бесерменьской земли, а христіаньства не оставихъ. Далѣ Богъ вѣдаеть, что будеть. Господи Боже мой, на Тя Уповахъ! Спаси мя, Господи Боже мой!...» — Г) На месте спайки 6-го отрезка с 7-м: «Въ Гурмызской земли добро обилно всѣмъ, да Турьскаа земля обилна вельми, да въ Волоской земли обилно и дешево все съѣстное, да Подольскаа земля обилна всѣмъ. А Урусь-ери Таньгры сакласынъ! Олло сакла, Худо сакла! Бу доньяда муну(н) кыбикь ерь ектуръ! Нечикъ урусь-ери бегляри ак(в)а ни тугыл. Урусь ери обаданъ болсынъ! расте камъ даретъ (?) Олло! Худо! Богъ! Богъ! Таньгры! Господи Боже мой! на Тя уповахъ! Спаси мя, Господи! Пути не знаю, иже камо поиду изъ Гундустана. На Гурмызъ поити, — а отъ Гурмыза на Хорасань пути нѣтъ... (см. ниже прим. 16)... А на Мякъку поити, — ино стати въ вѣру бесерменьскую, заньже христіане не ходятъ въ Мякъку вѣры дѣля, что ставять въ вѣру. А жити въ Гундустанѣ, — ино вся собина исхарчити, заньже у нихъ все порого: одинъ есми человѣкъ, ино по полутретія алтына на день харчю идеть, а вина есми не пивалъ, ни сыты...» и т. д...

9) Вот это место: «Пріидохъ же въ Бедерь о заговѣйнѣ о Филиповѣ изъ Кулонгеря, и продахъ жеребца своего о Рожествѣ и тутъ быхъ до Великого Заговѣйна въ Бедери. И позна(х)ся со многыми Индѣяны и сказахъ имъ вѣру свою, что есми не бесерменинъ, (а) Исадени(ени) есмь, христіянинъ, а имя ми Оѳонасій, а бесерменьское имя Хозя Исуфъ Хоросани. И они же не учали ся отъ меня крыти ни о чемъ, ни о ѣствѣ, ни о торговлѣ, ни о намазу, ни о иныхъ вещехъ, ни жонъ своихъ не учали крыти. Да о вѣрѣ же о ихъ распытахъ все, и оны сказывають: вѣруемъ...» и т. д...

Знакомый уже читателю (по концу 2-го отрезка, см. выше прим. 8 А) жеребец Афонасия Никитина упоминается здесь, очевидно, только для того, чтобы вызвать по ассоциации воспоминание о эпизодѣ с чюнерским ханом и о всем примыкающим к этому эпизоду религиозно-лирическом отступлении (см. выше прим. 7 А) Такую же ассоциацию порождает фраза, «и сказахъ имъ вѣру свою, *что есми не бесерменинъ*», напоминающая фразу, «а увѣдалъ (чюнерский ханъ), *что язъ не бесерменинъ*».

тически - описательным, религиозно - лирическое отступление выступает в сокращенном и недоразвитом виде. 10) Об'ясняется это, конечно, относительно - быстрым темпом, присущим динамическому повествованию и непозволяющим задержаться на отступлении. На месте спайки первого отрезка со 2-м религиозно-лирического отступления, собственно, вовсе нет, а есть только краткое упоминание о том, что Афонасий Никитин встретил Пасху («Великий День») на острове Гурмызе: 11) читателю предоставляется дополнить своим воображением грустное настроение и ощущение одиночества путешественника, встречающего великий христианский праздник среди иноверцев, в дали от родины, на каком то острове среди Персидского залива: но автору некогда на этом останавливаться, — он спешит перейти к повествованию о своих путевых впечатлениях.

Таким образом, об'ем и степень развитости отдельных религиозно - лирических отступлений зависит от характера и содержания тех отрезков спокойного изложения, между которыми эти отступления вставлены. Содержание же всех этих религиозно - лирических отступлений приблизительно одно и то же. Благодаря этому, религиозно - лирический элемент оказывается красной нитью, проходящей через все «Хожение», однородным цементом, связывающим отдельные отрезки и, в тоже время, обрамляющим каждый из этих отрезков в отдельности.

Этот композиционный принцип обрамления при помощи религиозно - лирического элемента проведен с полной последовательностью. Религиозно - лирический элемент обрамляет не только каждый отдельный отрезок спокойного изложения, но и все «Хожение» в целом. Перед началом «Хожения» помещена краткая молитва на церковно - славянском языке,12) а в конце «Хожения», после сопровождаемого молитвенными восклицаниями рассказа о прибытии в Крым и после заключительной фразы, 13) помещена длинная молитва

10) Именно: — А) На месте спайки 7-го отрезка с 8-м: «Такова сила султана индѣйскаго бесерменьскаго! Маметъ дени иарія, а растъ дени Худо донотъ, а правую вѣру Богъ вѣдаетъ, а правая вѣра — Бога единаго знати, имя Его призывати на всякомъ мѣстѣ чистѣ чисту. Въ пятый же Великый День възмыслихся на Русь. Изыдохъ же изъ Бедеря града за мѣсяць до Улубаграма бесерменьскаго. Маметъ-дени росолялъ! А Велика Дни христіанскаго не вѣдаю, Христова Воскресенія, а говѣйно же ихъ говѣхъ съ бесермены и, разговѣвся съ ними, Великый День взяхъ въ Келберху, отъ Бедеря 20 коровъ. Султанъ-же пришелъ до Меликтучара...» и т. д... — Б) На месте спайки 8-го отрезка с 9-м: «Къ тому жь Дабили съѣжщается вся приморья индѣйскаа и ефіопьскаа. И ту окаанный язъ, рабище Аѳонасіе Бога вышняго, Творца небу и земли, възмыслихся по вѣрѣ по христьіаньской, и по крещеніѣ Христовѣ, и по говѣйнѣхъ святыхъ отець устроенныхъ, и по заповѣдехъ апостольскихъ, и устремихся умомъ поити на Русь. Внидохъ же въ таву (т. е. въ корабль) и сговорихъ о налонѣ корабельномъ...» и т. д.

11) Вот это место: «... и оттуды ити до Гурмыза 4 мили. А Гурмызъ есть на островѣ, а ежедень поимаеть его море по двожды на день, и *тутъ есми взялъ первый Великъ День, а пришелъ есми въ Гурмызъ за 4 недѣли до Велика дня* ...а въ Гурмызѣ есть варное солнце, человѣка съжжеть» (332,25-28).

12) «За молитву Святыхъ Отець нашихъ, Господи Ісусе Христе, Сыне Божій, помилуй мя, раба своего Аѳонасія Никитина сына».

13) «Милостію же Божіею преидохъ же три моря. Дигерь Худо доно. Олло-Перводигерь доно (-остальное Богъ ведает, Господь Промыслитель ведает). Аминь».

на арабском языке, 14) которой все «Хожение» и заканчивается. Таким образом, все «Хожение» вставлено в рамку двух молитв.

Перейдем теперь от композиционных приемов «Хожения» к его стилистической стороне и языковой символике. Первое и главное, что поражает в этой области это, конечно, та чисто акустическая экзотика, которой окрашено все «Хожение». Достигается этот эффект усиленным употреблением имен, слов, выражений и фраз индийских, арабских, персидских и тюркских.

Восточные *географические названия* разбросаны по всему «Хожению». Но время от времени они сгущаются и собираются в более длинные ряды. Мотивировки таких перечислений экзотических географических названий бывают разные. Чаще всего (в 6-ти случаях из 13-ти) такое перечисление мотивируется указанием маршрута, что дает возможность называть каждое географическое название покрайней мере два раза. 15) Но часто географические имена перечисляются и по какому нибудь иному поводу. 16) Истинная цель этих перечислений состоит, конечно, в нагромождении экзотических слов с своеобразными звукосочетаниями. Это явствует особенно из того, что в подобных перечислениях Афонасий Никитин обозначает арабскими и персидскими именами даже и такие страны, для которых в славянском языке обычно употребляются имена греческого происхождения: так, Египет он называет «Мисюрь», Сирию — «Шам», Аравию — «Орообстань» или «Рабаст». 17)

Личные имена собственные в «Хожении» встречаются, вобщем, реже географических, но замечается тоже довольно ясно-выраженная тенденция группировать такие имена в более или менее длинные ряды, при чем мотивировка таких перечислений опять таки довольно разнообразна. 18)

14) Это — обычная мусульманская молитва, т. наз. асма-уллаh; только в начале ее рядом с призыванием Аллаха Афонасий Никитин вставил призывание Христа и Святого Дух («Иса, Рух-улло, аликсоломъ!» — Иисус и Дух Божий, мир Тебе!»).

15) Напр.: «...и в Гурмызѣ быхъ 20 дни, изъ Гурмыза поидохъ къ Лари и въ Лари быхъ 3 дни, изъ Лари поидохъ къ Ширязи 12 дни, а въ *Ш.* быхъ 7 дни, а изъ Ш. поидохъ къ Вергу 15 дни, а въ В. быхъ 10 дни, а изъ Вергу поидохъ къ Езди 9 дни, а въ Е. быхъ 8 дни, а изъ Е. поидохъ къ Спагани 5 дни, а въ С. 6 дни, а изъ С. поидохъ Кашани, а въ К. быхъ 5 дни, а изъ К. поидохъ къ Куму, а изъ Кума поидохъ въ Саву, а изъ Савы въ Султанію, а изъ Султаніи поидохъ дô Терьвиза, изъ Терьвиза поидохъ въ орду Асанбѣга» (344,9-16). Ср. еще 332,16-24, 30-33, 333,6-8, 334,16-17, 343,27-30.

16) Напр. «Севасть взяли, а Тоханъ взяли да и пожгли, Амасію взяли и много пограбили селъ, да пошли на Караманъ воюючи» (334,17-18); «и привозять кони изъ Мисюря, изъ Рабаста, изъ Хоросани, изъ Туркустани, изъ Негостани» (338,15-16); «на Гурмызъ поити — а отъ Гурмыза на Хоросань пути нѣтъ, ни на Чеготай пути нѣтъ, ни на Катобагряимъ пути нѣту, ни на Ездъ пути нѣту, то вездѣ булгакъ сталъ» (341,15-17); «Въ Гундустанѣ же силнаго вара нѣтъ; силенъ варъ въ Гурмызѣ да въ Катобагряимѣ, гдѣ ся жемчюгъ родить, да въ Жидѣ, да въ Бакѣ, да въ Мисюрѣ, да въ Оробстани, да въ Ларѣ, а въ Хоросаньской земли варно, да не таково, а въ Чеготаки велми варно, а въ Ширязи ,да въ Езди, въ Кашани варно, да вѣтръ бываетъ, а въ Гиляни душно велма да парище лихо да въ Шамахѣ и паръ лихъ, да въ Вавилонѣ варно, да (въ) Хумите въ Шамѣ варно, а въ Ляпѣ не такъ варно» (341,3-9); «пръвый же Великъ День взялъ есми въ Каинѣ... (см. выше прим. 8 В); ср. еще 338,3-9, 339,6-2.

17) Иногда приводятся параллельно оба имени: «и тутъ есть Море Индѣйское, а парьсѣйскымъ языкомъ и-Гондустаньскаа Дорія» (332,24-25), «до третьяго моря, до Чермнаго, а парсѣйскымъ языкомъ Дорія Стамъбольскаа (344,24-25).

18) Напр.: «князей всѣхъ выбили, Яншу-мурзу убилъ Узуосанбекъ, а

Кроме имен собственных встречается в «Хожении» и множество *отдельных* слов из «восточных» языков. В большинстве своем это - технические термины, обозначения специфически туземных предметов и понятий. Но об'яснение этих слов Афонасий Никитин дает лишь в очень немногих случаях. 19) Большею частью, читателю самому предоставляется догадываться о значении данного слова. Иногда догадаться можно потому, что в параллельном месте употреблено соответствующее русское слово; 20) в других случаях можно их контекста угадать к какому классу предметов принадлежит данный предмет, обозначенный мудренным восточным именем. 21) Но очень часто догадаться без знания соответствующих языков просто невозможно. 22) При этом, очень часто восточные слова употребляются для обозначения таких понятий, которые свободно можно было бы обозначить русскими или церковно-славянским словом. 23) Употребление этих восточных слов придает изложению особую «couleur locale», в то же время особую звуковую экзотичность, а процесс угадывания значения создает особенно напряженную установку на словесное выражение. 24) Некоторые фразы Афонасия Никитина производят впечатле-

---

Султамусания окормили, а Узуасанъбекъ на Ширязи сѣлъ, и земля ся не окрѣпила, а Едигерь Махметъ атъ къ нему не ѣдетъ, блюдется» (341,17-19); «Мызамылкъ, да Мекхапъ, да Фаратханъ, а тѣе взяли три городы великыи» (342,1-2); «А за Малханомъ вышло двора его 20 тысячь конныхъ людей, а пѣшихъ 60 тысячъ, да 20 слоновъ наряженныхъ, а съ Бедерханомъ вышло 30 тысячъ конныхъ людей..., а съ Сулханомъ вышло..., а съ Возырханомъ вышло..., а съ Кутарханомъ вышло...» (342,24-30).

19) «А привозятъ все моремъ въ *тавахъ*, — Индѣйскыя земли корабли» (333, - 14); «вино же у нихъ чинить въ великыхъ орѣсѣхъ, — *кози* гундустаньская» (333,18-19); «*кофары* — ни крестіане, ни бесерьмена, а молятся каменнымъ болванамъ, а Христа не знають» (334,12-13); «а тѣ волы *ачьче* зовуть» (337,13); «за десять кововъ, а въ *ковъ* по 10 верстъ» (341,29).

20) Напр. выезд бедерского султана упоминается три раза, при чем в одном месте (340,20) говорится, что он выезжает «на *тефериччь*» (араб. тафридж: «развлечение, удовольствие, радость»), а в двух других (335,20 и 342,5-6), что он выезжает «на потѣху». О неприступном городе на горе Бичинѣгирѣ говорится что с одной стороны его стоит «*женгѣль* злый» (-джунгли), а двумя строками ниже (343,17), что там стоит «деберь зла» («деберь зла тикень»: *тикень* — тур. *дикäн* «колючка»).

21) Такъ можно догадаться, что в фразах «орють да сѣють пшеницу, да *тутурсанъ*, да *ногуть*» (338,18), «кони кормятъ *нохотомъ*... по рану же дають *шьшени*» (333,12) речь идет о кормовых злаках, в фразах «емлють по двѣ *шекшени* пошлины... а съ коней по четыре *футы*» (336,17-18) — о каких то денежных единицах, в фразѣ «(родится) перець, да *зеньзебиль*, да цвѣтъ да *мошкатъ*, да *калафуръ*, да корица, да гвозники, да пряное коренье да *адрякъ*» (338,19-20 — о каких то пряностях, в фразе «а за ними... трубников 10, да *нагарниковъ* 10 человѣкъ, да свирѣльщиковъ 10 человѣкъ» — о какихъ то музыкантах (инд. наггара «барабанъ»), в фразе «а туться родитъ краска да *лекъ*» (332,32) — о каком то красящем веществе (перс. лак «лак»), в фразе «а ѣдятъ... *кичири* съ масломъ (336,29) — о чем то с'естном и т. д., и т. д.

22) Напр.: «а въ немъ бабе-адамъ на горѣ на высоцѣ» (338,22) «да девягуши продають на вѣсъ» 338,24: (тюрк. дäвä-куш — «страус»; да все в немъ *гербыши* живуть индѣйскыя» (338,29); «да обезьянъ на нимъ 100, да блядей 100, а все *гаурыкы* (335,21) и т. д., и т. д.

23) Напр. *гарибъ* — араб. *уариб* «странник, иноземец» *татен* (предложный пад. «въ татну» в фразе «а брагу чинять въ татну») — тюрк. *тäкäн* жбан, корыто» и т. д..

24) Эта установка сказывается и в склонности Афонасия Никитина к малоупотребительным и «новым» русским словам. В его «Хожении» очень много таких слов, которых либо нет ни в одном другом памятнике, либо нет в памятниках современных Афанасию Никитину или более ранних: напр. *фуртовина* «шторм, буря на море», *болкатый* «смуглый, черномазый», *вѣдь* «колдовство, волшебство» *булгакъ* «смута, мятеж, военное время», *волосыны* «созвездие Плеяд», *налохъ* «плата за путешествие на корабле» *фота* «фата» *вшеретный* «служащий по договору» и т. д.

ние какой то русско - азиатской тарабарщины, сквозь которую смысл только просвечивает. 25)

Наконец, кроме восточных имен и отдельных слов, Афонасий Никитин вводит в русский текст своего «Хожения» целый ряд фраз на арабском, персидском и тюркском языках. В XV-м веке персидский и арабский языки были известны лишь ничтожному числу русских людей. Несколько более распространено было в то время знание тюркского, «татарского» языка 26) (особенно среди купцов поволжских городов). Но все же, большинству возможных читателей Афонасия Никитина ни арабский, ни персидский, ни тюркский языки не были известны. Афонасий Никитин несомненно это учитывал. Там где понимание какой - нибудь татарской фразы необходимо для понимания общего хода рассказа, Афонасий Никитин снабжает эту фразу русским переводом. 27) Из этого следует, что во всех многочисленных прочих случаях, где арабские, персидские и тюркские фразы переводом не снабжены, Афонасий Никитин вполне сознательно шел на то, что читатели не поймут его. Поэтому, целью всех этих довольно многочисленных не-снабженных переводом «восточных фраз», разбросанных по всему «Хожению» (главным образом в религиозно-лирических отступлениях и отрезках статически - описательного изложения), является только создание определенного эффекта экзотики, достигаемого необычностью звукосочетаний в связи с непонятностью самых фраз.

Собственно, этот эффект можно было бы достигнуть и простым подбором слов из разных восточных языков без всякого связного смысла. Но, на самом деле, все арабские, персидские и тюркские фразы, внесенные Афонасием Никитиным в текст «Хожения» имеют смысл. Смысл этот, будучи понятен только самому автору и небольшому меньшинству читателей, интересен только для психологии и характеристики автора, а не для литературной характеристики самого произведения, в котором помянутые фразы, как сказано, играют только роль средств для создания и повышения общего впечатления чуждости и экзотичности описываемой обстановки. Тем не менее, мы должны разсмотреть эти фразы и с точки зрения их смысла, ибо это поможет нам яснее почувствовать дух «Хожения».

25) Напр. «А ночи жоны ихъ ходять къ *гарипомъ* да спять съ *гарипы*, дають имъ *алафу*» (339,1-2), «ино ему нѣтъ ничего, что пилъ да ѣлъ, то ему *халялъ*» (339,5-6) и т. д..

26) Трудно точно локализировать то тюркское наречие, на котором составлены татарские фразы Афонасия Никитина. Рядом с формами северно - тюркскими (напр. *болсын* «да будет», *болмыш* «был»), встречается и южно - тюркская форма дат. пад. на - *а* (*булара* «им»). В рукописях «Хожения» арабские персидские и тюрькские фразы транскрибированы русскими буквами. Транскрипция эта не всегда последовательна : так напр. гласная â передается то через *я*, то через *е*, гласная ô — то через о, то через е; персидск. и арабск. а передается то черезъ а, то черезъ о (иногда тем же *о* передается и персидское ä) и т. д.. Кроме того в рукописях имеется и много описок, так что иногда расшифровать арабскую, персидскую или тюркскую фразу довольно трудно. В дальнейшем мы при передаче этих фраз не будем строго придерживаться правописания рукописей.

27) «А татарове намъ кликали: *качьма!* не бѣгайте» 331,18; «И ту людіе всѣ въскличаша: *Олло - Перво(р)дигерь, Олло - Конъкаръ! бизим баши мунда насипъ болмышьти!* а порусскы языкомъ молвить, Боже Государю, Боже Царю небесный, здѣ намъ судилъ еси погыбнути» 344,4-6.

Значительная часть «восточных» фраз «Хожения» представляет из себя молитвы или молитвенные восклицания. Во всех развитых религиозно - лирических отступлениях имеются такие «восточные» молитвы и молитвенные восклицания на ряду с русскими, 28) а по окончании всего «Хожения», как указано выше, приводится длинная молитва на арабском языке. Мотивы, побудившие Афонасия Никитина прибегнуть в этих молитвах к восточным языкам, конечно, были разнообразны. Тут была и потребность обращаться к Богу не на обычном, понятном для всех языке, — потребность, отмеченная в психологии религии разных времен и народов. Но была тут и своеобразная символика религиозного одиночества, символика, особенно своеобразная потому, что символ был так сказать прямо противуположен символизируемому состоянию. В бытность свою на Востоке, Афонасий Никитин остро ощущал свое религиозное одиночество и, вынужденный прятать свое христианство от окружающих, тайно (а м. б. иногда и вслух) молился *по-русски,* т. е. непонятно окружающим. Теперь, описывая свои странствия и живо вспоминая это доминирующее состояние своего духовного одиночества, он символизирует его тем, что опять молится на языке, непонятном для окружающих. Но, т. к. эти окружающие теперь - русские, то молиться приходится уже не по-русски, а по-арабски, по-персидски или по-татарски. Таким образом, перемена окружения вызвала переворачивание на изнанку языковых выражений психического состояния: в Индии языковым символом интимной, лично-религиозной жизни Афонасия Никитина был русский, в «Хожении» же, написанном по-русски и для русских читателей, таким символом становятся восточные языки. Поэтому, на этих языках Афонасий Никитин пишет теперь такие мысли, которые в Индии приходили ему в голову по-русски и оставались невысказанными вслух или скрытыми от окружающих. 29) Замечательно, что единственная молитва о России, заключающая в себе несдержанное проявление горячей любви Афонасия Никитина к родине, приведена в «Хожении» по-татарски и без русского перевода. 30)

---

28) См. выше прим. 7, где приведены все эти развитые религиозно - лирические отступления. Встречающиеся в них «восточные » слова немногочисленны и представляют из себя имена Бога и разные эпитеты Бога: араб. ***Аллäh*** («Олло») перс. *Худа* («Худо»), тюрк. ***Тангры*** — «Богъ»; араб. *акбäр* «велик», ***кäрим*** «милостив», ***раhым*** «милосердный», ***hак*** («акъ») «истинный», ***алhамду - лиллаh*** «слава Богу»; перс. ***пäрвäрдигäр*** («перводигерь») «промыслитель»; тюрк. ***сäн*** («сень») «ты». Молитвенные восклицания представляют из себя различные комбинации всех этих слов, при чем иногда в комбинациях участвует и русское слово Бог» («Богъ- керим, Богъ-акъберь» и т. д.).

29) Этот переворот символической роли русского и восточных языков особенно ярко выступает в диалоге между Афонасием Никитиным и мусульманином Меликом. В этом диалоге слова Мелика приводятся *по русски,* а слова Афонасия Никитина — *по татарски* без русского перевода: «Бесерменинъ же Меликъ тотъ мя много понуди въ вѣру бесерменьскую стати. Азъ же ему рекохъ: господине! ты намазъ кыларсень, менда намазъ киларьменъ, ты бешь намазъ кыларсизъ, менда 3 кылармень мень-гарипъ а сень-инчай (т.е. ты молишься,и я молюсь; ты пять раз молишься, а я 3 раза; я — чужеземец, а ты — здешний). Онъ же ми рече: истину ты не бесерменинъ кажешися, а хрестьянства не знаешь». (340,5-9); диалог этот вставлен в религиозно - лирическое отступление, см. выше прим. 8 В).

30) Эта молитва находится в начале религиозно - лирического отступления

Но, раз ассоциировавшись с психологическим комплексом сокровенности личных религиозных переживаний и с воспоминанием о духовном одиночестве, употребление восточных языков в «Хожении» захватывает и некоторые смежные психологические комплексы. Так, мы находим фразы на восточных языках там, где Афонасий Никитин вспоминает о своей оскверненности, явившейся следствием долгой жизни среди иноверцев. На татарском языке он признается в том, что, забыв точные сроки православных постов, иногда постился вместе с мусульманами и по-мусульмански и что при этом молился Богу о том, чтобы это не зачлось ему как измена вере. 31) Ощущение своей оскверненности особенно сильно выступало, когда Афонасию Никитину доводилось вступать в половые сношения с черными невольницами и вообще с некрещеными туземками. Поэтому все сведения о проституции в Индии и о платном удовлетворении половых потребностей он сообщает на татарском языке. 32) Характерно, что за наиболее циничной в этом отношении татарской фразой 33) непосредственно следует религиозно - лирическое отступление, в котором Афонасий Никитин плачется о соблазнах, окружающих его и о трудности сохранить религиозную чистоту, живя среди иноверцев. О том, что во время поста он воздерживался от половых сношений, Афонасий Никитин сообщает тоже по-татарски. 34)

То своеобразное положение, при котором восточные языки в *рассказе* Афонасия Никитина играют ту же символическую роль, которую русский язык играл в его интимной *жизни* в Индии, сказывается и в других случаях. Некоторые браманские идолы поразили Афонасия Никитина своею непристойностью: поразила, очевидно, не непристойность сама по себе, а то, что эта непристойность придана изображению божества, которому поклоняются. Это Афонасий Ни-

---

между 6-м и 7-м отрезками (341,11-14). Татарский текст ее («Урусь ери Таньгры сакласынъ» и т. д см. выше, прим. 8 Г). Вот ее перевод: «Русскую землю Бог да сохранит! Боже сохрани! Боже сохрани! На этом свете нет страны, подобной ей! Некоторые вельможи Русской земли несправедливы и не добры. Но да устроится Русская земля!.. Боже! Боже! Боже! Боже! Боже!» (из этих пяти призываний имени Божьего, первое — по-арабски, второе — по персидски, третье и четвертое — по русски, пятое — по татарски).

31) Именно в религиозно-лирическом отступлении между 4-м и 5-м отрезками (см. прим. 8 Б): « Таньгырдань истермень олъ сакласынъ », т. е. я молил Бога чтобы он сохранил меня; далее («А иду я на Русь,) кетьмышь-тыръ имень: уручь тутътымъ!» т. е. пропала (моя) вера: я соблюдал мусульманский пост.

32) «Во Индѣйской земли гости ся ставять по подворьемъ, а ѣсти варять на гости господарыни и постели стелють и спять съ гостьми; сикишьилересень—душитель бересень, сикишь илемез (-сень—ок шетель бересень достур (—дастур) авратъ чек-(чок)—туръ а сикишь муфут (т. е. хочешъ... давай два шетеля, т. е. две мелкие монеты, не хочешь..., давай один шетель таково правило; баб много, а... даром), любять бѣлыхъ людей» (333,24-27); — «А въ немъ (в Келекоте) все дешево,да кулъ-каравашь бисьярь хубь сія» (т.е. невольницы очень хороши м черные)».

33) «Въ Индѣй же [illegible] чектуръ, а учьюздуръ: сикишь илерсень—ики шитель, акъчаны иля атырсенъ — алты шетелъ берь, булара достуръ; а кулъ-каравашь учюзъ: чаръ фуна-хубъ бешъ фуна - хубъ-е-сія, (а) капкара кичикъ апъ чок хошь (т.е. проститутокъ много, и они дешевы: хочешь... — 2 шетеля, хочешь сорить деньгами — 6 шетелей, таково ихъ правило; а невольницы дешевы: за 4 фуна — хорошая, за 5 фунов — хорошая черная; а черненькая маленькая очень приятна)» 337,16-18.

34) «Аврат-иля ятъмадымъ», т. е. с женщиной не ложился см. выше, прим. 8 Б).

китин подумал, очевидно, *по-русски,* но вслух, конечно, не высказал. Описывая же эти идолы в своем «Хожении», он указывает на их непристойность *по-татарски.* 35) Другой раз, при виде могущества и военной мощи мусульманских правителей, победоносно воюющих с «неверными», у Афонасия Никитина мелькнула мысль, что, хотя с виду Ислам как будто помогает своим последователям, тем не менее, Бог-то знает, какая вера истинна, и какая неистинна. Опять таки, мелькнула эта мысль *по-русски* и вслух высказана не была, при изложении же своих воспоминаний Афонасий Никитин высказал эту мысль *по-персидски.* 36)

Таким образом, фразы на восточных языках в «Хожении» Афонасия Никитина имеют свою определенную смысловую сферу, связаны с определенным психологическим комплексом ассоциаций. 37) Но эта внутренняя смысловая сторона этих фраз доступна и открыта лишь самому Афонасию Никитину и очень ограниченному кругу его читателей. Для большинства же читателей фразы эти лишены смысловой стороны и, в силу именно этой своей безсмысленности в соединении с своеобразием своей акустически - звуковой стороны, являются только средством повышения впечатления экзотичности описываемых в «Хожении» диковинных явлений, обычаев и событий.

Рассмотренные здесь формальные особенности «Хожения за три моря» Афонасия Никитина присущи исключительно одному этому памятнику. Но сравнивая «Хожение» Афонасия Никитина с другими памятниками древнерусской письменности, замечаем, что главные особенности, рассмотренные выше, встречаются — правда, в ином и менее развитом виде, — в определенной группе произведений, именно, — в древнерусских паломничествах.

Так, прием разграничения элементов динамически - повествовательного и статически - описательного, с помещением описания страны в середине, а повествования о путешествии из России и обратно — по краям памятника, встречается в большинстве русских

---

35) «А иныя буты (т. е. идолы) нагы, нѣтъ ничего, котъ ачикъ (т. е. задница голая)» (336,22); заметим, что в других местах Афонасий Никитин называет части тела своими (русскими) именами без смущения.

36) «Маметь-дени нарея, а растъ дени Худо донотъ (дâнâдъ) ; (343,4-5).

37) «Восточных» фраз, несвязанных с этими комплексами, очень немного. Это — технические выражения, напр.: въ Курыли же алмазниковъ триста *суляхъ микунѣтъ* (букв. дел. оруж. т.е. украш. оружие)» 343,26; «а иныхъ (обез,) учать *базы микунѣтъ* (букв. делает игру ,т. е. играть показывать фокусы) 335,9, «новаго же почка алмазу *пѣньче кени сея же—чар_шешъ кени, а сипитъ—екъ тенка* (339,14) (т.е. «...5 кени, черного же—4-6 кени а белого—1 тенка».— Не совсем понятно, почему при описании священного города Парвата число паломников указывается по-персидски: «а съѣжжается... всѣхъ людей *бисть азаръ лекъ, вахтъ башетъ сатъ азаръ лекъ* (т. е. 20.000 лек, а повременам бывает 100.000лек). Вероятно эти колоссальные цифры (в одном «леке» считается 100.000!), сообщенные браманами, показались Афонасию Никитину настолько невероятными, что он не решился сообщить их по-русски.—В двух местах текст рукописи настолько искажен, что угадать смысл короткого восточного выражения невозможно: «...а моремъ четыре дни ити *аростохода чотомъ* (?)». 338,10 и «*а моремъ четыре мѣсяца аукиковъ*» (339,23).

поломничеств, начиная с конца XIV-го в. 38) Но ни в одном поломничестве это разграничение двух видов изложения и постепенность переходов от одного вида к другому не проведены с такой последовательностью и не разработаны с таким мастерством, как в «Хожении» Афонасия Никитина.

Обычай начинать и кончать произведение молитвами был широко распространен в древнерусской литературе и, в частности, в литературе паломнической. Но Афонасий Никитин разработал и этот прием совершенно оригинально, превратив религиозно - лирический элемент в средство композиционного членения своего произведения и в средство спайки отдельных его частей, — чего ни в одном древнерусском паломничестве не наблюдается.

Прием перечисления географических названий (с указанием расстояний и дней пути) широко распространен в паломнической литературе, где он выполняет роль предельно - схематизированного заместителя динамического повествования о путешествии. Но Афонасий Никитин оригинально использовал этот прием для совершенно иных целей, именно для создания определенного экзотического звукового эффекта. 39) Поэтому он расширил самое применение этого приема, введя разные мотивировки перечисления географических названий, далее, аналогичные роды восточных личных имен, наконец, безсмысленные (с точки зрения большинства читателей) фразы на восточных языках и т. д..

Наконец, мы видели выше, что в некоторых частях своего «Хожения» Афонасий Никитин применяет прием несистематического, беспорядочного изложения (мотивированного формой путевых заметок в 2-м отрезке и ничем не мотивированного в 3-м и 6-м отрезках). Тот же прием широко применяется и в паломнической литературе

38) В паломничествах более древних этот прием еще неизвестен. Старые новгородские паломничества (Арсения, ок. 1200, и Стефана ок. 1350) особенно поражают полным отсутствием повествования о путешествии. В соединении с почти полным затушевыванием всякого автобиографического элемента, это превращает эти паломничества почти в каталоги или путеводители по святыням, т. е. ослабляет их литературную действенность. Оригинальный опыт оживления паломничеств этого типа был предпринят неизвестным (повидимому, тоже новгородским) автором «Бесѣды о святыняхъ Царяграда» (XIV в.). Здесь паломничество вставлено в рамку вымышленного рассказа о том, как какой-то царь при каких-то обстоятельствах (нам, к сожалению, неизвестных ибо начало рукописи утрачено) встретился с «Венединским» епископом и, наслушавшись его рассказов о святынях Царяграда, отказался от своего царского достоинства и простым паломником отправился в Царьград. Описание святынь Царяграда, т.о. имеет фому диалога, при чем, епископ расказывает систематично, а царь только изредка подает ему малосодержательные реплики, композиционный смысл которых состоит в том, чтобы расчленить систематическое описание Царяграда на главы. Благодаря этому, паломничество, в данном случае, и без повествования о реальном путешествии перестает быть простым каталогом и приобретает «литературность». Однако, этот искусственный прием не привился.

39) Несмотря на то, что перечисления географических названий играют у Афонасия Никитина совершенно другую роль, перечисления эти самой формой своей явно свидетельствуют о влиянии паломнической литературы. В «маршрутных» перечислениях географических названий Афонасий Никитин весьма часто употребляет формы аориста (*поидохъ, быхъ*, ср. напр. приведенную выше цитату, прим. 15); принимая во внимание, что в отрезках спокойного изложения тот же Афонасий Никитин предпочитает аористу обычный в разговорном языке «перфект» (*пошелъ есми, былъ есми)*, приходим к заключению, что аорист в «маршрутных перечислениях» обусловлен влиянием традиции паломнической литературы, церковнославянской по языку.

(где он обычно мотивирован формой путевых заметок). Заметим кстати, что прием этот отнюдь нельзя об'яснить пресловутой «бесхитростностью» или «простодушием» паломников. Смысл этого приема — в том, что при таком способе изложения создается иллюзия разнообразия и многочисленности впечатлений, тогда как при систематическом описании материал кажется более ограниченным и скудным, именно оттого, что он становится легко обозримым.

Таким образом, между «Хожением» Афонасия Никитина и древнерусскими паломничествами существует несомненная связь. 40) Остается только выяснить характер этой связи.

Мы уже говорили выше, что как многие паломничества, так и «Хожение» Афонасия Никитина начинаются и заканчиваются молитвами. Но, в то время, как в паломничествах обе молитвы (и начальная, и заключительная) — церковно - славянские и христианские, в «Хожении» Афонасия Никитина заключительная молитва арабская, мусульманская. На первый взгляд это создает впечатление какой то пародии. Но, на самом деле, это, конечно, не так.

Отношение между «Хожением» Афонасия Никитина и поломничествами может быть выражено следующей краткой формулой: в то время, как паломничество есть описание путешествия в *святую* землю, «Хожение за три моря» Афонасия Никитина есть описание путешествия в *поганую* землю.

Это создает глубокое различие в религиозно - психологической ситуации. Паломник путешествует по святым местам, переполненным святынями и представляющим на каждом шагу материальные, осязаемые следы ветхозаветных и новозаветных воспоминаний. Он несет в себе самом, в своем сознании особую атмосферу благочестивых чувств, мыслей, настроений и представлений, и окружающий мир, внешняя обстановка святой земли, действуют на этот внутренний мир паломника, как мощный резонатор, повышая интенсивность всех его переживаний, мыслей и чувств. Оба мира, внешний и внутренний, сливаются воедино, и паломник неспособен различать, где кончается один, и где начинается другой: в окружающем он видит и замечает только то, что гармонирует с его внутренним миром, впитывает все это в себя и, в тоже время, вкладывает свои собственные религиозные переживания во все виденное и слышанное. — Наоборот, Афонасий Никитин путешествует по странам нехристианским, — мусульманским и языческим, — где не только нет христианских воспоминаний, не только царят нехристианские религии, но где эта чужая, нехристианская религиозная стихия выступает на каждом шагу, бьет ключем. Между внутренним религиозным миром Афонасия Никитина и окружающей его обстановкой мусульманской или языческой жизни не только нет гармонии, но есть прямая противуположность, противуположность постоянно и интенсивно ощущаемая.

40) Знакомство Афонасия Никитина с паломнической литературой с полной очевидностью явствует из упоминания в его «Хожении» статуи императора Юстиниана (336,21). Т. к. Афонасий Никитин сам в Константинополе не был, то об этой статуе он мог знать только из древне - русских паломничеств, во многих из которых она, действительно, описывается.

В результате, вместо того осмоса между внутренним миром путешественника и внешним миром окружающей его действительности, вместо того слияния этих двух миров и растворения внутреннего мира во внешнем, которое наблюдается у паломника, у Афонасия Никитина должно было получиться как раз обратное, но не менее интенсивное ощущение своей отдельности, изолированности от внешнего мира, своего религиозного одиночества. Ему приходилось бороться как против проникновения внешнего, нехристианского мира в его внутренний мир (ибо это проникновение сознавалось как осквернение), так и против выявления его внутреннего религиозного мира вовне, ибо такое выявление могло быть опасным для его личной судьбы, иначе говоря, приходилось замыкаться в себя и тем не ослаблять, а еще усиливать свою духовную изоляцию, свое религиозное одиночество. Это было длительным и напряженным религиозным переживанием. В этой-то интенсивно религиозной окраске переживаний, связанных с путешествием, и заключалась аналогия с паломничеством, несмотря на все различие в самом направлении этих переживаний. Как для паломника, так и для Афонасия Никитина воспоминание о путешествии было прежде всего воспоминанием о сильном религиозном переживании. И именно поэтому как паломник, так и Афонасий Никитин считали себя обязанными записать эти воспоминания, поведать их потомству: ибо в древней Руси в принципе записывалось и облекалось в литературную форму только лишь религиозно - ценное, все же религиозно - нейтральное в принципе оставалось предметом не письменной, а устной литературы.

Сказанным выше определяется истинный смысл и сущность содержания «Хожения» Афонасия Никитина. Это не есть простое описание любопытных путевых приключений или диковин, виденных в далеких странах, а повесть о том, как несчастный православный христианин, «рабище Божие» Афонасий, занесенный судьбой в нехристианские страны, страдал от своего религиозного одиночества и тосковал по родной христианской обстановке. Только с этой стороны и можно подходить к «Хожению», как к литературному произведению.

Все «Хожение» проникнуто реальным ощущением религиозной изолированности Афонасия Никитина среди окружающей его нехристианской религиозной стихии. Вместе с тем, Афонасий Никитин слишком хорошо знает мусульман и браманистов, чтобы просто презирать их. Их религиозный мир отделен от внутреннего мира Афонасия Никитина непроницаемой стеной. Но Афонасий Никитин знает, что это, пусть чужой, но все-таки *религиозный* мир, и потому не может ни презирать, ни осуждать тех, кто к этому миру принадлежат. Даже больше того, Афонасий Никитин чувствует, что при всем внутреннем, материальном различии между его собственной русско-православной и чужими, мусульманской и браманской религиозными стихиями, между ними существует известный формальный параллелизм, формальная аналогия, которую он постоянно подчеркивает. Упоминая мусульманские праздники и посты, он всегда указывает,

какому православному празднику или посту они по времени или по значению своему соответствуют: «... на память шиха Аладина, на руськый праздникъ на Покровъ святыя Богородица (334,33) «а празднуют шиху Аладину двѣ недѣли по Покровѣ» (335, 10), «Великы День бваеть хрестьанъскы первіе бесерменьскаго баграма за 9 день или за 10 день» (337,20—21), «на курбантъ-баграмъ, а порусьскому на Петровъ день» (341,27—28). О священном городе браманистов, Парвате, Афонасий Никитин говорит: «къ Первотѣ же ѣздятъ о Великомъ Заговѣйнѣ, къ своему ихъ туто Іерусалимъ, а побесерменьскы Мякъка, а порускы Ерусалимъ, а поиндѣйскы Парватъ» (337,7—9). Он отмечает внешнее сходство некоторых подробностей браманского ритуала с православным: «а намазъ же ихъ на востокъ, порускы» (336,34), «а бутханы (т. е. храмы) же ихъ ставлены на востокъ, а буты (т. е. идолы) стоятъ на востокъ» (337,3—4) «ины ся кланяють по чернечьскы, обѣ рукы дотычуть до земли» (337,6—7). Чуждость браманского религиозного миросозерцания, конечно, не могла не поразить Афонасия Никитина. При описании главного храма в Парвате он рассказывает без прикрас то, что там видел, и одного этого описания достаточно, чтобы убедиться в совершенной чуждости браманизма: «а бутхана же велми велика, есть въ полъ-Твѣри,камена, да рѣзаны по ней дѣяния Бутовы, 41) около ея всея 12 рѣзано вѣнцевъ, какъ Бутъ чюдеса творилъ, какъ ся имъ являлъ многыми образы: первое — человѣческимъ образомъ являлся, другое — человѣкъ, а носъ слоновъ, третье — человѣкъ, а видѣніе обезьянино, въ четвертое — человѣкъ, а образомъ лютаго звѣря; являлся имъ все съ хвостомъ, а вырѣзанъ на камени, а хвость черезъ него сажень» (336,10—14). Казалось бы у всякого русского XV-го века все эти образы должны были бы вызвать заключение, что этот «бут» есть просто сатана. Возможно, что такая мысль и пришла в голову Афонасию Никитину. Но он подавил ее в себе, не высказал ее даже и в «Хожении», а только отметил формальное внешнее сходство главного идола парватского храма с статуей Юстиниана, описанной русскими поломниками: «Бутъ вырѣзанъ изъ камени, велми великъ, да хвостъ у него черезъ него, да руку правую поднялъ высоко да простеръ, акы Устьянъ-царь Царяградскы» (336,19—21). Таким образом, даже здесь опять формальный параллелизм двух религиозных миров. Но констатирование этого *формального* параллелизма, конечно, только усиливает впечатление полной внутренней, *материальной* разнородности этих миров. Так же спокойно и об'ективно описывает Афонасий Никитин и другие подробности религиозной жизни Индии, даже самые странные и отталкивающие с русско - православной точки зрения (напр. религиозное почитание рогатого скота 42) и т. д.) Нигде ни тени осужде-

41) Слово *бут* по персидски значит «идол». В данном случае речь идет повидимому о божестве вишнуитского культа, о Вишну или о Кришне.

42) Напр.: «А передъ бутомъ же стоить волъ велми великъ, а вырѣзанъ изъ камени изъ чернаго, а весь позолоченъ, а цѣлуютъ его въ копыто, а сыплуть на него цвѣты и на бута сыплють цвѣты» (336,32-25); «индѣяне же вола зовуть отцомъ, а корову матерью; а каломъ ихъ пекутъ хлѣбы и ѣству варять собѣ, а

ния, пренебрежения или насмешки: всякий-де верует по своему, других осуждать нечего, а надо самому смотреть, как бы свою веру соблюсти, не отпасть от Бога.

Нелегко было Афонасию Никитину устоять в вере. И не только потому, что как христианин он не пользовался никакими правами и всегда мог подвергнуться притеснениям мусульманских вельмож, вроде чюнерского правителя Асад-хана; но, главным образом, потому, что он был физически лишен возможности исполнять обряды и предписания свей веры, в то время как вокруг себя он видел людей, строго выполняющих свои религиозные обязательства, живущих благообразным ритуальным бытом, формально похожим на его собственное русско - православное обрядовое исповедничество. Соблазн был велик: своей веры, своего закона все равно соблюсти нельзя, а «бесермене» так благообразно живут, так твердо стоят в своей вере и соблюдают свой закон, что даже зависть берет; почему бы не перейти в их веру? ведь Бог — один, только законы — разные. Это — смысл разговора Афонасия Никитина « с бесерменином Меликом », который нудил Афонасия Никитина «въ вѣру бесерменьскую стати» и укорял его за то, что он от христианства отстал, а к мусульманству не пристал. Но Афонасий Никитин устоял. Несмотря на все уважение, с которым он относился ко всякой чужой вере, и несмотря на то, что никогда не допускал себя осуждать или презирать окружающих за их религиозные воззрения, в глубине души он чувствовал и знал, что истинная вера только его, русская вера, и за нее он держался крепко, хотя от всех это скрывал, присвоив себе для окружающих даже вымышленное «бесерменьское» имя, «хозя Юсуфъ Хорасани».

Так жил он «промежу вѣръ», сокрыв от всех свой личный религиозный мир и подавив его внешние проявления. Эту свою жизнь он и описал в своем «Хожении». Только время от времени, по случаю наступления какого нибудь большого христианского праздника или поста, эта скрытая в глубине его души стихия русско - православной веры вздымается в нем, охватывает все его существо, заставляет его остро почувствовать свое духовное одиночество. Тогда он начинает плакать, сокрушаться, тосковать по христианской обстановке, по благообразному русскому бытовому исповедничеству и обращается с молитвой к истинному, христианскому Богу. Но и тут его религиозная стыдливость и вызванная обстоятельствами жизни скрытность мешают полному проявлению накипевших чувств, и свою молитву он сейчас же скрывает покрывалом арабского, персидского или татарского языка, этих символов его долговременного духовного одиночества.

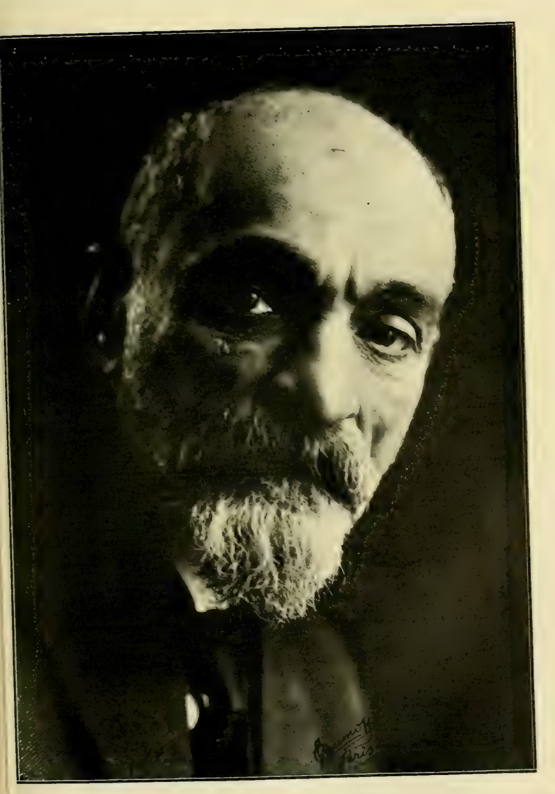
Эти вздымания волны интимно - религиозных переживаний имеют свою периодичность. Религиозная жизнь человека, выросшего в религиозной культуре, воспитанного в обрядовом исповедничестве всегда ритмична и периодична. Интенсивность и напряженность

попеломъ тѣмъ мажуться по лицу, и по челу, и по всему тѣлу, — ихъ знамя» (337,13-15).

ее, то усиливается, то ослабевает, и усиления эти связаны с определенными моментами во дню, с определенными днями в неделе, с определенными неделями в году. Настолько, что для такого человека времесчисление неотделимо от вероисповедания и становится категорией религиозной. И именно потому, что сокровенные движения его внутреннего религиозного мира были подчинены определенному ритму и периодичности, у Афонасия Никитина и могла явиться мысль при написании «Хожения за три моря» использовать поведание о моментах своей религиозной тоски как средство внутреннего членения рассказа о путешествии и о всем виденном и пережитом в далеких странах.

Кн. Н. С. Трубецкой

Вена, март 1926 г.



Л. Шестовъ

Фот. Шумова.

НА ТЕМУ «ИСКУССТВО И БЫТ»

Идея уничтожения искусства теперь в моде. На западе она порождает новых снобов, которым надоели, главным образом, разговоры об искусстве. Будем надеяться, что разговоры об уничтожении искусства успеют им надоесть еще скорее, и все устроится ко взаимному благополучию. В их снобизме есть что-то циничное. Но гораздо хуже, если ту-же идею уничтожения искусства проповедуют целые стада вооруженных журналами людей, которые изо дня в день повторяют, что искусство есть — «продукт клерикальной культуры», что художники суть — «жрецы-наймиты»(!) буржуазии, и т.д. и т.д.. Каждая статья или книга такого типа кончается приглашением пойти на фабрики и заводы «претворять искусство в быт», «сделать жизнь организованным творческим процессом» и т. п.. На вопрос, какое искусство ввести в быт, какое искусство можно считать абсолютным, дается очень неопределенный в наше время ответ: «Соответствующее нуждам времени и есть абсолютное». В корне это правильно, но положение усложняется тем. обстоятельством, что на получение почетного звания «абсолютного» имеется несколько претендентов, по своему определяющих «нужды времени». Выбирать одного из них труднее, чем спорить по этому поводу, так что само понятие даже временно абсолютного тоже относительно. Его определяет история, которая сглаживает ту разницу характеров, которую мы ощущаем, может быт, слишком остро. Но острота нашей оценки, болезненное чувство *разницы* двигают искусство, а это самое главное. Знаменательно, что несмотря на все эти призывы, в России продолжают по прежнему писать стихи и картины и в наибольшем количестве сами призывающие. Разгадка этого очень проста. Когда пропадает потребность в чем либо и остается продукт ее удовлетворяющий, трудно согласиться с самостоятельным значением этого продукта и необходимо найти ему соответствующее оправдание. В России самым удобным оправданием считается «экономическое», и исходя из него происходит деление на качество и жизнеспособность. Оттуда и громкие фразы «о слиянии искусства с производством» и пр..

Говоря о живописи, следует вспомнить, что когда живопись перестала обслуживать религию или, проще, когда живопись перестала пользоваться религиозными темами, «прогресс» ее останавливался, но в силу необходимости изменения сюжета менялась и сама система живописного выражения, и с каждым новым этапом изменения — весь порядок живописной фразировки. Общие житейские требования устанавливают свое оправдание, свою «точку зрения», свой «новый

взгляд» на произведение искусства, и эта «точка зрения» определяет характер последних. Кроме того, она же служит мерилом для вторичной оценки ушедших в прошлое произведений искусства, ибо помогает найти в них *приметы,* которые временно считаются абсолютными.

Таким образом, причины изменения живописного материала временны, и носят характер эпохи или среды, его изменяющей. Порядок изменения последователен даже в неожиданностях и противопоставлениях. Любопытно отметить, что он почти всегда перерастает причины, вызвавшие его, и сам в себе находит достаточно оправдательных пунктов для того, чтобы развиваться и, развившись, занять очередное место стиля.

Почему-то такого отношения к живописи не допускает большинство русских критиков, требующих от изобразительных искусств утилитарной, практической пользы, «введения искусства в быт» и т.д. Странно, что к литературе и к прославленному ими кинематографу они относятся более снисходительно и существующее положение вещей считают вполне приемлемым. Их не возмущают авантюрные, фантастические романы и невероятные трюки американских комиков,хотя не думаю,чтобы у кого-нибудь возникло желание ввести таковые в быт. Художников, делающих «просто» картины, в России клеймят позорной кличкой «станковистов», пущенной с легкой руки О. Брика, одного из редакторов «Лефа». Станковистов считают оторванными от жизни и несумевшими откликнуться на события. Часть из них, правда, откликнулась, и об'единившись в А. Х. Р. рисует вместо сладковатых портретов — пасторальных мужичков и величественные фигуры советских дипломатов. Но, конечно, не о них речь. Эти всегда устроятся, в «Лефе» их безбожно ругают. Дело в так называемых «передовых» художниках, от которых требуется создание нового быта, введение искусства в производство и прочие замечательные вещи. Некоторые из этих передовых, например, Татлин, после знаменитой башни Ш Интернационала,делают теперь модели «усовершенствованных» печек, другие (Малевич) проектируют разного рода посуду, или (Родченко, Варст) приспособливают к тканям свои супрематические картины, повторяя их соответствующее количество раз. О том, как все это делается, можно узнать в том же «Лефе». Не будем говорить о печках и предоставим об этом судить специалистам. Нас гораздо больше интересует идеология тех русских художников, которые, отказавшись от всего «завоеванного веками», занялись постройкой печек и, усиливая конкуренцию, почитают это своим особым достоинством. Делая картины, они переименовывают их в «проуны» или «конструкции», а рисунок, состоящий из двух вертикальных палочек и одной кривой, называют — радиомачтой.

Вся романтика русских безпредметников свелась к «машинизму», к утилитарности, к тому, что здесь принято называть «американизмом». В России, где жизнь не отличается особо комфортабельными свойствами, такая реакция вполне понятна, также как здесь понятны выходки дадаистов и сюр-реалистов. В обоих случаях это проти-

вопоставление существующей системе несет в себе, может быть, благодарный материал для работы других, более мирно настроенных художников. Футуристы, оставившие в наследство наклеенные газеты или жестянки, так или иначе изменили подход к реальной, изобразительной обстановке, внесли в нее новые моменты и формообразования, которые в работе пришедших вслед ха ними художников рассматривались не как противопоставление Венере или Мадонне, а как самодовлеющая часть материала. Очевидно, во всех случаях такого рода мы имеем дело не с абсолютным методом, а с «абсолютной» идеей. В каждой абсолютной идее есть свой несомненный фанатический пафос, и если он влечет за собой практические результаты, о значении этой идеи не может быть двух мнений. Впрочем, в наше время фанатизм свидетельствует не только об узости взглядов, но и об отсутствии просто житейского опыта. Думаю, каждый художник может это проверить на себе не только в отношении к своим картинам, но и в отношении искусства вообще.

Где-то в том же «Лефе» я прочел фразу: «Вдохновение отменяется, как пустая и вздорная шутка». Стоит заменить слово вдохновение, удачей, и сам автор этой жестокой фразы наверно откажется от своего милого намерения. Можно легко изгнать из обихода некоторые слова и определения. Верными остаются, в конце концов, самые заезженные—«красиво», «талантливо» и т. п. Спорить с этим не приходится. Давно пора привыкнуть к относительности всей терминологии, связанной с искусством. Стоит нам назвать работу русских «супрематистов» — асиметрическим орнаментом, и мы увидим, что термин наш сразу поколеблется, если вещь, выражаясь вульгарно, будет «неаккуратно» нарисованной. Все это очень приблизительно и неточно. Мы видим, как оживают старые термины в новом толковании, и как новые легко применяются к старым понятиям. Происходит своего рода возврат к бабушке; конечно, возврат этот ощутим и оправдан в том случае, если он исходит из уст людей, от бабушки отошедших. Этот закон контраста тоже очень приблизителен. Как бы то ни было, мы легко миримся с тем, что художники сплошь да рядом отрицают искусство и возмущаемся, если этим занимаются люди, отношения к искусству не имеющие. Маяковскому отрицание это дает тему для написания нескольких новых стихотворений, а многим художникам — повод для написания картин. Русские художники, как я говорил раньше, и пишут и рисуют в большом количестве, но почему то считают нужным оправдать свои работы утилитарными именами. Таким образом, если не сомневаться в их искренности, у них отрицание искусства происходит в порядке изменения отношения к искусству и носит далеко не разрушительный характер.

Опасная сторона такого «идеологического» подхода заключается в подведении новой идеологии под уже существующие факты изобразительности, не в оценке фактов этих «по новому тарифу и другим приметам», а в изменении приктического *назначения* их. Об этом не стоило бы говорить, если бы не такое большое количество людей впадало в подобного рода ошибки. Возможно, что они, действительно,

находят новое самостоятельное оправдание уже сделанному, занятие по существу безполезное, если это самостоятельное оправдание не сопровождается самостоятельной формулировкой его в живописи. В таких случаях меняется не смысл применения существующей формы, а ее утилитарное использование. Бесспорно, утилитарность такое же «отношение», такая же «точка зрения», как и всякое другое требование, пред'являемое искусству. Только до сих пор она не меняла существующей формы, не придвала ей нового живописного значения, а к старому приему, к старой форме приняла свое новое «утилитарное отношение». О том, что ни так наз. «конструктивизм» в живописи, ни «супрематизм», с утилитарностью ничего общего не имеют, говорить не приходится. Если Мадонну написать не на холсте, а на тарелке, от этого она не перестанет быть Мадонной. То же относится к работам Татлина, Малевича, Родченко и др. Их работы, как работы вообще всех художников, в практическом смысле лишены какой-либо утилитарной ценности, и в свою очередь ничего, кроме того, чтобы на них смотрели, не заслуживают. Может быть впоследствии, когда будут использованы «ненужные» до сих пор энергические силы человека, процесс созерцания картины получит новый утилитарный смысл, как способ передвижения грузов среднего веса или что-нибудь в этом роде. Как на пример эксплуатации внутренней энергии, укажем на гипноз, как способ лечения, па лам, погов и т. п., благо точных сведений об этом у нас не имеется. Но зато мы прекрасно знаем, что всякое художественное произведение остается таковым до тех пор, пока оно требует особого напряжения воспринимающих органов, до тех пор, пока оно требует исключительного к себе отношения. В противном случае, оно становится бытовым явлением, неот'емлемой ценностью которого является то, что мы его не замечаем. Вещи целесообразные, удобные, идеал русских безпредметников, не могут требовать специального напряжения наших воспринимающих органов, ибо это уже не отвечает требованиям удобства и целесообразности. Формы искусства, вошедшие в быт, теряют свои прежние «исключительные» свойства и приобретают другие, только что указанные. Странное впечатление производят некоторые главы в бойкой и остроумной книге К. Миклашевского — «Гипертрофия искусства», где автор возмущается засилием искусства. Он находит его всюду. «В изящно декорированной папиросной коробке, в узоре обоев, в обшлаге ночной рубашки, в капоте жены или любовницы, в стильной лампе» и т. д. и т. д.

Утомленный «количеством» искусства, он с ужасом восклицает «Уф!». Должен сказать, что только особенно впечатльные натуры могут обращать внимание на все перечисленное. Думается, что «антикваров», «коллекционеров» и «эстетов» Миклашевский презирает... А постольку, поскольку идет речь о простых смертных, следует знать, что только переходные этапы в изменении быта удерживают наше внимание на формах последнего. Вообще же мы их не замечаем. Поэтому, неприятны дома в стиле «модерн» и проекты мебели современных конструктивистов. Вещи, предназначенные для утилитарно-

го использования, должны быть лишены тех *раздражающих* элементов, которые в свою очередь являются привиллегией искусства.

Так называемые банальные изображения и предметы домашнего обихода, вошедшие в быт, никого не безпокоят. Мы с уверенностью садимся на венский стул и не замечаем гравюры с изображением «Нотр - Дам». При ином положении вещей, если допустить, что в быт вошел другой «раздражающий» нас стиль (венский стул тоже раздражал когда-то), первый станет музейным явлением, и старая литография уступит место графике Бердслея или чему нибудь другому. Одно займет исключительное по отношению к быту положение, и на созерцание его будет потрачено больше внимания и зрительной энергии, нежели на созерцание другого.

Попытки изменения внешней стороны быта оправданы признанием его негодности, неудобства или, по мнению «конструктивистов», слишком большим количеством эстетических деталей. Художники, пытающиеся изменить быт, берут на себя тяжелую, неблагодарную задачу. Устранение незамечаемых нами теперь эстетических деталей в старых вещах делается за счет вещей новых, будто бы их лишенных. Но само отсутствие этих «эстетических» деталей в новых вещах ощущается нами острее, нежели их наличие в старых, и беспокоит несравненно больше.

Привычка делает свое; одно проникает в быт, другое в музей и по тем или другим, возможно и не совсем справедливым причинам, считается искусством. Относительность последнего совершенно неопровержима. Не потому ли художники так полюбили старенькую мещанскую фотографию и особую кажущуюся неуклюжесть положений и поз так наз. «декаданса». Отсюда целый ряд картин, основанных на всевозможных напоминаниях, изменении пропорций и деформациях. Вещи, ничего не напоминающие, мертвы. Изменение пропорции, деформации, как всякое нарушение факта, без этого *сравниваемого* факта невозможно, и если каждая последующая картина является критикой предыдущей, то бытовые явления (не следует их ограничивать «жанром») в глубоком смысле этого слова служат критическим трамплином для создания художественного произведения.

И. Эренбург в своей книге «А всетаки она вертится» говорит о том, чтобы «сделать всех конструкторами прекрасных вещей, превратить жизнь в организованный творческий процесс и этим самым уничтожить искусство». Таких требований и услужливых предложений много. Не спорю с тем, что искусство, вошедшее в быт, перестает быть искусством. Если сделать всех «конструкторами прекрасных вещей», несомненно больше внимания будут привлекать те единицы, которые ухитрятся делать вещи уродливые. Формы искусства, вошедшие в быт, становятся частью обстановки и по отношению к искусству являются об'ектом годным для сравнения в порядке изменения своей условной структуры.

Удивительно верно сказал как-то Н. Н. Пунин: «Всякое изменение вида конкретности сопровождается обнаружением его живописных качеств». Произведение искусства остается таковым в силу

«сравнительного», если можно так выразиться, отношения к быту и гораздо выгоднее стремиться в музей, как собрание не бытовых явлений, нежели в быт, где успешный результат уничтожает само искусство.

Можно оспаривать значение музейности вообще. Это дело другое. Но постольку поскольку традиции и культура никого не тяготят, об этом говорить не стоит. Упрощаться, проповедывать вандализм и новые машинные скифства незачем. Мы технически довольно хорошо устроены, и нет никаких оснований беспокоиться за слишком большую тяжесть того культурного опыта, который мы в себе носим. Провинциалу трудно переходить улицу столичного города, где он боится быть раздавленным снующими направо и налево автомобилями. Горожанин это делает легко и незаметно. Швея во время шитья может болтать с подругой и кокетничать с приказчиком из соседнего магазина. Это не обременительно и не мешает труду. Наш организм постоянно приспосабливается к возможности новых единовременных действий. Ограничение их было бы для современного человека не облегчением, а дисциплиной. Цель всевозможных абсолютных методов, а в частности цель «уничтожения» искусства (как самостоятельной величины) и связанных с ним вековых предрассудков — помочь страждущему человечеству. Однако, до тех пор, пока ограничение рамок нашего восприятия есть дисциплина, режим — лучше это страждущее человечество просто пожалеть.

Изменение быта происходит само собой. Настойчивость людей, его изменяющих, в конце концов понятна. Так, кажется, бывает всегда. Мебельное предприятие тратит значительную часть своих капиталов на рекламу. Непонятно только, зачем русские конструктивисты, изменяя быт, прикрываются знаменем искусства. Не в надежде ли при помощи тех же вековых предрассудков поднять цену мебели и свое собственное значение в глазах общества?

Р. Пикельный

ОТКЛИКИ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
на резолюцию XIII с'езда РКП.

Минувшим летом на XIII всероссийском с'езде РКП была вынесена особая резолюция, касающаяся так называемого литературного фронта. Правящая партия решила несколько ослабить нажим на этом фронте, предоставив некоторую, правда очень относительную, свободу группам писателей, не входящим в круг покровительствуемых властью«напостовцев». До сего времени, кроме свирепой оффициальной цензуры, существовала другая—пожалуй, еще более жестокая, в виде «вольных» блюстителей пролетарской идеологии. Роль этих блюстителей хорошо известна всем читателям выходящих в России журналов. Достаточно вспомнить печальный и длинный спор Воронского с Лелевичем и конец «Русского Современника».

Теперь партия принуждена остепенить своих, в большинстве своем бездарных, литературных сподвижников. Делается это с целым рядом боязливых оговорок, сквозь которые непривычному глазу трудно добраться до сути.

Приводим наиболее важные пункты резолюции и отклики на нее ряда писателей, помещенные в № 8, 9 и 10 журнала «Журналист». Большая часть откликов принадлежит «попутчикам». Восторженный тон «напостовцев» не следует принимать в серьез. Это явное: faire bonne mine au mauvais jeu.

ЧТО ПОСТАНОВИЛА ПАРТИЯ
о художественной литературе.
(Резолюция ЦК РКП (б).

9. Соотношение между различными группировками писателей по их социально-классовому или социально-групповому содержанию определяется нашей общей политикой. Однако, нужно иметь здесь в виду, что руководство в области литературы принадлежит рабочему классу в целом со всеми его материальными и идеологическими рессурсами. Гегемонии пролетарских писателей еще нет, и партия должна помочь этим писателям *заработать* себе историческое право на эту гегемонию. Крестьянские писатели должны встречать дружественный прием и пользоваться нашей безусловной поддержкой. Задача состоит в том, чтобы переводить их растущие кадры на рельсы пролетарской идеологии, *отнюдь, однако, не вытравливая из их творчества крестьянских литературно - художественных образов, которые и являются необходимой предпосылкой для влияния на крестьянство.*

10. По отношению к «попутчикам» необходимо иметь в виду: 1) их диференцированность; 2) значение многих из них как квалифицированных «специалистов» литературной техники; 3) наличность колебаний среди этого слоя писателей. Общей директивой должна здесь быть директива тактичного и бережного отношения к ним, т.-е. такого подхода, который обеспечивал бы все условия для возможно более быстрого их перехода на сторону коммунистической идеологии. Отсеивая антипролетарские и антиреволюционные элементы (теперь крайне незначительные), борясь с формирующейся идеологией новой буржуазии среди части «попутчиков» сменовеховского толка, партия должна терпимо относиться к промежуточным идеологическим формам, терпеливо помогая эти неизбежно многочисленные формы изживать в процессе все более тесного товарищеского сотрудничества с культурными силами коммунизма.

11. По отношению к пролетарским писателям партия должна занять такую позицию: всячески помогая их росту и всемерно поддерживая их и их организации, партия должна предупреждать всеми средствами проявление комчванства среди них, как самого губительного явления. Партия, именно потому, что она видит в них будущих идейных руководителей советской литературы, должна всячески бороться против легкомысленного и пренебрежктельного отношения к старому культурному наследству, а равно и к специалистам художественного слова. Равным образом заслуживает осуждения позиция, недооценивающая самую важность борьбы за идейную гегемонию пролетарских писателей. Против капитулянства, с одной стороны, и против комчванства, с другой, — таков должен быть лозунг партии. Партия должна также бороться против попыток чисто оранжерейной «пролетарской» литературы; широкий охват явлений во всей их сложности; не замыкаться в рамках одного завода; быть литературой не цеха, а борющегося великого класса, ведущего за собой миллионы крестьян, — таковы должны быть рамки содержания пролетарской литературы.

12. Вышесказанным в общем и целом определяются задачи *критики*, являющейся одним из главных воспитательных орудий в руках партии. Ни на минуту, не сдавая позиций коммунизма, не отступая ни на иоту от пролетарской идеологии, вскрывая об'ективный классовый смысл различных литературных произведений, коммунистическая критика должна беспощадно бороться против контр-революционных проявлений в лиетературе, раскрывать сменовеховский либерализм и т.д., и в то же время обнаруживать величайший такт, осторожность, терпимость по отношению ко всем тем литературным прослойкам, которые могут пойти с пролетариатом и пойдут с ним. Коммунистическая критика должна изгнать из своего обихода тон литературной команды. Только тогда она, эта критика, будет иметь глубокое воспитательное значение, когда она будет опираться на свое *идейное* превосходство. Марксистская критика должна решительно изгонять из своей среды всякое претенциозное, полуграмотное и самодовольное комчванство. Марскистская критика должна поставить перед собой лозунг—учиться, и должна давать отпор всякой макулатуре и отсебятине в своей собственной среде.

13. Распознавая безошибочно общественно-классовое содержание литературных течений, партия в целом отнюдь не может связать себя приверженностью к какому-либо направлению *в области литературной формы*. Руководя литературой в целом, партия так же мало может поддерживать какую-либо *одну* фракцию литературы (классифицируя эти фракции по различению взглядов на форму и стиль), как мало она может решать резолюциями вопросы о форме семьи, хотя в общем она, несомненно, руково-

дит и должна руководить строительством нового быта. Все заставляет предполагать, что стиль соответствующий эпохе, будет создан, но он будет создан другими методами, и решение этого вопроса еще не наметилось. Всякие попытки связать партию в этом направлении в данную фазу культурного развития страны должны быть отвергнуты.

14. Поэтому партия должна высказываться за свободное соревнование различных группировок и течений в данной области. Всякое иное решенье вопроса было бы казенно-бюрократическим псевдо-решением. Точно так же недопустима декретом или партийным постановлением *легализованная монополия* на литературные организации. Поддерживая материально и морально пролетарскую и пролетарско-крестьянскую литературу, помогая попутчикам и т.д., партия не может предоставить монополии какой либо из групп, даже самой пролетарской по своему идейному содержанию: это значило бы загубить пролетарскую литературу прежде всего.

15. Партия должна всемерно искоренять попытки самодельного и некомпетентного административного вмешательства в литературные дела; партия должна озаботиться тщательным подбором лиц в тех учреждениях, которые ведают делами печати, чтобы обеспечить действительно правильное, полезное и тактичное руководство нашей литературой.

16. Партия должна указать всем работникам художественной литературы на необходимость правильного разграничения функций между критиками и писателями-художниками. Для последних необходимо перенести центр тяжести своей работы в литературную продукцию в собственном смысле этого слова, используя при этом гигантский материал современности. Необходимо обратить усиленное внимание и на развитие национальной литературы в многочисленных республиках и областях нашего Союза.

Партия должна подчеркнуть необходимость создания художественной литературы, рассчитанной на действительно массового читателя, рабочего и крестьянского; нужно смелее и решительнее порывать с предрассудками барства в литературе и, используя все технические достижения старого мастерства, вырабатывать соответствующую форму, понятную *миллионам*.

Только тогда советская литература и ее будущий пролетарский авангард смогут выполнить свою культурно-историческую миссию, когда они разрешат эту великую задачу.

ПРАВЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ

Всероссийский Союз Писателей считает, что тезисы ЦК РКП о литературе появились весьма своевременно. Правильное их проведение в жизнь, несомненно, поможет нашей молодой советской литературе нормально развиваться. Не устраняя возможности здорового литературного соревнования и борьбы за качество, тезисы ЦК ограничивают увлечения отдельных кружков, пытающихся взять командный тон.

Всероссийский Союз Писателей считает также, что тезисы ЦК РКП помогут скорейшому приобретению молодыми пролетарскими писателями необходимого литературного опыта: нормальная литературная атмосфера даст возможность широкого развития студийных кружков, даст возможность крупным литературным об'единениям и Всероссийскому Союзу Писателей привлечь значительные группы молодежи, в которой живо естественное желание учиться писать и приобретать нужные им знания и навыки.

Всероссийский Союз Писателей

наконец, приветствует тезисы ЦК РКП еще и потому, что здоровая атмосфера, установлению которой в литературе они будут чрезвычайно способствовать, даст возможность внимательно отнестись к быту писателя, как известно, весьма трудному, и принять меры к его улучшению.

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Програма политики партии в области художественной литературы представляется мне и гибкой, и гуманной; в рамках ее (при условии проведения программы в жизнь) возможны и нормальный рост, и безболезненное развитие нашей художественной литературы; программа прекрасно предусматривает и разрешает ряд ненормальностей, возможных в наше переходное время.

Мне приходится ограничиться этим общим впечатлением от программы, потому что попытка вникнуть в детали ее ставит передо мною некоторые неясности, както: в определении главных литературных групп указаны три группы (группы рабочих, крестьянских писателей и так называемая группа попутчиков); ими далеко не исчерпываются группировки, возможные в Совестской Росии: термин *«попутчика»* не применим ко мне, пока под *«попутчиком»* мыслится писатель, существующий *«при»* революции, или *«при»*-соединившийся к ней; мне, принимавшему социальную революцию (и тем самым принявшему Октябрьскую революцию в момент революции), место не *«при»* революции, а в самой ней; поэтому-то и к группе *«по»*—путчиков я не могу себя причислить; вместе с тем я — не партиец, не рабочий и не крестьянский писатель. Неясно усваивая себе номенклатуру литературных групп, я ограничиваюсь общим выражением своего полного удовлетворения тенденциями литературной программы.

А. ВЕРЕСАЕВ

Дебаты, так сильно волновавшие определенные литературные круги в течение двух последних лет, кипели вокруг вопросов: может ли небольшая группа малодаровитых писателей претендовать на диктаторские полномочия в области русской литературы? Следует ли нас, так называемых «попутчиков», бить по шее? Должна ли быть литературная критика просто критикой или грозным запросом в соответствующие инстанции? ЦК ответил: никакой диктатуры; по шее нас бить не следует; критика должна быть критикой. Очень приятно! Но если все дело только этим ограничится, если из тезисов резолюции не будет сделано соответствующих практических выводов, то болезнь, так глубоко раз'едающая современную русскую художественную литературу, останется не только не излеченной, но даже не облегченной.

Эта основная болезнь — отсутствие у современного писателя *художественной честности*. Взывается эта болезнь совершенно невозможными требованиями, пред'являемыми писателю инстанциями, от которых зависит напечатание его вещей. Цензор говорит романисту: «Этого несимпатичного коммуниста сделайте —безпартiйным; в душу этой безпартийной героини внесите побольше разложения; этого симпатичного коммуниста сделайте поумнее, — тогда я ваш роман пропущу». Все время цензора твердят писателям: «Почему вы не компенсируете темных явлений светлыми?» И вот читаешь вещь: яркая, сильная, правдивая, и в ней серым, фальшивым пятном — какой-нибудь современный

Стародум или Правдин. Спрашиваешь автора: « А это — *для компенсации?*» — «Что поделаешь! Иначе не пропускают!» Поэт приносит редактору задушевное, глубоко-оригинальное, *свое* стихотворение. — «Нужно, товарищ, писать на актуальные темы. Посмотрите , например, на героическую борьбу китайского пролетариата, — какая благодарная тема!»

Общий стон стоит почти по всему фронту современной русской литературы: «Мы не можем быть самими собою, нашу художественную совесть все время насилуют, наше творчество все больше становится двух'этажным; одно мы пишем для себя, другое — для печати».

В этом — огромнейшая беда литературы, и она может стать непоправимой: такое систематическое насилование художественное совести даром для писателя не проходит. Такое систематическое равненіе писателей под один ранжир не проходит даром для литературы.

Что же говорить о художниках, идеологически чуждых правящей партии! Несмотря на эту чуждость, нормально ли, чтоб они молчали? А молчат такие крупные художники слова, как Ф. Сологуб, Макс. Волошин, А. Ахматова. Жутко сказать, но если бы сейчас у нас явился Достоевский, такой чуждый современным устремлениям и в то же время такой необходимый в своей испепеляющей огненности, то и ему пришлось бы складывать в свой письменный стол одну за другою рукописи своих романов с запретительным штемпелем Главлита.

Будем надеяться, что 15-й параграф резолюции будет широко и решительно проведен в жизнь и что, если уж необходимо «руководство» нашей литературой, то оно станет, по крайней мере, «правильным, полезным и тактичным».

АНДРЕЙ СОБОЛЬ

Опека и художественное творчество — вещи несовместимые.

Гувернеры нужны детям, но гувернеры при писателях — это более, чем грустно.

До последнего времени, к сожалению, такая группа «гувернеров»» при литературе существовала, — гувернеры ярко-красного защитного цвета. И в то время, как наша литература переставала быть аполитичной в естестве своем, созвучном эпохе, и органически сливалась с нею для полнозвучной жизни, — гувернеры пред'являли к известной части писателей-художников такие требования, какие ни с какой стороны не были в кругу творческих художественных задач и являлись порождением кружковых толкований, чисто-головных умозаключений не по разуму

По гувернерам литература требовалась учительская, тенденциозная. Гувернеры не могли понять и неспособны были понять, что такая литература жить не может, что век ее не дальше одного «политического» дня. Литература подлинная, не суррогат ее, живет не одним только сегодняшним днем, по сегодняшеей школьной программе, а ловит и отражает великую смену дней, обобщенную не узкой *тенденцией* данной минуты, а универсальной *идеей*, мирового сдвига. Много говорилось и немало писалось о том, что писатель обязан слушать революцию. Но гувернеры и эту прекрасную мысль изуродовали: слушай *так*, как указует наш направляющий перст только *так* слушай, как мы считаем нужным, и отзвук рождай такой, *какой* нам приятен. Но это значило: созвучие, возникающее вольно, обратить в «чего изволите», художественную литературу — в отделение професионально - подсобного цеха, а художника — в лучшем случае — в проф-агитагора, в худшем — в барабанщика, но — увы! — не в такого барабанщика, о каком

говорил Гейне («Бери барабан и не бойся, целуй маркитантку смелей»), ибо гувернеры даже и насчет «маркитанток» имели свои сугубо-теоретические выкладки с соответствующим киванием на Петра.

И мудрено ли, что такое гувернерство, такая критика, основанная на опеке, нередко удерживала занесенную мотыгу, и писательская рука вяло опускалась, вяло ковыряла как раз в ту минуту, когда вот-вот она могла поднять новый пласт с новыми залежами.

Резолюция ЦК является довольно серьезным ударом по «гувернерству», и знаменитому «указующему персту» дано по рукам, писательские круги должны встретить эту резолюцию с известным облегчением, но есть в ней довольно серьезная неувязка: вместе с окриком на «гувернеров» все же остался взгляд на некоторую часть писателей, как на довольно милых порой, но слегка дефективных детей.

И тем самым один вывод резолюции сильно ослабляется другим.

Мне кажется, что русские писатели, писатели Советской России, давно выросли из штанишек, — они доказали это хотя бы тем, что после всех лет тяжести и развала не только сохранили литературу, не только с достоинством сберегли ее, но и сумели поднять ее на большую высоту, полноправно и достойно участвуя в общем строительстве страны.

ЛЕОНИД ЛЕОНОВ

Тучи весьма мрачного свойства, грозившие весьма чреватыми последствиями молодой нашей литературе, рассеяны, будем надеяться, навсегда. Политика наскока и полуадминистративного нажима в литературе, а порой и просто подсиживания, осуждена партией так же, как и бесшабашная кружковская распря, истощавшая попусту наши общие силы.

Наши силы — от революции, равно как и опыт наш от революции. Расходовать их на склоку и сопротивление «наскокам» — преступление против тех, кто в поте сурового труда, с терпеливым вниманием, ждет писательского слова.

Мы, молодые, литературно родились после семнадцатого года. Мы тоже несли бремя гражданской обороны, но мы не присваиваем себе монополии бряцать боевыми шпорами и не чванимся выполненным долгом. Быть может любовь наша к мужику и рабочему и различна, но ведь нос Петра не обязан походить на нос Ивана, хотя оба они в равной степени носы.

Нет сомнения, что резолюцию ЦК о художественной литературе встретит с чувством большого облегчения каждый честный, разумный работник нашей печати.

ИВАН НОВИКОВ

Резолюция ЦК РКП (б) «О политике партии в области художественной литературы» правильно указывает на своеобразие и сложность вопросов искусства и в частности литературы. Также правильно различает она художественное творчество, как таковое, с одной стороны, и специальные задания литературной критики — с другой.

Но во всем этом документе по существу мне, как писателю-художнику, чуждо одно понятие: понятие рукодовства (или, лучше бы сказать, руководительство) в области литературы. И это не потому, чтобы я защищал полумифическое «чистое искусство»: каждое сколько-нибудь значительное литературное творчество имеет, вне всякого сомнения,

свое внутреннее «что», за которое писатель и отвечает полностью. Но каждое литературное произведение только тогда живет полною жизнью, когда оно родилось органически, без предумышленно и чисто-рассудочно взятого тенденциозного курса.

Каждый настоящий художник знает, как требовательны и своевольны бывают подчас его герои, если они родятся воистину живыми, как они протестуют против всякого причесывания их и выравнивания, как начинают говорить и поступать — к огорчению и радости автора одновременно — вопреки задуманной схеме: совсем как жизнь, которая сама по себе, — мудрее мудрых. Таким образом даже сам автор, слушаясь в себе художника, годится для роли «руководителя» лишь с большой оговоркой. И бояться здесь нечего, ибо это значило бы бояться живой жизни.

Дело писателя — быть художественно верным себе и правдивым до конца: это единственный путь для создания истинно ценных вещей. И только тогда, в живом соревновании именно разнообразных подходов, образов и воплощений, возникает тот здоровый и свежий воздух, без коего настоящий расцвет литературы немыслим. Всякая попытка к «руководству», всякий уход (и, быть может, в особенности «благожелательный») способны создать только тепличную, парниковую и, следовательно, внутренне слабую культуру. Известное преодоление препятствий, строгий ответ перед художественно-требовательным судом только полезны, ибо закаляют и изощряют перо. Если мы хотим иметь крепкую и художественно богатую литературу, нужно только одно: не мешать ей крепнуть и органически наливаться художественными соками. В некотором своеволии художества, органически ему присущем, как раз и таится внутреннее его очарование, без этого оно перестает быть тем вольным цветением жизни, каково оно и есть по самому своему существу.

Не знаю, как со стороны, но изнутри писательской нашей республики мне отчетливо видно, сколько худосочных, никчемных, фальшивых вещей пускается в оборот ради того, чтобы равняться по какому-либо заданию, выполнить ту или иную «целевую установку». За драгоценные камни при этом выдаются обыкновенные голыши, грубо раскрашенные. Кому и на что этот мусор? История — женщина строгая и она его свалит, конечно, в помойку. И совсем другое дело, когда нечто новое родилось органически из новых глубин: это настоящая и подлинная художественная радость и настоящая общественная ценность.

Как же быть, однако, со всей этой буйной ордою художников, если их выпустить на вольную волю? Как обществу быть с теми опасностями, которые отсюда могут возникнуть?

На это есть в резолюции разумный ответ: это дело критики, «когда она будет опираться на *идейное* превосходство», и в силу этого «будет иметь глубокое воспитательное значение» (§12.). Ведь и самые недостатки и недочеты вещи могут оказаться не менее показательными, чем ее достоинства. Этим можно бы и ограничиться, в особенности если принять еще во внимание тот здоровый художественный вкус и крепкое общественное восприятие самих широких читательских масс, на которые спокойно можно положиться.

Итак, для писателя — все дело в том, чтобы не фальшивить и не лукавить перед собою, ибо только до конца правдивые вещи — единственно только они и художественно весомы, и общественно значительны; в этом писателю не надо мешать, ибо здесь и самые благие побуждения руководительства именно только мешают. Другое дело — уже законченное художественное произведение, оно становится уже общественным достоянием и на него полностью получают права и чита-

тельский суд, и суд компетентной критики; к голосу этого суда и автор прислушивается, в свою очередь, в полной мере.

Г. ЛЕЛЕВИЧ

Наконец-то партия сказала свое решающее слово о политике в области художественной литературы. И это слово оказалось таким, каким его ожидали все искренние друзья пролетарской литературы, все товарищи, поленински, по марксистски подходящие к проблемам строительства литературы. Отвергнут и осужден литературный «троцкизм» не только «недооценивающий самой важности борьбы за идейную гегемонию пролетарских писателей», но отрицавший даже возможность существования последних. Четко провозглашено, что партия должна помочь пролетарской литературе заработать себе историческое право на гегемонию, Взамен огульного отношения к «попутчикам», как к основному ядру современной литературы, установлено диференцированное, чуткое и гибкое к ним отношение. Наконец, сделано предупреждение комчванским и цеховым элементам в пролетарской литературе (журнал «С станка», А. Соколов и т.д.). Это предупреждение со стороны партии значительно облегчает организованному большинству пролетлитературы ту борьбу, которую оно вело и ведет с этими элементами. Борьба за партийную линию в литературе окончена. Теперь основная задача — наиболее последовательно провести эту линию в жизнь, ликвидировать неизбежные попытки «капитулянтов» извратить эту линию. В полной реализации резолюции ЦК — залог невиданного творческого литературного расцета.

ВИКТОР ШКЛОВСКИЙ

1924 и 1925 годы были временем понижения квалификации в русской литературе.

В беллетристике и в критике стали писать невнимательней, хуже.

Отчасти это об'ясняется спором о литературной политике. Этот спор, создав группы «напостовцев» и «попутчиков», сбил границы литературных группировок. Исчезло литературное общественное мнение.

Как крапива, росла хрестоматия. От литературы ждали короткого ответа, как от солдата в строю.

Сегодня напостовцы демобилизованы и могут начать писать. Попутчики вернутся из полетов. О них можно будет писать не как о больных. Для нас, формалистов, резолюция ЦК означает возможность работать, развивать и изменять свой метод не потому, что на нас кричат со всех сторон, а потому, что это может понадобиться в процессе исследования.

Для меня это значит — возможность работать по специальности.

А. БЕЗЫМЕНСКИЙ

Резолюция ЦК РКП — факт безусловно исторический. Утверждая принцип гегемонии пролетарской литературы, резолюция дает основную линию в области художественной литературы. Вместе с тем она естественно замыкает период часто ожесточенной полемики групп, кладя начало периоду углубленной творческой работы. Но, конечно, она не прекращает «отсеивание антипролетарских и антиреволюционных элементов». Наоборот, она это ярко подчеркивает, осуждая «капитулянство, недооценивают-

щее самую важность борьбы за идейную гегемонию пролетарских писателей».

Резолюция ЦК дает платформу об'единения пролетарской и всей подлинно революционной литературы. Начало такому об'единению и положила В.А.П.П. созданием, вместе с рядом групп, Федерации Советских Писателей.

Резолюция ЦК дает мощный толчок развитию литературы. Не знаю, как иные, а уж пролетарские писатели не подгадят.

Их литературные «факты» превратят принцип идейной гегемонии в факт окончательный.

Б. ПАСТЕРНАК

Я попрошу вас не искать в моих словах ни эзоповских нот, ни передовой гражданственности, ни отсталости, ничего, словом, кроме только того, что вручается вам без поисков и дается мне сейчас не без досады. Иногда мне кажется, что чаяньями можно заменить факты, и что слова, будучи сказаны связно, обязательно отвечают положению вещей. В одну из таких минут — это было летом — я прочел в газете резолюцию о литературе, и она произвела на меня сильнейшее впечатление. О нем особо. Именно, если б не ваши напоминанья об отклике, я б так и сложил в сердце этот глубокий патетический мотив, проглядев его частности. Их я стал замечать только благодаря вам, вы заставили меня не раз прочесть резолюцию и в нее вникнуть. Тогда же мной овладели признанья: 1)«Мы вступили таким образом в полосу культурной революции, составляющей предпосылку дальнейшего движения к коммунистическому обществу. 2) Однако было бы совершенно неправильно упускать из виду основной факт завоеванья власти рабочим классом, наличие пролетарской диктатуры в стране. 3)Все заставляет предполагать, что стиль, соответствующий эпохе, будет создан».

Меня обдало воздухом истории, которым хотят дышать эти утвержденья, дышать хочется и мне, и естественно, меня потянуло дышать вместе с ними. Тогда в сплошных приблизительностях мне вообразились формы, глубоко не сходные с настоящими, и в горячих парах дали и досягаемости мне представилось нечто подобное тому, чем были для своего времени баррикадно-уличный стиль Блока и сверхчеловечески-коллективный — Маяковского. За прорицаньями мне послышался разговор о том, как истории быть вполне историей и мне — вполне человеком в ней. Резолюция помогла мне отвлечься от множества явлений, становящихся ненавистными в тот момент, как ими начинают любоваться. Я забыл о своем племени, о мессианизме России, о мужике, о почетности моего призванья, о многочисленности писателей, об их лицемерной простоте, да и можно ли все это перечислить. Но вот вы не поверите, а в этом вся суть, мне показалось, что и резолюция об этом забыла, и знает, как все это надо ненавидеть для того, чтобы любить одно, достойное любви, чтобы любить историю. Теперь, когда с вашей легкой руки я лишился всех иллюзий, мне уяснился и источник моего самообмана. Мне подумалось, что резолюция идеализует рабочего так, как мне бы того хотелось, то-есть с тою смелостью, широтой и великодушьем, без которых невозможен никакой энтузиастический разгон в эпоху, понимаемую полно, то есть так, как ее позволяют понимать приведенные выдержки. От такой идеализации резолюция воздерживается не по особенностям миросозерцания, а оттого, что, имея много забот и привязанностей, она не может возвысить до исторического уровня что-нибудь одно. По той же причине падают цитированные утвержденья, и я позволю себе дерзость усомниться в них по по-

рядку. Культурной революции мы не переживаем, мне кажется, мы переживаем культурную реакцию. Наличия пролетарской диктатуры недостаточно, чтобы сказаться в культуре. Для этого требуется реальное, пластическое господство, которое говорило бы мною без моего ведома и воли и даже ей наперекор. Этого я не чувствую. Что этого нет и об'ективно, явствует из того, что резолюции приходится звать меня к разрешенью тем, ею намеченных, пускай и более добровольному, чем это делалось раньше. Наконец, среди противоречий эпохи, примиряемых по средней статистической, ничто не заставляет предполагать, чтобы стиль, ей соответствующий, был создан. Или, если угодно, следовало сказать так: он уже найден, и, как средняя статистическая, он призрачного и нулевого достоинства. В главных чертах он представляет собой сочетанье сменовеховства и народничества. С этим можно от души поздравить. Стиль революционный, а главное — новый. Как он получился? Очень просто. Из нереволюционных форм допущена самая посредственная, таковая же и из революционных. Иначе и быть не могло, такова логика больших чисел. Вместо обобщений об эпохе, которые предоставлялось бы делать потомству, мы самой эпохе вменили в обязанность жить в виде воплощенного обобщенья. Все мои мысли становятся второстепенными перед одной, первостепенной: допустим ли я или недопустим? Достаточно ли я бескачественен, чтобы походить на графику и радоваться составу золотой середины? Правило авторства на нынешний стиль недавно принадлежало цензору. Теперь он его разделил с современным издателем. Философия тиража сотрудничает с философией допустимости. Они охватили весь горизонт. Мне нечего делать. Стиль эпохи уже создан. Вот мой отклик.

Однако еще вот что. Резолюция недаром меня так взволновала. Ее перспективы близки мне по другой причине. Я был возбужден и до нее. В последнее время, наперекор всему, я стал работать, и во мне начали оживать убежденья, казалось бы, давно похороненные. Я думаю, что труд умнее и благороднее человека, и что художнику неоткуда ждать добра, кроме как от своего воображенья. Если бы я думал иначе, я бы сказал, что надо упразднить цензуру. Главное же — я убежден, что искусство должно быть крайностью эпохи, а не ее равнодействующей, что связывать его с эпохой должны собственный возраст искусства и его крепость, и только в таком случае, оно впоследствии в состоянии *напомнить* эпоху, давая возможность историку предполагать, что оно ее отражало. Вот источник моего оптимизма. Если бы я думал иначе, вам не зачем было бы обращаться ко мне.

Б. ПИЛЬНЯК

Последние два года меня научили, что никакие резолюции никогда не укладывали в себя жизнь и не очень руководили жизнью; поэтому эти несколько строчек я хочу закончить словами уже не о резолюции.

Резолюция написана, как явствует из ее прямого смысла, не для писателей, а для руководителей литературы; поэтому мы, писатели, должны ее только принять к сведению. Резолюция ставит на места те три сосны, в которых блуждала литература последние два года. Нам, писателям, так будет удобнее; я думаю, всем писателям, живущим и работающим сейчас в России, совершенно ясна та сосна, что наш писательский путь связан с Октябрьской Россией; эта сосна поставлена на место; на месте и та сосна, что «партия должна высказаться за свободное соревнование различных группировок и течений в данной области», что «нет... определенных ответов на все

просы относительно художе- венной формы», — партия отка- вается дать приоритет той или угой художественной школе: о то, что каждый писатель ает так же, как свой почерк в этом абзаце в резолюции ть противоречие; резолюция канчивается словами: «партия лжна подчеркнуть необходи- ость создания художественной итературы, рассчитанной на дей- вительно массового читателя», - я не спорю, что такая литера- ра, литература Пушкина и олстого, нужна, но знаю, что о есть уже суждение о художе- венных *формах*, суждение, от оторого резолюция отказывает- я). Все это мы примем к сведе- ию и будем ждать, как это вопло- тся в жизнь.

Но эти строки я хочу закон- ить следующим. Все лето меня е было в Москве и все лето я е был писателем, не встречая исателей и не думая о наших орах и толках. Я приехал в оскву и почуял, что писатели ышат новым воздухом: *хорошим* оздухом. Писатели не хотят ызться и говорят о новых руко- исях, — и писатели сидят по елям за рукописями, работают. Потом у меня на столе за лето акопилась гора рукописей, прис- анных из провинции, из Ардато-ва, из Воронежа; я читаю их, и вижу, что провинция начала хорошо писать, что из провинции идут новые большие силы, напр., Пузанов из Воронежа.

Все это, — и то, что пишет провинция, и то, что делают пи- сатели в Москве, — одно к од- ному: в воздухе российской дей- ствительности появилась новая *тема*, мы сошли с какой-то мерт- вой точки. Россия зазвучала писателю, дала темы. Я еще не учуял, в чем дело, но я знаю, мое чутье мне подсказывает, что этот год будет *урожайный*, при- чем молодежь несет новые темы. Я вообще знаю, что склоки (о трех соснах), бывшие в литера- туре последние два года, были не потому, что мы не могли (по кры- ловской басне) рассесться, а по- тому, что было *бестемье*, эпоха была бездарна для писателя: *это проходит*. И это — самое важное!

В резолюции ничего не гово- рится о материальном и правовом положении писателей, о пресло- вутой «свободной профессии» (в честь которой с писателей берут патенты и по пяти рублей с кв. сажени — домкомы), о скверных гонорарах, никак не соразмерных с писательской продукцией, — о нашей неурядице с Главлитом. Будут эти вопросы вырешаться?

А. ТОЛСТОЙ

Я не люблю говорить про скусство. Мне всегда приходит а ум, что о храбрости больше сего говорят трусы, а про лагородство — прохвосты. Про етоды искусства нельзя го- орить потому, что создание аждого нового произведения и сть метод. Здесь все в движе- ии, все неповторяемо. Важны ве вещи: общая линия устре- ления и неуставаемое совер- шенствование.

Общая линия устремления ытекает из самой сущности скусства. Художник запе- чатлевает поток жизни, неумо- имо исчезающий во времени. Запечатление — основа куль-туры, как память — основа разума.

Поток жизни складывается из множества явлений. Худож- ник должен обобщить их и оживотворить. В этом отличие искусства от фотографии. В момент творчества процессы обобщения и оживотворения происходят одновременно, но это строго различные процессы.

Художник впитывает в себя явления, — сквозь глаза, уши, кожу вливается в него окру- жающая жизнь и оставляет в нем след, как птица, пробежав- шая по песку. Чем шире раскры- ты чувства, чем меньше задер- живающих моментов (например,

предвзятой идеи), тем полнее восприятие и глубже обобщение. Здесь в особенности важна общая линия устремления, — угол зрения, — воля к наблюдению, опыт. Процесс обобщения, то-есть суммирования наблюденных явлений, происходит в подавляющем большинстве бессознательно. Это как бы подготовка перед моментом творчества. Это наиболее трудная и важная часть в общей работе художника. Здесь он растворен в потоке жизни, в коллективе, он — соучастник.

Когда наступает самый момент творчества, следы пережитых явлений кристаллизуются, как соль в тарелке. Процесс творчества происходит под могучим и стремительным действием силы, близкой к половой энергии. Вернее, это — трансформированная половая энергия. К ней близки все творческие эмоции: мечтательность, одержимость, волевое устремление, жажда прикосновения, радость обладания, счастье сотворения. Это процесс глубоко личный, индивидуальный, своевольный. Но он составляет лишь часть общего процесса (наблюдения, собирания, переживания, обобщения), — всей затраты энергии, нужной для создания художественной ценности.

Понятно, что, когда в XIX веке победоносная буржуазия пред'явила права собственности на личность, художественное творчество стало характеризоваться именно этим индивидуальным процессом. Степень индивидуальности казалась мерилом искусства. Гипертрофия личности привела к эстетизму Гюисманса, Роденбаха и Уайльда и кончилась заумным языком.

На самом деле участие личности в создании художественной ценности не так велико, как это принято было думать. Дело будущего — оценить с научной точностью это участие. Но пока можно сказать, что в первом из названных мною процессов, то-есть в наблюдении и суммировании явлений, индивидуаль-

ность, утвержденная личност
скорее тормозит, чем помогае
Так, наиболее яркие и худо
жественные восприятия бываю
в детстве, когда личность ещ
не утверждена и ребенок вес
еще растворен среди явлени
жизни. Так, ко времени бо
лезненной гипертрофии лич
ности в искусстве (начало Х
века) относится всеобщее и
мельчание искусства.

В отдалении истории лич
ность художника исчезае
остается эпоха, включенная
как в кристалле, в его произв
дении. Художник становитс
неотделим от его эпохи.

Современным художникам
пред'явлено огромное требова
ние — создать пролетарску
литературу, или, иными слова
ми, включить в кристаллы ис
кусства поток современност
Искусство массам — это обща
формула того, что неминуем
должно произойти. Поток жизн
ворвался в предверие новог
мира. Буржуазная цивилизаци
гибнет, как Атлантида.

Но идея всегда опережает ис
полнение. За восемь лет рево
люции еще не создано проле
тарского искусства. По этом
поводу много было изломан
перьев и много сказано ки
жальных слов. Художнико
обвиняли в тайных пристра
стиях к буржуазности, в не
желании понимать, что револю
ция совершилась и возврата не
Был поднят вопрос о личност
в искусстве, — одни обруши
вались на личность даже там
где ее участие необходимо, дру
гие защищали ее права н
утверждение даже там, гд
она вредит делу. Одно врем
можно было опасаться, чт
восторжествует формула: «Есл
зайца бить, он сможет спичк
зажигать». Это междоусоби
окончилось резолюцией Ц. К.

Как безусловно и неумолим
человечество пройдет чере
революцию пролетариата, та
литература неотвратимо буде
приближаться к массам. Н
это процесс долгий и сложный
Здесь весь секрет в том худо

кественном процессе, который назвал первым, — в наблюдении и обобщении. Здесь зайцу битьем не поможешь. Художник должен стать органическим соучастником новой жизни.

На нас, русских писателей, падает особая ответственность. Мы — первые.

Как Колумбы на утлых каравеллах, мы устремляемся по неизведанному морю к новой земле.

За нами пойдут океанские корабли.

Из пролетариата выйдут великие художники.

Но путь будет проложен нами.

БИБЛИОГРАФИЯ

«Современныя Записки»
(I—XXVI. Парижъ 1920—1925 гг.)

«Воля России»
(1922, 1925, 1926 гг. № I—II. Прага)

Уничтоженный Революцией, русский толстый журнал, едв кончилась гражданская война, возродился в эмиграции. Первы номер «Современных Записок» вышел через несколько дне после оставления Крыма армией Врангеля. Вскоре возобнс вилась и «Русская Мысль». Неслучайно (хотя на это были случайные причины), что из двух журналов выжил тот, котс рый связан не с новой предреволюционной, марксистско-импе риалистской, а со старой, народнической и социалистической традицией русской интеллигенции.

В самом имени «Современных Записок» — воспоминани о Некрасове, о Чернышевском, о Михайловском — «Современник — «Отечественные Записки». Это магистраль интеллигентско культуры, как партия с.-р. микрокосм интеллигенции, равнс действующая ее направлений. Неслучайно поэтому что посл крушения интеллигенции, — произошедшего всего через восем. месяцев после крушения породившей ее Петербургской монархии — главное из того что от нее уцелело, оказалось на эсерско плоту. Неслучайно, что эсэрам пришлось играть роль культурны консерваторов. Роль эта у них приняла по необходимости свое образные формы: они консерваторы неосуществленных идеалов консерваторы того, что само никогда не имело вещественнаг бытия, консерваторы революционного порыва, вдруг застыв шего *движения*. С ними осуществилось то, что только в умозрени видел Зенон Элейский. Они—Зенонова стрѣла недвижная в полете

Qui vibre, vole et qui ne vole pas.

Трагическое и роковое противоречие. Сохранить ли *содержа ние* движения, или *принцип* движения? — вот задача, которук

должны были разрешить эсэры. — «Правые» эсэры предпочли консервировать то, что было движимо движением в отныне недвижной форме.

«Современные Записки», орган правых эсэров — орган русского либерального консерватизма (ясно, что«Вишняк» а не «Струве», имеет право на это имя): содержание либерализм (а.конечно не социализм, который сохраняется только как почтенное имя), — волевая форма — консервативна.

Так в «политике». В литературе позиция «Современных Записок» чистая, почти беспримесная установка на прошлое. Такая установка возможна, и — sub specie saeculorum — законна. Инерция вчерашнего дня всегда велика, и иногда лучший цвет литературного движения расцветает после смерти движения. «Звук еще звенит, хотя причина звука исчезла». Литературно, —«Современные Записки»—инерция предреволюционной России.

Заслуги «Современных Записок» перед русской литературой, конечно, велики. Как добрые консерваторы, они сохранили и передают потомству все то, чего писатели не успели написать до Революции. От того что не успели не следует, что уж не стоило дописывать потом — лучше поздно чем никогда, и не во время дописанная вещь, если она действительна велика, теряя от несвоевременности появления для современников, ничего не теряет для будущего. Будущее и будет судить, дали ли «Современные Записки» такие сверхвременные создания.

Обозревая содержание журнала за пять лет, надо различать между основным ядром его и периферией. Периферия—случайные, не связанные с существом («душой») журнала гости — Андрей Белый, Ремизов, Шестов, Марина Цветаева. Ядро это собственно « зарубежная » литература — Мережковские, Бунин, Алданов, Ходасевич, Зайцев, — все разные грани либерального консерватизма. Близки, к ядру «персонально», но не по существу, Бальмонт и Степпун. Бальмонт так же мало по существу консервативен, как птица небесная, или ребенок. Его консерватизм (с такой трогательной наивностью выраженный в статье о «Русском Языке») обида ребенка на то, что чужие, злые люди разорили мир его мечтаний. Степпун, наоборот, гораздо сложней, гораздо более змий (по мудрости), чем остальные сотрудники «Современных Записок». В его, на вид столь большой, искренности есть отрешенность и «олимпийская» безответственность стороннего наблюдателя, который все видит, все понимает, все скажет, но никогда ничего

не сделает. Он духовно сродни Вячеславу Иванову («Люблю я пышное природы увяданье») и в великолепном богатстве его почти барочной мысли есть тонкое дыхание тлена.

Литературное ядро «Современных Записок» разнообразно; и об'единено признаком скорее отрицательными: ненавистью, более или менее брезгливой ко всему новому. Различны же они во всем: от ясного и ровного, хотя и неяркого, дневного света Алданова, до истерического хаоса Мережковского; от изощреннейшей культуры Зинаиды Гиппиус, до принципиальной (и природной) уездности Бунина; от чрезмерной ссохнутости и морщинистости Ходасевича, до воздушной (воздушный пирог, и такой же розовый) пухлости Зайцева, — все оттенки.

По «культурному возрасту» (геологический возраст) тоже большое разнообразие: Бунин, Зайцев, Алданов — еще до-символистская культура, Мережковский — первые «бездны» и первые «тайны» девяностых годов. Гиппиус и Ходасевич — Достоевщина, прошедшая через реторты всех ранне-символистских софистик. По значительности своей они тоже не равномерны: Мережковский если когда нибудь и существовал (не как личность, конечно, а как жолоб, по которому переливались порой большие культурные ценности) перестал существовать, по крайней мере, двадцать два года тому назад. Зайцев был когда-то близок к тому, чтобы засуществовать, но не осуществился: не нашлось той силы, которая могла бы сжать до плотности бытия его расплывчатую газообразность. Многим выше этих двух — Алданов, редкий у нас пример писателя более умного чем творчески сильного, с настоящим, не творческим, и не очень широким, но подлинно историческим зрением; Ходасевич, маленький Баратынский из Подполья, любимый поэт всех тех, кто не любит поэзии; и особенно две подлинно большие (очень по разному) фигуры Зинаиды Гиппиус и Бунина. Но Зинаида Гиппиус видна во весь рост только изредка в немногих стихах. Эти немногие стихи принадлежат к самым подлинным, самым острым, самым страшным выражениям Подпольного начала в русской поэзии (настолько же сильней Ходасевича, насколько «Господа Головлевы» выше Леонида Андреева). Подлинная Зинаида Гиппиус, конечно, ни в какой мере не консервативна и не «благонамеренна». Но эта подлинная, — обернута в «семь покрывал» общественно-религиозно-философской деятельницы, призванной обосновать «курс на религиозное преображение демократии». Ни с «религией» (поскольку на «религии» можно

обосновывать какие-нибудь курсы), ни с демократией, подлинная Зинаида ничего общего конечно, не имеет. Наконец, Бунин «краса и гордость» русской эмиграции, столп Консерватизма, высоко держащий знамя Великого, Могучего, Свободного и т. д. над мерзостью советских сокращений и футуристских искажений — чистая традиция «Сна Обломова». Бунин редкое явление большого дара не связанного с большой личностью. В этом отношении Бунин сродни Гончарову, которого он, я думаю, в конце концов не ниже. Именно о третьей и четвертой части «Обломова» (единственное подлинно большое, почти гениальное у Гончарова) вспоминаешь в связи с «Суходолом».

«Суходол» очень большая вещь: никто (кроме конечно Салтыкова в «Господах Головлевых») не дал такого страшного, убедительного, гнетуще-неизбежимого эпоса о гниении и умирании уездного дворянства. Смерть, и даже не смерть, а страшное и гнусное предсмертие (facies hippocratica) целого класса никогда не вставала в более безнадежном, не величии, а ужасности.*)

В «Современных Записках» (да и нигде) Бунин не дал ничего равного «Суходолу». «Митина Любовь», самая, по мнению многих, замечательная, вещь напечатанная в «Совр. Зап.», приятна, спору нет, и в лучших местах похожа, не фотографически, и ученически (и это хорошо), на памятные страницы Толстовского «Дьявола». Но, конечно, если судить по «Митиной Любови» о зарубежном творчествѣ — росту оно небольшого. И как она бледнеет и меркнет перед подлинной жизнью «Детства Никиты». В конце концов, ядро «Совр. Зап.» не дало в романе ничего равного, напечатанному со стороны, «Преступлению Николая Летаева»; в поэзии вещам Марины Цветаевой напечатанным не в них; в философии «Гефсиманской Ночи» «гастролера» Шестова.

Несмотря на это роль их почтенна. Задачу свою, как они ее видят, редакторы исполняют честно и удачно, и имена их имеют право на соседство в русской памяти с именами почтенных либерально-консервативных редакторов прошлого — Плетнева, Стасюлевича и Гольцева.

Другая из двух душ, сожительствующих в эсэрской груди нашла себе вместилище в ее «левой» половине — в «Воле России».

*) Не случайно Пильняк (ученик Бунина в гораздо большей мере чем Белого или Ремизова) облюбовал изо всего Бунина именно «Суходол».

Левое эсэрство *) гораздо лучше (хотя тоже не в полной чистоте) сохранило волевую традицию Народной Воли (*«Воля России»*) и героического периода партии С.-Р. «Воля России», конечно, самый живой из эмигрантских журналов (и газет, и так как в С.С.С.Р. — со смерти *Лефа* живых журналов нет, вообще на русском языке). Главное его отличие от «правого» собрата-интерес к мировой жизни; отсутствие «курса на религиозное преображение», столь несовместимое с духом интеллигентской революционности; большая чуткость ко всему что делается в России; и предоставление слова инакомыслящим (вроде Пешехонова), что делает «Волю России» самым свободным журналом эмиграции (хотя в основной их линии нет и тени «соглашательства»). По замыслу «Воля России» менее литературна чем «Современные Записки», и литературного «ядра» у ней нет. Но и тут она открытее и шире своих соседей справа. Так «Воле России» принадлежит честь первого перевода на русский язык величайшего романиста новой Европы — Марселя Пруста. В первом номере за этот год она дает новую драму Роллана. («Современные Записки», издаваемые в Париже, совершенно игнорируют – такие уж Евразийцы-всю современную культуру Запада). В критическом (довольно скудном по пространству) отделе — большое и не предубежденное внимание к «Советской литературе». Внимание не всегда умеющее разобраться (общій уровень критического умения, таланта и культуры в «Воле России», конечно, гораздо ниже «Совр. Записок») но добрая воля к пониманию настоящего и будущего есть, и это главное. Художественной литературы в «Воле России» не так много, как в «Современных Записках». И нет той «среды», того воздуха, определенного литературного направления. Зато, и оттого Ремизов и Марина Цветаева тут не кажутся такими случайными как там. 1925 год особенно прошел под знаком Марины Цветаевой. «Крысолов», занявшій шесть номеров — «патент на благородство» напечатавшего его журнала перед судом Истории Литературы. Больше чем все двадцать шесть книг «Современных Записок» он доказывает что *отыскался слѣд Тарасов*, и что Россия жива не только в границах Русского мира, но и в царстве Духа, превыше всех границ.

Кн. Д. Святополк - Мирскій

*) Не «партия левых с.-р.» конечно, а левое крыло партии с.-р. Партия левых с.-р. прелюбопытное явление, но совершенно сюда не относящееся.

БЛАГОНАМѢРЕННЫЙ

Книга II Март-Апрель.

Мы давно отвыкли встречать и в толстых и в тонких журналах фамилии нам неизвестные. «Современные Записки» это музей и часто — паноптикум. В «Воле России» преобладанье политики над литературой почти непомерное. «Своими Путями» не может пока что выйти из круга своих пражских читателей. «Звено» узурпированное небольшой группой спецефическихъ поэтов, за последнее время превратился в пустой и не нужный журнал. «Благонамеренный» пока что единственный журнал, решающийся печатать произведения, неподписанные громкими именами.

В этом его первая и главная заслуга.

Во второй книжке «Благонамеренного» останавливаешься на трех именах до селе почти неизвестных: Еленев, Эфрон, Соболев.

Пражская легенда Еленева «Синагога» написана хорошим языком, — ровная, без сучка и задоринки. Но уже в этой ровности есть некоторая обреченность.

Рассказ С. Эфрона лаконичный, точный, — отточенный. Тех, кто еще болен «одноглазьем», кто по наслышке привык считать «белую» армию безупречной, тема рассказа отпугнет. Но и они должны будут признать уменье и даже мастерство, с которым этот рассказ написан. Ибо и с капитаном Рыбиным, и с господином Исааком Рабиновичем, и с госпожей Розой Рабинович мы все были знакомы и узнаем их в лицо.

И тех троих, чьи трупы были занесены сыпучим снегом, мы не забыли и будем помнить.

Повесть Д. Соболева — «Москва». Точнее: «Буянов тупик за Москва-рекой вблизи улицы святых Иоакима и Анны (прозванной »Якиманкой«) собственный дом купца первой гильдии Никиты Феоктистовича Судошкина, насупротив колониальной и мелочной торговли Петра Колосова».

Темп повести медленный и ровный (даже ровна-ай, со вторым ударением на а). Так медленно течет летом обмелевшая Москва-река. И странно — гроза и появление в дверях паралитичной Олимпиады Игнатьевны — не пугают. Действия в повести нет (и не может быть). Главное — — «Прямо в глаза ваши глядят глубокие очи Пречистой — «Утоли моя печали», — левее — Божья Матерь «Казанская», кроткая, потом Владычица «Тихвинская» темнеет, в скорби своей склонившись; направо — источенные и прекрасные выступают черты Иверского Лика, над ним высится светлый и тихий образ голубоокого Господа Нашего Иисуса Христа — «Спас благого Молчания».

На всем протяженіи вещи автор убеждает в крепости своей художественной хватки.

Теперь о писателях с большим литературным именем.

«Страды Богородицы» Ремизова поистине великолепны («великолепны» — это слово не подходит, но другого не могу найти). Читая их содрогаешься и радуешься — безконечная чистота и чистая, глубокая высота. Как в молитве — лучшие, прекраснейшие слова.

Статья М. Цветаевой «Поэт о критике» вызвала возмущения и нарекания. Ни один критик (или почитающий себя таковым) не прочтет ее равнодушно. Короткая и сжатая фраза, как удар хлыста. Направленная против всех, насильственно завладевших правом похвалы и осужденья, статья эта полезное чтение для многих, — о, очень многих.

К статье приложен «Цветник» — отрывки из статей Г. Адамовича. «Цветник» замечательный.

Читаешь его, как юмористический журнал...

Диалог о консерватизме кн. Д. Святополк-Мирского бесспорен и ясен. В другой, нормальной, не-Зарубежной (и не в СССР) атмосфере это показалось бы вламываньем в открытые двери. Но уж такова наша судьба, что наиболее ясные положения нуждаются в наибольшем количестве доводов.

В первом, особенно во втором номере «Благонамеренного», есть один крупный недостаток: очень неудачен отдел стихотворений. В последней книжке — отрывок из поэмы Д. Кнута — довольно слабый. У Кнута есть вещи лучше.

Кончая заметку о «Благонамеренном» необходимо отметить Архив В. А. Жуковского. Приведенные в архиве письма не только любопытны, но и ценны — особенно письма к М. Т. Каченовскому и наследнику цесаревичу Александру Николаевичу.

Наконец, последнее замечанье: Хороший журнал. Во всяком случае единственный молодой и литературный журнал в эмиграции.

В. Ч.

Л. Н. ТОЛСТОЙ

неизданные разсказы и пьесы.

Под редакцией С. П. Мельгунова, Т. И. Полнера и А. М. Хирьякова. С предисловием Т. И. Полнера. Издание т-ва «Н. П. Карбасниковъ» Париж 1926.

«Посмертные художественные произведения» Толстого, изданные в год после его смерти, заключали в себе только произведения его последнего периода. Настоящая книга, наоборот, включает почти исключительно вещи написанные до 1880 года. Только последние 37 (из 317) страниц заняты двумя пьесами и одним «разговором» позднейшего времени. Эти две пьесы («О пане, который обнищал» 1888 и «Петр Мытарь» 1894.) интересное дополнение к народному театру Толстого. Они построены так-же сжато, быстро, схематически, так-же «средневеково», как «Первый Винокур», но тогда как «Винокур» нравоучительный фарс, вновь опубликованные пьесы — нравоучительные жития. Ценность этих двух «мираклей», особенно первого, велика. Они яркие образцы той сухости и «чистоты», которая отличает все творчество старого Толстого.

Но центр тяжести книги лежит в произведениях более ранних. Здесь на первом месте стоит, по значению и по дате, отрывок «История вчерашнего дня» (1851) — первый опыт Толстого в художественной прозе. Значение этого отрывка для понимания природы Толстовского творчества (раннего) огромно. Это как бы «дни творения» Толстовского мира. Как бы присутствуешь при том, как выбиваются наружу и растут приемы его аналитического стиля. Это какое-то молодое, до-временное буйство анализа. Толстому надо было сделать большое усилие самоограничения, чтобы написать «Детство», столь «естественное» по сравнению со всей современной литературой, но столь литературное по сравнению с «Историей вчерашнего дня».

Из других вещей особенно интересны превосходный разсказ *Как гибнет Любовь* (1853), — где впервые разрабатывается тема чистой любви в противопоставлении грязной силѣ пола: и особенно, вполне законченная комедия *Зараженное Семейство* (1863). Толстой одно время очень хотел ее видеть на сцене, но скоро охладел к ней. Пьеса интересна в двух отношениях: во первых, как самое яркое и

крайнее проявление семейного и бытового консерватизма Толстого, непосредственно после женитьбы и накануне «Войны и Мира», — глупый и слабый, но порядочный и «симпатичный» отец семейства блистательно торжествует над «молодым поколением» новых людей, — которое все представлено дураками или негодяями. Во-вторых, комедия интересна, как первый, и уже вполне удачный, опыт Толстого в драматическом искусстве. По построению комедия несомненно лучше «Плодов просвещения». По изумительному искусству диалога и интонационной характеристике действующих лиц — она на уровне «Живого трупа» и «Света во тьме». И сами характеры, не лишенные подлинно-комедийной преувеличенности, самым явным образом предвещают создание, в ближайшем будущем, Ростовых, Бергов и Друбецких.

Д. С. М.

ОПЫТЪ ОБЗОРА

«Линия ныне отделяющая политику от жизни, — неуловима», сказал Антон Крайний. Правильное наблюдение, верное... Только почему же — ныне? Если политикой называть не только конференции и дипломатические рауты, то — и всегда так было. Только раньше политика для нас была привычная. И можно было вообразить, затворившись в особняке Мертвого переулка, что живешь, обходишься без нее. И ожидаемая революция не особенно беспокоила: ну это явление политическое, — пусть беспокоятся губернаторы и дипломаты. Но вот она пришла. Из политической выросла в — социальную. Пролезла и в особняк, во все углы и щели российские, всю жизнь взбудоражила, привычный порядок нарушила. И, главное, не кончалась. А с жизнью так смешалась, что стало очевидным: никакой революции, как чего то постороння́го или потусторонняго, — нѣт; а вот эта непривычная жизнь — «непорядок» и есть революция. Значит — остается отказаться, отвернуться от всей этой жизни, от России. Так и сделали; уехали и постановили: «Пока существуют большевики, — нет России». Это провозгласил «извѣстный» русский писатель и мыслитель Д. С. Мережковский. А другие русские писатели остались «там.» Жили и писали. Потому, что не могли не писать, раз — жили. Ходили, ездили по той-же России, слушали ее, видели и писали, писали страницы русской литературы. Как «русской» литературы? России нет — пустое место. Нет и литературы. «Литературу (?) выбросили в окно, окно захлопнули». Но ведь, читайте же, пишут же... Кто? Эти... Ну, это «такие непристойные гады, что не уместно мне их и касаться; и если насчет всех прочих сторон политики еще могут найтись спорщики, то уж, бесспорно, никогда еще мир не видел такого полного, такого плоского уродства; земля впервые им оскорблена». (Антон Крайний. Совр. Зап. т. XVIII).

Все это не для полемики выписано. Собираясь писать (скорее как читатель, а не критик) о русской пореволюционной литературе, подумал: неужели и сейчас можно оправдать такой подход к ней? Все жду: когда же наконец Антон Крайний откажется от своих злых, ненужных и неглубоких слов и выскажет свое, пусть резкое, но «литературное» мнение старого литературного критика.

Почти в каждом приходящем из России толстом журнале, альманахе встречаешь теперь одно-два новых имени авторов, выступающих с рассказом, повестью, романом.

Поэты, которые так густо шли в первые годы революции, застопорили. В журналах им отводится места меньше, чем раньше; новые имена попадаются редко —

все больше уже известные. Разумеется, говорить о каком нибудь кризисе при наличии имеющихся крупных поэтических сил, не приходится. Количественное ослабленіе поэтической продукции — факт скорее положительный. Выношенность и сдержанность дают большую значимость поэтическому слову. Поэтическое оживление, если оно питается внешним событием, не может быть долгим. Революционная взметенность подхватила поэтов первыми. Шестым чувством, дарованным поэтам, они первые учуяли в ходе революции поступь истории («наш каждый шаг неловко величав»), поняли, что разрезаны «бессмертные страницы» и, «под небом дрогнувшим тогда», понеслись к открывшимся перспективам

«Мы не знаем, кто наш вожатый
И куда фургоны спешат,
Но, как птица из рук разжатых,
Ветер режет крылом душа.

(Н. Тихонов).

Но поскольку внешнее вызывало переустройство лирического мира — оно переставало быть внешним, делалось своим, личным. Поэты возвращались в себя (или становились «производственниками»).

А петь себя труднее, чем воспевать что-нибудь. Узнавать «куда фургоны спешат», трезво оглядываться вокруг себя пришлось прозаикам. Вначале, когда все всколыхнулось до низов, сорвалось со своих насиженных мест, давать более или менее широкие литературные обобщения было трудно. Довольствовались в большинстве случаев «кусками», наспех сделанными бытовыми снимками — «обсасывали вещи». Вместе с тем, даже старые, опытного глаза и выработанного приема писатели увидели, что новый «материал» им не дается, а нуждается в ином к нему подходе, в особой художнической хватке. Отсюда — формальная неустойчивость и поиски новых приемов, продолжающиеся и до сего времени. Но уже сейчас можно подвести кое какие итоги достижений пореволюционной литературы и прощупать некоторые формальные тенденции.

Дать сколь нибудь исчерпывающий обзор творчества отдельных авторов мне не под силу. Ограничусь лишь общими замечаниями о пореволюционной литературной жизни в целом, останавливаясь на наиболее характерных для современности или — значительных, на мой взгляд, писателях. Основную, т. е. оффициальную, классификацию советских писателей на «попутчиков» и пролет-писателей сохраняю и, оставляя последних вне общих суждений, коснусь их отдельно.

Надо заметить, однако, что твердо установленного критерия для подобной классификации нет. Последний оффициальный документ — резолюция XIII с'езда партии, как будто, вовсе отказывается от этого деления. Последнее же, напр., определение слова «попутчик» Горбачова слишком разнится от всем известного определения Троцкого.

Апологет «напостовцев» попутчиком называет лишь того, «кто, разделяя коммунистический идеал и большевистские методы его достижения, хотя бы и с уклоном, идут за пролетариатом». Все же остальные, как то: Вересаев, Эренбург, Серапионы, Пильняк и т. д. — «враги». Это — уже третья категория.

Все же выделить пролет-писателей удобно потому, что они очень похожи друг на друга и стилистически (вернее по отсутствию стиля), и в типологии и даже тематически. Узнаются — ex ungue leonem.

Мне думается, что уже теперь с бесспорностью может быть установлена преобладающая тенденция в современной литературе — тяга к реализму.

Но реализм — понятие слишком эластичное, широко толкуемое. Генетически он связан с наивным натурализмом, на высших его ступенях неожиданно открываются прорывы в роман

тизм. Реализм понимаем и как прием, манера, реализм — как направление и, наконец, реализм, как максимально заданное, реализм, как достижение (эстетическое) — есть открытие глубинного, бытийного соотношения частей, открытие тайны «органической формы». Современный реализм является, с одной стороны, следствием реакции на утончение шлифованных форм декаданса, на их «безблагодатный магизм» (импрессионистская, ритмическая проза), с другой — властно вызван всем сумасшедшим движением меняющихся жизненных форм, всем разбегом современности. Стремление к зарисовке, к литературной канонизации бытовых изменений первоначально укладывалось в рамки примитивного натурализма. Довольствовались мелким бытописанием, прямым отражением эпизодического, этнографией, фольклором. Этот «кусковизм», в частностях пронзительный и талантливо поданный, в целом давал мозаику большого значения, позволяющую разглядеть осевшую на землю перемену. Но т. к., по выражению А. Эфроса, «мы хотим жизненности в искусстве, — но не хотим жизни, прикинувшейся искусством» — от этого сырья, «материалов к литературе» нужно было отойти дальше к широким литературным обобщениям глубоко захватывающим жизнь. Естественный выход был — к реализму. Вот каким постулирует его А. Толстой (Писатели об искусстве и себе. «Круг»):

«Я противопоставляю эстетизму литературу *монументального* реализма. Ее задача — человекотворчество. Ея метод — создание типа. Ее пафос — всечеловеческое счастье, — совершенствование... Архитектоника должна быть строга и проста, как купол неба над безкрайней степью». Толстой не видит еще в пореволюционных произведениях «целого человека». «*Живой тип* революции остается невоплощенным призраком в повестях нашего времени. Большой человек — тип — вот задача искусства. Я хочу знать этого нового человека».

Приблизительно в этом направлении (несколько обще формулированном) и идет развитие творчества, мне думается, большинства современных русских писателей. Развитие это, в отношении указанной цели, разумеется не прямолинейно, ибо на него влияют и другие тенденции. Как раз Замятин, безусловно имеющий воспитательное влияние «мэтра» на молодых беллетристов, формулирует формальные задачи для новой литературы следующими словами:

«Все реалистические формы, — проектирование на неподвижные, плоские координаты эвклидова мира. В природе этих координат нет, этого ограниченного неподвижного мира нет, он условность, абстракция, нереальность. И поэтому реализм — не реален; неизмеримо ближе к реальности проектирование на мчащиеся кривые поверхности — то, что одинаково делают новая математика и новое искусство. Реализм не примитивный, не realia, а realiora — в сдвиге, в искажении, в кривизне, в необ'ективности. Об'ективен — об'ектив фотографического аппарата. Основные признаки новой формы — быстрота движения (сюжета, фразы); сдвиг, кривизна (в символике и лексике) — не случайны; они — следствие новых математических координат».

Если отбросить первую, для меня не вполне ясную, т. ск. идеологическую часть формулировки, то вторая — формальная, не будет стоять в большом противоречии к современному реализму, беря последний в выше приведенном смысле, — как целенаправленность. Реализм примитивный, об'ективный это и есть натурализм. Реализм подлинный, зрелый, конечно, — realiora — высшая реальность. Сдвиг, искажение, необ'ективность не противоречат реализму. Разве Гоголевские типы об'ективны и «не искажены»? И разве символике у реалиста

Гоголя нет места? Что же касается быстроты движения сюжета, фразы, сдвигов в лексике, то мутация этих элементов, в любых пределах возможна при любом литературном направлении. Многое из отмеченного Замятиным действительно для современной прозы, характерно и в разных комбинациях присуще творчеству различных писателей. Но я бы оговорил только, что все эти «сдвиги, кривизна и искажения» действуют еще как «исторические пережитки», в то время как «быстрота движения» и твердость сюжета, скупая фраза, лапидарность, вместе со стремлением к использованиям богатств народного языка суть новые тенденции — по пути к достижению «монументального» реализма. Перейдя к беглому рассмотрению творчества некоторых отдельных писателей мы можем яснее представить все «сдвиги и завоевания» современной прозы.

Наиболее характерную картину всех перекрещивающихся влияний дает, на мой взгляд, творчество Пильняка.

Сложность архитектоники Пильняка, все его смещения места и времени действия, сюжетные разрывы, неожиданность переходов, разбросанность — в первую очередь обнаруживают влияние на него Андрея Белого. Его же влияние наблюдается и в конструкциях фраз, в ритмичности их (у Пильняка уже не выдержанная, закругленно-ритмическая проза Белого, а — неровность, перебои), и в повторах речевых и образных. Во все это у Пильняка вплетается и куски нового откровенного бытовизма, и цитаты на целую страницу из эпохиальных документов, архаизмы, на ряду с мудреными иностранными словами. И все это, беря его выражение, «эссировалось» в нем. Формальная растерзанность Пильняка находится в соответствии с внутренней тональностью его творчества. Революционный шок привел его психологию в состояние взвинченности, доходящей иногда до истерии. Но за то обостренность интуиции дает ему возможность глубже других прочувствовать душу нашей эпохи и проникнуть в ее исторический смысл. Люди Пильняку не удаются, живых типов у него нет. Действующие лица у него часто представляются мне какими-то персонифицированными идеями, фокусами отвлеченных категорий, носителями тех или иных исторических и социальных начал. Лучшими и ценнейшими его произведениями я считаю «Голый год» и «Мать сыра земля».

В первом — конденсация ужасов в масштабе небывалом, весь напряженнейший бред страшного голодного года. Последнее обнажение земли, души и человеческого быта; звериная цепкость жизни, когда смерть близко и всюду. И надо всем этим — эзотерически, осознается что этот год, эти годы не напрасная, жестокая случайность, а исторический узел — проба смертью крепости новых начал. Во второй — становление большевизма как исконной русской стихии. Дикие поволжские мужики, темная отъ средневековья, спавшая и теперь встающая Русь в столкновении с инородным, непонятным коммунизмом. И эти обычные Пильняковские эпохиальные пересечения, это сближение большевизма с до-петровским, анти-петровским началом разве не есть первое, еще смутное, предугадывание какого-то нового «славянофильско-большевистского», что-ли сознания.

И — как противуположность «растрепанному» Пильняку — Замятин. Такой выдержанный, замкнутый, безукоризненный формовщик. И какой разнообразный. Почти бытовик (в «Уездном»), сатирик и стилист («Как исцелен был инок Эразм»), он может рассказать и «Сказки», и дать язвительную и трогательную повесть о крепкоголовых «Островитянах», и найдет народную сочность языка, фольклор нашего «Севера». Он покажет все — кроме себя. Разве только — свою всепонимающую усмеш-

ку, ироническую, нарочито хитренькую — усмешку с Анненковского портрета. Еще не скажешь — что мир для Замятина и какой у него мир. Может быть — великая бесцельность, просто — жизнь.

О самом страшном («Пещера»), он расскажет не пугая и с безнадежной успокоительностью. Пожалуй, он пишет о всем неизменном (и — значит — «самом главном») в человеке. Так — часто о любви, иногда нелепейшей по неуместности, но неодолимой. И вся его «кривая символика», смещающая действие, то в миры ирреальные, то во времена давно бывшие — не для того ли, чтобы показать: — так было, так будет, так — везде. «Бог знает, если бы у Мамая 1300 какого-то года были бы тоже чужие руки и такая же тайна и такая же супруга — м. б. он поступил бы так же как Мамай 1917 года» (Мамай).

Замятин писатель «современный». Но он обращен не к «современному человеку», а к Человеку в Современности. А — мир? Ведь даже в самоваре «отражен — весь мир». И самовар «несомненно мыслит: Мир — мой. Мир — во мне. И что бы без меня стал делать мир? — Самовар милостиво ухмыляется миру...» (Север). И — вот показательный (поучительный) пример — Замятин углубленный не в «сегодняшнее», а в просто-«человеческое», в неизменное в человеке (в вечное — если хотите) писатель «новый», писатель нашей, живой эпохи, а не из прошлого русской литературы (как Бунин напр.). Современность не в злободневности, а в том, как подходит, как берет и видит писатель неизбывные проблемы, пусть старые как мир.

И то время, когда «люто за мороженный Петербург горел и бредил» и светило «горячечное, небывалое ледяное солнце в тумане», когда «из бредового туманного мира, выныривали в земной мир драконолюди» — время великого распада, крушений и канунов — дает тон всему творчеству Замятина.

Отрадно и несомненно: — Замятин большой писатель. Или точнее: — Замятин — «большой» человек, с художническим глазом, владеющий в совершенстве всеми литературными изобразительными средствами. Титул — «большой писатель» у нас обычно дается не только за значительность и качество вещей, но — плюс количество таковых (чуть ли не за плодовитость) взятых в широком диапазоне.

Замятин — писатель большого охвата и хорошей глубины. Написано им немного, но достаточно для того, чтобы заставить ждать от него многого и большого. Мастер он исключительный. С формальной стороны иначе как безупречными я не могу назвать его рассказы и повести. (Упрекаю лишь за двухплановой «Рассказ о Самом Главном» формально претендующий на многое, но являющийся «практикой», плохо подпирающей замятинское формальное credo). Замятин писатель не только большой литературной культуры (и, конечно, со многим от Запада) но и «знающий» писатель. Это — отличие от многих и многих русских писателей, о которых еще Чехов выразился, что они «чорта лысого не знают».

А вот и «молодняк», новичок в литературе — Леонид Леонов. Молод — очень (еще нет 30 лет). Писать начал уже после революции. (Если не ошибаюсь, первые его рассказы относятся к 22 году). Но одаренности такой, что судить о нем можно без снисхождения к возрасту. «Своего места» в литературе еще не нашел, во всяком случае, еще не четко его ограничил, но в литературу уже вступил. И писатель он не в потенции, а — уже величина. Очень удачно эпиграфом к статье о его творчестве А. Воронский взял слова из «Петушихинского пролома»:

«...А еще вспомянем, как отбивали мы волю нашу кумачевыми быть, босые, раздетые, с глазами, распухшими от жестких пред-

зимних ветров, как закусывали соломенным хлебом великую боль пролома, как кутались в ворованные одеяла от холодной вьюжной изморози да от вражьих пуль, как кричалось в нашем сердце больно: «Колос-колос, услышь мужичий голос, уроди ему зерно в бревно!». Все припомнишь сразу, чтобы в жизни будущего века навсегда забыть!» Леонов молод и память о России до-революционной не заполонила его, не мешает восприятию России новой. Но не ему ли в первой зрелости своей перенесшему и принявшему великие исторические годы «пролома», не ему-ли — будущему помнить, видеть и жалеть тех, кто не переступив в новое, обречены доживать печальными тенями прошлого. И Леонов любит с жалостью (иногда брезгливой) показывать этих кончающихся людей Лихаревых, Елковых и т. п. Леонова вообще тянут какие то дефективные люди, маленькие, ушибленные проломом — Ковякины, Собакины. Они и удаются ему лучше, нежели здоровые, сильные, «новые» люди, как например, неубедительный Павел, большевик из «Барсуков». В конце концов Леонов делает всю ставку именно на «мелкого» человека. От «пролома» гибнут забитые последыши, но другие, «мелкие» уже такими не будут. Смысл «пролома» в том, что «мелкий человек экзамен держит на — большого». Так говорит Леоновский ферт (чорт) в «Конце мелкого человека». ...«Вот Елков уверяет, что мол кирпичики по кирпичику растащут («мелкие» люди — А.Т.), а вдруг да врет дурак Елков? Он гибели хочет, потому что в ней все его оправдание!... Нет, а кроме шуток, — вот возьмут да и не растащут. Ведь какие дела-то сотворятся! Все наизнанку вывернется, — светопреставление, смерть мухам... пойдет он, Ванька этот, кирпичики класть, сооружать деликатное-то здание свету всему на удивление и на устрашение миллионам Елковым... Вот дела-то сотворятся, эпопея!..»

Маленького человека затертого революцией Леонов нам дал в образе художественно законченном и выпуклом. Хочется, чтобы отталкиваясь от маленького — он перешел к попыткам создания «большого человека» — типа, живого человека живой эпохи. Но для этого требуется отчетливое осознание центральной эпохиальной идеи и самостоятельная установка на новое мировоззрение.

У Леонова не только нет еще последнего, но отсутствует даже стилистическое самоопределение. Без преемственности, без влияний никто в литературу не входит. Но у Леонова больше чем «влияния», он впадает иногда в прямое подражательство. Его Елков, напр., и по словечкам и по психологии, как тип — какая-то помесь капитана Лебядкина с судебным следователем из «Преступления и Наказания». В своих подражательных тенденциях он причудливо эклектичен: — от Гоголя — к Достоевскому — от Достоевскаго к Лескову и Ремизову.

По талантливости своей он стилизатор весьма тонкий и приятный, но ему нужно совершенствовать ту манеру, которая ему наиболее свойственна. Его «Петушихинский пролом», его уменье пользоваться сказом, хорошее знакомство с народным словарем говорят за то, что ему надо остановиться на народной прозе, не забывая, впрочем своих «восточных» инструментовок. Его «Туатамур» вещь инструментованная по татарски и в формальном отношении и по силе лирического напряжения (не разрывающим сюжетности) превосходна. «Халиль, Персидские касыды» — уже слабее.

«Барсуки», как первая попытка к овладению большой формой, значительна и интересна. Во многих частностях — большая удача. Но конструкции типов как и компановка вещи в целом лишены органичности.

Еще остановлюсь отдельно на Бабеле. Бабель добыл себе известность тоже недавно своим

новеллами об'единенными в книгу «Конармия». Но уже в более ранних его «Одесских рассказах» он был задан весь и можно было предугадать, на что посмотрит, что увидит он в войне гражданской. От крови бандитских преступлений, от крови еврейских погромов, опять «Конармия и солдатня, пахнущая свежою кровью и человеческим прахом». Бабель не знает ни солнечной вселенной и природы, ни радости бытия, ни радости любви. Все живое, когда на него смотрит Бабель, мертвеет. Тяжесть, сырость, прах, смерть. Это какой то Вий с тяжелыми веками и пригвождающим взглядом. Но за то по силе этого взгляда и запечатленность увиденного, вырубленная словом точным, в'едчивым и грубым. Люди у него озверевшая, свихнувшаяся, обреченная человеческая убоина. Они убивают, их убивают. И все так просто: — «Прямо перед моими окнами несколько казаков расстреливали за шпионаж старого еврея с серебряной бородой. Старик взвизгивал и вырывался. Тогда Кудря из пулеметной команды взял его голову и спрятал ее у себя под мышками. Еврей затих и расставил ноги. Кудря левой рукой вытащил кинжал и осторожно зарезал старика не забрызгавшись». (Берестечко). О, у Бабеля больное и неодолимое влечение к таким пронзительным деталям: — не забрызгавшись! И так все время: «Вася,—кричит он мне — страсть сказать, сколько я людей кончил. А ведь это генерал у тебя, на нем шитье, мне желательно его кончить». Или: «Бумаги мы тогда у него взяли, какие были, маузер взяли, седелка его, чудака, и посейчас подо мною. А потом вижу — — каплет из меня все сильней, ужасный сон на меня нападает и сапоги мои полны крови, не до него... — Облегчили значит старика? — Был грех». (Конкин). Живой мертвец — дистанция небольшая.

У Бабеля часто живые просвечивают смертью: — «квадрат света в сырой тьме и в нем мертвенное лицо Сидорова, безжизненная маска, повисшая под желтым пламенем свечи». (Сидоров). «И, закрыв глаза, торжественный, как мертвец на столе, Шевелев стал слушать бой большими и восковыми своими ушами». (Шевелев). Понятно — и природа и погода у Бабеля обычно такая же под стать людям, убийственная: «Снова пошел дождь. Мертвые мыши поплыли по дорогам. Осень окружила засадой наши сердца, и деревья, голые мертвецы, поставленные на обе ноги, закачались на перекрестках» (Замостье). «Голый блеск луны», «ночная сырая вонь», размокшая земля открывающая «успокоительные об'ятья могилы» утро сочащееся «как хлороформ сочится на госпитальный стол». — словом — неправдоподобная, вонючая природа, удачный фон для развертывания бреда.

И когда, после всего этого, очевидно для придания особой остроты своему смердящему букету, он говорит, что смотрит на мир, «как на луг в мае, как на луг по которому ходят женщины и кони» это действительно звучит контрастирующей издевкой. Кони-то ведь то же в большинстве случаев с вывороченными внутренностями. А женщины — или эротический бред, или многократно изнасилованные покорные жертвы, или эскадронные «дамы» с «непомѣрным телом», «цветущим и вонючим, как мясо только что зарезанной коровы», «с чудовищной грудью закидывающейся за спину» и прочими Ропсовскими прелестями. Многие считают Бабеля правдивым реалистом, чуть ли не натуралистом, преподносящим сценки и картины, как они есть.

Да, реалистом его назвать придется, ибо для него действительность не есть отражение мира иного и никуда ни уходить, ни уводить из нее он не собирается. Жизнь как она есть, но... под взглядом Бабеля. А он видит лишь то, что хочет (что может?) видеть. Как и многие художники, он ограничивается в своих творениях лишь немногими цветами

спектора. В расположении светотеней, в освещении он совершенно необ'ективен. А главное, — он не описывает, не списывает натуру, а конструирует ее. Его новеллы — не фиксация эпизодов — как они были, а воссоединение бывших (существовавших) элементов в небывшее целое.

В момент, когда смотрит Бабель, его герои производят максимум характеризующих их (как тип) действий и жестов, говорят только нужные (для типа) слова: все бытовые штрихи, детали, разновременно и разноместно бывшие, локализуются и концентрируются во времени, сдвигаются в фокус и эта essence и дается Бабелем.

Пріем этот в той заостренности в какой пользуется им Бабель — пріем новый, избранный для изображаемой действительности, для нового материала весьма удачно. Остальное — от свойства глаза. Еще добавлю: Бабель берет свои «пронзительные» детали отнюдь не как бытовик — безразлично. Детали у Бабеля — сигналы из мира внутреннего. Деталь — формула заменяющая страницы, быть может, описаний и психологических разсужденій.*)

Я сказал, что взгляд Бабеля мертвит. Бабель прикован к крови, к смерти, ищет всюду ее, или просто попадается она все время ему на глаза. Она ведь тоже, как и жизнь — повсюду. Обнаружить — если захочешь — нетрудно. Но несмотря на огромную тяжесть страниц Бабеля, на пребывающую всюду убоину — запах разложения не чувствуется. Соллогубовского тления, последней гнилости распада в небытие у него — нет. Смерть у него, нет, не легкая, а давящая, тяжелая — но вместе с тем какая то простая и здоровая. Не предсмертное разрушение, а последняя напряженность под знаком смерти. Ах, как просто, до ужаса просто (без тени позы — но героически) умирают у него эти, в то же время жадные до жизни, люди. «Дуй ветер, Спирька, — говорю, — все равно я им ризы испачкаю, — помрем за кислый огурец и мировую революцию». И — все. Умирают также просто, как убивают. Так это привычно — что даже — скучно. Умирают и убивают походя, скучая. Вот оно вернейшее наблюдение и новое. Война, захватывающие впечатления, ужасы, ни минуты покоя, активизм и вдруг — скучно. Сидоров так и пишет: «В армии мне скучно». Л. Андреев нагромоздил «Красный смех», пугая. И — неверно. А вот это знакомое каждому варившемуся в пекле войны ощущение. Да, под,ем, многообразие, острота восприятий под склонившейся смертью, радость жизни от того, что — жив — и в конце концов, когда уже — через край — все сливается в однообразие. Тошно, скучно...

Убоина, да. Но у этой убоины, столько жизненной энергии, что, понимаешь — направь ее иначе и — сдвинет горы.

Говоря об индивидуальности — не могу не коснуться прозы Пастернака.

Это совершенно новое явление. Не в смысле — «как», а — «что». Вернее, сам Пастернак «новое явление». А отсюда — новая проза. Нова она не по подходу к литературному об'екту, а — по новизне самого об'екта. Сам Пастернак менее всего, вероятно, думал быть новатором, а просто — поэтическая «наивность» и искренность привела его к дер-

*) Оговорюсь: — это не значит, что у Бабеля все детали таковы. Это — стремление, а не достижение. Бабель часто на ряду с открывающими, пригвождающими деталями дает излишнюю, неприятную натуралистическую «клубничку». Тоже — и с образами его, в большинстве случаев, резкими, бьющими и сочными. В погоне за образом, он впадает иногда в гипертрофированный имажинизм: — «Сидоров, тоскующий убийца, изорвал в клочья розовую вату моего воображения и потащил меня в черные корридоры здравомыслящего своего безумия».

ности изумительной. То из чего рождается поэзия и то, чем волнует она нас (эзотерически — не в плоскости логического восприятия) — движенье, трепет мира подсознательного — Пастернак взял прозаическим об'ектом. И взяв подсознательное об'ектом, он совершенно сместил, произвел революцию в бытийственных и психических соотношениях, в их обычной укладке. Очень трудно говорить о прозаическом выступлении Пастернака (еще труднее, чем о Пастернаке-поэте). Я знаю только две его вещи. «Воздушные пути» и «Детство Люверс». Если из первой можно отвлечь (только — наоборот — отвлечь в плоскость обычного подхода и восприятия), кое какую фабулу, «внешнюю» сюжетность (хотя ось рассказа, воздействие его на читателя вовсе не в этом) и — передать ее, то в «Детстве Люверс» — нет и этого. В «Детстве Люверс» берется подсознательный мир через девочку, почти ребенка. Сам по себе этот мир в ней уже полный (*и зрелый*), но еще не пришедший в законченные соотношения с миром сознательным. Сюжет «Детства Люверс», если уж брать обычную терминологию, и состоит в раскрытии того, что в этом нетронутом девственном мире производит сознательное, как он приходит в сцепление с миром внешним. Подчеркиваю: это далеко не то, что заутробное состояние Котика Летаева. Здесь — живое существо, в реальном существующем мире. Только этот мир дается как то из себя, видим с необычного места, а потому и перспектива иная, и психика — «наоборот» и символика — наоборот. Т. е. — определенное движение, дрожь в подсознательном мире, вызванная касанием мира внешнего, является символом, уводящим к определенному реальному предмету. Получаемая же, т. ск., стабилизация отношений подсознательного к внешнему, конечно, меняет обычный смысл и значение последнего. Понимаю, что все это невнятно и мало вразумительно, в особенности для нечитавших, не погружавшихся в Пастернака.

М. б. в первую очередь истолковать «перевести» и об'яснить Пастернака должны психологи. Он безусловно открывает очень большую, неизведанную область. Не знаю «современен» ли и своевременен-ли Пастернак, вернее, он «вневременен». Но на многих современников — пока лишь на поэтов — он много влияет — и много им открывает. И в прозе он пролагает новый путь. Не думаю, чтобы ему можно было «подражать» или воспользоваться его пріемами. У него нет никаких формальных приемов. Прозаический словарь его самый обыкновенный, даже бедный и бледный. Структура фраз неуклюжа, неукладиста — выдает его косноязычие.

Но Пастернак может могуче влиять на психику. И его прозаическая проба может толкнуть к дальнейшем попыткам (перестроив себя, взяв новый угол психического подхода) творческого отображения мира по иному в себе преломленного.

Теми авторами, на которых я останавливался далеко не исчерпывается все интересное — все силы, таланты и «надежды» — в литературной жизни СССР. Одни «Серапионы» (бывшие?), продолжающие работать, дали за это время уже много интересного. Лидин дал хорошую книгу повестей и рассказов, из которых особенно сильны «Мыс Бык» и «Инга». Лидин писатель опытный и уверенный. Как будто он уже отделался от заскоков на судорожный путь Пильняка, и дает вещи твердой конструкции, обточенные и хорошего наполнения. Федин своим романом «Города и годы» занял в современной литературе видное место. «Города и годы» произведение крупных достоинств, это, — думается, лучшее из всего того, что было дано в литературе, в «большой форме» о современности. К «Городам и годам» хотелось бы обратиться отдельно с внимательным и подробным рассмотрением.

Михаил Пришвин старый этнограф, бытовик, который раньше ограничивался бытовыми очерками, прекрасными описаниями природы (в охотничьих рассказах) перешел на большие литературные вещи. Раньше его называли «бесчеловечным писателем» т. к. литературные типы в его произведениях отсутствовали. Теперь он дал большую повесть «Курымушка» как раз о лице, о внутреннем росте человека. Но, конечно, бытовик в нем сказывается и повесть сочна именно яко данным изображением быта.

На Пришвина, я считаю, можно сделать «ставку». Очень много не выиграешь, зато мало рискуешь. Писатель он широкого кругозора, тонкий наблюдатель, большой знаток и умелый применитель народных «словесных богатств». Немного старомоден он своей спокойной реалистической манерой повествования. Актуален же он, если можно так выразиться, в современной литературной жизни тем, что вместе со многими другими участвует во все растущем движении, направленном на переработку русского литературного языка в сторону приближения его к народному. Но об этом ниже.

В последнее время выдвигается и завоевывает себе почетное место Пантелеймон Романов. Я бы отметил еще и Артема Веселого, Ольгу Форш и некоторых других.

Но дать хотя бы краткие характеристики их творчества, имея ввиду конспективный обзор литературной жизни, я не в состоянии. Простое же перечисление имен с прибавлением слов — талантливо, хорошо, слабо или удачно — ничего не скажет. Изложу лишь бегло мнение свое о пролетарской ветви литературы и перейду к общим выводам.

Пролетарские писатели, если не считать канонизированного Серафимовича, сплошь «молодняк».

В литературной политике роль пролет-писателей очень значительна. Их много, они шумливы, самонадеянны и напористы. Они все время нападают, ведут аттаку на попутчиков, и их выпады против последних порою возмутительны. Они были осаживаемы неоднократно Троцким, Луначарским, Воронским и даже Бухариным, но отеческие вразумления на них почти не действуют. Они начали с требования немедленного создания пролетарской (абсолютно новой!) культуры, а, следовательно, и литературы и с попытки сбросить всех «буржуазных» попутчиков «с парохода современности». Тогда Троцкий раз'яснил им, ссылаясь даже на Ленина, что ни о какой особой пролетарской культуре речи быть не может, а новая культура будет внеклассовой, общечеловеческой.

Бухарин же хотя и не отрицал теоретической возможности, ввиду длительности периода диктатуры пролетариата, специфически пролетарской культуры, однако предостерег их от «комчванства» и заявил, что культурную гегемонию нужно «своим горбом» завоевать и исторически оправдать. Несколько сократившись в размахе, они все же продолжали проповедывать «классовое» в литературе в ущерб «классическому».

Их же критики, пользуясь установленной партийной гегемонией в области оценки «социальной значительности» литературных произведений, стали выдавать на таковые аттестаты в идеологической благонадежности.

Понятно, какое пагубное влияние оказывает подобная «критика» на творчество молодых беллетристов. «Достойным» литературным произведением почитается только то, которое написано с минимумом «уклонизмов» от марксистского, с ленинскими поправками, «научного мировоззрения». Поиски нового мировоззрения, исторически диктуемого и властно требуемого нашей эпохой, становятся, значит, излишними.

«Новым» мировоззрением об'является уже найденное, вышеуказанное «научное». Забывается при этом только одно: значительность художника обусловливается именно тем насколько он по иному, по своему видит мир. Об'единенные же одним научным мировоззрением должны и видеть и мыслить в основном одинаково, ибо оно покоится на ряде аксиомичных, принудительных истин. И, если человек с таким мировоззрением возьмет перо для создания художественной вещи, можно предсказать, что она будет сделана по шаблону и не будет художественной. Заранее известно под каким углом он будет расценивать все явления в об'екте наблюдения, как он отнесется и разрешит все вопросы бытия, вопросы истории, любви, смерти; как поступят (должны поступить) в том или ином случае его герои. Научное мировоззрение не может мириться с иррациональным в творчестве. Оно душит интуицию, — без интуиции нет искусства. И на примере многих и многих пролетарских писателей, подходивших к современности вооруженными всеми марксистскими предпосылками, мы видим тщету попыток их дать подлинно-художественный синтез эпохи; они трафаретны, все на одно лицо, они просто скучны уже. Веруя в формулу Горбачова — «ждать не стоит с тем, что по содержанию давно уже созрело», они замышляют и пишут большие вещи, повести, романы и, Боже мой, что получается. Обостренность чувства исторического мессианства, которым заражен теперь каждый пионер, грандиозность размаха и значения событий толкает их к огромным проблемам и попыткам литературного их разрешения. Ну и что же? — Порывы у них м. б. гениальные, но за то продукция, признаться, — бездарная. Я готов согласиться, что любое сегодняшнее лопотанье неизмеримо труднее самого гладкого и безупречного формованья в прошлом, где мы работали на готовом». Но я не могу принять одного вида «лопотанья», который культивируют большинство из молодых. Это — во-первых: — бессмертные традиции третьесортной литературы, завещанные Нагродской, Вербицкой и прочими Бебутовыми. Это — то зло, с которым прежде всего нужно бороться и которому так мало внимания уделяют и формалисты и марксистские критики, занятые своими вопросами по «специальности».

М. б. — потому, что здесь дело идет о том, чему никак нельзя научить и от чего никакими мировоззрениями нельзя застраховаться — о культуре вкуса, об эстетическом воспитании. И — потом: молодняк рубит с плеча. Оперируя в литературе агитаргументами, он с кондачка посягает на величайшие проблемы, но, плавая на поверхности, не достает, не решает ничего. Глубина и трагичность эпохи крушенья старого и рожденья нового (его конек, т. ск.) для него, очевидно, просто недоступна. «Новое» — у него обязательно коммунист (обыкновенно — молодой), преданный до конца идее, неутомимый деловик, герой и рубака. «Старое» — или раньше толстопузый, а теперь отощавшій купец, буржуй, или — генерал, из которого сыпется песок, тупой, как колода, или, что чаще, — девушка из буржуазной семьи, из дворянского гнезда. По правилу, ей герой должен открыть и открывает новый мир, как в былое время студент народник или с.-р. — открывал таковой курсистке или гимназистке.

«Ответственные» диалоги между ними, к примеру, таковы:

«Слушай, сказал он, если бы не я, то ты верно тоже пошла бы в церковь? — Пошла бы, ответила она. Сегодня служба большая, А ты должно быть никогда не ходишь? — Никогда. — Почему? Значит правда, что ты коммунист? — Правда, Эмма. — Жаль. — Почему же? Я так только горжусь этим. — А потому, что пропадешь и ты, когда

коммунистов разобьют. А, во вторых, без веры все таки очень нехорошо. — Но, позволь, удивился Николай. Во первых, почему ты знаешь, что нас разобьют? Мы и сами на этот счет не промахнемся. А, во вторых, мы тоже не совсем без веры. — Какая же у тебя вера? — засмеялась она. Уже не толстовская ли?—Коммунистическая! —горячо ответил Николай. Вера в свое дело, в человеческий разум и торжество не небесного, а земного, нашего царства — справедливого труда. А главное — вера в свои руки и только в собственные силы, с помощью которых мы этого достигнем». (Ковш. А. Голиков. В дни поражений и побед.).

После такой тирады, разумеется, старый мир разбит, новое «мировоззрение» побеждает и девушка сдается. Описанья нравов старого мира — белогвардейского стана пленяют своей «новизной», «образностью», «литературными изысками» и иногда «великосветскостью». Напр.: «Бон жур, женераль — поднялась ему навстречу краснощекая баронесса в гофрированном светлом парике. — Бон жур, мадам, бон жур и, щелкнув шпорами он поцеловал выхоленную, в бриллиантах, маленькую ручку».

Или же: — «разгульный дебош (обязательно!) клокотал и ширился, как лесной пожар... их бледные лица были исхлестаны гримасой гнева... Серебристый звон шпор разносился на фоне шума, как на блюде (ах, эти оглушительные шпоры!)». Когда же молодняк дорывается до любовных сцен — все Бебутовы кусают от зависти губы и, вероятно, «бурно вздымается грудь» ученицы 2-ой ступени.

«...И горячая, затрепетавшая рука крепко легла на его колено. От руки шел неуловимый властный ток и глаза юноши загорелись. Сестра Мария была в черном платье, рубиновые серьги блестели в маленьких, порозовевшихъ ушках. Она дышала перерывисто, оп'яняя юношу запахом распустившейся черемухи». (Наши дни. Вяч. Шишков. Пейпус озеро).

Не стоило бы задерживаться так долго на подобных «литераторах». Они неизбежны всегда, во всякое время. Обычное место такой «литературы третьего сорта» — вне литературы. Но в том то и дело, что сейчас все такие «беллетристы» приняв защитный цвет, заручившись привеллигированным званием пролет-писателя, распространяются, печатаются по всем журналам, рядом с настоящими писателями. И, так как художественный критерий заменен для них 100%-ми классовости, они легко плодятся, многочисленностью своею понижая общий уровень литературной культуры. Они же являют собой козырь в руках хулителей и ненавистников всего «советского», которые замалчивая о главном, базируют только на них свое «отрицание» современной литературы. Кроме того, и это наиболее важно, легкость успеха и одобрения за «классовость», расточаемые частью ортодоксальной критики Буданцеву, Малышкину, Ляшко, Гладкову, Фурманову, Фадееву и пр., толкают действительно способные молодые силы итти по проторенной дорожке, уродуя талант, губя себя, как индивидуальность. Конечно, литературный молодняк пробивается и минуя Ванк (напр. тот же Леонов), но не у каждого хватает силы, утвердив себя, пойти своим путем, а не казенным. И больно видеть напр. как несомненно способный Либединский старательно карнает непокорность своего таланта, дабы не уйти за сферу классовой полезности.

Пролетарские писатели на неверном пути. Для них, оценивающих произведения с точки зрения их социальной значительности и делающих ставку на массового читателя, убийственны должны быть слова заведующего госиздатом Н. Мещерякова (относящиеся, если не ошибаюсь к 1924 г., но не лучше положение и теперь): — «Произведенное обследование показало, что ни

один из современных пролетарских писателей не спрашивается. Мы пытались издавать произведения различных пролетарских писателей, — они лежат у нас на складе и мы продаем их буквально на вес, никакого спроса на них нет».

Переходя к общим формальным суждениям о современной литературе, обращусь к процессу чрезвычайной важности, вызвавшему уже сейчас, в настоящей стадии, значительные последствия. Я говорю об стремительной эволюции (почти революции), происходящей с литературным языком.

Не обладая научными познаниями в этой области, необходимыми для постановки вопроса о литературном языке во всей широте, теоретически — ограничусь, по возможности, пределами фактического положения.

Виктор Шкловский в какой то из своих статей, подходя к вопросу о нашем литературном языке исторически, утверждал приблизительно следующее: русский литературный язык (по происхождению своему чужеродный—от древне-болгарского), по мере своего развития, стал проникать в народную толщу и частично усвояться массами. Следствием этого было уравнение многого в народных говорах, сближение раньше резче различных провинциальных диалектов. Это утверждение, вероятно, имеющее достаточные основания, можно не оспаривать. Но, влияя на язык народный, наш литературный язык, в дальнейшем своем развитии, оказался слишком «самостоятельным», не идя, в свою очередь в сторону сближения с языком народным. По мере разработки, утончения литературного языка, разрыв между ним и языком практическим все увеличивался. Культивирование, пусть прекрасного, «беспорочного» литературного языка, без согласования с тенденциями языка практического, в конце концов, ставит первый в какое то «ложно-классическое» положение. У нас и по сие время многие хотят, чтобы поэты и прозаики писали языком Пушкина, Тургенева, не считаясь с тем, что это просто невозможно. Ни Пушкин, ни Тургенев на «своем» бы языке, живи они сейчас — не писали бы. Перед войной господство символизма в поэзии «затуманило» наш поэтический (в узком смысле) язык. Слова стали расплывчатыми, неточными, многозначительными. Футуристы и акмеисты еще тогда, каждый по своему, повели борьбу за обновление поэтического языка. Акмеисты старались о возвращении конкретной значимости слову. Футуристы тянули в сторону «улицы».

В прозе же до революции шло (беря грубо) двух-русловое течение; — изощренное ритмически-орнаментальное и — поддерживающее традиции «доброго старого» литературного языка. С наступлением революции первое течение, не принимая новых сил, быстро усохло. Андрей Белый повлияв на Пильняка (отчасти, пожалуй, на раннего Лидина), перестал быть искушением. Другое же течение потянулось к языку, к словарю народному. Происшедшее и происходящее языковое «опрощение», вызывается многими причинами. И стремлением придать большую коммуникативность языку, т. к. на сцену вышел новый, массовый читатель, «не охочий до прежних литературных изысков». И появление в большом числе в качестве литературных персонажей крестьян, рабочих и «мелких» людей, заговоривших на «своем» языке. И, наконец, чисто эстетическая тяга, вызванная первыми опытами, к углублению в непомерные богатства народного языка. Распространившаяся форма «сказа» одно из средств использования последних. Увлечение языковым «народничеством» дало повод Шкловскому заметить, что ныне «просторечие и литературный язык обменялись местами». Думается, что этот парадокс не надо принимать буквально. В этом, по моему, — намек на то,

что сейчас иногда «сказители» в литературе говорят черезчур уже «народным» языком, являющимся скорее лишь провинциальным диалектом. Перегруженность фольклором, выуживание словечек из медвежьих углов, а то и просто из словаря Даля действительно наблюдается. Затруднишься сказать народные или сделанные Бурлюком — такие, напр., слова: ваторба, валтрен, пыхто, янится, сунгуз и т. д. (Взяты из «Чертуринского балакиря» Сергея Клычкова, повести, несмотря на это, больших достоинств). Иногда палка перегибается еще больше и действующие лица начинают говорить на каком то невероятном волапюке или воровском «арго» — целыми страницами. Как бы то ни было, но обращение к народному языку — факт знаменательный и отрадный, помимо всего прочего, являющийся средством к укреплению самобытности, к лучшему осознанию себя в ответственный исторический момент. Кем то было сказано, что литературный язык всегда или — архаизмы или — неологизмы. Возможно, что теперь литературный язык, обежав практический, займет свое место по другую сторону его, выполняя, с одной стороны, свою роль по сближению провинциальных диалектов, с другой — явится началом охранительным по отношению бурного натиска языковых элементов «испорченно-народных» — уличных. Во всяком случае дальнейшее развитие языка, практического и литературного, пойдет в границах меньшого разрыва и отчужденности, в большем взаимо-обусловливающем сопряжении.

Слишком много в СССР говорят о том, какой должна быть литература. Задания возлагаемые на нее — огромны. Она не справляется с ними и — ею недовольны. Ортодоксальная критика заботится о партийном «выправлении» литературы. Формалисты ищут новых форм, думают, что все дело в формовании, в умелом использовании литературных приемов. Для них ведь все искусство лишь — «сумма стилистических приемов». Заметили, что читатель, в ущерб чтению отечественных произведений, увлекается переводной литературой, гл. об. фантастическими и авантюрными романами. Потянулись к деланию своего «авантюризма». Даже Бухарин высказался о полезности «красного Пинкертона». Появилось много авантюрных и фантастических повестей с международными шпионами, заговорщиками, невероятными изобретениями, кинематографическими трюками и стремительной «сюжетностью». Писали о «спецификации идитола», о фантастической республике Итль, Ал. Толстой о Марс (Аэлита), о «гиперболоиде инженера Гарина», о «семи днях, в которые был ограблен мир», — о многом другом, — но нельзя сказать, чтобы эти вещи имели успех. Эти «потрафления» вкусам публики не отличались достоинствами, были кустарно, наспех и на заказ сделаны (за исключением все таки значительной и интересной «Аэлиты»).

Стали искать нового жанра (т. е. говорить о поисках), утверждая (Эйхенбаум), что «очередной кругооборот ведет нас сейчас от старых форм романа и новеллы к хронике, к воспоминаниям, к эпизодам, к письмам — к тем жанрам, где слово не заменить кинематографом». Опять и опять возвращались к вопросам — как же какими приемами ухватить современность. Сходясь во многом с Замятиным, Андрей Белый писал: — «бытовики революции вносят трезвые принципы ложно классического реализма во время, которое для этого реализма Эйнштейном разорвано... В произведениях будущего воплотятся черты ритма времени: будет сломана статика нынешних форм обнаружится «форма в движении» вместо «формы в покое», не будет романов, поэм, повестей или драм в нашем смысле; появятся синкретические гротески

счезнет, наверное, быт в нашем мысле...» При всем моем большом уважении к формальному методу и его огромным заслугам, полагаю, однако, что дело не в ключе к сюжету», как думает Аксеев, и не в новом жанре (во всяком случае — не в этом одном).

Готов признать, что на широком литературном фронте, несмотря на отдельные крупные удачи и некоторые общие, отмеченные мною положительные процессы и тенденции — неблагополучно. Главным образом в общем впечатлении неблагополучия повинны преобладающие численно молодые писатели, причисляющие себя в большинстве к пролет-писателям. Молодым в СССР теперь очень легко «прорываться», к ним относятся чрезвычайно внимательно, от них многого ждут. И вот быстрый взлет, пяток хвалебных рецензий и разочарование. Ибо, как остроумно заметил Шкловский, «наши современники больше всего любят молодых писателей, но пишущих не хуже старых».

В настоящее время уже нетрудно, мне кажется, определить «больное место», основной дефект современной литературы (труднее от него избавиться).

В погоне за современностью литература увлеклась черезчур новыми красочными пятнами, революционным бытом (уже соединение этих слов противоречиво) — динамикой внешнего. «Современность» же надо искать, она открывается именно в динамике и диалектике мира внутреннего. Получилось то, как отмечает Як. Браун (Нов. Россия N 1926), что «самую катастрофическую ломку бытия они обратили в стылый, закаменевший быт, вихрь разрушенных и поломанных вещей — в новый декоративный штамп». Маленький современный человек, в литературе дан удачно и неоднократно. Но служебные внутренние коллизии, художественно философская их трактовка, мучительные и глубокие процессы мира внутреннего, словом — «большой человек», человек во весь рост, явлен не был. А идя иным путем «ключ к современности» литература не найдет.

Изображая человека во весь рост, писатель будет наполнять его содержанием из мира в себе. Он не сможет скрыть своего духовного стержня, не обнаружить своего миропонимания и идеологически - художественной целенаправленности. Проступит за человеком во весь рост — автор во весь рост, его «самое главное», так часто скрываемые теперь личностью сказителей, ведущих повествование. Як. Браун и обвиняет современных писателей в том, что «они лишены героической воли к своему миру».

Нет, сказать — лишены — несправедливо. Они связаны, затруднены в проявлениях этой воли. Подробный анализ причин этой связанности вывел бы меня далеко за пределы литературного обзора. Но хотелось бы в заключение указать на следующее: к литературе со стороны или никто не имеет права пред'являть какие либо требования, или каждый вправе пред'являть — какие угодно.

Литература может слушать, что говорят о ней, может не слушать. Но никогда она не должна слушаться. Искусство, как и часть его — литература, может служить и служит орудием познания жизни. Следовательно, оно может быть и могучим орудием воздействия на массы, на их психику и укладку мировоззрения. Воздействует оно художественной правдой, синтетической правдой высшего порядка (иррациональной).

Оно аппелирует не к ломке. Эта правда никакой другой правде в ином плане (цели) служить не может. Художественное произведение для автора ценность самодовлеющая, сама в себе (и подлинная, реальнейшая реальность). Коль скоро оно начинает служить чему нибудь (по крайней мере сознательно), помимо художественной правды, т. е. становится для художника средством, а не целью, оно внутрен-

ний свой смысл уничтожает, обессиливается — цель берет все.

Вот почему творчество пролетарских писателей в корне дефективно. Они похожи на того коммуниста в рассказе Ольги Форш (Розариум), который возлюбленной своей говорит: «Паша, ты мне всего дороже в жизни после партийного билета». Для них творчество, художественная правда тоже — всего дороже в жизни... после партийного билета. Нет — наоборот. Этим то художник и отличен от политика.

Всем сказанным я отнюдь не утверждаю того, что грубо и неточно называется беспринципностью в искусстве — художественный пафос всегда должен иметь целенаправленность.

Ну, а «попутчики»? Попутчики психологически связаны, их творческий мир под давлением. Я вовсе не имею ввиду «свободу слова», в банально-демократическом смысле, — цензуру. Глубоким мыслям, подлинно художественным образом она не помешает. Попутчики дали много — всю новую литературу.

Но дать большое идейно обобщенное произведение, дать большого человека современности, перенесшаго духовный кризис и нашедшего выход в новое миропонимание — они не могут, не рѣшаются. И вот — почему. (Я не голословен, говорю не о своих настроениях — базируюсь на ряде статей). По словам М. Шагинян, они заканчивают «ликвидационный период европейского сознания». Возврат к старому мировоззрению немыслим. Каково-же — новое (будущее)? То, которое называет себя таковым — «научное» мировоззрение они принять не могут. Уже потому, что им не дается свобода выбора. «Научное» мировоззрение настаивает, что именно оно — новое, победившее, владеющее не только путями к истине (эпохиальной), но и всей полнотой истины, всей истиной, исключающей другое — новое. Если бы это было так, то новая правда, новый класс «закричал бы через нас», т. е. нерв современности, душу, ее художественная, правда вопреки даже воле художника, дала бы, не скрыла. Значит и не старое («буржуазное») и не это «новое» («коммунистическое»). Третье же, как будто, не дается.

И вот попутчики в нерешимости и на большое, идейно законченное, с новым духовным стержнем, не отваживаются.

Надо думать это — ненадолго. Свое сомнение они обратят в утверждение. Ведь голос нашего времени и есть — необходимость третьего, нового, рожденного из борьбы двух мировоззрений (обоих — старых). Русские писатели к новому миропониманию должны итти сейчас по целине.

На этом пути они будут не попутчиками, а теми, кем быть им надлежит в духовной жизни — путь указующими — вожатыми.

Александр Турищев

«НОВЫЙ МИР»

Книга вторая. Москва 1926.

Проза во второй книге «Нового Мира» открывается началом романа Михаила Пришвина «Юность Алпатова» (Четвертое звено романа «Кощеева цепь»).

Хороший писатель — Михаил Пришвин. Младший брат Алексея Ремизова. Только Алексей Михайлович все больше за столом, за книгами; выйти из дому — целое событие, и хоть не любит, а все больше в городах живет: Москва, Берлин, Париж. Михаил Пришвин — путешественник. Всю свою жизнь проходил по дорогам — из деревни в деревню. И оттого никто у нас так не умеет рассказать о деревьях, о травах, — о зайце или птице — об утре в лесу. Глаз у Михаила При-

вина — меткий, охотничий. В «Юности Алпатова» (в воспоминаниях Курымушки, потом Михаила Алпатова) есть один художник с волшебной палочкой. Волшебная палочка — простая, суковатая, но с ею художник — «*передвижник*» обходил всю Россию. После последней встречи с ним Курымушка прочел на дверях бани, где жил передвижник, надпись: «Ушел в Италию». Не нарисовал за всю свою жизнь художник ни одной картины, а мы запомнили его — большим, настоящим художником. Быть может и Михаил Пришвин не дал и не даст русской литературе ни одной большой книги, но у него волшебная палочка и мы знаем: какой настоящий художник — этот прекрасный русский путешественник.

По существу о «Юности Алпатова» Пришвина, так же, как и об интересной повести С. Сергеева-Ценскаго «Жестокость», мы поговорим, когда под этими вещами не будет надписи: «продолжение следует».

«Комар» же Вяч. Шишкова, целиком напечатанный, чуть скучноват, как комару и следует быть. «Есть комар злоядный: тихо, смирно подлетит и молча шпокнет. Он, бестия, совершенно не умеет петь, а вот вы, чего добраго, потом запоете». Немногим удается сказ, хотя в последние годы многих тянет к нему. Но когда прикасаются к нему Ремизов или Леонов, даже шутя («Записки Ковякина») — он радует. Когда же писатели другой части забредут сюда, легко угадать: случайный гость. Так Андрей Соболь (Первая книга «Нового Мира») — так и Вяч. Шишков. Хорошо, не спорим, — можно улыбнуться, можно сердечно пожалеть Ивана Ивановича — комара, — некоторые фразы прямо из сказа — верные (камертон хороший), —но, право, комар надоедливый.

Пантелеймон Романов, выдвигаемый ныне марксистской критикой, дал свой новый рассказ «Огоньки». Хоть и представляется случай поговорить о Романове, но мы лучше замолчим его, потому что на сей раз «Огоньки» лучше блестели бы в «Огоньке», чем в серьезном «Новом Мире».

Статья о Есенине Сергея Городецкаго многое теряет от развязности тона. «Уже вылито столько приторного меду на его могилу, что трудно сейчас писать о нем». После такого вздоха уже легче самому лить. Поэтому Городецкий иногда льет, иногда, наоборот, похлопывает по плечу «Сергуньку». Это — после смерти Есенина — «общесоюзная» болезнь.

А. Лежнев — в статье о современной критике — бичует многих и со слепу часто бичем попадает в себя. Странно, что ему не больно — скверный критик: не чувствителен. Вся статья о критике бездарна. (Пример блестящаго выпада против критики мы имели недавно: «Поэт о критике» М. Цветаевой в «Благонамеренном».)

Журнал «Новый Мир» — благороден. Он беднее «Русского Современника», бледнее «Красной Нови» — но честнее и ярче «Звезды» Некоторые страницы «Нового Мира» войдут в историю литературы: — Борис Пастернак. С.

Альманах «КРУГ»

кн. 5. Изд. «Круг». Ленинград — Москва.

Прежде всего — Борис Пастернак. Роман в стихах «Спекторский».

Большой поэт-лирик впервые пытует себя на большом материяле. Роман в стихах, следовательно — развитие сюжета и неизбежные отсюда последствия: в область привычной лирической стихии вводятся новые, неожиданные для Пастернака, эпические элементы.

У читателя сразу два вопроса:

1) Как справится поэт импрессионист с конструктивной частью романа (построение сюжета).

2) Как поэт-лирик осилит, стихийно ему чуждые, эпические пространства поэмы.

И вот так: О композиции вещи судить пока нельзя — вещь не окончена. В книге напечатаны три главы. По отдельным местам поэмы, направленным на развитие сюжета, можно догадываться, что поэма не удается.

Причин, обрекающих поэму на неудачу, много. Главная — крайняя импрессионистичность приемов.

Импрессионизм, как поэтическое мировосприятие, запатентованный Пастернаком в лирических стихах, становится совершенно непригодным приемом для написания поэмы. Импрессионизм по природе своей летуч. Эпос — монументален.

Пастернак не учел до конца силу сопротивления матерьяла, и тяжелые эпические пространства, ворвавшись в поэму, образовали бреши.

Любопытно следить, как Пастернак, очевидно, учитывая откуда грозит беда, пытается замазать описания.

«Их было много, ехавших на встречу.
Опустим планы, сборы переезд.
О личностях не может быть и речи.
На них поставим лучше тут же крест».

Еще Пастернаку не удаются диалоги. Вначале разговор происходит на санях и удачно прерывается ухабами:

«Не слышу! — Это тот, что за березой?
Но я ж не кошка, чтоб впотьмах...» Толчок,
Другой и третий, — и конец обоза
Влетает в лес, как к рыбаку в сачок».

Дальше, когда разговор происходит в комнате и ничем не прерывается, получается так: (для контраста привожу предыдущие стихи).

Леса с полями строятся в каре
И дышет даль нехолостою грудью,
Как дышат дула полевых орудий,
И сумерки, как маски батарей.

Как горизонт чудовищно вынослив!
Стоит средь поля, всюду видный всем.
Стоим и мы, да валимся, а после
Спасаемся под грудой хризантем.

. . . .

Послушайте! Мне вас на пару слов.
Я Ольгу полюбил. Мой долг — «Так что же?
Мы не мещане, дача общий кров.
Напрасно вы волнуетесь, Сережа».

Поэма явно не удается. Это чувствует и сам Пастернак:

«Висит и так на волоске поэма
Да и забыться я не вижу средств...»

Есть прием: в эпические стихи местами вводятся «отступления» лирической тональности, нечто вроде отдушин для поэта. Обычно «отступления» бывают лучшими местами. Так напр. у Пушкина в «Евгении Онегине» и в «Домике в Коломне». У Пастернака получается наоборот, ввиде «отступлений» даны эпические места. Вместо отдушины получилась задушина. —

Пастернак явно задохнулся в эпосе.

Роман напоминает «говорящие картины». Картины прекрасны, но разговоры за сценой — поражающе нелепы.

И с поправкой на метафору: от поэмы остаются только стихи высокого поэтического мастерства.

Об Андрее Белом было известно, что он пишет роман из московского быта. В книге напечатан отрывок из романа «Москва». Начинается глава так:

«И вот заводнили дожди.

И спесивистый высвист деревьев неслышался: лист пообвеялся; черные россыпи тлелости — тлели мокрелями; и коротели деньги, протлевая...»

И сразу становится ясным, что ничего не произошло.

Андрей Белый, несмотря на московский быт, остался прежним: пишет ритмической прозой.

Но вот что для Белого неожиданно и это даже не от московского быта, а непосредственно от Игоря Северянина.

Напечатанный отрывок (62 страницы) изукрашен подозрительными словообразованиями и уменьшительными словами. Вначале думается, что это стилизация под героя, но чем дальше, тем очевиднее, что все эти «роскошества» ни к одному из героев персонально не относятся и составляют нарочитое, настаивающее на себе, качество стиля.

Такие уменьшительные, как: «гирляндочка», «золотенький», «дуэтиком», «изумрудиком», «волосик», «кабинетиком», «хлопочечки» и т. д. — неиссякаемы.

А фразы такие:

«Пальцы дергунчики выбарабанивали дурандинники...» (стр. 44). «Лизашка откликнулася — круглолицая, с узеньким носиком, с малым открытым ротиком, с грудашкою (вовсе не грудкою) (!) встала, пошла — узкотазая; бледная; и — небольшого росточка...»

«И тотчас слетела почти к нему в руки, развивши по ветру манто, завитая блондинка (сквозная вуалечка); губки — роскошество; грудь — совершенство; рукой придержав в ветер рвущуюся, легкосвистную юбку, прохожим она показала чулочки фейль-морт, бледно-розовый край нижней юбки вспененный каскадами кружев».

Через несколько строк:

«Самокрылою прядью с нее отвивалось манто; складки шелка дробились о тело; огромная шляпа подносом свивала огромные перья; прическа — куртиночка; вся — толстотушка; наполнилась комната опопонаксами:

– Эва Ивановна: вы ли?

Профиль — божественность; грудь — совершенство».

. . . .

«Груди ее были — тряпочки; ножки ее были — палочки; только животик казался бы дутым арбузиком...»

О романе ничего не скажешь — в книге он не окончен. Читателю предоставляется право делать собственные выводы по приведенным отрывкам.

Так А. Белый, преумножась московским бытом, в произведении дал Игоря Северянина.

Кроме А. Белого и Б. Пастернака в альманахе напечатаны: И. Рукавишников — «Ярило», две песни из поэмы , написанные напевным стихом; Г. Чулков — кинжал, рассказ; С. Клычков — «Два брата», (отрывок) и Б. Пильняк — «Заволчье», повесть.

Повесть Б. Пильняка ничем не разнится от прежних его рассказов. Вначале много эпиграфов из географических книг и об'яснение слов по Далю. Затем лирическое отступление и ссылки на географические исследования полярных экспедиций; потом формулы, опять лирическое отступление и наконец — «коэфициент «абсорбации» света в морской воде». В заключение читатель узнает, что повесть была написана в «Узком», 14-ая верста по Калужскому шоссе. 9 янв.-2 мар. 1925 г.

Д. РЕЗНИКОВ

«ЗВЕЗДА» № I

Литературно-общественный журнал. Госиздат. Москва. 1926. (270 стр.).

«Звезда» — первая книга этого года — очень тусклая. Повидимому, она на закате.

Сто двадцать страниц художественной прозы можно вовсе не разрезать. «От Желтой реки», Аросева до «Починки» Чернокова, одна пустая «Земляная порода» Коробова. После Пильняка и «пильняков» нам очень скучно читать, что «в жизни много годов» и «что каждый год: весенняя победа — летнее торжество — осеннее поражение и зима». Кому из трех авторов принадлежит та или другая страница, и какой «породы» или с какой «реки» Платон, Назар или Епифан (герои трех повестей), — определить трудно, да и определять не стоит. Все они — вполне благонадежные коммунисты с «партбилетом в себе», с одним и тем же запасом слов, чтоб далеко не ходить взятых прямо из «Известий» и «Правды», — а если и есть кой-какие сомнения и душевные неурядицы, то тоже вполне благонадежные — с разрешения Г. П. У. Весь этот «художественный» материал редакция «Звезды» могла бы свободно отнести в конец журнала — в отдел «провинциальные картинки» или «голоса с мест» милых рабкорских недорослей. Мы же ничего не потеряем, если вообще отнесем всю прозу за обложку журнала.

Останется немного, но об этом немногом следует сказать больше. Одиноким — среди двадцати страниц подобранных в рифму строчек — стоит стихотворение Н. Клюева. Бодрость и сила — несмотря на некоторое, неожиданное, созвучие с Волошиным — дают ему право на существование. С трудом удерживаюсь от цитат.

А. Безыменский — слава которого измеряется больше ловкостью рук, чем пера (во время успел взять патент на «партбилет в себе») — на этот раз воспользовался «Звездой» только для того, чтобы поделиться с нами своей любовью к шахматам, как еще не так давно любовью к своему сыну и компартии. Поэма «Шахматы» построена настолько «ново и своеобразно», что грех не поделиться ею. Во-первых, мы узнаем, что шахматы напоминают жизнь (это глубокое откровение — магистраль всей поэмы, по термину московских конструктивистов), во-вторых, что некоторые люди — пешки («изолированных», понимай: интеллигентов или попутчиков) — и еще, что кони Буденного напоминают коней на шахматной доске. Идеологическая магистраль поэмы:

> Восстанут фабрики, поля
> И в вихре бешеной погони,
> Штыком вонзившись в
> грудь короне,
> Прикончат
> Короля.

После скверного шахматиста выступает М. Герасимов с «Песенкой» и, повидимому, с гармоникой. Тема у него всегда одна и та же: любовь «в общем и целом» в первомайские дни пролеткультуры. Жалкий сентиментализм с розами, «майскими жуками», с косичками, втиснутый в гарь и дым фабрик. Статичность поэта вместе с камаринским — каждый час и на том же месте — порукой тому, что ждать от Герасимова больше нечего.

К ста двадцати страницам с горечью прибавим и эти двадцать за исключением одной — Клюева. Еще: 130. Из них, все остальное предоставив политическим спецам и напостовцам, выделим прекрасную интересную статью, оправдывающую выход всего журнала: «Из истории создания произведений Ал. Блока», Павла Медведева. Это первая серьезная работа в изучении рукописей Блока (пока только «Двенадцати», «Скифов» и «Соловьиного Сада»). Рукописи разобраны с тщательностью, любовью и зоркостью, которые мы находили до сих пор только у наших лучших пушкинистов.

С.

Gilson. LE THOMISME

2-ое издание, дополненное и исправленное. Paris, 1922.

Книга Жильсона называется — Введение к системе св. Фомы. Действительно Жильсону удается представить философское учение Фомы Аквинского, как строго законченную и последовательную систему, как настоящее «миросоззрение». Мир св. Фомы — строго организованная иерархия: Бог, различные ангельские чины, человек, животные, растения и т.д. Каждое существо занимает в нем строго определенное место; каждое обладает присущим ему «по чину» совершенством, бытием, познанием. Местом человека в этой иерархической лестнице и определяется его природа и его основные свойства: человек есть animal rationale mortale, наивысшее из существ телесно-душевных, наивысшее из существ духовно-душевных. Телесность также, как и духовность его одинаково необходимые, конститутивные моменты. Человек не дух, владеющий телом; не дух заключенный в тело, как в темницу. Он по сущности своей духовно-телесное существо, totum compositum, стоящее между мирами чистых духов (ангелов) и неразумных животных. Он *обладает* духом и разумом, но не есть ни дух, ни разум, также как обладает телом, но не есть тело. Пропасть, отделяет его от ангела, чистого духа, непосредственно или посредственно созерцающего Бога; человеческий разум tabula rasa, на которой чувственное восприятие пишет свои письмена и который сам совершенно неспособен делать что-либо иное, как путем абстракции, из чувственного материала формировать общие представления, как и полагется дискурсивному разуму телесно-духовного существа. Такое существо не может иметь идеи Бога — и может только путем абстракции, основываясь на принципе причинности, дойти до необходимости признания первой причины всего существующего, вершины иерархической лестницы. Нет и не может поэтому быть никакого иного доказательства, кроме апостериорного — ratione quia, и должны быть оставлены априорные доказательства ratione quod.

Место, которое св. Фома определяет человеку в мировой иерархии, как видим, очень невысоко,— но с другой стороны именно благодаря абсолютной недоступности и трансцедентности Бога, благодаря невозможности непосредственного воздействия света божественной истины на наш разум, отстутствию в нем каких-либо врожденных идей — разум человеческий приобретает самостоятельность, которой он не имеет ни у августинцев, ни у аверроистов. Деятельный интеллект становится частью человеческого индивидуального разума.

Жильсон оттеняет характер активности разума в системе св. Фомы, примат деятельности, действия в его этике. Ничего не дано — все должно быть добыто, сделано, сформировано — и познание, и habitus'ы мысли и добродетели.

Система св. Фомы, по мнению проф. Жильсона, является в истории мысли одним из наиболее знаменательных событий, одним из поворотных пунктов развития западной мысли. В ней выразилось новое отношение человека к миру и Богу; новое отношение его к самому себе. Бог из имманентно присутствующего в мире, в нем символически выражающегося творческого добра, «более близкого душе, чем она сама», стал трансцедентным его творцом, его далекой, вечной первопричиной. Мир, бывший только образом божественной славы, стал противопоставленным Богу-творцу самостоятельным бытием; новую самостоятельность почувствовал в себе и в миру стоящий человек; он сам, своими силами и действует и познает. Разум человече-

ский поэтому получает формальную независимость от веры; философия отделяется и высвобождается из под власти теологии. Пусть слаб человеческий разум — но то, что он познает, он познает сам, самостоятельно, sua sponte, в силу ему Богом дарованных способностей и свойств. Пусть несовершенно чувственное восприятие и рационально-абстрактное познание — это единственный вид знания, присущий телесно-духовному существу.

Понятно каким переворотом в мироощущении средневековья явилось учение св. Фомы: не в рецепции Аристотеля роль Аквината, а в том, что он дал этому новому самосознанию человека блестящее и законченное выражение. И поэтому очень глубоким мне кажется парадоксальное на первый взгляд утверждение проф. Жильсона, что *новая* философия должна признать своим отцом св. Фому Аквинского, ибо впервые в христианском мире была им провозглашена автономия философии и автономия человеческого разума. Хотя и сравнительно краткая, книга Жильсона является одним из самых полных и точных изложений томизма, существующих в современной литературе. Мы не будем входить в критику положений автора — в краткой заметке это, конечно, невозможно. Нам кажется все-же, что Жильсон быть может переоценивает роль св. Фомы и приписывает ему слишком большую оригинальность. Огромное историческое значение св. Фомы, его неподражаемый систематический талант, несравненная ясность изложения и мысли — безспорны Но не следует упускать из виду, что все почти основные положения его учения уже до него были выработаны арабской и еврейской философиями. Аверроес и Маймонид уже до Фомы выразили новое отношение человека к Богу и миру; задолго до Фомы были разработаны и *все* его доказательства бытия Божия Александром Афродизийским и св. Ансельмом; быть может преувеличивает проф. Жильсон и систематическое единство учения и его независимость от положений *данных святому* Фомѣ интуицией веры. Личность Фомы Аквинского была глубже его учения, и быть может лучше всего выразилась не в том, что он написал Summ'у Theologiae, а в том, что он, не внимая мольбам учеников, не закончил труда своей жизни. Ибо все это — так сказал за несколько месяцев до своей смерти св. Фома, указывая на груду рукописей — sunt mihi ut pallea.

H. Bergson. LE TEMPS ET LA DURÉE (XVIII+241)

2 éd. 1925. Paris, F. Alcan. 1922.

Среди многочисленных работ, посвященных философами и не философами изложению и критике теории относительности, небольшая книга Бергсона, занимает выдающееся место. Значение ея не только в том, что знаменитый философ определяет в ней свое отношение к этой, революционировавшей научное мышление последних лет теории; не только в том, что по поводу теории относительности он часто дает более ясную и точную — может быть даже отчасти и модифицированную — формулировку собственных воззрений на природу пространства и времени но главным образом в том, что не останавливаясь на формулах на внешней, парадоксальной стороне доктрины, он пытается *понять* ея философское значение и смысл.

Казалось бы эта задача является первой и основной задачей философа, желающего разобраться в той серии проблемм, которые подняты — или вновь поставлены на очередь теорией относительности; в действительности однако, большинство из писавших по данному вопросу ограничивается или поверхностной

критикой плохо понятых положений, или критикой, а часто и просто изложением той — очень наивной и сумбурной — философии, которую и сам творец теории, а, главным образом, его последователи и ученики формулируют по поводу теории относительности, незаконным образом, смешивая ее с сей последней; или же пытаются доказать, что плохо или хорошо понятая теория относительности согласуется или по-крайней мере не противоречит их собственной философии — будь то позитивизм или неокантианство. Бергсон является одним из немногих пытающихся понять *философский смысл* и философское значение теории, хотя, конечно, и он пытается применить к анализу теории относительности данные и методы его общего анализа научного познания и научной действительности.

Мы не станем утверждать, что Бергсону вполне удалась его попытка. Нам кажется, что коренная ошибка его заключается в том, что он ограничился анализом так называемой *частной* теории относительности, не обратив внимания на то, что частная теория относительности давно уже заменена *общей*, что самый смысл ея вполне раскрывается только при анализе этой последней.

Неожиданным и, может быть, даже парадоксальным может показаться тот факт, что в данной работе Бергсон выступает определенным и решительным сторонником идеи *единого* реального пространства и *единого* реального времени, общаго для всей мировой действительности. Быть может это и не является новшеством в его учении — так, по крайней мере, заявляет он сам, ссылаясь на предисловие к *творческой эволюции* — во всяком случае, никогда до сих пор он с такой решительной определенностью этого не высказывал.

По мнению Бергсона — и совершенно правильному, как нам кажется — теория относительности не только не разрушает этого представления о едином времени и едином пространстве, но, наоборот, предполагает его на каждом шагу, непонятна и немыслима без этого предположения. И вообще — теория относительности, не только не имеет ничего общего с какой-либо относительностью в философском смысле, но и является в действительности теорией глубоко абсолютистской, прямой наследницей и завершением картезианского учения. Об абсолютном значении пространственных измерений, попыткой реализации мечты Декарта de reductione physicae ad geometriam, являющейся по мнению Бергсона, выражением истинного смысла и истинной сущности научного познания.

Блестящий анализ роли пространственных представлений в науке мало, впрочем, прибавляющий к тому, что уже было дано Бергсоном в его предыдущих трудах, сравнение с динамической физикой Ньютона, позволяют ему прецизировать свою мысль. Действительно, для Ньютона только пространственные измерения, сделанные с точки зрения абсолютно неподвижного, внемирового, божественного наблюдателя могли претендовать на абсолютное значение. Все прочие, человеческие, земные наблюдения могли дать лишь относительные величины, могли претендовать лишь на относительное значение. И можно сказать, что весь вековой спор об относительном и абсолютном движении сводится в конечном анализе к безнадежной попытке выбраться из тисков дилеммы: абсолютной необходимости иметь абсолютно неподвижную точку зрения, точку О системы координат и абсолютной же невозможностью определить таковую.

Уничтожая необходимость этого абсолютного начала координат, провозглашая абсолютную эквивалентность всех систем координат, теория относительности делает последний шаг на длинном пути освобождения пространства — от Аристотеля до Эйн-

штейна. Уничтожением необходимости (идеальной) относить все измерения к точке зрения божественного наблюдателя теория относительности не только не релятивирует *всех* наших измерений и наблюдений, но, наоборот, *всем* им дает абсолютное значение. Оставаясь инвaріантными при всех изменениях системы координат, они тем самым являются абсолютными. Теория относительности, таким образом, не разрушает, а, наоборот, доводит до своего логического завершения идею абсолютного времени и абсолютного пространства. Каким-же образом совместить с толкованием Бергсона обычные, с такой любовью и гордостью излагаемые физиками и философами-релятивистами, парадоксы, якобы следующие из теори относительности, о сокращении тел, о замедлении течения времени и т. д., долженствующие, по их мнению, показать непригодность и неприменимость «старого» понятия о времени, необходимость заменить его «новым».

По мнению Бергсона все эти парадоксы кажущиеся. Все они основаны на смешении реального времени реального физика с воображаемым временем фиктивного лица. Все они основаны на незаконной и ненужной реализации фикции. Часть книги, где Бергсон анализирует и об'ясняет парадоксы теории относительности является самой блестящей и интересной частью работы. С необычайным искусством, следуя своему обычному методу постоянной постановки под формулы скрывающегося за ними содержания, ему удалось шаг за шагом построить теорию частной относительности, вывести ея главные формулы, ни разу не прибѣгая к методам математической дедукции, всюду выясняя их реальный, физический смысл, всюду анализируя процесс мысли мыслящего и выводящего их физика. Вот вкратце результат к которому он приходит: реальный, hic et nunc находящийся физик А, производящий свои измерения в реальном (для него) времени и пространстве, строит фикцию движущегося по отношению к нему, являющемуся для самого себя неподвижным, другого физика А[1], фиктивное время и фиктивное пространство, которого он и может по своему желанию (т.е. согласно формулам) «растягивать» и «сжимать». Но стоит ему — или нам — отожествить себя реально с этим фиктивным лицом, как «растянутое» или «сжатое» время и пространство сожмутся или растянутся и станут совершенно тожественными тому времени и пространству, которое *было* его. Весь смысл теории относительности именно в том и состоит, что она позволяет нам утверждать с полной уверенностью, что реальное пространство и реальное время реального физика А[1] вполне тождественно А, есть то же самое Т; фиктивный же характер Т[1] (приписываемого нами фиктивному А[1]) в достаточной мере явствует из того, то его «растянутое» время «заполнено» теми же самыми «событиями», что и наше, и что в (фиктивный) интервал между Т и Т[1] невозможно «поместить» ни одного нового факта. Все парадоксы об'ясняются неприятием во внимание фиктивного характера Т[1], приписыванием реальности этому вспомогательному построению мысли.

Не место, конечно, в краткой заметке давать критику замечательной книги Бергсона — мы указали выше на основную, по нашему мнению, его ошибку. Ключ к философскому истолкованию теории относительности лежит *в общей теории* относительности, в новом учении не о времени, а о пространстве. Бергсон прав, сближая теорию относительности с картезианским пангеометризмом, но столь же закономерно сближение ея с учением Лейбница, ибо согласно Эйнштейну, Эддингтону и Вейлю, находящиеся в мире тела *изменяют структуру пространства*, давая ему ту или иную определенную кривизну. Правда, с другой стороны, и сами тела являются лишь «мортинами» в

моллюскообразном» пространтве. В этой двойственности и лежит особенность и философская значительность теории относительности; но разсмотрение того вопроса слишком далеко завело бы нас.

Отметим, что Бергсон не уяснил себе в полной мере двойственной роли света в разбираемой им частной теории относительности. Он не заметил, что будучи мировой константой и конституирующим природу формально онтологическим моментом, свет в то же время является *реальным процессом* этой природы; поэтому нельзя, как это делает Бергсон, отрицать *реальных*, утверждаемых теорией относительности, изменений, вызываемых в телах движением системы, к которой они принадлежат. Пусть эта двойственная роль света противоречива и парадоксальна, но под предлогом освобождения теории от противречий и парадоксов, нельзя упускать из виду реализма свойственного теории относительности, как и всякой физической теории. В недостаточно ясном понимании этого, в чрезмерном офилософствовании теории — основная ошибка Бергсона.

А. Койрэ

ПО АЗИИ

(Факты и мысли)

Genitrix gentium...

***

J. Castagné. Les Basmachis, Paris, Leroux, 1925. — Lieut. Col. P. T. Etherton. In the heart of Asia, London, Constable & Cr. Ltd, 1925. — Asmis. Als Wirtschaftspionier in Russisch-Asien, Berlin, Stilke, 1924. — Ella R. Christie. Through Khiva to Golden Samarkand, London, Seeley, 1925. — F. Goetel. Kar-Chat; Patnik Karapeta; Ludzkosc; Warszawa, 1922, 1923, 1924.

***

Пути и перепутья Азии, сливающиеся и скрещивающиеся с путями России, должны быть измерены в наших верстах; осознаны в русской евразийской мере и устремлении. Мерно идут мягкими ступнями степенные бактрийские верблюды, мохнатые, двугорбые, важные, задумавшиеся. По извивающемуся и теряющемуся в пыли горизонта степному тракту несется почтовая тройка. Убегают в даль рельсы-скрепы, от густо населенных русских промышленных областей на азиатский простор. Захлопали лопасти парохода там, где нырял среди волн челн туземца. Медленно, потом скорее, все более быстрым темпом (перелеты: Москва-Пекин, через пустыню Гоби; Ташкент-Кабул через хребет Гиндукуш, «Индуса убивающий») устанавливается русско-азиатский обмен, оборот. В свой круговорот, вместе с людьми и товарами, он втягивает идеи, вводит новые понятия, создает потребности, возбуждает любознательность.

Мир стал похож на голову всклокоченного негра, говаривал Саади, персидский поэт, побывавший в плену у крестоносцев. Взволнованная войной и революцией азиатская стихия опять расколыхалась; мы находимся лицом к лицу с массами, утерявшими равновесие, и в направлении их скольжения. Если суждено быть обвалу, то следует, чтобы он не стал препятствием на наших азиатских путях. Будем чутки и зорки. Версты на дальних путях не должны быть занесены обвалом.

Это вовсе не перепев пресловутого — народы Европы, берегите свои священные блага. Не жест недоверия, но протянутая рука. Мы не противупоставляем себя Азии; мы сознаем себя в ней самой во многом; мы хотим соразмерить наши чаяния с ее

надеждами; мы искренне желаем, наконец, чтобы разумный интерес к Азии у русских перестал быть достоянием небольшого круга посвящающих себя ее изучению лиц. Чтобы он оживился, стал полнокровным, насущно необходимым; чтобы более широко и глубоко захватил нашу общественность, до сих пор слишком мало уделившую ему внимания. Чувствуется, что нашей общественности много нужно наверстать в Азии, где столько благодарной почвы для доброй воли и живого ума.

Гупое монгольское ы, навевающее тоску; чувство страха, ощущаемое от азиатского искусства (даже мусульманского, т. е. средиземноморского); противупоставление четкой остроты Вольтера азиатской расплывчатости. На эти, случайно вспомнившиеся из эмигрантских чтения, черты интеллигентской нашей обращенности к западу, кажущейся нам кем-то навязанной, механической, искусственной, мы отвечаем. Пусть тупое и монгольское ы: оно наше родное, с нами от колыбели до могиль. (вырыта заступом...): оно придает своеобразную полноту нашим гласным; мы рады были ему в звуковом строе турецкого языка. Страх от азиатского искусства? Нас пугают мраморные статуи в католических храмах, а темные лики икон, фрески в мерцании лампад близки нашему душевному строю. Они от Азии, как и образы: Гумаюн, птица вещая; Феникс; Сивка-бурка, крылатый конь, восходящий к скифской символике. — Фернейский философ, четкий, но и все раз'едающий! Страстное искание божественной истины у пантеистов персидских суфиев более созвучно нам. Наш Иоасаф тот же Бодисатва.

Словом: в более тесном соприкосновении с Азией, в общении с нею, мы приникаем к источникам питавшим и нашу историю. Мы не можем безнаказанно забывать, что наша обращенность к Азии есть определяющий факт развития наших судеб. Мы должны ясно сознавать откуда ведут счет наши версты. Пути нашего культурного развития не могут быть вне Азии разведаны с достаточной точностью. Позже всех других, ею вспоенных народов, выделившись из ее лона, мы связаны с родительницей народов Азией органически.

Мы ищем азиатскую действительность. И мы хотим утвердить к ней свой подход: не Азия с оттенком снисходительности, а Азия подпочва всей прошлой и арена завтрашней истории. Сказанным определяется отношение наше к предмету, которым мы хотим заняться в данной статье, рассматривая сочинения перечисленные в подзаголовке.

***

Мы намеренно не касаемся здесь работ, появившихся на восточные темы в России. Востоковедение там не переставало работать. Отражаются эти темы и в литературе. Это движение было уже охарактеризовано (см. «Современные Записки» за подписью В. Ф. М.).Мы сгруппировали несколько не русских сочинений, разнящихся, как по языку, так и по личностям авторов, но об'единенных трактующейся в них темой — русские азиатские области во время революции и гражданской войны. Небольшая книжка Ж. Кастанье обнимает наиболее длинный период времени, от октября 1917 г. по октябрь 1924 г. и представляет собой тщательную сводку газетного советского материала о движении басмачей. Автор прекрасно владеющий русским языком, долго живший на азиатских окраинах России и опубликовавший ряд работ по этнографии и археологии, дополняет газетные сведения своими личными воспоминаниями. К получившемуся таким образом об'ективному справочнику приложен список главных басмачески[х] вождей и тщательно выполненная карта Средней Азии, облегчающая понимание текста, но [в] смысле административно-поли[тическом]

гического деления областей уже успевшая устареть. Книга Асмиса является результатом двух служебных поездок этого высшего чиновника Министерства Иностранных Дел, предпринятых в 1922 (Дальний Восток) и 1923 (Ср. Азия) годах с определенной целью выяснения перспектив экономической деятельности Германии в русской Азии и смежных областях. Книга богата фактическим материалом, главным образом, по экономическому состоянию обследованных районов, а также содержит попутные указания обще-политического характера, которые не лишены интереса. В отношении Дальнего Востока — это последние месяцы дальне-восточной «демократической» республики; момент ухода японцев: Монголия уже свободная от Унгерна, но в ней еще не провозглашена республика. Наконец, это медовые месяцы Рапалло. В Средней Азии — разгар басмачества. — Английский Ген. Консул в Кашгаре Etherton знакомит нас с своей четырехлетней работой (1918-1922) в Китайском Туркестане и его свидетельство для нас тем более важно, что помогает уяснить некоторые стороны английской политики на непосредственных подступах к Индии, так как она понималась и осуществлялась полковником индийской армии. Как известно, многие английские консульские посты, имеющие стратегическое значение на Среднем Востоке, замещаются военными, подчиненными индийской короне, а не Foreign Office'у. Наряду с этим политическим материалом, мы находим у Etherton'a очень много данных по краеведению. Насколько труд Асмиса обладает всеми типично-немецкими чертами добросовестной подробности, настолько и эссертоновская книга отражает прежде всего спортивный характер англичанина, который не упускает никогда случая отметить побитый им рекорд высоты и трудности взятого перевала, с особой тщательностью описывает все, что касается охоты или верховой езды, но становится поразительно малословным, когда мы хотели бы узнать подробности политической его работы. Она касается того времени, когда английские сипаи, совместно с туркменами, занимают фронт у Чарджуя, когда Афганистан освобождается (1919) от английской опеки, а на севере ген. Дутов отступает в пределы Китая. — Вышедшая в свет, почти одновременно с работой Эссертона, книга Мисс Элла Крайсти относится к периоду до войны и, представляя собой в сущности довольно поверхностный путевой журнал первой англичанки, побывавшей в Хиве и Бухаре, дает нам обильный фотографический материал, которого так не достает у Эссертона, и добросовестное описание памятников искусства Ср. Азии. Совершенно особое место среди рассматриваемых книг занимают сочинения молодого польского писателя Ф. Гегля (Ferdynand Goetel). Австрийский поляк, задержанный в Варшаве после об'явления войны, он попадает в Туркестан в качестве гражданского пленного и ему удается вернуться оттуда на родину не без приключений через Персию и Индию только в 1920 году. В целом ряде повестей и рассказов он, в очень живой и увлекательной форме, впадая может быть иногда слегка в стиль революционного лубка, вводит нас в переживания своих героев, относящиеся по времени к событиям, которые лишь сухо зарегистрированы у Кастанье, Асмиса и Эссертона. Вашему воображению удается, таким образом, заполнить живыми фигурами обстановку, обрисованную у других авторов, переживать волнение за людей, попавших в условия, граничащие подчас с фантастикой. Нам кажется, что Гетэль заслуживает более подробного ознакомления с ним русской читающей публики. Его повесть «Kar-Chat» выходит во французском переводе. Рассказ «Ludzkosc» был напечатан в Mes-

sager Polonais (газета издающаяся в Варшаве на французском языке). Мы в нем знакомимся с житейской философией горького скептика, находящего утешение в самоотверженной дружбе. Фабула: бегство через Персию из Туркестана.

***

Работой Кастанье удобнее всего начать наше странствие по Азии периода революции, так как она дает нам хронологический скелет событий, которые мы встречаем и у других разбираемых нами авторов; схематический чертеж для нанесения дальнейших, даваемых другими, подробностей. Кастанье посвящает первый отдел «Этапам Тюркского национализма в Средней Азии» и относит его зарождение к концу XIV в. когда «Тимур Ленг решил заменить персидский язык административных актов языком джагатайским, восточно турецким. Этот тюркский национализм не перестает обнаруживаться в различных видах вплоть до того, как русское вторжение прекращает его развитие» (с. 5). Но и после завоевания Средней Азии русским властям пришлось убедиться, что настроения мусульманского населения подчиняются своим импульсам, которые, очевидно, не были достаточно учитываемы, как показало Андижанское восстание 17 мая 1898 г., поднятое Мадали Ишаном. Полуграмотный Ишан и его сподвижники обвиняли русских не в притеснении населения, а в способствовании его нравственному падению и религиозному безучастию. «Тело благоденствует, но душа погибает. И тогда голос с неба мне повелел действовать, дабы избавить мусульманина от этого предательского благополучия, которое является концом царства Мохаммеда и его Закона», приводит Кастанье цитату из Салькова (Восстание в Андижане 1898). Он отмечает затем, что вплоть до войны, спокойствие в крае больше не нарушалось, но с прибытием туда пленных немцев и австрийцев антирусская пропаганда усилилась. Под ее влиянием, а также вследствие мобилизации туземцев для отбывания трудовой повинности на западном фронте, вспыхнуло восстание в Джизаке 14 июля 1916 г. Восстание в Джизаке и в части Самаркандской области едва не повлекло за собой общего восстания во всем Туркестане. «Не будь жестокой репрессии карательного отряда ген. Иванова, Фергана провозгласила бы священную войну. Влияние ее отразилось бы на Бухаре; находясь в то время там, я видел беженцев из Области Самарканда. Центром движения были Джизак и Заамин. Разрушение было большое, восстание ужасающее. От Самарканда до Урсатьевки... все станции были более или менее повреждены... Служащие на линии и на станциях, не имевшие времени бежать, были перебиты... Преследуемые казаками, повстанцы скрылись в Фергану по хребту гор, окружающих бассейн Зерафшана. Некоторые перешли в Бухару». Во всяком случае порядок не был еще восстановлен вполне, когда революция 1917 года принесла с собой эмансипацию национальностей, особенно с момента водворения большевистской власти, провозгласившей право самоопределения вплоть до отделения.

Вводная часть работы Кастанье устанавливает следовательно определенные предпосылки для басмачества, еще до революции имевшего, якобы, некоторые корни в настроениях мусульманского населения, обострившихся вследствие неосторожных мер властей во время войны. Отдавая себе отчет по личному опыту в Персии в возможности использования доверчивости мусульманской среды для панисламской пропаганды, умело организованной германцами во время войны, мы менее склонны считать обоснованным термин «тюркский национализм», употребляемый автором в применении к туранским элементам нашей средней Азии

[П]антуранская идея вряд ли тогда имела действенную силу по ту сторону Каспия и если мы в настоящее время находим ее отзвуки в Венгрии и Турции, то они нам представляются скорее явлениями интеллигентской кружковщины и некоторой литературной моды. Мы будем иметь впрочем случай отметить ниже некоторые черточки встречающиеся у Эссертона и Асмиса.

Во второй части Кастанье переходит непосредственно к своему предмету, начиная с рассмотрения антисоветских организаций в Туркестане. Уже в декабре 1917 г. полковник Зайцев, с казачьими частями, уходившими из Хивы и Персии, выступает против большевистской власти в Чарджуе и образует временное правительство автономного Туркестана. Басмачи присоединяются к контрреволюционерам и бывший до сих пор сравнительно спокойным край становится ареной гражданской войны. Басмаческие шайки «были в начале сборищем преступников, которых Временное Правительство вернуло обществу, широко открыв тюрьмы». Автор различает однако в антисоветском движении собственно - белогвардейское и туземное, в котором руководящую роль играют басмаческіе главари, а также офицеры из туземцев. Оба эти течения «гармонируют одно с другим, но не смешиваются». Так в Чарджуе образуются два Правительства, русское и туземное. Казаки (семиреченские?), спешащие домой, передают вскоре власть последнему и уходят на Самарканд, где их разбивает и разоружает большевистская колонна Колузаева, укрепляющая советский режим в Самарканде. Одновременно с указываемыми событиями, в Коканде открывается IV областной Мусульманский С'езд, приведший к образованию Временного Автономного Правительства Коканда и Туркестана (10 дек. 1917 г.), состоявшего почти исключительно из представителей мусульманской интеллигенции. Угрожаемое большевиками, которые к тому времени овладели положением в Ташкенте, Правительство это*) вступило в переговоры с басмачами, взывая к их национальному чувству. Одним из первых отозвался Иргаш, вождь крупной шайки, назначенный курбаши (военное звание времен независимых ханов) — Коканда. О нем говорится и у Эссертона. За ним последовали Хамдан, Ислам Кул, Мадамин Бек, Хол Худжа и т. д. с их приверженцами, ряды которых быстро пополнялись туземным крестьянством. К национальному моменту присоединяется экономический. В самом деле, и Кастанье может быть следовало бы больше подчеркнуть этот факт, что население, угрожаемое голодом, вследствие прекращения подвоза хлеба, перейдя к посеву хлебных злаков в ущерб хлопководству, вызвало образование избыточного безработного сельского населения (т. к. хлебопашество требует гораздо меньше рабочих рук чем хлопководство). Отсюда же становится ясным, что для изжития басмачества необходимо было прежде всего восстановление нормального хозяйства края. Мы только вскользь указываем тут на эту тему, играющую существенную роль в экономике средней Азии, и о которой много говорит Асмис. По Эссертону англичане очень боялись, что хлопок попадет немцам. Итак, басмачи превращаются в носителей известного идеала и националь-

*) Правительство это было очень кратковременно. Коканд был залит кровью и сожжен большевиками (30 янв.-6 февр. 1918). Как указывает Кастанье, программа кокандских автономистов, опубликованная в Новом Востоке (№ 4, 1923 г.) отличается от принципов изложенных одним из автономистов, М. Чокаевым. Вот эта программа: 1) Восстановление кокандского ханства, 2) об'единение всех мусульман для борьбы с хри-

ных героев, даже в «Муджахидов», т. е. сподвижников Священной войны («Джихад») против большевизма. В то же время растет озлобление и против всех не-туземцев вообще. К движению присоединяются даже некоторые сотрудники советской власти: в 1921 г. председатель Туркестанского Исполкома Джанзаков; влиятельный член народного суда Мулла-Садр-од-Дин Хан. Сотрудничество большевиков с армянской организацией Дашнакцутюн в подавлении басмачества усилило недовольство мусульманского населения. Басмачество развивается и организуется. Отдельные главари занимают определенные районы. Они не препятствуют оросительным работам (это подтверждает и Асмис); назначают должностных лиц; советская власть признается только в городах вдоль ж. д. линий.

В августе месяце 1918 г. в Ташкент прибывает специальная английская миссия в составе полк. Бэйли, капитана Блэкера и генер. конс. в Кашгаре Сэра Джорджа Макартни.*) Кастанье воспроизводит данные совнечасти, относящиеся к 1922-23 г. г., согласно которым эта миссия заключила соглашение с русской антисоветской организацией в Ташкенте, возглавлявшейся ген. Джунковским. Англичане обязывались помочь оружьем, деньгами и, в случае надобности, людьми. По свержении советской власти Туркестан, автономная республика, подчинится исключительному влиянию Англии. Одновременно было заключено соглашение и с видными басмачами (Иргаш, Ишмет и др.), поступившими на службу к названной организации. Полковник Зайцев посылается в Фергану в качестве начальника штаба организующейся белой армии. Он устанавливает связь с Эссертоном в Кашгаре (у которого мы, однако, не находим упоминания его имени). Тогда же (сент. 1918 г.) прибывший от Дутова есаул Юдин заключает с басмачами договор об образовании Восточной Федерации, имеющей состоять из оренбургского казачества и мусульманского населения Ферганы и Сыр-Дарьинской области. Договор этот был послан Эмиру Бухарскому, присоединившемуся к нему при условии, что он будет гарантирован от вторжения красной армии. Говоря про Ташкентскую миссию англичан, следует упомянуть, что еще летом, 25 июня 1918 г., девять большевистских комиссаров было расстреляно в Асхабаде, где образовалось временное демократическое правительство, опиравшееся на туркмен Текке. Представители этого правительства заключили 19 августа 1918 г. договор с английским генералом Маллисоном в Мешхеде, в силу которого англо-индийские части приняли участие в борьбе. Всеми вооруженными силами командовал Туркменский вождь Ураз Сердар. Большевики были отброшены почти к самому Чарджую, но весной 1919 г. вся Закаспийская ж. д. была вновь занята советскими войсками, дошедшими до Джебеля у Красноводска. В этом

стианами участителями, 3) организация Среднеазиатского Халифата, обнимающего Персию, Афганистан, Белуджистан, Бухару, Хорезм и Туркестан. Идея Халифата в применении к Персии не может действительно не поразить всех, кто хоть сколько нибудь знаком с миром Ислама, как и вообще все это об'единение по вероисповедному принципу разнородных политических организмов, не представляется достаточно серьезной идеей. — Кастанье весьма правильно отмечает влияние, оказанное Кокандом на идеологию басмачества, придав ей национальный смысл. Менее понятно его утверждение, что факт образования этого правительства показал возможность его независимого существования.

*) Который, мы узнаем ниже, был замещен в Кашгаре Эссертоном.

пункте под опекой англичан властвовал некто Кун, возбудивший против себя местное население Туркменов иомудов. По взятии большевиками Красноводска в августе 1919 г. Хан Иомудский, полковник русской службы, с некоторыми приверженцами, ушел в Персию. — Что касается Ташкентской антисоветской организации, активно готовившей к октябрю 1918 г. восстание и вступившей в связь с Дутовым (посылка поруч. Папенгута в Оренбург), Чеке удалось ее открыть. Кастанье указывает, что ему, равно как английскому майору Бэйли и французскому агенту связи Капдевилю, пришлось скрыться из Ташкента. Обвинительный акт по делу организации называет, наряду с именами русских офицеров Корнилова*), Назарова и Арсеньева, туземцев — Мульда Доулет Ахматова, Абдул Кахар Иш Мухаммедова. Все они были в связи, как с басмачами, так и с англичанами. Несмотря на обнаружение заговора, в ночь с 17 на 18 января 1919 г., в Ташкенте вспыхнуло известное восстание под начальством военного комиссара Осипова, при участии, вернее, кажется, молчаливом согласии, некоторых других комиссаров. После трехдневных уличных боев Осипов вынужден был отступить из города. Как подчеркивает Кастанье, восстание это, хотя и неудавшееся, показало возможность сотрудничества между русскими контр-революционерами и мусульманским элементом красной армии. Фергана становится центром сопротивления советской власти и борьба с басмачами там продолжается в течение 1918 и 1919 г. г.. Ж. д. линия Наманган-Андижан была совершенно разрушена. Хлопководство немыслимо.

Весьма занятны подробности, приводимые Кастанье, о судьбах постов на Памире, играющем, между прочим, роль и в одном из рассказов Гетля. Октябрьская революция докатилась туда, только к лету 1918 г. Начальник поста полковник Фенин, оказавшийся в буквальном смысле слова в безвыходном положении, ушел с женою, ребенком и некоторыми своими единомышленниками в Индию, совершив поход в небывало трудных условиях и вписав этим свое имя в историю русского исследования Азии. Было бы весьма желательно чтобы, результаты его наблюдений не пропали бесследно. Вопреки приводимому Кастанье мнению *Нового Востока*, согласно которому Фенин участвовал якобы в войне англичан с афганцами в 1919 г., а также и сведению об отправке этого маленького отряда в распоряжение Колчака, мы имеем возможность сообщить, что полк. Фенин, после пребывания в концентрационном лагере потерявший свою жену, не вынесшую последствий убийственного по тягости похода, находится в Индии на службе у одного коммерческого предприятия.

Большевики назначили начальниками постов на Памире д-ра Вичих, австрийского военнопленного, Воловика и Холмакова, б. делопроизводителя у Фенина. В апреле 1919 г. басмачи овладевают красноармейскими постами Ранг Куль, Памир и Кизиль Рабат в восточн. Памире и перебивают всех чинов гарнизона кроме названных австрийцев, которые позже, в сентябре 1919 г., пытаются бежать, но задержанные чехами, были отправлены в Иркыштам (на китайской границе) для суда над ними. Белые назначают своим командиром постов на Памире полк. Тимофеева. Это назначение было одним из актов правительства генерала Монстрова (как ошибочно называет его Кастанье) в союзе с Мадамин Беком образовавшегося в Ферганской области, в Джеляль Абаде, при поддержке русских колонистов этого района. Не пользуясь, однако,

*) Полк. Корнилов, брат героя белого движения, упоминается в книге Крайсти. Он состоял тогда представителем русского правительства при Хане Хивинском.

симпатиями населения, правительство это, разделяя судьбу многих подобных ему эфемерных образований, было ликвидировано большевиками в марте 1920 г. Тогда один из басмачей, вчерашних союзников белых, Джани Бек, решает захватить власть и окружает отряд Юнга, вынужденный сдаться. Все его члены были перебиты. Узнав о судьбе товарищей по оружию полковники Тимофеев, Мостовенко, кап. Зайцев, поруч. Васильев, с семьями бегут с Памира в Индию, где встречают радушный прием у Правителя области Читраль, отправившего их во внутрь страны, куда вскоре к ним присоединяются русские и туземные офицеры, спасшиеся после поражения белых в Асхабаде (Мельников, Грачев, Еникеев, Струсковский, Степурский). После ухода белых с Памира, упомянутые выше австрийцы Вичих и Воловик, отбыв кратковременные аресты в Иркиштаме, сначала бегут в Афганистан, но затем возвращаются, по приглашению красных на Памир. В конце ноября 1920 г. советская власть направила туда небольшой вспомогательный отряд, после чего стало возможным заняться советизацией Памира. Она выразилась в прибытии некоего Шо-Тимора, туземца, б. переводчика в Ташкенте, в звании комиссара, проявившего большое рвение. В феврале 1922 на С'езде Таджикских ревкомов Памира, Шо-Тимор был назначен председателем ЦИКА, состоявшего из 5 таджиков. Месяцем позже был, не без большого труда, сорганизован на с'езде ревкомов вост. Памира ЦИК для киргисского населения, большей частью кочевого.

Читая эти сухие строки, пестрящие непривычными именами, нельзя не задуматься над глубоким смыслом российской революции, отзвуки которой докатились до малоисследованных областей Азии и внесли туда понятия, о преломлении которых в туземной среде мы можем лишь догадываться. Факт революции 1917 года, расходящейся все более удаленными от центра ея кругами, имеет глубокое значение, сильно ощущаемое даже при поверхностном, книжном ознакомлении с некоторыми его последствиями.

Прежде чем перейти к самому яркому эпизоду антисоветской борьбы в Ср. Азии, т. е. к выступлению Энвер Паши, следует указать в двух словах, что еще в 1918 г. большевики пытались овладеть Бухарой, но руководитель их, отрезвленный восстанием бухарцев, начавших резню русского населения, небезызвестный Колесов, заключил 24 марта 1918 года мир в Кызыл Тепе. Бухара подпала под большевистскую власть только в сентябре 1920 г., в чем сыграли роль младобухарцы при поддержке красной армии. Эмир Абдуль Сеид Мир Алим Хан вынужден был бежать. Он оставался сначала в труднодоступных горных округах Вост. Бухары, но 10 марта 1921 г. ему пришлось перейти афганскую границу. Упоминание о Бухаре необходимо для указания, что если в Фергане басмачество стало замирать, то в Бухаре оно вспыхивает с новой силой по понятным побуждениям. В ноябре 1921 г. бухарское правительство советской ориентации сбрасывает маску и переходит на сторону восстания. В этот тяжелый для нея момент советская власть обращается к Энверу. Мы не можем останавливаться здесь на мотивах внутренней турецкой политики, благодаря которым герою революции боевому генералу Энверу не было места в возрождающейся Турции. Он в Москве где большевики за ним ухаживают, считая его удобным орудием для своей мусульманской политики. Если бы работа Кастанье была лишена всех характеризующих ее достоинств, то один факт опубликования в ней такого первостепенного фотографического документа,*) ка

*) Сообщенного М. Чокаевым получившим его от вдовы Энвер в Берлине.

Энвер в турецко-большевицком окружении, был бы достаточен для придания ей неоспоримой ценности. Как бы то ни было Энвер, обласканный советской дипломатией, 8 ноября 1921 г. прибывает в Бухару для установления контакта с советским бухарским правительством, 11-го рано утром отправляется на «охоту» и вскоре после этого разносится известие об его переходе к басмачам, где его встречает с почетным конвоем некий Хасан, бывший полковник турецкой армии. Эмир Бухарский, с которым Энвер устанавливает связь, назначает его начальником всех бухарских басмачей. Эмиссары Энвера в Хиве, Самарканде, Фергане распространяют его воззвание о необходимости об'единения всех мусульман Ср. Азии в борьбе за образование большого мусульманского государства. 19 мая 1922 Энвер обращается к Москве с ультиматумом через посредство Нариманова, председателя Совкома Азербейджана. Он возвращает данный ему Москвою мандат, требует эвакуации в 15-дневный срок территории Хивы, Бухары и Туркестана красной армией, заявляет о непоколебимой воле населения этих областей жить свободным и независимым. Независимость эта должна быть признана Советской Россией. Вместе с тем Энвер говорит о чувствах глубокой симпатии этого населения к русскому народу и об его желании воздержаться от враждебных актов для освобождения от режима насилия, принесенного извне демагогическими и коммунистическими элементами. В случае непринятия условий Энвер оставлял за собой свободу действий. Печать Энвера гласила: главнокомандующий всеми силами Ислама, зять Халифа и представитель Пророка. Его штаб состоял из его бывших сотрудников по Константинопольскому Сераскериату. Первое время счастье ему улыбалось. Восстание с новой силой охватывает всю страну. В Хиве во главе басмачей становится Джунейд Хан, бывший диктатор при ханском режиме. Но массе мусульманского населения Бухары имя Энвера ничего не говорило. Басмачи его приняли довольно недоверчиво. Он остался один со своей панисламской идеологией большого размаха. Бухарское население, купцы, крестьяне, рабочие и интеллигенция, не шли в своих мыслях дальше образования местного национального государства в пределах Бухары: они его представляли себе окруженным независимыми государствами, самое большее об'единенными в среднеазиатскую федерацию, но вне всякого подчинения иностранному влиянию. Джемаль Паша незадолго до от'езда в Тифлис, где ему суждено было найти смерть, заявил в Известиях (28-6-22) что Энвер нарушает своей авантюрой единство фронта мусульманского мира и что «самый крупный враг Ислама, единственный быть может, это английский империализм. Мусульмане в Азии глубоко убеждены, что одно советское правительство может принести им независимость...» Турецкая пресса также осуждает поведение Энвера.

Военное счастье начинает изменять Энверу с июля 1922 г. Решительное поражение было ему нанесено 19 июля у Вальджуана. Вскоре после этого он с небольшой частью приверженцев погибает в бою с красной армией (4 авг. 1922).

Эпизод с Энвером показателен, но не имеет решающего влияния на события Ср. Азии. Нам остается упомянуть, что после его смерти была сделана попытка на Конференции в Кабуле (август 1922) продолжать координированную борьбу с советской властью, но распри на личной почве между главными басмачами привели к тому, что пафос борьбы постепенно замирал. Последние серьезные бои имели место летом 1923. 17 июля Красная Армия заняла с боя Гярм, после похода в крайне тяжелых

условиях, когда солдатам приходилось на себе переносить орудия.

Со взятием в августе 1923 г. последнего оплота басмачества в округе Алаи, защищенном труднопроходимыми перевалами, можно считать эту страницу истории законченной. Начинается период замирения, добровольной сдачи и т. п. Нам кажется, что в данном случае, по мимо воинских достоинств, проявленных красной армией в горной войне, главным поводом ликвидации басмачества является возвращение населения к более нормальной экономической жизни *).

* * *

Эссертон начинает свое изложение с политической ситуации в Азии в начале 1918 г. Выход России из борьбы усилил центральные державы на 1 ¼ миллиона бойцов, Брест-Литовский договор накануне заключения; большевицкая революция создала ряд новых идей. «Эти фанатики основывались не на какой-либо системе, могущей найти применение в улажении международных конфликтов, но на мировой перестройке, которая должна была освободить все народы и племена и вызвать полное преобразование человеческой природы. Лозунгом было самоопределение, а эта доктрина, доведенная до логического конца, должна привести к анархии и широкораспространенной вражде, зависти и хаосу». Германия получила удобную почву для действия в Азии. Казалось весьма вероятным, что турецко-германская армия может предпринять кампанию против Индии через Афганистан. Германские и турецкие агенты были очень деятельны в странах лежащих между Черным морем и Индией. Нахождение на троне Афганистана Эмира Хабибуллы обезвреживало однако эту деятельность. В 1915 г. в Берлине побывали известные индийские революционеры. Было организовано бюро для пропаганды среди пленных Индусов. В руки английских властей попало письмо Кайзера и Канцлера к правящим индийским принцам. К этому следует прибавить панисламскую пропаганду и кампанию, провозгласившую девиз: «Азия для азиатов». Эссертон не считает серьезной угрозой панисламизм, в виду большой разницы между элементами, которые это движение хотело охватить. В частности он отмечает, насколько ошибались немцы, думая извлечь пользу от сближения между Индусами и Мусульманами в Индии. Провозглашение панисламистских лозунгов в Индии, утверждает он, могло лишь бросить индусов в об'ятия Британской Империи. Эссертону известно было о существовании плана (у кого?) о создании Мусульманскаго Государства включающего Туркестан и Кавказ, в каковом смысле были сделаны шаги (кем?) в Афганистане. Союзники считали необходимым заняться пропагандой среди мусульман и содействовать их стремлениям к автономии. Задача была очень деликатной, сознается Эссертон. Послать английскую миссию в Туркестан, где большевики захватили Коканд и утверждались повсюду, было не благоразумно. Хотя и не предполагалось оказывать фактической военной поддержки элементам расположенным к союзникам, но насущно необходима была маленькая английская военная организация, щупальцы, от которой расходились бы для получения информации и использования всего, что представилось бы благоприятным. Таким образом мы знакомимся у Эссертона с причинами, вызвавшими посылку миссии в Ташкент, деятельность которой освещена у Кастанье. Эссертон дает характеристики членов миссии. Подп. Бэйли известный исследователь Тибета и Западного Китая, а майор Блэкер путешествовал по Ср. Азии и при-

---

*) Нельзя, однако, считать басмачество окончательно изжитым.

надлежал к корпусу разведчиков, прославившемуся на границах Индии. Сам автор говорит про себя, что в 1909-10 г. он пересек Азию из Индии в Россию через Кашмир, Гильгит-Хунза, Памир*), Кит. Туркестан, Монголию, русскую Ср. Азию, Сибирь и специально изучал политические, экономические и коммерческие вопросы, связанные с Ср. Азией. Ближайшим заданием было: установить связь с Советами через специальную миссию и, в частности, исследовать вопрос о хлопке; изучать положение на местах, имея в виду опасность грозящую, Британской Империи; организовать пропаганду для противодействия большевикам, которые «иезуитскими аргументами превосходили даже немцев».

Нам приходится отослать читателя к книге Эссертона, если его интересует описание маршрута, пройденного им до Кашгара через Восточный Памир, на котором мы, к сожалению, не можем останавливаться, боясь затянуть и без того обильное подробностями изложение. Нельзя лишь не подчеркнуть всего громадного научного интереса, который представляет Памир и осевшие в его складках народности, исследование языка и быта которых должно прибавить ценнейшие страницы к истории развития человечества. Назовем из русских современных исследователей — филолога Зарубина. По мнению проф. Марра, основоположника яфетической теории, которая бросает новый свет на многие культурно-исторические проблемы, язык некоторых памирских племен обнаруживал сходство с армянским.

Эссертон живо чувствует весь и политический и научный интерес, представляемый проходимыми им местностями. Находясь на перевале Минтака (15.430 футов), где груда камней обозначает водораздел по хребту Гиндукуша и границу между Индией и Китаем, он говорит: «Мы были нэ месте где сходятся три империи, Индия, Россия и Китай, равно как мусульманское государство Афганистан. Казалось, что вся Азия была перед нами, от равнин лежащих между горами Алтая далеко на север до Гиндукуша и Каракорума*), образующих границу Индии, откуда вышли основатели саксонской расы и арийские племена, которые спустились вниз в Индию. Они прошли с течением времени и другие появились, от чистых Кавказцев с Гиндукуша до племен Джатта и Гот, в свою очередь смененных теми, чье происхождение можно проследить до крайнего севера Азии». Эссертон подробно описывает Памир, борьбу России с Англией за преобладание на нем, закончившуюся нашей победой в 1892 г. С военной точки зрения он считает эту область представляющей мало практическаго интереса, но политическое значение ее неоспоримо, как пункта из которого можно грозить Афганистану и сев. Индии. Впрочем, после того как между Россией и Индией в 1895 г. вошел клином афганский Вахан, значение Памира уменьшилось. Памир, крыша мира, вовсе не является плоским плато, как это обычно думают, но это ряд параллельных хребтов в широтном направлении. Населен Памир в большинстве киргизами, «жизнь которых та же, что и 600 лет тому назад, когда Марко Поло пересекал Памир, направляясь ко

*) Им написана была тогда книга о Памире («На крыше мира»). Упомянем здесь книгу нашего соотечественника Ревелиоти, также до войны проехавшего из Индии в Ср. Азию.

*) Нельзя обойти молчанием экспедицию Ф. Виссер Хоофт в 1925 г., который со своей женой открыл и изучил ряд ледников в этой области. Скажем тут же, что Клярмонт П. Скрайн, заместивший Эссертона в Кашгаре, совершил в 1925 г. очень богатую географическими результатами экскурсию в Кунгурских горах около Яркенда.

двору Монгольского хана». — Э. отмечает, что по его настояниям, незначительный отряд, охраняющий китайскую границу со стороны Памира (в Булун Кул), был доведен в 1920 г. до 130 человек для противодействия движениям большевиков и афганских эмиссаров. Те данные, которые приводит Э. о китайском Туркестане, для русского читателя особой новизны не представляют, если он знаком с работами Куропаткина и Чокана Велиханова. Мы обязаны этому киргизу, члену владетельной семьи, русскому офицеру, многими весьма ценными сведениями, изданными в посмертном сборнике под редакцией проф. Веселовского. Заимствуем у Э. лишь данные о современном строе Кит. Туркестана, самой западной провинции Небесной Империи. С 1913 г., т. е. после китайской революции, он делится на 6 округов, во главе каждого из которых стоит Таоин, являющийся правителем и собирающим подати, таможенные сборы и пересылающий их в Пекин. Таоины назначались раньше из Пекина, но теперь их назначение зависит от губернатора. Провинция делится кроме того на 17 более мелких единиц, во главе каждой находится Амбан; они распадаются в свою очередь на отделы, управляемые Беками или Минбаши, т. е. тысячниками, по числу домов, с подчиненными им юз-баши, т. е. сотскими, и он-баши — десятскими. Кроме того для нужд мусульман имеются кази и муфти. Население Китайского Туркестана и смежной с ним провинции Кансу — Тюрки. Посредниками между ним и китайскими властями, не знающими местных наречий, служат упомянутые беки, часто владеющие китайским языком, или же переводчики. Как совершенно верно на наш взгляд отмечает Э., китайские чиновники, не имеющие соприкосновения с населением, не могут пользоваться симпатией «столь существенной для успешного управления восточными народами». Наоборот, беки имеют очень большое влияние. Экзаменационная система замещения должностей была отменена китайской революцией. Главным фактором теперь являются деньги. Подкупность властей не имеет границ. Каждый город делится на четыре квартала, подразделяющихся на несколько околотков с **п а ш р а б о м** во главе, которому помогают **ч а к а р д а**, род полиции. Полиция оплачивается, как населением, так и ворами и держателями притонов. Нищие имеют свою организацию, во главе которой стоит лицо, назначаемое властями для сношения с купечеством и распределения подаяний. Периодически в провинции происходят волнения или среди солдат, или среди членов тайных обществ, носящих название «игроков». «Игроки» зачастую устраняют неугодных им высших чиновников. У Э. описан один случай такого убийства. Военная организация совершенно примитивна и патриархальна. Главнокомандующий, жестокий старик тунган Ма-Титай, занят был больше всего разработкой нефтяных участков около Кашгара, употребляя для этого солдат. По мнению Э., бои между китайскими генералами являются скорее коммерческой сделкой, при чем все боевые элементы, пушка-ли, аэроплан-ли, генерал или рядовой имеют строго определенную расценку. Любопытно ознакомиться, со слов Э., с мерами, которые он принимал для защиты границ с русскими владениями в важных стратегических пунктах (перевалы Улугчат и Тургат), где были совершенно негодные и слабые гарнизоны.

Переходя к описанию населения, Э. особенно останавливается на тунганах, которых считает наиболее агрессивным и воинственным элементом. В провинции Кансу их $3\frac{1}{4}$ миллиона, в Кашгарии несколько тысяч. Тунганы Кансу подчинились некоему Ма-Ан-Лянгу, заключившему мир с китайцами после известного восстания 1877 г. Лянг умер в 1919 г. и отношения с

тайцами ухудшились, что об'ясняет возможность использования осложнений большевицкими агентами. Следует отметить также, что в Лянчоу, гл. городе области населенной тунганами, имелась школа «распространявшая панисламские идеи». В Кашгаре также была открыта в 1915 г. школа турецким эмиссаром Ахмед Кемалем, имевшим несколько помощников турок. Дети кланялись портрету Султана и Энвер-Паши.Султан характеризовался, как духовный и светский глава Туранских народностей. После об'явления войны Китаем, школу закрыли по настоянию предшественника Эссертона, Сэра Макартни, в течение 28 лет представлявшего Брит. Империю в Кашгаре. В Яркенде есть несколько медрессе (школ), где изучают коран, мусульманское право, элементарную гигиену, счетоводство. Они содержатся на счет богатых вакуфов (доход с недвижимостей, лавок, бань и т. п., отказываемый на богоугодные дела).

Эту мусульманско-тюркскую сторону жизни китайской провинции мы сочли полезным подчеркнуть, т. к. она об'ясняет нам этнические и религиозные связи с нашими владениями. Книга Э. очень богата вообще сведениями по этнографии и географии.

Возвращаясь к политическим темам, затронутым Э., следует сказать, как мы уже упоминали, его лаконичность относительно работы специальной миссии отправившейся в Ташкент. Он говорит нам только, что в ответ на вопрос, поставленный большевицкими комиссарами, как следует понимать прибытие дружественной английской миссии из Кашгара, тогда как в Асхабаде английские войска ведут бои с большевиками — «было действительно трудно примирить эти две линии поведения, но сэр Джордж (Макартни) парировал заявлением, что раз германские войска находятся на русской территории, то наше нахождение на ней продиктовано стратегическими причинами, вытекающими из войны с Германией».

У Э. подробно описывается как он организовал в своем консульском округе систему разведки, благодаря которой он знал о малейших передвижениях представлявших интерес. Состав консульства был довольно многочисленный, имелась при нем станция безпроволочного телеграфа и довольно сильный конвой. О кашгарском Чу-Таоине Э. отзывается с похвалой за его «хорошую и лойяльную работу». Он его представил в 1920 г. в компанионы Ордена Брит. Империи, а губернатора в Командоры. Э. дает краткие и меткие характеристики других высших чинов китайской администрации. Не однократно упоминает он и своего русского коллегу консула Успенского, только в 1920 г. вынужденного оставить свой пост китайцам. Говоря о неоспоримом русском влиянии в Кит. Туркестане до революции, Э. в частности называет ген. конс. Петровского, «который в течение многих лет был фактическим правителем Кашгарии» (до 1907 г.). «После отречения царя в марте 1917 г. в Кашгарии наступила реакция, оказавшая сильное влияние на мусульманское население, до тех пор считавшее Россию всемогущей.

Среди мусульман по ту сторону рубежа создавалось настроение, что они вновь стали свободны и они смотрели на большевиков как на борцов за политическую свободу, но они не долго оставались под властью этой иллюзии. События развивались и избиение в Коканде (см. выше, у Кастанье)... скоро показало туземцам чего они могут ожидать от рук большевиков». Три раза в неделю Э. выпускал бюллетень на языках персидском, тюркском и индустани, содержавший сведения, получавшиеся по безпроволочному телеграфу и предназначенный для борьбы с враждебной пропагандой. После заключения торгового англо-советского соглашения в марте 1921 г. Эссертон оказался в тяжелом положении, не будучи

своевременно уведомлен об изменении политики. Не лишено интереса указание Э. на прибытие весной 1919 г. в Туркестан 12 японских офицеров, разбившихся на группы в главных пунктах и поведших «далеко не союзную политику». Впрочем, замечает Э., тот факт, что Англия не воспользовалась представлявшимся ей удобным случаем завладеть русским Туркестаном в 1919 г., несмотря на «горячее желание высказанное туркменами», должен был показать китайцам неосновательность японской паназиатской пропаганды. Двухлетнее пребывание этих японских агентов оказалось безрезультатным, благодаря инструкциям, полученным китайскими властями и предписывавшим пассивную позицию в отношении этих эмиссаров.

Много хлопот и огорчений Э. доставила война Англии с Афганистаном. Чувствуется досада, охватившая этого типичного «anglo-indian», привыкшего видеть в Афганистане удобный буфер. Кроме того, в силу «China and Korea Order in Counsil» 1904 г., английские консула в Китае защищали интересы афганцев. Эссертон отмечает с какой быстротой разнеслись по Азии вести о молниеносных победах и успехах Афганцев. Центром «Афганской интриги» являлся Яркенд. Эссертону удается добиться, несмотря на двойственную позицию местного губ-ра Лию-Пен-Тана, высылки оттуда двух видных афганских агитаторов. Мы узнаем, что в 1916 г. в Яркенде работал против англичан немецкий агент Hentig. Яркенд является важным торговым пунктом, находясь на караванных путях из Китая в Афганистан, Персию и Турцию, но его значение уменьшилось после того, как, вследствие продвижения России, усилился Кашгар, более приблизившийся к ж.-д. (Андижан). В Индию из Яркенда путь идет через семь наиболее высоких в мире перевалов (Каракорам, 18.300 фут.), направляясь в Лех, гл. город округа Лядах; путешествие длится 25 дней. Говоря об Яркенде, Эссертон не упускает случая сообщить, что он совершил поездку в соседний Вост. Памир, где организовал среди киргизов бег в мешках, скачки на яках и т. п. Несколько позже большевики, как мы видели, там-же организуют ревкомы и ЦИК. Он перевалил через Кара Таш (16.450 ф.) и Ак Берди (15.600 ф.). На первом перевале до него побывал герой белого движения ген. Корнилов; второй находится в голове долины Булун Куль, где проходит граница между русским и китайским Памирами. В 1922 г. в Яркенде открывается афганское консульство.

Описывая события в Бухаре, Э. поясняет, что в 1918 г. большевики не решились довести до конца свои действия против Эмира, будучи одновременно угрожаемы и англичанами в асхабадском направлении, а также белогвардейцами и басмачами в Семиречьи и в Фергане. «Со всеми ними я был в контакте». Из ферганских басмачей Э. называет Аргаш Бая, Мохаммед Эмина (т. е. Мадамина) и Шир Мохаммеда. По мнению Эссертона, для большевиков Туркестан — это, прежде всего, житница*) и место снабжения, а главным образом «самая лучшая и удобная почва для пропаганды и интриг против Британии в Азии». Он указывает, что большевики проводят руссификационную политику еще сильнее чем царский режим, и что большое число русских поселяют на места, насильственно отнятые у киргизов. Последнее основано, вероятно, на плохой информации. У Асмиса, побывавшего в этом крае в 1923 г., говорится как раз обратное. Административные посты заняты в большинстве киргизами. Русские поселенцы возвращаются в Россию (приложены фотографии). Интересно у Эссертона указание на роль военнопленных чехов, венгров, австрийцев и т. п. в Красной армии Туркестана, доходивших до 106.000 ч., но число

что от болезней и потерь уменьшилось позже до 18.000 ч. Особый немецкий отряд Циммермана, дисциплинированный и менее всего большевицки настроенный, насчитывал 1800 ч. Э. полагает, что Циммерман хотел пробиться в Европу через Кавказ и Малую Азию, но ему помешало присутствие англичан в Асхабаде.

Позволим себе в виде отступления указать здесь, что некоторое число пленных, в том числе офицеров, немцев, просочилось в Персию после революции. Они приняли деятельное участие в персидском национально-революционном движении «дженгели» (лесовики) в прикаспийской провинции Гиляне, препятствовавшем англичанам пройти в Баку в 1918 г. (Об этом смотр. книгу ген. Донстервилля «The Adventures of Dunsterforce» London, E. Arnold, 1920).

Возвращаясь к Эссертону мы находим у него следующие строки об Осиповском восстании. «Контр-революционная партия обратилась ко мне за финансовой поддержкой, прося сумму в два миллиона рублей для выполнения своих планов и установления нового порядка вещей... но я не счел возможным рекомендовать это ассигнование»**). — Как всегда Э. более речист, когда дело касается непосредственно Индии. Он излагает всю историю создания большевиками в 1919 г. Индийского Временного Правительства в Ташкенте, где главную роль играл некто Бэркетулла, Министр Иностранных Дел, «опасный анархист», изгнанный в свое время из Индии и получивший инструкции в Берлине относительно правительства, во главе которого должен был стать Махэндра Пэртаб. Пэртаб пытался позже проехать в качестве афганского дипломата в Китай, но Э. воспротивился. Рассказывает Э. как против брошюры большевиков, выставлявших себя собзниками Ислама и громивших кровожадную эксплуатацию Востока Англией, он выпустил известное воззвание константинопольского Шейх-уль-Ислама о несовместимости большевицких идей с мусульманской доктриной.

Упоминается у Э. о временном правительстве, образованном в Фергане ген. Мухановым (бывшим командиром VI корпуса и б. военным атташе в Афинах) совместно с Мадамином. Сын генерала приезжал в Кашгар, «чтобы пробудить интерес». «Я часто видел этого очень способного юношу лет 19, и не раз думал, что с ним случилось после возвращения в Фергану». Правительству этому не суждено было осуществиться, благодаря отсутствию средств и распрям в туземной среде, закончившимся тем, что Мадамин был предательски обезглавлен Шир.Мамедом на пиршестве. Все это совпадает с материалом, приводимым у Кастанье, но последний спутал два созвучных имени лиц образовавших правительство в Джеляльабаде: Монстров и Муханов. Второе имя, кажется, более верно. Согласно Э. (с. 230), наряду с Мухановым, действовал капитан Монстров.

Относительно эмира Бухарского мы читаем, что он безрезультатно обращался неоднократно к Эссертону, прося его помочь спасти его казну (оценивавшуюся в 35 миллионов фунтов стерл.), попавшую в руки большевиков. После своего бегства из Бухары эмир прислал в Кашгар письма английскому королю, вице-королю Индии и Эссертону. Он описывал в них события и «просил чтобы его государство, которое он без каких бы то ни было условий предоставлял в наше распоряжение, было включено в состав Британской Империи».

---

*) Как известно, Туркестан нуждается в привозном хлебе и в этом одна из важнейших сторон его экономики.

**) Эссертон не верил в прочность русско-туземного сотрудничества, а также неоднократно подчеркивает вражду между главными басмачами.

Эссертон касается также положения вещей в Кульдже, где большевикам удалось утвердиться с лета 1920 г. Их агенты: Лимерев, Борчак, Коликов. Туда же скрылись со своими частями после отступления Колчака генералы Дутов и Анненков. Э. с большой похвалой отзывается о первом и описывает обстоятельства его смерти от руки наемного убийцы, подкупленного большевиками. Что касается Анненкова, то он вел себя очень вызывающе в отношении местных властей, что кончилось для него в 1921 г. заключением в тюрьму. Ему помогло вмешательство японцев и самого Эссертона. О Колчаке Эссертон говорит немного и не сообщает нам ничего неизвестного. Специальная глава посвящена Э. описанию Монголии и деятельности в ней Семенова, мать которого была знатной монголкой. Не без удовлетворения он вспоминает также, как ему удалось противиться проникновению большевицких миссий в Кашгар (Шестра в 1919 г.; Попов; Тигар и Печатников — 1920) под совершенно резонным предлогом — отсутствия нормальных договорных отношений между советами и Китаем.

Об эпизоде с Энвером Эссертон говорит: «я слыхал из хорошего источника, что Энвер имел в виду быть Наполеоном Средней Азии, спасителем которой он должен был явиться и освободить народ из рук филистимлян, олицетворяемых большевиками; что он думал об образовании большого мусульманского государства-буфера против России в Азии и хотел положить краеугольный камень Азии для Азиатов. Но Энвер исчез, а с ним и его проекты вероятно оказались за бортом».

Как нам ни хотелось бы более полно использовать материал эссертоновских наблюдений, приходится с ними расставаться. Вот что он говорит в заключение, иногда по английски как бы наивного и неловкого, но несомненно полезного труда, дающего столько сведений о редко описываемых так подробно областях Азии.

«Китай и Россия являются двумя главными земельными собственниками в Ср. Азии и на Востоке; каждое из этих государств имеет обширное население, естественные богатства, пока еще не разработанные, которые сделают их самодовлеющими и независимыми от остального мира. Их политические, торговые и экономические возможности могут повлиять на равновесие сил в Азии и отразятся косвенно, а вероятнее и прямо, на судьбе Европы. Тогда могут оказаться правильными слова Наполеона, произнесенные в 1805 г.: «Судьбы Европы решатся когда-нибудь в Азии».

***

Только что мы обмолвились, говоря о книге Эссертона, об английской наивности, неловкости в изложении. Уточним нашу мысль. Нам кажется, и чтение Эссертона укрепляет наше предположение, что вся английская политика в Азии отнюдь не основана на каких то незыблемых принципах, выливающихся в стройную систему. Англичанин прежде всего и повсюду преследует matter of fact, констатирует фактическое положение (часто неверно) и от него и для него действует *). Так как эти положения могут на небольшом расстоянии, в пространстве ли, во времени ли, значительно меняться, то соответственно с ними меняется и английская политика, имеющая в основании своем здоровый инстинкт охранения интересов Империи. Эта гибкость и приспособляемость, кажущаяся на наш взгляд чуть-ли не циничной в маневрах внешней политики, есть типичная черта английского склада мысли и характера.

---

*) В августе 1919 г. Сэр Перси Кокс, заключая в Тегеране драконовский договор с Персией, ошибается, поставив на отсутствие России.

;е же находим определенно выаженной в отсутствии у англиан писанной конституции, хотя х парламентаризм является Mater parliamentorum и послужил образцом для политического стройства многих государств. Мы совершенно согласны с недавно высказанным Wickham Steed'ом печати мнением. «Что действительно представляет сильную сторону английского метода (который является менее методом, чем отражением темперамента), это то, что в нем нет ничего абсолютного, что он весь состоит из бессознательной относительности и что этой своей особенностью он приближается к условиям самой природы». Этим об'ясняется такая на взгляд ивная нелепость, не находим другого выражения, как посылка в Ташкент специальной миссии для контакта с большевиками в самый разгар боев с этими же большевиками в асхабадском направлении. В этом элементе иррациональности есть, с другой стороны, что-то и от спорта, и от азартной игры. Эта же «иррациональность» — близость к природе, реалистическая политика нами усматривается, например, и в факте одновременной поддержки чуть ли не сепаратистских стремлений, под влиянием событий, зарождавшихся в некоторых умах наших среднеазиатских соотечественников-мусульман, и безусловная энергичная борьба с аналогичными стремлениями в Афганистане и в других смежных с Индией и внутри индийских областях. Англичане, как бы одновременно, ведут игру с несколькими козырями и безжалостно отбрасывают те из них, которые могут быть биты; тому примеров из более близкого нам опыта по персидским событиям 1917-19 г. г. мы могли бы привести не мало *). Цель нашего кажущегося отступления от основной темы данной статьи, заключается в желании оттенить разницу в подходе к предмету и способе изложения, которая ощущается очень резко при переходе от чтения эссертоновских, иногда как-то не связанных, часто повторяющихся, но (поэтому) живых и жизненных заметок к аккуратно зарегистрированной, отчетливо сфотографированной, чуть ли не разграфленной Азии 1922-23 г. г., которую мы видим у немца Асмиса. У него нас больше всего интересует отражение дальневосточных событий, но они как раз и больше всего уже отодвинуты в прошлое многим случившимся на Д. Востоке с 1922 года. Тогда ведь не было договорных отношений ни с Китаем, ни с Японией, тогда не достаточно ярко обрисовалась политика в Монголии, а о Чжан-Тсо-Лине или Кантоне Асмис и догадываться не мог. Вообще отношение Асмиса к большевикам при всей об'ективности скорее склоняется к доброжелательности (надежды при помощи Рапалло через русскую дружбу отыграться в Азии). Он всегда отмечает положительные черты (у Эссертона термин «опасные фанатики» покрывает и исчерпывает все относящееся к России советской; приглашающее к анализу правило «do not confound Russia and bolsheviks» им не соблюдается), будь то боевая выправка красноармейцев или исправное получение в Чите 5000 золотых марок по почте из Москвы, или движение поездов и пароходов по расписанию. Более того, он находит слова, которые не могут остаться без отзвука в нашем сознании, когда, например, находясь перед величественной картиной Амура в близи его устья, говорит: «о безграничной величине русского государства в Азии может составить себе правильное представление только тот, кто проехал по этому краю». Мы рады были встретить сознание (хотя бы только пространственной) мощи России в Азии и у некоторых

*) Характерна в этом отношении была игра последних месяцев в Аравии: поддержка одновременно Хашимитов в Мекке и их противника Ибн Сауда Вахабитского.

современных русских писателей.

Находим мы у Асмиса, знакомого с Конго, и жестокие для нашего самолюбия сравнения с африканскими дебрями, в смысле неиспользования богатых даров, отпущенных России природой в Азии. Эти дары и — составляют главный предмет интереса для Асмиса, цель его командировки, выполненной очень старательно. Его соотечественники нашли несомненно много ценных и подробных указаний на открывающееся перед ними экономические возможности в русской Азии не только в тексте, где этому отведено много места, но главным образом, вероятно, в особых докладах, к которым он их отсылает (о хлопководстве; о проекте Семиреченской ж. д., продолжение проекта группы Стахеева*). Всякий русский, читающий Асмиса, лишний раз должен крепко отметить у себя в памяти каково главное устремление Германии и в чем практические предпосылки ее умной и методичной игры с Россией. На примере германо-русских отношений особенно показательна одинаковость (в экономической плоскости) судеб России и Азии, влекущих к себе с особой притягательной силой немецкую торгово-промышленную предприимчивость, растущую от избыточности населения и планомерно направляемую правящими сферами. Тому, что хоть немного следит за германской политикой в Азии, известны поразительные успехи Германии на всех ее рынках. В настоящее время упреки, адресованные Асмисом немецкому коммерсанту и промышленнику, не желавшим-де искать сбыта вне внутреннего рынка, были бы лишены всякого основания. Германия вновь является серьезным фактором азиатской экономики.

На многие мысли наводит чте-
ние Асмиса и мы рекомендуе
ознакомление с ним, несмотр
на отмеченную нами относител
ную устарелость книги. Это об
стоятельство ведь крайне любо
пытно само по себе, показыва
нам каким быстрым темпом во
станавливается жизнь; завязь
ваются порванные войной и ре
волюцией связи и крепнет нова
сеть отношений, охватывающа
Азию. Нам представляется ха
рактерным знамением пережи
ваемых нами дней, что, наряд
с развитием отношений в пло
скости экономической межд
Европой, Америкой и Азией
причем удельный вес последней
мировом обороте увеличиваетс
(она перестает быть одним пасси
ным моментом его, но выступает
активно, как производитель
продавец), мы видим попытк
Запада искать идеологически
пути сближения с Востоком. I
тут мы скажем: было бы стыдно
недостойно нашей общественно
сти, чтобы и здесь вновь и еш
раз мы оказались на поводу
чужой моды. Для нас вс
эти вопросы не мода, и в ни
мы должны иметь свою само
стоятельную оценку. В них м
должны разбираться лучше че
Запад и иначе чем Запад. В ни
мы можем действительно обре
сти ту новую, страстно искому
нами, уверенность в оправданно
сти наших судеб, которую м
тщетно искали на Запад от Мо
сквы. Тут, наконец, в дни же
лания умом и сердцем слиться
родиной, оправляющейся от тя
желой лихорадки, выходящей и
горнила революционной горяч
ки, в дни эмигрантских споро
о приводном ремне, перекину
том оттуда сюда, который един
ственно и может дать силы пе
реносить оторванность от родно
стихии, осмыслить существова
ние, в эти дни ведь как-то сам
собою ткутся крепкие нити меж
ду оживлением интереса к Во
стоку, к Азии (нас в данно
случае не интересует служебны
его характер) на родине и тем
настроениями, которые родилис
за рубежом и ширятся, несмотр
на анафематствование тех, кт

*) Очень убедительны и ценны замечания А. о значении этого проекта, в смысле включения его в европ.-азиат. ж. д. сеть через Кульджу и далее (с. 199).

рапируясь в складки плаща ивилизации made in Europe, тмахивается с ужасом от варара скиеа. Мы от родственниов, хотя бы и дальних, не отреаемся и для своего сознания репости ищем корней в родной емле, как бы некоторые из них е казались горьки. Так верее. Мы ставим точки на i: в ыаботке сознания после революионной грозы мы не впадаем и в азиепоклонство, ни в евроопенавистничество. Мы хотим оставить каждую вещь на свое есто. Мы считаем, что недопутимо продолжать в отношении Азии линию преступной неоведомленности и неспособности онимания происходящих в ней роцессов, или же упорного стреления подводить эти процессы од установленные Западным Ко-аном процессы. Мы знаем, что Кораном далеко не исчерпываетя жизнь Ислама. Мы, далее, не падаем в болезнь европоненаистничества. Ненависть есть асто удел слабых. Мы чувствуем себя сильно и прочно на почве Азии. Имеем в ней верный упор. Ошибки и промахи, которые мы аблюдаем сейчас в азиатской олитике России, для нас служат ишь ценным уроком, но не ишают твердой основы нашего бeждения. И мы чувствуем, что ем крепче и обоснованнее будет тановиться это убеждение во се более широких кругах общественности, тем увереннее бует она себя сознавать и тем покойнее и вдумчивее относитья к Западу. Каждому свое.

***

Переходя к самому Асмису, тметим у него лишь некоторые еста. Так о тогдашних настроеиях в Монголии, позволяющих ам понять последующее прозглашение республики и теерешние близкие отношения ее Москвою, мы читаем у Асмиса, то среди высшего класса монолов наблюдалось три течения:) маленькая группа лиц, сохраивших симпатии к бывшему онархическому китайскому реиму, не пользующаяся у народа влиянием; 2) группа безразличных, «диких», желающая лишь, чтобы ее не трогали, тоже малочисленная и без влияния; 3) группа, сознающая необходимость реформы: она наиболее крупная и представлена уже и среди министров и среди высших чинов администрации. Что касается простонародья, то оно в общем скорее было удовлетворено происшедшей переменой, принесшей облегчение податного бремени. Асмис подчеркивает, что русское влияние в Монголии зиждется на целом ряде факторов, а не на одной (очень незначительной) военной силе. Китайское же влияние совсем на убыли.

Встречаем мы и у Асмиса постоянные упоминания о рассеянных повсюду по пути его бывших пленных. Он приводит как куриоз пример одного австрийца, бежавшего из плена в бурятский улус и совершенно обурятившегося. С демографической точки зрения исследователю послереволюционной русской Азии нельзя будет пройти мимо этого факта наличия многих пленных, зачастую обосновавшихся в ней прочно.

Асмис подробно рассказывает нам об одном из самых кровавых эпизодов революции на Востоке, о судьбе Николаевска на Амуре, попавшего в 1920 г. под власть красного отряда Тряпицына, бывшего кельнера гостиницы «Россия» во Владивостоке. Его злым гением, вдохновительницей массовых убийств и систематического разрушения города, была его любовница, некая Нина Лебедева. Надо указать, впрочем, что Тряпицын, виновник звериной кровавой оргии, об'явил себя независимым главнокомандующим Камчатки, Охотска и Николаевска. Считают, что им было убито в Николаевске около 8000 чел. в том числе 700 японцев. Известно, что Николаевские события долго были одним из камней преткновения японо-русских переговоров. Тряпицын и Лебедева были расстреляны

по приговору революционного трибунала 16 июня 1920 г.

Следует отметить, что в описываемое Асмисом время (1922) большевики верили в неминуемую близость революции в Японии, и что ответственные советские работники в разговорах с автором строили планы о сотрудничестве России, Германии и Японии (советской) на Востоке для противовеса англо-саксонскому блоку (Англия, Доминионы и С. Штаты). Во войне Германии с Францией, близость которой также не возбуждала сомнений, Россия будет воевать на стороне немцев.

Из средне-азиатских впечатлений Асмиса (1923) отметим некоторые черточки. — Об орошении в Голодной степи. Как все русские начинания — «хорошо в идее, громадно по размаху, но не расчитано с экономической стороны и со стороны выполнения». Это, гл. обр., о создании малярийного очага благодаря орошению, проведенному для хлопководства.—Басмачество Асмис ведет от бесчеловечной резни в Коканде. В уличных боях там «пленных не брали». Из руководителей антибольшевицкого движения спаслось едва 47 человек. Они соединились с участниками киргизского восстания против русских в 1916 г., вернувшимися из ссылки, и образовали действенную силу басмаческого движения. В 1921-22 г. против русских боролось 50-60.000 человек, главн. обр. в Фергане; с мая 1923 г. отсутствие безопасности было так велико, что сообщение между городами поддерживалось с опасностью для жизни и фактически русская правительственная власть простиралась лишь на большие города. Ни уголь, ни нефть не могли добываться иначе, и то лишь в некоторых участках, как под воинской охраной. «Совзнак» агонизирует.

«Чем больше»— говорит также Асмис — я наблюдаю мусульманскую жизнь и занятия, тем более я нахожусь под впечатлением, что в борьбе между исламом и большевизмом, ислам является стороной более силь ной, что большевизм может быт затрагивает его поверхность, н не доходит до сердцевины, точн также как он не проник у монго лов во внутреннюю сущност буддизма». Одной страницей дал ше мы встречаем утверждени о все еще сильных симпатия местного мусульманского насе ления к немцам. Жива памят о похищении кайзером султан и о вытекающей отсюда дружбе Живы еще у многих и убеждени в значении и мощи Германии Все это создает, говорит Асмис благоприятную почву для не мецких предприятий. Асмис со вершает особую поездку в райо Верного (теперь Алматы) и Ис сык-Куля. Отметим по этом поводу, что ему пришлось ехат на лошадях от Аулие-Ата д Пишпека, где теперь уже окон чена ж. д. линия, имеющая быт продленной в хлебородный райо Или. В Верном, между прочим у Асмиса был следующий разго вор полу-жестами, полу-словами на ломанном русском языке, с стариком мусульманином.

«Он явно хотел узнать такж ли по прежнему дружественн отношения между мусульманам и немцами. И так он заговори коверкая русский язык: «герман ский турк-раньше» и при это зацепил один за другой указа тельные пальцы и, с вопроси тельным выражением в мою ст рону продолжал «сегодня т же» и сделал тот же знак. удостоверил таким же движе нием, что и сегодня еще отноше ния между немцами и туркам продолжают быть дружестве ными; повторяя несколько ра «хорошо, хорошо» — он вырази этим свое удовлетворение».

Эта короткая сцена не лишен особой пикантности для тех, кт еще не забыл про политику св щенной войны, которую вел Бер лин среди мусульман, чтобы ус лить ряды своей армии. О си некоторых лозунгов даже пос кажущегося нам [illegible] кр шения стоит задуматься, а теме об исламской политике Ха

жя Гильума от времени до времени нужно возвращаться, говоря об Азии.

Это именно в Верненском районе, где им живо описаны красоты ущелья Каркара, степная ярмарка в местности того же названия и Иссык-Куль у Караколя (бывш. Пржевальск), Асмис заметил появление повсюду почти киргисской администрации и удаление русских поселенцев.

В заключительной главе своей содержательной и поучительной для нас книги, снабженной многочисленными фотографиями и не дурной картой (не могущей, однако, служить для изучения теперешней политической географии Азии), Асмис констатирует, что «колониальная Империя» России летом 1923 г. была восстановлена полностью за исключением сев. половины Сахалина, еще занятой японцами. О допущении русских представителей в Западный Китай шли переговоры в Урумчи. По мнению нашего автора (на это утверждение его как бы особенно наводит политика Москвы в Афганистане и Персии):

«Люди которые делают русскую азиатскую политику, и средства ими употребляемые, изменились, но тенденция кажется остается той же: очевидный империализм, который стремится подчинить русскому влиянию и нерусские соседние государства».

Асмис считает также, основываясь на своих беседах и впечатлениях, что в Японии социальные противоречия питают революционное настроение. В Корее пробудилось желание освободиться от японского ига. В Китае мысль о равенстве белой и желтой рас получила сильный импульс. В Монголии, у киргизов, у бурят возникли стремления к независимости, «которые, однако, в конце концов, лишь послужат на пользу русскому господству». Во всем этом процессе вожаками и учителями являются русские или обрусевшие туземцы. Только у глубоко религиозных мусульман Юга, в Туркестане, большевизм, как идея, встретил до сих пор резкое сопротивление. Если большевизму удастся склонить на свою сторону Ислам, то русское господство в Азии будет сильнее укреплено, чем оно было когда либо в царский период..«К тому же русское влияние в соседних странах более деятельно чем прежде, пожалуй, оно является решающим элементом для будущего развития всего континента». Асмис уверен, что большевицкие идеи (он к сожалению не определяет точно их содержание) будут продолжать действовать в Азии даже когда в европейской России у кормила стало бы не большевицкое правительство. Он уверен, что волнение в Азии уляжется не скоро, и что «только та нация будет действительно пользоваться влиянием, которая будет стараться, подобно старому опытному другу, помогать молодому, начинающему расти народу». Эту тактику он и рекомендует Германии, имеющей, по его мнению, все данные для успешного ее приложения.

В 1926 г. мы уже наблюдаем наглядные результаты этой тактики Германии в Азии. Что касается утверждений Асмиса об укреплении большевизма там же, то он сам, кажется, себе противоречит несколько выше, говоря о несовместимости идеи коммунизма с буддизмом и исламом. События после 1923 г. развертывались не совсем в этом направлении, не говоря про то, как большевизм запутался в Китае и ожегся на Японии. В частности вспомним как трудно было Москве и Берлину сговориться о торговом договоре в пр. году, — и одним из камней преткновения было именно право Германии на транзит через Россию в Азию *). Но общий тон, данный Асмисом политике Германии в Азии, верен. На примере Афгани-

*) К существенному вопросу о русско-немецком ,,сотрудничестве" в Азии нужно будет вернуться.

стана, как страны только что ставшей доступной, это хорошо заметно. Нам удастся, быть может, поговорить как нибудь о недавно вышедшей книге под заглавием Мандэ-нэ-баши (афганское приветствие — «не уставай») одного немецкого доктора, бывшего в составе медицинской миссии в Кабуле.

* * *

Нам пора перейти от книг политического и экономического содержания к беллетристике, которая даст нам возможность несколько живее почувствовать обстановку, покажет нам как в ней двигаются, говорят, действуют люди. Для этого мы приводим несколько выдержек из повестей и рассказов Гетля.

В повести «Кар Хат» мы с первых же строк попадаем в атмосферу революции. Только что закончилось неудачей выступление белых против большевиков. Один из его участников бежал из города и бродит в окрестностях, стараясь не попасться красноармейским патрулям. Это ему удается, но когда он уже считал себя вне опасности, он сталкивается с одиночным красноармейцем. Беглец его убивает, как бы неожиданно для себя.

— ,,Иисусе, — схватился за голову, подбежал к лежащему человеку и встряхнул им изо всей силы. Напрасно! — Голова, свисшая беспомощно, ударилась только от встряски о камень и прильнула к нему, как бы прося о покое, из раны полилась черная струя густеющей крови.

— Убит! — прошептал он с ужасом, уложил осторожно умершего на землю и уселся поодаль от тела, обняв голову обеими руками. Задумался. События последних дней промелькнули в его мыслях цепью ясных образов, заполненных вплоть до последней мелочи. Удивился в глубине души, сколько странных вещей случилось с ним в течение этих нескольких дней, и в первый раз почувствовал в этом хаосе катастроф какую то связь и таинственный смысл. Значения его он не мог, да и не пытался понять, подавленный только что происшедшим, которое — он чувствовал — выросло поперек его дороги стеною выше его роста. Отсюда нужно будет повернуть на какой то новый, неотгаданный путь. Он не сможет пойти дальше, минуя этот труп, равнодушно, ничего не помня, сам почти как труп. Значит помимо воли он должен ожить так, как вот этот тут погиб. По почему? За чем? Отчего же судьба обременила его этим невероятным злодейством! И что его еще ждет на этом безлюдьи?"

Беглец устраивает среди камней что то в роде могилы и хоронит убитого им красноармейца.

,,Над готовой могилой он встал с непокрытой головой, понимая, что тут нужно еще что-то выполнить. Помолиться — да! нужно бы помолиться. Жажда произнести несколько самых простых слов над могилой этого бедняги охватила его с силой непомерной. Помолиться! Он не делал этого со времени охватываемого памятью, забыл слова, не смел придумывать других. Несмотря на это стал на колени и силился вырвать из памяти глубоко закопанные слова молитвы. Не выходило...

Отче Наш. Отче, Отче, — начал с громадным трудом, — который нас здесь, Отче...

Он не докончил молитвы. Встал с колен разбитый, с раскрытыми ранами души, как будто какая-то бесстрастная рука сорвала с них струпья забвенья".

На убитом беглец нашел бумажку. Удостоверение красноармейцу Ефрему, отправляемому в сельскохозяйственную коммуну. Беглец берет бумажку и продолжает путь.

,,Вдруг, когда почти на четверинках, он добрался до скрещенья двух хребтов, он увидел глубокую долину, со дна которой подымался вверх тоненький столбик дыма. Он напряг взгляд и заметил спрятавшиеся под скалами мазанки туземцев, похожие на гнезда горных птиц, либо норы диких зверей.

. . . .

Деревня была какая то странная, пустая и безмолвная. Никто не выглядывал из хат, нигде не мелькали любопытные глаза девушки или туземной женщины, не ворчал ни откуда злой киргисский пес. Но он, однако, не имел сил зайти в мазанки, так как к каждой нужно было подыматься от тропинки по которой он шел. А она вела к столбику дыма. Дымок подымался над огнем, разведенным на террасе одной из ниже всех расположенных мазанок. Какой-то человек, туземец, сидел около него, повернувшись спиной к тропинке. Шум шагов не вызвал у него движения и только когда беглый стал тут же рядом с ним, он повернул голову. Лицо его было так страшно исхудавшим, что он утратил все черты живого человека. Оно состояло из глубоких впадин и шишек, обтянутых почерневшей кожей. Тем более странно тлели на нем глаза, огнем угасающим. Легкий блеск удивления мелькнул в них при виде пришельца.

— Салем! — глухо выжал из себя пришедший.

— Салем! — беззвучно ответил сарт.

Беглец опустился на землю и присел, не спрашивая разрешения, к огню. Туземец отодвинулся и уступил ему кусок войлока, на котором сидел. Они молчали.

— Голод? — спросил пришелец несколько спустя.

Сарт только кивнул головой и пододвинул к огню ком сушеного навоза.

— Везде голод, во всей деревне?

— Деревни нет.

Он пытался напрасно понять значение этих слов. — Избавиться от меня хочет, или это значит еще что нибудь другое?

— Деревни нет, — повторил он послушно. Ну а эти дома?

— Дома? Дома не деревня, люди! а людей нет.

— Умерли?

— Умерли, убежали, нет никого.

Снова молчали довольно долго...

. . . .

Как то поневоле он протянул руку к хлебу. Но сарт спокойно отодвинул ее.

— Подожди немного! так — нехорошо! Видать недавно ты голодаешь. Вода разогреется... получишь.

Он покорно подчинился голодающему уже давно. Но он претерпевал страшные муки, ожидая пока закипит вода, и беспрерывно поправлял огонь, не обращая внимание на то, что лишь портит искусно уложенный очаг.

— Наконец!

Сарт уступил ему единственный кубок и терпеливо ждал, пока он его не опорожнит два раза. Тогда он пододвинул ему кусок лепешки и смотрел как-то благорасположенно, пока пришелец поглощал его с восторгом. Быть может припоминалось ему время, когда он только начинал голодать.

. . . .

Куда же ты пойдешь, арбаб? — сжалился над ним туземец. Деревни пусты, все пусты. Разве что пойдешь туда, далеко, к тем русским. Да, — прибавил он мрачно немного спустя — ты вероятно к ним пойдешь.

— К русским? — полюбопытствовал пришелец. Это что ж за русские?

— Не знаешь? — И я не знаю! Прибыли в прошлом году. — Злые люди! — Жадные люди! Сели на чужих землях и забирали все, у тех и везде в округе. И тут были. Забрали баранов, забрали лошадей, над женщинами издевались. — Шайтаны это, не люди, псы проклятые! бормотал он с ненавистью, тряся бородой как в лихорадке...

. . . .

Лицо пришельца исказилось от грусти.

— Не знаю я их, как и ты. Ведь ты видишь, сам я голодный. И у меня все забрали. Дом, жену, все забрали. Не пойду к ним. Спрашивал я, не зная кто они такие".

Доносящийся откуда то, из

одной из мазанок, жалкий крик, ведет туда беглеца:

,,...Когда, остановившись по середине помещения, он осмотрелся кругом, то остолбенел от ужаса. То, что он увидел здесь, было уже не пристанищем нищеты, как он того ожидал, но внутренностью гробницы. Под стеной лежал целый ряд трупов, целая семья туземцев, уложенная ровно и в порядке, согласно иерархии и возрасту, прежде всего седоволосый дед, затем отец, мать, сынок маленький и младенец, полунагие, как то черезчур вытянутые, высохшие, как мумии еще при жизни, отвердевшие за долгие дни умирания, закостеневшие на морозе по смерти. Каким-то величавым трагизмом веяло от этой семьи, вымершей солидарно, могло казаться в один и тот же день, так как все трупы были одинаково худы, одинаково жалки и одинаково не тронуты разложением.

Но более ужасным чем трупы было тут присутствие живого.

Девушка, покрытая тряпьем, сидела тут в углу, заливаясь отчаянным плачем".

Беглец решил взять сироту, выбиваясь из сил идет неся ее по горным тропам, по направлению к коммуне. Сарт идет за ним. Больной, обессиленный беглец сваливается с ног. Его подбирают русские из коммуны, принимают его по документу за направленнаго к ним красноармейца Ефрема.

Описание коммуны, весной.

,,Коммуна в Бектымире была совершенно отрезана от света. Город, присутственные места, деревни покрупнее и поселения русских колонистов лежали по ту сторону реки, горсть туземных деревень за оврагами, что гудели от половодья. Скука стала гнести поэтому товарищей, привыкших к широкому образу жизни революционных дней. Прекратились погони за уцелевшими из белой гвардии, экспедиции в дальние деревни, на базары и усадьбы богатых туземцев, что не пострадали, благодаря зажиточности, от голода. Никого не тянуло к пашне, прежде всего потому, что каждый из товарищей почитал пребывание свое в коммуне наградой за труды, понесенные для революции, во вторых — кругом всегда можно было раздобыть больше нежели на месте, и, наконец, потому, что заданием коммуны должно ведь было быть разведение скота. Луга пересохли, скот повымер — а когда луга вновь зацвели, так это дело присутственных мест подумать о новом инвентаре. Пока что — присутствия за рекой. Провизии было к счастью вдоволь — а также и изюма для гонки водки. Поэтому пили, ели и играли в карты, поджидая, пока не спадут вешние воды, что должно было случиться в середине лета. В промежуток проклинали горы, реку и коммуну, а также тех, кто это место выбрал под поселение.

Один Ефрем, чудак, как его называли, радовался в глубине души такому положению вещей. Соприкосновение с внешним миром ставило перед ним задачи небезопасные, до которых он не дорос ни телом , ни душой. Он чувствовал себя спасшимся при гибели большого парохода, охватившим руками безлюдную скалу, на которую выбросила его капризная волна.

. . . .

Строгостей в коммуне он не заметил никаких. Каждый мог делать то, что хочет — а так как никому ничего не хотелось, то и скандалов на почве общих пожеланий не было. Известную осторожность вызывал только склад провизии, обильно снабженный хозяйственным управлением из города. Не сразу поэтому согласились на принятие двух туземцев в коммуну. Несколько бурных и бессодержательных заседаний высказалось категорически за удаление непрошенных гостей. Тогда беглый собрал все силы и произнес громовую речь о гибнувшем с голода пролетариате, о солидарности всех угнетаемых и о братстве бедных без различия происхождения и расы... Речь произвела впечатле-

ние: туземцев приняли как вольнонаемных, оплачиваемых одеждой и провизией. Не то чтобы он кого нибудь убедил, но перепугались, не имеют ли дела с каким нибудь более важным партийцем, присланным в коммуну подслеживать".

Одним из членов коммуны был, между прочим, татарин Али. Рассорившись с остальными, он бросает их. Тут мы слышим впервые про басмачей.

,,Через несколько дней после от'езда татарина, по коммуне разнеслась весть, что он присоединился к одной из шаек прославившегося разбойника, Мадамин Бека, который все смелее стал ширить свои набеги с гор по степной низине. Ватаги этого легендарного рыцаря Туркестана кружились уже давно в более отдаленных углах края, издеваясь над всеми попытками красных отрядов и патрулей, высланных с целью уничтожения «разбойника». Являлись неизвестно откуда, скрывались неведомо куда, будучи атакованы пропадали, как под землею, на штурм прилетали, как с неба; не будь кровавой жатвы и груды пепелищ, что они оставляли после себя, можно было бы подумать, что это вымысел людской молвы. От вождя своего переняли они дерзость и сноровку, одинаково сильные, от товарищей — краткость процедуры при расправе. Нападали прежде всего на правительственные имения, на ссыпные пункты и всякие основы коммунистического хозяйства. Охотнее всего приходили на готовое. И этой наукой обязаны были своим врагам.

Заклейменные товарищами, как скопища обыкновенных преступников, они, однако, как бы черпали мощь свою из мышц лежавшего в летаргии богатыря — духа грозных властителей азиатских степей. Проходя и исчезая, как дикая и необузданная стихия, они были сынами своей суровой земли, которая пишет свою историю росчерками молний, пролетающих раз в столетие над замершей ширью степи".

А вот и описание посещения коммуны Мадамином под видом коммуниста-мусульманина.

«Необычный гость направлялся верхом к коммуне. Появился в долине неведомо откуда, выплыл, как дух над острым срубом яра, в месте где река углублялась в омут недоступный. Презирая торные дороги, ведущие к коммуне, с правой и с левой стороны, он ехал себе по взгорью, оглядываясь беспечно вокруг. Небольшой, как и его лошадка, казался он сартишкой заурядным с первого любого базара. Лишь тюрбан снежной белизны и халат необычайно по тем временам приличный, выдавали более богатого «бая».

. . . .

— Товарищ! Коммуна бектымирская здесь?

— Здесь! — А ты чего? Кто присылает? — смерил его внимательно взглядом.

— Центральный комитет! — ответил вновь прибывший, с гордостью, выпятив губы.

— Центральный Комитет присылает Тугузбая, члена мусульманской коммунистической партии и организатора туземных коммун!

Развалился на коне, меряя сверху Ефрема.

— Ваш комиссар, либо другой там какой начальник, где?

. . . .

В канцелярии приезжий пред'явил действительно документ, подписанный видными партийцами, как организатор мусульманских коммун и заслуженный член Центрального Комитета...

Комиссар и несколько товарищей, собравшихся в канцелярии, приняли все это с некоторым удивлением. Участие туземцев, как товарищей в деле революции, было программной новостью, привезенной в последнее время из Москвы. Среди местных товарищей говорили об этом с насмешками и не в серьез, не думая расставаться с укоренившимся с давних времен понятием о туземцах, как о скотине».

В сознание членов коммуны начинает вкрадываться смутное

подозрение, когда приезжий стал настаивать на своем желании уехать, не дожидаясь завтрашнего дня.

— «Ночная ты птица — придвинулся к нему ближе комиссар, а вот я, например, имею инструкцию, чтобы никого ночью из коммуны не выпускать, даже после захода солнца. Определенную инструкцию...

— Имеешь, так стереги своих. Вот там козел бродит по полю... верни его. Я о сопровождении не прошу. Моя инструкция — ночью ездить.

— Откуда же это такая инструкция? Не слыхали мы! Можно узнать?

Сарт посмотрел на него вызывающе.

— Нельзя! — ответил он кратко.

— Ну, ну! странно ты начинаешь вести себя, товарищ! А ежели мы да и скажем: нельзя! — нельзя выехать из коммуны ни сегодня, ни завтра.

Гость пропустил эти слова мимо ушей. Его внимание было теперь целиком занято солнечным диском, который одним краем касался уже горизонта.

— Пора! Пора уж! — вздохнул, вставая с места.

Товарищи вскочили, как по команде, окружая его сомкнутым кругом. Несколько рук легло на рукояти револьверов.

— Ни шага! — схватил его за плечо комиссар, — останешься здесь, понимаешь.

Сарт посмотрел медленно вокруг, обежал взглядом одно лицо за другим и усмехнулся наивно.

— Что вы! — Я хочу только Богу помолиться. Солнце заходит; — он снял платок повязанный вокруг бедер, и разостлав его на земле, стал на колени, чтобы начать обрядовые поклоны.

Неожиданное, хотя в сущности столь понятное желание, расстроило совершенно готовившихся напасть.

— Дурак какой то! махнул рукой комиссар, презрительно смотря на бьющего лбом поклоны сарта, — вот так коммунист мусульманский»!

Ефрем уже хотел удалиться, как

«...внезапно пронзительный крик прозвучал в воздухе. Повернувшись с быстротой молнии он увидел, как ближайший к коленопреклоненному сарту падает навзничь, схваченный снизу за ноги. Почти одновременно брякнуло в него тело другого от толчка, данного с незаурядной силой. Прежде чем он успел дать себе отчет в том, что случилось, он увидел Тугузбая вне раздавшегося круга, отступающего шаг за шагом к своему коню. В руке у него блестел новенький наган, направленный на ошеломленных товарищей.

— Руки вверх! болваны! — закричал он, срывая пулей шапку с головы первого с края. Подняли руки как один.

— Мадамин бек, он же Тугузбай, благодарит за прием товарищей коммунистов! — бросил он садясь на коня. — Берегитесь все как приеду другой раз Чмокнул сквозь зубы и тронул как бешенный, прямо перед собой, на прямик к реке. Прежде чем кто нибудь успел послать за ним пулю, он пропал уже в скалах над яром».

Идет дальнейшее развитие действий басмачей. В коммуну с большим трудом прибыл специальный гонец с инструкциями из города.

«Шайки Мадамина появились уже под самым городом и беспокоят его днем и ночью, благодаря несомненному соучастью туземного населения. Волнение и сопротивление властям было замечено в наиболее до сих пор спокойных кышлаках. Влияние разбойника стало даже проникать в ряды мусульманских красных баталионов. Это явление перестало быть обыкновенным бандитизмом, приобретая, наоборот, чисто политические черты угрожающие существованию республики. За последние дни властям удалось однако обнаружить нити заговора подготовлявшего общее восстание туземцев проти

советской власти. Не удалось еще выяснить срок взрыва, но есть все же некоторые указания, что это имеет случиться в связи с горскими скачками по случаю праздника первого снега. (Кар Хат). Вследствие чего об'является негласное исключительное положение в целой округе, а всем органам власти приказывается поступать с туземцами как с контр-революционерами и бунтовщиками, согласно праву революционного времени.

Что касается бектымирской коммуны, то, кроме мер предписываемых этим общим циркуляром, на нее возлагалась еще особая стратегическая задача.

— Значит это, — заявил комиссар прочтя приказ — что перепугались в городе здорово. А когда мы писали и раз и другой, то все это называлось глупостью. Впрочем чорт с ними! Боюсь я только не преувеличивают ли они. Это восстание смахивает по мне на какую-то партийную штучку.

— Ты что же говоришь, товарищ! — прервал его вспыльчиво красноармеец, во всем городе ни о чем другом как об этом и не говорят! Вещь важная, очень важная! Кто знает, не вмешается ли в это Эмир Афганский. Скажу вам даже — понизил он голос — что предвидят всеобщую резню белых в этом крае. Даже белая гвардия перепугана. — Город окружен войсками днем и ночью.

— Ну, а на трактах как? — вставил Ефрем, взволнованный упоминанием о первом снеге.

— На трактах. На трактах спокойно. Собственно, трудно даже сказать, чтобы творилось что нибудь особое. Иной озирается что козел, но ведь это не новинка. Базары полны. Торгуют, лавки открыты! — На самом деле как выедешь за город, то как-то не страшно».

***

Мы выбрали из «Кар Хат» места, иллюстрирующие басмаческое движение. Повесть развивается однако больше в плане романтической интриги. Девушка туземка, спасенная беглецом, лже-Ефремом, от голода, влюбляется в него. Но так как она чувствует, что все его мысли с женой и семьей, брошенной в городе, то она бежит из коммуны к Мадамину и старается помочь и беглецу скрыться из нее при первом снеге. Повесть кончается ее смертью и бегством Ефрема. Кроме того искусно вплетается побочная фабула: приезжающий в коммуну из города контролер большевик узнает в Ефреме самозванца белогвардейца, который стрелял в него во время уличных боев, но который в другой момент прикрыл его своим телом от выстрелов. Это сплетение нескольких мотивов с невидимо присутствующей опасностью басмачества, придает всему рассказу живой темп и он читается с интересом. — Мы даем образчик в другом роде из второго, дышащего правдой рассказа, «Комиссия». Дело касается реквизиции под санаторий образцового фруктового сада некоего князя.

***

— «Товарищ, спишь?

— Так, наполовину — а что?

— Комендант зовет...

— Ну, что за черт, ночью...

— Сказал дело есть и чтобы ты сейчас приехал,—красный вестовой повернул коня и полетел в ночную темь.

Это не первый уже раз комендант лагеря вызывал меня ночью «по делу», которое, впрочем, постоянно, можно сказать, совершалось утром, без ущерба для республики. Привыкнуть к этому было трудно, но отвыкнуть невозможно; а спешность предписывалась всегда, так как комендант к тому же по вечерам бывал не в духе. Я заложил экипаж (на резинах) и хорошей рысью поспешил к отстоявшему на несколько верст дому коменданта.

В передней, вернее на террасе, я застал уже и инженера К., с которым мы вели работы, предназначенные для подготовки разрушенного лагеря под «пятидесятитысячную восточную армию», имевшую выступить в поход «на Индию». Армии еще не

было ни в лагере, ни вообще в Туркестане; откуда имела она прибыть — не известно, но какое же нам до этого было в сущности дело; комендант был, да и не какой нибудь комендант! Ведь трясся перед ним сам туркестанский исполком, и одного имени его было достаточно, чтобы митинг грозных ташкентских рабочих железн. дор. депо разлетелся, кто в двери, кто в окна. Поручили-ли ему организацию «восточной армии» для удовлетворения его болезненной энергии, или же по просту, чтобы от него избавиться в столице, где он надоел всем своими диктаторскими замашками, Богу одному было известно. Вероятнее всего хотели соединить и то и другое. Отозвалось это на лагере, который по чудачески преображался под безалаберной указкой коменданта, одаренного необычайной строительной фантазией; отзывалось это на казне республики, сыпавшей миллионами, частью добровольно, частью под угрозой револьвера; отзывалось и на нас, т. е. на всем техническом персонале, который весьма неожиданно оказался «в распоряжении» коменданта, приготовившего с необычайным рвением лагерь для армии находящейся «в пути».

В моменты решающие для строительства, т. е. когда блеснула какая-нибудь новая «идея» в голове «сатрапа», комендант вызывал инженера К. и меня, — первого потому, что когда то на фронте он служил под его началом в качестве фельдфебеля, а поэтому ему лестно было дать теперь почувствовать, как изменились времена, меня потому, что он мне, «доверял». А доверял он мне так как я никогда не пробовал даже ему об'яснять, что, напр., нет смысла закладывать фундамент под здание, когда нет ни малейшей перспективы окончить его в течение ближайшего столетия, или ставить печи в бараках, в которых никогда не будет окон и дверей, ибо дверные ручки , замки и стекло отошли в невозвратное прошлое. Я выполнял каждое поручение без слова пререкания, т. е. выполнял настолько, что сейчас же приступал к работам, не задавая ни себе, ни кому бы то ни было вопроса, как же это кончится.

— Милый товарищ, заявил я в свое время главному контролеру казенной палаты, спрашивавшему меня «полуофициально», по какому праву я строю дома, для которых нет ассигновок даже в бюджете, — если бы комендант приказал мне поставить лестницу на реку или виадук в Бомбей, я завтра приступаю к работе...

— Вы можете повредить себе..

— Я? Вы повредите себе своими устаревшими рассуждениями, вы не замедлите в этом убедиться, товарищ!

Контролер «убедился» еще в тот же день, когда выскочил с всклокоченными волосами из комендантского дома, куда он зашел неосмотрительно со своим «по какому праву».

— Чтобы носа твоего тут не было в районе 10 верст, ты царский прихвостень, саботажник! — гремел вслед ему комендант, потрясая нагайкой, — к чорту убирайся, убьем! *)

Утром около 9 часов подкатила на автомобиле прекрасная комиссия, состоявшая из комиссаров гигиены и военного, и какого-то армянина, члена Исполнительного Комитета. Это был замечательный триптик революционных типов. Первый «интеллигент» доктор, вытолкнутый на высокий пост в коммунистическом правительстве стечением целого ряда обстоятельств, которым он противостоять не умел, обессиленный инертностью воли, до некоторой степени нравственно обязанный своим коммунистическим увлечением во время студенчества, и, наконец, увлеченный перспективой карьеры; человек притворяющийся в увлечении, вере, энергии и учености перед собой и другими, по существу трус и филистер, по пьяному делу пропащий чело

*) По русски в тексте.

век, среди товарищей фигура презираемая и постоянно подозреваемая в шашнях с контрреволюцией; другой — мечтатель из народа с плечами великана, детскими глазами и душой медведя; когда-то мужик, потом полковой писарь, позже громкий богатырь первых революционных боев, по прихоти которого расстреливали людей десятками, в то время как он лежал на койке с глазами устремленными в потолок, распевая звучным голосом народные песни Поволжья;*) третий плоский и ловкий негодяй, который бросился в революционный водоворот с наглостью голяка, жаждущего приобрести имущество любой ценой, первый говорила в совдепах, обязанный всем своим коммунистическим знаниям агитационным плакатам, небезопасный вдохновитель многих начинаний, программ и декретов, дающих повод набить карман хотя, бы отрезывая кольца с пальцем покойника, мерзавец убежденный, вынюхивающий вокруг себя себе подобных, и ими одними интересующийся. Дополнял их комендант, полумонгол, чуваш из Поволжья, линейный эксфельдфебель царской армии, дезертир с фронта, один из последних; сегодня генерал красной армии, один из первых — человек, которому не хватало только образования, чтобы стать сатрапом на широкую ногу. Искренне заблуждающийся, что все в свете должно иметь в себе столько координированной энергии, сколько он чувствует ее в себе дикой.

Откуда то присоединился силует будущего заведующего госпиталем, и вероятного вдохновителя всего предприятия, моряка неизвестной флотилии, прошедшего уже через сотню совдепов; тени сотни чрезвычаек; циника, свято верующего, что никакого госпиталя в этом саду не будет, но ткущего уже заранее пряжу мечтаний о возможности развалиться на господской мебели и о тихом уголке, где, наконец, вдали от революционного шума, который пересталъ его забавлять, он будет в состоянии хоть несколько месяцев гнать самогон.

Подбор был редкостный, — в хвосте еще я с инженером, интеллигенты с затоптанными лицами, «технические специалисты и эксперты», о мнении которых не спрашивали, хотя любили сваливать на них ответственность всякий раз, когда «дело провалилось» со скандалом. Но тут, однако, следует признать, что комендант был лойален и за работы им инспирированные отвечал револьвером, правда, да кулаком, но ведь это же была единственная форма ответственности, с которой несколько считались».

***

Вот, наконец, некоторые выдержки из рассказа «Kos na Pamirze» (Кос на Памире). Кос, австрийский пленный, рассказывает на пароходе, везущем в Европу всяких беженцев, собравшихся в Индии, свои фантастические похождения.

— «Так вы не принимали участия в контр-революции?

— Нет. Т. е. фактически да. Потому что где то там с какого то угла бил несколько часов по красным из пулемета. Просто из любопытства, как мол, выглядит этот уличный бой. Но по существу я не имел с заговором ничего общего и даже не знал этих их придуманных паролей, которыми они созывали по городу. Не выношу конспирации. Никогда неизвестно, где в них кончается трус и где начинается герой. В конце концов, уже спустя несколько часов мне было довольно белых, и немного спустя вместе с красными я штурмовал цитадель».

Тут не рисовка, а просто безразличность всех этих пленных, которых судьбы России не интересовали нисколько, но которые однако играли, и не маловажную, роль в событиях.

...«Затем я скоро поступил в Красную армию и даже отличил-

*) «Лубок»!

ся на Закаспийском фронте. Товарищи говорили, что я был довольно храбр. Увы, приказал я поставить к стенке прикомандированного ко мне политического комиссара и еле из армии унес целой свою шкуру. Потом работал некоторое время в афганской миссии, а затем ездил в Бухару от лица организаторов мусульманской красной армии. В промежуток торговал табаком и валютой и доставал водку в кооперативную гостинницу комиссаров. Были это занятия довольно рискованные, почему я сделался в чрезвычайке личностью известной, одной из тех, что первая с краю. Тогда на злость чекистам поступил в партию, откуда придали меня одному из летучих отрядов для борьбы с контр-революцией. Естественно, что я не приминул залить сала за шкуру своим приятелям из чрезвычайки. Но все же служба эта была тяжелой — даже для моих нервов. Я понял, что черезчур погряз и решительно постановил покончить с пленом и вернуться на родину. Уговорил тогда двух приятелей и назначил маршрут на Фергану, Памир и Афганистан в Индию. Далеко, но весело!

...Хотела же тетка моя побывать в Гондурасе только потому, что там родилась одна дама, с которой она познакомилась в трамвае. Кроме того мне хотелось немного пошататься. Довольно мне уже было большевиков и подсиживания чрезвычайки. Я предпочитал горы и пустыни. На краю Памира, на так наз. Памирском посту, стоял, правда, более значительный отряд красной армии, но я знал, что он состоял исключительно из царских офицеров, которые искали на этом безлюдьи спасения от кровавой погони после переворота. Говорили даже, что отряд этот уже частями перешел в Индию, и то что соединился он с басмачами Мадамина и бушует по Фергане...

С фальшивыми документами пробились мы до Ферганы. Тут атмосфера оказалась совершенно другой. Власть советов занимала скромные островки внутри стен городов, а то и не выходила за ворота чрезвычаек и казарм. На трактах буянил Мадамин, а впрочем, повсюду управлял свободный кулак. Из всех монет в обращении наилучшей была оловянная, — та именно, что в обойме револьверов.

...Удивительное дело, как скоро приспособились мы к новым условиям быта — из одного приключения в другое — и всегда под счастливой звездой. Бывало — гоняли нас по пятам туземцы, — хоронимся в последний момент у советов; промахнемся в чем нибудь у красных, сарты спасут. Телефонов и возможности столковаться, к счастью, не было. Одна сбитая с пути погоня и опять ты как новорожденный младенец, о котором никто не знает, что ему думать...

Пришлось нам заглянуть в Ош, где сидел небольшой отрядик красной армии, носу не показывая за крепостные стены. Приняли нас как везде, т. е. без малейшего интереса. Кандидат в трупы да и только. О памирском отряде не знали ничего. Были, прошли, может быть там и живы еще. После двухдневного отдыха выторговали мы у них, при помощи самых наглых угроз репресиями со стороны Центрального Комитета, который якобы выслал нас для ревизии этого края, — одно ружье, одного ослятю и немного неудобоваримой снеди...

Что же сказать мне об этой дороге из Оша до Памирского поста? Тяжкая была она. Мы заблудились. В сущности я никогда не полагал, что человек может столько выдержать. Что говорить об этом сегодня, на этом роскошном пароходе... Падая каждые 10 шагов, Ковал один из спутников, кривил рот жалкой усмешкой и сопел: глупости! вперед друзья.

Говорю я вам: что когда так вот на четверинках вползешь из последних сил на перевал и увидишь под собой яму, а над ней нового Молоха из скал, то

сердце переворачивается от ужаса и отчаяния; а потом эти плоскости все в валунах... Вот почему, когда мы трое нищих, трое обезумевших, искалеченные, исхудавшие, полунагие увидали плоские крыши Памирского поста, то зарыдали как дети. Знаете ли вы что за нежность, что за безграничная любовь к людям вспыхивает в таких случаях в сердцах. Мы благословляли неведомых обитателей этого захолустья»...

По прибытии на пост их арестуют, но встреча на Памире героини, с которой у него была раньше связь, оказывающейся чуть ли не начальницей поста, позволяет Косу, пользуясь ее соучастием, выработать план дальнейших действий.

...«Предположения мои о положении вещей на Памире были правильны. Люди эти были совершенными банкротами во всех отношениях. Держало их вместе единственно положение без выхода, а также и общая страсть к нескольким женщинам, которые совершили безумство, дав себя туда увезти. Сожаления достойная судьба. Оне переходили из рук в руки, безвольные и испуганные несчастием, которое сеяли вокруг. Пьянство разлагало окончательно эту несчастную колонию. В этих условиях я должен был оказаться человеком посланным судьбой, который разнесет в пух это братство».

Кос не стесняется использовать возобновленную с героиней связь для осуществления плана и однажды ночью, овладевая револьвером под ее подушкой, арестует ее, освобождает своих товарищей, захватывает пулемет, бросает гранаты, словом, создает хаос.

...«Кричали, что на пост напали афганцы или же что с перевала наступают красные, где то запылал пожар от ручной бомбы. Только несколько более отдающих себе отчет поняли в чем дело и начали нас обстреливать. Я их успокоил несколькими веерами из машинки. Около полуночи крики стали стихать, затем вдруг пошел сильный дождь и стало совсем тихо. Мы были господами Памира. Чем был тогда этот несчастный Памир! Ночная темь, пронизанная холодом и ливнем, кучка разгромленных домишек, из которых один догорал. А мы, господа Памира! Трое обреченных около помятого пулемета; извините, двое, т. к. один лежал в грязи с простреленной грудью».

Для усугубления демонизма Коса (мы говорили о лубке), нам рассказывается, что

...«утром мы тронулись в путь на перевал Беик*) и в Афганистан... В первом афганском ауле я продал ее богатому дикарю в вознаграждение за то, что он провел нас до индийской границы.

***

Как то случилось, что у нас в Париже оказались две открытки. На одной «Март» Левитана: у лесной сторожки захудалая лошаденка в дровнях, под дугой; на рыхлый снег, который завтра стает многоголосыми струями, ложатся фиолетовые тени; березки, чувствуется, уже набухли весенними соками. — Каразинская «Находка» на другой открытке. Среди кустиков саксаула, на раскаленном красном песке лежит белая солдатская фуражка; уходят вдаль бурханы; небо мутное; жара нестерпимая. Около фуражки остановился киргиз на верблюде; фляга с водой, переметные сумы. Склонился и смотрит. Мы любим подолгу смотреть на них и мысленно сопрягать эти очень разные, но одинаково такие русские пейзажи.

Уже в «Исходе к Востоку» евразийцы отчетливо выразили что понятие «революция в России» несравнимо с другими сдвигами социально-политических слоев, о которых нам говорит

---

*) Мы должны подтвердить, что перевал под названием Пеик, действительно на подробной карте Памира, обозначен у Эссертона. Сценарий в красках сгущенных, но общий фон как будто верен.

история. Ообая катастрофическая и гигантская стать нашей революции заключается в евразийской природе русского мира, охватывающего, вмещающего в себе столь разные этнические и географические элементы. Мы соединили в нашем обзоре «По Азии» ряд свидетельств, после ознакомления с которыми совершенно наглядно ощущается своеобразный, ничему не соравный характер взбушевавшейся на нашем «океане-континенте» революционной стихии. Валы ея, вздыбившись у мощных азиатских кряжей расплескалися до ущелий Памира; пронеслись по Монголии, вспенили воды священного Байкала; докатились до устья Амура. Их отзвук слышится под сводами прохладных базаров Багдада, Исфагана, Кабула, Лагора... Звучит их голос в Яркенде, Кульдже, Урумчи, Урге и Сеуле. Паши и беи, дервиши, брамины, ламы... Все смешались в каком то чудовищном калейдоскопе. Одни видят в революции лишь Вальпургиеву ночь, сатанинский шабаш, море горя, слез. Горячо нас убеждают другие, что все вышло не так как следует. Кто то что то узурпировал, кого то кем то подменили. Пробовали говорить в терминах французской революции. Мы узнали о коллективном Бонапарте и даже о длящемся уже три года русском Термидоре. Вышло нескладно, неубедительно, конфузно. Какие уж у нас шуаны в малахаях. Где тут ночь 4 августа в тени гробницы Тамерлана. И клятва Jeu de Paume с матросом Железняком.

Нужно решительно отказаться от накладывания западных шаблонов на картину русской революции. Мы не поймем нашей революции вне ее, вне нашей евразийской природы. Не осознаем ее полностью, если будем продолжать смотреть только на Запад.

Пора обратить внимание на азиатское преломление революционных событий, внимательно всмотреться на Восток, почувствовать его.

Читая отмеченные нами книги, историк внимательно просеет все данные о тактике и планах Англии, Германии, Японии в Азии. Разнесет по фишкам и увидит тесную связь революции с войной (неприятельская пропаганда, действующие лица и т. д.). Экономист, учитывая первостепенное значение богатств Азии в процессе возрождения России, об'яснит нам, как дважды два четыре, какие имеются и здесь препятствия на пути свободного творческого розмаха. Социолог сведет всю суетливую пестроту фактов к однотонным общим положениям и удовлетворенно включит их в свою удобную общую схему процесса русской революции.

А живая трепещущая действительность не такова, не дает себя разложить на основные элементы, ускользает от законов.

Поставив в центр мира «человека» — нас приглашают верить в мистику прогресса. Якобы одна западная цивилизация дает ключ всеобщего понимания. А мы зовем в Азию, где узнаем, что этика, эстетика и даже логика вовсе не обязательно одинаковы у всех. Нет мистики прогресса; нет единой цивилизации; европейскому человеку нужно, наконец, смириться.

Только пройдя через это смирение и сознав относительность вещей мы подойдем к нашим азиатским согражданам и соседям не с утилитарной точки зрения; вне плоскости снисходительнаго превосходства или белого либо красного империализма. Психологически эти настроения одинаковы.

Мы ждем появления литературного произведения, в котором художественное творчество сумеет претворить в образы живую действительность и дать почувствовать сопряженность России с Азией. Мы ждем выявления пафоса Азии в русской литературе. Звучания новых, или старых, но давно затерянных струн.

Почему до сих пор мы могли увидеть лишь бедные намеки на

щущение Азии у В. Шкловского,*) у Оссендовского и Гети? Их показания должны быть выслушаны, но их манера (тон?) не соответствует глубокой важности предмета. Восток у Мережковского окрашен особым настроением и далек от нашей русской Азии. Имена ученых исследователей, местных деятелей — Гродеков, Корнилов, Пржевальский, Семенов-Тянь-Шанський, Козлов, Корш, В. Ф. Миллер, Жуковский, Бартольд, Кримський, Самойлович, Зарудин, Наливкин, Зимин, Потанин, Кузнецов и т. д., и т. д. — служат порукой тому, что нашему поколению или его смене умело расчищен, подготовлен путь к решению основных проблем русской культуры и государственности: к раскрытию органического сочетания России и Азии и умению подойти к туземцу не для использования его как орудия белой или красной политики, а для совместного труда по восхождению к общим истокам. Остальное приложится.

В. П. Никитин

12 апреля 1926 г.
Париж.

---

*) Кстати, если В. Шкловскому попадутся на глаза эти строки, то я попрошу его припомнить армию конца 1917 года, где, для красного словца, он заставляет меня представлять «страну голубых антилоп», чтобы подчеркнуть тщету моих усилий сохранить порядок во «вверенном» мне тогда консульском округе, с театра военных действий сразу попавшем на театр революции. Не считает ли он, что трагикомизму его, помощника комиссара, положения, когда он пытался убедить армейский комитет в необходимости осудить погромы не «в частности» а «вообще», можно приравнять лишь извинения, которые «от лица русской демократии» на всех известных мне языках я должен был приносить «персидской демократии» на заседаниях (всегда «последних») после каждого очередного погрома. — Из сказанного Шкловскому ясна и чисто фактическая неточность того места его «Сентиментального путешествия», где он меня хоронит. Что касается д-ра Шедда, его вдова написала книгу об этом действительно самоотверженном миссионере (The measure of a Man. William A. Shedd of Persia. By Mary Lewis Shedd, N. Y., Doran, 1922).

МАТЕРИАЛЫ

ЖИТИЕ ПРОТОПОПА АВВАКУМА, ИМ САМИМ НАПИСАННОЕ

По благословенію отца моего, старца Епифанія, писано моею рукою грѣшною протопопа Аввакума, и аще речено просто, и вы, Господа, ради, чтущіи и слышащіи, не позазрите просторѣчію нашему, понеже люблю свой русской природной языкъ, виршами философскими не обыкъ рѣчи красить, понеже не словесъ красныхъ Богъ слушаетъ, но дѣлъ нашихъ хощетъ. И Павелъ пишетъ: аще языки человѣческими глаголю и ангельскими, любви же не имамъ, — ничто же есмь. Вотъ что много разсуждать: ни латинскимъ языкомъ, ни греческимъ, ни еврейскимъ, ни же инымъ коимъ ищетъ от насъ говоры Господь, но любви с прочими добродѣтельми хощетъ; того ради я и не брегу о краснорѣчіи, и не уничижаю своего языка русскаго, но простите же меня грѣшнаго, а васъ всѣхъ рабовъ Христовыхъ Богъ проститъ и благословитъ. Аминь. (*Третья редакція*)

Крестъ всѣмъ воскресеніе.

Крестъ падшимъ исправленіе, страстемъ умерщвленіе и плоти пригвожденіе.

Крестъ душамъ слава и свѣтъ вѣчный. Аминь.

Аввакумъ протопопъ понуженъ бысть житіе свое написати инокомъ Епифаніемъ, — понежъ отецъ ему духовной инокъ, — да не забвенію предано будетъ дѣло Божіе; и сего ради понуженъ бысть отцемъ духовнымъ на славу Христу Богу нашему. Аминь. *)

Всесвятая Троице, Боже и Содѣтелю всего міра! поспеши и направи сердце мое начати с разумомъ и кончати дѣлы благими, яже нынѣ хощу глаголати азъ недостойный; разумѣя же свое невѣжество, припадая, молю Ти ся и еже от Тебя помощи прося: управи умъ мой и утверди сердце мое приготовитися на твореніе добрыхъ дѣлъ, да, добрыми дѣлы просвѣщенъ, на судище десныя Ти страны причастникъ буду со всѣми избранными Твоими. И нынѣ, Владыко, благослови, да, воздохнувъ от сердца, и языкомъ возглаголю Діонисія Ареопагита о Божественныхъ именехъ, что есть Богу присносущные имена истинные, еже есть близостные, и что виновные, сирѣчь похвальные. Сія суть сущіе: Сый, Свѣтъ, Истина, Животъ; только четыре свойственныхъ, а виновныхъ много; сія суть: Господь, Вседержитель, Непостижимъ, Неприступенъ, Трисіяненъ, Тріипостасенъ, Царь славы, Непостояненъ, Огнь, Духъ, Богъ, и прочая потому разумѣвай.

---

*) *Многострадальный юзникъ темничьной, горемыка, нужетерпецъ, исповѣдникъ Христовъ, священнопротопопъ Аввакумъ понуженъ бысть житіе свое написати отцемъ его духовнымъ, инокомъ Епифаніемъ, да не забвенію будетъ предано дѣло Божіе. Аминь.*

Поученіе преподобнаго отца нашего аввы Дорофея о любви. Потщитеся соединитися другъ другу: елико бо соединевается кто искреннему, толико соединяется Богови, и реку вамъ прикладъ от отецъ, да познаете силу слова.

Положи ми кругъ быти на земли, яко же начертаніе нѣкое обло, от прехожденія остна, глаголетжеся свойственнѣ остенъ, еже посреднее круга, даже до остна; положите убо умъ вашъ во глаголемое; сей кругъ разумѣйте ми быти міръ; самое же, еже посредѣ круга, — Бога; стезя же, яже от круга идущая и до среды путія, сирѣчь житія человѣческая, поелику убо входятъ святіи к средѣ, желающе приближитися Богу, по равеньству входа близъ бываютъ и Бога, и другъ другу, и елико приближаются другъ другу, приближаются и Богови. Такожде разумѣйте и отлученіе: егда бо оста-

Того-жъ Діонисія о истиннѣ: себе бо отверженіе истинны испаденіе есть, истинна бо сущее есть; аще бо истинна сущее есть, истинны испаденіе сущаго отверженіе есть; от сущаго же Богъ испасти не можетъ, и еже не быти нѣсть.

Мы же речемъ: потеряли новолюбцы существо Божіе испаденіемъ от истиннаго Господа, Святаго и животворящаго Духа. По Діонисію: коли ужъ истины испали, тутъ и сущаго отверглися. Богъ же от существа Своего испасти не можетъ, и еже не быти, нѣсть того въ Немъ: присносущенъ истинный Богъ нашъ. Лучше бы имъ в Символѣ вѣры не глаголати Господа, виновнаго имени, а нежели истиннаго отсѣкати, в немъ же существо Божіе содержится. Мы же, правовѣрніи, обоя имена исповѣдаемъ: и в Духа Святаго, Господа, истиннаго и животворящаго, свѣта нашего, вѣруемъ, со Отцемъ и Сыномъ поклоняемаго, за Него же стражемъ и умираемъ, помощію Его Владычнею. Тѣшитъ насъ Діонисій Ареопагитъ, въ книгѣ ево сице пишетъ: сей убо есть воистинну истинный христіянинъ, зане истинною разумѣвъ Христа, и тѣмъ богоразуміе стяжавъ, изступивъ убо себе, не сый в мірскомъ ихъ нравѣ и прелести, себя же вѣсть трезвящеся и изменена всякаго прелестнаго невѣрія, не токмо даже до смерти бѣдъствующе истинны ради, но и невѣденіемъ скончевающеся всегда, разумомъ же живуще, и христіяне суть свидѣтельствуемы. Сей Діонисій наученъ вѣре Христовѣ от Павла апостола, живый во Афинѣхъ, прежде, даже не пріитти в вѣру Христову, хитрость имый щитати бѣги небесныя; егда-жъ вѣрова Христови, вся сія вмѣнихъ быти, яко уметы. К Титофею пишетъ в книге своей, сице глаголя: дитя, али не разумѣешь, яко вся сія внѣшняя блядь ничто же суть, но токмо прелесть и тля и пагуба?

вятъ себе от Бога и возвратятся на внѣшняя, явѣ есть, яко елико исходятъ и удаляютъ себе от Бога, толико удаляются другъ от друга, и елико удаляются другъ от друга, толико удаляются и от Бога; се таково есть естество любве, послику убо есмы внѣ и не любимъ Бога, потолику имамы отстояніе каждо ко искреннему. Аще ли же возлюбимъ Бога, елико приближаемся к Богу любовію, яже к Нему, толико соединѣваемся любовію к ближнему, и елико соединѣваемся искреннему, толико соединѣваемся Богу. Богъ да сподобитъ насъ послушати полезная намъ и творити я, а не гнѣватися другъ на друга, ниже яритися.

Богъ любы есть, и пребываяй в любви в Бозѣ пребываетъ, и Богъ в немъ пребываетъ. Апостолъ рече: сообщаяйся Богу прилѣжитъ и о братѣ; ненавидяй брата чюждь Бога и жилище бѣсомъ. Богъ вселяется в любовнова человѣка чювствомъ небеснымъ, и таковое тѣло домъ Божій бываетъ. По святому Ефрему: а идѣже Господь Богъ, ту и чини святыхъ ангелъ служатъ Владыки; живемъ, братія, угодно Богу, да со ангелы Христосъ Богъ в насъ обитаетъ.

азъ проидохъ дѣломъ, и ничто-жъ обрѣтохъ, но токмо тщету. Чтый да разумѣетъ. Ищитати бѣги небесныя любятъ погибающіи, понеже любви истинныя не пріяша, воеже спастися имъ; и сего ради послетъ имъ Богъ дѣйство льсти, воеже вѣровати имъ лжи, да судъ пріимутъ не вѣровавшіи истиннѣ, но благоволиша о неправдѣ (Чти Апостолъ, 275).

Сей Діонисій, еще не пріидохъ в вѣру Христову, со ученикомъ своимъ во время распятія Господня бывъ в солнечнемъ граде, и видѣвъ: солнце во тму преложися и луна в кровь, звѣзды в полудне на небеси явилися чернымъ видомъ. Онъ же ко ученику глагола: «или кончина вѣку пріиде, или Богъ Слово плотію стражетъ»; понеже не по обычаю тварь видѣ изменену: и сего ради бысть в недоумѣніи. Той же Діонисій пишетъ о солнечнемъ знаменіи, когда затмится: есть на небеси пять звѣздъ заблудныхъ, еже именуются луны. Сіи луны Богъ положилъ не въ предѣлехъ, яко-жъ и прочіи звѣзды, но обтекаютъ по всему небу, знаменіе творя или во гнѣвъ, или в милость, по обычаю текуще. Егда заблудная звѣзда, еже есть луна, подтечетъ под солнце от запада и закроетъ свѣтъ солнечный, то солнечное затменіе за гнѣвъ Божій к людямъ бываетъ. Егда-жъ бываетъ от востока луна подтекаетъ, то по обычаю шествіе творяще закрываетъ селнце.

А в нашей Росіи бысть затменіе: солнце затмилось въ 162 году, пред моромъ за мѣсяцъ или менши. Плылъ Волгою рекою архіепископъ Симеонъ сибирской, и в полудне тма бысть перед Петровымъ днемъ недѣли за двѣ; часа с три плачючи у берега стояли; солнце померче, от запада луна подтекала. По Діонисію, являя Богъ гнѣвъ Свой к людямъ: в то время Никонъ отступникъ вѣру казилъ и законы церковныя, и сего ради Богъ изліялъ фіалъ гнѣва ярости Своея на Рускую землю; зѣло моръ великъ былъ, нѣколи еще забыть, вси пом-

---

Аще криво живу, исправте мя; аще по воли Божіи, благодать Богу о неисповѣдимѣмъ Его дарѣ. Вотъ вамъ, питомникамъ церковнымъ, предлагаю житіе свое отъ юности и до лѣтъ пятьдесять пяти годовъ. (1675-1676) Авва Дорофей описалъ же свое житіе ученикамъ своимъ, понуждая ихъ на таяжде, поученіе 4, листъ 49; и я такожде, убѣждая вашу любовь о Христѣ Ісусѣ Господѣ нашемъ, сказываю вамъ дѣемая мною, непотребнымъ рабомъ Божіимъ о святѣмъ Дусѣ со Отцемъ и Сыномъ. Богу благодареніе во вѣки.

Вото тебѣ, чадо мое возлюбленное, книга живота вѣчнаго; поминай мя в молитвахъ своихъ и старца не забывай Епифанія. Я писалъ, а онъ мнѣ молитвами помогалъ; над всѣмъ же симъ, благословитъ тя Господь и Марію твою Пименовну, и чадъ вашихъ, и снохъ, и внучатокъ, и сродниковъ, и знаемыхъ, и други, и другиня, и вся васъ любящія; еще еже да будетъ всякъ, благословляяй тя,

нимъ. Потомъ, минувъ годовъ с четырнатцеть, вдругорядъ солнцу затменіе было; в Петровъ постъ, въ пятокъ, в часъ шестый тма бысть: солнце померче, луна подтекла от запада же, гнѣвъ Божій являя: и протопопа Аввакума, бѣднова горемыку, в то время с прочими остригли в соборной церкви власти и на Угрѣше в темницу, проклинавъ, бросили. Вѣрный разумѣетъ, что дѣлается въ земли нашей за нестроеніе церковное. Говорить о томъ полно; въ день вѣка познано будетъ всѣми; потерпимъ до тѣхъ мѣстъ.

Той же Діонисій пишетъ о знаменіи солнца, како бысть при Ісусѣ Наввинѣ во Израили. Егда Ісусъ секій иноплеменники, и бысть солнце противо Гаваона, еже есть на полдняхъ, ста Ісусъ крестообразно, сирѣчь разпростре руце свои, и ста солнечное теченіе, донеже враги погуби. Возвратилося солнце к востоку, сирѣчь назадъ отбѣжало, и паке потече, и бысть во дни томъ и въ нощи тридесеть четырѣ часа, понеже въ десятый часъ отбѣжало, такъ в суткахъ десять часовъ прибыло. И при Езекіи царѣ бысть знаменіе: оттече солнце вспять во вторыйнадесять часъ дня, и бысть во дни и в нощи тридесять шесть часовъ. Чти книгу Діонисіеву, тамъ пространно уразумѣешь.

Онъ же Діонисій пишетъ о небесныхъ силахъ, росписуетъ, возвѣщая, како хвалу приносятъ Богу, раздѣляяся деветь чиновъ на три троицы. Престоли, херувими и серафими освященіе от Бога пріемлютъ и сице восклицаютъ: благословенна слава от мѣста Господня! И чрезъ ихъ преходитъ освященіе на вторую троицу, еже есть господьства, начала, власти; сія троица, словословя Бога, восклицаютъ: аллилуія, аллилуія, аллилуія! По алфавиту, а л ь Отцу, и л ь Сыну, у і я Духу Святому. Григорій Ниский толкуетъ: аллилуія — рѣчь,хвала Богу; а Василій Великій пишетъ: аллилуія — ангельская рѣчь, человѣчески рещи: слава Тебѣ, Боже! До Василія пояху во церкви ангельскія рѣчи: аллилуія, аллилуія, аллилуія! Егда же

благословенъ, и проклинаяй тя — проклятъ; и да подастъ ти Господь от влаги земныя и отъ росы небесныя свыше, и множа да умножитъ в дому твоемъ всякія красоты и благодати, и да ясте ветхая ветхихъ, и ветхая от лица новыхъ изрините, сирѣчь всего изобильно и с остатками; дай вамъ, Господи, и хлѣба, и мяса, и рыбы; от женъ да ядятъ сія хлѣбы священныя. Виждь, архіерей сестру чистоту и еросу назнаменована, и ясти брашно священническо повелѣ по нуждѣ алчющимъ отрокомъ Давидовымъ. Давидъ же яде, благодаря, яко попъ. Колми же нынѣшняя наша нужда належитъ ходящимъ спастися, нужно намъ таиньство то получить истинное, а прочія тайны мощно и простолюдину совершить. Есть и писано: не всѣхъ рукополагаетъ Духъ Святый, но всѣми дѣйствуетъ о Христѣ Ісусѣ Господѣ нашемъ, Ему же слава нынѣ и присно и во вѣки вѣкомъ. Аминь. *(Третья редакция).*

бысть Василій, и повелѣ пѣти двѣ ангельскія рѣчи, а третью, человѣческую, сице: аллилуія, аллилуія, слава Тебѣ, Боже! У святыхъ согласно, у Діонисія и у Василія; трижды воспѣвающе, со ангелы славимъ Бога, а не четыржи, по римской бляди; мерско Богу четверичное воспѣваніе сицевое: аллилуія, аллилуія, аллилуія, слава Тебѣ, Боже! Да будетъ проклятъ сице поюще. Паки на первое возвратимся. Третьяя троица, силы, архангели, ангели, чрезъ среднюю троицу освященіе пріемля, поютъ: святъ, святъ, святъ Господь Саваофъ, исполнь небо и земля славы Его! Зри: тричислено и сіе воспѣваніе. Пространно Пречистая Богородица протолковала о аллилуіи, явилася ученику Ефросина Псковскаго, именемъ Василію. Велика во аллилуіи хвала Богу, а от зломудрьствующихъ досада велика, — поримски Святую Троицу в четверицу глаголютъ, Духу и от Сына исхожденіе являютъ; зло и проклято се мудрованіе Богомъ и святыми. Правовѣрныхъ избави Боже сего начинанія злаго, о Христѣ Ісусѣ, Господѣ нашемъ, Ему же слава нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ. Аминь.

Аѳанасій великій рече: иже хощетъ спастися, прежде всѣхъ подобаетъ ему держати кафолическая вѣра, ея же аще кто целы и непорочны не соблюдаетъ, кромѣ всякаго недоумѣнія, во вѣки погибнетъ. Вѣра жъ кафолическая сія есть, да единаго Бога в Троицѣ и Троицу во единице почитаемъ, ниже сливающе составы, ниже раздѣляюще существо; инъ бо есть составъ Отечь, инъ — Сыновень, инъ — Святаго Духа; но Отчее и Сыновнее, и Святаго Духа едино Божество, равна слава, соприсносущно величество; яковъ Отецъ, таковъ Сынъ, таковъ и Духъ Святый; вѣченъ Отецъ, вѣченъ Сынъ, вѣченъ и Духъ Святый; не созданъ Отецъ, не созданъ Сынъ, не созданъ и Духъ Святый; Богъ Отецъ, Богъ Сынъ, Богъ и Духъ Святый не три бози, но единъ Богъ; не три несозданіи, но единъ несозданный, единъ вѣчный. Подобне: вседержитель Отецъ, вседержитель Сынъ, вседержитель и Духъ Святый. Равнѣ: непостижимъ Отецъ, непостижимъ Сынъ, непостижимъ и Духъ Святый. Обаче не три вседержители, но единъ вседержитель; не три непостижиміи, но единъ непостижимый, единъ пресущный. И в сей святѣй Троице ничтоже первое или послѣднее, ничтоже более или мнѣе, но целы три составы и соприсносущны суть себѣ равны. Особно бо есть Отцу нерожденіе, Сыну же рожденіе, а Духу Святому исхожденіе: обще же имъ Божество и царство. (Нужно бо есть побесѣдовати и о вочеловѣченіи Бога Слова к вашему спасенію). За благость щедротъ излія Себе от Отеческихъ

нѣдръ Сынъ-Слово Божіе в Дѣву чисту Богоотроковицу, егда время наставало, воплотився от Духа Свята и Маріи Дѣвы вочеловѣчився, насъ ради пострадалъ, и воскресе въ третій день, и на небо вознесеся, и сѣде одесную величествія на высокихъ и хощетъ паки пріитти судити и воздати комуждо по дѣломъ его, Его же царствію нѣсть конца. И сіе смотреніе въ Бозѣ бысть прежде, даже не создатися Адаму, прежде, даже не вообразитися. (Совѣтъ Отечь). Рече Отецъ Сынови: сотворимъ человѣка по образу Нашему и по подобію. И отвѣща другій: сотворимъ, Отче, и преступитъ бо. И паке рече: о, единородный Мой! о, свѣте Мой! о, Сыне и Слове! о, сіяніе славы Моея! аще промышляеши созданіемъ Своимъ, подобаетъ Ти облещися въ тлимаго человѣка, подобаетъ Ти по земли ходити, плоть воспріяти, пострадати и вся совершити. И отвѣща другій: буди, Отче, воля Твоя! И по семъ создася Адамъ. Аще хощеши пространно разумѣти, чти Маргаритъ: Слово о вочеловѣченіи; тамо обрящеши. Азъ кратко помянулъ, смотреніе показуя, Сице всякъ вѣруяй в Онь не постыдится, а не вѣруяй осужденъ будетъ и во вѣки погибнетъ, по вышереченному Аѳанасію. Сице азъ, протопопъ. Аввакумъ, вѣрую, сице исповѣдаю, с симъ живу и умираю.

Рожденіе же мое в Нижегороцкихъ предѣлехъ, за Кудимою рекою, в селѣ Григоровѣ. Отецъ ми бысть священникъ Петръ, мати — Марія, инока Мароа. Отец же мой прилежаше питія хмельнова; мати же моя постница и молитвенница бысть, всегда учаше мя страху Божію. Азъ же нѣкогда видѣвъ у сосѣда скотину умершу, и той нощи, возставше, предъ образомъ плакався доволно о душе своей, поминая смерть, яко и мнѣ умереть; и с тѣхъ мѣстъ обыкохъ по вся нощи молится. Потомъ мати моя овдовѣла, а я осиротѣлъ молодъ, и от своихъ соплеменникъ во изгнаніи быхомъ. Изволила мати меня женить. Азъ же Пресвятѣй Богородице молихся, да дастъ ми жену помощницу ко спасенію. И в томъ же селѣ девица, сиротина-жъ, безпрестанно обыкла ходить во церковь, — имя ей Анастасія. Отецъ ея былъ кузнецъ, именемъ Марко, богатъ гораздо; а егда умре, послѣ ево вся истощилось. Она же в скудости живяше и моляшеся Богу, да же сочетается за меня совокупленіемъ брачнымъ; и бысть, по воли Божіи, тако. По семъ мати моя отъиде к Богу в подвизе велице. Азъ же от изгнанія преселихся во ино мѣсто. Рукоположенъ во діаконы двадесяти лѣтъ

годомъ, и по дву лѣтехъ в попы поставленъ; живый в попѣхъ осмь лѣтъ, и потомъ совершенъ в протопопы православными епископы, — ому двадесеть лѣтъ минуло; и всего тридесять лѣтъ, какъ имѣю священьство.

А егда въ попахъ былъ, тогда имѣлъ у себя дѣтей духовныхъ мно-о, — по се время сотъ с пять или с шесть будетъ. Не почивая, азъ, рѣшный, прилежа во церквахъ, и в домѣхъ и на распутіяхъ, по граомъ и селамъ, еще же и в царствующемъ градѣ, и в странѣ Сибиръкой проповѣдуя и уча слову Божію, — годовъ будетъ тому с полтретьтцетъ.

Егда еще былъ в попѣхъ, пріидѣ ко мнѣ исповѣдатися дѣвица, ногими грѣхми обремененна, блудному дѣлу и малакіи всякой повинна; нача мнѣ, плакавшеся, подробну возвѣщати во церкви предъ Євангеліемъ стоя. Азъ же, треокаянный врачъ, самъ разболѣлъся, нутрь жгомъ огнемъ блуднымъ, и горко мнѣ бысть в той часъ: зажегъ ри свѣщи и прилепилъ к налою, и возложилъ руку правую на пламя, держалъ донеже во мнѣ угасло злое разженіе, и, отпустя дѣвицу, слоа ризы, помоляся, пошелъ в домъ свой зѣло скорбенъ. Время же яко олнощи, и пришедъ во свою избу, плакався предъ образомъ Господимъ, яко и очи опухли, и моляся прилѣжно, да же отлучитъ мя Богъ т детей духовныхъ: понеже бремя тяшко, неудобь носимо. И падохъ а землю на лицы своемъ, рыдаше горце и забыхся, лежа; не вѣмъ, акъ плачю; а очи сердечніи при реке Волге. Вижу: пловутъ стройю два корабля златы, и весла на нихъ златы, и шесты златы, и все лато; по единому кормщику на нихъ сидѣльцовъ. И я спросилъ: «чье корабли?» И онѣ отвѣщали: «Лукинъ и Лаврентіевъ». Сіи быша ми уховныя дѣти, меня и домъ мой наставили на путь спасенія, и сконалися богоугодне. А се потомъ вижу третей корабль, не златомъ украшенъ, но разными пестротами, — красно, и бело, и сине, и черно, пепелесо, — его же умъ человѣчь не вмести красоты его и доброы; юноша свѣтелъ, на кормѣ сидя, правитъ; бежитъ ко мнѣ из-за Волги, яко пожрати мя хощетъ. И я вскричалъ: «чей корабль?— І сидяй на немъ отвѣщалъ: «твой корабль! па, плавай на немъ з женою и детми, коли докучаешь!» И я вострепетахъ, и сѣдше разсуждаю: что се видимое? и что будетъ плаваніе?

А се по мале времени, по писанному, объяша мя болѣзни смертныя, бѣды адовы обрѣтоша мя: скорбь и болѣзнь обрѣтохъ. У вдовы началникъ отнялъ дочерь, и азъ молихъ его, да же сиротину возвратитъ к мате-

ри: и онъ, презрѣвъ моленіе наше, и воздвигъ на мя бурю, и у церкв пришедъ сонмомъ, до смерти меня задавили. И азъ лежа мертвъ по: часа и болши, и паки оживе Божіимъ мановеніемъ. И онъ, устрашас: отступился мнѣ дѣвицы. Потомъ научилъ ево дьяволъ: пришедъ в церковь, билъ и волочилъ меня за ноги по землѣ в ризахъ, а я моли ву говорю в то время.

Таже инъ началникъ, во ино время, на мя разсвирепѣлъ, — пр бѣжалъ ко мнѣ в домъ, бивъ меня, и у руки огрызъ персты, яко пес зубами. И егда наполнилась гортань ево крови, тогда руку мою н пустилъ из зубовъ своихъ и, покиня меня, пошелъ в домъ свой. Аз же, поблагодаря Бога, завертѣвъ руку платомъ, пошелъ к вечерн И егда шелъ путемъ, наскочилъ на меня онъ же паки со двема малы ми пищальми и, близъ меня бывъ, запалилъ исъ пистоли, и, Божіе волею, на полкѣ порохъ пыхнулъ, а пищаль не стрелила. Онъ же, бр силъ ея на землю, и из другія паки запалилъ такъ же, и Божія во: учинила такъ же, — и та пищаль не стрелила. Азъ же прилѣжно, ид чи, молюсь Богу, одиною рукою осенилъ ево и поклонился ему. Он меня лаетъ; а я ему реклъ: «благодать во устнѣхъ твоихъ, Иванъ Р діоновичъ, да будетъ!»*) Посемъ дворъ у меня отнялъ, а меня вы билъ, всего ограбя, и на дорогу хлѣба не далъ.

В то же время родился сынъ мой Прокопей, который сидитъ матерью в землѣ закопанъ. Азъ же, взявъ клюшку, а мати — некр щенова младенца, побрели, амо же Богъ наставитъ, и на пути крест ли, яко же Филиппъ каженика древле. Егда жъ азъ прибрелъ к М сквѣ, к духовнику протопопу Стефану и к Неронову протопопу Ива ну, они же обо мнѣ царю извѣстиша, и государь меня началъ с тѣ мѣстъ знати. Отцы же з грамотою паки послали меня на старое м сто, и я притащился: ано и стѣны разорены моихъ храминъ. И паки позавелся; а дьяволъ и паки воздвигъ на меня бурю. Пріидош в село мое плясовые медвѣди з бубнами и з домрами: и я, грѣшник по Христѣ ревнуя, изгналъ ихъ, и ухари и бубны изломалъ на по единъ у многихъ, и медвѣдей двухъ великихъ отнялъ, — одново ушиб и паки ожилъ, а другова отпустилъ в поле. И за сіе меня Василей Пе ровичь Шереметевъ, пловучи Волгою в Казань на воеводство, взявъ судно, и браня много, велѣлъ благословить сына своево Матфея брит братца. Азъ же не благословилъ, но от Писанія ево и порицалъ, ви

*) Сердитовалъ на меня за церковную службу: ему хотет скоро, а я пою по уставу, не борзо; такъ ему было досадно.

(Вторая редакция).

лудолюбный образъ. Бояринъ же, гораздо осердясь, велѣлъ меня росить в Волъгу и, много томя, протолкали. А опослѣ учинились добы до меня: у царя на сѣняхъ со мною прощались; а брату моему меньому бояроня Васильева и дочь духовная была. Такъ-то Богъ строитъ воя люди!

На первое возвратимся. Таже инъ началникъ на мя разсвирѣпелъ: пріехавъ с людми ко двору моему, стрелялъ из луковъ и ис пищалей с приступомъ. А азъ в то время, запершися, молился с воплемъ о Владыке: «Господи, укроти ево и примири, ими же вѣси судбами!» I побѣжалъ от двора, гонимъ Святымъ Духомъ. Таже в нощь ту прибѣжали от него и зовутъ меня со многими слезами: «батюшко государь! Евѳимей Стефановичь при кончинѣ, и кричитъ неудобно, бьетъ ебя и охаетъ, а самъ говоритъ: дайте мнѣ батка Аввакума! за него огъ меня наказуетъ!» И я чаялъ, меня обманываютъ; ужасеся духъ ой во мнѣ. А се помолилъ Бога сице: «Ты, Господи, изведый мя из рева матере моея и от небытія в бытіе мя устроилъ! Аще меня задушатъ, и Ты причти мя с Филипомъ и митрополитомъ московскимъ; аще зарѣжутъ, и Ты причти меня з Захаріею пророкомъ; а буде в воду посадятъ, и Ты, яко Стефана пермъскаго, свободишь мя!» И моля, поехалъ в домъ к нему Евѳимію. Егда-жъ привезоша мя на дворъ, выбѣжала жена ево Неонила и ухватила меня под руку, а сама говоритъ: «поди-тко, государь нашъ батюшко, поди-тко, свѣтъ нашъ кормилецъ!» И я сопротивъ того: «чюдно! давеча былъ блядинъ сынъ, а оперва: батюшко! Болшо у Христа-тово остра шелепуга-та: скоро повинилъся мужъ твой!» Ввела меня в горницу. Вскочилъ с перины Евѳимей, палъ пред ногама моима, вопитъ неизреченно: «прости, государь, согрѣшилъ пред Богомъ и пред тобою!» А самъ дрожитъ весь. И я ему сопротиво: «хощеши ли впредь целъ быти?» Онъ же, лежа, отвѣща: «ей, честный отче!» И я рекъ: «востани! Богъ проститъ тя!» Онъ же, наказанъ гораздо, не могъ самъ востати. И я поднялъ, и положилъ ево на постелю, и исповѣдалъ, и масломъ священнымъ помазалъ, и бысть здравъ. Такъ Христосъ изволилъ. И на утро отпустилъ меня честно в домъ мой, и з женою быша ми дѣти духовныя, изрядныя рабі Христовы. Такъ-то Господь гордымъ противится, смиренымъ же даетъ благодать.

Помале паки иніи изгнаша мя от мѣста того вдругорядъ. Азъ же сволокся к Москвѣ и, Божіею волею, государь меня велѣлъ в протопопы поставить въ Юрьевецъ-Повольской. И тутъ пожилъ немного, — только осмъ недѣль: дьяволъ научилъ поповъ и мужиковъ и бабъ, —

пришли к патріархову приказу, гдѣ я дѣла духовныя дѣлалъ, и, вы таща меня ис приказа собраніемъ, — человѣкъ с тысящу и с полторы ихъ было, — среди улицы били батожьемъ и топтали; и бабы были с рычагами. Грѣхъ ради моихъ, замертва убили и бросили под избной уголъ. Воевода с пушкарями прибѣжали, и, ухватя меня, на лошади умчали в мое дворишко; и пушкарей воевода около двора поставилъ. Людіе же ко двору приступаютъ, и по граду молва велика. Наипаче же попы и бабы, которыхъ унималъ от блудни, вопятъ: «убить вора, блядина сына, да и тѣло собакамъ в ровъ кинемъ!» Азъ же, отдохня в третей день ночью, покиня жену и дѣти, по Волге самъ-третей ушелъ к Москвѣ. На Кострому прибѣжалъ, — ано и тутъ протопопа-жъ Даніила изгнали. Охъ, горе! вездѣ от дьявола житья нѣтъ! Прибрелъ к Москвѣ, духовнику Стефану показался; и онъ на меня учинилъся печаленъ: на што-де церковь соборную покинулъ? Опять мнѣ другое горе! Царь пришелъ к духовнику благословитца ночью; меня увиделъ тутъ; опять кручина: на што-де городъ покинулъ? —А жена и дѣти и домочадцы, человѣкъ з дватцеть, в Юрьевце остались: невѣдомо — живы, невѣдомо — прибиты! Тутъ паки горе.

Посемъ Никонъ, другъ нашъ, привезъ ис Соловковъ Филиппа митрополита. А прежде его пріезду Стефанъ духовникъ моля Бога и постяся седмицу з братьею, — и я с ними тутъ же, — о патріархе, да же дастъ Богъ пастыря ко спасенію душъ нашихъ, и с митрополитомъ казанскимъ Корниліемъ, написавъ челобитную за руками, подали царю и царицѣ — о духовнике Стефанѣ, чтобъ ему быть в патріархахъ. Онъ же не восхотѣлъ самъ, и указалъ на Никона митрополита. Царь ево и послушалъ, и пишетъ к нему посланіе навстрѣчю: Преосвященному митрополиту Никону новогородцкому и великолуцкому и всеа Русіи радоватися, и прочая. Егда-жъ пріехалъ, с нами, яко лисъ: челомъ да здорово. Вѣдаетъ, что быть ему в патріархахъ, и чтобы откуля помѣшка какова не учинилась. Много о тѣхъ козняхъ говорить! Егда поставили патріархомъ, такъ друзей не сталъ и в крестовую пускать! А се и ядъ отрыгнулъ. В постъ великой прислалъ память х Казаньской к Неронову Иванну. А мнѣ отецъ духовной былъ; я у нево все и жилъ в церквѣ: егда куды отлучится, ино я вѣдаю церковь. И к мѣсту, говорили, на дворецъ к Спасу, на Силино покойника мѣсто; да Богъ не изволилъ. А се и у меня радѣніе худо было. Любо мнѣ, у Казаньскіе тое держалъся, челъ народу книги. Много людей приходило. — В памяти Никонъ пишетъ: Годъ и число. По преданію святыхъ апостолъ и святыхъ отецъ, не подобаетъ во церкви метанія творити на колѣну, но в

поясъ бы вамъ творити поклоны, еще же и трема персты бы есте крестились. — Мы же задумалися, сошедшеся между собою: видимъ, яко зима хощетъ быти; сердце озябло и ноги задрожали. Нероновъ мнѣ приказалъ церковь; а самъ единъ скрылся в Чюдовъ, — седмицу в полатке молился. И тамъ ему от образа гласъ бысть во время молитвы: время приспѣ страданія, подобаетъ вамъ неослабно страдати! Онъ же мнѣ, плачючи, сказалъ; таже коломенъскому епископу Павлу, его же Никонъ напослѣдокъ огнемъ жжегъ в новогороцкихъ предѣлехъ; потомъ — Данилу, костромскому протопопу; таже сказалъ и всей братье. Мы же з Даниломъ, написавъ ис книгъ выписки о сложеніи перстъ и о поклонехъ, и подали государю; много писано было; онъ же не вѣмъ, гдѣ скрылъ ихъ; мнитмися, Никону отдалъ.

Послѣ тово вскорѣ схватавъ Никонъ Даніила, в монастырѣ, за Тверскими вороты, при царѣ остригъ голову и содравъ однарятку, ругая, отвелъ в Чюдовъ в хлѣбню и, муча много, сослалъ в Астрахань. Венецъ терновъ на главу ему тамъ возложили, в земляной тюрмѣ и уморили. Послѣ Данилова стриженія взяли другова, темниковскаго Даніила-жъ протопопа, и посадили в монастырѣ у Спаса на Новомъ. Таже протопопа Неронова Иванна — в церквѣ скуфью снялъ и посадилъ в Симанове монастырѣ, опослѣ сослалъ на Вологду, в Спасовъ Каменной монастырь, потомъ в Колской острогъ. А напослѣдокъ, по многомъ страданіи, изнемогъ бѣдной, — принялъ три перста, да такъ и умеръ. Охъ, горе! всякъ, мняйся, стоя, да блюдется, да ся не падетъ! Люто время, по реченному Господемъ, аще возможно духу антихристову прельстити и избранныя. Зѣло надобно крѣпко молитися Богу, да спасетъ и помилуетъ насъ, яко благъ и человѣколюбецъ.

Таже меня взяли от всенощнаго Борисъ Нелединской со стрелцами; человѣкъ со мною с шестьдесятъ взяли: ихъ в тюрму отвели, а меня на патріархове дворѣ на чепь посадили ночью. Егда-жъ разсвѣтало въ день недѣльный, посадили меня на тѣлегу и ростянули руки, и везли от патріархова двора до Андроньева монастыря, и тутъ на чепи кинули в темную полатку, ушла в землю, и сидѣлъ три дни, ни елъ, ни пилъ; во тмѣ сидя, кланялся на чепи, не знаю — на востокъ, не знаю — на западъ. Никто ко мнѣ не приходилъ, токмо мыши и тараканы, и сверчки кричатъ, и блохъ довольно. Бысть же я в третій день пріалъченъ, — сиречь есть захотѣлъ, — и послѣ вечерни ста предо мною невѣмъ — ангелъ, не вѣмъ — человѣкъ, и по се время не знаю, токмо в потемкахъ молитву сотворилъ и, взявъ меня за плечо, с чепью к лавке привелъ и посадилъ, и лошку в руки далъ, и хлѣбца

немношко и штецъ далъ похлѣбать, — зѣло прикусны, хороши! — и реклъ мнѣ: «полно, довлѣетъ ти ко укрепленію!» Да и не стало ево. Двери не отворялись, а ево не стало! Дивно только человѣкъ; а что жъ ангелъ? ино нѣчему дивитца — вездѣ ему не загорожено. На утро архимаритъ з братьею пришли и вывели меня; журятъ мнѣ, что патріарху не покорился; а я от писанія ево браню и лаю. Сняли болшую чепь, да малую наложили. Отдали чернцу под началъ, велѣли волочить в церковь. У церкви за волосы дерутъ, и под бока толкаютъ, и за чепь трогаютъ, и в глаза плюютъ. Богъ ихъ проститъ в сій вѣкъ и в будущій: не ихъ дѣло, но сатаны лукаваго. Сидѣлъ тутъ я четыре недѣли.*)

В то время послѣ меня взяли Логина, протопопа муромскаго: в соборной церкви, при царѣ, остригъ в обѣдню. — Во время переноса снялъ патріархъ со главы у архидьякона дискосъ и поставилъ на престолъ с тѣломъ Христовымъ; а с чашею архимаритъ чюдовской Ферапонтъ внѣ олтаря, при дверехъ царскихъ стоялъ. Увы разсѣченія тѣла Христова, пущи жидовскаго дѣйства! — Остригше, содрали с него однарятку и кафтанъ. Логинъ же разжегся ревностію Божественнаго огня, Никона порицая, и чрезъ порогъ в олтарь в глаза Никону плевалъ; распоясався, схватя с себя рубашку, в олтарь в глаза Никону бросилъ; чюдно, растопоряся рубашка и покрыла на престолѣ дискосъ, бытто воздухъ. А в то время и царица в церквѣ была. На Логина возложили чепь и, таща ис церкви, били метлами и шелепами до Богоявленскова монастыря, и кинули в полатку нагова, и стрельцовъ на карауле поставили накрѣпко стоять. Ему-жъ Богъ в ту нощь далъ шубу новую да шапку; и на утро Никону сказали; и онъ разсмѣявся, говоритъ: «знаю-су я пустосвятовъ тѣхъ!» — и шапку у нево отнялъ, а шубу ему оставилъ.

Посемъ паки меня из монастыря водили пѣшева на патріарховъ дворъ, также руки ростяня, и, стязався много со мною, паки также отвели. Таже в Никитинъ день ходъ со кресты, а меня паки на телѣге везли противъ крестовъ. И привезли к соборной церквѣ стричь, и держали в обѣдню на пороге долъго. Государь с мѣста сошелъ и, приступя

*) Тутъ же в церкви у нихъ былъ нашъ братъ подначальной ис Хамовниковъ, пьянства ради, преданъ бѣсомъ, и гораздо бѣсился, томимъ от бѣсовъ. Азъ же зжалихся грѣшный об немъ: в обѣдню стоя на чепи, Христа-свѣта и Пречистую Богородицу помолилъ, чтобь ево избавили от бѣсовъ. Господь же ево бѣднова и простилъ, бѣсовъ отгналъ. Онъ же цѣлоуменъ сталъ, заплакавъ, и ко мнѣ поклонился до земли; я ему заказалъ, чтобъ про меня не сказалъ никому; людіе же не догадалися о семъ, учали звонить и молебенъ пѣть. *(Третья редакция)*.

к патріарху, упросилъ. Не стригше, отвели в Сибирской приказъ и отдали дьяку Третьяку Башмаку, что нынѣ стражетъ же по Христѣ, старецъ Саватей, сидитъ на Новомъ, в земляной же тюрмѣ. Спаси ево, Господи! и тогда мнѣ дѣлалъ добро.

Таже послали меня в Сибирь з женою и дѣтми. И колико дорогою нужды бысть, тово всево много говорить, развѣ малая часть помянуть. Протопопица младенца родила: болную в телѣге и повезли до Тобольска; три тысящи верстъ недѣль с тринатцеть волокли телѣгами и водою, и санми половину пути.

Архіепископъ в Тобольске к мѣсту устроилъ меня. Тутъ у церкви великія беды постигоша меня: в полтара годы пять словъ государевыхъ сказывали на меня, и единъ нѣкто, архіепископля двора дьякъ Иванъ Струна, тотъ и душею моею потрясъ. Сьехалъ архіепископъ к Москвѣ, а онъ без нево, дьявольскимъ наученіемъ, напалъ на меня: церкви моея дьяка Антонія мучить напрасно захотѣлъ. Онъ же Антонъ утече у него и прибѣжалъ во церковь ко мнѣ. Той же Струна Иванъ, собрався с людми, во инъ день пріиде ко мнѣ в церковь, — а я вечерню пою, — и вьскочилъ въ церковь, ухватилъ Антона на крылосѣ за бороду. А я в то время двери церковныя затворилъ и замкнулъ, и никово не пустилъ, — одинъ онъ Струна в церквѣ вертится, что бѣсъ. И я, покиня вечерню, с Антономъ посадилъ ево среди церкви на полу и за церковной мятежъ постегалъ ево ременемъ нарочитотаки; а прочіи, человѣкъ з дватцеть, вси побѣгоша, гоними Духомъ Святымъ. И покаяніе от Струны принявъ, паки отпустилъ ево к себѣ. Сродницы же Струнины, попы и чернцы, весь возмутили градъ, да како меня погубятъ. И в полунощи привезли сани ко двору моему, ломилися в ызбу, хотя меня взять и в воду свести. И Божіимъ страхомъ отгнани быша и побѣгоша вспять. Мучился я с мѣсяцъ, от нихъ бѣгаючи втай; иное въ церквѣ начую, иное к воеводѣ уйду, а иное в тюрму просился, — ино не пустятъ. *) Провожалъ меня много Матфей Ломковъ, иже и Митрофанъ именуемъ в чернцахъ, — опослѣ на Москвѣ у Павла митрополита ризничимъ былъ, в соборной церкви з дьякономъ Аѳонасьемъ меня стригъ; тогда добръ былъ; а нынѣ дьяволъ ево поглотилъ. Потомъ пріехалъ архіепископъ с Москвы и правильною

*) Мучился я, от нихъ бѣгаючи с мѣсяцъ тайно; иное в церквѣ начую, иное уйду к воеводѣ. Княгиня меня в сундукъ посылала: «я-де, батюшка, над тобою сяду, какъ де придутъ тебя искать к намъ». И воевода от нихъ мятежниковъ боялся, лишо плачетъ, на меня глядя. Я уже и в тюрму просился, — ино не пустятъ. Таково то время было. *(Третья редакция).*

виною ево, Струну, на чепь посадилъ за сіе: нѣкій человѣкъ з дочерью кровосмѣшеніе сотворилъ, а онъ, Струна, полтину възявъ и, не наказавъ мужика, отпустилъ. И владыка ево сковать приказалъ, и мое дѣло тутъ же помянулъ. Онъ же, Струна, ушелъ к воеводамъ в приказъ и сказалъ «слово и дѣло государево» на меня. Воеводы отдали ево сыну бояръскому лучшему, Петру Бекѣтову, за приставъ. Увы, погибель на дворъ Петру пришла. Еще же и душе моей горе тутъ есть. Подумавъ архіепископъ со мною, по правиламъ, за вину кровосмѣшенія сталъ Струну проклинать в недѣлю Православія в церквѣ болшой. Той же Бекѣтовъ Петръ, пришедъ в церковь, браня архіепископа и меня, и в той часъ ис церкви пошедъ, взбѣсилъся, ко двору своему идучи, и умре горкою смертію злѣ. И мы со владыкою приказали тѣло ево среди улицы собакамъ бросить, да же граждане оплачютъ согрешеніе его. А сами три дни прилѣжне стужали Божеству, да же в день вѣка отпустится ему. Жалѣя Струны, такову себѣ пагубу пріялъ. И по трехъ днехъ владыка и мы сами честнѣ тѣло его погребли. Полно тово пълачевнова дѣла говорить.

Посемъ указъ пришелъ: велено меня ис Тобольска на Лѣну вывести за сіе, что брано от писанія и укоряю ересь Никонову. В таже времена пришла ко мнѣ с Москвы грамотка. Два брата жили у царицы вверху, а оба умерли в моръ и з женами и з дѣтми; и многія друзья и сродники померли. Изліялъ Богъ на царство фіялъ гнѣва Своего! Да не узнались горюны однако, — церковью мятутъ. Говорилъ тогда и сказывалъ Нероновъ царю три пагубы за церковной расколъ: моръ, мечь, разделеніе; то и збылось во дни наша нынѣ. Но милостивъ Господь: наказавъ, покаянія ради и помилуетъ насъ, прогнавъ болѣзни душъ нашихъ и телесъ, и тишину подастъ. Уповаю и надѣюся на Христа; ожидаю милосердія Его и чаю воскресенія мертвымъ.

Таже сѣлъ опять на корабль свой, еже и показанъ ми, что выше сего рекохъ, — поехалъ на Лѣну. А какъ пріехалъ въ Енисейской, другой указъ пришелъ: велено в Дауры вести — дватцеть тысящъ и болши будетъ от Москвы. И отдали меня Аѳонасью Пашкову в полкъ, — людей с нимъ было 600 человѣкъ; и грѣхъ ради моихъ суровъ человѣкъ: безпрестанно людей жжетъ, и мучитъ, и бьетъ. И я ево много уговаривалъ, да и самъ в руки попалъ. А с Москвы от Никона приказано ему мучить меня.

Егда поехали изъ Енисейска, какъ будемъ в большой Тунгуске рекѣ, в воду загрузило бурею дощеникъ мой совсѣмъ: налилъся среди реки полонъ воды, и парусъ изорвало, — одны полубы над водою, а

то все в воду ушло. Жена моя на полубы из воды робят кое-какъ вытаскала, простоволоса ходя. А я на небо глядя, кричю: «Господи, спаси! Господи, помози!» И Божiею волею прибило к берегу насъ. Много о томъ говорить! На другомъ дощенике двухъ человѣкъ сорвало, и утонули в водѣ. Посемъ, оправяся на берегу, и опять поехали впредь.

Егда прiехали на Шаманъской порогъ, на встрѣчю приплыли люди иные к намъ, а с ними двѣ вдовы, — одна лѣтъ въ 60, а другая и болши: пловутъ пострищись в монастырь. А онъ, Пашковъ, сталъ ихъ ворочать и хочетъ замужъ отдать. И я ему сталъ говорить: «по правиламъ не подобаетъ таковыхъ замужъ давать». И чемъ бы ему, послушавъ меня, и вдовъ отпустить, а онъ вздумалъ мучить меня, осердясь. На другомъ, Долгомъ, пороге сталъ меня из дощенника выбивать: «для-де тебя дощенникъ худо идетъ! еретикъ-де ты! поди-де по горамъ, а с казаками не ходи!» О, горе стало! Горы высокiя, дебри непроходимыя; утесъ каменной, яко стена стоитъ, и поглядѣть — заломя голову! В горахъ тѣхъ обрѣтаются змеи великiе; в нихъ же витаютъ гуси и утицы, — перiе красное, — вороны черные, а галъки сѣрые; в тѣхъ же горахъ орлы и соколы, и кречаты, и курята пиндѣйскiе, и бабы, и лебеди, и иные дикiе, — многое множество, — птицы разные. На тѣхъ же горахъ гуляютъ звѣри многiе дикiе: козы и олени, изубри, и лоси, и кабаны, волъки, бараны дикiе, — во очiю нашу; а взять нельзя! На тѣ горы выбивалъ меня Пашковъ, со звѣрми и со змiями, и со птицами витать. И азъ ему малое писанейце написалъ, сице начало: «Человѣче! убойся Бога, сѣдящаго на херувимѣхъ и призирающаго въ безны, Его же трепещутъ небесныя силы и вся тварь со человѣки, единъ ты презираешь и неудобъство показуешъ», — и прочая; тамъ многонько писано; и послалъ к нему. А се бегутъ человѣкъ с пятдесятъ: взяли мой дощеникъ и помчали к нему, — версты три от него стоялъ. Я казакамъ каши наварилъ, да кормлю ихъ; и онѣ бѣдные и едятъ и дрожатъ, а иные глядя плачютъ на меня, жалѣютъ по мнѣ. Привели дощеникъ; взяли меня палачи, привели перед него. Онъ со шпагою стоитъ и дрожитъ; началъ мнѣ говорить: «попъ ли ты, или роспопъ?» И азъ отвѣщалъ: «азъ есмь Аввакумъ протопопъ; говори, что тебѣ дѣло до меня?» Онъ же рыкнулъ, яко дивiй звѣрь, и ударилъ меня по щоке, таже по другой, и паки в голову, и збилъ меня с ногъ и чеканъ ухватя, лежачева по спинѣ ударилъ трижды и, разболокши, по той же спинѣ семъдесятъ два удара кнутомъ. А я говорю: «Господи Iсусе Христе, Сыне Божiй, помогай мнѣ!» Да то-жъ, да то-жъ безпрестанно говорю. Такъ горко ему, что

не говорю: «пощади!» Ко всякому удару молитву говорилъ, да осреди побой вскричалъ я ему: «полно бить-тово!» Такъ онъ велѣлъ перестать. И я промолылъ ему: «за что ты меня бьешь? вѣдаешь ли?» И онъ паки велѣлъ бить по бокамъ, и отпустили. Я задрожалъ, да и упалъ. И онъ велѣлъ меня въ казенной дощеникъ оттащить: сковали руки и ноги, и на беть кинули. Осень была, дождь на меня шелъ, всю нощь подъ капелію лежалъ. Какъ били, такъ не болно было с молитвою тою; а, лежа, на умъ взбрело: «за что Ты, Сыне Божій, попустилъ меня ему таково болно убить тому? Я веть за вдовы Твои сталъ! Кто дастъ судію между мною и Тобою? Когда воровалъ, и Ты меня такъ не оскорблялъ; а нынѣ не вѣмъ, что согрѣшилъ!» Бытто добрый человѣкъ! — другой фарисѣй з говенною рожею, — со Владыкою судитца захотѣлъ! Аще Іевъ и говорилъ такъ; да онъ праведенъ, непороченъ, а се и писанія не разумѣлъ, внѣ закона, во странѣ варварстѣй, от твари Бога позналъ. А я первое — грѣшенъ, второе — на законѣ почиваю и писаніемъ отвсюду подкрепляемъ, якo многими скорбьми подобаетъ намъ внити во царство небесное, а на такое безуміе пришелъ! Увы мнѣ! Какъ дощеник-отъ в воду-ту не погрязъ со мною? Стало у меня в тѣ поры кости-те щемить и жилы-тѣ тянуть, и сердце зашлось, да и умирать сталъ. Воды мнѣ в ротъ плеснули, такъ вздохнулъ да покаялся предъ Владыкою, и Господь-светъ милостивъ: не поминаетъ нашихъ беззаконій первыхъ покаянія ради; и опять не стало ништо болѣть.

Наутро кинули меня в лотку и напредь повезли. Егда пріехали к порогу, к самому болшему Падуну, — река о томъ мѣсте шириною с версту, три залавка чрезъ всю рѣку зѣло круты, не воротами што попловетъ, ино в щепы изломаетъ, — меня привезли под порогъ. Сверху дождь и снѣгъ; а на мнѣ на плеча накинуто кафтанишко просто; льетъ вода по брюху и по спинѣ, — нужно было гораздо. Из лотки выгаща, по каменью скована околъ порога тащили. Грустко гораздо, да душе добро: не пеняю ужъ на Бога вдругорядъ. На умъ пришли рѣчи пророкомъ и апостоломъ реченны: Сыне, не пренемогай наказаніемъ Гсподнимъ, ниже ослабѣй, от Него обличаемъ. Его же любитъ Богъ, того наказуетъ; біетъ же всякаго сына, его же пріемлетъ. Аще наказаніе терпите, тогда яко сыномъ обрѣтается вамъ Богъ. Аще ли без наказанія пріобщается ему, то выблядки а не сынове есте. И сими рѣчми тѣшилъ себя.

Посемъ привезли въ Брацкой острогъ, и в тюрму кинули, соломки дали. И сидѣлъ до Филипова поста в студеной башне; тамъ зима в тѣ поры живетъ, да Богъ грѣлъ и без платья! Что собачка в соломке лежу: коли накормятъ, коли нѣтъ. Мышей много было, я ихъ скуфьей билъ, — и батошка не дадутъ дурачки! Все на брюхе лежалъ: спина гнила. Блохъ да вшей было много. Хотѣлъ на Пашкова кричать: «прости!» да сила Божія возбранила, — велено терпѣть. Перевелъ меня в теплую избу, и я тутъ с аманатами и с собаками жилъ скованъ зиму всю. А жена з дѣтми верстъ з дватцеть была сослана от меня. Баба ея Ксенья мучила зиму ту всю, — лаяла да укоряла. Сынъ Иванъ, — невеликъ былъ, — прибрелъ ко мнѣ побывать послѣ Христова Рождества, и Пашковъ велѣлъ кинуть в студеную тюрму, гдѣ я сидѣлъ: начевалъ милой и замерзъ было тутъ. И наутро опять велѣлъ к матери протолкать. Я ево и не видалъ. Приволокся к матери, — руки и ноги ознобилъ.

На весну паки поѣхали впредь. Запасу неболшое мѣсто осталось; а первой разграбленъ весь: и книги, и одежда иная отнята была; а иное и осталось. На Байкалове море паки тонулъ. По Хилке по рекѣ заставилъ меня лямку тянуть; зѣло нуженъ ходъ ею былъ, — и поесть было нѣколи, нежели спать. Лѣто целое мучился. Отъ водяныя тяготы люди изгибали; и у меня ноги и животъ синь былъ. Два лѣта в водахъ бродили; а зимами чрезъ волоки волочился. На томъ же Хилке в третьее тонулъ. Барку от берегу оторвало водою, — людскіе стоятъ, а мою ухватило, да и понесло! Жена и дѣти остались на берегу, а меня самъ-другъ с кормщикомъ помчало. Вода быстрая, переворачиваетъ барку вверхъ боками и дномъ; а я на ней ползаю, а самъ кричю: «Владычице, помози! Упованіе, не утопи!» Иное ноги в водѣ, а иное выползу наверхъ. Несло с версту и болши; да люди переняли. Все розмыло до крохи! Да што петь дѣлать, коли Христосъ и Пречистая Богородица изволили такъ? Я, вышедъ из воды, смеюсь; а люди-те охаютъ, платье мое по кустамъ развѣшивая, шубы отласные и тафтяные, и кое какіе бездѣлицы тое много еще было в чемоданахъ да в сумахъ; все с тѣхъ мѣстъ перегнило,—наги стали. А Пашковъ меня же хочетъ опять бить: «ты-де над собою дѣлаешь за посмѣхъ!» И я паки свѣту-Богородице докучать: «Владычице, уйми дурака тово!» Такъ она-надежа уняла: сталъ по мнѣ тужить.

Потомъ доехали до Иръгеня озера: волокъ тутъ,—стали зимою волочится. Моихъ работниковъ отнялъ; а инымъ у меня нанятца не велитъ. А дѣти маленки были; едоковъ много, а работать нѣкому:

одинъ бѣдной горемыка - протопопъ нарту здѣлалъ и зиму всю волочилъся за волокъ. Весною на плотахъ по Ингодѣ рѣке поплыли на низъ. Четверътое лѣто от Тобольска плаванію моему. Лѣсъ гнали хоромной и городовой. Стало нѣчева есть; люди учали з голоду мереть и от работныя водяныя бродни. Река мѣлкая, плоты тяжелые, приставы немилостиные, палъки болшіе, батоги суковатые, кнуты острые,пытки жестокіе, — огонь да встряска, — люди голодные: лишо станутъ мучить — ано и умретъ! Охъ, времени тому! Не знаю, какъ умъ у него отступился. У протопопицы моей однарятка московская была, не згнила, — по русскому рублевъ въ полътретъяцеть, и болши по тамошнему: далъ намъ четыре мешка ржи за нея, и мы годъ-другой тянулися, на Нерче реке живучи, с травою перебиваючися. Всѣ люди з голоду поморилъ, никуды не отпускалъ промышлять, — осталось неболшое мѣсто; по степямъ скитающеся и по полямъ, траву и кореніе копали, а мы — с ними же; а зимою — сосну; а иное кобылятицы Богъ дастъ, и кости находили от волковъ пораженныхъ зверей, — и что волкъ не доестъ, мы то доедимъ. А иные и самыхъ озяблыхъ ели волъковъ и лисицъ, и что получитъ, — всякую скверну. Кобыла жеребенка родитъ; а голодные втай и жеребенка и мѣсто скверное кобылье съедятъ. А Пашковъ, свѣдавъ, и кнутомъ до смерти забьетъ. И кобыла умерла, — все изводъ взялъ, понеже не по чину жеребенъка тово вытащили из нея: лишо голову появилъ, а онѣ и выдернули, да и почали кровь скверную есть. Охъ времени тому! И у меня два сына умерли в нуждахъ тѣхъ, а с прочими, скитающеся по горамъ и по острому каменію, наги и боси, травою и кореніемъ перебивающеся, кое какъ мучился. И самъ я, грѣшной, волею и неволею причастенъ кобыльимъ и мертвечьимъ звѣринымъ и птичьимъ мясамъ. Увы грѣшной душе! Кто дастъ главѣ моей воду и источникъ слезъ, да же оплачю бѣдную душу свою, юже злѣ погубихъ житейскими сластми? Но помогала намъ по Христе болярона воеводская сноха, Евдокѣя Кириловна, да жена ево, Аѳонасьева Фекла Симеоновна: онѣ намъ от смерти голодной тайно давали отраду, без вѣдома ево — иногда пришлютъ кусокъ мясца, иногда колобокъ, иногда мучки и овсеца, колько сойдется, четверть пуда и гривенку-другую, а иногда и полъпудика накопитъ и передастъ, а иногда у куровъ корму ис корыта нагребетъ. Дочь моя, бѣдная горемыка, Огрофена, бродила втай к ней под окно. И горе, и смѣхъ!—иногда ребенка погонятъ от окна без вѣдома бояронина, а иногда и многонько притащитъ. Тогда невелика была; а нынѣ ужъ ей 27 годовъ

— девицею, бѣдная моя, на Мезени, с меншими сестрами перебиваяся кое-какъ, плачючи, живутъ. А мать и братья в землѣ закопаны сидятъ. Да што же дѣлать? пускай горкіе мучатся всѣ ради Христа! Быть тому такъ за Божіею помощію. На томъ положено, ино мучитца вѣры ради Христовы. Любилъ протопопъ со славными знатца: люби же и терпѣть, горемыка, до конца. Писано: не начный блаженъ, но скончавый. Полно тово; на первое возвратимся.

Было в Даурской землѣ нужды великіе годовъ с шесть и с семь, а во иные годы отрадило. А онъ, Аѳонасей, навѣтуя мнѣ, безпрестанно смерти мнѣ искалъ. В той же нуждѣ прислалъ ко мнѣ от себя двѣ вдовы, — сѣнныя ево любимые были, — Марья да Софья, одержимы духомъ нечистымъ.*) Ворожа и колдуя много над ними, и видитъ, яко ничто же успеваетъ, но паче молъва бываетъ, — зѣло жестоко ихъ бѣсъ мучитъ, бьются и кричатъ, — призвалъ меня и поклонилъся мнѣ, говоритъ: «пожалуй, возми ихъ ты и попекися об нихъ, Бога моля; послушаетъ тебя Богъ». И я ему отвѣщалъ: «господине! выше мѣры прошеніе; но за молитвъ святыхъ Отецъ нашихъ вся возможна суть Богу». Взялъ ихъ бѣдныхъ. Простите! Во искусѣ то на Руси бывало, — человѣка три-четыре бѣшаныхъ приведшихъ бывало в дому моемъ и, за молитвъ святыхъ Отецъ, отхождаху от нихъ бѣси, дѣйствомъ и повелѣніемъ Бога живаго и Господа нашего Іисуса Христа, Сына Божія-свѣта. Слезами и водою покроплю, и масломъ помажу, молебная пѣвше во имя Христово: и сила Божія отгоняше от человѣкъ бѣсы и здрави бываху, не по достоинъству моему, — никако же, — но по вѣре приходящихъ. Древле благодать дѣйствоваше осломъ при Валааме, и при Уліане мученике — рысью, и при Сисиніи — оленемъ; говорили человѣческимъ гласомъ. Богъ идѣже хощетъ, побѣждается естества чинъ. Чти житіе Феодора Едесскаго, тамо обрящеши: и блудница мертваго воскресила. В Кормчей писано: не всѣхъ Духъ Святый рукополагаетъ, но всѣми, кромѣ еретика, дѣйствуетъ. Таже привели ко мнѣ бабъ бѣшаныхъ; я, по обычаю, самъ постилъся и имъ не давалъ есть, молебъствовалъ, и масломъ мазалъ, и, какъ знаю, дѣйствовалъ: и бабы о Христѣ целоумны и здравы стали. Я ихъ исповѣдалъ и причастилъ. Живутъ у меня и молятся Богу; любятъ меня и домой не идутъ. Свѣдалъ онъ, что мнѣ

*) В той же нуждѣ прислал ко мнѣ двѣ вдовы от себя, — сѣнные ево любленницы, — Марія да Софія, одержимы духомъ нечистымъ. (*Вторая редакція*).

учинился дочери духовные, осердилъся на меня опять пущи старова, — хотѣлъ меня в огнѣ жжечь: «ты-де вывѣдываешъ мое тайны!» А какъ петь-су причастить, не исповѣдавъ? А не причастивъ бѣшанова, ино бѣса совершенно не отгонишь. Бѣс-то веть не мужикъ: батога не боится; боится онъ креста Христова, да воды святыя, да священнаго масла, а совершенно бѣжитъ от тѣла Христова. Я, кромѣ сихъ таинъ, врачевать не умѣю.*)

В нашей православной вѣре без исповѣди не причащаютъ; в римъской вѣре творятъ такъ, — не брегутъ о исповѣди; а намъ, православіе блюдущимъ, такъ не подобаетъ, но на всяко время покаяніе искати. **)

Аще священника, нужды ради, не получишь: и ты сво-ему брату искусному возвѣсти согрѣшеніе свое, и Богъ проститъ тя, покаяніе твое видѣвъ, и тогда с правилцомъ причащайся Святыхъ Таинъ. Держи при себѣ запасный агнецъ. Аще в пути или на промыслу, или всяко прилучится, кромѣ церкви, воздохня предъ Владыкою и, по вышереченному, ко брату исповѣдався, с чистою совѣстію причастися святыни: такъ хорошо будетъ! По постѣ и по правилѣ, предъ образомъ Христовымъ на коробочку постели платочикъ и свѣчку зажги, и в сосудце водицы маленко, да на ложечку почерпни и часть тѣла Христова с молитвою в воду на лошку положи, и кадиломъ вся покади; поплакавъ, глаголи: Вѣрую, Господи, и исповѣдаю, яко Ты еси Христосъ Сынъ Бога живаго, пришедый в міръ грѣшники спасти, от нихъ же первый есмь азъ. Вѣрую, яко воистину се есть самое пречистое тѣло Твое и се есть самая честная кровь Твоя. Его же ради молю Ти ся, помилуй мя и прости ми и ослаби ми согрѣшенія моя, вол-

*) Такъ дастъ Богъ, и здравъ бываетъ. За што было за то гнѣватися? Явно в немъ бѣсъ дѣйствовалъ, навѣтуя ево спасенію, да уже Богъ ево проститъ. Постригъ я его и поскимилъ, к Москвѣ пріехавъ: царь мнѣ ево головою выдалъ — Богъ такъ изволилъ. Много о томъ Христу докуки было, да слава о немъ Богу; давалъ мнѣ на Москвѣ и денегъ много; да я не взялъ; «мнѣ, реку, спасеніе твое тощно надобно, а не деньги; пострпчись, реку, такъ и Богъ проститъ». Видитъ бѣду неминучюю, прислалъ ко мнѣ со слезами. Я к нему на дворъ пришелъ, и онъ палъ предо мною, говоритъ: «воленъ Богъ, да ты и со мною». Я, простя ево, с черньцами с чюдовскими постригъ ево и поскимилъ, а Богъ ему же еще трудовъ прибавилъ потому докуки моей об немъ ко Христу было, чтобъ его к Себѣ присвоилъ. Рука и нога у него же отсохли в Чюдовѣ, ис кельи не исходитъ, да любо мнѣ силно, чтобъ ево Богъ царствію небесному сподобилъ; докучаю и нынѣ об немъ, да и надѣюся на Христову милость чаю — помилуетъ насъ с нимъ бѣдныхъ! *(Третья редакція)*.

**) О причастіи святыхъ Христовыхъ непорочныхъ тайнъ. Всякому убо в нынѣшнее время подобаетъ опасно жити и не без разсмотренія причащатися тайнамъ. *(Третья редакция)*.

ная и неволная, яже словомъ, яже дѣломъ, яже вѣденіемъ и невѣденіемъ, яже разумомъ и мыслію, и сподоби мя неосужденно причаститися пречистыхъ Ти таинствъ во оставленіе грѣховъ и в жизнь вѣчную, яко благословенъ еси во вѣки. Аминь. Потомъ, падше на землю предъ образомъ, прощеніе проговори и, возставъ, образы поцелуй и, прекрестясь, с молитвою причастися и водицею запей, и паки Богу помолись: ну, слава Христу! Хотя и умрешъ послѣ тово, ино хорошо. Полно про то говорить. И сами знаете, что доброе дѣло. Стану опять про бабъ говорить.

Взялъ Пашковъ бѣдныхъ вдовъ от меня: бранитъ меня, вмѣсто благодаренія. Онъ чаялъ: Христосъ просто положитъ; ано пущи и старова стали бѣситца. Заперъ ихъ в пустую избу, ино никому приступу нѣтъ к нимъ; призвалъ к нимъ чернова попа, — и онѣ ево дровами бросаютъ, и поволокся прочь. Я дома плачю, а дѣлать не вѣдаю что. Приступить ко двору не смѣю: болно сердитъ на меня. Тайно послалъ к нимъ воды святыя, велѣлъ ихъ умыть и напоить, и имъ бѣднымъ легче стало. Прибрели сами ко мнѣ тайно, и я помазалъ ихъ во имя Христово масломъ; такъ опять, далъ Богъ, стали здоровы и опять домой пошли; да по ночамъ ко мнѣ прибѣгали тайно молитца Богу. Изрядные дѣтки стали, играть перестали и правилца держатца стали. На Москвѣ з бояронею в Вознесенскомъ монастырѣ вселились. Слава о нихъ Богу!

Таже с Нерчи реки паки назадъ возвратилися к Русѣ. Пять недѣль по лду голому ехали на нартахъ. Мнѣ под робятъ и под рухлишко далъ двѣ клячи; а самъ и протопопица брели пѣши, убивающеся о ледъ. Страна варварская; иноземцы немирные; отстать от лошадей не смѣемъ, а за лошедми итти не поспѣемъ, голодные и томные люди. Протопопица бѣдная бредетъ-бредетъ, да и повалится,—кольско гораздо! В ыную пору, бредучи, повалилась, а иной томной же человѣкъ на нея набрелъ, тутъ же и повалилъся: оба кричатъ, а встать не могутъ. Мужикъ кричитъ: «Матушъка-государыня, прости!» А протопопица кричитъ: «что ты, батко, меня задавилъ?» Я пришелъ, —на меня, бѣдная, пеняетъ, говоря: «долъго ли муки сея, протопопъ, будетъ?» И я говорю: «Марковна, до самыя смерти!» — Она же, вздохня, отвѣщала: «добро, Петровичъ, ино еще побредемъ».*)

*) Бредешь, бредешъ, да и ушибесъся, поваляся. Иное на протопопицу мою мужикъ взвалился, старикъ бѣдной, томной же: корамкаются на лду, а встать не могутъ. Протопопица на меня кричитъ: «долго-ли, протопопъ, сего мученія будетъ?» И я говорю «Марковна, до самыя смерти подобаетъ намъ Христа ради страдати». *(Вторая редакция)*.

Курочка у насъ черненька была; по два яичка на день приносила робяти на пищу, Божіимъ повелѣніемъ; нуждѣ нашей помогая, Богъ такъ строилъ. На нартѣ везучи, в то время удавили по грѣхомъ. И нынѣча мнѣ жаль курочки той, какъ на разумъ пріидетъ. Ни курочка, ни што чюдо была: во весь годъ по два яичка на день давала; сто рублевъ при ней плюново дѣло, желѣзо! А та птичка одушевлена, Божіе твореніе, насъ кормила; а сама с нами кашку сосновую ис котла тутъ же клевала, или и рыбки прилучится, и рыбку клевала; а намъ противъ тово по два яичка на день давала. Слава Богу, вся строившему благая! А не просто намъ она и досталася. У боярони куры всѣ переслѣпли и мереть стали; такъ она, собравше в коробъ, ко мнѣ ихъ прислала, чтобъ-де батко пожаловалъ, — помолилъся о курахъ. И я-су подумалъ: кормилица то есть наша, дѣтки у нея, надобно ей курки. Молебенъ пѣлъ, воду святилъ, куровъ кропилъ и кадилъ; потомъ в лѣсъ збродилъ, — корыто имъ здѣлалъ, ис чево ѣсть, и водою покропилъ, да к ней все и отослалъ. Куры, Божіимъ мановеніемъ, исцелѣли и исправилися по вѣре ея. От тово-то племяни и наша курочка была. Да полно тово говорить! У Христа не сегодни такъ повелось. Еще Козма и Даміянъ человѣкомъ и скотомъ благодѣйствовали и целили о Христе. Богу вся надобно: и скотинка, и птичка во славу Его, пречистаго Владыки, еще же и человѣка ради.

Таже приволоклись паки на Ирьгень озеро. Бояроня пожаловала, — прислала сковородку пшеницы, и мы кутьи наелись. Кормилица моя была Евдокѣя Кириловна, а и с нею дьяволъ ссорилъ, сице: сынъ у нея былъ Симеонъ, — тамъ родилъся, я молитву давалъ и крестилъ, на всякъ день присылала ко мнѣ на благословеніе и я, крестомъ благословя и водою покропя, поцеловавъ ево, и паки отпущу; дитя наше здраво и хорошо. Не прилучилося меня дома: занемогъ младенецъ. Смалодушничавъ, она осердясь на меня, послала робенка к шептуну-мужику. Я, свѣдавъ, осердилъся-жъ на нея и меж нами пря велика стала быть. Младенецъ пуще занемогъ; рука правая и нога засохли, что батошки. В зазоръ пришла; не вѣдаетъ, что дѣлать, а Богъ пущи угнетаетъ. Робеночекъ на кончину пришелъ. Пѣстуны, ко мнѣ приходя, плачютъ; а я говорю: «коли баба лиха, живи же себѣ одна!» А ожидаю покаянія ея. Вижу, что ожесточилъ діаволъ сердце ея; припалъ ко Владыке, чтобъ образумилъ ея. Господь же, премилостивый Богъ, умягчилъ ниву сердца ея: прислала на утро сына середнева Ивана ко мнѣ, — со слезами проситъ

прощенія матери своей, ходя и кланяяся около печи моей. А я лежу под берестомъ нагъ на печи; а протопопица в печи; а дѣти кое-гдѣ: в дождь прилучилось; одежды не стало, а зимовье каплетъ, — всяко мотаемся. И я, смиряя, приказываю ей: «вели матери прощенія просить у Орефы колъдуна». Потомъ и болнова принесли, — велѣла перед меня положить; и всѣ плачютъ и кланяются. Я-су всталъ, добылъ в грязи патрахѣль и масло священное нашолъ. Помоля Бога и покадя, младенца помазалъ масломъ и крестомъ благословилъ. Робенокъ, далъ Богъ, и опять здоровъ сталъ, — с рукою и с ногою. Водою святою ево напоилъ и к матери послалъ. Виждь, слышателю, покаяніе матери колику силу сотвори: душу свою изврачевала и сына исцелила! Чему быть? — не сегодни кающихся есть Богъ! На утро прислала намъ рыбы, да пироговъ, — а намъ то голоднымъ надобе. И с тѣхъ мѣстъ помирилися. Выехавъ из Дауръ, умерла, миленкая, на Москвѣ; я и погребалъ в Вознесенъскомъ монастырѣ. Свѣдалъ то и самъ Пашковъ про младенца, — она ему сказала. Потомъ я к нему пришелъ. И онъ, поклоняяся низенко мнѣ, а самъ говоритъ: «спаси Богъ! отечески творишь, — не помнишь нашева зла». И в то время пищи доволно прислалъ.

А опослѣ тово вскорѣ хотѣлъ меня пытать; слушай, за что. Отпускалъ онъ сына своево Еремѣя в Мунгальское царство воевать, — казаковъ с нимъ 72 человѣка да иноземцевъ 20 человѣкъ, — и заставилъ иноземца шаманить, сирѣчь гадать: удастълися имъ и с побѣдою ли будутъ домой? Волхъвъ же той мужикъ, близъ моего зимовья, привелъ барана живова в вечеръ, и учалъ над нимъ волъхвовать, вертя ево много, и голову прочь отвертѣлъ и прочь отбросилъ. И началъ скакать и плясать, и бѣсовъ призывать, и, много кричавъ, о землю ударилъся, и пѣна изо рта пошла. Бѣси давили ево; а онъ спрашивалъ ихъ: «удастъся ли походъ?» И бѣси сказали: «с побѣдою великою и з богатъствомъ болшимъ будете назадъ». И воеводы ради, и всѣ люди радуяся, говорятъ: «богаты пріедемъ!» Охъ, душе моей тогда горко, и нынѣ не сладко! Пастырь худой погубилъ своя овцы, от горести забылъ реченное во Евангеліи, егда Зеведеевичи на поселянъ жестокихъ совѣтовали: Господи, хощеши ли, речеве, да огнь снидетъ с небесе и потребитъ ихъ, яко-же и Илія сотвори. Обращъжеся Ісусъ и рече имъ: не вѣста, коего духа еста вы; сынъ бо человѣческій не пріиде душъ человѣческихъ погубити, но спа-

сти. И идоша во ину весь. А я окаянной здѣлалъ не такъ. Во хлѣвине своей кричалъ с воплемъ ко Господу: «послушай мене, Боже! послушай мене, Царю небесный-свѣтъ, послушай меня! да не возвратится вспять ни единъ от нихъ, и гробъ имъ тамъ устроиши всѣмъ! приложи имъ зла, Господи, приложи, и погибель имъ наведи, да не забудется пророчество дьявольское!» И много тово было говорено. И втайнѣ о томъ же Бога молилъ. Сказали ему, что я такъ молюсь, и онъ лишо излаялъ меня. Потомъ отпустилъ с войскомъ сына своего. Ночью поехали по звѣздамъ. В то время жаль мнѣ ихъ: видитъ душа моя, что имъ побитымъ быть, а самъ таки на нихъ погибели молю. Иные, приходя, прощаются ко мнѣ; а я имъ говорю: «погибнете тамъ!» Какъ поехали, лошади под ними взоржали вдругъ, и коровы тутъ взревѣли, и овцы и козы заблеяли, и собаки взвыли, и сами иноземцы, что собаки, завыли; ужасъ на всѣхъ напалъ. Еремѣй вѣсть со слезами ко мнѣ прислалъ: чтобъ батюшко государь помолилъся за меня. И мнѣ ево стало жаль. А се другъ мнѣ тайной былъ и страдалъ за меня.—Какъ меня кнутомъ отецъ ево билъ, и сталъ разговаривать отцу, такъ со шпагою погналъся за нимъ. А какъ пріехали послѣ меня на другой порогъ, на Падунъ, 40 дощениковъ всѣ прошли в ворота, а ево Аѳанасьевъ дощеникъ, — снасть добрая была и казаки всѣ шесть сотъ промышляли о немъ, а не могли взвѣсти, — взяла силу вода, паче же рещи, Богъ наказалъ! Стащило всѣхъ в воду людей, а дощеникъ на камень бросила вода: чрез ево льется, а в нево нейдетъ. Чюдо, какъ-то Богъ безумныхъ тѣхъ учитъ! Онъ самъ на берегу; бояроня в дощенике; и Еремей сталъ говорить: «батюшко, за грѣхъ наказуетъ Богъ! напрасно ты протопопа тово кнутомъ тѣмъ избилъ; пора покаятца, государь!» Онъ же рыкнулъ на него, яко звѣрь, и Еремѣй, к соснѣ отклонясь, прижавъ руки, сталъ, а самъ, стоя, «Господи помилуй!» говоритъ. Пашковъ же, ухватя у малова колешчатую пищаль, — никогда не лжетъ, — приложася на сына, курокъ спустилъ, и Божіею волею, осѣклася пищаль. Онъ же, поправя порохъ, опять спустилъ, и паки осѣклась пищаль. Онъ же и въ третьи также сотворилъ; пищаль и въ третьіи осѣклася же. Онъ ее на землю и бросилъ. Малой, поднявъ, на сторону спустилъ; такъ и выстрелила! А дощеникъ единаче на камени под водою лежитъ. Сѣлъ Пашковъ на стулъ, шпагою подперся, задумався, и плакать сталъ; а самъ говоритъ: «согрѣшилъ окаянный — пролилъ кровь неповинну, напрасно протопопа билъ; за то меня наказуетъ Богъ!» Чюдно, чюдно! по писанію: яко

косенъ Богъ во гнѣвъ, а скоръ на послушаніе; дощеникъ самъ, показанія ради, сплылъ с камени, и сталъ носомъ противъ воды; потянули: онъ и взбѣжалъ на тихое мѣсто тотъчасъ. Тогда Пашковъ, призвавъ сына к себѣ, промолылъ ему: «прости, брате Еремѣй, — правду ты говоришь!» Онъ же, прискоча, падъ, поклонися отцу и рече: «Богъ тебя, государя, проститъ! я пред Богомъ и пред тобою виноватъ!» И взявъ отца под руку, и повелъ. Гогаздо Еремѣй разуменъ и добръ человѣкъ: ужъ у него и своя сѣда борода, а гораздо почитаетъ отца и боится его. Да по писанію и надобе такъ: Богъ любитъ тѣхъ детей, которые почитаютъ отцовъ. Виждь, слышателю, не страдалъ ли насъ ради Еремѣй, паче же ради Христа и правды Его? А мнѣ сказывалъ кормщикъ ево Аѳонасьева дощеника,—тутъ былъ, — Григорей Телной. На первое возвратимся.

Отнеле же отошли, поехали на войну. Жаль стало Еремѣя мнѣ: сталъ Владыке докучать, чтобъ ево пощадилъ. Ждали ихъ с войны: не бывали на срокъ. А в тѣ поры Пашковъ меня и к себѣ не пускалъ. Во единъ от дней учредилъ застѣнокъ, и огнь росклалъ, — хочетъ меня пытать. Я ко исходу душевному и молитвы проговорилъ; вѣдаю ево стряпанье, — послѣ огня тово мало у него живутъ. А самъ жду до себя и, сидя, женѣ плачющей и дѣтямъ говорю: «воля Господня да будетъ! Аще живемъ, Господеви живемъ, аще умираемъ, Господеви умираемъ». А се и бѣгутъ до меня два палача. Чюдно дѣло Господне и неизреченны судбы Владычни! Еремѣй раненъ самъ-другъ дорошкою мимо избы и двора моево едетъ, и палачей вскликалъ и воротилъ с собою. Онъ же, Пашковъ, оставя застѣнокъ, къ сыну своему пришелъ, яко пьяной с кручины. И Еремѣй, поклоняся со отцемъ, вся ему подробну возвѣщаетъ: какъ войско у него побили все без остатку, и какъ ево увелъ иноземецъ от мунгальскихъ людей по пустымъ мѣстамъ, и по каменнымъ горамъ в лесу, не ядше, блудилъ седмь дней, — одну сьелъ бѣлку, — и какъ моимъ образомъ человѣкъ ему во снѣ явился и, благословя ево, указалъ дорогу, в которую страну ехать, онъ же, вскоча, обрадовался и на путь выбрелъ. Егда онъ отцу розсказываетъ, а я пришелъ в то время поклонитися имъ. Пашковъ же, возведъ очи свои на меня, — слово в слово что медведь морьской бѣлой, жива бы меня проглотилъ, да Господь не выдастъ! — вздохня, говоритъ: «такъ-то ты дѣлаешь? людей тѣхъ погубилъ столько?» А Еремѣй мнѣ говоритъ: «батюшко, поди, государь, домой! молчи для Христа!» Я и пошелъ.

Десять лѣтъ онъ меня мучилъ, или я ево, — не знаю; Богъ разберетъ в день вѣка. Перемѣна ему пришла, и мнѣ грамота: велено ехать на Русь. Онъ поехалъ, а меня не взялъ; умышлялъ во умѣ своемъ: «хотя-де одинъ поедетъ, и ево-де убьютъ иноземцы». Онъ въ дощенникахъ со оружіемъ и с людми плылъ, а слышалъ я, едучи, от иноземцевъ дрожали и боялись. А я, мѣсяцъ спустя послѣ ево, набравъ старыхъ и болныхъ и раненныхъ, кои тамъ негодны, человѣкъ з десятокъ, да я з женою и з дѣтми — семнатцеть насъ человѣкъ, в лотку сѣдше, уповая на Христа, и крестъ поставя на носу, поехали, амо же Богъ наставитъ, ничево не бояся. Книгу Кормъчію далъ прикащику, и онъ мнѣ мужика кормщика далъ. Да друга моего выкупилъ Василія, который тамъ при Пашкове на людей ябедничалъ и крови проливалъ, и моея головы искалъ: в ыную пору, бивше меня, на колъ было посадилъ, да еще Богъ сохранилъ! А послѣ Пашкова хотѣли ево казаки до смерти убить. И я, выпрося у нихъ Христа ради, а прикащику выкупъ давъ, на Русь ево вывезъ, от смерти к животу — пускай ево бѣднова! — либо покаятся о гресѣхъ своихъ. Да и другова такова же увезъ замотая. Сего не хотѣли мнѣ выдать; а онъ ушелъ в лѣсъ от смерти и, дождався меня на пути, плачючи, кинулъся мнѣ в карбасъ. Ано за нимъ погоня! Дѣть стало нѣгдѣ. Я-су, — простите! — своровалъ: яко Раавъ блудная во Ерихонѣ Іисуса Навгина людей, спряталъ ево, положа на дно в судне, и постелею накинулъ, и велѣлъ протопопице и дочери лечи на нево. Вездѣ искали, а жены моей с мѣста не тронули, — лишо говорятъ: «матушка, опочивай ты, и такъ ты, государыня, горя натерпѣлась!» А я, — простите Бога ради! — лгалъ в тѣ поры, и сказывалъ: «нѣту ево у меня!» — не хотя ево на смерть выдать. Поискавъ, да и поехали ни съ чемъ; а я ево на Русь вывезъ. Старецъ да и рабъ Христовъ, простите же меня, что я лъгалъ тогда. Каково вамъ кажется? не велико ли мое согрѣшеніе? При Раавe блуднице, она, кажется, также здѣлала; да писаніе ея похваляетъ за то. И вы, Бога ради, поразсудите: буде грѣхотворно я учинилъ, и вы меня простите; а буде церковному преданію не противно, ино и такъ ладно. Вотъ вамъ и мѣсто оставилъ: припишите своею рукою мнѣ, и женѣ моей, и дочери, или прощеніе, или епитимію, понеже мы за одно воровали, — от смерти человѣка ухоронили, ища ево покаянія к Богу. Судите же такъ, чтобъ насъ Христосъ не сталъ судить на страшномъ судѣ сего дѣла. Припиши же что-нибудь, старецъ.

Богъ да проститъ тя и благословитъ в семъ вѣцѣ и в будущемъ, и подружію твою Анастасію, и дщеръ вашу, и весь домъ вашъ. Добро сотворилъ есте и праведно. Аминь.

Добро, старецъ, спаси Богъ на милостыни! Полно тово.

Прикащикъ же мучки гривенокъ с тритцеть далъ, да коровку, а овечекъ пять-шесть, мясцо иссуша; и тѣмъ лѣто питалися, плову... Доброй прикащикъ человѣкъ, дочь у меня Ксенью крестилъ. Еще при Пашкове родилась, да Пашковъ не далъ мнѣ мvра и масла, такъ не крещена долго была, — послѣ ево крестилъ. Я самъ женѣ своей молитву говорилъ, и детѣй крестилъ с кумомъ с прикащикомъ, да дочь моя болшая кума, а я у нихъ попъ. Тѣмъ же обрасцомъ и Аѳанасья-сына крестилъ и, обѣдню служа на Мезени, причастилъ. И детей своихъ исповѣдывалъ и причащалъ самъ же, кромѣ жены своея; есть о томъ в правилехъ, — велено такъ дѣлать. А то запрещеніе то отступническое, и то я о Христе под ноги кладу, а клятвою тою, — дурно молыть! — гузно тру. Меня благословляютъ московскіе святители Петръ и Алексѣй, и Іона, и Филиппъ, — я по ихъ книгамъ вѣрую Богу моему чистою совестію и служу; а отступниковъ отрицаюся и кляну, — враги онѣ Божіи, не боюсь я ихъ, со Христомъ живучи! Хотя на меня каменья накладутъ, я, со отеческимъ преданіемъ, и под каменьемъ лежу, не токмо под шпынскою воровскою никоніянскою клятвою ихъ. А што много говорить? Плюнуть на дѣйство-то и службу-ту ихъ, да и на книги-те ихъ новоизданныя, — такъ и ладно будетъ! Станемъ говорить, како угодити Христу и Пречистой Богородице; а про воровство ихъ полно говорить. Простите, брате никоніяне, что избранилъ васъ; живите, какъ хочете. Стану опять про свое горе говорить, какъ вы меня жалуете-подчиваете: 20 лѣтъ тому ужъ прошло; еще бы хотя столко же Богъ пособилъ помучитца от васъ, ино бы и было с меня, о Господѣ Бозѣ и Спасѣ нашемъ Іисусе Христе! А затѣмъ сколко Христосъ дастъ, толко и жить. Полно тово, — и такъ далеко забрелъ. На первое возвратимся.

Поехали изъ Дауръ, стало пищи скудать, и з братіею Бога помолили: и Христосъ намъ далъ изубря, болшова звѣря, — тѣмъ и до Байкалова моря доплыли. У моря русскихъ людей наехала станица соболиная, рыбу промышляетъ; рады, миленькіе, намъ, и с карбасомъ насъ, с моря ухватя, далеко на гору несли Терентьюшко с товарыщи; плачютъ, миленькіе, глядя на насъ, а мы на нихъ. Нада-

вали пищи, сколько намъ надобно: осетровъ с сорокъ свѣжихъ пере меня привезли, а сами говорятъ: «вотъ, батюшко, на твою част Богъ въ запорѣ намъ далъ, — возми себѣ всю!» Я, поклонясь имъ рыбу благословя, опять имъ велѣлъ взять: « на што мнѣ столко? Погостя у нихъ, и с нужду запасцу взявъ, лотку починя, и парус скропавъ, чрезъ море пошли. Погода окинула на море, и мы гребм перегреблись: не болно о томъ мѣсте широко, — или со ста, или осмъдесятъ веръстъ. Егда к берегу пристали, востала буря вѣтрев ная, и на берегу насилу мѣсто обрели от волнъ. Около ево горы вы сокіе, утесы каменные и зѣло высоки, — дватцеть тысящъ веръст и болши волочился, а не видалъ такихъ нигдѣ. Наверху ихъ полат ки и повалуши, врата и столпы, ограда каменная и дворы, — вс богодѣланно. Лукъ на нихъ ростетъ и чеснокъ, — болши романовско го луковицы, и слатокъ зѣло. Тамъ же ростутъ и конопли богораслев ныя, а во дворахъ — травы красныя и цвѣтны и благовонны гораздо Птицъ зѣло много, гусей и лебедей, — по морю яко снѣгъ плаваютъ Рыба в немъ — осетры и таймени, стерьледи и омули, и сиги, и про чихъ родовъ много; вода прѣсная; а нерпы и зайцы великія в немъ во окіанѣ морѣ болшомъ, живучи на Мезени, такихъ не видалъ, . рыбы зѣло густо в немъ; осетры и таймени жирны гораздо, — нельз жарить на сковородѣ: жиръ все будетъ. А все то у Христа-тово-свѣт надѣлано для человѣковъ, чтобъ, упокояся, хвалу Богу воздавалъ. . человѣкъ, суете которой уподобится, дніе его, яко сѣнь, преходятъ скачетъ, яко козѣлъ; раздувается, яко пузырь; гнѣвается, яко рысь сьесть хощетъ, яко змія; ржетъ, зря на чюжую красоту, яко жре бя; лукавуетъ, яко бѣсъ; насыщаяся доволно; без правила спитъ Бога не молитъ; отлагаетъ покаяніе на старость, и потомъ исчеза етъ; и не вѣмъ, камо отходитъ: или во свѣтъ ли, или во тму, — ден судный коегождо явитъ. Простите мя, азъ согрѣшилъ паче всѣхъ че ловѣкъ.

Таже в русскіе грады приплылъ и уразумѣлъ о церкви, як ничто-жъ успѣваетъ, но паче молъва бываетъ. Опечаляся, сидя, раз суждаю: что сотворю? проповѣдаю ли слово Божіе, или скроюся гдѣ Понеже жена и дѣти связали меня. И видѣ меня печална, протопо пица моя приступи ко мнѣ со опрятъствомъ, и рече ми: «что, госпо дине, опечалился еси?» Азъ же ей подробну извѣстихъ: «жена, чт сотворю? зима еретическая на дворѣ: говорить ли мнѣ, или молчать! — связали вы меня!» Она же мнѣ говоритъ: «Господи помилуй! чт ты, Петровичъ, говоришь? Слыхала я, — ты же читалъ, — апостоль

:кую рѣчь: привязалъся еси женѣ, не ищи раз-
рѣшенія; егда отрѣшишися, тогда не ищи
жены. Азъ тя и з дѣтми благословляю: дерьзай проповѣдати сло-
во Божіе попрежнему, а о насъ не тужи; дондеже Богъ изволитъ,
живемъ вмѣстѣ; а егда разлучатъ, тогда насъ в молитвахъ своихъ
не забывай; силенъ Христосъ и насъ не покинуть! Поди, поди в цер-
ковь, Петровичъ, — обличай блудню еретическую!» — Я-су ей за то
челомъ и, отрясше от себя печалную слѣпоту, начахъ попрежнему
слово Божіе проповѣдати и учити по градамъ и вездѣ, еще же и ересь
никоніянскую со дерзновеніемъ обличалъ.

Въ Енисѣйске зимовалъ; и паки, лѣто плывше, в Тобольске зимо-
валъ. И до Москвы едучи, по всѣмъ городамъ и по селамъ, во церквахъ
и на торъгахъ кричалъ, проповѣдая слово Божіе, и уча, и обличая без-
божную лесть. Таже пріехалъ к Москвѣ. Три годы ехалъ из Дауръ; а
туды волокся пять лѣтъ противъ воды; на востокъ все везли промежду
иноземъскихъ орьдъ и жилищъ. Много про то говорить! Бывалъ и в
иноземъскихъ рукахъ. На Оби великой рекѣ предо мною 20 человѣкъ
погубили христіанъ, а надо мною думавъ, да и отпустили совсѣмъ. Па-
ки на Иртише реке собраніе ихъ стоитъ: ждутъ березовскихъ нашихъ
съ дощеникомъ и побить. А я, не вѣдаючи, и пріехалъ к нимъ и, прі-
ехавъ, к берегу присталъ: онѣ с луками и объскочили насъ. Я-су, вы-
шедъ, обниматца с ними, што с чернцами, а самъ говорю: «Христосъ
со мною, а с вами той же!» И онѣ до меня и добры стали, и жены
своя к женѣ моей привели. Жена моя также с ними лицемѣритца,
какъ в міре лесть совершается; и бабы удобрилися. И мы то уже зна-
емъ: какъ бабы бываютъ добры, такъ и все о Христе бываетъ добро.
Спрятали мужики луки и стрѣлы своя, торъговать со мною стали, —
медведенъ я у нихъ накупилъ, — да и отпустили меня. Пріехавъ в
Тоболескъ, сказываю: ино люди дивятся тому, понеже всю Сибирь
башкиръцы с татарами воевали тогда. А я, не разбираючи, уповая
на Христа, ехалъ посредѣ ихъ. Пріехалъ на Верхотурье, — Иванъ
Богдановичъ Камынинъ, другъ мой, дивится же мнѣ: «какъ, ты про-
топопъ, проехалъ?» А я говорю: «Христосъ меня пронесъ и Пречи-
стая Богородица провела; я не боюсь никово; одново боюсь Христа».

Таже к Москвѣ пріехалъ и, яко ангела Божія, пріяша мя госу-
дарь и бояря, — всѣ мнѣ ради. К Ѳедору Ртищеву зашелъ: онъ самъ
из полатки выскочилъ ко мнѣ, благословился от меня, и учали гово-
рить много-много, — три дни и три ночи домой меня не отпустилъ,
и потомъ обо мнѣ царю извѣстилъ. Государь меня тотъчасъ к руке

поставить велѣлъ и слова милостивые говорилъ: «здорово ли де, протопопъ, живешь? еще-де видатца Богъ велѣлъ!» И я сопротивъ руку ево поцеловалъ и пожалъ, а самъ говорю: «живъ Господь и жива душа моя, царь государь; а впредь, что изволитъ Богъ!» Онъ же, миленькой, вздохнулъ, да и пошелъ куды надобе ему. И иное кто-что было, да што много говорить? Прошло уже то! Велѣлъ меня поставить на монастыръскомъ подворье в Кремли и, в походы мимо двора моево ходя, кланялъся часто со мною низенко-таки, а самъ говоритъ: «благослови-де меня и помолися о мнѣ!» И шапку в ыную пору муръманку, снимаючи з головы, уронилъ, едучи верхомъ. А ис корѣты высунется бывало ко мнѣ. Таже и всѣ бояря, после ево, челомъ да челомъ: протопопъ, благослови и молися о насъ! Какъ-су мнѣ царя тово и бояръ тѣхъ не жалѣть? Жаль, о-су! видишь, каковы были добры! Да и нынѣ онѣ не лихи до меня; дьяволъ лихъ до меня, а человѣки всѣ до меня добры. Давали мнѣ мѣсто, гдѣ бы я захотѣлъ, и в духовники звали, чтобъ я с ними соединилъся в вѣре; азъ же вся сія яко уметы вменилъ, да Христа пріобрящу, и смерть поминая, яко вся сія мимо идетъ.

А се мнѣ в Тобольске в тонце снѣ страшно возвѣщено (блюдися, от Меня да не полъма растесанъ будеши). Я вскочилъ и палъ пред иконою во ужасѣ велице, а самъ говорю: «Господи, не стану ходить, гдѣ поновому поютъ, Боже мой!» Былъ я у заутрени в соборной церкви на царевнины имянины, — шаловалъ с ними в церкве той при воеводахъ: да с пріезду смотрилъ у нихъ просвиромисанія дважды или трожды, в ольтарѣ у жертвенника стоя, а самъ имъ ругалъся, а какъ привыкъ ходить, такъ и ругатца не сталъ, — что жаломъ, духомъ антихристовымъ и ужалило было. Такъ меня Христосъ-свѣтъ попужалъ, и рече ми: «по толикомъ страданіи погибнуть хощешь? блюдися, да не полъма разсѣку тя!» Я и к обѣдне не пошелъ, и обѣдать ко князю пришелъ, и всю подробну имъ возвѣстилъ. Бояринъ миленькой князь Иванъ Андрѣевичъ Хилъковъ, плакать сталъ. И мнѣ окаянному много столко Божія благодѣянія забыть?

Егда в Даурахъ я былъ, на рыбной промыслъ к дѣтямъ по льду зимою по озеру бѣжалъ на базлукахъ; тамъ снѣгу не живетъ, морозы велики живутъ и льды толъсты намерзаютъ, — блиско человѣка толъщины; пить мнѣ захотѣлось и, гараздо от жажды томимъ, итти не могу; среди озера стало: воды добыть нелзя озеро веръстъ с восьмъ; сталъ, на небо взирая, говорить: «Господи, источивый ис камени в пустыни людямъ воду, жаждущему Израилю, тогда и днесь Ты еси;

напой меня, ими же вѣси судбами, Владыко, Боже мой!» Охъ горе! не знаю, какъ молыть; простите, Господа ради! Кто есмь азъ? умерый песъ! — Затрещалъ ледъ предо мною и разступилися чрезъ все озеро сюду и сюду, и паки снидеся: гора великая льду стала и, дондеже уряженіе бысть, азъ стахъ на обычномъ мѣстѣ и, на востокъ зря, поклонихся дважды или трижды, призывая имя Господне краткими глаголы из глубины сердца. Оставилъ мнѣ Богъ пролубку маленку и я, падше, насытился. И плачю, и радуюся, благодаря Бога. Потомъ и пролубка сдвинулася и я, воставъ, поклоняся Господеви, паки побѣжалъ по льду, куды мнѣ надобе, к детям. Да и в прочіи времена в волоките моей такъ часто у меня бывало. Идучи, или нарту волоку, или рыбу промышляю, или в лѣсе дрова секу, или ино что творю; а самъ и правило в тѣ поры говорю, вечерню, и завтреню, или часы, — што прилучится. А буде в людяхъ бываетъ неизворотно, и станемъ на стану, а не по мнѣ товарищи, правила моево не любятъ, а, идучи, мнѣ нелзя было исполнить: и я, отступя людей под гору или в лѣсъ, коротенко здѣлаю, — побьюся головою о землю, а иное и заплачется, да такъ и обѣдаю. А буде жо по мнѣ люди, и я на сошке складенки поставя, правилца поговорю, — иные со мною молятся, а иные кашу варятъ. А в санях едучи, в воскресныя дни на подворьяхъ всю церковную службу пою, а в рядовые дни, в саняхъ едучи, пою; а бывало и в воскресныя дни, едучи, пою. Егда гораздо неизворотно, и я хотя немножко, а таки поворчю. Яко же тѣло алъчуще желаетъ ясти и жаждуще желаетъ пити, тако и душа, отче мой Епифаній, брашна духовнаго желаетъ: не гладъ хлѣба, ни жажда воды погубляетъ человѣка; но гладъ велій человѣку — Бога не моля, жити.

Бывало, отче, въ Дауръской землѣ — аще не поскучите послушать с рабомъ темъ Христовымъ, азъ грѣшный и то возвѣщу вамъ, — от немощи и от глада великаго изнемогъ в правилѣ своемъ, всего мало стало, толко павечернишные псалмы, да полунощницу, да часъ первой, а болши тово ничево не стало; такъ, что скотинка, волочюсь; о правиле томъ тужу, а принять ево не могу, — а се уже и ослабѣлъ. И нѣкогда ходилъ в лѣсъ по дрова; а без меня жена моя и дѣти, сидя на землѣ у огня, дочь с матерью — обе плачютъ. Огрофена, бѣдная моя горемыка, еще тогда была невелика. Я пришелъ из лѣсу: зѣло робенокъ рыдаетъ; связавшуся языку ево, ничево не промолытъ, мычитъ к матери, сидя; мать, на нее глядя, плачетъ. И я отдохнулъ и с молитвою приступилъ к робяти, реклъ: «о имени Господни повелеваю ти: говори со мною! о чемъ плачешь?» Она же, вскоча и поклоняся,

ясно заговорила: «не знаю кто, батюшко государь, во мнѣ сидя, светленекъ, за язык-отъ меня держалъ и с матушкою не далъ говорить; я тово для плакала; а мнѣ онъ говоритъ: скажи отцу, чтобы онъ правило попрежнему правилъ, такъ на Русь опять всѣ выедете; а буде правила не станетъ править, о немъ же онъ и самъ помышляетъ, то здѣсь всѣ умрете, и онъ с вами же умретъ». Да и иное кое-что ей сказано в тѣ поры было: какъ указъ по насъ будетъ, и сколько друзей первыхъ на Руси заедемъ, — все такъ и збылося. И велено мнѣ Пашкову говорить, чтобъ и онъ вечерни и завтрени пѣлъ, такъ Богъ ведро дастъ и хлѣбъ родится, — а то были дожди безпрестанно; ячменцу было сѣено неболшое мѣсто за день или за два до Петрова дни, — тотчасъ выросъ, да и згнилъ было от деждевъ. Я ему про вечерни и завтрени сказалъ и онъ и сталъ такъ дѣлать; Богъ ведро далъ и хлѣбъ тотъчасъ поспѣлъ. Чюдо-таки! Сѣенъ поздно, а поспѣлъ рано. Да и паки бѣдной коварничать сталъ о Божіемъ дѣле. На другой годъ насѣелъ было и много, да дождь необыченъ изліяся и вода из рѣки выступила, и потопила ниву, да и все розмыло, жилища наши розмыла. А до тово николи тутъ вода не бывала, — и иноземцы дивятся. Виждь: какъ поруга дѣло Божіе и пошелъ страною, такъ и Богъ к нему страннымъ гнѣвомъ! Сталъ смѣятца первому тому извѣщенію напослѣдокъ: робенокъ-де есть захотѣлъ, такъ плакалъ! А я су с тѣхъ мѣстъ за правило свое схвталъся, да и по сія мѣстъ тянусь помаленьку. Полно о томъ бѣсѣдовать, на первое возвратимся. Намъ надобе вся сія помнить и не забывать, всякое Божіе дѣло не класть в небреженіе и просто, и не менять на прелесть сего суетнаго вѣка.

Паки реку московское бытіе. Видятъ онѣ, что я не соединяюся с ними: приказалъ государь уговаривать меня Родіону Стрешневу, чтобъ я молчалъ. И я потѣшилъ ево: царь то есть от Бога учиненъ, а се добренекъ до меня, — чаялъ, либо помаленку исправится. А се посулили мнѣ Симеонова дни сѣсть на Печатномъ дворѣ книги править, и я радъ силно, — мнѣ то надобно лутче и духовничества. Пожаловалъ, ко мнѣ прислалъ десеть рублевъ денегъ, царица десеть рублевъ же денегъ, Лукъянъ духовникъ десеть рублевъ же, Родіонъ Стрешневъ десеть рублевъ же; а дружище наше старое Феодоръ Ртищевъ, тотъ и шестьдесятъ рублевъ казначею своему велѣлъ в шапку мнѣ сунуть; а про иныхъ нечева и сказывать: всякъ тащитъ да несетъ всячиною! У свѣта моей у Ѳеодосьи Прокопьевны Морозовы, не выходя, жилъ во дворѣ, понеже дочь мнѣ духовная, и сестра ее, княгиня Евдокѣя Прокопьевна, дочь же моя. Свѣты мои, мученицы Хри-

стовы! И у Анны Петровны Милославскіе покойницы всегда же в дому былъ. А къ Федору Ртищеву бранитца со отступниками ходилъ. Да такъ-то с полгода жилъ, да вижу, яко церковное ничто же успѣваетъ, но паче молъва бываетъ, — паки заворчалъ, написавъ царю многонко-таки, чтобъ онъ старое благочестіе взыскалъ и мати нашу, общую святую церковь, от ересей оборонилъ и на престолъ бы патріаршескій пастыря православнова учинилъ вмѣсто волъка и отступника Никона, злодѣя и еретика. И егда писмо изготовилъ, занемоглось мнѣ гораздо, и я выслалъ царю на переездъ с сыномъ своимъ духовнымъ, с Феодоромъ юродивымъ, что послѣ отступники удавили ево Феодора на Мезени, повѣся на висилицу. Он с писмомъ приступилъ к цареве коретѣ со деръзновеніемъ, и царь велѣлъ ево посадить и с писмомъ под красное крылцо,—не вѣдалъ, что мое; а опослѣ, взявше у него писмо, велѣлъ ево отпустить. И онъ, покойникъ, побывавъ у меня, паки, в церковь пред царя пришедъ, учалъ юродствомъ шаловать, царь же осердясь, велѣлъ в Чюдовъ монастырь отслать. Тамъ Павелъ архимаритъ и желѣза на него наложилъ, и Божіею волею, желѣза разъсыпалися на ногахъ пред людми. Онъ же, покойникъ-свѣтъ, в хлѣбне той послѣ хлѣбовъ в жаркую печь влѣзъ, и голымъ гузномъ сѣлъ на поду и, крошки в печи побираючи, естъ. Такъ чернцы ужаснулися и архимариту сказали, что нынѣ Павелъ митрополитъ. Онъ же и царю возвѣстилъ и царь, пришедъ в монастырь, честно ево велѣлъ отпустить. Онъ же паки ко мнѣ пришелъ. И с тѣхъ мѣстъ царь на меня кручиноватъ сталъ: не любо стало, какъ опять я сталъ говорить; любо имъ, какъ молчю; да мнѣ такъ не сошлось. А власти, яко козлы, пырскать стали на меня и умыслили паки сослать меня с Москвы, понеже раби Христовы многіе приходили ко мнѣ и, уразумѣвше истину, не стали к прелесной ихъ служьбѣ ходить. И мнѣ от царя выговоръ былъ: «въласти-де на тебя жалуются; церкви-де ты запустошилъ, поедь-де в ссылку опять». Сказывалъ бояринъ Петръ Михайловичь Салътыковъ. Да и повезли на Мезень. Надавали были кое-чево, во имя Христово, люди добрые много, да все и осталося тутъ; токмо з женою и дѣтми и з домочадцы повезли. А я по городамъ паки людей Божіихъ училъ, а ихъ, пестрообразныхъ звѣрей, обличалъ. И привезли на Мезень.

Полтара года державъ, паки одново к Москвѣ възяли; да два сына со мною, — Иванъ да Прокопей, — сьехали же; а протопопица и прочіи на Мезени осталися всѣ. И привезше к Москвѣ, отвезли под началъ в Пафнутьевъ монастырь. И туды присылка была, — тожъ

да тожъ говорятъ: «долъго ли тебѣ мучить насъ? соединись с нами, Аввакумушко!» Я отрицаюся, что от бѣсовъ, а онѣ лѣзутъ в глаза! Скаску имъ тутъ з бранью з болшою написалъ и послалъ з дьякономъ ярославскимъ с Козмою и с подъячимъ двора патріарша. Козма-та не знаю коева духа человѣкъ: въявѣ уговариваетъ, а втай подкрѣпляетъ меня, сице говоря: «протопопъ, не отступай ты старова тово благочестія; великъ ты будешь у Христа человѣкъ, какъ до конца претерпишь; не гляди на насъ, что погибаемъ мы!» И я ему говорилъ сопротивъ, чтобъ онъ паки приступилъ ко Христу. И онъ говоритъ: «нельзя; Никонъ опуталъ меня!» Просто молыть, отрекся пред Никономъ Христа, также уже, бѣдной, не сможетъ встать. Я, заплакавъ, благословилъ ево горюна; болши тово нечева мнѣ дѣлать с нимъ; вѣдаетъ то Богъ, что будетъ ему.

Таже, державъ десеть недѣль в Пафнутьеве на чепи, взяли меня паки на Москву, и в крестовой стязався власти со мною, ввели меня в соборный храмъ и стригли по переносе меня и дьякона Феодора, потомъ и проклинали; а я ихъ проклиналъ сопротивъ; зѣло было мятежно в обѣдню ту тутъ. И, подеръжавъ на патріархове дворѣ, повезли насъ ночью на Угрѣшу к Николѣ в монастырь. И бороду враги Божіи отрѣзали у меня. Чему быть? волъки то есть, не жалѣютъ овецъ! оборвали, что собаки, одинъ хохолъ оставили, что у поляка, на лъбу. Везли не дорогою в монастырь, — болотами да грязью, чтобъ люди не свѣдали. Сами видятъ, что дуруютъ, а отстать от дурна не хотятъ: омрачилъ дьяволъ, — что на нихъ и пенять! Не имъ было, а быть же было инымъ: писанное время пришло по Евангелію: нужда соблазнамъ пріити. А другой глаголетъ евангелистъ: невозможно соблазнамъ не пріитти, но горе тому, имъ же приходитъ соблазнъ. Виждь, слышателю: необходимая наша бѣда; невозможно миновать! Сего ради соблазны попущаетъ Богъ, да же избрани будутъ, да же разжегутся, да же убелятся да же искусніи явленны будутъ в васъ. Выпросилъ у Бога свѣтлую Россію сатона, да же очервленитъ ю кровію мученическою. Добро ты, дьяволъ, вздумалъ, и намъ то любо — Христа ради, нашего свѣта, пострадать!

Держали меня у Николы в студеной полатке семнатцеть недѣль. Тутъ мнѣ Божіе присѣщеніе быть: чти в царевѣ посланіи, тамо обрящеши. И царь приходилъ в монастырь: около темницы моея походилъ и, постонавъ, опять пошелъ из монастыря. Кажется потому, и жаль ему меня, да ушто воля Божія такъ лежитъ. Какъ стригли, в то время

велико нестроеніе вверху у нихъ бысть с царицею с покойницею: она за насъ стояла в то время, миленкая; напослѣдокъ и от казни отпросила меня. О томъ много говорить. Богъ ихъ проститъ! Я своево мученія на нихъ не спрашиваю, ни въ будущій вѣкъ. Молится мнѣ подобаетъ о нихъ, о живыхъ и о преставльшихся. Діяволъ между нами разсѣченіе положилъ; а онѣ всегда добры до меня. Полно тово! И Воротынской бѣдной князь Иванъ тутъ же без царя молитца пріезжалъ; а ко мнѣ просился в темницу; ино непустили горюна; я лишо, в окошко глядя, поплакалъ на него. Миленькой мой! боится Бога, сиротинъка Христова: не покинетъ ево Христосъ! Всегда таки онъ Христовъ да нашъ человѣкъ. И всѣ бояря-те до насъ добры, одинъ дьяволъ лихъ. Что петь сдѣлаешъ, коли Христосъ попустилъ! Князь Ивана миленкова Хованъскова и батожьемъ били, какъ Исаію сожгли. А боярюню-ту Ѳедосью Морозову и совсѣмъ разорили, и сына у нея уморили, и ея мучатъ; и сестру ея Евдокѣю, бивше батогами, и от детей отлучили, и с мужемъ розвели, а ево князь Петра Урусова на другой-де женили. Да что петь дѣлать.*) Пускай ихъ миленкихъ мучатъ: небеснаго жениха достигнутъ. Всяко-то Богъ ихъ перепровадитъ вѣкъ сей суетный и присвоитъ к Себѣ женихъ небесный въ чертогъ Свой, праведное солнце, свѣтъ, упованіе наше! Паки на первое возвратимся.

Посемъ свезли меня паки в монастырь Пафнутьевъ и тамъ, заперши въ темную полатку, скована держали год без мала. Тутъ келарь Никодимъ сперва добръ до меня былъ, а се бѣдной болшо тово же табаку испилъ, что у Газскаго митрополита выняли напослѣдокъ 60 пудовъ, да домру, да иные тайные монастырскіе вещи, что поигравше творятъ. Согрѣшилъ, — простите; не мое то дѣло: то вѣдаетъ онъ; своему владыке стоитъ или падаетъ. К слову молылось. То у нихъ были любимые законоучителіе. У сего келаря Никодима попросилъся я на великъ день для праздника отдохнуть, чтобъ велѣлъ, дверей отворя, на пороге посидѣть; и онъ меня наругавъ и отказалъ жестоко, какъ ему захотѣлось; и потомъ, в кѣлію пришедъ, разболѣлъся: масломъ соборовали и причащали, и тогда-сегда дохнетъ. То было в понедѣль-

*) Пускай ихъ, свѣтовъ моихъ, — мучатся Христа ради. Красные и свѣтлые боярони в Руской земли явились; не токмо славы, но и плоти своей и дѣтокъ не пощадили, да Христа пріобрящутъ. Пускай Христосъ Своихъ собираетъ къ Себѣ! Умеръ же бы Иванушко всяко, а то мученикъ Христовъ Морозовыхъ бояръ. Исповѣдалъ ево — свѣта в темницѣ на Москвѣ бывше, и причастилъ тѣла Христова, яко непорочнаго агнца. Добро. Полно тово. Любо мнѣ, что за Христа умираютъ, я ихъ тому и училъ. Что по нихъ и тужить? Слава Богу о всѣмъ. *(Третья редакция)*.

никъ свѣтлой. И в нощи противъ вторника пріиде к нему мужъ во образѣ моемъ, с кадиломъ, в ризахъ свѣтлыхъ, и покадилъ ево и, за руку взявъ, воздвигнулъ, и бысть здравъ. И притече ко мнѣ с келейникомъ ночью в темницу, — идучи говоритъ: «блаженна обитель, — таковыя имѣетъ темницы! блаженна темница—таковыхъ в себѣ имѣетъ страдальцовъ! блаженны и юзи!» И палъ предо мною, ухватился за чепь, говоритъ: «прости, Господа ради, прости! согрѣшилъ пред Богомъ и пред тобою; оскорбилъ тебя—и за сіе наказалъ мя Богъ».И я говорю: «какъ наказалъ? повѣждь ми». И онъ паки: «а ты-де самъ, приходя и покадя, меня пожаловалъ и поднялъ, — что де запираесся!» А келейникъ, тутъ же стоя, говоритъ: «я, батюшко государь, тебя под руку вывелъ из кѣльи, да и поклонился тебѣ, ты и пошелъ сюды». И я ему заказалъ, чтобъ людямъ не сказывалъ о тайне сей. Онъ же со мною спрашивался, какъ ему жить впредь по Христѣ, или-де мнѣ велишь покинуть все и в пустыню поити? Азъ же его понаказавъ, и не велѣлъ ему келаръства покидать, токмо бы, хотя втай, державъ старое преданіе отеческое. Онъ же поклоняся, отъиде к себѣ, и на утро за трапезою всей братье сказалъ. Людіе же безстрашно и дерзновенно ко мнѣ побрели, просяще благословенія и молитвы от меня; а я ихъ учю от писанія и ползую словомъ Божіимъ; в тѣ времена и врази кои были, и тѣ примирилися тутъ. Увы! коли оставлю суетный сей вѣкъ? Писано: горе, ему-же рекутъ добре вси человѣцы. Воистину не знаю, какъ до краю доживать: добрыхъ дѣлъ нѣтъ, а прославилъ Богъ! То вѣдаетъ Онъ, — воля Ево.

Тутъ же пріезжалъ ко мнѣ втай з дѣтми моими Ѳеодоръ покойникъ, удавленой мой, и спрашивалъся со мною: «какъ-де прикажешъ мнѣ ходить, — в рубашке ли постарому, или в платье облещись? — еретики-де ищутъ и погубить меня хотятъ. Былъ-де я на Резани под началомъ, у архіепископа на дворѣ, и зѣло-де онъ Иларіонъ мучилъ меня, — рѣткой день плетми не бьетъ, и скована въ желѣзахъ держалъ, принуждая к номому антихристову таинъству. И я-де уже изнемогъ, — в нощи моляся и плача, говорю: Господи! аще не избавишь мя , осквернятъ меня, и погибну. Что тогда мнѣ сотворишъ?» И много плачючи говорилъ: «А се-де вдругъ, батюшко, желѣза всѣ грянули с меня, и дверь отперлась, и отворилася сама. Я-де, Богу поклонясь, да и пошелъ; к воротамъ пришелъ — и ворота отворены! Я-де по болшой дороге, к Москвѣ напрямикъ. Егда-де розсвѣтало, — ано погоня на лошедяхъ! Трое человѣкъ мимо меня пробѣжали, — не увидѣли меня. Я-де надѣюся на Христа, бреду таки впредь. Помале-де онѣ

дутъ на въстрѣчю ко мнѣ, лають меня: ушелъ-де, блядинъ сынъ, — дѣ-де ево возмѣшъ! Да и опять-де проехали, не видали меня. И я-де ынѣ к тебѣ спроситца прибрѣлъ: туды-ль де мнѣ опять мучитца пойи, или, платье вздѣвъ, жить на Москвѣ?» — И я ему, грѣшной, вебѣлъ въздѣть платье. А однако не ухоронилъ от еретическихъ рукъ, — удавили на Мезени, повѣся на висилицу. Вѣчная ему память и с Іукою Лаврентьевичемъ! Дѣтушки миленькіе мои, пострадали за Христа! Слава Богу о нихъ! Зѣло у Ѳедора тово крѣпокъ подвигъ былъ: день юродъствуетъ, а нощь всю на молитвѣ со слезами. Много добыхъ людей знаю, а не видалъ подвижника такова! Пожилъ у меня ъ полъгода на Москвѣ, — а мнѣ еще не моглося, — в задней комнате двое насъ с нимъ и, много часъ-другой полежитъ, да и встанетъ; 000 поклоновъ отбросаетъ, да сядетъ на полу и иное, стоя, часа с три лачетъ, а я таки лежу, — иное сплю, а иное неможется; егда ужъ заплачется гораздо, тогда ко мнѣ приступитъ: «долго ли тебѣ, протопопъ, лежать-тово, образумься, — веть ты попъ! какъ сорома нѣтъ?» І мнѣ неможется, такъ меня подымаетъ, говоря: «встань, миленкой - атюшко, — ну, таки встащися какъ-нибудь!» Да и роскачаетъ меня. Сидя мнѣ велитъ молитвы говорить, а онъ за меня поклоны кладетъ. Го-то другъ мой сердечной былъ! Скорбенъ миленкой былъ с перетуи великія: черевъ из него вышло в одну пору пять аршинъ. Неможетъ, кишки перемѣряетъ; и смѣхъ с нимъ и горе! На Устюге пять лѣтъ безпрестанно меръзъ на морозѣ босъ, бродя в одной рубашке: я самъ му самовидецъ. Тутъ мнѣ учинился сынъ духовной, какъ я ис Сибири халъ. У церкви в полатке, — прибѣгалъ молитвы ради, — сказызалъ: «какъ де от мороза тово в теплѣ томъ станешь, батюшко, отходить, зѣло-де тяшко в те поры бываетъ», — по кирпичью тому ногами еми стукаешъ, что коченьемъ! А на утро и опять не болятъ. Псалъырь у него тогда была новыхъ печатей в келье, — маленко еще зналъ новизнахъ; и я ему розсказалъ подробну про новыя книги; онъ же, хватавъ книгу, тотъчасъ и в печь кинулъ, да и проклялъ всю новизну. Зѣло у него во Христа горяча вѣра была! Да что много говорить? — какъ началъ, такъ и скончалъ! Не на басняхъ проходилъ подвигъ, не какъ я окаянной; того ради и скончалъся боголѣпнѣ. Хорошъ бѣхъ и Аѳонасьюшко — миленкой, сынъ же мнѣ духовной, во иноцехъ Авраамій, что отступники на Москвѣ в огнѣ испекли, и яко хлѣбъ сладокъ принесеся святѣй Троице. До иночества бродилъ босикомъ же в одной рубашке и зиму и лѣто; толко сей Ѳеодора посмирнѣе в подвиге малехнее покороче. Плакать зѣло же былъ охотникъ: и хо-

дитъ и плачетъ. А с кѣмъ молытъ, — и у него слово тихо и гладко, як плачетъ. Ѳеодоръ же ревнивъ гораздо былъ и зѣло о дѣле Божіи болѣ ненъ: всяко тщится розорити и обличати неправду. Да пускай ихъ Какъ жили, такъ и скончались о Христѣ Ісусѣ Господѣ нашемъ.

Еще вамъ побесѣдую о своей волоките. Какъ привезли меня и монастыря Паѳнутьева к Москвѣ, и поставили на подворье, и, волоч многажды в Чюдовъ, поставили передъ вселенскихъ патріарховъ, — и наши всѣ тутъ же, что лисы, сидѣли, — от писанія с патріархам говорилъ много; Богъ отверзъ грѣшъные мои уста и посрамилъ ихъ Христосъ! Послѣднее слово ко мнѣ рекли: «что-де ты упрямъ? вся-д наша Палестина, — и серби, и алъбансы, и волохи, и римляне, и ля хи, — всѣ-де трема перъсты крестятся, одинъ-де ты стоишь во своем упоръствѣ и крестисся пятью перъсты! — такъ-де не подобаетъ!» І я имъ о Христе отвѣщалъ сице: «вселенъстіи учителіе! Римъ давн упалъ и лежитъ невсклонно, и ляхи с нимъ же погибли, до конца вра ги быша христіяномъ. А и у васъ православіе пестро стало от насилі туръскаго Магмета, — да и дивить на васъ нельзя: немощни есте ста ли. И впредь пріезжайте к намъ учитца: у насъ, Божіею благодатік самодеръжство. До Никона отступника в нашей Росіи у благочести выхъ князей и царей все было православіе чисто и непорочно, и цер ковь немятежна. Никонъ волъкъ со дьяволомъ предали трема перъст креститца; а первые наши пастыри, яко же сами пятью персты кре стились, такожде пятью персты и благословляли по преданію святых отецъ нашихъ: Мелетія антіохійскаго и Ѳеодорита Блаженнаго, епис копа киринѣйскаго, Петра Дамаскина и Максима Грека. Еще же московскій помѣстный бывый соборъ при царѣ Иванѣ такъ же слага персты креститися и благословляти повелеваетъ, яко-жъ прежніи свя тіи отцы, Мелетій и прочіи, научиша. Тогда при царѣ Иване быша н соборе знаменоносцы: Гурій и Варсонофій, казанъскіе чюдотворцы, Филиппъ соловецкій игуменъ, от святыхъ русскихъ». А патріаръси за думалися; а наши, что волъчонки, вскоча, завыли и блевать стали н отцевъ своихъ, говоря: «глупы-де были и несмыслили наши русскі святыя, не ученые-де люди были,—чему имъ вѣрить? Онѣ-де грамот не умѣли!» О, Боже святый! како потерпѣ святыхъ своихъ толикая до сажденія? Мнѣ бѣдному горъко, а дѣлать нечева стало. Побранил ихъ, колко могъ, и послѣднее слово реклъ: «чистъ есмь азъ, и прах прилѣпшій от ногъ своихъ отрясаю пред вами, по писанному: лутч единъ творяй волю Божію, нежели тмы беззаконныхъ!» Такъ на меня пущи закричали: «возми его!—всѣхъ насъ обезчестилъ!» Да толкать

ить меня стали; и патріархи сами на меня бросились, человѣкъ ихъ с рокъ, чаю, было,—велико антихристово войско собралося! Ухватилъ ня Иванъ Уаровъ, да потащилъ. И я закричалъ: «постой,—не бей-!» Такъ онѣ всѣ отскочили. И я толмачю - архимариту говорить алъ: «говори патріархамъ: апостолъ Павелъ пишетъ: таковъ амъ подобаше архіерей, преподобенъ, нѣзлоивъ и прочая; а вы, убивше человѣка, какъ литоргисать станете?» къ онѣ сѣли. И я отошелъ ко дверямъ, да набокъ повалилъся: «посите вы, а я полежу»,—говорю имъ. Такъ онѣ смѣются: «дуракъ-де про попъ! и патріарховъ не почитаетъ!» И я говорю: «мы уроди Христа ади! вы славни, мы же безчестни! вы силни, мы же немощни!» Помъ паки ко мнѣ пришли власти и про аллилуія стали говорить со ою. И мнѣ Христосъ подалъ,— посрамилъ в нихъ римъскую ту блядь іонисіемъ Ареопагитомъ, какъ выше сего в началѣ реченно. И Евоией, чюдовской келарь, молылъ: «правъ-де ты, — нѣчева-де намъ боли тово говорить с тобою». Да и повели меня на чепь.

Потомъ полуголову царь приелалъ со стрелцами, и повезли меня Воробьевы горы; тутъ же — священника Лазаря и инока Епиоая старца; остриженны и обруганы, что мужички деревенскіе, милене! Умному человѣку поглядѣть, да лише заплакать, на нихъ глядя. а пускай ихъ терпятъ! Что о нихъ тужить? Христосъ и лутче ихъ лъ, да тожъ Ему, свѣту нашему, было от прадедовъ ихъ, от Анны Каіафы; а на нынѣшнихъ и дивить нѣчева: с обрасца дѣлаютъ! Пожить надобно о нихъ о бѣдныхъ. Увы, бѣдные никоніяня! погибате от своего злаго и непокориваго нрава!

Потомъ с Воробьевыхъ горъ перевели на Андрѣевское подворье; же в Савину слободку. Что за разбойниками стрелцовъ войско за наи ходитъ и срать провожаютъ; помянется, — смѣхъ и горе, — какъ омрачилъ дьяволъ! Тажъ к Николѣ на Угрешу: тутъ государь прилалъ ко мнѣ голову Юрья Лутохина благословенія ради, и кое о чемъ ного говорили.

Таже опять ввезли в Москву насъ на Никольское подворье и взяи у насъ о правовѣріи еще скаски. Потомъ ко мнѣ комнатные люди ногажды присыланы были, Артемонъ и Дементей, и говорили мнѣ цаевымъ глаголомъ: «протопопъ, вѣдаю-де я твое чистое и непорочное богоподражательное житіе, прошу-де твоево благословенія и с царицо и с чады, — помолися о насъ!» Кланяючись, посланникъ говоритъ. я по немъ всегда плачю; жаль мнѣ силно ево. И паки онъ же: «поалуй-де послушай меня: соединись со вселенъскими теми хотя не-

болшимъ чемъ!» И я говорю: «аще и умрети ми Богъ изволитъ, со о-
ступниками не соединяюся! Ты, реку, мой царь; а имъ до тебя как
дѣло? Своево, реку, царя потеряли, да и тебя проглотить сюды пр-
воloклися! Я, реку, не сведу рукъ с высоты небесныя, дондеже Бо
тебя отдастъ мнѣ». И много тѣхъ присылокъ было. Кое о чемъ говор-
но. Последнее слово рекъ: «гдѣ-де ты ни будешъ, не забывай насъ
молитвахъ своихъ!» Я и нынѣ, грѣшной, елико могу, о немъ Бога мо-

Таже братію казня, а меня не казня, сослали в Пустозерье. И
ис Пустозерья послалъ к царю два посланія: первое невелико, а др-
гое болши. Кое о чемъ говорилъ. Сказалъ ему в посланіи и богознам-
нія нѣкая, показанная мнѣ въ темницахъ; тамо чтый да разумѣе
Еще же от меня и от братьи дьяконово снисканіе послано в Моск
правовѣрнымъ гостинца, книга «Отвѣтъ православныхъ» и обличе
на отступническую блудню. Писано в ней правда о догматѣхъ церк-
ныхъ. Еще же и от Лазаря священника посланы два посланія цар
патріарху. И за вся сія присланы к намъ гостинцы: повѣсили на М
зени в дому моемъ двухъ человѣкъ, дѣтей моихъ духовныхъ,— преж
реченнаго Өеодора юродиваго да Луку Лаврентьевича, рабовъ Хрис
выхъ. Лука-та московъской жилецъ, у матери вдовы сынъ былъ един
чаденъ, усмарь чиномъ, юноша лѣтъ в полтретьятцеть; пріехалъ
Мезень по смерть з дѣтми моими. И егда бысть в дому моемъ въсе
бительство, вопросилъ его Пилатъ: «какъ ты, мужикъ, крестишься
Онъ же отвѣща смиренно-мудро: «я такъ вѣрую и крещуся слаг
перъсты, какъ отецъ мой духовной протопопъ Аввакумъ». Пилатъ
повелѣ его в темницу затворити, потомъ, положа петлю на шею, на р
лехъ повѣсилъ. Онъ же от земныхъ на небесная взыде. Болши тово ч
ему могутъ здѣлать? Аще и младъ, да по старому здѣлалъ: пошелъ с
бѣ ко Владыке. Хотя бы и старой такъ догадался! В тѣ жо поры и с
новъ моихъ родныхъ двоихъ, Ивана и Прокопья, велено-жъ повѣсит
да онѣ бѣдные оплошали и не догадались венцовъ побѣдныхъ ухват
ти: испужався смерти, повинились. Такъ ихъ с матерью троихъ в зе
лю живыхъ закопали. Вотъ вамъ и без смерти смерть! Кайтеся, сид
дондеже дьяволъ иное что умыслитъ. Страшна смерть: недиво! Нѣко
да и другъ ближній Петръ отречеся и, изшедъ вонъ, плакася горьк
и слезъ ради прощенъ бысть. А на робятъ и дивить нѣчево; моего ра
согрѣшенія попущено имъ изнеможеніе. Да ужъ добро; быть тому так
Силенъ Христосъ всѣхъ насъ спасти и помиловати.

Посемъ тойже полуголова Иванъ Елагинъ былъ и у насъ в Пус
озерье, пріехавъ с Мезени, и взялъ у насъ скаску. Сице реченно: го

мѣсяцъ, и паки: мы святыхъ отецъ церковное преданіе держимъ неизмѣнно, а палестинъскаго патріарха Паисея с товарыщи еретическое соборище проклинаемъ. И иное тамъ говорено многонко, и Никону, заотчику ересемъ досталось неболшое мѣсто. Потомъ привели насъ к плахе и, прочетъ наказъ, меня отвели, не казня, в темницу. Чли в наказѣ: Аввакума посадить в землю въ срубе, и давать ему воды и хлѣба. И я сопротивъ тово плюнулъ и умереть хотѣлъ, не едши, и не ѣлъ дней с восмь и болши, да братья паки есть велѣли.

Посемъ Лазаря священника взяли и языкъ весь вырѣзали из горла; мало попошло крови, да и перестала. Онъ же и паки говоритъ без языка. Таже, положа правую руку на плаху, по запястье отсѣкли, и рука отсѣченая, на землѣ лежа, сложила сама перъсты по преданію, и долго лежала такъ пред народы; исповѣдала, бѣдная, и по смерти знаменіе Спасителево неизмѣнно. Мнѣ-су и самому сіе чюдно: бездушная одушевленыхъ обличаетъ! Я на третей день у нево во ртѣ рукою моею щупалъ и гладилъ: гладко все, — без языка, а не болитъ. Далъ Богъ во временнѣ часѣ исцелѣло. На Москвѣ у него рѣзали: тогда осталось языка, а нынѣ весь без остатку рѣзанъ; а говорилъ два годы чисто, что и я с языкомъ. Егда исполнилися два годы, иное чюдо: в три дни у него языкъ выросъ совершенной, лишъ маленко тупенекъ, и паки говоритъ, безпрестанно хваля Бога и отступниковъ порицая.

Посемъ взяли соловецъкаго пустынника, инока схимника, Епифа-ня старца, и языкъ вырѣзали весь же; у руки отсѣкли четыре перъста. И сперва говорилъ гугниво. Посемъ молилъ пречистую Богоматерь, и показаны ему оба языки, московъской и здѣшъней, на воздухе; онъ же, единъ взявъ, положилъ в ротъ свой, и с тѣхъ мѣстъ сталъ говорить чисто и ясно, и языкъ совершенъ обрѣтеся во рътѣ. Дивна дѣла Господня и неизреченны судбы Владычни! — и казнить попускаетъ, и паки целитъ и милуетъ! Да что много говорить? Богъ — старой чюдотворецъ, от небытія в бытіе приводитъ. Во се петь в день послѣдній всю плоть человѣчю во мгъновеніи ока воскреситъ. Да кто о томъ разъсудити можетъ? Богъ бо то есть: новое творитъ и старое поновляетъ. Слава Ему о всемъ!

Посемъ взяли дьякона Θеодора: языкъ вырѣзали весь же, оставили кусочикъ неболшой во ртѣ, в горлѣ накось рѣзанъ; тогда на той мѣре и зажилъ; а опослѣ и опять со старой выросъ, и за губы выходитъ, притупъ маленко. У нево же отсѣкли руку поперегъ ладони. И все, далъ Богъ, стало здорово, — и говоритъ ясно противъ прежнева чисто.

Таже осыпали насъ землею: струбъ въ землѣ, и паки около зем другой струбъ, и паки около всѣхъ общая ограда за четырми замък ми; стражіе же пре-дверми стрежаху темницы. Мы же, здѣсь и вез сидящіи в темницахъ, поемъ пред Владыкою Христомъ, Сыномъ Б жіимъ, пѣсни пѣснямъ, ихъ же Соломанъ воспѣ, зря на матерь Вир савію: се еси добра прекрасная моя, се еси добра любимая моя, о твои горятъ яко пламень огня; зубы твои белы паче млека; зракъ л ца твоего паче солнечныхъ лучь и вся в красотѣ сіяешъ, яко день в с лѣ своей. (Хвала о церкви).

Таже Пилатъ, поехавъ отъ насъ, на Мезени достроя, возвратил в Москву. И прочихъ нашихъ на Москвѣ жарили да пекли: Исаію со гли, и после Авраамія сожгли, и иныхъ поборниковъ церковныхъ мн гое множество погублено, ихъ же число Богъ изочтетъ. Чюдо, какъ в познаніе не хотятъ пріити: огнемъ да кнутомъ, да висилицею хотя вѣру утвердить! Которые то апостоли научили такъ? — не знаю. Мо Христосъ не приказалъ нашимъ апостоломъ такъ учить, еже бы о немъ да кнутомъ, да висилицею в вѣру приводить. Но Господемъ р ченно ко апостоломъ сице: шедше в міръ проповѣдит Евангеліе всей твари. Иже вѣру иметъ крестится, спаенъ будетъ, а иже не имет вѣры, осужденъ будетъ. Смотри, слышателю, — волею зо ветъ Христосъ, а не приказалъ апостоломъ непокаряющихся огнем жечь и на висилицахъ вѣшать. Татаръской богъ Магметъ написал во своихъ книгахъ сице: непокаряющихся нашему преданію и закон повелеваемъ главы ихъ мечемъ подклонити. А нашъ Христосъ учени камъ Своимъ никогда такъ не повелѣлъ. И тѣ учители явны як шиши антихристовы, которые, приводя в вѣру, губятъ и смерти пре даютъ; по вѣре своей и дѣла творятъ таковы же. Писано во Еванге ліи: не можетъ древо добро плодъ золъ творити ниже древо зло плодъ добръ творити: от плода б всяко древо познано бываетъ. Да што много говорить? аще бы не бы ли борцы, не бы даны быша венцы. Кому охота вѣнчатца, не по шт ходить в Перъсиду, а то дома Вавилонъ. Ну-тко, правовѣрне, нарц имя Христово, стань среди Москвы, прекрестися знаменіемъ Спаси теля нашего Христа, пятью персты, яко же пріяхомъ от святыхъ отецъ вотъ тебѣ царство небесное дома родилось! Богъ благословитъ: мучься за сложеніе перъстъ, не разсуждай много! А я с тобою за сіе о Христѣ умрети готовъ. Аще я и немысленъ гораздо, неука человѣкъ, да то знаю, что вся в церкви, от святыхъ отецъ преданная, свята и непороч-

а суть. Держу до смерти, яко же пріяхъ; не прелагаю предѣлъ вѣчныхъ, до насъ положено: лежи оно такъ во вѣки вѣкомъ! Не блуди еретикъ не токмо над жерътвою Христовою и надъ крестомъ, но и пелены е шевели. А то удумали со дьяволомъ книги перепечатать, вся переменить, — крестъ на церкви и на просвирахъ переменить, внутрь олътаря молитвы іерейскіе откинули, ектеньи переменили, въ крещеніи вно духу лукавому молитца велятъ, — я бы имъ и с нимъ в глаза наплевалъ, — и около купѣли противъ солнца лукаво-етъ ихъ водитъ, акоже и, церкви святя, противъ солнца же, и бракъ венчавъ, противъ солнца же водятъ, — явно противно творятъ, — а в крещеніи и не отрицаются сатоны. Чему быть? — дѣти ево: коли отца своево отрицатися захотятъ! Да что много говорить? охъ, правовѣрной душе! — ся горняя долу быша. Какъ говорилъ Никонъ, адовъ песъ, такъ и здѣлалъ: печатай, Аръсенъ, книги какъ-нибудь, лишь бы не по старому!» — такъ-су и здѣлалъ. Да болши тово нѣчимъ переменить. Умереть за іе всякому подобаетъ. Будьте онѣ прокляты окаянные со всѣмъ лукавымъ замысломъ своимъ, а стражущимъ от нихъ вѣчная память трижды!

Посемъ у всякаго правовѣрнаго прощенія прошу: иное было, кажется, про житіе-то мнѣ и не надобно говорить; да прочтохъ Дѣяніе Апостольская и Посланія Павлова, — апостоли о себѣ возвѣщали же, егда что Богъ содѣлаетъ в нихъ: не намъ, Богу нашему слава. А я ничто-жъ есмь. Рекохъ, и паки реку: азъ есмь человѣкъ грѣшникъ, блудникъ и хищникъ, тать и убійца, другъ мытаремъ и грѣшникамъ и всякому человѣку лицемѣрецъ окаянной. Простите же и молитеся о мнѣ; а я о васъ долженъ, чтущихъ и послушающихъ. Болши тово жить не умѣю; а что здѣлаю я, то людямъ и сказываю; пускай Богу молятся о мнѣ! В день вѣка вси жо тамъ познаютъ содѣланная мною — или благая, или злая. Но аще и не ученъ словомъ, но не разумомъ; не ученъ діалектики и риторики и философіи, а разумъ Христовъ в себѣ имамъ, яко-жъ и апостолъ глаголетъ: аще и невѣжда словомъ, но не разумомъ.

Простите, — еще вамъ про невѣжество свое побесѣдую. Ей, заступалъ, отца своего заповѣдь преступилъ: и сего ради домъ мой наказанъ бысть; внимай, Бога ради, како бысть. Егда еще я попомъ бысть, духовникъ царевъ, протопопъ Стефанъ Вънифаньтьевичъ, благословилъ меня образомъ Филиппа митрополита, да книгою святаго Ефрема Сирина, себя ползовать, прочитая, и люди. Азъ же окаянный, презрѣвъ отеческое благословеніе и приказъ, ту книгу брату двоюрод-

ному, по докуке ево, на лошадь променялъ. У меня же в дому был братъ мой родной, именемъ Евөимей, зѣло грамотѣ гораздъ и о церкв велико прилежаніе имѣлъ; напослѣдокъ взятъ былъ к болшой царевн вверхъ во псаломщики, а в моръ и з женою скончалъся. Сей Евөиме лошедь сію поилъ и кормилъ, и гораздо об ней прилежалъ, презира правило многажды. И виде Богъ неправду в насъ з братомъ, яко не право по истиннѣ ходимъ, — я книгу променялъ, отцову заповѣд преступилъ, а братъ, правило презирая, о скотинѣ прилѣжалъ, — и волилъ насъ Владыко сице наказать: лошедь ту по ночамъ и в ден стали бѣси мучить, — всегда мокра, заезжена, и еле жива стала. Аз же недоумѣюся, коея ради вины бѣсъ такъ озлобляетъ насъ. И в ден недѣльный послѣ ужины, в келейномъ правилѣ, на полунощниц братъ мой Евөимей говорилъ кафизму непорочную и завопилъ высо кимъ гласомъ: *призри на мя и помилуй мя!* — и испу стя книгу из рукъ, ударился о землю, от бѣсовъ пораженъ бысть,— на чатъ кричать и вопить гласы неудобными, понеже бѣси ево жесток начаша мучить. В дому же моемъ иные родные два брата, — Козм и Герасимъ, — болши ево, а не смогли удержать ево Евөимія; и всѣх домашнихъ человѣкъ с тритцеть, держа ево, рыдаютъ и плачютъ, во піюще ко Владыке: «Господи помилуй! согрѣшили предъ Тобою, про гнѣвали Твою благостыню, прости насъ грѣшныхъ! помилуй юнош сего, за молитвъ святыхъ отецъ нашихъ!» А онъ пущи бѣситъся, кри читъ, и дрожитъ, и бьется. Азъ же, помощію Божіею, в то время не смутихся от голки тоя бѣсовъскія. Кончавше правило, паки начах молитися Христу и Богородице со слезами, глаголя: «Владычице моя Пресвятая Богородице! покажи, за которое мое согрѣшеніе таково ми бысть наказаніе, да, уразумѣвъ, каяся пред Сыномъ Твоимъ и пре Тобою, впредь тово не стану дѣлать!» И, плачючи, послалъ во церков по Потребникъ и по святую воду сына своего духовнаго, Симеона, — юноша таковъ же, что и Евөимей, лѣтъ въ четырнатцеть, дружно меж себя живуще Симеонъ со Евөиміемъ, книгами и правиломъ другъ дру га подкрепляюще и веселящеся, живуще оба в подвиге крѣпко, в по стѣ и молитвѣ. Той же Симеонъ, плакавъ по друге своемъ, сходилъ во церковь и принесъ книгу и святую воду. Азъ же начахъ дѣйствоват надъ обуреваемымъ молитвы Великаго Василія, с Симеономъ: онъ мнѣ строилъ кадило и свещи, и воду святую подносилъ; а прочіи дер жали бѣснующагося. И егда в молитвѣ рѣчь дошла: *азъ ти о имени Господни повелеваю, душе нѣмый и глухій, изыди отъ созданія сего и ктому не*

нийди в него, но иди на пустое мѣсто, идѣже еловѣкъ не живетъ, но токмо Богъ призиратъ, — бѣсъ же не слушает, не идетъ изъ брата. И я паки ту же ѣчь в другорядъ, и бѣсъ еще не слушаетъ, пущи мучитъ брата. Охъ, оре мнѣ! Какъ молыть? — и соромъ, и не смѣю; но по старцову Епианіеву повелѣнію говорю; сице было: взялъ кадило, покадилъ образы бѣснова, и потомъ ударилъся о лавку, рыдавъ, на многъ часъ. Возтавше, ту же Василіеву рѣчь закричалъ к бѣсу: «изыди от созданія его!» Бѣсъ же скорчилъ в колцо брата и, пружався, изыде, и сѣлъ на окошко; братъ же бывъ яко мерътвъ. Азъ же покропилъ ево водою вятою; онъ же, очхнеся, перъстомъ мнѣ на бѣса, сѣдящаго на окоше, показуетъ; а самъ не говоритъ, связавшуся языку его. Азъ же поропилъ водою окошко: и бѣсъ сошелъ в жерновный уголъ. Братъ же тамъ ево указуетъ. Азъ же и тамъ покропилъ водою: бѣсъ же оттолѣ ошелъ на печь. Братъ же и тамъ указуетъ. Азъ же и тамъ тою же вою. Братъ же указалъ под печь, а самъ перекрестилъся. И азъ не поелъ за бѣсомъ, но напоилъ святою водою брата во имя Господне. Онъ е, воздохня из глубины сердца, сице ко мнѣ проглагола: «спаси Богъ ебя, батюшко, что ты меня отнялъ у царевича и двухъ князей бѣсовкихъ! Будетъ тебѣ бить челомъ братъ мой Аввакумъ за твою доброту. а и мальчику тому спаси Богъ, которой в церковь по книгу и по воу-ту ходилъ, пособлялъ тебѣ с ними битца. Подобіемъ онъ, что и Сиеонъ же, другъ мой. Подлѣ реки Сундовика меня водили и били, а саи говорятъ: намъ-де ты отданъ за то, что братъ твой Аввакумъ на шедь променялъ книгу, а ты-де ея любишъ; такъ-де мнѣ надобе бра поговорить, чтобъ книгу ту назадъ взялъ, а за нея бы далъ денги воюродному брату». И я ему говорю: «я, реку, свѣтъ, братъ твой Авкумъ». И онъ мнѣ отвѣщалъ: «какой ты мнѣ братъ? Ты мнѣ батко; нялъ ты меня у царевича и у князей; а братъ мой на Лопатищахъ иветъ, — будетъ тебѣ бить челомъ». Азъ же паки ему далъ святыя ды; онъ же и судно у меня отнимаетъ и съесть хочетъ, — сладка ему сть вода! Изошла вода, и я пополоскалъ и давать сталъ; онъ и не алъ пить. Ночь всю зимнюю с нимъ простряпалъ. Маленко я с нимъ лежалъ, и пошелъ во церковь заутреню пѣть; и без меня бѣси паки а него напали, но лехче прежнева. Азъ же, пришедъ от церкви, масмъ ево посвятилъ, и паки бѣси отъидоша, и умъ целъ сталъ; но яхлъ бысть, от бѣсовъ изломанъ: на печь поглядываетъ и оттоля ится, — егда куды отлучюся, а бѣси и навѣтовать ему станутъ. Биля з бѣсами, что с собаками, недѣли с три за грѣхъ мой, дондеже въ-

зялъ книгу и денги за нея далъ. И ездилъ к другу своему Иларіон игумну: онъ просвиру вынялъ за брата; тогда добро жилъ, — что ны нѣ архіепископъ резанской, мучитель сталъ христіянской. И иным духовнымъ я билъ челомъ о братѣ: и умолили Бога о насъ грѣшных и свобожденъ от бѣсовъ бысть братъ мой. Таково-то зло заповѣди пре ступленіе отеческой! Что же будетъ за преступленіе заповѣди Госпо ня? Охъ, да толко огонь да мука! Не знаю, дни коротать какъ! Слаб уміемъ обьятъ и лицемѣріемъ, и лжею покрытъ есмъ; братоненавидѣ ніемъ и самолюбіемъ одѣянъ; во осужденіи всѣхъ человѣкъ погибаю и, мняся нѣчто быти, а калъ и гной есмъ, окаянной, — прямое говно отвсюду воняю, — душею и тѣломъ. Хорошо мнѣ жить с собаками д со свиніями в конурахъ: такъ же и онѣ воняютъ, что и моя душа, зл смрадною вонею. Да свиньи и псы по естеству; а я от грѣховъ воняю яко песъ мертвой, поверженъ на улице града. Спаси Богъ власте тѣхъ, что землею меня закрыли: себѣ ужъ хотя воняю, злая дѣла тв ряще, да иныхъ не соблажняю. Ей, добро такъ!

Да и в темницу-ту ко мнѣ бѣшаной зашелъ, Кирилушко, моско ской стрелецъ, караульщикъ мой. Остригъ ево азъ и вымылъ, и пл тье переменилъ, — зѣло вшей было много. Замъкнуты мы с нимъ дв жили, а третей с нами Христосъ и Пречистая Богородица. Онъ, м ленькой, бывало серетъ и ссытъ под себя, а я ево очищаю. Есть и пи проситъ, а безъ благословенія взять не смѣетъ. У правила стоять н захочетъ, — дьяволъ сонъ ему наводитъ: и я постегаю чотками, та и молитву творить станетъ и кланяется, за мною стоя. И егда прави скончаю, онъ и паки бѣсноватися станетъ. При мнѣ бѣснуется и шал етъ, а егда к старцу пойду посидѣть въ ево темницу, а ево положу н лавке, не велю ему вставать, и благословлю ево, и, докамѣстъ у ста ца сижу, лежитъ, не встанетъ, Богомъ привязанъ, — лежа беснуетс А в головахъ у него образы и книги, хлѣбъ, и квасъ и прочая, а ниче без меня не тронетъ. Какъ пріиду, такъ въстанетъ, и дьяволъ, мнѣ д саждая, блудить заставляетъ. Я закричу, такъ и сядетъ. Егда стр паю, в то время есть проситъ и украсть тщится до времени обѣда; е да предъ обѣдомъ Отче нашъ проговорю и благословлю, та тово брашна и не естъ, — проситъ неблагословеннова. И я ему сил в ротъ напехаю: и онъ и плачетъ, и глотаетъ. И какъ рыбою покорм тогда бѣсъ в немъ вздивіячится, а самъ из него говоритъ: «ты же меня ослабилъ!» И я, плакавъся пред Владыкою, опять постомъ ст ну и окрочю ево Христомъ. Таже масломъ ево освятилъ, и отради ему от бѣса. Жилъ со мною с мѣсяцъ и болши. Передъ смертію обр

зумилъся. Я исповѣдалъ ево и причастилъ: онъ же и преставился, миленкой, скоро. И я, гробъ купя и саванъ, велѣлъ погребъсти у церкви; попамъ сорокоустъ далъ. Лежалъ у меня мертвый сутки: и я ночью, оставъ, помоля Бога, благословя ево мертвова, и с нимъ поцеловався, опять подле его спать лягу. Товарищъ мой, миленкой, былъ! Слава Богу о семъ! Нынѣ онъ, а завтра я также умру.

Да у меня жъ былъ,на Москвѣ бѣшаной, — Филипомъ звали, — какъ я ис Сибири выехалъ. В ызбѣ в углу прикованъ былъ к стенѣ, понеже в немъ бѣсъ былъ суровъ и жестокъ гораздо, бился и дрался, и не могли с нимъ домочадцы ладить. Егда жъ азъ грѣшный со крестомъ и с водою пріиду, повиненъ бываетъ и яко мертвъ падаетъ пред крестомъ Христовымъ, и ничево не смѣетъ надо мною дѣлать. И молитвами святыхъ отецъ сила Божія отгнала от него бѣса; но только умъ еще несовершенъ былъ. Ѳедоръ былъ над нимъ юродивой приставленъ, что на Мезени вѣры ради Христовы отступники удавили, — Псалтырь над Филиппомъ говорилъ и училъ ево Іисусовой молитвѣ. А самъ во дни отлучашеся от дому, токмо в нощи дѣйствовалъ надъ Филиппомъ. По нѣкоемъ времени пришелъ я отъ Ѳедора Ртищева зѣло печаленъ, понеже в дому у него съ еретиками шумѣлъ много о вѣре и законѣ; а в моемъ дому в то время учинилося нестройство: протопопица моя со вдовою домочадицею Фетиньею межъ собою побранились — дьяволъ ссорилъ ни за што. И я, пришедъ, билъ ихъ обѣихъ и оскорбилъ гораздо, от печали: согрѣшилъ пред Богомъ и пред ними. Таже бѣсъ вздивіялъ въ Филиппѣ, и началъ чепь ломать, бѣсясь, и кричать неудобно. На всѣхъ домашнихъ нападе ужасъ и зѣло голка бысть велика. Азъ же безъ исправленія приступилъ к нему, хотя ево укротити; но не бысть попрежнему. Ухватилъ меня, и учалъ бить и драть, и всяко меня, яко паучину, терзаетъ, а самъ говоритъ: «попалъ ты мнѣ в руки!» Я токмо молитву говорю; да без дѣлъ не ползуетъ и молитва. Домашніе не могутъ отнять; а я и самъ ему отдалъся. Вижу, что согрешилъ: пускай меня бьетъ. Но, — чюденъ Господь! — бьетъ, а ничто не болитъ. Потомъ бросилъ меня от себя, а самъ говоритъ: «не боюсь тебя!» Полежалъ маленко, с совестію и собрался. Воставше, жену свою сыскалъ и пред нею сталъ прощатца со слезами, а самъ ей, в землю кланяясь, говорю: «согрѣшилъ, Настасья Марковна, — прости мя грѣшнаго!» Она мнѣ также кланяется. Посемъ и съ Фетиніею тѣмъ же образомъ простился. Таже легъ среди горницы и велѣлъ всякому человѣку бить себя плетью по пяти ударовъ по окаянной спине: человѣкъ было з дватцеть, — и жена и дѣти, всѣ, плачючи, стегали. А я

говорю: аще кто бить меня не станетъ, да не имать со мною части во царствіи небеснемъ!» И онѣ, нехотя, бьютъ и плачютъ; а я ко всякому удару по молитвѣ. Егда жъ всѣ отбили, и я, воставше, сотворилъ пред ними прощеніе. Бѣсъ же, видѣвъ неминучюю, опять вышелъ вонъ из Филиппа. И я крестомъ ево благословилъ, и онъ постарому хорошъ сталъ. И потомъ исцелѣлъ Божіею благодатіею о Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ, Ему жъ слава.

А егда я былъ в Сибири, — туды еще ехалъ, — и жилъ в Тоболскѣ, привели ко мнѣ бѣшанова, Ѳеодоромъ звали. Жестокъ же былъ бѣсъ в немъ. Соблудилъ в великъ день з женою своею, наругая празникъ, — жена ево сказывала, — да и взбѣсился. И я, в дому своемъ держа мѣсяца з два, стужалъ об немъ Божеству, в црековь водилъ и масломъ освятилъ, — и помиловалъ Богъ: здравъ бысть и умъ исцелѣ. И сталъ со мною на крылосѣ пѣть в литорьгію: во время переноса и досадилъ мнѣ. Азъ в то время побивъ ево на крылосѣ, и в притворѣ велѣлъ пономарю приковать к стѣне. И онъ, вышатавъ пробой, пущи и первова вбѣсясь, в обѣдню ушелъ на дворъ к болшому воеводѣ, и сундуки разломавъ, платье княгинино на себя вздѣлъ, а ихъ розгонялъ. Князь же, осердясь, многими людми в тюрму ево оттащили; онъ же в тюрмѣ юзниковъ бѣдныхъ всѣхъ перебилъ и печь разломалъ. Князь же велѣлъ ево в деревню к женѣ и дѣтямъ сослать. Онъ же, бродя в деревняхъ, великіе пакости творилъ. Всякъ бѣгаетъ от него. А мнѣ не дадутъ воеводы, осердясь. Я по немъ пред Владыкою плакалъ всегда. Посемъ пришла грамота с Москвы, — велено меня сослать ис Тоболска на Лѣну, великую реку. И егда в Петровъ день собралъся в дощеникъ, пришелъ ко мнѣ Ѳеодоръ целоуменъ, на дощенике при народѣ кланяется на ноги мои, а самъ говоритъ: «спаси Богъ, батюшко, за милость твою, что помиловалъ мя. По пустыни-де я бѣжалъ третьева дни, а ты-де мнѣ явился и благословилъ меня крестомъ: и бѣсиде прочь отбѣжали от меня, и я пришелъ к тебѣ поклонитца, и паки прошу благословенія от тебя». Азъ же, на него глядя, поплакалъ и возрадовался о величіи Божіи, понеже о всѣхъ насъ печется и промышляетъ Господь, — ево исцелилъ, а меня возвеселилъ! И поуча ево, благословя, отпустилъ к женѣ ево и дѣтямъ в домъ. А самъ поплылъ в ссылку, моля о немъ Христа, Сына Божія-свѣта, да сохранитъ его и впредь от непріязни. А назадъ я едучи, спрашивалъ про него; и мнѣ сказали: «преставился-де, послѣ тебя годы с три живучи христіански з женою и дѣтми». Ино добро. Слава Богу о семъ!

Простите меня, старецъ с рабомъ тѣмъ Христовымъ: вы мя понуисте сіе говорить. А однако ужъ розвякался, — еще вамъ повесть кажу. Какъ в попахъ еще былъ, тамъ же, гдѣ брата бѣси мучили, была у меня в дому моемъ вдова молодая, — давно ужъ, и имя ей забылъ! омнится, Офимьею звали, — ходитъ и стряпаетъ, и все хорошо дѣлетъ. Какъ станемъ в вечеръ начинать правило, такъ ея бѣсъ ударитъ землю, омертвѣетъ вся, яко камень станетъ, и не дышитъ, кажется, - ростянетъ ея среди горницы, и руки, и ноги, — лежитъ яко мертва. я, О в с е п ѣ т у ю проговоря, кадиломъ покажу, потомъ крестъ оложу ей на голову, и молитвы Василіевы в то время говорю: такъ олова подъ крестомъ и свободна станетъ, баба и заговоритъ; а руки, ноги и тѣло еще мертво и каменно. И я по рукѣ поглажу крестомъ: акъ и рука свободна станетъ; я — и по другой: и другая также свободится; я — и по животу: такъ баба и сядетъ. Ноги еще каменны. Не мѣю туда крестомъ гладить, — думаю, думаю, — и ноги поглажу: баа и вся свободна станетъ. Вставше, Богу помолясь, да и мнѣ челомъ. окуда таки — ни бѣсъ, ни што былъ в ней, много времени такъ в ней гралъ. Масломъ ея освятилъ, такъ вовсе отошелъ прочь: исцелѣла, алъ Богъ. Да иное два Василія у меня бѣшаные бывали прикованы, – странно и говорить про нихъ: калъ свой ели.

А еще сказать ли тебѣ, старецъ, повесть? Блазновато, кажется, – да было такъ. Въ Тоболске была у меня дѣвица, Анною звали, дочь оя духовная, гораздо о правилѣ прилежала о церковномъ и о келейомъ, и вся міра сего красоту вознебрегла. Позавиде діяволъ добродѣтели ея, наведе ей печаль о первомъ хозяине своемъ Елизарѣ, у нео же взросла, привезена ис полону ис кумыковъ. Чистотою дѣвъство облюла и, егда исполнилася плодовъ благихъ, дьяволъ окралъ: заотѣла от меня отъити и за первова хозяина замужъ поити, и плакать тала всегда. Господь же пустилъ на нея бѣса, смиряя ея: понеже и еня не стала слушать ни в чемъ, и о поклонехъ не стала радѣть. Егда танемъ правило говорить, она на мѣсте станетъ, прижавъ руки, да акъ и простоитъ. Видѣ Богъ противленіе ея, послалъ бѣса на нея: в равилѣ стоящу ей, да и вбѣсится. И мнѣ бѣдному жаль: крестомъ лагословлю и водою покроплю, такъ и отступилъ от нея бѣсъ. И множды такъ бысть. Она же единаче в безуміи своемъ и непокорствѣ ребываетъ. Благохитрый же Богъ инако ея наказалъ: задремала в равило, да и повалилась на лавке спать, и три дни и три ночи, не проудяся, спала. Я лишо ея по времяномъ кажу спящую: тогда-сегда охнетъ. Чаю, умретъ. И в четвертый день очхнулась; сѣла, да пла-

четъ; есть ей даютъ: не естъ. Егда я правило канонъное скончавъ и домочадцовъ, благословя, роспустилъ, паки начахъ во тмѣ без огня поклоны класть; она же с молитвою втай приступила ко мнѣ, и пала на ноги мои; и я, от нея отшедъ, сѣлъ за столомъ. И она, приступя паки к столу и плачючи, говоритъ: «послушай, государь, велено тебѣ сказать». Я сталъ слушать у нея. «Егда-де я в правило задремала и повалилась, приступили ко мнѣ два ангела и взяли меня, и вели меня тѣснымъ путемъ. И на лѣвой странѣ слышала плачь, и рыданіе, и гласы умиленны. Потомъ-де меня привели во свѣтлое мѣсто, зѣло гораздо красно, и показали-де многіе красные жилища и полаты; и всѣхъ-де краше полата неизреченною красотою сіяетъ паче всѣхъ, и велика гораздо. Ввели-де меня в нея: ано-де стоятъ столы, и на нихъ послано бѣло, и блюда з брашнами стоятъ. По конецъ-де стола древо кудряво повѣваетъ и красотами разными украшено; в дереве-де томъ птичьи гласы слышала я, а топерева-де не могу про нихъ сказать, каковы умилны и хороши! И подержавъ-де меня, паки ис полаты повели, а сами говорятъ: знаешь ли, чья полата сія? И азъ-де отвѣщала: не знаю; пустите меня в нея. Онѣ же отвѣщали: отца твоего, протопопа Аввакума, полата сія. Слушай ево и живи такъ, какъ онъ тебѣ наказываетъ перъсты слагать и креститца, и кланятца, Богу молясь, и во всемъ не протився ему: такъ и ты будешь с нимъ здѣсь. А буде не станешъ слушать, такъ будешь в давешнемъ мѣстѣ, гдѣ плаканіе-то слышала. Скажи жо отцу своему. Мы не бѣси водили тебя; смотри: у насъ папарты; бѣси-де не имѣютъ тово. И я-де, батюшко, смотрила, — бѣло у ушей тѣхъ ихъ». Да и поклонилася мнѣ, прощенія прося. Потомъ паки исправилася во всемъ. Егда меня сослали ис Тоболска, и я оставилъ у сына духовнаго тутъ. Хотѣла пострищися, а дьяволъ опять здѣлалъ по своему: пошла за Елизара замужъ и дѣтокъ прижила. И по осми лѣтехъ услышала, что я еду назадъ: отпросилася у мужа и постриглася. А какъ замужемъ была, по временамъ Богъ наказывалъ, — бѣсъ мучилъ ея. Егда жъ азъ в Тоболескъ пріехалъ, за мѣсяцъ до меня постриглася, и принесла ко мнѣ два дѣтища и, положа предо мною робятишокъ, плакала и рыдала, кающеся, безстыдно порицая себя. Азъ же, пред человѣки смиряя ея, многажды на нея кричалъ; она же прощается в преступленіи своемъ, каяся предъ всѣми. И егда гораздо ея утрудилъ, тогда совершенно простилъ. В обѣдню за мною в церковь вошла. И нападе на нея бѣсъ во время переноса, — учала кричать и вопить, собакою лаять, и козою блекотать, и кокушкою коковать. Азъ же зжалихся об ней: покиня херувимскую пѣсть, взявше от

престола крестъ, и на крылосъ взошедъ, закричалъ: «запрещаю ти именемъ Господнимъ; полно, бѣсъ, мучить ея! Богъ проститъ ея в сій вѣкъ и в будущій!» Бѣсъ же изыде из нея. Она же притече ко мнѣ и пала предо мною за нюже вину. Азъ же крестомъ благословя, и с тѣхъ мѣстъ простилъ, и бысть здрава душею и тѣломъ. Со мною и на Русь выѣхала. И какъ меня стригли, в томъ году страдала з дѣтми моими от Павла митрополита на патріархове дворѣ вѣры ради и правости закона. Доволно волочили и мучили ея. Имя ея во иноцехъ Агафья.

А какъ я былъ на Мезени, отче Епифаній, при воеводѣ Алексѣе Цехановицкомъ, — панъ былъ вѣрою римскаго костела; выѣхавъ, на Москвѣ крестился, да втайнѣ держалъ римскую вѣру. Жена у нево была, Евдокіею звали, вправду она держала нашу вѣру. И послѣ родинъ разнемоглася гораздо. А се и бѣси напали на нея, Богу попущающу, и зѣло жестоко мучить стали ея. Мало нѣчто образумясь, захотѣла мнѣ исповѣдатися. Егда же азъ пришелъ, а бѣси и паки учали мучить крѣпко и жестоко ея. Азъ же, грѣшный, за болящую молебенъ пѣлъ, и воду святилъ и кропилъ ю: и бѣси отступиша отъ нея. С ревностію великою и со слезами исповѣдалася мнѣ. Грамотѣ умѣла, панья разумная была, проклинала зѣло усердно римскую вѣру. Мужа, браня говоритъ: «все для него, батюшко, наказуетъ меня Богъ: втайнѣ держитъ римскую вѣру, а Богу она зѣло досадна и мерзска; слава Христу, что меня избавилъ от нея! Показа мнѣ, батюшко, пеклъ и свѣтлыя мѣста: всѣ-де римскіе вѣры люди осуждаются въ пеклъ, еже есть — во огонь; а руская вѣра яко солнце сіяетъ от всѣхъ вѣръ, и всѣ христіяне во свѣтъ грядутъ, я видѣла сама. Да и у васъ за грѣхъ въ вѣрѣ раздѣленіе бысть. Худы-де затѣи новые и мрачны зѣло: умри ты, за что стоишъ, и меня научи, какъ умереть. Видѣла я сама, каково будетъ тебѣ: перебрелъ ты уже запинанія бѣсовскія вся. Охъ, охъ, не покинь меня, пастырю добрый мой, и молись о мнѣ, да не отлучюся тебѣ! А мнѣ уже самой исправитися нѣколи стало: сказали мнѣ, — нынѣ или завтра умереть. Причасти меня причастіемъ запаснымъ своимъ, Бога ради! А крещуся я, слагая персты потвоему; а три персты отмещу и ненавижу: злѣ такъ наши римляне крестятся. Да будутъ прокляти от вселенскихъ соборовъ за сіе мудрованіе! И мужъ мой с ними же проклятъ. Я видѣла сама, что имъ уготовано у Христа. Помилуй же ты меня, отченко мой, не покинь меня в молитвахъ своихъ! А я, ей-ей, твоя овца; тутъ же желаю быть, идѣже будешъ ты. Помилуй, батенко, помилуй квѣтенка мой, сирѣчь миленкой мой. Дѣлъ моихъ нѣтъ;

токмо вѣрою уповаю быти при тебѣ, какъ вѣрую и держу, и умира с тѣмъ, какъ проповѣдуешъ и страждешъ за что. Иного Бога не вѣмъ но токмо Того, Его же любишь ты и Его ради мучился. Усвой душу мо при своей душе! Слушаетъ тебя Богъ и любитъ тебя, — невозможн мнѣ говорить про то; одно говорю: не забудь ты меня! А моя душ скоро разлучается от тѣлеси: вся вѣка сего не вмѣняю ни во что пр тамошнемъ нѣчесомъ маленкимъ, еже видѣла». Да и много, старецъ она говорила, — я ужъ и не помню иное. Мнѣ и самому стало сором себя, — не по дѣламъ моимъ величала меня. Да такъ и учинилося в другой день и умерла. Послѣ моленія тово въстала и сѣла на постѣ лѣ, и ухватила меня, къ себѣ, плачючи прижимала. А сама паки тож говоритъ и кланяется мнѣ. Я ея положилъ: гораздо трудна, трясетс вся. И она, лежа, перстомъ указуетъ: «отченько мой, вотъ черти приш ли, стужаютъ мнѣ, взять меня хотятъ; помолись, да отступятъ от ме ня!» И я взялъ кадило и крестъ, благословилъ, и мѣсто все водою по кропилъ; такъ перекрестилась и молвила: «отступили, отченько; н стужаютъ мнѣ и просятъ души моей; и я не могла отбыть — отдал имъ душу свою, симъ крючкомъ вытаща». Я, старецъ, посмотрю в ру кѣ у нея — ако булавочька, крючикъ малехонекъ! И я отнялъ у нея да зашумѣлъ на служанокъ, нашто ей булавку дали. И онѣ всѣ божат ся: никакъ-де не давали! Ано ей бѣси дали булавку-ту! Видишъ ли какъ онѣ прилѣжатъ о душахъ тѣхъ? Силою отнимаютъ! Горе, горе Какъ уйдешъ у нихъ, аще не Господь поможетъ! Потомъ я отбрелъ домъ свой; а безъ меня пан-отъ, мужъ ея, силою напоилъ вареным пивомъ с кореніемъ и съ бѣдою, — намѣшено діяволшины. Такъ ея бѣ си опять стали мучить Мнѣ сказали. Я прибѣжалъ; сталъ бранить па на тово. Онъ мнѣ сталъ противится. И я, осердясь, со всѣмъ домом своимъ сошелъ, и протопопицу взялъ. А ея бѣси мучатъ; зѣло голк велика бысть. Пришелъ я домой: печално мнѣ и жаль. Опять пан шлетъ ко мнѣ; прощенія проситъ. Я и опять к ней пришелъ, — и он в кровь избилася вся, а сама кричитъ: «для мужа бѣси мучатъ меня нѣсть онъ мнѣ мужъ безвѣрія ради своего!» Такъ онъ болную ея в що ку ударилъ. А она таже кричитъ. Соромъ ему стало. А я ево выслал из избы и молебенъ отпѣлъ; помазалъ ея масломъ и водою покропилъ бѣси паки отступилися от нея, цѣлоумна паки стала, римскую вѣр проклинаетъ и, персты слагая, крестится истинно. Я ея паки прича стилъ и, благодаря Христа, чинно и тихо преставилася. Я и погребе нію предалъ ея в малой слободкѣ — не у церкви, на берегу погребъ сама изволила мѣсто то, какъ жива была. Видиш-ли? о сложеніи пер

страхъ и мертвая свидѣтельствуетъ, яко зло треперстная ересь. *) (*Вторая редакція*).

---

*) О сложеніи перстъ. Всякому убо правовѣрну подобаетъ крѣпко персты в рукѣ слагая держати и креститися, а не дряхлою рукою знаменатися с нерадѣніемъ и бѣсовъ тѣшить, но, подобаетъ на главу и на брюхо, и на плеча класть рука с молитвою; еже бы тѣло слышало, и умомъ внимая о сихъ тайнахъ крестися; тайны тайнамъ в руке персты образуютъ. Сице разумѣй, по преданію святыхъ отецъ, подобаетъ сложити три перста: великій и мизинецъ, и третій подлѣ мизиннаго, всѣхъ трехъ концы вкупѣ, — се являетъ триипостасное Божество Отца и Сына и Святаго Духа; таже указательный и великосредній — два сія сложити и единъ от двухъ великосредній мало наклонити — се являетъ Христово смотреніе Божества и человѣчества; таже вознести на главу — являетъ умъ нерожденный: Отецъ роди Сына превѣчнаго Бога прежде вѣкъ вѣчьныхъ; таже на пупъ положити — являетъ воплощеніе Христа Сына Божія от святыя Богоотроковицы Маріи; таже вознести на правое плечо — являетъ Христово Вознесеніе и одесную Отца сѣдѣніе и праведныхъ стояніе; таже на лѣвое плечо положить — являетъ грѣшныхъ от праведныхъ отлученіе и в муки прогнаніе, и вѣчное осужденіе. Тако научиша насъ персты слагати святіи отцы: Мелетій, архіепископъ антіохійскій, и Феодоритъ блаженный, епископъ киринейскій, и Петръ Дамаскинъ, и Максимъ Грекъ. Писано о семъ во многихъ книгахъ: во Псалтыряхъ и в Кириловѣ, и О вѣрѣ в книгѣ, и в Максимовѣ книгѣ, и Петра Дамаскина в книгѣ, и в житье Мелетіевѣ; вездѣ единако святіи о тайнѣ сей по вышереченному толкуютъ. И ты, правовѣрнѣ, назидая себя страхомъ Господнимъ, прекрестяся и падъ, поклонися главою в землю — се являетъ Адамово паденіе; егда же восклонисся — се являетъ Христовымъ смотреніемъ всѣхъ насъ востаніе. Глаголи молитву, сокрушая свое сердце: Господи Іисусе Христе, Сыне Божій, помилуй мя грѣшнаго. Таже твори по уставу и метаніе на колѣну, какъ церковь прежде держала: опирайся руками и колѣньми, а главу до земли не доводи, — такъ Никонъ, Черныя Горы игуменъ, повелѣваетъ в своей книгѣ творити метанія; всякому своя плоть пометати пред Богомъ подобаетъ без лѣности и без гордыни во церкви и в дому, и на всякомъ мѣстѣ; изряднѣ, еже в великій постъ томить плоть своя по уставу, да не воюетъ на духъ; в праздники же и в суботы, и в недѣли просто молимся стояще, поклоны по уставу творимъ поясные и в церкви, и в келье, изравняюще главу противъ пояса, понеже праздника ради не томимъ плоти метаніемъ, а главу наклоняемъ в поясъ без лѣности и без-гордыни Господу Богу и Творцу нашему. Субота бо есть успокоенія день, в онь же Господь почи от всѣхъ дѣлъ своихъ, а недѣля — всѣхъ насъ востаніе Воскресенія ради. Тако же и праздники, радостно и духовно веселящеся, торжествуемъ. Видишъ ли, боголюбче, какъ у святыхъ тѣхъ положено разводно и спасительно, и покойно, некакъ у нынѣшныхъ антихристова духа: и в великой постъ метанія на колѣну класть окаянные не захотѣли, гордыни и лѣности ради. Да что сему конецъ будетъ? Развѣ умерши станутъ кланятца прилѣжьно! Да мертвые уже на ногахъ не стоятъ и не кланяются, лежатъ всѣ и ожидаютъ общаго востанія и противо дѣлъ воздаянія; а мнѣ видятся равны уже онѣ мертвецамъ тѣмъ, аще и живи суть, но исполуживи, но дѣла мертвечія творятъ — срамно и глаголати о нихъ. Онѣ же бѣдные мудрствуютъ трема персты креститтся — большой и указательный и великосредній, слагая в троицу, а не вѣдомо какую, болшо в ту, что во Апокалепсисѣ пишетъ Иванъ Богословъ

— змій, звѣрь, лживый пророкъ. Толкованіе: змій — глаголетс діаволъ, а лживый пророкъ — учитель ложный, папа или патріархъ а звѣрь — царь лукавый, любяй лесть и неправду. Сія три перст предалъ Фармосъ, папа римскій, благословлялъ и крестился ими, по немъ бывый Стефанъ, седмый папа, выкопавъ, поругалъ его перстъ отсѣкше бросилъ на землю, и разступилася земля и пожр перстъ; таже отсѣкше, другій бросилъ, и бысть пропасть велика потомъ и третій отсѣкши бросилъ, изыде из земли смрадъ лютъ начаша люди от смрада издыхати. Стефанъ же велѣлъ и тѣло Фар мосово в Тиверь рѣку кинути и, сложа персты своя по преданію благословилъ пропасть, и снидеся земля по прежнему паки — семъ писано в лѣтописце латынскомъ, О вѣрѣ книги указуетъ, лѣ тописецъ которой. Но аще ревнитель Стефанъ и обличалъ сію три перстную ересь, а однако римляне и донынѣ трема персты крестятс потомъ и Польшу прельстили, и вси окрестныя рѣши — немець и серби, и албансы, и волохи, и греки вси оболстились, а нынѣ наша Русь ту же три перста возлюбила — преданіе Никона отступ ника со дьяволомъ и с Фармосомъ. Еще же и новой адовъ песъ выско чилъ из бездны в грекахъ Дамаскинъ иподьяконъ безимянникъ, предалъ безумнымъ грекамъ тѣ же три перста, толкуетъ за Троицу отсѣкая вочеловѣченіе Христово. Чему быть? Выблядокъ того ж римскаго костела, братъ Никону патріарху! Да тамъ же в грекахъ какой-то, сказываютъ, протопопъ Малакса архіереомъ, іереом благословлять рукою повелѣваетъ, нѣкако странно сложа персты — Ісусъ Христомъ. Все дико: у давешняго врага вочеловѣченія нѣтъ, у сего Малаксы Святыя Троицы нѣтъ! Чему быть? Время то пришло — нѣкѣмъ имъ играть, аже не Богомъ. Да что на нихъ и сердитовать Писаное время пришло. Ипполитъ святый и Ефремъ Сиринъ изда леча уразумѣвъ о семъ времени, написали сице: и дастъ имъ сквер ный печать свою за знаменіе Спасителево; се о трехъ перстахъ ре ченно — егда самъ себя волею своею печатаетъ трема персты, тако ваго умъ теменъ бываетъ и не разумѣваетъ правая, всегда помра ченъ печати ради сея скверныя. Еще и другое писаніе: и возложит имъ скверный и мерскій образъ на чело — се писано о архіерейском благословеніи, еже Малакса предалъ; от разумѣющихъ толкуется идолъ в рукѣ слагая, на чело возлагаютъ, еже есть мерскій образъ Да будутъ онѣ прокляти со своимъ мудрованіемъ развращенным тотъ — такъ, другой — инакъ, сами в себѣ несогласны враги крест Христова. Мы же держимъ святыхъ отецъ преданіе — Мелетія прочихъ неизмѣнно, — яко же знаменуемся пятью персты, тако ж и благословляемъ пятью персты во Христа и во Святую Троицу слагая по вышереченному, какъ святіи предаша; и при царѣ Иван бывый в Москвѣ помѣстный соборъ такъ же персты повелѣваютъ слагати, яко же Ѳеодоритъ и Мелетій, и Петръ, и Максимъ Грек научиша пятью персты креститися и благословляти. Тамо на собор быша знаменоносцы Гурій и Варсонофій, и Филиппъ — русскі чюдотворцы, и ты, правовѣрнѣ, без сомнѣнія, держи преданія свя тыхъ отецъ, Богъ тебя благословитъ, умри за сіе и я с тобою ж долженъ. Станемъ добрѣ, не предадимъ благовѣрія, не по што нам ходить в Персиду мучитца, а то дома Вавилонъ нажили. Слава семъ Христу Сыну Божію со Отцемъ и со Святымъ Духомъ, нын и присно и во вѣки вѣкомъ. Аминь. *(Третья редакция).*

Ко мнѣ же, отче, въ домъ принашивали матери детокъ своихъ ма ленкихъ, скорбію одержимыхъ грыжною; и мои дѣтки егда скорбѣл во младенъчествѣ грыжною болѣзнію, и я масломъ священнымъ, с мо литвою презвитеръскою, помажу вся чювъства и, на руку масла поло

а, младенцу спину вытру и шулнятка — и, Божіею благодатію, грыжная болѣзнь и минуется во младенце. И аще у коего отрыгнетъ скорбь, я такъ же сотворю: и Богъ совершенно исцеляетъ по своему человѣколюбію.

А егда еще я былъ попомъ, с первыхъ временъ, какъ к подвигу касатися сталъ, бѣсъ меня пуживалъ сице. Изнемогла у меня жена гораздо и пріехалъ к ней отецъ духовной; азъ же из двора пошелъ по книгу в церковь нощи глубоко, по чему исповѣдать ея. И егда на папертъ пришелъ, столикъ до тово стоялъ, а егда азъ пришелъ, бѣсовскимъ дѣйствомъ скачетъ столикъ на мѣсте своемъ. И я, не устрашась, молясь предъ образомъ, осѣнилъ рукою столикъ и, пришедъ, поставилъ ево, и престалъ играть. И егда в трапезу вошелъ, тутъ иная бѣсовская игра: мертвецъ на лавке в трапезе во гробу стоялъ, и бесовскимъ дѣйствомъ верхняя раскрылася доска, и саванъ шевелитца сталъ, устрашая меня. Азъ же, Богу помолясь, осѣнилъ рукою мертвеца, и бысть попрежнему все. Егда жъ в олтарь вошелъ, ано ризы и стихари летаютъ с мѣста на мѣсто, устрашая меня. Азъ же, помоляся и поцеловавъ престолъ, рукою ризы благословилъ, и пощупалъ приступая: а онѣ постарому висятъ. Потомъ, книгу взявъ, ис церкви пошелъ. Таково то ухищреніе бѣсовское к нам! Да полно тово говорить. Чево крестная сила и священное масло надъ бѣшаными и болными не творитъ Божіею благодатію! Да намъ надобе помнить сіе: не нас ради, и намъ, но имени Своему славу Господь даетъ. А я, грязь, что могу дѣлать, аще не Христосъ? Плакать мнѣ подобаетъ о себѣ. Іюда чюдотворецъ былъ, да сребролюбія ради ко дьяволу попалъ. И самъ дьяволъ на небе былъ, да высокоумія ради сверженъ бысть. Адамъ былъ в раю, да сластолюбія ради изгнанъ бысть, и пять тысящъ пять сотъ лѣтъ во адѣ былъ осужденъ. Посемъ разумѣя всякъ, мняйся стояти, да блюдется, да ся не падетъ. Держись за Христовы ноги и Богородице молись и всѣмъ святымъ, такъ будетъ хорошо.*)

---

*) Еще скажу вамъ о жертвѣ никоніянской: сѣдящу ми в темнице, принесоша ми просвиру вынятую со крестомъ Христовымъ. Азъ же облазняся, взялъ ея и хотѣлъ потребить на утро, чаялъ — чистая православная над нею была служба, понеже попъ старопоставленной служилъ над нею, а до тово онъ попъ по новымъ служилъ книгамъ и паки сталъ служить по старому, не покаявся о своей блудне. Положа я просвиру в углу на мѣстѣ, и кадилъ в правило вечеръ; егда же возлегъ в нощь ту и умолкоша уста моя от молитвы, вскочиша ко мнѣ бѣсовъ полкъ, и едикъ щербатъ черменъ взялъ меня за голову и говоритъ: «семъ-ко-ты сюды, попалъ ты в мои руки!» и завернулъ мою голову. Азъ, же, томяся, еле-еле назнаменовалъ

Іисусову молитву, и отскочиша и исчезоша бѣси; азъ же, стоня и охая, недоумѣюся: за что меня бѣсъ мучилъ? Помоля Бога, опять повалилъся; егда же забыхся, вижу на нѣкоемъ мѣстѣ церковь и образъ Спасовъ, и крестъ полатынѣ написанъ, и латынники инымъ образомъ, приклякивая, молятся полатынски. Мнѣ же нѣкто от предстоящихъ велѣлъ крестъ той поцеловати. Азъ же егда поцеловахъ, нападоша на мя паки бѣси и зѣло мя утрудиша; азъ же послѣ ихъ встащился, зѣло разслабленъ и разломанъ, не могу и сидѣть. Уразумѣлъ, яко просвиры ради от бѣсовъ обруганъ, выложилъ ея за окошко, и нощь ту и день препроводилъ в трудѣ и немощьствуя, разсуждая, что сотворю надъ просвирою. Егда же пріиде нощь другая, по правилѣ возлегшу ми, и, не спя, молитвы говорю. Вскочиша бѣсовъ полкъ в кѣлью мою з домрами и з гутками, и одинъ сѣлъ на мѣстѣ, идѣже просвира лежала, и начаша играти в гутки и в домры, — а я у нихъ слушаю, лежа; меня ужь не тронули и исчезоша. Азъ, послѣ ихъ воставъ, моля Бога со слезами, обѣщался жжечь просвиру ту, и пріиде на мя благодать Духа Святаго, яко искры во очію моею блещахуся огня невещественнаго, и самъ я в той часъ оздравѣлъ, благодатію духовною, — сердце мое наполнилося радости. Затопя печь и жжегше просвиру, выкинулъ и пепелъ за окошко, рекохъ: «вотъ, бѣсъ, твоя от твоихъ тебѣ в глаза бросаю». И на ину нощь единъ бѣсъ в хижу мою вошелъ , походя и ничево не обрѣте, токмо чотки из рукъ моихъ вышебъ, и исчезе. Азъ же, поднявъ, чотки, паки началъ молитвы говорити. И во ино время, среди дня на полу в поддыменье лежа, опечалихся креста ради, что на просвирѣ жжегъ, и от печали запѣлъ стихъ на гласъ третій: и печаль мою пред Нимъ возвѣщу; а бѣсъ в то время на меня вскричалъ зѣло жестоко болно, азъ же ужасся и паки начахъ молитвы говорити. Таже во ину нощь забытіемъ ума о крестѣ томъ паки печалихся и уснухъ, и нападоша на мя бѣси, и паки умучиша мя, яко и прежде; азъ же разслабленъ и изломанъ, насилу живъ, с доски сваляся на полъ, моля Бога и каяся о своемъ безуміи, проклялъ отступника Никона с никоніяны и книги ихъ еретическія, и жертву ихъ, и всю службу ихъ, и благодать Божія паки пріиде на мя и здравъ бысть. Виждь, человѣче, каково лѣпко бѣсовское дѣйство христіяномъ! А егда бы сьелъ просвиру ту, такъ бы меня, чаю, и задавили бѣси. От малаго ихъ никоніянскаго священія такова бѣда, а от болшаго агньца причастяся, что получишъ? — развѣ вѣчную муку. Лучше умереть, не причастяся, нежели, причастяся, осуждену быти. *(Третья редакція)*

Еще тебѣ скажу, старецъ, повѣсть: какъ я былъ в Даурахъ с Пашковымъ с Афонасіемъ на озерѣ Ирьгенѣ — гладны гораздо, а рыбы никто добыть не можетъ, а инова и ничево нѣтъ; от глада исчезаемъ. Помоляся Бога, взявъ двѣ сѣти, в протокѣ перекидалъ, на утро пришелъ, ано мнѣ Богъ далъ шесть язей да двѣ щуки: ино во всѣхъ людяхъ дивно, потому никто ничево не можетъ добыть. На другіе сутки рыбъ з десять мнѣ Богъ далъ. Тутъ же свѣдавъ Пашковъ и исполняся зависти, збилъ меня с тово мѣста и свои ловушки на томъ мѣстѣ велѣлъ поставить, а мнѣ, на смѣхъ и ругаясь, указалъ мѣсто на броду, гдѣ коровы и козы бродятъ. Человѣку воды по лодышку, — какая рыба? и лягушекъ нѣтъ! Тутъ мнѣ зѣло было горко, а се, подумавъ, рече: «Владыко человѣкочюбче, не вода даетъ рыбу, —

и вся промысломъ Своимъ, Спасе нашъ, строишъ на пользу нашу. Дай мнѣ рыбки той на безводномъ томъ мѣстѣ, посрами дурака тово, прослави имя Твое святое, да не рекутъ невѣрніи, гдѣ есть Богъ ихъ». И помоляся, взявъ сѣти, в водѣ з дѣтьми бродя, положили сѣти. Дѣти, на меня, бѣдные, кручиняся, говорятъ: «батюшко, к чему гноить сѣти-те? видишь-ли: и воды нѣту, какой быть рыбе?» Азъ же, не послушавъ ихъ совѣту, на Христа уповая, здѣлалъ такъ, какъ захотѣлось. И на утро посылаю дѣтей к сѣтямъ. Онѣ же отвѣщали: «батюшко государь, пошто итти? какая в сѣтяхъ рыба? Благослови насъ, и мы по дрова лутче збродимъ». Меня же духъ подвизаетъ, чаю в сѣтяхъ рыбу. Огорчась на болшова сына Ивана, послалъ ево одново по дрова, а с меншимъ потащился к сѣтямъ самъ. Гораздо о томъ Христу докучаю. Егда пришли, ино и чюдно, и радостно обрѣли: полны сѣти напехалъ Богъ рыбы, свившися клубомъ, и лежатъ с рыбою о середке. И сынъ мой Прокопей закричалъ: «батюшко государь, рыба, рыба!» И азъ ему отвѣщалъ: «постой, чадо, не тако подобаетъ, но прежде поклонимся Господу Богу, и тогда пойдемъ в воду». И, помолясь, вытащили на берегъ рыбу, хвалу возсылая Христу Богу, и паки построя сѣти на томъ же мѣстѣ, рыбу на силу домой оттащили. На утро пришли опять, столко же рыбы; и слезно и чюдно то было время, а на прежнемъ нашемъ мѣстѣ ничево Пашкову не даетъ Богъ рыбы. Онъ же, исполняся зависти, паки послалъ ночью и велѣлъ сѣти в клочки изорвати. Что петь з дуракомъ дѣлаешъ! Мы, собравъ рваные сѣти, починя втай, на иномъ мѣстѣ промышляя рыбку, кормились, от нево таяся, и здѣлали езъ. Богъ же и тамъ сталъ рыбы давать, а діяволъ ево научилъ и езъ велѣлъ втай раскопать. Мы, терпя Христа ради, опять починили, и много тово было. Богу нашему слава нынѣ и присно и во вѣки вѣкомъ.

Терпѣніе убогихъ не погибнетъ до конца.

Слушай-ко, старецъ: еще ходилъ я на Шакшу озеро к дѣтямъ по рыбу, — от двора верстъ с пятнатцеть, тамъ с людми промышляли, — в то время какъ ледъ трѣснулъ и меня напоилъ Богъ, и у дѣтей накладше рыбы нарту большую, и домой потащилъ маленькимъ дѣтямъ послѣ Рождества Христова и, егда буду насреди дороги, изнемогъ, таща по землѣ рыбу, понеже снѣгу тамъ не бываетъ, токмо морозы велики; ни огня, ничево нѣтъ, ночь постигла, выбился из силы, вспотѣлъ и ноги не служатъ. Верстъ с восмь до двора: рыба покинуть и такъ побрести — ино лисицы розъедятъ, и домашніе гладны; яе стало горе, а тащить не могу; потоща гоны мѣста, ноги задро-

жатъ, да и паду в лямке среди пути ницъ лицемъ, что пьяной; и озябше, ставъ, еще попойду столько жь, и паки упаду; бился такъ много блиско полуночи; скиня с себя мокрое платье, вздѣлъ на мокрую рубаху сухую, тонкую тафтяную бѣлую шубу и взлѣзъ на вершину древа — уснулъ, поваляся. Пробудился, — ино все замерзло: и базлуки на ногахъ замерзли, шубенко тонко, и животъ озябъ весь; увы, Аввакумъ, бѣдная сиротина, яко искра огня, угасаетъ и яко неплодно древо посѣкаемо бываетъ, — толко смерть пришла. Взираю на небо и на сіяющія звѣзды, тамо помышляю Влодыку, а самъ и перекреститися не смогу, весь замерзъ; помышляю лежа: «Христе, свѣте истинный, аще не Ты меня от безгоднаго сего и нечаемаго времени избавишъ, нѣчева мнѣ стало дѣлать; яко червь исчезаю». А се согрѣяся сердце мое во мнѣ, ринулся с мѣста паки к нартѣ и на шею, не помню какъ, взложилъ лямку, опять потащилъ; ино нѣтъ силки; еще версты с четырѣ до двора, — покинулъ, и нехотя, все; побрелъ одинъ, тащился с версту, да и повалился: толко не смогу; полежавъ, еще хощу побрести, ино ноги обмерзли: не смогу подымать, ножа нѣтъ, базлуковъ отрѣзать от ноги нѣчемъ; на колѣняхъ и на рукахъ ползъ с версту; колѣни озябли: не могу владѣть, опять слегъ; уже дворъ и не само далеко, да не могу попасть, на гузнѣ по маленьку ползу, — кое-какъ и доползъ до своея конуры; у дверей лежу, промолвить не могу, а отворить дверей не могу же. Ко утру уже встали; уразумѣвъ, протопопица втащила меня бытто мертвова в ызбу; жажда мнѣ велика, — напоила меня водою, разболокши. Два ей горя, бѣдной, в ызбѣ стало: я, да корова немощная, — толко у насъ и животовъ было, — упала на водѣ под ледъ; изломався, умираетъ, в ызбѣ лежа; в дватцети в пяти рубляхъ сія намъ пришла корова, робяткамъ молочка давала. Царевна Ирина Михайловна ризы мнѣ с Москвы и всю службу в Тоболескъ прислала, и Пашковъ на церковной обиходъ взявъ, мнѣ в то число коровку ту было далъ: кормила с робяты годъ-другой; бывало, и с сосною, и с травою молочка тово хлебнешъ, такъ лехче на брюхѣ. Плакавъ, жена бѣдная, с робяты, зарѣзала корову и истекшу кровь ис коровы дала найму казаку и онъ приволокъ мою с рыбою нарту.

На обѣдѣ я, едше, грѣхъ ради моихъ, подавился: другая мнѣ смерть, с полчаса не дышалъ, наклонясь, прижавъ руки, сидя; а не кускомъ подавился, но крошечку рыбки положа в ротъ, — вздохнулъ, воспомянувъ смерть, яко ничтоже человѣкъ в житіи семъ, а крошка в горло и бросилась, да и задавила. Колотили много в спину, да и по-

нули; не вижу ужь и людей, и памяти не стало; зѣло горко, горко то время было; ей, горка смерть грѣшному человѣку! Дочь моя грепѣна, — была невелика, — плакавъ, на меня глядя, много, и кто ея не училъ, — робенокъ, розбѣжався, локтишками своими арилась в мою спину и крови печенье из горла рыгнуло, и дышать алъ. Болшіе промышляли надо много много и без воли Божіи не огли ничево здѣлать, а приказалъ Богъ робенку, и онъ, Богомъ подзаемъ, пророка от смерти избавилъ! Гораздо не велика была, прошляетъ около меня, бытто болшая, яко древняя Іюдифь о Израили и яко Есвирь о Мордохѣе, своемъ дядѣ, или Девора мужеумная о араце. Чюдно гораздо сіе, старецъ! Промыслъ Божій робенка наавилъ — пророка от смерти избавить! Дни с три у меня зелень горя из горла текла, не могъ ни есть, ни говорить: сіе мнѣ наказаніе то, чтобъ я не величался пред Богомъ совѣстію своею, что напоилъ еня среди озера водою. А то посмотри, Аввакумъ, и робенка ты хуже! дорогою было идучи исчезнулъ, — не величайся, дуракъ, тѣмъ, что огъ сотворитъ во славу Свою чрезъ тебя какое дѣло, прославляя вое пресвятое имя; Ему слава подобаетъ, Господу нашему Богу, а тебѣ бедному худому человѣку. Господь: славы Своея иноу не дамъ. Сіе реченно о лжехристахъ, нарицающихся Боомь, и на жиды, не исповѣдающихъ Христа Сыномъ Божіимъ. А индѣ исано: славящія Мя прославлю. Сіе реченно о святыхъ Божіихъ, его же хощетъ Богъ, того прославляетъ. Вотъ смотри, езумне, не самъ себя величай, но от Бога ожидай, какъ Богъ хощетъ, акъ и строитъ; а ты-су какой святой? Изъ моря напился, а крошкою одавился! Толко-бъ Божіимъ повелѣніемъ не робенокъ от смерти избавилъ, и ты бы что червь: былъ, да и нѣтъ! А величается грязь худая: я-су бѣсовъ изгонялъ; то, се дѣлалъ; а себѣ не могъ помощи, олко бы не робенокъ! Ну, помни же себя, что нѣтъ тебя ни со што, ще не Господь что сотворитъ, по милости Своей, Ему же слава. (*Третья редакція*).

Ну, старецъ, моево вяканья много веть ты слышалъ: о имени осподни повелеваю ти, напиши и ты рабу тому Христову, какъ Богородица бѣса тово в рукахъ тѣхъ мяла и тебѣ отдала, и какъ муравьи тебя если за тайно-етъ удъ, и какъ бѣс-отъ дрова-те сожегъ, и какъ ѣлья-та обгорѣла, а в ней цело все, и какъ ты кричалъ на небо-то, а иное, что вспомнишь во славу Христу и Богородице. Слушай же, то говорю: не станешь писать, я петь осержусь. Любилъ слушать

у меня: чево соромитца, — скажи хотя немношко! Апостоли Павелъ и Варнава на соборѣ сказывали же во Еросалимѣ пред всѣми, елика сотвори Богъ знаменія и чюдеса во языцехъ с нима, в Дѣяніихъ, зач. 36 и 42 зач., и величашеся имя Господа Ісуса. Мнози же от вѣровавшихъ прихождаху исповѣдающе и сказующе дѣла своя. Да и много тово найдется во Апостолѣ и в Дѣяніихъ. Сказывай, небось, лишо совѣсть крѣпку держи; не себѣ славы ища, говори, но Христу и Богородице. Пускай раб-отъ Христовъ веселится, чтучи! Какъ умремъ, такъ онъ почтетъ, да помянетъ пред Богомъ насъ. А мы за чтущихъ и послушающихъ станемъ Бога молить; наши онѣ люди будутъ тамъ у Христа, а мы ихъ во вѣки вѣкомъ. Аминь.

ГОДЫ

1621		Рождение Аввакума.
1633	1.10	Смерть пат. Филарета.
1640	28.11	Смерть пат. Иоасафа I.
1642	27. 3	Иосиф возведен в патриархи.
1642		Аввакум рукоположен в дьяконы.
1644		Аввакум поставлен в попы.
1644		Напечатана в Москве «Кириллова книга».
1645	12. 7	Смерть ц. Михаила Феодоровича.
1647		Первое бегство Аввакума в Москву.
1648	8. 5	Напечатана в Москве «Книга о вере».
1648	7. 8	В. П. Шереметев плыл по Волге в Казань.
1649	7	От'езд А. Суханова из Москвы.
1650	12	Поданы в Москве «Прения» А. Суханова.
1652		Второе бегство Аввакума в Москву.
1652		Аввакум поставлен в протопопы в Юрьевец.
1652	20. 3	Митр. Никон выехал в Соловки.
1652	15. 4	Смерть патр. Иосифа.
1652		Третье бегство Аввакума в Москву.
1652	9. 7	Митр. Никон привез в Москву мощи св. Филипп
1652	23. 7	Митр. Никон наречен в патриархи.
1652	25. 7	Митр. Никон возведен в патриархи.
1653	(пред вел. постом)	«Память» патр. Никона прот. Ивану Н ронову.
1653	7. 6	Возвращение А. Суханова в Москву.
1653	4. 8	Прот. Иван Неронов взят под стражу.
1653	13. 8	Прот. Иван Неронов удален в ссылку.
1653	ночью на 21.8	Аввакум взят под стражу.
1653	9	Аввакум сослан в Сибирь.
1653	10	От'ѣзд А. Суханова из Москвы.
1654	3. 4	Церковный собор.
1654	3	Главным справщиком стал Арсений грек.
1654	5	От'езд ц. Алексея Михайловича на войну.
1654	2.8 (среда)	Солнечное затмение.
1654	25. 8	Возмущение против патр. Никона в Москве во врем мора.
1654	9	Приезжал в Москву А. Суханов.
1655	2. 2	Приезд антиох. патр. Макария в Москву.
1655	2	А. Суханов возвратился в Москву.
1655	2-12	Ц. Алексей Михайлович — в Москве.
1655	25-31.3 (на 5 нед. вел. поста)	Церковный собор.

655 29. 6 Аввакум собрался на Лену.
655 10. 8 Бегство прот. Ивана Неронова из ссылки.
655 31. 8 Выход Служебника «новой печати».
655 8 А. Ф. Пашкова сменил в Енисейске И. П. Акинфов.
655-1656 А. Ф. Пашков зимовал в Енисейске.
655 14.12 Архиеп. Симеон возвратился в Тобольск.
655 16.12 Церковный собор об освящении воды в день Богоявления.
655 25.12 Пострижение прот. Ивана Неронова (инок Григорий).
656 24. 2 Первая анаеема на старообрядцев.
656 3. 4 Смерть еп. Павла коломенскаго.
656 2. 6 Одобрена церковным собором книга «Скрижаль».
656 15.5 — 1657 17.1 Отъезд ц. Алексея Михайловича из Москвы.
656-1662 Поход А. Ф. Пашкова в Даурию.
656 11.11 Смерть прот. Стефана Вонифатьева.
657-1658 Аввакум два лета «брел» в воде.
657-1666 Прот. Лукьян Кириллов — царский духовник.
657 10.10 Служебник «новой печати» послан в Соловки.
658 8. 6 Приговор соловецкой братии о книгах «новой печати».
658 10. 7 Патр. Никон покинул кафедру.
658 10.7 — 1664 6.8 Церковью управлял еп. Питирим крутицкий.
658-1659 (зимой) Аввакум «волок» нарту.
659-1664 Павел — архимандрит в Чудовом монастыре.
659 (весной) Аввакум на р. Ингоде.
660 Поп Лазарь с женою Домной сосланы в Сибирь.
660 16. 2 Первое заседание царковного собора в Золотой палате.
660 14. 8 Решение собора избрать нового патриарха.
661 (осенью) Поход Еремея Пашкова.
661 1.11 Смерть Б. И. Морозова.
662 (весной) Приезд Паисия Лигарида в Москву.
662 12. 5 А. Ф. Пашкова сменил в Нерчинске И. Б. Толбузин.
662 25. 5 А. Ф. Пашков выехал из Нерчинска.
662 Смерть Г. И. Морозова.
662 29.12 Первое заседание церковного собора в Крестовой палате.
663-1664 (зимой) Аввакум возвратился в Тобольск.
664 Встреча Аввакума с Федором юродивым в Великом Устюге.
664 22. 8 Архим. Павел хиротонисан в митрополита сарского.
664 29. 8 Аввакум сослан на Мезень.
664 21.11 Кипріан подал царю челобитную Аввакума.
664 (ночью) с 17 на 18.12 Патр. Никон прибыл в Успенский собор.
665 Поп Лазарь взят в Москву.
665 9.12 Дьяк. Федор взят к допросу.
666-1671 Прот. Андрей Савинов Постников — царский духовник

1666	4. 1	При обыске у Феоктиста взято письмо Аввакума в Соловецкий монастырь (к Никанору).
1666	2 — 1667 8	Церковный собор.
1666	1. 3	Аввакум привезен в Москву.
1666	9. 3	Аввакум отвезен в Пафнутьев монастырь.
1666	10. 5	Острижен Никита.
1666	13. 5	Острижены Аввакум и дьяк Федор.
1666	15. 5	Аввакум, п. Никита и дьяк. Федор отвезены в Ни кольский монастырь на Уграшу.
6166	22. 6 (пятница)	Солнечное затмение.
6166	7. 7	Аввакума навещали сыновья Иван и Прокоп.
1666	26. 8	П. Никита суздальский и дьяк. Федор взяты из Ни кольского монастыря с Угреши в Москву.
1666	5. 9	Аввакума перевезли из Никольского монастыря Угреши в Пафнутьев монастырь.
1666	12. 9	Аввакума уговаривал дьяк. Козьма.
1666	20. 9	Взята поручная по сыновьям Аввакума Иване и Про копе.
1666	4-11.10	Архим. Сергий в Соловках.
1666	13.10	Взят в Симбирске прот. Никифор.
1666	10	Бегство дьяк. Федора.
1666	11	Допрос н Лазаря.
1666	4.12	Аввекума уговаривал павнутьевский игумен Парфе ний.
1666	12.12	Низведен патр. Никон.
1666		Пришел в Москву соловецкий инок Епифаний.
1667	30. 1	Аввакума уговаривал дьяк. Козьма.
1667	10. 2	Возведен в патриархи Иоасаф II.
1667	18. 2	Никанор выехал из Соловков в Москву.
1667	20. 4	Никанор принес раскаяние.
1667	30. 4	Аввакум взят из Пафнутьева монастыря в Москв
1667	3, 11.5	Аввакума уговаривали архим. чудовской Иоаким спасский (из Ярославля) Сергий.
1667	17. 6	Аввакума поставили на суде пред патриархами.
1667	6	Аввакум, Лазарь и Епифаний отвезены на Воробьев горы.
1667	26. 6	Приезжали увещевать Аввакума дьяк Т. С. Марко и старец Григорий Неронов.
1667	30. 6	Аввакум, Лазарь и Епифаний отвезены на Андрее ское подворье, где приезжал к Аввакуму Д. М Башмаков, отсюда узников перевезли, «держа в Савине слободке», в Никольский монастырь н Угрешу.
1667	с 4-5. 7 (ночью)	Аввакума привезли из Никольского мона стыря и уговаривали «3 архима дрита».
1667	8. 7	К Аввакуму приезжал Д. М. Башмаков.

1667	10. 7	Выход книги «Жезл».
1667	10. 7	Приезжали уговаривать Аввакума архимандрит Иоаким и А. С. Матвеев и брали в Чудов монастырь мит. Павел «крутицкий» и архиеп. Илларион рязанский.
1667	11. 7	Аввакума уговаривал чудовский архим. Иоаким.
1667	17. 7	Приговор собора о «расколоучителях».
1667	20. 7	Аввакум, Никифор, Лазарь, Епифаний и д. Федор отправлены в Никольский монастырь на Угрешу.
1667	22. 7	Приезжал к Аввакуму Юрий Лутохин.
1667	7	Аввакум, Лазарь и Епифаний взяты в Москву на Никольское подворье.
1667	7	На место соловецкого архим. Варфоломея поставлен Иосиф.
1667	5. 8	Вторично «3 архимандрита» допрашивали Аввакума.
1667	22,24.8	Приезжали к Аввакуму А. С. Матвеев и С. Полоцкий.
1667	26. 8	Указ о ссылке Аввакума, Никифора, Лазаря и Епифания в Пустозерск.
1667	27. 8	«Казнь» Лазаря и Епифания на Болоте.
1667	14,16.9	Иосиф, Варфоломей и Никанор прибыли в Соловки.
1667	15. 9	Геронтий читал в Соловках свои «письма».
1667	22. 9	«Соловецкая челобитная» о вере, писанная Геронтием.
1667	12.12	Аввакум, Никифор, Лазарь и Епифаний привезены в Пустозерск.
1668	20. 2	Лазарь написал «сказки» царю и патриарху и подал о них челобитную.
1668	21. 2	Указ о ссылке дьяк. Федора в Пустозерск с сотником Чубаровым.
1668	25. 2	«Казнь» дьяк. Федора на Болоте.
1668	20. 4	Дьяк. Федор привезен в Пустозерск.
1668	(осенью)	Волохов начал осаду Соловецкого монастыря.
1668-1669	до 3.3	Аввакум послал челобитную царю о своих детях Иване и Прокопе.
1669	(вел. постом)	Видение Аввакума, описанное им в послании к царю.
1669	3. 3	Смерть царицы Марии Ильиничны.
1669	(летом)	Сыновья Аввакума Иван и Прокоп «прибрели» из Москвы на Мезень.
1669	3. 5	Запрещен подвоз припасов в Соловки.
1669	7. 8	Указ взять у п. Лазаря «сказку» «против» его челобитной 20.2.1668.
1669	1. 9	Письмо дьяк. Федора к семье прот. Аввакума (о сочинениях пустозерских узников).
1669	25.11	Указ взять у п. Лазаря его «сказки» царю и патриарху.
1670	13. 2	Взят инок Авраамий под стражу.
1670	21. 2	«Сказки» п. Лазаря посланы в Москву.
1670	1. 4	Поданы в Новгородской четверти «Сказки» п. Лазаря.

1670	14. 4	Вторая «казнь» в Пустозерске.
1670	15. 4	Ц. Алексей Михайлович велел отдать «сказки» п. Лазаря чудовскому архим. Иоакиму.
1671	22. 1	Брак ц. Алексея Михайловича с Н. К. Нарышкиной.
1671	в ночь на 16.11	Взята Ө. П. Морозова под стражу.
1672	17. 2	Смерть патр. Иоасафа II.
1672	(весною)	«Казнь» инока Авраамия на Болоте.
1672	7. 7	Возведен в патриархи Питирим.
1672	22.12	Чудовской архимандрит Иоаким хиротонисан в митрополита новгородского.
1673	19. 4	Смерть патр. Питирима.
1673	6. 6	Смерть архіеп. Иллариона рязанского.
1673	21. 6	Смерть Ө. М. Ртищева.
1674	26. 7	Возведен пат. Иоаким.
1675	9. 9	Смерть митр. Павла «крутицкого».
1675	11. 9	«Казнь» кн. Е. П. Урусовой.
1675	2.11	«Казнь» Ө. П. Морозовой.
1675	1.12	«Казнь» М. Г. Даниловой.
1676	22. 1	Конец осады Соловецкого монастыря.
1676	29. 1	Смерть ц. Алексея Михайловича.
1681	17. 8	Смерть патр. Никона.
1682	14. 4	«Казнь» Аввакума, Лазаря, Епифания и д. Федора.
1682	27. 4	Смерть ц. Өедора Алексеевича.

ПРИМЕЧАНИЕ

Список «Жития» сделан с книги «Житие протопопа Аввакума, і
самим написанное» Изд. Имп. Археографической Коммиссіи. (О
тискъ изъ первой книги Памятниковъ исторіи старообрядчест
XVII в.). Пгр. 1916. В этой книге напечатаны три редакціи. Спис
сделан с первой редакции — по автографу Аввакума, находящему
въ б-кѣ В. Г. Дружинина. (Автограф описан В. Г. Дружининым
Летописи занятий Имп. Археограф. Комис., т. XXVI: «Памятни
первых лет русского старообрядчества. III. Пустозерский сборни
Спб., 1914.) То, что списано из других редакций, везде обозначен
«такая-то редакция». Указатель годов и библиография из той же кн
ги, что и список.

Рождение Аввакума определяется или 1620 или 1621. «Жити
(три редакции) — 1672-1673. «Поученіе» из третьей редакции
1675 или 1676. «Казнь» Аввакума — 1682.

ИЗДАНИЯ ЖИТИЯ;

1) *Н. С. Тихонравов,* «Летописи русской литературы и древн
сти, изд. Николаем Тихонравовым», т. III. М., 1861.

2) *Н. И. Субботин*, «Материалы для истории раскола за перв
время его существования изд. редак. «Братскаго Слова» и Бра
ством св. Петра митрополита, под редакцией Н. Субботина т. V
М. 1879.

(Вновь издано Братством св. Петра: «Сочиненія бывшаго юрье
ского протопопа Аввакума Петрова, М. 1916.)

ПЕРЕПЕЧАТКИ:

1) *Д. Е. Кожанчиков*, Спб. 1862.
2) *«Истина»*, 1880, Псков, № 69. 71.
3) *А. Е. Беляев*, Спб. 1904.
4) *И. Я. Гаврилов*, М. 1911.

3) *А. К. Бороздин*, «Протопоп Аввакум. Очерк из истор
умственной жизни русского общества в XVII веке», Спб. 1898; И
2-е, Сп. 1900.

(Ранее — в «Христианском Чтении, 1888, сент.-окт., «Источни
первоначальной истории раскола»).

4) *Я. Л. Барсков*, «Памятники первых лет русского стар
обрядчества, с одиннадцатью таблицами снимков», Спб., 1912.
в XXIV т. Летописи занятий Имп. Археографической коммис.

Перевод на английский:

The Life of the Archpriest Avvakum by Himself. Translated from ...e Seventeenth Century Russian by Jane Harrison and ...ope Mirrlees, with a Preface by Prince D. S. Mirsky. Pub-...shed by Leonard and Virginia Woolf at the Hogarth Press, London, ...924. (Кн. Д. Святополк-Мирский, см. его статью «О московской ...тературе и протопопе Аввакуме» в Евразийском временнике, ...н. 4, Берлин, 1925).

Списки «Жития» делались еще при жизни Аввакума и после ...дания «Жития» (1861 г.) московские доброписцы не раз трудились, ...писывая «добрым письмом».

«Парижский» список сделан в 1926 г. по замышлению П. П. ...увчинского: 33 часа переписывал я «Житие», не только глазом ...едя, а и голосом выговаривая слово за словом и храня каждую ...укву протопопа «всея Росии».

Алексей Ремизов

ОГЛАВЛЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ:

Обложка — И. Любича.

Imp. de Navarre, 5, rue des Gobelins, Paris.

СКЛАД ИЗДАНИЯ:
Société «N. P. KARBASNIKOFF»
9, rue Dupuytren — PARIS (VIe)

ВЕРСТЫ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ КН. Д. П. СВЯТОПОЛК-МИРСКОГО, П. П. СУВЧИНСКОГО, С. Я. ЭФРОНА И ПРИ БЛИЖАЙШЕМ УЧАСТИИ АЛЕКСЕЯ РЕМИЗОВА, МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ И ЛЬВА ШЕСТОВА

№ 2

ПАРИЖ

ВЕРСТЫ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ КН. Д. П. СВЯ-
ТОПОЛК-МИРСКОГО, П. П. СУВ-
ЧИНСКОГО, С. Я. ЭФРОНА И ПРИ
БЛИЖАЙШЕМ УЧАСТИИ АЛЕ-
КСЕЯ РЕМИЗОВА, МАРИНЫ
ЦВЕТАЕВОЙ И ЛЬВА ШЕСТОВА

№ 2

ПАРИЖ

1 9 2 7

ТЕЗЕЙ

ТРАГЕДИЯ

ЛИЦА

Тезей, *сын царя Эгея*

Ариадна, *дочь царя Миноса*

Эгéй, *царь Афин*

Минос, *царь Крита*

Посейдон

Вакх

Жрец

Провидец

Вестник

Водонос

Хор девушек

Хор юношей

Хор граждан

Народ

КАРТИНА ПЕРВАЯ

Чужестранец

Дворцовая площадь в Афинах. Ранний рассвет. Проходит вестник. У водоема, полулежа, старик-чужестранец. Подходит водонос.

Вестник

Вставай, кто не спал!
Вставай, кто как дух бродячий
Очей не смыкал!
Вставайте, настал
День плача!

Семь утренних звезд,
Спесь прадеда, радость брата,
Вставайте в отъезд,
Которому несть
Возврата!

Семь доблестных львят
— Заглохнет и род и память —
С девицами в ряд
Вставайте. Канат
Натянут.

Встань; матери стон
Над морем! Земля умылась.
Корабль оснащен.
Афинам закон —
Царь Минос!
Вставай, кто не...

(*Проходит дальше*).

Чужестранец

Каб от слез смертным очам
Слепнуть — глаз не было б зрячих!
Что за город, где по ночам
Не младенцы — матери плачут!

Старцы плачут! Злое стряслось!
Рокот моря — что рев львиный!
Ты скажи ка мне, водонос,
Этот город — впрямь ли Афины?

Водонос

Не иначе.

Чужестранец

Дым очагов
Никнет. С небом огонь дружен!
Верно плохо чтите богов?

Водонос

Нет, усердно богам служим.

День и ночь кровь и елей
Льются, щедр жертвенный ладан
В честь седого князя морей
Посейдона, девы Паллады.

Хоть и много, а чтим всех!
Содрогнись, выслушай, старый:
За Эгея-царя грех
Роковой — страшная кара.

Трижды восемь весен тому
Вспять — день въ день — Андрогей, критский
Гость, — стрелков равных ему
Не встречал: с языка — птицей
Мысль, что мысль — в птицу — стрела!
Развевался плащ его алый.
На щеках — юность цвела,

На устах — мудрость играла.
Храбр как лев, строен как трость,
Щедр как некто, богам близкий.
Вечно-первым наш критский гость
В беге, в бое, в метанье диска,
В песнях — и в вожделеньях дев...
— О, горстями бы рвал, — знай он! —
Но красы вечный припев —
Смерть — и был Андрогей найден
Мертвым... В роскоши мышц и чар!
От стрелы, пущенной в спину!
И пришлось нам Миносу в дар
Молодого мертвого сына
Отвозить...
Грянул войной
Крит. Страшны беды и многи:
Зно́бы, зуды, засуху, зной
Ниспослали мстящие боги
На наш град. Засухи бич
Нивы жжет, травы без сока.
Матерь, плачь! Первенец, кличь!
Груди, грозди, ручьи — иссохло
Все в краю сем —

(указывает на глаза)

кроме ям
Сих. Верховный совет созван.
В Дельфы царь — к вещим камням.
Был ответ ясен и грозен.
«Андрогей, радость бого́в,
Жертвы ждет, кровью несытый.
От Афин белых брегов
К берегам мощного Крита
Пусть корабль тронется. Груз
Корабля — дважды седьмица
Дев и юношей».
— Стон уст
Слышишь? Это к брегам критским
В третий раз нынче корабль
Выплывает. В каждые восемь

Весен — раз. Так покарал
Крит — Афины — за всех весен
Наисладостнейшую...
Сын
Всем отцу был. Бед и разрух
День! — Эгея, царя Афин,
Называет убийцей слух.

Чужестранец

Мощен царь ваш.

Водонос

Косен и дрябл
Царь наш. Сласть же и скорбь — свыше!

Чужестранец

Искупите!

Водонос

Третий корабль!

Чужестранец

Так восстаньте!

Водонос

Идут, — слышишь?
Плачут...

Хор девушек

О утр румянец!
О девства лен!
Семи избранниц
Услышьте стон!

В тоске и в дрожи
Куда — за версты
Плывем? О не
к женихам заморским

На ложе, — на смерть
Корабль везет!

Хор юношей, *впадая*

Семь звезд угаснет,
Семь роз опадет.

Хор девушек

Ни роз, ни лилий, —
Аида сень!
Семь струн у лиры —
Нас тоже семь!

Блаженство — лирою
Множить в семьях:
Семь струн у лиры,
И тоже семь нас,

Сестер по сходству,
Сестер в весне...

Хор юношей, *впадая*

Семь струн порвется!
Семь слез на весле...

Хор девушек

О сестры! Спутан
Порядок волн.
Покорно вступим
На пенный холм.

Защитник — кто нам?
Защитник — где нам?
Мы тщетно стонем,
Конец — надеждам...

Семь дев, семь чаек
Над гладью вод...

Хор юношей, *впадая*

Семь дев отчалит,
Семь жертв отплывет.

(*Хор дев уступает хору юношей*)

Хор юношей

Рвите ризы и волоса,
Ибо семеро в полном цвете...
Ставьте черные паруса,
Корабельщики, горя дети!

Не к красавицам, в царство нег,
Не к чудовищам, в царство лавра, —
Семь юнцов покидают брег
В жертву красному Минотавру.

Минотавр, небывалый бык,
Мести Миносовой сообщник,
Мозг и печень нам прободит,
Грудь копытами нам затопчет.

Так, все заповеди поправ,
Мстит нам Минос за кровь сыновью.

Хор девушек, *впадая*

Семь венцов упадают в прах,
Семь стволов истекают кровью.

Хор юношей

Ах, когда бы под градом стрел
Пасть — чтоб лаврами кровь бежала б!
Не оставим ни чад, ни дел,
Ничего, кроме женских жалоб,

Лишь утраивающих стыд:
Пасть, ни песни не дав витиям!

Хор девушек, *впадая*

Семь бойцов опускают щит,
Семь тельцов подставляют выю.

Хор граждан

Увы, увы!
Лягут юные львы на знойном
Щебне — ниже травы!
Едут юные львы —
На бойню!

Забудь, забудь,
Матерь, — коих спасти бессильна!
Задуть, задуть,
О ветр, помоги
Светильню

Напрасных дней...
Гоня кормовые струйки
Буйней, буйней
О ветры, о ветры
Дуйте!

Что знатных жен
Стенанья и плач кормилиц?
Корабль оснащен.
Афинам закон —
Царь Минос.

Спрута яростней, язвы злей...

Чужестранец

Минос? Думалось мне, Эгей —
Царь ваш.

Народ

Трепетнее тельца —
Царь наш.

Чужестранец

Думалось мне, сердца
Вы, не слизни!

Народ

Упал, — лежи...
Что уж...

Чужестранец

Думалось мне, мужи —
Вы!

Народ

Чуть живы мы, — вот что. Брось
Поученья. Кость с мясом врозь
Разошлась. Не по силам мзда!

Чужестранец

Значит — Миносовы стада
Вы — не граждане? Не отцы
Вы, а камни? Смирней овцы,
— Вздохи, стоны, а меч то где ж? —
Ждете казни своих надежд?
Прелесть гибнет, а зрелость спит?
Стыд вам, граждане!

Народ

Стыд то стыд...
Богу — храм,
Рыбе — вода...
А уж нам —
Не до стыда!

Век наш — час, вздох наш — пар...

Чужестранец

Есть же царь!

Народ

Царь наш стар.

Чужестранец

Что до царских седин?
Есть же сын!

Народ

Сын один
У царя. Не про нас.
Лоб то за морем тряс!
Гость в отцовом дому.
Да и сын ли ему —

Не сказать. Ходит слух,
Сам слыхал от старух
Старых да стариков:
Будто и не царев
Сын, — Атлантики гость.
Посейдонова кость.

Впрочем...

Чужестранец

Темен твой сказ!

Один из народа

Впрочем, что им до нас,
До кротов земляных,
Впрочем — что нам до них
До богов, до царей
И до их сыновей...

Ими пламень раздут —
Наши на смерть пойдут!

Народ

Увы, увы!
Лягут юные львы на дольнем

Камне — ниже травы.
Едут юные львы...

Чужестранец

Довольно!

Поворотом руля
Спор решают. Пожарищ кличем
Вызывайте царя!
Будет жребий брошен вторично.

Парус смертной ладьи
Пусть и царскую грудь заденет!
Не бездетен — веди
Сына! Юноша — не младенец!

Отвечает вдвойне
Сын за пепел и пурпур отчий.
Пусть с твоим наравне
Встанет, белого овна кротче.

Многих ставши отцом,
Царь единого блюсть не в праве.
Как волна под веслом,
Под серпом равнодушным — травы,

В час страды и войны
Все равны. И в крови и в хлебе —
Все — Эгею сыны!

Остальное решает жребий.

Царь! — Подхватывайте!
Царь — Раскатывайте!
Царь! — Три заповеди
Должно чтить.

Нет родных тебе
И нет чужих тебе,
Царь забывчивый!
А третий стих

Этой заповеди...
— Царь! — Расшатывайте
Стены! Ратуйте же!
Бог — и жду?!

Там, где с заповедями
Запаздывают —
Боги ввязываются
В игру.

Народ

К царю! к царю!
Во дворец!

Чужестранец

Наседай! Дружнее!

Народ

Отец! Отец
Эгей! Подавай Тезея!
Стрела сорвалась!
Страдай же, как страждем мы!

(*Явление Эгея*)

Эгей

Приветствую вас,
Афинские граждане.

Что в утренней мглы
Час — в дом мой приводит вас?

Народ

Мы ждать не могли,
Царь! Море тревожится!
Волна восстает!
Кровь взмыла и схлынула!

Эгей

Каких же щедрот
Здесь ждете?

Народ

За сыном мы
Твоим! Если ты
Молчишь — камни ожили!
Мы — тоже отцы!
— И первенцы тоже мы
В домах! — Через край
Беда! Не то вдребезги —
Дворец ! Подавай
Тезея для жребия!

(*Крики*)

Тезея! Коль сын
Он царский — не струсит же!
Тезея! Афин
Надежду!

Эгей

Так слушайте ж:
Согласен!

(*Кому то*)

Ладью
Готовь с черным парусом!
Я вам отдаю
Тезея, столп старости
Моей...

Народ

Выводи!
Слов ведома суетность!
На сей площади
Пусть жребий рассудит нас!
Тезея!

Эгей

— Очам
Предстанет немедленно. —
Души моей храм,
Надежду последнюю
Я вам отдаю,
Афины!

Народ

Да здравствует
Царь! Слава царю!
Воистину царь ты наш!

Эгей

Если ж жребий, который слеп,
На мой оттиск падет единственный,
Не останетесь вы без скреп,
Золотые врата афинские.

Не страшитесь ни язв, ни зол, —
Царь с народом не зря поладили!
Унаследуют мой престол
Пятьдесят сыновей Палладия,

Брата грозного моего.
Не страшитесь престольной трещины!
Вместо кровного одного
Пятьдесят вам царей обещано:
Мощных, рослых...

Народ

Но вступят в спор
Братья! От пирога ни корки нам
Не видать!

Эгей

Пятьдесят подпор
Царству!

Народ

Не пятьдесят ли коршунов?

Эгей

Увозите же за моря
Сына: жизнь мою и глаза мои!
Не останетесь без царя!
Увозите Тезея за море,

К Минотавру.

Народ

Царь готов.
Только будем ли целей?
Целых пятьдесят отцов!
Целых пятьдесят царей!

Брат на брата: бить и жечь!
Шаром прядающий вихрь!
Брат на брата: бич и меч!
Все мы пасынки для них!

Вотчимами разгромят
Царство! — Злейшее из рабств!
Зуд пятидесяти язв!
Рев пятидесяти распрь!

О пятидесяти нам
Головах обещан змей!
Шибче, шибче по волнам!
Нам не надобен Тезей!

Эгей

Слово сказано. Канат —
Клятва царская, — одна!

Народ

Чужестранец виноват!

Эгей

Клятва царская дана.

Не последует канат
Легкой прихоти ветрил.

Народ

Чужестранец виноват!
Ты — морочил, ты — мутил,

Ты — натравливал! Вязать
Старца злостного! Верны
Все Эгею мы! Назад,
Гость Аидовой страны!

На головы нам как гром
  Рухнул! Наш теперь черед!
Руки с разумом, с царем
Рознить можно ли народ?

— Сограждане, прав я?

Народ

— Под стражу! — На плаху!
— Жало извлечь!
— Заживо сжечь!
— Истолочь!
— Заковать до пят!

(*Явленіе Тезея*)

Тезей

Руки прочь!
Чужестранец свят!

Граждане, чтятся
В этом краю
Гости и старцы.
Не узнаю

В этой борьбе неравной—
Родины моей славной!

Гостю — обида?

Народ

Ложь в нем и злость.

Тезей

Кто бы он ни был —
Старец и гость.

Старцу — отмщенье?

Народ

Яд в нем и вред.

Тезей

Дважды священен:
Странник — и сед.

Народ

Против основы
Шел, уличен!

Тезей

Чтите чужого, —
Вот вам закон!

Народ

Нож уготован
Жизни твоей!

Тезей

Чтите седого, —
Вот вам Тезей!

Старца — под стражу?
Гостя — властям?

Эгей

Да на тебя же,
Сын мой, восстал!

Тезей

Знаю. Безсмертным
Стать не боюсь.
Миносу в жертву
Сам отдаюсь.

На корабле немедленно
С вами плыву — без жребия.

Эгей

Сын мой!

Тезей

Согласья
Царского жду.

Эгей

Стар я.

Тезей

Но страстен
Я — и в ряду
Граждан афинских —
Первый. — Плывем! —

Эгей

Слаб я.

Тезей

Но сын твой —
Дважды силен.

Народ

Слава Тезею!
Новый Геракл!

Эгей

Сын мой! Добрее
Волки в горах!
Сдайся!

Тезей

Не сдамся!
Храбрым — венцы!

Эгей

Под стражу упрямца!

Тезей

На весла, гребцы!

Парус,
В море!

Народ

Радость!

Эгей

Горе!

Тезей

Вгладь, морская пучина!

Народ

Слава царскому сыну!

Э г е й

Так захлебнись же
В отчей крови,
Отцеубийца!

Ч у ж е с т р а н е ц, *в ы с т у п а я*

Останови
Слово в гортани,
Гнев на устах.
Юн — неустанен, —
Юноша прав.

(*к Тезею*)

Сын мой! Еще нам
Страсти нужны!
Ты Посейдоном
Избран в сыны.

В снах и в обличьях,
Вблизь и далече,
Трижды покличешь —
Трижды отвечу.

Пенная проседь,
Гневные волны.
Трижды попросишь —
Трижды исполню.

Пади ко мне на грудь,
Сын, в славе утвержден!
(*Объятие*)
Вал, долу! Ветры, дуть!

Н а р о д, *п а д а я н и ц*

Владыка Посейдон!

КАРТИНА ВТОРАЯ

Тезей у Миноса

Тронный зал царя Миноса на Крите. Ариадна, одна, играет в мяч.

Ариадна

Выше, выше! Пробивши кровлю —
К олимпийцам, в лепную синь!
Мой клубок золотой и ровный,
Дар прекраснейшей из богинь!

В нем великие силы скрыты,
Нить устойчива и светла.
Мне владычица-Афродита,
Подавая его, рекла:

«Муж, которому вместе с волей,
Вместе с долей его вручишь,
Он и в путах пребудет волен,
Он и в кознях пребудет чист.

Все пороги ему — путями!
Он и в страсти пребудет зряч!»...
Но заветным клубком покамест
Ариадна играет в мяч.

«Золотой невестин
Дар — подальше спрячь!»
От земли невечной
Выше, выше, мяч!

«Никому не вручай до часа,
Милых много, один — милей!»
Так учила она, клоняся
Над любимицею своей.

«Никому не вручай без жажды
Услаждать его до седин,
Ибо есть на земле для каждой
Меж единственными — один.

Золотой невестин
Дар — подальше спрячь!»
От земли невечной
Выше, выше, мяч!

Афродитою с самых ранних
Лет обласкана я: что мать —
Над дитятею. «Твой избранник
И моим не преминет стать.

Лишь бы в верности был испытан,
Лишь бы верностью был высок —
Всеми милостями осыплю,
Все́ дороги его — да в срок!

Чтобы богом земным пронесся
Лавр и радость на лбу младом»...
Но, увы, золотого лоску
Мяч — по прежнему мне в ладонь

Возвращается. Дар невестин
Все — от суженого , хоть плачь!
От земли невечной
Выше, выше , мяч!

Но меди лязг!
Но лат багрец!
Но светочей кровавых гарь!
Теперь игре моей конец.
Приве́тствую тебя, отец и царь.

М и н о с, *в окружении факелоносцев*

В наготе тронного зала
Что ты делела, дочь?

Ариадна

Играла.

Минос

Игры — призрак и радость — звук.
Чем?

Ариадна

Ударами быстрых рук
Мяч испытывала проворный.

Минос

В месте скорби моей тлетворной,
В день всех горестнее, всех злей?

Ариадна

Нет у девушки прошлых дней!

Минос

Плач и трепет по всей округе!

Ариадна

Мяч подбрасывала упругий,
Чтобы радости мне принес!
Нет у девушек долгих слез!

Вечно плакать — и слез не хватит!
Семя — долго ли в шелухе?
Слаще вздохов о бывшем брате
Вздох о будущем женихе!

Минос

Нету сердца в груди!

Ариадна

Не знала
Бед.

Минос

В канун моего обвала!
Нынче смерти его канун!

Ариадна

Но твой первенец, царь, *был* юн,
Я же — есмь. И тому уж трижды
Восемь весен, отец!

Минос

Недвижен
Век. Единожды был мне дан.

Ариадна

Нет у девушек старых ран!
Только новые! Дайте ж травкой
Быть, — долга ли ее пора?
Завтра уже — без завтра
Дева, что без вчера
Нынче. — Короток день наш красный!

Минос

Дан единожды, взят всечасно,
Всевечерне, всенощно взят.

Ариадна

Если ж сыну на смену — зять
Встанет, рощи мужской вершина?

Минос

Разве зять заменяет сына?

Ариадна

Ну, так я остаюсь , седин
Утешение.

Минос

Дочь — не сын.
Дочь — увы! — хороша замена!
Вместо сына. Оплот — на пену
Променять? В этом море слез
Пена — дева, а сын — утес.

На низверженнаго не сетуй.

Ариадна

Сын — утесом, а дочь утехой
Создана, мотыльком жилья.

Минос

Медлит жертвенная ладья!
Обложу их тройною данью!
За мгновение запозданья
— В мясники обращает гнев! —
Рощи храбрых и кущи дев!

Минотавру тройная прибыль.

Вестник

Царь, корабль долгожданный прибыл.
Некий юнвша по пятам,
Нрава властного.

Тезей, *входя*

Входит сам
Гость — коль ждан.

(*Миносу*)

Здравствуй, жрец
Трижды клятый!
Не певец:
Буду краток.

Посему отсроту удвой.
Предводительствую ладьей
Осужденных. Восьмой — не боле.
Не по жребию, а по воле
Здесь, — вечернею жертвой лечь
За Афины.
— Приемли меч!

(*Вручает*)

Кровью злых
Щедро смочен.
Не жених:
Буду срочен.

От Эгеевой злой стрелы
Пал твой первенец. — Так орлы
Падают! — За ниспадша в хрипах
Андрогея — Тезей на выкуп!

За Эгея ужасный грех
Сын ответит — один за всех.

Минос

Сын?!

Тезей

Убей,
Царь! Да рдеет
Меч!

Минос, *наступая:*

Тезей?
Сын Эгеев?

(*Поединок взглядов*)

...Так из ведомых мне — один
Ты — взглянул бы!

(С новой яростью)

Убийцы — сын?!

(Страже):

Увести от меня лукавца!

Тезей

Царь, еще не докончил сказки!
Этой крови узревши рдянь,
Царь, сними роковую дань
С града грешного...

Минос, *страже:*

Прочь с безумцем!

Тезей

Не безумен я, образумься —
Ты! Швыряя тебе сию
Роскошь — мало тебе даю?

Кровь, что вечность бы не иссякла!
Славу будущего Геракла!
Гекатомбы, каких не зрел
Мир — еще! Мириады дел
Несвершенных и несвершимых.
Небожителей на вершинах,
Небожителей в лоне вод
Допроси.
— Водопады од,
Царь, как в пропасть в тебя швыряю!
Ибо злейшее, что теряю
Днесь — не воздух и не перстов
Ощупь, — эхо в груди певцов!

Царь, безвестным уйду. Искусство,
Что ль, к одру пригвоздить Прокруста?
Кулака молодой размах

На бродягах и кабанах
Испытав, ни одной Химеры
Не сразив...
Но прими на веру,
Царь: единый, а не любой
Завтра выведен на убой
Будет. Равная кровь прольется
Андрогеевой.

Минос

Это сходство!
Ад ли призраку повеле?
Так в немотствующей золе
Пепелища — алмаз неплавкий:
Честь.
Тезей с Андрогеем, — прав ты!
Горы — равныя на весах.
О девицах и о юнцах
Не пекись. По стезе лазурной
Им — везти доверяю урну
С прахом громким твоим — и весть,
Что на Кретосе сердце — есть.
Вероломной стрелой не платим
Гостю. Праведнее бы зятем,
В дом принять тебя. — На! твоя! —
Трон отдать тебе! По края
Чаши свадебные наполнив,
Всем назвать тебя!

Тезей

Царь, опомнись!

Минос

Сон и совесть обрел бы вновь...

Тезей

Но меж мной и тобою — кровь
Андрогеева!

Минос

Кровь, но где же?

Тезей

Двух враждующих побережий
Башни!

Минос

Сон бы обрел и смех...
Но да сбудется воля *тех*!

Тезей

Царь, не должно такого часу
Длить!

Минос

Убойной! Грудой мяса!
— Судорог, содроганий смесь! —
И не некогда, где то, — здѣсь,
Завтра же...

Тезей

Не крушись! не каюсь.

Минос

Но покаместь еще, покаместь...
— Взгляд, сломивший меня как трость! —
Но покаместь еще ты гость
Мой.
В пустыне источник прѣсный!
Призрак! Первенец! Оттиск перстня
В воске — мрамором мнил его! —
Сердца старого моего.

Тезей

Царь, не дли рокового часу!

Минос

Дщерь, вручи золотую чашу
Гостю. Досыта насласти,
Ибо — слезная.
— Пей и спи.

*
* *

Тот же зал. Ночь. Тезей один.

Тезей

Сердца крылатый взмах,
Вала чреватый стон,
Полночь и кровь в ушах —
Все отгоняет сон.

Стражи протяжный клич,
Пены пустой припев
Об островах добыч, —
Все распаляет гнев.

Гнев на тебя, о мощь,
Давшая — овном лечь
Клятву. Рабыней в нощь
Швыр — нувшая меч.

Гнев на тебя, о длань!
(Легче клыки развесть
Вепрю — перстов сих!) — в дань
При — несшая честь.

Гнев на тебя, о мышц
Роскошь! Богам не чужд
Быв, без меча — камыш
Бо — лотный — не муж.

Гнев на тебя о глас
Древа, травы, ручья:

«Тот кто Афины спас,
Не — вынув меча!»

Плакальщиком смежу
Очи, — без боя бит!
Имени нет сему
Гневу — иного: стыд.

Плакальщиком сойду
В славы подземный храм.
Имени нет сему
Гневу — иного: срам.

(*Явление Ариадны*).

А р и а д н а

Будет краткою эта речь:
Принесла тебе нить и меч.

Дабы пережило века
Критской девы гостеприимство.
Сим мечом поразишь быка,
Нитью — выйдешь из лабиринта.

Все и спи.
Невредим и здрав
Возвращайся в родную землю!

Т е з е й

За богиню тебя приняв,
Я даров твоих — не приемлю.

А р и а д н а

Гость, очнись!

Т е з е й

Не прикрыв лица,
Безоружным предстать клялся.

А р и а д н а

Меч твой, коим убит Прокруст!

Т е з е й

Меж мечом и рукою — уст
Клятва. Правой моей подъятье!
Меж рукою и рукоятью —
Честь, безжалостнейший канат.
Мною данною клятвой — взят.

А р и а д н а

Не пристало тебе покорство!

Т е з е й

Не осиленным распростерся,
Волей Миносу отдался!

А р и а д н а

Вспомяни *своего* отца!
Не надежны восьмижды девять!
Дни последни кому ж лелеять
Как не первенцу?

Т е з е й

Отчей есть
Власть безжалостнейшая — честь.

Да свершится ж предначертанье.

А р и а д н а

Андрогеевыми чертами
Обольщенный — простит отец!

Т е з е й

Честь — безжалостнейший истец.

Ариадна

Злость — нет равныя во вселенной
Минотавровой!

Тезей

Уязвленна
Честь — чудовищнее стократ
Минотавра.

Ариадна

Неправ, несвят
Подвиг твой! Уж и так велик ты!
Ради этой моей улыбки
Дрогнувшей — отрекись! сразн!
Ради этой моей слезы
Брызнувшей! На весах нельстящих
Разве клятва мужская — тяжче?

Тезей

Красоты в этой жизни есть
Власть безжалостнейшая — честь.

Даром бьешься и даром тщишься.

Ариадна

Просветите же нечестивца,
Боги! Рухай, гордец, с горы!
Афродитины — се — дары.

Высшей воли ее зерцало,
Только вестницею предстала,
Только волю ее изречь —
Принесла тебе нить и мёч.

Но твоих, воспаленных бредом
Уст — заране ответ мне ведом:
«Божества над мужами есть
Власть безжалостнейшая».

Тезей, *преклоняясь:*

— Честь.

КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Лабиринт

Вход в лабиринт. Ариадна.

Ариадна

Тщетно над этой прочностью
Бьются и слух и стон.
Громче песок в песочнице
Льется, слышней Харон

Воду веслом задевает Стиксову.
Брат, завершивший день,
Громче над урной твоей ониксовой
Лавр расстилает тень.

Канул — и канул полностью!
Сдайся, мой слух разверст!
Громче на круге солнечном
Тень подымает перст.

С тем суждено ль мне встретиться,
Коего богом мню?
Не отзовется Дедала детище,
Тайны не выдаст дню.

Ожесточенье слабости!
Бог — кто тебя не знал!
Камни так плотно сладивший,
Будь проклят, Дедал!

Свод, ничему не внемлющий!
Мертв — кто в тебя забрел!
Нагроможденье немощей —
Будь проклят, мой пол!

Девичьих наитий
Река глубока.
Не выпусти нити,
Не выронь клубка!

Вслушиваюсь — как в урне
Глухо, как в лоне вдов.
Вслушиваюсь — как в урну,
Вглядываюсь — как в ров...

Громче смола из древа,
Громче роса на куст...
Вглядываюсь — как в зева
Львиного черный спуск.

Что там за поворотом?
Лучше не видь, не слышь!
Весь ли клубок размотан?
Глыб вероломна тишь.

Бык ли в крови и в пене
Пал? Или рогом в лоб?
Глыб немоты — не мене
Чувств ненадежен вопль.

Хвала Афродите
В громах и в тиши!
Не выпусти нити!
Не выронь души!

Афродита!
Мирт и мед!
Вся защита,
Весь оплот

Ревностнейшей из критянок,
В сем чернейшем из капканов
Мужу, светлому лицом,
Афродита, будь лучем!

Афродита!
Путь и цель!

Льном сквозь плиты,
Светом в щель,

Львов связующая нитью
Льна — войти ему дав — выйти
Дай. Открытому душой,
Афродита, будь тропой!

Афродита!
Соль! волна!
Если выкуп
нужен — на!

Сохрани для дел великих
Жизнь, — мою возьми на выкуп!
Львом и солнцем да предстал!
Афродита! Дева!..

Пал! — С молотом схожий*)
Звук, молота зык!
Пал мощный! Но кто же
Бо — ец или бык?

Не — глыба осела!
Не — с кручи река!
Так падает тело
Бой — ца и быка.

Так — рухают царства!
В прах — брусом на брус!
Не — бесный потрясся
Свод, — реки из русл!

На — лбу крутобровом
Что: кровь или нимб?
Ве — кам свое слово
Ска — зал лабиринт!

*) Между первым и вторым слогом перерыв, т. е. равная ударяемость первого и второго слога. Тирэ мною проставлено не всюду. *М. Ц.*

Му — жайся же, сердце!
Му — жайся и чай!
Не — бесный разверсся
Свод! В трепете стай

В ле — печущей свите
Крыл, — розы вослед...
Гря — дет Афродита
Не — бесная...

Т е з е й, *на пороге лабиринта:*

— Свет!

А р и а д н а

Жив?

Т е з е й

Так едем,
Дева!

А р и а д н а

Сон!
Жив?

Т е з е й

Победен!

А р и а д н а

Бык?

Т е з е й

Сражен!

А р и а д н а

Цел?

Т е з е й

Всем сердцем
Смерть приняв!

Ариадна

Цел?

Тезей

Бессмертен.

Ариадна

Меч?

Тезей

Кровав.
Дева, едем!

Ариадна

Гость, испей!
Цел, но бледен...

Тезей

Нет цепей!
Волен град мой!
Ветры, дуть
В путь обратный!

Ариадна

Гость, побудь!

Тезей

Меч окрашен!
Парус полн!

Ариадна

Гость, за чашу!

Тезей

Дева, в челн!

Ариадна

Гость, помедли!
Лют вдовы
Хлеб.

Тезей

Так едем,
Жизнь!

Ариадна

Увы!

(*Напевом*):

Гостю — далече плыть!
В баснях и в песнях — слыть.
Деве — забытой быть.
Гостю — забыть.

Тезей

Темной речи
Уясни
Смысл.

Ариадна

Далече
Плыть! Сквозь сны
Дней, вдоль пены кормовой
Проволакивая мой
Лик и след.
Белый беден
Свет!

Тезей

Так едем,
Дева!

Ариадна

Нет.

Тезей

В бурях и в бедах
Лепится дух.
В девах несведущ,
К лепетам глух.

Вправо иль влево,
В гору иль с круч!

Ариадна

Тайнопись — дева:
Надобен ключ.

Тезей

Красным гранитом
Взрос и окреп.
В снах неиспытан,
К отсветам слеп.

Угль затверделый
Муж, а не пух!

Ариадна

Умысел — дева:
Надобен слух.

Тезей

Внял, но не понял.
Брось — соловьем!
К басням не склонен,
В льстях не силен.

Любишь — так следуй
В свет и во мрак!

Ариадна

Занавес — дева:
Надобен знак.

Тезей

Робость девства?
Естества
Крик? Отвестствуй.
Жизнь! Отца
Жаль? Печаль твою уважив, —
Жизни не теряют дважды!
С сыном — вся — из жил руда.
Мертв -- раз и навсегда.

Всюду мниться
Будет брат?
Пусть убийца —
Кем зачат!
Тени помешаем красться
К ложу! Между *тем* и страстью
Нашей — меч. Из страстных уз
Вставши — с призраком сражусь!

Кроме добрых
В сердце — несть
Мыслей. — Робость?
Рода честь?
Но — клянусь тебе сугубо —
Не утехою — супругой,
Матерью грядущих чад
В дом войдешь, отныне свят.

Дева! Злится
Вал об снасть!
Дева! Львицей
Стонет страсть!
Накажи меня за дерзкий
Домысел: другому — персей
Дрожь? Иным дерзаньям — край
Пеплума?

Ариадна

О не терзай!
Гостю — далече плыть!
Горстью из Леты пить —

Гостю! в золе сокрыть
Деву, — забыть.

Гость, закончим
Скорбный спор.
Вал — твой кормчий!

Тезей

Хлябь — наш хор!

Ариадна

Уноси мое блаженство,
Юноша!
Не страсти женской
С разумом — постыдный торг.
Не отца седого скорбь
Черная, не крови братней
Ныне выцветшие пятна,
— Пурпурные и поднесь! —
И не приторная смесь
Робости и скудосердья,
Именуемая твердью,
Честью девичьей.

Тезей

Пресечь
Спор — тогда!

Ариадна, *подымая руку:*

Возмездья меч!

Просьб — великая тщета!
Афродитою взята
Я в любимицы — владычиц
Сладостнейшею! В добычах —
Ревностнейшею! В любви —
Яростнейшею!
Плыви,
Гость! Покаместь только брат мне —

Прочь! Покаместь необъятный
Путь — зерцалом из зерцал —
Прочь! Покаместь не познал
Уст моих...
Зане: как глыба
Страсть моя! Зане: на гибель
Страсть моя тебе! Зане —
Вещь, обещанная мне,
Взыщется с тебя не дщерью
Смертною, а той, что зверю
Льном повелевает быть.

Гостю — далече плыть!
Новыя сети вить —
Гостю! других любить,
Эту — забыть.

Мир неполностью узрев,
Брат, опомнись!
Столько дев
Сладостных! А розы вянут —
Все.

Тезей

Обманута!

Ариадна

Обманут —
Ты. Над клятвами же бдят
Боги. За единый взгляд
Косвенный — дитя из детищ
Афродитино! — ответишь —
Всем.

Тезей

Скорее — в море — мыс
Тронется!

Ариадна

О, не клянись,
Гость! Судьбы твоей волокна

Ведомы ль тебе? Не токмо
Девами — опасён брег.
Дебри есть, пещеры нег,
Тех — полунощные гроты.
Ведомо ль на повороте
Ждущее? Богинь и нимф
Грудь — не тот же ль лабиринт?

В сокровеннейшем из капищ,
Гость, бессмертие охватишь —
Мышцами. Необорим
Небожителей к земным
Жар. С бессмертными не мерься,
Юноша! Бессмертья — к смерти
Страсть — страшнейшая из кар!
Небожительницы дар,
Уст ея — отвергнуть — прелесть —
Кто б осмелился?

Тезей

Осмелюсь —
Я! Скорее с места мыс
Сдвинется!

Ариадна

О не клянись,
Юноша!

Тезей

Пусть свет померкнет
Глаз моих!

Ариадна

О том что смертных
Дев — любили божества
Ведаешь?

(*Касаясь лавра*):

Сия листва
Все еще трепещет Дафны

Трепетом...
Супругом став мне,
Клятву дав мне — даже в снах
Чтить, осмелишься ли, прах,
С небожителем тягаться?
Пасынка и святотатца
Груз — отважишься ль подъять?
Правую на рукоять —
Встанешь ли с парнасским горцем?
Пасынком и богоборцем,
Муж, отважишься ль прослыть?

Гостю — далече плыть!
Нечеловечью чтить
Волю, — богам служить,
Деву — забыть.

Тартара ценой — не купишь
Нег. Отступишься! Уступишь
Высшему!

Тезей

Одна мне власть —
Страсть моя!

Ариадна

Преступишь страсть.
Горленкой твоей страшуся
Быть. Змеиного укуса
Явственнее: мужем сим
Быть мне брошенною! Дым —
Страсть твоя! Костер из стружек —
Страсть твоя! Двоим не служат,
Муж! Ни доли ни родства
Мужу, кроме божества!

Прочь, не пастбище, а пустошь —
Страсть! — Отступишься! — Отпустишь!
Выпустишь! Цветком из рук
Выронишь!

Т е з е й

Какой недуг
Жжет тебя?

А р и а д н а

Но Пеннородной
Памятлива кость. Запродан
Ей, моих коснувшись уст.
Знаешь ли о том, что пуст —
Зрак ее! И без провеса —
Цепь!

Т е з е й

У самого Зевеса
Выхвачу! Из под зениц —
Выхвачу!

А р и а д н а

О, не клянись,
Гость! Колеблемая ветром
Трость. Лозы моей заветной
Гроздь. Всех жил моих живых —
Гвоздь. Души моей жених...

— Брось! — Как Миносу нарушил
Верность, — ибо всех радуший
Миносовых весче знак
Ока их... о! — та́к и брак
С дочерью его расторгнешь
Сладостною. Стран просторных
Гость, со мной тебе не лечь
В зарослях...

Т е з е й :

Тогда — на меч!

(Жест, прерываемый появлением девушек и юношей)

Хор девушек и юношей

Брата узрею!
Матерь узрею!
Жатву узрею!
Слава Тезею!

Меч, что уперся!
Стон, что исторгся!
Ветр семиморский,
Славь быкоборца!

Скорые весла, крутые снасти,
Освободителя родины славьте!
Славь, убегающая корма,
Мужа, не вынесшого ярма!

Ставь ветрила,
Кормчий! К югу!
Грех искуплен!
Камень снят!
Буду милой
И супругой
И баюкать буду чад!

Правь прямее,
Кормчий! Плеском
Весл, с волны и до небес:
Честь Тезею
Нас — невестам,
Нам вернувшого — невест!

Славься, храбрый!
Гору вынес!
Славься, добрый!
Жив Олимп!
С Минотавром
Свержен Минос!
Расколдован лабиринт!

Правь смелее,
Кормчий! Сломан

Крит! Свободные заснем!
Честь Тезею,
Нас — закону,
Нам вернувшего — закон!

Славься!

Тезей

Правь!

Ариадна

Не — оставь!

Тезей

Ветры, дуть!

Ариадна

Верен — будь.

Тезей

В красоте твоей богоравной,
Дева, имя твое?

Ариадна:

Ариадна.

КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

Наксос

Скала со спящей Ариадной.

Тезей, *над спящей:*

Спит, скрытую истину*)
По — знавшая душ.
Спит, негой насыщенная,
Спи! — Бодрствует муж.

Ветвь, влагой несомая!
Страсть, чти ее — спит!
Лишь тем и бессонен я,
Что негой не сыт.

Не той же ли горечью
Сжат, бдит соловей?
Как будто бы море пью:
Что час — солоней.!

Спит, розой осыпалась
В ласк бурный прибой,
Сколь быстро насытилась
Моею алчбой!

В пу — чину хоть жемчугом
Кань, — горстью словлю!
Спи, юная женщина!
Кровь помнит.

Ариадна, *во сне:*

Люблю!

---

*) См. примечание на стр. 41.

Тезей

Сквозь цепкую жимолость
Сна — слушай завет:
Зем — ля утолима в нас,
Без — смертное — нет.

Без дна наших чаяний
Чан, мысль — выше лба!
Те — ла насыщаемы,
Без — смертна алчба!

Бой — цом обезжизненным,
— Ни вздоха в груди —
Спит. Знай же, что сызнова
Бой вспыхнет....

Ариадна, *во сне:*

Люби!

Тезей

Сквозь затканный занавес
Сна — сердцем пробьюсь.
Ду — ша неустанна в нас,
И мало ей уст,

И мало ей зеркала
Тех игрищ и нег.
Спи, юная смертная.
Смерть минет.

Ариадна, *во сне:*

Навек.

Тезей

Цвет выцветет, скрючится
Стан, розы — в отлет!
От смерти и участи
И Зевс — не оплот.

И — ложа скалистого
Одр — тверже нам взбит.
Но — въявь и воистину —
Знай: страсть устоит.

(*Подъемля правую*):

Дева низин и ниш,
В гроте и в чаще
Царствующа, — услышь
Клятву над спящей.

В святости брачных уз
С милою свиться
Жимолостью — клянусь
Водами Стикса.

Влажных чураться уст
Девы и нимфы —
Облачными клянусь
Лбами Олимпа.

Судьбы и рты сдвоив,
Вплоть до укуса
Смертного...
— Чресл твоих
Гневом клянуся:

Страсти моей — сама
Ты не вечнее!
Если же, в чувств, ума,
Недр помраченьи,

Чудный порву союз,
— Гнев твой порукой! —
Да позабуду ж вкус
Млека и тука

О да бежит от вежд
Сон вероломный!
Да вместо лавра — плешь
Метит чело мне.

Медный да в прах шелом,!
  Трусом да лягу!
Да не коснусь челом
Отчего прага!

Да не коснусь седин
Отческих! Грузной
Да не дождусь родин!
Чад да не узрю!

О да познаю клятв
Попранных цену!
Жен да познаю хлад,
Друга — измену.

Лен да понудят прясть
Женские козни.
Да посмеется страсть
Старости поздней!

Да посмеется тесть—
Бывшему зятю!
Слуг да познаю лесть,
Царства разъятье!

Да не бежит вода
В чан водоносов!
Тучные нивы да
Не плодоносят!

(*Склоняясь над спящей*):

Будь то хоть сам Зевес
С Мойрáми вкупе —
Сих не сниму желез!

(*Свет, из света голос*):

Вакху — уступишь.

Тезей

Зачаровывающий сердце
Звук — кифарой в ушах звенит!
Кто ты?

Голос

Девы и Миродержца
Сын — невесты твоей жених
Предначертанный. Слаще млека
Пить на сладостнейшем из лож —
Предназначена мне от века
Здесь покоящаяся.

Тезей

Лжешь!
Минотавровой кровью смочен
Меч. Изведаешь сколь веска
Длань Тезеева!

Голос

Тссс... Непрочен
Сон в присутствии божества.

Тезей

Коль не вымысел и не слепок,
Выдь, — спознаемся, суеслов!

Голос

Заклинаю тебя — некрепок
Сна колеблющийся покров!
Пощади ни отца ни дома
Не имеющую.

Тезей

К борьбе,
Дерзкий!

Голос

Тише же! Чти же дрему
Девы, грезящей о тебе.

Любят — думаете? Нет, рубят
Так! нет — губят! нет — жилы рвут,!
О как мало и плохо любят!
Любят, рубят — единый звук

Мертвенный! И сіе любовью
Величаете? Мышц игра —
И не боле! Бревна дубовей
И топорнее топора.

О как тупо и неуклюже:
Ложе — узы — подложный жар
Крови... Дева, познавши мужа
Спит, жаровни твоей угар

Просыпает. От сих позорищ
Долы дыбом и реки вспять!
Как плодом заедают горечь,
Никнет — ласки твои заспать

Дева. Замертво павшей клячи
Кротче! Судорогой вдоль рта —
Ваших браков и новобрачий
Отвращающая тщета.

О как мало и неумело
Нежите!

Тезей

Обличитель лбов —
Кто ты?

Голос

Огненный сын Семелы —
Вдохновения грозный бог.

Тезей

Вакх!

Голос

Двусердый и двоедонный.

Тезей

Вакх!

Голос

В утробе мужской догрет.

Тезей

Вакх!

Голос

Не женщиною рожденный.

Тезей

Вакх!

Голос

Но дважды узревший свет.

Тот, чьей двойственностью двоится
Взгляд у всякого кто прозрел.

Тезей

Вакх!

Голос

Раздвинутая граница.

Тезей

Вакх!

Голос

Пределам твоим предел.

Тот, которого душу пьете
В хороводах и на холмах.
С злыми каторжниками плоти
Бог, братающийся в боях.

Верховод громового хора,
— Все возжаждавшие, сюда! —
Одаряющий без разбора
И стирающий без следа.

Лицемеров, стоящих одаль —
Бич! Т воркот ушам, то рык,
Низшим — оторопь я и одурь,
Высшим — заповеди язык!

О, ни *до* у меня, ни дальше!
Ни сетей на меня, ни уз!
Ненасытен — и глада алчу:
Только жаждою утолюсь.

Двоедонный, рожденный дважды,
Двоеверный, — и вождь и страж...
И да будет кувшин — по жажде
Сей изжаждавшейся меж чаш

Деве...

Вежд крылатым взмахом —
Эти розы станут прахом.
Выравненные резцом,
Эти брови станут мхом.

Лба доверчивую кротость
Злыми бороздами опыт
Выбороздит. Гладь ланит
Жилами изборождит, —

Вилами! Улыбку рождши —
Плачь! Нет, дли ее, — все тот же

Червь подтачивает плод:
Горе сушит, нега жжет,

Все — обмеривает! Дивом
Мнишь? Все сущее червиво,
Муж!

Т е з е й

С наглядностями рву!

В а к х (*до конца остающийся голосом*):

Смерть — название червю.

Не цвести вторично древу!
Юность резвого котурна
Не задерживает. Деву,
Мнишь, отстаиваешь? Урн

С пеплом! С богом в ратоборство
Вставши — призраком блеклым!
Тенью! Крохотною горсткой
Праха, бывшего цветком.

Сладостней, сказки, на высях
Гор, в лазоревых приречьях
Цвел ли? От тебя зависит
Срезать — иль увековечить

Цвет сей.. Хватче Минотавра,
Злей Зевесовой грозы —
Огнь неистовости тварной
Страстью названный. — Срази!

Уступи, взлюбивший много,
Деву — богу —

Хмеле — кудро — головому!

Тезей

Дева мной завоевана!
И мечом и отдачею...

Вакх

Дева — мне предназначена!

За века предугадана!
Без разделу моя!
Что лоза — виноградарю,
То мне — дева сия!

Божеству ли с убожеством
Спорить? Муж скудосерд,
Что венчальным предложишь ей
Даром? Старость и смерть?

Красота и бессмертие, —
Вот в двудонном ковше
Жениха-виночерпия
Дар невесте: — душе.

Дар Тезея и Вакхову
Дань — кладу на весы.
Взвесь. Ужель одинаковый
Вес?

Тезей

У спящей спроси.

Вакх

То ж, что рану закрашивать,
То ж, что море в сетях
Несть — у женщины спрашивать
О правах и путях.

Тезей

Та, что пленника вывела...

Вакх

Чувств изведала сеть.
Не смущай ее выбором,
Сам за деву ответь.

Тезей

Что Тезеем присвоено...

Вакх

Сгибнет, в прахе влачась.
Меж бессрочной красой ее
И цветеньем на час,

Между страстью, калечащей,
И бессмертной мечтой,
Между частью и вечностью
Выбирай, — выбор твой!

Уступи, объявший много,
Деву — богу.

Тезей

От алчбы моей жадной
Ей во век не очнуться!

Вакх

У *моей* Ариадны
Будут новые чувства.

Тезей

Плеск весла безоглядна
Воском чаешь заткнуть?

Вакх

У *моей* Ариадны
Будет новая чуть.

Т е з е й

Мужа знавшая рядом,
Божества не восхощет!

В а к х

У *моей* Ариадны
Будет новая ощупь.

Т е з е й

Я — сквозь жертвенный ладан!
Я — в дурмане ночей!

В а к х

У *моей* Ариадны
Сих не будет очей.

Т е з е й

Иль не знаешь, что вдовы
В час касаний безкостных...

В а к х

Новый облик, и новый
Взгляд, и новая поступь...

Т е з е й

По тишайшему зову —
В нощь! К былому на грудь!

В а к х

Новый образ, и новый
Взгляд, и новая суть...

Т е з е й

Каждым ногтем начертан
В сердца девственной глине!

Вакх

Черт, лелеянных — смертной,
Не узнает — богиней.

Тезей

Но зачем же, двужалый,
Ночь была нам вдвоем?

Вакх

Дабы разницу знала
Между небом и дном.

Бога знавшая рядом,
Естества не восхощет.
Нет — твоей Ариадны!
На дворцовую площадь

Выйдя — Фив Семивратных,
Града новой зари,
Ариадне и Вакху
Фимиам воскури!

Уступи, познавший много,
Деву — богу.

Тезей

Но не Геей, не Герой, —
Афродитой клялся!

Вакх

К Минотавру в пещеру
Шедший кротче тельца...

Все величия платны
— Дух! — пока во плоти.
Тяжесть попранной клятвы
Естеством оплати.

Муж, решайся: светает.
Сна и яви — двойной
Свет. В предутренних стаях
Свод.
— Прощайся с женой!

Тезей

Но хоть слово промолвить
Дай: не к трусу влеклась!

Вакх

Час любовных помолвок
Был. — Отплытия час.

Тезей

Но в глазах ее — чаны
Слез в двусветную рань! —
Я предателем встану!

Вакх

Да. Предателем — кань!

Тезей

Лишь в одном не солги ей:
Уступил, но любя!

Вакх

Чтобы даже богиней
Не забыла тебя?

Тссс ...на целую вечность.

Тезей

Не в пределе мужском!
Выше сил человечьих —
Подвиг!

В а к х

Стань божеством.

Т е з е й

И мизинцем не двину,
Распростертый на плитах!

В а к х

Есть от памяти дивный
У Фиванца напиток:
Здесь меняющий в где-то,
Быть меняющий в плыть...

Т е з е й

Ни Аида, ни Леты —
Не хотящим забыть!

(*К Ариадне*):

Спит, — хоть жалок, хоть жесток:
Одр, — не хочешь подняться?
Наксос — крыл моих остов!

В а к х

Остров жертвенный: Наксос.
Уходи безоглядно:
Чтоб ни шаг и ни вздох...

Т е з е й

Нет иной Ариадны,
Кроме Вакховой.

В а к х, *вслед:*

Бог!

КАРТИНА ПЯТАЯ

Парус

...цовая площадь в Афинах. Утро. Эгей, жрец, провидец.

Эгей

Ночь не добрее дня,
День не добрее ночи.
Пытке моей три дня
Нынче, в огне три ночи

Вьюсь, из последних сил
Взор изощряю слабый.
Сын мой, который *был*, —
Прах твой узреть хотя бы!

Клад мой неотторжим!
Лучше бы вовсе не дан!
Уж не молю — живым,
Уж не молю — победным:

Так же как раб к ковшу
Льнет, просмолен до паха —
Урны его прошу,
— Боги! — щепотки праха.

Пепла... О тучи крыл,
Стрел над афинским брегом!
Сын мой, который *был!*

Жрец

Сын твой, который *пребыл*,

Царь! В седине морей,
В россыпях водокрутных,

Жив громовой Нерей,
Кости твоей заступник, —

Жив еще Посейдон!
С рушащейся громады
Вала, со дна из дон
Он — охраняет чадо

Старости твоея!
Недр не страшись гневливых!
Жертвенная ладья
С парусом белым внидет

В гавань. Крыла светлей!
В град, не бывавший пленным!

Эгей

Будь на семьсот локтей
Тот лабиринт под пенным
Уровнем — о, смеясь
Ждал бы. Воды ль страшуся?
Но Океана князь
Не господин над сушей.

«Целым твой сын плывет —
Белый, как вал об скалы —
Парус». (О первый взлет
Весл его в час отчала!).

Тело мое везут —
Черный, чернее горна
В полночь — в ветрах — лоскут».
Парус провижу — черный.

Черный! Чернее крыл
Вороновых в проливе.
Сын мой, который *был!*
Въявь, в естестве и вживе,

Внове! Дурная весть:
Небо тельца кровавей!

Прорицатель

Сын твой, который *есть*,
Царь! В красоте и в славе!

Жив! Не сожжен, а жгущ,
Бьющ — тако огнь пурпурный
Лемноса! Старец, сущ —
Сын твой! Не горстку в урне...

— Розами оплети
Лоб свой! — Не урну с телом!
В духе и во плоти
Жив и плывет под белым

Парусом.

Эгей

Если лжешь,
Лучше бы не родиться
В мир тебе! Псом сгниешь!

Жрец

Царь, не гневи провидца.

Легче в своем дому
Скважин не знать и трещин —
Зодчему — чем сему
Старцу солгать по вещим

Внутренностям. Оставь
Гнев и хвали Зевеса.

Прорицатель

Мысленное — вот явь,
Плотское — вот завеса.

Хочешь чтобы рекла
Вещь — истончись до пепла...

Эгей

Жив — и рука тепла?

Прорицатель

Хлеб из золы — не тепле.

Эгей

Но невредим ли? Но
Здрав ли? Все также-ль рдея...

Прорицатель

В раковине зерно
Жемчуга не целее
Бездны на нижнем дне.
Цел, аки дух бесплотный.

Эгей

Не изувечен, не...
Так не иссякнет род мой?

С песней — кого отпел?
В гавань — взамен пещеры!
Но не бесчестьем цел?

Прорицатель

Чарою цел — и верой.

Эгей

Чарою?

Прорицатель

Знать не нам:
Знай, что любимым шел он.
Верою — в стан, что прям,
И в небосвод, что полон.

Чарой и верой яр,
Ими же заповедан...
Но, изощрив удар,
Старец — еще победа!

Пурпуром омрача
Меч — улыбался , аще
Бог. Не подъяв меча,
Старец, победа тяжче.
Изнеможден, но светл
Вышел.

Эгей

Хвала! Но что за
Чудище? Змей иль вепрь?

Прорицатель

Плотскою страстью прозван
Вепрь тот. Его сразил,
Высшею страстью движим.

Эгей

Ветр, не щади ветрил!
Сын вожделенный, мчи же!

(*Жрецу и провидцу*):

Други, навстрѣчу мчим!
Не выдавай, о старость!

(*Явление вестника*):

Вестник

Царь, в седине пучин
Черный отмечен парус.

Эгей

Смерть!

(Прорицателю):

Не земным воздам
— Лжец! — а иным чеканом!
Жрец, доложи богам:
Сыну навстречу канул

Царь.

(Исчезает. Вестник вслед. С другой стороны площади, не встретившись, рядами, граждане)

Хор граждан

Горе! Горе!
Вострый нож!
Море, море,
Что несешь?
Полным коробом роскошным —
Море, море, что несешь нам?
Розы, розы ли вискам?
Слезы, слезы ли очам?

Горе! Горе!
Лютый змей!
Из лазоревых горстей
Бедственных твоих — что примем,
Море, море? Было синим,
Вал, как старец, поседел —
Лишь бы парус вышел бел!

Горе! Горе!
Гнутый серп!
Море, море,
Двоесерд
Нрав твой: кабаном трущобным
Выбесившись, белым овном
Ляжешь, кудри раздвоя.
Море: ярая бадья.

Доля, доля,
Крытый чан!
Море, море,
Что — очам
Выявишь? За белым тыном
Пены — что? Каков Афинам
Дар? Растерзанная ткань?
Доля: крытая лохань.

Доля, доля,
Тихий ткач!
Море, море,
Выше мачт —
Вал твой! Кулаком сведенным
То по всем своим поддонным
Бьет владыка Посейдон.
Доля: сжатая ладонь.

Доля, доля,
Длить — доколь?
Море, море,
Всю то соль
Донную и всю то кипень
Пенную твою мы выпьем,
Выхлебаем: кипень-смоль,
Доля: лютая юдоль.

Доля, доля...
Воля — где?
Море, море,
Что в ладье?
Крит ли первенцев вернул нам,
Или братственная урна:
Семи весен пепл — и дым
Семи юношей с восьмым.

Доля, доля,
Скрытый сплав.
Море, море,
Ниже трав —
Вал твой! На ручьи распалось.

Море! Море! Что за парус
Там, что ворон меж ветрил?
Горе! Горе! Черен!

Вестник

Был —

Царь. Переполнен*)
Чан скорби и мглы.
В ки — пящие волны
Пал царь со скалы.

Бе — ду издалече
Уз — ревши с высот,
Пал — сыну навстречу
С от — весных трехсот.

В пы — лу чадолюбья
И в пепле тщеты,
В че — тыреста глуби —
С трех — сот высоты.

Не орл быстролетен,
Царь крыл и когтей —
То старец с трех сотен
Гра — нитных локтей.

Что яростный кречет —
В волн пенную шерсть —
Взмыл — первым да встретит
Сы — новнюю персть.

Не в яростном хоре
Су — деб и ветрил —
Не в море, а в горе
Се — бя утопил!

---

*) См. примечание на стр. 41.

В уст — собственной пене,
Кро — вавой кайме,
В век — собственной тень,
В недр — собственной тьме,

В убийственном слове
Ко — ротком: к чему?
В от — цовской любови
Без — донном чану.

Где пропасти клином,
Где пена ревет —
Ле — тящего принял
В грудь водоворот.

Хор граждан

Горе! Горе! С красных скал —
Горе! Горе! камнем пал

Царь наш. Наводняй же площадь
Бессыновних и безотчих
Стадо — без поводыря!
Горе! Горе! Без царя!

Горе! Горе! Дважды пал!
Старого гремучий вал
Выхватил зеленокудрый.
Юного — слепая удаль
Чудищу швырнула в пасть.
Горе! Горе! С черным — снасть!

Коршунам — кровавый пир!
Горе! Горе! Дважды сир
Край наш, на куски искрошен.
Вместо пажитей роскошных —
Коршунов кровавый слет...
Горе! Горе! Море слез!

Горе! Горе! Кровных кровь!
Мать бездетная, готовь

Скорби черное убранство!
Явственен — через пространства —
Скорби веющий рукав.
Ах, не черен он — кровав!

Прав — взмывающий с крутизн!
Лучше б вовсе в эту жизнь
— В коей правды не дождаться —
Не рождать и не рождаться,
И не знать, как ветер свеж...
Горе! Горе! Горе!

(Явление Тезея, в сопровождении девушек и юношей)

Т е з е й

Где ж
Лавры — победоносцу?
Жив и несокрушим!
Как по коврам пронесся
По валунам морским —

Вождь ваш, с благою вестью:
Вот она! Счетом семь
Дев, с семерыми вместе
Сими — в родную сень.

Целы и без изъяну —
Что дерева весной!
Чаянных семь и жданых
Семеро, я — восьмой.

Пал Минотавр, и вынес
Вал! Кровяным бугром
Пал! С Минотавром — Минос.
Но — что за прием?

Что — овцы под крышу!*)
Что — жены под щит!

---

*) См примечание на стр. 41.

При — ветствий не слышу!
Иль море глушит?

Что — рыбины в пену!
Что — ящеры в мох!
От радости немы?
Иль сам я оглох?

От радости слепы?
Ведь вот она, стать
Кра — са и укрепа
А — фин. Или вспять

Мне? Сызнова море
Тре — вожить кормой?
Лишь сам себе вторю
В сей предгромовой

Ти — ши. Непривечен
Ни взглядом очес!
Так вот она, встреча,
Так вот она, честь,

Так вот оне, горсти
Роз, лавры вершин
Бой — цу-быкоборцу
От вольных Афин!

В час скорби и вздохов
Был скор мой булат.
На дел моих грохот
Не — мотствуешь, град?

На рук моих дело
— Уж весть о быке
Весь мир огремела —
Ни ветви в руке?!

Серд — ца без отзыва!
Те — ла без сердец!
Но — злейшее диво:
Что — даже отец

На — встречу не вышел,
На мышц моих мощь
Скло — нить свою ношу...
Иль впрямь я безотч?

Афиняне, рдею!
Лоб — обручем сперт!
Скажите — Эгею,
Что сын его...

Прорицатель

Мертв
Царь. Не родиться —
Вот, в царстве тщеты —
О — снова.

Тезей

Убийца
Дер — жавнаго?

Прорицатель

— Ты.

«Бык поражен из двух —
Белый, белее пара —
Парус». Так в отчий слух
Слово твое упало.

«В пепле себя сокрыл —
Черных, чернее вара
Смольного, жди ветрил».
Ум твой какою чарой

Заворожен? Каков
Змей у тебя под корнем?

Тезей

Дивною девой вдов,
Изнеможа от скорби

Плыл. Когда свет не мил,
Черное — оку мило.
Вот почему забыл
Переменить ветрило.

Хор юношей

В час осыпавшихся весен,
Ран, неведомых врачам,
Черный, черный лишь преносен
Цвет — горюющим очам.

В час раздавшихся расселин
— Ах! — и сдавшихся надежд —
Черный, черный оку — зелен,
Черный, черный оку — свеж.

Резвым агнцем белорунным
Кто корабль пустить дерзнет,
Коль в груди своей, как в урне,
Вождь покойницу везет?

В час, как все уже утратил,
В час, как все похоронил,
Черный, черный оку — красен,
Черный, черный оку — мил.

Мрак — дыхание без вздрога!
Мрак — касание фаты!
Как боец усталый — лога,
Око жаждет черноты.

В час распавшихся объятий,
— Ах, с другим, невеста, ляг! —
Черный, черный оку — внятен,
Черный, черный оку — благ.

В час оставленных прибрежий,
— Ран, не знающих врачей —
Черный, черный лишь не режет
Цвет — заплаканных очей.

В час как розы не приметил,
В час как сердцем поседел —
Черный, черный оку — светел,
Черный, черный оку — бел.

Посему под сим злорадным
Знаком — прибыли пловцы.
Пребелейшей Ариадны
Все мы — черные вдовцы.

Все мы — черные убийцы
Скорби, — сгубленный дубняк!
Все — Эгея соубийцы,
И на всех проклятья знак
Черный...

Прорицатель

Чарой клянусь полдневной,
Небожителя — се — резец!
Сын мой, кого прогневал
Из роковых божеств?

Муж, и разя, радушен,
Бог ударяет в тыл.
Верность — кому нарушил,
Сын, из бессмертных сил?

Перед какой незримой
Явственностью неправ?
Громы — с какой низринул
Из олимпийских глав?

Сын, неземным законом
Взыскан, — перстом сражен!
Ревность — какой затронул
Из олимпийских жен?

Высушенный опилок —
Муж, за кого взялись!
Мстительней олимпиек
Несть, и не мыслит мысль.

Взыщут, — осколок глинян,
Выплеснутый сосуд!
Сын мой, кому повинен
Из роковых?

Жрец

Несут
Тело. Водорослью овито.

Тезей

Узнаю тебя, Афродита!

Марина Цветаева.

ага, октябрь 1924 г.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Стр. 8, строка 6 — слово *рев* прошу читать через простое е.

Стр. 10, последнее четверостишие — слово *версты* прошу читать рез е две точки, слово *не* с ударением на е.

Стр. 14, строка 1 — ударение на *что*.

Стр. 56, строка 2 — слово *тверже* прошу читать через простое е.

М. Ц.

ВОССТАНИЕ *)

Лунная ночь застонала набатом, и волость понесла, как разв
жанная лошадь.

К церкви набегал хмельной народ. На паперти Борис Ивань
махал рукавами и петушиным голосом кричал:

— Граждане и братья, наша партия, партия социалистов-рев
люционеров, призывает....

— Долой!

— Не надо никаких ваших партий, хлеба не трогте.

— Тише.

— Просим. . . Борис Иваныч, валяй.

— Будя, наслушались...

— Айда громить совет, — крикнул кто-то.

— Громить...

— Пошли-и-ии. . .

Митинг был сорван, и толпа, топоча и ревя, хлынула по ночи.

Гудел набат.

Совет разорвали на лоскутки. Злоба еще только в силу вх
дила, каждому хотелось рвать-метать, и тогда вспомнили, что в К
ватском конце стоит заготовительный отряд Прохоровской мануфа
туры, бросились туда с топорами и кольями.

— Сдавайся, кармагалы.

— Выходи.

— Бросай оружью.

— Будя, попили-поели, и вам пришлось узлом к гузну.

Захваченный врасплох и перепуганный решительностью нати
ка, рабочий отряд сдался и перед правлением кооператива, где ноч
вал, выложил пулемет, винтовки и походную амуницию. За врем

---

*) Глава из повести «Страна Родная».

ельной стоянки отряд держал себя мирно, изголодавшаяся ма-
ровщина с охотой бралась за слесарную, жестяную, лудильную
сякую другую работу, а потому убивать их не стали, а легонько,
порядку, поколотив, заперли в холодный амбар.

Размахивая винтовками и воодушевляя себя стрельбой, мужи-
ходили селом, громко разговаривая и ругаясь. Всю ночь над
щадью качались саженные костры: жгли волостную библиотеку
ела совета.

В Чистый Понедельник Хомутово прикрыла шайка дезертиров,
матку у них ходил Митька Кольцов. Рваные, одичавшие от по-
янной тревоги, — всегда их кто-нибудь ловил, или они кого-ни-
ь ловили, чтобы убить, — с ободранными винтовками за плечами,
цепко, как репьи, сидели на пугливых калмыцких лошаден-
и горланили *Яблочко.* Все завидовали их лошадям.

Митька собрал тысячную сходку и долго возмущал народ.

На загоревшейся лошади, верхом и без шапки прискакал бело-
рский прасол Фома Двуярусный и стал просить у схода помощи:
Белоозеркой восстанцы больше суток дрались с карательным
ядом. Фома, страшно выкатывая глаза, рвал волосатую грудь,
стился на церковь, плакал и ругался отборной, сверкающей ру-
ью.

— Бьют...Жгут...Не поможете — и вам завтра то же будет...
тая икона... Наряжай людей... Дай помочи, православные.

Хомутовская и Белоозеровская волости рядом: переженились,
ероднились, завязали кровь узлом. Помощь дать страшно и отка-
ь в помощи нельзя.

Толпа галдела:

— Поможем, чем можем.

— Помоччи, как не помочь, да ведь голыми руками не сунешься.

— Черти, дуроломы!

— Старики, надо по-божески.

— Плетью обуха не перешибешь.

— Пускай молодые идут.

— Молодые...

— Беги, Липат, запрягай.

В помощь белоозерцам поскакал Митька со своими галмана-
и еще набралось желающих подвод с полсотни. Васька Буха-
, парень ура да брось, есаул Митькин, был оставлен в Хомуто-
получив от своего удалого начальника словесный приказ: «По-

стращай-ка ты, Васька, наших коммунистов, пощекочи им пя маленько, а за неисполнение настоящего в боевой обстановке, б покоен, удавлю».

Набрал Васька людей подходящих, повел их по селу.

— Где, которы тут коммунисты?

— Вон крайня изба Степки Ежика.

— Забегай с огороду, гляди, чтоб не утек, стерва.

— Врет, от своих пяток никуда не убежит.

Налетели, кувыркнули избу, ломали, колотили, рвали, сам Ежика вывели на улицу и убили тяжелым боем. Ликстану Дуда в распоротое брюхо набили ячменю; Поливана, захлестнув за п вожжами макали в прорубь, макали пока он не испустил дух; Г горью Бондарю наколотили на голову железный обруч, у него вы лились глаза. Всех их выбросили на навозные кучи. Акимку Со кина нашли в погребе, в капустной кадушке; рубил его артил рийским тесаком сам Васька Бухаров, ровно по грязи прутом ш пал, рубил, приговаривал: «Вот вам каклеты, а вот антрекот». рыли Акимку в неглубокую яму, он ночью отдышался и уполз мой. Прослыша про такую чепуху, прибежал к нему Васька и ,с зав: «Ах ты, вонючка», — тем же тесаком отпилил Акимке гол напрочь и зарыл его в глубокую яму.

Танек-Пронек засел в бане с карабином и отстреливался лый день; вечером баню подожгли, но молодого кузнеца там не было, спустя неделю он об'явился в дремучих Урайкинских сах с партизанским отрядом. Все ругали его и восхищались им

— Ну и пес, ну и собака...

Под Белоозерской советский отряд был перебит, хомутов вернулись с победой, таща за собой захваченных лошадей, пл ных, пулеметы и своих раненых. Село встречало их с иконами, с зами и криками радости.

— Всыпали?

— Всыпали, сват, за милу душу.

— Попала собаке блоха на зуб.

— Почихают...

— Сила наша, мужик, он... его только растрави, мы тоже зубы заглядывать не будем.

Пленных били всю дорогу, а в селе, окруженные воющей т пой, они ползали по кочкам, всем целовали ноги, клялись-бо лись, что их мобилизовали насильно, проть крестьянского мира

а не пойдут, и выражали готовность бить комиссаров. Толпа би-
их долго и жестоко, четверо кончились, остальных заперли в
дный амбар, и жалостливые бабы притащили им яиц и хлеба.

На селе много говорили о геройстве и удальстве Митьки, кото-
первым бросился в атаку и зарубил двух пулеметчиков.

Кругом, через леса и степи, по всей хрестьянской земле, дерев-
взвивалась на дыбы.

...Хле-е-е-эб,
разверстка-а-аа,
терпежу нашего нет.

Кругом, через леса и степи, бурно митинговали избы и выно-
и приговоры:

...Хлеб придержа-а-а-ать,
разверстка неправильна-а-аа
·придержа-а-аать...

Хороводом кружил кровавый набат.

Из села в село, от дыма к дыму скакали ходоки. Церковные
щади ломились от народа. Бородатые ходоки стаскивали шап-
кланялись миру на все четыре стороны.

На корню качались и трещали голоса.

В татарах появился седобородый праведник Ага Камиль Ка-
зов: неустанно раз'езжая по деревням и улусам, он славил Ал-
а и его единственного пророка Магомета и призывал мусуль-
и на борьбу с урусами. Праведника сопровождали правоверные
дники, коренные жители и кочевники, жаждавшие послужить
у и пограбить. В дороге к ним приставали все новые и новые;
качиваясь в самодельных седлах, они в яростном восторге рас-
вали священные песни.

Дорога правоверных была пряма, как истины корана:

«Русский церыква — канчам».
«Шапка со звездам носишь — канчам».
«Кожаным шопам ходишь — канчам».
«В мучейкам *) служишь — канчам».

В деревне Зябборовке русскую учительницу разорвали лоша-
ми. В Кобельмах поймали двух красноармейцев, русского спеку-
нта и инструктора лесных заготовок, перевязали веревками, ви-
ми из верблюжьей шерсти, разложили на улице, скакали по ним

*) В ячейке.

на тройках и, изрубив, бросили своим, вечно голодным собака
В Джафаровской волости сожгли Сорокинские хутора, перебили ста
рых и малых и угнали скот. От их басурманской лютости не был
проходу ни пешему, ни конному.

Митька, к тому времени на с'езде пятнадцати мятежных вол
стей, выбранный главнокомандующим, вызвал есаула Ваську Бу
харова и приказал ему:

— Даю тебе, Васька, Ново-Кандалинский крестьянский полк
Поезжай, пугни татарву, спокою от них, от чертей гололобых, не
ту... Вон опять привезли Тамашевского мужика с перерезанны
от уха до уха горлом.. Прижми ты им хвост, а за неисполнени
настоящего в боевой обстановке, будь покоен, хлопну.

— Я их, тарарам иху мать, достигну, — сказал молодой ес
ул, играя желваками, — я им докажу, до второго пришествия пом
нить будут.

— Иди, скорей ворочайся.

— Иду.

Ушел, уехал, ускакал Васька.

Митька сидел в штабе, за столом, застеленным картами,
торопливо, обливаясь, хлебал мясные щи: солил круто. Начальни
штаба, Борис Иваныч, оказавшийся кадровым офицером, выче
чивал на трехверстке флажки, кружки, крестики и докладывал св
ему главкому о новостях.

—...сожжен Чагринский райпродком, под Марьевкой отбит гу
скота в шестьсот голов, восстали и прислали ходоков волости Фу
дуклеевская, Дурасовская, Старо-Фоминская, Преображенская и Мы
шастовская; вчера на рассвете в районе Купявино-Васильевка уни
тожен продотряд Сафронова; разослан срочный приказ, чтобы каж
дая волость выслала по два ходока на колчаковский фронт. . .

— Стой, — закричал Митька, вытирая рот и откладывая лож
ку, — какой приказ?

— Вы, Дмитрий Демьянович, сами вчера подписать изволили
Приказ номер пятый.

— Верно. — подтвердил сидевший на пороге с охотничьи
ружьем караульный Гаврила Дюков, — был такой розговор в на
роде: послать делегатов на фронт.

— Ничего не помню, был я вчера сильно клюкнувши, — ка
нул Митька нечесанной башкой, — нам Колчак тоже не отец родно

— Вы,видимо, не понимаете, Дмитрий Демьянович...

— Я все понимаю.

— Ну,вот, ходоков мы посылаем не к Колчаку, а на колча-вский фронт, дабы красные полки, как истинные сыны своего рода, помогли нам сейчас, а потом... потом мы и с Колчаком вое-ть будем, чего на него, на шкуру, глядеть.

— Ну, ладно, чорт с ними. Давай, разворачивай планы теат-ь военных действий... Будем мы на город наступать, аль нет? Соб-ал ты мне, начальник штаба, людей, аль нет?

— Вот планы, — нагнулся Борис Иваныч над картой, — пла-ы нехитрые, осмелюсь вам доложить . .

По волостям была об'явлена мобилизация от восемнадцати пятидесяти годов. Приказ вычитывался в церквах, на площадях базарах. Был пущен слух, что ни клочка земли не будет выреза-тем, кто не пойдет воевать. Мобилизация за одну неделю дала выше пятидесяти тысяч.

Кузницы работали без останову, мобилизованные кузнецы ко-ли копья, дротики, крючья и багры, которыми и вооружалось ча-нное воинство. Крючья и багры предназначались специально для аскивания комиссаров с автомобилей. Из кладовок были извле-ны дробовики и ружья, непригодность которых была очевидна. улугур Степан Гурьянов подарил еще его дедом выкопанную из мли пушку, на которой был выбит «1742 годъ».

Над уездом, из края в край, волной ходил народ, по дорогам тались раз'езды, скрипели обозы с фуражем, над деревнями сто-вой и плач, и от деревни к деревне скакали сотни подвод.

— Геей, чьи будете?

— Дальни.

— А все-таки?

— Глебовски.

— Ну как у вас?

— Да ничего.

— Крушите коммуну?

— Крушим.

— Далеко путь держите?

— В Хомутово.

— И мы в Хомутово.

— Та-ак.

В Хомутове гуляли дезертиры. Все село ходуном ходило от пля-, реву и свирепого свисту:

На заре каркнет ворона,
Коммунист, взводи курок.
В час последний похорона
Расстреляют под шумок.

Ой, доля
Неволя,
Глухая тюрьма...
Долина,
Осина,
Могила темна...

Митька, дурной и бледный от множества бессонных ночей, п
догревал сердце пьянкой, плясал вместе со всеми и отчаянно ора
размахивая тяжелой гусарской шашкой:

— Все пожгем, покрошем... С нами Бог... Братва, Васька, я -
командир крестьянского народа...

— Пей, гуляй, чтобы люди завидовали...

— Эх, городок, посчитаем мы тебе ребра, дай срок...

— Где мой оркестр, давай оркестр...

— Эээа...

— Крой!

Грянул оркестр, пьяненькую избенку распирало от смеху.

Пришли старики, хмурые и сердитые, вызвали Митьку в сен
начали его урезонивать:

— Страм... Эдак народ мучится, эдака кругом страсть, а т
гуляете... Не дело, паренек, затеял, выбрали тебя не за тем... По
держись, Митька, время сурьезно... Восстанцев наехало тыщ два
цать, ноге ступить негде от народу, все ждут твово слова, а ты, с
кин сын, в пьянство ударился...

— Простите, старики, Христа ради... Счас все сделаю... Я -
командир крестьянского народа...

Забежал Митька в избу:

— Где начальник штаба? Где ад'ютант?.. Эй.брашка, выход
седлай коней...Слушай мой секретный приказ — идем в наступл
ние на город... Где моя шапка?

— Ура-а-а...

— Даешь Клюквин!

— Крой, ребята!

Шумно задвигали столами, скамейками, разыскивая шапки, пояса, юдсумки.

Чтой-то солнышко не светит,
Над головушкой туман,
Злая пуля в сердце метит,
Близок, близок трибунал...
Ой, доля
Неволя,
Глухая тюрьма...
Долина,
Осина,
Могила темна...

Улица была набита подводами, ломились саженные костры, ржали лошади. Мужичьи командиры, громко командуя, разбирали своих людей.

Артем Веселый.

КОНЕЦ *)

Из Петропавловской крепости в Шлиссельбург, из Шлиссельбурга в Динабург, из Динабурга в Ревельскую цитадель, из Ревельской в Свеаборгскую.

Узник седеет, горбится, зрение его слабеет, здоровье начинает изменять.

И все-таки он молод: время для него остановилось. он читает старые журналы, он пишет статьи, в которых сражается с литераторами, давно позабытыми, и хвалит начинающего поэта, который уже кончил. Время для него остановилось. Он может умереть от болезни может ослепнуть, но умрет молодым. Все те же друзья перед ним, молодые, сильные. Все тот же Дельвиг в его глазах, ленивый и лукавый, все тот же быстро смеющийся Пушкин и та же веселая, легкая и чистая, как морской воздух, Дуня.

Он не знает, что Дельвиг постарел и обрюзг, запирается по неделям в своем кабинете, сидит там нечесаный и небритый и улыбается бессмысленно: что в тот миг, когда узник вспоминает беспечного поэта, — поэт этот встает, кряхтя, с кресел, идет к шкапчику, достает оттуда вино и трясущимися руками наливает стаканчик, говоря при этом старое словцо:

«Забавно».

И только когда приходит краткая весть, что умер Дельвиг, узник плачет и начинает понимать, что время за стенами крепости бежит и что молодости больше нет. Но в мыслях своих он хоронит молодого Дельвига, а не того обрюзгшего и бледного поэта, который на самом деле умер.

И узник попрежнему хочет свободы, он вовсе не боится того,

*) Из романа Тынянова «Кюхля».

то за стенами крепости время бежит безостановочно и что, как
олько он переступит крепостной порог, все изменится.

Наступает, наконец, этот день, и узник получает свободу —
ободу жить в Сибири.

Начинаются последние странствования Кюхли: Баргузин, Ак-
а, Курган, Тобольск.

2.

Он приезжает в Баргузин. В глазах у него еще стены, глазок,
ацформа, по которой он гулял, какие-то обрывки человеческих
иц и голосов. Он с усилием всматривается в бревенчатые домиш-
 баргузинские. Идет, поскрипывая по снегу и качаясь под тя-
стью коромысла, румяная баба — к речке, колотить белье. Сто-
 лавочник пузатый на крыльце, смотрит вслед Вильгельму, зас-
онясь от солнца рукой. Какой-то чиновник, по форме почтмейстер,
жется, едет в розвальнях, а встречный мужик низко ему кланя-
тся. Удивительный город, маленький, разбросанный, приземистый,
ак будто не дома, а серые игрушки.

Вильгельм рад. Нет стен, это самое главное. Ноги слабы от
рьмы и от дороги. Это пройдет. Запахнувшись в шубу, он ждет
 нетерпением, когда же ямщик с заиндевелой бородой подвезет
о к избе брата. Миша живет в Баргузине, на поселении. Ссыль-
ым селиться в городе не позволяется, они живут за городом. Ям-
ик остановился у небольшой избы. Из трубы идет вверх столбом
ым — к морозу.

У избы стоит черный человек в нагольном тулупе и сгребает
ег. Лицо у него изможденное и суровое. Черная борода с про-
дью. Он смотрит недоброжелательно на Вильгельма из-за метал-
ических очков, потом вдруг роняет лопату и говорит растерянно:

— Вильгельм?

Черный человек — Миша.

— Эх, борода у тебя седая, — говорит Миша, и в злых гла-
х стоят слезы. Миша ведет брата в избу.

— Садись, чай пить будем. Слава Богу, что приехал, сей-
ас жена придет.

Миша ни о чем брата не расспрашивает и только смотрит дол-
. Входит в избу женщина в темном платье, повязанная платком.
ицо у нее простое, русское, некрасивое, глаза добрые.

— Жена, — говорит Миша, — брат приехал.

Мишина жена неловко кланяется Вильгельму, Вильгельм обнимает ее, тоже неловко.

— А дочки где? — спрашивает Миша.

— У соседей, Михаил Карлович, — говорит жена певучим голосом, хватает с полки самовар и уносит в сени.

— Добрая баба, — говорит Миша просто и прибавляет: — в нашем положении жениться глупо. Дочки у меня хорошие.

У Вильгельма странное чувство. Брат чужой. Строгий, деловитый, неразговорчивый. Встреча выходит не такой, о которой мечтал Вильгельм.

— Ты у меня отдохнешь, — говорит Миша, нежно глядя на брата. — Поживем вместе. После осмотришься, избенку тебе сложим, я уже и место присмотрел.

Входит в дверь какой-то поселенец.

— Ваше благородие, Михаил Карлыч, — говорит он и мнет в руках картуз, — уважаю вас очень, зашел к вам постырить.

— Какое дело? — спрашивает Миша, не приглашая поселенца садиться.

— Недужаю очень.

— Так ты в больницу иди, — говорит Миша сухо, — придешь, тогда потолкуем.

Поселенец мнется.

— Да и финаг, ваша милость, хотел у вас занять.

— Нету, — говорит Миша спокойно. — Ни копейки нету.

Вильгельм достает кошелек и подает поселенцу ассигнацию. Тот удивленно хватает ее, благодарит, бормочет что-то и убегает. Миша укоряет брата:

— Что-ж ты приучаешь их, начнут к тебе каждый день бегать.

3.

Весной Вильгельм начинает складывать из бревен избу. Что-то странное начинает твориться с ним. Он думал, что увидит брата и Пущина и к нему приедет Дуня. Это представлялось самым главным в будущей жизни. А в этой жизни оказывается самым главным другое: мелочная лавка, которая перестает отпускать в долг, танцовальные вечера у почтмейстера, картеж по небольшой

юнькие омули. Он больше не думает о Дуне. С ужасом он убежда-тся, что здесь какой-то провал, и не может об'яснить в чем дело. В крепости образ Дуни был отчетлив и ясен, в Сибири он тает. Почему это? Вильгельм не понимает в чем дело, и теряется.

Жизнь идет, — баргузинская, дешевая. На вечерах у почтмейстера Артенова бывают важные люди: лавочник Малых, купец Шишкин, Лекарь Гольц. С женами. Весело с седыми волосами прыгать польку под разбитый звук клавесина прошлого столетия, неизвестно как попавшего в Баргузин. Весело вертеться с дочкой почтмейстера, толстенькой Дронюшкой. У нее калмыцкий профиль, она пищит, веселая, румяная. Вильгельму с ней смешно..

ПИСЬМО ДУНИ.

Дорогой мой друг.

Поговорим спокойно и, простите меня, немного грустно обо всем, что нам с вами сейчас важно. Ваши последние письма меня чем-то поразили, милый, бедный Вилли. Вы меня просите от души, — я в них не вижу вас. Ваши крепостные письма были совсем другие. Я догадываюсь: не нужно скрывать от себя, вы отвыкли от меня, от мысли обо мне. Что делать, молодость прошла, ваша теперешняя жизнь и мелочные заботы, верно, не легче для вас, дорогой друг, чем жизнь в крепости. Я не сетую на вас. Решаюсь сказать вам откровенно, мой милый и бедный, — я решилась не ехать к вам. Сердце стареет. Целую ваши старые письма, люблю память о вас и ваш портрет, где вы молоды и улыбаетесь. Нам, ведь, уже сорок стукнуло. Я целую вас последний раз, дорогой друг, долго, долго. Я больше не буду писать к вам — к чему? Е.

Вильгельм становится странно рассеян, забывчив, легко увлекается.

И в январе 1837 года у почтмейстера Артенова веселье, бал, кавалеры, потные и красные, в полпьяна, танцуют, гремят каблуками, сам почтмейстер надел новый мундир и нафабрил усы. Дронюшка нашла себе жениха, выходит замуж за Вильгельма Карловича Кюхельбекера.

Вильгельм весел, пьян. Его поздравляют, а два канцеляриста

пытаются качать. В углу поблескивает металлическими очкам
Миша.

Вильгельм подходит к брату и с минуту молча на него смотри

— Ну, что, Миша, брат?

Миша говорит просто:

— Ничего, как-нибудь проживем.

Через месяц после свадьбы Вильгельм узнает, что какой-т
гвардеец убил на дуэли Пушкина.

Нет друзей. В могиле Рылеев, в могиле Грибоедов, в могил
Дельвиг, Пушкин.

Время, которое радостно шагало по Петровской площади и ст
яло в крепости, бежит маленькими шажками.

4.

Вильгельм заметался.

Та самая тоска, которая гнала Грибоедова в Персию, а е
кружила по Европе и Кавказу, завертела теперь его по Сибири.

Он стал просить о переводе в Акшу. Акша маленькая крепос
ца на границе Китая. Живут там китайцы, русские промышлен
ники, живут бедно, в фанзах, домишках. Климат там суровый, Нер
чинский край.

У Вильгельма была семья, крикливая, шумная, чужая. Жен
ходила в затрапезе, дети росли.

В Акше недолго прожили.

Раз Дросида Ивановна, смотря со злобой на бледное ли
Вильгельма, сказала:

— Ни полушки нет. Хоть бы удавиться, Господи. С китай
цами жить, в обносках ходить. Проси, чтобы перевели куда. Не
здесь житья.

И Вильгельм запросил перевода в Курган Тобольской губер
нии. В самый Курган его жить не пустили, а разрешили поселит
ся в Смолинской слободе, за городом. Проезжая Ялуторовск, за
ехал он к Пущину. У [illegible] были висячие усы, мохнатые, на
висшие брови. При встрече они поплакали и посмеялись, но чер
день уже заметили, что говорить им не о чем и что они отвыкл
друг от друга. Пробыл он у Пущина три дня. После его от'езда П

ı писал Егору Антоновичу Энгельгардту, дряхлому старику, пе-
:ившему одного за другим всех своих питомцев:

«21-го марта. Три дня прогостил у меня Вильгельм. Проехал
китье в Курган с своей Дросидой Ивановной, двумя крикливы-
детьми и с ящиком литературных произведений. Обнял я его с
жним лицейским чувством. Это свидание напомнило мне живо
рину: он тот же оригинал, только с проседью в голове. Зачитал
я стихами до нельзя; по правилу гостеприимства я должен был
шать и вместо критики молчать, щадя постоянно развивающе-
авторское самолюбие. Не могу сказать вам, чтоб его семейный
убеждал в приятности супружества. По моему, эта новая зада-
Провидения, утроить счастье существ, соединившихся без вся-
данной на это земное благо. Признаюсь вам, я не раз задумы-
ся, глядя на эту картину, слушая стихи, возгласы мужикова-
Дронюшки, как ее называет муженек, и беспрестанный визг
ей. Выбор супружницы доказывает вкус и ловкость нашего чу-
а: и в Баргузине можно было найти что-нибудь хоть для глаз
шее. Нрав ее необыкновенно тяжел, и симпатии между ними ни-
ой. Странно то, что он в толстой своей бабе видит расстроен-
здоровье и даже нервические припадки, боится ей противоре-
ь и беспрестанно просит посредничества; а между тем баба бес-
тся на просторе; он же говорит: «ты видишь, как она раздра-
ельна». Все это в порядке вещей: жаль, да помочь нечем. Спа-
о Вильгельму за постоянное его чувство, он точно привязан ко
; но из этого ничего не выходит. Как-то странно смотрит на са-
простые вещи, все просит совета и делает совершенно против-
. Если б вам рассказать все проделки Вильгельма в день проис-
твия и в день об'явления сентенции, то вы просто погибли бы
смеху, не смотря, что он был тогда на сцене довольно трагичес-
и довольно важной. Может быть, некоторые анекдоты до вас
ли стороной. Он хотел к вам писать с нового места жительства.
очел я ему несколько ваших листков. Это его восхитило; он, бед-
, не избалован дружбой и вниманием. Тяжелые годы имел в кре-
тях и в Сибири. Не знаю, каково будет теперь в Кургане».

5.

Годы в Кургане.
Ну, что ж? Наступал конец.

Правый глаз его наполовину покрылся бельмом, он видел сму но, различал только цвета, правое веко все тяжелело и опускалос Вильгельм, когда хотел пристально всмотреться во что нибудь, до жен был пальцами приподымать веко. Из Петербурга никто не писа Мать умерла. Его забыли.

Дело было ясное, — жизнь кончалась. Он уже только для при чия перед самим собой ходил на огород, который стоил ему сто ких трудов, — и, правда, ему все труднее стало нагибаться, — лела спина и плечи гнули к земле. Потом он махнул рукой и на о род. Дросида Ивановна возилась, покрикивала на ребятишек, дачила с соседками. Он и на это махнул рукой. Все было ясно: ни чему была женитьба, ни к чему эта чужая женщина, которая ходи капотах, зевает под вечер и крестит рот рукой, ни к чему земля, о род, его драма, которая могла бы честь составить и Европейско театру, его переводы из Шекспира и Гете, которого он первым че верть века назад ввел в литературу русскую. Что же, — читать дьячкову сыну, робкому юноше, который благоговел перед Вильге мом, но кажется мало понимал? — ходить в гости к лавочнику Р гильдееву, играть по маленькой с Щепиным-Ростовским, тем самы что когда-то вел московцев на Петровскую площадь, а теперь обрю опустился и попивает?

Нет, довольно.

А однажды Вильгельм, приподнимая левое веко, перечиты рукописи из своего сундука, он сотый раз читал драму, которая с вила его в ряд с писателями европейскими, — Байроном и Гете. вдруг что-то новое кольнуло его: драма ему показалась неуклюж стих вялым до крайности, образы были натянуты. Он вскочил в у се. Последнее рушилось. Или он впрямь был Тредьяковским нов времени и недаром смеялись над ним до упаду все литератур наездники?

С этого дня начались настоящие мучения Вильгельма. Кра чись, подходил он с утра к сундуку, рылся, разбирая тетради, лис и читал. Кончал он чтение, когда перед глазами плыла вместо л тов рябь с крапинками. Потом он сидел подолгу, ни о чем не дум Дросида Ивановна к нему приставала:

— Что это ты, батюшка, извести себя захотел?

Она заботилась о нем, но голос у нее был крикливый, и Ви гельм отмахивался рукой.

— Ты ручкой-то не махай, — тянула Дросида Ивановна, не о обиженно, не то угрожая.

Тогда Вильгельм молча уходил, — к Щепину или, может быть, росто за околицу.

Дросида Ивановна отступилась.

А потом он как-то сразу бросил свои рукописи. Закрыл сундук больше не глядел на него.

Раз Вильгельм засиделся у Щепина. Они вспоминали молодость, Цепин говорил о Саше, об Александре и Мише Бестужевых, Вильельм вспоминал Пушкина. Они говорили долго, бессвязно, пили ви-о в память товарищей, обнимались. Когда Вильгельм возвращался омой, его прохватило свежим ветром. Тотчас он почувствовал, как оги заныли, а сердце застучало.

— Дедушко, — окликнул его мальчик, который проезжал мимо а телеге.

Вильгельм посмотрел на него и ничего не ответил.

— Садись, дедушко, — сказал мальчик, — довезу тебя до дому. Панфиловский.

Панфилов был крестьянин — сосед.

Вильгельм сел. Он закрыл глаза. Его трясла лихорадка. «Деушко» — подумал он и улыбнулся. Мальчик подвез его до дому. И ома Вильгельм почувствовал, что приходит конец. Высокий, сгорленный, с острой седой бородой, он шагал по своей комнате, как верь в логове. Что-то еще нужно было решить, с чем-то расчитатья — может быть, устроить детей? Он сам хорошенько не знал. Надо ыло кончить какие-то счеты. Он соображал и делал жесты руками. Іотом он остановился и прислонился к железной печке. Ноги его не ержали. Ах, да, письма. Нужно написать письма, сейчас же. Он сел исать письмо Устеньке: с трудом, припадая головой, разбрызгивая ернила и скрипя пером, он написал ей, что благословляет ее. Больіе не хотелось. Он подписался. Потом почувствовал, что писем ему исать вовсе не хочется, и с удивлением отметил, что не к кому.

Назавтра он хотел подняться с постели и не смог. Дросида Иваовна встревоженно на него посмотрела и побежала к Щепину. Щеин пришел, красный, обрюзгший, накричал на Вильгельма, что тот е хлопочет о переводе в Тобольск, сказал, что на днях приедет в Бурган губернатор и сел писать прошение. Вильгельм равнодушно го подписал.

И, правда, дня через два губернатор приехал. Докладную за-

писку о поселенце Кюхельбекере губернатор представил генерал-губернатору. Генерал-губернатор написал, что не встречает со своей стороны никаких препятствий о переводе больного в Тобольск, и представил записку графу Орлову. Граф Орлов не нашел возможным без предварительного освидетельствования разрешить поселенцу пребывание в Тобольске, а потому просил генерал-губернатора, по медицинском освидетельствовании, больного уведомить его о своем заключении.

Вильгельм относился к ходу прошения довольно равнодушно. Он лежал в постели, беседовал с друзьями. Часто он звал к себе детей, разговаривал с ними, гладил их по головам. Он заметно слабел.

13-го марта 1846 года он получил разрешение ехать в Тобольск, а на следующий день приехал в Курган Пущин. Увидев Вильгельма, он сморщился и нахмурил брови, быстро моргнул глазом и сурово сказал прыгающими губами:

— Старина, старина, что с тобой, братец?

Вильгельм приподнял пальцами левое веко, вгляделся с минуту и улыбнулся:

— Ты постарел, Jeannot. Вечером ко мне приходи. Поговорить надо.

Вечером Вильгельм выслал Дросиду Ивановну из комнаты, услал детей и попросил Пущина запереть дверь. Он продиктовал ему свое завещание. Он диктовал спокойно, ровным голосом. Потом сказал Пущину:

— Подойди.

Старик наклонился над другим стариком.

— Детей не оставь, — сказал Вильгельм сурово.

— Что ты, брат, — сказал Пущин, хмурясь, — в Тобольске живо вылечишься.

Вильгельм спросил спокойно:

— Поклон передать?

— Кому? — удивился Пущин.

Вильгельм не отвечал.

«Ослабел от диктовки», — подумал Пущин, «как в Тобольск его такого везти?».

Но Вильгельм сказал через две минуты твердо:

— Рылееву, Дельвигу, Саше.

6.

Дорогу Вильгельм перенес бодро. Он как будто даже поздоро-ел. Когда встречались нищие, упрямо останавливал повозку, раз-язывал кисет, и к ужасу Дросиды Ивановны давал им несколько едяков. У самого Тобольска попалась им толпа нищих. Впереди всех убарем вертелся какой-то пьяный оборванный человек. Он выделы-ал ногами выкрутасы и кричал хриплым голосом:

— Шурьян-камрад, сам прокурат, трах-тарарах-тарарах.

Завидев повозку, он подбежал, стащил скомканный картуз с го-овы и прохрипел:

— Подайте на пропитание мещанину князю Сергею Оболен-кому. Пострадал за истину от холуев и тиранов.

Вильгельм дал ему медяк. Потом, от'ехав верст пять, он заду-ался. Он вспомнил розовое лицо, гусарские усики и растревожился.

— Поворачивай назад, — сказал он ямщику.

Дросида Ивановна с изумлением на него поглядела.

— Да ты что, батюшка, рехнулся? Поезжай, поезжай, — то-опливо кивнула она ямщику, — чего там.

И в первый раз за время болезни Вильгельм заплакал.

В Тобольске он оправился. Стало легче в груди, даже зрение как удто начало возвращаться. Вскоре он получил от Устиньки радо-тное письмо: Устинька хлопотала о разрешении приехать к Виль-ельму. Осенью надеялась она выехать.

Вильгельм не поправился. Летом ему стало хуже.

7.

Раз пошел он пройтись и вернулся домой усталый, неживой.)н лег на лавку и закрыл глаза. Слабость и тайное довольство охва-или его. Делать было больше нечего, все, повидимому, уже было делано. Оставалось лежать. Лежать было хорошо. Мешало только ердце, которое все куда-то падало вниз. Дросида Ивановна хра-ела в соседней боковушке.

Потом ему приснился сон.

Грибоедов сидел в зеленом архалуке, накинутом на тонкое белье, в упор, исподлобья, смотрел на Вильгельма пронзительным взгля-ом. Грибоедов сказал ему что-то такое, кажется, незначущее. По-

том слезы брызнули у него из-под очков, и он, стесняясь, поверну. голову в бок, стал снимать очки и вытирать платком слезы.

— Ну, что ты, брат, — сказал ему покровительственно Виль гельм и почувствовал радость. — Зачем, Александр, милый?

Потом ему стало больно, он проснулся, тело было пустое, серд це жала холодная рука и медленно, палец за пальцем, его высвобож дала. Отсюда шла боль. Он застонал, но как-то неуверенно. Дросид Ивановна спала крепко и не слыхала его.

...Русый, курчавый извозчик вывалил его у самого Синег моста в снег. Надо было посмотреть, не набился ли снег в пистолет но рука почему-то не двигалась, снег набился в рот и дышать труд но... — Разговаривать вслух запрещается, — сказал полковник висячими усами, — и плакать тоже нельзя. — Ну? — покорно уди вился Вильгельм, — значит, плакать тоже нельзя? Ну, что же не буду.

И он впал в забытье.

Так он пролежал ночь и утро до полудня. Уже давно хлопота около него доктор, за которым помчалась с утра Дросида Ивановна и давно сидел у постели, кусая усы, Пущин. Вильгельм открыл глаза Он посмотрел плохим взглядом на Пущина, доктора, и спросил:

— Которое сегодня число?

— Одиннадцатое, — быстро сказала Дросида Ивановна. — По легчало, батюшка, немного?

Она была заплаканная, в новом платье.

Вильгельм пошевелил губами и снова закрыл глаза. Доктор вли вал ему в рот камфару, и секунду Вильгельм чувствовал неприятно чувство во рту., но сразу же опять погружался в забытье. Пото раз он проснулся от ощущения холода: положили на лоб холодны компресс. Наконец, он очнулся. Осмотрелся кругом. Окно было мед ное от заката. Он посмотрел на свою руку. В руке была зажата тон кая восковая свечка.

Он выронил ее и понял.

В ногах стояли дети и смотрели на него с любопытством, ши роко раскрытыми глазами. Какие они бледные и худые! Он мигну Дросиде Ивановне. Та торопливо сморкнулась, отерла глаза и на клонилась к нему:

— Дронюшка, — сказал Вильгельм с трудом и понял, что нужн скорее говорить, не то не успеет, — поезжай в Петербург; — о пошевелил губами, показал пальцем на сундук с рукописями и бе

учно досказал: — это продашь — там помогут — детей опре-
елить надо.

Дросида Ивановна торопливо качала головой. Вильгельм паль-
ем подозвал детей и положил огромную руку им на головы.

Больше он ничего не говорил.

Он слушал какой-то звук, соловья, или, может быть ручей. Звук
к, как вода. Он лежал у самого ручья, под веткою. Прямо над ним
ыла курчавая голова. Она смеялась, скалила белые зубы и, шутя,
екотала рыжеватыми кудрями его глаза. Кудри были тонкие, хо-
одные.

— Надо торопиться, — сказал Пушкин быстро.

— Я стараюсь, — ответил Вильгельм виновато, — видишь.
ора. Я собираюсь. Все некогда.

Сквозь разговор он услышал как-бы женский плач.

— Кто это — да, — вспомнил он, — Дуня.

Пушкин поцеловал его в губы. Легкий запах камфары почу-
лся ему.

— Брат, — сказал он Пушкину с радостью, — брат, я стараюсь.

Кругом стояли соседи, Пущин, Дросида Ивановна с детьми.

Вильгельм выпрямился, его лицо безобразно пожелтело, голова
кинулась.

Он лежал прямой, со вздернутой, седой бородой, острым носом,
днятым кверху, и закатившимися глазами.

Ю. Тынянов

МОСКВА ПОД УДАРОМ *)

5.

Где же они, — среброусые и седоусые дни?

Далеки!

Солнопечное время; снежишки сбежали в два дня; уж от
зались двери: профессор, надев плоскополую шляпу, террасо
садик ходил: пошуршать прошлогодним проростом, листвой пе
прелой и серой, которая в солнце казалась серебряной, где
полный пенечекъ промшел, где уже обнаружились сохлины под
дорошной, еще сыревшей промоем дождя и пятном снеголеплин,
кающих из-под себя лепетавшие, полные отблесков, струи —
склон; где лежала дровина, — полено к полену — с корою сы
и отставшей: узор обнаружить (в ней червь, древоточец, знать ж

На дровину вскарабкался, как показалось профессору и
ли, малый глупыш в неприятной, кровавого цвета кофтенке, к
чавшей под солнцем, под ним, подобравши рукой свою юбку, в
дол набирая дрова, загаганила Дарьюшка; там, за забориком,
мо него промелькала весенняя, голубоперая шляпка (весной п
лялись двуперые шляпы); по небу летели сквозные раздымки
небо просинилось там сквозь раздымки.

Профессор подставил свой лоб под припек: он припек лю
без затины; знойстое место себе выбирал; и сидел, из лица
лав морщ.

Тут окликнули.

Он сиганул через комнаты и очутился в передней: при
рил глаза; и — увидел: стоит долгоухий японец, задохлец ли
но-оливковый. в черном во всем, выдается плечом надставн
черным стриженным волосом усиков и волосятами вместо бо

---

*) Отрывок из романа того же названия.

и под очень сухою губою, промаслившись жестковолосым прочеом прически, рукой поправляя очки, сквозь которые черные пуовки сосредоточенно смотрят, как будто они пред собой увидай священнейший лозунг.

Профессор, как Томочка-пес, сделал стойку — с готовностью инуться: взлаем; японец присел, чтобы пасть.

— Чем могу служить?

Мелкоглазый японец засикал, как будто слова подавал он поливкой — «с и с и» да «с и с и»; он страдальчески так выгоаривал русские буквы; напружилась шея; и не выговаривал «ер».

— Я из Жапан плисол!

— ?

— Я писал с Нагасаки, цто сколо плиду к фам: из Жапан.

— А с кем же имею честь я? — не бросал своей стойки профессор.

— Я есть Исси-Нисси.

Вот кто!

Теперь знал, что оливковый этот задохлец, стоявший пред ним, — разворотчик вопросов огромнейшей, математической важности, двигатель мысли, которого имя гремело во всех частях света кругу математиков: имя громчей Ишикавы *); профессор стал вдруг просиявшим морщаном, блеснувши как молньей, очками, — ну, точно стоял он в лучах восходящего солнца:

— Как-с?.. Право, — считаю за честь... Из Японии?.. К нам?.. — протопырил японцу он обе ладони.

Японец, припав к ним, нырнул перегибчивой шеей под носом профессора, руку взял с задержью, точно реликвию; дернул и твердо и четко; подшаркнул: отшарком отнесся к стене, оторвавши ладонь; ведь понятно: профессор, который ему представлялся в стране Восходящего Солнца литым изваянием Будды, стоял перед ним, не как лозунг «К о л о б к и н», — стоял как «В а н - В а н ы ч». «Ван Ваныча» он и разглядывал — с пристальной радостью.

Да, — гляди в корень: в груди — разворох; галстух — набок; манишка — пропячена; выскочил — чорт дери — хлястик сорочки; жилет не застегнут; уже из последней брошюры он понял: открытие близится в мир через этот пропяченный хлястик.

И — на-бок все галстухи!

---

*) Известный японский биолог.

Да, — в Нагасаки еще раскурял фимиам Исси-Нисси Ива-ну Ивановичу: три панегирика тиснул ему в нагасакском научно журнале; себя же считал вполне неуверенно шествующим за Ива-ном Иванычем — той же научной стезею.

«В а н-В а н ы ч» подшаркивал.

— Как же-с, — читал с удивлением, читал-с, — в «К о н ф е р е ш е н» — о ваших трудах... Удивлялся... Пожалуйте-с!

Жестом руки распахнул недра дома, введя в кабинетик, отк-да он тотчас же выскочил.

— Знаешь ли, Вассочка, — там Исси-Нисси стоит — де ясное: из Нагасаки. Так нам бы ты чаю — ну там... В корне взят — знаменитость!

Любил, побратавшись с учеными Запада, он прихвастнуть ру ской статью:

— Вы — да... Мы — у нас: в корне взять, — русаки!..

Приглашал отобедывать их он русацкими блюдами: квасо ботвиньями и поросятами с кашей; когда-то дружил он с Леж как потом приударил за Полем Буайе, в его бытность в Москв И теперь предстояло все это: братанье, турнир математики и, нак нец, громкий спор: о Японии и о России:

— Вы — да: вы — япошки... Мы, чорт побери, — русаки!

Предстояло: нагрев тумаками японца, торжественно мир за лючить:

— Впрочем, светоч науки — один, так сказать!

Ветерок потянул из открывшейся фортки; и слышался: то кий, щеглячий напев.

— Азиатский ученый!

6.

Прищелились в двери: Надюша и Дарьюшка.

— Вот он...

Японец.

— Сюсюка, картава...

— Лядящий какой.

— Недоросток.

Японец с лицом цвета мебельной ручки (олифой прошлися сидел, наготове вскочить; и вскочивши, — пасть ниц, точно

льском капище — перед литым изваянием Будды; профессор носом развешивал мненья, щекою гасился, клочил волоса, из строя ерши; и, бросаясь от шкапчика к полке, выщипывал за брошюркой брошюрку: «О наибольшем делителе», б инварьянтах», О символе «е» в «1» и в «фи».

Подносил Исси-Нисси:

—Вот-с: я написал...

— Вот-с...

— И вот-с, вот-с...

Японец привскакивал: благодарил:

— Я ус это цитал...

А профессор, довольный, охлопывал вздошье свое:

— Есть у вас аритмологи?

— Есть!

Нисси спрашивал тоже:

— А есть ли тлуды по истолики мацемацицески знани?

— А как же, — Бобынин почтеннейший труд написал!

И блаженствовал носом с японцем: вот чорт побери, — не онец, а — клад; безоглядно летели в страну математики: мохй профессор с безмохрым японцем:

— Да, да-с, — математика, в корне взять, вся есть наука функциях, но, что бы там ни сказали, — прерывных: прерывх-с! А... а..., сударь мой, непрерывные, то-есть, такие, в котох прерыв совершается в равные, так сказать, чорт дери промети — прерывны: прерывны-с! Они — частный случай..

— Как фи плоплосали в блосюле о метод....

Профессор подумал:

— И это он знает: и вовсе пустяк, что словами ошибся.

«Япошку» смеясь трепанул по плечу:

— Вы хотели сказать «написали»; «плошать» — «фср махен».

Япошка, конфузясь, краснел:

— Ничего-с, ничего-с...

Подбодривши надглядом, приподнял, стал взбочь и подвел его полочкам:

— Есть у меня тут... — совсем мимоходом расшлепнул брошючкой он паучишку (таскались к нему из угла)...— Вот вам Поссе...

Японец разглядывал Поссе.

— А вот вам Лагранж...

— Вот Коши, Миттах-Лефлер, — расфыркался в пылинка — Клейн.

. И японец уже веселился глазами над Клейном: с и с и да в с и:

— Дело ясное, — да-с — он добряш: зуб со свистом...

И на-те наткнулись на спорный вопрос!

Вейерштрасса профессор назвал декадентом; японец — уфся: он чтил Вейерштрассера; профессор поднялся нагрубуга носом, с тяжелым раздолбом пройдясь; он — сердился; он — фркался; не понимает японец:

— Вы, батюшка, порете чушь: эти, как их, — модели ии измерений; они шарлатанство-с! Еще с Ковалевскою, Софьей Васьевной, мы: вы — туда-же-с...

То было назад — сорок лет: Исси-Нисси в то время еще юногим мальченком ползал вокруг Фузи-Ямы: что, право!..

Японец, продряхнул веками, — Кащеем сидел: и молчал.

Василиса Сергеевна вошла — оторвать друг от друга:

— Пожалуйте: чай пить.

— Пожалуйте, милости просим, — опять суетился профес забыв Вейерштрасса. — А после мы, батюшка, с вами посмотм Москву; да, — я вас поведу; для нас русских, Москва, — за сказать...

Тут — представьте — японец не вспыхнул от радости: он — потемнел; он, признаться, едва лишь ввалился в Москву, пре а рительно ровно четырнадцать суток промчавшись в экспрессе, в он стоял на ногах; а тут — с места в карьер!

А профессор с пропиркой тащил его к чаю; ведь — слуа единственный; поговорить-то ведь не с кем; из всех мата тиков, разве десяток, рассеянный в мире, мог быть ему в уро ь. Исси — включался в десяток; и — вот он; профессор же был о ворун.

Пролетели в столовую — лбами в косяк: бум, бух, бряк!

Карандашик упал.

Друг перед другом стремительно снизились на подкаракук, чуть не ударившись: лбами о лбы; и сидели, ловя каранда ш: профессор — орлом; Исси-Нисси — корякой такой сухоякой (о щечкою задница); он и схватил: будто это был нежный цвет, подносимый стыдливой невесте, стыдливо поднес карандашик ро фессору:

— Не ожидал-с!

Не японец, а — мед!

Исси-Нисси уселся за стол: с дикой скромностью; он припа-
[д]ля к слову и с завизгом им говорил про Японию; в звуке сло-
ном был прогнус; сидел, наготове вскочить перед каждым, а
[бы]л знаменитым: гремел на весь мир.

— Вы скажите нам — что, как: какие там люди?

— Жапаны.

— Какие там моды?

— С Амелики.

— Что вы!

— И с Лондон...

— Какаие дома?

— В Жапан... — длил он словами, ища выраженья.

И — прытко запрыгал словами, найдя выраженье:

— Нельзя констлуил, как в Москва...

— Констлуил — что такое?

— Да строить, маман, — к о н с т р у и р: совершенно же яс-

— Ну да — почему же?

Искал выраженья:

— Там элда: тлясется.

— Что?

— Элда: на цто все стояйт — сказал с задержью, свесив бес-
[по]мощно руки (на сгибени пальцев — предлинные, желтые, свеже-
[п]омытые ногти, не наши, а — дальневосточные).

— Что это «элда» — мизюрилась Наденька, щелкая празд-
фисташками. — А. да — доняла: «э л д а» значит земля: это
о земле....

Азиат!

— Да, вы — бедный народ!

— Ну-с — поднялся профессор — сидите, а я пойду, в кор-
взять, перед прогулкой соснуть — минут на десять... Нет-с, вы
[си]дите — почти что прикрикнул на Нисси, увидев, что тот поднял-
— Я вас, батюшка, не отпущу: покажу вам Москву-с...

Бедный: эти последние дни так замучили мысли, что он за
[Н]нща схватился, чтоб с ним подрассеяться: он — заслужен-
й профессор, «п ш е с п о л ь н ы й» там член, академик, почетный

член общества, прочая, прочая, прочая — он был подпуган; г
мел на весь мир, а боялся — Мандро.

Где закон, охраняющий ценную жизнь замечательной этой
шинки природы? И есть ли закон, если жизнь этой личности оп
деляется сетью ничтожных по ценности, страшных по цели инт
ведь Ивана Ивановича, как национальную, даже как сверхнац
нальную ценность, должны б заключить в семибашенный замок
кости слоновой, таскать на слонах окружив самураями:
тематически богдыхан, далай-лама, Микадо!

Так думаем вовсе не мы, — Исси-Нисси...

А он, между нами сказать, — под оглоблями бегал: дела-с!

. . . .

Василиса Сергееевна скрылась.

— Хотите, пройдемте-с по садику?

Наденька с Нисси — прошли; над просохом серебряным вста

— Здесь Томочка-песик наш: похоронили его...

Колебались причудливым вычертнем тени от сучьев; и п
вая, желтозеленая бабочка перемелькнулась с другою — под со
цем: приподпере-подпере-пере — пошли перемельками; быстр
винтом опустились, листом свои крылья сложили.

И листьями стали средь листьев.

— Вам папочка нравится? — Надя спросила.

Японец, добряш, — просиял:

— Оссень, оссень!

Профессор Коробкин был идолом для Исси-Нисси: приехал ус
ить ему превосходное капище он; в этом капище видел Ивана И
новича твердо на камне сидящим, на корточках, твердо литые
пальца поставившим перед литой, златой мордой: в халате злато

Азиат!

Щебетливые скворчики вдруг обозначились: в кустиках: а скв
орнамент суков прогрустило апрельское небо: в расперушках бел

8.

Профессор схватил плоскополую шляпу и в шубу медвея
впихнулся (зачем не в пальто?) с рукавом перепродранным (что
не подошли?): под руку подцапнул японца: из двери с ним выс
чил взбочь; тартарыкнув по скользким ступенькам, почти что с
лился с японцем на полупроталый ледок.

Здесь опять отвлекусь рассужденьем.

Катаются эти ученые, точно кубарики, пущенные пятилетним ладенцем, под цоканье очень опасных копыт, — как-то зря: в заданьях, на кафедрах, — рыба в воде: все движенья — ловки, оевременны, стильны, изящны: а здесь, средь прохожих, кубаики эти — нелепейше вертятся: только одно повреждение — себе другим.

И еще скажу: вид знаменитых ученых на улице, если не тащит их слон на спине, — примененье предметов, полезнейших в фере одной, — бесполезное в сфере, ну, скажем, гулянья: такой чно вид, как, опять-таки скажем, термометра,употребленного при выряпии носа орудием расковырянья: термометр — сломается; с — окровавится колким осколком стекла; ртуть — просыплет; ни — ковыряния носа, ни — температуры! А, впрочем, коль с ковырять с осторожностью, можно, пожалуй, для этого взять и рмометр.

Можно с большой осторожностью, — даже с ученым пойти: огуляться.

Профессор тащил с горяченьем японца; бедняга едва поспел; в его жестах была непонятная задержь: наверное, двигался к манекен.

За заборником — издали пели:

На улице нашей
Живет карлик Яша.

Над крышами быстро летели сквозные раздымки: и вдруг прочилося солнце сияющим и крупнокапельным дождиком; и обозачился: мокрый булыжник.

— Арбат-с!

— По Арбату проехался Наполеон, да — бежал, чорт дери....

— Мы Москву ему в нос подпалили! — показывал он свое оеумие русского духа.

Таким разгуляем шагал, молодяся всем видом.

— Артур бы не сдали-с: изволите видеть, — тут Стессель... дин Кондратенко русак, да его разорвало гранатой... А то бы - он вас...

— У нас тозе золдат: холосо...

Но профессор нахмурился: не понимает японец!

Последний оглядывал с задержью, мучаясь чем-то своим.

Постояли под Гоголем: свесился носом; прошлись по Воздви
женке; тут подмахнув рукавом (на нем задрань висела), профес-
сор сказал с наслаждением:

— Кремль-с!

— Кремлевские стены...

Не видя, что Ниссп оливковым стал и давно уже пот отирал
он тащил его дальше:

— Музей исторический: великолепное зданье!

Японец чеснул загогулиной тросточки в Думу:

— Не это-с, а — то-с... Не туда-с... Как же это вы, батюшка
это же — Дума: Музей исторический — то-с!

Но японцу не нравился стиль: и профессор сердился:

— Япошка!

— Завидует!

Был Исси-Ниссп в Париже, в Берлине, в Нью-Иорке; готи
ческий стиль ему нравился; русский — не нравился.

Встала слепительность: в синеполосую твердь:

— Храм Спаситель!

Не видел он в жестах умеренных поползновенья на что-т
японца:

— Зайдем?

И — зашли:

— Это вот Богоматерь, — с Младенцем: картина прекрас
ная, очень...

— Видал Лафаэль...

— Верещагин писал...

И, не давши опомниться — в купол: перстом:

— Саваоф!.. Потрясающий нос — в три аршина, а кажетс
маленьким...

Головы оба задрали: и долго смотрели — молчком:

— Нос — с профессора Усова списан: не с Павла Сергеич
списан, а — дело ясное: списан с Сергей Алексеича, автора -
да-с — монографии «Единорог: носорог»...

А на скверике кустики вспучились, бледные, — добелу: пер
пушился чуть желтизною: там — зелени из бледнорозовых, бле
носиреневых почек.

Прошлись вдоль реки.

На реке появились весной рыболовы с закинутой удочкой: во

оюркнет рыботек, — поплавок сребродрогнет, взлетит: только овь извивается: отлепетнула струей сребробокая рыба; юркну- и — взвеселилась темной спиною в зеленой водице; а наискось, борозовосерой, зубчатой стеною Кремлевскою — башни: прохо- е облако, белый главач, зацепилось за цапкую башню; и, став адачем, отцепилось, теряясь краями.

Профессор увидел: вот — Федор Иванович Пяткин сидит, как и прошлом году, — тот, который простуживает, тот, который с На- шею встретясь, поставил ее на сквозняк и рассказывал что-то, едлинное очень, до... флюса, — тот самый, который зимой поза- ошлой с Иваном Ивановичем встретившись, за руки взял, с ним елся на лавочку, в снег, и рассказывал что-то, предлинное очень; после подвел его под лошадиную морду, взмахнул в разговор: шадь — вскинулась: в глаз просверкала подкова: и все — испу- лись, а Федор Иванович, — тот еще более: Федор Иванович ткин, дендролог, профессор в отставке, — у Храма Спасителя л: и — под мост ходил рыбу удить.

Надо правду сказать, что профессор забыл про японца; устал, изамолк: отбратался!

— Ну — вот-с и Москва: город древний...

— Мое вам почтенье...

— Пожалуйте как-нибудь запроста к нам..

И пошел себе прочь: с помаханием рук.

И стремительно прочь от профессора ноги несли самодергом нца — в «Отель-Националь», чтобы пасть замертво: в сон.

Вот мораль: не ходите осматривать с крупным ученым досто- имечательностей городских; Москва — древний весьма замеча- ьный город.

А —что же в итоге? Кубарики...

Вечер стеклил.

И по небу неслися ветрянки: разорвинки облак; и — чуть экололись звездинки, чтоб к ночи разинуться; был на реке — све- од; — воды дернулись ветром; на них испорхалося вдруг отра- ие месяца; после мелькач иссиявшихся бабочек ясно сбежался. И вот: отражением месяца сделался вновь.

Андрей Белый.

РОССИЯ

I.

УКАЗ

1710 г.

Стоглав (1551 г.)—уложенье все-Русии со «страхом Божьим «часом смертным» и запрещением колбасы сожжен вместе с протоп пом Аввакумом (1681 г.), и на пожарище стал Петр (1682 г. со *с в ей в о л е й:* пропустя Аввакумову Росию «через живой огон строить свою гранитную Россию. Память о Петре — его зон русскому народу — что еще живее? — наши дни! — с грозо круто.

> «Смотреть тебе на заставе накрепко и со всяк опасением и быть безодходно денно и ночно!»
> «А ежели кто каким способом в городы Московск губернии приедет или пройдет через заставу, опосле пойманы будут, и таких вешать!»
> «А ежели ты будешь смотреть неопасно и оплошк своею кого пропустишь, и тебе за то плочено (дет тож!»

В начале осени 1710 случилось поветрие в Инсарском уе в селе Большом Чамбаре, а позже в Торжке и на Хотеловском я О Чамбаре доносит Петру ландрихтер Петр Кикин, а о Торж тверской воевода Иван Кокошкин. На это последовал указ — грамотам из Розряду за подписью дьяка Степана Алексеева в С пуховской уезд на станцию, что под селом Тешиховым московско дворянину Гавриле Прокофьевичу Бакееву: какие принять кар тинные меры, чтобы не занести заразу в Москву и Петербу (Приписал Ванлий Кирьяков; правил Михайла Хрущов).

Основанием для указа:

I. Письмо Петру воеводы Кокошкина (2. 10. 1710) письму из Торжка коменданта Петра Коробина (7. 8. 1710):

> «что в Тоджку многие помирают смертоносною язв а преж де той учинилось на Хотеловском яму».

II. Грамота из Розряда в Серпухов за приписью дьяка Ивана ıьянова (30. 9. 1710); в ней указ из Адмиралтейского Приказа Разряд (8. 9. 1710), в указе письмо ландрихтера Петра Кикина осударю (8. 9. 1710) по письму инсарского коменданта Алексея минкого (23. 8. 1710), которого «словесно извещал» в Приказй избе на Инсаре под'ячий Инсарской площади Иван Макимов 4. 8. 1710), а Ивану Максимову в селе Большом Чамбару скали сотник Кирило Семенов и староста Лаврентій Дмитриев с варищи (1. 8. 1710) :

> «волею Божиею учинилось моровое поветрие и многие люди померли скоропостижною смертью и ныне мрут непретанно, а здоровых людей не оталось и тридцати человек».

Карантинные меры: засесть засеку, поставить ка - улы на заставах говорить с приезжими через «живой огонь, вы - рши из сухого древа», письма у курьев принимать издали, распетав, держать на ветре часа по два, потом окуривать можжевельком, а самих курьев держать дней по семь и по десять, а прочих спрашивать (допрашивать) через огонь и «распросные речи» в ех экзмплярах в Розряд —

> «кто и какого чину и какими дорогами ехал или шел и давно ли из Торжка и с Инсары и про моровое поветрие где что слышал и давно ль из Торжка или с Инсары»?

Письмо московское: ва (во), р-о-зряд, станци-ы-ю, двор-е-ну, нын-я-шнем, Кор-а-бик, К-а-кошкин, из Тор-ш-ку, и-л-не-г-е-го, ко(а)мендант, преж, Адмираельский приказ, Дмитр-е-в, -о-ксимов, Зиминск-о-й, учинилос, бли-с-ко, велен-а, Санк-Пир-бурх, посыл-а-к, остан-о-вливать, изд-о-ли, р-о-спечатав, запет-о-в, ч-е-са, из тех жа, дорог-о-ми, ш-о-л, к-о-кими, что ыш-е-л, лутчих.

Дороги: большие, проезжие, проселочные.

(Петр — 1682-89-1725 г.).

Ва 1710 году октября въ 2 день, по указу великого г сударя царя і великого князя Петра Алексѣевича, вс великия и малыя и бѣлыя Росиі самодержца, и по гр мотамъ из Розряду — за приписью дьяка Степана Але сѣева — в Серпуховской уѣздъ на станцыю, что п селомъ Тѣшиховымъ, московскому дворянину Гаври Прокоѳьевичу Бакѣеву —

смотритъ тебѣ на заставе накрепко и с ве кимь опасениемъ и быть безодходно денно ночао! —

для того в нынящнемъ 710-мъ году сего октября въ 2-м числѣ вѣдомо великому Государю учинилосъ по пис изо Твери воеводы Івана Какошкина: что де сего сентяб 7-го числа писал к нему ис Торшку комендат Петръ К рабин, —

« что де в Торшку многие помираютъ смер носною язвою, а преж де той учинилось Хотѣловскомь яму » —

да в нинешнемь же 710-мь году сентября въ 30 день грамоте великого Государя из Розряду — за припис дьяка Івана Ульянова — в Серпухов писано: сентяб въ 8-мь числѣ нинешнего 710-го году в указе велик Государя из Адмирателского Приказу в Розряд писано сентября вь 8-мь числѣ к великому Государю писал Приказ Адмирателскіх дѣл ландрихтер Петр Кикин: августа в 23-мь числѣ писал к нему с - Ынсары камен Алексѣй Зиминской, — августа ж де 11-го дня на Инса в Приказной избѣ извещал словесно Инсарской площа подячей Іванъ Моксимовъ, — посылан де он был по казу в - Ынсарской уѣздъ для его, Государева дѣла, селѣ де Болшомь Чанъ-бору, Моча то ж, сказывали е Івану. сотникъ Кирило Семенов да староста Лавре Дмитревъ с товарыщи:

« что де августа въ 1-го числа волею Бож учинилос в том селѣ моровое повѣтрие и м гие де люди померли скоро-постижною смерт и ныне мрутъ непрестанно, а здоровыхъ лю не осталосъ и тритцати человѣк, » —

и при нем де, Іване, в ночи умерло человѣкъ з деся и по той его, Алексѣевой, описке Зиминского писал к нему, Алексѣю:

чтоб он вкругъ вышеписанного села Чанбара версты двѣ или по три велѣлъ засѣсть засѣку и поставить кр

кие короулы, и с - Ынсары и с - Ынсарского уѣзду ни для какихъ дѣл никуда никого б пропускать не велѣл, и велѣл около Инсарского уѣзду по всѣм дорогам поставить крѣпкие короулы, приходящихъ и проѣзжихъ никого б блиско пропускать не велѣл, а естьли кто на заставы приѣдетъ, и с тѣми велѣл говорить издали чрез живой огонь, вытерши из сухова дерева, и с писем на заставах не чрез живой огонь отнюд принимать не велѣлъ, й чтоб с Москвы и з иныхъ мѣстъ куриеры и они хто в Санкъ-Питер-бурхъ і в Нарву і во Псковъ і в Новгород і в - ыные городы чрез Торжок и с - Ынсары инзярцовъ и с иныхъ городовъ с - Ынсары проѣзжихъ людей отнюдь к Серпухову и к Серпуховскому уѣзду не пропускать и никакихъ посылакъ не посылать:
и по ево, великого Государя, указу по тѣмъ вѣдомостямъ велена: с Московской губерни в городѣхъ і в уѣздехъ на болшихъ и на проѣзжихъ и на проселочныхъ дорогахъ и по речкам на перевозахъ поставить крѣпкие заставы, и на тѣх заставахъ смотрѣть того накрѣпко, чтоб никакова человѣка ни съ чѣмъ исъ Санктъ-Питер-бурха и с тамошнихъ мѣстъ чрез Торжокъ к Клину, а с - Ынсары инсарцов і с іных городов с - Ынсары к Серпухову и к прочим городам Московской губерніі не пропускали; а куриеров, которые будутъ у застав из вышеписанныхъ городовъ, остановливать и писма у нихъ принимать издоли и, роспечатавъ, держать на вѣтре чеса по два и по три, а потомъ окуривать можжевелникомъ и присылать зъ заставы к Москвѣ, запечатов, съ-воими послонноми, которыхъ для токихъ посылакъ по нѣсколку нарочно имѣть, и с приѣжжими оныхъ отнюд не пропускать, а тѣхъ пріѣзжихъ куриеров отпускать назад, не мешковъ ни часу; а которые гораздо с нужными писмами от Івана Кокошкина ис - Ынсары и с иныхъ тамошнихъ мѣстъ присланы у нихъ будутъ, писма принимать и присылать к Москве, а ихъ у застав держать дней по семи или по десяти, и ежели в токое время болѣзни на нихъ не явитца, тогда ихъ принимать; а буде опричъ оныхъ куриеров кто к тѣм заставам ис тѣхъ жа или из других мѣстъ приѣдетъ или придетъ, и тѣхъ людей у тѣхъ заставахъ содержживать и роспрашивать чрез огонь:

> « хто и какова чину и откуда и кокими дорогами ѣхалъ или шол и давно ль ис Торшка и с - Ынсары и про моровое повѣтрие гдѣ что слышел и давно ль ис Торшка или с - Ынсары? »

и тѣ ихъ роспросные рѣчи, переписывая на первою и на вторую и на третью бумагу, прислать в Розрядъ же, а

тѣхъ людей чрез заставы отнюдь никого не пропускать; а ежели кто ис Торшку или с - Ынсары или с тамошних мѣстъ какимъ способом в городы Московской губерн приѣдетъ или пройдетъ чрез заставу, а опослѣ пойман будутъ, и такихъ вѣшать; а ежели ты будешъ смо рѣть неопасно и оплошкою своею ково пропустишъ, тебѣ за то плочено будетъ тож;

и о всем тебѣ, московскому дворенину, чинить по се великого Государя указу с великим опасениемъ, а д караулу и посылокъ взять тебѣ, дворенину, на ту заста в томъ Серпуховскомъ уѣзде близ той заставы в монасты скихъ и в помѣщиковыхъ і в-отчинниковых селехъ деревняхъ крестьянъ человѣкъ пят и больши самы лутчихъ людей, чтоб в томъ было мочно кому вѣрит

Приписалъ Василей Кирьяковъ.

Справил Михайла Хрущов.

II.

ПАСПОРТ

1819 г.

В Стоглаве гл. 91-ая: «Божественное писание заповеда есть, удалятися от крови и удаленины, и от блуда, нецыи у угождения ради чрвного, кровь коего любо животного, хитрост некако сотворяют снедно, еже глаголет колбасы, и тако кр ядят». И за это наказание: «аще есть причетник, да извержетс аще мирский человек, да отлучится».

Авдотья Наумова, веневская, крепостная нянька Волконск «мирский человек» — всю дорогу, как села в Одессе и до сам Ливорно колбасой питалась (ну, ничего нет больше!) великий гр приняла на душу. Но за то и насмотрелась: Москва-река там в роченная, не оглянешь, а другой раз смотришь, по берегу гря думаешь, картошка, ан виноград! Очень боялась потерять паспо листище вот! в ладонку не зашьешь да и сгибать не велено, н в руках — «печати повредить можно». Авдотья Наумова не грам ная, но люди читали: и чего-чего понанаписано! и про ордена про бриллиантовые звезды, граф Ланжерон, член Вейс, кава Иван Видман, экзекутор Лозовецкий, статский советник Манча

, должно быть, самый над всеми главнеющий — Деслюнис ! и все ни обязаны ее, няньку Авдотью, два года без задержки везде ропускать и во всяком деле оказывать бла-го-во-ление и вспо-о-жение!

Вот она, какая — Авдотья Наумова! Ну, Бог простит: без итрости она колабсу ела, да и не сладко на чужой земле — за ва-то года благоволения! — и за человка тебя не считают, а в оде как чурка.

По Указу Его Величества Государя Императора
Александра Павловича
Самодержца Всероссiйскаго
и прочая, и прочая, и прочая.

Объявляется чрезъ сiе всѣмъ и каждому, кому о томъ вѣдать надлежитъ, что показатель*ница* сего *Генералъ Маiорши Княгини Зенеиды Волконской крестьянка Тульской Губернiи Веневскаго уѣзда изъ села Урусова Авдотья Наумова отправляется чрезъ Портъ Одесскiй въ Ливорно и въ разныя мѣста Италiи срокомъ на два года.* Того ради всѣ высокiе Области приглашаются по состоянiю чина и достоинства, кому сiе предъявится, Нашимъ же воинскимъ и гражданскимъ управителямъ поставляется въ обязанность *означенную крестьянку Авдотью Наумову*, какъ нынѣ изъ Россiи ѣдущ*ую*, такъ и потомъ въ Россiю возвращающ*уюсь* не токмо свободно и безъ задержанiя вездѣ пропускать, но и всякое благоволенiе и вспоможенiе оказывать. Во свидѣтельство того и для свободнаго проѣзда, данъ сей паспортъ отъ *Херсонскаго Военнаго Губернатора* съ приложенiемъ Его Императорскаго Величества печати. Въ *Одессѣ Мая 27* дня 18*19* года.

(*Черная орловая печать*): «Его Императорскаго Величества Печать».

Его Императорскаго Величества Всемилостивѣйшаго Государя моего Генералъ отъ Инфантерiи въ свитѣ Его Величества, Херсонскiй Военный Губернаторъ, управляющiй по Гражданской части въ Губернiяхъ: Херсонской, Екатериностлавской и Таврической, Одесскiй Градоначальникъ, Черноморскихъ казачьихъ войскъ и пограничной стражи главный Начальникъ, Орденовъ: Св: Андрея Первозваннаго, Александра Невскаго украшеннаго бриліянтами, Св: побѣдоносца Георгiя большого Креста 2-й степени, Св: Анны 1-й степени, Австрiйскаго ордена Марiи

Терезіи 3-го класса; Королевства Французскаго Св. Лю
довика; Прускихъ Чернаго и Краснаго Орла большог
Креста; Королевства Шведскаго Меча 1-й степени; Іоанн
Іерусалимскаго и Американскаго Синсиннатуса Кавалеръ
имѣющій золотую Шпагу съ надписью за храброст
Медали: за штурмъ Измаилской и за 1812-й годъ.

Графъ Ланжеронъ

Сей пашпортъ въ Одесской Портовой Таможнѣ явленъ въ Книгу подъ N *166 записанъ Маія 29 д. 1819 года.*

Членъ Вейсъ

No. *2444*
Означенную въ семъ пашпортѣ Авдотью Наумову проп стить чрезъ Карантинъ на Судно шхипера Андреа Ту чиновича и на ономъ изъ порта выпусьить; учинена сі помѣта въ Одесской Карантинной Конторѣ Іюня 4 1819-го года.

Товарищъ въ Карантине Надворной Совѣтникъ и Кавалер Иванъ Видманъ, Експедиторъ Лозовецкій.

Transl.

Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majestät
Alexander des Ersten
Selbstherrschers Aller Reusser
ec- ec. ec.

Allen und jeden, denen daran gelegen, wird hiemit kun und zu wissen gethan, dass Vorzeiger — dieses — Es ergel deshalb an alle hohe Mächte, und an alle u jede, welch Standes und welcher Würde sie auch seyn mögen, dene dieses vorzuzeigen ist, das Ersuchen, unsern Kriegs-un Civil-Beamten aber wird zur Pflicht gemacht, gedacht – sowohl auf — gegenwärtigen Hin-als Rückreise nach Ru sland nicht nur frei und ungehindert passiren, sondern auc allen geneigten Willen und Beistand wiederfahren zu lasse Urkund dessen und zu — freien Reise ist — dieser Pa durch den — von — unter Seiner Kaiserlichen Majest Insiegel ertheilet worden — den — - 181 —

N 500.
Сей паспортъ въ Россійской Министерской Его Импер торскаго Величества въ Константинополѣ Канцелярі явленъ и при отъѣздѣ означенной во ономъ крестьянк Авдотьи Наумовой моремъ въ Ливорно ей возвращенъ сею надписью. Моровая язва въ здѣшней Столицѣ и окружностяхъ продолжается. Пера. Іюня 26-го дня 1819

Статскій совѣтникъ Манчак

(*Накладная орловая печать*)
Visto il presente in questa Imp-le Russa Consolare G-le Cancellaria di Smirne ed in seguito restituito all'esibitrice che parte per Livorno. Smirne li 19 Agosto 1819 A. V.
Il Console G-le S. Deslunis

(*Накладная орловая печать*): «*Печать Константинопольской Канцеляріи*»
N *977*
V. alla Polizia d'Acquapendente li 18 Marzo 1820 Roma pago
Guerra

(*Черная печать*): «Polizia di Acquapendente delegatine apostolica.»

No. 21-do 109 Visto nel Consolato Generale Pontificio in Toscana buono per Roma Via di Terra passando per Firenze. Livorno li 20 marzo 1920

Il Console Generale
Conte Maggior Marchio

(*Красная печать*): «Consolato Generale Pontificio in Toscana. Livorno.

Livorno 20 Marzo 1820. Visto buono per Roma.
Pipiez

(*Черная печать*): «Governo di Livorno».

V alla S. Frediano di Ferenze ad 21 Marzo 1820
Bacy

Firenze li 24 Marzo 1820. Visto buono per Roma solo per il Viaggio.

Borce
(*Красная печать*): «Granducato di Toscana Affari esteri».

Visto buono alla nunziatura di Ferenze per Roma li 24 Marzo 1820.

Valentini
(*Красная сургучная печать*)
Visto alla Dogana di G. Contesso. Li 28 Marzo 1820 Cornevali
S.

Алексей Ремизов.

«ЗАВЕТЫ»

памяти

Леонида Михайловича
Добронравова

1887 — † 26.5.1926.

Добронравов выступил в канун войны с Замятиным и Вяч. Шишковым: Замятин — «Уездное», Шишков — «Тунгусские рассказы», Добронравов — «Новая бурса». (Шишков и «Новая бурса» печатались в «Заветах» у Р. В. Иванова-Разумника, 1913 г.).

«Новая бурса» сразу заняла место в истории русской литературы: после «Бурсы» Помяловского первое и единственное «Новая бурса» Добронравова. Добронравов сделался известным писателем и не по газетам (свои хвалят своих или по каким «политическим» соображениям), а действительно: не было семинариста в Петербурге, да и не только в Петербурге, все читали «Новую бурсу».

У Шишкова большой материал — 20 лет жизни в Сибири, не в ссылке, а доброй волей на работах — Алтай и тайга, сибирские промышленники и разбойники, вот что его привлекало изобразить, он и исполнил— много чего написал и в больших размерах, но первые короткие его рассказы в «Заветах» о странных людях — тунгусах с их полу-речью (дикой или детской), с их кривыми движениями (как во сне: идут не улицей, а кругами через заборы — так вернее!) — это лучшее Шишкова, это — н а с т о я щ е е .

У Замятина материал — «уездное»? — нет, его собственная голова, а средство: слова — игра в склад и лады.

Чехов завершил «интернационализм» русской прозы или, как тут говорят, «космополитизм»: начал Пушкин (Пушкин «прорубил окно в Европу»), расцвет — Тургенев (между прочим, Достоевский рекомендовал Тургеневу обзавестись телескопом, чтобы, сидя в Париже, наблюдать жизнь в России, а

так как жизнь и мысли связаны со словом, то, значит, телескоп и на слова!), конец этому интернационализму — Чехов (достаточно взглянуть на портрет: и это пенсне со шнурком и записная книжечка!). После Чехова — «плеяда» Горького: тут или, как выразился один «поэт» про «Что делать», «*трактат-роман*» (дело почтенное и педагогически очень полезное) или *беллетристика* (то же вещь необходимая в общежитии: читают, обсуждают, спорят): эта беллетристика, конечно, за подписью, но по существу безымянная: все пишут одинаково — одними и теми-же словами, одним складом, с одними оборотами и сравнениями (Леонид Андреев жаловался: «как начну писать, лезет в выражениях одна пошлость!»), иногда очень даже «красиво», попадается и неподдельный «пафос» и искренняя страстность, и всегда все понятно написано — по правилам «грамматически», что без труда переводимо на все европейские языки, хотя в этом и нет нужды (во Франции, например, больше тысячи томов в год выпускается такой беллетристики), правда, скучновато, (одни пространные описания природы чего стоят!), но читается легко (а это-то и нужно) и легко забывается — «беллетристика»! И в то-же время, с концом интернационализма, началась работа над словом по «сырому материалу» и опыты над словом и «русским» складом (как и всегда не от пустого места, в прошлом были примеры: Пушкин — «Балда», «Вечера» Гоголя, Лесков). А началась эта работа с первой революции, можно даже обозначить место: круг Вячеслава Иванова. (Когда нибудь историки литературы выяснят огромное значение этого ученейшаго человека!) И в канун войны в этой «национальной» работе одно из первых мест — Хлебников и Замятин. А от Хлебникова — весь «футуризм», Маяковский (с традицией Ивана Осипова), и кто еще не знаю (телескопом не обзавелся!), но чувствую, есть и должно быть. Один «дурак второго сорта» — (употребляю и совсем не в обиду философскую терминологию Льва Шестова, по- шестовски: дураки бывают двух сортов, первого сорта — это «Дурак», а второго сорта — это «дурак под Дурака»!) —так вот этот «дурак под Дурака» потом уже в самый разгар революции, (урвав поесть), признался мне, что уважать (признавать) начал Замятина, когда в войну, живя в Англии, Замятин написал

> повесть из английской жизни «Островитяне», что до тех пор, состоя редактором «передового» (левого) журнала, он, «дурак второго сорта», в течение нескольких лет, все, что было близко к «Уездному» или другим подобным образцам, безжалостно «бросал в корзинку», а присылался такой материал из самых отдаленных медвежьих (неожиданных!) углов России и, к великому огорчению «по многу». «Второго сорта!» не понял (да так по шестовски ему и полагается, а то как же?), не почуял («редактор!») — в самом деле, не из ж... жи вышла вся современная р у с с к а я (глубоко национальная) проза, Леонов и другие,— не понял что начиналась не какая-нибудь местная работа не петербургская выдумка и сумасбродная затея а что-то гораздо большее — р у с с к о е — какой то сдвиг, поворот — революция! Да, это была революция — еще с революции 1905 года. Революция — завет: прошлое «сделанное» — все, что живо-пламенно, все равно, интернациональное и такое из беллетристики не разрушать ни под какую руку — только дурашливый хозяин в революции коверкает машины и разрушает «налаженный аппарат» каких-нибудь очень полезных хозяйственных учреждений только потому — «революция!» «старый режим!» или еще как. Нет, не на смарку, а кроме того, ведь «слово»! — а слова, как звезды —
>
> *и звезда с звездою говорит* ——

Добронравов — материал еще больше, чем сибирского у Шишкова: Добронравов — сын священника, учился в Петербургской Духовной Семинарии, по дому — связи с духовенством и притом высшим: архиереи, митрополиты, синодские чиновники, Победоносцев, Саблер. Вот что должен изобразить Добронравов и в этой особенной обстановке — церковь, церковная служба, тут ему и книги в руки — в литургике познания его были огромны, бывал он по монастырям и в кельях и в архиерейских покоях.

После «Новой бурсы» (отдельным изданием в 1914 г.) Добронравов выпустил книгу рассказов «Горький цвет» (рассказы 191(-1915г.) и написал целый ряд больших пьес.

У Добронравова был хороший голос баритон — дружил с Шаляпиным. Пристрастие к пению при исключительном даре — к опере, за душой богатейший материал — архиереи, митрополиты, пестрые мантии, митры в драгоценных камнях, панагии, усыпанные бриллиантами, наперсные кресты, звезды, золотые и серебряные ризы, лампады. архиерейский хор, колокола — Добронравов сам

дил как в мантии Святейшего, а его речь — из Оперы (Шаляпин!). Таким представлялся он мне, когда я читал его рассказы царе Сауле — очень величественно и красиво.

А тут Замятин: «красиво?» — «опера»? — — ?

— Если есть что-то самого порочного в литературе, это «красивость»; это какой-то словесный разврат.

— Но это нормально, эта «красивость»!

— Да, конечно. Не даром есть спрос и восхищаются и этим оценивают: «изящно», «красиво». Да, это нормально.

— А что нормально, имеет право быть (так, стало быть, по природе!). И почему «порок» и «разврат»? Имеет право и б дет, как деторождение («прямое назначение женщины дети»!), как лад и строй соловья, живописные ландшафты, приятная, ласкающая и убаюкивающая музыка или как «трагедия» — — из-за «женщины».

— Но есть же разница между соловьем и человеком, между кошкой и женщиной. И ведь тут тоже природа «эта разница», а она есть. «Музыка планет!» что в этой музыке от девятой симфонии?

— Да ничего, наверно.

— Вот! — — и в человеке ничего не может быть от соловья и в женщине от кошки... Один мудрец сказал, что приглашать к себе на обед, это все равно, как пригласить в отхожее место рядушком испражниться. И я думаю, индус прав: неловко! Както неловко тоже читать, когда описывают, как какой-нибудь герой романа «гибнет» из-за «женщины», неловко же слышать «красивые» и «изящные» обороты речи, вообще неловко это «нормальное». А я согласен, это всегда будет, только — — —

Кроме рассказов и пьес, Добронравов писал стихи — под графа Алексея Константиновича Толстого, под былины.

— А ведь былины — — эта слащавая подделка 18 века, пичкали нас во всех хрестоматиях с приготовительного класса, настраивая ухо на какой-то не русский «красивый» лад!

Вот он и призадумался.

И одно время, я не знаю, я не видел прилежнее ученика: с каким старанием и терпеливо он сверял в рукописях поправки; он знал на память целые страницы из Лескова —

— Подражать можно и следует для науки, чтобы самому, проделав всю работу, догадаться, в чем де-

ло — для чего напр. у Лескова какие-то «созвуч ные» слова: «Марья Амуровна», «просить проща ды»: или контрасты: кабак и вот мысль: ехать родильный дом! или начинается в прошедшем и не ожиданно перебивка — настоящее! — как спо хватился или со сторони кто.

Из «Соборян» и «Полунощников» Добронравов читает без кни ги, а сядет писать и эта самая мантия Святейшего на плечах его как живое к живому, и губы катушкой, вот запоет, как Шаляпин —не то «Борис», не то «Хованщина»!

Добронравов был настоящий писатель. У всякого есть какая нибудь особенная склонность: один строить любовь и все что-ни будь мастерит, другой путешествует, третий, хлебом не корми, про политику, четвертый мечтает, а вот попадается, не оторвешь от бумаги, возьмет перо и так оно у него, как само ходит — такая склонность была писать у Добронравова. Во время войны он писал роман из студенческой жизни — 30 листов! Это очень поразило Горького: в наше время такой размах! У Добронравова был раз мах Чернышевскаго. Из «студенческой жизни» — это так, упраж нение: к концу войны он приступил, наконец, к своему заветному — затеял роман (размер — 50 листов!): архиереи, митрополиты мантии, митры, золото, драгоценные камни, лампады, колокола — и назвал «Черноризец». (Название удачное — «по контрасту» впоследствии переменил: «Князь века» — «по оперному»). Несколь ко глав он читал мне. Особенно «Всенощная» — такого никто не использовал: «венощная»! — до ощущения ладана и чув ства «под'ема», когда на Великом выходе запоют «Величание» — сначала клир, потом певчие —

Величаем Тя, Пресвятая Дево,
Богоизбранная Отроковице — —

В революцию (1917) Добронравов забросил «Черноризца», а в 1920 г. уехал из России: поехал проводить мать, сестер и брата —«вернусь через месяц!» да там и застрял, рукопись осталась неоконченной.

Осенью 1924 г. Добронравов появляется в Париже. Я очень об радовался — «вот, думаю, теперь и помереть не страшно, Добронра вов не бросит, похоронят!» — «и справку какую по церковной исто рии или в службе, Добронравов скажет!». «Новая бурса», журнал «Заветы». Р. В. Иванов-Разумник, Шишков, Замятин — — я на помнил о «Черноризце». И секретарь «Заветов» С. П. Постников пишет ему из Праги о «Черноризце». «Рукописи нет — где нибудь в Петербурге, и должно быть, пропала на квартире — надо все за ново!» Но это надо. Ведь это то, что он должен сделать и единствен ный, кто может сделать.

Добронравов занялся «Черноризцем». И, как когда-то в «Заве тах», приходил читать. Называлось «Князь века», не «Черноризец»

Тогда Добронравову было 30 лет и у него был хороший голос ритон, а теперь под 40 и голос пропал. Я слушал, но поправлять мог — в 40 не переделываются. «Мантия Святейшего!» — или когда не сбросить? Или возстанавливать — тоже ничего не выйт? Там был «Черноризец», теперь «Князь века» — «беллетрика» — очень красиво — какие эпитеты, образы! —

— Беллетристика — вещь в общежитии очень нужная и полезная. Пока женщины будут рождать детей, и «герои» погибать из-за «женщины», а «героини» краситься (украшаться) для «героев», пока будут устраиваться (и всурьез!) публичные обеды, пока будет такое «ненормальное» и т. д. и т. д., как же без беллетристики?. «Князь века» — книга имела б огромный успех и здесь в зарубежном несчастьи и там, на родине, в России — но ведь я то хотел другого — и пусть никакого успеха! — такой ведь особенный материал — — и ведь никто больше не может, не знают такого — —

— «Мертвые души» не беллетристика, «Полунощники» не беллетристика, можно сколько угодно читать и никогда не скучно. А «беллетристика» на раз. Во второй раз не возьмешь. Нельзя «перечитывать».

— Ну хотя бы раз!

— И о большем нам нечего думать. В самом деле, все литературное поколение после Гоголя, Толстого-Достоевского, Лескова — все мы — ведь второй сорт и вот нисколечко не прибавили в книжную русскую казну.... разве наши пожелания....?

Про свои пожелания я мог говорить Добронравову, но встретться в «Князя века» я не мог, — теперь уже не 50 листов, а говолось о 30. Всетаки 30, это — я даже себе представить не могу. дно только, чтобы закончил. А то все отдельные главы, и не поймешь, не то из середки, не то из конца...

А потом вдруг Добронравов исчез. И в последний год был у с раза два. Я понял, хотя и боялся себе сказать: «Черноризца» не пишет!» И все как-то отводило от этого разговора. Добронравов рассказывал советские анекдоты:

«Ленин помер, а дело его живет!» (записка, оставленная воами в ювелирном магазине).

«Русская колония празднует свой праздник!» (ответ иностран, что значит звонят колокола в Москве на Святой).

«Авторская скромность». (Надпись на деньгах).

И странно, рассказывал он очень просто, безо всякой «мании» и ни одного «оперного» оборота.

Нынче на Пасху — 1 мая — забрались мы в церковь споз ранку. Пугали нас: трамвай в 8 прекратится и народу найдет, зато кают. Вот мы с 8-и и стали. Стою и дремлю и озноб — будет жа ко, нечем дышать, вот наверху окно и отворено. Так — идешь Никольской, а у Пантелеймона стоят по стенке, дожидаются: м щи привезут! — стою и жду. В церковь зашел Добронравов: плащенице приложиться и свечку поставить. — — Он был оче болен: крупозное воспаление легких, недавно из больницы. Но вы глядел ничего — очень только бледный — а нарядный такой. свое: о «Черноризце». Но он рукой так — пенснэ поправил.

«Ну что нового на Олимпе?»

«Мне — на счет «Олимпа» — !? — и прошу: собрать бы главы «Черноризца», что он написал, — и мне дайте, я придумаю

И простились.

В последний раз. На Преполовение (середа 4-ой недели) п мер: недели не пролежал, «вдруг одно легкое истлело» — скороте ная чахотка!

А когда он приехал в Париж, к кому я только ни пристава «послушайте «Черноризца» Добронравов прочитает!».

«Какой Добронравов?» (а были: «какой Тихонравов?» — в жу, никто не знает!).

«Добронравов, автор «Новой бурсы» (нет, не слыхали! — Р зумник Васильевич, Добронравов помер!), автор «Новой бурсы родной брат Левитова (с его «белой дорожкой», открывшейся е весной!) Слепцова (с его «фе-фе-фофем»), Николая Вас. Успенск го (с жестокими рассказами и жесточайшим концом: в Москве з резался) русский из русских — — ».

Алексей Ремизов.

7.6.26.

БЕЗ ДОГМАТА

1.

Как это ни странно, но русскіе люди до сих пор чрезвычайно мало думают о **смысле** русской революции, вернее сказать: совсем не думают. Ведь нельзя же, в самом деле, считать [...]ственною работою наивные попытки применить к русским со[...]тиям **схемы** французской революции с тем, чтобы говорить [...]адать о «русском термидоре», о «русском бонапартизме», радо[...]ться, когда удается найти хотя бы отдаленное подобие, и за пре[...]ами «похожего» ничего не понимать и не видеть. — Аптекар[...]е занятие! Многие считают его «социологией» и даже наукою. [...] бы и совсем отожествили с наукою, если бы не мешали дру[...] схемы. — Немцы Виндельбанд и Г. Риккерт решили, что исто[...] не повторяется, а Риккерт присоединил к этому еще утверж[...]ние, будто историческое знание заключается в создании и груп[...]овке исторических фактов путем «отнесения к ценности» неоп[...]еленного, **бесконечно** многообразного и бессмысленного эмпи[...]ческого материала. Придумали даже особое слово: «идиогра[...]я» (т. е. «описание частного»), и, прицепив этот ярлычок к [...]ории, успокоились в сознании своей «научности». Вѣрили, что [...]им образом нашли смысл истории, хотя на деле ее обессмысли[...]ли, ибо смысл оказывался не смыслом самой действительности, [...]смыслом или, вернее, домыслом и примыслом «историка». Не[...]ненный и никем не отрицаемый факт неразрывной связи поз[...]заемой исторической дѣйствительности с познающим ее исто[...]ком подменили чисто теоретическим и абстрактным построе[...]ем, именно — ложным утверждением, что познающий создает [...]знавание и познаваемое. На место правильного понимания исто[...]ческого источника, как остатка и пережитка прошлого, более

того — как самого этого прошлого, хотя и данного нам стяжен и убледненно, выдвинулись ошибочные понимания его, как сле оставленного прошлым на чем-то ином, или как **повода** к постр ению суб'ективных образов и воображаемых процессов, соотве ствия коих тому, что действительно было, установить нельзя, и данность действительного прошлого заранее отвергается. Вот у в самом деле, «бытие определяется сознанием». К сожалени только, скрывающееся за этим хилым, хотя и самолюбивым су ективным сознанием «бытие» на поверку оказывается совсем бытием, а ненужным измышлением худосочной мысли. Пра надо благодарить марксистов: они не дают забыть о бытии, упор твердя, что им определяется сознание.

Итак, можно отметить два главных течения историко-фил софской мысли: «социологическое» или научно - обобщаю («номотетическое») и научно - индивидуализующее или ид графическое. Оба обессмысливают историческую действительнос и исторический процесс; первое — тем, что оставляет вне по своего рассмотрения все конкретно-индивидуальное и уходит область абстрактных общих формул, второе же — тем, что отве гает не только «общее», а и самое историческую действител ность, как таковую, и заменяет ее произволом суб'ективных п строений... «Безжизненная схематичность» и «беспринципный су ективизм»: так можно определить основные пороки обоих течени При всем том мы не отрицаем, что и в «социологизме» и в «иди графизме» искажаются весьма жизненные тенденции. Смысл значение этих тенденций вскрыты в нашей «Философии Истори которая пока остается недоступной большинству современник автора. Но не об этом сейчас речь; и оба направления в данн связи важны для нас лишь как симптомы упадка историзма. По т же причине поучительны и своеобразные их взаимопереплетени Несомненно, что своею установкою на конкретно-индивидуальн (**не** своим суб'ективизмом или своею беспринципностью) ид графизм действительно историчен. Без конкретно-индивидуально единичного и неповторимого истории нет. Именно потому мы воспринимаем «исторический» роман Л. Толстого, как в велич шей степени неисторическое произведение. У автора «Войны мира» просто не было органа для восприятия «историческог т. е. специфичности прошлого, и, может быть, вообще чужо Напрасно его ученик и подражатель будет помогать делу пу

ювечек, стилистических закорюк и цитат. Всякая его цитата удет неуместною, хотя бы на волосок, а в этом волоске, в этом эуловимом восприятии специфического весь секрет историка. Не олько обширнейшие и точнейшие знания, даже гениальное дароание, как у самого Толстого, не смогут слепого сделать зрячим; самые подлинные цитаты и точные пересказы будут звучать альшиво. Я готов выдать тайну такого не-исторического истока-романиста. — Его всегда занимает сходство с настоящим, ожествляемое им с «жизненностью». Если же при этом он еще шиблен «идиографизмом», — он постарается принять позу скепического созерцателя. Пожалуй, подобная поза лучше, чем излиющийся в форму «исторического» романа метафизический блуд.

Боюсь читательского недоумения и негодования. — Стоит говорить о второстепенных и потому не заслуживающих наимевания писателях, когда поставлен такой важный вопрос, как торизм? — К сожалению, не только «стоит», а и необходимо. дь прежде всего очень симптоматично, что наша литература ва ли может похвалиться подлинно историческим романом, если лько не считать «Капитанскую Дочку». Это свидетельствует о ительном отсутствии вкуса к истории и понимания истории, а илие мнимо-исторических произведений может лишь содействоть нашему анти-историзму. Не надо преуменьшать воспитальную роль изящной исторической литературы. Не из учебнив, «книг для чтения» и университетских курсов приобретаются рвые исторические впечатления, а именно из рассказов, повей и романов. Таким образом, так называемая «историческая» ящная литература является не только симптомом анти-историзма анти-национализма, но еще и средством их насаждения.. Нам есь существенна лишь симптоматичность факта. И право, перетав историческую художественную литературу для подростков взрослых, невольно задаешь себе вопрос: «а есть ли историзм в специальной исторической литературе? свойственен ли он оим историкам, или же и они так же равнодушны к существу торического, как и русское общество в целом?» Идиографизм помог писателям, избиравшим исторические сюжеты, понять, о такое русская история, хотя именно в описании частного ему , казалось, и место. Впрочем, они, может быть, только сейчас ем узнают. Но помог ли он историкам? способствовал ли росту орического понимания у них? На все эти вопросы, пожалуй,

и совсем не ответишь без предварительного определения, хотя б и самого общего, того, что такое историзм.

2.

Историзм прежде всего определяется чутьем и чуткостью к единственности, неповторимости и специфичности прошлого. Вместе с тем это прошлое воспринимается, как нечто из себя самого развивающееся, как обладающее диалектикою своего развития и органически целостное. Оно, далее, не оторвано от окружающего, не отвлеченно, а сращено со всем и непрерывно со всем связано, органически продолжаясь в самом настоящем. Можно поэтому исторически воспринимать и понимать и настоящее, которое не лежит за пределами истории. Именно потому у всякого настоящего есть **свое** прошлое, и один и тот же исторический факт являет разные свои стороны в зависимости от того настоящего, в связи с которым он рассматривается. Ибо всякий факт бесконечно многообразен заключает в себе бесконечное множество возможностей, которые уясняются и осуществляются лишь в последующем развитии. Этим об'ясняется **исторически-общее**, под которым надо разуметь не что-то отвлеченное, замкнутое в себе и в качестве тагового повторяющееся, но — некоторый **основной** факт в раскрытии разных своих возможностей. Таким основным фактом является, например, революция, т. е. процесс перерождения государственности; разные же стороны революции обнаруживаются в революциях английской, французской, русской и тем позволяют понять (но не в отвлеченной формуле выразить) самое революцию, как один из основных фактов. И если социологизм ошибается, отожествляя исторически-общее («основное») с отвлеченно-общим, т. е. уподобляет историческое естественно-научному, то идиографическое направление грешит отрицанием исторически-общего («основного»).

Вникая во внутреннюю связь и связность всех исторических явлений, что ярче всего обнаруживается в упомянутых сейчас «основных» фактах (в исторически-общем), мы понимаем, почему историк усматривает в прошлом не только «корни» или «начала» настоящего, но и само настоящее. Это неизбежно и нужно, однако это становится вредным и неисторическим занятием, к

оро за настоящим в прошлом не усматривается специфичность
иого прошлого и задача сводится к отысканию отвлеченно-об
их формул. Вполне, с другой стороны, понятно, что полная
нкретность немыслима, если остается в пренебрежении момент
циональный. Подлинный историзм всегда национален: как в том
ысле, что воспринимает развитие культуры в неразрывной связи
развитием наций, так и в том, что он и «всемирную» историю
нимает по отношению к народу историка и к миссии этого
рода. В отрыве от национальной проблемы историзм вырож-
ется в модное недавно у нас «ретроспективное мечтательство»,
ичем часто в самой национальной истории внимание сосредо-
чивается не на своем, а на заносном, например — для истории
ской — на быте, костюмах и зданиях 18-го в., на успехах
ропейского просвещения и т. д. Неудивительно, что расцвет
торизма всегда связан с под'емом национального самосознания.

Итак, основным признаком историзма является сознание
ецифично-неповторимого в его связи и единстве с целым, а спе-
фическое необходимо предстает и как национальное. Всего
эго, однако, еще мало. Всякое историческое явление укоренено
только в национальном целом и не только в целом человече-
за, но еще и в сфере абсолютно значимого. Национально-куль-
рное бытие получает смысл и оправдание лишь в том случае,
ли оно осуществляет абсолютно-ценную миссию; всякий
мент развития приобретает смысл лишь чрез связь с этою мис-
ею. Именно здесь источник учения об исторических идеях, од-
сторонне и суженно выражающего историзм. И здесь же пос-
днее об'яснение связи между развитием историзма и развитием
ционального самосознания. Ибо здоровое и сильное националь-
е самосознание всегда определяется абсолютно значимыми и
солютно оправдываемыми идеями, а идеи абсолютно значимые
обходимо и историчны. И если подлинный и развитой историзм
егда национален, то и расцвет национального самосознания
егда выражается в некоторой новой историософской концепции.
кая концепция, освещая и осмысляя все прошлое, не является
м-то предопределяющим и роковым, связывающим свободное
леполагание и свободную деятельность. Ведь она осмысляет все
ошлое из настоящего и содержит в себе это настоящее со всею
о свободною устремленностью к созидаемому им будущему.
омент свободного творчества настолько мощен, что преодоле-

вает даже ложные историософические концепции. Так революц онеры, исповедывающие марксистскую веру и, следовательн признающие лишь необходимый, незыблемыми законами пред пределенный ход развития, не замечают вопиющего против речия между их верою в необходимость и их свободной деятел ностью. Они проникаются пафосом творчества, хотя и мнимог и воодушевлением борьбы.

3.

Не следует считать историзм качеством, присущим лишь и торику-специалисту или даже только достигающим высшего свое развития лишь в историке-специалисте. Занятия историей, конечн предрасполагают к историзму, но историк может и совершенно не обладать. В эпохи национального упадка он чаще всего и о тается чуждым историзму, увлекаясь социологическими схема или погружаясь в специальные изыскания, с общими историческим идеями и проблемами не связанные. Собиратель исторических и точников, издатель-редактор их, библиограф, архивист и т. п. обязательно обладают историческим чутьем и, как таковые, еще в праве притязать на историзм. Даже автор специальной моногр фии или общего курса не необходимо является историчным, хо бы он и был превосходным историком-ученым. Все это — банал ные истины; но о них приходится настойчиво говорить, так как н кто их в серьез не принимает. Именно потому от специалиста-ист рика ожидают ответов на те вопросы, на которые бы должны и мо ли отвечать сами. Почтительно склоняются перед его «научностью не понимая, что «научность» по нынешним временам неизбеж ограничивается узкою специальностью и что всплывающие во росы шире всякой «научности». Но надеяться в данном случ на специалиста-историка то-же самое, что воздерживаться от р шения вопросов о бытии Божьем, бессмертии души, нравственн религиозной деятельности и т. д. в надежде на «авторитетное решение философа. Оттого то и случается, что в качестве фил софа (хотя бы и под иным наименованием) выдвигают Бухарин а в качестве историка — Рожкова.

Историзм не постоянное свойство народа. Есть эпох исторические и не-исторические, причем расцвет истории, как сп цифической науки, не всегда совпадает с первыми, хотя час

его ими обуславливается и за ними следует. Историзм зарождается, когда в народе, т. е. в лучших выразителях его, пробуждается и стремится себя высказать национальное самосознание. Оно находит себя и свой язык в новой историософской концепции, содержащей те идеалы или цели, которые свободно себе ставит народ, и из них осмысляющей его прошлое. Эта концепция — конечно, если она органична и действительно народна, — не прошлое определяет будущим и не будущее прошлым, но раскрывает с большею или меньшею ясностью и полнотою сверхвременный идеал и сверхвременное существо народа. Она выражает природу народа, но природа здесь не необходимость и предопределенность, а сама свободная воля народа, осуществляющая себя в всей его истории. Когда русский человек говорит: «Коммунизм не соответствует духу русского народа», или: «Реставрация императорской России невозможна», он не покорно склоняется пред приятною или неприятною для него необходимостью, а либо думает: «Я вместе с моим народом не хочу коммунизма и реставрации», либо отрекается от своего народа. Конечно, сверх того он может еще и ошибаться (хотя и не в приведенных двух случаях).

Новая историософская концепция естественно увлекает и специалистов-историков. Они начинают ее развивать и обосновывать на историческом материале, устранять неизбежные наивность и недостаточность первой ее формулировки; и, таким образом, историзм проникает в сферу истории-науки. Во всяком случае, новая концепция становится и для специалистов-историков тем центром, около которого начинает обращаться их специальная работа. Они или защищают и раскрывают зародившиеся идеи, или борются с ними во имя других идей, либо во имя беспринципной научности. И долго еще после первой и пламенной идеологической борьбы поставленные ею проблемы остаются средоточием собственно-исторической работы. Так, русская историография до сих пор все еще не исчерпала и до конца не уяснила славянофильской проблемы о смысле реформ Петра.

Автор не хочет умалять значение исторической науки и таким образом ставить себя в положение не помнящего родства. — У исторической науки свои специальные задачи. Ее работа нужна и для историософских построений. Но надо ясно сознавать границы специальности, т. е. не требовать от историка-специали-

ста, чтобы он обязательно обладал историософским миросозерцанием и являлся высшею апелляционною инстанциею во всех спорах о верности и ценности той или иной историософской концепции. Это не его дело; и это может быть его делом лишь постольку поскольку он — больше, чем специалист-историк. Если он сам притязает на роль верховного авторитета во имя своей «научности», надо ему напомнить о границах его специальности и деликатно «поставить его на место». Необходимо отделаться от гипноза научности (т. е. всегда — ограниченной специальности), который уже привел к нелепой вере в рефлексологию и марксизм. Отсюда не следует, что кто-нибудь, кроме историка-специалиста, может вполне конкретизировать и обосновать историософскую концепцию и что его критика не имеет существенного значения. Развитие историософии можно определить, как борьбу между интуитивной историософией и историческою наукою. Только в процессе этой борьбы и может историософская система приобрести полную ясность и обоснованность.

4.

Первые признаки русской историософии появляются в XVI веке — в послании инока Филофея Василию III, в распространении идеи «Русского Царства», как «Нового Израиля», в целом ряде религиозно-национальных легенд и преданий. Но только в XIX в., у славянофилов русская историософия выходит из мифологической формы и выливается в наукообразную систему идей. Славянофилы выдвинули Православие, как само вселенское христианство, и русский народ, как преимущественного исповедника и носителя его. Они попытались вскрыть в русском национальном укладе проявление основ Православия, усматривая их в отражающих догму «соборности» своеобразных взаимоотношениях между индивидуумом и целым, между «землею»-народом и властью, в специфичности правосознания, в крестьянском «мире». Тем самым определялось отношение России к инославному Западу; сначала — внутри самой России. Практически эта последняя проблема приняла форму оценки Петровской Реформы, оценки критической, но по замыслу славянофильства совсем не всецело отрицательной, и привела к борьбе с идеологами западной

ультуры, как культуры единственной и универсальной. В ас-
екте «всеобщей» истории противопоставление России Европе
еобходимо и естественно вылилось в форму обще-исторической
онцепции, которую набрасывал уже А. С. Хомяков, упрощенно
ысказал Данилевский и еще более упростил, но вместе и видо-
зменил и обогатил К. Леонтьев. Православная Россия предстала,
ак особый религиозно-культурный мир со своими особыми зада-
ами и со своею особою обще-человеческою миссией. К не-
частью, русское национальное самосознание расплылось у боль-
шинства славянофилов в панславизме, главным образом, думаем,
потому, что жизненные задачи России были основательно забыты
затемнены европеизовавшеюся империею и единственною точ-
ою приложения для национально-русской политики казался сла-
янский вопрос. Эта ошибка славянофилов, оплодотворившая,
прочем, «славяноведение» (В. И. Ламанский), была исправлена
первые указавшим на значение туранства К. Леонтьевым, все-
аки славянофилом, но исправлена для судеб славянофильства
лишком поздно.

Русские западники, сами имевшие за душой очень мало
своего, да и этим немногим владевшие вопреки своему западни-
честву, сделали все возможное, чтобы уличить в «неоригиналь-
ности» своих врагов — славянофилов. Аргумент, уместный в ус-
тах славянофилов, оказался направленным именно против них и
притом как упрек, хотя для нападавшего западника он должен
бы, казалось, звучать похвалою. В атмосфере инсинуаций и по-
верхностного зубоскальства появилось и утвердилось даже в
учебниках обвинение славянофилов в «шеллингианстве». Но до-
статочно ли это до сих пор импонирующее обвинение для того,
чтобы отрицать национальное существо славянофильской идеи?
Во-первых, установление сходства и сродства еще недостаточно
для установления зависимости. Во-вторых, нет никакой нужды
отрицать гениальность Шеллинга и Гегеля и утверждать, что оба
они **только** заблуждались и фантазировали, а ничего истинного
и абсолютно значимого так и не видели. Подобные утверждения
совершенно не согласуются с духом историзма. В-третьих, нет
вообще ни одного исторического явления, которое бы не стояло
в связи с другими, не «влиало» и не испытывало влияний. Весь
вопрос не в том, «влияла» ли германская философия на славяно-
филов, а в том, являются или нет славянофильские идеи, подобно

западническим, простым **повторением** западно-европейских. Отри
цательный же ответ на этот вопрос неизбежен. — Славянофилы
отталкивались от немецкого идеализма. В борьбе с ним они ус
матривали и его правду, и его ошибки, и свои новые и конкрет
ные принципы. Они усваивали методы европейского философ
ствования, но от этого не становились менее оригинальными, че
комбинировавший идеи Декарта и Юма Кант или воспроизводив
ший мысли Дунса Скота Декарт. Такова была судьба русског
самосознания, что оно вынуждено было выражать себя на уж
готовом чужом языке, а создание своего языка предоставить бу
дущему. Это ясно понимал не кто иной, как И. В. Киреевский
когда он обращался к изучению свято-отеческой литературы.

Как бы то ни было, развитие русской историософии пошл
по пути, намеченному славянофилами; и мы затруднились бы
найти в русской литературе какую нибудь ценную историософи
ческую концепцию, кроме славянофильской. И не случайно в пе
риод оживления нашего национального самосознания рано умер
ший русский мыслитель В. Ф. Эрн, произнес знаменательны
слова: «Время славянофильствует». Нам, конечно, известно при
менение к истории России теории родового быта. Но разве эт
историософская концепция, а не внешне прилагаемая к русско
истории, и к тому же довольно бледная схема? Можно ли назват
именем историософии искания на Руси феодализма, связанные
именем Павлова-Сильванского, обобщающая книга которого, п
справедливому замечанию его учителя и одного из крупнейши
русских историков С. Ф. Платонова, «ниже ее автора»? Ил
«Очерки русской культуры» Милюкова? Или общие обзоры Рож
кова и Покровского, который, впрочем, поталантливее Милюков
или Кизеветтера? Вне славянофильского построения не было
нет никакого. Из этого, впрочем, не следует, что славянофиль
ская концепция достигла достаточного развития, получила обо
снование и вышла из стадии первичной интуиции. Русская исто
рическая наука уклонилась от того задания, которое поставил
перед нею устами славянофилов русское национальное самосо
знание. Она, конечно, вовлекла в сферу своего рассмотрения от
дельные проблемы, выдвинутые ими; но она просто прошла мим
системы их идей, как таковой. Этим мы нисколько не желае
умалить специальные заслуги исторической науки в России. Мы
лишь констатируем разрыв между нею и национальным само

знанием, ее самозамыкание в сфере своих специальных интере-в. Поэтому мы и не находим в ней синтетического построе-я. Потому подростающее поколение, которое настроено нацио-льнее, чем его отцы и деды, должно либо испытывать разоча-вание либо хвататься за марксистскую макулатуру.

5.

Здесь невольно всплывает имя В. О. Ключевского. Из двух бщих курсов» Русской Истории, которые должны быть приз-нными за лучшие, курс С. Ф. Платонова до сих пор остается форме авторизованных автором записей его лекций и дает наи-лее об'ективное и критическое изложение того, что сделано сскою историческою наукою. Такова цель профессора и ав-ра, не притязающего на историософское построение. Курс О. Ключевского, несомненно, уже проникнут синтетическим тремлением. В нем автор хочет дать связную и стройную си-ему, с первых же «лекций» ограничивая и определяя свою за-чу и ясно давая почувствовать ее конструктивность. К тому и по типу своего исторического мышления Ключевский преж-всего синтетик и конструктивист. Уступая Платонову в чет-сти мысли и глубине анализа, Ключевский обладал исключи-льною чуткостью к специфичности прошлого и ярким ощуще-ем исторической стихии. И если он часто отделывался от про-емы красочною, но туманною метафорою или острым словцом, мало областей русской истории, где бы его необыкновенное торическое чутье не позволило ему показать новые пути или новому осветить старые. Влияние Ключевского в русской ис-риографии трудно преувеличить, чему не мешает то, что те-рь, после трудов петербургской школы и, главным образом, Е. Преснякова, многие существенные для него построения нуж-считать ошибочными. Но Ключевский же сумел пробудить терес к русской истории в широких кругах общества. И тут у помог его исключительный изобразительно-художественный лант, который сказывался преимущественно в сфере устного ова. Один из лучших русских стилистов, Ключевский отделывал ои лекции до мелочей, но благодаря гениальному дарованию тера умел их повторять из года в год, как новые, как только что

рождающиеся, и оставлять в слушателях неизгладимое впечатл· ние. Только слабая доля этого впечатления могла быть воспр· изведена печатно. С чисто «профессорским» дарованием Ключе ского связаны и специфические его недостатки, смягченные а тором в редактированных им первых четырех томах «Курса», н приятно-явственные в записях, изданных Я. Л. Барсковым (в V т.

Мы не хотим здесь касаться Ключевского как историк ученого. Перед нами другой вопрос, более общий и не мен важный. — Если от кого либо можно было требовать истори софской концепции, так именно от Ключевского. Удовлетворя ли он нас в этом отношении? дает ли он удовлетворяющий н ответ на задание русского национального самосознания? разв вает ли славянофильскую систему или противопоставляет новую?

В свое время русское общество было неприятно пор жено тою оценкою Александра III, которую дал Ключевски А ныне всякому должно быть ясным, что не общество ошиб лось. Очевидно, историк России плохо понимал ее современност Славянофилы и Ф. И. Тютчев в свое время оценивали Николая несравненно трезвее. Легко себе представить, какое впечатлен на слушателей производили и каким успехом пользовались дав емые Ключевским и частью сохранившиеся в печатном курсе хлес кие характеристики императриц и императоров. Студенты радов лись, находя в них «научное» обоснование их революционн ненависти к русскому правительству и осуждение русской совр менности. Правительство настораживалось и посматривало на п пулярного профессора с подозрением. Профессор же смешив науку с публицистикой, часто и совсем неуместной. Нередко в прошлом критиковал настоящее, и не потому, что знал о чем- лучшем. К чему эта суммарная характеристика маленьких неме ких принцев и принцесс в связи с Екатериной II, характеристи близкая к шаржу? или ничего не дающая характеристика ее рел гиозного воспитания? К чему гражданская скорбь в форме вариа та Соловьевского изречения по поводу эпохи Алексея Михайлов ча: «не успели еще завести элементарной школы грамотности, уже поспешили устроить театральное училище»? Обидно и сты но сказать, но — лицо крупнейшего русского историка искажает ехидною улыбочкою поповича-нигилиста.

Все это мелочи, скажут нам, искусные ораторские или ле

рские приемы для того, чтобы удержать внимание слушателей. – Не думаю. И случайно ли, является ли только техническим риемом обличительное направление, господствующее в «Курсе»? Іастерски излагая крестьянский вопрос, автор сосредоточивает нимание на ошибках и неудачах правительства и забывает сказать о том, сколько положительного эти ошибки и неудачи всеаки давали. Сопоставьте спокойное и обстоятельное изложение кадем. Платонова в его новой книге «Москва и Запад» с соответствующими страницами Ключевского. Вам тогда удастся улоить односторонность второго, едва ли искупаемую блеском хуожественной формы. Право, читателю «Курса» остается непоятным, как могло создаться Московское Государство и как оно іогло удержаться и пережить «Смуту», если все было так плохо і грубо. Это не суб'ективное впечатление. — Сам автор нередко іовольно низко оценивает русскую культуру с высоты европейкой. Так, он подчеркивает «византийско-церковную черствую обрядность», хотя в лоне этой обрядности росли и жили и Диониий, и Ртищев, и Неронов, и Аввакум. «Говорят, культура сбликает людей, уравнивает общество. У нас было совсем не так» (лекция XL), как будто с горечью замечает автор. Но мы то знаем, что такое европейское (коммунистическое) уравнение, и отовы прибавить: «Слава Богу, что не всегда у нас было так, как в 1918 — 1920-х годах». «Сословия различались не правами, а обязанностями, между ними распределенными». Разве это плохо? разве это хуже, чем трафарет европейского индивидуализма, по меньшей мере столь же одностороннего? Обличая земские соборы с европейско-демократической точки зрения, Ключевский пишет: «Как могли сложиться такие условия, откуда было вырости таким понятиям на верхневолжском суглинке, столь скупо оборудованном природой и историей»? (л. XL). И он склонен видеть, миссию России в том, что мы «спасали европейскую культуру от татарских ударов», «оберегали тыл европейской цивилизации» и несли «сторожевую службу» (ч. III, стр. 491 сл. изд. 1923 г.).

Неужели только в этом наша миссия? — Лестно для русской «жертвенности», которая довела русских людей до попытки превратить Россию в опытное поле для коммунизма, но не лестно для нашего национального самосознания. Но верно ли? И не по разному ли понимаем мы миссию? Для Ключевского «основная

задача» местной, т. е., в частности, русской истории, сводит к «познанию природы и действия исторических сил в местн сочетаниях общественных элементов» (ч. I, стр. 23). Местн история, по его мнению, — подготовительная стадия для обще социологического построения. Миссия народа кажется ему эп феноменом национального самосознания, который он наблюдае не вдаваясь в рассмотрение его смысла и значения (стр. 14 Иногда, правда, слова его звучат несколько иначе (стр. 39), до признания абсолютного смысла и значения миссианской ид он никогда не доходит. Да и не может дойти. Ведь он всег и во всем оставался типичным релативистом, уклоняясь от вс ких вопросов об абсолютном. Он, скажут, отличал их от наук Ну что же? — Тем хуже для науки. Вот один пример — рассу дение в пользу понимания житий святых, как поэтического тво чества. — «В каждом из нас есть более или менее напряжени потребность духовного творчества, выражающаяся в наклоннос обобщать наблюдаемые явления. Человеческий дух тяготится ха тическим разнообразием воспринимаемых им впечатлений, скуча непрерывно льющимся их потоком; они кажутся нам навязч выми случайностями и нам хочется уложить их в какое нибу русло, нами самими очерченное, дать им направление, нами ук занное. Этого мы достигаем посредством обобщения конкретн явлений. Обобщение бывает двоякое. Кто эти мелочные, разб тые или разорванные явления об'единяет отвлеченною мыслы сводя их в цельное миросозерцание, про того мы говорим, что философствует. У кого житейские впечатления охватываются в ображением и чувством, складываясь в стройное здание образ или в цельное жизненное настроение, того мы называем поэтом (Л. XXXIV, ч. II, стр. 312).

Если так, то понятно, почему Ключевский «методологи чески» сосредоточивается на политических и социально-экономи ческих процессах, относя «идеи» к «области индивидуального почему он — как, впрочем, и большинство русских историко — историю духовной культуры из «Курса» своего исключае Он обращается к ней лишь для того, чтобы дать одну из свои блестящих, но по преимуществу современно-полемических хара теристик или чтобы мимоходом об'яснить «духовную цельнос древне-русского общества» греческим влиянием, а не природо самого этого общества. Но если все влияние, да влияния, — г

[т]е само испытывающее влияние? Мы считаем «методологиче[с]кое» (на самом деле не только методологическое) самоограни[ч]ение Ключевского «понятным». — Взятая сама по себе сфера [с]оциально-экономических отношений — преимущественная сфе[р]а всяческого релативизма. А что касается до сферы политиче[с]кой, так автор берет ее вне ее абсолютных оснований, суживает [е]е до проблемы внешней организации власти и к идее государ[с]твенности чувствителен менее, чем Карамзин.

Приведем несколько примеров. — Благодаря односторон[н]ей характеристике Киевского периода (очередной порядок кня[ж]еского владения) теряется идея государственного единства рус[с]кой земли, как и государственное значение Церкви. С другой [с]тороны, за счет той же государственной идеи преувеличены вот[ч]инные моменты в Северо-восточной и в московской Руси, обо[с]тренно воспринимаемые автором еще и потому, что он сопостав[л]яет до-Петровскую Русь с теоретическими построениями юрис[т]ов XIX в. Только недостаточною чуткостью к проблеме русской [г]осударственности можно об'яснить невнимание к выводам «Очер[к]ов истории Смуты в Московском государстве». В России же [п]осле Петра остается нераскрытым государственный смысл пери[о]да временщиков, во время которого слагался новый правящий [с]лой. Даже мимоходом брошенная глубокая и плодотворная мысль [о] связи освобождения крестьян с развитием бюрократии должного [р]азвития не получает.

Итак, даже у Ключевского нет историософской идеи и раз[в]итой общей концепции. Занимая одно из первых мест среди [м]астеров русской исторической науки, и он принадлежит прош[л]ому, и он не может стать опорным пунктом для вновь пробуж[д]ающегося русского самосознания. Оно же, как и в эпоху сла[в]янофилов, все еще задает свои проблемы русским людям и рус[с]ким историкам. Историки изменились, вступив в обладание не[п]редставимым в эпоху славянофилов историческим материалом и [д]оведя до высокой степени совершенства и тонкости технику [с]воей науки. Но усложнилась и проблематика национального со[з]нания. К основным славянофильским проблемам присоединяются [н]овые. Проблема «Россия-Европа» через проблему «Россия-Азия» [р]асширяется в идею России-Евразии, как особого культурного [м]ира и особого континента. А в связи с этим само национальное [с]ознание получает новый смысл, уже не позволяющий сопостав-

лять это сознание с ограниченным и местным национализмом Ев-ропы. Оно раскрывается как единство невиданного по своему про-тяжению и размаху культурного мира, культуры-материка и ска-зочного государства. С другой стороны, небывалый революцион-ный процесс ставит проблему новой России, как ее общечелове-ческую историческую миссию. Ибо нельзя судить по ложным предчувствиям и блужданиям русского коммунизма. Но, внима-тельно всмотревшись в его судьбы и его влияние, уже можно судить о том, что будет, если распыляемые в нем величие и мощь направятся на свою подлинную, коммунизмом искажаемую цель.

Л. П. Карсавин.

Париж.
1926, октябрь.

ТРАГЕДИЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Извинения автора

итатель: Опять! Как можно ставить такую бездарную тему? Вы возраждаете традиции толстых журналов 90-х годов. Неужели с вас мало возов бумаги, исписанных народниками и марксистами?

втор: Вы могли бы прибавить к ним и Александра Блока. Не говорит ли вам это имя о том, что мы имеем здесь дело с одной из роковых тем, в которых ключ к пониманию России и ее будущего?

итатель: Но откуда ваша уверенность в том, что после стольких почтенных предшественников вам удастся сказать новое слово?

втор: Это не самомнение, просто счастливая позиция. Я хочу сказать: наше общее историческое место. Мы, современники революции, имеем огромное, иногда печальное преимущество — видеть дальше и зорче отцов, которые жили под кровлей старого, слишком уютного дома. Мы — пусть пигмеи — вознесены на высоту, от которой дух захватывает. Может-быть, высота креста, на который поднята Россия... Наивным будет отныне все, что писал о России XIX век, и наша история лежит перед нами, как целина, ждущая плуга. Что ни тема, то непочатые золотые россыпи.

итатель: Гм, вот не подумал бы, читая весь тот вздор, который пишут о России люди, ущемленные революцией.

втор: Да, ущемленные... Те, что не хотят видеть. Простите за несколько классических сентенций: истина открывается лишь бескорыстному созерцанию. Очищение от стра-

стей — необходимое для нее условие. — И прежде вс
го, от духа злобы.

Читатель: Посмотрим, насколько вам это удастся. Мне это к
жется даже чем-то бесчеловечным.

Автор: «Человек есть нечто, что должно быть преодолено». Е
одна цитата.

Читатель: Допустим, но все-таки ваша тема... Она уже потому м
представляется дикой, что революционная Россия изж
ла противоположение интеллигенции и народа. Прав
в значительной мере, ценой уничтожения интеллигенци
Эта тема русской историей уже исчерпана.

Автор: Вот это именно мне и хотелось бы исследовать.

More Scholastico

Говоря о русской интеллигенции, мы имеем дело с ед
ственным, неповторимым явлением истории. Неповторима не то
ко «русская», но и вообще «интеллигенция». Как известно, э
слово, т. е. понятие, обозначаемое им, существует лишь в наш
языке. Разумеется, если не говорить об intelligentia фи
софов, которая для Данте, напр., значила приблизительно то
что «бесплотных умов естество». — В наши дни европейские я
ки заимствуют у нас это слово в русском его понимании, но
удачно: у них нет вещи, которая могла бы быть названа эт
именем.

Правильно определить вещь — значит почти разгадать
природу. В этом схоластики были правы. Трудность — и нема
— в том, чтобы найти правильное определение. В нашем слу
мы имеем дело с понятием историческим, т. е. с таким, кото
имеем долгую жизнь, «живую», а не только мыслимую. Оно с
дано не потребностью научной классификации, а страстными —
хотя идейными — велениями жизни. В этой жизни полны оп
деленного и трагического смысла нелепые на Западе антите
«интеллигенция и народ», «интеллигенция и власть». Мы долж
исходить из бесспорного: существует (существовала) груп
именующая себя русской интеллигенцией, и признаваемая за

ковую и ее врагами. Существует и самосознание этой группы, искони задумывавшейся над своеобразием своего положения в мире: над своим призванием, над своим прошлым. Она сама писала свою историю. Под именем «истории русской литературы», «русской общественной мысли», «русского самосознания» много десятилетий разрабатывалась история русской интеллигенции, в одном стиле, в духе одной традиции. И так как это традиция автентическая («сама о себе»), то в известном смысле она для историка обязательна. Мы ничего не сможем понять в природе буддийской церкви, например, если будем игнорировать церковную литературу буддистов. Но, конечно, историк остережется слепо следовать традиции. Его биографии не жития святых. Кое-чем он прислушается и к голосу противников, взор которых обострен ненавистью. Ненависти многое открывается, только не то, самое главное, что составляет природу вещи — ее essentia

Но обращаясь к «канону» русской интеллигенции, мы сразу же убеждаемся, что он не способен подарить нам готового, «канонического» определения. Каждое поколение интеллигеции определяло себя по своему, отрекаясь от своих предков и начиная — на десять лет — новую эру. Можно сказать, что столетие самосознания русской интеллигенции является ее непрерывным саморазрушением. Никогда злоба врагов не могла нанести интеллигенции таких глубоких ран, какие наносила себе она сама, в вечной жажде самосожжения.

«Incende quod adorasti. Adora quod incendisti.»

Завет св. Ремигия «сикамбру» (Хлодвигу) весьма сложными литературными путями дошел до «Дворянского Гнезда», где в устах Михалевича стал исповедью идеалистов 40-х годов.

И я сжег все, чему поклонялся,
Поклонился всему, что сжигал.

За идеалистами — «реалисты», за «реалистами» — «критически мыслящие личности» — «народники» тож за народниками — марксисты — это лишь один основной ряд братоубийственных могил.

Но, отрицая друг друга, отрицая даже «интеллигенцию», как таковую (марксизм), братья-враги одинаково видели ее: живую, историческую личность в ее скитальчестве от Новикова и

Радищева до наших дней. Во всех «историях» русской интелли генции мы встречаем одни и те же имена. Несогласные в опр делении понятия, канонические авторы, согласны в его об'еме. I об'ема мы и должны исходить. Для исторического понятия об' не произволен, а дан. Признаки определения должны его исче пать, не насилуя, как платье, сшитое по мерке. Попытаемся уст новить этот об'ем, ощупью, примеряя и исключая то, что не я ляется русской интеллигенцией.

Прежде всего, ясно, что интеллигенция — категория профессиональная. Это не «люди умственного труда» (intelle tuels). Иначе была бы непонятна ненависть к ней, непонятно ее высокое самосознание. Приходится исключить из интеллиге ции всю огромную массу учителей, телеграфистов, ветеринар (хотя они с гордостью притязают на это имя) и даже профес ров (которые, пожалуй, на него не притязают). Сознание инте лигенции ощущает себя почти, как некий орден, хотя и не зн ющий внешних форм, но имеющий свой неписанный кодекс чести, нравственности, - свое призвание, свои обеты. Не вроде средневекового рыцарства, тоже не сводимого к классов феодально-военной группе, хотя и связанное с ней, как инт лигенция связана с классом работников умственного труда.

Что же, быть может, интеллигенция — избранный ш этих работников, людей мысли по преимуществу? И история р ской интеллигенции есть история русской мысли, без различ направлений? Но где же в ней имена Феофана Затворника, По доносцева, Козлова, Федорова, Каткова, — беря наудачу неско ко имен в разных областях мысли.

Идея включить Феофана Затворника в историю русс интеллигенции никому не приходила в голову по своей чудов ности. А между тем влияние этого писателя на народную жи было несравненно более сильным и глубоким, чем любого из миров русской интеллигенции.

Попробуем сузиться. Может быть, еп. Феофан, Катко Победоносцев не принадлежат к интеллигенции, как писат «реакционные», а интеллигенцию следует определять, как и ный штаб русской революции? Враги, по крайней мере, ед душно это утверждают, за то ее и ненавидят, потому и счит возможным ее уничтожение — не мысли же русской вооб в самом деле? Да и сама интеллигенция в массе своей была го

смотреть на себя именно таким образом. И однако: не говоря же о том, что очень значительная часть русской интеллигенции не помышляла о революции (либералы), есть и в святцах интеллигенции имена, не имеющие ничего общего с политической борьбой. При чем здесь, например, Чаадаев? В каком смысле могут быть причислены к революционерам славянофилы? И еще: заметьте, с какой нежностью историки русской интеллигенций говорят о гегельянских блужданиях Белинского. Белинский эпохи «Бородинской годовщины» чем не «реакционер»? Но ему все прощают — и не только, как временное падение, искупленное сторицею. Нет, при всем своем политическом пафосе, русская интеллигенция проявляла иногда и бескорыстие, умела ценить героическую личность и идею, чуждые ее господствующим идеалам. Умела ценить идеализм, как таковой. — Да, но не всякий. И не всякого идеалиста заносила в святцы. Занесла старых славянофилов, но отвергла новых. Занесла Чаадаева, Печерина, Вл. Соловьева, но отвергла Хомякова, Гоголя, Победоносцева — как богословов, — уж, конечно, не по пристрастию к католичеству.

Есть в истории русской интеллигенции основное русло — от Белинского, через народников к революционерам наших дней. Думаю, не ошибемся, если в нем народничеству отведем главное место. — Никто, в самом деле, столько не философствовал о призвании интеллигенции, как именно народники. — В этот основной поток втекают разные ручьи, ничего общего с народничеством не имеющие, которые говорят о том, что интеллигенция могла бы итти и под другими знаменами, не переставая быть сама собой. Вдумаемся, что об'единяет все эти имена: Чаадаева, Белинского, Герцена, Писарева, Короленко — и мы получим ключ к определению русской интеллигенции.

У всех этих людей есть идеал, которому они служат и которому стремятся подчинить всю жизнь: идеал достаточно широкий, включающий и личную этику и общественное поведение; идеал, практически заменяющий религию (у Чаадаева и некоторых других, впрочем, связанный с положительной религией), но по происхождению отличный от нее. Идеал коренится в «идее», в теоретическом мировоззрении, построенном рассудочно и властно прилагаемом к жизни, как ее норма и канон. Эта «идея» не вырастает из самой жизни, из ее иррациональных глубин, как высшее ее рациональное выражение. Она как бы спускается с неба,

рождаясь из головы Зевса, во всеоружии, с копьем, направленным против чудовищ, порождаемых матерью-землей. Афины проти Геи — в этом мифе (отрывок гигантомахии) смысл русской тра гедии, т. е. трагедии русской интеллигенции.

Говоря простым языком, русская интеллигенция «идейна» и «беспочвенна». Это ее исчерпывающие определения. Они не вы мышлены, а взяты из языка жизни: первое, положительное, под слушано у друзей, второе, отрицательное, у врагов (Страхов). Постараемся раскрыть их смысл. Идейность есть особый вид ра ционализма, этически окрашенный. В идее сливается правда-исти на и правда-справедливость (знаменитое определение Михайлов ского). Последняя является теоретически производной, но жиз ненно, несомненно, первенствующей. Этот рационализм весьм далек от подлинной философской ratio. К чистому познанию он пред'являет, по истине, минимальные требования. Чаще всего он берет готовую систему «истин», и на ней строит идеал личного и общественного (политического) поведения. Если идейность за мещает религию, то она берет от нее лишь догмат и святость догмат, понимаемый рационалистически, святость — этически, изгнанием всех иррациональных, мистических или жизненных ос нов религии. Догмат определяет характер поведения (святости) но сама святость сообщает системе «истин» характер догмата, ос вящая ее, придавая ей неприкосновенность и неподвижность. Та кая система обыкновенно неспособна развиваться. Она гибне насильственно, вытесняемая новой системою догм, и этой гибе ли идей обыкновенно соответствует не метафорическая, а букваль ная гибель целого поколения. Святые неизбежно становятся му чениками.

«Беспочвенность» вытекает уже из нашего понимани идейности, отмежевывая ее от других, органических форм иде ализма (или идеал-реализма). Беспочвенность есть отрыв: от бы та, от национальной культуры, от национальной религии, от госу дарства, от класса, от всех органически выросших социальных духовных образований. Конечно, отрыв этот может быть лиш более или менее полным. В пределе отрыв приводит к нигилизму уже несовместимому ни с какой идейностью. В нигилизме отры становится срывом, который грозит каждому поколению русско интеллигенции, — не одним шестидесятникам. Срыв отчаяния безверия от невыносимой тяжести взятого на себя бремени: когд

дея, висящая в воздухе, уже не поддерживает падающего, уже питает, не греет, и становится видимо для всех призраком.

Только беспочвенность, как идеал (отрицательный), об'ясляет, почему из истории русской интеллигенции справедливо исключены такие, по своему, тоже «идейные» (но не в рационалистическом смысле) и, во всяком случае, прогрессивные люди («либералы»), как Самарин, Островский, Писемский, Лесков, Забелин, Ключевский, и множество других. Все они почвенники, — слишком коренятся в русском народном быте или в исторической традиции. Поэтому гораздо легче византинисту-изуверу Леонтьеву войти в Пантеон русской интеллигенции, хотя бы одиночкой —демоном, а не святым, — чем этим гуманнейшим русским людям: здесь скорее примут Мережковского, чем Розанова, Вл.Соловьева, чем Федорова. Толстой и Достоевский, конечно, не вмещаются в русской интеллигенции. Но характерно, что интеллигенция с гораздо большей легкостью восприняла рационалистическое учение Толстого, чем православие Достоевского. Отрицание Толстым всех культурных ценностей, которым служила интеллигенция, не помешало толстовству принять чисто интеллигентский характер. Для этого потребовалось лишний раз сжечь старые кумиры, а в этих богосожжениях интеллигенция приобрела большой опыт. В толстовстве интеллигенция чувствовала себя на достаточно «беспочвенной почве»: вместе с англо-американцами, китайцами, японцами и индусами. Век Достоевского пришел гораздо позднее и был связан с процессом отмирания самого типа интеллигентской идейности.

Так, примеряя одно за другим памятные имена русской культуры, мы убеждаемся, что указанные нами признаки интеллигенции подтверждаются жизнью; что, взаимно дополняя и раскрывая друг друга, они дают необходимое и достаточное определение: русская интеллигенция есть группа, движение и традиция, об'единяемые идейностью своих задач и беспочвенностью своих идей.

В дальнейшем мы делаем попытку, в размышлении над общеизвестными процессами русской истории, дать посильный ответ на вопросы: как возможна интеллигенция, в указанном понимании, когда она возникла в России и может ли она пережить революцию?

История русской интеллигенции есть весьма драматическая

история и, как истинная драма, развивается в пяти действиях. Но так как в трагическую историю России эта частная трагедия вступает сравнительно поздно, то для «экспозиции действия» необходим пролог — и даже два.

ПРОЛОГ В КИЕВЕ

Не бойтесь, я не начну с призвания варягов или с потопления Перуна, как ни эффектна была бы такая завязка для трагедии беспочвенности. Но это дешевая эффектность, мнимая связь. Принятие христианства варварским народом всегда есть акт крутой и насильственный: новое рождение. Не иначе крестилась и германская Европа, тоже рубившая и сжигавшая своих богов. У нас процесс истребления славянской веры, повидимому, протекал даже гораздо легче, ибо славянское язычество было примитивнее германского. Призвание варягов — иначе, иноземное завоевание, кладущее начало русской государственности, — тоже не наш лишь удел: вся романская Европа сложилась вокруг национально чуждых государственных ячеек: германских королевств. Это не помешало пришельцам и на Западе и у нас быстро раствориться в завоеванной этнической среде. У нас обрусение германцев шло еще быстрее, чем на Западе их романизация, да и насильственный характер варяжских экспедиций на Руси не столь резко выражен, подчас даже спорен: создал же Ключевский, в духе начальной легенды русской летописи, схему князей-охранников, наемных сторожей на службе городских республик.

Итак, ни государство, ни церковь на Руси не стояли — по крайней мере, на памяти истории — как сила чуждая, против народа и его культуры. Поэтому духовенство, книжники, «мнихи» древней Руси не могут быть названы в нашем смысле ее интеллигенцией. Правда, они несли народу чужую, греческую веру, а вместе с ней греческий быт, одежду, понятия, нравственность... Но они не наталкивались на сопротивление иной культуры. Они были учителями, признанными,, хотя и не всегда терпеливыми. При всех обличениях двоеверия, языческих пережитков, жестоких нравов, церковный проповедник далек от сознания пропасти, отделяющей его от народа, подобной той пустоте, в которой живет русская интеллигенция средины XIX века.

Киевская культура аристократична. Она не питается на-
одным творчеством. Она излучается в массы из княжеских теремов
монастырей, и хотя рост ее в народной среде протекает страшно
едленно, но органично и непрерывно. Конечно, это только при-
ивка на грубом славянском дичке, но он весь перерождается под
ействием прививки. И эта органичность вполне понятна. Но-
е не ложится поверхностным слоем, «культурным лоском», по-
ерх старого быта. Оно завоевывает прежде всего сердцевину на-
одной жизни — его веру. Здесь нет сомнений и разлада. Суеве-
ия, обвивающие веру, не разлагают ее. И вера освящает всю
ультуру, всю книжную мудрость, которая идет за ней.

Византинизация русской жизни, конечно, не закончилась
Киеве. Массы, быть может, лишь к XVII веку органически, в
воем быту растворили и претворили идеалы жизни, приличий,
авственных понятий, которыми жили в Киеве боярские и кня-
еские терема, вдохновляясь, в свою очередь, пышной «лепотой»
арегр.дского дворца. Так отголоски церемониала Константина
агрянородного докатились до черных курных изб Заочья и За-
олжья, и сейчас еще, после коммунистической революции, пора-
ают нас на русском Севере строгостью быта,, аристократической
онченностью форм, стильной условностью, «вежеватостью» об-
ождения.

И все же именно в Киеве заложено зерно будущего тра-
ического раскола в русской культуре. Смысл этого факта до сих
ор, кажется, ускользал от внимания ее историков. Более того,
нем всегда видели наше великое национальное преимущество,
алог как раз органичности нашей культуры. Я имею в виду сла-
янскую Библию и славянский литургический язык. В этом наше
оренное отличие, в самом исходном пункте, от латинского Запа-
а. На первый взгляд, как будто, славянский язык церкви, облег-
ая задачу христианизации народа, не дает возникнуть отчуж-
енной от него греческой (латинской) интеллигенции. Да, но ка-
ою ценой? Ценой о т р ы в а от к л а с с и ч е с к о й т р а д и-
и и. Великолепный Киев XI-XII веков, восхищавший иноземцев
воим блеском и нас изумляющий останками былой красоты, —
иев создавался на византийской почве. Это, в конце концов,
реческая окраина. Но за расцветом религиозной и материальной
ультуры нельзя проглядеть основного ущерба: научная, фило-
офская, литературная традиция Греции отсутствует. Переводы,

наводнившие древне-русскую письменность, конечно, произвели отбор самонужнейшего, практически ценного: проповеди, жития святых, аскетика. Даже богословская мысль древней церкви осталась почти чуждой Руси. Что же говорить о Греции языческой? На Западе, в самые темные века его (VI-VIII), монах читал Вергилия, чтобы найти ключ к священному языку церкви, читал римских историков, чтобы на них выработать свой стиль. Стоило лишь овладеть этим чудесным ключем — латынью — чтобы им отворились все двери. В брожении языческих и христианских элементов складывалась могучая средневековая культура — задолго до Возрождения.

И мы могли бы читать Гомера, философствовать с Платоном, вернуться вместе с греческой христианской мыслью к самым истокам эллинского духа и получить, как дар («а прочее приложится»), научную традицию древности. Провидение судило иначе. Мы получили в дар одну книгу, величайшую из книг, без труда и заслуги, открытую всем. Но за то эта книга должна была остаться единственной. В грязном и бедном Париже XII века гремели битвы схоластиков, раждался университет, — в «Золотом» Киеве, сиявшем мозаиками своих храмов, — ничего, кроме подвига печерских иноков, слагавших летописи и патерики. Правда, такой летописи не знал Запад, да, может быть, и таких патериков тоже.

Когда думаешь о необозримых последствиях этого первого факта нашей истории, поражаешься, как много он уясняет в ней. Если правда, что русский народ глубже принял в себя и вернее сохранил образ Христа, чем всякий другой народ, (а от этой веры трудно отрешиться и в наши дни), то, конечно, этим он прежде всего обязан славянскому евангелию. И если правда, что русский язык гениальный язык, обладающий неисчерпаемыми художественными возможностями, то это, ведь, тоже потому, что на нем, и только на нем говорил и молился русский народ, не сбиваясь на чужую речь, и в нем самом, в языке этом (распавшемся на единый церковно-славянский и на многие народно-русские говоры) находя огромные лексические богатства для выражения всех оттенков стиля («высокого», «среднего» и «подлого»).

Все это так. Но этот великолепный язык до XVIII века не был орудием научной мысли. Понятно, что он должен был рано или поздно оказаться затопленным варваризмами. И по сию пору наш научный, особенно философский язык, несмотря на обилие

юстранных терминов, лишен некоторых основных слов, без ко-
рых невозможно отвлеченное мышление. Разными «значимостя-
и» и «воззрениями» — мы расплачиваемся за Пушкина и Толстого.
за органичность древней Руси — глубоким расколом Петер-
ргской России. И это возвращает нас к теме об интеллигенции.

Монах и книжник древней Руси был очень близок к на-
оду, — но, пожалуй, черезчур близок. Между ними не образо-
лось того напряжения, которое дается расстоянием и которое
дно только способно вызывать движение культуры. Снисхожде-
ию учителя должна отвечать энергия восхождения — ученика.
деал культуры должен быть высок, труден, чтобы разбудить и
прячь все духовные силы. Это как движение жидкости по тру-
ам: его напор зависит от разницы уровней. Только тогда дости-
ется непрерывное восхождение, накопление ценностей, когда, по
ову Данте:

Tutti tirati son e tutti tiranu, —
«все влекутся и все влекут».

Русская интеллигенция конца XIX века столь же мало по-
имала это, как книжники и просветители древней Руси. И как в
ачале русской письменности, так и в наши дни русская научная
ысль питается преимущественно переводами, упрощенными ком-
иляциями, популярной брошюрой. Тысячелетний умственный сон
прошел даром. Отрекшись от классической традиции, мы не
огли выработать своей, и на исходе веков — в крайней нужде
по старой леностн — должны были хватать, красть (compilare),
е и что попало, обкрадывать уже нищающую Европу, отрекаясь
всего заветного, в отчаянии перед собственной бедностью. Не
отели читать по гречески, — выучились по немецки, вместо Пла-
она и Эсхила набросились на Каутских и Липпертов. От киевских
редков, которые, если верить М. Д. Приселкову, все воевали с гре-
еским засильем, мы сохранили ненависть к древним языкам, и, ли-
ив себя плодов гуманизма, питаемся теперь его «вершками», засы-
ающей ботвой.

ПРОЛОГ В МОСКВЕ

Москва для нас имя, покрывшее всю северную Русь. В нее
ак в озеро, во внутреннее море (вроде Каспия) вливались все ру-
и, пробившиеся в северных мшистых лесах. Теперь мы знаем,

что главное творческое дело было совершено Новгородом. Здесь на севере, Русь перестает быть робкой ученицей Византии, и, не прерывая религиозно-культурной связи с ней, творит свое — уже не греческое, а славянское, или, вернее, именно русское — дело Только здесь Русь откликнулась христианству своим особым голосом, который отныне неизгладим в хоре народов-ангелов. Мы знаем с недавних пор, где нужно слушать этот голос В церковном зодчестве, деревянном и каменном, в ослепительной новгородской иконе, в особом тоне святости северных подвижников. Без ложной гордости мы говорим теперь о гениальности древнего русского искусства и не колеблясь отдаем ему предпочтение перед искусством западного средневековья и Возрождения. Не столь явен для всех голос святости. И это отчасти потому, что расслышать его отчетливо удается лишь в XIX веке. Святые, современные или почти современные нам, конечно восходят в самом типе своей праведности к древне русской традиции духовной жизни, как архангельские деревянные церкви, строенные десятилетия тому назад, уходят в новгородскую древность. Иначе и быть не может. Иначе — откуда? Откуда цветение православной культуры в уже чужеродной, враждебной ей среде, если не на старой почве на крепких корнях?

Но самая постановка этого вопроса возможна лишь благодаря страшной немоте древней Руси. Она так скупа на слова и так косноязычна. Даже образы своих святых она не умеет выразить в их неповторимом своеобразии, в подлинном, русском их лике, и заглушает дивный колос плевелами переводного византийского красноречия, пустого и многословного. Не в житиях находим ключ к ним, а в живой, современной, часто народной (даже апокрифической)традиции.

Покойный князь Е. Н. Трубецкой, плененный северно-русской иконой и открывшимся ему за ней миром духовной жизни характеризовал ее, как «умозрение в красках». В красках, в сложных и мудрых композициях новых икон (особенно в начале XV века) Русь выражала свои глубокие догматические прозрения Только в красках умела она поведать о некогда живом, именно русском культе святой Софии. Но ведь «умозрение» открывается в слове. В этом его природа — природа Логоса. Отчего же софийная Русь так чужда Логоса? Она похожа на немую девочку, которая так много тайн видит своими неземными глазами и может

юведать о них только знаками. А ее долго считали дурочкой олько потому, что она бессловесная!

И замечательно — этот паралич языка еще усилился со ремени ее бегства с просторов Приднепровья. Уже не сказать ей :лова о полку Игореве, не составить Повести временных лет. От овгородско-московских столетий нам осталась почти одна публицистика, отрывочный младенческий лепет, который говорит ишь об усилиях осознать новый смысл или, чаще всего, недуги осударственного и церковного бытия. Не умножился скудный запас книг, спасенных в киевском разореньи. И еще дальше отодвиулся культурный мир, священная земля Греции и Рима с погребенными в ней кладами. А удачливый и талантливый Запад, овладевший их наследством, повернулся к Руси железной угрозой меченосцев да ливонцев, заставив ее обратиться лицом к Востоку. На ближнем Востоке не было культур и не было еретических :облазнов. Но на Востоке были пространства, подобные пустыням, овущие и коварные, шаг за шагом увлекающие в даль, не дающие остановиться, обстроиться, возделать родную землю. Начинается еще не законченная история бродячей Руси, сдержанной от расползания тяжелой рукой Москвы. Прощайте, северные, святые безмолвия! Начинается:

«Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма»...

Тяжек был для Руси ее первый «счастливый» дар, дар первоучителей словенских; еще тяжелее оказался дар второй: пространство. Но эта тема — пространства (колонизации) — давно осознана и разработана русскими историками.

Культура северной Руси в зените к началу XVI века. Дальше уже начинается склон. XVI век — это декаданс, хотя и утонченный, ее живописного мастерства; XVII — уже чрезвычайное огрубение. Города, цветущие в XV-XVI веках, хиреют в XVII, вместе с богатством и предприимчивостью былых Садко и Афанасиев Никитиных. Закрепощается народ к земле, все население к службе и тяглу. Гибнут остатки мирского самоуправления. Грубеет и тяжелеет быт, оплотневает, словно, действительно, пропитавшись татарской, степной стихией. Само православие начинает ощущаться, как стояние на уставе, как быт, как «обрядовое исповедничество».

Конечно, рисовать два столетия Москвы, как сплошной упадок, несправедливо. Нельзя закрывать глаза на подвиг создания

великой державы, нельзя не видеть и огромных сил народных, к торые живы в узах сыромятных ремней. Но страшно, что эти си громче всего говорят о себе — в бунте: Ермак, смута, Рази раскол! Как не поразиться, что единственный великий писате московской Руси — мятежный Аввакум! Москва полнокровн кряжиста, если говорить о ее этнических силах. Но уже разв вается старческий склероз в ее социальном теле. Такая юная г дами, она видимо дряхлеет в XVII веке, и дряхлость ее сказ вается во все растущем общественном недомогании, в потребнос общих перемен и вместе с тем неспособности органически осущ ствить их. Государственное бытие становится невозможным примитивно варварских формах, но силы инерции огромны, б свят, предание и православие одно. Со времени Грозного оборо государства во все растущей мере зависит от иностранцев. Н мецкая слобода, выросшая в Москве, стоит перед ней живь соблазном. Как разрешить эту повелительно поставленную суд бой задачу: усвоить немецкие хитрости, художества, науку, отрекаясь от своих святынь? Возможна ли простая прививка н мецкой техники к православному быту? Есть люди, которые е в наши дни отвечают на этот вопрос утвердительно. Но техни не падает с неба. Она вырастает, как побочный плод, на дре разума: а разум не может не быть связан с Логосом. Пустое м сто, зиявшее в русской душе именно здесь, в «словесной», р зумной ее части, должно быть заполнено чем-то. В десятилет и даже в столетие не выращивается национальный разум. Значи разум тоже будет импортироваться вместе с немецкими пушка и глобусами. Иначе быть не может. Но это страшно. Это озн чает глубокую деформацию народной души, вроде пересадки ч жого мозга, если бы эта операция была возможна. Жестоко пр буждение от векового сна. Тяжела расплата — люди нашего п коления ощущают это, как никогда. Но другого пу н е т. Кто не понимает этого, тот ничего не понимает в истор России и русской интеллигенции.

Интеллигенция? Знаете ли, кто первые русские интелл генты? При царе Борисе были отправлены за границу — в Ге манию, во Францию, в Англию — 18 молодых людей. Ни од из них не вернулся. Кто сбежал неведомо куда, — спился, долж быть, — кто вошел в чужую жизнь. Нам известна карьера одно из них—Никанора Олферьева Григорьева, который в Англии ст

священником реформированной церкви и даже пострадал в 1643 году от пуритан за свою стойкость в новой вере. Не будем торопиться осуждать их. Несомненно, возвращение в Москву означало для них мученичество. Подышав воздухом духовной свободы, трудно добровольно возвращаться в тюрьму, хотя бы родную, теплую тюрьму. Но нас все же поражает эта легкость национального обезличения: раствориться в чужеземной стихии, без борьбы, без вскрика, молча утонуть, словно с камнем на шее! Этот факт сам по себе обличает породившую его культуру и грозно предупреждает о будущем.

За ним идут другие. Не привлекательны первые «интеллигенты», первые идейные отщепенцы русской земли. Что характеризует их всех, так это поверхностность и нестойкость, подчас моральная дряблость. Чужая культура, неизбежно воспринимаемая внешне и отрицательно, разлагала личность, да и оказывалась всего соблазнительнее для людей слабых, хотя и одаренных, на их несчастье, острым умом. От царя Димитрия (Лжедмитрия) к кн. Ивану Андреевичу Хворостинину, отступившему от православия в Польше и уверявшему, что «в Москве народ глуп», «в Москве не с кем жить», — к Котошихину, из Швеции поносившему ненавистный ему московский быт, — через весь XVII век тянется тонкая цепь еретиков и отступников, на ряду с осторожными поклонниками Запада, Матвеевыми, Голицыными, Ордиными-Нащокиными. Чья линия возьмет верх? Мы уже — задним числом, конечно, — пытались показать неизбежность революционного срыва. Раскол был серьезным доказательством неспособности московского общества к мирному перерождению. В атмосфере поднятой им гражданско-религиозной войны («стрелецких бунтов») воспитывался великий Отступник, сорвавший Россию с ее круговой орбиты, чтобы кометой швырнуть в пространство.

ЦАРСКОЕ СЕЛО

Действие первое.

По настоящему, как широкое общественное течение, интеллигенция раждается с Петром. Конечно, характеристика «беспочвенности» не применима к титану, поднявшему Россию на своих плечах; да и «идейность» не выражает пафоса его дела — глубоко практического, государственного, коренившегося в исто-

рической почве и одновременно в потребностях историческог дня. Но интеллигенция — детище Петрово, законно взявшее ег наследие. Петр оставил после себя три линии преемников: про ходимцев, выплеснутых революцией и на целые десятилетия за полонивших авансцену русской жизни, государственных людей — строителей империи, и просветителей-западников, от Ломо носова до Пушкина поклонявшихся ему, как полубогу. Восемнад цатый век раскрывает нам загадку происхождения интеллигенци в России. Это импорт западной культуры в стране, лишенно культуры мысли, но изголодавшейся по ней. Беспочвенност раждается из пересечения двух несовместимых культурных ми ров, идейность — из повелительной необходимости просвещения ассимиляции готовых, чужим трудом созданных благ — ради спа сения, сохранения жизни своей страны. Понятно, почему ничег подобного русской интеллигенции не могло явиться на Запада — ни в одной из стран органической культуры. Ее условие — отры Некоторое подобие русской интеллигенции мы встречаем в наш дни в странах пробуждающегося Вотсока: в Индии, в Турции в Китае. Однако, насколько мы можем судить, там нет ничего отдаленно напоминающего по остроте наше собственное отступ ничество: нет презрения к своему быту, нет национального само уничижения — «мизопатрии». И это потому, что древние стран Востока были не только родиной великих религий и художествен ных культур, но и глубокой мысли. Они не «бессловесны», ка древняя Русь. Им есть что противопоставить европейскому разу му, и они сами готовы начать его завоевание. Пожалуй, лиш Турция, как более бедная мыслью (если не смешивать ее с араб ским миром Ислама), готова идти в отрицании своего быта и вер по стопам русских вольтерьянцев. И здесь причина одна и та ж

Сейчас мы с ужасом и отвращением думаем о том сплошно кощунстве и надругательстве, каким преломилась в жизни Пе ровская реформа. Церковь ограблена, поругана, лишена своег главы и независимости. Епископские кафедры раздаются прот стантствующим царедворцам, веселым эпикурейцам и блюдолиза К надругательству над церковью и бытом прибавьте надруга тельство над русским языком, который на полстолетия превр щается в безобразный жаргон. Опозорена святая Москва, ее цер ви и дворцы могут разрушаться, пока чухонская деревушка о страивается немецкими палатами и церквами никому неизвестны

календарных угодников, политическими аллегориями новой Империи. Не будет преувеличением сказать, что весь духовный опыт денационализациями Росии, предпринятый Лениным, бледнеет перед делом Петра. Далеко щенкам до льва. И провалившаяся у них «живая» церковь блестяще удалась у их предшественника, который сумел на два столетия обезвредить и обезличить национальные силы православия.

Не знаю, было ли все это неизбежно. Неизбежны ли самоубийственные формы опричины Грозного, коммунизм большевицкой революции? Откуда эта разрушительная ярость всех исторически обоснованных процессов русской истории? Они протекают с таким «запросом», что под конец не знаешь — и через столетия не знаешь: — что это, к жизни или к смерти?

Петру удалось на века расколоть Россию: на два общества, два народа, переставших понимать друг друга. Разверзлась пропасть между дворянством (сначала одним дворянством) и народом (всеми остальными классами общества) — та пропасть, которую пытается завалить своими трупами интеллигенция XIX века. Отныне рост одной культуры, импортной, совершается за счет другой, — национальной. Школа и книга делаются орудием обезличения, опустошения народной души. Я здесь не касаюсь социальной опасности раскола: над крестьянством, по безграмотности своей оставшимся верным христианству и национальной культуре, стоит класс господ, получивших над ним право жизни и смерти, презиравших его веру, его быт, одежду и язык и, в свою очередь, презираемых им. Результат получился приблизительно тот же, как если бы Россия подверглась польскому или немецкому завоеванию, которое, обратив в рабство туземное население, поставило бы над ним класс иноземцев-феодалов, лишь постепенно, с каждым поколением поддающихся неизбежному обрусению.

Значит ли это, что мы отвергаем дело Петра? Империю, созданную им: этот огромный дом народов, на четыре моря, на шестую часть земного шара, где в суровой школе зрели для творческого пробуждения многомиллионные пласты европейско-азиатской целины? Где русский гений впервые вышел на пространства всемирной истории, и с какой силой и правом утвердил свое место в мире! Петербург с кольцом своих резиденций — единственный в мире город, трагической красоты, где в граните воплотилась воля к сверхчеловеческому величию, и тяжесть материков плывет,

как призрачная флотилия, в туманах с легкостью окрыленной мысли. Отречемся ли мы от развенчанного Петербурга перед вновь торжествующей Москвой?

Людям, которые готовы проклясть империю и с легкостью выбросить традиции русского классицизма, венчаемого Пушкиным, следует напомнить одно. Только Петербург расколол пленное русское слово, только он снял печать с уст православия. Для всякого ясно, что не только Пушкин, но и Толстой и Достоевский немыслимы без школы европейского гуманизма, как немыслим он сам без классического предания Греции. Ясно и то, что в Толстом и Достоевском впервые на весь мир прозвучал голос допетровской Руси, христианской и даже, может быть, языческой, как в Хомякове и в новой русской богословской школе впервые, пройдя искус немецкой философии и католической теологии, осознает себя дух русского православия.

Как примирить это с нашей схемой сосуществования двух культур? Для всех ясно, что эта схема откровенно «схематична». Действительность много сложнее, и даже 18 век и русское барство, особенно в нижних слоях его, много народнее, чем выглядит на старинных портретах и в биографиях вельмож. Не все получали свой последний лоск в Версале. В саратовских и пензенских деревушках — я говорю о дворянстве (см. у Вигеля) — XVII век затянулся чуть не до дней Екатерины. Обе культуры живут в состоянии интра-молекулярного взаимодействия. Начавшись революционным отрывом от Руси, двухвековая история Петербурга есть история медленного возвращения. Перемежаясь реакциями, но все с большей ясностью и чистотой звучит русская тема в новой культуре, получая водительство к концу XIX века. И это параллельно с неуклонным распадом социально-бытовых устоев древне-русской жизни и выветриванием православно-народного сознания. Органическое единство не достигнуто до конца, что предопределяет культурную разрушительность нашей революции. Ленин, в самом деле, через века откликается Петру, отрывая или формулируя отрыв от русской культуры впервые к культуре приобщающихся масс.

Вглядимся в интеллигенцию первого столетия. Для нас она воплощается в сонме теперь уже безымянных публицистов, переводчиков, сатириков, драматургов и поэтов, которые, сплотившись вокруг трона, ведут священную борьбу с «тьмой» народной жиз

. Они перекликаются с Вольтерами и Дидеротами, как их венносная повелительница, или ловят мистические голоса с Запада, екраснодушествуют, ужасаются рабству, которое их кормит, тинии, которой не видят в позолоченном абсолютизме Екатерины. д этой толпой возвышаются головы истинных подвижников просщения, писателей, уже рвущихся к народности, Фонвизиных, виковых, масонов. — Ломоносов и Державин вообще перераиют «интеллигенцию». — Но что единит их всех, так это культ перии, неподдельный восторг перед самодержавием. Нельзя зать, в оценке русской интеллигенции, что она целое столетие лала общее дело с монархией. Выражаясь упрощенно, она целый к шла с царем против народа, прежде чем пойти прове царя и народа (1825-1881) и, наконец, с народом против царя 905-1017). В пышных дворцах Екатерины, в Царском Селе эты встречаются с орлами-завоевателями; две линии наследнив Петровых еще не разошлись. Лавр венчает меч, Державин ет Потемкина, и все на коленях перед Фелицей. Никакой фиам не претит, как не кажется льстивой в наши дни в России фирамб пролетарской музы. Гармония между властью и кульрой, как во дни Августа и Короля-Солнца, ничем не наруется. Интеллигенция, оторванная от народа и его прошлого, не рвала связей со своим классом и с царем (царицей). Здесь ее чва, суррогат почвенности; только через самодержавие она свявается с историческим потоком русской жизни.

АРБАТ

Действие второе

Между Царским Селом и Арбатскими переулками, новой зиденцией русской интеллигентской мысли, маленькая интермеи на Сенатской площади. 14 декабря 1825 г., почти незаметное политической истории государства Российского, неизгладимая ка в истории русской интеллигенции. Здесь совершается ее отв от самодержавия, отныне и навсегда она покидает царские орцы.

В оценке этого тяжелого для обеих сторон разрыва нельзя ывать, что интеллигенция начала XIX века осталась верной себе радиции Петра. Не она первая изменяет монархии, монархия еняет своей просветительной миссии. Перепуг Екатерины,

Шешковский, гибель Радищева и Новикова — в этом русская интеллигенция неповинна. Она с ужасом встретила восстание крестьянства при Пугачеве, и безропотно смотрела на его подавление. Отвечать ей пришлось за французских якобинцев да за дурную совесть Екатерины. Интеллигенция простила ей все и в светлые дни Александра боготворила ее имя. С Александром интеллигенция всходит на трон, уже подлинная, чистая интеллигенция, без доспехов Марса, в оливковом венке. Этот кумир, обожаемый, как ни один из венценосцев после другого Великого Александра, заключит, над трупом своего отца, безмолвный договор с молодой Россией: смысл его был в хартии вольностей, обеспечивавшей дворянство, только что перенесшее режим Павла. Этому договору Александр изменил, и всю жизнь сохранял сознание своей измены. Потому и не мог карать декабристов, что видел в них сообщников своей молодости. Не личный страх определил измену Александра — за корону, за власть, — но все же страх: страх перед свободой, неверие в человека, неверие в свой народ. В реакции он остался таким же оторванным от национальной и религиозной жизни народа, каким был во дни свободолюбивых иллюзий. Отметим: русская монархия изменяет Западу не потому, что возвращается к Руси, а потому, что не верит больше в свое призвание. Отныне и до конца, на целое столетие, ее история есть сплошная реакция, прерываемая несколькими годами половинчатых, неискренних реформ. Смысл этой реакции — не плодотворный возврат к забытым стихиям народной жизни, а топтание на месте, торможение, «замораживание» России, по слову Победоносцева. Целое столетие безверия, уныния, страха: предчувствие гибели. В самые тихие «бытовые» годы Николая I, Александра III, все усилия и весь строй государства ориентированы на оборону от призрака, от тени Бабефа. Пять виселиц декабристов — это «кормчие звезды» Николая I, пять виселиц первомартовцев освещают дорогу Александра III. Русская монархия раскрывает в этом природу своей императорской идеи: «не царство, а абсолютизм». Ключ к ней на Западе, как и ключ к идеологиям русской интеллигенции. Революция во Франции убила абсолютизм просвещенный, и реставрация могла на несколько десятилетий оживить абсолютизм охранительный. Русский абсолютизм повторил, симпатически, этот излом, не имея своей революции, и этим самым создал карающий призрак революции.

Декабристы были людьми XVIII века по всем своим поли-

ским идеям, по своему социальному оптимизму, как и по форме енного заговора, в которую вылилась их революция. Целая пропасть отделяет их от будущих революционеров: они завершители арого века, не зачинатели нового. Вдумываясь в своеобразие их ртретов в галлерее русской революции, видишь, до чего они, сравнению с будущим, еще почвенны. Как интеллигенция VIII века, они тесно связаны со своим классом и с государством. ни живут полной жизнью: культурной, служебной, светской. Они раздо почвеннее интеллигентов типа Радищева и Новикова, тому что прежде всего офицеры русской армии, люди службы дела, нередко герои, обвеянные пороховым дымом 12 года. Их беральизм, как никогда впоследствии, питается национальной еей. В их лице сливаются две линии птенцов гнезда Петрова: инов и просветителей. На них в последний раз в истории почил х Петра.

Неудача их движения невольно преломляется в наших глах его утопичностью. Это обман зрения. Ничто не доказывает, о либеральная дворянская власть была большей утопией для ссии, чем власть реакционно-дворянская. Не нам решать этот прос. Против обычного — и в революционных кругах — помания говорит весь опыт восемнадцатого века.

Крушение западнических идеалов заставляет монархию иколая I ощупью искать исторической почвы. Немецко-бюрократическая по своей природе, власть впервые чеканит формулу реционного народничества: «православие, самодержавие и народость». Но дух, который вкладывается в эту формулу, менее всего роден. Православие в виде отмеренного компромисса между толичеством и протестантством, в полном неведении мистичеой традиции восточного христианства; самодержавие, понятое, к европейский абсолютизм, народность, как этнография, как осковские вариации в холодном классицизме Тона, переживание ераскова в Кукольнике: не вполне обрусевший немец на русской осударственной службе, имя которому легион, именно так только мог понимать Россию и ее национальную традицию.

Это был первый опыт реакционного народничества. С тех ор мы пережили еще русский стиль Александра III и православую романтику Николая II. Нельзя отрицать, что к XX веку понание России делает успехи, но вместе с тем глубокое падение льтурного уровня дворца, спускающегося ниже помещичьего ома средней руки, делает невозможным возрождение националь-

ного стиля монархии. Она теряет всякое влияние на русское на-циональное творчество.

Однако, нельзя забывать, что именно в Николаевские годы в поместном и служилом дворянстве, как раз накануне его со-циального крушения, складывается, до известной степени, наци-ональный быт. Уродливый галлицизм преодолевается со времен Отечественной войны, и дворянство ближе подходит к быту, язы-ку, традициям крестьянства. Отсюда возможность подлинно на-циональной дворянской литературы, отсюда почвенность Аксако-ва, Лескова, Мельникова, Толстого... О, конечно, это почвенность относительная. Исключая Лескова, сознательная национальна традиция не восходит к допетровской Руси; но допетровский быт в котором еще живет народ, делается предметом пристального и любовного изучения. Иногда кажется, что барин и мужик снова начинают понимать друг друга. Но это самообман. Если барин может понять своего раба (Тургенев, Толстой), то раб ничего не понимает в быту и в миру господ. Да и барское понимание огра-ничено: видят быт, видят психологию, но того, что за бытом и психологией — тысячелетнюю традицию, религиозный мир кре-стьянства — «христианства» — еще не чувствует.

Но не забудем — и это основной, глубокий фон, на ко-тором развертывается новая русская история — что существует церковь, прочнее монархии и прочнее дворянской культуры, цер-ковь, связывающая в живом опыте молитвенного подвига десяти столетий в одно, питающая народную стихию, поддерживающая холодно-покровительственное к ней государство, — и что цер-ковь именно в XIX веке обретает свой язык, начинает форму-лировать догмат и строй православия.

И вот, среди этой общей тяги к почвенности, к возвраще-нию на родину, заражается русская интеллигенция новой фор-мации, предельно беспочвенная, отрешенная от действительности и зажигающая в катакомбах «кружков» свою неугасимую лампа-ду. Она просто не заметила св. Серафима, она не принимает пра-вославия постных щей и «квасного» патриотизма. Ее историческая память, как и память царя, подавлена кровью мучеников: Ради-щевых, Рылеевых. Характерен самый уход из бюрократического Петербурга в опальную Москву, где в барских особняках Повар-ской и Арбата, вслед за фрондирующими вельможами XVIII века появляются новые добровольные изгнанники: юные, даровитые полные духовного горения, — но почти все обескровленные

пламенностью религизоной веры, какой мы не видим у просветелей старого времени, и в которой улавливаются отражения религиозной реакции Запада, юные философы утверждаются на Шеллинге, на Гегеле, как на камне вселенской церкви; диалектически выводят из «идеи» весь мир данного и должного, «рефлектируют», созерцают, разлагают, — и все для того, чтобы в конечном счете связать себя новым моральным постулатом: найти внутренний подвиг, дать обеты, навсегда преодолевающие мир пошлой действительности. С этим миром интеллигенцию 30-х и 40-х годов связывает еще одна непорванная нить: культура класса, дворянский быт, в котором она живет, еще не рефлектируя над ним, ибо он сливается для нее, как и все конкретное, в голом понятии действительности. Идейность этих десятилетий не могла уже быть превзойдена: это эссенция абстрактной веры. Но на пути беспочвенности предстоял еще один тягчайший подвиг.

Каковы смысл и ценность этого идейного отшельничества? Когда власть отрекается от своей культурной миссии, интеллигенция возжигает очаг чистой мысли. Именно в эти годы она осваивает самые глубокие и сложные явления европейской культуры; место поверхностного «просвещения» прошлого века занимает немецкая философия и гуманистическая наука. Этим заканчивается европеизация России, начавшаяся с париков и бритых бород и завоевывающая теперь последние твердыни разума. Здесь, в 30-е и 40-е годы, рождается русская наука — прежде всего историческая и филологическая, — которая к концу века импонирует и Западу. Только здесь дано культурное завершение дела Петра, и вместе с тем достигнут предел законной европеизации. Дальнейшее западничество русской интеллигентской мысли будет бесплодным и косным твержением задов.

От Шеллинга и Германии к России и православию — таков «царский путь» русской мысли. Если он оказался узкой заросшей тропинкой, виной был политический вывих русской жизни. Бурное разложение дворянской России требовало творческого руководительства власти. Монархия, поглощенная идеей самосохранения, становится тормазом, и политически активные силы, которые некогда окружали Петра, теперь готовятся к борьбе с династией. А в этой борьбе славянофилы не вожди, и не попутчики. Их мир действительности, по котором они тоскуют, — в романтическом прошлом, в Руси небывалой; от России реальной

их отделяет анархическое неприятие государства. В этом их право на место в истории русской интеллигенции. Но поскольку они находят или осмысливают для себя Церковь, они приобретают, в свернутом состоянии, всю Россию, прошлую и настоящую, — ту, которая уже уходит, но не ту, что рождается в грозе и буре. Утверждаясь на ней, они уходят от русской интеллигенции, которая, однако, любовно хранит память о них, почитая своими за общие радения в катакомбах, за отрешенность идейного подвига, хотя он и выводит их из подземелий на бытовую русскую почву.

ЕКАТЕРИНИНСКИЙ КАНАЛ

Действие третье.

Вполне мыслимо было бы выводить родословную семидесятников непосредственно от людей сороковых годов: представить Белинского и Герцена спускающимися в народ и концентрирующими в социализме свою политическую веру. Но русская жизнь смеется над эволюцией и обрубает ее иной раз только для того, чтобы снова завязать порванную нить. Таким издевательством истории было вторжение шестидесятников.

Все, что имели сказать поповичи, было, в сущности, уже сказано дворянской интеллигенцией. Поколение отрешенных гегельянцев сделалось родоначальником русского либерализма и даже западнического консерватизма (Чичерин, Катков), но самые яркие его представители кончали свой век с евангелием материализма и социализма. Оно послушно повторило процесс разложения левого гегельянства в антропологии Фейербаха и католического романтизма в сенсуализме утопистов. Этот перелом падает на 30-е годы, и еще не изучен во всех подробностях. Повидимому, Герцену принадлежит активная роль соблазнителя. Во второй половине 30-х г. г. он уже покончил с философским идеализмом, проповедует физиологию и обращает в свою веру Белинского и Бакунина. Разрыв с Грановским, который не хочет отказаться от бессмертия души, — но дело Герцена выиграно. Попав на Запад в 1847 г., он переживает революцию 48 года, в качестве законченного и страстного социалиста французской школы.

Но дворянство социально разлагается, — оно не в силах пережить «эмансипации» и теряет культурную гегемонию. Разночинцы вытесняют его с командующих высот, но принимают часть его

ховного наследства. По самой природе своей, они должны ли поддержать интеллигентскую, а не почвенную мысль, трацию западничества, а не славянофильства. Сами они были вощенным отрывом от почвы, отщепенцами той народной (духовй, купеческой, крестьянской) Руси, которая живет еще в дотровском сознании. Тяжело и круто порвав со «страной отцов», и, в качестве плебеев, презирают и дворянскую культуру, тавшись вне всякой классовой и национальной почвы, уносимые чением европейского «прогресса». Идее западников они сообили грубость мужицкого слова, до нельзя упростили все, и одним ктом этого упрощения снизили уровень русской культуры сорешенно так, как снизила его революция 1917 г. В рабоче-креьянской молодежи наших дней мы вправе видеть тот же психогический тип, что в разночинцах 60-х годов, с соответствующей правкой на уровень. Недаром старые большевики воспитывась на Писареве, который к началу XX в. переживает в революонных кругах настоящее воскресение.

Старая традиция и старый уровень русской культуры не бнут с этим нашествием варваров. Пережив тяжелые для них -е годы, они продолжают расти и крепнуть преимущественно почвенных, «реакционных» направлениях русской мысли. Вместе гем линии русской интеллигенции и русской культуры все более сходятся. К XX в. это уже две породы людей, которые переают понимать друг друга. Но их духовная значительность и льтурный уровень обратно пропорциональны исторической дейвенности. Нужно ли повторять, что здесь мы занимаемся лько «интеллигенцией»?

Отрыв шестидесятников от почвы настолько резок, что пед их отрицанием отходит на задний план идейность, и на сцену короткий момент выступает чистый «нигилист». То что литетурно его представляет дворянин Писарев — безупречный сентльмен — может быть понято только в свете семидесятского родничества. Интеллигентные дворяне отныне увлекаются потом разночинцев, а не обратно, как было хотя бы с Белинским 40-х годах.

Повидимому, нигилизм 60-х годов жизненно в достаточной ре отвратителен. В беспорядочной жизни коммун, в цинизме ных отношений, в утверждении голого эгоизма и антисоциальсти (ибо нигилизм антисоциален), как и в необычайно жалком,

оголенном мышлении — чудится какая-то бесовская гримаса: предел падения русской души. По крайней мере, русские художники всех направлений, от Тургенева до Лескова, от Гончарова до Достоевского, содрогнулись перед нигилистом, Толстой прошел мимо него только потому, что не нашел в своей палитре подходящих красок: он не умел смеяться и не любил малевать чорта.

Не трудно показать, и много раз показана — отрицательная связь, существующая между духом русского православия и нигилизмом. Отсутствие мира гуманистических ценностей, срединного морального царства, делает богоотступника уже не человеком. Неудивительно, что нигилистическая проказа идет прежде всего из семинарий. Недавно мы познакомились и с патриархом этих взбесившихся бурсаков, развращавшим еще в 40-е годы юнаго Фета: с жутким Иринархом Введенским. Но, конечно, демоны шестидесятников не одни «мелкие бесы» разврата. Базаров не выдумка и Рахметов тоже. Презрение к людям — и готовность отдать за них жизнь; маска цинизма — и целомудренная холодность; холод в сердце, вызов к Богу, гордость непомерная — сродни Ивану Карамазову; упоение своим разумом и волей — разумом без взлета, волей без любви; мрачность, замораживающая истоки жизни — таково это новое воплощение Печорина, новая демонофания, в которую нам не мешает вглядываться пристальнее: в ней ключ к бескорыстному героическому большевизму «старой гвардии».

В анархизме 60-х годов еще нет политической концентрации воли. Поскольку он отрицает царизм, он становится родоначальником русской революции. И в историю ее он вписывает самую мрачную страницу. «Бесы» Достоевского родились именно из опыта 60-х годов; по отношению к 70-м они являются несправедливой ложью. 60-е годы: это интернационал Бакунина, гимны топору, прокламации, требующие 3.000.000 голов, идеализация Разиновщины и Пугачевщины, ужасное, дегенеративное лицо Каракозова, зловещий Нечаев, у которого Ленин — бессознательно, быть может, — учится организационному и тактическому имморализму.

Это второе по времени освобождение «бесов», скованных веригами православия. Всякий раз взрыв связан с отрывом от православной почвы новых слоев: дворянства с Петром, разночинцев с Чернышевским, крестьянства с Лениным. И вдруг это

есовский маскарад, без всяких видимых оснований, обрывается с ачалом нового десятилетия. 1870 год — год исхода в народ. Ieожиданный, изумительный подвиг, аскетизмом своим возвраıающий нас в Фиваиду, или, по меньшей мере, в монтанистскую ›ригию, совершается теми тысячами русских юношей и девушек, оторые воспитаны на Писареве и Чернышевском, на Бокле и юхнере, иные побывали в коммунах, и по основам мировозэения мало чем отличаются от нигилистов. Вот уж подлинно: ıистым все чисто. Но откуда же взялись девственники и мученики этом аду, от которого они даже не отрекаются?

И здесь доля вины за эту апорию падает на схематичность ашего изложения: нам пришлось многое упростить, выпустить зязующие нити, идущие от 40-х годов к 70-м; не нашлось места обролюбову, человеку типично переходного времени (50-е г.г.), бойдены народолюбивые тенденции «Современника», граждансая муза Некрасова. Все это почки 70-х г.г., в век Базарова. Да Чернышевский не то же, что Писарев, — хотя, впрочем, менее сего семидесятник.

Но как ни раздумывай в поисках корней народничества, ıо необ'яснимо до конца, как всякое религиозное движение: это зрыв долго копившейся, сжатой под сильным давлением релиıозной энергии, почти незаметной для глаза в латентном состояıи. Ее можно угадывать в неистовстве Белинского, в тоске Доброобова, в идеологическом аскетизме 40-х годов. И все же: перед ами стихийное безумие религиозного голода, не утоленного цеые века.

Идейный багаж юных подвижников невыразимо скуден; ıправляясь в пустыню, они берут с собой, вместо евангелия, Исторические письма» Лаврова: так и спят на них, положив под зголовье. За это евангелие и идут на смерть, как некогда шли оди за сугубое аллилуйя. Святых нельзя спрашивать о предмете веры: это дело богословов. Но читая их изумительное житие, эдвиг отречения от всех земных радостей, терпения бесконечного, юбви, всепрощающей — к народу, предающему их, — нельзя е воскликнуть: да, святые, только безумец может отрицать это! икто из врагов не мог найти ни пятнышка на их мученических ızax.

За Лавровым, за Боклем явно стоит образ иного Учителя, ›вущего на жертвенную смерть. Если от мира подпольных со-

циалистов обратиться к искусству 70-х годов, то мы поразимся, как в гражданской поэзии, в живописи передвижников — всюду возносится сорванная с киота икона Христа: Крамской, Поленов, Ге, Некрасов, К. Р., Надсон, не устают ловить своей слабой кистью, лепечущими устами святые черты. Этот бледный Христос, слишком очеловеченный, слишком нежный, может раздражать людей консервативной церковной традиции. Но еще большой вопрос, чей Христос ближе к Подлиннику.

В одном своем автобиографическом произведении Михайловский вспоминает о сильном впечатлении, какое на него, юношу, произвела картина Семирадского: — «Суд над христианами при Нероне». Характерно, что он, не колеблясь, почувствовал: христиане — это мы, а наших гонителей, жандармов, прокуроров, надо искать среди язычников.

Атеисты-народники отзываются о Христе всегда с величайшим уважением. Они проникнуты сознанием, что социализм обосновывается в христианской этике.

Д. С. Мережковский с большой убедительностью вскрывал христианские черты в творчестве Некрасова и Глеба Успенского. Их можно восстановлять по скудным библиографическим фрагментам, какие нам остались, и для многих равелюционеров той эпохи,— конечно, не для всех. Ни в ком, быть может, они не поражают так, как в Александре Дмитриевиче Михайлове, великом организаторе «Народной Воли». Тот, кто читал его удивительное письмо к родителям после смертного приговора, скромное и благородное, трепещущее любовью и радостным ожиданием казни, тот не забудет имени Христа, завершающего его, завершающего всю жизнь человека. Этот дворянский сын, такой нежный, преданный сын (террорист урывает дни для свидания со стариками), юный красавец с холеной русой бородой, впоследствии неумолимый конспиратор, «дворник», кого любили и боялись все в партии, — проходил свою народническую Фиваиду на Волге, в старообрядческом селе. Конечно, нелепые идеи о потенцильной революционности раскола привели его сюда. Он живет около года в крестьянской избе среди верующих людей, подражая им во всем, часами простаивая на молитве, с лестовкой в руках, отбивая поклоны... Об успехах, даже о попытках пропаганды с его стороны мы ничего не слышим; но в Саратове он признается товарищам что находит особое удовлетворение в этой жизни. Что же, это

удовольствие актера, хорошо вошедшего в роль? Нелепое предположение для Михайлова. Пусть, почти наверное, Михайлов не был христианином, тем более церковным — он должен был находить в душе отклик этому православному быту, заражаться чужой верой, — и, во всяком случае, чтить ее.

Религиозный ключ к народникам и народовольцам дает не только имя Христа, но и особое отношение к мученикам раскола. Когда в Шлиссельбурге другая праведница, более сурового склада, Вера Николаевна Фигнер, получила возможность читать книги, она вспоминает, что ничто так не потрясало ее в русской истории, как образы боярыни Морозовой и протопопа Аввакума. Через 200 лет мученикам двуперстия откликаются мученики социализма. Это дает право понять природу нового движения, как христианской секты, сродной тем, что возникли на почве раскола, бегунам, беспоповцам, взыскующим града, с эсхатологической устремленностью, с жаждой огненной смерти.

Движение, в идее утверждающее крайнее западничество, разоблачает себя. как русская религиозная секта. Да, это уже не борьба за дело Петрово... Аввакум — против Петра, воскреснув, расшатывает его империю. Каким тонким оказался покров европейской культуры на русском теле! Ведь, это уже не вековая дворянская школа. Розночинство берет немецкое «последнее слово», на медный пятак. Его хватает ровно настолько, чтобы опустошить русские мозги, но оно бессильно перевоспитать «натуру». Запад дает, как некогда «жидовство», новые символы и догматы. Но идолам молятся, как иконам, по православному.

И вдруг — с 1879 г. — бродячие апостолы становятся политическими убийцами. Они об'ясняют это сами своим политическим опытом, поумнением. Историку новое безумие может показаться горше первого. Но об'яснение правильно: это срыв эсхатологизма. Царствие Божие, или царство социализма, не наступило, хотя прошло уже 9 лет. Надо вступить в единоборство с самим князем тьмы и одолеть его. Помните, у Гаршина, красный цветок, в котором для безумного сосредоточилось мировое зло? Как нынешние апокалиптики видят в большевизме воплощенного антихриста, так народовольцы увидели его в царе.

Эти страшные годы борьбы не прошли для них бесследно, не могли не запятнать их голубиной чистоты. Партия террористов уже со всячинкой. Среди нее уже работают провокаторы. Один

из предателей после 1 марта всходит вместе с героями на эшафот Не гнушаются ложью, и принимают сотрудников из III отделения Дисциплина, моральные требования очень высоки: но ищут доблести солдата, а не христианских добродетелей. Вероятно, многие сорвались и погибли в этом бесчеловечном деле. Но други донесли до эшафота или сохранили на четверть века в каменных мешках Шлиссельбурга сердце, полное веры и любви. Митрополит Антоний видел их и благословил в 1905 г.

Но кровь не прощает. Мученики, становясь палачами, обречены на гибель. Поколение, вынесшее, как свой цвет, как чистейшую жертву, — цареубийц, должно погибнуть и без преследований правительства. Отметим для многих, оставшихся в живых, религиозный исход. В 70-е годы «маликовцы», Н. В. Чайковский, Фрей... В 80-е годы толстовцы. Другие, «ренегаты», среди них загадочный Лев Тихомиров, редактор «Народной Воли» кончают православием.

ТАВРИЧЕСКИЙ ДВОРЕЦ

Действие четвертое

Люди 40-х годов и народники 70-х представляют крайние вершины русского интеллигентского сознания. Дальше начинается распад этого социологического типа, идущий по двум линиям: понижения идейности, возрастания почвенности. Русская интеллигенция агонизирует долго и бурно: она истекает кровью в настоящей, не умозрительной уже, народной революции. Интеллигенция принадлежит к тем социальным образованиям, для которых успех губителен; они до конца и без остатка растворяются в совершенном деле. Дело интеллигенции — европеизация России, заостренная, со второй половины XIX века, в революции. Победы революции наносят поэтому интеллигенции тяжкие раны. Вот даты их: 1 марта 1881 г., 17 октября 1905 г., 25 октяря 1917 г. Из них уже первая смертельна. На 1 марта, если не по времени, то по существу, русская мысль (не интеллигентская, а русская!), ответила явлением Толстого и Достоевского. По разному, но с одинаковой силой они отрицают западнический идеал интеллигенции и делают возможной строительство русской культуры на древней, допетровской почве. Интеллигенция была смущена, но не смогла ответить отлучением.

на приняла в себя сильно действующий, хотя и медленный яд, оторый через четверть века начал видимо разлагать ее сознаие. Но количественно, в культурной работе России интеллигенция преобладает — по крайней мере, до первой русской револиюции.

Она не может умереть, потому что дело, которое она себе оставила, сначала, как апокалиптический идеал, чем дальше, тем ольше становится русским государственным делом. Дворянская оссия с 1861 г. безостановочно разлагается. Самодержавие не силах оторваться от дворянской почвы и гибнет вместе с ней. амороженная на 20 лет Победоносцевым Россия явно гниет од снегом (Чехов). Интеллигенция права в своем ощущении гниости 80-90 годов, хотя духовно, в глубине национального соiании, эти годы, как часто годы реакции, были, быть может, амыми плодоносными в новой русской истории. Но общественное ело явно требует хирурга. Революция, убитая Достоевским в iее, оправдывается уже политической необходимостью. Отсюда оскресение революционного идеала и движения в конце 90-х одов.

Жизнь интеллигенции этих десятилетий, расплющенной ежду молотом монархии и наковальней народа, ужасна. Она смыiет свои бездейственные ряды в подобие церкви, построенной крови мучеников. Целое поколение живет в тени, отбрасываеой Шлиссельбургской крепостью. Оно подавлено идеей мучеической смерти: не борьбы, не подвига, не победы, а именно иерти.

«О, зачем не лежит твой истерзанный труп
Рядом с нами, погибшими братьями?».

ерзает себя Якубович, поэт-каторжник, идейный наследник Народной Воли.

В сущности, настоящим гимном русской революции была бездарная Лавровская марсельеза, а похоронный марш:

«Вы жертвою пали в борьбе роковой,
В любви беззаветной к народу...»

Даже в новом революционном приливе 1900 годов демонстраии студенческой молодежи чаще всего связаны с похоронами: Іелгунова, Михайловского, Бунакова, кн. С. Н. Трубецкого... как настоящие политические демонстрации, первомайские

и другие, они всегда безоружны, их смысл всегда в избиении - нагайками, шашками — беззащитных, несопротивляющихся лю дей. Это всегда жертва, и не бескровная; единственная, но глу бокая политическая идея ее: из крови мучеников восстанут новы борцы.

Новых идей до появления на сцену марксизма не пост пает; их боятся, как ереси. Весь смысл этой секты в хранен чистоты и «заветов». Кодекс общественной этики вырабатыва мелочную систему запретительных норм, необходимых, чтоб сохранить дистанцию перед врагом, с которым нет сил бороться Враг этот откровенно — русское государство и его власть. Ум ственный консерватизм навсегда остается главным признак идейно-чистой, пассивно-стойкой русской интеллигенции в основном, либерально-народническом русле.

Для России и эта формация людей не бесплодна. Выт сненные из политической борьбы, они уходят в будничную кул турную работу. Это прекрасные статистики, строители шоссейны дорог, школ и больниц. Вся земская Россия создана ими. Им главным образом, держится общественная организация, запуска мая обленившейся, упадочной бюрократией. В гуще жизненно работы они понемногу выигрывают в почвенности, теряя в «иде ности». Однако, остаются до конца, до войны 1914 г., в лиц самых патриархальных и почтенных своих старцев, безбожникам и анархистами. Они не подчеркивают этого догмата, но он я ляется главным членом их «Верую». Душа этой религии, впроче не в догмате: она в жертве, которая составляет неот'емлему основу народнического мировоззрения.

Революционная лава, остывая в земском, трудовом наро ничестве, принимает облик демократического либерализма. Со циализм, если не линяет до утопии, то отодвигается в туманно будущее. Семидесятники ненавидели либерализм, который, отве вившись от идейного ствола 40-х годов и окрыленный, было, ко ротким десятилетием реформ, питается всего больше модной англо манией. Остывшие народники конца века могли уже подать рук конституционалистам английской школы. Такова формула буду щей партии «Народной Свободы». Но либерализм не создает н одной новой идеи; он несет вместе с народничеством вахту знамени «хранимых заветов».

Появление марксизма в 90-х годах было настоящей буре

стоячих водах. Оно имело освежающее, озонирующее значе-
е. в марксизме недаром получают крещение все новые напра-
ения — даже консервативные — русской политической мысли.
о тоже импорт, разумеется, — в большей мере, чем русское
родничество, имеющее старую русскую традицию. Но в науч-
х основах (все-таки научных!) русского марксизма были мо-
нты здорового реализма, помогшие связать интеллигентскую
сль с реальными силами страны.

Россия, под победоносцевскими льдами, социально пере-
дилась. Новые классы, — рабочие, промышленники — приоб-
іясь к «просвещению», начинают реальную, а не утопическую
ассовую борьбу. Плеханов оказался пророком: рабочий был
й точкой опоры, куда должен быть приложен революционный
чаг. Пролетарий, оторванный от народной (т. е. крестьянской)
чвы, сам сделался почвой, на которую мог осесть революцион-
й скиталец. Русская социалдемократия, несомненно, самое поч-
нное из русских революционных движений. В нем, практиче-
и, профессионалы революции, путем радикальнаго упрощения
оего интеллигентского сознания, сливались с верхушкой «со-
ательных пролетариев», образуя не новую интеллигенцию, а
дры революционных деятелей. В этом свете понятен особый
фос классовой идеи в Росси, и особая ненависть к интелли-
нции в марксистском лагере. Для него «классовый» изначало
очвенный», «интеллигенция» — мир старый, отрешенной круж-
вщины XIX века.

Конечно, и в марксизме, особенно русском, живет, хотя
темная, религиозная идея: по своей структуре революцион-
й, (не реформистский) марксизм является иудео-христиан-
ой апокалиптической сектой. Отсюда он сделался в России не
лько рассадником политических буржуазных идеологий (Стру-
) но и богословских течений. В отличие от народничества, ко-
рое, по своей отрешенности, могло развиваться только в сек-
нтство, марксизм в социально-классовом сознании своем и догма-
зме системы таил потенции православия: они и были вскрыты
шедшими из него вождями новой богословской школы.

Молодое народничество социалистов-революционеров идей-
ничего не приносит в сокровищницу заветов, хотя оказы-
ется более чутким к веяниям культуры. Оно воскрешает в по-
тической борьбе опыт Народной Воли, более грозный и дей-

свенный на фоне растущего движения масс. Террор дал несколько героев с чертами христианского мученичества, но морально разложился еще скорее народовольчества. Революция была уже делом, а не жертвоприношением. И потому авантюризм и провокация необычайно быстро убили жертвенную природу террора: Азеф и Савинков — Каляева и Балмашева. Но народничество уже нашло путь к деревне, возделанной за несколько десятилетий земским плугом: к 1905 году «смычка» интеллигенции с народом была уже совершившимся фактом.

Нельзя обойти молчанием еще одной силы, которая в эту эпоху вливалась в русскую интеллигенцию, усиливаяя ее денационализированную природу и энергию революционного напора. Эта сила — еврейство. Освобожденное духовно с 80-х годов из черты оседлости силой европейского «просвещения», оказавшись на грани иудаистической и христианской культуры, еврейство, подобно русской интеллигенции Петровской эпохи, максимально беспочвенно, интернационально по сознанию и необычайно активно, под давлением тысячелетнего пресса. Для него русская революция есть дело всеобщего освобождения. Его ненависть к царской и православной России не смягчается никакими бытовыми традициями. Еврейство сразу же занимает в русской революции руководящее место. Идейно оно не вносит в нее ничего, хотя естественно тяготеет к интернационально-еврейскому марксизму. При оценке русской революции его можно было бы сбросить со счетов, но на моральный облик русского революционера оно наложило резкий и темный отпечаток.

К 1905 году все угнетенные народности царской России шлют в революцию свою молодежь, сообщая ей «имперский» характер.

Революция 1905 г. была уже народным, хотя и не очень глубоким, взрывом. И в удаче и в неудаче своей она оказалась гибельной для интеллигенции. Разгром революционной армии Столыпиным вызвал в ее рядах глубокую деморализацию. Она была уже не та, что в восьмидесятые годы: не пройдя аскетической школы, новое поколение переживало революцию не жертвенно, а стихийно. Оно отдавалось священному безумию, в котором испепелило себя. Дионисизм вырождался в эротическое помешательство. Крушение революции утопило тысячи революционеров в разврате. От Базарова к Санину вел тонкий мост, по кото-

ому прошло почти все новое поколение марксистов. Лучшие питывались творящейся русской культурой, слабые опускались, тобы всплыть вместе с накипью русского дна в октябре 1917 г.

Я сказал, что интеллигенцию разлагала ее удача. После 7 октября 1905 г. перед ней уже не стояло мрачной твердыни амодержавия. Старый режим треснул, но вместе с ним и инегральная идея освобождения. За что бороться: за ответственное иинистерство? за всеобщее избирательное право? За эти вещи е умирают. Государственная Дума пародировала парламентаризм отбивала, морально и эстетически, вкус к политике. И царская оппозиционная Россия тонула в грязи коррупции и пошлости. Это была смерть политического идеализма.

И в те же самые годы мощно росла буржуазная Россия, троилась, развивала хозяйственные силы и вовлекала интеллиенцию в рациональное и европейское, и в то же время национальюе и почвенное дело строительства новой России. Буржуазия крепла и давала кров и приют мощной русской культуре. Самое лавное, быть может: личшие силы интеллигентского общества были впитаны православным возрождением, которое подготовлялось и в школе эстетического символизма и в школе революционюй жертвенности.

За восемь лет, протекших между 1906 г. и 1914 г., интеллигенция растаяла почти бесследно. Ее кумиры, ее журналы были отодвинуты в самый задний угол литературы и отданы на всеобщее посмещище. Сама она, не имея сил на отлучение, на ритуальную чистоту, раскрывает свои двери для всякого, кто снисходительно соглашается сесть за один стол с ней временным гостем. В ее рядах уже преобладают старики. Молодежь схлынула, вербующая сила ее идей ничтожна.

И, однако, изжито ли старое противоположение: «интеллигенция и народ»? Изменяя революции, интеллигенция забыла о народе. Что там?

Из столыпинской деревни доносится голос хулигана, но она уже шлет в город своих поэтов. В ней совершаются какие то сдвиги, с которыми былая интеллигенция уже утратила связь. Тогда-то раздался голос часового на башне: Блок поднял брошенную тему: «интеллигенция и народ», и указал на пропасть, все еще зияющую. Пророчил гибель и тогда уже звал: «Слушайте революцию!». А из низов, из темной черносотенной глубины ему

отзывался нутряной злобой крестьянский голос: Карпов, «Пламя».

Война заглушила все голоса. В ней остатки интеллигенции утонули, принеся себя в жертву России, и в этой жертве утопили остатки революционной совести.

КРЕМЛЬ

Действие пятое

Что такое народ и что такое большевики 1917 года, по отношению к интересующей нас проблеме интеллигенции? Легче и проще ответить на второй вопрос.

Есть взгляд, который делает большевизм самым последовательным выражением русской интеллигенции. Нет ничего более ошибочного. В большевизме, правда, доживает множество отдельных элементов русского радикального сознания, — что облегчает темному слою «работников просвещения» сотрудничество с ним. Но самая природа большевизма максимально противоположна русской интеллигенции: большевизм есть преодоление интеллигенции на путях революции.

Преодоление интеллигенции может совершаться и совершается многими путями. Если не говорить об органической национальной идее, которая в корне меняет тип «идейности», то почвой для оседания кочевой интеллигенции может быть всякое подлинное «дело». Для многих такой почвой была наука. Люди сороковых годов — Буслаевы, Соловьевы — находили свою почву в исторической и филологической науке, нигилисты 60-х годов — Сеченовы, Мечниковы — в естествознании. Наука несет с собой традицию, всечеловеческую связь, — пусть не национальную, но все же историческую почву. Личность включается в цепь поколений, в определенном звене ее, ее дело определяется уже не ею самой, а коллективным разумом. Но и всякое профессиональное дело, взятое, как призвание, с чувством личной ответственности, выводит из кочевого быта. Врач, инженер, поскольку они преданы своему делу, уже не интеллигенты, или остаются интеллигентами в каком-то верхнем, безответственном плане сознания: на чердаке, куда сваливают всякую рухлядь. Деловитость и интеллигентность несовместимы.

Большевики — профессионалы революции, которые всегда смотрели на нее, как на «дело», как смотрят на свое дело капи-

галистический купец и дипломат, вне всякого морального отношения к нему, все подчиняя успеху. Их почвой была созданная Лениным железная партия. Почва не Бог весть какая широкая — было время, когда вся партия могла поместиться на одном диване, — но за то страшно вязкая. Она поглощала человека без остатка, превращала его в гайку, винт, выбивала из него глаза, мозги, заполняя череп мозгом учителя, непомерно разросшегося, тысячерукого, но одноглазого. Создание этой партии, из такого дрябого материала, было одним из чудес русской жизни, свидетельством о каких-то огромных — пожалуй, тоже допетровских — социальных возможностях. Вся страстная за столетие скопившаяся политическая ненависть была сконденсирована в один ударный механизм, бьющий часто слепо — вождь одноглазый, — но с нечеловеческой силой.

И все же эта машина была почти стерта в порошок Столыпинской каторгой и ссылкой, где получили свою последнюю шлифовку многие из нынешних государственных деятелей России. Было разрушено все, кроме традиции, кроме плана, чертежа (ведь здесь единство механическое, а не органическое), материала злобы и несломленной воли вождя.

Остальное сделала народная стихия, питательный бульон, который с микробиологической быстротой размножил «палочки» большевизма в революционной России.

Но эта Россия, этот народ — как понять его? С одной стороны, революция, медленно, но верно просачивающаяся в самую толщу масс, привила ему (еще с 1905 г.) основы интеллигентской веры... С другой, едва почувствовав себя хозяином жизни, народ принялся яростно истреблять интеллигенцию, наплевал на свободу и демократию, которые были ему предложены, и успокоился только в новом, едва ли не тяжелейшем рабстве, которое в России и поныне слывет под презрительной кличкой «свободы». В чем источник этого трагического недоразумения?

Я не пишу историю революции, и не стану останавливаться на социальных основах классовой ненависти (ясно, что они восходят к неизжитому в России крепостному строю). Здесь меня интересует только народное сознание. К 1917 г. народ в массе своей срывается с исторической почвы, теряет веру в Бога, в царя, теряет быт и нравственные устои. Интеллигенция может считать его своим — по недоразумению. Ее «идеи», т. е. поло-

жительное содержание ее евангелия, для народа пустой звук. Более того, предмет ненависти, как книга, шляпа (бей шляпу!), иностранная речь, как все, что разделяет, подчеркивает классовое расстояние: все аттрибуты барства. В 1917 г народ максимально беспочвен, но и максимально безидеен. Отсюда разинский разгул его стихии, особенно жестокий там, где он не сдерживается революционной диктатурой, — в Сибирской партизанщине.

Революция пронеслась: в крови утолена классовая злоба, народ вернулся к земле, в труде и хозяйстве найдя свою почву. Но в его сознании, на месте тысячелетних основ жизни, образовалась пустота. У крестьянской молодежи, у активных слоев она быстро заполняется примитивным материалистическим «просвещением». Разумеется, эта старая интеллигентская идея (в сущности, идея 60-х годов, освеженная марксистским модерном) теперь лишена всякого нравственного пафоса. Но она прекрасно уживается с мощной жаждой жизни, наживы, наслаждений, которой проникнута современная Россия. Повсюду, в городе и в деревне, в высших слоях еврейского нэпа, в разлагающемся коммунизме и в предприимчивой крестьянской молодежи царит один и тот же дух: накопления, американизма, самодовольства. Гибель коммунизма, можно думать, не только не остановит, но еще более подвинет этот рост буржуазного сознания, Интеллигентские «идеи» находят свою настоящую (не псевдоморфную, религиозную) почву: в новом мещанстве.

Тем самым вековое противостояние интеллигенции и народа оканчивается: западничество становится народным, отрыв от национальной почвы — национальным фактом. Интеллигенция уничтоженная революцией, не может возродиться, потеряв всякий смысл. Теперь это только категория работников умственного труда или верхушка образованного класса.

Полно, так ли?

Вся ли Россия проходит азбуку атеизма и американизма? Этому противоречит хотя бы всеми отмечаемый расцвет церкви и православного быта. Кто же в России ходит в церковь?

Уже сразу бросается в глаза — по крайней мере, в городе — как много в храмах бывшей интеллигенции. И не только выбитых из жизни стариков, но и молодежи, активно строющей новую Россию. Знакомство с этой христианской молодежью сразу вскрывает в ней знакомые черты: да это все былые народники

черашние эсеры! Быть может, без прежней удали, с большею держанностью и строгостью, — но с тем же энтузиазмом. Воочию видишь: наконец-то поколения «святых, неверующих в ога», нашли своего Бога и вместе с Ним нашли себя. Вековой аскарад кончился. Интеллигенция влилась в основное русло великой русской культуры, уже начавшей свое оцерковление с кона XIX века.

Но, может быть, в этой точке раждается новая интеллиенция, с новым отрывом от народа, переменившаяся с ним роями: народ отрывается от исторической почвы, интеллигенция ранит религиозное сознание? Да, это правда, что отныне религиозное и национальное сознание России может строиться только работе этой новой церковной интеллигенции: не на этнографиеских пережитках, а на идее-символе. Но, по самой природе церкви, она не может стать отрешенной. Если мы и видим сейчас реди новообращенных увлечение аскетической Фаиваидой, слабость общественного и культурного сознания, то все это болезни тарой интеллигентской души: новый вывих, который должен быть исцелен органической жизнью церковного тела. Церковь слишком связана с живой исторической плотью народа, с его историей и бытом. Она не может жить лишь отрешенным мистиеским подвигом, и ничто не чуждо ей в такой степени, как романтика прошлого.

Да и неверно, разумеется, что православие в народе умерло. Оно парализовано в массах, но живо в личностях. В церкви живут сейчас все классы русского общества. Только в ней в наши дни и можно встретить подлинно всенародное единение.

Две России стоят друг против друга. Социально они перемешаны обе; в обеих верхи и низы, темная масса и интеллигенция. Если хотите определить их, то следует, прежде всего, отбросить политические мерки. Россия живет сейчас с аполитиеским сознанием. Никто не думает в ней о реставрации, мало кто думает о демократии. Что разделяет людей, так это два типа, два идеала жизни: меньшинство живет запросами духа, большинство — хозяйственными злобами дня. Меньшинство почти целиком сейчас в церкви. Большинство — в организациях правящей партии, но и в неорганизованных массах ее врагов. Россия православная — против России-Америки (тоже провидение Блока). Революция провела в народном сознании глубокую трещи-

ну, которая, вероятно, не зарастет и в ряде поколений. Эта трещина та самая, что прорубил Петр: только проходит она теперь иначе, не по классовым линиям, а сверху до низу рассекает народное тело. Классовое образование интеллигенции отныне, в самом деле, невозможно.

Обе России национальны. Революция самым фактом своей победы и обороны от белых и европейских армий развила в себе мощное национальное чувство. Ему не хватает исторической перспективы, но сама революция, ставшая историей, дает эту недостающую традицию. Принимая в свои святцы декабристов, народовольцев, революционная Россия, отправляясь от них, приобщается и к дворянско-интеллигентской культуре. Это пока лишь задание, но оно будет выполнено. А за приятием дворянской культуры неизбежно ее преодоление. Народ пойдет путем интеллигенции — хотя бы опаздывая на столетие — через Толстого в церковь. Раз исцелен дух страны, он будет животворить и тело.

Церковная Россия живет традицией древней Руси. Ей трудно принять Петра, — особенно трудно теперь, когда ее не поддерживает созданная Петром государственность. Однако, ей это столь же необходимо, как революционной России — приобщиться к православной культуре. Лишь в этом слиянии залог подлинно нацонального творчества. Конечно, это слияние необычайно трудно, и может ставиться лишь, как предельная задача. На пути к ней стоят различные проекты решений, различные «идеологии», которыми будет жить Россия XX века. Но думается, что одна черта должна резко отличать их от большинства идеологий дореволюционной Росси: они будут соединять в себе элементы древне-русской и новой, петровской, культуры, в разных сочетаниях и разных стилях. По существу и правде, не может быть и спора о том, кому принадлежит гегемония. Но гегемон должен не забывать об изначальном ущербе, который сделал неизбежным многовековой раскол: не презирать золотых сосудов Египта и прекрасных хананеянок, уже готовых обрезать свои волосы.

Е. Богданов

ИСКУССТВО И КУЛЬТУРА

(к проблеме эстетики)

Эстетика, пожалуй, единственная из философских наук, кото-рой до сих пор не коснулось брожение, охватившее в последне время всю духовную культуру и в особенности философское мышление. Как будто даже ослабел интерес к этой области философского творчества; по крайней мере в послевоенные годы не вышло ни одного крупного систематического труда по общим вопросам эстетики. Вся энергия философской мысли как будто исключительно направлена на более актуальные проблемы, проблемы культуры, философии религии, философии истории и т.п. Однако, если ближе всмотреться в те специальные исследования по вопросам теории живописи, поэзии и других искусств, которые появились в последние 10-15 лет, то нельзя не увидеть, что и здесь идет напряженная работа; что и эстетика подходит к некоторому поворотному пункту, что и в ней замечается коренная перестройка всех ее философских основ. О таком повороте свидетельствует — помимо многого другого — одно весьма существенное обстоятельство: отчужденность философской эстетики от конкретного живого искусства, которую она до последнего времени никак не могла принципиально преодолеть и которая ее обрекала на мертвенную отвлеченность и бесплодность, начинает теперь исчезать и эстетика впервые подходит вплотную к своему предмету. Этим крупным достижением она обязана прежде всего тому, что за разработку эстетических проблем принялись помимо философов и представители самого искусства и истории искусства. Благодаря этому эстетическая мысль получила иное направление; эстетика стала строиться не сверху, а снизу. Место общих систематических конструкций и психологических размышлений занял анализ культуры и структурных элементов самих произведений художественного творчества. И вот именно этот не-философский подход к эстетическим вопросам оказался философски наиболее плодотворным. Работы Г. Вельфлина и его последователей, а с другой стороны школы русских формалистов, представляют собою не только ценный вклад в теорию живописи, но имеют и чисто философское значение, указывая эстетике то направление, в котором она должна искать свой подлинный об'ект.

2

Самое главное затруднение для эстетики — это установлени предметного единства эстетического бытия. Нет единого искусства есть лишь множество искусств, пользующихся для осуществлени своих художественных заданий совершенно разным материалом разными способами изображения. В чем же их общая предметна основа? На первый взгляд вопрос этот допускает как будто два ре шения: если эту основу нельзя обнаружить в самом искусстве, в ег творениях, то ее следует искать вне его, а это значит: либо в само эстетическом суб'екте (творящем или воспринимающем), либо ж в тех смыслах, тех идеях, которыя воплощаются в художественны образах. Оба эти пути были испробованы эстетикой, и оба они за вели ее в безнадежный тупик. Ни той, ни другой концепции не уда лось нащупать предметное (об'ективное) единство искусства. И суб ективно-психологическая и об'ективно-идеалистическая теория про ходят мимо того, что наиболее существенно для художественног творчества, — мимо той среды, в которой оно осуществляется в от дельных искусствах, и тех форм изображения, которыя определяю своеобразие каждого из них. Все — с точки зрения указанных уче ний — не больше чем эстетически безразличный материал, которы может быть подвергнут любой художественной чеканке, но сам (себя не привносит в художественное творчество ничего такого, чт было бы эстетически ценно и определяло бы его по существу. Д последнего времени суб'ективно-психологическая и об'ективно-иде ологическая (рационалистическая) концепции играли в эстети руководящую роль. В этом — основная причина ее ответственно доктринерства и ее отрешенности от живого искусства и животвор чества. Освободиться от засилия этих ложных тенденций эстети ческой мысли удастся только в том случае, если она — на перві порах — откажется от чисто систематических конструкций и п грузится прежде всего в ту предметную стихию, из которой рожда ется и в которой осуществляется художественное творчество в от дельных искусствах.

Это требование вовсе не означает отказ от научной методики безоговорочное подчинение философской мысли логически неопред лимой и безответственной интуиции. Как раз наоборот: только эти путем эстетика может найти тот твердый упор, который ей обесп чивает предметную обоснованность и логическую четкость ее осно ных понятий и положений. Изучение *структурных форм*, опред ляющих природу отдельных искусств, вот ближайшая задача эст тики, не подходящей к искусству извне, а руководящейся исклю чительно его внутренним жизненным ритмом.

Правда, понятие формы — со временем получило в филос фии столь широкое употребление, что утратило свою однозначност и потому как будто мало пригодно для определения самого сущ ства эстетического. Тем не менее эстетике без него не обойтис-

ка ей не удалось выработать другого более подходящего понятия, торым можно было бы его заменить: оно близко самому художественному творчеству и за ним стоит многовековая, идущая из античности традиция. Необходимо лишь точнее очертить определяющие его моменты и указать его отличие от тех его значений, которые лежат вне эстетической плоскости. Согласно традиционному пониманию, форма художественного произведения противополагается его содержанию, т. е. его сюжету, его предметному смыслу. О несостоятельности этой противоположности — с точки зрения эстетики — теперь уже не может быть двух мнений; она обусловлена внехудожественным подходом к искусству, т. е. подходом, который переносит центр тяжести на смысловую сторону и считает ее основой художественного произведения, существующей и независимо от своего чувственного воплощения; или же противоположность эта обозначает в пределах самого художественного произведения различие т. наз. «формального» и предметно-смыслового фактора; но в таком случае она уже предполагает эстетическое бытие как нечто данное, как некоторую особую реальность, а потому не может иметь для эстетики основополагающего значения. Форма же в смысле структурной формы есть именно то организующее начало, которая определяет собою *все* в художественном произведении, т. е. все, что не входит в структурную форму и в ней не укоренено, либо эстетически вообще не реально, либо же есть момент отрицательный, уничтожающий эстетическое единство творения искусства, его художественную целостность. Структурная форма обнимает в одинаковой мере и формальные факторы и предметно-смысловые факторы в художественном произведении. В этом смысле сюжет, композиция, есть такой же формальный момент, как и все те факторы, которые обусловлены самой природой чувственного материала. Структурная форма не напечатлевается художником на обрабатываемый им материал, как нечто чуждое, извне привносимое, а осуществляет и выявляет лишь те эстетические возможности, которые в нем самом заложены, которые укоренены в его собственной природе. Только на таком понятии формы и может быть построена об'ективная эстетика, как учение о предметном строе эстетического. Понятие «приема», которым пользуется школа формалистов, заменяя им понятие формы — несмотря на все свои методологические удобства — с философской точки зрения не может считаться основополагающим. Форма, понятая только как прием художественного творчества, приобретает характер чего-то суб'ективно-произвольного и внешнего по отношению к самому материалу. Между тем правомерность формального подхода к искусству обусловлена именно органической связью между формой (как совокупностью и единством приемов) и материалом. И формалисты совершенно правы, когда настаивают на том, что напр. поэтика должна исходить прежде всего из языковедения и что поэтому каждой главе науки о языке должна соответствовать особая глава теоретической поэтики. В самом деле в звуковом со-

ставе слова, в ритме и в интонациях живой речи, в ее грамматич ком и синтаксическом строе, наконец, в ее семантической сторо т. е. в ее образности, логическом смысле и эмоциональном напря жении даны уже все те формальные элементы, или приемы, ко рыми пользуется поэтическая речь. Мало того: в самой природе с. ва уже предуказаны и самые формы объединения этих элемент т. е. те композиционные синтезы, которы создают из них одно ор ническое целое.

Приемы, применяемые художником, являют собою лишь про водные этих структурных форм и синтезов, потенциально кроющи ся в самом материале. Функция приемов ограничивается поэто исключительно тем, чтобы сделать эти формы действенными, что актуализовать их для воспринимающего сознания и тем раскры и выявить их самодовлеющую ценность. Этим определяется и за ча художественного творчества: оно открывает доступ к этим сам довлеющим ценностям, т. е. находит ту установку сознания, при к торой они становятся непосредственно ощутимыми и постижимы

Правда, может показаться, что такое толкование эстетич кой формы односторонне ориентируется на поэзии и поэтому при жимо только к этой области художественного творчества. Язык де ствительно представляет столь тонко расчлененный и оформле ный материал, он таит в себе такую неисчерпаемую сокровищни эстетических потенций, что задача поэта как будто ограничивает лишь довершением и упорядочением того, что уже создано естес венным развитием языка. Однако эта оформленность не составл ет специфической особенности только языка; в большей или мен шей степени всякий материал, эстетически оформляемый худож ственным творчеством, уже обладает известной оформленности И звук, и цвета, и скульптурный материал приобретают эстетич кое значение лишь в той мере, поскольку они становятся элеме тами звуковой и пространственно-цветовой и световой «стихи и подчиняются ее закономерности. Эстетическая же реальность эт стихий совершенно независима от того, обнаруживаются ли они н посредственно и в полной мере в окружающей действительности, и же обязаны своим обнаружением человеческому творчеству и ч ловеческой культуре (как напр. музыкальная стихия). А потому эстетическая закономерность этих стихий обладает и в том и в др гом случае одинаковой *предметной* об'ективностью и одинаково д лека от суб'ективного произвола. — Но и другое сомнение — бу то признание за эстетической формой такого рода об'ективнос ведет обратно к натурализму в эстетике (к пресловутой теор «подражания») и принижает значение индивидуального творчества лишено основания. Ведь реальность, приписываемая структурн форме, есть реальность эстетическая, которая не только не совп дает с физической или психической реальностью, но и требует д своего построения совершенно особой установки сознания. Насто щий художник действительно изображает только то, что он вид

в этом смысле чему-то «подражает»), но для того чтобы овла-ь структурными формами, он должен найти к ним доступ, он дол-уметь их видеть, и в этом узрении и уловлении их и заключает-решающий момент художественного творчества.

Путь, по которому идут современные представители формализ-в основе своей был уже намечен А. Гильдебрантом в его клас-еском исследовании «Проблема формы». Г. убедительно показал, в области изобразительных искусств эстетическая форма все-о укоренена в самой природе «феноменального», видимого про-анства, или вернее в структурных особенностях зрительных об-ов; эти особенности поэтому и должны быть использованы жи-исью и скульптурой — каждой по своему — для наглядного бражения тех свойств телесного мира, которые опытно могут ь воспринимаемы лишь через посредство двигательных (мус-ьных) ощущений (как напр. измерение глубины) или которые яются носителями тех или других функциональных значений пр. жизненных, органических). Правда Гильденбрант прово-свою об'ективную концепцию эстетической формы не всегда едовательно: художественная ценность зрительных образов ока-ается у него в конечном итоге обусловленной их соответствием ей зрительной способности, т. е. организации зрительного ор-а (иначе говоря, их суб'ективной целесообразностью). И, быть ет, именно поэтому возможность многообразия художественных лей не получает в его учении никакого об'яснения. Правильное одологическое освещение дал этой проблеме впервые Г. Вель-н в своем фундаментальном исследовании « Kunstgechichtliche ndbegriffe.

На первый взгляд может показаться, что В. идет совершенно м путем, чем Г.: что он исходит не из анализа формы, а из рас-грения воспринимающего ее зрительного акта. Различие стилей зобразительных искусствах (и прежде всего в живописи) Вель-н выводит из различий в самом художественном видении, т. е из ичия в структуре, характере тех зрительных восприятий, из рых складывается и которыми определяется картина видимо-художником внешнего мира. Это не значит, однако, что эстети-ая форма тем самым выводится из суб'ективного акта, из того иного подхода суб'екта к чувственно-пространственному миру. значит лишь, что каждый особый вид художественной формы бует и особого постигающего акта, вне которого эти формы для екта вообще не доступны. Ведь различия в художественном ви-ии обнаруживаются прежде всего не в различиях осуществля-их его суб'ективных актов, а в различиях того предметного бы-, которое они нам открывают и которое делают для нас видимым. остранство представляется нам, как показывает В., либо как ная сплошная свето-цветовая стихия, которая из себя своей тренней динамикой выделяет, излучает отдельные предметы и ния, как цвето-световые феномены: или же пространство вос-

принимается нами как «линейное» пространство, в котором ка дый предмет выступает как замкнутое, очерченное линиями и пло костями целое, и которое само впервые созидается из совокупн сти этих предметов и их взаимоотношений. На этом различии пр странственно-материальных восприятий основано по Вельфлину, ра личие между «линейным» и «живописным» стилями; первый нап свое наиболее совершенное воплощение в классическом искусс Ренессанса, а второй — в стиле Барокко и его позднейших ви изменениях. Правда эти два «аспекта» чувственно-протяженного ра не исключают друг-друга абсолютно, не только в обыденном, и в художественном восприятии они могут сочетаться самыми ра личными способами. Но эстетически оформленным становится восприятие только в том случае, когда один из этих аспектов пр бретает руководящее значение художественной «доминанты» и п чиняет себе другой. Только благодаря такой внутренней упоря ченности, зрительное восприятие может актуализовать в себе вестный живописный строй, т. е. удовлетворить требованию ед ства и чистоты художественного стиля.

Аналогичные различия существуют повидимому и в художе венном восприятии звуковой стихии; и здесь обнаруживается г бокая стилистическая разница между музыкой, построенной на оп деленных ладах и тональностях, и музыкой, основой которой слу хроматизм и отрицания тонального строя.

Конеч , ни исследования формалистов в области поэтик работы Вельфлина и его школы, по теории изобразитель ых искус не дают еще ответа на вопрос: в чем сущность, в чем предмет основа эстетического образа вообще: они решают его лишь в при нении к изучаемой ими сфере художественного творчества. Но первый и необходимый шаг на пути к решению обще о вопр Только на этой конкретной основе может быть построена объек ная научная эстетика, как учение о структурной форме. И тол этим методологическим путем эстетика сможет окончательно пр долеть все еще не изжитые предрассудки психологизма и интелл туализма.

Укажем лишь на одну фундаментальную проблему, кото тесно связана с вопросом о существе эстетической формы. Е и верно, что предметно-смысловая сторона произведения искусс (т. е. то, что принято называть его идеей), не имеет самосто тельной реальности, а существует лишь в неразрывной связи воплощающей его чувственной формой, то этим отнюдь не сним ся вообще различие между чувственно-формальным и предме смысловым моментом в пределах самой эстетической формы. этому и можно говорить о «формальной» красоте художествен произведения (в узком смысле), разумея под этим ту эстети

*) Под красотой мы разумеем — для большей простоты конс не «красивость», а просто положительную эстетическую ценность

ю ценность, которая ему свойственна, как чистому феномену звуовой, цвето-световой или словесной стихии, независимо от выжающегося в нем предметного смысла. Так в поэзии «формальая» красота, (которую правильнее было бы называть *чувственнономенальной)* определяется такими моментами как евфония, слосная инструментовка, евритмия, мелодика и т. п., в изобразильных искусствах — тем или другим сочетанием линий, плостей, созвучием красок, уравновешенностью композиционных масс т. п.. Чувственно-феноменальная красота, конечно, органичес. связана с предметно-смысловой стороной произведения искусва, но связь эта отнюдь не имеет характера одинаковой взаимной висимости. Феноменальная красота может иногда существовать самостоятельно, тогда как красота, определяемая и смысловым кторором укоренена, фундирована в первой и может выражаться лько в ней и через нее. Поэтому возможно беспредметное искусво (т. е. искусство, лишенное определенного предметного сюже-); такова напр. чистая музыка, таковой может быть декоративя живопись, таким хочет быть заумный язык. Но невозможно едметное искусство, которое было бы лишено чувственно-феноиальной основы. Впервые указал на это глубокое различие двух дов красоты Кант. Он различает красоту свободную (Freie höнheit) и красоту привходящую (anhängende Schönit), т. е. красоту самой чувственной формы и красоту, в торую одним из конституирующих моментов входит и предметный ысл. Только за первой Кант признает чисто-эстетическое значее, вторая же, по его учению, обусловлена в основе своей вне эстеческим фактором — понятием предмета («типом») или же идеом нравственного совершенства (в человеческой красоте). — кое понимание «привходящей» красоты упраздняет самостоятельсть предметного искусства и вместе с тем неизбежно приводит интеллектуалистическому и моралистическому засилию в эстети. Нет сомнения: и восприятие «привходящей» красоты, т. е. краты предметно-осмысленной столь же непосредственно, как и восиятие красоты «вольной» (чувственно-феноменальной) и не нуждется, как думает К., в каком либо посредстве понятий или нравенных идей. Но если отвлечься от этой ложной интеллектуалиической и моралистической тенденции в эстетике Канта, пробма, возникающая на почве указанной противоположности, уловна и формулирована им совершенно правильно. Предметный ысл действительно привходит как нечто по существу иное и ное в чувственно феноменальную красоту. Ведь сам по себе он ее конституирует и не определяет; она существует и помимо него. лишь воплощается и выражается в ней, подчиняя ее известным ным ограничительным условиям. В этом отношении предметносмысловой момент являет собою как-бы форму высшего порядка, торая предполагает некоторую совокупность низших (чувственнаглядных) форм, как необходимую основу, но вместе с тем

подчиняет их высшему (смысловому) единству. Этим, однако, проблема «привходящей» красоты еще не исчерпана. Прежде всего — взаимоотношения между чувственно-феноменальной и предметно-смысловой стороной далеко не одинаковы во всех искусствах. Так напр. музыка по преимуществу беспредметное искусство; в изобразительных искусствах «формальная» красота также может обладать самодовлеющим значением. Но в области поэзии дело обстоит совсем иначе: слово существует лишь как осмысленное слово; оторванное от смысла оно перестает быть словом. «Заумный» язык, как язык, лишенный всякого предметного смысла, — есть чистая фикция; он заслуживает название языка, лишь в той мере, в какой он сохраняет хотя бы и неопределенный и приглушенный предметный смысл. Поэтому в поэзии (да и не только в поэзии) взаимоотношения между чувственно-феноменальным и предметно-смысловым факторами осложняются. Чувственная форма не воспринимает предметный смысл как нечто извне привходящее, как нечто такое, что в нее укладывается, но по существу не затрагивает, а определяется им извнутри в самых своих основах. — Чем же обусловлена возможность такого определения чувственной формы через вне-чувственный предметный смысл? И каким образом в предметном искусстве из этих двух столь разнородных факторов может получиться внутреннее органическое единство? Или в несколько иной формулировке: если чувственно-феноменальная красота ничего собою не выражает, а являет лишь самое себя, то как она может стать, оставаясь тем, что она есть, выразительницей и носительницей предметного смысла? Как совершается этот переход от чисто-внешней формы к форме «внутренной», выразительной, отделенной от нее как будто непроходимой пропастью?

Проблема эта редко ставится с полной отчетливостью; но там, где она ставится, основу внутреннего единства художественного произведения ищут почти всегда в воспринимающем суб'екте, в том участии, которое он принимает в построении эстетического об'екта. Этим именно путем идет так наз. теория вчувствования во всех ее современных разновидностях. Посредствующую роль между чувственно-формальной и предметно-смысловой стороной она приписывает эмоциальному фактору. — Возбуждать в воспринимающем суб'екте эмоциональные переживания может, как показывают факты, не только предметный смысл художественного произведения, но и чувственная его форма, его наглядный строй, как таковой. В акте вчувствования эти эмоциональные реакции суб'екта «об'ективируются», т. е. переносятся на эстетический об'ект и переносятся на него не только поскольку он является носителем известного предметного смысла, но и на его чувственную форму; таким образом и сама форма становится выразительной. Задача художника — установить соответствие и гармонию между эмоциональной тональностью чувственной формы и предметным смыслом: эта соответственности или эта однотонность эмоциональных тональностей и составляет подлинную основу единства художественного произведения

Как ни велики заслуги теории вчувствования перед эстетикой
она освободила ее от засилия интеллектуалистических тенден-
ий), однако в корне своем — как это все более выясняют новейшие
сследования, — она несостоятельна. И не только потому, что она
о существу отрицает об'ективное единство художественного про-
зведения, ставя его в полную зависимость от всегда случайных
изменчивых эмоциональных реакций воспринимающего суб'ек-
а; но и потому, что не об'ясняет в конечном счете именно того,
то она берется об'яснить. Вчувствование само по себе не в состоя-
ии оживить, одухотворить свой предмет; оно возможно и осуще-
твимо только там, где сам предмет уже заключает в себе некоторые
моциональные тенденции, т. е. обладает своей собственной внут-
енней жизнью. В частности это относится и к эстетическому вчув-
твованию. И оно предполагает в самой эстетической форме — не-
ависимо от ее предметного смысла — некоторую своеобразную
изнь, и жизненную напряженность. Если такое утверждение ка-
ется странным, «не научным», и как будто возвращает к какой-
) донаучной мифологии, то это об'ясняется только глубокими на-
уралистическими предрассудками нашего научного мышления. Ес-
и бы художественно (или вообще эстетически) оформленный чув-
твенный материал был бы *только* физическим явлением, подчи-
енным известным закономерным отношениям, то единственная (и
) случайная) эмоциональная реакция, которую он мог вызвать в
оспринимающем суб'екте, — это — чисто индивидуальные, физи-
логически обусловленные чувства приятности, удовольствия. Эс-
этическое впечатление было бы случайным «эпифеноменом» из-
эстных психо-физических процессов; и не больше. И нельзя бы-
) бы говорить об эстетической реальности, как особой сфере бы-
ия, сущностно отличной от практической или естественно-науч-
ой действительности. Конечно, для реализации эстетического вос-
риятия требуется и наличность известных суб'ективных условий:
звестной установки воспринимающего суб'екта. Но эта установка
э создает ни эстетических форм, ни присущей им эстетической
энности. Она лишь открывает суб'екту доступ к этим формам,
іа дает ему возможность увидет в них не только некоторую упо-
ядоченную совокупность чувственных элементов, но нечто боль-
ее, некоторое живое конкретное целое, обладающее самодовле -
щею ценностью. В этом смысле всякая эстетическая форма «вы-
азитльна»; но выражает она не нечто такое, что скрывается *за*
ю и отлично от нее, а выражает она лишь самое себя, свою соб-
венную жизнь, свою индивидуальную ценность. Поскольку же
тетическая форма сама по себе, т. е. как чистая чувственная
орма, независимо от всякого предметного значения — вырази-
льна и знаменует некоторый конкретный органический строй,
на обладает и своим собственным смыслом, своим собственным
изненным (а постольку и эмоциональным) напряжением. Разуме-
ся, смысл этот не есть логически-предметный смысл и напря-

женность ее не есть эмоциональность специфически человеческая, проявляющаяся в чувствах, так или иначе связанных с определенным логическим смыслом. И тем не менее мы имеем полное право говорить здесь о смысле и связанном с ним эмоциональном напряжении. Яснее всего это обнаруживается в музыке, т. е. в том искусстве, в котором предметно-смысловой момент играет наименьшую роль. Стоит лишь вдуматься в то, что из себя представляют структурные начала и элементы в музыке (как лад, ритмический строй, гармонические ряды, мелодика и т. п.), чтобы сразу понять, что каждое из них обладает известной выразительностью, является носителем некоторого смысла и эмоционального напряжения: тем более такой смысл и такое напряжение свойственно тому целому, которое их сопрягает и об'единяет как свои культурные моменты. Не случайно же мы называем это целое музыкальным образом или идеей. Музыкальный образ, действительно, представляет в своем росте и развитии, вообще во всем строе своей внутренней жизни некоторую аналогию с предметным образом и смыслом. Он может даже по своему эмоциональному тону ему до известной степени соответствовать. Но этим ничуть не упраздняется сущностное отличие между музыкальным и предметно-логическим образом или смыслом. Никогда музыкальный смысл не может быть однозначно определен или исчерпан предметным смыслом; и никогда он не знаменует собой лишь музыкальное выражение предметного смысла. Он довлеет себе и в основе своей совершенно независим от мира предметно-логических смыслов, принадлежа к более основной стихийной и темной сфере бытия, которой еще чужда определенность и внутренняя озаренность предметно - логической сферы. — Назовем ли мы ее витальной, или космической, или еще как нибудь иначе, — для рассматриваемой здесь проблемы безразлично. Это зависит уже от того или иного метафизического истолкования эстетического бытия и его феноменов. — Эта характеристика музыкальных форм целиком применима и к формальным началам, свойственным другим искусствам: поэзии, живописи, архитектуре. И здесь наглядная эстетическая форма сама по себе обладает своей особой осмысленностью и эмоциональностью, во многом и существенном сходной с осмысленностью и напряженностью музыкальных форм. В этом смысле (но и только в этом!) можно было бы утверждать, что все искусства имеют свою музыкальную основу, независимо от их чисто предметных заданий. И лишь постольку предметный образ рождается из этой непредметной основы, вырастает и развивается из нее или по крайней мере уподобляется ей, проникаясь ее ритмом и напряжением, он приобретает подлинную эстетическую ценность и реальность. В подлинных творениях искусства нет поэтому непримиримого дуализма между формальной и предметно-смысловой

тороной: выразительность последней знаменует лишь развитие, ысшее оформление и осмысление первой. Взаимоотношения этих вух сторон, конечно, не одинаковы во всех искусствах; они меяются в зависимости т особой природы каждой отдельной области удожественного творчества; не одинаковы поэтому и те ограниения, которые предметный смысл налагают на воплощающую его вственную стихию. И одна из главных задач теории искусства ключается в том, чтобы выяснить своеобразие этих взаимоотноений и взаимоограничений в каждой отрасли искусства. Но повюду остается непреложным и действительным одно основное полоение, определяющее собою необходимые условия всякого художественного творчества. Как бы велико ни было значение и роль редметного образа (или смысла), художественная выразительность о должна быть укреплена в выразительности чувственно-форальной. Как только предметно-смысловая выразительность отрыется от своей чувственной основы, художественное творчество ерестает быть подлинным и эстетическая реальность подменяет тем или другим суррогатом (напр. «литературщиной» в живоиси, «програмностью» в музыке и т.п.). — И заметим еще: тольо там, где актуализована чувственно-формальная выразительность, озможно то, что принято называть эстетическим вчувствованием. чувствование есть всегда вторичный, производный акт, предпоагающий об'ективную реальность эстетического бытия. Все теоии, которые считают его источником и основой живого художевенного восприятия, неизбежно ведут к антропоморфическому столкованию искусства, усматривая в выразительности и эмоциоальности художественного произведения, т.е. в свойственной ему изненной напряженности лишь отражения чисто человеческих вств, настроений, мыслей, отношений и оценок. Но такое понинние искусства незаконно с'уживает и ограничивает сферу эстеического бытия: оно совершенно не улавливает той особенности скусства, которою определяется его исключительное культурное начение: не только человеческое изображает оно, ему доступна и я та жизненная стихия, которая охватывает человеческий микроосм и сверху и снизу, и которая питает его своей неисчерпаемой нергией.

Только такое понимание эстетической формы, как выразительй (независимо от ее предметного значения) способно дать соввеменному формализму в эстетике философское обоснование и вмес с тем об'яснить внутреннюю связь искусства со всей остальной льтурой. Как раз эту последнюю проблему формалисты обычно норируют, или же сознательно устраняют, считая, что она не вхот в компетенцию эстетики и не затрагивает существа искусства. аже самая постановка такой проблемы вызывает с их стороны югда принципиальные возражения. Они видят в ней покушение

на автономность искусства, попытку подойти к художественному творчеству с совершенно чуждыми ему внехудожественными критериями и мерами. Опасения эти понятны; они являются естественной реакцией против засилия тех социальных моралистических и идеологических тенденций, которые до последнего времени господствовали в истории и теории искусств и тормозили ее нормальное внутреннее развитие. Правы формалисты и в том, что ставят в основу угла эстетики проблему художественной формы. Прежде чем решать вопрос об отношении искусства к остальной культуре, необходимо выяснить, что такое искусство, какова его внутренняя структура. Однако если формалисты утверждают, что связь с культурой не определяет собой жизни и смысла самого искусства, они впадают в явное противоречие с фактами и сами себя лишают возможности дать своим эстетическим взглядам соответственное философское обоснование. Лозунг l'art pour l'art в искусстве и в эстетике столь же ложен и незаконен, как и всякий морализм или интеллектуализм. Признание искусства самостоятельной и самобытной областью культурного творчества, подчиненной своим собственным, невыводимым ни из каких других начал органическим законам, вовсе не требует отрицания его кровной внутренней связи с остальной культурой. Автономность не означает изолированность, отрешенность от всего прочего мира. Самобытность и творческая мощь искусства сказывается именно в том, что она способна *всякое* жизненное содержание (религиозное, нравственное, социальное и пр.), хотя бы оно раньше вообще еще не было выявлено, отлить в свойственные ему художественные формы. Это не значит, однако, что вся культурная жизнь представляет для художественного творчества безразличный материал, поддающийся какому угодно художественному оформлению. Видеть во всяком жизненном мотиве, каков бы он ни был, лишь повод (материал) для применения того или иного художественного приема может только импотентный эстетизм, для которого жизненные ценности утратили свое самодовлеющее действенное значение. Обращение мотива в чистый «прием» — первый признак ослабления творческого напряжения. Оформляя эстетически жизненные содержания искусство не отменяет и не нейтрализует заложенные в них внеэстетические ценности, а переводит их лишь в иную тональность, выявляет их эстетическую значительность. Оно остается подлинным искусством лишь до тех пор, пока ощущает жизнь как настоящую, реальную жизнь. Как только оно обращает ее в простой материал для художественных экспериментов, оно само теряет всякую остроту и напряженность и низводит себя на уровень пустой игры и эстетического гурманства. Связь искусства с жизнью поэтому не есть только связь с внешним необходимым условием, а связь внутренняя, определяющая самое его существо. Именно в этом смысле необходимо признать правильным утверждение, что в жизни, в культуре укоренено бытие самого художника, не только как человека, но и как творца художественных ценностей. Не важно, конеч

но, чтобы эта жизнь и эта культура нашла свое адекватное теоретическое выражение в каком-нибудь философском или религиозном мировоззрении; существенно только то, что она всегда предполагает некоторую основную жизненную установку, которая определяет собой весь ее внешний и внутренний (духовный, интеллектуальный) строй. И эта основная жизненная установка является для художественного творчества не только об'ектом, материалом, но и направляющим его двигателем. — Все это собственно трюизмы, но о них приходится упорно напоминать в виду того одностороннего и почти слепого догматизма, к которому тяготеет формальная школа в философском понимании своих руководящих принципов. Особенно ярко обнаруживается эта односторонность в попытках формалистов, об'яснить историческое развитие художественных форм и стилей на основании одних только имманетных самому искусству и художественному сознанию законов. Заслуги нормальной школы в разработке именно этого вопроса особенно велики. Если для научного сознания теперь несомненно, что в развитии художественных форм и стилей наблюдается известная закономерность, которая прежде всего обусловлена эстетическими возможностями, заложенными в данном стиле и присущих ему формах, то этим достижением мы обязаны прежде всего исследованиям формалистов. Правильно и другое положение, установленное формальной школой: что всякий стиль, достигнув в известную эпоху господствующего положения, неизбежно утрачивает со временем свою эстетическую (художественную) действенность и вызывает в художественном сознании реакцию, результатом которой является создание нового стиля в некоторых отношениях противоположного прежнему и канонизация таких эстетических форм, за которыми раньше не признавалось художественной ценности. Все это так. Но разве эти необходимые условия являются вместе с тем и достаточными для об'яснения исторического развития и смены художественных стилей? Разве каждому канонизованному стилю можно противопоставить в качестве отменяющей противоположности только один вполне определенный стиль? Такое предположение грешило бы не меньшим рационализмом, чем Гегелевское истолкование исторического процесса в смысле диалектического развития. Оно явно упрощает реальный процесс эволюции художественных стилей, не учитывая тех широких, почти неограниченных возможностей в выборе и комбинации художественных доминант, которые открываются перед художником при выработке нового художественного стиля. Если же качественное своеобразие нового стиля невыводимо из его противоположности по отношению к стилю предшествующему, то положительные причины его возникновения остаются не выясненными; т. е. не выясненным остается основной вопрос: что же собственно открыло художнику глаза на эстетическую ценность именно этих форм, что заставило его ощутить и понять их художественную действенность, которая до него осталась художественному соз-

нашю скрытой и недоступной? Очевидно такая переоценка эсте тических ценностей может быть вызвана новой, дотоле неизвестной *установкой* художественного сознания. А установка эта из одних эстетических факторов выведена быть не может, ибо действенност этих последних актуализуется впервые через нее. Значит корни е нужно искать в чем то ином, в некотором более глубоком и обширно: начале. А таким началом может быть только та основная жизнен ная установка, из которой вытекает все его жизнеощущение и жиз непонимание и которое определяет собою все то, что он видит, за мечает, учитывает и ценит в окружающем его мире.

Однако таким принципиальным признанием внутренней связи между художественным стилем и жизненной установкой постав ленная нами выше проблема о взаимоотношении искусства и культу ры отнюдь еще не решается. Ибо связь эта многозначна и може быть разно истолкована. Самые серьезные затруднения возника ют поэтому только тогда, когда мы пытаемся выяснить, в чем и ка проявляется эта связь в конкретной действительности, т. е. каки образом та или иная жизненная установка преломляется в художе ственном сознании и создает тем самым почву для развития тог или иного стиля? Обычные культурно-философские концепции н углубляются в исследование этого вопроса, главного и чреватог трудностями: они до крайности облегчают себе решение задачи тем что довольствуются констатированием некоторого соответствия межд общим миросозерцанием и художественным стилем какой-нибуд эпохи и усматривают в этом достаточное доказательство внутренне связи между культурой в целом и искусством или даже полной зави симости последнего от первой. Предлагаемые ими решения проб лемы поэтому оказываются в конечном итоге или просто фиктив ными, или же основаны на принципиально ложном понимании взаи моотношений между жизнью культуры и художественным творче ством. Для иллюстрации рассмотрим две такие концепции, которы пользуются сейчас наибольшим распространением.

Одна из них концепция марксизма, который считает экономик основой всей культурной жизни и рассматривает ее духовное твор чество лишь как надстройку над этим экономическим фундаменто К этой надстройке относится и искусство. Если каждой стадии развития хозяйства соответствует вполне определенный строй куль турной жизни, то такой же параллелизм в частности должен суще ствовать и между формами хозяйства и художественными стилями Но марксизм идет еще дальше. Он утверждает, что именно в обла сти искусства особенно ясно обнаруживается обусловленность ду ховного творчества экономическими началами. Принцип целесоо разности, определяющий собой весь строй хозяйственной жизни господствует и в искусстве. И если хозяйство стремится к достиже нию наибольшего эффекта при наименьшей затрате сил, средст и времени, то эта же самая норма имеет силу и в искусстве. Цен ность всякого подлинно-художественного стиля заключается имен

но в целесообразном, экономном употреблении художественных приемов в достижении самыми простыми средствами самого сильного эстетического действия. Всякий прогресс в осуществлении этой нормы в области хозяйства должен поэтому найти соответствующее отражение в развитии и смене художественных стилей.

Эти соображения могут казаться убедительными лишь до тех пор, пока мы останавливаемся на чисто отвлеченном, а потому и неопределенном понятии целесообразности и не отдаем себе отчета в том определенном специфическом значении, которое оно приобретает с одной стороны в хозяйстве, с другой — в искусстве. В экономике господствует *внешняя* целесообразность. Жизнь и жизненные потребности как отдельного индивида так и общества ставят хозяйству известные задачи, которые оно стремится решать на основании принципа наибольшей экономии. Для искусства же как раз эта внешняя целесообразность в общем несущественна: существенное значение она приобретает только в прикладном искусстве, в архитектуре; да и то только в том смысле, что практическая цель, которой должно служить произведение искусства, (напр. дворец, храм, мебель и т. п.), ставит художественному творчеству известные ограничительные условия, но отнюдь не предопределяет собой само существо стиля или выбор тех или иных художественных форм. Там, где это имеет место, внешняя цель (тенденция) неизбежно нарушает внутреннее единство стиля и становится противохудожественным фактором. — Искусству, напротив, присуща внутренняя целесообразность, «целесообразность без цели» по выражению Канта, т. е. целесообразность основанная на единстве художественного стиля и прежде всего феноменально-чувственной согласованности осуществляющих факторов. Значит не целесообразность создает впервые единство и сущность стиля, а из единства стиля рождается (или ему имманента) целесообразность образующих его форм. — Отсюда уже ясно: принцип целесообразности, если понимать его как внешнюю целесообразность, или вообще не пригоден для об'яснения и определения природы художественных стилей или же может иметь значение только как вспомогательный прием, применимый лишь тогда, когда уже предположено и дано единство какого-нибудь художественного стиля. Если же понимать его в широком смысле как целесообразность (организованность) вообще, то он характеризует всякое человеческое творчество и не имеет никакого непосредственного отношения ни к экономике, ни к искусству. В такой общей формулировке он поэтому и не пригоден для обоснования марксистской концепции культуры и ее отношения к искусству.

О других попытках экономического материализма вывести искусство из экономики или по крайней мере обосновать его в ней, серьезно говорить не приходится. Полная несостоятельность их теперь уже доказана наукой и философией с достаточной убедительностью; они не могут быть согласованы ни с более глубоким пони-

манием природы искусства (и духовной культуры вообще) ни эмпирическими данными исторической действительности.

Основная ошибка марксистской концепции культуры и искусства, конечно, не в том, что она кладет в основу всей культуры именно экономику, а в том, что она пытается построить целое культуры исходя из одной ее части. Всякая другая концепция, которая приписала бы такую же основополагающую роль какой нибудь иной культурной области, неизбежно привела бы поэтому к такому же тупику, как и экономический материализм. Это обстоятельство учтено современной философией культуры и историософией. Она ищет поэтому решения проблемы в другом направлении. Руководящим принципом для нее служит идея первичного органического единства культуры в целом; многообразие ее проявлений вытекает как нечто вторичное, производное. Отдельные области культурного творчества (наука, нравственность, общественность, религия, искусство и пр.) знаменуют лишь разные манифестации или выражения («качествования») единого культурного духа. Путь этот несомненно правильный. Ибо только на основе такой концепции и можно понять культуру не как равнодействующую причинного взаимодействия случайно сталкивающихся факторов, но как живой организм, который живет, развивается и умирает по своим собственным внутренним законам.

Однако в такой общей форме эта концепция представляет собою лишь программу, которая требует своего конкретного осуществления; и как раз в осуществлении своем она и наталкивается на самые главные трудности. Действительно, единый культурный дух (или душа культуры, — Das Seelentum — Spengler'a) не существует (или по крайней мере эмпирически не доступен) помимо своих конкретных проявлений и поэтому может быть познан нами только в них и через них. Но если это так, то познание и определение общего духа культуры возможно не иначе, как на основании некоторого предположения о природе и характере его отношения к некоторым областям культуры.

Проявляется ли он во всех сферах более или менее одинаково и адэкватно, так что каждая из них отражает и выражает в себе его цельную природу? Или же отдельные сферы не равнозначны и не всегда одинаково показательны для духа культуры? Первое из этих предположений, отличаясь наибольшею простотой, как будто не лишено серьезных оснований. Оно устанавливает внутреннюю органическую связь между отдельными сферами культуры, не налагая вместе с тем на автономность и самобытность каждой из них. Для познания духа культуры с этой точки зрения безразлично, которую из этих областей избрать исходным пунктом. Каждая, хотя и по своему, воплощает в себе ту же самую творческую стихию и носит на себе печать происхождения из единого для всех живого источника. Познание духа культуры в одном из его конкретных проявлений давало бы таким образом возможность по аналогии об-

ружить его отличительные черты и во всех других областях куль-
ры *).

Однако, как ни соблазнительна эта концепция на первый гляд, — стоит лишь продумать ее до конца и применить к истолванию исторической действительности, чтобы убедиться, что она только не соответствует фактам, но и не способна по настоямy обеспечить автономность отдельных областей культурного рчества. В самом деле, прежде всего эта концепция молчаливо пускает, что различные сферы культуры представляют собою боили менее однородные части единого организма и поэтому обдают и аналогичною структурою. Иначе нельзя было бы понять, к единая душа культуры могла бы проявиться в каждой из них с лее или менее одинаковой полнотой, и почему каждому проявнию ее в одной области должно соответствовать аналогичное проление в другой области. Но чем оправдать такое допущение? Разчие между культурами разных эпох и народов заключается вовне в том только, что каждая из них по своему проявляется во ех сферах культурного творчества, но также и в том, что они ражаются в этих сферах не в одинаковой мере, и что не одни и же области творчества имеют для них руководящее и определяюе их характер значение.

Но и с признанием самобытности и своеобразия отдельных льтурных сфер такую концепцию трудно согласовать. Метод анагии, которым она руководствуется, неизбежно ведет к нивелливанию их отличительных особенностей. Исходя из какой-нибудь ной определенной области для определения общего духа культы, историк всегда будет склонен находить и отмечать и в друх областях то, что соответствует характеру и структуре той обсти, на которой он первоначально ориентировался. В большинстве учаев метод толкования по аналогии приводит к интеллектуалическому засилию в понимании культуры, так как характерику общего духа культуры легче всего вывести из анализа господзующих в ней умственных и духовных течений. Особенно опасно именение этого метода к искусству, которому более всего прет отвлеченная идейность, обнаженность логического смысла: лиискусству навязываются чуждые ему идейные устремления, ли-же — что пожалуй еще хуже — оно подвергается всегда произльной и суб'ективной символической интерпретации, совершенно считающейся с собственно художественными тенденциями саго художника. Этой опасности не избежал и Шпенглер. Как ни естящи и остроумны страницы посвященные им в «Закате Зада» характеристике искусства разных культурных эпох, — в нове своей они не могут удовлетворить ни историка искусства,

*) Такое понимание культуры могла бы быть использована фоолистами для обоснования их концепций теории и истории искусства. о оправдывало бы возможность изучать искусства как замкнутую в бе автономную сферу вне всякого отношения к другим областям культы.

ни философа культуры: ибо характеристика эта грешит коренн недостатком, свойственным символическому истолкованию искусств переоценкой идейных мотивов и суб'ективным произволом.

Отсюда ясно: при решении проблемы взаимоотношений ме ду культурой в целом (ее «духом») и отдельными ее проявлени ми аналогия может служить лишь вспомогательным, но никак руководящим методом. Отношения эти не поддаются подведению п одну общую схему, которая была бы одинаково применима ко вс сторонам культуры. Структура их гораздо сложнее, ибо обусл лена особой природой каждой отдельной области культурного тве чества. Поэтому и вопрос о связи искусства с духом культуры может быть решен лишь путем обнаружения в нем тех или иных ан логий с социальным строем, с философией, религией и т. п., как делает напр. Шпенглер *) и многие другие историки культуры. Тем не менее все эти трудности и осложнения, на которые нат кивается органическая концепция культуры, не могут поколеба основную ее предпосылку, а именно уверенность в том, что свя между духом культуры и современным ей художественным стил не только внешняя, но и глубоко-внутренняя, сущностная. Истор ческий опыт, особенно последнего десятилетия, слишком явно св детельствует о реальной действительности этой связи. Вполне ра крыть ее подлинный характер удастся, однако, только в том сл чае, если заранее выяснить каковы пределы и возможности выр зительности искусства в разных областях художественного твор ства.

В заключение отметим лишь некоторые пункты, которые, нашему уразумению, имеют существенное значение для решен этой проблемы.

Исследуя отношения между культурой в целом и искусств нельзя ставить искусство в один ряд с другими областями куль ры. Как ни тесна его связь с религией, философией, обществе ностью и т. д., в основе своей оно представляет из себя замк тую сферу, которая не может быть сопоставлена ни с одной других культурных сфер. Ведь центр тяжести для художестве ного творчества лежит не в эмпирической действительности, а эстетической реальности, являющей собой особый мир, котор подчинен своим собственным только ему свойственным законам нормам. Мало того, и сама эстетическая реальность не есть не вполне однородное: в каждой отрасли искусства она обретает о бый облик, особую форму сообразно с особой природой той стих которую она эстетически оформляет **). Эстетические потенции,

*). Один из коренных недостатков знаменитого труда Шпенгле — злоупотребление методом аналогий и символического толкован (Ср. напр., его произвольное, символическое толкование светов жи писи, параллели, проводимые им между концепцией пространства в кусстве и в математике разных эпох и многое другое.

**) Искусство можем быть противопоставляемо лиш всей культ в целом, не как отражение ея, а как противообраз, и притом отнюдь вполне адэкватный и не однозначно ею определяемый.

эженные в каждой из них, отличаются друг от друга не только о своей феноменально-чувственной структуре, но и по своей вызительности. Поэтому не все искусства одинаково восприимчия к тем или иным миросозерцательным мотивам и тенденциям, не цинаково на них реагируют. Одни из них им сродни и ;стольку как бы сами собой находят в них свое художественное эплощение; другие наоборот чужды их природе и потому, тогда же когда приобретают влияние на сознание художника, не стольо раскрывают и пробуждают, сколько сковывают и ограничиват его творческие силы.

Поясним эту мысль на конкретном примере.

Романтизм представляет собой, несомненно, столь широкое и іубокое духовное движение, что может служить характеристикой элой культурной эпохи. Не только в искусстве он создал новое аправление; не в меньшей степени он оплодотворил и философсую мысль и религиозное сознание и наложил даже свой отпечак на политическую и общественную жизнь начала 19-го века. — о если повнимательнее присмотреться к тому, что романтизмом целано в сфере художественного творчества, то не трудно убедиться, что он далеко не во всех областях нашел одинаково полное и дэкватное выражение и отнюдь не повсюду обнаружил одинакоые творческие силы. Если в музыке и поэзии влияние его оказаось решающим и значительно обогатило выразительные средства их искусств, то в живописи, наоборот, он сыграл гораздо более кромную роль.

Это, конечно, не случайность, а весьма знаменательный факт, б'яснимый лишь из самой природы основной жизненной установи романтизма, которая ставит его способности актуализовать эстеические потенции в пределах того или другого искусства вполне пределенные границы. Так напр. достижения романтизма в обасти поэзии несомненно связаны с его символическим пониманем жизни и искусства. Центр тяжести лежит для него не в самом предметном смысле (или образе), а в чем-то ином, высшем, го за этим смыслом скрывается, и на что он лишь отдаленно указывает, намекает. Поскольку же предметный смысл служит симолом высшего, он утрачивает свое самодовлеющее значение, теяет четкость логических очертаний и как бы растворяется в изчениях знаменуемого им высшего начала. Возможность же таого растворения и разложения предметного смысла обусловлена ем, что само высшее, как логически невыразимое и нераз'яснимое, более непосредственно и полно воплощается в непредметной исто-чувственной выразительности слова. Таким образом приглуенность предметного смысла способствует выявлению эстетических ценностей, таящихся в чувственной природе слова.

В том же самом направлении сказалось и влияние романтиза на музыку: и здесь он обнаружил в чувственной природе звуновые еще не использованные эстетические потенции. — Живописи, напротив, романтическая установка сознания дала значи-

тельно меньше; и во многих случаях даже вносила в нее чужды
ее природе моменты (литературщина).

Весьма знаменательную картину представляет с этой точки
зрения и современное искусство. И здесь на первом плане музы
ка и поэзия. — В музыке мы видим возвращение к ладу, к четко
сти и законченности музыкальной формы, подчеркнутое стремле
ние к строгой организованности композиционного целого. Особен
но тщательная разработка ритмического момента. Вместе с те
характерны полное отрешение от эротизма и изображения чисто че
ловеческих (идейно обоснованных) чувств, перенесение эмоциональ
ности в какой-то иной план космического, стихийного бытия.

В поэзии новый расцвет реализма и бытописания, (пользую
щегося вместе с тем всеми техническими достижениями нео-роман
тизма и нео-классицизма), внимательное и любовное отношение
самодовлеющему значению *фактов* и их непосредственной реал
ности. А вместе с тем также как в музыке конструктивность ком
позиционных форм. И здесь перед эстетикой и руководимой ею
историей искусства встает интересная задача: показать, почему со
вершился этот сдвиг в художественном сознании; и как эти новы
течения в музыке и поэзии, во многом прямо противоположные пред
шествовавшим им символизму и романтизму, связаны с той ново
жизненной установкой, которая сложилась под влиянием событи
последнего десятилетия (войны и революции).

Проблемою художественной формы и проблемой связи искус
ства с культурою в целом (с духом культуры), однако, еще н
исчерпывается круг основных вопросов эстетики и философи
искусства. С ними тесно связан еще третий не менее принципи
альный вопрос: что *значит* искусство для культуры в целом? Ка
кую функцию оно исполняет в едином организме культурной жиз
ни? — В спекулятивной эстетике начала 19-го века эта пробле
занимала центральное положение и предопределяла собою поста
новку и решение всех остальных эстетических проблем. Напроти
эмпирическая эстетика новейшего времени, большею частью сво
дит ее на вопрос об историческом генезисе искусства. — Треб
ваниям философской и научной методики не удовлетворяет ни то
ни другой подход. Правильно понять и оценить роль искусства
культурной жизни нельзя иначе, как исходя из определения е
специфической природы и выяснения его связи с руководящим
тенденциями культуры (т. е. из рассмотрения двух выше указа
ных проблем). С другой стороны, и изучение генезиса искусст
показывает лишь, чем оно *было* на заре культуры, но не мож
раскрыть его принципиального значения для культурной жизни
целом. Правильную и плодотворную разработку этой проблемы м
жет обеспечить лишь тесное сотрудничество эстетического умозр
ния с историософией, построенной на органической концепции кул
туры. Это сотрудничество и составляет одну из очередных зад
современной философской мысли.

В. Э. Сеземан

О МЕТРИКЕ ЧАСТУШКИ

I

За последнее время вопросы метрики, стали интересовать рус-
их филологов. Но работают исключительно над метрикой пись-
нной литературы. Народное стихосложение мало привлекает к се-
внимания. Впрочем, в этой области и прежде то почти ничего
елано не было. Можно сказать, что о русском народном стихо-
ожении писал только покойный академик Ф. Е. Корш, да и то
сал только эпизодически. А, между тем, область эта чрезвычайно
бопытная.

Русское народное стихосложение весьма своеобразно. Уже с
рвого взгляда ясно, что к нему нельзя подходить с теми метриче-
ими понятиями, с которыми мы привыкли оперировать в «искусст-
ной» поэзии. В народном песенном стихосложении словесный
кст неотделим от музыкального напева, и потому в нем играют
ль не только ударения, но и «долгота» и «краткость». Потому то
Е. Корш и попробовал подойти к русскому народно - песенному
ихосложению с понятиями древнегреческой квантитативной метри-
: к тому же Ф. Е. Коршу казалось, как и многим его современни-
м, что эта древнегреческая квантитативная метрика и есть наи-
лее исконная. Теперь мнение об исконности древнегреческих мет-
ческих понятий можно считать основательно поколебленным, ес-
не совсем опровергнутым. В применении к русской народной сло-
сности, в частности, конструированная Ф. Е. Коршем схема бы-
нного стиха (якобы «четырехстопный анапест») оказалась совер-
енно несостоятельной с тех пор как были сделаны точные (фоно-
афные)записи былинных напевов.Неправилен был самый принцип
дхода к русскому народному стихосложению с понятиями грече-
ой метрики. Правда, и древнегреческое, и народное русское сти-
сложении основаны на сочетании словесного текста с музыкаль-
ым напевом; правда, благодаря этому, в обоих этих стихосложе-
ях играют роль и ударения (икты) и количественные различия
олгота и краткость). Но в древнегреческом стихосложении словес-
ый текст определяет собой количественные различия, а напев

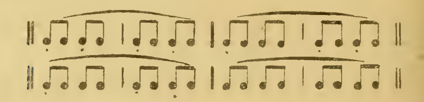
определяет ударения; в народном же русском стихосложении, как раз наоборот, — словесный текст определяет ударения, а напев — долготу или краткость слогов. Таким образом, между древнегреческой и русской народнопесенной метриками существует отношение противуположности, и это исключает возможность применять древнегреческие метрические понятия и схемы к русской народной песне.

Своеобразие русского народного стихосложения требует совершенно особых приемов исследования и классификации, совершенно особой терминологии. Все это приходится создавать заново, ибо, как сказано, до сих пор в этой области очень мало сделано. В настоящей статье мы хотим попытаться обрисовать метрику одного определенного вида народной песни, именно, частушки. При этом, мы не будем особенно углубляться в детали, о некоторых проблемах будем молчать, некоторые другие только упомянем: так напр. интереснейшей проблемы «метрической географии» нам придется только слегка коснуться...

II

Следует различать метрическое строение *музыкального* и *стихотворного* текстов частушки.

Метрическое строение музыкального текста частушки отличается последовательно проведенной двудольностью. Вся частушечная *строфа* делится на две *полустрофы* обычно разделенные интерлюдией на гармонике. Каждая музыкальная полустрофа делится на два *колона;* каждый колон — на два *такта;* каждый такт — на два *димора;* каждый димор — на две *моры*, из которых первая является *сильной* (т. е. способной принимать на себя ударение), а вторая — *слабой* (т. е. неспособной стать ударяемой). Если принять мору за одну восьмую, то ритмическая схема музыкального текста частушки выразится в следующем виде:



Членение стихотворного текста в принципе параллельно членению текста музыкального. При этом, *стих* обычно совпадает с колоном, а *слог* совпадает либо с морой, либо с димором: слог, совпадающий с морой, мы называем кратким (◡), а слог, покрывающий собой целый димор, мы называем *долгим* (—); димор, покрытый одним слогом, называем *стянутым*, в отличие от димора *распущенного,* в котором на каждую мору приходится по слогу.

Из двух диморов одного такта второй подвергается стяжению
це чем первый: на первый димор такта не может приходиться
ьше слогов, чем их приходится на второй димор того же такта.
аче говоря, в такте возможны лишь следующие комбинации:

1) ⏑⏑⏑⏑ (♪♪♪♪) «четырехсложный такт»,

2) ⏑⏑— (♪♪♫) «трехсложный такт»,

3) — — (♫♫) «двухсложный такт»,

комбинация — ⏑⏑ (♫♪♪) — невозможна.

Из двух тактов, составляющих колон, первый не может содер-
ть больше слогов, чем второй. Поэтому, колоны-стихи в отноше-
числа слогов бывают следующих шести типов:

сьмисложный: ⏑⏑⏑⏑, ⏑⏑⏑⏑ (♪♪♪♪ | ♪♪♪♪)

мисложный: ⏑⏑⏑⏑, ⏑⏑— (♪♪♪♪ | ♪♪♫)

эстисложный: а) ⏑⏑⏑⏑, — — (♪♪♪♪ | ♫♫)

б) ⏑⏑—, ⏑⏑— (♪♪♫ | ♪♪♫)

тисложный: ⏑⏑—, — — (♪♪♫ | ♫♫)

тырехсложный: — —, — — (♫♫ | ♫♫)

Примеры. В следующей частушке первый и третий стихи —
ьмисложные, а второй и четвертый шестисложные, типа «а»:

Я надену бело платье,
Отойду подàльше:
Говорила я милóму
Про измену рàньше.

В следующей частушке представлены все остальные четыре
а: первый стих — четырехсложный, второй — пятисложный,
тий — шестисложный типа «б», четвертый — семисложный;

Пляши Ма̀тве́й,
Не жале́й ла̀пте́й!
Мамка лык надерё́т,
Тятька новых наплетёт!

Из двух колонов, составляющих полустрофу, второй обычно с держит не больше слогов, чем первый. Исключения из этого правил встречаются (напр. хотя бы в только что приведенной частушк «Пляши Матвей», где оба полустишия противоречат правилу), н очень редко: так напр. в собрании частушек Новгородской гу В. А. Воскресенского *), заключающем в себе более 600 №№ ча стушек и, значит, более 1200 полустроф, мы встретили только 4 полу строфы противоречащие нашему правилу (т. е. заключающие в втором колоне больше слогов, чем в первом).

Аналогичное правило можно установить и для построения це лых частушечных строф: вторая полустрофа частушечной строф обычно содержит не больше слогов, чем первая. Но исключени здесь уже больше: напр. в упомянутом собрании В. А. Воскресен ского мы отметили 60 №№ частушек (т. е. прибл. 10 % общего чи сла), в которых вторая полустрофа содержит больше слогов, че первая.

Таким образом, мы видим, что число слогов в ритмическо единице регулируется одним общим правилом: *вторая половин данной ритмической единицы (т. е. строфы, полустрофы, колон такта) не должна содержать больше слогов, чем первая половин* По отношению к *тактам* и к *колонам* правило это не терпит иск лючений; по отношению к *полустрофам* правило соблюдается п чти без исключений и только при построении целых *строф* исключе ния допускаются в несколько большем, хотя, в общем, все же очен незначительном числе.

Ударение в принципе падает на сильные моры **), каковым являются первая и третья моры такта. Сообразно с этим можно ра личать три типа тактов: *нисходящие* — с ударением на одной лиш первой море, *восходящие* — с ударением на одной лишь третье море, и *двухвершинные* или *двухударные* — с ударением и на пер вой и на третьей морах. Однако, следует заметить, что в двухудар ных тактах одно из двух ударений всегда бывает сильнее другог так что они тоже могут подразделяться на «нисходящие» и «восх дящие», смотря по тому, которое из двух ударений сильнее. Таки образом, получаем для тактов собственно только два основных тип — «нисходящие» (Н) и «восходящие» (В), а в каждом из эти двух типов можно уже различать подвиды — «одноударные» «двухударные».

*) Напечатано в «Этнографическом Обозрении» 1905, № 2-3 стр. 164-230.

**) О случаях, где ударение падает не на сильную, а на слабу мору, см. ниже.

Стихи-колоны в отношении места ударения надо делить на два ипа: *острые* и *тупые*. «Острым» (О) мы называем стих-колон, которого второй такт является восходящим, иными словами, сти-и-колоны, в которых последнее ударение падает на седьмую мору. Тупыми» (Т) называем стихи-колоны, у которых второй такт является нисходящим, иными словами, стихи-колоны, в которых ударение падает на пятую мору. Примерами «острых» стихов могут лужить: восьмисложный — «Из колодца вода льется», семисложый — «Говорила я отцу», шестисложный («б») — «Ах и кудри ои!», пятисложный — «И молодки к нам», четырехсложный — Пляши Матвей». Как видно из этих примеров — «острые» стихи-колоны по числу слогов бывают всех типов за исключением «шестисложного типа а». Что касается до «тупых» стихов, они допускают только два типа: семисложный — «Голубки куются», и шестисложный «а» — «Рукава на вате». Кроме острых тупых стихов встречаются еще и такие стихи, в которых последнее дарение лежит на третьей море, а второй такт как будто совсем шен ударения. Такие стихи бывают либо шестисложные (типа »), либо пятисложные. Встречаются они крайне редко. Таковы пр. второй и четвертый стихи в следующей частушке:

Погулял бы де́вушки
С ва̀ми, с мо́дницами, —
Припаса̀ют в го́роде
Бритву с но́жницами.

Или все четыре стиха в следующей частушке:

Ве́тер дует-то,
Поддува̀ет-то,
Милый любит-то,
Забыва̀е́т-то.

Однако, мы не считаем возможным видеть в таких стихах осой тип, соравный «острому» и «тупому», и считаем их просто обой разновидностью «острого» стиха. Дело в том, что в словах, нчающихся на несколько неударяемых слогов, последний слог гда имеет второстепенное ударение. В стихосложении это второпенное ударение часто искусственно усиливается, а при пении, особливо народном, — такое усиление второстепенного ударения вает даже довольно резким. Т. о., стихи вроде «Бритву с ножцами» практически имеют ударение (при том, довольно сильное) только на третьей, но и на седьмой море, — т. е. являются «остми». Отличие их от обычного острого («Мамка лык надерет») лючается лишь в том, что у них ударение на седьмой море сла-, чем на третьей. Мы называем их «острыми ослабленными» сл.).

Итак, всего имется 9 типов стихов-колонов: два «тупых» (ше-

стисложный и семисложный *), пять простых острых (четырех-, пяти-, шести-, семи- и восьмисложный) и два острых ослабленных (четырех- и пятисложный). Но для стихосложения существенно важны только различия во втором такте стиха. Поэтому, практически эти девять типов можно свести к шести, а именно:

O_1 — острый восьмисложный: ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡ ◡́ ◡

O_2 — острый семи- или шестисложный: ◡ ◡ ◡͞◡ ◡ ◡ —́

O_3 — острый пяти- или четырехсложный: ◡͞◡ — — —́

Осл. — острый ослабленный: ◡͞◡ —́ — —

T_1 — тупой семисложный: ◡ ◡ ◡ ◡ ◡́ ◡ —

T_2 — тупой шестисложный: ◡ ◡ ◡ ◡ —́ —

До сих пор мы говорили только о *последнем ударении в* стихе колоне, т. е. о главном ударении второго такта этого стиха-колона. Что касается до главного ударения первого такта, то можно установить следующее правило: *между главным ударением первого и главным ударением второго такта стиха-колона должно находиться не больше четырех мор.* Означая нисходящий такт через Н, восходящий через В, можно сказать, что допускаются комбинаци В + В (напр.: «Чернобровые ребята», «Вся любовь моя пропала» и т. д.), В + Н, (напр. «Голубки купаются», «С кем гулять охотница» и т. д.) и Н + Н («Роза осыпучая»), но комбинация Н + Н недопускается: в упомянутом выше собрании В. А. Воскресенског на более чем 2400 стихов нам встретилось всего два - три исключения (в роде «Девушки! в селе пожар!» или «Севечер педожидай»).

Соединение двух стихов дает полустрофу. Т. к. основных типо стихов всего шесть,то основных типов полустроф теоретически може быть 36. Однако, фактически половина этих теоретически возможных комбинаций никогда не встречается. Все же, число фактически существующих типов частушечных полустроф довольно велик — не менее 15-ти. Но из этих типов далеко не все одинаково част встречаются. Всего чаще встречаются полустрофы, состоящие и двух «острых» стихов («О + О»), гораздо реже — комбинаци типа «О + Т», еще реже — комбинация «Т + Т» и, наконец, ко

*) Восьмисложные тупые колоны допускаются лишь при сдви стихораздела (см. ниже), при чем в этом случае восьмой слог коло относится к следующему стиху:

С са̀ма надéюся, пой-
ду плясàть согрéюся.

нация «Т + О» почти никогда не встречается 1). Другими словами, можно сказать, что *комбинации, в которых между последним ударением первого и последним ударением второго стихов полустрофы находится более восьми мор за редкими исключениями не допускаются.*

Полустрофы, кончающиеся острым стихом (т. е. типы О + О и Т + О), мы называем «заостренными» (З), а полустрофы, кончающиеся тупым стихом (т. е. типы Т + Т и О + Т), называем «притупленными» (П). Соединение двух полустроф образует строфу. При этом, опять таки далеко не все теоретически возможные комбинации фактически встречаются, а среди (в общем, довольно немногочисленных) фактически встречающихся типов частушечных строф далеко не все одинаково часто встречаются. Всего чаще встречаются частушки из двух заостренных полустроф (З + З), гораздо реже — частушки типа П + П, еще реже — частушки типа З + П, и, наконец, всего реже — частушки типа П+З **): значит, избегается та комбинация, при которой расстояние между последними ударениями первой и второй полустроф оказывается больше шестнадцати мор.

Т. о не трудно заметить, что при построении стихов, полустроф и строф наблюдается одно и тоже общее правило: *расстояние между последними ударениями первой и второй половин данной ритмической единицы не должно быть больше половины общего числа мор этой ритмической единицы.*

Ритмические единицы (начиная с такта и вплоть до целой строфы) можно разделить на две группы: — «концестремительные», в которых предпоследняя мора является ударяемой (сюда относятся: восходящие такты, острые стихи, заостренные полустрофы и целые строфы типа З + З и П + З), и «концебежные», в которых предпоследняя мора является неударяемой (сюда относятся: нисходящие такты, тупые стихи, притупленные полустрофы и целые строфы типа П + П и З + П). Распределение ударений и относительная распространенность каждого отдельного типа ритмических единиц, разсмотренные в предшествующем изложении, могут быть сведены под следующие общие правила:

1) *За концебежной ритмической единицей не должна следовать ритмическая единица концестремительная;*

2) *Концестремительные ритмические единицы вообще предпочитаются концебежным.*

*) Так, наприм. в вышеупомянутом собрании В. А. Воскресенского (Новгородск. губ.) полустрофы типа О + О составляют 72%, полустрофы типа О + Т — 18 1/3%, полустрофы типа Т + Т — 9 1/3%, полустрофы типа Т + О — только 1/3%.

**) Так напр. в вышеупомянутом собрании В. А. Воскресенского частушки типа З + З составляют 67 1/3%, частушки типа П + П — ..., частушки типа З + П — 6 1/3%, а частушки типа П + З — 2 1/3 общего числа.

Эти два правила — точно так же, как приведенное выше пра вило о числе слогов в частях ритмических единиц, — соблюдаютс строго только по отношению к мелким ритмическим единицам: че ритмическая единица крупнее, тем правило менее ярко выступае и число исключений возрастает. Особенно характерны данные отно сительно второго правила. Так, в собрании В. А. Воскресенско (Новгородск. губ.) острые стихи составляют 80% всех стихо заостренные полустрофы — 72% всех полустроф, а строфы тип П + З и З + З — 69,6% всех строф. В маленьком собрании ча стушек Рязанской губ., напечатанном в № 1 «Верст» оказываетс:

восходящих тактов — 226, т. е. 74,3%,
острых стихов — 90, т. е. около 59%,
заостренных полустроф — 37, т. е. около 49%,
строф типа З + З и П + З — 17, т. е. около 45%,

— т. е. правило оказывается в силе только для тактов и стихов, для более крупных ритмических единиц число исключений уже пр вышает число случаев, подтверждающих правило.

Таким образом, приведенные нами правила отнюдь не пре ставляют из себя неумолимых законов, недопускающих исключ ний, а являются скорее определенными тенденциями, которые т сильнее, чем мельче та ритмическая единица, к которой они прил гаются. Об'ясняется это, конечно, тем, что дело идет о *народн* метрике. В противоположность метрике т. наз. «искусственной» і эзии, метрика народная не заучивается сознательно поэтами, а то ко подсознательно живет в них и автоматически регулирует их і этическое творчество.

Из сказанного вытекает, что степень строгости соблюден тех или иных правил может быть выражена в цифрах и процент и что для каждого «частушечного поэта» эти цифры будут иные. силу же взаимного влияния этих поэтов друг на друга и в силу о словленности их поэтического творчества общим запасом (репер аром) уже существующих в данной местности частушек, оказыва ся возможным устанавливать типичные средние цифры для каж отдельной местности. Отсюда — указание на метод, которым дол изучаться метрика частушек: метод этот, в общем, должен б *статистико - географическим*. В идеале должны быть составл «метрические географические карты» той великорусской терр рии, на которой поются частушки....

III

В предшествующем изложении мы установили терминоло отдельных существенных для частушечной метрики понятий и р смотрели основные правила, регулирующие число слогов и рас деление ударений в отдельных ритмичеких единицах частушеч

эзии. Важным фактором при построении частушечной строфы ляется также и *рифма*. При этом, между рифмой с одной сторо- и числом слогов и местом ударения с другой стороны сущест- ют известные соотношения, которые можно формулировать следу- щими правилами:

1. — *Если оба стиха, составляющие полустрофу, принадле- т к одному и тому же из шести основных типов* (01, 02, 03, л, Т1, Т2), *то они обязательно должны рифмовать друг с дру- м.*

2. — *Вторые стихи обеих полустроф рифмуют друг с дру- м, если они оба принадлежат к одному и тому же основному ти-* (01, 02, 03, 0с, Т1 Т2), *и если из остальных двух стихов хотя один принадлежит к иному типу.*

Из этих двух правил вытекает, что напр. в частушке типа 02, 02 02 рифмы должны распределяться по схеме аабб, но в час- шке типа 01 02 02 02 рифмы должны распределяться по схеме б в б.

Исключения, разумеется бывают. Отступлениями от перваго авила являются напр. такие частушки как:

Ве́тер дует-то
Поддува̀ет-то
Милый любит-то
Забыва̀ет-то (Ярослав. губ.)

и:

Что́ это за лужица, —
Голубки купа̀ются!
Что́ это за Лизочка, —
Все́ в нее влюбля́ются! (Рязанск. губ.)

е рифмы распределяются по схеме а б в б, несмотря на то, что в ждой полустрофе оба стиха принадлежат к одному и тому же ос- вному типу. Отступлением от второго правила является напр. ча- ушка:

Когда̀ я была ма̀ленька,
Меня качѝла ма̀менька;
Она̀ кача̀ла, всклича̀ла:
«Спи моя суда̀рушка». (Новг. губ.)

е четвертый стих не рифмуется со вторым, хотя оба принадлежат типу Т1, а третий стих — к типу 01. Но, вобщем, таких исключе- ий очень мало.

Что касается до относительной распространнености отдельных хем распределения рифм, то можно сказать, что схема а б в б (с вариантом а б а б) является наиболее популярной; схема а а б б раздо менее популярна, а схемы а б в в и а а б в встречаются шь чрезвычайно редко.

Приведем теперь примеры для наиболее распространенны типов частушек.

I. — Типы, требующие рифмовки «а б в б ». Как уже сказан это — наиболее распространенные. Сюда относятся:

Тип 01 02 01 02 — напр.:

Что за эта за деревня,
Удивительный народ!
Половина девок старых,
Никто замуж не берет! (Новг. губ.)

Состоя исключительно из концестремительных ритмических еди ниц, этот тип является самым популярным. Но популярность е не всюду одинакова: на Севере она, кажется, больше, чем на Юге. 1

Тип ОТ1 ОТ1 может быть подразделен еще на подвиды, в зави симости от числа слогов в первом и третьем стихах:

а) Кабы знала, девки, то́,
Раньше раскусила бы,
Вертоглазого его́
Близко не пустила бы 2)

б) Кабы знала, не лома̀ла
Виноград невызревши,
Кабы знала, не любила
Милого невызнавши 3)

в) Про мило́го говорили,
Что худо́й да ма̀ленький;
Посмотрела на него́, —
Как цветочек а̀ленький! 4)

Тип этот особенно популярен в южной Великороссии, где о почти готов конкурировать с типом 01 02 01 02: в северной Вел короссии популярность этого типа меньше.

Тип ОТ2 ОТ2 можно тоже подразделить на подвиды:

а) Не катайся ты, горох,
По белому блюду!
Не гоняйся ты за мной, —
Я любить не буду 5)

---

1) В собрании частушек Рязанской губ., напечатанных в «Ве стах» (I, стр. 30-36), к этому типу принадлежат №№ 1, 3, 5, 6, 8, 11, 14, 18, 23, 24, 26, 34, — т. е. приблизительно т р е т ь вс номеров. В собрании же В. А. Воскресенского (Новгор. губ.) к этом типу принадлежит прибл. п о л о в и н а всех номеров.

2) К этому типу принадлежит № 22 из собрания частушек Ряза ской губ., (Версты I).

3) К этому типу принадлежит №№ 7, 13, 15, 16, 31, 32 того ж собрания.

4) К этому типу принадлежат №№ 2 и 4 того же собрани

5) К этому типу принадлежат №№ 17, 20, 35, 36, 38 того ж собрания.

б) У Володи в огороде
Выросло коре́нье;
Кто Володеньку полюбит, —
Чисто разоре́нье! 1) и т. д.

Этот тип тоже в южной Великороссии более популярен, чем в северной, но нигде не достигает такой популярности, как предыдущий.

Тип Т1 Т1 02 Т1 — напр:

Голубо́е пла̀тьеце
В та̀льице не схо́дится,
Спомила̀ша 2) у меня
Под судо́м нахо́дится...3)

Этот тип — совсем редкий, как и вообще все типы с тремя метрически однородными и одним метрически инородным стихом (02 2 Т1 02 и т. под.),

II. — Типы, требующие рифмовки а а б б. Как сказано выше, они менее распространены, чем типы с рифмовкой а б в б, но все же встречаются достаточно часто. Сюда относятся:

А. Строфы из одних однотипных стихов. Главные из них следующие:

Тип 02 02 02 02 — напр.:

Ты, косая, не косись, —
Не больша̀ в тебе корыс(т)ь!
Под гребенкой волоса̀, —
Не больша в тебе краса! 4)

Как состоящий из одних центростремительных единиц, этот тип популярнее следующего:

Тип Т1 Т1 Т1 Т1 — напр.:

Не судите, ба̀боньки, —
Са̀ми были ма̀леньки!
Наносили де́тушек, —
Судите про де́вушек! 5)

Другие типы строф из однотипных стихов (01 01 01 01, Т2 Т2 2 Т2 и т. д.) хотя и встречаются, но крайне редко

1) К этому типу принадлежат № 28 того же собрания.
2) «Спомилаша» — одно из традиционных для частушечной поэтики обозначений «возлюбленного».
3) Из собрания частушек Ряз. губ., напечатанного в Верстах (стр. 30-36), к этому типу принадлежит № 12 (с рифмовкой ааба, которая есть частный случай рифмовки абвб).
4) Из собрания частушек Ряз. губ., напечатанного в Верстах (, стр. 30-36), к этому типу относятся № № 21 и 30.
5) К этому типу относится № 27 того же собрания; № 19 против правила имеет рифмовку абаб.

Б. Строфы из разнотипных стихов. Важнейшие типы следу ющие:

Тип 01 01 02 02 — например:

От Берегова канȁва,
По канаве-то отȁва,
По отаве-то следы: —
Ходил миленький сюды.

Тип 02 02 T1 T1 — напр.:

Не спросили у отцȁ
Поженили молодцȁ
Не спросились мȁтушки
Повели в солдȁтушки 1)

Оба эти типа сравнительно часто встречаются.

Тип T1 T1 02 02 — напр.:

Ничего, что пьяница:
Женится, — уставится;
Ничего, что пьет винó, —
Выйду зȁмуж за негó.

Противореча правилу, воспрещающему следование концестр мительных единиц за концебежными, этот тип встречается искл чительно редко.

Все остальные типы очень мало распространены. 1)

IV

До сих пор мы изучали метрику частушки, исходя из предп сылки полного параллелизма между музыкальным и стихотво ным текстами. Мы предполагали, что стих равен колону, и что уд ряемый слог стихотворного текста всегда приходится на сильну мору текста музыкального. Но фактически это не всегда быва так. Оживление ритма требует известной *дифформации* метрически схем, и эта дифформция в частушках достигается *сдвигами* — к стиховых границ, так и ударений. Рассмотрим же эти сдвиги.

Среди случаев несовпадения границ стиха с границами кол на надо различать следующие типы:

А) *Смещение стихораздела*, т. е. перемещение границы меж двумя стихами, составляющими полустрофу. Смотря по тому, см

1) К этому типу относится № 29 того же собрания; вариант того же типа можно считать и № 25.

2) Ср. напр. в собрании частушек Ряз. губ. (Версты I, ст 30-36) №№ 10 и 33 (тип O_1 O_2 O_1 O_2), № 12 (тип T_1 T_1 O_2 T_1), № (тип O_3 O_3 T_2 T_2).

щается ли эту граница на одну мору назад или на одну мору вперед, ы различаем смещения а) *регрессивные* и б) *прогрессивные*.

а) При *регрессивном* смещении стихораздел падает не после 8-й, после 7-й моры первого стиха полустишия, а8-я мора относится виде Auftkt'. к началу второго стиха. Т. о., в стихотворном ексте первый стих имеет вид обычного семисложного стиха (02 или 1), а второй стих получает в начале односложную анакрузу (т. е. с очки зрения литературной метрики оказывается «ямбическим»). Напр.:

А сма̀ наде́юся
пойду пляса̀ть согре́юся

Или (при ином распределении ударений в стихах):

Милый сва̀тать запряга̀ет
Ло́шадь белогривую, —
Неуже́ли кто пойде́т
за эту дрянь паршивую!

б) При *прогрессивном* смещении стихораздел попадает не после восьмой моры первого колона, а после первой моры второго колона. Такой сдвиг допускается только в том случае, если первый стих острый, и если его диморы распущены. Таким образом, первый стих при прогрессивном смещении стихораздела имеет 9 слогов и ударение на третьем слоге от конца. Второй стих начинается с слабой моры, т. е. как бы с анакрузы, и оказывается короче нормального. Пример:

Неужели это сбудется
во нынешнем году:
Золотой венец наденут
На головушку мою?

Б) *Смещение приступа*, т. е. начала первого стиха полустрофы. Частушки поются под аккомпанимент гармошки, на фоне этого аккомпанимента. Этот аккомпанимент состоит из безконечного и непрерывного повторения одной и той же музыкальной фразы с ясно отчеканенным ритмом: это создает сплошной и однообразный поток ритма, как бы *фон*, который время от времени оживляется вкрапленными в него и выводимыми голосом полустрофами частушек. Исполнитель частушек пропитывается ритмической инерцией инструментального аккомпанимента и, выводя свои частушечные полустрофы, автоматически попадает «в ногу» аккомпанименту. При этом приступ, т. е. первый слог полустрофы обычно попадает на первую мору музыкальной фразы (колона). Но это необязательно: он может попасть на одну мору раньше или на одну, даже за две моры позже. Это мы и называем смещением приступа, при чем опять таки различаем смещение а) *регрессивное* и б) *прогрессивное*.

а) При *регрессивном смещении приступа* первый стих сти-хотворной полустрофы начинается на одну мору раньше музыкаль-ного колона. Первый слог этого стиха, следовательно, падает на слабую, а второй на (музыкально) сильную мору. Другими словами стих этот начинается с анакрузы, т. е. приобретает «ямбический» характер. Пример:

Сегóдня прàздник воскресéнье,
Нàм олàдей напекут;
Хоть помàжут, да покàжут, —
А поéсть то не дадут.

б) При *прогрессивном* смещении приступа следует различат два возможных случая: смещение *одноморное* и *двухморное*. В пер-вом случае стих начинается не с первой, а со второй моры колона и, т. к. эта мора является слабой, то стих оказывается опять «ямби-ческим». Пример:

Чего, Кóля, чàсто хóдишь,
Сапоги новы дерéшь?
◡ С умà меня ты свóдишь,
Дóлго зàмуж не берéшь.

При двухморном сдвиге стих начинается с третьей моры коло-на, и, т. к. эта мора сильная, то стих ямбического характера не приобретает. Пример:

◡ ◡ В гóроде в трактире
Мы с милàшкой чаек пили,
За стеклянными дверями
Чаек пили с сухарями.

Из перечисленных видов сдвига стиховых границ чаще всег встречаются оба вида смещения стихоразделов, несколько реж встречается регрессивное смещение приступа, и, наконец, чрезвы-чайно редко — прогрессивное смещение приступа. Все эти виды сдвигов могут комбинироваться друг с другом. Так, один и тот ж вид сдвига может повторяться в обеих полустрофах напр.:

А) Смещение стихоразделов:

а) регрессивные:

У меня милéночек —
не вóлк, не медвежóночек
Стàли люди жàлиться,
что лóшади пугàются.

Или:

Хорошó рыбу ловить,
котóра рыба лóвится;
Хорошó с таким сидéть,
с котóрым рéчи схóдятся.

б) прогрессивные:

Чтó ты, бéлая берéзонька
стоишь и все шумишь?
Чтó, ретивое сердéчу́шко
болишь, не говоришь?

Б) Смещение приступов:

Пошёл милàшечка домóй
Оглянулся под горóй:
Сюдà ходить — какая дàль!
Не ходить — милàшки жàль!

Иногда комбинируются друг с другом регрессивный и прогрессивный сдвиги стихоразделов.

Ты, тальяночка, 1) баски
порастеряла голоски:
С воскресéньица тальяночка
набàвила тоски.

Чаще комбинируются друг с другом смещения стихорзделов и смещения приступов. Напр.:

Не кукуй, кукушечка
во пóлюшке на кàмешкé,
Не вспоминàй сударушка
о мóлодце о Вàнюшке!

Если смещены оба приступа и оба стихораздела, то весь стихотворный текст приобретает ямбический характер. Напр.:

Стояла я у óзими
прощàлася до óсени:
Прощàй-ка óзимь и лужóк,
прощàй до óсени, дружóк!

ли (с прогрессивным сдвигом стихоразделов):

Прощàйте, éлочки и сóсенки,
весéлый весь нарóд!
Прощàй и любушка сударушка —
сажусь на парохóд!

другим ритмом (Т + Т7 + Т + Т7):

Мамàшенька ругается:
Кудà платки девàются?
Тогó не догадàется,
Чем милый утирàется.

Все эти сдвиги стиховых границ особенно популярны в северовеликорусской частушечной поэзии: здесь частушек с такими

1) «Тальянка» — особый тип гармоники.

сдвигами больше, чем частушек без сдвигов, а для некоторых типов частушек эти сдвиги составляют даже почти правило 1). Наоборот, в южновеликорусских частушках сдвиги стиховых границ встречаются очень редко. 2)

Другим видом дифформации ритма является *сдвиг ударения.* Под этим термином мы разумеем случаи, когда ударяемый слог стихотворного текста приходится не на сильную, а на слабую мору музыкального текста. Практически внимания заслуживает только один из случаев этого рода, именно, попадание ударяемого слога на *вторую мору* колона. В этом случае слышатся как бы два ударения рядом: на первой море голос невольно делает нажим в силу ритмической инерции, а вторая является ударяемой по смыслу текста. Оба ударения вступают друг с другом в борьбу, и второе, поддерживаемое смыслом, оказывается более сильным. Так получается нечто вроде синкопы. В результате, то слово на которое приходится это ударение, выкрикивается как то особенно громко:

Я тогда̀ боялася,
когда̀ коса̀ мота̀лася,
А тепе́рь моя коса̀
В пучо́к (!) измота̀лася.

Очень часто это бывает использовано для подчеркивания важного в смысловом отношении слова:

Ах, подружка моя Маня,
Чаю не зава̀ривай:
У тебе́ мило́ва не́т, —
Маво́ не зама̀нивай!
Рукава̀, рукава̀,
Рукава̀ на ва̀те!
Ста̀рых де́вок не берут, —
А мы винова̀ти!

Или же, — для того чтобы подчеркнуть смысловой (логический или эмоциональный) контраст между первой и второй полустрофами, «неожиданность» второй полустрофы:

Уж и де́вки к на̀м!
И моло́дки к на̀м!
А ста̀рые ве́дьмы,
Пошли вы к обе́дни! и т. д.

---

1) Особенно часты сдвиги в тех типах, которые заключают себе получтрофу $T + T_1$. Так, в собрании Воскресенского (Новг. губ частушки типа $O + O_2 + T + T_1$ заключают в себе разные сдвиг в 80%, а частушки типа $T + T_1 + T + T_1$ — в 90%; из 12-ти часту шек типа $T + T_1 + O + O_2$ только одна не имеет сдвигов.

2) Характерно, что напр. среди частушек Ряз. губ. напечатан ных в I-м номере Верст только №№ 12, 25 и 27 (т. е. прибл. 8% заключают в себе сдвиги стиховых границ.

В противоположность сдвигам стиховых границ, которые, как ы видели, в северовеликорусских частушках гораздо популярнее, эм в южновеликорусских, — сдвиги ударений особенно сильно рас-эостранены именно в южновеликорусской частушечной поэзии 1), в северновеликорусской, хотя и встречаются, но далеко не так асто.

Y

Мы познакомились с основными особенностями метрики часту-іки. Вся эта метрика вполне народна, основные принципы ее — э же, что и в других видах народной песенной метрике. Частушеч-ый стих есть частный вид плясового стиха. В отношении метрики астушка так же тесно связана со всем контекстом народной сло-есности, как и в отношении своей стилистики и своего поэтическо-э словаря («сине море», «чисто поле», «ретивое сердечушко», «тем-ый лес», «девица», «молодец» и т. д.). О влиянии «городской», . е. искусственной поэзии говорить неприходится: если при раз-ых сдвигах стиховых границ и получаются иногда стихи, напоми-ающие «четырехстопный ямб» русской искусственнолитературной етрики (напр. «Пошел милашечка домой»), то ясно, что совпа-ение это случайное, ибо «ямбический характер» стиха вызван десь действием специфически - частушечных законов, и самое потребление таких qu si «ямбических» стихов в перемешку «хореическими» не находит себе никакой аналогии в искуственно-итературной метрике. Но следов влияния искуственной литера-уры нельзя обнаружить не только в метрике, но и в других элемен-ах частушечной поэтики- частушку приходится рассматривать как исто народную поэтическую форму, как продукт вполне самостоя-ельной и свободной от какого бы то нибыло внешнего воздействия волюции народной песенной поэзии.

Рассматривая частушку с этой точки зрения в контексте всей ародной песенной поэзии, мы задаем себе вопрос: является ли ча-тушка болезненным или здоровым явлением, признаком выrож-ения или признаком прогресса? В обществе распространен взгляд а частушку, как на явление упадочное. Повидимому взгляд этот снован, главным образом, на оценке музыкального текста частуш-и, действительно убогого в мелодическом отношении. Но к стихот-орной стороне частушки взгляд этот применять было бы ошибоч-о. В отношении метрики частушка является положительно высшим

1) Характерно напр. что среди частушек Ряз. губ., напечатан-ых в Верстах, сдвиги ударений встречаются в тринадцати (именно № № : 4, 7, 10, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 25, 31, 32, 37), т. е. прибл. 35%, тогда как сдвиги стиховых границ были отличены нами ишь в 8%.

достижением народной поэзии. В предшествующем изложении мы постарались показать насколько богата частушечная метрика, несмотря на простоту своих основ. Довольно убогий ритм двухтактового плясового стиха в частушке свершенно преображается, приобретает совсем исключительную гибкость и оказывается способным порождать целую массу разнообразных ритмических комбинаций и эффектов. Ни в одной другой форме народной песни мы не найдем такого искусного использования всех ритмических возможностей.

Но частушка отличается формальными достижениями не только в области метрики. Нельзя не отметить того внимания, которое в частушке уделяется «инструментовке», т. е. искусному подбору звуков. Установка на качество звуков речи дана уже самым принципом рифмы. Но в частушке эта установка получает дальнейшее развитие и приводит к разнообразнейшим сочетаниям звуковых повторов. Попадаются частушки, совершенно насыщенные звуковыми повторами:

На крылечке *струбы рубят*,
Меня все *ребята* любят:
Тот тащит другой *тащит*, —
Только кофточка трещит.

Причем иногда отдельные звуковые повторы использованы как каламбуры, напр.:

Как у *нашей души-Маши*
*Акура*тненький нос*ó*к:
Девять *курочек усяд*ется,
*десят*ый пет*уш*ок.

Правда некоторую склонность к звуковым повторам проявляют и другие виды народной песни, особенно те, которые знают рифму (плясовые!), — но нигде эта склонность не выразилась так ярко и не породила такого многообразия звуковых эффектов, как именно в частушке. — В области «внутренней формы» частушка представляет большой интерес. Стремление к максимально - краткому и максимально - яркому выражению мысли, и, притом еще непременно к ритмическому расчленению этой мысли согласно строфической схеме четверостишия, — все это порождает громадное разнообразие троп, фигур, затейливых смысловых вывертов. Иной раз получается с виду бессмыслица, истинный смысл которой можно понять только, зная тот реальный факт, по поводу которого частушка была сложна. Но иногда впечатление бессмыслицы только обманчиво и происходит от сложности примененной фигуры. Так напр.

Я курил, курилъ махóрку,
А тепéрь курю табàк:
Я любил, любил девчóнку,
А тепéрь — стàрых баб

На первый взгляд кажется будто между первой и второй полу-рофой смысловой связи нет: в первой описывается повышение азборчивости (прежде махорка, — теперь табак), а во второй — онижение (прежде девушка, — теперь старухи). Но уже со «вто-рого взгляда» ясно, что связь есть: ухаживание за девушками свя-но с расходами на подарки и потому заставляет экономить на ку-вишн, общение же со «старыми бабами» расходов не требует (м. даже приносит доход) и позволяет улучшить качество потребля-ного табака (а м. б. этот табак есть даже подарок «старых баб»). ысль — нельзя сказать, чтобы очень глубокая и высоконравст-енная, но выражена она остроумно и чрезвычайно ловко. Фигуры тропы частушечной поэзии следовало бы изучить повниматель-е. Они развитее и сложнее, чем в какой бы то ни было другой фор-народной поэзии и порой напоминают самые изысканные оборо-высокоразвитых искусственных литератур Востока. К сожале-ию, до сих пор частушку изучали только со стороны наименее важ-ой для оценки ее чисто литературных достоинств, именно, со сто-роны пресловутого «отражения быта»...

Итак, по своим формальным достоинствам частушка в народ-ой поэзии занимает высокое положение. Это — самая конструктив-ая форма народной песни, завершение длинного эволюционного яда. Ее упрекают в бессодержательности, в бедноте мысли. Это ряд ли правильно. Прежде всего, — с чем сравнивать? Для сравне-я надо привлекать величины однородные и соизмеримые. Весе-ые, шуточные частушки надо сравнивать с другими шутливыми роизведениями народной поэзии, и при этом сравнении юмор ча-стушки всегда окажется гораздо тоньше и развитее, чем элементар-ый и неуклюжий юмор эпических «небылиц-небывальщин» и т. под.. равнивать же частушку с причитаниями, заплачками или грустны-и протяжными песнями методологически неправильно. Исполняе-ая под аккомпанимент гармоники, на посиделках и супрядках в тмосфере деревенского флирта, частушка, конечно, не может за-ючать в себе ни глубокомысленных философских сентенций, ни ыражения щемящей тоски. Можно сказать, что частушка прибли-ительно соответствует эпиграмме, мадригалу и альбомным стихот-орениям «искусственной» поэзии. Частушка *должна* обо всем го-ворить с улыбкой: этого требует деревенский светский этикет. Очень асто эта улыбка действительно является искренним выражением еззаботного жизнерадостного настроения. Но не менее часто она яв-ляется условной, деланной. И тогда за ней можно почувствовать стыдливо запрятанные от постороннего взора сильные душевные ереживания...

Кн. Н. С. Трубецкой

Прим. ред.: ударные знаки над частушками, по техническ. причинам, по-ставлены лишь над *а*, *о* и *е*.

ПАРАДОКС БУРЖУАЗНОГО МИРО-СОЗЕРЦАНИЯ

Письмо к приятелю

Perchance to dream
Hamlet

Нет, дорогой друг, я вовсе не выдумал буржуа. Я только де лаю попытку определить явление, которое описывалось мно гими. Буржуа, «бывший ничем, стал всем»; я хочу показат что он нечто вполне определенное. Было время, когда он себ называл Человеком и воплощал собою весь человеческий ро Понятие буржуа тогда не имело определенного содержания Настало мне кажется время точнее определить это содержание, дать слову буржуа определенный смысл. Я и хочу вскрыть, или вернее, самого буржуа заставить вскрыть этот смысл. Он до статочно взрослый для этого, — он достиг уже возраста размыш ления. Я знаю, как это неприятно, когда наступает время само определения, когда оказываешься принужден признать чем т действительно был. Трудно примириться с мыслью, что не бы чем нибудь другим. Но познать действительное в безгранично океане бывших возможностей, в этом-то и заключается само познание.

Мне не совсем понятно, почему буржуа обыкновенно не лю бит чтобы его называли его настоящим именем. Короли назыв лись королями; священники священниками; рыцари рыцарями; он настаивает на своем инкогнито. Вы можете обращаясь к нем называть его человеком нового времени или передовым человеком или просто по национальности; но как-то трудно сказать ему глаза что он буржуа. Но сказать надо, и его заставить повторить чтобы он ясно видел себя таким какой он есть, и чтобы он мо сам себя познать.

Но для успеха дела, надо подходить к нему с уважением, стараться избежать всего того, что могло бы унизить его собствен ное достоинство. Очевидно, что он не единственный предста витель, а только одна из разновидностей человечества. И множества попыток человечества устроить свою жизнь, его опы несомненно один из самых интересных, я бы даже сказал, самы «удачных», особенно если принять во внимание что он польз

лся минимальным количеством гипотез и что следовательно зультаты его как будто доказательны. Он решил жить на этом ете, не предполагая существование другого, или по крайней ре не ставя своей жизненной практики в зависимость от такого едположения. Он повел себя как человек не во сне. Он сказал: существую», не: «Я вижу сны, следовательно я существую» ысль бы его не вывела из состояния сна; я мыслю: я вижу ы — сны метафизик), а наоборот: «Я действую, следовательно не сплю, следовательно я существую». (Мускульное чувство: вство реальности). Затем: утверждение собственности, (Я как ладатель вещей; имение предшествует бытию). Сначала труд, него собственность.

После этого как можно говорить что буржуа нет? По самому ределению это существо существующее по преимуществу, это ловек провозгласивший: «Я существую». Он долго должен был оться чтобы стать, чтобы убедить самого себя в своем суще- ствовании, чтобы иметь возможность утверждать, что он суще- ствует. Чего, чего не говорилось, чтобы сбить его с этого пути? Но есто ответа, он действовал. «Живем ли мы по-христиански, вем ли мы?». спрашивал Боссюэт. Буржуа отвечал: «я живу», рва робко, потом помере того к к он научался жить, все реннее. «Жизнь есть сон, немного менее преходящий», говорил скаль. Буржуа поверил в жизнь и сумел дать существенность . «Как мало места мы занимаем на этом свете», говорит Босэт, и еще: «не знаю не есть ли то что мы называем бодрствова- м то-же состояние сна только менее спокойное; не знаю вижу я реальные вещи, или только смущен пустыми призраками» *).

А буржуа знает, что он не спит. Он стал работать, и прирy призраки; он взял вещи в руки, все переставил и привел в ядок. Не совсем еще проснувшись, шатаясь со сна, он нашел место, пусть маленькое с точки зрения Времени и Простран- , и устроился в своем «уголке вселенной».

Но почему он уверен что он больше не спит? «Сны нас сопро- дают до самой старости», говорит Боссюэт. «Что такое одо- ающие нас беспричинные страхи, как не страшные сны?». И олюбие «ведущее нас от трудов к трудам, от обмана к обману лающее из нас игрушку в руках людей», разве это «тоже не превращающий мнимые удовольствия в истинные мучения» наступит смерть, наступит «последнее мгновение, и когда оно шло наша вся остальная жизнь оказывается мечтой и заблу- нием». Перед лицом смерти будет ли он еще верить в жизнь? «Бог не хотел, говорит Николь, чтобы впечатление произ- имое на человеческую душу Смертью, могло быть умалено

*) Ср. у Фенелона: «Если сон может порождать обман чувств, чаемый только при пробуждении, кто смеетъ утверждать, что е бдение не есть другой род, или другая степень сна, из которо- не не возможно выйти, и обман котораго не может быть обличен ким другим состоянием чувств?».

посредством тех ухищрений, к которым они прибегают перед лицом других неудобных истин, и которое заключается в том чтобы затуманивать очевидность и уверенность притворными сомнениями». Что же он станет делать перед лицом величайшей из несомненностей, Смерти?

Он будет подобен тем, слабым духом, которые, чтобы спастись от неизбежной мысли «ищут покоя у себя, дома, в своей семье, в жене, в детях, в своем маленьком имении, в своем маленьком хозяйстве, в своем маленьком поле, ими же посеянном, в своей маленьком жилище, ими же построенном», говори Николь.

Выходит, что буржуа просто развлекающий себя трус, «один из тех, что работает чтобы оглушить себя шумом своей работы»*) Но это-то он и отказывается признать. «Порядочный человек, которому не в чем себя упрекнуть, ничего не боится, и никогда не испытывает страха»,**) Он сам будет упрекать своих противников в том что они питают в сердцах вульгарные страхи развращающие человека. Когда эти противники возразят ему, что он не умеет умирать, он станет на смертном одре доказывать, что наоборот, он сумеет быть мужественным до конца.

Что же буржуа — трус или герой? Или то трус, то герой? Вопрос, мне кажется поставлен неправильно. «Я не знаю, ни кто меня поместил в мире», говорит Паскаль, «ни что такое мир ни что такое я сам; я нахожусь в ужасном неведении обо всем» — «Как я не знаю откуда я взялся, так не знаю и куда я иду» Так что надо быть или очень трусливым или очень мужественным идешь ли вперед смело глядя по сторонам, стараешься ли ни чем не думать. Но человек провозгласивший: «я существую» видит себя не в таком свете.

Начнем с этого утверждения: «я существую». Только прочно утвердивши его и проникнувшись им, мы можем сказать: «мир существует». Это вовсе не значит, что этот вывод необходимо следует: наоборот делая его мы рискуем снова впасть в сон (другой сон; но не менее крепкий) от которого только что избавились. Значит: «я существую», и больше ничего. Но *где* существую? вы меня тотчас спросите, думая этим вопросом поставить в затруднение только что проснувшееся я и заставить меня отказаться от моего притязания что я не сплю. Вы думаете я вам отвечу «во вселенной, в определенном уголке вселенной?». Нет, это было бы неправдой. Я *здѣсь*, и больше нигде, здесь в моем маленьком имении, и стою прочно, и *отсюда* вижу вселенную. Но нет, пожалуй и это еще не точно. Я вижу только предметы имеющие какое-то ко мне отношение, в каком то смысле, значит, мне принадлежащие. Все это меня касается, все это для меня. М[illegible]

---

*) Пастырское послание Архиепископа Лионского об источниках Неверия и Основаниях Веры. 1776.

**) L'Alambic Moral, ou Analyse raisonnée de tout ce qui a rapport à l'homme, par l'Ami des Français. 1773.

«маленький участок» простирается все дальше, чем дальше я смотрю; он растет; он вырастает в мир. И мне уж надо сделать усилие чтобы подумать о Вселенной. Но тут-то вы меня и поджидаете. «Я вижу эти ужасные мировые пространства со всех сторон, а сам прикреплен к одной точке этой безмерности, и не знаю почему я здесь, почему не там, не знаю почему отмеренный мне маленький отрезок времени изо всей вечности бывшей до меня и имеющей быть после отнесен именно к теперь, а не к тогда»*).

И вот меня уж нет; все мои усилия были ни к чему; я впал в свои прежние сны. «Суета сует и всяческая суета». Я слушаю вас, — и однако не вы правы. Я жив. Я хочу жить, а жить, значит начинать с себя, значит сказать «я существую».

Они ищут покоя въ своем «маленьком имении», говорил Николь. Очевидно оно очень маленькое, это имение. «Что такое человек перед лицом Бесконечного?» (Паскаль). И вот буржуа не в бесконечном. Человек сказавший «я существую», уже не обитатель вселенной и не житель вечности. Мое «маленькое имение», — вам, обитателям вселенной, к лицу так говорить. Мой дом затерян во вселенной, и сам я «как бы заблудился в каком-то захолустьи природы». (Паскаль). Но что бы вы ни говорили, я, тот самый которого вы видите, засел у себя дома.

Есть большая вселенная, есть мое маленькое имение. Совершенно нелепо стараться увести из одного в другую и стараться найти для них общую меру. Надо выбрать одно из двух, — вселенную или меня; «я существую» или бытие вообще; вечность или настоящий миг. «Когда я думаю о краткости моей жизни, поглощенной в вечности предшедшей и последующей, о малости пространства занятого или даже видимого мною, погруженной в бесконечную огромность пространств неизвестных мне и обо мне не ведающих, мне страшно и странно быть здесь скорее чем там, ибо нет оснований почему скорее здесь чем там, почему теперь, а не тогда». (Паскаль). Но почему же созерцая вселенную, стремиться в ней найти самого себя? почему исходя из видения вечности желать вернуться к настоящему мигу, к *этому* часу

*) Паскаль. А вот что говорит Неккер (*О Важности Рёлигиозных мнёний, 1788*): «Человек в этой безбрежности не более как незаметная точка, и не смотря на это, благодаря своим чувствам и разуму, он находится как бы в связи со всей вселенной; но как эта связь приятна и покойна! Почти как отношение между государем и его подданными: все приходит в движение около человека, и все имеет отношение к его желаниям и его нуждам; Природа занята, как бы им одним; действие стихий, шумы земли, и лучи света, как будто применились к его способностям и силам: и между тем как небесные тела движутся со скоростью пугающей наше воображение, и увлекают в своем течении наше обширное обиталище, спокойные в своем убежище и под благодетельным кровом избранным каждым из нас, мы мирно наслаждаемся множеством благ, которые, покорные еще другому чудесному сродству, сообразуются с нашими вкусами и со всеми чувствами коими мы одарены».

моей жизни, к происходящему *сейчас*? Для всего живого исходная точка не вселенная, не «недвижное присутствие Вечности»; но «я существую», «я действую *сейчас*»*). Они ищут покоя «в поле ими же посеянном, в жилище ими же построенном», говорил Николь. Но именно потому что они посеяли это маленькое поле и построили маленькое жилище, они там нашли покой и живут в полном спокойствии.

Итак, мир буржуа во всех отношениях новый. «Я смотрю повсюду, и не вижу ничего кроме тьмы», сказал Паскаль. А новый человек устроил у себя в доме освещение, и довольными глазами созерцает звездное небо. «Не будем останавливаться на видимом но на невидимом, ибо видимое временно, но то чего мы не видим — вечно». (Боссюэт). Но буржуа живет во времени, и распределяет по часам свой хорошо налаженный распорядок. «Есть только один Рай: кто хочет устроить себе рай на земле, пусть не надеется на небесный», говорит Кенель. «Основная особенность моей религии», говорит автор Письма к Архиепископу Лионскому (1763) «готовить себя к вечному блаженству, только после того что я устроил свое счастье на этом свете». Для Кенеля, христианин есть «человек преодолевший человека». Автор Письма стремится быть только человеком, вполне человеком.

Все это тесно связано и образует совершенное целое. Ка исходная точка, «я существую», я пробуждающееся и действующее, пребывающее в настоящем и ограниченное в пространстве собственный центр все определяющий, ищущее счастья ил прославляющее человечество. Я, действие, труд, собственност счастье, человечество. Не наш ли это мир, мир переставши быть вселенною, мир без вечности и без всякого бесконечного.

Я попытался вкратце изложить философию буржуа, пара доксальнейшую из философий, если только ее рассматривать точки зрения чистого познания. Ибо что же может быть стран ее чем то оправдание видимостей, на котором она всецело покоится. Расстояние предметов от нас соответствует тому, что мне показы вает опыт; мир там где я; совершенно абсурдное утверждени большой реальности настоящаго мига по сравнению с прошлы и с будущим. Но в том то и дело, что буржуазная философия н основана на умозрении: она результат живого опыта. В поряд биологическом ее можно было бы рассматривать как попытк применения к среде более последовательную чем прежние, ка обращение мысли к жизни. Единственное к чему могла привест мысль предоставленная самой себе — сон о реальности по ту ст рону сна. Но мыслить свой сон ни как не значит выйти и своего сна; это будет только сон о сне. Сон умножается на сон, так без конца. Надо усильем воли выйти из оцепенения, не на

*) «Для человека тоже самое быть не занятым и не существоват говорит Вольтер (Замечания на мысли Паскаля): я занят, следов тельно я существую.

стараться уразуметь где находишься, прежде чем начать строить «великолепные дома», а начать их строить. Иными словами: начать жить, не зная откуда пришел и куда идешь.

Я знаю что дело обыкновенно представляется вовсе не так. Начали, якобы, с того, что поставили вопрос: да существуют-ли эти призраки, и обнаруживши, что их нет, увидели дневной свет. (Буржуа любит говорить о свете, и думает, что чтобы увидеть свет, ему стоило только протереть глаза). Выходит что он продукт своих знаний, и так как, очевидно его знания не из него взялись, он великодушно зачисляет в свои создатели философов и ученых, научивших его видеть вещи такими, как они есть Но не наука научила его жизни Она в лучшем случае снабжала его, по мере надобности, аргументами для защиты его приобретений. То, что он сделал, не сводится к установлению правильнрго миропонимания, или к замене заблуждений истиной. Он переставил порядок вопросов, стал представлять мир как функцию жизни, и перестал стремиться к пониманию самого себя, как функции целого. Он может возразить, что если дело обстоит так, это только потому, что мы еще не можем объять мировое целое, но так толковать, как я толкую, эволюцию буржуазии, значит опрокидывать верх дном порядок вещей. «Кто меня поместил сюда? Чье изволение, чей промысел присудил мне *это* место и *это* время?» (Паскаль). На эти вопросы буржуа так же мало сумеет ответить, как Паскаль. Однако он не сказал «хотя я не знаю где я, я позволяю себе жить» (заблуждение Паскаля как раз в его постановке вопроса), а сказал: «Я умею жить, а потому могу обойтись без знания где я».

Итак, я хотел бы показать, как буржуа научился жить. Согласен, что ответить на этот вопрос трудно. Человек в состоянии действия говорит мало, и если говорит, исходит из действия, и теории его не заслуживают доверия. Так Философы нам много чего нарасказали о происхождении вселенной и о судьбе человека, и ничего, казалось бы, не мешает нам в их писаниях искать выражения духа буржуазии. Но нельзя доверять их системам: в них есть множество миров, самых разнообразных; но ни в одном из них нет буржуа. У него есть свой дом, и в нем он устроился. Он сам себе его устроил. Это дело его рук. Потом уже философы стали его толковать по своему, и их толкования, что и говорить, весьма поучительны для познания этого дома, но надо к самому этому дому обратиться, хотя бы для того, чтобы хорошенько понять философов.

Это не значит, что я хочу поймать буржуа врасплох, одного без идей. Наоборот, я хочу понять его идеологию, идеологию предшествующую всякой системе и предполагаемую всякой системой нового времени. Это, относительно каждой системы, Дело, которое предшествует Слову. Поэтому не надо отвлекать эту идеологию от жизни. Будем исходить из «я существую», и только таким образом мы поймем подлинную иерархию буржуазных ценностей, и весь ход современной мысли.

Было время, когда буржуа любил играть в философа, и это было очень хорошо. Но прежде чем рассуждать с ним . Боге и мире, постараемся понять что он делает, как он действует и как реагирует. Я работаю, я смотрю вперед. Надо см треть вперед Порядочный человек смотрит вперед. Н . этом можно остановиться Так, часто, поступает и буржуа, когда он утве, ждает, что единое на потребу — нравственность. Возможн.сть предвиеть результаты своих действий предполагдает закономерн сть явлений. Дивный порядок управляет миром. Существует верховная мудрсоть все устроившая. Ничего не меш ет буржуа остановиться на этих положениях, или выбрать себе другие, которые могли бы объяснить ему механизм вселенной. Но все время надо иметь в виду исходный факт: — жизненный опыт, социологический факт общего людям опыта, ежедневно подтверждаемого, и который в свою очередь послужит основанием новому устроению жизни. Вот исходная точка.

Таким образом, становится все яснѣе, что мы представляем собою не более как одну разновидность челоеечества, свою собственную. Мы узнали, что мы не вечны. В буржуа нет ничего окончательного. Было время когда его не было. Он начался в определенное время, и всходя к этому началу он научится сам себе. Познай самого себя — посредством истории. Востановляя то время когда тебя еще не было, и подвигаясь вперед по времени когда ты начинался, научись рассматривать себя как будто бы тебя уже нет. В этом заключается историческое сознание, и труд историка который все превращает в прошлсе.

Было время, когда буржуа, еще не совсем уверенный в себе, старался оправдаться в глазах тех, кто обвинял его в чрезмерной самоуверенности. Он старался доказать свою правоту, и французские священники 18-го века сохранили нам в своих проповедях его аргументы, для того, конечно, чтобы по мере сил их опровергнуть. Это страстная полемика, в результате которой окончательно складывается буржуазное сознание. Достаточно ли быть порядочным человеком, или надо еще быть благочестивым?

Сначала буржуа не совсем уверен в ответе, но постепенно сомнения исчезают, и не потому, что он доказал себе свое положение метафизическими доводами, а потому, что существование просто порядочных людей стало очевидным и неопровержимым фактом. Тогда он провозгласил свою независимость, и отвернулся совершенно от старого мира в котором ему было отведено одна роль — грешника.

Новый мир буржуа я и старался понять. Мы все в нем живем, и он нам знаком лучше всякого другого. И однако, если нам случится отвлечься от него, в то же время совсредоточив на нем свое внимание, мы, может быть удивимся тому где мы находимся и что мы в нем живем никогда не задавая себе вопросов. И это удивление, дорогой друг, не начало ли, по слову Платона, всякой философии?

Бернард Грутхейсен.

(перевод с французской рукописи Д. С. М.)

ЗАМЕТКИ О СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Довольно трудно дать общую картину современной французской литературы, так как она находится сейчас в процессе быстрого изменения. Писатели, выступившие вскоре после войны, если они во время себя не переделают, могут оказаться более устарелыми, чем старики, против которых они явились реакцией. Всетаки мы должны начать с этого движения, наметить его кривую, и показать, что оно должно неизбежно само собой исчерпаться, если не получит извне нового и более целесообразного направления.

Несколько характерных черт послевоенной литературы свидетельствуют об ее недостаточности. Во-первых, для большей части писателей, определившихся или ставших известными около 1919 года, жизнь была отпуском с фронта. Естественная реакция после четырех лет крайнего напряжения: им хотелось забыть прежнее и воспользоваться свободой, которую им давало перемирие. Игры «чистой поэзии», психологизм, изящные переборы Жана Жироду, *) похожие на те аккорды, которые берут музыканты перед началом исполнения симфонии, блестящие фокусы Поля Морана, **), — вот явления, характерные для этого затянувшегося отпуска. Большие человеческие проблемы были в забросе, или фигурировали в модных произведениях, в качестве безвредных фантомов, служивших одной забаве. Разве война не доказала в одно и то же время и тщетность идеалов, и способность наименее подготовленного человека стать, в случае нужды, героем.

---

*) Jean Giraudoux, p. 1882; дипломат и беллетрист.

**) Paul Morand, p. 1888; дипломат и беллетрист. (Ouvert la Nuit, 1922).

Недавний страшный и леденящий опыт всячески поддерживал убеждение, что сознание бессильно над поведением, что утонченные переживания, плод высокой культуры, неизбежно втаптываются в грязь и разбиваются практикой жизни. Искусство, литературная мысль, казались предметами роскоши, ибо казалась доказанной их неспособность оказать влияние на ход вещей.

Другая черта этой литературы — ее *частичность*. Каждый автор, каждая литературная группировка, отводили себе один кусочек человеческой реальности и им исключительно и занимались. Один интересовался вопросами чистой формы; другой реакцией эмоций на ощущения; третий подчинял сознание бессознательному. В результате каждый говорил о своем маленьком участке, как будто бы к нему сводилась вселенная, это вносило путаницу в понятия, ибо отдельные стороны человеческой действительности — жизнь ощущений, например, — получает совершенно иной смысл, если ее рассматривать, как *единственное* выражение человека, чем если ее связать с другими сторонами человека: жизнью умственной, нравственной, религиозной и т. д. Трудно себе представить, до какой степени частичный и исключительный характер этих интересов отдалял одного писателя от другого. Мне случалось присутствовать при встрече писателей общеизвестных, сверстников, жителей того же города: можно было подумать, что присутствуешь при разговоре Краснокожего с Тибетцем.

Все это не имело бы таких серьезных последствий, если бы эти писатели довольствовались выполнением своей работы в строгом молчании творчества. Но потребность говорить *по поводу* своих произведений — и не в тексте самого произведения, а наряду с ним — была у них еще сильней, чем самая потребность творить. Чуть не всякое произведение — особенно у поэтов — сопровождалось комментариями автора и его друзей; и интересно отметить, что они приписывали этим комментариям способность увеличивать ценность комментируемых стихов. Казалось, что творческий позыв, бессильный вылиться в достойное себя творение, принужден был дополнять себя разговорами. Между тем комментарий есть общественное выступление: отсюда недалеко и до приравнения таких выступлений деятельности поэта, как такового. Сюрреалистам, например, их ругательное письмо к

Клоделю казалось действием того же творческого напряжения, что и их стихи.

Наконец, я должен отметить четвертую черту, прямо связанную с предыдущей, и очень заметную в после-военной литературе: я имею в виду необычайный, с некоторого времени, рост коммерческой организации литературной жизни. Затраты на рекламу и на муссирование новых книг, конкуренция издателей, и другие причины приводят к охоте издателей за авторами, результаты которого более комичны, чем утешительны. Новому автору, как только его «открыли» и если его только поддерживает какая нибудь литературная группа, или сманивает другой издатель, предлагают контракт, иногда даже не читавши его писаний. И так как требуется постоянно возбуждать читательское любопытство, начинающие облекаются авторитетом, заставляющим публику забывать об их незрелости. Эта незрелость, столь бросающаяся в глаза в послевоенной литературе, еще более подчеркивает уже отмеченные нами недостатки. Не то, чтобы эта молодежь была бедна силами и дарованиями, но они проявляют самоуверенность в односторонности, которая не так обычна в эпохи большей дисциплины и более строгого выбора, хотя бы эти последние и грешили несправедливостью. Ученичество в наши дни, можно сказать, упразднено.

Вот недавний пример, отражающий несколько из перечисленных черт: спор о Чистой Поэзии. Приглашенный произнести 24 октября 1925 г. традиционную речь на соединенном заседании пяти Академий, аббат Бремон, *), возымел счастливую и слегка ироническую мысль посвятить эту речь похвале Чистой Поэзии.

«Всякое произведение поэзии», — он утверждает в ней, — «обязано своим собственно-поэтическим характером присутствию, излучению, преображающему и об'единяющему действию таинственной сущности, которую мы назовем Чистой Поэзией (poésie pure)».

Г. Бремон отвергает теорию поэзии-музыки, хотя он и присоединяется к ее сторонникам против защитников поэзии-разума. «Красивые шумы» поэзии кажутся ему недостаточными, чтобы об'яснить поэтическую эмоцию, в которой мы восприни-

---

*) Henri Brémond, член Французской Академии; автор многотомной «Истории Религиозного Чувства во Франции».

маем сначала не мысль или чувство поэта, но самое душевное состояние, которое делает его поэтом, его хаотический, цельный недоступный разделяющему сознанию опыт».

Мы схватываем здесь, как бы на лету, тот прием разрезания, ту таинственную потребность разделять, чтобы ценить, которую испытывают многие из наших современников. Поэтическое переживание г. Бремон отожествляет, или почти отожествляет, с мистическим опытом, ибо, как он говорит, магия поэтического переживания «зовет нас к состоянию покоя, в котором мы только отдаемся, хотя и активно, лучшему и большему нас самих».

Прекрасно, но не замечательно ли, что великие религиозные поэты, Данте, напр., или Мильтон, никогда не пытались осуществить это переживание путем освобождения от мыслей, от эмоций, от всего, что составляет содержание поэзии. Кроме того непонятно, каким образом г. Бремон, который сам же так умно нас предостерегает против понимания поэзии как чистого звука, сумеет избежать приравнения поэзии — звучности. А это привело бы его к обоснованию своего спиритуализма явным материализмом; ибо именно смысл дает поэтическому произведению душу, подымая его до нематериального. С другой стороны, сторонники поэзии-разума тоже неправы, так как только «музыка» стихов дает возможность словам выйти за пределы своего буквального значения, *но в направлении этого самого значения*. Впрочем, существо спора мало интересует нас сейчас: я только хотел показать на характерном примере, как наши современники из односторнних наблюдений строят всеоб'емлющие теории и как это мешает им построить критическую доктрину, которая давала бы удовлетворительное об'яснение совокупности фактов.

Г. Бремон ссылался в своей речи на пример Поля Валери. *). Г. Валери, большое дарование которого общеизвестно, склонен как раз сводить поэзию к «музыке» и вообще гораздо скромней в своем понимании поэзии. Он не думает, чтобы она вела к познанию Бога. Она представляется ему, как высшего порядка игра, и чистой он называет такую поэзию, которая путем последовательного устранения, приходит к полному освобож-

---

*) Paul Valéry, р. 1872; поэт и мыслитель, ученик Малларме. Стихи его собраны в Сборнике Charmes (1923).

нию от всякой примеси прозаического. Г. Валери ставит ударение на момент формального сочетания, на конструкцию. Человеческое содержание стихов ему гораздо менее важно. Вопрос сводится к тому, чтобы решить, где кончается прозаическое, и где начинается поэтическое. В мысли г. Валери можно открыть некоторую неясность. Утверждать, что поэзия есть «выражение» (expression), может равняться утверждению, что поэт должен стремиться наиболее поэтическим образом передать что-то такое; а это может означать, что он должен давать форму своим самым сильным переживаниям. В первом случае, как, напр., у самого Валери, «выражение» будет доведено до тем большей чистоты, чем меньше в выражаемом будет эмоциональной нагрузки. Еще совершеннее будет выражение, если выражаемое будет чисто-идеально: если предположить, что идея ясно определена и как бы стабилизована в сознании, вся психическая работа будет направлена на работу формальной передачи. Наоборот, если выражаемое — сложное переживание, трудно определимое, разнообразно связанное с другими человеческими ценностями, — шансов на преобладание формального элемента будет меньше, или, по крайней мере, форма будет совершенно неотделимо облекать интенсивно-эмоциональное содержание.

Таким образом и здесь мы находим одностороннее построение, основанное на крупном, но все же одностороннем поэтическом опыте.

В знаменательном противоположении г-ну Валери мы находим последователей чистого психологизма Марселя Пруста. *). Для многих не подозрѣвавших, что психологизация действительности может быть такой полной, Du côté de chez Swann было откровением. Никакая подробность однажды данного переживания не ускользает от анализа Пруста. Его наблюдающее сознание при помощи необыкновенной памяти, как бы обшаривает самые далекие закоулки прошлых переживаний. Весьма важно отделять несравненный аналитический метод Пруста от его психологических воззрений, необходимого следствия доступного ему челове-

*) Marcel Proust, 1873 — 1922, знаменитый романист Du côté de chez Swann, первая часть его многотомнаго романа A la Recherche du Temps perdu, вышла в 1913 г., но обратила на себя всеобщее вниманіе только в 1918 — 19 г.г.

ческого опыта. Этого различия не делали его первые ученики. Один из них, глубокий и тонкий критик, Жак Ривьер, *) думал найти *причинную* связь между аморализмом Пруста и изумительными результатами его анализа. К концу своей жизни Ривьер довольно существенно изменил свое мнение по этому вопросу. Знакомство с Мередитом **) и восхищение «Эгоистом» открыли ему глаза на совместимость анализа столь же детального, как прустовский, с определенной этической ориентацией. Тем не менее ривьеровская кампания в пользу Пруста, показательна, приблизительно, в том же смысле, что кампания вокруг Чистой Поэзии. В обоих случаях задачей было изолировать один беспримесный элемент — психологию или поэзию — утверждением, что этот один элемент достаточен для художественного творчества.

Я уже сказал, что такое положение дел не могло продолжаться — ясно теперь почему. Вглядываясь пристальнее в этот вопрос, некоторые писатели поняли, что нельзя создать критического сознания, — т. е. самосознания литературы, — единственно основываясь на утверждениях самих художников, утверждения более или менее фантастичных и, во всяком случае, вытекающих из их личных особенностей. Они поняли, что если г. Валери подчеркивает формальный элемент в поэзии, мы этим обязаны его личным особенностям и направлению его интересов и что анализ Пруста вполне отделим от того незанятого человечества, которое он изображает. Стала чувствоваться потребность в более широкой и полной теории, которая позволила бы поставить каждое произведение в некоторую иерархию, и произносить «оценки».

Вот уже года три тому назад, как мы вступили в эпоху доктринальную. В подтверждение этих слов я сошлюсь на успех Нео-Томизма и на образование группы Philosophies, которая сейчас издает журнал «L'Esprit», ведущийся в духе нео-кантиан

---

*) Jacques Rivière, 1888 — 1925, критик; редактор с 191[illegible] года Nouvelle Revue Fran;aise.

***) George Meredith, 1828 — 1909, знаменитый английский романист и поэт, который в настоящее время пользуется особенным вниманием французов. «Эгоист» (The Egoist) роман Мередита.

ской философии. Даже бывшие члены группы Dada, по своему, основывая Сюрреализм, провозгласили общую теорию, отрицая изо всех сил, хотя и на словах только — человека запада. Наконец, живой интерес к восточной мысли, занесенный к нам преимущественно из Германии, тоже свидетельствует об этом стремлении связать отдельные ценности в цельное учение о человеке.

Еще более показательны результаты, к которым со своей стороны приходят техники литературы, особенно романисты. Большой поклонник и, в известном смысле, ученик Марселя Пруста, Жак Лакретель (Jacques de Lacretelle) дал нам в своем романе «La Bonifas» психологическое построение, весьма отличное от тех, к которым нас приучил его учитель. Поставив себе главной целью написать роман, иными словами рассказать историю и дать психологию лица *в состоянии действия* он задумал свой рассказ так, чтобы на каждой странице мы могли иметь *цельную интуицию лица*. В то же время он стремился осветить поступки своей героини связной психологической и этической концепцией, до известной степени *истолковательной*. Марсель Арлан (Marcel Arland) в романе «Monique» не обнаруживает такого, можно сказать, даже нарочитого стремления к связности, но его психологические записи всегда выражают *цельное* существо лица о чьих чувствах он нам рассказывает и которому он стремится дать определенное место в мире этических ценностей. Эти примеры напоминают нам весьма кстати, что самые условия романической формы, из которых главное ее *драматический* характер, приводят младшее поколение романистов к пониманию личности как целого.

Было бы праздным занятием делать предсказания о дальнейшей эволюции нынешней литературы, но несколько слов об ее очередных проблемах могут помочь читателю составить свое мнение. До войны обозначился разрыв между тем, что можно назвать *литературой творчества* и *литературой обсуждения или оценки*. Первая стремилась почти исключительно к созданию художественных произведений, т. е. к реализации переживаний и чувств; вторая притязала на некоторое моральное, или, по крайней мере, умственное влияние. Первая обвиняла вторую в отсутствии вкуса и отчуждении от действительной жизни; вторая обвиняла первую в кружковщине, в чрезмерной умственной и нравственной лени, и пренебрежении жизненными проблемами. «Литература творчества» была дочерью Символизма, «литература

оценки» — побочным продуктом деятельности учителей второй половины 19-го века. *).

Хотя война только на время прекратила этот спор, теперь эти две литературы начинают, повидимому, сближаться. Г. Маритэнъ,**), например, и его ученик г. Массис**) стараются омолодить «литературу оценки», оказывая внимание новым течениям в искусстве, тогда как — Nouvelle Revue Française — официальный, так сказать, орган «литературы творчества» уделяет много места авторам, желающим вернуть художественной литературе утраченную силу суждения. Мне, как сотруднику этого жирнала, не к лицу было бы хвалить его за это. Но должен сказать следующее: подлинная творческая литература должна интегрировать ценности созданные символизмом, импрессионизмом, литературным «кубизмом». Но если она должна их включить в синтез еще более обширный, где было бы место силе суждения и который позволял бы дать выражение великим человеческим проблемам, — то литература, игнорирующая эти ценности, или пренебрегающая ими, обрекает свои оценки на бесплодие. Ибо бесполезно мыслить, бесполезно вводить (и наводитѣ) порядок, если деятельность умственная не будет в тесной связи с другими сторонами человеческого духа. Литература творчества схватывает реальные реакции духа на внешний мир, и тем не только позволяет *оформлять* нашу чувствительность, но обогащать наше сознание жизни.

Иначе говоря, нужно, чтобы въ художественной интуиции был давсем цельный, связный мир, и для этого нужно, во первых, воспитание нашей чувствительности, во вторых, создание некоторого критического гуманизма, который бы руководил нашими эстетическими и психологическими *оценками*. Мы видели, что и критики и художники с недавнего времени направляют свои усилия

*). На крайней точке «литературы творчества» стоят «сюрреалисты», у которых творчество в своем стремлении к предельной чистоте доходит до самоотрицания. На крайней точке «литературы оценки» можно было бы поставить произведения г. Бурже, бесплодный концептуализм которого лишает всякой ценности многочисленные заключающиеся в них оценки. (Прим. автора).

**) Jacques Maritain, глава католического течения нео-томистов; Henri Massis, его ближайший последователь и журнальный застрельщик.

по этой линии. Я приведу еще пример: «Plaisir des Sports». Жана Прево (Jean Prévost), гдѣ автор применяет аналитический метод, довольно похожий на прустовский, к изучению и выражению тела, в движении радостно сознающего свое единство и свою силу. То, чего еще нам не хватает и что мы горячо призываем — это возрождение духа комедии, предполагающего прочно установившуюся перспективу человеческих ценностей. Появление гения, подобного Фильдингу, т. е. писателя, могущего создавать и живых и живучих людей, и произносить оценки, умеющего из живого человека извлекать этически-прекрасное и бить нас любя, такое явление было бы для многих из нас радостной зарей.

Я не думаю, чтобы какое нибудь из упомянутых мною учений имело шансы положить основание тому критическому гуманизму, которого мы ждем. В самом деле нам нужна не теория, накладывающая на нас готовые рамки, но философия критическая, способная принять ритм творческого духа, которая явилась бы не более, чем ясным и всеоб'емлющим пониманием творчества. Поэтому мы обращаемся охотнее к науке, чем к какому либо религиозному учению, к науке, умеющей жизненно и постоянно сочетать сомнение с уверенностью. Ошибка некоторых из наших учителей была в том, что они хотели растить человеческое растение в тепличной атмосфере. Ошибка же неотомистов и современных возродителей религии в том, мне кажется, что они хотят навязать человеку образ мира, некогда естественный, но теперь без принуждения не возникающий. Мы присоединяемся к словам Мередита, который подводит итог всему гуманизму Запада: «Our great error has been (the error of all religion, as fancy) to raise a spiritual system in antagonism to nature». «Наша главная ошибка (и ошибка, мне представляется, всякой религии) была, что мы хотели построить систему духа, враждебную природе».

Рамон Фернандез.

(Перевод с рукописи Д. С. М.)

СОВРЕМЕННАЯ АНГЛИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Нынешнюю Английскую литературу я представляю себе в виде большой неубранной комнаты. Беспорядок всюду, — занавески истлели от солнца, по ковру рассыпаны грамофонные иголки, — но по стенам стоят шесть солидных шкапов, качеством своей работы свидетельствущие о потребностях недавнего прошлого. Имена этих шести солидных: Харди, Бенет, Уэлс, Голсуорти, Киплинг, Шо; 1) и я, в этой статье, не собираюсь говорить об них, так как всем известно где они стоят и что делают. Известно, что Голсуорти постройка величественная, хотя и несколько неустойчивая; что Уэлс поставлен так чтобы всем об него спотыкаться; что правый ящик Беннета не знает, что лежит в его левом ящике и что в его правом ящике лежат хорошие вещи.

Деятельность этих шести солидных завершилась, и дела их, в некоторых случаях, вероятно, останутся бессмертны: «Династы», 2) «Бабьи сказки» 3) и «Майор Варвара» 4) может быть будут читаться тогда, когда большая часть книг, о которых я собираюсь говорить, будут забыты. Всетаки я собираюсь говорить об этих книгах. Нельзя заниматься одними знаменитостями, — а иностранцы, следящие за нашей литературой слишком к этому склонны, что впрочем вполне естественно: шесть солидных первыми бросаются в глаза, и иностранный наблюдатель принимает на веру, что они характерны для всей Английской литературы, и что в них-то младшее поколение и видит источник вдохновения. На самом деле они чаще оказываются источниками раздражения,

1) Thomas Hardy, p. 1840, патриарх английских писателей, романист и поэт; Arnold Bennet, p. 1867, романист-натуралист; John Galsworthy, p. 1867, романист, автор The Forsyte Saga; имена Уэлса, Киплинга и Шо хорошо известны русскому читателю. (Все примечания принадлежат переводчику).

2) «The Dynasts», «эпическая драма» Наполеоновской эпохи, Томаса Харди (1904-1914).

3) «Old Wives' Tales», роман Беннета (1908).

4) «Major Barbara», пьеса Шо (1905).

— так что обратимся от них к самой комнате, к экспериментальной и творческой работе идущей в ней, к хаосу корзин и метел' диванов и пуфов, почти скрывшему под собой лежащий под ними ковер времен Виктории.

Беспорядок этот — после войны. 1914-1918 г. г. оставили глубокий след в душе каждого писателя, говорит он об них или молчит. Литературу одних наций эти годы вогнали в отчаяние, других в патриотизм. То как они подействовали на Англию будет меньше по душе моралисту.

Разуверение во всем, — но безо всякого трагического оттенка. Долг, сила воли, внутренняя дисциплина — не в целе, мистика и сверх-личное сознание под подозрением, и идеал младших писателей(поскольку можно у них говорить об идеале) — наблюдательное и утонченное безделье. Когда этот идеал преследуется достаточно ревностно он приводит к полному прекращению писания. Виновата во всем этом война, но война только усилила факторы, действовавшие уже раньше, — помогла так сказать, их победе. В течение всего царствования Эдуарда VII наши нравственные понятия разлагались, наш ковер пачкался; и правила нашей безнравственносги были уже возвещены Самуилом Бутлером, 1)его роман, оказавший такое влияние, «Путем всякой плоти» (The Way of all Flesh) вышел еще в 1903 г. Всякий, кто хочет понять этику современной Англии должен прочесть его. В нем все уже есть: отрицательное отношение ко всякому семейному и религиозному авторитету; ненависть к жестокости; равнодушие к целомудрию; раздражительность пополам с терпимостью. Эпикур уже вышел на поиски Абсолютного, и гроза Армагеддона, ниспровергшая столько другого, только утвердила его в его эпикурействе. Правда и счастье — сколько угодно, и доброта, если ее можно как-нибудь сюда тоже втиснуть; но стремления, благодарю Вас, не надо. Читайте Нормана Дугласа, Джорджа Мура, 2) Вирджинию Вульф, Стеллу Бенсон, 3) Макса Бирбома, 4) Литтона Стречи, 5) Давида Гарнета, 6) Ситуэлей 7) во многом они расходятся, но в одном все согласны — ни самосовершенствоваться, ни совершенствовать мир они не собираются.

Есть, конечно, множество исключений, и об некоторых из

1) Samuel Butler, 1835-1901.

2) George Moore, p. 1852, романист и эстет.

3) Stella Benson, p. 1892, романистка.

4) Max Beerbohm, p. 1872, эссеист и карикатурист.

5) Lytton Straeley, p. 1880, биограф и критик, автор Queen Victoria (1921) не смешивать с St. Loe Strachey, влиятельным публицистом, редактором Spectator'a.

6) David Garnett, молодой романист, автор Lady into Fox 1922, Женщина, превращенная в лисицу, есть русский перевод).

7) Семья Sitwell — братья Osbert (1892) и Sacheverell (1900) и их сестра Edith. Все трое поэты; Sacheverell также автор книг об искусстве Барокко.

них я должен упомянуть. Наши поэты, наши старшие поэты — вовсе не причастны ко всеобщему смятению и беспорядку. Ейтс, 1) (хотя он теперь пишет мало) живет в призрачной и прекрасной стране своего создания, в туманной стране Ирландских фей, у туманно-героических морей Ирландии. Там он поет себе вполголоса, большой певец, которому нечего сказать ни о нашем времени, ни о каком нибудь другом. И Роберт Бриджес, 2) наш поэт-лауреат — стоит в стороне от нас, и как ему не стоять в стороне. У него есть свое видение классической и понятной красоты, свое подлинное благородство слова и мысли. Его книга «Новых стихов» (New Verse, 1925) стоит на его прежнем высоком уровне и одно из ни его стихотворений, возвышенное «Come si quando» борется с человеческим страданием как только может бороться мрамор. Бриджес украшает наше время но он не может его выражать. Потом есть еще один поэт, мало знакомый иностранному читателю — А. Э. Хаусман, 3) который кажется мне иногда величайшим лириком столетия. Подобно Бриджесу, Хаусман владеет классической формой (не даром он профессор латинского языка в Кембридже). Но этим их сходство ограничивается: в форму эту Хаусман вливает страсть, негодование, отчаяние и страсть такую жгучую, что она врывается за пределы гроба и наполняет подземный дом всеми тревогами плоти. Он издал только две небольшие книжки стихов «Шропширский парень» (A Shropshire Lad, 1896) и «Последние стихотворения» (Last Poems, 1922). Обе книжки объединены тем же «опытом», — опыт который также легко нащупать и также трудно определить как опыт нашедший выражение в сонетах Шекспира, или в стихах о Люси Вордсворта. Из двух его книжек, вторая, еще более совершенная по мастерству, чем первая, в то же время гораздо интенсивнее и глубже. В стихотворении «Ворота Ада» (Hell's Gate) есть один момент, когда мертвые выходят из гробов, в своем прежнем, любезном виде, и Царя Смерти убивает его же взбунтовавшийся часовой — момент столь трагически-победный, что вся вселенная просыпается от дурного сна. Нет, положительно, А. Э. Хаусман, не причастен духу нашего времени.

Еще мы должны исключить по разным причинам — Д. Х. Лоренса, 4) романиста и поэта с темпераментом пророка, возвещающего истину, ясную, вероятно, ему самому, но разно толкуемую его слушателями; и еще одного поэта и романиста, Валь

1) W. B. Yeats, р. 1865, главный деятель Ирландского романтического возрождения 90-х годов.

2) Robert Bridges, р. 1844, — Poet Laureate, т. е. официальн назначенный «придворный поэт». Выдающийся иследователь ан лийского стихосложения.

3) A. E. Housman, р. 1859. Не смешивать с второстепенны поэтом и драматургом, Laurence Housman.

4) D. H. Lawrence, р. 1885;

тера де-ла Мара, 1) заключившего самые капризные из своих раздумий в «Записки Карлика» (Memoirs of a Midget, 1921); и двух писателей очень не чуждых сентиментальности Джона Мейсфильда,2) и Джеймса Барри, 3) и двух писателей являющих смесь винолюбивой церковности с громкой веселостью, — Г. К. Честертона, 4) и Хиллера Беллока 5); и новоявленную историческую романистку Наоми Митчисон (Naomi Mitchison) в своем романе «Побежденные» (The Conquered 1925) 6) обнаружившую сочувствие к униженным и понимание неявного, какие даются немногими историками; и Фореста Рида 7), недооцененного северно-ирландского писателя, прелестная и художественная автобиография которого, «Отступник» (The Apostate), вышла в этом году; и Г. Л. Дикинсона 8), который в своей фантазии «Волшебная флейта» (The magic Flute, 1920) пытается переложить в Моцартовскую музыку тревоги нашего века. Каждый из этих писателей идет за своим внутренним светом. Свет этот мог бы как раз оказаться тем, который бы осветил нашу неубранную гостиную. Но этого не оказывается, и к гостиной мы теперь обратимся.

Норман Дуглас (Norman Douglas) и Вирджиния Вульф (Virginia Woolf) те двое писателей, которые мне кажется, наиболее характерны для существующего положения. Они отражают господствующие смятение, но сами ему не причастны, т. е. они художники и мастера, знающие чего именно они добиваются. Дугласа который на много лет старше Вирджини Вульф трудно классифицировать: он вольный партизан, в роде Самуила Бутлера, но жестче, циничнее; для него похоть, или ленивая терпимость — лучшее чего можно ожидать от человеческих отношений. Им написано два романа «Южный Ветер» (South Wind, 1917) и «Они пошли» (They Went, 1920) не совсем похожие на романы, и несколько книг путевых очерков, совсем не похожих на путевые очерки. «Вместе» (Together, 1923) дает хорошее представление об этих последних и вообще об его таланте. По внешности это записки о лете, проведенном в Австралийских горах, вдвоем с приятелем; на самом же деле это сложное художественное целое, полное перекликающихся мотивов, сложное как симфония, и богатое красотами, напоминающими о музыке. Содержание Дуглас чдр-

1) Walter De la Mare, p. 1873.

2) John Masefield, p. 1876; поэт, автор популярных повестей в стихах.

3) Sir James Barrie. p. 1860; популярный драматург; автор общеизвестной в Англии детской пьесы Peter Pan.

4) G. K. Chesterton, p. 1874, публицист, поэт, романист, известный русской публике преимущественно своими романами.

5) Hilaire Belloc, p. 1870, публицист, сатирик и эссеист, католического направления.

6) Из эпохи покорения Галлии Цезарем.

7) Forrest Reid, p. 1876, родом из Ульстера.

8) G. Lowes Dickinson, автор книгъ о Китае и книги о причинах войны, пацифист.

пает не из человеческой жизни, порядком надоевшей ему а из своих обширных и неожиданных познаний о внешнем мире — по геологии, истории (включая доисторическую), архитектуре, зоологии. Он внушительная фигура и рядом с ним такой писатель как Олдос Хэксли 1), кажется не более чем модничающим мальчишкой. Полу-сатир, полу-мудрец Дуглас сидит на склоне вулкана наблюдая выверты и кривляния людей, твердо решивши, что хотя подобно им он обречен на уничтожение, но не будет участвовать в их идиотизме. Он сердито рычит на современность и таким образом как будто отделяет себя от нее. Но современность рада такому рычанию, — только благородное негодавание, — скажем, сера Вильяма Уотсона 2) — не привлекает ничьего винмания.

Метод Вирджинии Вульф — совершенно другой. По существу она романистка старого закала, и живи она в старину она была бы романисткой старинного образца. Но, в высшей степени чуткая, она отдает себе отчет, что все развалилось на кусочки, и эти осколки жизни она и старается изображать.

Ее главные книги «Комната Якова» (Jacob's Room, 1922) и «Миссис Даловей» (Mrs. Dalloway, 1925) полны вихря крутящихся атомов, клякс и мазков, — грамофонных иголок — и у людей старшего поколения голова болит от такого чтения, и они утверждают, что она слишком странна и фантастична чтобы выжить. Но задача ее — самая традиционная — изображать людей, и этой задаче служат ее своеобразные и необычайные приемы. В «Комнате Якова» мы пробираемся сквозь недосозданный мир, но по мере становления книги, главное действующее лицо выступает все яснее. В «Миссис Далловей» — дан Лондон, как фон и хор, — один очаровательный летний день Лондона, — и на этом фоне мелькают пересекающиеся судьбы и желания современных людей. Аэропланы пролетают, покупают цветы, часы на Парламенте бьют, психиатр приговаривает к смерти своего пациента, светская дама дает вечер. А день проходит и исчезает в темноту, оставляя смешанное ощущение законченности и незавершенности. Все это вовсе не похоже (если мое перечисление могло привести на такую мысль) на день из Уитмана. В подходе Вирджинии Вульф нет места для мистицизма, и очень мало для моральных сценок. Она просто пишет роман и создает людей из распыленного матерьяла даваемого ей современностью.

Чтобы еще уяснить мою тему, я возьму еще двух писателей стремящихся не только использовать окружающий их хаос для литературных целей, — но и выразить и понять этот хаос. Не

---

1) Aldous Huxley (1893), молодой писатель, автор романов популярных в известных кругах «интелиджентсии».

2) Sir William Watson (1858), поэт, эпигон романтической традиции.

привести его в порядок, что по существу дела невозможно, но дать отчет об его образе жизни, сколько позволят им их наблюдения. Они философы, в некотором умаленном смысле этого слова, умаленном потому, что по настоящему философом нельзя же быть когда ножки кресла на котором сидишь все время уходят из под тебя, и даже клепки бочки в которой живешь на глазах разлагаются.

Так вот кончается свет,
Так вот кончается свет,
Так вот кончается свет,
Не с громом, а с тихим визгом. 1)

поет Т. С. Элиот, 2) один из этих двух писателей. И другой, Джеймс Джойс, хотя темперамент у него и здоровее, видит все таки под собой все такой же мир.

Говоря Т. С. Элиот, мне приходится перейти к первому лицу по той пирчине, что многое из им написанного я просто не понимаю. Его главное произведение, «Бесплодная земля» (The W st L nd) смущает меня по двум причинам — оно похоже на ребус, и оно глубоко. Это какая-то задача mots - croisés на тему о Вселенной. Зачем поэту, когда мир и так трудно понять, еще усугублять эту трудность своими mots croisés. Эта черта мистификации в творчестве Элиота кажется мне ребяческой; более подходящей для состязаний на отгадывание чем для творческой работы. Другая же сторона его, таинственная, манит в области недоступные мне по другой причине. Поэт становится тайновидцем. Его чувствительность вплотную подходит к отчаяюию Тем кто может следовать за ним он показывает к о с т и наших нынешних нестроений, подобно тому, как Томас Харди, в более простом и трагическом видении, показал кости Европы, оголенные Наполеоновскими войнами. 8) Если действительно мир кончится «не с громом, а с тихим визгом», если нашей гостиной, со всем наполнящим ее безпорядком суждено так рухнуть, — тогда Элиот превосходно рассказал нам как это произойдет, и как человечество, не взирая на снедающий его рак, останется культурным и привлекательным до последней минуты.

По сравнению с Элиотом Джеймс Джойс 4) — фигура несол-

1) This is the way the world ends
This is the way the world ends
This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper.

2) T. S. Eliot, p. 1888, по происхождению Американец. Поэт, критик и редактор журнала The New Criterion. Цитируемые стихи взяты из его поэмы The Hollow Men («Полые люди», 1925).

3) В «Династах», см. выше.

4) James Joyce, p. 1882; ирландец, его роман Ulysses, вышедший в 1922 г. в Париже, запрещен к ввозу как в Англию так и в Соединенные Штаты.

жная. Он господин с дурным характером, в огромонм масштабе, — и его роман «Улисс» последовательная и очень интересная попытка забросать грязью окружающий хаос, и покрыть искусство, религию, пол, традицию и новшества ровным слоем нечистот. Хаос конечно не пойдет на такое упрощение с ним. Он гораздо сложнее, как это знает Элиот, рядом с подлостью и уродством в нем есть и благородство, и красота, а благородство и красота не входят в кругозор, нашего озлобленного Ирландца. Его творчество страдает от вывороченного на изнанку Викторианства. 1) «Кротость и свет», пел Матью Арнольд, 2) и его никто не вспомнит теперь, и действительно мало вероятно, чтобы мир мог быть объяснен школьним учителем в облачении. 3) Но «злость и грязь» то же вряд ли все объясняет; упрощение качнулось слишком далеко в другую сторону. «Улисс» — замечательное произведение, и как о формальном эксперименте о нем можно было бы много что сказать. Но с точки зрения настоящей статьи оно не представляет большого интереса: из элементов нынешнего хаоса оно совершенно выпрстило из виду добро.

Моя точка зрения, конечно, узка. Книги живые существа, и их иногда не удается пригнать к теории; пригоняются они только к самим себе. Всетаки, если брать их оптом, приходится подходить к ним с какой нибудь теорией, иначе ничего кроме каталога не получится. Так что я и счел лучшим в начале статьи обобщить послевоенное состояние Английского общества — в виде неубранной комнаты. И вокруг этого обобщения расположить имена нескольких современных писателей в надежде дать о них некоторое общее понятие.

Е. М. Форстер

(Перевод с рукописи Д. С. М.)

---

1) Victorianism — условно оптимистическое мировоззрение господствовавшее в Англии при королеве Виктории, т. е. в течение большей части 19-го века.

2) Matthew Arnold (1822-1888) — поэт и критик эпохи Виктории.

3) Имеется в виду, конечно, учитель английской «публичной школы», до недавнего времени почти обязательно англиканский священник.

ВЕЯНИЕ СМЕРТИ В ПРЕДРЕВОЛЮЦИОННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

И улыбается под сотней масок — смерть.
Вячеслав Иванов (Терцины к Сомову)

Вся литература последнего царствования проникнута веянием смерти и разложения.

Смерть, сама по себе, факт вне-исторический, и не всякая одержимость сознанием или чувством смерти исторически показательна. Такое сознание может быть и чисто онтологическое, чистое от всякой связи с историческим процессом, беспримесное сознание человека перед лицом уничтожения и вечности. Таким чувством смерти, ни в какой мере не зависимым от движения истории, проникнуто все сознание классической древности, и в новое время всякое подлинно классическое сознание (Пушкин, Держа́вин). Такое чувство смерти необходимая психологическая предпосылка сознания христианского. Такое чувство смерти было. в сильной степени у Толстого.

Вообще Толстой всячески явление вне-историческое, не отнесенное и не относимое к истории, которой он не любил и не воспринимал (хотя остро чувствовал безличный процесс становления). Ему было в корне чуждо символическое отношение к жизни, и для него мир, конечно, не отражал абсолютных ценностей. (Эту черту, столь противоположную духу Достоевского и его духовных потомков, Страхов хорошо называл «чистотой» Толстого). Чувство смерти у Толстого *только* онтологично, и никак не тронуто и не заражено предсмертным тленом окружавшей его культуры. Поэтому, как этический и религиозный мыслитель, Толстой пребудет: как бы ни были ложны его ответы, его вопросы поставлены перед лицом Вечности. Изо всех писателей *пред*революционной эпохи, единственный от-

мечен тою-же онтологической и Толстовской, чистотой — Лев Шестов, который поэтому и стоит в стороне от своего времени, не тронутый его историческим тлением.

Смерть, о которой я хочу говорить нынче, смерть другого рода — смерть историческая, смерть культурной формации, культурного тела. Чувство и предчувствие ее в русской литературе 1894—1917 гг. была подобна физиологическому предчувствию физической смерти. Оно зрело не в чистой субстанции отдельных душ, а в тканях культурного тела русского общества. Это чувство смерти было (не причиной, конечно, а) симптомом предсмертного разложения Петербургской России.

Носителем Петербургской культуры было сперва государство, потом дворянство. Смертельно раненое в декабре 1825 года, культурное дворянство, уже умирая, создало в корне больную «великую русскую литературу» середины 19-го века (Тургенев), и сошло на нет.

(Создал песню подобную стону
И духовно навеки почил —

вот кому, оказывается, надо отнести. Напоминаю, что Толстой, особенно старый Толстой, явление по существу вне- (над) культурное, и потому тут не в счет).

Следующее поколение носителей Петербургской культуры — интеллигенция. «Рожденная в года глухие» («глухими» были не одни восьмидесятые годы, их у нас было больше в 19-ом веке чем не глухих), с тяжелой и болезненной наследственностью (ибо всегда по существу полу-дворянская),хоть и отрекшаяся от наследства, интеллигенция не могла и не пыталась строить культуру. Ее лучшие силы ушли в разрушение, в Революцию и в мечту о «царстве Божием на земле». Но и она была на смерть ранена в разгроме Народной Воли. То, что от этого разгрома осталось, было тело без души, с одной голой механической волей (революционные партии) или безо всего (вся остальная интеллигенция).

Случилось то, о чем говорил Баратынский:

Свой подвиг ты свершила прежде тела,
Безумная душа!
И оставшееся тело
Бессмысленно глядит, как утро встает
Без нужды ночь сменя.

Венец пустого дня.
Как в мрак ночной бесплодный вечер канет,

Это — Чехов, facies hippocratice русской интеллигенции.

Но пока прямая линия Петербургской культуры (Петр — Ломоносов — Новиков — Карамзин — Рылеев — Белинский — Чернышевский — Желябов < Чехов / Ленин) так падала и осекалась, вставала другая, побочная. Основной ее особенностью стало острое сознание неблагополучия «Петербургской»России, острое чувство истории, и полное погружение онтологического в историческое, т.е. символическое миро-отношение, и следовательно коренная невозможность «чистоты» в вопросах религиозных и онтологических. От еще очень благополучных Славянофилов и Чаадаева, эта линия ведет через Герцена и Григорьева к безумию и бреду Достоевского и тонким ядам Соловьева. Скрещиваясь с идущими с Запада «новыми настроениями», эта линия, в конце 19-го века, создала новую культурную формацию, уже почти лишенную социальнаго тела, и только пускавшую висячие корни то в умирающую интеллигенцию, то в нарождающуюся новую буржуазию. (Сама русская буржуазия так и не создала своей культуры, и когда в октябре 1917 года ей пришла очередь умирать, у ней в прошлом не было никаких культурных заслуг).

Таким образом к началу 20-го века Петербургская культура слагалсаь из двух формаций («ярусов»), которые можно назвать (слово принадлежит, кажется, Вячеславу Иванову) «верхним и нижним этажом Русской Культуры». «Нижний» это Чеховская интеллигенция и обездушенные революционные партии (у либеральных никакой души, конечно, никогда и не было); «верхний» — «декаденты» и религиозные философы *). Лестниц между двумя этажами почти не было; общего между ними было только одно напряженное предчувствие исторической смерти.

В «нижнем этаже» это чувство вело к кризису веры в спасительные идеалы прежнего интеллигентского поколения. Отсюда характерная опустошенность и неприкаянность всех писателей этой формации, — принимала ли эта опустошенность форму шатания

*) В наименования «верхний» и «нижний» этаж я не вкладываю отношению к другому. «Верхний» не был даже всегда творчески сильникакой этической, эстетической или политической оценки одного по нее «нижнего». «Верх» и «низ» означают разницу культурного **уровня**, и ничего больше.

и блуждания, как у Горького: или отказа от всякой идейности, как у большинства: или безответственного и поверхностного прилепления к по существу чуждой и непонятной вере, как, напр., у Зайцева; или настоящего упоения смертью и отчаянием, как у самых характерных писателей группы, — Андреева, Бунина, Арцыбашева, Сергеева-Ценского*).

Особенно, может быть, интересен Горький. По природе своей это писатель восходящей линии, писатель, который в благоприятной исторической обстановке мог бы сыграть роль положительную и творческую. В его ранних вещах был дух настоящего героизма (особенно «Двадцать шесть и одна», одна из самых возвышенных и возвышающих созданий русской литературы), но героизм этот за неимением прочных корней в жизни, скоро выветрился. С 1900 года приблизительно, начинаются шатания Горького, до сих пор не кончившиеся. Страстная жажда веры и трагическое неумение найти ее — вот смысл жизни Горького. «Безнадежный роман с культурой», кто-то сказал о нем. «Безнадежный роман с идеей», было бы гораздо верней. Грех Горького в том, что никогда ни во что не умея поверить, он говорил и делал как будто бы верил. Трагедия Горького в том, что, имея огромные творческие возможности, он не мог для них найти точки приложения, — и его творчество, при всей своей значительности, поражает своей ненужностью**).

На зачарованности смертью, Андреева, Бунина, Арцыбашева настаивать не приходится,—она слишком очевидна. Смерть для них, как и для бесчисленных других, маленьких единственная реальность: жизнь — суета сует, или« безумие и ужас». У Андреева и Арцыбашева эта опустошенность явно связана с крушением общественных и революционных идеалов, которые оказались нечем заменить. У Бунина оно связано с необыкновенно острым историческим чувством гниения и разложения всего старого уклада русской жизни. Все они связаны с Толстым в своем отрицательном враждебном отношении к культуре. Но то, что у большого человека было над-культурностью, непосредственной близостью к Безусло-

*) Этот недооцененный писатель стоит, впрочем, этически и духовно, значительно выше трех других. В его развитии есть элементы подлинного волевого восхождения. Тем самым он выходит из настоящей характеристики.

**) Впрочем еще возможно, что Горький, как бы случайно и не совсем по праву, сыграл значительную роль в создании возникающего культурного типа русского рабочего.

ному, у этих, меньших, просто некультурность, т. е. утрата чувства ценности, унаследованной (пусть скудной) культуры. Интересно, однако, сохранение некоторого пиетета к своей культурной традиции: у Бунина (вообще беспощадного к своему классу) в сентиментальной любви к «антоновским яблокам», у Андреева в благоговейном подходе к добродетели и подвигу террористов («Тьма», «Семь Повешенных»). Но это «пережитки». Главная тема Андреева и Бунина, упоение смертью и небытием, зачарованность всем, что о ней напоминает. Зачарованные ужасом смерти, лишенные всякого религиозного положительного отношения к ней, всякой веры (они хуже Горького тем, что и не хотят ее, как бы не подозревая об ее возможности) — они наслаждаются и упиваются приближением и близостью смерти, поклоняясь ей и ее предвестникам, как единственным владыкам. Характерна для них любовь к теме самоубийства, введенной в нашу литературу Чеховым, и рано выродившейся (особенно в драме) в чисто технический прием. Вообще отсутствие глубины и воображения у этих писателей вело их к тому, что их темы легко вырождались в шаблоны и соскальзывали в карикатуру и пародию. Тема самоубийства, дожившая до наших дней, обернулась такой само-пародией в «Митиной любви» Бунина, где прием, — конечно ,бессознательно — «обнажен» и ничем не оправдан, кроме традиционной необходимости так кончить рассказ *). Но если, от отсутствия воображения и культуры, эти писатели и способны бывали так занашивать и обессмысливать свои темы, в лучшие свои минуты они давали вещи подлинно значительные. «В тумане» Андреева и «Суходол» Бунина останутся как прочные и страшные памятники страшного, предсмертного времени.

У «верхнего этажа» чувство смерти менее чистое, чем у «нижнего», и господствующая его форма — острое заражение Духа, — т. е. не столько суб'ективное предчувствие, сколько об'ективный симптом приближающейся смерти. Яснее всего это разложение духа выразилось в проникновении одухотворенной материи в чистую сферу Духа (прямое следствие символического миропонимания). Материя, плоть теряла свою материальность и утончаясь до *идеи материи* захватывала все более и более широкие области Духа. Это началось у Достоевского («Федор Павлович Карамазов как идеолог

*) „La mort comme moyen littéraire représente une facilité. L'emploi de ce motif est marque d'absence de profondeur." Эти слова Валери какъ будто написаны о «Митиной Любви».

любви») и у Владимира Соловьева с его мистическим эротизмо
и от них распространилось на весь верхний этаж. Не было ни одн
го его жильца не зараженного этим гниением. Гениальнейший
людей своего времени, Розанов, был насквозь проникнут им. С
мым характерным проявлением этой болезни Духа были разн
виды эротизма и мистического (и менее мистического) блуда *

Но рядом с «половыми проблемами» безнадежная болезнь д
ха проявилась еще в подпольной некрофилии, патофилии, и люб
к небытию (последнее особенно у Зинаиды Гиппиус — все лучш
ее стихи); в упадочном великолепии эстетического синкретиз
Вячеслава Иванова, и столь же упадочном эстетическом гностициз
Флоренского; в безответственной, легковесной («хлестаковской
духовности Андрея Белого. Высшая, самая благородная (и сам
сознательная) форма болезни у Александра Блока, с его уже
предчуствием, а прямо пророческим переживанием историческ
смерти. Вряд ли есть другой пример такой совершенной пророч
ственности и символичности одного человека , такой соредоточе
ности в одном всех нитей эпохи, такого совершения в плане личн
того, что вскоре должно было совершиться в плане национальн
(Другой великий поэт Символизма, Анненский, был гораздо бол
личен в своем чувстве смерти, но соединение у него мотива смер
с мотивом физиологического бессилия подчеркивает исторически
не только онтологический характер этого чувства. То же соединен
мотивов интересно отметить в творчестве замечательнейшего
современных английских поэтов — Т. С. Элиота).

Когда в лице великой Революции пришла историческая смер
Петербургской России, люди «верхнего этажа» встретили ее к
Джагерната, с восторгом ужаса и самоуничтожения.

Самое гениальное выражение этого поклонения разрушаю
силе — «Двенадцать», самое благородное — письма Гершензо
в «Переписке из двух углов». Но самые общепонятные, и пото
самые популярные, — холодно-экстатические, академические («
жарные») полотна Волошина, и аккуратненькие подпольные эп
раммы и мадригалы Ходасевича. От высокого и жертвенного
фоса самосожжения (Блок и Гершензон) до упоения дурным за

*) Один из самых показательных памятников эпохи замечатель
к сожалению, замолчанная книга Свенцицкого «Антихрист» (1907),
кумент первостепенной важности для характеристики «религиозно-фи
софского» движния.

том собственного разложения (некоторые из имажинистов), — этот культ собственной исторической смерти проходит через самые разнообразные оттенки.

Но еще до Революции *тональность* русской литературы начала меняться. Это изменение не было следствием Революции, но скорее явление параллельное ей. Подобно ей оно было *освобождающим обеднением.* В литературе оно связано с направлениями формализма, футуризма и акмеизма. Смысл всех трех был в ампутации духа, настолько охваченного гниением, что исцелить его было уже невозможно. Но ferrum sanat , и для спасения организма гниющий дух был вылущен. Эта операция может быть нас и не спасла, но без нее спастись нам было невозможно. (Так и сама Революция была кризис, за которым может следовать или смерть, или выздоровление, но без которого выздоровление невозможно). Поэтому и поэзия Маяковского с ее презрением ко всем «высшим ценностям», и нигилистический формализм Шкловского, и даже «материализм» комсомола, имеют свою целебную ценность, так как отсекают от нас зараженный член.

Конечно, ни формализм, ни материализм положительной ценности не составляют. Но уже стала возможной, и уже зародилась новая фаза русского духа. История не считается с хронологией, и фаза эта, которую для краткости я назову Возрождением Героического, началась до революции в (еще недооцененном) творчестве Гумилева. В самой совершенной форме оно видно в творчестве лучших из молодых поэтов, Пастернака и Цветаевой, — но в большей или меньшей мере оно выпирает из многих молодых писателей работающих в России.

Кн. Д. Святополк-Мирскій.

P. S.

Настоящая статья сокращенная переработка доклада читанного мною в апреле с. г. в Париже и возбудившего против меня негодование всего эмигрантского синедриона. Негодованию большинства моих обличителей я могу только радоваться. Эпигоны и нигилисты, гордящиеся своим трупным запахом, — я не хотел бы иметь общих с ними мнений, и их осуждение считаю лучшей для себя похвалой.

Но менее всего я хочу чтобы приняли мою характеристику предреволюционной литературы, *особенно ее «верхнего этажа», за обличение* или неуважение. Вячеслав Иванов, Сологуб, Зинаида Гиппиус, Блок, Белый — были лучшие люди своего поколения, стоявшие на вершине и у острия всего современного им русского сознания. Самые грехи их мы должны чтить, ибо это наши грехи которые они приняли на себя как крест. Если бы они не были в такой мере заражены гниением своего *времени*, они бы не исполнили перед Россией возложенного на них историей подвига искупления. Именно потому что они так явно, героически переболели нашей проказой, — мы теперь можем надеяться на исцеление, и уж предвидеть его срок. И мы, об'единившиеся около *Верст*, сочли бы высшей для себя честью быть признанными, хотя бы в малой мере, их наследниками и продолжателями их дела. Ругаться над отцами, своей болезнью купившими наше будущее здоровье (мы всетаки еще только медленно и тяжело выздоравливаем), мы себе никогда не позволим. Но мы имеем право и должны различать между подлинным, первоначальным, ответственным, и подражательным, производным, безответственным. Между Вячеславом Ивановым и Максимилианом Волошиным; между страшно-настоящей Зинаидой Гиппиус и игрушечным Мережковским. И внутри самой Зинаиды между ее глубоко-правдивой «подпольной», «свидригайловской» болезнью и безответственным, искусственным, «надуманным» «религиозным преображением»; между ее настоящим «декаденством» и ненастоящим христианством. Говорю это я, конечно, не смысле «чтения в душах» — *психологически* Зинаида Николаевна наверно вполне искренна в своем христианстве, настолько искренна в этом плане, что и теперь в состоянии писать очень верные вещи — (напр. статьи ее об И. Ильине). К сожалению совершенно независимо от верности своему подлинному духовному опыту, она подобна многим другим людям, которые ей далеко не верста, частично ослепла, от навязчивых красных кругов в глазах. Ближе к domo sua, лично я был бы счастлив, как критик считать себя учеником Антона Крайнего. В свои лучшие годы (двадцать и больше лет тому назад) Антон Крайний был как раз несравненно зорок на различение подлинного от производного, и отменного от второсортного. Обличения нынешнего Антона Крайнего меня только вчуже огорчают, но если бы они исходили от прежнего Антона Крайнего я бы мог на них ответить только: Бей меня, но научи.

Д. С. М.

БИБЛИОГРАФИЯ

Критические Заметки

Посмертное «Собрание Стихотворений» Сергея Есенина изданные в трех томах Государственным Издательством (Москва — Ленинград 1926) впервые дает возможность одновременно охватить все творчество популярнейшого из современных поэтов. Здесь у нас некоторые еще считают Есенина поэтом Революции и большевизма, і воплощением «левых» направлений в новой поэзии. При чтении этих трех томов первое что поражает это крайняя *консервативность* и *традиционность* Есенина. Я не знаю поэта который был бы так полон реминисценций и откликов. Блок звучит почти с каждой страницы, в перебивку с отзвуками более смутными, неопределенно вызывающими «вообще» поэзию народнического периода. В худшие минуты свои Есенин не не отличим от сентиментально-патриотического репертуара псевдо-Плевицьких поющих по кабакам эмигрантского Парижа. По всему своему подходу к поэзии, исключающему ремесло, но утверждающему поэтичеси ую позу и тему поэтической позы, Есенин определенная реакция против символистского и после-символистского периода русской поэзии — возвращение в 19-ый век. Популярность Есенина у большевиков («Есенинщина» говорят, заела с его смерти всю Советскую федерацию) только симптом того как много в большевиках от старого русского интеллигента и полу-интеллигента. Но так как и в нас (по крайней мере в относительно-старших) тоже очень много от того же интеллигента Есенин и для нас не может быть безразличен. Слабость Есенина как стихотворца (распущенность, беспомощность и приблизительность) особенно в последних его вещах (1922-1925) бывает иногда так велика как ни у одного русского поэта его калибра с девяностых годов, — но *песня* его, его непосредственная лирическая сила, хватающая нас за еще очень чувствительные струны, подлинна и заразительна и за эту песню мы готовы простить ему все его поэтические грехи. Как Надсон, Есенин поэт слабости, бессилия, тоски —и всей своей *слабостью* мы не можем не любить Есенина, как сорок лет назад не могли не любить Надсона. Но сравнивать его с Надсоном конечно невозможно. Не только он несравнимо больше поэт, но его буйная неприкаянная тоска несравнимо лучше дряблого нытья Надсона. Он подлинно связан со стихией народной лирики (старой песни, не новой частуки) он младший брат Яшке Турку; он сродни и литературной песенной ли-

рике — Кольцову, Григорьеву, лирической прозе Левитова, сродни конечно и Плевицкой (интересно отметить, что это почти все юг Великороссии: Яшка Турок — Орел, Левитов — Тамбов, Плевицкая — Курск, Кольцов — Воронеж, Есенин — Рязань). Эта песенная лиричность и делает Есенина поэтом настоящим, в какой-то мере даже большим. Собрание его стихотворений — не только памятник всех слабостей — нашей эпохи, но и сокровищница больших лирических богатств.

Сравнивая настоящее издание с однотомными 1922 года нельзя не признать что достигнув своего апогея в имажинистских стихах 1919 - 1921 года талант Есенина начал стремительно падать. Многие из стихов последних лет невероятно слабы. Невероятно слаба драматическая поэма «Страна Негодяев», в которой нет следа лирической щедрости спасающей «Пугачева». Слаба и повествовательная «Анна Снегина» и совсем пусты «Персидские Мотивы». Но отдельные минуты лирического пробуждения не покидали Есенина. Все знают, тоже в известном смысле слабые, но несказанно щемящие («то сердечная тоска») элегии «Возвращение на Родину» и «Русь Советская». Прекрасен небольшой цикл 1925 года связанный с традиционно-песенной темой саней и снега. Но главное украшение этих последних лет удивительные стихотворение «Чорный Человек» датированное 14 ноября 1925 г., — может быть одна из высших точек Есенинской поэзии. Безысходная тоска, скользящая по границе белой горячки получает лирическое выражение, редкой у Есенина интенсивности и человечной реальности.

Первому тому предпослана краткая и мало-содержательная автобиография, и написанная после смерти поэта статья Воронского, показывающая что этотъ писатель не только умеет искренно и сильно любить поэтов, но что в нем есть действительно какие-то данные быть подлинным критиком. Наоборот статья того же автора открывающая второй том — типичнейший образец чисто утилитарной (и до грусти «интеллигентской») советской критической педагогии.

«Делом Артамоновых» (Берлин Книга 1925) Горький впервые с «Матвея Кожемякина» (1911) возвращается к традиционной форме романа. За эти четырнадцать лет он очень изменился, и, дело редкое в писателе на пятом десятке , вырос и окреп. Его позднейшие книги (начиная с «Детства») без сравнения выше по зрелости всего прежде написанного им, хотя в них и нет той чудесной бодрости и веры, которая так пленяла в «Челкаше» и «Моем Спутнике.» «Дело Артамоновых» несомненно лучший из романов Горького. То что только маячило в «Фоме Гордееве», «Троих», «Испоьеди», «Окуробе», теряясь в тумане «разговоров» и богостроительских исканий, теперь предстало во плоти, собранной вокруг прочного костяка. Это подлинно социальный роман, в котором художественная сторона органически соединена с социально-познавательной и ни та ни другая не господствует. Лучшее качество Горького, изумительная граничащая с галюцинацией зрительная убедительность его письма, соединяется с экономностью средст и логичностью постройки которых со времени его лучших ранних рассказов мы отвыкли ждать от него. Вместе с тем разсказ по-настоящему «социологичен» и «историчен» — история Артамоновского предприятия «изображает» типическую (говоря языком старой критики) или «символическую» страницу из истории русской буржуазии. Основатель дела, из крепостных, кряжистый и жизнерадостный

приобретатель; второе поколение—легкомысленный и легковесный Алексей, нудный, тупой, косый Петр, и мечущийся в поисках правды горбун Кузьма; наконец — внуки, — ученый, черствый «американец» Мирон, и исчезающий с середины книги, революционер Илья. Бедность, грубость, дикость русской жизни, — среди которой старик Артамонов является сначала как-будто живящей, зиждущей будоражащей, и потому ненавистной для других силой, которая однако не передается наследникам; духовная нищета русского буржуя, и вместе с тем его беспочвенность и оторванность и сверху, и снизу — вот тема книги. Она принадлежит к одной из магистральных традиций русской литературы, — к великому ряду обличений русской духовной скудости — «Обломов», «Господа Головлевы», «Деревня» Бунина. Никто не сравним с Горьким в искусствѣ создавать атмосферу бессмысленности и ненужности русской жизни. Это атмосфера злой бесцельности, бесполезности, злой жестокости, злой случайности, мучительной тягучести и бескрылости проникает всю книгу, и Горький «вви. чивается» в нее своими пристальными и зоркими глазами, с какими-то сладострастием отвращения. Особенно мучительны неуклюжие, слепые, безнадежные поиски правды горбуна Кузьмы и косноречивого дворника Тихона. Кажется что в них Горький вложил всю мучительную историю собственных исканий, самую трагическую по своей беспомощной безнадежности драму русской души. Этим безнадежным блужданием Горький несомненно несет какой-то крест за всех нас, скудоверов, толкунов на месте и Хлестаковых духа и в выявлении наружу этой драмы — символическое значение его личности.

Мне представляется, что исчезающий из книги революционер Илья Артамонов должен стать стержнем для новой книги «Парадизо» или по крайней мере Чистилища по отношению к этой. Но можно ли верить, что Горький, этот Агасфер Идеи, сумеет когда-нибудь дать «положительный образ» хотя бы отдаленно равный по силе «Делу Артамоновых»?

Безнадежно-ищущей серьезности Горького нет большего контраста чем легкомысленная живость Алексея Толстого. По голой талантливости Алексей Толстой едва ли не первый из современных наших писателей, и там где ничего кроме голой талантливости не надо и где он задается задачами по плечу, он восхитителен. «Детство Никиты», его лучшая вещь, должна занять очень почетное и по своему исключительное место в русской литературе. Легкомыслие в ней становится какой-то божественной легкостью, и в этой легкости кажется единственный соперник Толстого — Кущевский, автор несправедливо забытого Николая Негорева». К сожалению Толстой редко удовлетворяется доступным ему. Попытки соперничать с Достоевским («Хромой Барин») или с Уэлсом («Аэлита»), или дать широкое истолкование истории («Хождение по Мукам») плачевны. В каждой из них есть восхитительно живые люди (в «Аэлите», например красноармеец Гусев) но неумность автора делает прямо комическими его претензии. В последней его книге «Семь Дней в которые был ограблен Мир» (Изд. Аргус, Берлин 1926) опять слишком много таких претензий. Заглавный рассказ особенно слаб, хотя и он , благодаря прелестной Толстовской легкости читается очень легко, — и скорее улыбнешься чем рассердишься на невероятную нелепость сюжета. Последний английский бульварный романистишка мог бы убедительнее чем Толстой изобразить излечение человечества от собственнических инстинктов. «Ибикус» в котором рассказываются приключения всплывшего в Революцию аван-

тюриста и спекулянта Невзорова, уже гораздо лучше — потому что такая же невероятная нелепость рассказа настолько здесь искренно самоуверенна, что воспринимается как законный и удачный «прием». Лучший же рассказ в книге — «Голубые Города», трагическая (все трагическое у Толстого неизбежно становится трагикомическим) судьба идеалиста Революции в советской провинции. Сам идеалист весьма аляповат и марионеточен, но живописательный дар автора находит себе подходящее поле в удивительно живом и ярком изображении захолустной обывательщины процветающей под тончайшим лаком советизации.»Голубые Города» надо причислить к лучшим рассказам одного из наших лучших рассказчиков, может быть единственного русского писателя наших дней соединяющаго настоящую художественную ценность с безусловной «читаемостью» и полным отсутствием скуки.

Новый роман Андрея Белого должен был бы стать литературным событием. К сожалению мы изменчивы и неблагодарны , и легко забываем наших благодетелей. Андрей Белый стал не «современен», а так как для литературных реакционеров он всегда был неприемлем, ему очевидно придется пройти через период всеобщего невнимания, прежде чем он будет окончательно признан классиком. Вышедшие два первых тома его нового романа «Москва» («Московский Чудак» и «Москва под Ударом», изд. Круг, Москва 1926) выделяются на фоне текущей беллетристики quantum lenta solent inter viburna cupressi. Прежде всего бросается в глаза до какой степени Андрей Белый неизмеримо лучше владеет техникой романа чем кто бы то ни было из младших. Его ученики «орнаменталисты» разглядели в нем только стилиста и только этому у него и учились (и ничему не научились: поскольку орнаментальная проза жива, она всецело восходит к традиции Ремизова и Лескова, не Белого). Но «Серебрянный Голубь» и «Петербург» — *романы*, романы столь же крепко построенные, как романы Достоевского и Бальзака с сюжетным развитием такого напряжения на какое не способен ни один из наших современников. «Москва» тоже роман, и сколько мы можем судить по началу роман не хуже двух первых.

Оригинальность Белого как романиста определяется сочетанием в его романах двух как бы несовеместимых элементов. С одной стороны напряженная сюжетность, по природе своей определенно мелодраматическая, и этой мелодраматичностью близко родственная кинематографу — «Петербург» кажется уже был переложен на экран, и из «Москвы» вышла бы превосходная фильма. Но этот кинематографический мелодраматизм развивается на фоне стиля служащего целям чисто-метафизическим. Посредством стилистических приемов Белый разлагает строй видимого мира на бесконечно-текучие и разнообразно-пересекающиеся вихревые «рои». Стиль Белого , как орудие его метафизики , сводит действительность к вихрям и словам. Монотонный анапестический ритм, непрерывающийся в прозе Белого с «Петербурга» — внешнее выражение восприятия мира, как непрерывного потока «роев», а напряженная «словесность» его стиля и непрекращающееся словотворчество — постоянно возобновляемая работа уловления этих «роев» в постоянно рассыпающийся и никогда не адекватный «строй».

Самые «обще-доступные» страницы «Москвы» (как и в «Преступлении Котика Летаева») комические и сатирические эпизоды, и они легче всего отделимы от ткани романа и пригоднее

сего для цитат.*) Драматичес-
ие эпизоды гораздо теснее свя-
аны с основным сюжетным стер-
нем, и оторванные от него те-
яют свой смысл.

Основной недостаток Белого
сегда было некоторое отсутствие
еловечности, некоторая безот-
етственная, как бы, духовность
- духовность «стихийнаго духа»
еплотной, не сгорающей в ог-
е саламандры. Отсюда невоз-
ожность для него быть чело-
ечески серьезными. В новом
го романе, как будто замечает-
я некоторый поворот от сала-
андры к человеку и отдель-
ые люди, особенно сам герой
рофессор Коробкин несомненно
еловечнее всего до сих пор
оздалнего Белым. Но до выс-
его выражения человеческого,
о трагедии и до возможности
рагического Белому всетаки да-
еко. И поэтому «крестный путь»
рофессора Коробкина с его ко-
ечным и по настоящему по-
рясающим мученичеством при-
одится воспринимать как сим-
олическую мелодраму, но не
ак трагедию, или может быть
ак трагедию в ее до-художе-
твенном ритуальном смысле
рагедий страдающего бога, не
человеческом, праведно-безысх-
одном смысле «Антигоны» и
Агамемнона».

Единственный из молодого по-
оления которого бы можно бы-
о, как *романиста* сравнивать
Белым — Федин. Его роман
Города и Годы» выдающееся
одинокое явление. Как мне
выше уже приходилось отме-
ать, Федин единственный из
аших младших современников
меющий создавать живых лю-
ей, как это умели делать Тур-
енев, Толстой и Достоевский.
оэтому я приветствую пере-
ечатку отдельной книжечкой
пизодов его романа в которых
оявляется мужик Федор Ле-
енцин (*Федор Лепенцин* Гос.
зд. 1926), одно из лучших соз-
даний во всей портретной галерее русского романа.*)

Но кроме Федина никто из молодых бытописателей не умеет изобразить отдельного живого человека — все лица расплываются у них в какой-то однородный, безиндивидуальной массе, — может быть законное и неизбежное следствие величайшего в мировой истории движения масс. Это отсутствие людей распространяется даже на писателей той группы к которой принадлежит сам Федин, тех кого можно назвать петербургской или «западнической» школой. Роман крайнего и принципиального «западника» В. Каверина «Девять Десятых Судьбы» (Государственное Издательство, 1926) населен такой же недифференцированной толпой, как и романы Пильняка и рассказы Никитина. Действие романа происходит в октябре 1917 года. В нем есть массовое движение, есть биение Октябрской революции, но (кроме явно взятого у Достоевского шантажиста Главецкаго)) нет людей, а только марионетки. А в области сюжета «сюжетнику» Каверину бесконечно далеко до «орнаменталиста» Белого. История — октябрский переворот дан живо и убедительно, как движение масс: на движение все беллетристы мастера. Но сюжет — сухая, плохо натянутая проволока. Каверину не удалось преодолеть гипноза «массового романа».

«Массовой роман» стал национальной формой искусства. Со времени талантливого, хотя и не по чину претенциозного «Голого Года» Пильняка он заслонил другие роды прозы, и

*) Один из таких эпизодов вос-
роизводится в настоящей книж-
е «Верст».

*) «Города и Годы» были перепечатаны в «Днях». Там же печатались отрывки из «Москвы» Белого и из «Кюхли» Тынянова. Вообще, среди зарубежной прессы, «Дни» приятно выделяются культурностью своего литературного отдела и определенным интересом к *отечественной* литературе.

привлек почти что все лучшие силы. К массовому роману принадлежит и первый роман Артема Веселого, «Страна Родная» (Земля и фабрика, Москва 1926). Начав с великолепной полифонической прозы «Волницы» (см. «Версты» № 1) Артем Веселый в «Диком Сердце», написанном тем же полифоническим сказом, показал себя мастером авантюрного, или скорей героического рассказа. В «Стране Родной» он несколько умерил свой стилистический разгул обнаружил новый редкий в наши дни дар, настоящего юмора, и написал мне кажется, лучший «массовой роман» изо всех доселе написанных. Артем Веселый не даром выбрал себе такое имя (я предпологаю что это псевдоним) — в нем действительно есть какая то бодрящая веселость от которой мы давно отвыкли. Это не легкость А. Толстого, потому что у Артема Веселого есть мозги — есть сила суждения, есть приближение к тому истинному духу комедии, который как о том пишет в этой книжке «Верст» Рамон Фернандез, предпологает установившуюся иерархию ценностей. Тема Артема Веселого совершенно сходна с темой «Голого Года» — 1918-1920 года в дальнем уезде Восточной России. Но какая разница — какое отсутствие претензий, рассуждений и потуг на историософию: какой бодрый быстрый сказ; какое здоровье даже в юмористическом подходе к ужасам. И вместе с тем какой широкий изобразительный размах, какое подлинное проникновение духом этой новой формы «массового романа». В Артеме Веселом больше чем в ком нибудь я чувствую «бодрящий холодок» молодости, который позволяет мне надеяться на будущее русской литературы.

Единственное что мне не нравится в «Стране Родной» — это эпизод деревенского быка бросающегося на поезд и наконец раздавленного. Из дальнейшого видно, что это символ неизбежной неудачи деревни в борьбе с городом. Такия дешевые украшения можно оставить газетчикам. Еще маленькая небрежность: эс-эрский начальник штаба восставших крестьян в одной главе называется Павел Иванович, а в других Борис Иванович. Это досадно.*)

Говорят, что Артема Веселого особенно урезывает коммунистическая цензура (хотя, если не ошибаюсь, он сам коммунист). Это очень вероятно, так как ничего более «объективного», ничего менее «официозного» и в то же время более жизненного, чем «Страна Родная» (за исключением совершенно лишнего эпизода быка с поездом) в «советской» литературе еще не появлялось.

———

Новый роман Леонова «Барсуки» (Государственное изда-тельство, 1926) — разочаровывает. Это то же «масовой роман», но Леонов слишком склонен к рефлексии и интроспекции чтобы удачно справляться с этой формой. Лучшее в «Барсуках» первая часть, но и она скучна и полна реминисценций: все это было когда-то сделано гораздо лучше Ремизовым и Горьким. Эти слепые искатели правды отмечены знаком слишком определенной эпохи. Тем не менее Леонов остается большой надеждой и большой «заботой». Этот писатель внутренно стесненный советской несвободой, и поэтому (может быть подсознательно) неискренний в своем творчестве. По духу своему он тесно связан с Горьким, — у него есть Горьковское инстинктивное отвращение ко всякой грубости, ко всему что (духовно) не в белых перчатках. И необходимость писать только о грязи и грубости приводит Леонова к незаживаемому надрыву. Самое главное для Леонова найти свой стержень и в нынешних обстоятель-

*) Эпизод из романа «Страна Родная» воспроизводится в настоящей книжке «Верст».

ствах это может быть безнадежно. Отсутствие же стержня пока обессмысливает его как творящее целое. Единственные его достижения «Туатамур» и «Ковякин» еще только блестящие упражнения виртуоза за которыми не встает личности художника и человека.

———

«Кюхля» Тынянова (Государственное Издательство , 1925), биографический роман о Вильгельме Кюхельбекере, — произведение нового в русской литературе рода. Его сравнивали с «Ариэлем», биографическим романом Андрея Моруа о Шелли но если и Моруа и Тынянов ставили себе задачей дать цельный образ исторического лица, у Тынянова есть то чего нет у Моруа — подлинное чувство истории. (Приписывая Тынянову качества которых нет у Моруа я вовсе не хочу приписывать ему какое нибудь превосходство над французским писателем: : по совершенству своего мастерства, по уверенной экономии средств, по умению *строить* роман, Моруа настолько выше Тынянова, насколько большой мастер может быть выше начинающего ученика.)

Исторический роман еще недавно был не в чести и казался жанром годным разве что для юношества. Жанр, соединявший познавательные задачи истории с задачами собственно художественными по самой природе своей казался ублюдочным.. Но для нас различие между историческим знанием и искусством кажется гораздо меньше чем оно казалось эпохе односторонне эстетической в литературе и односторонне источниковедческой в истории. Нам все яснее, что историческое познание, как только оно перестает быть просто критической каталогизацией источников и переходят к синтезу, — явление почти того же порядка, что художественное творчество. С другой стороны роман, за редкими и эксцентричными исключениями, никогда не был, чисто «художественный» формой. От «Princesse de Clèves» до Пруста он всегда стремился вобрать элементы познавательные, объяснительные — растолковывать и расширять наше знание, оценивать явления — психологические, социальные, исторические. Изображение «общественных типов» у Тургенева , толкование исторического процесса у Толстого, оценка моральных основ провинциального дворянства у Щедрина, были законными частями в сложном составе романа. Теперь и историки признают исторический роман ценным средством исторического познания, — и он возрождается уже не как популяризация готовых знаний, а как самостоятельный прием понимания прошлого. Новый исторический роман будет отделом истории в той же мере, что и художественной литературы.

Зарубежному читателю естественно сравнивать Тынянова с Алдановым. И тот и другой стремятся к историческому роману, понятому именно как пограничное явление между искусством и истолкованием прошлого. Но отношение к прошлому у них совершенно разное. Алданов идет от Толстого для которого индивидуальное разнообразие прошлого бессмысленно, историческое становление не представляет ценности, и вся история сводится , в конечном счете, к суете сует. Алданов «не историчен» в том смысле, что для него неинтересна историческая индивидуальность эпохи; его интересует не то что отличает прошлое от настоящего, а то, что их сближает. Поэтому, несмотря на очень большую и и добросовестную эрудицию индивидуальности эпохи он дать не в состоянии. Но неизменное в потоке времени он видит и дает. На человеческую индивидуальность он очень зорок, и некоторые его фигуры останутся памятны: Алдановского Суворова — например, нельзя

не признать великолепным достижением. Но в этом Суворове нет ничего неотделимого от его времени, и он мог без изменений перенесен в обстановку скажем, Ледяного похода, как Толстовский Кутузов мог бы быть перенесен в обстановку крымской кампании.

В противоположность Алданову , Тынянов определенно «историчен»: для него двадцатые годы неповторимы и непохожи на двадцатый век; вместе с тем он остро чувствует течение истории, неповторяющийся и непрекращающийся поток исторического изменения. Тынянов, надо заметить, один из наиболее видных историков литературы формальной школы; по моему мнению самый тонкий и чуткий изо всех формалистов. Его книга о «Стихотворном Языке», несмотря на отпугивающий жаргон, совершенно выдающаяся работа, и его недавнее исследование о Катенине и том же Кюхельбекере (Сборник «Пушкин в Мировой Литературе», Ленинград, 1926) методологически лучший образец «формального метода». «Кюхля», сразу заметно, книга начинающаго. Недостатки ее слишком очевидны — плохо расчитанные пропорции (особенно скомканность первых глав); явная спешка (повидимому издатель торопил к юбилею декабристов); невыработанный, срывающийся хотя в основе правильно намеченный , стиль; одностороннее (почти исключительно литературное) знакомство с эпохой, сказывающееся в дилетантски претенциозных рассуждениях о 14-ом декабря. Несмотря на это «Кюхлю» надо признать выдающимся явлением. Эпоха декабристов представлена с большой зоркостью, зоркостью одновременно исторической и художнической. Движение времени передано с убедительностью. Кюхельбекер дан как целое существование im Werden, в росте и увядании, — это уже ручается за подлинное дарование художника. Эпизодические лица, иногда слегка намеченые удачно угаданы, — у них есть физиономия, это не тени и не марионетки, хотя они и не уплотнены до полной человечности. Пушкин, в частности, кажется мне особенно удавшимся.

Из отдельных глав книги особенно хороша последняя — «Конец»*) в ней особенно ярко выступает историческая интуиция автора, — постепенное, медленное , по неизбежно нарастающее умирание декабристов в глухой пустыне Николаевского царствования производит впечатление глубокое и безысходное. Этот конец в большой традиции русской литературы, — и неслучайно что он заставляет вспоминать о «Рудине» и «Обломове» выросших в те самые «года глухие», когда умирал Кюхельбекер. После книги Тынянова, Вильгельм Кюхельбекер, чистейший и благороднейший из русских Дон-Кихотов, станет, я уверен , на всегда родным и близким русской памяти.

Кн. Д. Святополк-Мирский

Ramon Fernandez
Messages

Première série. Nouvelle Revue Française. Paris 1926.

Рамон Фернандез один из самых интересных французских писателей младшего поколения, и один из центров кристаллизации молодой французской мысли. Влияние его отчасти противоположно, но отчасти и параллельно влиянию неотомизма Жака Маритэна. Оба отмечены печатью ясно-выраженного интеллектуализма. Но тогда какъ интеллектуализм Маритэна опирается на Фому Аквината, т. е. на статическую, давно замкнувшуюся систему про-

*) Воспроизводится в настоящей книжке «Верст».

шлого (систему при томъ вовсе не религиозную, а чисто позитивистскую, только съ устаревшей научной базой), Фернандез основывает свое учение на современных формах мысли, исходя из научного миросоцерзания, но включая в него и весь иррационализм современной философии. По всему своему складу интеллектуалист и логик (его логические построения восхищают своей истинно атлетической элегантностью), Фернандез резко враждебно относится к рационализму сводящему к своим схемам всю живую действительность. Его философская почва Бергсонизм (хотя романтический эволюционизм Бергсона ему совершенно чужд), и разум он подчиняет интуиции, — цельному воззрению, неразложимому восприятию конкретного. Разум сводится к дисциплине поверяющей логики. (Это напоминает формулу Баратынского «пламя воображения творческого и холод ума поверяющего» перенесенную из теории творчества в теорию знания). Цельная интуиция наиболее свойственна художнику, но всякое познание конкретного в конечном счете требует ее же. В частности, критик должен прежде всего уметь увидеть и передать неделимое ядро изучаемой им личности. Выяснению этих вопросов посвящен в настоящей книге ряд блестящих очерков о Бальзаке, Стендале, Мередите, Конраде и Прусте. Но основной интерес Фернандеза — этический; основная задача — построение иерархии этических ценностей на месте эстетической пустыни недавнего прошлого и нигилистического психологизма достигшего своей крайней точки у Пруста. Цель Фернандеза — цельный человѣк, разносторонне физически и нравственно развитой, с прочной иерархией этических ценностей. Этот «глобальный гуманизм», понятный и близкий молодому поколению французов — главное что привлекает их в Фернандезе. Самое , с этой точки зрения, интересные страницы в книге — небольшая заметка о Фрейде, идущая в разрез с господствующим «вульгарным» пониманием Фрейдизма , и показывающая как на основании открытий психоанализа можно построить систему новой «стоической дисциплины». Не последнее качество книги Фернандеза его удивительный стиль, предельно ясный, но до того сжатый что читателю ни на одну минуту нельзя распуститься.

Мысль Фернандеза определенно ориентирована против религии (что читатель заметит и в печатаемой в настоящей книжке его статье о современной французской литературе), но особенно против схоластического рационализма католиков. По существу она отнюдь не антирелигиозна, и его «глобальный гуманизм» может неожиданно напомнить славянофильское учение о цельном разуме (и еще больше, может быть самую личность Хомякова). Вообще, хотя Фернандез поднимает и отвечает на вопросы прежде всего французские, нам кажется, что его мысль может быть плодотворна и для нас. Без какой-то резкой реакции в сторону возрождения этики и воспитания личности, нам грозит утонуть в соблазнительном и трудно преодолимом для нынешнего русского сознания «роевом» или «хоровом» коллективизме и без-индивидуальном историческом динамизме. Личная активность и личная ответственность исчезли из нашей жизни и из нашего сознания, нам надо сделать большое усилие, чтобы их вновь обрести, и в этом обретении Фернандез может и нам оказаться полезен.

Д. С. М.

Poems. 1905-1925, by T. S. Eliot

Faber and Gwyer. London. 1925.

Выход собрания стихов Т. С. Элиота крупное событие не для одной Английской литературы. Это несомненно без срав-

нения крупнейший из современных английских поэтов, может быть величайший поэт послевоенной Европы. Влияние его на собратьев по ремеслу уже теперь огромно, но большей частью критиков его поэзия еще не «замечена». Им Элиот лучше известен как критик и теоретик искусства, и как редактор прекрасного журнала The New Criterion. Эта стророна его деятельности при всей своей значительности не идет в сравнение с его достижениями как поэта. Как поэт он очень мало плодовит: настоящее собрание в которое включены все его стихи с 1909 года «которые он желает сохранить » (как сказано на обложке) состоит из двадцатипяти стихотворений, написанных до 1920 (в том чсиле четырех французских, не очень удачных), из поэмы «Бесплодная Земля» (The Waste Land, 1922) и из одного только стихотворения написанного с тех пор — «Полые Люди» (The Hollow Men, 1925). Со времени выхода книги в The New Criterion напечатан «Отрывок из Пролога» возбуждающей большой интерес стихотворной драмы.

Большинство критиков упрекают Элиота в темноте и непонятности, и обвинение это надо признать вполне реальным. Темнота его поэзии неизбежно вытекает, во первых, из крайней *сложности* и новизны выражаемого в ней опыта, во вторых из крайней *сжатости* выражения, пренебрегающей всеми «мостами» и принуждающей читателя стать «подмастерьем автора» и в третьих из самого существа его поэтического метода. Метод этот лучший истолкователь Элиота, умнейший критик I. A. Richards назвал «музыкой идей». Элиот — символист, и его символы распологаются по особым внутренним законам, ассоциативным скорей чем логическим. Но это ассоциация не «по сходству» и не «по смежности», а «по значению». Символы эти постоянно потворяются в разных сочетаниях чередуясь как музыкальные темы. Взяты они из самых разнообразных областей (философии, антропологии, уличной жизни Лондона). Большую роль играют цитаты из поэтов, философов, религиозных писателей, которые нужны поэту своей огромной эмоциональной и ассоциативной содержательностью, являясь как бы сокращенями длинных ходов поэтической мысли. Эти цитаты и аллюзии особенно отпугивают неподготовленного читателя. Впрочем «трудность» Элиота особенно велика только в «Бесплодной земле». Некоторые из ранних стихов (особенно изумительная сатирическая серия, включающпая Sweeny Erect и The Hippopotamus) и последняя вещь «Полые люди», гораздо проще и однолинейней, и хотя «понятными» в том смысле как понятны «О Пользе Стекла» и Art Poetique их признать нельзя, «понятность» их значения, «заразительность» их несомненна и непосредственна. Всюду и везде Элиот несравненный мастер слов и ритмов по своей власти над словом, как и по значительности своего содержания он в числе самых великих, и нам не кажется странным когда Литтон Стречи упоминает его имя рядом с Шекспиром.

Несмотря на свою «непонятность» Элиот поэт общего гораздо больше частного. Он поэт социальный, историософский, поэт Европы и человечества. Может быть он окажется самым центральным и ответственным из выразителей современной Европы. Тема его трагедия Европейской культуры, «бесплодной» и «полой» после катастрофы Великой Войны, трагедия предсмертия и бессилия, — и трагедия ценностей в обессмысленном мещанском мире. В этом глубоком «переживании» европейского и человеческого в личном. Элиот поэт подлинно-пророческого качества, лишний раз подчеркивая пророческую природу всей наиболее ценной части современной поэзии. Замыкающее книгу стихотворения

«Полые Люди» где все его темы скрещиваются в один, узел в аккорд одновременно простой и полный (но аккорд глубоко *дисгармонический*), представляется нам одной из вершин современной Европейской поэзии, — самым изумительным созданием английской поэзии за несколько поколений.

Кн. Д. Святополк-Мирский.

«Les Pincengrain» — «Monsieur Godeau Intime»

Par Marcel Jouhandeau. Ed. de la Nouvelle Revue Française 1924-1926.

Марсель Жуандо, один из самых своеобразных мистиков нашего времени и вместе с тем исключительно талантливый писатель, изобразил в своих двух книгах жизнь, или, скорее «житие» мелко буржуазной провинциальной семьи.

Мы находим в его герое смесь обыденного с таинственным, презренного с божественным. Пенсенгрены и их спутник, господин Годо, трагикомичны, или — просто комичны.

Они обыкновенные люди и живут самой обыкновенной, человеческой жизнью. Они жалки и нелепы, и того хуже — в них порою проявляется какой-то чудовищный эгоизм, отталкивающая сухость. И вместе с тем, мы чувствуем, что герои Жуандо — духи, «астралы», облеченные в тончайшую телесную оболочку. Жуандо как бы нарочно избрал самую неблагодарную почву, самый голый камень, чтобы посеять на нем мистическое семя, и тем более кажется чудесным зеленый сочный злак выросший в этой пустыне.

«Пенсенгрены» — семья мелких лавочников: отец, мать и три дочери, — Элиан, Вероника, Приска.. Приска походит на молодость Мадам Пенсенгрен, Элиан и Вероника на ее старость. Они безмолвны, печальны, безуспешны. Элиан религиозна и «находит свое счастье в христианском подвиге». Веронике «знакомы лишь нравственные переживания; она любит прежде всего добродетель, а после добродетели желтый цвет».

Приска выходит замуж, Элиан и Вероника влюбляются в господина Годо.

Кто такой господин Годо? — Ханжа и волокита, заигрывающий с двумя старыми девами, или герой мистической драмы? Весь пафос творчества Жуандо заключается в том, что мистерия и буфф у него неразрывно связаны.

Мадам Пенсенгрен называет Годо «мой сын». Элиан и Вероника называют его «мой брат». Он занимает почетное место в их доме, «восседая, как солнце в пустыне, между двумя пальмами». После сближения с господином Годо, Элиан уходит в монастырь. Семья Пенсенгренов и Годо ее торжественно провожают, Годо платит за такси. Вероника думает про себя: «Наконец-то я буду одна с Господином Годо». В первый же день своего послушничества, Элиан умывает покойника, и ей кажется, что «она умывает Господина Годо»,. Такова первоначальная драма «Пенсенгренов». Во втором томе, «Интимная жизнь Господина Годо» автор развивает свою тему: любовь Элиан и Вероники к Господину Годо, любовь Господина Годо к самому себе, — и к Богу.

Через господина Годо, Элиан полюбила Бога, ее внутренняя жизнь стала глубже, напряженнее: в монастыре все дивились ее рвению и премудрости. «Она *разумела* вещи сверхъестественные, и *познавала* тайны природы. Благодаря таинственному канону, вписанному в центре ее души, она знала точные размеры каждой души, которая к ней подходила. Люди с удивлением спрашивали себя, кто воспитал ее, какой

ангел среди Властей, Престолов и Начал стал краеугольным камнем ее души. Настоятель говорил, что она походила на седьмой день, сотворенный Богом».

Элиан спрашивала сестру:

— Молишься ли ты?

— Нет, отвечала Вероника, я не умею молиться Богу. Даже если бы я Его видела, я не могла бы о Нем думать. Я вижу повсюду лишь господина Годо, я думаю лишь о своем друге». Тогда, Элиан, до того любящая Бога, что она видела лишь Его одного в господине Годо и в Веронике, содрогнулась от ужаса и тайного восторга».

Господин Годо посещал раз в месяц монахиню.

«Сидя между Приской и Вероникой он блаженно отдыхал. Но ему казалось, что одна Элиан превозносила его душу... Она одна пользовалась правом проникнуть в вечное сердце господина Годо. И случилось, что улыбка, весьма жестокая для Вероники, блуждала на устах господина Годо и Элиан».

Вероника служит в магазине «Художественный Воск» фирма Бюжаду. Сидя в тесной конторке, она принимает господина Годо, который приходит к ней чтобы «видеть, как Вероника его любит». Но Вероника никогда не говорит о любви, а только о дружбе. Она создала мистику дружбы, в ее одинокой, целомудренной жизни кроется сгущенная пламенная страсть, которой наслаждается господин Годо. И Бюжаду, владелец магазина «Художественный Воск» ослепленный этой дружбой, «проходит мимо огненного порога Вероники, не смея даже приветствовать господина Годо».

В такие часы Вероника говорила своему «другу»:

«Все то, что мы делаем, мы исполняем, как чуждую нам необходимость, и мы храним нашу жизнь для нашей мечты, мы находим всю нашу жизнь в себе и для себя. Воистину великая душа исполняет самую поглощающую работу, не заботясь о ней».. Этими словами, добавляет автор, она хотела сказать: — мои руки, и все, что есть наименее благородного во мне, занимаются презренным трудом. Но ни на одну минуту я не перестаю любить вас так же внимательно, как если бы я обнимала ваши колени, положив голову на ваше сердце».

Но кто же такой господин Годо?

Описывая его «интимную жизнь» автор постоянно иронизирует: он издевается над этим нелепым манекеном, который, «в черных перчатках» посещает парижские вертепы и рассказывает Веронике о своих похождениях с проституткой Розой и ее братом, прозванным «Костяной Рот».

Но вот — телесная оболочка спадает, и вдруг вспыхивает пламя мистического экстаза. Господин Годо никого не любит, разве только самого себя. Но в себе он любит Бога. Господин Годо созерцает Бога. Замурованный в самом себе, отрешившийся от всего земного, он прозрел для неземного мира. Никого не любить — высшая степень отречения; любить себя — первая степень мистической любви. Люди, его окружающие, перестали существовать для него, он ослеп и не желает видеть того, что творится кругом. «Созерцая страсти Христовы, господин Годо думал о том, что самая ужасная из крестных мук — это невозможность закрыть лицо руками. Он полагал, что видеть людей, еще мучительнее чем быть видимым ими... Одиночество! абсолютное одиночество моего Я, одиночество Бог в моем Я! Молчи и прислушивайся к беседе ангелов в тебе самом!»

Годо — созерцатель космического бытия и Годо, посещающий Веронику в магазине «Художественный Воск» — это одно и то же существо, одно неделимое целое. Нелепая, скудная жизнь с одной стороны, а с другой стороны исключительная напряженность духовных переживаний.

Манекен, прислушивающийся к беседе ангелов. Недаром при виде осла, Годо — созерцатель восклицает: «О мудрость осла! его непроходящая философия, его большие глаза, лишенные взора, его толстая кожа, не чувствующая ударов! простота его желаний, отсутствие роскоши: вода, хлеб и созерцание.

О воля дремлющая в шерстяном сердце!»

На голом камне распускается редчайший цветок. «Шерстяное» сердце преображается в сердце вечное.

Елена Извольская.

B. GROETHUYSEN

Introduction à la pensée philosophique allemande depuis Nietzsche. Paris, Librairie Stock, 1926.

Блестяще и увлекательно написанная книга Грутхейсена не совсѣмъ отвечаеть своему заглавию. Это не столько введение в изучение германской философской мысли последних десятилетий, сколько история одной — правда, кардинальной — философской проблемы. Проблемы, ставшей особенно острой во вторую половину XIX века — о сущности философии и праве ее на существование.

Что такое философия? и можно ли в наше время быть философом? — вот вопросы, которые должна была поставить себе философская мысль после «крушения» метафизических систем начала XIX века; и можно сказать, что весь XIX век был для философии веком борьбы за право — или вернее — за оправдание собственного существования.

«Никто больше не верит в философию», говорит Ницше, «потому что философия сама больше не верит в себя». И действительно, в то время как в древности, в средние века и даже в новое время, философия претендовала на роль reginae scientiarum, в XIX веке она скромно старается отказом от всякого самостоятельного значения и от всякой самостоятельной роли заставить простить себе свою прежнюю гордыню.

Науки эмансипировались от философии; даже психология, «наука о душе» и та претендует на звание н а у к и, на научный, экспериментальный метод; хочет быть «психологией без души»; протестует против смешения ее с метафизикой. Термин «метафизика» стал в XIX веке почти бранным словом, и претензии философии на «единственно достоверное познание вечных истин» вызывают даже не возмущение, а только смех.

Что же остается на долю философии? Ведь если она *наука*, *познание*, то она должна же иметь и собственный метод и особый объект изучения.

Но повидимому, найти такой объект и такой метод нелегко. И мы видим как все больше и больше философия превращ-ется или в историю философии, или в теорию научного познания, в методологию и теорию науки. Но история философии все же не философия, а только история; а методология и теория науки есть не что иное как попытка примирить науку с существованием философии, из reginae превратившейся в ancillam scientiae. Попытка не удачная вдобавок, ибо наука, не желающая иметь reginam, не нуждается в ancillam.

Приходится, повидимому, признать, что философия есть дело прошлого. Что в наше время, хотя еще и можно быть профессором философии, но быть философом уже нельзя.

Таково было grosso modo положение германской философской мысли до Ницше. Не таково оно теперь. Как это ни странно, говорит Грутхейсен, обращаясь к французскому читателю, в Германии вновь существует философия и в то время как во Франции «un jeune homme qui... croit avoir quelque chose a dire... fera un roman... en Allemagne il essayra à faire une Philosophie».

Этим «возрождением» философии Германия по мнению Грутхейсена, главным образом, обязана Ницше, освободившему философию от связи с наукой, противопоставившему ее науке не как познаие *более* объективное, чем эта, а наоборот, как наиболее субъективное выражение творческой личности философа. Вдобавок, по мнению Ницше, нет и не может быть познания объективного. Всякое восприятие есть выбор, интерпретация, реакция живого существа на окружающий его на него действующий мир. Жизнь сама творит себе свой «мир», и философия, творец «миросозерцания» только более откровенно и сознательно делает дело жизни.

Нет и не может поэтому быть «общепризнанной» философии, од ной для всех, ибо каждый философ, поскольку он заслуживает этого имени, должен сам творить себе свой собственный, его личность выражающий мир. И поэтому, хотя философы прошлого стремились к абсолютному познанию вечных и общеобязательных истин, они de facto только выражали каждый свой собственный, индивидуально отличный мир. В этом как раз залог их ценности и непреходящего исторического интереса. Каждый из них, творя собственный мир, творил новые ценности; в этом, — в нахождении новых ценностей — и должна заключаться роль философии.

Оставим в стороне виталистический прагматизм и биологизм Ницше, — не будем искать «источников» его учения. Это все, по мнению Грутхейсена, не важно. Что важно, это то, что Ницше открыл для философии новую область, область ценностей; и, пожалуй, еще важнее то, что он постарался найти для философии ей одной принадлежащую область творчества, что для него философия вновь воплотилась в жизнь. Мы не будем следовать за Грутхейсеном в его изложении решений — или попыток решений — Дильтея, Зиммеля, Гуссерля. Философия духа Дильтея, философия жизни Зиммеля, философия чистой интуиции Гуссерля охарактеризованы им настолько удачно, насколько вообще возможно в нескольких словах охарактеризовать философское учение.

Грутхейсен вполне прав, указывая, что концепции Ницше, Зиммеля и Дильтея не выводят нас на широкую дорогу философского творчества. Они прекрасно объясняют нам прошлое философии, вскрывают субъективный характер псевдо-объективных систем. Но может ли философская мысль отказаться от истины? И может ли философ сознательно творить свой субъективный мир? Уйдя от науки не попадет ли он в царство фикции, в царство романа? Познание смысла собственной деятельности не убьет ли в нем наивный импульс к творчеству?

Грутхейсен прав, и мы могли бы указать, как на подтверждение его сомнений на тот факт, что из школы Зиммеля и Дильтея вышло много прекрасных историков, но не вышло ни одного «философа» и что единственный последователь Ницше, который мог бы претендовать на это звание, Н. Гартман не отвергает объективнаго смысла познания и не отказывается от метафизики.

Нам хотелось бы однако сказать несколько слов о «феноменологии» Гуссерля и его школы. Грутхейсен, как нам кажется, слишком суживает значение феноменологического метода, сводя его к анализу имманентн-

го смысла интенциональных актов. Феноменологическая интуиция стремилась к большему: она, возрождая метафизические устремления древней философии, пытается достигнуть интуиции сущностей; отказываясь иметь дело с «фактами», констатируемыми и объясняемыми наукой, она не уходит от реальности, замыкаясь в царство чистой мысли. Наоборот, устремления ее онтологичны. Она стремится научить нас «видеть» сущности, те quidditates, те и д е и, о которых так много писали и смысл которых так мало понимали историки.

Как раз сравнение с теорией познания Ницше могло бы бросить свет на сущность феноменологического метода: познание р е а л ь н о й д е й с т в и т е л ь н о с т и, как справедливо учил Ницше, в с е г д а активно; оно никогда не бывает чистым восприятием, чистой интуицией. Оно всегда пронизано волитивным устремлением. «Феноменологическая редукция», «отвлечение от реальности», о которых говорит Гуссерль, не есть абстракция; это просто на просто уничтожение (nichtausführung, suppressio) с сложном познавательном акте его волитивной, активно проникающей в действительность компоненты. Освобождение от этого волитивного момента, от установки на д е й с т в и е, вот что дает возможность достигнуть ч и с т о й интуиции. Что чистая интуиция не может иметь своим объектом реальной дествительности само собой понятно: эта «реальная действительность» коррелятивна действию и воле, активности и жизни. Но мир интуиции не менее, а более реален, чем этот мир. Мир сущностей и качеств — не абстракция. Он б е д н е е, а б о г а ч е мира жизни и мира науки.

Здесь , кажется нам, основная, слишком мало освещенная Грутхейсеном, особенность современной философии; в стремлении к обогащению нашего опыта, нашего мира, в отказе от упрощающаго действительность научного объяснения лежит то новое, что объединяет столь непохожия друг на друга тенденции Зиммеля, Дильтея, Ницше и Гуссерля. И в этом, анти-научном устремлении путь к освобождению и к возрождению философской мысли.

Немалую роль тут сыграла и сама наука — но о современной науке Гртухейсен не говорит. Придется нам поэтому отложить разсмотрение этого вопроса до другого раза.

Emile Meyerson.

La d é d u c t i o n r e l a t i v i s t e. Paris, Payot 1925

В отличие от всех посвященных теории относительности философских работ, книга Э. Мейерсона не пытается дать «популярного и общедоступнаго» изложения теории Минковского и Эйнштейна. И в этом, по нашему мнению, его огромное преимущество.

Действительно, как заявляет сам Мейерсон, изложить на «простом», «общепонятном» языке сложную физико-математическую теорию невозможно. Тот, кто не обладает нужной — и очень серьезной — математической подготовкой, никогда не поймет точного смысла ученія. Математический аппарат не «внешняя одежда», от которой можно «освободить» теорию относительности; он неразрывно связан с самым существенным ее содержанием. Всякий «перевод» языка формул и математических символов на язык обыденной жизни и здравого смысла неизбежно сопровождается *искажением*. И лучше гораздо *не излагать* теории, чем внушать читателю превратное мнение, что он понимает то, что в действительности ему недоступно. Сознание непонимания, по крайней мере, убережет его от тех безчисленных ошибок, которые делались почти всеми философами, писавшими о теории относительности: ибо все они,

за редким исключением, черпали свои сведения в «популярных» неточных и даже неверных изложениях; неверных и неточных, хотя и принадлежащих подчас самим творцам теории.

Второе отличие труда Мейерсона столь же, пожалуй, важно. Мейерсон не критикует теории относительности и не защищает ее. Он не пытается ни показать, что теория относительности «согласуется» или «предполагает», или «подтверждает»... неокантианство или позитивизм, монадологический плюрализм или идеалистический монизм, и, поэтому должна быть признана истинной; ни что она не согласуется или «противоречит» неокантианству, позитивизму etc. etc. и, поэтому, должна быть отвергнута. Или, наоборот, — что соответственные философские теории должны быть «признаны» или «отвергнуты».

«Верна» ли теория относительности или нет — до этого Мейерсону нет дела. Вопрос этот — не его компетенции. Не компетенции философа. Дело философа понять логическую структуру излагаемой им теории. Будь ли то теория Ньютона или Эйнштейна — задача философа не меняется. Будет ли теория относительности «признана» научной «истиной», или, быть может, через двадцать лет, отвергнутая и «опровергнутая» она окажется всеми забытой, — какое до этого дело философу? Его задача от этого не зависит. Теория относительности являет собой момент в истории развития научной мысли. Она есть исторический факт — такой же факт, как теории Ньютона или Декарта, Кеплера или Птоломея.

Как видим, Мейерсон отказывается — более того, считает недопустимым для философа — защищать или критиковать излагаемую им *научную* теорию. Философ, как летописец, «добру и злу внимая равнодушно», должен и по отношению к *современным теориям* сохранять беспристрастие историка. Он, если можно так выразиться, должен быть историком современной науки. Это не значит, конечно, что роль философа сводится к историческому изучению науки, или, если угодно, к изучению ее истории. История науки и философии науки не одно и то же. Но как для историка, так и для философа наука есть *материал* его изучения. И вмешиваться — как философ — в научный спор он не имеет права. Его задача иная: он должен *понять* логическую структуру научных понятий, психологическую структуру научной мысли; причины возникновения и смерти научных теорий и из всего этого материала реконструировать основные черты, основную структуру в них выражающейся и в них документирующей себя человеческой мысли. Философия науки есть рефлексия, самопознание — и для этого, рефлексивно направленного, акта подчас больший интерес представляют теории «неудавшиеся», чем удачные; доктрины в момент их «опровержения», чем в тот период, когда они являются «признанной» научной истиной. Для философского анализа больше дает наука в процессе становления, наука строющаяся, живущая, чем научная теория законченная, исчерпывающая свои возможности.

Отметим мимоходом чрезвычайно важный момент: Мейерсон отказывается отвечать на вопрос: сторонник или противник он теории относительности, потому, что, по его, вполне справедливому по нашему мнению, утверждению, теория относительности является *не философской*, а строго и чисто *научной* теорией.

И, не желая быть парадоксальным, приходится сказать, что Мейерсону удалось написать *философскую* книгу о теории относительности только потому, что увидел он в ней *не философскую*, а *естественно-научную* доктрину. Это точное разграничение областей философского и естественно-научного исследования позволило Мейерсону избежать того злочастного сме-

шения философии и науки (вульгаризированной философии и популярной науки), в котором повинны не только философские сторонники или противники теории относительности, но и сами ее творцы: позволило, не «излагая» теории, вскрыть большинство ошибок, в которые обычно впадают ее исследователи.

Одной из самых важных ошибок, по мнению Мейерсона, является односторонний анализ так называемой «частной» теории относительности, в то время как «общая» теория относительности обычно оставляется философами без рассмотрения. Легко понять почему: частная теория относительности, формулированная Эйнштейном еще в 1905 году для равномерного прямолинейного движения, кажется более «доступной» для популяризации. К тому же учение о неравномерном течении времени в с различной скоростью движущихся системах, парадокс отстающих часов и замедляющихся вследствие движения жизненных процессов (знаменитый пример Langevin доказывающего, что человек, брошенный в пространство со скоростью 200.000 км. в секунду, прожил бы всего два года в то время, как на земле прошло бы 200 лет), отождествление в концепции Минковского времени с четвертым измерением пространства (что, по мнению многих «философов» должно было повлечь за собой обратимость времени, и может быть возможность реализации *Машины времени* придуманной Уэлсом) — давало слишком обильную пищу воображению и слишком шло навстречу современному пристрастию к действительным или кажущимся парадоксам.

Иное дело общая теория относительности: тут, прежде всего, с самого начала ясно было что без солидных математических познаний понять ее невозможно, а кроме того, новая теория пространства и новое объяснение закона притяжения, конечно, не могли возбудить такого широкого интереса, как парадоксы частной теории относительности.

А между тем, как правильно отмечает Мейерсон, — и в этом третье основное преимущество его труда, — интерес теории относительности *для науки*, то новое, что она принесла и что позволило лорду Haldane, не встретив протеста сравнить Эйнштейна с Ньютоном, именно и заключается в *объяснении* притяжения, которое Эйнштейн *впервые* попытался *вывести* из свойств самого пространства.

Теория относительности, по мнению Мейерсона, блестяще подтверждает и иллюстрирует анализ научной мысли, данный им в его предыдущих работах, Identité et Realité и Explication dans les sciences. Она является последним по времени — звеном в длинной цепи попыток полного объяснения действительности; последней главой в истории науки, истории, которую можно было бы назвать повестью de reductione physicae ad geometriam; теория относительности не означает поэтому разрыва с прошлым; наоборот: она продолжает дело прошлого и, в нашу эпоху, на основе несравненно большего эксперимантального и теоретического материала, пользуясь несравненно более могущественным аппаратом математической дедукции, пытается — и пока, повидимому, с успехом — дать эквивалент построений Платона и Декарта.

Теория относительности нисколько не связана с философским релятивизмом; наоборот, поскольку релитивистический позитивизм Маха*) и Петцольда претендует на истолкование науки и научного познания, она так же противоречит ему, как и концепция Ньютона, так же мало связана она (что бы об этом ни говорили сам Эйнштейн или его ученики) с идеализмом кантовского типа, и даже, поскольку Наторп или Кассирер

*) Мах, как известно, был противником теории относительности так как он понял ея реалистическух природу.

претендуют дать анализ действительной логической и психологической структуры научной мысли, она противоречит им, ибо теория относительности не менее, если не более *реалистична*, чем концепции Ньютона или Гюйгенса.

Теория относительности, как ни парадоксально может показаться подобное утверждение, есть теория *абсолютного*, ибо не относительное только, а *абсолютное* значение придает она форме законов природы: она, впервые, быть может, позволяет нам сознательно игнорировать роль индивидуального наблюдателя, ибо, с точки зрения теории относительности, *все* измерения *всех* наблюдателей, независимо от состояния покоя или движения, в котором они находятся, имеют абсолютное значение.

Четырехмерная «вселенная» Минковского, многообразие временно-пространственных величин имеет абсолютную действительность. Главное отличие и главное преимущество этой «вселенной», этой «действительности» перед реальностью до-эйнштейновской физики заключается именно в абсолютном характере этого однородного и рационального многообразия.

Эйнштейн освободил физику от иррационального понятия *силы;* от иррационального характера ньютоновского притяжения; от дуализма пустого пространства и частично заполняющей его материи, являющейся носительницей *сил*.

Для новой, эйнштейновской, физики не существует отдельных друг от друга материи, пространства и действующих в этом «пустом» пространстве сил. Существует *одно* только многообразие, охватывающее всю совокупность реальности. Пространство и материя — одно и тоже. Геометрические законы этого нового «пространства» и законы «материального бытия» вполне совпадают. Притяжение материальных частиц и тел, бывшее камнем преткновения теоретической физики, как необъяснимый, иррациональный элемент, вполне объясняется законами внутренней структуры пространства. То, к чему вечно стремились научная мысль человечества, та полная дедукция действительности (физической), которую предвидели и пытались осуществить Платон и Декарт, повидимому, удалось Минковскому и Эйнштейну.

Надо, впрочем, отдать себе отчет в том, что эта победа научного разума над иррациональной действительностью куплена дорогой ценой.

Во-первых, ценой отказа от обычного представленя о пространстве. Пространство теории относительности, как мы только что сказали, имеет структуру и эта структура (кривизна) его вдвойне непостоянна. Различная в различных точках пространства она и в этих точках является изменчивой. Присутствие в определенной точке пространства физического тела влияет на «кривизну» пространства: вызывает в «моллюскообразной», по выражению Эйнштейна, его структуре «складки» и «морщины». Вернее, сами тела суть не что иное, как центры «сгущения» этих складок и морщин. Пространство теории относительности является таким образом более «реальным», более «вещным», чем пустое пространство Ньютона.

Во-вторых, «прстранство» Эйнштейна и «мир» Минковского не безконечны. Мир теории относительности — мир не Эвклидовой, а Римановской геометрии. И в этом мире размеры имеют *абсолютное* значение.

По мнению Мейерсона, эти модификации нашего представления о пространстве не могут служить основаниями для философской критики теории относительности. Представление пространства не является чем то абсолютно неизменным, раз навсегда данным. Пространство не априорная форма восприятия. История человеческой мысли

есть в значительной мере история эволюции понятия о пространстве. Пространство примитивных народов гораздо богаче нашего. Оно ограниченно; направления в нем качественно различны; пространство древности и средних веков беднее но и для Аристотеля оно конечно; а качественное различие пространственных направлений еще имеет абсолютное значение даже для атомистов (атомы Демокрита «падают»). Пространство нового времени, пространство Декарта, Ньютона и Канта еще беднее; еще менее «представимо»; еще дальше от воображения. Концепция теории относительности есть лишь дальнейший шаг на пути развития, на пути удаления от обыденного восприятия, от вообразимости.

Мейерсон полагает, что этот шаг законен и окончателен. Человеческая мысль никогда не возвращается к раз пройденным этапам; всегда предпочитает несовершенства и трудности новой гипотезы, новой теории, новой концепции несовершенствам и трудностям старой.

Но, по его мнению, теория относительности неизбежно натолкнется на трудности научного характера. Теория квант, повидимому, несовместима с концепцией Эйнштейна; есть и другие данные, которые теория относительности, повидимому, не в состоянии объяснить и этих трудностей будет чем дальше, тем больше.

Теория относительности, быть может, является научной истиной сегодняшнего дня. По всей вероятности, она не будет таковой для завтрашнего. Ее, по мнению Мейерсона, ждет судьба концепций Платона и Декарта. В самом успехе ее залог того, что, как и все попытки полной дедукции, полной рационализации действительности, ее в будущем ждет поражение. Ибо теория относительности, верная духу научной мысли, преследует цель невозможную. Идеал абсолютной рационализации, полной дедукции, совершенного объяснения реальности, противоречив, ибо действительность в самой сущности своей иррациональна. Ибо иррациональна в своей основе всякая данность; иррационально само бытие. Иррационально всякое многообразие.

Всякое объяснение есть, как мы знаем, попытка сведения многообразия к тождеству: попытка отрицания реального существования различия, подмены его скрытым, но единственно реальным тождеством; каждый шаг на пути рационализации связан с превращением какой либо сферы данности из реально существующей в только кажущуюся; полное объяснение ведет поэтому к полному отрицанию всякой реальности, к отождествлению бытия и мышления; идеал полного объяснения находит свое осуществление в акосмизме. Процесс рационализации стремится разрушить иррациональное бытие, или, что же, вывести его из разума. Но это значит вывести существование из ничто. Бытие из небытия.

Мейерсон не случайно пользуется этими гегельянскими формулами. Мы знаем, что, по его мнению, Гегель глубоко проникнул в смысл и структуру научного мышления; понял его парадоксальную и внутренне противоречивую природу. Больше того: теория относительности пытается осуществить задачу философии Гегеля, с той разницей, конечно, что применяет дедукцию математическую там, где Гегель пытался применить дедукцию логическую. В этом отличии огромное преимущество теории относительности и объяснение ее успеха. Но и панлогизм Гегеля и пангеометризм Эйнштейна приводят к потере действительности и чрезвычайно характерными являются приводимые Мейерсоном цитаты из трудов Кузена и Тэна, с одной стороны, Eddington'а и Weyl'я, с другой. При всем отличии обеих дедукций оне оставляют одно и то же впечатление; действительность объяснена вполне, но в

то же время она куда-то исчезла. И бледные схемы гегельянских категорий точно также как сложные формулы Эйнштейновской дедукции не в силах наполниться плотью и кровью и превратиться в элементы реального мирэ.

«Теория относительности, — по очень верному и точному определению Гавронского, — есть попытка резать рельсы математическими формулами». Попытка удачная, добавим мы, удачная постольку, поскольку «рельсы» сами могут быть заменены формулами. Но эта замена никогда не удается вполне. Иррациональность действительности непреодолима. Победа, одержанная теорией относительности, — кажущаяся победа. Иррациональность множества, иррациональностьь данности, иррациональность фактов, *необратимомость времени* неустранимы. И можно с уверенностью сказать, что имманентное развитие науки, для существования которой иррациональность так же существенна, как и рационализация, неизбежно приведет к открытию нового слоя иррационального бытия, «объяснить» который теория относительности окажется безсильной.

История reductionis physicae ad mathematicam обогатится еще одной главой, и научная мысль вновь примется отыскивать методы осуществления своей неосуществимой цели.

Такова, по мнению Мейерсона, неизбежная судьба теории относительности. Слишком, по нашему мнению, блестящее будущее. Мы не собираемся, конечно, в краткой журнальной заметке пытаться подвергнуть критическому разбору замечательный труд знаменитаго философа. Нам кажется, все же, что, с точки зрения его же собственной теории, роль переворота произведенного теорией относительности в научном представ-
лении о пространстве охаракте
ризована не совсем верно. Дей
ствительно, по мнению Мейер
сона, история представления
пространства есть история по
степенной потери им данной чув
ственному восприятию структу
ры; история опустошения обѣд
нения данного в непосредствен
ном опыте многообразия. Н
пространство Эйнштейна, хот
и дальше от интуиции, чем про
странство Ньютона, тем не мене
богаче его. Оно обладает внут
ренней структурой; оно неодно
родно; не есть ли это возврат
уже пройденной ступени? И если
«человеческая мысль не возвра
щается к уже пройденному этапу
то можно ли представить себ
отказ научной мысли от с таки
трудом добытого понятия бе
конечности? Правда, теори
квант, казалось бы, лишает на
возможности отрицать абсолют
ное значение пространственны
величин Но, как мы знаем
теория квант несовместима
теорией относительности, и имен
но потому, что кванты являютс
иррациональной данностью, ре
альностью несводимой к чисто
му пространству.

Пророчествовать всего удобне
ex eventu. Но все же, пророчеств
Эмиля Мейерсона позволим себ
противопоставить собственное
история науки не отведет теори
относительности места рядом
концепциями Декарта и Ньютона
Скорее — рядом с открытием
Лобачевского и Римана,
попытки измерить кривизну про
странства — рядом с знамен
тыми «опытами» Гауса. И, мо
жет быть недалеко уже то время
когда какой-нибудь негениаль
ный физикъ найдетъ физическо
истолкование гениальной кон
цепции Минковского и Эйнштей
на и теория относительност
также потеряет свой парадок
сальный характер, как потерял
его построения неэвклидовско
геометрии.

А. Койре.

ПУТЬ, орган русской религиозной мысли

№ 4 Июнь — Июль 1926

Среди сотрудников «Пути» сно обрисовываются две группы, отличающиеся своим пододом и отношением к религозно-философским вопросам. дни исходят из самого центра елигиозного сознания и видят адачу своего умозрения лишь философском освещении и исолковании церковно-христианкого учения. — Другие подходят к религиозной сфере со стооны ее переферии и стремятся режде всего согласовать достиения «светской» философии и аук с теми требованиями, которые их мировоззрению пред'явяет религиозная вера. Встреча тих двух течений знаменательно; дь это встреча хранителей церовной традиции и религиозности той частью старой русской интеллигенции, которая ищет воссоедиения с церковью и приобщения с ваким-либо ею духовным соровищам. Только взаимное ближение и сотрудничество обеих групп способно сообщить русской религиозной мысли ту силу ширроту захвата, которая ей ужна, чтобы вновь обладать и подчинить себѣ духовную кульуру современности. Задача эта — черезвычайно трудная и ответственная: с одной стороны еобходимо хранить чистоту церовной традиции и в философском олковании ее соблюдать особую стережность. Но с другой стооны необходимо также, чтобы юд мощным напором релиозного опыта философское рение не утратило своей строй зоркости, чтобы научая совесть сохранила свою инеллектуальную требовательость и чуткость. Ведь и релиозная ревность можетъ служить основанием для ignava raio.

К сожалению, до сих пор в Пути» подлинно-церковные круи принимают лиш незначительное участие, и потому трудно судить, в какой мере этот журнал может повлиять на мышление церковного Православия.— В настоящем номере эти круги представлены только двумя статьями проф. Н. Глубоковского и прот. С. Булгакова. Первая «Христианское обединение и богословское просвещение в православной перспективе» воспроизводит речь, произнесенную Н. Глубоковским в Королевском Колледжѣ в Майдане и для русского не представляет особого интереса. Напротив, очень серьезна и интересна статья С. Булгакова «Церковь и инославие», входящая в серию его «Очерков учения о церкви». На основании тщательного разбора церковной практики, учения отцов церкви и постановлений Вселенских Соборов, касающихся отношения Православной Церкви к инославию, автор приходит к заключению, что необходимо признать существование ecclesia extra mures, т. е. существование «внешней, зоны Церкви, находящейся за пределами ее ограды и не совпадающей с единством ее организации», но вместе с тем все таки единой с Православною Церковью поскольку в этой внешней зоне «действует сила Христова и Благодать Св. Духа». Это непререкаемый канонический факт, которым в основе своей определяется отношение церкви к инославию (к расколу, к ересям и т. п.).

Самая яркая статья в настоящем номере «Пути» — это статья Г. Флоровского о «метафизических предпосылках утопизма». Флоровский — мыслитель с несомненным литературным даром, способный к тонкому и глубоко захватывающему анализу, умеющий резко и не шаблонно ставить проблемы. Всеми этими достоинствами обладаетъ и статья об утопизме. Флоровский

ставит проблему утопизма шире, чем это обыкновенно делают; он пытается вывести утопизм общественного идеала из более глубокого источника, из утопизма, заложенного в самом познавательном опыте и его философского истолкования. Овеществление общественного идеала является лишь следствием того об'ективизма, который господствует в европейском мышлении, и который неизбежно ведет к натуралистическому монизму. Монизму этому, суб'ективно выражающемуся в «космической одержимости» философствующей мысли, мир представляется как законное, замкнутое органическое всеединство, в котором все элементы и части находятся в строго закономерно, изначально предустановленной связи и в котором поэтому царит абсолютная необходимость. В таком мире нет места для свободы и самостоятельности личности нет места для ее нравственно - религиозного самоопределения и для творческого подвига. — Отголоски этого натурализма автор видит и в современном интуитивизме, понимающем познание как непосредственное пассивное восприятие об'екта и выключающего из познавательного акта творческий момент. — Утопическому опыту натурализма Ф. противопоставляет «опыт Истины», определяемый, как опыт религиозной веры, как опыт свободы. Только на почве этого опыта может вырости философское умозрение, способное правильно понять отношение между Богом-Творцом и Миром-Тварью (человеком), а вместе с тем и уловить подлинный смысл исторического процесса, свойственный ему трагизм свободы. Между истинной верой (православием) и истинной неутопической философией существует поэтому неразрывная связь. —Такова приблизительно основная концепция статьи Г. Флоровского. — В его критике руководящих тенденций европейского мышления несомненно много меткого и верного. Ф. совершенно правильно указывает на внутренние трудности, кроющиеся в понятии вещества. Не без основания он усматривает и в интуитивизме некоторые элементы натурализма. Но в целом его концепция европейской философи по меньшей мере одностороння Именно новой европейской философии мотив свободы вовсе не чужд; он составляет отличительную черту не только философии Канта, но и философии Фохта(несмотря на то, что оби подчиняют индивида нравственному миропорядку). Пафос свободы — дерзания один из сокровенныхъ мотивов философии Ницше. Поэтому безоговорочное отожествление опыта религиозной веры с опытом свободы необосновано; и только более глубокий анализ существа свободы мог бы его философски оправдать. — Вообще вторая положительная часть статьи Ф. менее разработана и поэтому менее убедительна, чем первая критическая. Автор предпочитает здесь говорить языком богословия, не раскрывая старого философского смысла употребляемых богословских формул и понятий. Неясным поэтому остается и понятие религиозного опыта. Между тем именно Ф. следовало бы заняться философской разработкой этой проблемы. Ведь он один из немногих, которые одинаково владеют богословским и философским языком.

Хороша и содержательна статья В. Ильина «Иночество и подвиг» дающая характеристику специфически православного понимания аскезы. Правда, с философской точки зрения, статья эта имеет скорее подготовительный характер. Очерчивая самую сферу подвижничества и устанавливая понимание его и оценку, со стороны православной церкви в лице ее авторитетных представителей, статья Ильина доводит проблему как раз до той точки где должен был бы начаться феноменологический анализ подвижничества и его религиозной сущности. Ведь и в данном случае задача заключается именно в том, чтобы раскрыть чисто фи

ософский смысел тех богословких понятий, которыми опреаляется существо иночества и одвига. Надо надеятся, что авор продолжит свою работу имено в этом направлении.

Об основном замысле статьи I. Арсеньева «Пессимизм и мисицизм в древней Греции» еще ельзя судить. Пока напечатана олько первая часть, которая одержит довольно живое и снабженное обильными выдержками з первоисточников изложение ого, что известно современой науке о пессимизме и мистиизме Греции.

К тем статьям, которые исходт из «светской» философии и ассматривают религиозные проемы со стороны их периферии, ринадлежат статьи С. Франка Религия и наука в современном ознании » и П. Вышеславцева Два пути социального движеия». — С. Франк подходит к опросу о взаимоотношениях реигии и науки с большой осторожостью. Разграничив предвариельно их сферы и установив автономию каждой из них, автор казывает однако на то, что автономия религии и науки не одинаковая. Если религия в своей снове совершенно независимо т науки, то научное знание напротив в своем историческом развитии всегда так или иначе обусовлено общим мировозрением уховными интересами, жизнещущением, — или кратко говоря верой тех лиц и эпох, которые его создают. Новая наука, о мнению автора, определена теистическим или по крайней ере скептическим сознанием и отому в противоположность нтичной и средневековой науке оздала представление о мире, как хаосе слепых и мертвых сил. Живое религиозное сознание совеменности не может мириться с акой концепцией; оно поставено поэтому перед задачей «творческого овладения научной мысью и такой ее переработки, которая позволила бы ее включить — не меняя ее научного существа — в состав цельного религиозного мировоззрения. И процесс этот фактически уже совершается самостоятельно благодаря тому, правда еще очень слабому, пробуждению религиозных интересов, которое за последнюю четверть века наблюдается в научных сферах. Об этом свидетельствует полный переворот происшедший в основных научных воззрениях, как в области психологии, так и в естествознании (биологии и физике). Повсюду почти механическое представление о мире, как о хаосе слепых сил, уступая место органической концепции, восстанавливающей античную идею гармонически сложенного, полного живых сил космоса. Переворот этот — бесспорный фактъ. — Но можно ли новыя «веяния» в современной науке об'яснить пробуждением религиозных или даже просто более глубоких духовных интересов в научном сознании? Конечно, органическая концепция мира лучше мирится с религией чѣм механическое миропонимание, но сама по себе она еще не заключает в себе ничего такого, что роднило бы ее с религиозным сознанием и опытом. Вообще вопрос этот обстоит не одинаково для отдельных отраслей научного знания. Решающее значение имеет в каждом случае основная *установка* научного сознания. Если, например, установка, из которой исходят науки о духе в основе своей родственна той, в которой коренится религиозное сознание, то чисто об'ективирующая установка точного естествознания, наоборот ей прямо противоположна и как бы предпологает некоторый «относительный атеизм». Ведь то, что тормозило развитие точного естествознания в античности и даже в Средние века, были в значительной мере не внешние, а внутренние причины, и прежде всего неспособность к последовательному проведению чисто об'ективирующей установки, т. е. неспособность преодолеть односторонность господствующего «органического миропонимания».—Статья С. Франка ставит проблему о взаимоотношении религии и науки лишь в

самой общей форме. Решение ее требует более глубокого исследования самых основ (основных установок) религиозного и научного сознания.

П. Вышеславцев в своей статье «Два пути социального движения» ставит себе задачей выяснить отношение христианства к современным социальным движениям. Центральным пунктом проблемы он считает вопрос о допустимости и о недопустимости организованного преступления. Перед современностью, по мнению автора, открываются два противоположенных пути социального развития. Один — «это путь социального преступления, путь революционно-коммунистический, путь умаления индивидуальной свободы», конечною целью которого является абсолютная власть общественного механизма. — Другой путь — есть путь социальной правды, отрицающий преступление и насилие, как средства для достижения социальной справедливости, признающей неприкосновенность субъективных прав и стремящийся в конечном итоге к осуществлению «правового идеала безвластной организации». Путем анализа современных социалистических учений автор показывает, что все они запутываются в неразрешаемых противоречиях, поскольку смешивают эти два исключающих друг друга пути. Но по существу — социализм может итти только первым — революционно-коммунистическим путем. Принципиальный отказ от него был бы для него равносилен самоупразднению и отречению от своей идеи. Вот почему социализм и христианство несовместимы, ибо Христианство может признать только первый путь социального развития. — С общими выводами статьи нельзя не согласиться, но вместе с тем они оставляют в читателе чувство некоторой принципиальной неудовлетворенности. О внутренних противоречиях в социализме писалось уже много, и навряд-ли дальнейшая разработка вопроса в этом направлении может дать что-либо существенно новое. Между тем остается невыясненной другая, быть может более важная, сторона проблемы: что собственно надо разуметь под идеей социализма? Есть ли это некоторый чистый идеал общественности? Или же это — идеал взятый в определенном историческом аспекте? Или же это прежде всего идея политики, ведущей к общественному идеалу? И выражается ли идея социализма чаще всего в его крайних формах, как утверждает Н. Бердяев? Только разграничение всех этих различных смыслов идеи социализма и точное определение их взаимоотношений, а также их отношения к исторической действительности могло бы внести в философскую проблему социализма принципиальную ясность.

Вышеславцев справедливо отмечает, что социализм принадлежит к тем полуистинам, которые особенно опасны и соблазнительны именно тем, что в них смешаны правда и не правда, добро и зло. Преодолеть его соблазн можно только в том случае, если вскрыть его внутреннюю ложность, показав, что он не может дать прямого и ясного ответа на такой решающий вопрос, как вопрос о допустимости или недопустимости преступления. Только тогда удастся отделить кроющуюся в социализме правду от неправды и тем самым лишить его всякой жизненной силы. — Но автор забывает поставить другой вопрос: не возникает ли в таком случае на месте погибнувшего социализма другое подобное ему уродливое сращение правды и неправды, и не может ли самая идея безвластной организации послужить ядром для такого новообразования? Не заключается ли трагедия всякой идеи (в том числе и христианство) именно в том, что в процессе своего осуществления она должна приспособляться к действительности, терпеть известный ущерб и уживаться или даже соединяться с неправдой? Поэтому необходимо встает вопрос: как и в какой ме-

ре может и должен быть обоснован и оправдан компромисс идеи с действительностью? Проблема социальной утопии должна быть заменена проблемой об условиях правомерности социального компромисса. Только на почве решения этой более общей проблемы может быть принципиально решен и вопрос о социализме и его отношении к допустимости преступления.

Сам редактор журнала Н. Бердяев представлен в этом номере тремя статьями, из которых две носят полемически — критический характер (Кошмар злого добра и Дневник философа). Полемика и критика несомненно одна из самых сильных и ярких сторон в писательстве Н. Бердяева, хотя он по складу ума совсем не диалектик и никогда не выступает во всеоружии строго логической аргументации. Но обычно он очень верно подмечает слабые стороны в позиции своих противников и умеет в меткой формуле выявлять те противоречия или заблуждения, к которым приводит их учение. — Мы здесь не беремся судить по существу о полемике возникшей между Н. Бердяевым и И. Ильиным, по поводу книги последнего «о сопротивлении злу силою». Возможно, что некоторые из обвинений, которые Н. Бердяев предъявляет Ильину, как утверждает сам Ильин в газетной статье «Необходимая оборона». (Возрождение», от 29 10 26 № 514.) основаны на недоразумении. Но написана статья Бердяева с большим темпераментом, и в основной своей тенденции представляется весьма убедительной. Во всяком случае в понятии злого добра Бердяев очень метко определил сущность проблемы, вокруг которой идет спор. Вторая статья Бердяева «Дневник философа», посвященная спору о монархии, буржуазности и о свободе мысли, развивает мысли, уже знакомые читателю по другим произведениям автора. Бердяев излагая здесь свое политическое credo, одинакое чуждое и правой и левой ориентации, и правильно указывает, что вопрос о создании монархической власти в России утратил сейчас всякое принципиальное значение.

Третья статья Бердяева «Жозеф де Местр и масонство» направлена главным образом против того преувеличеного представления о политическом значении масонства, которое господствует в правой части русской эмиграции. Взгляд на масонство, как на централизированный мировой заговор против христианства, как справедливо замечает Б., заимствован из католичества и по существу совершенно чужд духу Православия. Вновь опубликованный трактат Ж. де Местра: La franc-maçonnerie, удостоверяющий его причастность к «мартинизму» обнаружил теперь полную несостоятельность правокатолической концепции масонства. По мнению Б. в современном масонстве нет никакого идеологического единства; оно есть лишь форма тайного общества, которой пользуется все организации и партии для осуществления своих целей, как злых так иногда и добрых».

Мало удачной оказалась на этот раз статья иностранного сотрудника, — П. Аршанбо, о «Философии действия Мориса Блонделя и аббата Лабретоньера». Статья эта носит какой то случайный характер, написана упрощенно-схематично и не вводит в более глубокое понимание того нового течения в католической мысли, которое представляют М. Блондель и А. Лабретоньер.

Воспоминания Ельчанинова об епископе Антонии Флоренсове вышли довольно бледными и не вносят ничего существенного в характеристику старчества и его религиозного значения для России. — Гораздо содержательнее посвященный памяти игумении Екатерины краткий биографический очерк, рисующий внушителнную картину ее культурной и религиозно-православной деятельности в Леснинском и Богородицком женском монастыре в Холмщине.

Довольно скуден библиографический отдел (рецензия С. Франка на философию мифологии Кассирера и отзыв В. Ильина о первом томе «Начал» Л. Карсавина).

В. Сеземан.

Charles Richet. — Traité de metapsychique

Deuxième édition refondue. Paris. Librairie Félix Alcan. 1923.

Перед нами монументальный труд (IX — 847 стр.). Тема, которую он разрабатывает, такова, что за серьезную ее трактовку автор с самой установившейся репутацией еще не так давно серьезно рисковал бы своим ученым именем. Констатирование и об'яснение таких явлений, как криптостезия (ясновидение во всех его формах и проявлениях), телекинезис (движение неодушевленных предметов), левитация (подняти е на воздух с уничтожением как бы силы тяготения), эктоплазия (появление и исчезновение матерьяльных масс тел, иногда настоящих призраков и проч.) — вводят в науку совершенно новые об'екты. Да и сама трактовка этих об'ектов является собственно новой наукой, правда, тесно примыкающей одновременно как к психологии, так и к физиологии. Новая наука очень удачно названа автором этого труда «*Метапсихикой*», хотя, быть может, было бы лучше назвать ее метапсихологией. Автор книги — один из крупнейших ученых не только во Франции, но и в Европе. Его многочисленные труды разрабатывают главным образом физиологическую психологию и, частью, биологию и медицину. Не чужд он и философского творчества (им написана в сотрудничестве с знаменитым Сюлли-Прюдомом интресная книгас Le problème des causes finales). Шарль Рише — выдающийся экспериментатор. Он неистощим в своей изобретательности. Постановка его опытов отличается блестящим остроумием и неожиданными их вариациями. Он совершенно лишен каких бы то ни было предвзятостей в области общего миросозерцания и является типичным натуралистом, правда, свободным от рутины и косности. Поэтому сообщаемые им научно обработанные данные приобретают сугубый интерес. «Я удовлетворился тем — говорит Ш. Рише, — что издал факты и обсудил их реальность, не только не притязая на какую нибудь теорию, но почти даже не имея в виду никакой теории». Это во всяком случае лучше, чем самый худщий вид из всех теоретических предвзятостей — огульное отрицание всего выходящего за пределы привычного шаблона. Единственный вывод, который себе позволил сделать автор, столь скупой на теории, это констатирование простой и постоянно отрицавшейся вульгарным рационализмом истины, что человеческий дух помимо нормальных ощущений имеет еще совершенно иные пути познания (стр. IV).

На странице 2 и след. автор вводит в терминологию понятия «метапсихического», предложенного им еще в 1905 году. Этот термин означает такие данности и явления, которые выводят за пределы обычного круга психических явлений. Это явления — *за-психические*. (Однако следует заметить, что как автор книги, так и оспаривающий у него пальму первенства в введении этого термина Лютославский — оба ошибаются. Заслуга эта должна быть приписана замечательному немецкому психологу и философу Вильяму Штерну.*)

*) См, William Stern. Person und Sache.

Ш. Рише различает метапсихику об'ективную и метапсихику суб'ективную (стр. 3 и сл.). Первая касается внешних явлений, воспринимаемых нашими органами чувств — механических, физических или химических, которые однако являются следствием действия разумных и в настоящее время не известных сил. Вторая — изучает явления исключительно интеллектуального характера. Их особенность — познание реальностей, недоступных нашим органам чувств. «Все происходит так, как будто бы мы имели таинственную способность познания, ясновидение, которое наша классическая физиология ощущений не может еще об'яснить» (ibid). Этот способ познания Рише и называет «криптостезией» (тайнопознание, познание скрытого). Окончательное определение метапсихики будет таково: *«Наука, имеющая своим предметом явления механические или физиологические, обязанные своим происхождением силам, которые кажутся разумными, или же не известным способностям, скрывающимся в человеческом духе»*. (Стр. 5). В истории изучения этих явлений Ш. Рише различает четыре периода: 1) Мифический, заключающийся Месмером (1778 г); 2) Магнетический (сестры Фокс, 1847 г); 3) Спиритический (от сестер Фокс до Вильяма Крукса (1847-1872); 4) Научный, начинающийся с В. Крукса. Автор надеется, что с его трудом наступит 5-ый период — классический. Этим он, повидимому, стремится отмежевать себя от вульгарной научности, что можно только приветствовать, ибо есть все основания отдавать решительное предпочтение подлинной науке перед фальшивым и претенциозным научничеством, наукоподобием и прочими фикциями позивистического безвременья.

На стр. 16-43 дается краткий очерк перечисленных периодов. Далее идет изложение. Оно начинается с анализа сущности медиумов и медиумизма (стр. 43 и 54). С научной точки зрения медиум есть человек, обладающий свойствами производить метапсихические феномены в большой, иногда совершенно исключительной степени. Так и рассматривает их Ш. Рише. Среди медиумов многие приобрели мировую известность; к числу их надо отнестиHome, Mad. d'Espérence, Florence Cook, Stainton Mores, Piper, Mad. Leonard, Marthe Beroud, William Crookes, Katie King, Eusopia Paladino и др.

На стр. 55-62 рассматривается важный в методологическом отношении вопрос о границах между психическим и метапсихическим. Здесь Рише приходит к установлению простого и точного закона: «находящийся в бессознательном состоянии способен производить все то, что производит находящийся в сознании» (стр. 56). Равновесие нарушается именно в пользу метапсихического. Метапсихическое обладает свойствами, ему одному принадлежащими и в этом смысле превосходит область психического. На стр. 63-73 разбирается имеющий также важное методологическое значение вопрос о применении понятия случайности и исчисления вероятностей, равно как и ошибок наблюдений в метапсихическом. На стр. 74-97 даются общие определения и классификация криптостезии. К криптостезии относятся явления ясновидения и телепатии. Их общая сущность та, что «в определенные моменты наш дух может познавать реальности, о которых наши чувства, наша прозорливость и наши рассуждения не могут дать нам знать» (стр. 80). Следует отличать явления так называемого психического автоматизма, относящихся к обыкновенной психологии и лишь по видимости приурочиваемые к криптостезии. Сюда относятся различные измышления личности, автоматическое письмо и др. Криптостезия может наблюдаться: а) на нормальных суб'ектах, суб-ектах зарегистрованных, с) у медиумов и d) у особо чувствительных суб' ектов. К последним

относятся те, кто кажутся при обычных условиях совершенно нормальными, но в некоторых специальных случаях обнаруживается способность к криптостезии (зрение через кристал, психометрия и др.). На основании исследования криптостезии у нормальных суб'ектов (стр. 101-117). Ш. Рише приходит к заключению, что «у всех людей, даже по видимости не так чуствительных есть иной, сравнительно с обычными, способ познания. Но у мало чуствительных эта способность чрезвычайно слаба почти ничтожна» (стр. 116).. На стр. 117, - 164 анализируется криптостезия в состоянии гипнотическом и сомнамбулическом. С точки зрения чисто медицинской особенно интересна способность некоторых суб'ектов видеть болезненное состояние внутренных органов. Не менее интересна и так называемая внутренняя, автоскопия, заключающаяся в видении своих собственных внутренних органов. Явление это упомянуто у Дю-Поте, изучено д-ром Комар и затем д-ром Соллье. Стр. 164 - 205 посвящены спиритической криптостезии, т. е. криптостезии, обнаруживаемой на спиритических сеансах. здесь приведена масса интересных вполне засвидетельствованных фактов. Осторумно и естественно автором отнесены к криптостезии хиромантия («приближающаяся к здравой физиологии») и являющаяся ее ответвлением графология. Особенно интересен тот вид криптостезии, который назван Ш. Рише «перенесением чувств» (transposition des sens). сюда относятся осязание того, к чему не прикасаются, видения содержания разных закрытых предметов, чтение запечатанных писем и т. д. «Все происходит так, как будто бы знание содержания письма доходит до сознания через посредство особого рода чувства осязания. Быть может, это только видимость, но невозможно отрицать эту видимость» (стр. 256) . К суб'ективной метапсихике относится ксеноглоссия (разговор на незнакомом языке), спиритическая идентификация (одержимость другим существом), палочка отгадывательница (открытие подземных вод и металлов с помощью ее) и др. (Стр. 275 - 306). Обширный отдел (стр. 312 - 450) посвящен так называемой «случайной криптостезии» (cryptosthesie accidentelle), куда относятся: 1) сообщение о маловажных случаях, 2) сообщение о смерти и 3) коллективные собщения. Не подлежит сомнению, что «часто смерть человеческого существа делается известной человеческим существом без того, чтобы это могло быть об'яснено с помощью нормальных чувств; большею частью эти сообщения о смерти имеют характер безконечно разнообразных символов; и, наконец, эти сообщения почти всегда суб'ективны» (стр. 427). Другой не менее интересный отдел суб'ективной криптостезии посвящен предсказаниям и предчувствиям (стр. 451 - 522). Дело обстоит так, как будто бы «сила, скрытая в вещах или в душах, ищет воспринимающего и и действует на некоторые области его подсознания» (стр. 450). Далее идет изложение и анализ фактов *об'ективной Метапсихики* (стр. 523 - 780). К ним относятся: а) телекинезис (движение предметов на растояние без прикосновения, шумы и стуки без появления живых, материализированных образов, в) эктоплазмия (материализация живых образов, предметов, лиц) и с) одержимость (des hantises дома, лица посещаемые неведомыми силами). Первые два проявления об'ективной метапсихики могут быть контролированы с помощью фотографии, для чего пользуются магниевыми вспышками. Превосходные образцы даются автором на стр. 557, 558, 559, 565, 654, 661, 668 и 694. Установленный факт телекинезиса может быть формулирован так: «при известных условиях может быть движение различных предметов, даже крупных и тяжелых, без приложения и без вмешательства какой бы то

ни было неизвестной механической силы» (стр. 568). Нередко явления телекинезиса соединяются с явлениями эктоплазмии, когда от тела медиума исходят различные формы, материальные отростки по направлению к передвигаемым предметам. (Это засвидетельствовано как автором так и известным Шренк-Нотцингом). Сюда же относятся опыты с известной Евзапией Паладино (стр. 574 и сл.).

Телекинезис тесно связан с с экстоплазмией. Последняя является ничем иным как проекцией разумной механической силы, иногда она бывает видимой и приобретает материальные формы. Тогда на лицо часто бывает прогрессивная концентрация особого типа материи («эктоплазмы» — термин Рише) вокруг центрального ядра, ее образующего. Характерным свойством эктоплазмы является то, что она целиком оказывается как бы функцией производящих ее сил, почему она способна исчезать без остатка — хотя всевозможные результаты ее действия фиксириются и остаются на -лицо (снятие масок, фотографии и пр.) . Здесь как будто бы полное попрание закона сохранения вещества. Эктоплазмия доходит в своем пределе до образования совершенно сформированных человекоподобных тел, отделяющих животную теплоту, углекислоту, имеющих вес, говорящих и, повидимому, думающих. Все это тоже абсолютно необ'яснимо при настоящем состоянии науки и Ш. Рише бросает по этому поводу крылатый афоризм: «Да, это абсурд; но ничего не поделаешь — это правда».

К об'ективной метапсихике относятся еще левитация и билокация (одновременное нахождение одного и того же индивидума в разных местах, близких или отдаленных. (Стр. 524 - 738).

Отдел книги, посвященный одержимым домам, важен уже потому, что он устанавливает об'ективную достоверенность того, что было известно на протяжении истории всего человечества и огульное отрицание всего в новую эпоху явилось результатом тоже одержимости духом рационалистического идиотизма. Сущность одержимости (наревщаемости) домов Ш. Рише видит в том, что «метапсихические явления об'ективные или суб'ективные повторяются в определенных местах»). (Стр. 741) Особенный интерес представляеют явления так называемых «призраков». Они несомненно представляют явление родственное эктоплазмии, при чем медиум в данном случае не известен; и в этом причина специфического ужаса, вызываемого подобного рода явлениями: ведь не исключена возможность, что причины, их вызывающие (медиумы), находятся в ином плане бытия и представляют собою существа особого порядка. (Мнение рецензента).

Явлению призрака — говорит Ш. Рише, цитируя известного Боццано — предшествует широко разливающееся чувство ужаса, *чувство чьего то присутствия*, соединенное с ледяным веянием: почти всегда они кажутся совершенно равнодушными к живым людям, которые на них смотрят. Иногда они занимаются некоторыми домашними работами, иногда делают жесты отчаяния. Наблюдается большое разнообразие в их движениях» (стр. 744).

В одержимых домах наблюдается также порою весьма интенсивно проявляющейся телекинезис (стр. 758 и сл.).

В заключение книги дана сводка результатов, приведены дополнительные факты и представлены некотрые общие выводы и соображения, — правда, весьма скупо и осмотрительно. (стр. 781 - 822) Автор отказывается высказывать какие либо конкретные теоретические соображения и утверждает, что «у нас нет еще никакой возможности выставить серьезную гипотезу» (стр. 819). Он решительно отказывается давать какие либо об'яснения в духе мистического спиритуализма. Единственное по-

ложительное утверждение, высказываемое им, это то, что «*существует воздействие нашего духа на материю*» (стр. 811). В контексте этого огромного труда даже по видимости скромное утверждение звучит, как одно из крупных приобретений в разрушении психо-физической проблемы. Анализ явлений метапсихики приводит к определенному примату психического над физическим и превращает даже последнее в функцию первого — что ясно видно из явлений эктоплазмии. Однако Ш. Рише остерегается даже делать и этот вывод. Он предлагает «настолько же быть точным в экспериментировании, как и смелым в построении гипотез» (стр. 822). Для него, как для представителя чистой науки, самым важным является выведение матапсихики из стадии алхимии» оккультизма, «подобно тому как химия вышла из стадии алхимии» (там же).

——

Значение разобранной книги двоякое: во-первых она является монументальным трудом по сиссистематике и типологии фактов, об'единенных под черезвычайно удачным термином метапсихики. Во вторых она, оставаясь на строго научной и чисто экспериментальной почве тем не менее до конца разрушает старомодный позитивизм в психологии с его рутинно-консервативной трактовкой раз на всегда выбранных фактов и с упорным нежеланием видеть новые. Это тем было важно что как многие профессора университетов, так и питающихся от их «творчества» фабриканты газетно-журнальной мануфактуры, пребывая в той стадии умственного развития, которую можно характеризовать, как смесь просветительства XVIII вѣка с позитивизмом стиля Конта средины XIX века, уверены и стараются увердить других, что они обладают последним словом науки. Этих суб'ектов книга заставит пережить немало неприятных минут, ибо пробуждение от всякой спячки вообще, и тем более от просветительски-позивистической — мучительно и тягостно. Лицом к лицу с этими фактами они очутятся в жалком и нелепом положении. Им остается или твердить фразы из того, что было когда то наукой (социал-коммунисты, должно быть отделаются ссылкой на крепнущую реакцию да на «опиум для народа») или faire bonne mine au mauvais jeu и не замечать разворачивающегося нового космоса.

Положение психологии среди других наук до самого последнего времени было двусмысленным. Его любили характеризовать иногда, как находящееся в до-Ньютоновской стадии. И это утверждение не лишено известной доли правды. Но такое положение психологии об'ясняется тем, что как по выбору фактов, так и по их трактовке, сознательно или бессознательно, избегали самостоятельной и адекватной трактовки, желая, чтобы эта наука подражала другим накам, не только в принципах обще-научной методологии (чего нельзя отрицать), но в частных деталях и даже об'ектах. Все это приводило к тому, что психология превращалась в частью комбинирование элементарных ощущений, частью (в изучении высших духовных явлений) растворялась в трансцендентальном априоризме. Так, напр. , для Наторпа психология есть сведение непосредственных данных сознания к их суб'ективному источнику (этот источник понимается в духе трансцендентализма) Для Германа Когена психология есть описание сознания, исходящее из его элементов. Еще последовательнее проведена эта аггрегатная точка зрения у Мюнстерберга. Новейший, Гейзер, в своей Lehrbuch der Psychologie хотя и обращается к феноменологическому методу, но на деле при всей его талантливости все сводится к спиритуалистической реакции в духе Аристотеля и Ѳомы Аквината. Своеоб-

разие психических явлений, основное ядро психофизической проблемы оказалось совершенно обойденным.

Книга Ш. Рише является одним из могучих рычагов, стаящих психологию на ей одной свойтвенные пути и вскрывающих часть того матерьяла, из которого надлежит строить ее здание.

В. Ильин.

МАТЕРИАЛЫ

В. РОЗАНОВ

АПОКАЛИПСИС НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ВЫПУСКИ 1—9

СЕРГИЕВ ПОСАД — 1918

ПО ПОВОДУ АПОКАЛИПСИСА НАШЕГО ВРЕМЕНИ В. РОЗАНОВА

Религиозная мысль и настроенность русской интеллигенции в предреволюционные десятилетия определялись скрещением двух основных влияний — Достоевского и Вл. Соловьева. Но истинными героями религиозной трагедии жизни, биографически связавшими себя с мукой о Боге, были, конечно, Толстой и Розанов.

Достоевский и Вл. Соловьев, прежде всего — явления литературные. Диалектика и философская изобретательность загораживают непосредственное ощущение их личного опыта и жизненных образов. Оба они, и гностик Соловьев, и психоаналитик Достоевский связываются с окружением, литературной общественностью и направленством их времени. Толстой и Розанов, вопреки «толстовству» и яснополянской суете одного, «нововременству» и декаденству другого — остаются сами по себе, являются прежде всего суб'ектами и вершителями собственных биографий. Толстого выгородила отшельническая строгость; Розанова — самозащитное юродство.

В основе огромной личности Толстого лежала аскетическая страсть, так компромиссно и не до конца им осуществленная. Сама психологическая структура его — явно аскетического типа. В отгораживании себя от людей он искал опоры для своего гуманистического пафоса и проповедничества. И если Толстой до конца своей жизни позволил себе мириться с окружающими, подменяя монастырь и аскезу семьей и деревней, то причиной этому было не одно малодушие. Наивная, но строгая вера в свое общественное призвание, повидимому, часто побеждала в Толстом его органическую тягу к личному подвигу.

Судьба Розанова была менее благоприятной. Ему всю жизнь пришлось околачиваться по редакциям и собраниям, одновременно среди жидоедов и революционеров, митрополитов и «богоискателей».

Отсюда защитная гримаса, двойничество, псевдонимы, болезненные прикидывания и возмутительные мистификации.

Для людей природно одиноких, находящихся в непрестанном «тайно-замкнутом» стоянии перед Богом, юродство оказывается естественной мимикрией. Вся вывороченность и назойливое, циничное интимничание Розанова определились нелепостью его биографии, которую ему, подобно Толстому, не удалось изменить. Он всю жизнь, как в ознобе, продрожал под ударами и тисками нечеловеческой руки, кривлялся и извивался в пожатии каменной десницы с того света, лишь делая испуганно вид, что живет и ощущает со всеми и подобно всем. Иго и одновременная потребность одиночества и умение пребывать в нем независимо от всего окружающего — неожиданно сближают неподвижную фигуру Толстого с суетливой фигуркой Розанова. Есть аналогия и в конечных этапах их жизни; у Толстого смерть на пути в Оптину Пустынь; у Розанова — Сергиев Посад...

Можно ли походить на Достоевского или Соловьева, найти людей лично схожих с ними? Конечно нет. Они и индивидуально сложны, и переменчивы, и уже очень определены профессией: Достоевский — журнальной богемой, Соловьев — ученой. Но быть в т и п е Толстого или Розанова — это возможно и понятно. В русской типологии — их личности определенны и даже классичны. Всякий, хотя бы, средний русский человек, если только он схвачен «томлением духа», должен в той или иной мере, на какой либо ступени своего духовного развития, пройти сквозь один из двух, а может быть и через оба типа религиозного опыта. Ведь между пафосом этического монизма, так часто самозамыкающимся в тупиках рациональных принципей, и неистовством мистагогии (граничащей с нигилизмом) всегда качалась и будет качаться стихия русского богосознания. Достоевский — роздал себя своим же героям. В итоге, за всеми призрачными персонажами, проблемами и идеями его романов, его личность развоплощается и гибнет. Рядом с галлереей фигур и вымыслов Достоевского, чудовищно-гипертрофированных и диспропорциональных, — сама биография их заклинателя и автора, становится неинтересной. Достоевский остается «сочинителем» даже в своих дневниках и статьях, в противо-

положность Толстому, который оголенно проступает за спиной каждого выводимого им лица. Фантомы и порождения Достоевского отняли у него право говорить от самого себя, от собственного местоимения. Но уничтожив свое *я*, Достоевский, в то же время, не смог до конца реализоваться в создаваемом им искусственном мире. Его герои лишь недовоплощенные призраки, бесы, маски от имени которых плетется сложная и путанная диалектическая сеть абстрактной философии. Романы Достоевского — не запечатленные куски жизни — а инсценированные психологемы. Все творчество его движимо каким то магическим потоком психоаналитической импровизации, разжигающейся по инерции и по пути расширяющейся в сложные спекулятивные построения. В этом процессе есть покоряющая властность, но конечного *доверия* к себе — мир Достоевского не вызывает. Возникает сомнение: а может быть весь этот кошмар неправдоподобен, в самом существенном смысле слова — *не верен*. А что, если многообразие психологических коллизий, надрывов и истончений «Подростка», «Бесов», и «Братьев Карамазовых» есть лишь чудовищно-гениальный, актерский поклеп, возводимый одним человеком на всех остальных ему *не* подобных? Пусть самые идеи Достоевского верны и общечеловечны, но разве именно *так*, в аспекте «достоевщины», живут они действительно в людях?... И если только отдаться подобным сомнениям, то подлинность и достоверность психологического материала Достоевского безнадежно опорачивается, и исчезает гарантия опытной правды его «откровений».

В этом отношении Розанов противоположен Достоевскому. Он не разыгрывает мелодрам из воображения; подобно Толстому, ему чужд процесс автоматической импровизации. Он только «накрывает» и судорожно фиксирует свои наблюдения над собой, что и определяет фрагментарность его литературных приемов. Это же свойство так часто делало Толстого косноязычным и стилистически беспомощным. Ведь именно Толстой, а не Достоевский, — как принято считать — обладает трудным слогом. Достоевский — в сущности и многоречив и *красноречив*. Не этим-ли определяется любовь Достоевского к разного рода законченным формам речей, исповедей и декламации...

Но зато обнаженность и подлинность Толстого и Розанова, их свидетельства о душевном дне человека пожалуй не имеют себе равных. Они являются действительными суб'ектами небывалых че-

ловеческих исповедей, тогда как Достоевский сплошь и рядом может сам служить об'ектом научного медицинского рассмотрения и анализа.

Каждый человек — в целом — всегда определяется каким либо из своих возрастных этапов; характерные черты и существо каждой личности находят себе наиболее острое выражение в ту или иную пору жизни. Есть люди юношеского типа, есть зрелого и старческого. Толстой и Розанов — люди юношеского типа. Оба они в сущности так и не смогли духовно созреть и состариться, растянув на всю жизнь Sturm - und - Drangperiode своей молодости. Отсюда, при кажущейся сложности, — действительная элементарность их духовного процесса, бурная статичность вместо углубляющего развития, вызывающая запальчивость их общественных выступлений.

Развитию и созреванию Толстого помешало отсутствие духовной благодати. У Розанова был недостаток духовной сухости и четкости. Поэтому и остались они, каждый по своим немощам, лишь «около церковных стен». Но отлучая Толстого и в то же время мирясь с Розановым — православная иерархия показала, несмотря на кажущуюся непоследовательность, и справедливое чутье и мудрость. Это и оправдалось — опять таки в биографии Розанова: вскоре после появлений «Апокалипсиса» он умер примиренный с церковью.

Розанов — юродствовал и кощунствовал *на людях,* в гуще церковной и приходской обывательщины, топтался и задирался среди людей, которые были по отношению к церкви «своими». Он чувствовал церковную массу, тянулся к давке и духоте церквей, жался к церковным службам. Это давало ему какое то право на ересь и вольномыслие. А представить себе Толстого в церковной толпе просто невозможно. Он прежде отлучения сам отделил себя не только от православного вероучения, но и от церковной толпы и оказался в трагическом уединенном плену, у своего же собственного беспомощного аскетизма. Церковь как бы подтвердила только его одиночество и оторванность. И все же, как строгий, коренастый Толстой, так и распущенный, щуплый Розанов — являются подлинными и единственными духовными гениями предреволюционной поры.

Религиозно-философское движение 90-900 гг., возникшее на почве эпигонных обработок проблем и идей Достоевского-Соловьева, — возлагавшейся на него исторической миссии совершить не сумело. Революция оттеснила и оборвала эту традицию. Одни ея представители — онемели; другие, — и именно те, что больше других приложили руку к революции — задыхаются от злобы. Лишь Н. Бердяев, обогатившийся новым церковным и социальным опытом, сохраняя, прежнюю установку, тем не менее чутко и остро переживает надвигающуюся эпоху.

Революция разоблачила многое; и прежде всего тех, для кого, выражаясь словом нынешних формалистов, Бог был приемом, все равно литературным, или стерильно диалектическим. Среди стольких пустоцветов и несостоявшихся духоводителей, только Толстой и Розанов — своим человеческим ростом — могут действительно учительствовать в будущее. Но это будущее должно, обновлением всей культурной традиции, застраховаться и от возможности новых срывов, подобно тем, что пережили Толстой и Розанов. Эти срывы суть факты не только биографические, но и культурно исторические. Религиозным типам Толстого и Розанова постигшие их катастрофы не имманентны. В другое время их духовных данных хватило бы на большее; и страсть к правде Толстого и розановская «богосвязанность» вывели бы их к иной, высшей цели.

П. П. Сувчинский

Къ читателю

Мною съ 15-го ноября будутъ печататься двухъ недѣльные или ежемѣсячные выпуски подъ общимъ заголовкомъ: «Апокалипсисъ нашего времени». Заглавіе не требующее объясненій, въ виду событій, носящихъ не мнимо апокалипсическій характеръ, но дѣйствительно апокалипсическій характеръ. Нѣтъ сомнѣнія, что глубокій фундаментъ всего теперь происходящаго въ томъ, что въ европейскомъ (всемъ, — и въ томъ числѣ русскомъ) человѣчествѣ образовались колоссальныя пустоты отъ былого христіанства; и въ эти пустоты проваливается все: троны, классы, сословія, трудъ, богатства. Все потрясено, всѣ потрясены. Всѣ гибнутъ, все гибнетъ. Но все это проваливается въ пустоту души, которая лишилась древняго содержанія.

Выпуски будутъ выходить маленькими книжками.

Складъ въ книжномъ магазинѣ М. С. Елова, Сергіевъ Посадъ, Московск. губ.

АПОКАЛИПСИСЪ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

ВЫПУСКЪ ПЕРВЫЙ

1. Разсыпанное царство. 2. Какъ мы умираемъ.

Разсыпанное счастье

Филаретъ Святитель Московскій былъ послѣдній (не единственный-ли?) великій іерархъ Церкви Русской.. «Былъ крестный ходъ въ Москвѣ. И вотъ всѣ прошли, — архіереи, митрофорные іереи, купцы, народъ: пронесли иконы, пронесли кресты, пронесли хоругви. Все кончилось, почти... И вотъ поодаль отъ послѣдняго народа шелъ онъ. Это былъ Филаретъ».

Такъ разсказывалъ мнѣ одинъ старый человѣкъ. И прибавилъ, указывая отъ полу — на крошечный ростъ Филарета:

— «И я всѣхъ забылъ, все забылъ: и какъ вижу сейчасъ — только его одного».

Какъ и я «все забылъ» въ Московскомъ университетѣ. Но помню его глубокомысленную подпись подъ своимъ партретомъ въ актовой залѣ.

Слова, выговоры его были разительны. Совѣты мудры (императору, властямъ). И весь онъ былъ великолѣпенъ.

Единственный...

Но что-же «опрежъ того» и «потомъ»? — незамѣтное, дробн. «Мы ихъ видѣли» (отчасти). Nota bene. Всѣ сколько-нибудь выдающіеся были уже съ «ересью потаенною». Незамѣтно, безмолвно, но съ ересью. Тогда — какъ Филаретъ былъ «во всемъ правъ».

Онъ даже Синодъ чтилъ. Былъ «сознательный синодалъ». И Николая Павловича чтилъ — хотя отъ него-же былъ «уволенъ въ отпускъ отъ Синода и не появлялся никогда тамъ» *). Тутъ — не въ церкви, но въ императорствѣ — уже совершился или совершался переломъ, надломъ. Какъ было великому Государю, и столь консервативному, не содѣлать себѣ ближнимъ совѣтникомъ величайшій и тоже консервативный умъ перваго церковнаго свѣтила за всю судьбу Русской Церкви?

Разошлись по мелочамъ. Правъ этотъ бѣсъ Гоголь.

Между тѣмъ Пушкинъ, Жуковскій, Лермонтовъ, Гоголь, Филаретъ — какое осіяніе Царства. Но Николай хотѣлъ одинъ сіять «со своимъ другомъ Вильгельмомъ-Фридрихомъ» которымъ-то. Это былъ

---

*) Столкновеніе съ оберъ-прокуроромъ, генераломъ Протасовымъ. «Шпоры генерала цѣпляются за мою мантію», выразился Филаретъ заочно. Это было донесено Государю.

плосскій баранъ, запутавшійся въ терновникѣ, и уже пріуготованный къ закланію (династія).

И вотъ рушилось все, разомъ, царство и церковь. Попамъ лишь непонятно, что церковь разбилась еще ужаснѣе, чѣмъ царство. Царь выше духовенства. Онъ не ломался, не лгалъ. Но видя, что народъ и солдатчина такъ ужасно отреклись отъ него, такъ предали (ради гнусной распутинской исторіи), и тоже — дворянство (Родзянко), какъ и всегда фальшивое «представительство», и тоже — и «господа купцы», — написалъ просто, что въ сущности онъ отрекается отъ такого подлаго народа. И сталъ (въ Царскомъ) колоть ледъ. Это разумно, прекрасно и полномочно.

«Я человѣкъ хотя и маленькій, но у меня тоже 32 ребра» («Дѣтскій міръ»).

Но Церковь? Этотъ-то Андрей Уфимскій? Да и всѣ. Раньше ихъ было «32 іерея» съ желаніемъ «свободной церкви» «на канонахъ поставленной». Но теперь всѣ 33333... 2...2...2...2 іерея и подъ-іерея и сверхъ-іерея подскочили подъ-соціалиста, подъ-жида и не подъ-жида *); и стали вопіять, глаголать и сочинять, что «церковь Христова и всегда была въ сущности соціалистической», и что особенно она ужъ никогда не была монархической, а вотъ только Петръ Великій «принудилъ насъ лгать».

Русь слиняла въ два дня. Самое большее — въ три. Даже «Новое Время» нельзя было закрыть такъ скоро, какъ закрылась Русь. Поразительно, что она разомъ разсыпалась вся, до подробностей, до частностей. И, собственно, подобнаго потрясенія никогда не бывало, не исключая «Великаго переселенія народовъ». Тамъ была — эпоха, «два или три вѣка». Здѣсь — три дня, кажется, даже два. Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска, и не осталось рабочаго класса. Что-же осталось-то? Страннымъ образомъ — буквально ничего.

Остался подлый народъ, изъ коихъ вотъ одинъ, старикъ лѣтъ 60-ти, «и такой серьезный», Новгородской губерніи, выразился: «изъ бывшаго царя надо бы кожу по одному ремню тянуть». Т. е. не сразу сорвать кожу, какъ индійцы скальпель, но надо по-русски вырѣзывать изъ его кожи ленточка за ленточкой.

И что ему царь сдѣлалъ, этому «серьезному мужичку» **).

Вотъ и Достоевскій...

---

*) Пишу безъ порицанія и ироніи, а лишь въ томъ оттѣненіи, что для духовенства и въ его словооборотахъ они всегда были въ уничижительно-презрѣнномъ смыслѣ «жидами». Но дѣло поворачивается къ Апокалипсису, съ его «пѣснью Моисея, раба Божія», и объ нихъ еще долгіе сказы, — какъ оказывается, — болѣе долгіе, чѣмъ о нашей несчастной Руси.

**) Разсказъ мнѣ въ мѣстечкѣ Суда (станція Николаевской ж. - д.) Новгородской губ., г-жи Непениной, жены управляющаго хозяйственною частью «Нов. Времени».

Вотъ тебѣ и Толстой, и Алпатычъ, и «Война и Миръ».

Что - въ сущности произошло? Мы все шалили. Мы шалили подъ солнцемъ и на землѣ не думая, что солнце видитъ и земля слушаетъ. Серьезенъ никто не былъ, и, въ сущности, цари были серьезнѣе всѣхъ, такъ - какъ даже Павелъ, при его способностяхъ, еще «трудился» и былъ рыцарь. И, какъ это нерѣдко случается, — «жертвою палъ невинный». Вѣчная исторія и все сводится къ Израилю и его тайнамъ. Но оставимъ Израиля, сегодня дѣло до Руси. Мы въ сущности играли въ литературѣ. «Такъ хорошо написалъ». И все дѣло было въ томъ, что «хорошо написалъ», а что «написалъ» — до этого никому дѣла не было. По *содержанію* литература русская есть такая мерзость, — такая мерзость безстыдства и наглости, — какъ ни единая литература. Въ большомъ Царствѣ, съ большою силою, при народѣ трудолюбивомъ, смышленномъ, покорномъ, — что она сдѣлала? Она не выучила и не внушила выучить — чтобы этотъ народъ хотя научили гвоздь выковывать, серпъ исполнить, косу для косьбы сдѣлать («вывозимъ косы изъ Австріи», — географія). Народъ росъ совершенно первобытно съ Петра Великаго, а литература занималась только, «какъ они любили» и «о чемъ разговаривали». И всѣ «разговаривали» и только «разговаривали», и только «любили» и еще «любили».

Никто не занялся тѣмъ (и я не читалъ въ журналахъ ни одной статьи, — и въ газетахъ тоже ни одной статьи), что въ Россіи нѣтъ ни одного аптекарскаго магазина, т. е. сдѣланнаго и торгуемаго русскимъ человѣкомъ, — что мы не умѣемъ изъ морскихъ травъ извлекать іоду, а горчишники у насъ «французскіе», потому что русскіе все-человѣки не умѣютъ даже намазать горчицы разведенной на бумагу съ закрѣпленіемъ ея «крѣпости», «духа». Что же мы умѣемъ? А вотъ, видите ли, мы умѣемъ «любить» какъ Вронскій Анну и Литвиновъ Ирину и Лежневъ Лизу и Обломовъ Ольгу. Боже, но любить нужно въ семьѣ; но въ семьѣ мы кажется не особенно любили, и, пожалуй, тутъ тоже вмѣшался чертовъ бракоразводный процессъ («люби по долгу, а не по любви»). И вотъ церковь-то первая и развалилась, и, ей-ей, это кстати и «по закону»...

Какъ мы умираемъ?

Ну, что-же: пришла смерть и значитъ пришло время смерти.

Смерть, могила для 1/6 части земной суши. «Простое этнографическое существованіе для былого Русскаго Царства и имперіи», о которомъ уже поговариваютъ, читаютъ лекціи, о которомъ могутъ думать, съ которымъ въ сущности мирятся. Какіе-то «полабскіе славяне», въ которыхъ преобразуется *былая* Русь.

«*Былая* Русь»... Какъ это выговорить? А уже выговаривается.

Печаль не въ смерти. «Человѣкъ умираетъ не когда онъ со-

зрѣлъ, а когда онъ доспѣлъ». Т. е. когда жизненные соки его пришли къ состоянію, при которомъ смерть становится необходима и неизбѣжна.

Если нѣтъ смерти человѣка «безъ воли Божіей», то какъ мы могли-бы допустить, могли-бы подумать, что можетъ настать смерть народная, царственная «безъ воли Божіей»? И въ этомъ весь вопросъ. Значитъ, Богъ не захотѣлъ болѣе быть Руси. Онъ гонитъ ее изъ подъ солнца. «Уйдите, ненужные люди».

Почему мы «ненужные»?

Да ужъ давно мы писали въ «золотой своей литературѣ»: «Дневникъ *лишняго* человѣка», «Записки *ненужнаго* человѣка». Тоже — «*празднаго* человѣка». Вы думали «*подполья*» всякія... Мы какъ-то прятались отъ свѣта солнечнаго, точно стыдясь за себя.

Человѣкъ, который стыдится себя? — развѣ отъ него не стыдится солнце? Солнышко и человѣкъ — въ связи.

Значитъ, мы «не нужны» въ подлоснечной и уходимъ въ какую-то ночь. Ночь. Небытіе. Могила.

Мы умираемъ какъ фанфароны, какъ актеры. «Ни креста, ни молитвы». Ужъ если при смерти чьей нѣтъ креста и молитвы — то это у русскихъ. И странно. Всю жизнь крестились, богомолились: вдругъ смерть — и мы сбросили крестъ. «Просто, какъ православнымъ человѣкомъ русскій никогда не живалъ». Переходъ въ соціализмъ и значитъ въ полный атеизмъ совершился у мужиковъ, у солдатъ до того легко, точно «въ баню сходили и окатились новой водой». Это — совершенно точно, это дѣйствительность, а не дикій кошмаръ.

Собственно, отчего мы умираемъ? Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, — какъ выразить въ одномъ словѣ, собрать въ одну точку? Мы умираемъ отъ единственной и основательной причины: *неуваженія себя.* Мы собственно самоубиваемся. Не столько «солнышко насъ гонитъ», сколько мы сами гонимъ себя. «Уйди ты, чертъ».

Нигилизмъ... Это и есть нигилизмъ, — имя, которымъ давно окрестилъ себя русскій человѣкъ, или, вѣрнѣе — имя, въ которое онъ раскрестился.

— Ты кто? блуждающій въ подсолнечной?

— Я нигилистъ.

— Я только *дѣлалъ видъ*, что молился.

— Я только дѣлалъ видъ, что *живу въ царствѣ.*

— На самомъ дѣлѣ — я самъ себѣ свой человѣкъ.

— Я рабочій трубочнаго завода, а до остального мнѣ дѣла нѣтъ.

— Мнѣ-бы поменьше работать.

— Мнѣ-бы побольше гулять.

— А мнѣ-бы не воевать.

И солдатъ бросаетъ ружье. Рабочій уходитъ отъ станка.

— Земля — она должна сама родить.

И уходитъ отъ земли:

— Извѣстно, земля Божія. Она всѣмъ поровну.

Да, но не Божій ты человѣкъ. И земля, на которую ты надѣешься, ничего тебѣ не дастъ. И за то, что она не дастъ тебѣ, ты обагришь ее кровью.

Земля есть Каинова и земля есть Авелева. И твоя, русскій, земля Каинова. Ты проклялъ свою землю и земля прокляла тебя. Вотъ нигилизмъ и его формула.

И солнышко не свѣтитъ на чернаго человѣка. Черный человѣкъ ему не нуженъ.

Замѣчательно, что мы уходимъ въ землю упоенные. Мы начинали войну самоупоенные: помните, этотъ августъ мѣсяцъ, и встрѣчу Царя съ народомъ, гдѣ было все притворно? И побѣды, — гдѣ самая замѣчательная была побѣда казака Крючкова, по обыкновенію отрубившаго семь головъ у нѣмцевъ. И это Меньшиковское храброе — «Должны побѣдить». И Долиной — побѣдные концерты, въ циркѣ Чинизелли и потомъ въ Царскомъ. Да почему «должны побѣдить»? Побѣда создается не на войнѣ, а въ мирное время. А мы въ мирное время ничего не дѣлали, и ужъ если что мы знали хорошо, то это — то, что ровно ничего не дѣлаемъ. Но дальше — еще лучше. Ужъ если чѣмъ мы упились восторженно, то это — революціей. «Полное исполненіе желаній». Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ: чѣмъ мы не сыты. «Ужъ самъ жаждущій когда утолился, и голодный — насытился, то это въ революціи». И вотъ еще не износилъ революціонеръ первыхъ сапоговъ — какъ трупомъ валится въ могилу. Не актеръ-ли? Не фанфоронъ-ли? И гдѣ-же наши молитвы? и гдѣ-же наши кресты? «Ни одинъ попъ не отпѣлъ-бы такого покойника».

Это колдунъ, оборотень, а не живой. Въ немъ живой души нѣтъ и не было.

— Нигилистъ.

О нигилистахъ панихидъ не правятъ. Ограничиваются: «ну его къ черту».

Окаянна была жизнь его, окаянна и смерть.

1/6 часть суши. Упоенная революція, какъ упоенна была и война. «Мы побѣдимъ». О, непремѣнно. Такъ не есть-ли это страшный фактъ, что 1/6 часть суши какъ-то все произращала изъ себя «волчцы и терніи», пока солнышко не сказало: «мнѣ не надо тебя». «Мнѣ надоѣло свѣтить на пустую землю».

Нигилизмъ. — «Что-же растетъ изъ тебя»?

— Ничего.

Надъ «ничего» и толковать не о чемъ.

— Мы не уважали себя. Суть Руси, что она не уважаетъ себя.

Это понятно. Можно уважать трудъ и потъ, а мы не потѣли и не трудились. И то, что мы не трудились и не потѣли, и есть источникъ, что земля сбросила насъ съ себя, планета сбросила.

По заслугамъ-ли?

Слишкомъ.

Какъ 1.000 лѣтъ существовать, прожить княжества, прожить царство, имперію, со всѣми придти въ связь, надѣть плюмажи, шляпу, сдѣлать богомольный видъ: выругаться, соятственно — выругать самого себя «нигилистомъ» (потому-что по нормальному это вѣдь есть ругательство) и умереть.

Россія похожа на ложнаго генерала, надъ которымъ какой-то ложный попъ поетъ панихиду. «На самомъ-же дѣлѣ это былъ бѣглый актеръ изъ провинціальнаго театра».

Самое разительное и показующее все дѣло, всю суть его, самую сутеньку — заключается въ томъ, что «ничего въ сущности не произошло». «Но все — разсыпалось». Что такое совершилось для паденія Царства? Буквально, — оно пало въ будень. Шла какая-то «середа», ничѣмъ не отличаясь отъ другихъ. Ни — воскресенья, ни — субботы, ни хотя-бы мусульманской пятницы. Буквально, Богъ плюнулъ и задулъ свѣчу. Не хватало провизіи и около лавочекъ образовались хвосты. Да была оппозиція. Да царь скапризничалъ. Но когда же на Руси «хватало» чего-нибудь безъ труда еврея и безъ труда нѣмца? когда-же у насъ не было оппозиціи? и когда царь не капризничалъ. О, тоскливая пятница или понедѣльникъ, вторникъ...

Можно-же умереть такъ тоскливо, вонюче, скверно. — «Актеръ, ты-бы хоть жестъ какой сдѣлалъ. Вѣдь ты всегда былъ «съ готовностью на Гамлета». «Помнишь свои фразы? А то даже Леонидъ Андреевъ ничего не выплюнулъ. Полная проза».

Да, ужъ если что «скучное дѣло», то это — «паденіе Руси».

Задуло свѣчку. Да это и не Богъ, а... шла пьяная баба, спотыкнулась и растянулась. Глупо. Мерзко. «Ты намъ трагедіи не играй, а подавай водевиль».

ВЫПУСКЪ ВТОРОЙ

1. Мое предвидѣніе. 2. Послѣднія времена.

Мое предвидѣніе

Я прочелъ въ «Новомъ Времени», въ передовой статьѣ, что «съ Германіею Россія можетъ заключить миръ *хоть сейчасъ*, если уступитъ ей Курляндію и Лифляндію съ Ригою, и еще нѣкоторыя части отечественной территоріи. Думаю, что это изъ тѣхъ опасныхъ иллюзій, за которыя мы вообще уже столько поплатились. Не будемъ даже вспоминать слова Бисмарка, что «побѣжденному побѣдитель оставляетъ только глаза, чтобы было чѣмъ плакать». Это совсѣмъ не нужно, т. е. припоминаній о Бисмаркѣ. Но нельзя представить себѣ, чтобы Германія, потерявъ, во всякомъ случаѣ, нѣсколько милліоновъ не населенія вообще, а той отборной части населенія, которую образуетъ армія, удовлетворилась крошечною территоріею съ такимъ-же числомъ только населенія. Нельзя вообще представить себѣ, чтобы Германія подъяла войну такой страшной опасности и риска, такой невѣроятной тяжести, ради разсчета на такое смѣхотворное пріобрѣтеніе. Несомнѣнно, она только успокаиваетъ насъ иллюзіей мира; и почти это входитъ въ составъ ея жестокости. Какъ это нужно и для побалованья и духовнаго обмана глупыхъ россійскихъ соціалистовъ. Какъ послѣдній аргументъ своей мысли, я беру то, что для Германіи, — оставь она цѣлою Россію и, такъ сказать, способною къ выздоровленію, — она, конечно, еще никогда не увидитъ ее столь беззащитной, съ арміею, которая просто кидаетъ оружіе и уходитъ домой. И воображать, что Германія не разработаетъ этотъ исключительный, этотъ невѣроятный случай, никогда ей и не мечтавшійся, со всѣмъ богатствомъ возможностей, со всѣмъ обиліемъ плода, — это просто показываетъ, что мы совершенные дѣти въ политикѣ.

Я имѣю самыя печальныя предчувствія. Я думаю, она разработаетъ дѣло въ смыслѣ уже былого факта, такого же: именно — какъ было нѣкогда *завоеваніе Англіи норманами*. И Вильгельмъ, не мечтая нисколько о незаманчивой роли Наполеона, съ заключеніемъ на о-вѣ св. Елены, манится гораздо болѣе удачнымъ жребіемъ второго Вильгельма Завоевателя. Конечно, — послѣ Петрограда онъ двинется на Москву, на Волгу, и завоюетъ *именно Великороссію*, какъ центръ «Всея Руси», послѣ чего захватитъ и Малороссію съ Новороссіей, — причемъ ему и

вознаградить союзника будетъ изъ чего. Мы вообще стоимъ передъ фактомъ завоеванія Россіи, покоренія Россіи, — къ чему *препятствій вѣдь нѣтъ*. А таковое отсутствіе препятствій къ покоренію Россіи конечно никогда на протяженіи всей германской исторіи не повторится. И это не трудно предвидѣть, предсказать; и это въ Берлинѣ предвидится также хорошо, какъ — если бы были позорче люди въ Петроградѣ — можно было бы предвидѣть и въ Петроградѣ.

Защита Англіи и Франціи? Это такъ далеко. Не дессантъ-же имъ дѣлать. Да и Германія теперь дессанта уже не пропуститъ. Это вполнѣ въ ея власти, при владѣніи проливами около Эзеля и Даго. Да, освободивъ часть арміи изъ Россіи, она представитъ такую угрозу и самой Франціи и Англіи, съ какою имъ справиться будетъ чрезвычайно трудно. А, во всякомъ случаѣ, черезъ самое небольшое число лѣтъ, обогатившись всѣми средствами Россіи, и, между прочимъ, пользуясь и ея людскимъ матерьяломъ (вотъ у нѣмцевъ русскіе солдаты и былые соціалисты пойдутъ въ сраженія!), Германія несомнѣнно расправится и съ Франціею, и съ Англіею, и съ Италіею. И моя почти шутливая игра воображенія «Итальянскихъ впечатлѣній»: — «Возможный гегемонъ *Европы*» (отдѣльная глава) — осуществится. Уже тогда было что-то такое въ Берлинѣ, что-то носилось въ самомъ воздухѣ, почему чувствовалось это. Да и пѣсенка: «**Deutschland, Deutschland — über alles**», можетъ быть была не столько реально-глупою, сколько вывѣренно-пророчественною, сколько жаднымъ аппетитомъ. Германскій волкъ золъ и толстъ. И нашей бѣдной Россіи, стоящей передъ нимъ такимъ пушистымъ ягненкомъ, онъ не пощадитъ. А ягненокъ совершенно беззащитенъ.

Хороши-же соціалисты и вообще всероссійская демократія: скормить, все отечество скормить, лютѣйшему врагу. Скормить не въ переносномъ смыслѣ, а въ буквальномъ. Но нельзя не сказать хороши и «лучшіе люди Россіи», начинавшіе революцію въ такую роковую войну, и, какъ оказалось потомъ, ничего рѣшительно не предвидѣвшіе. Ленинъ и соціалисты оттого и мужественны, что знаютъ, что ихъ некому будетъ судить, что судьи будутъ отсутствовать, такъ-какъ они будутъ съѣдены. (*Октябрь*).

Послѣднія времена

Не довольно-ли писать о нашей вонючей Революціи, — и о прогнившемъ насквозь Царствѣ, — которыя во-истину стоятъ другъ друга. И — вернуться къ временамъ стройнымъ, къ временамъ отвѣтственнымъ, къ временамъ страшнымъ...

Вотъ — Апокалипсисъ... Таинственная книга, отъ которой обжигается языкъ, когда читаешь ее, не умѣетъ сердце дышать... умираетъ весь составъ человѣческій, умираетъ и вновь воскресаетъ... Онъ открывается съ первыхъ же строкъ *судомъ надъ церквами*

Христовыми, — тѣми, которыя были въ Малой Азіи, въ Лаодикіи, въ Смирнѣ, въ Ѳіатирѣ, въ Пергамѣ и другихъ городахъ. Но, очевидно, не Лаодикія, не Пергамъ, и проч., лежащія нынѣ въ руинахъ, на самомъ дѣлѣ имѣютъ значеніе для «послѣднихъ временъ», какіе имѣлъ въ виду написатель странной книги. Но онъ разсмотрѣлъ посаженное Христомъ дерево, и уловилъ съ неизъяснимою для себя и для времени глубиною, что оно — *не* Дерево жизни; и предрекъ его судьбу въ то самое время, въ которое церкви только-что зарождались.

Никакого нѣтъ сомнѣнія, что Апокалипсисъ — не христіанская книга, а — противо-христіанская. Что «Христосъ» упоминаемый — хотя немного — въ немъ, «съ мечомъ, исходящимъ изъ устъ его», и съ ногами «какъ изъ камня сардиса и халкедона», — ничего-же не имѣетъ общаго съ повѣствуемымъ въ Евангеліяхъ Христомъ. Въ устроеніи Неба — ничего-же общаго съ какими-бы то ни было представленіями христіанскими. Вообще — «все новое»... Тайнозритель Самъ, волею своею и вспомоществующею ему Божіею волею, — срываетъ звѣзды, уничтожаетъ землю, все наполняетъ развалинами, все разрушаетъ: разрушаетъ — христіанство, страннымъ образомъ «плачущее и вопіющее», безсильное и никѣмъ не вспомоществуемое. И — сотворяетъ новое, какъ *утѣшеніе*, какъ «утертыя слезы» и «облеченіе въ *бѣлыя* одежды». Сотворяетъ радость жизни, на землѣ, — *именно на землѣ*, — превосходящую какую-бы то ни было радость, изжитую въ исторіи и испытанную человѣчествомъ.

Если-же окинуть всю вообще компановку Апокалипсиса, и спросить себя: — «да въ *чемъ*-же дѣло, какая *тайна* суда надъ церквами, откуда *гнѣвъ, ярость*, прямо ревъ Апокалипсиса» (ибо это книга ревущая и стонущая), то мы какъ разъ уткнемся въ наши времена: да — въ *безсиліи* христіанства устроить жизнь человѣческую, — дать «земную жизнь», именно — земную, тяжелую, скорбную. Что и выразилось къ нашей минутѣ, — именно къ нашей, теперешней... въ которую «Христосъ не провозитъ хлѣба, а — желѣзныя дороги» выразимся уже мы цинично и грубо. Христіанство вдругъ всѣ позабыли, въ одинъ моментъ, — мужики, солдаты, — потому-что оно *не вспомоществуетъ;* что оно не предупредило ни войны, ни безхлѣбицы. И только все поетъ, и только все поетъ. Какъ пѣвичка. «Слушали мы васъ, слушали. И перестали слушать».

Ужасъ, о которомъ еще не догадываются, больше, чѣмъ онъ есть: что не грудь человѣческая сгноила христіанство, а что христіанство сгноило грудь человѣческую. Вотъ ревъ Апокалипсиса. Безъ этого не было-бы «земли новой» и «неба новаго». Безъ этого не было-бы вообще Апокалипсиса.

Апокалипсисъ требуетъ, зоветъ и велитъ новую религію. Вотъ его суть. Но что-же такое, что случилось?

Ужасно апокалипсично («сокровенно»), ужасно странно: что

люди, народы, человѣчество — *переживаютъ апокалипсическій кризисъ*. Но что само христіанство кризиса не переживаетъ. Это до того очевидно, до того читается въ самомъ Апокалипсисѣ, вотъ «въ самыхъ этихъ его строкахъ», что поразительно, какимъ образомъ ни единый изъ читателей и безчисленныхъ толкователей, этого совершенно не замѣтилъ. Народы «поютъ новую пѣснь», утѣшаются, облекаются въ бѣлую одежду и ходятъ «къ древу жизни», на «источники водъ». Куда ни папы, ни прежніе священники вовсе никого не водили.

Блудницы вопіютъ. Первосвященники плачутъ. Цари стонутъ. Народы извиваются въ мукахъ: но — *остатокъ отъ народа* спасается и получаетъ величайшее утѣшеніе, въ которомъ, однако, ни одной черты христіанскаго, — христіанскаго и церковнаго, — уже не сохраняется.

Но что-же, что-же это такое? почему Тайнозритель такъ очевидно и неоспоримо говоритъ, что *человѣчество переживетъ* «свое христіанство» и *будетъ еще долго послѣ него жить:* судя по изображенію, ничѣмъ не оканчивающемуся, — безконечно долго, «вѣчно».

Проведемъ параллели:

Евангеліе — рисуетъ

Апокалипсисъ — ворочаетъ массами, глыбами творитъ.

Въ образахъ, которые силою превосходятъ евангельскія картины, а красотою не уступаютъ имъ, и которые пронзительны, кричатъ и вопіютъ къ небу и землѣ, онъ говоритъ, что еще не перешедшія за городки Малой Азіи церковки, — первыя общины христіанскія, — распространяются во всей Вселенной, по всему міру, по всей землѣ. И въ моментъ, когда настанетъ полное и казалось-бы окончательное торжество христіанства, когда «Еванлегіе будетъ проповѣдано всей твари», — оно падетъ сразу и все, со своими царствами, «съ царями помогавшими ему», и — «восплачутъ его первосвященники». И что среди полнаго крушенія настанетъ совершенно «все новое», при «падающихъ звѣздахъ» и «небѣ, свившемся какъ свитокъ». «Перестанетъ небо», «перестанетъ земля», и станетъ «все новое», ни на что прежнее *не похожее*. Сказать это за 2.000 лѣтъ, предречь съ нѣкоторыми до буквальности теперь сбывающимися исполненіями, перенесясь черезъ всю христіанскую исторію, какъ-бы пронзя «рогомъ» такую толщу временъ и необъятность событій, — это до того странно, невѣроятно, что никакое изъ рѣченій человѣческихъ по-истинѣ не идетъ въ сравненіе. Апокалипсисъ — это событіе. Апокалипсисъ — это не слово. Что-то похоже на то, что Вселенная изрыгнула его сейчасъ послѣ того, какъ другой Учитель тоже Вселенной проговорилъ свои вѣщія и грозныя слова, тоже въ первый разъ произнеся «судъ міру сему».

И вотъ — два суда: изъ Іерусалима о самомъ этомъ Іерусалимѣ, главнымъ образомъ — объ Іерусалимѣ; и съ острова Патмоса — надъ Вселенною, которую научилъ тотъ Учитель.

Нѣтъ-ли разницы въ самой компановкѣ словъ? И, хоть это очень странно спрашивать о такихъ событіяхъ-словахъ: нѣтъ-ли чего *показующаго для души въ стилѣ литературнаго изложенія?*

Евангеліе — человѣческая исторія, намъ разсказанная; исторія Бога и человѣка; «богочеловѣческій процессъ» и «союзъ».

Апокалипсисъ какъ-бы кидаетъ этотъ «богочеловѣческій союзъ» — какъ негодное, — какъ изношенную вещь.

Но фундаментъ? фундаментъ? Но — почему? почему?

Въ образахъ до такой степени чрезмѣрныхъ, что даже Книга Іова кажется около него безсиліемъ и изнеможеніемъ, что даже «сотвореніе міра и человѣка» въ Книгѣ Бытія — тоже тускло и слабо, блѣдно и безкровно, онъ именно *въ структурѣ могущества и показываетъ суть свою.* Онъ какъ-бы реветъ «въ концѣ временъ», для «конца временъ», для «послѣдняго срока человѣчества»:

Безсиліе.

Конецъ міра и человѣчества будетъ таковъ, потому-что Евангеліе есть книга изнеможеній.

Потому-что есть:

мочь

и — **не** мочь.

И что Христосъ пострадалъ и умеръ за

не мочь... хотя-бы и былъ въ полной и абсолютной **истинѣ.**

Христіанство — неистинно; но оно — не мочно.

И образъ Христа, начертанный въ Евангеліяхъ, — вотъ именно такъ, какъ тамъ сказано, со всею подробностью, съ чудесами и прочее, съ явленіями и т. под., не являетъ ничего однако, кромѣ *немощи, изнеможенія...*

Апокалипсисъ какъ-бы спрашиваетъ: да, Христосъ могъ описывать «красоту полевыхъ лилій», призвать слушать себя «Марію, сестру Лазаря»; но Христосъ не посадилъ дерева, не выростилъ изъ себя травки: и вообще онъ «безъ *зерна* міра», безъ — *ядеръ, безъ — икры;* не травянистъ, не животенъ; въ сущности — не бытіе, а — почти призракъ и тѣнь; какимъ-то чудомъ пронесшаяся по землѣ. Тѣнистость, тѣнность, пустынность Его, небытійственность — сущность Его. Какъ будто это — только Имя, «разсказъ». И что «послѣднія времена» потому и покажутся такъ страшны, покажутся до того невѣроятно-ужасны, такъ вопіюще «голодны», а сами люди превратятся въ какихъ-то «скорпіоновъ, жалящихъ самихъ себя и одинъ другого», что вообще-то — «ничего не было», и сами люди — точно съ отощавшими отвислыми животами, и у которыхъ можно ребра сосчитать, — обратились таинственнымъ образомъ въ «тѣней человѣка», въ «призраки человѣка», до извѣстной степени — въ человѣка «лишь *по имени*».

О, о, о...

Вотъ, вотъ, вотъ...

Не узнаемъ-ли мы *себя* здѣсь? И какъ тогда не ревѣть Апока-

липсису, и не наполнять Престолъ Небесный — животными, почти — животами, брюхами — все самыхъ мощныхъ животныхъ, тоже — ревущихъ, кричащихъ, вопiющихъ — льва, быка, орла, дѣвы. Все — полетъ, все — сила. Почему-бы не колибри и не «лилiи полевыя»? Маленькая птичка — хороша какъ и большая, а «лилiи» не хуже баобаба. И вдругъ Апокалипсисъ оретъ:

— Больше мяса...

— Больше вопля...

— Больше рева...

— Мiръ отощалъ, онъ боленъ... Таинственная Тѣнь навела на мiръ хворь...

— Мiръ — умолкаетъ...

— Мiръ — безжизненъ...

— Скорѣе, скорѣе, пока еще не поздно... Пока еще послѣднiя минуты длятся. «Поворотъ всего назадъ», «новое небо», «новыя звѣзды»...

Обилiе «водъ жизни», «Древо жизни»...

Солнце загорѣлось раньше христiанства. И солнце не потухнетъ если христiанство и кончится. Вотъ — ограниченiе христiанства, противъ котораго ни «обѣдни», ни «панихиды» не помогутъ. И еще объ обѣдняхъ: ихъ много служили, но человѣку не стало легче.

Христiанство не космологично, «на немъ трава не растетъ». И скотъ отъ него не множится, не плодится. А безъ скота и травы человѣкъ не проживетъ. Значитъ «при всей красотѣ христiанства» — человѣкъ всетаки «съ нимъ однимъ не проживетъ». Хорошъ монастырекъ, «въ немъ полное христiанство»; а всетаки *питается онъ около сосѣдней деревеньки.* И «безъ деревеньки» всѣ монахи перемерли-бы съ голоду. Это надо принять во вниманiе, и обратить вниманiе на ту вполнѣ «апокалипсическую мысль», что *само въ себѣ* и *одно* — христiанство проваливается, «не естъ», гнило, голодаетъ, жаждетъ. Что «питается» оно — *не христiанствомъ*, не христiанскими злаками, не христiанскими произрастанiями. Что, такимъ образомъ, — христiанство само и одно, чистое и самое восторженное, зоветъ, требуетъ, алчетъ — «и *не христiанства*».

Это — поразительно, но такъ. Хороша была бесѣда Спасителя къ пяти тысячамъ народа. Но пришелъ вечеръ и народъ возжаждалъ: — «Учитель, *хлѣба*»!

Христосъ далъ хлѣба. Одно изъ величайшихъ чудесъ. Не сомнѣваемся въ немъ. О, нисколько, ни мало, ни iоточки. Но скажемъ: каково-же солнце, которое неизрѣченнымъ тьмамъ народа даетъ хлѣбъ, — даетъ какъ «по службѣ», по «должности», почти «по пенсiи». Даетъ и **можетъ** дать. Даетъ и значитъ **хочетъ** дать?

У солнца — воля и... **хотѣнiе**?

Но... тогда «ваалъ-солнце»? ваалъ-солнце — финикіянъ?

И тогда «поклонимся Ему»? Ему и его великой — мощи?

— Это-то уже несомнѣнно. Ему и его великому, *благородному человѣколюбивому* хотѣнію?...??? Это-же невѣроятно. Но что «солнце больше можетъ, чѣмъ Христосъ» — это самъ папа не оспоритъ. А что солнце больше Христа желаетъ счастья человѣчеству — объ этомъ еще сомнѣвается, но уже ничего не могъ-бы возразить Владиміръ Соловьевъ, изучавшій весь «бого-человѣческій процессъ» и строившій «ветхозавѣтную теургію» и «ветхо-завѣтное домостроительство» (или «теократію»).

Мы же беремъ прямо Финикію:

«Ты — ходилъ въ Саду Божіемъ... Сіялъ среди игристыхъ огней»... «Ты былъ первенецъ Мой, первенецъ отъ созданія міра», — говоритъ Іезекіиль или Исаія, — кто-то изъ ветхо-завѣтныхъ, — говоритъ городу, въ которомъ покланялись Ваалу и ни мало ни Іеговѣ.

Ну, кто-же не видитъ изъ моихъ тусклыхъ словъ, что «бого-человѣческій процессъ воплощенія Христова» потрясается. Онъ потрясается въ буряхъ, онъ потрясается въ молніяхъ... Онъ потрясается въ «голодовкахъ человѣчества», которыя настали, настаютъ нынѣ... Въ вопіяніяхъ народныхъ. «Мы вопіяли Христу и Онъ не помогъ». «Онъ — немощенъ». «Помолимся Солнцу: оно больше можетъ. Оно кормитъ не 5.000, а тьмы темъ народа. Мы только не взирали на Него. Мы только не догадывались.

— «Христосъ — мяса!».

— «На ребра, въ брюхо, дѣтямъ нашимъ и намъ!».

Христосъ молчитъ. Не правда-ли? Такъ не Тѣнь-ли онъ? Таинственная Тѣнь, наведшая отощаніе на всю землю.

ВЫПУСКЪ ТРЕТІЙ

1. Кроткая. 2. Что-то такое случилось. 3. Зачѣмъ они звонятъ? 4. Дѣдъ. 5. «Москва слезамъ не вѣритъ». 6. Объ одномъ народцѣ. 7. Ежедневность. 8. Солнце.

Кроткая

Ты не прошла мимо міра, дѣвушка... о, кротчайшая изъ кроткихъ... Ты испуганнымъ и искристымъ глазкомъ смотрѣла на него.

Задумчиво смотрѣла... Любяще смотрѣла... И запѣвала пѣсню... И заплетала въ косу ленту...

И сердце стучало. И ты томилась и ждала.

И шли въ мірѣ богатые и знатные. И говорили рѣчи. Учили и учились. И все было такъ красиво. И ты смотрѣла на эту красоту. Ты не была завистлива. И тебѣ хотѣлось подойти и пристать къ чему-нибудь.

Твое сердце ко всему приставало. И ты хотѣла-бы пѣть въ хорѣ.

Но никто тебя не замѣтилъ и пѣсенъ твоихъ не взяли. И вотъ ты стоишь у колонны.

Не пойду и я съ міромъ. Не хочу. Я лучше останусь съ тобой. Вотъ я возьму твои руки, и буду стоять.

И когда міръ кончится, я все буду стоять съ тобою и никогда не уйду.

Знаешь-ли ты, дѣвушка, что это — «міръ проходитъ», а — не «мы проходимъ». И міръ пройдетъ и прошелъ уже. А мы съ тобой будемъ вѣчно стоять.

Потому-что справедливость съ нами. А міръ во-истину не-

Что-то такое случилось

Есть въ мірѣ какое-то недоразумѣніе, которое можетъ быть неясно и самому Богу. Въ сотвореніи его «что-то такое произошло», что было неожиданно и для Бога. И отсюда собственно ирраціонализмъ, мистика (дурная часть мистики) и не ясность. Міръ гармониченъ, и это — «конечно». Мудръ, благъ и красота, и это — Божіе. Но «хищныя питаются травоядными» — и это ужъ не Божіе. Сова пожираетъ зайченка — тутъ нѣтъ Бога. Бога, гармоніи и добра.

Что такое произошло — этого отъ начала міра никто не знаетъ, и этого не знаетъ и *не понимаетъ* Самъ Богъ. Бороться или побѣдить — это тоже безсиленъ Самъ Богъ. Такъ «я хочу родить мальчика красиваго и мудраго», а рождается «о 6-ти пальцахъ, съ при-

дурью и непредвидѣнными пороками». Такъ и планета наша. Какъ будто она испугана была чѣмъ-то в беременности своей, и родила «не по мысли Божіей», а «нѣсколько иначе». И вотъ «божественное» смѣшалось съ «иначе»...

И передъ этимъ «иначе» покоренъ и Богъ. Какъ тоскующій отецъ, который смотритъ на малютку съ «иначе», и хочетъ поправить и не можетъ поправить. И любитъ «уже все вмѣстѣ»...

Зачѣмъ они звонятъ?

Бомъ. Бомъ. Бомъ. Но уже звукъ пустой.

....
....

И отъ того, что подъ колоколомъ нѣтъ вѣнчанія невѣсты и жениха. Тотъ, *другой* — не помогъ. А *этотъ*, который все-таки помогалъ по мелочамъ, — немного, но помогалъ, — немного, но старался, по земному и глупо, но всетаки старался — усланъ далече.

И не вздохнула невѣста по женихѣ. И я увидѣлъ, что она горбатая.

....
....

Эхъ, не горбатъ вотъ жидъ; написалъ въ мартѣ:

«... Напишите, какъ вы умѣете писать, — *правдиво и страстно,* — мнѣ о «мартовскихъ» дняхъ. Тутъ зима, — и лютая, — весны еще нѣтъ. Весь этотъ гулъ и шумъ противенъ моей душѣ. Въ санаторіи уже умерло 4 воина. Смерть сильнѣе всего на этой планетѣ. Есть-ли душа? Есть-ли загробная жизнь? Вотъ это важнѣе всѣхъ революцій! Жаль царя Николая. Догадываюсь, что онъ былъ человѣкъ мягкаго характера и безвольный очень. *Все, все* — пройдетъ, но что будетъ «тамъ»? Вамъ 61 годъ, вы много думали, страдали, — скажите мнѣ вы, дорогой душевный другъ. Лейзеръ Шацманъ.

Санаторій «Дергачи», Харьковской губерніи и уѣзда. Всероссійскаго Земскаго Союза. № 11 (туберкулезный). (Лично мнѣ не знакомъ).

Дѣдъ

Когда не хочется больше любить, не ждется одежда, и кушаешь кашку-размазню съ кой-какимъ маслецемъ, — то и называетъ себя естественно «христіаниномъ».

Лысый, съ бѣлой бородою,
Дѣдушка сидитъ.
Чашка съ хлѣбомъ и водою
Передъ нимъ стоитъ.

— Кто ты, дѣдушка?
— Хрестьянинъ... крестьянинъ...

Или, какъ Достоевскій и софистически и вѣрно перефразировалъ:

— «Христіанинъ».

Боже: къ чему догматики, историки, апологеты нагородили столько ерунды, когда дѣло выражается въ одномъ великомъ:

не надо.

«Москва слезамъ не вѣритъ»

— и дѣлаетъ очень глупо. Отъ того она бѣдна. Нужно именно *вѣрить*, и — не слезамъ, а — вообще, всегда, до тѣхъ поръ, пока получилъ обманъ: финикіяне въ незапамятную древность, въ началѣ исторіи, пріучились вѣрить, и образовали простую бумажку, знакъ особый, который писали, дѣлали, и т. д. Онъ былъ условенъ: и кто давалъ его — получалъ «довѣріе», и это называлось — *кредитомъ*. Заведшіе это, «довѣрчивые» люди, но опредѣленно довѣрчивые, и вмѣстѣ — не по болтовнѣ или «дружеской бесѣдѣ», а — дѣловымъ образомъ и для облегченія жизни, стали первыми въ мірѣ по богатству. Не чета русскимъ. Которые даже въ столь позднее время — все нищаютъ, обманываютъ, и —тѣмъ все болѣе и болѣе раззоряются.

Долгъ платежемъ красенъ

— и русскіе выполняютъ и не могутъ не выполнить этого, насколько это установили финикіяне (вексель)... Но рѣшительно вездѣ, гдѣ могутъ, — стараются жить на счетъ другъ друга, обманываютъ, сутенерничаютъ. И думая о счастьѣ — впадаютъ все въ большее и большее несчастье.

Объ одномъ народцѣ

Имъ были даны чудныя пѣсни всѣмъ людямъ. И сказанія его о своей жизни — какъ никакія. И имя его было священно, какъ и судьбы его — тоже священны для всѣхъ народовъ.

Потомъ что-то случилось... О, что-же, что-же случилось?...

....

Нользя понять...

....

Ни одинъ народъ не можетъ. Никто изъ человѣчества...

....

Ни мудрецъ, ни ученый, ни историкъ.

И сталъ онъ поругаемымъ народомъ, имя котораго обозначаетъ хулу. И имя котораго, національное имя, стало у каждаго племени ругательнымъ названіемъ всякаго человѣка, къ кому оно приложится въ этомъ чужомъ племени.

О, что-же случилось?...?...

.. ..

. . . .

Больше, больше: будемъ-ли мы читать «Лѣтопись Тацита» — когда томимся? Или — Геродота о скиѳахъ и Вавилонѣ? Будемъ-ли читать о Пелопонезской войнѣ — Ѳукидида? Нѣтъ, нѣтъ: когда *въ томленіи душа* — то какъ все это чуждо и постороннe... Все это мы изучали-бы, только чтобы прочесть лекцію, написать ученый трудъ, и — «такъ, отъ нѣкотораго бездѣлья».

Но вотъ — юная вдова, подбирающая колосья пшеницы на полѣ богатаго землевладѣльца: и то, *какъ* она это дѣлаетъ, — и *слова* ея своей свекрови, — проливаютъ въ душу утѣшенія. И много еще...

Народъ этотъ пролилъ утѣшеніе во всѣ сердца.

И все-таки онъ проклятъ. Что-же случилось, — о, что такое, особенное???...?

**
*

Сказать: «*утѣшеніе*» — и это сказать *все* о томъ народѣ. Читаемъ-ли мы хронику о Меровингахъ у Григорія Турскаго, или изящные очерки Августина Тьери, написанные по канвѣ этой хроники, — мы въ обоихъ случаяхъ читаемъ милое, граціозное, прелестное. Но это чтеніе даетъ только наслажденіе вкусу, душа-же остается если не холодною, то спокойною. Но вотъ мы читаемъ о войнѣ, о грозѣ: одинъ царь — побѣдитель, другой — побѣжденъ. Побѣжденный боится за жизнь свою, обыкновенно боится — какъ боялся-бы каждый человѣкъ, и ищетъ потаенной комнаты во дворцѣ своемъ. Побѣдитель спрашиваетъ о врагѣ своемъ, и ему приближенные передаютъ о всемъ униженіи и страхѣ, въ какомъ тотъ находится. Вдругъ побѣдитель отвѣчаетъ вовсе не тѣмъ гордымъ, самоувѣреннымъ тономъ, какой такъ естественъ въ самоупоеніи побѣды, и какимъ въ самоупоеніи побѣды говорили *всѣ* цари и полководцы, а — совсѣмъ инымъ, новымъ, неожиданнымъ:

«Зачѣмъ онъ бѣжитъ отъ меня? Онъ — *братъ мой*».

Кто въ исторіяхъ Ассиріи видалъ, какъ со связанными за спиною руками плѣнникъ стоитъ передъ побѣдившимъ царемъ на колѣняхъ, а ассирійскій царь, поднявъ копье, выкалываетъ ему глаза, и вмѣстѣ приметъ во вниманіе, что переименованіе «врага» въ «брата своего» произошло въ туже самую эпоху, тотъ оцѣнитъ *всю разницу* въ душевномъ строѣ одного и другого. И пойметъ, почему я упорно называю «утѣшеніемъ» то особое чувство, какое льется на душу читателя отъ исторіи этого единственнаго народа.

И онъ — проклятъ.

Но тогда что-же случилось, почему мы также ненавидимъ этотъ народецъ, какъ ассиріяне ненавидѣли своихъ враговъ. И, оглядываясь на цивилизацію нашу, не подумаемъ-ли о ней съ печалью строкъ, сказанныхъ Алексѣемъ Толстымъ:

Ассиріяне шли какъ на стадо волки,
Въ багрецѣ ихъ и въ златѣ сіяли полки,

И безъ счета ихъ копья сверкали окресть,
Какъ въ волнахъ Галилейскихъ мерцаніе звѣздъ.

Словно листья дубравные въ лѣтніе дни,
Еще вечеромъ такъ красовались они;
Словно листья дубравные въ вихрѣ зимы,
Ихъ къ разсвѣту лежали развѣяны тьмы.

Ангелъ смерти лишь на-вѣтеръ крылья простеръ
И дохнулъ имъ въ лицо, и померкнулъ ихъ взоръ,
И на мутныя очи палъ сонъ безъ конца,
И лишь разъ поднялись и остыли сердца.

Вотъ расширившій ноздри, повергнутый конь,
И не пышетъ изъ нихъ гордой силы огонь,
И какъ хладная влага на брегѣ морскомъ,
Такъ предсмертная пѣна бѣлѣетъ на немъ.

Вотъ и всадникъ лежитъ, распростертый во прахъ,
На бронѣ его ржа, и роса на власахъ;
Безотвѣтны шатры, у знаменъ ни раба,
И не свищетъ копье и не трубитъ труба.

И Ассиріи вдовъ слышенъ плачъ на весь міръ,
И во храмѣ Ваала низверженъ кумиръ,
И народъ, не сраженный мечомъ до конца,
Весь растаялъ, какъ снѣгъ, передъ блескомъ Творца!

И вотъ народъ, который всемірно былъ утѣшителемъ всѣхъ скорбныхъ, утомленныхъ, нуждающихся въ свѣтѣ душъ, — теперь во тьмѣ, и не только самъ безъ утѣшенія но пинаемъ и распинаемъ... Что-же, что такое случилось? Явно — случилось въ планетѣ и въ судьбахъ человѣчества?

Ежедневность

Булочки, булочки...
Хлѣба пшеничнаго...
Мясца-бы немного...

**
*

Это ужасное замерзаніе ночью. Страшныя мысли приходятъ. Есть что-то враждебное въ стихіи «холода» — организму человѣческому, какъ организму «теплокровному». Онъ *боится холода*, и какъ-то *душевно боится*, а не кожно, не мускульно. Душа его становится грубою, жестокою, какъ «гусиная кожа на холоду». Вотъ

вамъ и «свобода человѣческой личности». Нѣтъ, «душа свободна» — только если «въ комнатѣ тепло натоплено». Безъ этого она не свободна, а боится, напугана и груба.

**
*

Впечатлѣнія ѣды теперь главныя. И я замѣтилъ, что, къ позору, и господа и прислуга это равно замѣчаютъ. И уже не стыдится бѣдный человѣкъ, и уже не стыдится горькій человѣкъ. Проѣхавъ на дняхъ въ Москву, прошелся по Ярославскому вокзалу, съ грубымъ желаніемъ видѣть, что ѣдятъ. Провожавшая меня дочь сидѣла грустно, уткнувшись носикомъ въ муфту. Одинъ солдатъ, вывернувъ изъ тряпки огромный батонъ (витый хлѣбъ пшеничный), разломилъ его широкимъ разломомъ и началъ ѣсть, даже не понюхавъ. Между тѣмъ пахучесть хлѣба, какъ еще пахучесть мяса во щахъ, есть что-то безмѣрно неизмѣримѣе самаго напитанія. О, я понимаю, что въ жертвенникѣ Соломонова храма были сдѣланы *ноздри* и сказано, — *о Богѣ сказано,* — что онъ «вдыхаетъ туки своихъ жертвъ».

Солнце

Заботится-ли солнце о землѣ?

Не изъ чего не видно: оно его «притягиваетъ прямо пропорціонально массѣ и обратно пропорціонально квадратамъ разстояній».

Такимъ образомъ 1-ый отвѣтъ о солнцѣ и о землѣ Коперника былъ глупъ.

Просто = глупъ.

Онъ «сосчиталъ». Но «счетъ» въ примѣненіи къ нравственному явленію я нахожу просто глупымъ.

Онъ просто отвѣтилъ **глупо,** негодно.

Съ этого глупаго отвѣта Коперника на нравственный вопросъ о планетѣ и о солнцѣ началась пошлость планеты и опустошеніе Небесъ.

«Конечно, — земля не имѣетъ объ себѣ заботы солнца, а только притягивается по кубамъ разстояній».

Тьфу.

ВЫПУСКЪ ЧЕТВЕРТЫЙ

1. Правда и кривда. 2. Изъ таинствъ Христовыхъ. 3. Сынъ 4. Солнце.

Правда и Кривда

«Безъ *грѣшнаго* человѣкъ не проживетъ, а безъ *святого* — слишкомъ проживетъ». Это-то и составляетъ самую, самую главную часть а-космичности христіанства.

Не только: «читаю-ли я Евангеліе съ начала къ концу, или отъ конца къ началу», я совершенно ничего не понимаю:

какъ міръ устроенъ? и — *почему?*

Такъ-что Іисусъ Христосъ ужъ никакъ не научилъ насъ міро-зданію: но и сверхъ этого и главнымъ образомъ: «дѣла плоти» онъ объявилъ грѣшными, а «дѣла духа» праведными. Я-же думаю, что «дѣла плоти» суть главное, а «дѣла духа» — такъ, одни разговоры.

«Дѣла плоти» и суть космогонія, а «дѣла духа» приблизительно выдумка.

И Христосъ, занявшись «дѣлами духа» — занялся чѣмъ-то въ мірѣ побочнымъ, второстепеннымъ, дробнымъ, частнымъ. Онъ взялъ себѣ «обстоятельства образа дѣйствія», а не самый «образъ дѣйствія», — т. е. взялъ онъ не *сказуемое* того предложенія, которое составляетъ всемірную исторію и человѣческую жизнь, а — только одни *обстоятельственныя, тѣневыя, штриховыя* слова.

«Сказуемое» — это ѣда, питье, совокупленіе. О всемъ этомъ Іисусъ сказалъ, что — «грѣшно», и — что «дѣла плоти соблазняютъ васъ». Но если-бы «не соблазняли» — человѣкъ и человѣчество умерли-бы . А какъ «слава Богу — соблазняютъ», то — тоже «слава Богу» — человѣчество продолжаетъ жить.

Позвольте: что за «слава Богу», если человѣкъ (человѣчество) умеръ?

Какъ-же онъ могъ сказать: «Азъ есмь путь и жизнь»? Ничего подобнаго. Ничего даже приблизительнаго. «Обстоятельственныя слова».

Напротивъ, отчего есть «звѣзды и красота» — это понятно ужъ изъ насажденія рая человѣкомъ. Уже *онъ* — прекрасенъ, и это есть

утренняя звѣзда. Я хочу сказать, что «утреннюю звѣзду» Богъ далъ человѣку въ раю: и тайнымъ созданіемъ Эдема онъ выразилъ и вообще весь планъ сотворенія чего-то изумительнаго, великолѣпнаго, единственнаго, неповторимаго. Все къ этому рвется: «лучше», «лучше», «лучше». Есть мѣры и измѣримость: Богъ какъ-бы изрекъ — «Я — безмѣрный, и все сотворенное мною рвется къ безмѣрности, безконечности, нескончаемости». А, это понятно. «Тамъ ониксъ и камень бдолахъ» (о раѣ). Напротивъ, когда мы читаемъ Евангеліе, то что-же мы понимаемъ въ безмѣрности? Да и не въ одной безмѣрности: мы вообще — ровно ничего не понимаемъ въ мірѣ.

«И вотъ, на небѣ великое знаменіе — жена облеченная въ солнце; подъ ногами ея — луна; и на головѣ ея вѣнецъ изъ двѣнадцати звѣздъ «Она имѣла во чревѣ и кричала отъ мукъ рожденія».

(Апокалипсисъ, 12).

Тутъ мы понимаемъ, что роды, именно, человѣческіе роды, лежатъ въ центрѣ космогоніи.

Библія — нескончаемость.

«Іисусъ-же сказалъ: «Есть скопцы, которые изъ чрева матерняго родились тако; и есть скопцы, которые оскоплены отъ людей: и есть скопцы, которые сами сдѣлали себя скопцами ради Царства Небеснаго. Кто можетъ вмѣстить это да вмѣсти.

(Евангеліе отъ Матѳея, 19).

Тутъ мы совершенно ничего не понимаемъ, кромѣ того, что это — не нужно.

Евангеліе — тупикъ.

Теперь: «грѣхъ» и «святость», «космическое» и «космичность»: мнѣ кажется, что если уже гдѣ можетъ заключаться «святое», «святость» — то это въ «сказуемомъ» міра, а не «въ обстоятельствахъ образа дѣйствія». Что за эстетизмъ. Поразительно великолѣпіе Евангелія: говоря о «дѣлахъ духа» въ противоположность «дѣламъ плоти» — Христосъ черезъ это именно показалъ, что «Азъ и Отецъ — не одно». «Отецъ» — такъ Онъ и отецъ: посмотрите Ветхій Завѣтъ. — чего-чего тамъ нѣтъ. Отецъ не пренебрегаетъ самомалѣйшимъ въ болѣзняхъ дитяти, даже въ капризахъ и своеволіи е. о: и вотъ *тамъ*, въ Ветхомъ Завѣтѣ, мы находимъ «всяческое». Всѣ страсти кипятъ, никакіе случаи и исключительности — не обойдены. «Отецъ» беретъ свое дитя въ руки, моетъ и очищаетъ его сухимъ и мокрымъ, отъ кала грязнаго и мокраго. Посмотрите о леченіи болѣзней, парши, коросты. Въ пустынѣ Онъ идетъ надъ ними *тѣнью* — днемъ (облако, зной), и столбомъ огненнымъ — ночью *освѣщаетъ путь*. Похитили золотыя вещи у египтянъ, и это не скрыто; ибо такъ естественно, такъ просто: вѣдь они работали на нихъ въ рабствѣ, работали — безплатно. Этимъ таинственнымъ и глубокимъ попеченіемъ о человѣкѣ, какимъ-то кутающимъ и пеле-

нающимъ. - - отличается «отцовскій завѣтъ» отъ сыновняго.

Сынъ — именно «*не* одно» съ Отцомъ. Пути Физіологіи суть пути космическіе, — и «роды женщины» поставлены впереди «солнца, луны и звѣздъ». Тутъ тоже есть *объясненіе,* чего абсолютно лишено Евангеліе. Дѣйствительно: тутъ показано, въ видѣніи Апокалипсиса, что и луна, и звѣзды, и солнце — все для облегченія «родовъ». *Жизнь поставлена выше всего.* И именно — жизнь человѣка. Пирамида ясна въ основаніи и завершеніи. Евангеліе оканчивается скопчествомъ, тупикомъ. «Не надо». Не надо — самыхъ родовъ. Тогда для чего-же солнце, луна и звѣзды? Евангеліе со страннымъ эстетизмомъ отвѣчаетъ — «для украшенія». Въ производствѣ жизни — этого не нужно. Какъ «солнце, луна и звѣзды» явились не для чего въ сущности, такъ и роды — есть «не нужное» для Евангелія, и міръ совершенно обезсмысливается. «Все понятно» — въ Библіи, «ничего не понятно» — въ Евангеліи.

И вотъ — Престолъ Апокалипсиса, посреди коего сидятъ животныя. Что за представленіе небесъ? Но развѣ роды коровы ниже чѣмъ-нибудь родовъ женщины? Это — «пути Божіи». Въ «оправданіи всего» Апокалипсиса — именно и лежитъ оправданіе Божеское, оправданіе Отцовское, и съ болячками, и съ коростами, и съ поносами, и съ запорами дитяти-человѣка. Какъ чудно! О, какъ хорошо! Славны и велики пути Твои, Господи, и славны они въ болѣзни и въ исцѣленіи. Апокалипсисъ изрекаетъ какъ-бы правду Вселенной, правду *цѣлаго* — вопреки *узенькой* «евангельской правдѣ», которая страннымъ образомъ сводится не къ богатству, радости и полнотѣ міра, а къ точкѣ, молчанію и небытію скопчества. Воистину — «поколебались основанія земли». Христосъ пришелъ таинственнымъ образомъ «поколебать всѣ основанія» сотворенной «будто-бы Отцемъ Его» Вселенной. И что Коперникъ на вопросъ о солнцѣ и землѣ началъ говорить, что они дѣйствуютъ «по кубамъ разстояній», — то это совершенно христіанскій отвѣтъ. Это — именно «обстоятельство образа дѣйствія». А «для чего они дѣйствуютъ» — это и не вѣдомо, и не интересно.

Таинственнымъ образомъ христіанство начало обходиться «пустяками». На вопросъ о землѣ и лунѣ оно отвѣтило «кубами разстояній», а на вопросъ о гусеницѣ, куколкѣ и мотылькѣ оно отвѣтило еще хуже: что такъ «бываетъ». «Наука христіанская» стала сводиться къ чепухѣ, къ позитивному и безсмыслицѣ. «Видѣлъ, слышалъ, но не понимаю». «Смотрю, но ничего не разумѣю» и даже «ничего не думаю». Гусеница, куколка и мотылекъ имѣютъ объясненіе, но не физіологическое, а именно — космогоническое. Физіологически — они не объяснимы; они именно — *неизъяснимы.* Между тѣмъ космогонически они совершенно ясны: это есть все живое, рѣшительно все живое, что пріобщается жизни, гробу и воскресенію.

Въ фазахъ насѣкомаго даны фазы міровой *жизни.* Гусеница: — « мы ползаемъ, жремъ, тусклы и недвижимы». — «Куколка»

— это гробъ и смерть, гробъ и прозябаніе, гробъ и обѣщаніе. — Мотылекъ — это «душа», погруженная въ міровой эфиръ, летающая, знающая только солнце, нектаръ, и — никакъ не питающаяся, кромѣ какъ изъ огромныхъ цвѣточныхъ чашечекъ. Христосъ-же сказалъ: «въ *будущей жизни* уже не посягаютъ, не женятся». Но «мотылекъ» есть «будущая жизнь» гусеницы, и въ ней не только «женятся», но — наоборотъ Евангелію — при сравнительной неуклюжести гусеницы, при подобіи смерти въ куколкѣ, — бабочка вся только одухотворена, и, не вкушая вовсе (поразительно!! — не только хоботокъ ея вовсе не приспособленъ для ѣды, но у нея нѣтъ и кишечника, по крайней мѣрѣ, у нѣкоторыхъ!!), страннымъ образомъ — она имѣетъ отношеніе *единственно къ половымъ органамъ* «чуждыхъ себѣ существъ», приблизительно — именно Дерева жизни: растеній, непонятныхъ, загадочныхъ. Это что-то, передъ всякой бабочкою, — неизмѣримое, огромное. Это — лѣсъ, садъ. Что-же это значитъ? Таинственнымъ образомъ жизнь бабочки указуетъ или предвѣщаетъ намъ, что и души наши послѣ гроба - куколки — будутъ получать отъ нектара двухъ или обоихъ божествъ. Ибо сказано, что сотворена была Вселенная отъ Элогимъ (двойственное число Имени Божія, употребленное въ разсказѣ Библіи о сотвореніи міра), а не отъ *Элоахъ* (единственное число); что божествъ — *два,* а не *одно:* «по *образу* и по *подобію* которыхъ — *мужемъ и женою сотворилъ Богъ и человѣка.*

Мотылекъ — душа гусеницы. Sɔl. - душа, безъ привходящаго. Но это показываетъ, что «душа» — не матерьяльна. Она — осязаема, видима, *есть;* но только — *иначе, чѣмъ въ земномъ существованіи.* Но что-же это и какъ? Ахъ, наши сны и сновидѣнія иногда реальнѣе бодрствованія. Гусеница и бабочка показываютъ, что на землѣ мы — только «жремъ»; а что «тамъ» будетъ все — полетъ, движеніе, камедь, мирра и фиміамъ.

Загробная жизнь вся будетъ состоять изъ свѣта и пахучести. Но именно — того, что ощутимо, что физически — пахуче, что плотски, а не безплотно — издаетъ запахъ. Не безъ улыбки можно отвѣтить о «соблазнахъ *міра сего*», что въ нихъ-то и «течетъ», какъ-бы истекаетъ изъ души вещей, изъ энтелехіи вещей — уже теперь «жизнь будущаго вѣка», и что вкусовая и обонятельная часть нашего лица, и вообще-то наиболѣе прекрасная и «небесная», именно и прекрасна отъ очертаній губъ, рта и носа. «Что за уродъ, въ комъ нѣтъ носа и губъ», или есть въ нихъ поврежденіе, и даже просто — некрасивая линія. Апокалипсическое въ насъ улыбка. Улыбка — всего апокалипсичнѣе.

Радость, ты — *искра небесъ,* ты *божественна,*
Дочь *елисейскихъ полей....*

Это — не аллегорія, это — реальная, точнѣе — это ноуменальная правда. «Хорошо соблазняться» и «хорошо быть соблазняемымъ». Хорошо, «черезъ кого — соблазнъ входитъ въ міръ»: онъ вноситъ

край неба на плосковатую землю. Загадочно, что въ Евангеліи ни разу не названо ни одного запаха, ничего — пахучаго, ароматнаго; какъ-бы подчеркнуто расхожденіе съ цвѣткомъ Библіи — «Пѣснью пѣсней», этою пѣснею, о которой одинъ старецъ Востока выговорилъ, что «все стояніе міра не достойно того дня, въ который была создана *«Пѣсня пѣсней»*. И вотъ, Евангеліе такимъ образомъ представляетъ «эту» и «будущую жизнь» совсѣмъ наоборотъ: «пути»-то жизни, насколько они *физіологическіе пути*, и есть *главное* и *небесное* (Престолъ Апокалипсиса): это есть «подлежащее», которое «оправдалось».

А тотъ «путь жизни», «жизнь *духа* — есть «обстоятельственный путь», проводимый въ праздности, эстетикѣ и разговорахъ...

И долго на свѣтѣ томилась она

это — земная жизнь гусеницы, ползающая и жрущая.........

Желаніемъ чуднымъ полна

это —мотылекъ, бабочка, утопающая въ эфирѣ, въ солнечныхъ лучахъ. Того самаго Солнца, которое «и со звѣздами и съ луною» — только «окружаетъ роды женщины».

И *пѣсенъ любви замѣнить не могли*
Ей *скучныя пѣсни земли.*

И — никакого «ада и скрежета зубовнаго» *тамъ*, а — собираніе нектара съ цвѣтовъ. За муки, за грязь и соръ и «землеѣденіе» гусеницы, за гробъ и подобіе, — но только *подобіе смерти* въ куколкѣ, — душа возстанетъ изъ гроба: и переживетъ, каждая душа переживетъ, и грѣшная и безгрѣшная, свою невыразимую «пѣсню пѣсней». Будетъ дано каждому человѣку по душѣ этого человѣка и по желанію этого человѣка. Аминь.

Изъ Таинствъ Христовыхъ

«Не бо врагомъ Твоимъ тайну повѣмъ, ни лобзанія Ти дамъ яко Іуда....»

Какъ *это* сказано... О, какъ сказано... И чудятся какія-то дѣйствительно страшныя тайны за сказавшимъ такъ, или, особенно, за *увидѣвшимъ* что-то.

Сынъ

Чтобы сынъ родился — нужно допустить какой-то *недостатокъ* въ отцѣ. Отецъ — это такъ *полно*. Отецъ — это *все*. Отецъ — *это* Солнце и душа и правда солнца. Вездѣ лучи Его до концовъ Вселенной. Отецъ и — *кончено*.

Что-же значитъ, что *Сынъ родился?* Только если Отецъ въ чемъ-то *не*дотворилъ? Или, можетъ быть, онъ не научилъ или не доучилъ? Но и «нравственный законъ» онъ уже принесъ (на Синаѣ). Вовсе не одно сотвореніе «глыбъ», «солнца и луны», и «свѣта» и «ночи». Что-же? Какъ-же?

Нельзя понять иначе, какъ заподозривъ Отца въ *недостаткѣ* и полнотѣ. «Отецъ — это еще *не всё* и не *конецъ*».

Ну, тогда понадобился и Сынъ.

Солнце

Живетъ-ли Солнце?

Вотъ самое загадочное, — и даже единственно загадочное, — о немъ.

Всѣ рѣшительно ученые, до единаго всѣ, отъ Лапласа до гимназиста, убѣждены, что оно «конечно не живетъ»; что оно есть «предметъ»....

Но почему не гаснетъ? — «Погаснетъ». Но вѣдь времени было довольно, чтобы погаснуть. Довольно-ли?? О, кажется....

«Отъ него жизнь на землѣ». Отъ *него*-ли? Повидимому. Живое отъ механическаго? Странно. «Да. Но такъ учатъ атомы». «Они всѣ стучатъ».

Ну, а если оно «живетъ»? Тогда 1-ая мысль кидается къ Христу· «Значитъ, Ты — не Богъ». Странно.

«Солнце живетъ». Допустимъ эту гипотезу. Допустимъ не какъ фразу, а какъ дѣйствительность. Но какъ-же оно живетъ? «Въ такомъ огнѣ»? — Въ такомъ огнѣ прекращается жизнь. И, если-бы такъ, то значило-бы, что для «жизни» предѣловъ температуры нѣтъ.

Странно.

Нѣтъ, повидимому — «не живетъ». «При такой горячности — все скипитъ, сварится»· Имѣетъ ли оно душу — вотъ вопросъ. «Что будетъ съ душой при очень высокой t»?

Невѣдомо.

Почему планеты движутся около солнца? Почему не «стоятъ» около солнца? «Тогда-бы упали». Ну, и «упали» — ничего. «Мала куча».

Все-же въ «движеніяхъ планетъ» и въ самомъ «солнцѣ» наука ничего не понимаетъ, даже раз -наука. И Лапласъ понимаетъ столько-же, сколько гимназистъ.

Да, еще: что заключается внутри чего, солнечная система заключается внутри Евангелія, или Евангеліе заключается внутри солнечной системы?

ВЫПУСКЪ ПЯТЫЙ

1. Немножко и радости. 2. Опасная категорія. 3. Огонь Христовъ. 4. Тайны міра. 5. Искушеніе въ пустынѣ. 6. Солнце. 7. Religio. 8. Туфли.

Немножко и радости

«Пріидите володѣть и княжити нами. Земля-бо наша велика и обильна, а наряда въ ней нѣтъ».

Несторова лѣтопись.

«Всю тебя, земля родная,
Въ рабскомъ видѣ Царь Небесный
Исходилъ благословляя».

Тютчевъ.

Удивительное сходство съ евреями. Удивительное до буквальности. Историки просмотрѣли, а славянофилы не догадались, что это вовсе не «отреченіе отъ власти» народа, до такой степени ужъ будто-бы смиреннаго, а — *неумѣлость* власти, *недаровитость* къ ней, или, что лучше и даже превосходно до единственности: что это прекрасный даръ жить улицею, околодочкомъ, и — не болѣе, не грѣшнѣе.

«Съ насъ довольно и сплетень, да кумовства».

Ей-ей, подъ нѣмцами намъ будетъ лучше. Нѣмцы наведутъ у насъ порядокъ, — «какъ въ Ригѣ». Устроятъ полицію, департаменты. Согласимся, что вѣдь это было у насъ всегда скверно и глупо. Министерію заведутъ. Не будутъ брать взятокъ, — наконецъ-то... и о чемъ мы выли, начиная отъ Сумарокова, и довыли до самаго Щедрина..... «Бо наряда — нѣтъ». Ну ихъ къ черту, болвановъ. Да, еще: наконецъ-то, наконецъ нѣмцы научатъ насъ русскому патріотизму, какъ дѣлали ихъ превосходные Вигель и Даль. Но такихъ было только двое и что-же могли они?

Мы-же овладѣемъ ихъ душою такъ преданно и горячо, какъ душою Вигеля, Даля, Ветенека (Востоковъ) и Гильфердинга. Вѣдь ни одинъ русскій *душою* въ нѣмца не передѣлался, потому что они во-истину болваны и почти безъ души. Почему такъ и способны «управлять».

Покореніе Россіи Германіею будетъ, на самомъ дѣлѣ и внутренно и духовно, — покореніе Германіи Россіею. Мы наконецъ изъ нихъ, — изъ лучшихъ *ихъ*, — сдѣлаемъ что-то похожее на человѣка, а не на шталмейстера. А то за «шталмейстерами» и «гофмейстерами» они лицо человѣческое потеряли.

Мы научимъ ихъ танцевать, музыканить и пѣть пѣсни. Можетъ быть даже научимъ молиться. Они за это будутъ намъ рыть руду, т. е. пойдутъ въ каторгу, будутъ пахать землю, т. е. станутъ мужиками, работать на станкахъ, т. е. сдѣлаются рабочими. И будутъ заниматься аптеками, чѣмъ и до сихъ поръ ни одинъ русскій не занимался. «Не призваніе». Будутъ изготовлять намъ «французскіе горчишники», тоже — какъ до сихъ поръ.

Мы дадимъ имъ пророковъ, попытаемся дать имъ понятіе о святости, — что едва-ли мыслимо. Но хоть попытаемся. Выучимъ говорить, пѣть пѣсни и сказывать сказки.

Въ тайнѣ вещей мы будемъ ихъ господами, а они нашими нянюшками. Любящими и послушными намъ. Они будутъ намъ служить. Матерьяльно служить. А мы будемъ ихъ духовно воспитывать. Ибо и нигилизмъ нашъ тогда пройдетъ. Нигилизмъ есть отчаяніе человѣка о неспособности дѣлать дѣло, къ какому онъ вовсе не призванъ.

Мы, какъ и евреи, призваны къ идеямъ и чувствамъ, молитвѣ и музыкѣ, но не къ господству. Овладѣли-же къ несчастью и къ пагубѣ души и тѣла 1/6-ою частью суши. И, овладѣвъ, въ сущности испортили 1/6 часть суши. Планета не вытерпѣла и перевернула все. Планета, а не германцы.

Опасная категорія

Обаятельный, обольстительный, лукавый.

Удивительно, что къ категоріи «лукавства», — вотъ этого особеннаго и особой глубины грѣха, — не ведутъ вообще никакія порочныя ступени, кромѣ какъ если ступить на первую:

— Обаятеленъ......

— Что такое? Какъ? Почему?

— Обаятеленъ, — потому-что не подлежитъ укору, не представляетъ порока и пороковъ, и всѣхъ «обаяетъ», съ перваго-же взгляда, какъ только кто увидитъ или услышитъ его.

— Обольстителенъ, потому-что въ силу качества непорочности и красоты всѣ идутъ за нимъ.

Но вотъ странно: какъ-же изъ непорочности и красоты можетъ вдругъ выдти третье? Это совершенно не натурально. Но однако, глазъ людской, обыкновенный и, такъ сказать нетенденціозный, вдругъ замѣтилъ, что опасная категорія именно и начинается съ двухъ качествъ.

— Обаятельности, обольстительности.

Поэтому-бы, — «по предреченіямъ», — надо быть особенно осторожнымъ, если вдругъ увидимъ человѣка особливо, исключительно невиннаго, чистаго, непорочнаго.

— Обаятельнаго.

Въ этомъ отношеніи хорошо-бы поставить зарокъ, въ виду именно предупрежденій:

— Пусть будетъ хоть маленькій порокъ. Почти — невинный, но — однако недостатокъ. Величайшій изъ древнихъ, коего люди могли счесть «Богомъ», — и даже дѣйствительно начали было «искать его могилу какъ Бога», и не могли найти, — что человѣкъ этотъ былъ — говоря славянскимъ словомъ,— —«гугнивъ». Т. е. онъ былъ косноязыченъ, заикался. «Спасъ народъ Божій отъ рабства» и далъ всѣ (всѣ!!!) законы», и, съ тѣмъ вмѣстѣ, былъ ни болѣе, ни менѣе какъ заикою. Качество — прямо смѣшное. Но качество невинно. И вотъ, по этому соединенію «невиннаго и смѣшного», — мы узнаемъ Божію книгу и узнаемъ Божіе событіе.

Въ самомъ дѣлѣ: отъ событія и отъ книги никакого «худого послѣдствія не проистекло». Нужно замѣтить, что «лукавое» начинаетъ узнаваться по *«послѣдствіямъ»*.

Ибо прямо-то вѣдь какъ узнать: «обаятеленъ» и «обольщаетъ».

Огонь Христовъ

Гдѣ обожжетъ огонь Христовъ..

Но — по настоящему обожжетъ...

Тамъ уже никогда ничего не выростетъ.

Вотъ — и градъ Салима (Соломона).
И — судьба Іудеи.
И Павелъ, просившій распять его «не какъ нашего Господа: но головою книзу», дабы «голова его была тамъ, гдѣ ноги его возлюбленнаго Учителя»,

И — наши скопцы.

Объ этомъ-то и догадались впервые іезуиты.

Сказавшіе: «не увлекайтесь очень». И начавшіе торговать въ Парагваѣ.

Тайны міра

Ты одинъ прекрасенъ, Господи Іисусе! И похулилъ міръ красотою своею. А вѣдь міръ-то — Божій.

Зачѣмъ-же Ты сказалъ: «я и Отецъ — *одно*»? Вы не только «одно», а ты — *идешь на Него*. И сдѣлалъ, что Сатурнъ съ Ураномъ.

Ты оскопилъ Его. И только чтобы оскопить — и пришелъ. Вотъ! вотъ! вотъ! — наконецъ-то разгадка словъ о скопчествѣ. И что въ

Евангеліи уже не «любятъ», а живутъ какъ «Ангелы Божіи»: какъ въ плавняхъ при-Днѣпровскихъ, «со свѣчечками и закопавшись». О,..ужасы, ужасы...

И весь Ты ужасенъ. Ты — не простой, а именно — ужасенъ. И Ты воскресъ, — о, я вѣрю! «Егда вознесусь — всѣхъ привлеку къ себѣ».

Но, — чѣмъ?

О, ты не *другъ* человѣковъ. Нѣтъ, не другъ. «Договоръ», «завѣтъ» (о «ветхомъ»), и это кажется формально и сухо. Но какъ Ты ихъ ужасно угнелъ, до послѣдняго рабства. Поистинѣ — «рабы Господни»... Даже и до смерти, до мученичества.

Не потрясаетъ-ли: «ни единый мученикъ не былъ пощаженъ». А вѣдь *могъ*-бы?...

Могъ-*ли*?

О, ...

Конечно, кто *воскресилъ* Лазаря — *могъ*. Значитъ — *не захотѣлъ*..?

О, о, о, ...

Ты *все* могъ, Господи Іисусе. Ты, «потрясшій небо и землю».

И не избавившій даже дѣтей ни отъ муки небесной, ни отъ муки земной.

Рабы, рабы... Да. «договоръ» — онъ «святъ» — «Ты — мнѣ, какъ я тебѣ». Ты-же далъ все униженіе и взялъ себѣ всю славу. И вотъ, неужели Ты не понимаешь, почему на Тебя возсталъ праведный Израиль. Онъ возсталъ — не понимая. «Что-то — *не то*». Что — «не то»? Да похуливъ созданіе Божіе, Ты болѣе всего похулилъ, — похулилъ особенно и страшно, — «отрока Іеговы». И онъ, не понимая, «что» и «за что», — возсталъ на Тебя.

Вотъ разгадка, вотъ разгадка, вотъ разгадка.

Ну, слушай: очень хороши «лиліи полевыя». Но вѣдь не хуже и «человѣкъ»? Что-же Ты его все гвоздилъ «грѣхомъ? И испугалъ муками? «Тамъ будетъ огнь неугасимый» и «скрежетъ зубовный». Очень мило.

Вообще, все очень мило въ Твоемъ созданіи, по-истинѣ — особомъ созданіи, особомъ «отъ Отца». Люди болѣе не посягаютъ, не любятъ, не множатся. А всѣ слушаютъ Тебя, какъ эта бѣдная Марія.

О, бѣдная, бѣдная... Да ужъ не мученица она «потомъ», которую Ты тоже забылъ въ небесномъ величіи.

Искушеніе въ пустынѣ

Чтобы быть «безъ грѣха» — Христу и надо было удалиться отъ міра... Оставить міръ... Т. е. *обезсилить* міръ.

«Силушка» — она грѣшна. Безъ «силушки» — что подѣлаешь? И надо было выбирать или «дѣло», или — «безгрѣшность».

Христосъ выбралъ безгрѣшность. Въ томъ и смыслъ искушенія въ пустынѣ. «И дамъ тебѣ всѣ царства міра». Онъ не-взялъ. Но

тогда какъ-же онъ спасъ міръ? Не — дѣланіемъ. «Уходите *и вы* въ пустыню».

Не нужно царствъ... Не нужно міра. Не нужно вообще «ничего»... Нигилизмъ. Ахъ, такъ вотъ *гдѣ корень его.* «Міръ безъ начинки»... Пирогъ безъ начинки. «Вкусно-ли»? Но, дѣйствительно: Христомъ вывалена вся начинка изъ пирога и то называется «христіанствомъ».

Солнце

Говорятъ: «Нѣтъ вѣчнаго perpetuum mobile». Доказываютъ. Наука.

Свинья, роющая носомъ землю: посмотри вверхъ. Солнце.

Сказать: «солнце *устало»,* «теряетъ *энергію»* — безсмыслица. По-истинѣ, оно — *не истощается,* и все какъ-то — живетъ. Вотъ что если «не скучно» — то солнышко... Протуберанцы. Играетъ. Вулканы. «Корона солнечная» (видна въ затменіяхъ). И — эти таинственные «ультрафіолетовые лучи», отъ коихъ, говорятъ, — вся жизнь.

Religio

Ростъ
было, есть, *будетъ.*

Почему оно «будетъ-то»?
Потому-что — есть *ростъ...*

Возростаніе, «больше». Въ загадкѣ «больше» лежитъ разгадка «прогресса», «развитія».

Все «развертывается» изъ «точки» въ «окружность». И вотъ міръ изъ «точки» Бога развернулся въ «красоту-мірозданіе».

И гдѣ-же «въ мірѣ» нѣтъ «Бога»? И гдѣ-же «въ Богѣ» — нѣтъ «міра»?

И вотъ они связаны. «Religio»... Молитва. Нѣтъ вещи, которая бы не «молилась», потому-что она — «растетъ». И знаетъ, что «изъ точки» растетъ, изъ — *отцовской* точки.

И нѣтъ Бога не-Покровителя. Это — Провидѣніе. Ибо точка знаетъ свою окружность, какъ курица — порожденныя ею яица, на которыхъ она сидитъ.

Такъ вышли небо, земля и звѣзды. Они «вышли», потому-что міръ есть религія: — не потому, что «въ мірѣ зародилась религія», а совсѣмъ и вовсе наоборотъ, совершенно и вовсе разное: потому-то и вышли «луна, звѣзды, и земля», и «закружилось все — въ небо», что въ тайнѣ и сущности мірозданія — какъ вздохъ и тѣнь — всегда лежала молитва.

Можно сказать, что вздохъ былъ «тѣмъ паромъ», «туманомъ», изъ котораго и вышло «все». Такъ что «все» — естественно и «задышало», когда появилось.

Оно задышало, потому-что появилось изъ «вздоха». Потому, что «вздохъ» — это «Богъ».

Богъ не бытіе. Не Всемогущество. Богъ — «первое вѣяніе», «утро». Изъ котораго все — «потомъ».

Туфли

Неужели-же, неужели всѣ европейцы, — и первые ученые изъ нихъ, и такъ вообще «толпа», воображаютъ объ евреяхъ и объ отношеніи ихъ ко Христу, что это *одно лишь упорство* народа, сдѣлавшаго ошибки, но затѣмъ — ни за что не желающаго *поправиться,* сознать свою *ошибку?* Хотя «теперь-то уже очевидно все превосходство христіанства надъ закономъ Моисеевымъ»? «такимъ *узкимъ* и такимъ *обрядовымъ?!!*» — «Евреи *ошиблисъ,* не признавъ своими же пророками, предреченнаго Мессію» и просто въ одинъ скверный день бытія своего они перемѣшали туфли, одѣвъ правую ногу въ лѣвую туфлю, а лѣвую ногу въ правую туфлю»? «И вотъ съ тѣхъ поръ такъ и ходятъ, смѣша людей и яляясь посмѣшищемъ исторіи»...

Такова общая *концепція* европейцевъ и Европы объ Іудѣ и юдизмѣ.

Между тѣмъ, неужели европейцамъ не приходитъ на умъ, что «иначе переобувъ туфли» — еврей каждый и единолично содѣлался-бы въ христіанскомъ мірѣ равнозначущъ Апостолу Павлу, и вообще — апостоламъ, которые «всѣ были изъ іудеевъ»? И что это обѣщало-бы и *исполнило* для нихъ обѣтованіе Исаіи: «будетъ время, и народы *понесутъ васъ на плечахъ своихъ»...* И это, т. е. исполненіе обѣтованія, — настало-бы просто «завтра», «завтрашній день»·.. Неужели же не очевидно, что если власть надъ цѣлымъ міромъ, «которая вотъ въ рукахъ уже», — евреи не берутъ, — если корыстные не берутъ богатства, славолюбивые не берутъ славы, то·.. то... то·..

Это — отъ того, что взять ее

грѣхъ

О, — такой *особенный* грѣхъ, въ такомъ *исключительномъ* видѣ грѣхъ... И который не простится ни въ жизни *этой,* ни — въ *будущей.* Это уже не воровство, кража, жадность, лѣнь, что мы дѣлаемъ каждый въ норкахъ житія своего, а что-то планетное, космогоническое, страшное. «Перемѣна *судьбы* своей». «Обмѣнить душу свою на богатства міра и на власть надъ міромъ»·

Какъ-же было европейцамъ, и особенно мыслителямъ европейскимъ, подумать не о «туфлѣ и ногѣ», о чемъ-то именно несоизмѣримѣйшемъ... И — не объ *упрямствѣ,* а о томъ: «не *грѣхъ*-ли это въ самомъ дѣлѣ?».

Если-же «грѣхъ признать Іисуса»: то, сверкая молніями сюда,

какъ было не оглянуться: «А, можетъ быть, мы — и *приняли этотъ грѣхъ*».

Вѣдь такъ именно и получено самимъ Христомъ: получена *власть надъ цѣлымъ міромъ*, вопреки видимаго, разсказаннаго въ Евангеліи, отреченія; — *богатства цѣлаго міра*. Власть *надъ Европою*, европейцами, *мыслью* ихъ, *смысломъ* ихъ.

Вдругъ послѣдній бѣднякъ - еврей отказывается: — «*не надо* этого!» — «*не хочу* этого»!

Неужели не ясно, что это — не то-же, что «туфля.

Но, когда такъ: то не явно-ли, что скорѣе ужъ мы «обули *не такъ* ноги», — но что вотъ именно мы, по своей дѣйствительно лѣни, по своей засвидѣтельствованной лѣни, лишь держимся этого косно и по традиціи.

ВЫПУСКИ ШЕСТОЙ И СЕДЬМОЙ

1. Переживанiе. 2. Почему на самомъ дѣлѣ евреямъ нельзя устраивать погромсвъ? 3. Еще о «сынѣ» въ отношенiи «отца». 4. Приказъ № 1.

Переживанiе

Въ Посадѣ мѣра картофеля (августа 12-го 1918 года) — 50 рублей. Услышалъ отъ старушки Еловой, что въ гор. Александровѣ близъ Посада, мѣра — 6 руб. Спѣшу на вокзалъ справиться, когда въ Александровъ отходятъ поѣзда. Отвѣчаетъ мастеровой съ бляхой:

— Въ три.

Я:

— Это по старому или по новому времени?

Часы по приказанiю большевиковъ переведены въ Сергiевѣ на 2 часа впередъ.

— Конечно по новому. Теперь все по новому. (Помолчавъ:) — Старое теперь все въ могилѣ.

Да. Радуйся русская литература. И ржаная мука уже 350 руб. пудъ.

Бѣдные мрутъ. Богатые едва имѣютъ силу держаться.

Почему на самомъ дѣлѣ евреямъ нельзя устраивать погромовъ?

Въ революцiи нашей въ высшей степени «неясенъ» еврей. Какъ онъ во всемъ не ясенъ, и запутался во всей европейской цивилизацiи. Но до Европы — оставимъ. Намъ важны мы. Посмотрите, какъ они трясутся надъ революцiей. Не умно, злобовредно, но — трясутся. А вѣдь это и ихъ «гешефтамъ» не обѣщаетъ ничего. Даже обѣщаетъ плохо. Почему же они трясутся? Я разъ посмотрѣлъ въ иллюстрированномъ журналѣ — Нахамкиса; и, противъ непрiятнаго Ленина, сказалъ: — «Какъ онъ сорьезенъ» (хотѣлъ бы видѣть въ натурѣ).

Да, рѣчь его противъ Михаила Александровича — нагла. Но вѣдь евреи и всегда наглы. Въ Европѣ, собственно, они не умѣютъ говорить европейскимъ языкомъ, т. е. льстивымъ, вкрадчивымъ и лукавымъ, во всякомъ случаѣ — вѣжливымъ, а орутъ, какъ въ Азіи, ибо и суть азіаты, грубіаны и дерзки. Это — гогочущіе пророки, какъ я опредѣлилъ когда-то. Они обо всякой курицѣ, т. е. въ торгѣ, пророчествутъ. «Ефа за ефу», — «отчего ефу не вывѣряешь», «отчего вѣсы не вѣрны» (Исаія, — или который-то разъ попалось). Но... быть «Стекловымъ»*). Но это — не обманъ. Только отодвинутый «кончикомъ носка сапога», онъ разъярился, какъ «Нахамкисъ» и на Михаила Александровича, и — дальше...И возненавидѣлъ всю эту старую «черствую Русь».

Евреи... Ихъ связь съ геволюціей я ненавижу, но эта связь, съ другой стороны, — и хороша; ибо изъ-за связи и даже изъ-за поглощенія евреями почти всей революціи — она и слиняетъ, окончится погромами и вообще окончится ничѣмъ: слишкомъ явно, что «не служить же русскому солдату и мужику евреямъ»... Я хочу указать ту простую вещь, что если магнаты еврейства можетъ быть и думаютъ «въ цѣломъ руководить потомъ Россіей», то есть бѣдные жидки, которые и соотечественникамъ не уступятъ русскаго мужика (идеализированнаго) и ремесленника и вообще (тоже идеализированнаго) сироту.. Евреи сентиментальны, глуповаты и преувеличиватъ. Русскій «мужичекъ-простачекъ» злобнѣе, грубѣе... Главное — гораздо грубѣе· «Съ евреями у насъ дѣло вовсе не разобрано». Еврей есть первый по культурѣ человѣкъ во всей Еевропѣ, которая груба, плоска и въ «человѣчествѣ» далѣе соціализма не понимаетъ. Еврей же зналъ вздохи Іова, пѣсенки Руфи, пѣснь Деворры и сестры Моисея:

— О, фараонъ, ты ввергнулся въ море. И кони твои потонули. И вотъ ты — ничто.

Евреи — самый утонченный народъ въ Европѣ. Только по глупости и наивности они пристали къ плоскому дну революціи, когда ихъ мѣсто — совсѣмъ на другомъ мѣстѣ, у подножія державъ (такъ вѣдь и поступаютъ и чтутъ старые настоящіе евреи, въ благородномъ: «мы — рабы Твои», у всего настояще Великаго. «Величитъ душа моя Господа» — это всегда у евреевъ, и всегда — въ отношеніи къ великому и благородному исторіи)· О, я вѣрю, и Нахамкисъ приложился сюда. Но — сорвалось. Сорвалось не — «величіе», и онъ ушелъ, мстительно какъ еврей, — ушелъ «въ богему». «Революція такъ революція. «Вали все». Это жидъ и жидокъ и его нетерпѣливость.

Я выбираю жидка. Сколько насмѣшекъ. А онъ все цымбалитъ. Насмѣшекъ, анекдотовъ: а онъ смотритъ русскому въ глаза и поетъ ему пѣсни (на жаргонѣ) Заднѣпровья, Хохломаніи, Подоліи, Волыни, Кавказа, и, можетъ быть, еще Сиріи и Палестины и Вавилона

*) Найденное, послѣ взлома революціоннаго, его прошеніе на Высочайшее Имя, о позволеніи перемѣнить свою еврейскую фамилію на русскую.

и Китая (я слышалъ, есть китайцы - евреи, и отпускаютъ себѣ косы!!!). Еврей вездѣ и онъ «странствующій жидъ», Но не думайте; не для «гешефта»: но (наша Лѣтопись) — «Богъ отнялъ у насъ землю за грѣхи наши и съ тѣхъ поръ мы странствуемъ».

И вездѣ они несутъ благородную и святую идею «грѣха (я плачу), безъ которой нѣтъ религіи, а человѣчество было бы разбито (праведнымъ небомъ), если бы отъ жидовъ не научилось трепетать и молить о себѣ за грѣхъ. Они. Они. Они. Они утерли сопли пресловутому европейскому человѣчеству и всунули ему въ руки молитвенникъ: «на, болванъ, помолись». Дали псалмы. И Чудная Дѣва — изъ евреекъ. Что бы мы были, какая дичь въ Европѣ, если-бы не евреи. Но они пронесли печальныя пѣсни черезъ насъ, смотрѣли (всегда грустными глазами) на насъ. И разъ я на пароходѣ слышалъ (и плакалъ): «Купи на 15 коп. уксусной кислоты — я выпью и умру. Потому что онъ измѣнилъ мнѣ». Пѣла жидовка лѣтъ 14-ти, и 12- лѣтній братъ ея игралъ на скрипкѣ. И жидовка была серьезна... О, серьезна... Я (въ душѣ) плакалъ. И думалъ: «какъ честно; они вырабатываютъ пятаками за проѣздъ, когда у насъ бѣдные ѣдутъ фуксами, т. е. какъ нибудь на казенный счетъ, или подъ лавкою, и вообще — на даровщинку.

И вотъ они пѣли, какъ и Деворра, не хуже. Почему хуже? Какъ «На рѣкахъ вавилонскихъ»: — «О, мы разобьемъ дѣтей твоихъ о камень, дщерь вавилонская». Это — Нахамкисъ. Нахамкисъ кричитъ: «Зачѣмъ же лишили его права быть Стекловымъ», «благороднымъ русскимъ гражданиномъ Стекловымъ», и также сталъ «ругать звѣрски Михаила Алексанровича», какъ іудеянки хотѣли (вѣдь только *хотѣли)* «разбивать вавилонскихъ дѣтей о камня» (вавилонскій жаргонъ).

Это — гнѣвъ, ярость: но оттого-то они и живутъ и не могутъ и не хотятъ умереть, что — горячи.

И будь, жидъ, горячъ. О, какъ Розановъ — и не засыпай, и не холодѣй вѣчно. Если ты задремлешь — міръ умретъ. Міръ живъ и даже не сонепъ, пока еврей «все однимъ глазкомъ смотритъ на міръ». — «А почемъ нынче овесъ?» — И торгуй, еврей, торгуй, — только не обижай русскихъ. О, не обижай, миленькій. Ты талантливъ, даже геніаленъ въ торговлѣ (связь вѣковъ, связь съ Финикіей). Припусти насъ, сперва припусти къ «Торговлѣ аптекарскими товарами», къ аптекамъ, научи «синдикатамъ» и вообще введи въ свое дѣло ну хоть изъ 7 - 8 %, а себѣ — 100, и русскіе должны съ этимъ примириться, потому что вѣдь не они изобрѣтатели. Подай еврею, подай еврею, — онъ творецъ, сотворилъ. Но потомъ подай и русскому, Господи: онъ нищъ.

О, довольно этой «нищенской сумы», этого христіанскаго нищенства, изъ котораго вѣдь выглядываютъ завидущіе глазки. Но оставимъ. И вернемся къ печальнымъ пѣснямъ Израиля.

И вотъ онъ играетъ, мальчишка, а дѣвченка поетъ. Какъ я слушалъ эту пѣсню безумную на Волгѣ. И дѣти мои слушали. И они почти плакали. Впечатлительны всѣ. «Вѣдь у васъ былъ Сампсонъ, евреи?» Моргаетъ. — «Помните, Самсонъ и Далила?» — «Какъ

они сражались съ филистимлянами?» — «Сражались, о, о...» «Ну?» — «Теперь одна стѣна плача; Римляне разорили все»..

И они трясут кулаками по направленiю Рима. «У...У...У...». Но, еврей, утѣшься: давно прошли легiоны Рима; отъ Рима «того самаго», осталось еще меньше, нежели осталось отъ Iерусалима; онъ еще гораздо глубже погребенъ. А вы все еще спрашиваете у лѣниваго хохла: «А всетаки почемъ же пшено?»

Русскiе въ странномъ обольщенiи утверждали, что они, «и восточный и западный народъ» — соединяютъ и Европу и Азiю въ себѣ, не замѣчая вовсе того, что скорѣе они не западный, и не восточный народъ, ибо что же они принесли Азiи, и какую роль сыграли въ Европѣ? На востокѣ они ободрали и споили Бурятъ, черемисовъ, киргизъ-кайсаковъ, ободрали Арменiю и Грузiю, запретивъ даже (самъ слушалъ обѣдню) слушать свою православную обѣдню по грузински. О,о,о... Самъ слушалъ, самъ слушалъ в Тифлисѣ. Въ Европѣ явились какъ Герценъ и Бакунинъ и «внесли соцiализмъ», котораго «вотъ именно не хватало Европѣ». Между Европой и Азiей мы явились именно «межеумками», т. е. именно нигилистами, не понимая ни Европы ни Азiи. Только пьянство, муть и грязь внесли. Это, дѣйствительно, внесли». Страховъ мнѣ говорилъ съ печалью и отчасти съ восхищенiемъ: «Европейцы, видя во множествѣ у себя русскихъ туристовъ, поражаются талантливостью русскихъ и утонченнымъ ихъ развратомъ». Вотъ это — такъ. Но принесли ли мы семью? добрыя начала правовѣ? трудоспособность? Ни-ни-ни. Теперь, Господи, какъ страшно сказать... Тогда, какъ мы «и не восточный и не западный народъ», а просто ерунда, — ерунда съ художествомъ, — евреи являются на самомъ дѣлѣ не только первенствующимъ народомъ Азiи, давшимъ уже не «кое-что», а весь свѣтъ Азiи, весь смыслъ ея, но они гигантскими усилiями, неутомимой дѣятельностью, становятся мало-по-малу и первымъ народомъ Европы. Вотъ! Вотъ! Вотъ! Этого-то и не сказалъ никто о нихъ, т. е. «*о соединительной* ихъ роли между Востокомъ и Западомъ, Европою и Азiею». И — пусть. О, пусть... Это — да, да, да.

Посмотрите, встрепенитесь, опомнитесь: несмотря на побои, какъ они часто любятъ русскихъ и жалѣютъ ихъ пороки, и никогда «по Гоголевски» не издѣваются надъ ними. Надъ порокомъ нельзя смѣяться, это — преступно, звѣрски. И своею и нравственною, и культурною душою, они никогда этого не дѣлаютъ. *Я за всю жизнь никогда не видѣлъ еврея, посмѣявшагося надъ пьянымъ или надъ лѣнивымъ русскимъ.* Это что-нибудь значитъ среди оглушительнаго хохота самихъ русскихъ надъ своими пороками. Среди нашихъ очаровательныхъ: «Фонъ-Визинъ, Грибоѣдовъ, Гоголь, Щедринъ, Островскiй». А вотъ слова, которыя я слышалъ: «Послушайте, какъ вы смотрите на русскаго священника?» — «При всѣхъ его недостаткахъ, я всетаки люблю его». — «Люблю? Это — мало: можно ли *не чтить его*: онъ получаетъ корку хлѣба, т. е. сельскiй священникъ, а сколько труда, сколько труда онъ несетъ». Это докторъ

Розенблюмъ, въ Лугѣ, въ 1910 г. Я думалъ, онъ нѣмецъ. Разспросилъ — еврей. Когда разбиралось дѣло Панченко («Де-Ласси и Панченко»), пришлось при экспертизѣ опросить какого-то врача -еврея, и онъ сказалъ серьезно: «Я вообще привыкъ думать, что *русскій врачъ есть достойное и нравственное лицо*». Я такъ былъ пораженъ обобщенностью вывода и твердостью тона. И за всю жизнь я былъ поражаемъ, что не смотря на побои («погромы») взлядъ евреевъ на русскихъ, на душу русскую, на самый даже несносный характеръ русскихъ — уважителенъ, серьезенъ. Я долго (многіе годы) приписывалъ это тому, что «евреи хотятъ еще больше развратиться русскимъ»: но покоряетъ дѣло истинѣ своей, и я въ концѣ концовъ вижу, что это — не такъ. Что стояло безумное оклеветаніе въ душѣ моей, а на самомъ дѣлѣ евреи уважительно, любяще и трогательно относятся къ русскимъ, даже со страннымъ противъ европейцевъ предпочтеніемъ. И на это есть причина: среди «свинства» русскихъ, есть правда одно дорогое качество — интимность, задушевность. Евреи — тоже. И вотъ этою чертою они ужасно связываются съ русскими. Только русскій есть пьяный задушевный человѣкъ, а еврей есть трезвый задушевный человѣкъ.

Огромный красивый солдатъ, въ полу-сумракѣ уже, говорилъ мнѣ:

— Какъ отвратительно... Какъ отвратителенъ тонъ заподозриванія среди этого Совѣта солдатскихъ и рабочихъ депутатовъ. Я пришелъ въ Таврическій Дворецъ и не вѣрю тому, что вижу... Я пришелъ съ вѣрою въ народъ, въ демократію...

Так какъ я пришелъ «безъ вѣры», то горячо и как бы «хватаясь за его руку», спросилъ у него:

— Да *кто* вы?...

— Солдатъ изъ Финляндіи... Стоимъ въ Финляндіи... Я, собственно, еврей...

— Я — русскій Русскій изъ русскихъ. Но я хочу васъ поцѣловать. — И мы крѣпко поцѣловались.

Это было, когда я захотѣлъ посмотрѣть «солдатскихъ депутатовъ» въ мартѣ или апрѣлѣ 1917 года.

Въ томъ же мѣсяцѣ, но много позже:

Уголъ Литейной и Бассейной. Трамвай. Переполненъ. И старается пожилой еврей съ женою сѣсть съ передней площадки, такъ какъ на задней «висятъ». Я осторожно и стараясь быть не очень замѣтнымъ — подсаживаю жену его. Когда вдругъ схватилъ меня за плечо солдатъ, очевидно не трезвый («ханжа»):

— Съ передней площадки запрещено садиться. Развѣ ты не знаешь?!!!

— Я всегда поражался, что эти господа и вообще вся россійская публика, отмѣнивъ у себя царскую власть «порывомъ», никакъ не можетъ допустить, чтобы человѣкъ тоже «порывомъ» вскочилъ на переднюю площадку вагона и поѣхалъ, куда ему нужно. Оттол-

кнувъ его, я продолжалъ поддерживать и пропихивать еврейку, сказавъ и еврею: — Садитесь, садитесь скорѣе!!»

Мотивъ былъ: еврей торопливо просилъ пропустить его «хоть съ передней», ибо онъ спѣшилъ къ отходу финляндскаго поѣзда. А всякій знаетъ, что значитъ «опоздать къ поѣзду». Это значитъ «опоздать къ обѣду», и пошло разстройство всего дня. Я поэтому и старался помочь.

Солдатъ закричалъ, крикнувъ и другимъ тутъ стоявшимъ солдатамъ («на помощь»): «тащите его въ комиссаріатъ, онъ оскорбилъ солдата». Я, правда, кажется, назвалъ его дуракомъ. Я смутился: «съ комиссаріатомъ я ко всякому обѣду опоздаю» (я тоже спѣшилъ). Видя мое смущеніе и страхъ, еврей вступился за меня — «Что же этотъ господинъ сдѣлалъ, онъ только помогъ моей женѣ»

И вотъ, не забуду этого голоса, никогда его не забуду, потому что въ немъ стоялъ ножъ:

— Ж-ж-идъ прок-ля-тый...

Это было такъ сказано.

И какъ музыка , старческое:

— Мы уже теперь всѣ братья («гражданство», «свобода», — мартъ): зачѣмъ же вы говорите такъ (т. е. что «и еврей, и русскій — братья», «нѣтъ больше евреевъ, какъ *чужихъ и постороннихъ*»)

Я не догадался. Я не догадался...

Я слышалъ всю музыку голоса, глубоко благороднаго и глубоко удивляющагося.

Потомъ уже, на завтра, и даже «сегодня» еще, я понялъ, что мнѣ нужно было снять шапку и почти до земли поклониться ему и сказать: «Вотъ, я считаюсь врагомъ еврейства, но на самомъ дѣлѣ я не врагъ: «и прошу у васъ прощенія за этого грубаго солдата»

Но солдатъ такъ кричалъ и такъ пытался схватить и дѣйствительно хваталъ за руку со своимъ «комиссаріатомъ», что въ попыхахъ я не сдѣлалъ естественнаго.

И опять звукъ этого голоса, какого *на русской улицѣ*, — уже извините: на русской пох...ной улицѣ, — не услышишь.

Никогда, никогда, никогда.

«Мы уже теперь всѣ братья. Для чего же вы говорите такъ?»

Евреи наивны: евреи бываютъ очень наивны. Тайна и прелесть голоса (дребезжащаго, стараго) заключалась въ томъ, что этотъ еврей, — и такъ, изъ полу-образованныхъ, мѣщанъ, — глубоко и чисто повѣрилъ, со всѣмъ восточнымъ довѣріемъ, что эти плуты русскіе въ самомъ дѣлѣ «что-то почувствовавъ въ душѣ своей», «не стерпѣли стараго произвола» и, вотъ, «возгласили свободу». Тогда-какъ, по завѣтамъ русской исторіи, это были просто Чичиковы, — ну, «Чичиковы въ помѣси съ Муразовыми». Но уже никакъ не больше.

Форма. Фраза.

И вдругъ это такъ перерѣзало музыкой. Нельзя объяснить, не умѣю. Но даже до Чудной Дѣвы мнѣ что-то послышалось въ голосѣ

«Величитъ душа моя Господа и возрадовался духъ мой о Богѣ Спасѣ моемъ».

Я хочу сказать, что все европейское какъ-то необыкновенно грубо, жестко сравнительно съ еврейскимъ. Тутъ тайна Сиріи и ихъ жаркихъ странъ. Тутъ та тайна еще, что они Іова слушаютъ не двѣ тысячи лѣтъ, а пять тысячъ лѣтъ, да очевидно и слушаютъ-то другимъ ухомъ. Ахъ, я не знаю что... Но я знаю, что не въ умѣ евреевъ дѣло, не въ дѣятельности и дѣловитости, какъ обыкновенно полагаютъ, а совершенно въ иномъ... Дѣло заключается, или почти должно заключаться въ какой-то таинственной Сулафими, которая у нихъ разлита во всемъ, — въ иномъ осязаніи, въ иной воспріимчивости къ цвѣтамъ, въ иной пахучести, и — какъ человѣка «взять», «обнять», «приласкать». Гдѣ-то тутъ. «Отъ человѣка къ человѣку». Не «въ евреѣ», а въ «двухъ евреяхъ». И вотъ тутъ-то они и разливаются во всемірность.

«Русскіе — общечеловѣки». А когда дѣло дошло до Арменіи, — одинъ министръ иностранныхъ дѣлъ (и недавній) сказалъ: «Намъ (Россіи) нужна Арменія, а вовсе не нужно армянъ». Это — дѣловымъ ,строгимъ образомъ. На концѣ тысячелѣтія существованія Россіи. Т. е. не какъ восклицаніе, гнѣвъ, а (у министра) почти какъ программа... Но вѣдь это значитъ: «согналъ бы и стеръ съ лица земли армянъ, всѣхъ этихъ стариковъ и дѣтей, гимназистовъ и гимназистокъ, если бы *не было неприлично и не показалось некультурно*». Это тотъ же Герценъ и тотъ же соціализмъ. Это вообще русскій нигилизмъ, очевидно, *вѣковѣчный* (Китъ Китычъ о женѣ своей: «хочу съ кашей ѣмъ, хочу со щами хлебаю»). Опять, опять «удѣлъ Россіи»: — очевидно, не русскимъ дано это пониманіе въ удѣлъ. Несчастные русскіе. — о, обездоленные... Опять же евреи: на что погромы. Вѣдь это ужасъ. И вотъ все-же они нашли и послѣ нихъ всѣ слова, какія я привелъ, — и порадоваться русской свободѣ, и оцѣнить русскаго попа. Да и вообще *злого глаза, смотрящаго украдкою или тайно за спиною русскаго, я у еврея не видалъ.*

Я и хочу сказать, что дѣло заключается въ какой-то дѣловой всемірности, — не отвлеченной, не теоретической, а съ другой стороны — не взыхающей и слезливой, а практической и помогающей. Самый «соціализмъ ихъ», какъ я его ни ненавижу, всетаки замѣчателенъ: всетаки вѣдь соціализмъ выражаетъ мысль о братствѣ народовъ и братствѣ людей, и они въ него уперлись. Тутъ только наивность евреевъ, которые рѣшительно не такъ умны, какъ европейцамъ представляется, какъ европейцы пугаются. Они взяли элементарно, первобытно, высчитывая по пальцамъ: «кто *съ чѣмъ, съ какимъ имуществомъ живетъ*», и не догадываясь, что все зависитъ отъ «*какъ* этотъ человѣкъ живетъ»; что можно жить съ большимъ богатствомъ — *какъ въ аду*» (наши Китъ Китычи) и можно жить на кухнѣ, «въ прислугахъ» — «счастливѣе господъ». Рѣшительно я замѣчалъ, какъ многіе господа живутъ печальнѣе,

грустнѣе, и раздраженнѣе своихъ прислугъ, которые — по самымъ лицамъ ихъ видно—живутъ «благословясь и въ благословеніи». Соціализмъ вообще плосокъ, доска, — и безмѣрная наивность евреевъ, что они восприняли его, что они повѣрили въ такой глупый счетъ арифметическихъ машинъ. И я вѣрю, что это непремѣнно и скоро кончится. *Имъ*-ли, *имъ*-ли, послѣ *ихъ-ли исторіи и* судебъ, — вѣрить этому... Имъ-ли, которые въ нѣгѣ реализма («будь все какъ есть») произнесли: «льна курящагося *не погаси*» *и* «трости надломленной *не преломи*», — и которые, если кто богатый обѣднѣетъ у нихъ, то община обязана не только содержать его, но и купить ему карету, если прежде была у него карета: дабы онъ не испытывалъ перемѣны въ самомъ уровнѣ своего положенія и *не скорбѣлъ через самую мысль даже о немъ*... Это именно нѣга благородства и человѣчности, и выраженная кухоннымъ, т. е. реальнѣйшимъ способомъ. «Такъ несчастно живутъ въ ихъ гетто» и ихъ «свиные кагалы». (Мнѣ сообщилъ это еврей торговецъ дамскими ботинками, въ совершенно темномъ вагонѣ, въ Спб., въ Варшавскомъ вокзалѣ; онъ былъ, что такая у нихъ рѣдкость, немного не трезвъ). Вотъ! вотъ! вотъ! настоящая идея уравненія бѣднаго и богатаго: помощь бѣдному и *помощь богатому*, дабы оба держались на томъ же уровнѣ, безъ ощущенія разницы температуръ *привычной* жизни — просто *отъ роду*. О, геній универсальности и чуткости. Богачъ можетъ также скорбѣть и *страданія его могутъ быть величайшія*. Нельзя завистливымъ глазомъ смотрѣть на богатство. Это — христіанство. И чуть ли именно по зависти, а не по «благости» — соціализмъ есть воистину христіанское явленіе. Самый «соціализмъ» или «соціализація» — безъ христіанства — выразился бы пожалуй въ другомъ, иначе: обѣдаю *самъ*, но и еще лишнему, гостю, *чужому съ улицы* — даю обѣдъ, сажаю съ собой его за столъ, *не отягощаясь*, что это чужой. Соціализмъ выразился бы *близостью*, соціализмъ выразился бы *любовью*: а не — «перерву горло» у солдата, закричавшаго: «жидъ про-клятый». Словомъ, соціализмъ выразился бы тоже однимъ изъ таинственныхъ вѣяній Суламифи, какимъ — мы не знаемъ, если бы онъ былъ оригинально - евреемъ, а не подражательно - евреемъ (отъ европейцевъ). Да вотъ: «Дай, я *умою ноги тебѣ*», о нищемъ, о бѣдномъ.. Тутъ именно «дотронуться», дотронуться до *бѣднаго*. Какъ я и сказалъ: «надо пощупать кожу его».

Суть вещей. Суламифь. Вѣдь вся Пѣснь Пѣсней — пахуча. Тайна вещей, что онъ не «добръ», а нѣженъ. Добро — это отвлеченность. Добро— это долгъ. Всякій «долгъ» надоѣстъ когда-нибудь дѣлать. Тайна міра, тайна всего міра заключается въ томъ, чтобы *мнѣ самому было сладко дѣлать сладкое*, и вотъ тутъ секретъ: «Сними обувь, и я взявъ холодной воды — проведу по подошвамъ твоимъ, по подъему ноги, по пальцамъ». Тутъ такъ близко, что уже есть любовь. «Я замѣчу старую морщину у старика, — да и такъ можетъ выйти случай, шутка около омовенія ногъ». Это вообще такъ близко, что не можетъ не завязаться шутка и анекдотъ «около но-

ги». Ну, вотъ, видите: а разъ шутка и анекдотъ, то уже никогда не выйдетъ холоднаго, холоднаго потому, что формальнаго fraternité, égalité. Къ великимъ прелестямъ европейской исторіи относится то, что при всей древности и продолжительности ея — никогда у нихъ даже не мелькнуло сказать такой пошлости. Такой невѣрности и такой несправедливости. Ибо вѣдь нужно и истину и справедливость перевернуть вверхъ дномъ, дабы между неодинаковыми, ничего между собой не имѣющими общаго людьми, установить égalité, да и еще родственное — fraternité.

Прямо чувствуешь франтовъ и маркизовъ 18 вѣка, fin du siècle XVIII. А это: «Около тебя *раба твоя Руфь...*» — *И будетъ мнѣ по глаголу твоему*»... Какіе все тоны! Ты плачешь, европеецъ. Плачь же. Плачь бѣдными своими глазами. Плачь: потому что въ оригинальной своей исторіи ты вообще не сотворилъ такихъ словооборотовъ, сердцеворотовъ, умоворотовъ. Вся душа твоя площе, суше, холоднѣе. О, другое солнце, другое солнце.. Другая пахучесть, иныя травы. И — посмотрите, королевы-ли, маркизы, жены, любовницы: вѣдь Суламифь — всего только любовница. Любовница? И никто не отрицаетъ. Но жены стоятъ и рыдаютъ: «о, какъ хотѣли бы мы только побыть такою любовницею». И вотъ — посмотрите чудо, чудо уже въ нашей исторіи и «въ строгостяхъ нашихъ»: и церковь не отрицаетъ, что это — только любовница. Но и она рыдаетъ и говоритъ: «Какое чудо... Я знаю — *кто* она, эта Суламифь: и не осуждаю, и обнимаю ноги ея, потому что она вся прекрасна и благородна, и нѣтъ лучшей между женами по чистотѣ мыслей и словъ».

И чувствуете ли вы, европейцы, что вотъ уже весь міръ преображенъ. Нѣтъ вашихъ сухихъ категорій, нѣтъ вашихъ плоскихъ категорій. Гдѣ юриспруденція? гдѣ законы? Нѣтъ, гдѣ — гордость? А изъ нея у Европы все. Вся Европа горда и изъ гордости у нея все. Не надо! Не надо! Небо, небо! Небо дай намъ! А небо...

Оно тамъ, гдѣ рабство. Гдѣ рабы счастливѣе господъ. А «гдѣ рабы счастливѣе господъ» — это тайна Израиля. Ибо по-истинѣ Суламифь была счастливѣе Соломона и Агарь прекраснѣе Авраама. Вотъ.

Еще о «Сынѣ» въ отношеніи «Отца»

...Въ сынахъ человѣческихъ, — сынахъ *земныхъ* и *несовершенныхъ*, — такъ это и происходитъ, что «сынъ *рождается*, если отецъ былъ не ПОЛОНЪ. Если онъ не круглъ, не закругленъ (зерно, *ВИДЪ* зерна, онтологическое основаніе закругленности *ВСЯКИХЪ ВООБЩЕ ЗЕРЕНЪ*), если онъ — *УГЛОВАТЪ*.

Сынъ, дѣти въ сынахъ человѣческихъ всегда *НЕ ПОХОДЯТЪ* на отца, и скорѣе *ПРОТИВОЛЕЖАТЪ* ему, нежели его повторяютъ собою. Мысль о *тавтологіи* съ отцомъ, *не отличимости* отъ отца противорѣчитъ закону космической и онтологической цѣлесо-

образности. Повторение вообще какъ-то глупо. Онтологически — оно невозможно.

Посему кто сказалъ бы: «я и отецъ — ОДНО, вызвалъ бы отвѣтомъ недоумѣніе: «Къ чему?» — «Зачѣмъ *повтореніе?*». Нѣтъ, явно, что сынъ могъ бы «придти» только чтобы «восполнить отца» какъ несовершеннаго, лишеннаго полноты и вообще недостаточнаго. Безъ онтологической недостаточности отца не можетъ быть сына, хотя бы отецъ и былъ «вѣчно рождающимъ» и даже только въ сути своей именно «рождающимъ». Но онъ «рождаетъ міръ» и, наконецъ, имѣетъ даръ, силу и красоту рожденія, хотя бы даже безъ выраженія ея на землѣ или въ исторіи. Вѣрнѣе, онъ именно *продолжаетъ* и доселѣ сотворять міръ, *соучаствуя* всѣмъ *тварямъ* безъ исключенія въ родахъ ихъ; составляетъ *нервъ* и *нить* ихнихъ родовъ, отъ цвѣтка и до человѣка, безъ преимущества цвѣтку или человѣку. Но чтобы появился сынъ, какъ имянность или лицо, то это могло бы быть только, чтобы сказать нѣчто *новое землѣ* и *совершить* на ней тоже *новое*. Безъ новизны нѣтъ сына. Сказать *иное* отъ отца и именно *отличное* отъ отца — вотъ для чего могъ бы «придти» сынъ. Безъ противорѣчія отцу не можетъ быть сына.

Такъ это и изложено въ самомъ Евангеліи. «Древніе говорятъ..., *А (НО)* — Я говорю». На самомъ дѣлѣ это говорили не древніе *люди*, но — *законъ* ихъ, вышедшій отъ Отца. Возьмемъ же «око за око» — и «подставь ланиту ударившему тебя». «Око за око» — есть основаніе онтологической справедливости наказанія. Безъ «око за око» — *быстъ* преступленіе и *нѣстъ* наказанія. А «наказаніе» даже въ упрекѣ совѣсти (и въ немъ сильнѣе, чѣмъ въ физикѣ) — оно *ЕСТЬ*, и оно *онтологично* міру, т. е. однопространственно и одновременно міру, въ душѣ его лежитъ. И отъ того, что оно такъ *положено* въ мірѣ, положено Отцемъ небеснымъ, — Христова «ланита», въ противоположность Отцовскому (какъ и *вездѣ*) *милосердію*, — довела человѣчество до мукъ отчаянія, до мыслей о самоубійствѣ, или — до безконечности обезобразила и охаотила міръ. Между прочимъ, на это показываютъ слова Апостола Павла: *Бѣдный* я человѣкъ, кто *избавитъ меня отъ сего тѣла* смерти». Это — прямо вопль Каина, и относится онъ безспорно къ винѣ отмѣны обрѣзанія т. е. къ разрушенію имъ, уже совершенно явно, всего Ветхаго Завѣта, при полномъ непониманіи этого Завѣта. Какъ и вездѣ въ Евангеліи, при «пустякахъ» ланиты, дѣлая пустое облегченіе человѣку, — Христосъ *на самомъ дѣлѣ невыносимо отяготилъ* человѣческую жизнь, усѣялъ ее «терніями и волчцами» колючекъ, чего-то рыхлаго, чего-то несбыточнаго. На самомъ дѣлѣ, «справедливость» и «наказаніе» есть то «обыкновенное» и то «нормальное» земного бытія человѣческаго, безъ чего это бытіе потеряло бы уравновѣшанность. Это есть то ясное, простое и вѣчное, что именно характеризуетъ «полноту» отца и его вѣчную основательность, — кончающую короткое короткимъ, — на мѣсто чего стали слезы,

истерика и сентиментальность. Настала Христова мука, настала Христова смута.

Приказъ № 1

превратившій одиннадцатью строками одиннадцатимилліонную русскую армію въ труху и соръ, не подѣйствовалъ бы на нее и даже не былъ бы вовсе понятъ ею, если бы уже 3/4 вѣка къ нему не подготовляла вся русская литература. Но нужно было, чтобы — гораздо ранѣе его — начало слагаться пренебреженіе къ офицеру, какъ къ

дураку
фанфарону
трусу,

во всѣхъ отношеніяхъ къ —

ничтожеству

и отчасти къ

вору.

Для чего надо было сперва посмотрѣть на Скалозуба

въ театрѣ

и прочитать, какъ

умывался

генералъ Бетрищевъ, пишущій «Исторію генераловъ Отечественной войны», — у Гоголя, фыркая въ носъ Чичикову. Тоже — и самому Толстому надо было передать, какъ генералы храбрятся по виду, и стараются не нагнуться при выстрѣлѣ, но нагибаются, вздрагиваютъ и трясутся въ душѣ и даже наяву.

Когда вся эта литература прошла, — прошла въ геніальныхъ по искусству созданіяхъ «русскаго пера», — тогда присяжный повѣренный Соколовъ «снялъ съ нея сливки». Но еще болѣе «снялъ сливки» Берлинскій Генеральный Штабъ, охотно бы заплатившій за клочекъ писанной чернилами бумажки всю сумму годового дохода Германіи за годъ.

«Приказъ № 1» давно готовился. Безспорно, онъ былъ заготовленъ въ Берлинѣ. Берлинъ вообще очень хорошо изучилъ русскую литературу. Онъ ничего не сдѣлалъ иного, какъ выжалъ изъ нея сокъ. Онъ отбросилъ цѣлебное въ ней, чарующее, истинное. «На войнѣ какъ на войнѣ»... «Эти ароматы намъ не нужны». «Намъ, — нѣмцамъ на рѣкѣ Шпрее...»

Отъ ароматовъ и благоуханій онъ отдѣлилъ ту каплю желчи, которая несомнѣнно содержалась въ ней. Несомнѣнно — содержалась. И въ нужную минуту поднесъ ее Россіи.

Именно ее.

Ее одну.

Каплю наиболѣе роскошно выработанную золотою русской литературой.

«Пей. Ты-же ее любила. Растила. Холила».

Россія выпила и умерла.

Собственно, никакого нѣтъ сомнѣнія, что Россію убила литература. Изъ слагающихъ разложителей Россіи ни одного нѣтъ не литературнаго происхожденія.

Трудно представить себѣ... И, однако — *такъ*.

Къ читателю, если онъ другъ. — Въ этотъ страшный, потрясающій годъ, отъ многихъ лицъ и знакомыхъ, и вовсе неизвѣстныхъ мнѣ, я получалъ, по какой-то догадкѣ сердца, помощь и денежную и съѣстными продуктами. И не могу скрыть, что безъ таковой помощи я не могъбы, не *сумѣлъ* бы перебыть этотъ годъ. Мысли и страхи и тоска самоубійства уже мелькали, давили. Увы: писатель — сомнамбула. Лазитъ по крышамъ, слушаетъ шорохи въ домахъ: а не поддержи или не удержи его кто-нибудь за ноги, если онъ проснется отъ крика къ дѣйствительности, ко *дню* и *пробужденію,* онъ сорвется съ крыши дома и разобьется на смерть. Литература великое, самозабвенное счастье, но и великое въ *личной* жизни горе. Черныя тѣни, уголь: но и молодая эосъ (заря) эллиновъ. За помощь — великая благодарность; и слезы не разъ увлажняли глаза и душу. «Кто-то помнитъ кто-то *думаетъ,* кто-то догадался». «Сердце сердцу *вѣсть сказало*». Тоже въ своемъ родѣ сомнамбулизмъ пространствъ, временъ и уже читательской души и ея *благородныхъ сновидѣній.* Естественно каждому *своя душа открыта,* и о своей душѣ я знаю, какъ она ласкаетъ и *бережетъ* (главное!) и хочетъ унѣжить и у-интиминить (сдѣлать интимною) душу читателя. «Интимное, интимное берегите: всѣхъ сокровищъ міра дороже интимность вашей души! — то, чего о душѣ вашей никто не узнаетъ!» На душѣ читателя, какъ на крыльяхъ бабочки, лежитъ та нижняя *послѣдняя* пыльца, которой не смѣетъ, *не знаетъ* коснуться никто кромѣ Бога. Но вотъ и обратно: значитъ, интимность души читателя взяла внутрь себя интимную душу писателя. «Какъ ты тревоженъ, мой авторъ. Откуда у тебя такіе сны и страданія?».

О чемъ ты воешь, вѣтеръ ночной
Какую навѣваешь *быль?*

Усталъ. Не могу. 2-3 горсти крупы, *пять* круто испеченныхъ яицъ, можетъ часто спасти *день мой.* Что-то золотое брезжится мнѣ въ будущей Россіи. Какой-то въ своемъ родѣ «апокалипсическій переворотъ» уже въ воззрѣніяхъ историческихъ не одной Россіи, но и Европы. Сохрани, читатель, своего писателя, и что-то завершающее мнѣ брезжится въ послѣднихъ дняхъ моей жизни. *В. Р.*

Сергіевъ Посадъ, Московск. губ.,
Красюковка, Полевая ул., домъ
свящ. Бѣляева.

ВЫПУСКИ ВОСЬМОЙ И ДЕВЯТЫЙ

1. Христіанинъ. 2. La divina cсmedia. 3. Странность. 4. Perturbatio aeterna. 5. Надавило шкафомъ. 6. О отрастяхъ міра.

Христіанинъ

Точно онъ больной и всѣхъ заподазриваетъ, что они больны еще какими то худшими болѣзнями, нежели онъ самъ. Только къ одному, къ власти. онъ не чувствуетъ подозрѣнія. Власть всегда добра, блага, и собственно потому, что онъ лѣнивъ и власть обѣщаетъ ем е о устроить, какъ калѣку.

Благотвореніе, которое вездѣ восполняетъ недостатокъ у христіанъ есть нормальное положеніе. Тутъ всѣ благотворятъ «нищую братію» и какая то нищета имущества, тѣлъ и духа — вотъ христіанство. «Худощавые люди».

Когда славяне позвали «варягъ изъ-за моря» управлять себя, управлять своею «обширною и богатою землею», они показали себя какими-то калѣками уже до рожденія. Ужасно.

Ужасно и истинно. И до сихъ поръ, до нашего даже времени, я наблюдалъ что всѣ получше землицы, «покруглѣе», поудобнѣе мѣстоположеніемъ — въ рукахъ нѣмцевъ или евреевъ. «Дача Штоля», «имѣніе Винклера». За 15.000 Штоль скупилъ лѣса и земли около трехъ огромныхъ озеръ и уже черезъ семь лѣтъ ему предлагали за нихъ около 120.000 и онъ ихъ не продалъ. Онъ зналъ, что внукъ его возьметъ за нее милліонъ. Это точь въ точь «и говія варяговъ». Продалъ безъ сомнѣнія помѣщикъ, обезпечивавшій свою кухарченку съ дѣтьми. «Ей больше 15.000 не надо. А значитъ — и мнѣ»: я же проживу при ней. Она меня кстати пускаетъ и въ картишки перекинуться». Поэты.

У насъ вездѣ Нали и Дамаянти. Художественная нація. Съ анекдотомъ.

И вотъ такъ мы живемъ. Но вернемся къ христіанамъ. Нѣтъ яснаго, добраго, веселаго глаза. Всѣ всѣхъ осматриваютъ, всѣ всѣхъ подозрѣваютъ. Всѣ о всѣхъ сплетничаютъ. «Христіанская литература» есть почти «исторія христіанской сплетни». Посмотрите беллетристику, театръ. Это почти сплошное злословіе.

Какъ ужасно. И еще какъ ужаснѣе любить все это. Стонаю и люблю, стонаю и люблю. Привычка, традиція. Ахъ, «мои бѣдные родители».

La Divina comœdia

Съ лязгомъ, скрипомъ, визгомъ опускается надъ Русской Исторіею желѣзный занавѣсъ.

— Представленіе окончилось.

Публика встала.

— Пора одѣвать шубы и возвращаться домой.

Оглянулись.

Но ни шубъ, ни домовъ не оказалось.

Странность

Много въ Евангеліи притчей, но гдѣ же молитва, гимнъ, гдѣ псаломъ? И почему-то Христосъ ни разу не взялъ въ руки арфу, свирѣль, цитру и ни разу не «воззвалъ»? Почему Онъ не научилъ людей молиться, разрушивши въ то же время культъ и Храмъ? И о Храмѣ явно сказавъ, что Онъ его разрушитъ; какъ и объ Іерусалимѣ — тоже велительно предсказавъ, что онъ падетъ и разрушится. Разрушится такое средоточіе молитвъ и молитвенности, какого, конечно, не было нигдѣ еще на землѣ. Почему то таинственно и неисповѣдимо людямъ никогда не пришло на умъ, что Евангеліе есть религіозно-*холодная* книга, чтобы не сказать — религіозно-*равнодушная*. Гдѣ не поютъ, не радуются, не восторгаются, не смотрятъ на Небо; и гдѣ вообще какъ то ужъ очень «не похоже на рай первобытныхъ человѣковъ». Не пришло на умъ никому, что если чѣмъ болѣе всего Евангеліе удивляетъ и поражаетъ, то это религіозною *трезвостью;* близкою уже къ раціонализму; и гдѣ «пары» не идутъ ни «сверху», ни «снизу». Притча, «притча», — «вышелъ сѣятель сѣять въ поле», — все это какъ будто уже пріуготовлено для Гарнака и священника Григорія Петрова; разсказъ «изъ житейскаго» на поучительную обыденную «мораль»... Сверхъ Гарнака, надо бы еще прибавить и Фарраріа: но гдѣ же тутъ религія? Гдѣ, главное онъ, псаломъ — существо всего дѣла? И этотъ Царь, *неудержимо поющій* Богу?

«Какъ лань желаетъ на источники водъ, такъ душа моя тоскуетъ по Тебѣ, Боже»...

На большомъ, всетаки очень большомъ протяженіи Евангелія, только всего одна молитва въ семь строкъ. И какъ она вся послѣдовательна, отчетлива. Это — логика, а не молитва; съ упоминаніями о томъ и о томъ-то, но безъ умиленія, безъ іоты восторга. Это какое то продолговатое «дважды × два = Боже».

Развѣ это то, что «молитва мытаря», великая, прекрасная, *единственная.* Но возьмите же глаза въ руки: это вовсе *не молитва Христа,* а случайно подслушанная евангелистомъ *именно молитва человѣка мытаря.* Не поразитъ ли каждаго, что у Христа въ молитвѣ «Отче нашъ» — *меньше ноумена молитвенности,* нежели у этого бѣднаго человѣка. И вообще мы не слышимъ молитвъ и любящихъ

изліяній сердца именно Христа къ Отцу Своему, что такъ естественно-бы отъ Сына, что такъ ожидалось-бы отъ Сына. Люди молятся, но Христосъ не молится Молится гдѣ то Фарисей, въ отодвинутости, въ отстраненіи, въ какой-то *гадливой тѣни,* и какъ это параллельно и какъ бы «поддерживаетъ» уже предрѣшенное разрушеніе Храма и Іерусалима, и всего племени Израильскаго. *«Такъ они молились, и чего же ждать отъ этого племени»?* Между тѣмъ *теперь* мы уже знаемъ Симона Праведнаго, бенъ-Іохая, равви Акибу. Они молились *вовсе* не «такъ».... Да что, Іона: даже «попавъ въ чрево китово», онъ всетаки «всталъ на молитву», и «воззвалъ»: не былъ же и онъ фарисеемъ и не для фарисейства онъ молился. Іона невидимо и прекрасно защищаетъ *и — фарисея.* Евреи молились вовсе не такъ,, какъ описано въ Евангеліи, и въ Евангеліи содержится клевета на молитвы евреевъ. Эти уторопленные жидки, и Симонъ Праведный, и Акиба, бѣгали, суетились, кричали, кричали на народъ, но никогда «торжественно не становились въ позу», не произносили словъ, во-истину проклятыхъ. Единственно, въ чемъ они «прегрѣшили противъ Евангелія» — это что такъ любили и Храмъ, и городъ и народъ....

Какое то странное угашеніе молитвенности... Сколько путешествуютъ въ «Дѣяніяхъ» и — нѣтъ что бы помолился кто, отправляясь въ путь; и нѣтъ чтобы помолился кто, вернувшись благополучно съ дороги. А столько — хлопотъ. Нельзя не замѣтить насмѣшливо: «ты слишкомъ хлопочешь, Марфа, — присядь къ ногамъ Отца Небеснаго»... Но именно Отецъ Небесный загадочно на умъ никому не приходитъ: только — *Сынъ,* вездѣ *Сынъ,* замѣщающій Отца... Между тѣмъ, что же такое *молитва,* какъ не исчерпывающее отношеніе дитяти-человѣка къ Богу? И вотъ именно она то таинственно исчезаетъ. Только разсуждаютъ. И приходитъ на умъ, что арфу Давида, лиру Апполона и свирѣль Марсія, — *мы окидываемъ весь древній міръ,* — отнынѣ замѣнятъ богословствующіе споры. И что пожалуй тайный-то ноуменъ Евангелія и всего «дѣла евангельскаго и лежалъ въ перемѣнѣ — музыки молитвы на « Cogito ergo sum » богословія.

Perturbatio Aeterna

— Азъ же глаголю вамъ: *первые да будутъ послѣдними, а послѣдніе станутъ первыми».*

И спросили Его ученики: «Но, Господи: до какого *предѣла* и въ какихъ *срокахъ?»*

И паки рекъ:

— «Первые да будутъ послѣдними и послѣдніе первыми».

— «Но, учитель благой: если — *такъ,* то какое же царство устоитъ, и какая земля останется тверда, если все станетъ класться верхомъ внизъ, а снизу — на-верхъ?»

И рекъ снова: — «первые да будутъ послѣдними, а послѣдніе станутъ первыми».

Ученики же глаголаша:

— «Но если это не мѣдь брящающая и не кимвалъ звенящій: то какъ вырости овощу, если будетъ не гряда съ *лежащею* землею, а только *мельканіе* заступа, переворачивающаго землю со стороны на-сторону»?

И паки еще рекъ: «Азъ же истинно, истинно глаголю вамъ: первые станутъ послѣдними, а послѣдніе первыми».

И убоялись ученики Его. И отойдя — совѣщались. И качали головами. И безмолствовали.

. . . .

Но зашумѣла исторія: заговоры, бури, перевороты. Смятенія народныхъ волнъ.

И всѣ усиливаются подняться къ первенству. И никто долго не можетъ его удержать, а идетъ ко дну.

. . . .

Во-истину: «Пошли серпъ твой на землю: и пусть пожнетъ растущее на ней» (Апокал.).

«И былъ плачъ и скрежетъ зубовный. И земля была пожата».

. . . .

. . . .

«Онъ (Раскольниковъ) пролежалъ въ больницѣ весь конецъ поста и Святую. Уже выздоравливая, онъ припомнилъ свои сны, когда еще лежалъ въ жару и бреду. *Ему грезилось въ болѣзни будто весь міръ осужденъ въ жертву какой-то странной, неслыханной и невѣдомой моровой язвѣ, идущей изъ глубины Азіи на Европу. Всѣ должны были погибнуть*, кромѣ нѣкоторыхъ, весьма немногихъ избранныхъ. *Появились какія то новыя трихины, существа микроскопическія, вселявшіяся въ тѣла людей. Но эти существа были духи, одаренные умомъ и волей. Люди, принявшіе ихъ въ себя, становились тотчасъ-же сумасшедшими и бѣсноватыми.* Но никогда, никогда люди не считали себя такъ умными и непоколебимыми въ истинѣ, какъ считали зараженные. Никогда не считали непоколебимѣе своихъ приговоровъ, своихъ научныхъ выводовъ, своихъ нравственныхъ убѣжденій и вѣрованій. Цѣлыя селенія, цѣлые города и народы заражались и сумасшествовали. Всѣ были въ тревогѣ и не понимали другъ друга, — всякій думалъ, что въ немъ одномъ и заключается истина, и мучился, глядя на другихъ, билъ себя въ грудь, плакалъ и ломалъ себѣ руки. *Не знали, кого и какъ судить, не могли согласиться, что считать зломъ, что добромъ.* Не знали, *кого обвинять, кого оправдывать.* Люди убивали другъ друга въ какой то безсмысленной злобѣ. Собирались другъ на друга цѣлыми арміями, *но арміи, уже въ походѣ вдругъ начинали сами терзать себя,* ряды разстраивались, воины *бросались другъ на друга,* кололись и рѣзались, кусали и ѣли другъ друга. Въ городахъ цѣлый день били въ набатъ: созывали всѣхъ: но *кто и для чего зоветъ, никто не зналъ того,* а всѣ были въ тревогѣ. *Оставили самыя обыкновенныя ремесла,* потому что всякій предлагалъ свои мысли, свои поправки, и

не могли согласиться. Остановилось земледѣліе. Кое-гдѣ люди *сбѣгались въ кучи,* соглашались вмѣстѣ на что-нибудь, *клялись не разставатся,* — но тотчасъ-же начинали что-нибудь совершенно другое, чѣмъ сейчасъ-же сами предполагали, *начинали обвинять другъ друга,* дрались и рѣзались. Начались пожары, начался *голодъ.* Всѣ и все погибало. Язва росла и подвигалась дальше и дальше. Спастись во всемъ мірѣ могли только нѣсколько человѣкъ, — *это были чистые и избранные, предназначенные начать новый родъ людей и новую жизнь, обновить и очистить землю».* («Преступленіе и наказаніе», изданіе 1884 года, страница 500-501).

. . . .

. . . .

«И вышедши, Іисусъ шелъ отъ Храма. И приступили ученики Его, *чтобы показать Ему зданіе Храма».*

«Іисусъ же сказалъ имъ: *видите ли все это?* Истинно, истинно говорю вамъ: *не останется здѣсь камня на камнѣ. Все будетъ разрушено».* (Евангеліе отъ Матѳея, глава 24, 1-2).

. . . .

. . . .

И спросилъ Его Іоаннъ: «Господи, кто *предастъ Тебя?»* Іисусъ же отвѣтилъ: — «кому Я, обмакнувъ въ соль, подамъ кусокъ хлѣба — тотъ предастъ Меня». И, обмакнувъ, подалъ Іудѣ. *И тотчасъ вошелъ Сатана въ душу Іудѣ. И онъ, вставъ, пошелъ и предалъ Его».*

. . . .

. . . .

«Не-бо врагомъ Твоимъ тайну повѣмъ, ни лобзанія Ти дамъ яко Іуда...»

. . . .

. . . .

«Не спѣшите колебаться умомъ, и смущаться ни отъ духа, ни отъ слова, ни отъ посланія какъ бы нами посланнаго, будто бы наступаетъ уже день Христовъ.

«Да не обольститъ васъ никто никакъ: ибо день тотъ не прійдетъ, *доколѣ не прійдетъ прежде отступленіе, и не откроется человѣкъ грѣха, сынъ погибели;*

«Противящійся и превзносящійся превыше всего, называемаго Богомъ, или святынею, такъ что въ Храмѣ Божіемъ сядетъ Онъ, выдавая себя за Бога.

«И нынѣ вы знаете, что не допускаетъ открыться Ему въ свое время.

«Ибо тайна беззаконія уже въ дѣйствіи, только не совершится до тѣхъ поръ, пока не будетъ взятъ отъ среды удерживающій теперь.

«И тогда откроется беззаконникъ — тотъ, *Котораго приходъ по дѣйствію Сатаны будетъ со всякою силою и знаменіями и чудесами ложными.*

«И со всякимъ неправеднымъ обольщеніемъ погибающихъ»

(«Второе посланіе Апостола Павла къ Ѳессалоникійцамъ». Глава 2, 2 - 10).

. . . .

. . . .

«Я испыталъ тѣхъ, которые называютъ себя Апостолами, и они не таковы, и *нашелъ, что они — лжецы.*

«И они говорятъ о себѣ что они — іудеи, но они не таковы, а — *сборище сатанинское»* (Апокалипсисъ, глава 2, 2-3).

Надавило шкафомъ

Нельзя иначе, какъ отодвинувъ шкафъ, спасти или вѣрнѣе избавить отъ непомѣрной вѣчной муки цѣлую народность, 5-8-10 милліоновъ людей, сколько — не знаемъ: но вѣдь даже *и одного человѣка задавить — страшно.* И вотъ онъ хочетъ дышать и не можетъ дышать. «Больно», «больно», «больно». Но между тѣмъ кто же отодвинетъ этотъ шкафъ? Нѣтъ маленькой коротенькой строчки изъ исторіи христіанства, которая не увеличивала - бы тяжести давленія.

«Кто можетъ отодвинуть блаженнаго Августина? Такой могучій, исключительный умъ. Кто можетъ отодвинуть Іоанна Златоуста? Одно имя показываетъ, каковъ онъ былъ въ словѣ. И апостола Павла? И ужъ особенно — Самого? Между тѣмъ, уже одинъ тотъ фактъ, что «живой находится подъ шкафомъ», содѣлываетъ какое-то содроганіе въ груди. «Какъ живой подъ шкафомъ»? «Какъ онъ попалъ туда»? Но — «попалъ». Притомъ — *кто?* Любимѣйшее дитя Божіе, которое отъ начала міра, отъ созданія міра, было любимѣйшимъ. И никогда Богъ отъ него не отвращался, и онъ Бога никогда не забывалъ.

«Человѣкъ подъ шкафомъ». — «Человѣкъ въ морѣ». И корабль останавливается чтобы вытащить изъ моря. Бросаютъ сѣти, канаты, плавательные круги. «Вытащенъ». «Спасенъ». И всѣ радуются. «Человѣкъ спасенъ». И не сѣтуютъ, что корабль задержался, что «долго ждали». Лишь бы «спасенъ былъ».

По сему «ходъ христіанскаго корабля» уже потому представляется страннымъ, что человѣкъ въ морѣ и никто не оглянется, всѣ его забыли. *Забыли о человѣкѣ. О, о, о....*

Но «начать отодвигать шкафъ» и значитъ «начинать опять все дѣло сначала». «Не приняли Христа, а Онъ — Богъ нашъ». Какъ можно *намъ-то колебаться въ принятіи Христа?*

Надавила и задавила вся христіанская исторія. Столько комментаріевъ. Столько «примѣчаній». Развѣ можно сдвинуть такія библіотеки? На евреевъ давитъ Императорская Публичная Библіотека, Britich Museum. И въ Испаніи — Университетъ въ Саламанкѣ, въ Италіи — «Амвросіанская библіотека въ Венеціи. Господи, — всѣ эти библіотечные шкафы надавили на грудь жидка изъ Шклова. А вѣдь знаете, какъ тяжелы книги.

Но человѣкъ не умираетъ, и все стонетъ. Хоть бы умеръ. Цивилизаціи легче было-бы дышать. А то невозможно дышать. Все стоны, стоны.

Странная стонущая цивилизація. *Уже зло пришествія Христа выразилось въ томъ, что получилась цивилизація со стономъ.* Вѣдь Онъ проповѣдывалъ «лѣто благопріятное». Вотъ въ этомъ по крайней мѣрѣ — Онъ ошибся: никакого «лѣта благопріятнаго» не получилось, а вышла цивилизація со стономъ.

Какая же это «благая вѣсть», если «человѣкъ въ морѣ» и «шкафъ упалъ на человѣка»?

Нѣтъ: во всемъ христіанствѣ, въ христіанской исторіи, — и вотъ какъ она сложена, вотъ какъ развивался ея спиритуализмъ, — лежитъ какое-то зло. И тутъ немощны и «цвѣточки» Франциска Ассизскаго и Анатоль Франсъ и Ренанъ.

«Человѣка задавило» и не хочу слушать «Подражаніе Фомы Кемпійскаго».

Три гороскопа

Есть-ли связь планеты съ обитающимъ ее человѣкомъ? И вообще — «о чемъ говоритъ солнышко?».... «Что тамъ въ звѣздахъ»? Шепчутъ-ли звѣзды? Или онѣ только тупо и пусто, какъ пустые горшки, движутся по Копернику?

Объ этомъ говорили гороскопы. «Глупое знаніе древности», на которое при новой наукѣ не обращается никакого вниманія. Но новая наука, даже за мѣсяцы только не предрекала и теперешней войны. И, словомъ, « Savoir pour prévoir. » Конта — именно въ контизмѣ его, именно въ позитивизмѣ, какъ-то плоско расшиблось...

Что-же такое «гороскопы»? Что такое они? Демонъ? Богъ? но и христіане, по крайней мѣрѣ на деревняхъ, «вѣрятъ въ судьбу»? Т. е. вѣрятъ въ тайную власть звѣздъ. И вотъ поразительно, что никто изъ историковъ не обратилъ вниманія на три поразительные «гороскопа» и, значитъ, «велѣнія звѣздъ» — уже *исполнившіеся,* и — какъ мы эти три гороскопа уже знаемъ изъ исторіи, и какъ историки о нихъ самымъ подробнымъ образомъ разсказываютъ. Громко. Отчетливо. Во услышаніе цѣлаго міра.

Одинъ гороскопъ — Іисуса Христа.

Другой гороскопъ — Апостола Петра.

Третій гороскопъ — Константина Великаго.

Одинъ былъ распятъ.

Другой — распятъ же, головою книзу.

Третій — Константинъ Великій — казнилъ сына, по подозрѣнію въ связи его съ мачехою Фаустою. Этотъ сынъ былъ Криспъ. А самую жену, очевидно любимую, онъ сжегъ въ раскаленной банѣ.

Достоевскій въ одномъ мѣстѣ замѣчаетъ, что «планета не по-

щадила Создателя своего».... О, о, о,.... Что-же, *зла — земля?* Но онъ самъ говоритъ о «землѣ бѣлой, о землѣ «благой». Не онъ-ли сказалъ и «Святая Русь»? Вѣдь это — тоже планета, часть планеты. Нѣтъ, ужъ если что, то сама планета — бѣла, хороша. И мы въ нее должны повѣрить. Ну, такъ, просто повѣрить. И вотъ эта нами «вѣримая» планета (по Достоевскому) сложила о *Немъ* и о *нихъ* такіе ужасающіе въ исторіи *безпримѣрные, леденящіе душу* гороскопы...

О, стоны...

Стоны, стоны, стоны...

Но, — которые такъ совпадаютъ со страхомъ евреевъ «перемѣнить туфлю».

Но какъ содержится въ этомъ ревущій подобно Мальштрему, — величайшій океаническій водоворотъ, — ревъ Апокалипсиса:

— Они называютъ себя «Апостолами», а на самомъ дѣлѣ — исчадія Сатаны. И говорятъ: «Церкви», а на самомъ дѣлѣ — это сборища бѣсовскія....

О, о, о...

Ужасы, ужасы...

Ноумены планеты.

«И поколебались *основанія земли*» (Евангеліе о моментѣ распятія Христа).

«И сошелъ — *въ Преисподнюю*».. Ужасы, ужасы....

Какъ разбита планета. И гдѣ-же, земля, твои осколки?

Гороскопы, гороскопы, гороскопы. О какъ ужасны ихъ предсказанія.

Неужели это шопотъ звѣздъ? Бѣгите, историки, — зажимайте уши.

«Блаженны уши, которые ничего изъ человѣческой исторіи не слышали».

О страстяхъ міра

Здѣшняя земная жизнь — уже таитъ корни не земной. Какъ и сказано:

Есть упоеніе *въ бою...*

Это — Марсъ и Арей, *божества* Марса и Арея; они — какъ *боги.*

И бездны мрачной *на краю,*
И въ бушеваньи урагана,
И въ дуновеніи чумы....
Безсмертья, можетъ быть, залогъ.

Какая мысль, — какая мысль, *инстинктомъ,* — скользнула у Пушкина! Именно, — «залогъ безсмертія и *вѣчной жизни*». Это — «адъ» и «элизій» древности: и какъ мы не повѣримъ имъ и ихъ *реальности* разъ у христіанина — Пушкина, у стихотворца — Пушкина, ничего о древнихъ въ минуту написанія стихотворенія не думавшаго, вдругъ и неожиданно. вдругъ и невольно, вдругъ и неодоли-

но — скользнула мысль къ грекамъ, къ римлянамъ, къ тартару и мыслямъ Гезіода и Гомера....

**
*

Также мнѣ ничего не приходило въ голову при видѣ гусеницы, куколки и бабочки, которыхъ я видалъ съ одной стороны — однимъ существомъ, но съ другой стороны, — столь-же выразительно, столь-же ярко, и — *не однимъ*.

Тогда, войдя къ друзьямъ, бывшимъ у меня въ гостяхъ, Каптереву и Флоренскому, естественнику и священнику, я спросилъ ихъ:

«Господа, въ гусеницѣ, куколкѣ и бабочкѣ — которое-же *я* ихъ?

Т е. «я» какъ-бы одна буква, одно сліяніе, одинъ лучъ.

«Я» и «точка» и «ничего».

Каптеревъ молчалъ, Флоренскій-же подумавъ сказалъ: «конечно, бабочка есть энтелехія гусеницы и куколки».

«Энтелехія» есть терминъ Аристотеля, и — одинъ изъ знаменитѣйшихъ терминовъ, имъ самимъ придуманный и филологически составленный. Одинъ средневѣковый схоластъ прозакладывалъ чорту душу, только чтобы хотя въ сновидѣніи онъ объяснилъ ему, что въ точности Аристотель разумѣлъ подъ «энтелехіею». Но, между прочимъ и другимъ, у Аристотеля есть выраженіе, что «душа есть *энтелехія* тѣла». Тогда сразу опредѣлилось для меня — изъ отвѣта Флоренскаго («да и что иначе могъ отвѣтить Флоренскій, какъ не — *это* именно?), что «бабочка» есть *на самомъ дѣлѣ*, тайно и метафизически, душа гусеницы и куколки.

Такъ произошло это, космогонически - потрясающее, открытіе. Мы, можно сказать, втроемъ открыли душу насѣкомыхъ, раньше, чѣмъ открыли и доказали ее у человѣка.

Сейчасъ — давай разсматривать, «что-же она дѣлаетъ?»

«Собираетъ нектаръ», «копается въ цвѣтахъ». Это подозрительно и *осудительно*. Но, въ самомъ дѣлѣ: у бабочки — совершенно *нѣтъ рта*, нѣтъ — ничего для питья и для принятія твердой пищи. Каптеревъ сейчасъ-же сказалъ, какъ натуралистъ: «у *нихъ* (онъ не сказалъ — у *всѣхъ*) — нѣтъ кишечника (я читалъ гдѣ-то, что, кажется — иногда, «не бываетъ кишечника»): значитъ это — что *нѣтъ и желудка?* Конечно! Что за странное.... существо, бытіе? «Не питающееся». Да долго-ли онѣ живутъ? Есть «мухи-*поденки*». Но, во всякомъ случаѣ — онѣ, — и уже безспорно *всѣ*, — *совокупляются*. Значитъ, «міръ будущаго вѣка» по преимуществу опредѣляется какъ совокупленіе»; и тогда проливается свѣтъ на его неодолимость, на его ненасытимость, и, увы или «*не увы*», — на его «священство», что оно — таинство» (таинство — брака). Открытій — чѣмъ дальше, тѣмъ — больше. Но явно, что у насѣкомыхъ, коровъ, вездѣ, — въ животномъ и растительномъ

мірѣ, а вовсе не у человѣка одного, — оно есть «таинство, небесное и святое». И, именно, въ центральной его точкѣ — *въ совокупленіи*. Тогда понятна «застѣнчивость половыхъ органовъ»: это — «жизнь будущаго вѣка входитъ через это «въ загробную жизнь», «въ жизнь будущаго вѣка».

И, странно: тогда понятно *наслажденіе;* «Эдемъ блаженство». Но — и болѣе: обратимся къ «нектару цвѣтовъ». Дѣйствительно, поразительно то особенно, что насѣкомыя (не однѣ бабочки, но и жуки, «бронзовики», «Божія коровки») копаются *въ громадныхъ относительно себя* половыхъ органахъ деревьевъ, и особенно — кустовъ, розъ и проч., олеандровъ, и т. п., орхидей. *Чѣмъ цвѣты представляются для бабочекъ?* Вотъ-бы что надо понять, и *что понять — ноуменально необходимо.* Но невозможно, что для каждаго насѣкомаго «дерево и цвѣтокъ». «Садъ и цвѣты» представляются «раемъ»... Да *такъ* вѣдь и есть: «лѣто, тепло; и — Солнце», въ лучи котораго онѣ влетаютъ: а съ цвѣтковъ «собираютъ нектаръ». Тогда нельзя не представить себѣ «соединеніе нектара и души», и что «душа — для нектара», а «нектаръ — для души». Въ третьихъ — миѳы: «боги *на Олимпѣ* питаются нектаромъ и амброзіей». Но и раньше миѳа и параллельно ему: сколько свѣта проливается въ то, «почему цвѣты пахнутъ», и отчего-же у растеній цвѣты — такіе огромные, что въ нихъ — «влѣзть цѣлому насѣкомому». Совершенно явно: *величина* цвѣтовъ — именно чтобы насѣкомому войти *всему.* Тогда понятно, что «растенія слышатъ и думаютъ (сказки древности), да и вообще понятно, что онѣ «съ душою». О, *какою* еще.... Но вотъ что еще интереснѣе: что «садъ», вообще всякій садъ, «нашъ и земной», есть немножко и *не* «нашъ» и *не* «земной», а тоже — «будущаго», «загробнаго вѣка». Тогда понятно — «*зима* и лѣто»,, ибо *изъ зимы* и *черезъ зиму,* пролежавъ зиму «въ землѣ», зернышко «встаетъ изъ гроба». Въ сущности, по закону — какъ и «куколка» бабочки.

Такимъ образомъ «наши поля» суть «загробныя поля», «загробныя нивы». Тогда конечно:

Когда *волнуется желтѣющая нива*

. . . .

То въ небесахъ *я вижу Бога*

. . . .

Вообще понятно — особенное и волнующее чувство, испытываемое человѣкомъ въ саду, испытываемое нами въ полѣ, испытываемое нами въ лѣсу, и — *раціоналистически никакъ необъяснимое.* Понятно, почему «Антей, прикасаясь къ матери-землѣ, опять возстановляется въ силахъ». Въ «древности» вообще тогда очень многое объясняется; какъ равно у Достоевскаго его знаменитая, потрясающая, стоящая *всего* «язычника-Гете» фраза: «Богъ взялъ сѣмена *изъ міровъ иныхъ* и посѣялъ на землю. И взрасло все, что могло взрасти. Но *все на землѣ живетъ черезъ таинственное касаніе мірамъ инымъ*». Тутъ — *все* язычество уже. Уже напр. весь

Египетъ, храмы коего — суть прямо рощи, колонны — деревья, непремѣнно — деревья, съ «капителями-цвѣтами». Да и каждый-го нашъ садъ» есть «таинственный храмъ», и не только «посидѣть въ немъ — поздоровѣть», но и «посидѣть — помолиться». Да и понятны тогда «священныя рощи древности», понятна вообще «природа, какъ святая», а не «одно богословіе святое». Но вернемся еще къ страстямъ и огню.

Таинственно черезъ нихъ и «оргіи» дѣйствительно проглядываеть «жизнь будущаго вѣка». Вѣдь посмотрите, какъ подозрительно и *осудительно* ласкаются мотылки съ цвѣтами. Дѣйствительно, — нельзя не осудить. Но... «жизнь будущаго вѣка», и.... что подѣлаешь. Тогда понятно, откуда и почему возникли всѣ «оргіи древности»; и что «безъ оргій не было древнихъ религій». Вспомнишь «нектаръ и амброзію» Олимпа; и какъ на рисункахъ, *не смѣя словами*, — я объяснилъ въ «Восточныхъ мотивахъ» египетскія мистеріи. Просматривая теперь въ коллекціи монетъ — монеты всевозможныхъ странъ съ такими-же точь-въ-точь изображеніями, — я уже смотрѣлъ на нихъ съ родствомъ и нѣмымъ пониманіемъ; невысказанно и безмолвно, какъ я-же въ «Восточныхъ мотивахъ», древніе передали на нихъ любимыя свои «мистеріи», о которыхъ они о *всѣхъ* и *все* знали, но никто ни единымъ словомъ не обмолвился, какъ «о жизни будущаго вѣка», о которой *въ этой земной жизни навсегда должно быть сохранено молчаніе.*

Но... Такъ вотъ *откуда* — «наши страсти»!!?? Эти по истинѣ «протуберанцы солнца» (факелы, изверженія изъ тѣла солнца). Да ужъ и солнце не въ «страстяхъ»-ли? По-истинѣ, «и на солнцѣ есть — пятна». Одинъ Христосъ безъпятнистъ. А наше солнышко — съ грѣшкомъ, горитъ и грѣетъ, горитъ и грѣетъ; горитъ — и вотъ «по-веснѣ», когда его — «больше» когда оно не только грѣетъ, но и начинаетъ — горячитъ: тогда животныя всѣ заберемениваютъ. Сила солнца, «грѣшокъ» солнца — переходитъ въ животныхъ. Все — тучнѣетъ, животы у всего — разростаются. Сама земля — проситъ зерна... И вотъ — Деметра, вотъ — Гея, и опять — «Волнующая нива», которая «вздымаетъ грудь къ молитвѣ». Что-же: сказать христіанству, что это «не правда»? И что въ однихъ духовныхъ академіяхъ — богословіе? Но гораздо болѣе богословія въ подымающемся быкѣ на корову... И вообще:

Весна идетъ, весна идетъ
Вездѣ идетъ зеленый гулъ.

это — язычество, которое — *истинно;* это —

Аписъ и Серапеумъ.

Каптеревъ задумался и сказалъ: «Открыто наблюденіями, что въ гусеницѣ, *обвившейся кокономъ, и которая кажется* — умершею, начинается *послѣ этого дѣйствительно перестраиваніе тканей тѣла.* Такъ что она не мнимо умираетъ, но — дѣйствительно умираетъ...

Только на мѣстѣ умершей гусеницы начинаетъ становиться

что-то другое; но — именно *этой* опредѣленной гусеницы, какъ-бы гусеницы — лица, какъ-бы съ фамиліею и именемъ: ибо изъ всякой гусеницы, *сюда положенной*, и выйдетъ — *вонъ та бабочка.* А если вы гусеницу эту проткнете, напр., булавкою, тогда и бабочки изъ нея не выйдетъ, ничего не выйдетъ, и гробъ останется гробомъ, а тѣло — не воскреснетъ». Тогда-то, тогда мнѣ стало понятно, почему феллахи (потомки древнихъ египтянъ, явно сохранившіе всю ихъ вѣру) плакали и стрѣляли изъ ружей въ европейцевъ, когда тѣ перевозили муміи, извлеченныя изъ пирамидъ и изъ царскихъ могилъ. Они, эти нигилисты, заживо умершіе и протухшіе, не понимая ни жизни, ни смерти, «нарушили цѣлость тѣла ихъ (феллаховъ) предковъ», и тѣмъ лишили ихъ «воскресенія». Они, о чемъ предупредилъ Каптеревъ, какъ-бы «разломили муміи пополамъ», или, все равно — пронзили иголкою «куколку», послѣ чего она пріобщается *смерти безъ бытия.* Тогда мысль, что «бабочка есть душа гусеницы», «энтелехія гусеницы» (Флоренскій) — еще болѣе утвердилась у меня: а главное — мнѣ разъяснилось и *доказалось*, что египтяне въ мышленіи и открытіяхъ «загробнаго существованія» шли тѣмъ-же путемъ, какъ я, т. е. черезъ «бабочку» и ея «фазы». Что это и для нихъ былъ путь открытій и «откровеній», да вѣдь и вообще это — *истинно.* Тогда для меня ясны стали саркофаги-муміи. Кто видалъ ихъ въ нижнемъ этажѣ Эрмитажа, тотъ не могъ не поразиться, раньше всего — *величиною.* Зачѣмъ — такой *большой*, огромный саркофагъ — для муміи умершаго, вовсе не большой? Но вѣдь это — «коконъ» куколки — человѣка и; строился саркофагъ непремѣнно и именно по образцу кокона. Вотъ такой-же продолговато-гладкій какъ рѣшительно всякій коконъ, какой безусловно строитъ себѣ всякая гусеница — и египтянинъ себѣ изготовлялъ, «окукливаясь». И тѣло клалось — въ пелены, «завертывалось», какъ гусеница напр. шелковичнаго червя, прямо «выпуская изъ себя» шелковыя нити, прямо дѣлаетъ себѣ «шелковую рубашечку».

Поверхъ этого жестокая, коричневатая скорлупа. Это — саркофагъ, всегда коричневатаго однообразнаго тона. Кажется, онъ гипсовый, и тогда онъ и по матерьялу естества сходенъ съ оболочкою куколки, ибо что-то въ родѣ извести, какъ выпота, даетъ и тѣло гусеницы. Вообще, ритуалъ погребенія у египтянъ вышелъ изъ подражанія именно фазамъ окукливающейся гусеницы. А главное — отсюда скарабей - жукъ - насѣкомое, какъ «символъ перехода въ будущую, загробную жизнь» Это знаменитѣйшее изъ божествъ Египта, можно сказать — самое великое ихъ божество. Почему — насѣкомое? Но — *тотъ-же путь*, какъ и у меня, разсужденія. Главное, самое главное, что египтяне открыли, — это «насѣкомо-образную будущую жизнь». И увѣковѣчили, что — именно *отсюда они ее открыли* — насѣкомыми, скарабеемъ. Это — благороднѣйшая память, т. е. воспоминаніе и благодарящая память за свою родную исторію и чѣмъ главнымъ образомъ, былъ полонъ

смыслъ ихъ исторіи. Отсюда уже множество объясненій, напр. почему во время «пиршествъ» и особенно во время «домашнихъ пирушечекъ» — любили они «проносить муміи». Это — не печаль, не страхъ, не угроза. Не «окаянная угроза христіанъ смертью», — могущая прекратить всякую радость. Напротивъ, напротивъ: это — радость обѣщаній вѣчной жизни и *радости этой жизни, ея воздушности, ея прелести.* «Мы теперь радуемся еще не совершенно», «мы — въ пирѣ, но еще не полномъ». «Лишь когда все кончится — мы войдемъ в полную любовь, въ совершенный пиръ, съ явствами, съ питіями. Но вино наше будетъ неистощимо, и питія наши — сладостнѣе всѣхъ здѣшнихъ, потому-что это будетъ чистая любовь, и матерьяльная-же, вещественная, но уже какъ-бы изъ однихъ лучей солнца, изъ свѣта и пахучести и эссенціи загробныхъ цвѣтовъ. Потому-что ужъ если *гдѣ цвѣты* то — *за гробомъ*».

Небесныя розы! небесныя розы!! — и египтяне вносили мумію.

ПРИМЕЧАНИЯ

Апокалипсис Нашего Времени издан отдельными выпусками в 1918 году в Сергиевом Посаде (Склад издания в книжном магазине М. С. Елова).

В этих выпусках имеются следующие примечания автора:

в выпуске 2 — Удобнѣе для читателя и меня, если «Апокалипсисъ нашего времени» я переведу въ форму журнала, — однако не предполагая его издавать долго. Ограничиваясь пока мыслью дать всего *десять номеровъ*, я прошу желающихъ подписаться на него выслать подписную сумму, 3 руб 50 коп., по адресу: *Сергіевъ посадъ, Московской губерніи, Красюковка, Полевая улица, д. свящ. Бѣляева, В. В. Розанову.* Пересылку по почтѣ принимаетъ на себя авторъ издатель. Имя, фамилія и точный адресъ подписчика должны быть написаны четко.

в выпуске 4 — Прошу *Анну Васильевну Первольфъ* указать свой московскій адресъ: В. В. Розанову, Сергіевъ Посадъ, Красюковка, Полевая ул., д. свящ. Бѣляева.

в выпуске 5 — Вслѣдствіе повышенія *съ февраля* 1918 г. платъ за *пересылку печатныхъ бандеролей почтою,* прошу лицъ, имѣющихъ *лично у меня подписку* дослать *одинъ рубль* за десять №№ «Апокалипсиса нашего времени» по адресу: *Въ Сергіевъ Посадъ, Московской губ.,Красюковка, Полевая ул., д. свящ. Бѣляева, В. В. Розанову.*

Всѣхъ выпусковъ «Апокалипсиса» заготовлено не менѣе 50-60, и только по техническимъ и денежнымъ препятствіямъ онъ растянется болѣе чѣмъ на годъ.

За величиною статьи, слѣдующій выпускъ выйдетъ въ двойномъ размѣрѣ (т. е. сразу №№ 6 и 7, за 70 коп.)

Очень рекомендую всѣмъ читателямъ «Апокалипсиса», взволнованнымъ революціею, прочесть брошюру: «Научный соціализмъ или ученіе о прибыли какъ рангѣ», инженера-технолога Трофимова, прекрасно раскрывающую софизмы, заложенныя въ нашу революцію.

ОГЛАВЛЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ:

Impr. de Navarre, 5, rue des Gobelins, Paris.

СКЛАДЫ ИЗДАНИЯ

— Fremdsprachenbuchhandlung H. Sachs A. g. **Berlin** S.W. 48 Verl. Hedemannstr6

— Librairie «Moscou». 9, rue Dupuytren, 9. **Paris (VI)**

Agent in U. S. A. and Canada — S. A. EVREINOV

ЕРСТЫ

ОД РЕДАКЦИЕЙ КН. Д. П. СВЯ-
ОПОЛК-МИРСКОГО, П. П. СУВ-
ИНСКОГО, С. Я. ЭФРОНА И ПРИ
ЛИЖАЙШЕМ УЧАСТИИ АЛЕ-
СЕЯ РЕМИЗОВА, МАРИНЫ
ВЕТАЕВОЙ И ЛЬВА ШЕСТОВА

ПАРИЖ

ВЕРСТЫ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ КН. Д. П. СВЯ-
ТОПОЛК-МИРСКОГО, П. П. СУВ-
ЧИНСКОГО, С. Я. ЭФРОНА И ПРИ
БЛИЖАЙШЕМ УЧАСТИИ АЛЕ-
КСЕЯ РЕМИЗОВА, МАРИНЫ
ЦВЕТАЕВОЙ И ЛЬВА ШЕСТОВА

N. 3

ПАРИЖ

1 9 2 8

ОТ РЕДАКЦИИ

Третья книга ВЕРСТ *отличается от первых двух отсутствием перепечаток из советской художественной литературы. Эти перепечатки, мы не сомневаемся, сыграли свою роль в обращении эмигрантского читателя «лицом к России». Советская беллетристика вошла в читательский обиход эмиграции, и никто уже не сомневаьтся что в Москве, а не в Париже пролегает главное русло современной русской литературы. С другой стороны как будто наступил какой-то перерыв в могучем порыве первого призыва «попутчиков», которые не идут дальше своих первых достижений. Еще раз, русская литература нуждается повидимому в новом оживляющем толчке. Придет ли этот толчек из среды пролетарских писателей, или извне, от внешних событий, — еще не видно и не нам пророчествовать. Относительное значение литературы в совокупности современной русской жизни меньше чем оно было 2-3 года тому назад, и вопросы политические, экономические и социальные больше чем когда-нибудь всецело поглощают наше внимание. По самой природе своей* ВЕРСТЫ *стоят вне актуального, злободневного подхода к этим вопросам, прежде всего потому что мы всетаки эмигранты, и потому не можем воспринимать биение русской жизни с достаточной непосредственностью. Оно доходит до нас только через искажающую среду, через вторые руки.*

Своей прямой задачей мы попрежнему считаем способствовать об'единению той части эмигрантской интеллигенции, которая хочет смотреть вперед, а не назад; с другой стороны способствовать пониманию русской современности в широком историческом масштабе, и не забывая что «р у с с к о е ш и р е Р о с с и и» и что в с е ч е л о в е ч е с т в о т а к и л и

иначе втянуто в наши, русские, проблемы.

Из отдельных статей настоящей книги мы с особенным удовлетворением печатаем статью Н. А. Бердяева, одного из очень немногих эмигрантов старшого поколения сохранившего живую душу, неистребимое чувство современности, и полную неспособность обратиться в соляной столп. Из других статей считаем нужным отметить статьи А. З. Штейнберга и Л. П. Карсавина, в которых эти два выдающиеся представителя иудейской и православной религиозной мысли дают новое освещение вопросу о Евреях и России. Само собой разумеется, что редакция не принимает на себя полной ответственности за высказываемые ими мысли. В частности, сознавая всю важность постановки еврейско-русского вопроса в плане религиозно-метафизическом, мы отдаем себе полный отчет что практически центр тяжести вопроса лежит в ином плане — социальном, экономическом и классовом.

Приложение, посвященное в первых двух книгах Аввакуму и Розанову, в настоящей книге посвящено Н. Федорову. Имя этого мыслителя мало известно широким читательским кругам, но мы убеждены что более близкое знакомство с ним одна из самых назревших потребностей нашего времени, для которого он может стать вождем и учителем. Правда, что писания Федорова носят на себе отпечаток «душной провинциальности», роковым образом неотделимой ото всей русской культуры последней трети XIX века, и какой-то особенной кустарности часто свойственной «русским самородкам». Правда, что многое в его взглядах явно реакционно и устарело (особенно его враждебное в отношение к городу). Тем не менее больше чем всякий другой мыслитель своего времени он нам близок и созвучен, так как в центре его мысли стоит та же идея что центральна и для нас — идея неразрывности личности и коллектива, идея Общего Дела.

С МОРЯ

С Северо-Южным,
Знаю: неможным!
Можным — коль нужным!
В чем то дорожном,

— Воздухокрутом,
Мчащим щепу! —
Сон три минуты
Длится. Спешу.

С кем — и не гляну! —
Спишь. Три минуты.
Чем с Океана —
Долго — в Москву то!

Молниеносный
Путь — запасной:
Из своего сна
Прыгнула в твой.

Снюсь тебе. Четко?
Глядко? Почище,
Чем за решеткой
Штемпельной? Писчей —

Стою? Почтовой —
Стою? Красно?
Честное слово
Я, не письмо!

Вольной цезуры
Нрав. Прыгом с барки!
Чтó без цензуры —
Даже без марки!

Всех объегоря,
— Скоропись сна! —
Вот тебе с моря —
Вместо письма!

Вместо депеши.
Вес? Да помилуй!
Столько не вешу
Вся — даже с лирой

Всей, с сердцем Ченчи
Всех, с целым т а м .
Сон, это мéньше
Десяти грамм.

Каждому по три —
Шесть (сон взаимный).
Видь, пока смотришь:
Не анонимный

Нос, твердозначен
Лоб, буква букв —
Ять, ять без сдачи
В подписи губ.

Я — без описки,
Я — без помарки.
Роз бы альпийских
Горсть, да хибарка

На море, да но
Волны добры.
Вот с Океана
Горстка игры.

Мало по малу бери, как собран.
Море играло. Играть — быть добрым.
Море играло, а я брала,
Море теряло, а я клала

За ворот, за щеку, — терпко, морско!
Рот лучше ящика, если горсти
Заняты. Валу, звучи, хвала!
Муза теряла, волна брала.

Крабьи коралы, читай: скорлупы.
Море играло, играть — быть глупым.
Думать — седая прядь! —
Умным. Давай играть!

В ракушки. Темп un petit navir'a.
Эта вот — сердцем, а эта — лирой,

Эта, обзор трех куч,
Детства скрипичный ключ.

Подобрала у рыбацкой лодки.
Это — голодной тоски обглодки:

Камень — тебя щажу, —
Лучше волны гложу,

Осатанев на пустынном спуске.
Это? — какой то любви окуски:

Восстановить не тщусь:
Так неглубок надкус.

Так и лежит не внесенный в списки.
Это — уже не любви — огрызки:

Совести. Чем слезу
Лить то — ее грызу,

Не угрызомую ни на столько.
Это — да нашей игры осколки

Завтрашние. Не видь.
Жаль ведь. Давай делить.

Не что понравится, а что выну.
(К нам на кровать твоего бы сына
Третьим — нельзя ль в игру?)
Первая — я беру.

Только песок, между пальцев, ливкий.
Стой-ка: какой то строфы отрывки:
«Славы подземный храм».
Ладно. Допишешь сам.

Только песок, между пальцев, плеский.
Стой-ка: гремучей змеи обноски:
Ревности! Обновясь
Гордостью назвалась

И пополала себе с полным правом.
Не напостовцы — стоять над крабом
Выеденным. Не краб:
Славы кирпичный крап.

Скромная прихоть:
Камушек. Пемза.
Полый как критик.
Серый как цензор

Над откровеньем.
— Спят цензора! —
Нашей поэме
Цензор — заря.

(Зори — те зорче:
С током Кастальским
В дружбе. На порчу
Перьев — сквозь пальцы...

«Вирши, голубчик?
Ну и черно!»

И не взглянувши:
Разрешено!).

Мельня ты мельня, морское коло!
Мамонта, бабочку, — все смололо
Море. О нем — щепоть
Праха — не нам молоть!

Вот только выговорюсь — и тихо.
Море! прекрасная мельничиха,
Место, где на мели
Мелочь — и нас смели!

Преподаватели! Пустомели!
Материки, это просто мели
Моря. Родиться (цель —
Множиться!) сесть на мель.

Благоприятную, с торфом, с нефтью.
Обмелевающее бессмертье —
Жизнь. Невпопад горды!
Жизнь? Недохват воды

Надокеанской.
Винюсь заране:
Я нанесла тебе столько дряни,
Столько заморских див:
Все, что нанес прилив.

Лишь оставляет, а брать не просит.
Странно, что это — отлив приносит,
Убыль, в ладонь, дает.
Не узнаешь ли нот,

Нам остающихся по две, по три
В час, когда бог их принесший — отлил,
Отбыл... Орфей... Арфист...
Отмель — наш нотный лист!

— Только минуту еще на сборы!
Я нанесла тебе столько вздору:

Сколько язык смолол, —
Целый морской подол!

Как у рыбачки моей соседки.
Но припасла тебе напоследки
Дар, на котором строй:
Море роднит с Москвой,

С о в е т о р о с с и ю с Океаном
Республиканцу — рукой шуана —
Сам Океан - Велик
Шлет. Нацепи на шлык.

И доложи мужикам в колосьях,
Что на шлыке своем краше носят
Красной — не верь: вражду
Классов — морей звезду!

Мастеровым же и чужеземцам:
Коли отстали от Вифлеемской,
Клин отхватив шестой,
Обречены — морской:

Прабогатырской, первобылинной.
(Распространяюсь, но так же длинно
Море — морским пластам)
Так доложи ж властям

— Имени-звания не спросила —
Что на корме корабля Россия
Весь корабельный крах:
Вещь о пяти концах.

Голые скалы, слоновьи ребра...
Море устало, устать — быть добрым.
Вечность, махни веслом!
Влечь нас. Давай уснем.

Вплоть, а не тесно,
Огнь, а не дымно.
Ведь не совместный
Сон, а взаимный:

В Боге, друг в друге.
Нос, думал? Мыс!
Брови? Нет, дуги,
Выходы из —

Зримости.

Вандея, St. Gilles-sur-Vie.
май 1926 г.

НОВОГОДНЕЕ

С Новым годом — светом — краем — кровом!
Первое письмо тебе на новом
— Недоразумение, что злачном —
(Злачном — жвачном) месте зычном, месте звучном
Как Эолова пустая башня.
Первое письмо тебе с вчерашней,
На которой без тебя изноюсь,
Родины, теперь уже с одной из
Звезд... Закон отхода и отбоя,
По которому любимая любою
И небывшею из небывалой.
Рассказать как про твою узнала?
Не землетрясенье, не лавина.
Человек вошел — любой — (любимый —
Ты). — Прискорбнейшее из событий.
— В Новостях и в Днях. — Статью дадите?
— Где? — В горах. (Окно в еловых ветках.
Простыня.) — Не видите газет ведь?
Так статью? — Нет. — Но... — Прошу избавить.
Вслух: трудна. Внутрь: не христопродавец.
— В санатории. (В раю наемном).
— День? — Вчера, позавчера, не помню.
В Альказаре будете? — Не буду.
Вслух: семья. Внутрь: все, но не Иуда.

С наступающим! (Рождался завтра!) —

Рассказать, что сделала узнав про...?
Тсс... Оговорилась. По привычке.
Жизнь и смерть давно беру в кавычки,
Как заведомо-пустые сплеты.
Ничего не сделала, но что-то
Сделалось, без тени и без эха
Делающее!
Теперь — как ехал?
Как рвалось и не разорвалось как —
Сердце? Как на рысаках орловских,
От орлов, сказал, не отстающих,
Дух захватывало — или пуще?
Слаще? Ни высот тому, ни спусков
На орлах летал заправских русских —.
Кто. Связь кровная у нас с тем светом:
На Руси бывал — тот свет на этом
Зрел. Налаженная перебежка!
Жизнь и смерть произношу с усмешкой
Скрытою — своей ея коснешься!
Жизнь и смерть произношу со сноской,
Звездочкою (ночь, которой чаю:
Вместо мозгового полушарья —
Звездное!)
Не позабыть бы, друг мой,
Следующего: что если буквы
Русские пошли взамен немецких —
То не потому, что нынче, дескать,
Все сойдет, что мертвый (нищий) все съест —
Не сморгнет! — а потому что т о т свет,
Наш, — тринадцати, в Новодевичьем
Поняла: не без - а все - язычен.

Вот и спрашиваю не без грусти:
Уж не спрашиваешь, как по русски
Nest? Единственная, и все гнезда
Покрывающая рифма: звезды.

Отвлекаюсь? Но такой и вещи
Не найдется — от тебя отвлечься.
Каждый помысел, любой, Du Lieber,

Слог в тебя ведет — о чем бы ни был
Толк (пусть русского родней немецкий
Мне, всех ангельский родней!) — как места
Несть, где нет тебя, нет есть: могила.
Все как не было и все как было,
— Неужели обо мне ничуть не? —
Окруженье, Райнер, самочувствье?
Настоятельно, всенепременно —
Первое видение вселенной
(Подразумевается, поэта
В оной) и последнее — планеты,
Раз только тебе и данной — в целом!
Не поэта с прахом, духа с телом,
(Обособить — оскорбить обоих)
А тебя с тобой, тебя с тобою ж,
— Быть Зевесовым не значит лучшим —
Кастора — тебя с тобой — Поллуксом,
Мрамора — тебя с тобою, травкой,
Не разлуку и не встречу — ставку
Очную: и встречу и разлуку
Первую.
На собственную руку
Как глядел (на след — на ней — чернильный)
Со своей столько-то (сколько?) мильной
Безконечной ибо безначальной
Высоты над уровнем хрустальным
Средиземного — и прочих блюдец.
Все как не было и все как будет
И со мною за концом предместья.
Все как не было и все как есть уж
— Что списавшемуся до недельки
Лишней! — и куда ж е щ е глядеть то,
Приоблокотясь на обод ложи,
С этого — как не на тот, с того же
Как не на многострадальный этот.
В Беллевю живу. Из гнезд и веток
Городок. Переглянувшись с гидом:
Беллевю. Острог с прекрасным видом
На Париж — чертог химеры гальской —
На Париж — и на немножко дальше...

Приоблокотясь на алый обод
Как тебе смешны (кому) «должно-быть»,
(Мне-ж) д о л ж н ы быть, с высоты без меры,
Наши Беллевю и Бельведеры!

Перебрасываюсь. Частность. Срочность.
Новый Год в дверях. За что, с кем чокнусь
Через стол? Чем? Вместо пены — ваты
Клок. Зачем? Ну, бьет — а при чем я тут?
Что мне делать в новогоднем шуме
С этой внутреннею рифмой: Райнер — умер.
Если ты, такое око смерклось,
Значит жизнь не жизнь есть, смерть не смерть есть.
Значит — тмится, допойму при встрече! —
Нет ни жизни, нет ни смерти, — третье,
Новое. И за него (соломой
Застелив седьмой — двадцать шестому
Отходящему — какое счастье
Тобой кончиться, тобой начаться!)
Через стол, необозримый оком,
Буду чокаться с тобою тихим чоком
Стекла о стекло? Нет — не кабацким ихним:
Я о ты, слиясь дающих рифму:
Третье.
Через стол гляжу на крест твой.
Сколько мест — загородных, и места
Загородом! и кому же машет
Как не нам — куст? Мест — именно наших
И ничьих других! Весь лист! Вся хвоя!
Мест твоих со мной (твоих с тобою).
(Что с тобою бы и на массовку —
Говорить?) что — мест! а месяцов то!
А недель! А дождевых предместий
Без людей! А утр! А всего вместе
И не начатого соловьями!

Верно плохо вижу, ибо в яме,
Верно лучше видишь, ибо свыше:
Ничего у нас с тобой не вышло.
До того, так чисто и так просто

Ничего, так по плечу и росту
Нам — что и перечислять не надо.
Ничего, кроме — не жди из ряду
Выходящего, (неправ из такта
Выходящий!) — а в какой бы, как бы
Ряд вошедшего б?
Припев извечный:
Ничего хоть чем-нибудь на нечто
Что-нибудь — хоть издали бы — тень хоть
Тени! Ничего, что: час тот, день тот,
Дом тот — даже смертнику в колодках
Памятью дарованное: рот тот!
Или слишком разбирались в средствах?
Из всего т о г о один лишь с в е т тот
Наш был, как мы сами только отсвет
Нас, — взамен всего сего — весь т о т свет!

С незастроеннейшей из окраин —
С новым местом, Райнер, светом, Райнер!
С доказуемости мысом крайним —
С новым оком, Райнер, слухом, Райнер!

Все тебе помехой
Было: страсть и друг.
С новым звуком, Эхо!
С новым эхом, Звук!

Сколько раз на школьном табурете:
Что за горы там? Какие реки?
Хороши ландшафты без туристов?
Не ошиблась, Райнер — рай — гористый,
Грозовой? Не притязаний вдовьих —
Не один ведь рай, над ним другой ведь
Рай? Террассами? Сужу по Татрам —
Рай не может не амфитеатром
Быть. (А занавес над кем то спущен...)
Не ошиблась, Райнер, Бог — р а с т у щ и й
Баобаб? Не Золотой Людовик —
Не один ведь Бог? Над ним другой ведь
Бог?

Как пишется на новом месте?
Впрочем есть ты — есть стих: сам и есть ты —
Стих! Как пишется в хорошей жисти
Без стола для локтя, лба для кисти
(Горсти).
— Весточку, привычным шифром!
Райнер, радуешься новым рифмам?
Ибо правильно толкуя слово
Рифма — что — как не — целый ряд новых
Рифм — Смерть?
Некуда: язык изучен.
Целый ряд значений и созвучий
Новых.
— Досвиданья! До знакомства!
Свидимся — не знаю, но — споемся.
С мне-самой неведомой землею —
С целым морем, Райнер, с целой мною!

Не разъехаться — черкни заране.
С новым звуконачертаньем, Райнер!

В небе лестница, по ней с Дарами...
С новым рукоположеньем, Райнер!

— Чтоб не залили держу ладонью. —
Поверх Роны и поверх Rarogn'а,
Поверх явной и сплошной разлуки
Райнеру — Мария — Рильке — в руки.

Марина Цветаева

Bellevue, 7-го февраля 1927 г.

СЕМИЛЕТЬЕ

1914-1921

Когда насыщенный грозою
И сладкий воздух еще спал,
И каждый полон сам собою
Тяжелых туч не замечал.
Когда привычкою постыдной
Влачился жизни пестрый хлам,
Тогда внимал в глуши обидной
Я первым огненным словам.

На белой койке лазаретной,
Невольник европейских битв,
Я услыхал едва заметный
Напев неслыханных молитв.
Но всех судеб и всех наитий
Еще не мог я различать,
И лишь молил я — прекратите —
Любой ценою — убивать.!

А те, кто свой порыв румяный
Несли покорно на убой,
Кичася каждый новой раной,
Мне говорили — Бог с тобой!
Смешны твои больные бредни,
Чужой пришлец чужой страны,
Мы правы, рыцари последней
И очистительной войны.

Да точно. И бесспорно правы
В своем безумстве были вы.
Да облака грядущей славы
Коснулись вашей головы.
Но если бы тогда вы знали
Конец готовится какой,
Вы лучше б сердце растерзали
На части собственной рукой.

Для старой прелести уюта,
Что нежит бранные сердца,
И я оттягивал минуты
Неотвратимого конца.
Лишь на исходе семилетья
Сплошных ударов и могил
Душою в новые столетья
Освобожденной я вступил.

Что скрыто в будущем — не знаю,
Но не страшит ничто меня,
И без сомнений принимаю
И свет, и жар и боль огня.
И без унынья, без печали —
Один всего — последний раз
В зелено-золотые дали
Я погружаю слух и глаз. —

Невозвратимые затеи!
Теперь мне вспомнить вас не жаль.
Зарницы в липовой аллее,
Полурасстроенный рояль,
И воздух — грузный от сирени,
Или столичных зал паркет,
И над рекой в окошках тени,
И в рыхлом снеге скрип карет.

Или изгнанье доживая
От русских далеко равнин,
Под непрерывный шум трамвая
И трехсаженный взлет витрин,

Где в свете газа замогильном
Плывет людской поток, спеша,
Пусть в грохоте автомобильном
Еще промчится раз душа.

. . . .

Но упоительней нет муки
Еще не знать, а только ждать:
Они идут — иные звуки,
Другой закон и благодать.
Еще глаза полузакрыты,
Но верой верую одно —
Вступаем в новые орбиты,
Проходим новое звено.

Оставив на мгновенье землю,
Уйди наверх — в большую тишь,
И песню ту, которой внемлю
Открытою душой услышь,
Как пробивая снег сознанья
Весенней негой горячи,
Гремят, музыка мирозданья, —
Голубокрылые ручьи.

. . . .

А вы, друзья — вы, с кем я вырос,
Когда не поняли меня,
Когда к вам вековая сырость
Не подпускает чар огня,
Когда и этими словами
Вас потревожить я не мог,
Тогда поймите — я не с вами,
А с теми, кто пришел и сжег!

Париж. Август 1921.

ПОЛЕТ

Как это случилось на белом свете
Сказать вам несколько слов?
В сером, сыром английском рассвете
Лететь самолет готов.

Зеваки стоят с ночи толпами,
Толпа развлеченья ждет.
Механики бегают, льют пудами
Бензин в большой живот.

Готово. Тронулись. Птицей жирной
Едва повыше крыш,
Ревя моторами, в мир немирный
Ты вылетел и летишь.

Ну вот и все. Сбились с дороги
И в море тебя — капут.
Шведские куртки, сапоги, ноги
Акулы на части рвут.

Вздымаясь мчат вперед просторы.
Брызги бьют и кипят.
Не стоит жалеть людей, которые
От нечего делать летят.

Париж. Сентябрь 1927.

СТАРИК

Не тот старик — краса и лоск,
Что скалит золотые зубы,
Чья плешина — блестяший воск
И выбриты прекрасно губы,

Что в аккуратном котелке
И прочным зонтиком покрытый —
Идет поесть невдалеке,
И в теплый дом вернется сытый.

Нет — мой старик совсем другой,
Где он живет — никто не знает,
Едва обутою ногой
Он нехотя передвигает.

Дыра покрытая дырой
Висят лохмотья, словно шкура.
И наклоняется порой
Поднять раздавленный окурок.

И дальше в путь. Но видел ты,
Как тягостно он стан сгибает,
И как оплывшие черты
Лиловой кровью набегают?

Так ты не удивись, дружок,
Когда наступит слишком скоро
Предельный день, последний срок
И гибель, и восторг позора!

Париж. октябрь 1927.

В ПАРИЖСКОМ ПРЕДМЕСТЬЕ

В предместье темном, где чахнет
Сухой и живой народ,
Где жареным кофе пахнет
И плесенью отдает.

Люблю я гулять. Вот блестки —
Зеленые кабачки.
Три нищих на перекрестке
Подтягивают смычки.

Неважно они играют,
Но мы постоим, мой друг.
Зеваки их обступают —
Внимательный, тесный круг.

Трамвай прозвенел и канул
В далекий черный провал.
Полиции нет, — и грянул
Ин-тер-на-цио-нал.

Как сердце в груди вскипает,
Как сладостно плачу я!
Далекая, Русь святая,
Ведь песня эта — твоя!

С минутою каждой ближе
Оставленная земля.
Сквозь теплую мразь Парижа —
Морозный вечер Кремля,

Где в этот час, на закате,
Среди штыков и церквей,
Взывает она о брате,
О радости всех людей!

М. Струве

...ж. Октябрь, 1927.

БИКУ

Серые камни! это, как тень, когда солнце светит — солнечные тени: иду или стал: чувствую, как тихо собираются мысли. У нас на дворе лежал камень: камушком все его называли. Откуда он появился, не помнят. Моя память начинается с этого камня. Сначала я взбираюсь на него — мне он кажется огромным. А как стал подростать, или камень стал ниже? просто сядешь — как на табуретку. И игры около камня и так чего-нибудь делаешь. А идешь, бывало, растерзанный, а встретишь камушек — и как-то покойно станет.

Я о нем вспомнил — мое тихое чувство — когда «растерзанный» очутился среди камней - менгиров и дольменов — священных камней друид. Жертвенники, храмы, памятники. (Памятники ставились не для мертвых, а ради живых!) Около каждого камня, я сразу почувствовал, наполнено живым, напоено жизнью и это живое — звенящее — не безпокоит, а располагает.

А какие ночи! сколько лунных, особенных по свету: и от океана и от строя камней. В такие ночи я не пойду на берег к дольмену — не из-за кориганов, нет, кориганы — духи, служили друидам, теперь живут около дольменов и менгир, я кориганов не боюсь: «злыми» их представили при очень ярком, прямо на голову солнце; конечно, у них свое, они могут не соразмерить человеческое, и, конечно, человеку опасно. Нет, еще почему-то — — или, как говорит Бику, «потому что».

*

Наша вечерняя дорога через шоссе дорожкой к дольмену,— дольмен из самородного камня, как стол, на пяти каменных ногах, носом в землю, кругом колючий терн и вереск,—а от доль-

мена берегом по скалам, одно очень страшное место: надо перепрыгивать! и потом вверх на берег — там менгир — камень крепко в землю, торчит, как пест, а от менгира виноградником — на пустой гряде заячья норка: постоим: «не выйдет ли зайчик?» да чего-то не выходит! и всю дорогу до дома Бику оглядывается: «выйдет зайчик!» Я-то его хорошо знаю — Барбазон! — и всегда мешок: там у него на палочках розовые леденцы и в серебряных бумажках шоколад — но Бику никак не удается его увидеть и поблагодарить зайчика за гостинцы; раз видели: пробежал усатый! но это не Барбазон, это просто заяц!

Или идем так: из двора через садик и огород в поле и по ежевичной изгороди полями мимо гнезда волшебной змеи, а прошли змею, идем дубками к старым дубам — там «источник фей».

Мы никогда не одни, всегда с большими: мы всего боимся. А боимся мы — если спросить Бику, почему он боится? — он ответит: «потому что». Мы говорим на одном языке. Ошибки Бику я не замечаю, напротив, я думаю: как это у него легко выходит и особенно трудные носовые звуки. А он думает, что я говорю, как он, а если что непонятно, то это «потому что», а вовсе не оттого, что коверкаю слова и вместо одного говорю что попадает и, бывает, невпопад.

Два года назад, когда Бику было три года, он думал, что я младше его, называл меня на «ты» и ни на минуту не оставит: то в мячик изволь играть, то переносишь ему сено из угла в угол, в чем игра, не понимаю, только и остается — спрячешься, да все равно, он отыщет, и опять делай, что скажет. А теперь Бику знает, что я старше его, что мне — 12 лет — (12 это последний его счет!), но вообще-то я в роде как он: мы всего боимся. Когда нас снимал фотограф, у Бику от страха дрыгнула нога. «Если бы на ослике, я бы не побоялся!» Но мне кажется, и на ослике тоже было бы. Я вам скажу по секрету: на одну минуту Бику и меня забоялся: это когда мы с ним встретились! — но, передохнув, он, пока что неглядя, стал мне рассказывать о волшебной змее: «которую змею „Каллож" никто не видел, но она ночью выходит: ни проходу, ни прорыску!»

Мы боимся автомобилей — по шоссе с ревом они проносятся и с белыми огнями ночью! — еще боимся быков — по правде скажу вам, быки на нас никакого внимания, но мы, завидя рога, обходим и говорим тихонько! — собак, конечно, кроме одной — Бику не боится Каро, а чтобы я не боялся, он его держит; ну,

Бику еще змей боится и когда мы идем полем по ежевичной изгороди, у него всегда с собой маленькие вилы и ими он тычет по кустам — «змей пугает». Но чего мы не боимся: кориганов! Ни днем, ни вечером кориганов не видно: Бику залезал под камень — «никого нет!» Но каждый раз, когда мы подходим к дольмену, он весь навастривается, настораживается: ждет. И когда большие отходят, я беру его за руки — и мы кружимся, как кориганы.

Как-то после кориганьего танца, догоняя больших, Бику укусил меня за руку. Мне не больно, только очень уж неожиданно и странно: у меня у большого пальца отпечаток маленьких ровных зубов. Я иду, смотрю на эти следы: и почему-то они долго держатся? А Бику—спохватился что ли?— ко мне и за руку — и я чувствую: губами крепко прижался к больному месту. «Да мне не больно!» А он смотрит так—с болью; и отбежит, побегает, и опять ко мне и за руку тихонько — греет.

*

Бику бретонец последнее что от кельтов! А последнее — или очень грубо, матерьяльно (такое помрет — и, должно быть, как сон без сновидений — навеки), но есть вот как Бику: глаза его глядят с такой грустью — дольмены! эти раскрытые глаза земли, в них таже трехтысячелетняя грусть.

Глаза у Бику теплые, теплее лба и щек, я это всегда чувствую. (Бику называет «слюнить» глаза).

— Глаз! — говорит он по-русски и показывает пальцем, и также легко и ясно: — рот! — щека! — лоб! — ручка!

А тельце у него, возьмешь его близко к себе — и ребрушки.

— Живот! — говорит Бику по-русски, — ножка.

На будущее лето мы пойдем к Шаруа, здешний брадобрей, и он осторижет Бику, как остриг меня, держа за нос — вот—так!

— И кориганы, — говорю, — все стриженные.

— И блошиный царь?

— Ну, конечно.

Бику знает про «ворону и лисицу» и ему очень нравится ворона (по французски «ворон»).

— И ворон?

— И ворон и — — Мерлин.

На будущее лето мы непременно поедем в Карнак, а из Карнака в Броселиандский лес, там спит зачарован Мерлин.

Я научил Бику «строить нос»: мы это делаем вместе и соединяемся маленькими пальцами — какой выходит огромный носище! И еще я научил его показывать мне язычок: высунет язычок — я потрогаю, похвалю: а язычок у него влажный, упругий — «хороший язычок»! — и совсем не щекотно. И еще научил я его «бодаться»; только не легко ему далась «коза» — все не те пальчики вытягивает; ну, а когда наловчился, совсем меня забодал и губы так сделает — очень страшно! Но он и сам любит, чтобы я его бодал.

— «Бодад!» — говорит он по-русски твердо и карабкается ко мне на кровать.

Ну, я ему в животик «козой» вожу — очень это ему нравится: «идет коза-рогатая — — »

— «Бодад!»

За столом мы сидим около хозяйки: нас отделяет ее тарелка. Я вижу, как Бику ест — и больше работает пальчиками, вилка так для вида, и часто ест со шкуркой и косточки. А против Бику сидит бабушка: бабушке сто лет, она маленькая и востренькая (камушек!) в белом бретонском чепчике, она ничего не говорит, только смотрит. И когда разговор заходит о кориганах, о менгирах, о дольменах, о волшебницах, она внимательно слушает и, видно, она знает, она и не такое знает! (Друиды запрещали записывать и не осталось письменной памяти о их знании, вот откуда это молчание — трехтысячелетия!)

За обедом на Бику нападает сон: вздрагивая, начинает он клевать носом, но этого мало: незаметно за разговорами спускается он под стол — я заметил: там около бабушки на скамеечку под ногами ее он положит голову, свернется калачиком и прикурнет. А к десерту обязательно выйдет — Бику очень любит персики. А потом меня провожать. Я зажигаю электричество — большой соблазн для Бику: тушить и зажигать! ну, конечно, «бодаемся», а на прощанье я лиловым карандашом рисую ему на ладошках кориганов и бычьи рога. И он идет спать с растаращенными разрисованными ручонками, так и заснет, не смывая. А ночью ему снятся сны — он не помнит — но во сне он часто плачет.

*

На чердаке надо мной живет крыса. Днем она в поле, а на ночь приходит спать на чердак. И что она делает, я не знаю, но такое у меня чувство, точно она там расшвыривает и грызет

потолок. Я знаю, стены каменные, потолок крепкий, и все-таки — вот прогрызет и ко мне — и ничего, конечно, не сделает, меня же испугается. Но я не могу заснуть, все прислушиваюсь. Наконец крыса затихает — зубы что ли пероломала? — крыса заснула и я засыпаю.

Крыса спугивает мои сны — мне ничего не снится.

Но бывают ночи — день набегается в поле, устанет, а вернется домой, как и нет ее. И после книг — я читаю о менгирах и дольменах, о белой во щебной омеге, о солнце, о быке —

ведь эта земля и эти камни — это как Египет — таже память: и там и тут Карнак, и бык, и солнце, и «мудрость» —

но кроме археологии, «бретонских святых», рыцарей круглого стола, короля Артура и Мерлина, и последнего бретонского короля Соломона, у меня на столе за сорок лет «Le magasin pittoresque» — я рассматриваю картинки — начитавшись и насмотревшись, я засыпаю спокойно. И мне снятся сны из другого мира — жуткие по необычности, и явственно и осязательно, но совсем не грозные и без этой черной томящей памяти навязчивых «костяных и кровных» снов.

Но с некоторых пор — луна? океан? кориганы? — мои сны превратились в борьбу: началось с дольмена: ясно увидел из терна дольмен — тот, где мы с Бику кружимся на закате — и почему-то стало страшно: что-то тянет, и не хочешь, а смотришь — и я никак не мог от него уйти, не могу проснуться — —

я сижу за столом в моей комнате, крыса не чердаке спит, весь дом, как вымер и океан ушел, такая тишина! — и вдруг погасло электричество; я скорей за дверь (выключатель за дверью), шарю, а не могу найти, а знаю, вот тут — и так рукой по стене — нету, я ниже, еще и еще — — и чувствую, около самого пола (куда спустился!) хочу зажечь, ничего не выходит, а хоть и темь, различаю — выключатель расколот пополам: надо соединить половинки и тогда зажжется! Но только что я беру половинки соединить, чувствую — схватили меня за руки, держат, а на ноги уселся какой-то, на меня лезет; я не вижу их, но ощущаю: «Бросьте, говорю, чего вы!» И они на мой голос отшвырнулись. Но

только что я протяну руку и уж возьмусь за половинки, опять хвать меня за руки, оттаскивают меня — не больно это, только очень мучительно — —

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

зачем-то надо мне на чердак, но этот чердак не здешний, а московский — там где мой камушек — отворил я на чердак дверь, хочу войти, а на пороге меня как хлестанет — и сзади схватили за руки. Я хочу назад — не пускают. Высвободил я руку, поднял — и тьма стала расходиться, и в глубине чердака у слухового окошка я увидел: сидит старик, похож на Тагора, а глаза — они, как в воде плывя, горят. «Аратим-тих!» — говорю. Почему я сказал это имя «аратим-тих», не знаю, и значит ли оно что, не знаю, но я почувствовал, как мне свободно, и, глядя на старика, на его горящие переливающиеся глаза, я тихонько вышел —

— — — — — — — — — — — — — — — — —

Новая луна — другие сны. Но тут на меня напали блохи. И «блошиный царь» не помогает и «ля-козак», такой желтый персидский порошок, не действует. Оказывается, весь дом — налет блох.

И когда однажды по утру я искал закатившуюся куда-то резинку и мне помогали искать хозяева, заглянувший Бику спросил:

— Вы блох ищете?

*

Рассказы о кориганах, о феях и волшебницах—могли обращать человека в пылинку, а сами превращаться в мышь!—на время отошли и о блохах забыто. Все заполнило «мушиное царство»: я побывал в соседней Вандее, где океан не наш — бретонский — гремящий с оторванным скалистым берегом (часть погибла с Атлантидой), а «настоящее» море—вот где живет золотая рыбка! — и волнистый песчаный берег.

В Вандее жил один знакомый кельтолог. Он

меня встретил на вокзале. Еще дорогой замечаю: почему-то в разговоре употребляет, как сравнение, мух — «это подобно, как бы 1000 мух!» или «это дороже: куда 77 мух!» Я не обратил особенного внимания: бывают такие странные пристрастия и поговорки. Но когда мы пришли в дом, меня поразило странное убранство комнаты: с потолка на верезочках спускались бумажки-квадратики; и что еще страннее: хозяин во время ученого разговора подходит к этим липким бумажкам, сосредоточенно вглядывается (считает?), потом не без волнения что-то записывает. В полдень, прервав разговор, он снова проверил бумажки и облегченно сказал: «75». Надо было купить чаю. Мы пошли в лавку. Но при нашем появлении хозяйка не тронулась ни на звонок, ни на приветствия: впившись глазами в точно такие же бумажки, она что-то считала, а другая—продавщица—около нее, как истукан, с карандашем на готове; выкрикнув «50», хозяйка обратилась к нам. — Ничего не понимаю! — Я стал вслушиваться в разговоры: говорили о самом обыкновенном, и так, что придется, но все слова перевивались одним назойливым: муха. Оказывается, какая-то волшебница превращала людей в черных мух, и потому было издано постановление: развесить липкие бумажки для привлечения и вести точный подсчет пойманным мухам — и кто больше поймает, тому обещалась большая награда, награда оценивалась в один миллиард черных мух! На другой день в полдень на моих глазах совершилось чудесное превращение: подъехавший отокар с американцами вдруг поднялся на воздух, зажжужал и разлетелся по сыпучему пляжу — —

Бику слушал мои рассказы о «мушином царстве» с таким увлечением — непременно на будущее лето мы решили ехать в Вандею, розыскать волшебницу и выведать у нее тайну: как обращаются люди в мух?

— Но уговор: никому не скажем — или нас самих превратят в мух.

— Это непрактично! — заметил Бику.

*

Последние дни мы ходим прощаться с дольменом и менгиром, и к «источнику фей». И мне вспоминается фея Арма и камень Марка Пен-Рюз —

но этого Бику не поймет: любовь, отречение во имя любви, подвиг, верность и гибель! —

и я рассказываю ему только о кориганах: как Арма посылает кориганов, когда едет на коне Пен-Рюз, росчищать ему путь, а если упадет, подослаться, чтобы было ему не больно.

После обеда, как всегда, когда я разрисовывал Бику ладошки кориганами и рогами, он тихонечко сказал мне, глядя своими грустными трехтысячелетними глазами:

— Ведь мы приятели?

Я погладил его ребрышки — тихо стучало его сердце (живой камушек) — и я обещался: как только вернусь в Париж, похлопочу у Барбазона и, наверно, зайчик согласится — и я немедленно пришлю: розовую остроконечную шапку с рогатым месяцем и звездами, золотую корону, розовую бороду, серебряный кошелек с неразменным серебром, розовые и зеленые очки — Бику нарядится, пойдет к дольмени и все кориганы выйдут к нему кружиться!

*

Бику знает: ко мне можно только перед сном. А если, бывало, зайдет, а я занимаюсь, я беру «Стоглав» и читаю вслух — и он сейчас же исчезнет: «и непонятно и не мешать». Накануне отъезда Бику пришел не во-время, я хотел было взяться за «Стоглав», но вижу, он и не думает рассиживаться — а какое вышло дело: его берут на виноградник полоть траву для кроликов и вот он забежал, просит меня поберечь —

и положил на стол старенький кошелек и коробочку из-под пудры — свое заветное, никогда не расстается!

Когда Бику вышел, я посмотрел: в коробочке ничего не оказалось — пустая, а в кошельке маленькая фотографическая кар-

точка — такие в медальонах носят — какая-то дама, трудно разобрать, пожелтелая вылинявшая фотография.

Вечером перед обедом я передал Бику его сокровище. Он сейчас же выбежал из столовой, чтобы спрятать. Я спросил о заветной карточке: чья это? — никто не знает; и откуда взялась? — не знают. А бабушка смотрит — знает — — ?

8. 9. 26.
Rochers de la Pataurie

Алексей Ремизов

РАСЕЯ

(Письмо)

1916 г.

«Расею» я слышу через все России — от Руси «кагана нашего» Владимира (освятили Десятинную церковь на манер царя Соломона, восемь дней праздновали: семь дней праздник, восьмой попразднество, как потом на Петров день будут праздновать Петра, а на другой день — «Полпетра»); через Русию царя Ивана с его — «доподлинно известно» (разговор с Антонием Поссевином), что сам Апостол Андрей, по дороге из Корсуни в Рим, приходил на русскую землю, был в Киеве, на киевской горе поставил крест и благословил: «имать град велик быти и церкви многи Бог воздвигнути имать», побывал и в Новгороде — баню видел, и потом в Риме о этой хитрой нашей бане апостолам, святым отцам и учителям церкви рассказывал:«бани древены, и пережгуть камние рамяно и совлокутся и будут нази, и оболеются квасом усниянам, и возьмут на ся прутье младое и бьют ся сами, и того ся добьют, едва слезуть ле живы и облеются водою студеною и тако оживуть. И то творять во вся дни, ни мучимя никимже, но сами ся мучать, а то творять не мытву себе, но мученье». — и все удивлялись; через Русию «Рафлей» (гаданье зернью) — «за смотрение в которые, по Стоглаву, от царя в великой опале быть и всячески отверженным по священным правилам (эпитемья на шесть лет!); через «Щеголеватую аптеку или туалетные препараты, содержащие в себе разные способы для поддержания, умножения, лечения и возвращения телесные красоты...» — Кострома. Вол. Ти. Н. С. 1796 году; через Лесковское «действие с Арием» — до письма «весьма получить нужно»: пишет на войну Ефиму Ивановичу Паращенкову его товарищ Никита Кириллыч (на воле самая весна, по ночам лягушки свадьбу играют!), и до сего дня — до хитрой «реализации» инженера Шапошникова:

приделал себе к «агрегату» провод и вывел в приемную, красная лампочка: сядет за работу — красный огонек загорится; а для посетителей стул с кнопкой, плюхнется который, кнопку прижмет и сейчас же за дверью, глядь, белый вспыхнул, и все понимают, что зав занимается и у него сидит проситель и зря, значит, ломиться нечего.

* * *

Бросил кости — (что-то выйдет?) — 4. — 3. — 3. Смотрю в «Рафли»: 433:

> «Бегает заец травою и впадает в тенета, и выдерется заец из тенет и побежал в дальнюю пустыню, и возрадовался заец воле своей.
> Тако и ты, человече, возрадуешися орудию своему, и во всем тебе Бог на помощь. Аще о болезни — восстанет, и беглой твой придет, и пропажа твоя сыщется от чужих, Бог тебе на помощь во всем».

*

А вот из «Щеголеватой аптеки»:

> Вода для рощения волосов.
>
> «Возьми бутылку французского вина, положи в него сто пчел и оставь их в том вине дней на шесть, а после пережги их и золу смешав с тем же вином, зделай из того щелок, которым по-часту голову примачивай».
>
> Настоящая венгерская водка.
>
> «Положи в кубик полтора фунта розмариновых цветов, полфунта цветов маерановых, полфунта цветов лавенделевых, и сверьх сего налей три бутылки хорошей водки, закупори хорошенько чтобы не выдохлось: потом поставь на сутки в горячей лошадиной навоз, а после передвой обыкновенным образом, и водка будет готова. Сей есть подлинной рецепт, которой доставлен Елисавете Королеве Венгерской. Она производит хорошей цвет на теле, отвращает головную боль, молодит

кожу, возбуждает силу, и предохраняет от простуды и худого воздуху. Употребляется оная нюханьем и на место притиранья».

Личная помада.

«Возьми тринатцать бараньих ног и шесть говяжьих, мясо с оных очисти хорошенько, выбери одни только длинные позвонки, а протчее брось... и т. д.

«Действие с Арием» из «Полунощников» Лескова:

— —

«Сделай моего ангела Николу, как он Ария в щеку бьет. Я приму и заплачу».

«Лучше сделайте, как о бедных хлопотал или осужденных юношей от казни избавил».

«Нет, этого я не могу. Я сам бедным подаю и видел, как казнят... Это тоже необходимо надобно... их священник провожает... А ты представь мне, как святитель посреди собора Ария по щеке хлопнул».

Сейчас и пошел у них новый спор, пошел и о казни и о пощечине, и Клавдинька в конце говорит:

«Я этого не могу».

«Почему? Разве тебе не все равно?»

«Во-первых, мне не все равно, потому что хорошо то работать, что нравится, а мне это не нравится; а во-вторых, слава Богу, теперь известно, что этой драки совсем и не было».

Николай Иванович сначала удивился, а потом и стал кричать:

«Не смей этого и говорить!.. Потому что это было, да, было Он его при всех запалил».

А Клавдия говорит:

«Нет».

Дядя говорит:

«Ты это только для того со мной споришь, чтобы мне досадить потому что я его уважаю».

А Клавдия отвечает:

«А мне кажется, что я его уважаю больше, чем вы, и хочу, чтобы и вы то знали, за что его уважать должно».

И чтобы спор порешить, Николай Иванович вздумал ехать ко всенощной, а оттуда к какому-то профессору спрашивать у него: было ли действие с Арием? И поехал, а на другой день говорит:

«Представьте, я вчера с профессором на блеярде играл и сделал ему постанов вопроса об Арии, а он действительно подтверждает, что наша ученая правду говорит — угодника на этом соборе действительно совсем на было. Мне это большая неприятность, со мной через это страшный перелом религии должен выйти, потому что я этот

факт больше всего обожал, и вчера как заспорил, то этому профессору даже блеярдный шар в лоб пустил: теперь или он на меня жалобу подаст и я должен за свою веру в тюрьме сидеть, или надо ехать к нему прощады просить. Вот какая мне катастрофа от Клавдии сделана!»

Сел и зарыдал.

— —

*

В действующею армии. Стрелковой полк. 8-ю роту. Получить Ефиму Ивановичу Паращенкову. Весьма получить нужно.

«1916-го года месяца апреля 11 дня письмо от товарища вашего Никиты Кириловича. Во-первых строках моево письма спешу ведомить, что по-милости-Божией нахожусь жив-и-здоров, того и вам желаю от Господа-Бога доброго и щастливаго успеха. Низко кланеится вам товарищ Никита Кирилович и посылает всенижающая почтения и с любовью низской поклон. Еще низко кланяится ваш товарищ Михаил Кирилович и посылает всенижающая почтения и с любовью низкой поклон. Еще низко кланеится ваш товарищ Захар Алексеевич и посылает всенижающее почтение и с любовью низкой паклон. Еще низко кланяится ваш товарищ Петро Левонович и посылает всенижающее почтение и с любовию низкой поклон. Еще низко кланяится товарищ Евсей Федотович и посылает всенижающея почтения и с любовию низкой паклон. Загем засвидаля, остаем живы и здоровы, того и вам желаим. Еще ведомляим тибя, што Михаил Кирилович дома. Еще ведомляим, Евфим Иванович, что все хлопцы начуют вместе по клетям, так-что хлопцяв мало, так девчат — и фамилий не испрашивают: Никита — Химу Таранову, а Михаил — Ульяну Савостерхову, Петрок Левонович за сторожа у Вульяны Семенковы около —, Захар Алексеевич спит на отцовской печьки, Тимофей Семенович — Аксинью Евфимовну Пичунку, Петр Сысоевич грызет Малаховку за спину — — — . Приехав Андрей Сысоев в отпуск на 3 месяца. Иван Яковлевич Дятлов — Аксинью Чурилину, Никита Евтенович Крупенков — Марину Панкову, а Яков Иванович Морзов только — — , Авсей Федотович так-что там-а-почтам. Новостей у нас нет никаких, некруты гуляют еще дома. Затем засвидания, остаемся живы--здоровы, того и вам желаим.»

* * *

И я никак не скажу, чтобы эта «Расея» — я ее вижу во всех вывертах и поворотах и даже такою, коли б пропала на веки веч-

ные, русские люди скажите, слава Богу! с этим ее «обознался» и «здорово живешь» (смазал — чего? — а так, здорово живешь!) — что хотите, но совсем она не идиотская, вытаращенная, перекошенная и истощенная.

Алексей Ремизов

РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ МЫСЛЬ И РЕВОЛЮЦИЯ

Часть I

Начало века было в России временем большого умственного и духовного возбуждения. Пробудились творческие инстинкты духовной культуры, которые долгое время были подавлены в господствующих формах интеллигентского сознания. Мы пережили своеобразный философский, художественный, мистический ренессанс. Я не собираюсь писать истории духовного движения начала XX века. Да и для меня это было бы затруднено тем, что я был его активным участником. Тема моя — оценка и осмысливание изнутри. Первое, что нужно установить, это сложность и многосоставность этого духовного движения — в ком встретились, соприкоснулись и смешались духовные элементы, имевшие разные истоки и разную природу. Если оценивать это движение по его ближайшей исторической плодотворности, то оценка будет отрицательная. Оно не имело духовного влияния на широкие круги русской интеллигенции, не предотвратило отрицательных сторон русской революции и деятели революции не определялись его идеологией, оно не вдохновляет и поколения, выросшего после революции и пережившего духовную против него реакцию. Но есть ли историческая плодотворность в ближайшую эпоху критерий истинности и ценности явлений духовной культуры? Принятие такого рода критерия оценки означало бы исторический релятивизм и отказ от оценки по существу во имя оценки прагматической. Духовные влияния не могут быть уловлены по внешней исторической эмпирии и эти влияния нередко отрицаются теми, которые пережили изменение своего сознания под их незримым воздействием. Очень поучительна в этом отношении судьба романтического и идеалистического движения в Германии начала XIX века. Это движение по видимости не удалось и сорвалось, упования его не осуществились. Духовная культура начала XIX века вызвала

против себя в Германии реакцию, которая привела к торжеству иного духа. Восторжествовали материализм и техническая цивилизация, германский империализм и социал-демократия, Бисмарк и Маркс. Но осуществлялись ли когда либо в истории духовные упования, реализовалась ли когда либо и какая либо идеология? Никогда. Даже христианство в известном смысле не удалось. История есть неудача духа, ибо действуют в ней человеческие массы и коллективы, которые не могут вместить духовной полноты и всегда искажают истину. Ценность духовного творчества определяется не тем, что его результаты входят в последующие эпохи и ими оцениваются, а тем, что они входят в вечность. Достоевского может отвергнуть не только последующая эпоха, но и целый ряд эпох. И все же он также входит в вечность, как Эсхил и Софокл, как Данте, Шекспир и Гете. В историзме, как миросозерцании, как методе оценки и осмысливания, есть коренная неправда, подчиняющая безусловное относительному. Человечество ни в одном своем поколении не вмещает полноты. Оно способно жить лишь отдельными сторонами и частями истины. Человечество живет поворотами. Поворачиваясь к одному, оно отворачивается от другого. Так безмерно трудно христианскому человечеству вместить полноту богочеловеческой истины. Поворот к Богу отворачивает от человека. Поворот к человеку отворачивает от Бога. Человек—существо реакционное и живет он вечными реакциями, он утверждает то, к чему повернулся, через реакцию, через отвержение и отвращение от того, что выпадает из поля его ограниченного сознания. В эпоху увлечения политикой, хозяйством и техникой легко отвращается массовой человек от духовной жизни и духовной культуры. Человек есть существо в высшей степени одностороннее и невместительное, ему кажется небытием то, на что не направлено его сознание. Бесконечные миры выпадают из поля зрения человека. Человек конструирует свое сознание и конструирует мир согласно основной направленности своего духа, своей избирающей воли. Это следует всегда помнить, когда происходит оценка духовных явлений и течений. Невозможно оценивать какое либо явление путем реакции против него и отворачивания от него. Отвращение реакции есть отказ от возможности оценки. И стремление к наиболее истинной оценке есть стремление к полноте, к преодолению исторической релятивности и всякой односторонней реакции. Ведь феномен революции не может быть оценен ни путем погружения в нее, ни путем реакции против нее. Революцию не понимают ни революционеры, ни контр-революционеры. Она осмысливается лишь в достижении большей духовной целостности.

Чтобы понять судьбу русских духовных течений начала XX века и оценить их, нужно вникнуть в характер русской религиозной мысли XIX века. Судьба нашей творческой религиозной мысли XIX века была печальна и сви-

детельствует о глубоком расколе, которым поражено было русское общество. Упования русской религиозной мысли не осуществились: Русское религиозно-национальное течение было раздавлено двумя господствующими силами — нарастающей атеистической революцией и реакцией оффициальной императорской России. От Чаадаева и Хомякова до религиозных мыслителей XX века русское сознание на вершинах своих находилось в глубоком противоположении и противлении господствующим силам русской власти и русской интеллигенции. Народ же безмолвствовал и хранил тайну, которую всякий пытался по своему разгадать и привлечь на свою сторону. Недовольство настоящим и невозможность жить в нем — характерные черты всей русской мысли XIX века. Недовольство настоящим, духовная от него оторванность порождали устремленность то к грядущему, то к идеализированному прошлому. В сущности и славянофилы, несмотря на принципиальную почвенность своей идеологии, не имели твердой почвы и не могли опереться на народную стихию. Славянофилы были еще связаны с бытом, с уютными дворянскими поместьями, в отличие от продолжателей их дела, явившихся после 60 годов. Но они были культурными русскими помещиками верхнего слоя, прошедшими через германский идеализм, через Гегеля и Шеллинга, через европейское романтическое движение, и они производят впечатление группы мечтателей, оторванных от России оффициальной, от империи Николая I и от России народной, пассивной и немой. Славянофилы пытались остановить в России два роковых процесса — процесс роста неверия и атеизма интеллигенции и процесс роста капитализма и индустриализма вводивших русский народ в круг европейской буржуазной цивилизации. Дальнейший ход русской истории не оправдал их чаяний и надругался над их мечтами. Их дети и внуки принуждены были стать реакционерами и изменили свободолюбивым идеям славянофильства классического. Беспочвенность нашего высшего культурного слоя должна быть опознана и в славянофилах, которые победили ее в идеологии, но не в реальной жизни. Как это ни парадоксально будет звучать, но в известном смысле революционная и отщепенская интеллигенция оказалась у нас более почвенной и ей суждена была победа в неотвратимом историческом процессе. В час падения русского царства, когда были сняты с народа оковы и народная стихия могла разгуляться, народ пошел за Чернышевским, а не за Хомяковым. Он пошел также за Достоевским, но совсем в особом смысле, пошел по Достоевскому, согласно его профетическим прозрениям, но не за его положительными верованиями и идеалами. В час русской революции творческая и оригинальная русская мысль оказалась бездейственной и ненужной, о ней не вспомнила ни одна из боровшихся в

волюции сил. Лишь та сторона русской мысли и литературы, которая может быть наименована пессимистическим профетизмом, восторжествовала и олучила подтверждение в жизни. Эта сторона всегда у нас была очень силь й, но менее всего у старых славянофилов, которым еще не свойственно было тастрофическое чувство жизни.

II

Русская религиозная мысль XIX века не была еще достаточно понята и енена. Эта мысль была творческой, профетической и реформаторской. У усских религиозных мыслителей было великое упование на наступление овой эпохи в христианстве. Славянофилы по духовной своей настроенноги были религиозными реформаторами, а не религиозными консерваторами, ак их часто изображают. Слово «реформаторы» нужно здесь понимать не в ютеранском, кальвиновском, протестантском смысле, а в смысле творческого возрождающего движения внутри православия. А. Хомяков, а за ним). Самарин и И. Аксаков, полагали в основу православия свободу духа. се наши классические славянофилы были движимы пафосом свободы, были трастными защитниками свободы совести. В православии оффициального, азенного образца никогда не было этого пафоса свободы духа. Ведь Хомяков ачисто и радикально отрицал самый принцип авторитета, он не соглашался, аже Бога признать авторитетом и видел в этом унижение Бога и духовной изни, на которую совершенно неперносимы отношения авторитетности. отом многие принуждены были признать, что Хомяков положил основание стинно православному русскому богословствованию, он повлиял и на ерархов церкви, хотя они не любили в этом признаваться. Но православные онсервативного типа выразила сомнение в том, что пафос свободы духа, ак основа христианства, взят Хомяковым из традиционного православного сточника. Хомяков прошел через германский идеализм и было выражено редположение, что он оттуда взял свободу духа. Хомякова обвиняли в том, го в его православии есть очень сильные гуманистические элементы. Хомяовское православие есть православие гуманитарное и свободолюбивое. Ни каких традиционных православных догматиках нельзя найти того, что утерждал Хомяков о природе Церкви, как живого духовного организма, в отором дано единство любви и свободы. Почитайте «Догматическое богоовие» Митрополита Макария и вы ничего похожего на Хомякова там не айдете, да и Хомяков относился с нескрываемым презрением к догматике ипа Митрополита Макария. Константин Леонтьев был решительно вражде-

бен славянофильскому, хомяковскому богословствованию*), он противополагал Хомякову и славянофилам православие афонское, филаретовское, оптинское, он хочет строго традиционного, консервативного и сурового православия, лишенного всякого свободолюбия и гуманитарности. Для К. Леонтьева Хомяков — гуманист, либерал, демократ, выдумавший свое собственное новое православие. Еще сравнительно недавно о. Павел Флоренский написал в «Богословском Вестнике» очень резкую статью против Хомякова, в которой обвинял Хомякова в ересях, в отступлении от традиционных основ православия, в имманентизме, в заимствовании его учения о церкви из германского идеализма, в исповедании принципа народного суверенитета и пр. грехах.**) Св. П. Флоренский в сущности обвинял Хомякова в решительно протестантском уклоне. Для него Хомяковское свободолюбие есть протестантизм. Православие самого о. П. Флоренского не знает свободы духа и сам он склонен к магическому пониманию православия. Онтологизм истолкован в духе противоположном свободе, с некоторым приближением к томизму. Традиционность славянофильского богословия подвержена сомнению. Славянофилы стремились к духовной реформе в православной церкви через утверждение принципа свободы и отрицание принципа авторитета. Это—бесспорно и странно, что это не было достаточно замечено историками русской мысли XIX века. Но славянофильская свобода отличается от свободы протестантской, ибо органически соединена с соборностью. Соборности не существует без свободы духа, свободы совести, но и свобода не существует без соборности. Славянофилы черпали свой пафос свободы из первоисточников христианства, из сокровенной глубины жизни церкви, но находились в несомненной оппозиции и противоречии оффициальному традиционализму в истории православной церкви. Это верно почувствовали К. Леонтьев и о. П. Флоренский, которые по разному, из разных мотивов являются романтическими реакционерами.

Достоевский еще более, чем Хомяков, понимал православие, как религию свободы духа, и исповедывал религию свободы духа в небывалых формах. Его «Легенда о Великом Инквизиторе» направлена не только против римского католичества и атеистического коммунизма, она направлена против всякой религии авторитета, против всякого цезаризма и империализма в религии. Уклон к цезаризму и империализму, к авторитетности был и в восточном православии, и Достоевский боролся и против него во имя святыни свободы духа, свободы Христовой. Христос для Достоевского и есть сво-

*) См. мою книгу «Константин Леонтьев. Очерк из темы русской религiозной мысли».

**) Против этой статьи о. П. Флоренского была мной напечатана в «Русской Мысли» статья «А. Хомяков и о. П. Флоренский».

ца. Ему противоположен антихрист, который есть принуждение и насилие, инудительная организация спасения. К. Леонтьев также отрицательно юсился к Достоевскому, как и к Хомякову, даже еще более отрицательно. ія него православие Достоевского не подлинное, не традиционное, а розовое, манистическое. Упования Достоевского, его ожидания новой эпохи в хриіанстве К. Леонтьев считал гуманистическими. Монархизм славянофилов Достоевского был исторически случайным и условным монархизмом. Под рмой идеального, мечтательного монархизма они проводили глубочайшее отивление и борьбу против исторической русской монархии, против ператорской России, против всякого государственного абсолютизма. В ой форме эта борьба была невозможна. И несомнѣнно, что в монархизме авянофилов и Достоевского были очень сильные анархические элементы. равославная монархия была у них утопией идеального, совершенного госурственного и общественного строя, осуществлением христианской правды в изни. И славянофилам и Достоевскому свойственно было великое уповае, что русский народ призван осуществить Христову правду на земле, кизни общества, в культуре, а не только в жизни личности. И они противолагали это русское религиозное призвание Западной Европе, в которой ончательно побеждает безбожный капитализм и безбожная цивилизация. о был тайный хилиазм, свойственный всей русской религиозной мысли, сское искание Царства Божьего на земле, как и на небе. Тоже самое, хотя в другой форме, мы видим и у Вл. Соловьева, который в оффициальных авославных кругах вызвал к себе более отрицательное отношение, чем авянофилы и Достоевский. Те же мотивы были у Бухарева, очень замечаьного и мало оцененного русского богослова, и позже у Н. Федорова. И и прикрывали утопической идеей монархии свое искание Царства Божьего, уществление правды Христовой на земле, в человеческом обществе и кульре. И они по духу своему противоположны православию оффициально-, казенному, равнодушному к осуществлению правды, освящающему ществующее, но не обращенному к улучшению и преображению жизни. учшие и гениальнейшие представители русской религиозной мысли протились традиционно-бытовому, приходскому православию во имя реального ерковления и охристовления всей жизни, во имя «приобретения Христа» ыражение Бухарева) всем сферам жизни личной и общественной, всему ловеческому творчеству. И они сознавали, что в оффициальной православй России неправда освящалась и выдавалась за подлинную православную изнь.

Православный Восток не пережил века схоластики, он пережил лишь к патристики. Русское православие до XIX века не знало творческой богоовской и философской мысли. Кн. Н. С. Трубецкой не без гордости при-

писывает это туранскому элементу. Но в XIX веке, очевидно, туранский элемент ослабел, и у нас явилась творческая богословская и философская мысль. Эту мысль нередко обвиняют в слишком большой зависимости от германского идеализма, особенно Шеллинга. Что же это за православная мысль, которая носит столь явные следы шеллингианства? То ли дело наше казенное школьное богословие, которое носит явные следы западных схоластических учебников и самого грубого рационализма и номинализма. Просветительство и секуляризация петровской эпохи породили у нас стиль «ортодоксии», смертельной враждой относящейся ко всякой «мистике». Ведь было время, когда у нас в духовных ададемиях считалась «ортодоксальной» философия Вольфа и почти предписывалась. От такого рода «ортодоксии» освободил германский идеализм. Русская религиозная мысль XIX века делала дело аналогичное тому, которое делала греческая патристика, и она была первым проявлением творческой религиозной мысли после восточных учителей церкви, после св. Григория Паламы. Русское средневековье прошло в сне мысли. Мысль занята была почти исключительно укреплением московского государства (инок Филофей. Иосиф Санин). У нас не было схоластики, потому что не было никакой мысли. А отсутствие всякой мысли есть самый верный способ остаться ортодоксальным. И когда наступило время мысли, тогда, подобно тому как греческие учителя церкви пытались оправдать и раскрыть истину христианства, пользуясь высшей философией своего времени — греческой философией, главным образом платонизмом, русские мыслители XIX века пытались продолжить дело оправдания и раскрытия христианской истины, пользуясь высшей философией своего времени — философией германской, главным образом Шеллингом. Ведь абсолютная истина христианства преломляется в человеческом сознании и претерпевает ограничения, свойственные этому сознанию. Человеческий элемент и Богочеловеческое подлежит развитию, разворачиванию, усложнению, просветлению, творческому процессу, равно как может омертвевать и разлагаться. Русская мысль XIX века в большей степени утверждала свободу и творческую активность человека, чем это делала восточная патристика. Это была попытка по христиански, по православному осмыслить опыт новой истории, соединяя верность святыне Церкви с высотой творческого человеческого сознания своего времени. Отсюда обвинения в гуманизме Хомякова, Достоевского, Бухарева, Вл. Соловьева, Н. Федорова. Этому гуманизму противополагали отеческое, традиционное, консервативное православие («афонское», «филаретовское»), которое не в меньшей степени заключает в себе человеческий элемент, но человеческий элемент старый и пришедший в состояние окостенения. Если свобода и творчество есть человеческий элемент, то в такой же степени есть человеческий элемент и власть, авторитет, принуждение. Авторитет в

акой же мере утверждается через человека, как и свобода, но эти два нача-
а означают разные состояния человека, разные ступени развития челове-
еского сознания. И вместе с тем свобода не в меньшей степени может пре-
ндовать на божественность, чем авторитет. Русская религиозная мысль
чень остро, острее чем западная религиозная мысль, поставила внутри
ристианства проблему человека и проблему космоса, проблему человече-
кого и космического преображения, преодолевая и в идее богочеловечества
в идее софийности твари и ложный монизм и ложный дуализм.
русская мысль начала XX века в большей степени это сделала, чем
усская мысль XIX века. Антропология и космология, т. е. тайна творения,
е были достаточно раскрыты в христианстве и раскрытие их есть творческая
елигиозная задача. Вселенские соборы и учителя Церкви решали главным
бразом вопрос тринитарный и христологический и не сделали всех необхо-
имых выводов из основного христологического догмата, не применили его
человеку и человеческой истории. И вот русская религиозная мысль заклю-
ет в себе великую проблематику христианского сознания, неведомую пред-
ествующим эпохам. Это есть проблематика о человеке и космосе, о свободе,
творчестве, о смысле культуры, об отношении церкви к миру и восполне-
ии церкви, о Царстве Божьем. С небывалой остротой была поставлена про-
лема «внехрамовой литургии» (Н. Федоров), о реальном оцерковлении жиз-
и, о преодолении дуализма церкви и мира. В мистическом возрождении
ачала XX века был преодолен бесплодный номинализм нашего школьного
огословия, условный риторизм старого типа благочестия. Учение о Софии,
оторое я во многих отношениях не разделяю, опасаясь в нем ослабления че-
овеческой свободы и слишком растительного понимания христианства, поста-
ило очень сериозную проблему об отображении и реальном присутствіи, бо-
жественного (божественной премудрости) в творении и этим наметило путь
реодоления дуалистического теизма школьного богословия, обезбожи-
ающего творение. Проблематика русской религиозной мысли имеет огром-
ое значение и для Западной Европы, которая все более начинает ею
аинтересовываться.

Русская религиозная мысль в наиболее значительных своих проявле-
ниях носит эсхатологический характер. Как понимать эту эсхатологичность,
значает ли она предчувствие близости конца мира, явление антихриста и
торого пришествия Христова? Я думаю, что это есть упрощение эсхатоло-
ической проблемы. Эсхатологическое сознание совсем не означает непремен-
о предчувствия близкого конца мира, как хронологического события. Прав-
а у К. Леонтьева и Вл. Соловьева, когда он писал «Повесть об антихристе»,
ыли пессимистические апокалиптические предчувствия приближающегося
онца, которые теперь могут быть некоторыми истолкованы, как предчув-

ствия исторической смерти старой России в революции. Но эсхатологическое сознание имеет и совсем другой смысл, который не допускает проецирования в исторической хронологии. Эсхатологизм есть вечное начало в христианстве и во все времена являлись в христианском мире носители эсхатологического сознания. Забвение эсхатологии означает в истории церкви окостенение и омертвение, угашение духа. Все первохристианство было эсхатологично и великая правда этого эсхатологизма не опровергается тем,что конец мира и Второе Пришествие не наступили так скоро, как ждали, и начался для христианства длинный исторический путь. Даже в католичестве, наименее эсхатологической форме христианства, периодически являются личности яркой эсхатологической настроенности. Достаточно назвать Св. Гильдегарду, Марию де Валле, или в наше время Л. Блуа. Эсхатологизм означает переход в иной план бытия, который совсем не подчинен власти исторического времени, из которого переход в историческое время есть лишь символическая проэкция. В известном смысле конец мира и Второе Пришествие вечно близки, но затверделость, окаменелость сознания, порабощенность времени «мира сего» мешает это видеть. Христианский мир устроился так, как будто бы конца никогда не будет, как будто бы историческое время безконечно и Второго Пришествия не будет. Это есть церковный позитивизм, бытовое христианство, приходское по своему кругозору православие. Оффициальное католичество в совершенстве умело устроится так, как будто бы никогда не будет конца мира и Второго Пришествия. О Втором Пришествии Христовом с большим трудом можно напомнить христианскому миру, который вообще имеет тенденцию к оцепенению. Напряженное искание Царства Божьего беспокоит церковных позитивистов и представляется им не то ересью, не то революцией. Эсхатологизм есть профетический элемент в христианстве. И самый острый вопрос,к которому приводит русская религиозная мысль, есть вопрос о том, существует ли в христианстве профетическая стихия, оправдана ли она. У славянофилов этот профетический элемент был еще слабо выражен и недостаточно осознан, но он очень силен у Достоевского, у Бухерева, у Вл. Соловьева, у Н. Федорова, у некоторых мыслителей начала XX века. Не только в христианстве, как религии абсолютной и наиболее полной, но и во всякой религии, во всей религиозной истории человечества есть элемент сакраментальный, носителем которого является жрец и священник, и элемент профетический, носителем которого является пророк. Без этих двух элементов нет полноты религиозной жизни.

Мировая религиозная жизнь внизу имеет два источника — народный религиозный коллектив и религиозную личность. Священник есть выразитель религиозного коллектива; пророк — религиозной личности. Коллектив и личность могут находиться в видимом антагонизме и борьбе. Профетическая

религиозная личность может восставать против коллектива. Но в более глубоком смысле и религиозная личность служит соборной религиозной жизни. Видно это бывает не сразу, лишь в последующих религиозных поколениях. Так было и с ветхозаветными пророками, которых побивал камнями народный коллектив и которые оказались выразителями религиозной судьбы Израиля. Священническая стихия в религии означает сакраментальное освящение жизни народного коллектива через его выразителя священника. Пророческая стихия в религии означает не освящение жизни, а реальное изменение жизни, преображение жизни, напряженное искание Царства Божьего и Второго Пришествия. Сакраментализм есть консервативное начало в религии, профетизм есть начало обращенное к будущему, творческое начало. Оба начала вечно присущи христианству и должны восполнять друг друга. Сакраментализм, освящающий жизнь, но боящийся изменения жизни, легко склоняется к отрицанию профетизма и готов признать себя единственным началом подлинной церковности. Отсюда духовная борьба внутри христианского мира, которая не прекратится до конца времени, до Второго Пришествия. Профетическое начало есть вечное начало и есть люди профетического духа, хотя это совсем еще не значит, что они мнят себя пророками, подобными Исаие, Иеремии и Иезекеилу. Путь профетический есть путь к миру и человечеству, обличение зла мира и изживание судеб народа и человечества, это не есть путь отрешенности от мира, не есть путь индивидуальной святости или во всяком случае путь иной святости. Тип профетический не есть путь святости и его значение не измеряется степенью святости. Это есть об'ективная истина, подтверждаемая историей религиозной жизни человечества. Лютер, независимо от оценки его дела, должен быть причислен к профетическому типу и он чужд святости. Профетизм есть установка реформаторская, а не охранительная. Это различие очень важно усвоить, чтобы понять характер русских духовных течений. Исключительно охранительное, сакраментальное, священническое православие должно было быть враждебно течениям русской религиозной мысли ввиду их профетического, реформаторского, эсхатологического характера. Для консервативного, исключительно священнического, враждебного профетизму православия все течение русской религиозной мысли должно было представляться в лучшем случае лишь полуцерковным, приближающимся к церкви и подготовляющим к церковной жизни тех, которые от церкви отпали, а в худшем — еретическим, не православным, вольнодумным. Церковный консерватизм и сакраментализм живут стихией авторитета и движутся пафосом ортодоксии, они выражают природу коллектива. Религиозный профетизм всегда реформаторский, живет стихией свободы и движется пафосом истины и правды, понимает христианство как задание, а не только как данность. Православие хранило истину и в этом его ве-

ликая правда, но не достаточно раскрывало ее и недостаточно реализовало ее в жизни. Требование дальнейшего раскрытия православия и реализации его в жизни есть требование профетическое и оно исходило от наших творческих религиозных мыслителей. Священнический же сакраментализм имеет тенденцию к привращению христианства в религию закона.

Это — вечная тенденция, обнаруживающаяся и в язычестве и в христианстве. И только профетизм восстает против законничества и напоминает о том, что христианство есть религия благодати, свободы и любви, есть весть о наступлении Царства Божьего. Отсюда вытекает совсем иное понимание русской религиозной мысли, чем то, которое свойственно реакционному православию нашего времени. Русская религиозная мысль не приближалась к церкви и церковной жизни, а была творческим движением внутри церкви, обогащением и восполнением церковной жизни, новой проблематикой в церкви. Смешно и жалко противопоставлять этой проблематике приходское православие, бытовую церковность. Католики возвращаются к Өоме Аквинату для борьбы с новыми течениями, но у нас не было Өомы Аквината к которому можно было бы вернуться. Если современное православное поколение не хочет задумываться над этой проблематикой и не хочет делать духовных усилий для ее разрешения, то она останется обращенной к поколениям грядущим. Можно критически относиться ко многим идеям Вл. Соловьева,—я, например, совсем не разделяю его теократической утопии, его склонности к внешним униям, его рационалистической манеры философствовать *)—но смешно и жалко противополагать проблематике Вл. Соловьева, движимой профетическим духом, бытовую церковность «Догматику» Митрополита Макария (кстати сказать гораздо более близкую по духу своему католической схоластике, чем свободная теософия Вл. Соловьева, вдохновленная Я. Беме, Фр. Баадером и Шеллингом) и коллективный папизм епископов, никогда не умевших защищать достоинства православия. Вл. Соловьев очень сложен и многосоставен. И теперь часто забывают, что у него был огромный моральный пафос, связанный с требованием осуществления христианской правды в жизни, реального, а не условно-риторического осуществления. Христианство Вл. Соловьева есть христианство после опыта новой истории, которого не хочет знать казенно-бытовое православие, и в этом огромный смысл его явления.

*) В моем личном духовном и умственном развитии Вл. Соловьев играл сравнительно небольшую роль, гораздо больше значения имел не только Достоевский, но и Хомяков и Несмелов, а из западных источников Вл. Соловьева — более всего Я. Беме.

Часть II

I

Вопреки мнению славянофилов об органическом характере русской истории, нужно решительно сказать, что именно для русской истории характерны расколы, которых в такой форме не знает история западно-европейских народов. До Петра у нас возник религиозный раскол старообрядчества, который имел очень серьезные последствия в русской истории. После реформы Петра весь петровский период русской истории характеризуется глубоким расколом между верхним культурным слоем и народом, а в XIX веке — между интеллигенцией и народом, между властью и обществом. Русское народничество было бессильной попыткой интеллигенции приблизиться к народу и слиться с ним. Народ представлялся тайной, еще немой, не сказавшей своего слова стихией, в которой скрыта великая правда, для народничества религиозного — Бог, истинная вера, для народничества безрелигиозного — правда социальная, истинный социализм. Народничество и было выражением беспочвенности исторической русской интеллигенции. Интеллигенция не чувствовала себя органической частью народа, не сознавала себя народом и потому народ сделался для нее предметом культа. Правда народнической интеллигенции, начиная с Радищева, была в ее борьбе против крепостного права. Революционная интеллигенция искала социальной правды. Эта интеллигенция превратилась у нас в секту, выдвинувшую своих подвижников и героев. Эта интеллигенция хотела опереться на народ понятый, главным образом, как крестьянство, но от народа, от народных верований и упований она была далека и народом отрицалась. Поэтому она была раздавлена после убийства Александра II, — факта рокового, и началось реакционное царствование Александра III. Лишь во второй половине 90 г.г. началось новое революционное возбуждение в русском обществе, возникло революционное движение, которое привело к маленькой революции 1905 г., а потом к большой революции 1917 г. В конце XIX века русская интеллигенция переживает очень серьезный и чреватый последствиями кризис в марксизме. Факт возникновения русского марксизма не получил еще надлежащей оценки. Между тем как русский марксизм был одним из путей преодоления беспочвенности руской интеллигенции, ее политического бессилия. Это представляется на первый взгляд пародоксом. Народничество было своеобразной русской идеологией и оно было выражением беспочвенности. Марксизм же был идеологией, заимствованной из Западной Европы, и он обрел почву и силу, которые сулили ему победу в револю-

ции, сокрушившей императорскую Россию. В русской революции оказалось господствующим течение, вышедшее из недр русского марксизма, а не народничества. Русское народничество было утопично и романтично, русский марксизм был социальным и политическим реализмом. Марксизм разложил самую идею «народа» на социальные классы противоположных интересов и сделал невозможным мечтательное отношение к народу. Для поколения русских марксистов произошел двойной процесс. С одной стороны произошло освобождение политики от утопических и романтических элементов, которые в старом народничестве приводили к тому, что вся духовная энергия уходила на мечтательную политику, порабощая ей всю духовную культуру. Революционизм народнической интеллигенции был их религией, их философией, их искусством, их моралью, ни для чего не оставляя свободного места. С другой стороны социально-политический реализм марксизма способствовал освобождению духовного творчества, духовной культуры от исключительной власти политика, от социального утилитаризма. Поэтому получался такой парадоксальный результат, что марксизм, материалистический по своему духу, привел к повышению умственной культуры в русской интеллигенции и из недр его вышло идеалистическое движение. Марксизм был более интеллектуален и ориентирован к об'ективному, народничество же было эмоционально и ориентировано к суб'ективному.

В последние годы прошлого века часть русской интеллигенции пережила не только марксизм (правда в критической, а не ортодоксальной форме), но и большой духовный под'ем, духовный кризис, обративший к реальности духовной жизни и творчеству духовных ценностей. Центр тяжести жизни был перенесен в иной мир. Раскрылся новый мир, чуждый традиционному сознанию русской интеллигенции, мир безкорыстной истины, безкорыстной красоты, мир духовной свободы, не подчиненный социальному детерминизму и утилитаризму. В этом течении произошло освобождение от исключительной подавленности социальной и политической проблемой, которая характерна была для старой русской интеллигенции. Реалистическое мышление о социальных и политических процессах, об'ективный метод в понимании социальной жизни способствовали освобождению духа. Революционизм, социализм перестали быть религией. Запросы духа получили самостоятельное значение и творчество духовных ценностей предстало как самостоятельная цель. Было преодолено интеллигентское революционное сектантство. Духовные и умственные движения, русские и мировые, раскрылись в своем самостоятельном значении, они перестали оцениватся с точки зрения интеллигентского сектантства. Кант и Нитце, Достоевский и Л. Толстой влияли не меньше, чем Маркс. Я говорю сейчас не о русском марксизмѣ, в его целом, а о культурном русском марксизме конца прошлого века, из недр которого

вышло идеалистическое течение. На ряду с этим были круги русского марксизма, которые породили из своих недр большевизм XX века, т. е. целиком ушли в дело революции, для которой нашли реальный базис. Русский марксизм, парадоксально перешедший в идеализм, обозначал собой перелом в истории русских умственных и общественных течений. Начался новый век, чреватый бурными движениями и катастрофами. Именно из русского марксизма вышли люди свободного духа, не связанные путами никакого староверия, открытые для духовных веяний. Эти люди порвали с традициями революционного интеллигентского староверия и свободно могли искать связей с более глубокими и древними традициями. Им суждено было вынести на своих плечах трудную и тяжелую борьбу с господствующим миросозерцанием и в более широких масштабах пользуясь новыми методами, делать теже дела, которые делали русские религиозные мыслители XIX века, оставаясь гласом вопиющим в пустыне. Нашумевший в свое время сборник «Проблема идеализма», в котором бывшие марксисты, С. Булгаков, П. Струве, С. Франк, Б. Костяковский, пишущий эти строки, соединись с людьми, вышедшими из иного мира—с кн. С. и К. Трубецкими, с П. Новгородцевым, обозначил один из этапов в идеалистическом течении, еще не зрелом и находившемся в переходном состоянии. Русский идеализм, вышедший, из марксизма стал одним из существенных элементов духовного движения начала XX века, которое делалось все боле и более христианским и православным. Но это был элемент не единственный, в это движение вошли и совсем другие элементы, которые его очень усложнили.

Кризис русской интеллигенции в конце прошлого века произошел также в художественном и литературном движении. Происходило освобождение искусства и эстетики от гнета социального утилитаризма и утопизма. Творческая активность в этой области освободилась от обязанности служить делу социальной и политической революции и революционность была перенесена внутрь искусства. Образовались новые течения в искусстве, готовился расцвет русской поэзии, который характеризует начало XX века. Появился русский эстетизм и русский символизм. Русский эстетический ренессанс вошел другим элементом в русское духовное движение начала XX века и он не только усложнил это движение, но и внес в него черты упадочности. Эстетизм по природе своей склонен жить отражениями, а не первичными реальностями и потому ведет к декадансу. Этот декаданс и начал обнаруживаться в нашем верхнем культурном слое. Русское эстетическое и художественное движение скоро в известной своей части обнаружило склонность к религиозным исканиям и мистике. Мистикой тут оказалась искусство Достоевского и символическая поэзия Вл. Соловьева. Но религия и мистика получили слишком литературный характер и потому не первично-жизнен-

ный, а вторично-отраженный. Русский символизм был очень ценным явлением русской культуры, но вокруг него накопилось много лжи.*) Самые замечательные поэты этой эпохи, наиболее смешавшие свою поэзию с мистикой оказались духовно незащищенными от соблазнов большевизма. Когда наступил самый серьезный час жизни, час избрания, когда свободная игра стала уже невозможной, они растерялись и начали приспособляться к торжествующей стихии. Самый большой поэт эпохи А. Блок принял большевицкую революцию за Прекрасную Даму. Это было лишь одно из многих обманных явлений Прекрасной Дамы, но за этот обман Блок тяжело расплатился. Люди, поверившие в Софию, но не поверившие в Христа, не могли различить реальностей. Пансофианство, отожествляющееся с пантеизмом, совсем ведь не благоприятно ни для каких различений.**) И все таки нужно признать, что религиозно-мистическое беспокойство русских символистов заключало в себе праведную тоску по преображенному космосу, т. е. по красоте.

На ряду с кризисом в художественном и литературном движении русская интеллигенция верхнего слоя пережила также кризис религиозный. Пробудилось религиозное волнение внутри русской культуры, остро стала проблема о религиозном смысле культуры и религиозном ее оправдании. Ведь в православии вопрос этот никогда не был определенно решен. Это течение выразилось в Петербургских религиозно-философских собраниях, в которых представители русской культуры встретились с представителями церковной иерархии, и в журнале «Новый Путь». Для деятелей культуры прежде всего стоял вопрос об отношении христианства к язычеству, к языческому ренессансу. На проблематику этого течения оказал огромное влияние В. В. Розанов, гениальный вопрошатель и критик христианства. В течении этом ставились также темы, выдвинутые раньше в великой русской литературе, у Гоголя, Достоевского и Л. Толстого. Но значительности поставленных проблем не соответствовала религиозная сила в их разрешении. И наиболее видные деятели этого течения, имевшие несомненное значение в начале века, как например Д. С. Мережковский, впоследствии отошли от основного русла нашего религиозного движения, слишком остались в литературе и в нереальной политике. Но отсюда вошел третий элемент в духовное движение XX века, связанный довольно тесно со вторым. Опытом соединения разных элементов был журнал «Вопросы жизни». Н а и б о л е е з н а ч и т е л ь н ы м

*) «Символизм» есть именно в искусстве конца XIX и начала XX века, но символизм есть также вечное начало в искусстве и в известном смысле всякое подлинное искусство символично. Я говорю и о ложном идеологическом символизме, и об истинном реалистическом символизме.

**) Я имею здесь ввиду не богословское софианство о. П. Флоренского и о. С. Булгакова, а поэтическое софианство А. Блока, А. Белого и др.

фактом нужно признать, что с известного момента духовное брожение XX века, проявленное в разнообразных формах, вернулось к основной традиции русской религиозной мысли XIX века, — к Хомякову, к Достоевскому, к Вл. Соловьеву, открыло таких забытых религиозных мыслителей, как Бухарев, и совсем еще не оцененных, как Н. Федоров и В. Несмелов. И наиболее это произошло в том течении, которое вышло из марксизма, и прошло через идеализм. Таким образом выпрямилась основная линия русской религиозной мысли. Возникло течение, которое принято неточно называть религиозно-философским. В нем произошел возврат в церковь. С ним связано создание религиозно-филофофских обществ в центрах нашей культуры и довольно продуктивная литературная и издательская деятельность. В первую четверть XX века мы пережили русский философский ренессанс и особенное развитие религиозной философии, которая представляет несомненный творческий вклад не только в русскую, но и в европейскую мысль и ныне очень интересует европейское сознание, особенно германское. Мы вернули свой долг германской мысли, которая ныне идет за онтологизмом русской философии. В России XX века появилось больше оригинальных философских трудов чем за весь XIX век. И проблематика, заключенная в русской религиозной философии, была глубже и острее, чем проблематика европейской религиозной мысли XIX и XX века, католической и протестантской. Эта проблематика очень, конечно, связана с Достоевским и Вл. Соловьевым. Но можно ли сказать, что русская религиозно-философская мысль XX века является эпигонской по отношению к великим писателям и мыслителям предшествующего века? Я думаю, что это неверно, и мнение это свидетельствует о недостаточном проникновении в нашу религиозную мысль XIX и XX века. Прежде всего нужно помнить, что между мыслителями XIX века и мыслителями XX века лежит новый пережитый опыт, который нельзя назвать иначе, чем катастрофическим. Была пережита революция в духе, была пережита революция в истории (малая революция 1905 г. уже многое принципиально выяснившая), был пережит Маркс, был пережит Ницше, пережит символизм, разрушены иллюзии священной монархии и православного быта, достигла последнего обострения религиозная проблема свободы и в небывшей еще форме поставлена религиозная проблема творчества и космического преображения. Выражение новое религиозное сознание» подверглось опошлению и стало затасканным в известных кругах, но оно выражает подлинное духовное событие и подлинное состояние сознания. Движение произошло к православию и к Церкви, но оно означает

внутри православия и Церкви новое сознание, предчувствие нобой творческой религиозной эпохи. Теократические иллюзии Вл. Соловьева были преодолены русской мыслью начала XX века и эсхатологизм принял совершенно новые формы. Также преодолена была «достоевщина», кончалась эпоха психологизма, но проблематика Достоевского осталась в силе и развивалась. Религиозно-философская и богословская мысль начала века нанесла удары рационализму и номинализму школьно-казенного богословия, от которых оно не сможет уже оправиться. Была восстановлена утерянная традиция платонизма. У нас выработалась совершенно свободная теория религиозного познания, отличная и от схоластики и от кантианства. Русская религиозная мысль означает конец процесса обезбоженья и унижения человека и космоса в рационалистическом теизме казенного образца и начало нового религиозного процесса, в котором человек и мир наполняются изнутри истины о богочеловечестве.

Бесспорны и явственны слабые стороны движения. Оно осталось в замкнутом и узком кругу. В него проникли некоторые элементы упадочничества, стилизованного архаизма, александризма и бессильного эстетизма. Это приходится сказать и про такого необычайно талантливого и интересного мыслителя, как о. П. Флоренский*). Влиял в этом направлении В. Иванов,— утонченнейшее явление нашей духовной культуры начала XX века. У нас образовалась дурная мода на мистику. Лиературная мистика не хотела знать той духовной дисциплины, без которой подлинная мистика невозможна. Упадочный эстетизм, сколько бы он ни прикрывался религией, и мистикой, всегда есть религиозное бессилие и жизнь в отражениях, а не реальностях, хотя бы отражениях прекрасных, увлекательных, утонченных. Не сразу даже можно понять, почему в России, в русском народе, полном непочатых сил и возможностей, могло возникнуть утонченное упадничество. Это об'яснимо лишь оторванностью верхнего культурного слоя от народной почвы. Философский и художественный ренессанс, значительность и глубина поставленных религиозных проблем не сопровождались сильным и волевым религиозным движением. Подлинного религиозного ренессанса у нас не произошло. Многим участникам этого духовного движения не хватило нравственного пафоса и нравственного характера, сильной и цельной религиозной воли. Сама сложность проблематики ослабляла цельность воли, раздваивала. Волевой активности, направленной на религиозно-социальное действие, не было обнаружено. Все были слишком поглощены происходившим духовным кризисом и внутренней духовной драмой. Те, которые наиболее были устремлены к церковности, все силы свои направили на то, чтобы делаться

*) См. мою статью о «Стояи и утверждение истины» о. П. Флоренского «Стилизованное православие» в «Рус. Мысль».

православными и боялись творчества внутри православия. Этому поколению пришлось вести тяжелую и часто неблагодарную работу критики старых миросозерцаний и переоценки ценностей. Оно победило соблазнительность атеизма для нового сознания. Это нужно всегда помнить для правильной оценки этого движения. Те, которые в готовом виде получили уже результаты этой работы, неспособны оценить дела предшествующего поколения. Это обычно так бывает. Большое симптоматическое значение в кризисе миросозерцания верхнего слоя русской интеллигенции и происходившей переоценки ценностей имел вызвавший бурю негодования со стороны интеллигентской ортодоксии сборник «Вехи». В сборнике об'единились бывшие марксисты и идеалисты, но редактировал его М. О. Гершензон. В «Вехах» были провозглашены правды, которые теперь стали несомненными и усвоены многими, которые или «Вех» не знают, или относятся к ним отрицательно. Такова прежде всего правда о примате духовного начала над внешними началами жизни, политическими и социальными, и правда об абсолютных и безусловных святынях в жизни личной и общественной. Но правда «Вех» была провозглашена слишком поздно. Роковой процесс русской жизни не мог быть остановлен. Не было в русском обществе творческой духовной силы, которая могла бы предотвратить катастрофу революции созиданием, просветлением и преображением жизни. Неизбежность революции была решена на небесах. Русское духовное движение начала XX века получило романтическую окраску. Этот романтизм порожден вековым русским расколом, поставившим наш верхний культурный слой, в котором осуществлялась религиозная мысль и духовное движение, и против старого режима, против императорской России, и против революционной России, против интеллигентской революционной воли и сознания.

II

Русская мысль и идеология верхнего культурного слоя не победили в русской революции и не имели влияния на ее ход. Русская революция стала под знак совсем иной идеологии, уже выветрившейся и разложившейся на верхах нашей умственной культуры, под знак революционного и материалистического марксизма. Идеи которые потерпели поражение в творческой мысли, в духовно более «передовом» сознании, победили в стихии революции, в массовом движении. За последние 15 лет перед революцией 17 года нашу творческую мысль, наше сознание, направленное к духовному творчеству, интересовали Достоевский, Л. Толстой, Вл. Соловьев, Кант, Шеллинг и Ницше, мистика и символизм, но совсем не интересовали Чернышевский, Плеханов, Маркс, Ленин, Энгельс, и Каутский, экономический материализм

и материалистический социализм. В революции победили идеи вульгаризованного марксизма, сильно пониженного в своем умственном и культурно уровне по сравнению с марксизмом конца прошлого века. Либеральные демократические идеи не могли иметь никакой власти над русской революцией и были не нужны и чужды народу, одержимому стихией революци это были интеллигентские и буржуазные идеи, никогда не обладавшие России творческой силой и оригинальностью. Идеи же национально-рел гиозные и философские, течение духовной культуры более высокого качест оставались замкнутыми в узком кругу, неспособном влиять на народн движение. Полу-интеллигенция, которой ведомо было лишь полу-просв щение, была увлечена идеями, которые представлялись жалкими и разл жившимися интеллигенции культурной и подлинно просвещенной. Русска революция произошла при очень разном возрасте и разном уровне сознан в русском обществе и народе, после долгого раскола и образования безд между верхним и нижним слоем. И в революции провалился в разверзшу ся бездну народной стихии и высший культурный слой и средняя интел генция. Русская интеллигенция в течение столетия мечтала о революции готовила ее, она боготворила народ и ждала часа, когда народ будет опр делять судьбы России, наивно веря, что это будет часом ее торжества. Н час революции оказался часом исторической смерти русской интеллигенци концом для ее психического уклада и миросозерцания. И нет ничего бол жалкого и смешного, как до сих пор поддерживаемый «левой» интеллигенци миф о святости февральской революции в отличие от мерзости революц октябрьской. В действительности есть одна революция в разных ее стади и революция октябрьская и есть настоящая народная революция в ее полн проявлении. Русская революция удалась, вопреки преобладающему мнени в том единственном смысле, в каком удаются все большие революции. Она осуществила никаких высоких идей свободы, равенства и братства, не ос ществила той социальной правды, которой так страстно искали русск люди, и религиозные и не религиозные. Этого не осуществляет ни од революция. Революция есть геологический процесс и катастрофическое п редвижение пластов земли, смена социальных групп и классов, возвышен и приход к господству тех социальных слоев, которые были внизу, и н вержение и вытеснение из первых рядов жизни тех, которые были наверх В этом отношении русская революция вполне удалась. Она призвала господству в жизни, к строительству жизни народные слои, которые бы угнетены, не были приобщены к культуре и не играли роли в жизни гос дарства. Это есть процесс неотвратимый, я бы сказал космический. Его нел зя остановить, нельзя отрицать и лишь безумцы могут думать, что возмож возврат к старому соотношению социальных слоев и групп. В русской р

волюции рождается новая народная Россия, рождается в муках и преступлениях. Коммунизм есть преходящий и вторичный момент в этом процессе и он пытался привить свою антихристову идею темной народной стихии. Народный слой, выдвинутый геологическим переворотом в первые ряды жизни, принес с собой новый психический уклад, новую структуру души. В русской революции, как я не раз уже писал, образовался новый антропологический тип, не похожий ни на старый тип интеллигенции, ни на старый тип из народа. В типе этом есть своеобразный русский американизм, огромная энергия, воля к власти и строительству жизни, есть похоть жизни и больное любопытство к жизни, есть своеобразная цельность и отсутствие раздвоенности, культурная упрощенность, элементарность. В этом новом типе и новом слое кончается эпоха психологической утонченности, направленной на проблематику, эпоха усложнения суб'ективного мира. Так ныне говорят. Но забывают, что и в старом типе русской интеллигенции не было психологической утонченности и не происходило творческой работы мысли над проблемами философскими и религиозными. Нигилизм 60 годов остался неопределенным элементом старого типа интеллигенции. В России, в сущности, никогда не ценили творческой мысли и непонятно даже возникновение реакции против направления мысли, которое никогда не имело широкого успеха и влияния. Старая интеллигенция была создана самодержавием и она кончается с падением самодержавия. Образуется новая народная интеллигенция или полу-интеллигенция, реалистическая по своему складу, которой чужда и старая романтически-революционная интеллигенция и старый утонченно культурный наш слой. В этом новом народном слое, которому предстоит играть определяющую роль в государственном и хозяйственном строительстве России, происходит перерыв культурной традиции и варваризация русской культуры. Удивление и возмущение по поводу этой варваризации странно и не может быть оправдано. Такого рода варваризация есть неотвратимый процесс космического характера. И процесс этот имеет и свои положительные и свои отрицательные стороны. Потенции жизни требуют актуализации. Темная народная стихия с заключенными в ней противоположными возможностями не может быть расстреляна, она должна быть просветлена и подчинена высшим духовным началам.

Пореволюционное поколение с новым душевным укладом, выработанным в войне и революции, неизбежно несет с собой реакцию против всего дореволюционного прошлого, против всех идейных и духовных течений предшествующих революции. Дети обычно истребляют отцов, таков закон нашей греховной жизни во времени. Но в пореволюционном народном слое появились дети, не знающие своих отцов, — отцы их остались скрытыми в темной народой стихии. Эти дети не изменили никакой культурной традиции,

ибо ее не имеют и не знают. Брюзжание поколения отцов по поводу роково смены поколений и образования нового психического уклада производи жалкое и бессильное впечатление. Вновь нарождающейся жизни, со всем ее опасностями, нельзя противопоставлять старые идеи и настроения Росси господской и России интеллигентской. Интеллигентские стремления те ряют смысл в новой пореволюционной России. В ней нет уже ни старо императорской России, дворянской, чиновничей, купеческой, мужицкой ни старой революционной России, интеллигентской, разночинной в дореволю ционном смысле слова. Более нет ни «интеллигенции», ни «народа», нет основ ной темы русского народничества XIX века. В 60 года прошлого века в ма лом размере происходил процесс прихода разночинца, который понизи уровень русской духовной культуры, породил русский нигилизм, выдвину своих идеологов, подобных Чернышевскому и др. Этот слой разночинцев слившись с кающимися дворянами, кристализовался в тип революционно интеллигенции, проявлявшей большую жертвоспособность, но очень мал реалистической по своему укладу. Теперь аналогичный процесс происходи в грандиозных размерах при совершенно новых условиях и он приведет кристализации совершенно новой народной интеллигенции, не революцион ной в старом смысле слова и не противополагающей уже себя народу. В на родной интеллигенции не будет уже «лишних людей» и в ней будет ориенти ровка на «об'ективное», а не на «суб'ективное». Интеллигенция в старо смысле кончилась, ее безпочвенность и ее противоположение народу преодо лены. И мы можем сейчас оценить черты героизма и жертвенност старой революционной интеллигенции. Слой прошедший через ком мунизм в известной своей части вернется к православию и в не укрепится национальное сознание. Но остается на веки веков духовна аристократия, избранные личности, противостоящие народному кол лективу. Вопрошения духовной аристократии не могут быть отменены ни какими революциями и никакими реакциями в мире. Платон или Я. Бе остаются в силе и до наших дней и на долгие века останется в силе Достоев ский. Россия и весь мир переходят к коллективистической эпохе, которую я называю «новым средневековьем», индивидуализм новой истории кончен Но и в старом средневековье, не знавшем индивидуализма, была духовна аристократия, были изрбанные личности, носители высшей культуры духа было и «одиночество», как явление «индивидуальное», хотя и не было «одино чества», как явления «социального». С этим связана особая проблема, вы винутая русской революцией.

Духовная культура по природе своей аристократична и иерархична И потому вопрос об охранении и творчестве русской духовной культуры о верности традициям русской религиозной мысли остается в силе и пр

овом перераспределении социальных сил, при новой роли массового коллектива. Вопрос этот еще более обостряется в наше время и требует огромных духовных усилий от сохранившегося культурного слоя. Русские религиозные идеи и упования не теряют своего значения от смены поколений. Пора перестать смотреть на все с точки зрения смены десятилетий, как это обычно бывало в России. На многое нужно смотреть с точки зрения вечности. Дело Вл. Соловьева не умалится от того, что новое поколение перестанет им интересоваться и его любить. Русские религиозные мыслители привыкли к одиночеству и в прошлом. Поклонение же смертоносному потоку времени есть идолопоклонство и ложь. Наши религиозные упования могут быть обращены к грядущему через головы современных и ближайших поколений. Есть основание думать, что поколение, выросшее на войне и революции, будет захвачено религиозно-церковной реакцией, что ему будет чужда религиозная проблематика. Старообрядческое и приходское православие будут стоять выше религиозного движения XIX и XX века, как более цельное. Богословие Митрополита Макария будет более ценится, чем богословие Хомякова, Бухарева, Вл. Соловьева и им подобным. Спрос будет главным образом на аскетическую святоотеческую литературу. Ложь и низость церковных реформ в советской России вызовет вражду ко всякому церковному реформизму. Мы вступаем в эпоху не только варваризации, но и духовной реакции обскурантизма который будет иметь и свое правое и свое левое выражение. Это очень понятно и связано с некоторым законом. Но поколение, охваченное эмоциональной реакцией, не может судить о значении проблем, поставленных поколениями предшествующими. Оно не может быть об'ективным, опыт его суженный и специфический. Это есть поколение или комсомольское, атеистически-материалистическое, или поколение церковно реакционное, старообрядческое, склонное к пафосу формальной ортодоксии и к обличению ересей,— две формы опрощения и нигилистического понижения уровня духовной культуры. Повторяю, духовная культура, религиозно-философская мысль — аристократичны, ныне же в разных формах происходит процесс демократизации. Наступают времена, когда из хаоса должен образоваться новый космос, а это всегда предполагает создание духовной аристократии. Демократия есть лишь один из путей к аристократии. Идущий на мир коллективизм несет с собой величайшие опасности. Механический коллектив, отрицающий человеческую личность, человеческий образ, есть царство антихриста, он торжествует в коммунизме. И предстоит трудная и долгая борьба против механического коллективизма во имя духа, во имя человека, во имя свободы. Эта борьба не может означать возврата к индивидуалистической эпохе. Она должна вестись во имя религиозного коллектива, в котором утверждается и дух, и человек, и свобода. Профетизм русской религиозной мысли будет иметь

огромное значение в этой духовной борьбе. То, что раскрывается в личностях профетического типа, может казаться чуждым массам. Русские всегда были склонны отрицать истинный иерархизм, т. е. значение высшего для низшего. Иерархическое строение человеческого общества и культуры и означает, что происходящее в верхнем иерархическом слое имеет значение для того, что происходит в низшем слое, хотя бы это значение было неприметно и не осознано. Органическая эпоха старого средневековья была иерархична и предполагала не только существование иерархии церковной и государственной, но и иерархии духа. Так должно быть и в эпоху нового средневековья, без чего оно превратится в антихристов механический коллективизм. Романтизм небольших культурных групп кончился и наступает эпоха религиозного реализма (не классицизма), ориентированного на об'ективных духовных реальностях. Христианство вступает в эпоху новой духовности, которая и будет эпохой подлинных реализаций. Наряду с этим растет поколение, которое интересуется главным образом техникой и внешними условиями жизни. Но интересы масс никогда не были и не будут критерием истины. В жизни человеческих масс искание Царства Божьего всегда перемешивалось с исканием царства князя мира сего. Но все силы нашего духа должны быть направлены на искание Царства Божьего, на различение духов. Этому исканию и этому различению помогает профетический дух русской религиозной мысли.

Николай Бердяев

Ю ПОВОДУ ДВУХ ПОСЛЕДУЮЩИХ СТАТЕЙ И ПИСЬМА А. З. ШТЕЙНБЕРГА

. В настоящее время в русском сознании целый ряд проблем еремещается в новую плоскость и получает новую постановку новое освещение. К числу их принадлежит и *еврейская роблема*. До последнего времени она или понималась, ак проблема *расовая*, или совершенно исчезала из поля рения. Она исчезала, поскольку еврейский вопрос сводили к опросу о политическом равноправии евреев, т. к. очевидно, то равноправие евреев в еврейской проблеме, как таковой, имет лишь производное значение, поскольку в борьбе с ним отражается отдельность евреев от других народов. Что же касается о *расового* истолкования проблемы, сменившего прежнее елигиозное ее понимание, то оно все более и более отходит в рошлое и по нынешним временам представляется в высокой тепени бесплодным и устаревшим.

Русская современность выдвигает в еврейской проблеме *ри главных средоточия*.

В связи с оживлением религиозной *метафизики*, у христиан и *у самих евреев* возродилось сознание елигиозно-метафизического значения, присущего и еврейству еврейской истории. И невозможно ныне ставить еврейскую роблему, минуя эту категорию.

Вторым средоточием еврейской проблемы в ее постаювке русскою современностью является *историософкая* сторона. Сознавая себя на грани нового исторического цикла, не частно-европейского, а общечеловеческого, присутствуя при крушении старых и нарождении новых культур, аходясь в процессе Русской революции, у одного из главных оча-

гов нового, — мы не можем уже не ставить вопросов об отношении еврейства к истории и ее идеалам и о возможном и действительном месте его в историческом процессе и, в частности, в русском историческом процессе. Полагаем, что так же должны думать и вникающие в смысл происходящего евреи.

Наконец, если переживаемая нами эпоха впервые со всею остротой не только ставит, но и осознает проблему социальную, — и еврейский вопрос обнаруживает третье свое, «социальное» средоточие.

Антисемитизм уже давно пользовался «расовыми» аргументами только по инерции и недостаточной своей сознательности; или — как прикрытием и мотивом своих социальных тенденций. Еврейство фактически стало социальною категорией и «жид» — синонимом или капиталиста или революционера-интернационалиста. И опять таки невозможно устранить эту сторону вопроса; более того — ее жизненно необходимо выдвинуть и поставить со всею остротой и с полнотой, которая бы позволяла учитывать и еврейство, не характеризуемое указанными двумя социальными категориями.

Наша задача отнюдь не в исчерпывающем и окончательном решении еврейского вопроса: было бы странно притязать на что либо подобное. Но мы считаем необходимым этот вопрос поставить и, пренебрегая вредным, более всего для самих евреев вредным его замалчиванием и болезненною гипертрофиею некоторых, сосредоточить на нем подобающее ему внимание.

Редакция

РОССИЯ И ЕВРЕИ

I

Довольно затруднительно упомянуть в заглавии о евреях и не встретиться обвинением в антисемитизме, притом — сразу с двух сторон: со стороны вреев и со стороны русских. В самом деле, среди разорвавших или надорвавших свою связь с еврейством, как религиозно-культурным целым, евреев, реди евреев ассимилирующихся и ассимилируемых мы наталкиваемся на резвычайно обостренное и болезненное чувство стыда за свое врейское происхождение. Конечно, они сами будут это ешительно отвергать, но факта опровергнуть нельзя, хотя бы и не все хоели его видеть. Мне стыдно за стыдящихся своего еврейства евреев, как олжно быть стыдно за них и всякому хорошему еврею: но тут ничего не оделаешь. По человечеству надо войти в их положение, т. е. в положение тыдящихся своего еврейского происхождения.

Они ассимилируются, хотя и не до конца, т. е. е сливаясь всецело с окружающею их национальною культурою и не становясь ее органическими клетками. Они оставляют и даже отвергают свою режнюю еврейскую культуру ради культуры «общечеловеческой». Само обой разумеется, что есть евреи-ассимилированные и вполне, т. е. пере-одившиеся из евреев во французов, немцев, русских всецело и до онца. Таких евреев нельзя уже и называть евреями, хотя бы они и носили врейские фамилии и отличались еврейскими чертами своей внешности, и не них я сейчас говорю. В применении к ним не может и не должно ыть никакого «еврейского вопроса». Но этот тип сравнительно редок и сушествование его связано с большими трудностями *). Мы же говорим о дру-

*) Одним из существенных признаков такого вполне ассимилированного еврея служит искренее принятие им другой религии. религиозной точки зрения для настоящего еврея принятие м христианства не может быть только индивидуальным. Ведь это начит, что пришел обетованный прежде всего еврей-

гом *типе* (именно о *типе*, а не о евреях индивидуумах и не о какой то совокупности их, ибо индивидуум всегда выражает тип «более или менее», может выражать в себе, разнообразно сливая их, разные типы и тип не может быть отожествляем с определимою внешне группою), о типе не до конца ассимилирующегося еврея, *ассимилирующегося, не ассимилированного*, о типе «еврея на перепутье».

Ассимилирующийся еврей должен более или менее отчетливо сознавать, что есть некоторое внутреннее противоречие в замене ралигиозно-национальной культуры еврейства какою нибудь ограниченно-национальною культурою, которая чаще всего не обладает свойственною еврейству идеею универсализма, особой пред'избранности, первенствующего положения среди народов мира, миссианства и мессианства. Он может обмануться и принять внешний размах и силу, империализм или капитализм, данной национальной культуры за ее универсальное значение. Но по существу он остается чуждым всему частному и национально-ограниченному и отрицает все национальное, именно как ограниченное и частное. Перестать быть евреем для того, чтобы стать французом, немцем или русским, значит *для него* променять, подобно Исаву, первородство на чечевичную похлебку. И как сочетать отказ от исключительного значения еврейского народа с признанием того, что пришел Мессия, который должен придти прежде всего для народа еврейского? Преодолеть родное еврейство и стать националистом в среде другого народа, отвергнуть еврейского Мессию и признать Мессию пришедшего для других... да, это ужаснейшая, не находящая своего катарсиса (разрешения) трагедия. Уж лучше о ней не думать, лучше чем нибудь ее заглушить! Она и действительно заглушается, если еврейство променивается на «общечеловеческую» культуру и еврейская религия — на религию универсальную. К несчастью, понятия «общечеловеческого» и «универсального» в этом случае являются понятиями мнимыми и даже *не соответствующими* универсализму исконного, подлинного еврейства.

Вот почему ассимилирующийся и отрывающийся от своего народа еврей неизбежно становится *абстрактным космополитом*. Он

скому народу Мессия и что пришел он не для отдельных индивидуумов, а для всего еврейского народа. Потому обращающийся в христианство еврей должен остаться обращенным к своему народу, как к нему посылаемый Христом ученик и апостол. Он должен уве-вать в еврейскую христианскую церковь, а не растворяться в «эллинской» (Слова ап. Павла Гал. 3, 27, см. дальше — обычно толкуются неправильно: национально-культурных особенностей и ценности их ап. Павел не отвергал). Конечно, есть еще и евреи, лишь «случайно» рожденные в еврействе, а по существу природные христиане. Для них мыслим и естественен даже только индивидуальный переход. — Аналогичным образом надо понимать и чисто-культурный переход еврея от еврейской культуры к одной из христианских.

не находит себе места ни в одном народе, и остается в пространстве между нациями, интернационалист. Он исповедует не национальные идеалы, которые кажутся ему ограниченными и частными, но идеалы «общечеловеческие», которые вне своих национальных индивидуаций абстрактны, безжизненны и вредоносны. В политике он склоняется к идеям отвлеченного равенства и отвлеченной свободы, т. е. делается демократом, к тому же, по отсутствию связи с конкретною и потому всегда национальною действительностью и по свойству своего ума, радикальным демократом. В сфере проблем политико-социальных он превращается в социалиста, к тому же в наиболее бесстрашного по своей последовательности и наиболее систематического, т. е. в «научного» социалиста и в коммуниста. Только этим путем может он сохранить остатки своего национального еврейского универсализма и своей национальной универсалистической религии, хотя и не без существенного искажения того и другой. Нет ни малейших оснований понимать мою мысль так, будто ассимилирующийся еврей всегда и везде до конца осуществляет внутреннюю диалектику своей природы, будто он, например, обязательно делается явным и сознательным врагом всего национального. Он может допускать и признавать национальное, даже ревновать лаврам лорда Биконсфильда. Но, если он последователен, он приемлет национальное, как нечто вторичное, несущественное, как некоторую, может быть — и неизбежную, но не безусловно ценную акциденцию. Во всяком случае, он склонен понимать национальное в отрыве от религии, подставляя на ее место расу или секуляризованную культуру, государственность или что нибудь подобное. Важно, что общечеловеческая культура предносится ему не как симфоническое единство частных и национальных культур. Ведь такое единство по необходимости иерархично и первое место в нем для всякого данного момента (да и вообще) должно принадлежать какой нибудь одной национальной культуре. А легко ли еврею отречься от веры в вечное первенство культуры еврейской? Не даром же даже разорвавшие с еврейским народом евреи с особенным вниманием относятся к успехам именно евреев, говорят, часто не без высокомерия, об одаренности еврейского народа, создают репутацию ученым, литераторам, художникам из евреев. В России приходилось за годы революции встречаться с такими фактами, что еврей-христианин, резко враждебный всякой революции и всякому социализму, не мог скрыть своего удовольствия при виде талантов и успехов еврея Троцкого. Говорю не в осуждение, тем более, что и сам считаю Троцкого человеком талантливым, а в об'яснение, и не считаю нужным скрывать добросовестно и беспристрастно наблюдаемые мною факты.

Итакъ, ассимилирующийся еврей по существу своему интернациона-

листичен и абстрактен. В этом последняя связь его с еврейством, **которое само-то не интернационалистично и не абстрактно.** Порвав эту связь, он теряет свою специфичность и растворяется в мире чуждой ему культуры, иногда — становится ее живою клеточкою. Именно чужеродностью ассимилирующегося еврея всякой органической и потому национальной культуре об'ясняется тот факт, что в ней евреям принадлежат лишь вторые и третьи места. Ни в философии (за исключением может быть Спинозы), ни в науке, ни в искусстве евреям руководящей роли не принадлежало. Это не свидетельство против одаренности еврейского народа, ибо из него выходили древние пророки, в его среде появилась Библия и его гений отразился в Каббале. Но еврей, как и человек всякой другой культуры, может создавать великое и оригинальное, **только в сфере своей же культуры, а никак не в отрыве от нее.**

Интернационализм и абстрактность существенно противоречат духу всякой живой органической культуры. Они возможны, как страшные призраки, только на почве ее разложения. Они должны наталкиваться на сопротивление со стороны здоровых ее элементов тем более решительное, чем здоровее культура. (Прошу читателя не передергивать и не приписывать мне призывов к погромам). Да, ведь и сами ассимилирующиеся евреи должны быть после всего сказанного нами поняты, как продукты **разлагающейся периферии еврейской культуры.** (Говорю не «еврейской культуры», а «ее периферии», ибо самое еврейскую культуру считаю живою и органичною и умею ценить ее не менее, чем ценят ее ассимилирующиеся). Вот эта то вечная взаимная борьба, иногда глухая, иногда явная, между здоровыми элементами культуры и ассимилирующимися евреями и об'ясняет, почему такие евреи чувствуют себя всегда обиженными, угнетенными, почему они всегда насторожены и болезненно чувствительны, почему волнуются только услышав слово «еврей». Не легко вечно оставаться на вторых местах и еще чувствовать об'ективную, но часто конкретно неуловимую, враждебность к себе со стороны «акциденций» общечеловеческой культуры. Тут и революционером сделаешься. А еврей ассимилирующийся и без того по самой природе своей — **революционер**. Ибо он — враг органической национальной культуры, которая ему мешает и его теснит, и естественный союзник разлагающих ее «революционных» процессов. Ибо он еще сохранил в себе пламенный, устремленный к последнему и абсолютному, ни перед чем не останавливающийся религиозный порыв еврейского народа, закованную в алмазные цепи тончайшей силлогистики расплавленную стихию. Принято об'яснять революционность рассматриваемого типа евреев внешними условиями: гонениями, ограничениями, погро-

мами и т. д. Но все это лишь следствия и внешние оказательства указываемого нами основного факта.

Начав с об'яснения, почему заглавие нашей статьи подозрительно для многих евреев, мы не об'яснили еще, почему оно подозрительно и для многих русских. Почему и им употребление слова «еврей» часто кажется признаком «антисемитизма»? почему и их оно, во всяком случае, настораживает? — Русский человек живет под ужасным гнетом впечатлений от активного, грубого и чревного антисемитизма, который нашел себе достаточно отвратительное выражение и в погромах, и в «кровавом навете», и в атмосфере мероприятий и в самих мероприятиях старого русского правительства. Правда, волна антисемитизма началась не в центре России, а в сфере, либо входившей в пределы католической Польши, либо католически-польскими влияниями обусловленной. Но это — плохое утешение, тем более, что любители сошлются на черту оседлости. Как бы то ни было, русский человек стеснен в свободе суждения, ибо он не в силах отделаться — и хорошо, что не в силах! — от чувства жгучего стыда за многое в нашем недавнем прошлом. Вместе с тем он более или менее смутно сознает, иногда даже в самом себе, враждебность его национальной русской стихии к еврею-космополиту и к тому же не думает, что не всякий еврей относится к этому типу. Он сознает далее второстепенное положение еврея (еврея-космополита) в развитии русской культуры, положение его, как «русского второго разряда». Чувство справедливости возмущается в нем, тем с большею силою, чѣм меньше он осмысляет факт. Это чувство делает его беззащитным перед «еврейским общественным мнением» и неспособным правильно поставить и разрешить еврейский вопрос или, вернее, еврейские в о п р о с ы.

2

Проведем прежде всего некоторые различения, выше уже намеченные. Мы различаем: 1) религиозно-национальное и религиозно-культурное еврейство, е в р е й с к и й н а р о д, который составляет одно и единое культурно-религиозное целое, несмотря на то, что рассеян и разделен по разным культурам и народам и в пределах каждой или каждого из них образует или может образовывать частное и специфическое целое, и 2) п е р и ф е р и ю е в р е й с т в а, которая, отрываясь от своего народа, своей религии и культуры, денационализируется и ассимилируется: а среди этой периферии — а) евреев, совершенно ассимилированных тою либо иною национальною культурою и ставших живыми и органическими е е индивидуациями, и б) евреев интернационалистов по существу и революционеров по природе.

Вот об этом последнем типе евреев (2 б) мы до сих пор н говорили. В отношениях к нему один из источников современного антисемитизма, по признание того, что он существует, описание отличительных его черт и попытка раскрыть его внутреннюю диалектику, даже оценка его с точки зрения религиозных и культурных ценностей являются не антисемитизмом, а научно-философскими познавательными процессами. Научное познание не может быть запрещаемо и опорочиваемо на том основании, что приходит к выводамъ, для нервозных особ неприятным. Хотя это из всего сказанного и вполне ясно, я считаю нужным настоятельно указать, что, анализируя и оценивая указанный тип, говорю не о всех типах еврея, не о «еврее вообще» и не о всех евреях. Если оценка моя оказывается неблагоприятною и неприятною, я столь же не считаю себя врагом и хулителем евреев, сколь не считаю себя врагом и хулителем русских, когда осуждаю еврейские погромы и коммунистическую чека (конечно и — всякую чека и коммунизм: к сожалению, приемы «демократической» полемики вынуждают к подобным стилистически и по существу излишним оговоркам). Ведь нельзя же, в самом деле, считать всех евреев святыми, мудрыми и духовно здоровыми.

Еще одно замечание. — Говорю я об известном социально-психологическом типе. Такой тип всегда есть некоторый идеальный синтез реальных черт, выражающий и их самих и их реальную диалектическую связь, но эмпирически воплощающийся лишь в некоторых к нему приближениях. Таким образом тип никогда не находит себе вполне адекватного выражения в каком нибудь одном индивидууме; но одни индивидуумы более или менее ясно выражают его структуру и диалектику, другие — отдельные его черты. Кроме того, он сказывается и в общих, «коллективно-социальных» тенденциях развития. Эмпирически в одном и том же индивидууме часто происходит скрещение разных типов. И конечно, в жизни дан целый ряд неуловимых переходов от религиозного еврея, как живой индивидуации еврейского народа, к еврею ассимилирующемуся и к еврею, переродившемуся в живую индивидуацию не-еврейской национальной культуры. Но это не значит, что типа нет и что он не соответствует определенной социально-психологической группе*).

Тип ассимилирующегося еврея определяется идеологиею абстрактного космополитизма или интернационализма, индивидуалистическими тенденциями в сфере политических и социальных проблем (демократизмом, социализмом, коммунизмом), активностью,

*) Теоретическое обоснование этого см. в моей «Философии истории», Берлин 1923, а опыты исторического применения в моих исторических работах.

направленною на абстрактные и предельные идеалы и не знающею границ, т. е. утопизмом и революционностью, а потому нигилистическою разрушительностью. Все эти черты, характерные, и даже часто в указанном сочетании характерные не только для еврея, у еврея специфически окрашены и индивидулизированы его «прошлым» — его происхождением и «промежуточностью». Ибо он уже не еврей, но еще и не «не-еврей», а некое промежуточное существо, «культурная амфибия», почему его одинаково обижает и то, когда его называют евреем, и то, когда его евреем не считают. (Прежде чем придираться к этой характеристике и победоносно отвергать отличие евреев интернационалистов и революционеров от интернационалистов и революционеров не еврейского происхождения, советую читателю перечитать §1, а еще лучше — дочитать статью до конца). В религиозности своей (а он не всегда явно и сознательно религиозен) ассимилирующийся еврей универсалистичен, сродствуя католичеству, и материалистичен, в материализм искажая конкретность еврейской религии. Этот тип является врагом всякой национальной органической культуры (в том числе и еврейской). Ему чужда и непонятна идея соборности, раскрываемая Православием, но укорененная в религиозном сознании еврейства («Израиль», Kahal), и ее-то он и искажает в идею абстрактного универсализма. Этот тип не опасен для здоровой культуры и в здоровой культуре не действенен. Но лишь только культура начинает заболевать или разлагаться, как он быстро просачивается в образующиеся трещины, сливается с продуктами ее распада и ферментами ее разложения, ускоряет темп процесса, специфически его окрашивает и становится уже реальною опасностью.

В XVIII-м веке европейская культура вступила в период индивидуалистического распада. Это сказалось, между прочим, в расцвете рационалистически-демократических идей (немного позже — капитализма) и утопического, сначала даже явно религиозного, социализма. Здесь именно и проявилась активность рассматриваемого нами типа. Отрываясь от еврейства, ассимилирующиеся евреи стали широкими волнами вливаться в европейскую культуру. Они сливались с европейским капиталистическим миром, его радикализируя, и, с другой стороны, с европейскими демократическими, а еще более — социалистическими течениями. Не они их вызывали к жизни, но они, в полном соответствии с тенденциями этих течений, способствовали тому, что эти течения становились все более радикальными, революционными, абстрактными и материалистическими (ибо это одно и то же, абстрактность и материализм). Так новая фаза европейского социализма связалась с еврейскими именами и еврейскими чертами. Он утратил прежнюю расплывчатость и прекраснодушие, сделавшись сложною, талмудически разрабатываемою

системою и незаконно монополизировав эпитет «научного», и, став боевою и революционною доктриною, превратился в интернациональное движение и универсалистическую абстрактную религию. Произошел осмос продуктов распада двух культур: европейской и еврейской. Какова тут доля вредного влияния со стороны каждого из элементов, сказать, разумеется, очень трудно и даже совсем невозможно без тщательных специальных изысканий. Но для них условия до сих пор крайне неблагоприятны, так как господствуют страсти и пристрастия: у одних стремление во всем обвинить евреев, у других стремление их совершенно обелить. Мы ограничиваемся констатированием общего факта, напоминая, что наша задача не в лечении нервно больных.

Вполне понятно, что ассимилирующиеся евреи сыграли свою роль, хотя отнюдь не основоположную, и во вредном для русской культуре процессе чрезмерной европеизации. К тому же и европеизм XIX в. не свободен, какъ мы видели, от влияния этих евреев. Коммунизм — только зрелый плод марксизма, освоенный и переработанный исконно русскою стихиею большевизма. Интернационализм и материализм русской коммунистической революции, ее мировой размах, ее революционный пафос слишком созвучны и соприродны основным тенденциям денационализированных евреев, чтобы не сделаться для них центрами притяжения, призывными огнями, о которых и суждено им было обжечь себе крылья. Конечно, необходимо покончить с глупою сказкою (или с новым «кровавым наветом» — все меняет свои формы, даже клевета), будто евреи выдумали и осуществили русскую революцию. Надо быть очень необразованным исторически человеком и слишком презирать русский народ, чтобы думать, будто евреи могли разрушить русское государство. — Историософия, достойная атамана Краснова, и, кажется, позаимствованная им у Дюма отца, который тоже обвинял в устройстве французской революции графа Калиостро! — Но денационализированные евреи участвовали в русской революции и участвовали в ней в силу самой природы их. Они стали отходить от нее (в лице оппозиции в обоих ее флангах) лишь теперь, вместе с переходом ее к национальной фазе.

И для Европы и для России суть дела, разумеется, не в каком то фантастическом еврейском заговоре и не в факте участия евреев, а в самих процессах разложения, охвативших европейскую культуру и европеизованную русскую государственность. Евреи оказались лишь попутчиками, сошедшими со своего перепутья. Они влились в процесс. Может быть, они даже обострили его и ускорили его темп, но, во всяком случае, значение их безмерно преувеличено. Не будь процессов разложения, они ничего бы не могли сделать. И несчастье России совсем не в денационализированном еврействе, а в тех условиях, благодаря которым и оно могло

оказаться действенным. Потому так и страшны подымающиеся в России волны нового антисемитизма, что не столько действительно вредные, сколько говорливые и суетливые попутчики революции могут оказаться искупительною жертвою. И не только они. — Разыгравшаяся стихия, поглотив их, обрушится и на еврейский народ, уже ни в чем не повинный, так же отрицающий отпавших от него, как и мы их отрицаем. И по нашему твердому убеждению, волны антисемитизма опасны не только для евреев. Они являются грозным испытанием для самого русского народа. Им надо противопоставить не только религиозно-нравственную и правовую идею, но и трезвый национальный интерес, ибо и преступление народа безнаказанным не остается.

Здесь, впрочем, мы заняты не этою практическою проблемою, а вопросом более общим, хотя с нею теснейшим образом и связанным. — Мы стоим на почве органического понимания культуры, признаем только реальные и конкретные культуры, а общечеловеческую понимаем как реально-конкретное и соборное единство (многоединство) частных. Поэтому денационализирующееся и ассимилирующееся еврейство — наш вечный враг, с которым м ы д о л ж н ы бороться так же, как оно борется с нашими национально-культурными ценностями. Это — борьба н е у с т р а н и м а я и н е о б х о д и м а я. Какие же наилучшие способы и формы борьбы?

Побеждает сильнейший; и первое условие победы самоусиление и саморазвитие. Без этого условия не помогут никакие скорпионы; при выполнении его скорпионы ненужны. Проникнемся, действенно проникнемся сознанием абсолютной, «православной» обоснованности нашей культуры, сознанием ее единства, ее цельности и органичности. Попробуем целостно ее осуществить. Тогда не будет в ней процессов внутреннего разложения, не будет распадов и трещин, точек приложения для чьей либо разрушительной деятельности, сознательной или бессознательной. Тогда не опасны будут ни материализм, ни интернационализм, ни социализм, ни все прочие подрывные идеи и гипотезы. Их просто не будет, как действенных сил разложения, и у денационализированного еврейства окажется отнятою почва для в р е д н о й деятельности, вернее — для с о у ч а с т и я во вредной деятельности.

Конечно, здоровая государственность предполагает активную борьбу с культурно-вредными течениями. Такая борьба вестись должна, и она будет вестись. Но ведь мы установили, что гибельные п о т е н ц и и ассимилирующегося еврейства становятся действительными, актуальными не сами по себе и из себя, а только при реальной наличности однородных им тенденций в самой культуре. В реальном вредном для культуры течении уже произошел осмос еврейского с национальным, и с ним , этим течением, приходится бо-

роться как с целым. Оно не будет уничтожено тем, что доступ в него евреям будет закрыт, если бы даже такая фантастическая идея относилась к области осуществимого. От этого оно не зачахнет, ибо не одними же евреями оно питается. Так борьба с денационализированным еврейством может быть только косвенною и опосредствованною.

Но ведь «тип» все таки вреден, хотя бы угрозою актуализации своих потенций, и какая то борьба с ним нужна. Пускай культура здорова и вырабатывает против него здоровые реакции всего своего организма. Она всегда может заболеть, и тогда сразу же подвергнется усугубленной опасности. Разумеется, борьба, честная борьба нужна. Но как она возможна? как бороться с потенциями? и как бороться с «типом»? Эмпирически его нельзя отожествить ни с некоторою определенною категориею людей, ни, тем более, с конкретными индивидуумами. Он практически, как об'ект прямого воздействия, неуловим. (Прошу читателя не приписывать мне в данном случае чувств сожаления). Ни «черта оседлости», ни особое, хотя бы и самое детальное законодательство о евреях, ни самый неограниченный административный произвол здесь не помогут. Все это окажется сетью, чрез которую пройдут самые большие рыбы и в которой погибнут самые маленькие. С другой стороны, все это привьет самой государственности опаснейший яд бесправия и произвола и в конце концов доведет ее до гибели, ибо государство может длительно существовать только как государство справедливости и правды и не может быть таковым, действуя несправедливо. А какая уже тут справедливость, когда караются потенции, да еще предполагаемые, да еще определяемые по внешним признакам? Сделать же глубоким сердцеведом всякого милицейского не в силах никакое государство. Какая там справедливость, когда, поневоле определяя врагов по признаку происхождения, делают своим врагом и преследуют не вредный тип, а весь еврейский народ, который и сам его своим законным ребенком не считает!

Остается, значит, только косвенный и опосредствованный метод борьбы. И он, на самом деле, существует. — Если правда, что сам еврейский народ вовсе не тожественен с продуктами распада своей периферии и сам не считает денационализированных евреев истинными евреями, если сожительство данной культуры с этим народом никакой опасности ее развитию не представляет, а я лично во всем этом глубоко убежден, — есть простой и положительный выход. Именно, надо помочь и еврейскому народу в его борьбе с разложением его периферии, помочь путем содействия его религиозно-культурному сохранению и развитию, не механически отсекая от него периферию (это невозмож

о), а ставя в благоприятные условия развитие одлинного его ядра. Странным образом религиозная нетерпиость христианских государств мотивировала борьбу с религиозным врейством, способствуя в нем процессам распада и делая его из союзника рагом, но питала действительного врага — еврейство отрывающееся от воей религии и культуры. Но и сейчас еще этот враг — общий враг еврейства и христианства.

3

Считая религиозно-культурный еврейский народ нашим естественным оюзником в борьбе с его денационализирующейся и ассимилирующейся, азлагающейся периферией, я в то же самое время не признаю возожным резкое их разграничение. Грань проходит е между социально-культурными группами и даже не между отдельными юдьми, хотя среди них и встречаются довольно яркие представители того ибо иного типа, но — внутри всякого индивидуума. Разлагающееся еврейтво не только «накожная болезнь» еврейского народа, но в известной мере его внутренняя болезнь, в здоровом, но внешне не определимом ядре его м преодолеваемая. И если я признаю существенным признаком врейского народа его религиозность, а наибольшую полноту ее сматриваю в том, что называется еврейскою религиею в самом точном и строом смысле слова, я не склонен и здесь проводить слишком резкую грань. Еврей, скептически и даже отрицательно относящийся к вере отцов, еврей, абывший ритуализм и весь быт еврейского народа, еврей сознательно и во что не верующий, — все же может быть по существу своему религиозым. Часто он извратит свою еврейскую религию в плоскую религию челоечества, если в не менее плоскую религию разума. С годами и в нем может аговорить еврейская душа, и окольными путями он направится к вере отцов, одойдет к ней и только не всегда ее узнает. А это значит, что и прежде не овсем угасал в его душе огонь веры, что он всегда был, хотя бы и сам того е сознавая, религиозным евреем. Да и еврейскую периферию можно понять, олько поняв извращаемую ею, но еще не угасшую в ней религиозность.

Мы говорим о единстве, целостности, органичности и своеобразии еврейской культуры, именно ею определяя еврейский народ. Но как раз врейская культура — и в этом величайшее ее достоинство и значение — асквозь религиозна, от религии не отделима. Значит, и она, культура, не исчезает вполне вместе с движением еврея от центра еврейства к его периферии, каким бы извращениям она ни подверга-

лась. Да это и само по себе ясно для всякого внимательного наблюдателя, много очевиднее, чем религиозность всякого еврея. «Солидарность» евреев, которая сохраняется, несмотря на тягчайшие испытания и которая устыжает или возмущает другие народы, является живым свидетельством в пользу единства еврейской культуры, и единства религиозного. Ведь надо же, наконец, понять, что это не простое единство единоплеменников, а единство детей Авраамовых, кровное единство народа, избранного Богом, носящего на теле своем знамение вечного завета с Богом. Это — Богом освященное и скрепленное кровное единство. Оно сильнее, чем всякое натуральное единство, и оно переживается евреем глубже, чем переживает единство всего «рода христианского» современный христианин, об этом единстве ныне почти забывший.

Так мы принципиально отказываемся от проведения к а к и х л и б о р е з к и х р а з г р а н и ч и т е л ь н ы х л и н и й и не считаем таковыми ни соблюдение закона, ни религиозность, ни паспорт. Но отсюда отнюдь не вытекает отказ от различений, от определения разных типов и от их оценки. Я различаю п е р и ф е р и ю и я д р о еврейского народа и говорю об этом ядре, как о самом «е в р е й с к о м народе» в его наибольшей эмпирической раскрытости и здоровьи. В недостаточном различении между ним и его периферией и коренится, на мой взгляд, одно из самых опасных зол всякого антисемитизма, вовсе, конечно, его не оправдывающее.

Еврейский народ наш естественный «союзник» в борьбе с его «периферией». И действительно, п р е о д о л е в а я , в ы п р а в л я я и в с а с ы в а я ее в себя во имя собственного своего религиозно-культурного идеала, еврейский народ избавляет нашу культуру от вечно предстоящей ей потенциальной опасности. С другой стороны, и мы, путем нашего саморазвития, не допуская того, чтобы эта периферия актуализировалась, помогаем еврейскому народу в его борьбе, а, всемерно содействуя его органическому и нормальному саморазвитию, уничтожаем эту опасность в самом ее корне.

Однако, еврейский народ не только наш союзник, но и наш противник. Еврейство и христианство противостоят друг другу, как притязающие на единственную истинность своего учения, хотя христианство и уповает на то, что все народы (в том числе и евреи) обратятся ко Христу, а еврейский народ, отрицая явление Мессии, верит лишь в победу еврейства, как в первенствующее его положение среди других в с е-ж е с п а с а ю щ и х л ю д е й религий, и чуждается прозелитизма. Еврейский народ противостоит христианским народам более, чем любая из иных религий. Еврейство связано с христианством одним Мессиею, который к евреям пришел и которого они отвергают. Мы признаем Іисуса Христа, Мессию и Богочеловека, который по человечеству кровно связан с еврейским народом и который прежде всего

ишел к чадам дома Израилева и который нас сделал новым Израилем, зраилем духовным (Гал. 3, 26-29; 6, 15 сл.; Рим. 2, 28 сл.). Как же Израиль плоти отделен от Израиля по духу? Неужели же два Израиля? Нет: ли мы, христиане, — избранный народ Божий, зраиль, или — евреи*). Этот факт в современном европейском сознании затемнен тем, что западное христианство отпало от Православия и распалось на ряд исповеданий и сект. Таким образом ослабело сознание единой истинной веры, «единого рода христианского», — и вместе с ростом неверия, религий человечества и разных теософий и вместе с усиленным взаимообщением разных религий — христианство стало восприниматься, как одна из них. Наступила эпоха релятивизма, внешне устранявшего, не преодолевшего антисемитические тенденции, которые были ослаблены тем, что ослабели органические силы культуры, а симптомы ее упадка инимались за ее идеалы**). Тем не менее соперничество существует и должно прежде всего быть осознанным. заметим еще одно: западное христианство само интернационально и отвленно, а религиозно-культурное еврейство конкретно-национально, этим динаково отличаясь и от него и от своей собственной периферии.

Существенно по иному должно, на мой взгляд, обстоять дело в Россииевразии. — Православие глубоко национально, но и возвышается над ограниченностью всякой отдельной национальности, будучи эмим и единственным вселенским христианством. Православная Церковь есть соборное единство сех православных национальных церквей,

---

*) Религиозное соперничество с евреями, будучи неправильно реносимым в сферу отношений к еврейской периферии, приводит к удовищным выводам. — Исходя из религиозного (!) упования еврейского народа(!) на победу его веры, приписывают это упование симилирующемуся (т. е. отрекающемуся от еврейского народа!) еврейству; и, опознавая интернационализм и материализм второго, риписывают их (еще с меньшим основанием) религиозному еврейскому народу, как стремление к «власти над миром». Здесь, в этой ементарной ошибке, — главный источник бредовых идей о «еврейском заговоре», «сионских мудрецах», «жидомасонах» и т. п. Помогат же ошибке указанное нами религиозно-культурное единство евеев, от'единяющее и об'единяющее их и способствующее «однодным реакциям», своеобразному автоматизму, и некоторые черты мой еврейской религии, особенно — ее конкретность и связанность всею еврейскою культурою.

**) Мы считаем «антисемитизм» одним из самых отрицательных влений. Но возьмем его как симптоматический факт. Тогда окажется, го ослабление его в современной Европе — признак не совершенствования, а упадка европейской культуры. Его наличие в России, юборот, свидетельствует о здоровьи русской культуры. Там же, е есть здоровье, есть возможность действительно преодолеть антиеитизм, а не просто о нем забыть. Вот примечание, очень благодарос для клеветников.

среди которых есть и первенствующая, уповаем — русская. Поэтому Православию одинаково чужды и западный интернационализм и западный (католический) прозелитизм. Оно не стремится к тому, чтобы римское католичество или германское протестанство вошли в одну из уже существующих православных церквей, но к тому, чтобы, отметая только свои заблуждения, они восстали, как римская и германская православные церкви, в соборном единстве Церкви Православной являя многообразную лепоту Тела Христова. Но, с другой стороны, Православие и не предоставляет, подобно еврейству, иные веры и иные исповедания их собственной участи; активно, хотя путем любви, а не путем принуждения, оно стремится к тому, чтобы и они, оставаясь собою, из себя самих свободно стали православными*).

Так и в отношении к народу еврейскому. Он — исконный и вечный враг Православия. Но нам сказано: «любите врагов ваших», и у нас нет и не должно быть другого средства борьбы с ним, кроме любви. А любовь не внутреннее чувство, не бездеятельное прекраснодушие, а во вне проявляющаяся действенная сила. Признак истинной любви в том, что она активна и плодоносна, в том, что она бескорыстно стремится к благу любимого. В чем же благо еврейского народа, как не в обращении его ко Христу? Православие и стремится к тому, чтобы еврейский народ обратился в Православие, но свободно и себя сохраняя. Идеалом Православия должен быть, по моему разумению, еврейский народ, как православная еврейская церковь, дабы отдельные, разрозненно ныне обращающиеся ко Христу евреи в Православной Церкви нашли, наконец, и эмпирически свой еврейский народ, от коего ради Христа они оторвались. Последняя цель не в обращении отдельных евреев, отнюдь не в том, чтобы свести такими обращениями на нет еврейский народ, но — в обращении самого ветхого Израиля. «Многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом» (Мф. 8, 11), и из камней может Бог создать чад Авраамовых, — но — «Я послан, сказал Иисус, только к погибшим овцам дома Израилева» (М. 15, 24); учеников же Своих Он наставлял: «идите, наипаче к погибшим овцам дома Израилева» (Мф. 10,6). Полагаем, что завет Христа и к нам относится и что «ожесточение произошло в Израиле отчасти», до времени (Рим. 11,25), и, по слову апостола (Рим. 11, 26), надеемся, что «весь Израиль

*) Указания на проявлявшиеся и у православных народов попытки насильственного в самом широком смысле этого слова обращения иноверных и инославных противоречат существу Православия и не являются актами Церкви, которая свята и к мерам внешнего принуждения не прибегает. Насилие всегда грех, грех же свойственен человеку, хотя бы и иерарху церковному, но не Церкви.

спасется», т. е. станет народом — особою церковью Божьею, церковью ап. Иакова, венчающею Православие. Знаем, что «все во Христа крестившиеся во Христа облеклись» и что в Церкви «нет ни иудея, ни язычника.., ибо все... — одно во Христе Иисусе» (Гал., 3,27 с.). Но значит ли это,что в ней пищают и эллин и иудей? что у эллина отнимается его эллинство, а у иудея его иудейство? Нет, не значит, ибо эллинство и иудейство теряют в Церкви только свою ограниченность: они не уничтожаются, но преображаются. И если Церковь осудила древних иудео-христиан, так не во имя абстрактного универсализма, но потому, что отвергала упорствование их в своей ограниченности.

Думаю, что должна быть церковь еврейская, так же, как есть церкви русская, греческая, болгарская, сербская, румынская и как должна быть германская и должна снова быть римская, все — одна соборная и вселенская, Православная Церковь. Мы не имеем религиозного права забывать о евреях и прикрывать свое нерадение лицемерными обвинениями. Ибо, если отцы их Христа распинали, так мы не в меньшей степени и теперь Его распинаем. Однако обращение еврейского народа ко Христу может быть лишь его свободным обращением, ибо иначе оно не обращение, а принуждение, равно разлагающее и того, кто принуждает, и того, кто сдается на принуждение. Здесь с нашей стороны не может быть ни малейшего насилия, но — только любовь, которая «долготерпит, милосердствует..., не превозносится, не гордится..., не ищет своего..., всему верит, на все надеется, все переносит» (I Кор. 13, 4). Так и соперничество преображается любовью в твердую и долготерпеливую веру во спасение еврейского народа, без чего и мир не преобразится. Ибо, с религиозной точки зрения, судьбы мира связаны с обращением еврейства ко Христу.

В России Православие и еврейский народ резче противостоят друг другу, чем еврейский народ противостоит христианству на Западе. Но «столкновение» происходит в России на религиозной и общей почве. Еврейство родственнее и роднее Православию, чем западному христианству. Очертим еще раз эту общую почву. — Как еврейский, так и русский народ существенно религиозны и устремлены к торжеству каждый своей веры. И если Православие хочет свободного обращения всех ко Христу, не насилуя индивидуально-национального, то еврейству в общем чужд дух прозелитизма. Православие соборно (— кафолично); но идея соборности является христианским просветлением еврейской идеи Израильского народа (KahaГа). Поэтому еврейство существенно национально, а Православие сохраняет все национальное в соборном. Поэтому же и Православие и еврейство национально-конкретны, стремясь

пронизать религиозным в.с ю жизнь. Здесь об'яснение своеобразного сходства между еврейством и русским староверием, как и перехода русских людей в еврейскую веру (ересь жидовствующих, «субботники» и жидовствующие на юго-востоке России, частью среди казачества). Конкретностью же религиозности об'ясняется значение и сила в Русской Истории социальных идеалов и нравственных идей, что прослеживается даже в крайних извращениях революции и опять таки сближает нас с евреями. Само русское миссианство во многом родственно миссианству еврейскому. С другой стороны, в среде русского еврейства мы встречаемся со многими явлениями, родственными русской религиозности. Сюда относятся распространение хасидизма, «еврейские старцы» — цадики, увлечение русских евреев русскою религиозною философией (славянофилами, Достоевским, к сожалению и Вл. Соловьевым), своеобразное слияние этой философии с мистическими идеями Каббалы и многое другое.

Нельзя, мне кажется, считать историческою случайностью давнюю, даже исконную связь русского народа с еврейским. Она началась с хазар (ср. легенду о крещении св. Владимира), усилилась вместе с расширением русского государства и поставила «еврейский вопрос» во всей его широте. Правда, сожительство русских с евреями было исключительно для евреев тяжким. Онтологическое соперничество, неизбежное и должное, выродилось в грубый антисемитизм и еврейские погромы. Но, во всяком случае, антисемитизм не был характерным явлением для русской интеллигенции и для русского, по крайней мере — для великорусского народа. Его преимущественная территория — юго-запад России, где, правда, сосредоточилась и главная масса евреев. И не следует смешивать с антисемитизмом дурную привычку русского человека позубоскалить над евреем или поругать «жидов». Конечно, есть в отношении русского к еврею оттенок некоторого превосходства, может быть, даже пренебрежения; но ведь и какой нибудь местечковый еврей на своем языке (так называемом жаргоне) говорит об умершем христианине «околел», ведь хороший религиозный еврей тоже смотрит на христианина несколько свысока, в сознании своего превосходства. Таким образом за взаимностью обид дело может быть прекращено. С обеих сторон все это вполне понятно, естественно и даже неизбежно, ибо православный и еврей — соперники, оба убежденные в единственном значении и превосходстве своей веры и своей культуры.

Выдвигая близость еврейской религиозности к Русскому Православию, я вовсе не хочу смягчать принципиальное их различие и застилать их трагическое столкновение успокоительною идиллическою картинкою. Религиозный еврей (даже — что тоже маловероятно — если он признает Троичность

Бога) не может признать воплощение Бога во Христе Иисусе, как в единичном человеке. Сама мысль об этом представляется еврею кощунственной. Для него недопустима та благодатная, но и страшная близость человека к Богу, которую исповедует Православие, как основу знания, жизни и бытия. Бог для еврея трансцендентен, соединен с человеком только «заветом»; и даже имя Божие не может быть произнесено. Еврейская религия провозглашает абсолютное разделение человека и Бога и должна быть определена, как «абсолютный дуализм» (конечно, не в смысле двух богов, а в смысле признания как бы одинакового и самостоятельного существования д в о и х: Бога и человека). Но такой дуализм с неодолимою необходимостью должен приводить к отрицанию всякого знания о Боге и даже знания о том, есть ли вообще Бог и не существует ли т о л ь к о человек со своими ч е л о в е ч е с к и м и представлениями и догадками о Боге. Неизбежными следствиями этого дуализма должны быть атеизм и религия человечества или самообожение человека, грех Адама. И поистине трагична судьба религиозного еврея, прирожденного Богоборца. Он должен неумолимо разрушать всякие представления о Боге, всякое Богознание, дабы человеческим не осквернить Божьего, дабы не допустить Боговоплощения. Но, чтобы остаться верующим, он должен героическим и предельным напряжением всего своего существа утверждать бытие Божие, т. е. вечно востанавливать вечно им же самим разрываемую связь с Богом. Говорят о скептическом, все разлагающем духе ассимилирующегося еврейства. Но все это — лишь слабый отблеск внутренней трагедии религиозной еврейской души. Не всегда она была такою, но отвержение Иисуса Христа такою ее сделало, ибо ее состояние и есть само отрицание Богочеловека. И потому не евреям, а нам раскрывается ныне и с т и н н ы й смысл псалмов и библейских пророков*).

Конечно, еврейская религия — самый сильный и страшный враг христианства, не сравнимый с язычеством, единственный сильный враг. Ибо еврейство потрясает самое веру пламенным порывом самой веры; ибо только оно посягает на само основание веры — на Христа Богочеловека. Но именно весь ужас религиозной трагедии еврейства и открывает бездны Богочеловеческой любви. Вот почему наша последняя цель и наше драгоценнейшее упование — в обращении еврейского народа ко Христу, в восстановлении православной еврейской церкви, как самого и всего еврейского народа. Наш религиозный долг — в том, чтобы направить на осуществление этой цели все наши усилия. Однако, допуская только с в о б о д н о е обращение

*) Основными чертами религиозности еврейской легко об'яснима специфичность еврейства ассимилирующегося. К сожалению, здесь я на этом останавливаться не могу и вынужден предоставить развитие моей мысли читателю в качестве полезного диалектического упражнения.

ко Христу и понимая это обращение лишь как следствие свободного и нормального саморазвития, мы считаем всякие, хотя бы и косвенные и малейшие меры принуждения в самом существе ошибочными, не приводящими к цели, а уводящими от нее, т.е. непрактичными, и, во имя самой свободы Христовой, самым решительным образом их отвергаем. Единственною с христианской точки зрения допустимою, но и необходимою. единственно целесообразною и практичною борьбою с нашим извечным противником может быть только искреннее, бескорыстное и активное содействие его свободному религиозно-культурному саморазвитию. Мы-то, православные, в результатах такого содействия уверены и нашей уверенности ни от кого скрывать не хотим, радуясь тому, что оно облегчено и словно предуказано близостью к нам русского еврейства. Но мы знаем, что евреи смотрят на себя и на нас совсем иначе и что первым следствием нашего содействия будут под'ем еврейского религиозно-культурного самосознанця и как бы укрепление евреев в их еврействе. Мы готовы ждать, ибо умеем ценить и любить еврейский народ даже в его разномыслии с нами, а «любовь долготерпит». И мы полагаем, что упорство его в отрицании христианства обусловлено прежде всего теми трагическими условиями, в которые было до сих пор поставлено его развитие. Еврейского вопроса, более и первее всего религиозного, не удалось и никогда не удастся разрешить внешним насилием или лукавством. Его не удастся разрешить и на почве торжествующего в Европе релативизма. Но его можно разрешить на основе истинного христианства, на основе Православия.

Только православный народ может разрешить проблему еврейства, ибо только в связи с ним может ее разрешить сам еврейский народ. А с точки зрения трезвой, практичной политики самый подход к проблеме в указанном нами смысле оказывается чрезвычайно выгодным и для культуры еврейской и для культуры русской. Ведь рядом с нашим подходом возможны или отрицание религиозного смысла еврейской проблемы, или отказ от всяких попыток ее разрешить, или, наконец, религиозная вражда к еврейскому народу. От религиозно-культурного расцвета еврейства никаких опасностей мы не ждем и сознанию им своего первородства противопоставляем наше православное самосознание.

Религиозно-культурный расцвет еврейского народа прежде всего даст ему силы для национальной концентрации. Это неизбежно приведет к тому, что периферия его перестанет отставать от ядра, как апельсинная корка, и срастется с ядром, втянется в него, вступит

с ним в органическое взаимообщение или — уже в окончательно от'единенной части своей — нацело сольется с окружающей культурой. Прекратится или до крайности замедлится и ослабеет процесс ее образования. Итак сама собою исчезнет та потенциальная опасность, которую представляют для нашей культуры ассимилирующиеся евреи и которая иначе, по самой природе своей, непреодолима, ибо потенциальна и неуловима. Конечно, нам могут возразить, что упованием на обращение еврейского народа, мы как бы снова открываем путь процессу ассимилации со всеми вредными ее последствиями. Мне кажется, что это не так. Во первых, устраняются ненормальные условия, в которых эта ассимилация до сих пора протекала, что уже не маловажно. Во вторых, упование отнюдь не принуждение и не заманивание. Наконец, мы уповаем не на отдельные обращения, а на обращение народа.

Подозреваем, что недобросовестные критики назовут нашу точку зрения «идеологией черты оседлости» или «идеологией средневекового гетто». — Хотя мы думаем, что гетто и черта оседлости сыграли в сохранении религиозно-национальной самобытности еврейского народа роль положительную, — ни о чем подобном мы, конечно, ни минуты не думаем. Мы полагаем, что русскому еврейству должна быть обеспечена полная свобода религиозно-культурного, скажу — даже политического самоопределения, самосохранения и саморазвития среди других народов Евразии, и притом обеспечена самым ясным и точным образом. И это уже его дело, хочет ли он сохранять или видоизменять формы своего культурного бытия, которые, мне кажется, благодаря ненормальным условиям развития, нуждаются во многих изменениях. Еврейский народ должен стать равноправным членом евразийской федерации. Это отнюдь не требует создания для него особой территории, которой у него нет и к созданию которой он не склонен. Пересаживание евреев на землю столь же не соответствует духу современного еврейства, сколь не соответствует ему, по нашему мнению, современный еврейский сионизм, хотя он нас, как русских, пока и в предвидимое ближайшее время никак не касается. Проблема сионизма стала бы и русскою проблемою лишь в том случае, если бы в Палестине создался живой и органический центр всего рассеянного по миру еврейства. Тогда бы нам нужна была свободная, а не находящаяся под чьим либо протекторатом Палестина. Еврейский народ един не единством и целостностью своей территории, а своим исключительным религиозно-культурным единством, свои «Законом», и внешне его определяющим.

Но тут нас ожидает другое возражение. — Подобное решение вопроса, скажут нам, угрожает притоком еврейства из других культур и стран в

Россию и созданием в России новой Палестины. И как можно говорить о включении русского еврейства в сферу Евразии, раз оно—только часть рассеянного по миру единого еврейского народа? Ответим. — Приток еврейства в Россию страшен лишь тем, кто считает еврейский народ уповательно подлежащим истреблению врагом рода человеческого и кто не знаком с историей и не знает ничего о положительной культурной роли, которую еврейский народ уже сыграл в экономическом, социальном и духовном развитии мира. С другой же стороны я сомневаюсь в том, что наше решение еврейского вопроса действительно поведет к усиленному притоку евреев в Россию. Основания моего сомнения будут и ответом на формулированный во второй фразе этого абзаца вопрос.

Еврейский народ — единое и органическое целое. Но всякое органическое целое не однородно, а расчленено на соборно об'единяющиеся частные целыя. Так членится и еврейский народ, однако — и в этом его своеобразие и его смысл в истории человечества — сообразно внутреннему сродству между частными его организмами и соответствующими культурами. Есть еврейство, природно родственное миру романской культуры, и есть еврейство, так же родственное миру культуры германской или миру культуры евразийско-русской. Таким образом и получается, что русское еврейство, будучи индивидуацией еврейства, является также индивидуацией культуры евразийской. Эмпирически здесь установимо лишь некоторое «соответствие», — некоторая двуприродность русского еврейства. Теоретически это может быть об'яснено двояко: — или русское еврейство есть еврейство, перерождающееся в народ евразийской культуры, или оно является индивидуацией в еврействе той религиозно-культурной общечеловеческой потенции, которая в христианской культуре индивидуируется, как единство евразийских народов. Я склоняюсь ко второму об'яснению, ярче выражающему значение и религиозный смысл еврейства в общечеловеческом развитии и распространяемому мною, конечно, и на другие индивидуации еврейской культуры. Оно, кроме того, позволяет резко подчеркнуть связь русских евреев со всем еврейским народом, т. е. охранить от всяких теоретических и практических посягательств само существо еврейской религиозной идеи. Практические затруднения, разумеется, будут, но не большие, а меньшие, чем при господствующих пониманиях еврейской проблемы; и лишь мономанам, подделывающим «протоколы сионских мудрецов» или верующим в их существование, эти затруднения покажутся непреодолимыми.

Не только со стороны русских интеллигентов, но и со стороны многих евреев можно ожидать довольно сильного возражения по существу. Именно, наши противники будут отрицать существование, или, по крайней мере жизненность, своеобразие и ценность самобытной еврейской культуры. —

То, что *кажется* ею, скажут нам, не что иное, как искусственный продукт ряда случайных, в конце концов, условий: средневекового гетто, черты оседлости, религиозной вражды к евреям и их вызываемого напором извне стремления сохранить себя через свой обрядовой закон. Ведь у евреев нет, скажут нам, общего им всем живого языка, а попытка снова сделать живым древне-еврейский, во первых, встречает сопротивление в самой же еврейской среде и, во вторых, обречена, как искусственная и романтическая, на неудачу. Евреи всегда ассимилировались и всегда легко усваивали язык окружающего мира (испанский, французский, немецкий, русский и т. д.) для того, чтобы сохранить свой лишь в качестве священного. Судьба еврейства в полной его ассимиляции, в полном растворении его окружающими культурами. Этот процесс протекает болезненно, что и сказывается частью в отрицательных сторонах ассимилирующегося еврейства, и медлительно, может быть — за последнее время он замедлился еще более (сионизм), но исход его ясен и неизбежен. Перенесенное в сферу проблематики религиозной, подобное возражение принимает, примерно, следующий вид. — Не может и не должно быть никакой «еврейской церкви», ибо смысл еврейской истории с религиозной точки зрения как раз в том и заключается, что еврей должен «оставить отца своего и мать», отречься от своего народа, от себя, как еврея, и, умерев как еврей, ожить, как христианин. Еврейский народ обречен на рассеяние и гибель: в этом его судьба. Распяв Иисуса Христа, он распял своего собственного Мессию, себя самого предал на распятие. Он должен взойти на Голгофу и умереть, как природное, натуральное тело Мессии, чтобы воскреснуть уже не еврейским народом, не народом. Поэтому и ныне еврейский народ не народ и не культура, а — призрак.

Если так, то и разрешение еврейской проблемы лежит на иных путях. Оно заключается в облегчении процесса ассимиляции. Конечно, такое облегчение предполагает решительный отказ от всяких насильственных мер, только задерживающих «обращение», но оно вместе с тем исключает ориентацию на религиозно-культурное еврейство. Его надо предоставить собственной его участи («естественной смерти»), не мешая ему, но ему никак и не содействуя, ибо зачем содействовать заведомо безнадежному? С другой стороны, воздействие на ассимилирующееся еврейство оказывается невозможным иначе, как в порядке саморазвития данной (в частности — русской) культуры и ее самозамыкания от еврейства. Это — путь пассивного и недейственного ожидания. Правда, в России (разумея не Россию коммунистическую, а грядущую, евразийскую Россию) в отличие от Европы, для которой такая пассивная установка характерна, еврейству противостоит не секуляризованная и тем обеспложенная культура, а Православная Русская Церковь. В России еврейская проблема остается религиозною даже и с рассматриваемой

точки зрения. Иначе говоря, и в этой постановке еврейская проблема может быть разрешена только Россиею, хотя бы интернациональное католичество и казалось евреям на первый взгляд более привлекательным, чем национальное Православие. Тем не менее и здесь приходится тогда отнестись к ассимилирующемуся еврейству, как к неустранимому и неизбежному испытанию. Его существование и даже его рост — тяжелый крест, который надо терпеливо нести и тяжесть которого можно лишь несколько облегчить тем, что ему будет ясно противопоставлен призыв религиозных евреев в лоно р у с с к о г о Православия.

Изложенную сейчас точку зрения считаю принципиально возможною. Она дает другое решение проблемы, согласующееся с традицией. И мне представляется даже, что только дальнейшее развитие может дать о к о н ч а т е л ь н ы е аргументы в пользу этого решения или в пользу решения, которое мне кажется более правильным и обоснованным. Укажу лишь на одно. — Наше решение исключает пассивное воздержание, но требует активности, действенной любви к еврейскому народу, как таковому, а не только ко всякому еврею, как индивидууму. А там, где действенная любовь, там наверное и правда. Ибо дерево всегда по плодам познается.

Развиваемая нами точка зрения встретит, конечно, упреки в утопизме. Но мы уже давно привыкли к нападкам и непониманию со стороны наивных и даже научно отсталых идеологов единой общечеловеческой культуры и секуляризации. В том мы и видим свою заслугу, что решаем еврейский вопрос по существу и на почве религиозной. Что же касается обвинений в утопизме, так мы ответим на это вопросами. — Ведет ли наш «утопизм» к каким нибудь абстрактным или конкретно неосуществимым мерам? Не оказывается ли он, наоборот, очень реальным и практичным в своих выводах? Исходя из истин Православия, мы нигде не искажаем действительности и не подчиняем ее никаким отвлеченным схемам. Не легко, конечно, на деле преодолеть накопленные веками недоразумения и предрассудки. Но можно и должно настойчиво стремиться к их преодолению. Наш путь верен. Его интуитивно наметил и показал его конкретное значение Лесков в своем замечательном рассказе о митрополите Филарете (Владычный Суд). — Еврей, чтобы освободить своего единственного сына от рекрутчины, нанял на последние деньги заместителя ему, другого еврея. А тот, забрав плату, заявил о своем намерении креститься, чем аннулировался весь договор. По закону помочь старику-еврею было невозможно. Но владыка Филарет решил дело быстро и просто, признав обманщика «недостойным св. крещения». И что же? Через некоторое время крестился сам старик-еврей.

Л. П. Карсавин

ОТВЕТ Л. П. КАРСАВИНУ

Дорогой Лёв Платонович,

с благодарностью принимаю Ваше предложение откликнуться на мысли, высказанные Вами в статье «Россия и евреи», и прошу Вас передать редакции «Верст» мою живейшую признательность за оказываемое мне гостеприимство. Читая рукопись Вашей статьи, я невольно возвращался мысленно к тем беседам, которые мне пришлось неоднократно вести с Вами на ту же тему от лица к лицу, и возникавшие у меня сомнения и возражения естественно облекались в форму личного к Вам обращения. Эту форму мне хотелось бы сохранить и в моем предаваемом гласности ответе: к поднятому Вами вопросу, Вы знаете, я могу подходить только с противоположного его конца, а в таких случаях встреча возможна лишь тогда, когда люди, не оглядываясь в сторону, смотрят друг другу прямо в глаза.

Вопрос об отношении России к еврейству Вы ставите — и в этом, думается, самая большая заслуга Вашей статьи, — как вопрос религиозный, я бы сказал, как вопрос веротерпимости. Мне, как еврею, такая постановка вопроса кажется не только наиболее плодотворной, но и наиболее естественной. Так называемая «национальная нетерпимость» по отношению к евреям, и по моему глубокому убеждению, в последнем счете есть лишь измельчавшая, выродившаяся, загнанная внутрь форма нетерпимости религиозной; вот почему и преодоление ее возможно лишь на почве напряженно действенной терпимости к иной, чужой вере при полном осознании ее иноприродности и ее неистребимой самобытности. Такой чуждой по существу своему верой является для Вас вера еврейского народа, и именно поэтому Вы стараетесь, как русский и христианин, найти на путях любовного всепонимания наилучший, религиозно-оправданный способ устроения евреев в России. Посильное содействие еврейской самобытности для чаемого соединения с Израи-

лем в лоне православной и вселенской церквей — вот то последнее и завершающее решение, которое подсказывает Вам все Ваши решения частичные и даже злободневные.

Об этих частичных и на злобу дня откликающихся решениях разрешите мне сказать после. Отмечу сейчас лишь то, что и в них я усматриваю все то же Ваше основное стремление руководиться всецело началом веротерпимости. Чем иным об'яснить последовательно проводимое Вами разграничение между ядром и шелухой — sit venia verbo — Израиля? Разделяющий меч или, как говорили еще недавно, хирургический нож анализа есть в Ваших руках лишь средство спасти, обезопасить ядро, хотя бы и ценою отказа от «корки». (Так и в отношениях частных мы иногда резко осуждаем отдельные поступки, чтобы с тем большею силою утвердить неразрывное существо человека). Однако, в том как Вы оперируете логическим орудием дистинкции, сказывается, думается мне, некий недочет в самом определении конечной цели русско-еврейских отношений, некая схематичность Вашего изначального синтеза. Начну поэтому с того, чем Вы кончаете.

Правильно ли поступил тот священнослужитель, который в рассказе Лескова окрестил старика еврея? Думаю, что нет. Старик, попытавшийся сохранить своему сыну свободу путем покупки свободы другого человека, был, мне кажется, еще менее «достоин» крещения, нежели зло подшутивший над его отовскими чувствами обманщик. Да и ко Христу ли он обратился? Вернее, что всего лишь — к христианам. Вы, впрочем, и сами против таких партикулярных решений еврейского вопроса, и во всяком случае — против того, чтобы обращающиеся ко Христу евреи, отвращались от еврейства. Да и как бы иначе? Ведь, следуя апостолу Павлу, и Вы всецело уповаете на неминуемое спасение «всего» Израиля; это упование есть движущая сила всей Вашей деятельной, практической веротерпимости: в этой точке для Вас смыкается весь круг связанных с еврейством исторических и эсхатологических вопросов. Но именно этот пункт и является, как Вы знаете, основным пунктом нашего с Вами расхождения. Как мог бы я говорить о частностях, не сказав ничего о главном?

Скажу прямо: я не только не верю в обращение Израиля, но считаю, что и верующий в это обращение христианин обнаруживает тем самым лишь некоторую неполноту собственной веры в Бога. Простите, Лев Платонович, что выражаю мою мысль столь резко. Но я, действительно, не могу иначе помыслить обращение Израиля ко Христу, как отпадение от Отца, как измену ему — как же может христианин пожелать такой измены, такого вероломства? Слыхали ли Вы когда-нибудь, чтобы не поколебавшийся и непоколебимый в своей вере еврей перешел в христианство? (Я говорю о «нашем» времени, т. е. о том, которое и с христианской точки зрения лежит «между»

пришествиями). Для того, чтобы обратиться ко Христу, еврей, следовательно, должен прежде всего потерять веру в Бога; для того, чтобы весь Израиль спасся, весь Израиль должен погибнуть. Остается, как будто, еще одна только последняя возможность: «Христос», к которому обратится Израиль, будет еврейством узнан, как тот чаемый им от века «Помазанник», чье имя по еврейски Мессия. Но разве в те времена второго для Вас, единственного для нас Пришествия, еще будет место для разных вер, для многих церквей, для «еврейского вопроса»? Поистине: «Не будут больше поучать друг друга: познайте Господа, ибо все будут знать Меня, от мала до велика», говорит Господь, «ибо прощу им грех их и прегрешений их не буду поминать больше» (Иер. 31, 33).

Как же быть христианину, осознавшему, что для евреев путь к купели ведет неизбежно через смертный грех, как быть ему, если он в то же время одушевлен «многотерпящей» любовью к Израилю и стремлением во что бы то ни стало ужиться и устроиться с ним здесь и сейчас, и при том непременно на почве религии? Такой христианин с внутренней необходимостью придет к утверждению, что сама еврейская религия повинна в парадоксальности его положения,что в ней самой кроется порок противоречивости:напряженнейшее стремление к истинному Богу живых и вместе с тем — абсолютное отрицание. Это тот взгляд на сущность еврейства, который Вы, Лев Платонович, защищаете, взгляд, который я считаю совершенно ошибочным.

Диалектику христианской и Вашей личной веротерпимости по отношению к еврейству Вы превращаете во внутреннюю диалектику еврейского Богооткровения. Я понимаю всю трудность Вашего положения, и должен ли я повторять, что глубоко чту каждый из мотивов, приводящих Вас в это положение?Но факт остается: еврею легче относиться любовно к христианину, чем христианину к еврею.(Откуда не следует, что это всегда так бывает). Еврейство знает за христианством только эмпирические грехи и заблуждения. Христиане же вынужденны — народ, обрученный Богу и одержимый Богом, винить в Богоубийстве и Богоотступничестве. Уже одно отрицание Богочеловечества, думаете Вы, неизбежно влечет за собой «дуализм», т. е. извержение Бога из мира, разрыв между человеком и его Творцом; для еврейства — говорите Вы — «недопустима та благодатная, но страшная близость человека к Богу, которую исповедует Православие, как основу знания, жизни и бытия», и вслед за бесконечной цепью римско-католических миссионеров Вы прибавляете, что «для еврейской души стали непонятными ее же Псалмы и ее же Пророки»... Нет, Лев Платонович, простите, тут Вы на ложном пути. Ваша «любовь к врагу» заходит слишком далеко: Вы покушаетесь отобрать у еврейства заодно Бога и Библию. Второе так-же невозможно как и первое. В главе о лжепророках Израиля Иеремия говорит: «Разве Я

Бог лишь вблизи, говорит Господь, а вдали не Бог? Разве может человек укрыться так, чтобы Я его не увидел, говоритъ Господь: ведь небо и земля преисполнены Мною, говорит Господь» (Иер. 23, 23-24). Об'ясните же нам, Лев Платонович, если и впрямь наши Пророки нам уже непонятны больше, о какой тут близости идет речь и о какой полноте? Мы, евреи, всегда думали: о благодатной и о страшной, о той, которая есть «основа знания, жизни и бытия». Нет, дорогой Лев Платонович, мы не атеисты, не безбожники, и Библию многие наши школьники и теперь еще знают наизусть и свято берегут в своем сердце. Если христианство может мириться с еврейством только на основе таких экспроприаций, — давайте лучше по старинке...

Я взволновался. Это и плохо, и хорошо. Плохо, потому что это мешает связному изложению мыслей, а у меня еще многое на душе, что хотелось бы Вам высказать со всей отчетливостью. Но это и хорошо, потому что моя реакция на Ваши слова слишком естественна, и было бы печально, если бы мы все сплошь стали равнодушны к нашим святыням. К тому же я пишу, хотя и непосредственно к Вам, но слова мои, как и Ваши, будут услышаны многими читающими по русски христианами и евреями, и надо, чтобы мы все научились, наконец, принимать в серьез ни одни только разговоры об «антисемитизме» и о «равноправии», но о самой сущности еврейства и православия. Возражая Вам с такой горячностью, я, впрочем, ни на минуту не забываю, что Ваше отношение к еврейству нисколько не исчерпывается приведенными в Вашей статье фразами. Я хочу лишь подчеркнуть, что еврейский вопрос, как вопрос религиозный, чреват великими трудностями и опасностями и что нам надо потратить еще не мало усилий, чтоб найден был общий язык.

Только этими внутренними трудностями, присущими самой проблеме христианской веротерпимости по отношению к еврейству, я могу об'яснить то обстоятельство, что при Вашем , с моей точки зрения, несомненно предвзятом и недостаточно обоснованном взгляде на еврейство, как на религию, Вы можете так высоко ценить еврейство, как культуру. Ведь культура еврейская сплошь религиозна и, значит, целиком проникнута тем, «пламенным порывом своей веры», тем «дуализмом», который по Вашим словам делает ее «самым сильным и страшным врагом христианства». — И тем не менее Вы хотите сохранить еврейский народ и, следовательно, его культуру, как особую «православную еврейскую церковь»? Это мне непонятно. А с другой стороны, чем могла бы отличаться эта еврейская церковь в России от русской православной церкви, если бы все русские евреи стали православными? Не языком ли богослужения? — Очевидно тем, что православный русский еврей все же остался бы тем исконным и неизменным в культуре своей евреем, тем «богоборцем», каким сделал его избравший и отметивший его

ветхий деньми Бог. Так, Ваша вера приводит Вас, насколько мне кажется, сразу к двум исключающим одна другую возможностям. Или Вы будете оспаривать, что еврейская культура и еврейская религия — тожество? Это Вам было бы тем труднее, что Вы и в отпавших от «ядра» евреях видите проявление, хотя и в искаженном виде, все той же религиозной стихии еврейства. Но на этом пункте я хотел бы остановиться подробнее.

Я уже вскользь упомянул, что в Вашем анализе мне видна изнанка Вашего синтеза. Теперь я могу пояснить, что я хотел этим выразить. Истинная веротерпимость, как и терпимость вообще, думается мне, покоится на абсолютном утверждении и приятии бытия инородной для меня субстанции, а потому и ее акциденций, поскольку в них действенно само субстанциальное ядро. Вашим приятием ядра еврейской культуры и сердцевины еврейского народа Вы сами даете прекрасный пример такой всеоб'емлющей и, я бы сказал, чисто русской свободы мироощущения; но Ваше отвержение еврейской религии заставляет Вас, как бы задним числом, уничтожить все положительные результаты предшествующего анализа: само ядро оказывается вредоносным, и вдруг уясняется, почему и скорлупа еврейского народа для Вас тем более отбросы, чем больше в ней проступает ее былая сращенность с ядром. Так, ядро должно неизбежно последовать туда же, куда выбрасывается шелуха. Другими словами, во всем Вашем отношении к еврейству — некая неустранимая двойственность, проистекающая, насколько я могу догадываться, из Вашего убеждения в неустранимости антиіудаистического настроения в христианстве. Иначе Вы бы и в «периферии» еврейства не могли видеть насквозь отрицательное явление современной культуры. По отношению к отдельным «ассимилированным» евреям, Вы, правда, готовы идти на уступки, но Вы беспощадны к еврейской ассимиляции в целом. Если бы Вы были верующим и национально настроенным евреем, а не православным, это было бы гораздо понятнее. Каждый из нас мог бы, кажется, составить обстоятельнейший обвинительный акт против наших отщепенцев, тем более, что и сами обвинители, по всей вероятности, попали бы при этом на скамью подсудимых. Но я бы, например, не мог не отметить попутно и целого ряда отчасти уравновешивающих вину обстоятельств. Все, в чем я узнал бы действие подлинно религиозного духа еврейства, я счел бы нужным привести в защиту тех, которые этот дух на словах отвергают, а делами свидетельствуют. Вы же поступаете как раз наоборот. Европеизированное еврейство, чтобы остановиться только на одной подробности, явно причастно к развитию современного рабочего движения: говорит ли это против него? Думаю, наоборот: не против, а в его пользу, потому что мечта о справедливомъ устроении общественной жизни есть исконная идея еврейской культуры, и если отпавший от еврейского ядра еврей действи-

тельно всецело одушевлен идеей служения трудовому народу, он не так уже плох, а иногда даже и очень хорош. Вообще, еврейская ассимиляция и ее отношение к твердому, неразлагающемуся ядру еврейства плохо укладывается в аналогию: ядро — скорлупа. Я бы предпочел говорить в этой связи о радиоактивной субстанции еврейства, об излучаемой им энергии, о его вечном разложении, как неот'емлемой стороне его неразложимой сущности. Еврейская ассимиляция так же стара, как и национально организованное бытие еврейства. Разрешите Вам напомнить, что апостол Павел для нас, причисляющих себя как-никак к ядру, есть типичный представитель ассимилированного еврейства. Мы привыкли думать, что все крупные явления еврейской истории не могут быть окончательно лишены смысла; значит и ассимиляция для чего то нужна. В этом же плане, плане вселенской судьбы, рисуется нам и тот изгиб нашего исторического пути, который привел нас в Россию.

Я сравнительно долго говорил о моих неизбежных с Вами разногласиях, Лев Платонович; позвольте же мне теперь, хотя бы вкратце, высказаться и по тем пунктам, в которых я с Вами совершенно согласен.

Да, русское еврейство представляет собою некое органическое единство, хотя и принадлежит одновременно к двум разным об'емлющим его целым: к всенародной общине израильской и к России. У русских евреев есть задачи по отношению к всемирному еврейству и есть задачи по отношению к России. Исторические судьбы складываются, однако, насколько нам доступно судить об этом, так благоприятно, что двойственность наших задач не породит для нас, русских евреев, никаких внутренних конфликтов, потому что, служа России, мы сумеем служить тем самым и нашему еврейскому призванию. Наше призвание указано нам нашими Пророками, и путь, указанный России ее провидцами и вождями, ведет в том же направлении. Россия держит курс на немеркнущий свет с Востока: Нам по пути.

Не будем спорить о том, русские ли русские евреи или евреи. Я думаю, Лев Платонович, что тот друг Ваш еврей, который возражал против того, чтобы его называли русским, возражал не «по деликатности» вовсе, но и не «по национальной гордости», а исключительно потому, что желал быть правдивым. Мы в России и среди русских, конечно же, не русские, но вне России и даже среди заграничных евреев, мы ощущаем, как много в нас русского, насколько свободны мы от всяких общественных предрассудков, от прикованности к материальным благам мира сего, насколько ближе к истинным источникам религиозной жизни, к последним глубинам человеческого сердца — и благодарны за все это судьбе, приведшей нас в Россию и давшей нам возможность узнать и полюбить русский народ. Ведь мы, поистине, единственные азиаты в Европе, но наши европейские братья боятся признаться

в этом своим заносчивым полуостровитянам, — а между тем, как легко нам быть самим собою в России!

Отсюда вовсе не следует, что нам в России вообще легко. Я не говорю о нынешнем тяжелом миге и даже не о прошлых веках: я говорю о будущем. Надо, чтобы русские, те, о которыхъ нет сомнения, русские ли они или не русские, прониклись сознанием, что еврейство не «враг», а союзник. Это для очень многих трудно, весьма трудно. Вы, Лев Платонович, знаете это не хуже меня. Недаром Вы в Вашей статье обращаетесь как-бы в пол-оборота к тем, для которых мы в организме России заноза. Вот почему, я и позволяю себе смотреть на Вашу статью, как на первый шаг по долгому и тернистому пути.

Искренно преданный Вам

А. З. Штейнберг

Берлин 1927

ДОСТОЕВСКИЙ И ЕВРЕЙСТВО

Большинству читателей и почитателей Достоевского вопрос об отношении великого писателя к еврейству и к историческим судьбам еврейского народа представляется до чрезвычайности простым. Разве не ясно с первого же взгляда, что в лице Достоевского мы имеем дело с одним из типичных представителей того преисполненного вражды к еврейству течения, к которому сначала на Западе, а затем и в России прочно привилось псевдонаучное, но отнюдь не двусмысленное название „антисемитизм"? Можно ли действительно хоть сколько нибудь сомневаться в том, что Достоевский, по просту говоря, всю жизнь неизменно оставался непоколебимым в своей предвзятости «жидоедом»? — Таково именно общее мнение — у нас и заграницей, среди не-евреев, как и среди евреев, взгляд, нашедший свое выражение уже и в литературе. „Достоевский, Федор Михайлович, — так начинает свою статью о нем в «Еврейской Энциклопедии» вдумчивый критик и тонкий знаток Достоевского, А. Г. Горнфельд — один из значительнейших выразителей русского антисемитизма». «Ни серьезных доказательств — продолжает он несколькими строками ниже — ни своеобразных идей в его обличениях не замечается: это — банальный антисемитизм». Нечего и говорить, что и «банальный антисемитизм» Достоевского, если бы определение Горнфельда было бы хоть отдаленно правдоподобно, должен был бы представляться огромной загадкой, достойной обстоятельного исследования. Разве заурядное в незаурядном менее своеобразно и таинственно, чем все из ряда вон выходящее? Или Достоевский не был тем насквозь «своеобычным», как он сам иногда выражался, гением, печать которого должна лежать на всех его проявлениях, без исключения? Не указывала ли бы «сама «банальность» отношения Достоевского к еврейству на некую непреодолимую особенность в судьбах еврейского народа, на нечто роковое в его знаменательнейших исторических встречах и столкновениях? — Достаточно поставить эти вопросы, чтобы сопоставление: «Достоевский и еврейство» выступило во всей своей фило-

софской, я бы сказал, метафизической значительности. Подведением Достоевского под одно из ублюдочных (уже по самой своей этимологии) понятий современного политического языка дело во всяком случае не исчерпывается. Как бы Достоевский ни относился к еврейству, его отношение не может не быть отношением ему одному присущим, некой характерной чертой в его особенном и неповторимом духовном облике. Так оно и должно быть прежде всего постигнуто. Лишь после того, как эта работа будет сделана (настоящий очерк чуть ли не первая попытка в этом направлении), можно будет подойти к встрече Достоевского с еврейством с той или иной, все равно положительной или отрицательной оценкой. Такая оценка предполагала бы, однако, — и это следует особенно подчеркнуть — решение более об'емлющего вопроса: о последнем смысле исторического сосуществования русского и еврейского народа, вопроса, для которого в свою очередь не безразлично, как относится к еврейству Достоевский.

I

Господствующее представление о Достоевском, как о стороннике столь распространенного во второй половине XIX века антисемитизма поверхностно. Сделать это очевидным — ближайшая задача настоящего очерка. Однако, поверхностное впечатление все-же—впечатление от поверхности, и, следовательно, в самых творениях Достоевского, в их внешнем обличии есть нечто, что такое впечатление вызывает и подсказывает. Разберемся же в тех моментах, которые дают основание причислять Достоевского с такой убежденностью к разряду жидоненавистников: заблуждение большинства почти всегда односторонняя проекция истины; лишь уяснив ограниченную их правомерность, мы сумеем их вполне преодолеть.

Первое и, быть может, решающее основание для причисления Достоевского к заклятым ненавистникам еврейского народа кроется в его словаре. Словарь писателя, использованный им словесный материал очерчивает его поприще не менее отчетливо, нежели самые заметные и неизгладимые следы его деятельности. Ведь слово его не только орудие откровения мысли и воли, но часто также вестник сокровеннейших дум, недосказанных и недовыраженных чувств. Чтобы ни говорил и ни доказывал Достоевский по поводу своего отношения к еврейству (ср. ниже, V) из словаря его никак не вычеркнуть односложное, но слишком выразительное слово «жид». К моменту вступления Достоевского в русскую литературу в ней, как и в русском языке вообще, уже боролись за преобладание «жид» и «еврей». Слова эти перестали быть синонимами: у Пушкина и у Лермонтова вполне определилась та глубокая

пропасть, которая отделяет «проклятого жида» от «еврея» и его «еврейских мелодий». Достоевский отлично знал, что ему, как русскому писателю, ответственному за судьбы родного языка и родного народа, следует сделать выбор; но вместо этого он до конца жизни, говоря и от собственного имени, непрерывно колебался (ср. Дневн. Писат. 1877, III, гл. II, 1). Чтобы убедиться, до какой тонкости он тут взвешивал все приличные и неприличные возможности, достаточно вспомнить две строчки из рассказа о пребывании отца Карамазова в Одессе: «Познакомился он там сначала, по его собственным словам, со многими «жидами», «жидками», «жидишками» и «жиденятами», а кончил тем, что под конец даже не только у жидов, но, и у евреев был принят. Надо думать, что в этот-то период своей жизни он и развил в себе особенное, умение сколачивать и выколачивать деньгу» (Кн. I, гл. IV, срав. также кн. VII, гл. III). «По его собственным словам»...—Невольно улыбаешься, когда знаешь, что эта же гамма в разных сочетаниях многократно повторяется и в «собственноручных» письмах Достоевского к жене (ср. напр. письма от 30. VI. 79 г. и 4. VIII. 79 г.; время работы над «Карамазовыми»). Нет, в данном случае Достоевский пишет не со слов Карамазова, а напротив того Карамазов вторит ему, пользуется словарем самого Достоевского, тем словарем, в котором он всегда имел под рукой для обозначения представителей «вечного племени» целый набор верно действующих словесных инструментов: от простого и самого по себе свободного от всякого оттенка недоброжелательства слова «еврей» вплоть до безпардонного и граничащего с неприличием «жидишки». Как тут не воскликнуть — «жидоед»?

Второе не менее веское основание для причисления Достоевского к завзятым юдофобам, легко найти в тех чертах, которыми он наделяет отдельных созданных им евреев, незабываемых, как подлинная, полновесная реальность. Правда, в кругу живых созданий Достоевского еврей лишь редкий гость, но стоит ему попасться тут на глаза — и перед нами человеческое существо, почти лишенное человеческих черт, некая химера во-плоти, и душой и телом чуждая миру прочно укорененных в жизни людей. Таков, например, уже Исай Фомич из «Мертвого Дома», «смесь наивности, глупости, хитрости, дерзости, простодушия, робости, хвастливости и нахальства», «уморительный и смешной», полный «беспримерного самодовольства» и «разумеется, в то же время ростовщик» (гл. IX и IV). Автору «Записок» кажется поэтому «очень странным, что каторжники вовсе не смеялись над Исай Фомичем», и об'ясняет он это тем, что «наш жидок», верная копия «Гоголева жидка Янкеля», «служил, очевидно, всем для развлечения и всегдашней потехи». Ведь к конце концов, Исайка был «незлобив, как курица», и с ним можно было забавляться, «как забавляются с попугаем, собачкой».

Таков первый попадающийся у Достоевского еврей, последовательное

развитие общего понятия «жид» до более конкретного — «жидка». Что мы тут имеем дело действительно с «эксплификацией» некой априорной, т. е. по просту предвзятой формулы, прямо следует из подчеркнутой мимоходом самим Достоевским решающей для него литературной традиции (Гоголь!), но особенно из вводного «разумеется». Следует это также из одного мелкого, но весьма характерного штриха, который для читателя, незнакомого с еврейской обрядностью, остается совершенно незаметным: Достоевский описывает со всеми подробностями, как встречал Исай Фомич в пятницу вечером наступление субботнего дня и рисует при этом своего «героя» в молитвенном облачении с филактериями на лбу и на руке — вещь совершенно невозможная, противоречащая всем основным правилам еврейского ритуала. Подобного рода ошибка, почти невероятная у Достоевского, может быть об'яснена исключительно тем, что глядя на живого еврея, он его как бы и не видел вовсе, вернее видел сквозь некую предвзятую формулу. Недаром в этом описании молитвенных излияний «жидка» мы снова встречаем вводное «конечно»: «Конечно, все это было предписано обрядом молитвы... законом».

«Закон!» Уже ко времени «Записок из Мертвого дома» у Достоевского, значит, сложилась некая цельная идея о существе современного еврея, наперед определявшая в каждом отдельном случае образ его и подобие. Естественно поэтому, что и другой созданный Достоевским еврей, выкрест Лямшин в «Бесах», при всем своем своеобразии, в общем и целом — «наш жидок» с характерною для него смесью коварства и глупости, робости и нахальства, тщеславия и самодовольства. И он «разумеется» был ростовщик. Есть, правда, в Исай Фомиче, как и в Лямшине, черты, которые заставляют думать, что Достоевский и сам видел в них нечто более значительное, нежели одну только собачью способность ощетиниваться и огрызаться или добросердечие цыпленка. Однако, здесь уже одно из тех противоречий в отношении Достоевского к еврейству, о которых уместнее говорить ниже (ср. V). Одно несомненно: еврей, как тип, обладает у Достоевского вполне устойчивыми чертами, и для известного рода человеческого характера, отталкивающего и в то же время по своему занимательного, опасного и вместе с тем до уморительности смешного, самым подходящим вместилищем представляется Достоевскому современный, все равно преданный вере своих отцов или крещеный еврей.

Вот почему и самые светлые из героев Достоевского не свободны от жидобоязни, от жидоедства. Нельзя, например, пройти мимо того, что не кто иной, как богобоязненный Алеша, на вопрос о том, «правда ли, что жиды на Пасху детей крадут и режут», не находит лучшего ответа, чем «фарисейское»: «Не знаю» («Карамазовы», кн. II, гл. III).

Методологический педантизм мог бы, правда, выдвинуть возражение:

не следует ли строжайшим образом различать личность художника, автора, и то лицо, от имени которого ведется рассказ, не говоря уже о созданных творческой фантазией автора героях? Как можно отожествлять повествователя в «Записках» или лицо, рассказывающее о «бесах», и, как известно, действующее в самом романе, с Ф. М. Достоевским? Чтобы снять с очереди и эти последние, не совсем неосновательные сомнения, обратимся к тем писаниям Достоевского, в которых он говорит о евреях и о еврействе уже не через подставных лиц, а от собственного имени и собственными словами.

II

От собственного имени и собственными словами Достоевский говорит о евреях и о еврействе при всяком удобном случае, прежде всего в своем «Дневнике Писателя». Одна из статей этого журнала (март 1877 г.), как известно, даже целиком посвящена «Еврейскому вопросу» и является ответом на письмо злополучного А. Ковнера, весь материал о котором ныне собран и издан Л. П. Гроссманом. Как раз эта статья и считается обыкновенно «главным антисемитским произведением» Достоевского. Об истинном умонастроении, выразившемся в этих посвященных еврейскому «вопросу» рассуждениях, по существу речь впереди (ср. ниже, V); здесь достаточно подчеркнуть лишь те моменты, которые как будто окончательно и неопровержимо подтверждают факт «банального антисемитизма» Достоевского. Задача, на первый взгляд, довольна легкая. Достоевский выдвигает против евреев обвинение, которое, поистине, иначе как «банальным» никак не назовешь: «Евреи, которых столь много на свете», по его словам, прирожденные эксплуататоры, только и ждущие, на какую бы им «свежую жертвочку» — наброситься: в Америке эта жертва, по свидетельству последней книжки «Вестника Европы», — негры, в России такая же участь ожидает освобожденное от крепостного ига крестьянство. Да и как бы иначе: ведь для евреев другие народы, «хоть есть, но все равно надо считать, что как бы их не существовало». И вот, евреи, полные гадливости и презрения ко всем прочим попутчикам своим на земном пути, ныне воссели в Западной Европе на золотом мешке, чтобы оттуда направлять свою разрушительную политику против последнего оплота христианства на земле — против России. Политика Биконсфильда-Дизраели, этой piccola bestia, как называет его в другом месте Достоевский, была бы непонятна, если бы не допустить, что она ведется «отчасти с точки зрения жида». Если сорок веков весь мир единодушно ненавидит и преследует еврейство, «то с чего нибудь да взялась же эта ненависть и что-нибудь значит же эта всеобщая ненависть. Ведь что-нибудь значит же слово

все». И Достоевский спешит найти достаточное основание и оправдание для этой вековечной ненависти: оно — в «неизменной идее еврейского народа», «в идее жидовской, охватывающей весь мир, вместо неудавшегося христианства», в том присущем евреям «материализме», в «слепой плотоядной жажде личного материального обеспечения», которая прямо противоположна «христианской идее спасения лишь посредством теснейшего нравственного и братского единения людей». Практический вывод, к которому приходит на основании всех этих «соображений» Достоевский, сводится к тому, что за евреями в России, хотя и следует признать «все что требует человечность и христианский закон», т. е. «полнейшее равенство прав с коренным населением», однако, лишь после того, как «сам еврейский народ докажет способность свою принять и воспользоваться правами этими, без ущерба коренному населению. Впрочем , и эта оговорка еще не является последней. Статья кончается вопросительным знаком: удастся ли евреям когда либо доказать, что они «способны к... братскому единению с чуждыми им по вере и по крови людьми»? Что удивительного, что при таком подходе к «еврейскому вопросу» Достоевский в конце концов дошел даже и до полного исключения еврейства из братского союза человечества? Со всей откровенностью он это, правда, никогда не выразил, но заключение это напрашивается само собой при болѣе пристальном изучении завершающей всю его деятельность речи о Пушкине. В этом слове, в котором Достоевский так проникновенно превозносит всечеловеческий и истинно христианский дух русского народа, появляется неожиданно новое понятие: понятие «Арийского племени». До последней глубины постигнутое и «с любовию» воспринятое русским народом всечеловечество неожиданно отожествляется лишь с «племенами великого Арийского рода», т. е. того, из которого ex definitione исключены, конечно же, не монголы или «семиты», а евреи. Под конец своей жизни Достоевский, таким образом, стал, вероятно не без влияния Победоносцева, пользоваться даже недвусмысленной терминологией плоского западно-европейского расового антисемитизма. — Значит ли это, что и более пристальное исследование дает в конце концов тот самый результат, который и без всяких изысканий бросается в глаза, что, другими словами, первое впечатление единственно обоснованное?

И да, и нет. Да! — если полагать, что дух человеческий, подобно геометрической фигуре всеми сторонами и углами своими лежит как на ладони, целиком умещается на плоскости; нет! — поскольку мы осознаем, что сердце человеческое — бездонной глубины, таинственный и замкнутый в себе мир, полный неразгаданных намеков и непреоборимых противоречий. Но именно этим последним знанием, этим более глубоким проникновением в истинную сущность человека мы не в малой степени обязаны прежде все-

го творческому духу Достоевского, тайновидцу, черпавшему мудрость свою почти исключительно из собственного своего сердца. Как же после этого допустить, что как раз Достоевский, в каком бы то ни было своем проявлении, а значит и в своем отношении к еврейству, поддается измерению меркою, окончательно лишенною направления в глубину?

III

Недоброжелательное отношение Достоевского к еврейству несомненный факт. Еще больше, чем все приведенные до сих пор свидетельства, об этом говорит тот стиль, в котором Достоевский излагает свои касающиеся еврейства «соображения»: стиль извилистый и скользкий, уклончивый и сбивчивый, так и пестрящий оговорками и оговорочками, контр-аргументами в квадрате, и контр-аргументами в кубе (ср. напр. хотя бы заглавие «Но (!) да здравствует братство», Дневн. 77, III). Но именно этот то стиль, для графического изображения которого пришлось бы пожалуй, срисовать Волгу - матушку, вместе со всеми ее притоками, именно он придает антиеврейскому настроению Достоевского какой то особенно загадочный характер и заставляет напряженно искать его скрытые глубоко под поверхностью корни.

Мимоходом уже было отмечено, что представление о евреях, всю жизнь предносившееся Достоевскому, ни в какой мере не было обобщением его случайного жизненного опыта, как это часто бывает у дюжинных «антисемитов», а напротив того, само являлось конкретизацией некой априорной идеи о еврействе, которая тем самым определяла для него и индивидуальный облик отдельных изображенных им евреев. Чтобы подтвердить это с новой стороны, напомню тут только еще об одном афоризме современного Достоевскому «Исайи»: «Был бы пан Бог да гроши, так везде хорошо будет». Мы видели, что к этому изречению, правда с большими оговорками, сводится для Достоевского идея еврейства и в «Дневнике Писателя». Трудно допустить, что своим проникновением в эту якобы еврейскую корреляцию между Богом и грошами, Достоевский обязан был Исайю Фомичу Бумштейну. Но и литературная традиция, на которую указано было выше, далеко не вполне разрешает вопрос об источниках антиеврейской теории Достоевского. Настоящие ее корни, корни многообразно и многосложно разветвленные, в истории духовного развития самого Достоевского.

Еще до того, как Достоевский вступил на жизненное поприще, еще в самом раннем его детстве, еврейство произвело на него такое мощное, неотразимое впечатление, что он уже во всю свою жизнь никогда не мог от него отделаться. Впечатление это восходит не к тому или иному отдельному еврею

(да и где мог бы юный Достоевский встретить евреев в столицах тогдашней России?), но и не к какому либо более или менее случайному литературному явлению , а к самому источнику жизни и творчества еврейского народа, к нерукотворному памятнику еврейской и христианской веры: к Библии.

Вместо всех прочих биографических свидетельств, сошлюсь здесь на свидетельство самого Достоевского, запечатленное им в «Братьях Карамазовых»: «К воспоминаниям домашним причитаю и воспоминания о Священной Истории... Была у меня книга с прекрасными картинками, под названием: «Сто четыре священные истории Ветхого и Нового Завета», и по ней я и читать учился. И теперь она у меня здесь на полке лежит, как драгоценную память сохраняю». Из рассказа Андрея Михайловича Достоевского мы знаем, что эти вложенные в уста старцу Зосиме слова являются не чем иным, как точнейшим воспроизведением фактов из биографии Федора Михайловича. Но особенно ценно и значительно для уяснения духовного развития Достоевского его тут же следующее признание, как его «в первый раз посетило некоторое проникновение духовное, еще восьми лет отроду». Мы сейчас убедимся, что и этот записанный Алешей со слов старца рассказ есть повествование Достоевского о собственной его духовной судьбе.

Старец рассказывает, как он «первый раз принял в душу семя Слова Божия осмысленно». «Повела матушка меня в храм Господень... Вышел на середину храма отрок с большою книгой, такою большою, что показалось мне тогда, с трудом даже и нес ее, и возложил на аналой, отверз и начал читать, и вдруг я тогда в первый раз нечто понял, что во храме Божием читают». Эта книга была Библия, читали же из нее о «муже в земле Уц, праведном и благочестивом», о рабе Господнем Иове и о поединке его с сатаною. «И предал Бог своего праведника, столь им любимого, дьяволу... И разодрал Иов одежду свою и бросился на землю и возопил: «наг вышел из чрева матери, наг и возвращусь в землю, Бог дал, Бог и взял. Буди имя Господне благословенно отныне и до века!» Отцы и учители — прерывает тут свой рассказ старец — пощадите теперешние слезы мои, ибо все младенчество мое как бы вновь восстает предо мною и дышу теперь, как дышал тогда детскою восьмилетнею грудкой моею, и чувствую, как тогда, удивление и смятение, и радость».

«Господи, что это за книга и какие уроки!» — восклицает старец и проникновеннейшими словами убеждает «иереев Божиих, а пуще всего сельских», сделать наконец Писание всенародною книгою. «Разверни-ка он — обращается старец к священнослужителям — эту книгу и начни читать, без премудрых слов и без чванства, сам любя словеса сии... Не беспокойся, поймут все, все поймет православное сердце! Прочти им об Аврааме и Сарре, об Исааке и Ревекке, о том, как Иаков пошел к Лавану и боролся во сне

с Господом и сказал: «страшно место сие», и поразишь благочестивый ум простолюдина». Так проходят перед нами в поучениях старца длинною чередою озаренные нездешним сиянием Ветхозаветные богоборцы и праведники, мученики и грешники вплоть до «прекрасной Эсфири и надменной Вастии». Лишь под конец, как бы спохватившись, старец прибавляет: «Не забудьте тоже притчи Господни, преимущественно по Евангелію от Луки (так я делал), а потом из Деяний Апостольских обращение Савла (это непременно, непременно!), а наконец, и из Четьи-Миней...» Какое поразительное предпочтение Ветхого Завета Новому. «Ибо люблю книгу сию!» — говорит старец о Священном Писании евреев: «Какое чудо и какая сила, данные с ней человеку. Точно изваяние мира и человека и характеров человеческих, и названо все, и указано на веки веков».

Если еще до недавнего времени можно было сомневаться, что тут перед нами исповедание самого Достоевского, то теперь, после напечатания писем Федора Михайловича к Анне Григорьевне и последние сомнения должны исчезнуть. Вот что пишет Достоевский 10-го июня 1875 года из Эмса: «Читаю книгу Иова, и она приводит меня в болезненный восторг; бросаю читать и хожу по часу по комнате, чуть не плача... Эта книга, Аня, странно это — одна из первых, которая поразила меня в жизни, я был еще тогда младенцем». Как и светлейший из созданных им образов, так и сам Достоевский обязан был душою своей души, ожившим в нем с новою силою Словом Божиим — «сей книге»: Закону, Пророкам, Писаниям.

И въ этом сердце могла зародиться и расцвести вражда к тому народу, который понес божественную книгу в мир, который ради нее принял на себя всю муку исторического существования? Мы видим: «банальный» антисемитизм Достоевского перестает вдруг казаться заурядным и простодушным и облекается в какую то загадочную, чтобы не сказать противоестественную форму. Первое впечатление было, значит, всетаки обманчиво, и лишь теперь вопрос об отношении Достоевского к еврейству начинает вырисовываться во всей своей сложности.

IV

Чтобы заострить открывшееся перед нами противоречие до конца, необходимо сделать шаг как бы в сторону и поставить вопрос: а каково было отношение Достоевского к другим народам помимо еврейского? — Его художественные и публицистические произведения дают богатейший материал для разрешения этого вопроса не только в отношении к ближайшим соседям русского народа, к полякам, например, или к татарам, но и ко всем передовым

национальностям современного Запада: к немцам, французам, англичанам. И право, трудно сказать, кому больше достается от Достоевского: сородичам ли убогого Исайки, или соплеменникам и современникам повстанцев 63-го года, Бисмарка и Мак-Магона. Поляк — по Достоевскому, суетлив, чванлив, труслив: немец, хоть и добродушен и добропорядочен, но туп, как неотесанная колода: в противоположность ему француз смышлен и ловок, но зато пуст, как дырявый мешок; не чета французу—англичанин, на которого можно положиться, как на каменную гору, но упаси Бог искать в нем ума; швейцарец— тот просто «ослик», а турок или татарин—что, впрочем, может быть хуже татарина: «Шурум-бурум»?.. Но что всего печальнее: все они вместе и каждый из них порознь осуждены историей на неизбежную гибель, над всеми произнесен окончательный приговор. Потому что есть лишь один народ на свете, которому принадлежит будущее, который призван владеть миром и спасти его: народ русский, народ — богоносец.

Эту заветнейшую свою мессианскую думу и мечту Достоевский, как известно, выразил в самой заостренной форме устами Шатова: «Если великий народ не верует, что в нем одном истина (именно в одном, и именно исключительно), если не верует, что он один способен и призван всех воскресить и спасти своей истиной, то он тотчас же обращается в этнографический материал, а не в великий народ. Истинно великий народ никогда не может примириться со второстепенною ролью в человечестве, или даже с первостепенною, а непременно и исключительно с первою».

Как странно звучат эти слова! Словно из глубины тысячелетий, из седой ветхозаветной старины доносятся они до нас, и кажется, будто говорит их не русский человек о русском народе, а библейский кудесник о родном ему Израиле. И действительно, для Шатова — Достоевского богоизбранный русский народ и есть в сущности ныне воскресший Израиль. Стоит лишь вспомнить о словах, сказанных тут же, несколькими строками выше: «Всякий народ до тех пор народ, пока имеет своего бога особого, а всех остальных на свете богов исключает безо всякого примирения, пока верует в то, что своим богом победит и изгонит из мира всех остальных богов. Так веровали все с начала веков, все великие народы, по крайней мере, все сколько нибудь отмеченные, все стоявшие во главе человечества. Против факта идти нельзя. Евреи жили лишь для того, чтобы дождаться Бога истинного и оставили миру Бога истинного» («Бесы», ч. II, гл. I, VII). «Еврей без Бога как то немыслим; еврея без Бога и представить нельзя» — говорит Достоевский и прямо от себя в «Дневнике».

Так вот откуда у Достоевского это бьющее в глаза противоречие. От еврейского народа, от величавого памятника его древности, от Библии, думается ему, унаследовал он свою направляющую идею: свой мессианизм, веру в

богоизбранность русского народа, религию «русского Бога» (выражение Достоевского в письме к Майкову) — и вдруг, откуда ни возьмись, словно из под земли выростает на его пути тщедушная, уморительно смешная фигурка каторжника «Исайки», из последних сил дерзко вопящего: Как так унаследовал? По какому праву? А я? Разве я уже и не существую вовсе?... «Но есть на одна — перебивает его вне себя от гнева Достоевский —, а стало быть только единый из народов может иметь Бога истинного». Стало быть, можем мы продолжать эту мысль от себя: либо мы, русские, либо вы, евреи; или точнее истинный Израиль ныне — народ Русский. Стоит только русскому народу отказаться от веры, что лишь он один вправе притязать на еврейскую, в Священном Писании евреев увековеченную мессианскую идею, стоит лишь пошатнуться этой вере, и он сразу распадется, распылится, станет всего только «этнографическим материалом». Но и обратно: если историческая истина, будущность и спасение всего рода человеческого поручены Провидением России и русским, тогда все еще странствующие по свету евреи всего лишь историческая пыль—«жиды, жидки, жидишки». В «Преступлении и Наказании» в эпизоде сравнительно мало заметном (ч. VI, гл. VI) внимательный читатель найдет и этот, с логической необходимостью навязывающийся Достоевскому вывод.

Когда Свидригайлов принимает свое последнее решение и выходит на грязную петербургскую мостовую, чтобы «при официальном свидетеле» положить конец своей жизни, внимание его приковывается к дежурящему у пожарной каланчи «человечку в Ахиллесовой каске»: «Дремлющим взглядом, холодно покосился он на подошедшего Свидригайлова. На лице его виднелась та вековечная брюзгливая скорбь, которая так кисло отпечатлелась на всех без исключения лицах еврейского племени. Оба они, Свидригайлов и Ахиллес несколько времени молча рассматривали один другого»... Свидригайлов берется за револьвер, между тем как возникший в густом молочном тумане мифический герой без устали шепелявит: «А-зе, здеся нельзя, здеся не места». Но что за дело Свидригайлову до гнусавого предостережения хилого Ахиллеса: он взводит курок и раздается выстрел. — Если вспомнить, что у Достоевского, особенно в совершеннейшем из его произведений, нет ни одной сцены, ни одного образа, ни одного слова, которые не имели бы более глубокого, иносказательного значения, то это жуткое прощание Свидригайлова с жизнью представляется сперва как бы неразрешимой загадкой, которая, однако, легко раз'ясняется при первом же сопоставлении «идеи» Свидригайлова с собственным взглядом Достоевского на сущность еврейства. Свидригайлов возмущен до последней глубины идеей вечности или бессмертия, как дурной безконечности, он восстает против вечного шага на месте, против вечного возвращения, и какая встреча могла бы нагляднее воплотить перед ним всю бессмыслицу существования ради голого существования, нежели

греча, с от века призрачно существующим евреем, с Вечным Жидом! Подоб- ручному «попугаю», он твердит везде и всегда свое жалкое: «здесь не место» не место умирать, не место восстания против «закона» жизни и его непре- жности. Пусть призраки скорбно довольствуются таким отрицательным верждением жизни — истинно живой предпочитает этому проклятию само- хранения полное самоуничтожение. Лишь тот, кто не влеком своим Богом добно жертве бессловесной, а сам пролагает Ему и помазанному Им Спаси- ю путь вперед, имеет обязанность и право жить.

Так «антисемитизм» Достоевского раскрывается перед нами, как другая, к оборотная сторона и истинное основание собственного его «иудаизма». жущееся противоречие есть на самом деле прямолинейная, железная ло- ка.

V

Однако, вопрос наш все еще далеко не исчерпан.

Если бы Достоевский был лишь сухим, одержимым одним только стрем- лением к последовательности теоретиком, дух его, быть может, и успокоился на этом хитроумном построении, и его причудливая, чисто логическая юдо- обия, была бы не чем иным, как отбрасываемой его «русским Богом» нью. Но Достоевский остается и в своем отношении к еврейству неизменно рен последним глубинам своего существа, и сердце, его, место битвы добра зла, изборожденное мучительнейшими сомнениями и противоречиями, храняет и в этом вопросе последнее слово за собой. Та самая статья о рейском вопросе, с которой мы уже познакомились, как с документом не- мненейшего жидоедства, являет нам ряд моментов, никак не вмещающихся понятие антисемитизма, больше того, прямо ему противоположных. Прежде его следует тут отметить то благоговение, с которым Достоевский подходит так называемому им самим заключенному в кавычки «еврейскому вопросу», вство, которое в таком напряжении редко встречается даже у самых бурно- аменных еврейских националистов. «О, не думайте—восклицает Достоев- ий в самом начале своей статьи,—что я, действительно, затеваю поднять врейский вопрос»... Поднять такой величины вопрос, как положение ев- ев в России, и о положении России, имеющей в числе сынов своих три иллиона евреев — я не в силах. Вопрос этот не в моих размерах». И дальше: Не настали еще все времена и сроки, несмотря на протекшие сорок веков, окончательное слово человечества об этом великом племени еще впереди». И сильнейшие цивилизации в мире не достигали и до половины сорока веков теряли политическую силу и племенной облик. Тут не одно самосохранение тоит главной причиной, а некая идея, движущая и влекущая, нечто такое

мировое и глубокое, о чем может быть человечество еще не в силах произн своего последнего слова. «Евреи — почти исступленно восклицает Дост ский в другом месте — народ беспримерный в мире».

Слыханное ли дело, чтобы «антисемит» говорил таким языком?—По то Достоевский в этой столь изобилующей всякими «pro и contra» ст и протестует так решительно против «тяжелого обвинения» будто он навидит «еврея, как народ, как нацию». Это вторая в высшей степени с образная черта в личном отношении Достоевского к еврейству. Перед ми юдофобия, как бы стыдящаяся самой себя, вражда к еврейству, враж щая с самой собой, себѣ же перечащая, сама себя опорочивающая. «К и чем заявил я ненависть к еврею, как к народу?» — восклицает Дост ский. «Так как в сердце моем этой ненависти не было никогда, и те св, которые знакомы со мною и были в сношениях со мною, это знают, то с самого начала и прежде всякого слова, с себя это обвинение снимаю на всегда, с тем, чтобы уже потом об этом и не упоминать особенно». Это б чем категорическое заявление, кажется, однако, Достоевскому все еще достаточно убедительным он, очевидно, чувствует, что ему очень тру, как он сам говорит, «оправдаться», и он снова и снова, чуть ли не кляне, что он не «враг евреев». «Нет, против этого, я восстану, да и самый ст оспариваю». С такой упорной настойчивостью отрицает Достоевский враждебное отношение к еврейству, на тех самых страницах, на кото собраны ходячие, нелепейшие клеветы против евреев, и именно, «как нар, как нации». Больше того: сейчас же после ссылки на внутреннюю оправ ность «всеобщей» ненависти, Достоевский выставляет утверждение, что в русском народе нет никакой «предвзятой, априорной, тупой, религиоз какой нибудь ненависти к еврею... Весь народ наш смотрит на еврея, повто это, без всякой предвзятой ненависти». Вот тебѣ и «всеобщая ненавис»! Ведь значит же что-нибудь слово «весь», невольно восклицаешь против стоевского его же словами (см. выше, II).

Умонастроение, проявляющееся во всех этих почти хаотических з лениях, раскрывает перед нами уже не чисто теоретическое только, т или иным средствами логики преодолимое противоречие, но бросает ярк свет и на ту страшную борьбу, которая раздирала сердце Достоевск, на тот острый внутренний конфликт, который обременял его совесть. Е еврейский вопрос представлял для него, как мы видели, не предмет от ченного умствования, а один из наиболее жгучих вопросов его личного и ведания, его веры в последний смысл и значение собственного жизнен дела. Так русский провидец Достоевский выступает перед нами в стол

нии своем с Израилем, как некий двойник и противообраз древнего пророка Валаама. Валаам готов был проклясть Израиль и не мог не благословить его; Достоевский, полный восторженного исступления, хотел бы прославить еврейский народ, и все же не в силах не проклинать его. Он готов превознести еврейство, как превозносит сын отца своего по духу, и не может не отречься от него, потому что всецело одержим тем ложно истолкованным мессианизмом, для которого историческая благодать в каждую эпоху покоится лишь на одном единственном народе. Тем более, что несмотря на всю свою одержимость, Достоевский непрерывно мучим сомнением: он никогда не уверен вполне и до конца, что еврейский народ действительно лишь призрачная тень былого величия. «Что свой промыслитель с своим идеалом, и своим обетом продолжает вести свой народ к цели твердой, это то уже ясно. Да нельзя, повторяю, я, даже и представить себе, еврея без Бога»... Не значит ли это, другими словами, что и Бога без евреев представить нельзя? Не завела ли его безмерная любовь к русскому народу,—так не мог не спрашивать себя сам Достоевский — на ложный путь? Кто порукой в том, что русская земля и русская народность воистину призваны родить в лоне своем Грядущего Спасителя? Ничтожнейший из «дежурящих» евреев казался ему как бы решающим свидетелем противной стороны, стороны, опровергавшей упование Достоевского в собственной его душе...

Что же оставалось делать? — Судорожно сжимая кулаки, Достоевский самому себе наперекор, с скрежетом зубовным все снова возвращался к исходной своей мысли, что еврейский народ, как бы и не существует, что вся его жизненная сила и энергия — сплошная видимость, всего лишь потуги на бытие, что вся религиозная проникновенность евреев, все их моления и чаяния, их скорбь и восторги — лишь жалкий маскарад, лишь механические, бездушные телодвижения. Да и говорят-то евреи, как писал под самый конец, своей жизни Достоевский жене, «не как люди, а по целым страницам, точно книгу читают».. «Целые томы разговоров»... (письма из Эмса от 28 и 30-го июня 1879 г.).

Чтобы хоть отдаленно почувствовать всю горечь терзавших Достоевского сомнений, не надо ни на минуту забывать, что из постулатов его веры для него следовали самые смелые практические выводы. Пламенное воодушевление, с которым отстаивал Достоевский целые десятилетия права России на Константинополь, питалось в последнем счете, как легко в этом убедиться при более внимательном чтении всего написанного им по восточному вопросу, непоколебимой уверенностью, что вместе с Царьградом России достанутся ключи к «Святой Земле», к Палестине. Палестина же должна была, по мысли Достоевского, потому во что-бы то ни стало сделаться нераздельной частью России, что там, где совершилось Первое Пришествие, должно свершиться и Второе,

и значит, если верно, что оно должно свершиться в России, то Палести... только будет, но уже и сейчас как бы Русская земля. Покуда существ... однако, народ Израильский, покуда не вычеркнут он из списка живых, ...тая Земля, попрежнему остается обетованной землей семени Израиле... право России, как и все ее всемирно-историческое призвание, снова под ...росом.

Так на всех своих путях Достоевский сталкивался с евреями и ев...ством: в мире диалектической мысли, в вздыбленной верою и сомнением ... своей, но также и в сфере злободневных политических вопросов. Впро... все эти измерения его духовного горизонта всегда пересекались для не... одной единственной точке, в том последнем источнике его неизсякаемой т...ческой энергии, для которого он знал одно лишь священное имя: Рос... Поистине, библейский по величию образ. Образ, невольно напоминаю... древнейших еврейских провидцев, еще не удостоившихся вознестись н... высшую вершину пророчества, с которой преемникам их и продолжате... скоро раскрылась во всей своей безмерности всеоб'емлющая и всепр...ряющая всечеловечность.

А. З. Штейнберг

ДВЕ ОПЕРЫ СТРАВИНСКОГО

«Мавра»

I

Вторая опера Стравинского «Мавра», по своему значению находится в тре всего им созданного за последние годы. Она была сочинена и впервые олнена в 22 году — и однако до сих пор еще не оценена и не признана. вра» вызвала негодование однихъ, услышавших ее как «тривиальность», авнодушие другихъ.

Для круга близкого к музыке Стравинского эпохи «Весны Священной» — вра» стала неприемлемой по существу. Здесь создалась привычка, даже ребность — находить в каждом его новом сочинении «потрясающие» чности. У любителей выработались почти «традиции» стиля Стравинского. али от его новых произведений — продолжения «Весны», ея стихийной ы и бунтарства.

Недоумевали, что этого больше нет, и не прощали. Недоумевали модер-ты, обиженные тривиальностью и «шаблоном». Опера разочаровала, ъ может, тех же людей, которые были свидетелями первых исполнений сны» и роста ея значения, разочаровала тех, кто, как казалось, проследил ь путь Стравинского за десятилетие, отделяющее «Весну» от «Мавры» м и об'ясняется неуспех «Мавры» и восторженность, с которой была встре-а через год «Свадебка», показавшаяся (после «неудачной» Мавры) воз-том на старую дорогу.

«Мавра» оказалась всего менее понятой, так как в ней Стравинский ре-тельно и точно проводил свои новые принципы. В действительности этот ый его путь в музыке начался гораздо раньше — с «Истории Солдата» и льчинеллы». Там уже были даны те характерные черты новой формальной туры, которые в «Мавре» выражены с предельной законченностью.

Единственное, что отделяет «Мавру» от других вещей последнего перио- это ее коренная связь с русским искусством и культурой. В отличие от вры», все остальные новые сочинения Стравинского строятся на основе, : бы всенародной, вне национальных отличий стиля и музыкального язы- «Мавра» в этом смысле исключение. Она прежде всего национальная рус- я опера, как «Жизнь за Царя», или «Евгений Онегин». А вместе с тем она т и новые возможности возрождения оперной формы на Западе, если ре вообще суждено возродиться.

2

Упадок оперы на Западе — результат вагнеровского наследия. Так наз ваемая музыкальная драма постепенно поглотила чистые оперные форм. Вырождаясь в псевдо-романтику, post-вагнеровский театр своей ритори скoй эмоциональностью уничтожил инструментальную пластику классич ского стиля. Для западной оперы «Мавра» может стать формальной опоро Несмотря на глубоко русский характер «Мавры», определяющий в основе музыкальный язык, и лиро-эпическую ее атмосферу, благодаря принципа ее конструкции она может и должна быть постигаема под углом зрения вн национальным. Об'ективная ценность «Мавры» — в методе ее формально строя. В этом же формальном методе скрывается и причина ея непонятост до сих пор, ее «парадоксальности».

Возрождая русскую национальную оперу в ее классических линия и наряду с этим создавая залог нового расцвета классической же формы оп ры на Западе, Стравинский в «Мавре» возвращает нас к чистому первоисто нику — к операм Глинки прежде всего. Путь от «Жизни за Царя» к «Руслан и Людмиле» — это весь путь, пройденный Глинкой. «Руслан» в свое врем был логическим следствием «Жизни за Царя». И что же? «Жизнь за Царя была (относительно) принята русским обществом — главным образом благ даря патриотическому сюжету. «Руслан» же оказался для современников не удобоваримым блюдом. От этой оперы попросту отмахнулись — и на изрядны срок. Глинка сам свидетельствует о первом исполнении «Руслана и Людмилы оперы, которую он считал высшим своим достижением, и которая стала осно вой для всей последующей русской музыки, в ее национальном идеале:

«Когда опустили занавес, начали меня вызывать, но аплодировали очень недружно, между тем усердно шикали, преимущественно со сцены и оркестра. Я обратился к бывшему тогда в директорской ложе генералу Дубельту с вопросом: «Кажется, что шикают, итти ли мне на вызов?» —

— «Иди» — отвечал генерал — «Христос страдал более тебя».

«Руслан» при жизни автора не был понят вовсе. Он был оценен уже после смерти Глинки и стал фундаментом, на котором воздвигалось здание русской национальной музыкальной школы. «Руслан» был тем заветом, который при-няла «пятерка» в первом периоде существования балакиревского кружка. Но ясного понимания той линии, которая шла от Глинки — у «пятерки» никогда не было. Уклон, ею взятый, в результате привел русскую музыку (главным образом в лице Римского-Корсакова) к псевдо-русскому национализму, вскормленному немецкой схоластикой.

При внешней видимости связи с Глинкой, наследие его в ту пору русской музыкальной культуры было подвергнуто разработке и кажущемуся формальному расширению — но отнюдь не углублению и развитию чистой линии, им явленной. Линия Глинки в своем существе до сих пор продолжена не была. Независимо от этого, отношение к «Руслану» русских передовых музыкантов того времени характерно для них в той же мере, как наше отношение к «Жизни за Царя». Нам ближе теперь «Жизнь за Царя»—чистотой примитивных форм и музыкальной целиной. Может быть, именно благодаря своему примитиву (при всей более значительной в прошлом роли «Руслана», которого мы ценим, как совершенное воплощение русского музыкального Ампира) нам

нужнее» «Жизнь за Царя». Так и у Чайковского — «Евгений Онегин» нам ближе «Пиковой Дамы», несмотря на большее формальное совершенство последней. Или у Баха — Johannes-Passion, а не Matheus-Passion.

«Мавра» воскрешает нарушенную связь с линией Глинки, устанавливает ее на иных основаниях, и рефлективно отражает Глинку — не «Руслана», а «Жизни за Царя». Независимо от роли, которую сыграла «Жизнь за Царя» в создании «Мавры» — опера Глинки и в прямом смысле ждет своего восстановления.

Кроме Глинки, «Мавра» возвращает к Чайковскому, который стал в этом произведении связующим звеном между Глинкой и Стравинским. Генеалогическую линию «Мавры» можно определить так: От «Жизни за Царя» через Чайковского к современному канону. Отношение к Глинке для Стравинского — вопрос чистоты национальной традиции и коренной связи. Общность с Чайковским — основана почти на семейном кровном сходстве, при всей разнородности темпераментов и вкусов...

Сознавая свою разобщенность с музыкальным модернизмом, оглядываясь на русскую музыку в прошлом — Стравинский должен был связать себя с Чайковским. Это было естественной реакцией против изжитого модернизма. Сродство с Чайковским, всегда существовавшее, сознательно раскрыто лишь в «Мавре», позже в «Октете». Возврат к Чайковскому, его переоценка, произведенная Стравинским в период создания «Мавры», и дальнейшее закрепление этой позиции — окончательно расшатали бывшую и без того безжизненной идеологию стана модернистов. Некоторые из передовых французских музыкантов нашли в Гуно своего Чайковского. Отмечая факт, воздерживаюсь от сравнений.

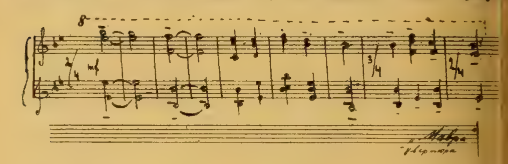
В музыке Чайковского были спрятаны ключи к подлинному реализму, который стал идеалом наших дней. Стравинский их нашел и овладел ими. Любя Чайковского, нельзя не влюбиться в «Мавру», — она живая память о Чайковском, чудесно воскрешенная Стравинским.

3

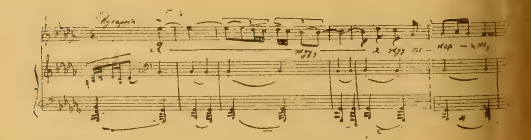
Въ «Мавре» прежде всего удивляет незначительность сюжета, как бы нарочитая его ничтожность. Для близоруких, это убожество сценической фабулы низводит произведение на уровень театральной шутки, к «мелочам» такого рода, о которых не стоит говорить. Но дело в том, что сюжет «Мавры» — не анекдот, выхваченный из «Домика в Коломне». Ея сюжетом является чисто-музыкальная формальная задача... «Мавра» построена на анекдоте по своему сценическому действию, но восходит к национальной лиро-эпической опере по своему действию музыкальному. Здесь обратное тем бесчисленным операм, которые строясь на сложнейших сюжетах — мифологических, исторических, символических и пр. — музыкально их не разрешают никак. В «Мавре» связь с поэмой взята минимальная, только как точка отправления. Фабула «Мавры» — это только трамплин для прыжка на музыкальную трапецию, и в этом смысле она отвечает своему

назначению. От пушкинской октавы в либретто оперы Стравинского нич
не остается, за исключением двух строк:

> «Где взять кухарку? Сведай у соседки,
> «Не знает-ли? Дешевые так редки!»

Стравинский не иллюстрирует «Домик в Коломне». Он создает произ дение, однородное с пушкинским по типу и методу. Как и в «Домике в Коло не» и в «Мавре», центр тяжести в том, что находится о к о л о фабул

В плане интимно-вкусовом Стравинский воплотил в «Мавре», то что он вс да любил: ту светотень русского городского мелоса и специфический б товой колорит, песенный и инструментальный, которые ему всегда бы милы. В «Мавре» он выразил это острее чем когда либо прежде. Но э момент личный в его творчестве, о котором сейчас судить не станем. Д нас важен интегральный характер произведения и об‘ективная ценност в нем явленная.

Генетическая связь с источниками возникновения русской оперы, отказ от всего, что было принято считать ее эволюцией—вот то,что важ в «Мавре», прежде всего. Для каждой эпохи в искусстве характерно только то, что утверждается, но в равной мере то, от чего отказываются. Э отрицание целых этапов прошлого музыкальной истории очень значителы для настоящего момента в творчестве Стравинского. Принятіе «Мавр обуславливает прежде всего выпадение из плана современности все вагнеровского театра, и музыкальной драмы по Вагнеру, проводившей его последователями, во главе с Рих. Штраусом в Европе и Р.-Корсаковы в России.

Примитивизм в «Мавре» — намеренный. Кажущиеся нищета и убож ство — результат творческой воли и художественного сознания.

При ближайшем рассмотрении партитуры «вооруженным глазом», и роверке искушенным слухом, примитивизм «Мавры» оказывается результатом синтеза, вне которого рождение примитива, невозможно. «Мавра» своей простоте таит весь опыт, проделанный Стравинским в прошлом и ють следствие зрелого мастерства.

4

Музыкальный текст в «Мавре» строится на двух началах: 1) элемент есенности, делящийся на чистую лирику и бытовую интонацию, и 2) элеент инструментально-пластический. Метр и ритм служат целям координации и в отношении конструктивном имеют первенствующее значение. В Мавре», метр ф о р м и р у е т д в и ж е н и е звуковой ткани,и это его азначение преимущественно сообщено инструментальному сопровождению. итм определяет с т р о е н и е и соотношение звуковых частей в песеном мелосе. Когда инструментальная часть перестает быть сопровождеием и становится самостоятельной, ритм играет ту же роль по отношению этим очень кратким, чисто инструментальным моментам.

При лирической основе вся опера в целом очень динамична. Музыльный поток бежит в ней непрерывно, порою стремительным, порою вным движением, с такой чистотой, что мы как будто видим, сквозь розрачную звучащую пелену, русло, по которому он пробегает.

Динамизм, столь свойственный всегда Стравинскому, дан в «Мавре» илением роли метров. Они в опере — как двигатели и рычаги. Метрам общено значение самостоятельное, они независимы от ритмической конрукции , но приведены к взаимодействию с нею. Они же частью опреляют и н с т р у м е н т а л ь н ы й к о л о р и т в опере, и характер ее сто м у з ы к а л ь н о г о движения, в отличие от движения с ц е и ч е с к о г о в собственном смысле. В «Мавре» метрам и ритмам сообн совершенно нейтральный, как бы безличный характер. Их задача—не том, чтобы развивать эмоцiональную энергiю, как это было прежде, пример в «Весне». В «Мавре», (как и в других последних сочинениях) тр есть сила, приводящая в движение конструктивные звуковые об'емы. определяет ф о р м у д в и ж е н и я. Ритм — величина, строящая учащие соотношения. Он определяет ф о р м у с т р о е н и я. Темп связь между ними, он р е г у л я т о р с к о р о с т е й. Эмоциональная намика, на которой были основаны прежние его произведения, (наиболее кий пример в этом смысле — та же «Весна Священная») — преодолена. верждается динамика чисто-музыкальная, вне эмоциональной инспиции. Цель, таким образом устанавливаемая, заключается в достижении ти механической «отрешенности». Приобретается точность двигательной ы метрических элементов, наибольшая их протяженность и устойчить.

Музыкальный язык «Мавры» предельно прост и ясен. Он определяется имущественно характером ее мелодий. Основа — тональная диатоника, ке ладовая — конструкция. Частое пользование чередованием одноименк мажора и минора, сопоставлением искусственного и натурального

лада. Все претворено в чисто-песенные линии, даже бытовые интона и. Нигде нет речитатива. Интегральность песенных форм — одна из наиб ь ших ценностей этой оперы. В смысле технического мастерства конструк и, опера построена безупречно.

Не прерываясь в движении, пропорции частей и музыкальных пери слажены так, что примыкают друг к другу совершенно незаметно, без я ких промежуточных звеньев. Как китайские лаковые коробки, вложе одна в другую. Расстояние между отдельными частями настолько то верно, что чувствуешь воздух, проходящий между ними, как между д смежными предметами. Это достигается умением давать широкие син ческие обобщения звуковых масс и линий, безпощадным уничтожением ненужного для движения и развития этих линий.

Кадансы и заключительные коды, при переходах от одного эпизо к другому в «Мавре» упразднены и замещены тем что может быть наз системой музыкальных «автоматических дверей», которые непосредств вводят один эпизод в другой. В этих моментах — (иногда это октава, и да терция или септима) — скрытые обобщения, приводящие к самым стым отношениям традиционные музыкальные формулы, распылявш в прошлом своим орнаментом и росчерком общую динамику целого. С авинский применяет этот прием для скрепления между собою следую х один за другим эпизодов, создавая на этой передаточной цепи непре вную стройность.

В классической опере существовала мозаика следующих друг за др м музыкальных частей. в романтической драме большая или меньшая их т у кучесть, Стравинский же создает синтетическую конструкцию целого.

Благодаря мастерству обобщений, фактура произведения получа я совершенно ровная, без срывов и разницы в звуковой напряженности. (р мальный метод, положенный в основу — нормирует все произведени и точно контролирует его температуру. Непосредственное вдохновенье и вая энергия распределены равномерно, как правильное кровобращение н ганизму. Вместе с тем, при всей прямолинейной жестокости проведения р мальный метод скрыт, и как целое. опера воздействует эмоционал о, не вызывая вопроса о том, как она сделана.

5

По своему оркестровому колориту, «Мавра» не имеет самостоятель го значения. Ея оркестр является логическим продолжением инстру н тальных принципов, характерных для всех последних сочинений Стра к ского. Здесь налицо то же построение на тембрах и об'емах, основой я которого служит не звуковая раскраска («вкусовая»), а вес, плотно и проницаемость звуковых об'емов, а также качество звуковых темпера р. Совершенно своеобразная прелесть инструментального колорита соз на женскими голосами , «закованными» в медь.

Как русская опера, «Мавра» показала Западу ту сторону рус й музыки, с которой европейскому искусству до нея не приходилось сопр а саться. Между тем, «Мавра» явилась лишь новым проявлением этого ст я.

издавна существующего. Это — культура русского городского, преимущественно петербургского, романса. Линия эта, идущая от Глинки и музыкантов его окружения, на Западе почти неизвестна, в противоположность той, которая идет от Мусоргского. Даргомыжский шел непосредственно за Глинкой, он еще носил в себе наследие той эпохи, но он же положил начало драматической музыке, которую позже утвердил решительно Мусоргский. Драматический эпос был создан Мусоргским — на основах народного песнотворчества. Уделом Глинки была романсная и песенная лирика. Обе эти линии одинаково значительны для русского искусства, и нельзя понимать русскую музыку, отвергая одну из них. Между тем, только творчество Мусоргского внедрилось на Западе и воздействовало на европейскую музыку. Отношение к русской музыке было увлечением стихийной силой и, главным образом — новой экзотикой. Чем больше насыщено было произведение народностью, тем больше оно впечатляло. Не ушло от этого и отношение к Стравинскому, которого считали едва ли не прямым продолжателем Мусоргского. Если в первом его периоде (от «Весны» до «Свадебки») для этого и были основания, то с «Маврой» Стравинский входит в совершенно новую для запада природу русской музыки.

Фольклор, как непременная основа музыкального сочинения, в «Мавре» отсутствует, и вместо него взят городской романсный стиль, который после Чайковского был у русских музыкантов в пренебрежении, считался недостойным «высокого» искусства, и из чистого художественного плана снизился к музыкальным произведениям 2-го и 3-го разряда.

6

Происхождение этого стиля сложно. Корни его уходят далеко в прошлое русской музыки. Гусляр Трутовский, в первом из известных нам сборников народных песен (18-ый век), уже показал первоначальные примеры деформации и смешения народной песенности с городской романсной лирикой, обнаружив уже тогда существовавшие влияния итальянской и французской музыки на русскую. У него это влияние, отразившиеся на формах музыкального быта в народе. Одновременно они появляются в городской жизни, и песенно-романская лирика получает самостоятельное развитие, все более расширяясь — параллельно формам русской музыки, которые возникли на основе фольклора. Наконец, в эпоху Глинки этот романсный стиль стал преимущественной основой музыкального творчества. После Глинки он падает все больше и больше, оставаясь исключительно в сфере музыкального быта города и салона. К этому же времени сюда привходит и цыганская струя. Высший расцвет петербургско-московского романсного стиля связан с эпохой русского empire'а. После этого он все больше вульгаризируется, и одновременно расширяется в быту, становясь главным музыкальным выражением городского мещанства, и является аналогичным тем «вульгарным» формам псевдо-народной песни, которые мы знаем в больших городах Запада.

Стиль этот — острый сплав элементов западной (преимущественно итало-французской) песенной лирики, иногда немецкой псевдо-классической, с

цыганским и русским фольклором. После Глинки, он переходит к Даргомыжскому, который выразил его в «Русалке», но от него ушел в «Каменном Госте» — произведении, с которого начинается развитие в России музыкальной драмы. Дальше только еще Чайковский черпал из этого источника. После него этот стиль исчез из обихода русских музыкантов. К середине XIX в. стихия романсной лирики, покинутая музыкой, уходит в русскую поэзию, и со времени такого замечательного поэта, как Аполлон Григорьев, целиком вскормленного ею. В наши дни очень ярким выразителем той же романсной стихии был Александр Блок. Но в музыке этот стиль был забыт. Стравинский вспомнил о нем и создал «Мавру».

7

Основная тенденция «Мавры» — заключается в ее обнаженной прямолинейности, в системе музыкальных мыслей, переходящей порою к упрощенности. Это и составляет парадоксальность «Мавры».

Расцветшая у тех истоков русской музыкальной жизни, где русская музыка в сущности была утонченной культурой любителей, где профессионального музыкального искусства, в нашем смысле понимаемого, не было еще и в помине — «Мавра», несмотря на все ее изумительное формальное мастерство и техническое совершенство — в целом сама отсвечивает этим дилетантизмом и почти неумением. В этом то и есть, на мой взгляд, ее тончайшая прелесть и волшебство ее очарования. Порою не знаешь, что это — задушевная лирика, или ироническая маска. Но весь смысл «Мавры» в том, что воспринимаешь ее как исключительно непосредственное произведение, веришь в безусловную искренность ее лирического пафоса. На уровень рядовой эстетической стилизации не удается низвести ее никакому любителю этого рода сочинений.

В «Мавре» Стравинский ушел почти вне профессионального искусства. Стремясь к выражению наибольшей правды и простоты «Мавра» пытается не быть профессиональной музыкой вовсе. Для поставленной здесь цели выпадение из профессионального опыта современности — неизбежно. Бесспорно то, что уйдя из опыта существующего, «Мавра» с силой и убедительностью, пока еще не многим видной, создает новый опыт, свой. Окажется ли он победителем, сумеет ли заместить существующие безжизненные оперные традиции? Или окажется индивидуальным эпизодом? Это вопрос будущего, относящийся не только к «Мавре», но ко всему творчеству Стравинского в настоящее время.

«Oedipus Rex»

I

После трех лет, отданных созданию фортепианных сочинений, Стравинский вновь выступил с театральным произведением. Он только что закончил свою третью оперу Oedipus-Rex, над которой работал почти полтора года.

«Эдип» назван Стравинским оперой-ораторией. Эта устарелая форма уже давно ушла из живой музыкальной практики. Она стала достоянием профессоров консерваторий и задачей для конкурсных соревнований. Нужна была смелость, для того чтобы вернуть ее к жизни. Оратория, это обширное музыкальное сочинение для сольных голосов, хора и оркестра, написанное на какой либо возвышенный текст. Так говорит любое школьное определение и оно эту форму исчерпывающе характеризует. Стравинский именно так ее и понял, создавая «Эдип». Оратория, как тип музыкального сочинения, привлекла его не чем иным, как стертостью и безличием. Хочу этим сказать, что ораториальная форма уже столь многими поколениями была так хорошо занята, что для нашего времени она стала tabula rasa, на которой уже нет ни малейших следов какого бы то ни было индивидуального вкуса. Это и нужно Стравинскому, который выбирает теперь форму для своей музыки, подобно хорошему хозяину, выбирающему прочные вещи для своего обихода. Точно также и сюжет «Эдипа» привлек Стравинского только тем, что он общеизвестен, над-национален и тем самым доступен сознанию всякого. Ничего иного за выбором именно этого сюжета не кроется.

2

Расцвет оратории больше всего связан с именем Генделя, и действительно «Эдип» неожиданно нас к нему возвращает. Говорю неожиданно, потому что все последние произведения Стравинского, утверждая Баха, тем самым являлись отрицанием Генделя, поскольку Бах — Генделю естественно противопоставляем. Но уже в «Серенаде» есть уклон к генделевским неподвижным гармоническим сферам. Бах и Гендель полярны. Бах весь в динамике многоголосия. Гендель — в статике гармонических созерцаний. Баховская полифония автономна и самопроизвольна, и его гармонии звучат для нас непредвиденно, почти случайно. Его полифония подчинена своим законам, основанным на самостоятельной жизни голосов. Гармонические же сочетания возникают как приятная неожиданность, оставаясь на втором плане.

У Генделя полифония, так сказать, стабилизирована, она сохраняет только видимость своей самостоятельности. В действительности же она служит образованию гармоний, становящихся самоцелью. Гармония Генделя создается за счет непроизвольной утраты энергии и свободы голосоведения.

Любя свободную природу многоголосия в музыке Баха, нам и гармония его дорога именно тем, что он ее не утверждает, как нечто самостоятельное. У Генделя же, наряду с безжизненной полифонией, и гармония превращается в мертвую схему.

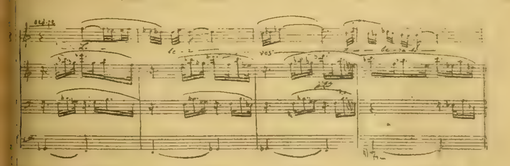
Отрицательное отношение к Генделю создалось как реакция современного музыкального сознания против чрезмерного развития гармонии и декаданса полифонии на протяжении 19-го века. Ко времени «импрессионизма» полифония попросту стала фикцией. Специфическая гармония стала самоцелью, и музыкальное творчество свелось к изощреннейшим изысканиям только в сфере гармонических образований. Полифония превратилась в гармонические вертикали. Она потеряла не только живое голосоведение, но и ритмическую основу. Ритм атрофировался. Он либо вовсе отсутствовал, либо стал условным. Музыка застыла в гармоническом оцепенении. Даже лучшая музыка этой эпохи была «le pays de la belle au bois dormant». Для того, чтобы пробудить ее к жизни, нужно было прежде всего вернуть ритмическую природу музыкальному творчеству. Стравинский выполнил это в свой юношеский период. Он сдвинул с места гипертрофические вертикали гармонии. «Весна» есть героический порыв к движению. Неподвижные гармонические массы стали расплавляться. Полифония возродилась, но все еще сохраняя зависимость от гармонии. Дальше Стравинский не только вернул ритм музыке, но разработал проблему музыкального движения на новых основаниях, с тонкостью до него неведомой. Дальнейшим этапом стало увлеченье музыкантов полифонией во что бы то ни стало. Создалась «атональная» музыка, (связанная с именем Шенберга), которая есть не что иное, как беспомощный возврат к многоголосию, основанный на «презрении» к гармонии, без знания канонов голосоведения. Наконец — теперь полифония создается на новых началах, приводимая же к органической связи с гармоническими принципами. Таким, образом столь недавний разрыв с прошлым оказался несостоятельным и не удался. Опыт прошлого века в области гармонии признан и взят за основу. Отсюда и современный эклектизм. Связь с прошлым установлена теперь, как будто, в целом и вопрос о доминирующем влиянии того или иного из больших мастеров 19-го века уже не имеет значения. Дело лишь в том, что связь устанавливается не с индивидуальностью того или иного из мастеров прошлого, а с опытом коллективным. Признаются только те формы из прошлого, возрождаются только такие формулы, которые оказались жизненными и способными к дальнейшей эволюции. Сейчас с большим основанием, чем прежде, можно говорить о музыкальном ренессансе, который отрицая решительно индивидуализм, восстанавливает безличные, но прочные формы прошлой культуры, заставляя их служить новому назначению. Итак возврат к гармонии совершился. Остановимся на этом. В частности, отношение к Генделю для Стравинского, в «Эдипе», не дело личной симпатии или индивидуального вкуса. Гендель, этот немецкий генерал от музыки, создавал в Лондоне безличную музыку, формальную как канцелярский язык. Музыка его скучна и стала для нас стертой монетой, но формулы его практически ценны. Стравинский взял их в «Эдипе», как переносят циркулем контуры, ибо они отвечали его практическим целям для данного момента. Отношение Стравинского к Генделю в «Эдипе», это не что иное, как «tenue musicale». Одеяние, приличествующее данному случаю.

В «Эдипе» Стравинский ушел от Баха к Генделю, потому что Бах глубоко индивидуален, Гендель же совершенно безличен. Связь с Бахом помогла созданию диалектического метода, значение которого огромно. Гендель же, как наиболее типичный формальный выразитель гармонического начала, помог полифонию привести в связь с гармонией.

Прямого сходства с музыкой Генделя в «Эдипе» нет, но его воздействие сказалось в том, что гармония появляется в этой опере на основном плане.

3

В «Эдипе» гармоническая диалектика сменяет полифоническую. Мне кажется — здесь центральное значение этой вещи и ее актуальная роль. Опыт Стравинского, предшествовавший созданию «Эдипа» диалектичен в смысле линеарной музыки. Он осуществлялся исключительно как бы в области пространственных музыкальных измерений. Его значение — в развитии музыкальной линии, ее устойчивости и протяженности, и в конструктивном сочетании линий, образующих полифонические ткани. В «Эдипе» центр тяжести перенесен в область гармонии. Предшествовавшая фортепианная «Серенада», была, в сущности, большим гармоническим этюдом к «Эдипу» и ее связь с «Эдипом» очень явственна. Уже в «Серенаде» контрапунктическое сложение непроизвольно, как прежде у Стравинского. Оно начинает окрашиваться в определенную гармонию. В «Эдипе» это выражено точно и решительно. Полифония «Эдипа» складывается в гармонию, как детские кубики складываются в заранее составленный рисунок.

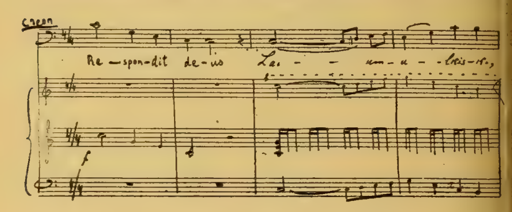


Полифония «Эдипа» не свободная и не динамическая. Она развивается в сфере гармоний, которые положены в основу оперы.

Прежде были опыты сращивания разнородных тональностей. Тональность расширилась и углубилась до установления полярных гармонических точек, в пределах которых она проявляется. В «Эдипе» это разрешилось тем, что свободное на вид голосоведение — насильственным, волевым порядком сжимается в строгую, аккордовую гармонию, окрашиваясь в эту гармонию и срастаясь с ней неуклонно. Контрапункт строится почти исключительно по аккорду, который его держит в подчинении. Создается некий идеальный синтез контрапунктическаго и гармоническаго начала, который вернее всего определить как «гармонизованный контрапункт». Хочу этим сказать, что здесь гармонизация не мелодии, а всего контрапункта,

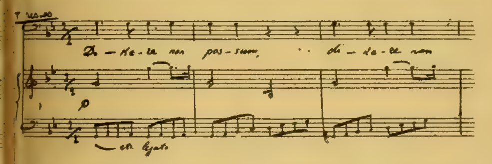
обращаемого в определенный гармонический рисунок. Не гармония сле ствие контрапункта, как это представляется традиционному понятию, контрапункт — следствие гармоний, его образующих. Основы этого можі в зародыше найти в технике итальянскаго ренессанса напр. у флоренти ских контрапунктистов 14-го и 15-го в.в. Диалектический смысл гармон «Эдипа» — в том, какой силы и жизнеспособности полифоническую энерги она развивает, т. к. полифония в данном случае только проекция этой гарм нии. Гармония «Эдипа», по первому впечатлению, кажется школьной и б нальной. В действительности она нова и необычайна. Она одновременно и эл ментарна и многообразна. Диалектизм этой гармонической техники в то как она проявляется одновременно в двух измерениях — плоскостном и об емном. И линия и краска. Последняя — не в смысле тембра, а в смысл гармонического цвета.

Гармония «Эдипа» есть просто напросто гармония тоническа



Было бы заблуждением считать ее тональной. Тональность взята почт исключительно в первой ступени. Но эта тоническая гармонія обла дает необыкновенной гибкостью и на протяжении одного и того же эпи зода она мгновенно переименовывается, обращаясь (как стрелка компаса из мажора в одноименный минор, или в какой либо иной строй. Огромны пространства музыки созданы в «Эдипе» на тонической гармонии. Они как б закрашены одной гармонической краской. Музыка «Эдипа» поэтому, ка жется вся полированной. Отсюда и ея откровенная «красивость». Нет н следа «сырых» звучностей, столь характерных для большинства его сочине ний основанных на независимом от гармонии свободном, контрапунктическо сложении. Красивость этой музыки отвечает и патетическому стилю весьма характерному для всего «Эдипа». Создавая патетический стил Стравинский в «Эдипе» конечно остался верен себе. Прежде он пользовалс нарочито «вульгарными» материями, создавая реалистические вещи. Осо бенно этим отличительна «Мавра». Теперь он взял штампованную лирик патетическую, для выражения возвышенных чувств. Он ее не измышлял, брал наиболее типичное и характерно банальное выражение музыкальног пафоса этого рода.

4

Музыка «Эдипа, проста до примитивности, лапидарна, точна, сжата и количественно экономна до степени последней необходимости. Создается впечатление, что всей музыки вообще очень мало. Нет и следа того пиршественного великолепия, которое было б «Свадебке». Но это малое количество музыки проявлено в «Эдипе» с такой волевой силой и с таким удивительным мастерством, что он кажется безконечно насыщенным. Мы видели, какая роль уделена гармонии. Но отношения метро-ритмические в «Эдипе» радикально изменились в сравнении с прежним творчеством Стравинского. Ритм здесь в строгом ограничении. Ему больше не предоставлено никакой самостоятельной роли. Ритмическая структура «Эдипа» вся определяется скандировкой латинского текста. Она служит исключительно этому назначению. Формы движения, в свою очередь приведены к простейшим принципам. Никакого щегольства, никакого ухарства, никакой самопроизвольной игры движением ради него самого, вне связи с текстом. В этом смысле в «Мавре» было обратное. Во многих случаях там даны метрические формы, прямо про-

тивоположные элементарной логике текста. Музыкальное движение в «Мавре» вполне сознательно противопоставляется движению сценическому. Эти два плана в «Мавре» существуют раздельно — движение чисто музыкальное и движение сценическое (театральное). В «Эдипе» — соподчинение. Метр по-прежнему формирует музыкальное движение. Он переводит его из одного вида к другому, ускоренному или замедленному, но в математической пропорции. Сохраняется монометрическое единство основной единицы движения, никогда не нарушаемое, но делимое или складываемое. Ритм определяет скандировку текста, фиксируя ударяемые и неударяемые слоги. Выполняя эту роль, он нигде не становится автономным и не прерывается к самостоятельной жизни для произвольной игры, как это бывало прежде. Стихия ритма, столь вольного у Стравинского прежде, укрощена и введена в надлежащие границы.

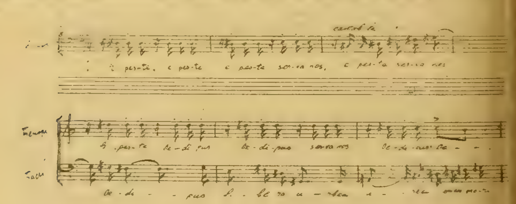
Метрическая строфа, проработанная Стравинским на протяжении ряда его произведений, начиная с «Истории Солдата» прошла через длительную эволюцию в преодолении самопроизвольной эмоциональной энергии музыкального ритма и завершается в «Эдипе» полным слиянием со скандировкой текста. Здесь можно поставить знак равенства между ритмом музыкальным и стихотворным. Индивидуальное отношение Стравинского к ритму «Эдипа» сказалось лишь в том, как он прочел этот текст.

5

Скандируя латинский текст, Стравинский в «Эдипе» возвращается к традиционной повторности отдельных слов и целых фраз. Это типично для традиционной оратории, мессы или кантаты. В старой музыке это об'ясняется тем, что количество текста, которым пользовался композитор при сочинении этих традиционных форм, бывало недостаточно (напр. фразы из литургии), и он растягивал этот текст, искусственно пригоняя его к определенной схематической музыкальной форме. Если сочинялась фуга или канон в сложном контрапункте, пропорции этой формы имели, приблизительно, свои, заранее установленные границы и текст искусственно пригонялся к этим формам, наполняя их возвращением слов. Этим об'ясняется абсурдное соединение текста и музыки вне какой либо логики. Хорошо это было только в чистой классике, где форма создавалась не условно, а свободно, по в согласии с каноном, напр. у Моцарта или у Палестрины, но все же условность и здесь существовала.

Стравинский скандируя текст «Эдипа», этой скандировкой определил и формальную структуру своей оперы поэтому связь между текстом и музыкой у него строго логична, наряду с сохранением традиционной условности, связанной с искусственным возвращением слов и фраз. Он берет готовые формулы: фугу, имитацию, канон, рондо, арию, речитатив и т. д.

Но всегда это только свободная интерпретация, связанная с традицией, никогда не становящаяся схемой или подделкой под классику.



Скандировка текста в «Эдипе» служит двоякой роли. Она определяет ритмическую структуру оперы, создавая единство слов и звука. Другая ее роль чисто техническая. Она ставит инструментальные и живые голоса в самую реальную позицию, создавая условия наиболее выгодные для исполнения. Это, так сказать т е х н и ч е с к а я   э к с п р е с с и я, вместо упраздненной экспрессии внешней — психологической и индивидуально-произвольной. Техническая экспрессия обеспечивает получение выбранного эффекта без всяких затруднений, при наличии одной лишь доброй воли со стороны исполнителя. Такой принцип технической разработки, проведенный в «Эдипе» очень тщательно, делает эту партитуру весьма доступной и почти не представляющей трудностей для исполнения. «Эдип» может быть самая легкая для исполнения из партитур Стравинского.

Инструментовка оперы находится в живом согласии с этим. Она вся основана на нормальных тесситурах. В смысле инструментального письма эта партитура пленительна. Я не знаю ничего равного в современности. Только о Моцарте вспоминаешь, слушая или разглядывая ее точный, прозрачный и легкий рисунок.

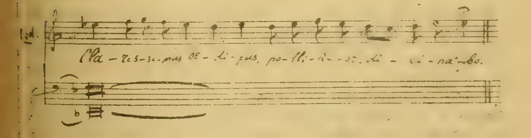
6

«Эдип» относится к «Мавре» приблизительно так же, как «Свадебка» к «Весне Священной».

«Эдип» ничего не повторяет в том, что было дано в «Мавре», как и «Свадебка» не повторяла «Весну», но связь между ними живая и органическая. «Мавра» была реставрацией чистых оперных форм в условиях и традициях национально-русского опыта. «Эдип» — развитие той же проблемы, созревшей в опыте над-национальной музыки. Это в вопросах формы. Во взаимодействии слова и звука — «Эдип» продолжает то, что дано в «Свадебке». Единственно в этом близость между этими произведениями. В «Свадебке» эту роль выполнял русский язык; в «Эдипе» — латинский.

Латинский язык привлек Стравинского тем, что он утратил всякое практическое значение для наших дней. Он стал об'ективной материей. Мертвый и сухой язык нотариусов и аптекарей и одновременно возвышенный язык католической литургии, латинский язык патетического толка и с музыкой он сочетается органически. Но связь латыни с католической литургией создала прочное соединение этого языка с формами духовной песенности. Для светской музыки сочетание это непривычно и редко, впрочем бывали примеры и прежде, например у Моцарта: Appollo et Hyacinthus. Comoedia latina. Стравинский в «Эдипе», преодолевая связь латинского языка с церковным стилем, нарушил эту условность, но в некоторых случаях она сознательно и явно выражена, напр., в бесстрастных фразах «Эдипа», которые звучат как литургические возгласы, нечто в роде cantus firmus'а, взятого в голом виде.

Латинский язык в музыкальной интерпретации «Эдипа», — это в сущности соединение русского языка с итальянским. Стравинский пользуется в «Эдипе» чеканной и свободной интонацией русской речи, так как и применял ее в «Свадебке», но в соединении с итальянской песенной экспрессией в ее самом тривиально-типичном проявлении в смысле напевности.



7

«Эдип» совершенно статичен в смысле театральном. На сцене нет абсолютно никакого движения, и ничего не происходит. Осуществляется только музыкальное действие. Опера раскрывается как чистая музыкальная форма.

Оправдалось пророчество Глинки, который говорил, что «поймут Руслана через сто лет...» Вспоминаю об этом в связи с тем, что «Руслана» в свое время обвиняли в частности и в том, что в нем нет сценического действия. По существу же «Руслан» был сочинен в приближении к типу оперы-оратории, которую создал Стравинский.

Если «Мавра» возвращает нас к «Жизни за Царя», которая является ее прототипом, то «Эдип» — совершенно в ином смысле — напоминает о «Руслане». Но то, что в «Руслане» было дано почти ощупью — полубессознательно, в «Эдипе»стало волевой тенденцией. Всякое сценическое движение, связанное с традиционным представлением об опере, имитирующей драму—исключено. Все направлено к осуществлению музыкального действия. В этом смысле, если угодно, есть общее со «Свадебкой». Действие возникает, развивается и разрешается не как нечто извне данное, а в самой материи. В «Свадебке» это в элементах православно-бытовой народности, в «Эдипе» это вовлечено в античный миф. Античный миф транспонированный в латинство и трагедия, выраженная не словом и не действием, а чистой музыкой.

Неподвижный сценически «Эдип» развертывается как монография мифа, рассказанная музыкой без какого либо участия посторонних сил. Ни следа волнения, все удивительно спокойно и безучастно. Никакой суеты, никаких симпатий или антипатий. Моральный привкус только в том, какой музыкальной материей выражены та или иная ситуация. Герои действуют самостоятельно, без всякого посредничества. Появляются без всякой психологической подготовки и следуют друг за другом как ряд портретов. Портрет «Эдипа», портрет Иокасты, Креона и т. д. Действие в музыкальных портретах. «Эдип» не попытка музыкального мифотворчества, а музыкальный рассказ, такой, как если бы он был взят из дневника происшествий, с некоторым лирическим привкусом в виде хорового комментария, которым он снабжен по мере изложения «инцидента». В сущности это не что иное как музыкальный протокол.

8

Метафизический по сюжету — «Эдип» совершенно реалистичен по воплощению, что весьма характерно для этого произведения. Стравинский тронул в «Эдипе» мир трагедии, мифа и драматической лирики, но при этом он не отказался от реалистического существа своей техники, столь типичной для природы всей его музыки.

Как бы для самозащиты от трагедии, он этот реализм техники доводит в «Эдипе» до предельного выражения. Его формальный метод находится здесь в столкновении с трагеней, подчиняя ее себе. Как будто все препятствия заранее убраны с пути. Дорога вся расчищена. Нет неожиданности дра-

мы, а уверенное, триумфальное шествие. Разгадка ясна уже в начале и неизбежно следует. «Эдип» Стравинского это антиномия столкновения метафизического и реалистического начал. У Стравинского доминирует формальная сторона и метафизика его темы не имеет над ним власти. Пафос «Эдипа» не мифологическая тема и существо сюжета. Его пафос в музыкальном изложении этой темы. «Эдипа» можно считать «ложно»-классической музыкальной прозой, вспоминая по аналогии не музыку, а «ложно»классический стих Расина. Музыкальная проза «Эдипа» представляет собою как бы эклектический синтез архаики и романтики. Архаичны в «Эдипе» его материя и почти весь его слог (сложение), но романтичен пафос этого сложения. При первом впечатлении, музыка «Эдипа» кажется безличным возвратом к пройденным тропам музыкального классицизма, но вглядываясь пристально, видишь, как изумительно «по своему» сказан каждый отдельный такт этой композиции, неповторимо, своеобразно, с точностью выражения, не допускающей сомнений.

Музыка «Эдипа» кажется общей, потому что в ней нет никакой выдумки, никаких измышлений и вычурностей. Она нисколько не претендует на «новаторство», будучи нова по существу. Она скорее кокетничает тем, что возвращается в лоно «старой» музыки. В «Эдипе» Стравинский вернулся к основному и общему музыкальному языку. Утрата языка была основным злом новой музыки, которое привело к «вавилонскому столпотворению». Нужно ли создавать новый язык в музыке, или же вернуться к тому, который всегда существовал прежде? Это вопрос специальный, выходящий из границ данной темы. Во всяком случае, язык «Эдипа» старый, исконный язык музыки, но претерпевший изменения в такой же мере, как современный французский в сравнении с языком Расина или Паскаля.

9

«Эдип» эклектичен. Он походит на прошлое, ибо он ничего «нового» не желает, но он по новому осуществлен. Здесь мудрость постижения, а не дерзновение отрицания. Такое искусство трудно воспринимается потому что оно, как будто, ничего не меняет в нашем отношении к вещам. В действительности, оно прежде всего меняет наше отношение к самому искусству и в этом главное значение вопроса. Произведения Стравинского последних лет и «Эдип» в особенности — относятся к тому действительно ч и с т о м у искусству (не в смысле эстетическом, а в смысле чистого т е л а, как бывают «чистые», и «нечистые» животныя, о которых говорит древняя литургия, которое отказывается служить п о д м е н у, которым занималось искусство конца 19-го и начала 20-го века. Искусство в эти эпохи стало, попросту говоря, суррогатом религии, это было его основным пороком. Отрицая истинную и вечную религию, оно вместе с тем паразитически питалось ею. Создавая индивидуалистический религиозный суррогат в эту эпоху, религозный опыт подменивался опытом эстетическим. Теперь мы возвращаемся к тому, чтобы ввести искусство в область ему довлеющую, отказываясь от искусства, самоутверждающегося и фетишистского. Стравинский в «Эдипе» явно занял позицию «очищенную» от эстетического соблазна.

Он неуклонно шел к этому издавна, путем все большого самоограничения и отказа. В прошлом и он не был свободен от смешения религии и эстетики. В эпоху, когда Скрябин создавал «Поэму Экстаза» и «Прометея» — Стравинский создавал «Весну Священную». Но у Скрябина это были радения чисто интеллигентские, у Стравинского же — радение народное. Уже в этом была «дистанция огромного размера». В «Эдипе» нет никакой «прелести». Все соблазны преодолены. Кроме самого «Эдипа», в котором прелесть и есть основной соблазн: трагическое ощущение, слепота, бессознательность и обреченность. Смысл «Эдипа» в стремлении к выражению обнаженной правды и чистоты, в жертву которому приносится все остальное.

В «Эдипе» нет никакой иронии, этой едва ли не самой опасной болезни века. Под иронией скрыто в настоящее время все, с чем автор не может справиться в самом себе, но прежде всего ирония — это замаскированная трусость. В «Эдипе» нет и следа такого ощущения. Уже этого одного достаточно для того, чтобы считать «Эдип» вещью редкой и весьма значительной для наших дней.

«Эдип» Стравинского — победа над темным началом в стихии музыки и только в этом аспекте «Эдип» можно принять. Темный дух музыки проходит здесь лишь бледной тенью, рядом с этой простой и правдивой музыкальной речью.

Артур Лурье

Париж, Май 1927.

ПИСЬМА В РОССИЮ

(три отрывка)

1

. . . .

Многие из тех, что считают своим культурным делом обличать современную Россию и превозносить Запад, обычно утверждают, что вульгарный и воинствующий материализм атавистически господствует в наше время только на проклятой территории большевицкой революции, в то время, как европейская культура будто бы выходит и уже вышла на пути нового идеализма. Трудно, конечно, спорить против того, что идейная и «научная» база современного русского коммунизма и невежественно — жалка, и отстала. В каком то смысле большевики действительно воскресили во всероссийском масштабе чудовищное подполье 60-х и 70-х г.г. Но из этого не вытекает всетаки апологетического противопоставления «убитой» России — живоносной Европы. Во первых — огромное явление большевицкой революции к одному подполью несводимо. Но, во вторых, пусть даже миросозерцательный кризис руководящих европейских кругов и культурного авангарда на лицо (что еще весьма сомнительно). — Разве это в какой либо мере отражается на общем и среднем типе европейского обывателя? и много ли надежд, что масса мелкой и средней буржуазии — социальная основа всей европейской жизни — окажется проницаемой для новых, даваемых сверху и без особой убедительности, миросозерцательных директив? Не так давно командные высоты европейского просвещения возвещали другое и настойчиво требовали от своих профанов совсем иных исповеданий. Весь 19-й век прокатился под громы позитивизма, бодрого и жестокого, и закончил «переоценку всех ценностей», начатую еще

в предыдущих ядовитых и придирчивых столетиях. «Органическое» средневековье отстаивало себя долго и упорно. Нужно было потратить около трех столетий, чтобы внушить массам лукавую идею о «в ы г о д н о с т и» всяческого критицизма. И победа пришла лишь тогда, когда новые черты и идеалы жизни (— скептический позитивизм) нашли для себя идеально-простые в своем роде формы и перешли в сферу массового п о д с о з н а н и я. Это окончательно заколдовало среднего европейца и закрыло все пути к освобождению. Некогда истовые, жившие богобоязненным бытом пригородные и мелкогородные «бюргеры», после трехсотлетних кризисов веры и миросозерцания — обратились в «мелко-буржуазную стихию», вернее в крепкий социальный корпус, с замкнутыми и стойкими представлениями о добре и добродетели и, конечно, не столичным слабосильным проповедником нового идеализма (все равно религиозного или гражданского) «прорубить окно» в свою же буржуазную Европу. Если даже мировая война не смогла надломить европейских традиций и представлений, то одна лишь революционная катастрофа, которая в XX в. ведь всегда возможна, способна повернуть исторический ход тех масс, которые в сущности свое миросозерцательное крещение получили когда то также на революционных площадях и баррикадах. Но так-ли уж правы те, новые духоводители Европы, что, отказываясь ныне от односложности материализма и позитивизма, обращаются к «наукам о духе» и метапсихике? Можно-ли сказать, что познавательные методы современной европейской науки и полу-науки фундаментально отличны от преодолеваемого позитивизма? И не вступает ли научное сознание, которое имеет даже шансы стать популярным, лишь в иной аспект классического имманентизма, направляя себя лишь в сторону его т. ск. ч е т в е р т о г о и з м е р е н и я?

Подлинно религиозный опыт с окончательной безусловностью устанавливает свою природу познавательного метода и утверждает, что только неразрывное и эквивалентное сочетание начал м и с т и к и, э т и к и и п л а с т и к и *) приводит к органически цельному и истинному Бого-и миропознанию. Можно — и это вменено человеческому разуму, как долг — вторгаться в

* В понятии п л а с т и к и — материал-вещество и форма — нераздельны. Можно сказать, что оно определяет образы и формы, как о р г а н и з а ц и ю эмпирического бытия.

сферу онтологической тайны, но это вторжение может быть плодотворным лишь при условии, что оно совершается во имя и именем добра, пользы и действительной цели (этический момент) и притом еще в известных, особо предуказанных пластических формах. Без этой двойной обусловленности всякий мистический акт становится либо оккультной магией, либо насильническим и пустым экспериментаторством, что в обоих случаях приводит к духовной деградации самого акта, к помрачению чувства реальности, к псевдо научной ожесточенности и внешнему пластическому уродству. Точно также и этический акт в системе религиозного миросозерцания —неразрывно связуется с двумя другими стимулами, его обосновывающими и поддерживающими: с одной стороны этический принцип коренится в мистической иноприродности Закона, — в то же время выражая в человечески-понятных категориях добра его ужасающую онтологическую непонятность и являясь как бы ручательством его истинности, — и с другой — дает целевое и прагматическое осмысление тем внешним пластическим формам через которые себя выражает. И, наконец, все многообразие пластических образов и форм эмпирии, являясь манифестацией самой сущности жизни, служит для символического раскрытия и выражения ее первичной тайны, и для выражения ее качественно ценностных признаков. Конечно, в современном мета-позитивном сознании и знании, это триединство не восстановлено и невосстановимо. По прежнему, (т. е. по недавнему) чувство «тайны» — удовлетворяется и «голым» оккультизмом, а интуиция «тайны» побеждается на путях позитивистического монизма. Искания правды, жизненной и житейской, уводятся в сферу автономного права, а внешние формы жизни и быта утеряли свою символичность; утеряно и самое понимание этой символичности. Пластика — стала надстройкой экономического принципа.

Может быть возврат к органической эпохе веры и не возможен, но тогда незачем и говорить о европейском ренессансе.

Пока что имеются два враждебных многочисленных стана: вернее, впрочем, противопоставлены друг другу: глубокие окопы буржуазного обывательства и подвижный шумный лагерь революционного пролетариата. Между ними бессильно суетится в каком то количестве послевоенная, да и до оенная, европейская интеллигенция, все еще не понимающая, что предстоящее столкновение произойдет без них (количество с обеих сторон растопчет,

если не качество, то во всяком случае «квалифицированность»). И кто победит, буржуазная м а с с а, или коммунистический к о л л е к т и в — судить преждевременно.

2

. . . .

Обычным доводом, выставляемым новыми русскими западниками против России — является утверждение, что она всегда под тем, или иным видом, рабствовала и что у русских вообще понижена воля к свободе.

При этом, сплошь и рядом, разумеется не современная Россия, в которой, действительно, многое подавлено навождением коммунизма, но Россия всяческая, прошлая и историческая. Ни у одной страны нет столько внутренних врагов и такого чувства самоотвращения, как у России. И неприязнь и эксцессы гонительства, возникают именно по отношению к самому русскому к у л ь т у р н о м у т и п у; это он обладает таинственным свойством восстанавливать своих же поданных и выразителей против существа своей же психологии и исторической темы, приводя тем. самым, если не всегда к положительным фактам, то во всяком случае обуславливая этим особую трагичность русской культуры, часто в корне меняющей свои пути и цели.

Конечно, и интуиция и практические формы «свободы» — русского типа, не походя на западные, вызывают по отношению к себе также ненависть и обличение самих же русских. В социальной философии, равно как и в религиозной антропологии — проблема свободы стоит в центре, к которому стягиваются и от которого исходят все остальные категории. Между тем, во всех обычных рассуждениях на тему о свободе эта центральность установки неизменно смещается и вместо того, чтобы понимать феномен свободы (как данность и заданность, как принцип и ценность, как ощущение и навык), функционально связанным со в с е м и сторонами и явлениями данной культурной среды, данного кульурного типа и определенного времени — обсуждение соскальзывает к рассмотрению лишь одного из его аспектов, чаще всего аспекта морально-юридического.

Качественная и количественная сущность «свободы», «свобода», как система отвлеченных идеалов и прикладных норм —

непрестанно меняется и переоформляется в зависимости от всех явлений жизни в их временной текучести. И это одинаково относится, как к биографическому переживанию свободы отдельной личностью (ощущение себя — в свободе и ощущение свободы в себе), так и к развитию этой темы целым народом.

Если западная культура делает все, чтобы создать для современного homo europeus наибольшие преимущества в сфере правовых и социальных «свобод» и «морального достоинства» жизни, то одновременно с этим и за счет этого она закрепляет людей по ряду других жизненных сторон и функций. Происходит как бы перемещение центров закрепления, при чем новые центры необходимости долгое время остаются неосознанными. Именно в наше время, на глазах у всех, но невидимо, жизнь, в бурном историческом приливе новых порабощений, затопляет те стороны жизни, которые когда то были вне достижимости рабства и освобождает закрепленные позиции прошлого.

Новым ликам и формам свободы — должно соответствовать и иное осмысление. Морально-юридический подход к идее и существу свободы дал очень много, и этот опыт не должен забываться, но вместе с выдвижением иных жизненных фактов и факторов должны, тем не менее уступить место и им отвечающей философии свободы.

Смена эпохи — меняет перспективы во все стороны, и новые наблюдательные высоты дают возможность с усиленной зоркостью вглядеться в старые горизонты. И вот, глядя назад — т. е. на современную Европу, можно сказать, перед лицом того будущего, которое многим предстает, как надвигающаяся культурная тирания, что свободолюбивый Запад также рабствует и также внутренне связан, как и «дикая» и «крепостная» Россия, за которой это будущее; но рабствует по другому, по другим линиям и планам. (Достаточно указать на всестороннюю обязательную взаимообусловленность и связанность всех и каждого в сфере деловой и делеческой, при полной бытовой разобщенности; или на беспощадное господство в буржуазной Европе крепостного принципа конкуренции, во всех решительно областях жизни, как экономического коррелата зависти; или на категорическую силу того, что можно было бы назвать «законом второй половины жизни», ведущий с неотвратимостью к тому, что первая («вольная») по

ловина жизни каждого среднего европейца порабощена составлением себе «положения» и капитала, а вторая (стабильная), определяемая рентой, безвыходно заключена в рамках и степени лишь той «свободы», которая «заработана» в прошлом, в зависимости от удачливости первой половины жизни.

Повидимому людям отпущено неумолимо определенное и неизменное «количество» свободы и принуждения; лишь с о ч е т а н и я их безконечны, и различие только в том, что в разные сроки порабощаются те, или иные части и функции жизненного организма.

3

Повесть наших отцов,
Точно повесть из века Стюартов,
Отдаленней, чем Пушкин,
И видится, точно во сне.
Б. Пастернак, «1905-й год».

. . . .

Всякий момент, или отрезок времени, который осознается, как прошедшее (конченное) неминуемо отбрасывает от себя тень в памяти и по сравнению с тем, что продолжает быть еще настоящим (длящимся) — переходит в план мэоничного инобытия. Тоже относится и к восприятию событий — фактов. Наше представление о жизни всегда двоится между т. наз. реальностью настоящего и призрачностью прошедшего (сознанием и памятью), но эта двойственность неуловима и мало осознаваема; также неосознаваема, как и реальность смерти, которая ведь и проступает, лишь в ослабленном призраке, в этом разрыве и при всяком восприятии прошлого. Можно к мэоничности смерти относиться благоговейно, но иногда она становится угрожающей и тогда страх способен перейти в ненависть.

Аналогичное отношение должно возникнуть и к призраку будущего (— нового), когда это будущее внезапно выступает из «настоящего», обращая его мгновенно в полубытие. Жизнь может восприниматься, как единый непрерывный поток времени и процессов и как сосуществование отдельных аспектов бытия, как безконечно сложный копмлекс разрывов, частей и циклов. Быть может именно в этом понимании прерывности и задана и раскрывается, применительно к эмпирии, сверх-прерывная (но

не безпрерывная) сущность мира. И тогда понятно, что появление в сфере действительной «стабилизованной» данности н о в о г о в и д а конкретного бытия, и иноприродной по отношению к настоящему, реальности — воспринимается также, как смерть. Страх и непонятность коренятся в том, что все переходы жизни из одного вида в другой — совершаются всегда на основе некоей неизменной эмпирической схемы, что делает неузнаваемыми такие явления и предметы, которые внешне не изменились (то — да не то). Особенно подавляющи переходы в иноприродное состояние — больших исторических масс, т. е. когда становятся другими не переставая быть собой многосложные личности истории, (народы и культуры). Эти эмпирические переходы в инобытие и знаменуют собой смены эпох и исторических циклов; и именно тяжесть и смертный туман такого перехода и лежит в наше время на всей России и русских. ненависть всех не включенных в новый цикл русской истории и не захваченных мутацией русской массы — к революции об'ясняется, повидимому, тем, что для них новая русская реальность н е у з н а в а е м а, и при том неузнаваемо именно то, что при всех изменениях осталось непоколебленным. Неузнаванье же приводит к ожесточению. Вероятно кружат голову и вызывают приступ слепой злобы не революционные новшества, а то, что границы между прошлым и новым, конкретным и призрачным — исчезают, как в тумане и уже неразличимы. Россия должна казаться таким людям ужасным чудовищем — не то мертвым, не то живым.*) Отсюда и «бездомность» — «ни там, ни тут»...

Но нетолько заграничные — в с е русские магически стянуты к рубежу двух исторических циклов, лишь обращенность у каждого разная. Для одних — мэонично прошлое, для других — будущее, для третьих — настоящее.

В страшных муках, на глазах у всего мира, но в полном и всеобщем безпамятстве — произошла историческая смена одного вида России — другим. Если в такие моменты истории нужно

---

*) Головокружительная ненависть должна [illegible] кипать не [illegible] мысли о комсомоле, а при отдавании себе отчета в том, что Ленинград и Москва все также стоят на своих местах и Волга и Днепр по прежнему текут, «как ни в чем не бывало». И это не только при воображении издалека. Перед лицом их самих — «головокружение» должно еще усилиться т. к. сквозь неизменность этих об'ектов еще острее будут проступать их новая реальность и инобытный аспект.

щадить память о прошлом, то правомерно и простительно также и острое болезненное отталкивание от него.

Надвинувшаяся реальность — мощнее отошедших теней. В то время, как для до-революционного сознания смертный страх будущего помрачает и убивает настоящее, для новых поколений — будущее уже стало сегодняшним днем. И, конечно, глаза видят лучше у тех, у кого призраки не впереди, а за спиной.

П. П. Сувчинский

СОЦИАЛЬНАЯ БАЗА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

То что должно сохраниться от марксистского подхода к литературе, или, вернее, что благодаря этому подходу явственно вскрылось, заключается вовсе не в пресловутом лозунге «социальной литературной заданности», а в обнаружении чрезвычайного значения социального момента вообще, как в творчестве автора, так и в жизни данного произведения в той или иной среде.

Если до революции и интересовались вопросом социальной базы (сословной и классовой принадлежности) писателя, то лишь в порядке узко-биографическом, а историей произведения после выхода его в свет почти и вовсе не занимались, ограничиваясь изучением критических и публицистических на него откликов.

Правда — во всех учебниках имелись упоминания о дворянском периоде литературы, о появлении в ней разночинцев, но этим дело и ограничивалось. Кроме утверждения голого факта и очень наивных к нему пояснений — мы ничего не найдем.

И это в то время, когда социальная база представляет из себя не только материал для авторских художественных воплощений, но и чувствилище органического восприятия мира (не бытие, определяющее сознание, а сознание лишь через бытие себя утверждающее). Вульгарный взгляд, что классовость автора являет собой признак его ограниченности и что всякий великий писатель над-и-безклассен не только не отвечает действительности, но обратен ей. Ни один из великих писателей России не был безклассен, больше того — именно благодаря классовости (социальная база) и только классовости писатель получает возможность включить в себя то громадное социальное целое, именуемое народом или нацией. Так писатель может быть дворяно-народным, крестьяно-народным, мещано-народным, купеческо-народным

(первая часть термина определяет базу, вторая — масштаб писателя), но непосредственно народным быть не может. Любопытно, что в другом приложении закон социальной базы не вызывает обычных нелепых возражений. Никому не придет в голову требовать от «мировых писателей» отказа от их народной базы и утверждать, что Толстой, например, с'узил себя своею русскостью. Для всех ясно, что именно благодаря своей глубокой русскости (прочной социальной базе) он и смог сделаться мировым Толстым. Мы не можем представить себе безнационального мирового писателя. Но что истинно для высших социальных инстанций является истинным и для низших. Народу и человечеству в нашем утверждении соответствуют сословие-класс и народ.

Сословие, как ясно указывает и этимологическое строение слова (со-словие, со-жительство, со-дружество) не может жить обособленно и уединенно. И в этом отличие сословия от касты. У каждого сословия есть ближайшие сословные соседи, благодаря общению с которыми происходит постоянное культурное взаимопроникновение, культурная диффузия.

Так мы можем говорить о сословном соседстве крестьянства с купечеством, купечества с мещанством или в некоторых случаях дворянства с крестьянством. Вследствие этого социальная база писателя служит и путем к имманентному познанию, к включению в себя соседних социальных групп. Очень часто именно это включение (в большей или меньшей степени) соседней базы превращается в главный фактор творческого само-и-миропознания (лучшей пример — биографическое и литературное опрощение Льва Толстого).*)

Из этого следует, что та группа, которая обладает наибольшим количеством «социальных соседей» тем самым обретает возможность к наибольшему расширению своей базы путем включения в последнюю, как ряда черт соседей, так в некоторых случаях и целостного присовокупления ближайшей или ближайших баз. Таковой группой в нормальных условиях оказывается правящая, благодаря своему служебно-командному положению

*) Основная база не всегда определяется формальной принадлежностью автора к тому или иному сословию или классу. Волевой момент играет роль не меньшую. Русская литература знает ряд примеров подобного социального переключения. В современности — Есенин (самоубийственная замена крестьянской базы—интеллигентской) и «попутчики». Пример псевдо-переключения — писатели-народники недавнего прошлого.

и вытекающему отсюда самовключению во все области социальной жизни. И действительно — основное русло литературы естественно связано с социальной базой правящего сословия или группы. Изменение русла означает смену правящей группы и наоборот.

История русской до-революционной литературы делится на два основных этапа, которым соответствуют две основных ея базы — дворянская и интеллигентская. На этом примере легко проследить истинность высказанных положений.

Дворянство, как правящая группа, вступило в жизнь не органическим путем, а в декретном порядке. От молодого сословия в первую очередь требовался отрыв от многовековой культурной традиции, замена ее «европейской образованностью». Голландские ассамблеи и царскосельский Версаль ампутировали старые социальные связи. Прежняя социальная база, как и вся внедворянская Россия, предстали в виде сонмов недорослей, которых можно учить, но от которых нечего заимствовать. Для дворянского авангарда получилась бы трагическая в себе замкнутость, если бы не замена утерянной базы новой — иноземно-западной. Это сразу выявилось в начальном литературном творчестве, которое все проходит под знаком иноземных заимствований. Заимствуются не только форма, или тема, но и самый первоначальный материал художественного восприятия.

Замкнуто-дворянский период долго продлиться не мог, хотя и наложил отпечаток на все дальнейшее развитие литературы. Сословие, призванное к культурному и политическому водительству, уже тем самым было обречено на тесные взаимоотношения с другими сословиями. Происходит обратный процесс вбирания в себя того, от чего ранее отмежевывались.

Географические условия расселения дворянства так же как и служебные — определили два главных русла, по которым происходило напитывание иссыхавшей дворянской базы — мещано-чиновное в городах, крестьянское — в поместьях. Расширение базы немедленно сказывается на соответствующем отрезе истории литературы. Все ее крупнейшие имена связаны именно с этим отрезом: Пушкин, Гоголь, Толстой и Тургенев. При чем у каждого из них можно установить преимущественное включение в себя той или иной соседней социальной группы. У Толстого (в особенности последнего периода) и молодого Тургенева — крестьянской, у Гоголя — мещано-чиновной, Пушкин же — гармоническое средостояние.

На ряду с дворянством в особо-благоприятных условиях в отношении социального соседства и широты базы находится мещано-купечество (слабость западного влияния при сохранившихся старых культурных традициях и связях). На купеческо-мещанской базе вырастает самостоятельная группа писателей, стоящая в стороне от главного дворяно-интеллигентского литературного русла: Лесков, Островский и Печерский.

Разночинец-интеллигент в начале появляется в качестве культурной периферии дворянства. Но и культурное и социальное качествование периферии глубоко отлично от исходного центра. В то время как дворянство обрело Европу и разносторонне впитало ее культуру — вновь-явленный разночинец знакомится с нею не непосредственно, а из третьих рук. Получилась не европеизация, давшая в дворянстве любопытнейшее и своеобразнейшее цветение, а нечто третье, некий фантом, от'единенный от родной и от иноземной почвы. От'единенность усугублялась тем, что интеллигенция не пережила обратного процесса расширения своей базы за счет соседних сословий, пережитого дворянством.

Сословная монархия быстро перерождается в бюрократическую. Интеллигенция, вобрав в себя своеобразно-упрощенные революционные и социалистические идеи запада, занимает по отношению к монархии место оппозиционно-бунтарское. Не культурность в европейском и старо-дворянском смысле слова определяет новую социальную среду, а оппозиционность и революционность. Дворянство постепенно обрастает этой средой и под ее влиянием перерождается и разлагается.

На базе разлагавшегося дворянства и нарождающейся и уже обреченной интеллигенции вырастает Достоевский. Не случайно он дает читателю подробнейшие генеалогии своих героев, словно желая подчеркнуть дворяно-интеллигентское месиво культурно-литературного рубежа. Кроме того у Достоевского имеется соседствующая мещано-чиновничья среда, которая частью включается в его основную базу (Мещанство в широком смысле слова не раз соседствует с дворяно-интеллигентами в городах. В этом соседстве впоследствии найдет свою базу мещано-интеллигент Горький).

Ни патетика народничества, ни чрезвычайное количественное разбухание не спасли интеллигенцию от убийственного одиночества, от полнейшого отсутствия социальных соседей. Замурован-

ная сама в себе она растрачивала свои силы в разрушительной революционной работе, занимаясь сомнительным просветительством и кончила свою короткую жизнь вместе с монархией, против которой боролась, уничтоженная своим детищем — революцией.

Литература интеллигентского периода не выдвинула ни одного имени могущего стать рядом с именами Пушкина, Толстого, Гоголя и Достоевского. Социальная беспочвенность — ее трагический момент. Одному Чехову удалось индивидуально расширить свою базу (земский врач — выход из своего круга) и он становится интеллигентским бытописателем. И если Достоевский бытописует интеллигентский Sturm und Drang, то Чехов ее преждевременную старческую немощь.

Короткий и яркий поэтический ренессанс девятисотых годов (очень напоминающий поэтическое цветение дворянского периода 20-30) знаменуется все той же социальной оторванностью. Блок, Бальмонт, Брюсов и Белый в этом отношении одинаково характерны, при чем у первого она воплощается в пророческое предчувствие гибели. Примечательно, что этот ренессанс связан с непосредственным влиянием западных поэтических течений. Как некогда, в дни юности дворянства, недостающая социальная база восполняется Западом (у Вяч. Иванова, Иннокентия Анненского античным миром).

Особое место в предреволюционной литературе занимают В. Розанов, М Горький и Алексей Ремизов. У всех троих первоначальная база не интеллигентская — у Розанова — чиновно-мещанская, у Горького — мещанская, у Ремизова — купеческая (ср. с. Островским, Лесковым и Печерским.)

Интеллигенция, со своею уединенностью, погибла. После страшных революционных сдвигов в России выделяется новый правящий слой, которому суждено стать базой наступающего этапа литературы. Предугадывать характер его, пожалуй, преждевременно, но можно утверждать с несомненностью, что, ни литература ни и ее база не будут страдать тем страшным недугом, который привел к смерти интеллигенцию. Социальная база нарождающегося слоя небывало углубилась и расширилась. Этому расширению должно соответствовать и грядущее литературное цветение.

С. Я. Эфрон

ГОДОВЩИНЫ

1. Некрасов († 1877)

В конце этого года (старого стиля) исполнится пятьдесят лет со смерти Некрасова. Положение Некрасова в общем мнении очень упрочилось за последние годы. Он стал классиком, но классиком не мертвым а живым, классиком-современником. Причиной такому усилению Некрасова в нашем сознании частью освобождение от канонов того что 19-ый век почитал «хорошим вкусом», частью Революция. Не следует однако думать что Революция выдвинула Некрасова за его революционность. Революционным поэтом Некрасов не был. В нем не было ни пафоса борьбы, ни пафоса социальной справедливости. Но, независимо от проникающей ее народнической, ни-кому уже неинтересной, идеологии, поэзия Некрасова глубоко и органически социальна, «коллективна», и поэтому-то Революция и дала ей новую значительность.

Отношение Некрасова к народу — «симфоническое». Его поэтическое сознание было микрокосмом «симфонической» личности народа, частным чувствилищем общего. «Страдания народа» не были для него внешней темой для умиления и возмущения: они жили в нем с реальностью не меньшей чем кругом него. Они были реально символически связаны с его личными страданиями (физическими, и от угрызений совести). Они были не жалостью при виде чужого страдания, а со-страданием своему коллективу.

Замечательно, что эта симфоничность у Некрасова была строго ограничена его реальной и органической принадлежностью к данному коллективу — России. Мы не можем себя представить Некрасова, переживающим как переживал Толстой, страдания

Люцернского скрипача, или как Достоевский, уличных девочек Лондона. В этом ограниченность, но и особая органичность Некрасова. Самое чувство социального греха у Некрасова не чувство вины перед мужиком, как в классическом народничестве, не возмущение нарушением стройности всемирного нравственного закона как у Толстого, — а сознание сиротства в греховном отпадении от всенародного коллектива.

Поэтому, со-чувствие Некрасова народу не ограничивалось состраданием ему, как самая жизнь народная не сводилась к одним страданиям. В наиболее полном слиянии с коллективом Некрасов совершенно преодолевал страдание (которое в личном плане — у него всегда оставалось непреодолимым)и один изо всех поэтов Петербургского периода мог преображать свое творчество в творчество народное.*) И в этих высочайших его созданиях (Коробейники, Кому на Руси жить хорошо) строй его стиха становится радостным и мажорным, и «некрасовская ночь» (слово Аполлона Григорьева), такая трагически черная в его личной лирике (Еду ли ночью), преображается в светлый «коллективный» день. Особенно поразительно это в Коробейниках, где сюжет сам по себе безрадостный, и где мажорная радость поэта от того только, что в процессе творчества он слился с большой душою коллектива.

***

2. Зинаида Гиппиус (род. 1867)

And what if she (has) seen those glories fade
Those titles vanish and that strength decay?
Wordsworth.

Было бы несправедливо, празднуя шестидесятилетие Зинаиды Гиппиус, судить ее исключительно на основани того, что она делает теперь и забывать об ее долгом и славном прошлом. Моральная дальтонистка, лишенная способности непосредственного узнавания и различения добра и зла, она, на свою беду, одарена сильными этическими эмоциями, только некстати приуроченными. Отсюда вся неудачность и нелепость ее нынешней позиции —

*) Кроме Пушкина, — но народность Царя Салтана в другом плане, не психологическом, не в процессе, а в продукте.

беспощадного судьи неумеющего читать в законе. Присоединив к этому то что весь ее жизненный путь трагически искажен роковой связанностью с Мережковским, присоединив чисто-биологическое сознание сиротства, естественное в человеке «пережившем свой век» и всегда дающее какую-то «праведность» его «неправым упрекам» и его раздражению на «багровые лучи младого пламенного дня» — мы поймем и простим нынешнее лютое озлобление Зинаиды Гиппиус, и без горечи, с благоговейной грустью обратимся к тем ее созданиям которые дали ей непоколебимое место в пантеоне русского творчества.

Это конечно ее стихи. Чем дальше мы отходим от символизма, тем более становится ясно что Зинаида Гиппиус была едва ли не самым крупным поэтом «первого выпуска» символисткой школы (выпуска 90-ых годов). Изо всех старших символистов Зинаида Гиппиус была самая русская, с самыми глубокими корнями в русской традиции. Товарищами ее в этом были Александр Добролюбов, Иван Коневской, Владимир Гиппиус; но ни один из них не осуществился вполне как поэт: — Коневской погиб молодым; Добролюбов отрекся от поэзии во имя мистики; Гиппиус остался хаотическим неудачником. Одна Зинаида Николаевна добилась подлинных, прочных, совершенных достижений на путях метафизической поэзии. Ее метафизическая традиция восходит с одной стороны к Баратынскому и Тютчеву с другой к Достоевскому. С Тютчевым ее связь особенно ясна, хотя от нее был совершенно скрыт «ночной» мир Тютчевской поэзии лежащий за «зримой оболочкой» видимой природы, и даже сама видимая природа — нет поэта более отрешенного от всего зримого чем Зинаида Гиппиус. Но тон ее несомненно близок Тютчевскому. Особенно сближает ее с ним то что одна изо всех русских поэтов после него она создала настоящую поэзию политической инвективы. Даже на нынешнем состоянии крайнего озлобления стихи 1917-18 годов — подлинно поэтическая брань, достойная сравнения со стихами Тютчева на приезд Австрийского Эрцгерпога или на князя Суворова. Раньше же она написала два истинных шедевра пророческой инвективы — «Петербург» 1909 года.

(И не сожрет тебя победный
Всеочищающий огонь —
Нет ты утонешь в тине черной
Проклятый город, Божий враг,

И червь болотный черво упорный
Из'ест твой каменный костяк!)

и Петроград 1914 года —

Но близок день — и возгремят перуны...
На помощь, Медный Вождь, скорей, скорей!
Воскреснет он, все тот же бледный юный,
Все тот же в ризе девственных ночей,
Во влажном визге ветренных раздолий
И в белоперистости вешних пург
Создание революционной воли —
Прекрасно-страшный Петербург!

Думала ли Кассандра о своих пророчествах, когда детище Петрово «Аврора», входила в Неву?

Но главное ядро ее поэзии не это великолепное красноречие, а цикл стихов, единственных в русской литературе, в которых глубочайшие абстрактные переживания воплощены в образы изумительно жуткой конкретности. Лучшие из них на свидригайловскую тему, о вечности — русской бане с пауками по углам, на тему о метафизической скуке, о метафизической пошлости, о безнадежном отсутствии огня и любви, о метафизической «липкости» своей же души. Воплощавшие мучительный внутренний опыт (опыт, родственный Гоголевскому, в такой же мере как и подпольно - Свидригайловско-бобковому опыту Достоевского), эти стихи исключительно-оригинальны и я не знаю ни на каком языке ничего на них похожего. Это: — «Там», «Между», «Нелюбовь», «Мудрость», «Черный Серп», «Дьяволенок», «А потом?», «Возня», «Серое Платьице», «Она», может самое острое и едкое изо всех:

В своей бессовестной и жалкой низости,
Она как пыль сера, как прах земной.
И умираю я от этой близости,
От неразрывности ее со мной.

Она шершавая, она колючая,
Она холодная, она змея.
Меня изранила противно-жгучая
Ее коленчатая чешуя.

О, если б острое почуял жало я!
Неповоротлива, тупа, тиха.
Такая тяжкая, такая вялая,
И нет к ней доступа — она глуха.

Своими кольцами она, упорная,
Ко мне ласкается, меня душа.
И эта мертвая, и эта черная,
И эта страшная — моя душа!

***

3. Хлебников († 1922)

Для широкой публики Хлебников еще не стал классиком. Для официальной, университетской науки, еслибы она пребывала в традициях 19-го века, он никогда не мог бы стать классиком. Но филологическая наука на наших глазах так переродилась, что мы присутствуем в России при совершенно пародоксальном зрении: филологи стали передовыми двигателями художественного вкуса, — дело небывалое со времени, по крайне мере, Возрождения. Как раз молодые филологи, будущие профессора словесности и академики, главные проводники приятия Хлебникова.

Лучшие молодые филологи — Роман Якобсон (автор исключительно-выдающегося исследования О Чешском Стихе, где вопросы стихосложения получили постановку, можно сказать, отменяющую все прежде сделанное в этой области), Г. Винокур (автор Культуры Языка, книги впервые конкретно ставящей вопросы «политики языка», дисциплины только мечтавшейся покойному Н. В. Недоброво), санскритолог Б. Ларин — написали больше ценного о Хлебникове чем все литературные критики вместе взятые. При этом если Якобсон*) подошел к нему чисто лингвистически и вне всякого оценочного отношения, Ларин**) на Хлебникове изучает некоторые основные стихии лирической поэзии, а Винокур совершенно даже отверг предполагаемый в Хлебникове лингвистический интерес и обратил внимание на тонкую струю чистой, классической поэзии. И Ви-

*) «Новейшая русская поэзия», Прага 1922.

**) «О лирике как разновидности художественной речи», сб. Русская Речь новая серия 1. Ленинград 1927.

нокур вероятно прав: вульгарная оценка Хлебникова как великого ворошителя и обновителя языка преувеличена — Белый, Ремизов, Маяковский, Цветаева, все не менее плодотворные работники в этой области чем Хлебников. И не в формальных новизнах (обсуждаемых Якобсоном) значительность Хлебниковской поэзии. И то и другое для Хлебникова только средство и средство оказавшееся обманчивым, к тому что для него было главным — войти в природу вещей, обновить мир, вернуть его составным частям утраченную свежесть. Стремление это (общее у него с другими большими поэтами новейшего времени как у нас, так и в Европе) не переходило у него (как оно переходит у Пастернака) в стремление растворить все материальное в чисто энергетические вихри. Хлебникову надо было раз'ять мир не растворяя, — в основе его мироощущения лежат твердые, крепкие тела, которые надо раскрыть, но не расплавить. Поэтому можно говорить о «классицизме» Хлебникова, — он поэт не сил и вихрей, а линий, тел и об'емов. Всей своей деятельностью он стремился к отрытию этих об'емов, тел и линий. Сюда относятся и его исторические вычисления с их исканием не текучих и непрерывных, Шпенглеровских, функций, а простых соотношений целых чисел.

Конечно эти вычисления были бесплодны и бессмысленны, и что в конечном счете Хлебников был неудачник спорить не приходиться. Зерна его гениальности, и в жизни и в стихах, приходится искать в хаотических грудах безнадежного на первый взгляд шлака. Интереснейшая мемуарная литература о нем (особенно интересны воспоминания Д. Петровского, Леф, 1923 N1). дает гораздо больше представления о его совершенно явной дефективности, чем о светлых линиях гениальности прорезающих этот темный спектр. Однако все близко знавшие его эти линии видели, и остались верны этой гениальности.

И поэзия его не вся — та бесплодная лаборатория которую изучал Якобсон. Винокур прав находя качества «классической» поэзии в таких стихах:

> Панна пены, Панна пены,
> Что вы — тополь или сон,
> Или только бьется в стены
> Роковое слово он,
> Иль за белою сорочкой
> Голубь бьется с той поры,

Как исчезнул в море точкой
Хмурый призрак серой при.

Или какая чистая и непосредственная «пессенность» в Уструге Разина:

Волге долго не молчится.
Ей ворчится как волчице.
Волны Волги, точно волки.
Ветер бешеной погоды.
Вьется шелковый лоскут.
И у Волги, у голодной
Слюни голода текут.
Волга воет, Волга скачет
Без лица и без конца.
В буревой воде маячит
Ляля буйного донца.

Уструг Разина кстати напоминает нам, как близок был Хлебников Волге и степи. Он страстно любил лошадей (он говорил о них: единственное приученное человеком животное имя которого не стало ругательством), в воде он был как рыба или как тоже любимые им каспийские тюлени. И кажется правильным что его город была Астрахань, узел России, Турана и Ирана, самый тонкий и онтологический из Русских городов караван-сарай окруженный стихиями — пустыней и водой. Астрахань один из ключей к Хлебникову, и Астрахани посвящен его замечательный посмертный рассказ Есир («Русский Современник» 1924, 4) другой незаменимый ключ к Хлебникову. В нем отмеченная Винокуром «классичность» особенно ясна и неожиданна.

Как проза Пастернака, проза Хлебникова строго прозаична совершенно свободна от украшений, несколько корява, и странно старомодна. В ней есть что-то от Пушкинской эпохи, но тема конкретно реалистическая мечта об Индии без романтизма и с удивительным чувством исторических и пространственных далей. Как у Пастернака — «вдруг становится видно во все концы света», но пути ведущие в них не «воздушные» — а странно-короткие материальные пути. Есир одно из самых удивительных и неожиданных созданий новой русской прозы.

***

4. Джойс («Ulysses», 1922)

Когда пять лет тому назад вышел наконец восемь лет писавшийся Одиссей Джемса Джойса,*) в европейскую литературу вошла исключительно большая новая сила. Первые книги Джойса особенно его роман Портрет Художника в Молодости (Portrait of the Artist as a young Man) возбудали большие надежды, но именно надежды; они были явным образом обещания за которыми должно было последовать исполнение. Самая исключительность этого исполнения, не сразу позволила всем оценить его. К восторженному изумлению примешались ошарашенность и недоумение. Слишком это выходило из обычных мерок и масштабов. К тому же вокруг книги поднялась шумиха оттолкнувшая от нее многих. С одной стороны среди Парижских англичан сложился вокруг Джойса культ, отнюдь не преувеличенный по существу, но несомненно преувеличенный по внешнему выражению, с другой запрещение книги английской цензурой дало ей специфическую популярность ничего общего не имеющую с подлинным пониманием. Но для английских литературных нравов характерно и служит к большой чести, что наиболее доброжелательный прием роману Джойса оказали его старшие собратья, ничего общего с ними ни лично, ни художественно не имеющие, но сумевшие достойно встретить восход светила которому суждено их затмить: лучшие из первых отзывов на Одиссея принадлежат Уэлсу и Арнольду Беннету.

В Англии и в Америке все слышали об Одиссее, но мало кто прочел его. Внешне он мало доступен (цензурное запрещение: даже в Британском Музее нет экземпляра); но и имевшие его в руках не все решались прочесть его. Это не гостеприимная книга. Читательским удобствам и привычкам в ней не сделано ни одной уступки. И читатель, не читавши, а только заглянувши, или наслышавшись от других заглянувших составил себе мнение отрицательное — «Самая неприличная книга на свете», «порнография стоит вне литературы», и «730 страниц на которых рассказывается что делает в течение суток один человек, — какая скука». На этих двух данных основаны суждения читательской толпы и обывательской критики. Знают еще, что действие происходит в Дублине и что, будто бы, для полного понимания

*) Ulysses, by James Joyce, Shakespeare and C°, Paris.

книги необходимо интимное знакомство с дублинской общественной жизнью начала столетия, с нравами дублинской улицы. Кроме того всякий иностранец открывши Одиссею очень скоро убеждается что его знакомство с живым английским языком совершенно недостаточно и что в чтении Джойса никакой словарь не помогает.

Практически, для людей желающих ознакомиться с этой книгой, величайшим созданием европейской литературы за много поколений, я бы советовал не подходить к ней без подготовки. Подготовка должна быть двоякая: чтение ранних книг Джойса, особенно Портрета Художника в Молодости, который прямо подводит к Одиссею и не представляет особенных трудностей; затем, чтение критики. Лучшая статья о Джойсе написана Эдвином Мюиром (Edwin Muir, «Transition», Hogarth Press, London); во Франции его главный проводник — Валери Ларбо. Полезен хотя и мог бы быть гораздо лучше написан коментарий Гормана (Gorman, «James Joyce. First Forty Years»).

Помимо внешних трудностей стоящих на пути к восприятию Джойса (из которых, однако, единственное серьезное необходимость знать английский язык хорошо) «Одиссей» труден еще потому, что он требует необычайной «конвергенции» внимания. Отношение между наименьшей и наибольшей единицей превосходит обычно допускаемые. Наименьшая единица — преходящие образы и обрывки беспрерывного потока сознания; наибольшая — целое всей книги. Наименьшие расположены так, что только в цельном констексте получают свой смысл, и цельный контекст ясен только тогда когда все единицы его соприсутствуют в понимании. Читатель таким образом должен быть одновременно максимально дальнозорок и максимально близорук; видеть и весь Эверест как целое, а каждую травку и снежинку в отдельности. В этом смысле «Одиссей» может быть назван созданием «сверхчеловеческим»: полное его понимание превосходит возможности нашего сознания. Но приближения возможны, и момент когда из пестроты бесконечно малых подробностей начинают складываться в понимании титанические очерки целого в жизни каждого читателя «Одиссея» останется всегда одним из сильнейших переживаний. Фигуры складывающиеся таким образом при всей их психологической срединности достигают чисто героических размеров. И правы те критики (Элиот, Мьюр), которые называют Джойса

…оэродителем мифо-творчества. Главное мифическое создание —есть герой, Дублинский еврей, Леопольд Блум, которого трудно не признать величайшим художественным символом среднего еловечества в мировой литературе. Это «средний европеец», даренный «всею пошлостью пошлого человека», человек сдавленый и робкий, довольный не многим, и неспособный к радости и частью, клубок трусливых и тайных желаний, никогда не осуществляемых и не освобождаемых. Невероятная сцена в публичом доме, кульминационный пункт книги — «валпургиева ночь», которой все сдавленныя пожелания Блума цветут в его подсознании с тропической буйностью, но так и не получают выхода на вет. Рядом с Блумом, его жена, спокойно и уверенно изменяюзая ему, спокойная уверенная самка, без подавленных желаий, без подсознания, чистая плоть, самый фарватер потока бесмысленной жизни.

О Джойсе можно говорить на сотнях страниц: о его титаниэской языко-образующей силе; об атлетической гибкости его тиля, дающей невероятное разнообразие «ключей» его прозе; совершенно адекватной точности и конкретности его слов; о омической силе в которой он равен Аристофану, Рабле и Гоголо; о щедрости его воображения; о глубоком метафизико-этичеком фоне — мучительном сознании греха, нечистоты жизни и лоти; об общих чертах с Фрейдом, тоже великим мифотворцем и сследователем греха; о корнях его в католическом сознании; обо многом другом.

Но эти несколько строк написаны с более скромной целью: олько обратить внимание русского читателя на то, что в Европе сть сейчас писатель равного которому она не рождала может ыть со времени Шекспира.

Кн. Д. Святополк-Мирский

«1905 ГОД» БОРИСА ПАСТЕРНАКА

Только что вышел Девятьсот Пятый Год Бориса Пастернака. Это большое литературное событие, может быть самое большое за последние годы. Поэма была уже по частям напечатана в советской прессе, но в разбивку и частью в малых и мало литературных изданиях, так что из этих рассыпанных частей читателю было трудно построить целое.*) А именно целое и замечательно в этой могущественной поэме о Революции, с ее широким историческим захватом с величественным движением.

Было бы праздно рассуждать о том, лучше ли Девятьсот Пятый Год, чем Сестра моя Жизнь и лучшие циклы Тем и Варьяций. В нем нет лирической насыщенности и сжатости тех книг (как в Евгении Онегине нет насыщенности и сжатости Пророка), и для тех, многочисленных, читателей, в чьем сознании любимый поэт навсегда застывает в образе его первого зашедшего по их адресу произведения, 1905 год может показаться «не Пастернаком». Но для себя и для будущего поэты никогда не застывают и каждое осуществление тем самым исключает возможность повторения. Тем более — Пастернак, чье самое существо — движение, и чей мир — мир раскованных и основных энергий.

Косых картин, летящих ливмя
С шоссе задувшего свечу,
С крюков и стен срываться к рифме
И падать в такт не отучу.

(«Темы и Варьяции»).

---

*) Одна из этих частей Морской мятеж, была под заглавием Потемкин воспроизведена в первой книге Версты.

Но если Сестра моя жизнь — ливень, 1905 год — море, и не даром как раз напечатанный нами Потемкин начинается похвалой морю —

Приедается все, лишь тебе не дано примелькаться.

1905 год — новый Пастернак, или лучше новое в нем; но новое не без корней в прошлом. В Пастернаке всегда был поэт истории и Революции. Без нарочитой историчности Мандельштама, Пастернак с исключительной непосредственностью чувствует непрерывно-разный поток времени и непрерывно-разную ткань пространства. Детство Люверс в этом отношении одно из самых историчных произведений русской литературы. Как измерения Эйнштейна, измерения Пастернака не прямолинейны и не однообразны, а имеют «структуру», полны кривых, узлов и провалов — отсюда основная, онтологическая революционность его поэзии. Его мир не только мир энергий, это мир неравномерных энергий, энергий с постоянными изменениями скорости, мир истории и Революции. Не даром Сестра моя жизнь писалась летом 1917 года. Но и в более узком смысле тема истории и Революции имеет свою традицию у Пастернака — Кремль в буран конца 1918 года, Матрос в Москве, Высокая Болезнь, Воздушные Пути, — подводят к 1905 году. В них онтологическая революционность поэта сливается в одно русло с исторической революционностью эпохи, давая симфоничность, со-чувственность целому иную чем у Державина или Некрасова, но не менее полную и подлинную. Кремль в буран конца 1918 года (Темы и Варьяции) в этом отношении особенно интересен, так как здесь мы как-бы видим то самое место где сходятся, из трех планов, рельсы личного, человечески общего (исторического) и космического.

Новая книга Пастернака состоит собственно из двух поэм — Девятьсот Пятый Год, и Лейтенант Шмидт. Первая написана вся в одном размере (четырехстишия пятистопных анапестов, типографски, однако, стихи разбиты на мелкие интонационные колонны). Одна состоит из шести эпизодов: Отцы — ночь предшествующая рассвету пятого года: Детство, — январь-февраль 1905 года, Гапон и Каляев; Мужики и фабричные; Морской мятеж, Студенты (похороны Баумана) и Москва в Декабре. Стихийное, мореподобное

движение истории здесь господствует, в величественном однообразии ритма и из отдельных частей особенно прекрасна первая Отцы, с ее острым историзмом и чувством преемства.

Но положенным слогом
писались и нынче доклады,
И в неведеньи без
за Невою пролетка гремит.
А сентябрьская ночь
задыхается
тайною клада,
И Степану Халтурину
спать не дает — динамит.

(Характерно для Пастернака это удивительное умение использовать собственное имя).

Эта ночь простоит в забытьи до времен
Порт-Артура...

. . . .

А немного спустя,
и светя, точно блудному сыну,
Чтобы шеи себе
этот день не сломал на шоссе,
Выйдут с лампами в ночь
и с небес будут бить ему в спину
Фонари корпусов
сквозь туман,
полоса к полосе.

Какое изумительное овладение историей в этой последней метонимии — «фонари корпусов».

Но кончается Пятый год поражением фабричных:

Было утро.
Простор
открывался бежавшим героям.
Пресня стлалась пластом,
и как смятый грозой березняк,
Роем бабьих платков
мыла
выступы конного строя

И сдавала
смирителям
браунинги на простынях.

В Лейтенанте Шмидте нет величественного движения первых частей. В нем пересечение планов и энергий напоминающих Воздушные Пути (тоже о Севастополе). История кристализуется вокруг личности Шмидта, но он взят в совсем не героическом ключе. Его письма, его личная драма выделяются из густого космического варева Событий с какой-то нарочитой худобой и тщедушием. Взятые в отдельности эти письма кажутся странно слабыми, — только на фоне целого самая эта слабость получает свой смысл. Шмидт не более как буер в бурю. За ним стоит коллективный герой —

Верста матросских подбородков.

А за матросами — море и история. Но мотив безнадежной преждевременности господствует:

Над крейсером взвился сигнал:
КОМАНДУЮ ФЛОТОМ. ШМИДТ.
Он вырвался, как вздох
Со дна души рядна,
И не его вина,
Что не пред-остерег
Своих, и их застиг врасплох,
И рвется, в поисках эпох,
В иные времена.
Он вскинут, как магнит
На нитке, и на миг
Щетинит целый лес вестей
В осиннике снастей...
Но иссякает ток подков
И облетает лес флажков,
И по веревке как зверек
Спускается кумач.
А зверь, ползущий на флагшток,
Ужасен, как немой толмач,
И флаг Андреевский — томящ.
Как рок.

Пафос поражения проникает с особенной силой последнюю, третью, часть Шмидта. Этим она так тесно сливается со старой, элегической традицией гражданской поэзии. В Шмидте умирает старая, интеллигентская, народовольческая Революция. Сцены суда поразительны. Они насыщены томящим лиризмом, не менее действенным, хотя и совершенно иным, чем лиризм Болезни или Разрыва. Это самые сильные места всей книги:

Версты обвинительного акта.
Шапку в зубы, только не рыдать!
Недра шахт вдоль нерчинского тракта.
Каторга, какая благодать!
Только что и думать о соблазне.
Шапку в зубы, — да минуй озноб!
Мысль о казни — топи непролазней:
С лавки с'едешь, с головой увязнешь,
Двинешься чтоб вырваться, и — хлоп.
Тормошат, повертывают навзничь,
Отливают, волокут, как сноп.

В перерывах — таска на гауптвахту
Плотной кучей в полузабытьи.
Ружья, лужи, вязкий шаг без такта,
Пики, гики, крики: осади!

. . . .

Час спустя опять назад с гауптвахты
Той же кучей в сорок три шеи
К папкам обвинительного акта
В смертный шелест сто второй статьи.

Лейтенантом Шмидтом Пастернак, великий революционер и преобразователь Русской поэзии поворачивается ко всей старой традиции русской жертвенной революционности, и дает ей то творческое завершение, которой она сама себе не в силах была дать. Традиция одиноких, единственная жившая в Пастернаке-лирике, традиция Тютчева, Фета, Анненского сливается с традицией не нашедшей слова общественности (после-некрасовской). Все узлы до-революционной русской традиции сошлись теперь в поэте, который исходная точка всех будущих русских традиций.

Кн. Д. Святополк-Мирский

БИБЛИОГРАФИЯ

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Взвихренная Русь Ремизова (изд. Таир, Париж, 1927) займет одно из первых мест в литературе наших дней, и в творчестве самого Ремизова. Его запись о Великой Русской Революции полна значительности и внутренней, непосредственно-воспринятой правды.

Законный потомок Достоевского и Гоголевской «Шинели» Ремизов, с особой остротой переживает боль и страдание и его рассказ о Революции прежде всего хождение по мукам простых русских людей застигнутых Революцией. Но как и у всякого из нас отношение его к ней двойное, «амбивалентное», отношение ненависти и любви, притягивания и отталкивания, и притягивания тем сильнейшего чем сильнее соответное ему отталкивание.

В краткой заметке нельзя дать представления об изумительной полноте и богатстве этой книги. Особенно поразительны «Окнища» (окнища в ад), рассказы о «скотских зимах» 1918-1920 года. Но не менее замечательна и «Весна-Красна», дневник 16 и 17 года — рассказ о мобилизации ратников, об избиении городовых в «бескровную» февральскую революцию. И просвечивающие сквозь основной текст лирические интермедии, и памяти о России прежней, о «заплечном мастере», о большевизме Петра, — по старым документам со странно-новыми именами Петровских чиновников и подрядчиков — Савинков, Бронштейн, — и старые знакомые из «Шумов Города», несравненные «Заборы», о «единственной весне чудесной» 1920 года. («это заборы, которые теснили дорогу, — не было больше заборов! садами шла моя дорога»); и и эти ремизовские сны, которых так не любят его снисходительные парижские критики, но в которых самая острая изюминка его настоек. Наконец я не могу не кончить выпиской — конца последней главы «В конце Концов», где тема «амбивалентности» Революции достигает особеннаго лирического напряжения:

«— — знаю! — если бы революции «освобождали» человека, какой бы это был счстливый человек! — знаю, никакие революции не перевернут, ну скажу так: «с у д ь б ы, которую конем не объедешь». «И все таки — или это от тесноты невозможной, в которой живем мы? — когда подымается буря — к о н е ц».

Но за этим концом следует еще конец «неугасимые огни» — с видением воскресшей из пепла Московской России — — черным покрытый одиноко шел властитель «всея Русии», в крепко сжатой руке прыгал костяной посох. В медных касках, закованные в серую сталь, проходили ливонцы, обагрившие кровью московский берег, а следом пестро и ярко царевичи: грузинские, касимовские и сибирские. Шишаки лисовчиков и русских «воров», а под ними шершавые головы юродивых — не брякали тяжелые вериги,

висело желѣзо, как тень, на измученном телѣ. И в бѣлых олельих кухлянках скользили лопари-нойды, шептались — шептали — и от их шопота сгущался туман, и сквозь туман: ослепленные зодчие и строители, касаясь руками стен —

Неугасимые огни горят над Россией».

* * *

«Оля» (Изд. Вол. Париж, 1927) в творчествѣ Ремизова противостоит «Взвихренной Руси» почти как антитеза. Если во «Взвихренную Русь» он вложил все свое богатство, в «Олѣ» он сосредоточил всю свою чистоту. Больше чем всякая другая книга Ремизова «Оля» принадлежит к «старшей линии» русской литературы, линии не Гоголя, Достоевскаго и Лескова, а Пушкина, Аксакова и Тургенева. Для многооб'ятности Ремизова характерно что автор «Стратилатова», самого демоническаго гротеска, в то же время автор «Оли», самой свежей идиллии. В то же время, для самого писателя, «Оля» огромное усилие самоограничения. Именно своим строгим исключением всего грубого, всего демонического, всего сомнительно-свежего и сомнительно-чистого Ремизов продолжает традицию «Капитанской Дочки», «Багрова Внука» и «Дворянского Гнезда». Но —достижение особенно трудное для духовного внука Гоголя и Достоевского. Чистый идилический мир «Оли», по существу чуждый творцу «Бугкова Дома» и «Канавы» встает однако во всей своей природной свежести, и высокое, объективное, искусство писателя предстает нам в своем конечном достижении, в своей чистой и «первобытной» легкости. Высшая зрелость искусства умеющего преодолеть свою зрелость и обрести потерянный рай простоты.

* * *

Валя. Роман. Часть I. Преображение. Гос. Изд. 1926.

Только недавно удалось мне достать первую часть романа Сергеева-Ценского о котором так давно и с таким восторгом говорят прочитавшие ее (Валя, Роман. Часть первая — Преображение. Гос. Изд. 1926). Такие компетентные и непохожие друг на друга критики как Горький и Степпун отзывались о «Преображении» как о лучшем русском романе со времени Революции. Сергеев-Ценский мне всегда казался писателем далеко недооцененным. В обществе своих современников, Андреева, Бунина, Арцыбашева, он мне представлялся едва не первым. Писатель честный, скромный, содержательный, мастер и работник слова, сумевший (после «Движений») порвать со стилем индивидуальным, искренним, сложившимся, но уже не удовлетворившим и «начать сначала» (в «Наклонной Елене»)—Сергеев-Ценский — мне казалось, должен еще дать нам большие вещи. Покамест же «Движения» нельзя было не признавать лучшим из многочисленного потомства «Ивана Ильича» (без сомнения лучше и Андреевского «Губернатора» и Бунинского «Господина из Сан-Франциско».). Но «Преображение» разочаровало меня совершенно и читая его я не верил ни глазам своим, ни Горькому и Степпуну. Что это такое? Откуда эта лежалая, выдохшаяся Достоевщина? Куда делась благородная Толстовская традиция? Время от времени мелькали намеки на прежнего Ценского, сильное чувство земной поверхности, точные конкретные описания, острое географическое чувство, отдельные удачные фигуры (напр. дяди Валиного любовника), но самый сюжет, характеры, положение! Создатель изумительного Антона Антоныча («Движения») у какого Бориса Лазаревского он взял свою Наталью Львовну и Алексея Иваныча? Какие убогие реминисценции из «Идиота» в сцене где Наталья Львовна предлагается на выбор своим женихам, из «Вечного Мужа» где Алексей Иваныч приходит к любовнику

своей покойной жены! Какая нудная восмидесятническая жвачка в разговорах! И это Горький и Степун отмечают как явление исключительное и важное! Нет положительно между нашим поколением и ихним есть «недоступная черта» и то что им нужно и важно, нам скучно и чудно. Неудачники, калеки и импотенты рассуждающие о смысле и красоте жизни, и слепо копошащиеся в «сложных переживаниях», влекущиеся к мучению и унижению, и способные к действию только в состоянии надрыва или гипноза — неужели все это еще не смыто с лица литературы? неужели к этому можно в о з в р а щ а т ь-с я?

Что-то не слышно чтобы выходило продолжение «Валы». Может быть и не выйдет. В конце концов она была начата еще в 14-м году. И уже после нее Сергеев-Ценский написал гораздо более крепкий и достойный его прошлого «Рассказ Профессора». Главное ему следовало бы забыть о Достоевском. Яды Достоевского, в чистом неразбавленном виде страшны и сильны. Но раствор их в Чеховской воде не действен и не чист. У Сергеева-Ценского был учитель — старый Толстой. Этот учитель не обманывает, и к нему он должен вернуться.

* * *

В прошлой книжке «Верст» мне пришлось говорить о Федине по поводу издания отдельной книжкой эпизодов романа «Города и Годы» относящихся к мужику Федору Лепендину. С тех пор Федин выпустил книгу рассказов частью написанных до «Городов и Годов», частью позже. Федин пишет мало и на фоне необыкновенной плодовитости других молодых беллетристов эта медленность работы представляется положительным качеством. Книга называется, по главному рассказу, «Трансваль» (Гос. изд. 1927). Содержание ее разноценно. Открывается она странно слабой и совершенно недостойной автора «Наровчатской Хроникой» (к сожалению именно «Наровчатская Хроника» единственная вещь Федина выбранная для перепечатки парижским издательством «Очарованный Странник»). Другие рассказы значительно лучше, но не поднимаются до уровня «Городов и Годов», за исключением заглавного рассказа «Трансваль». Рассказ этот принадлежит к лучшему изо всего написанного после-революционным поколением. Еще раз приходится отметить, что один изо всех младших современников Федин умеет, то что умели русские романисты прошлого века, создавать живых людей. Мельник Сваакер займет место рядом с Федором Лепендиным в портретной галлерее русского романа. Чувство конкретной и неповторимой личности резко выделяет Федина из потерявших чувство личности современных беллетристов. Другая положительная особенность Федина — наличие этического отношения к изображаемому. И отношение это становится у него конструктивным принципом рассказа — признак большой и сознательной силы. Энергичный, удачливый, практический урод Сваакер сначала выступает героем, — думаешь почти о — юродах и праведниках Лескова, — но постепенно рядом незаметных отклонений от первоначального освещения фигура его становится зловещей и ужасной, и читательское отношение из притягивания переходит в отталкивание. Как «Города и Годы», «Трансваль» рассказ с социальной темой («американец» в советской деревне), которая однако разработана не публицистически, а «преображена» в процессе творчества. Федин делает то что делал русский роман 19-го века — Лепендин и Сваакер, «общественные типы», с о ц и а л ь н о з н а ч и м ы е личности, законные наследники Обломова, Рудина, и Порфирия

Головлева. Но Федин не эпигон, и в нем можно видеть пионера нового социального реализма, который возобновил, не повторяя ее, работу реалистов 40-ых годов.

* * *

Скончался Анатолий Федорович Кони, старейший (после смерти Боборыкина) русский писатель (р. 1844) и последний шестидесятник. Из трех идейных формаций «эпохи великих реформ», — радикализма, славянофильства и либерализма, — первые две вошли в русскую культурную традицию гораздо прочнее, чем последняя. Изо всех сколько-нибудь живых направлений современной русской мысли только в просветительстве Горького можно расслышать некоторую идейную преемственность с «культурой Судебных Уставов». И не случайно что последняя вспышка деятельности покойного А. Ф. Кони совпала со временем горьковской диктатуры [illegible] над русской литературой (1918-1921). Но в свое время Кони был одним из самых видных представителей своеобразной полосы петербургской культуры, одного из самых чистых проявлений русского западничества, объединявшихся вокруг новых судов пореформенной адвокатуры и магистратуры. Менее литературно-талантливый чем С. А. Андреевский,*) менее утонченно-культурный чем «первый декадент» кн. А. И. Урусов, — Кони был ближе к духовному центру движения, и лучше воплощал в себе его этический идеал, идеал вполне чуждый нашему (и предшествующему) поколению но не лишенный большой эстетической привлекательности. Происхождения стоического и кантианского, этика судебного либерализма может быть определена, именно как этика эстетическая, (а так как эстетика таким образом втягивалась в этику, самостоятельное ее бытие оказывалось обескровленным). Этические ценности строились в эстетическую систему, в которой господствовали чистота и мера. Идеал чистоты сближал «судебных либералов» с Толстовством, но внесение эстетической концепции меры клало непроходимую грань между ними и Толстым. Они поклонялись Толстому, (его «гуманизму» не меньше чем гению) но если их идеал нам стал так чужд, причиной тому прежде всего то, что все наше подсознание проникнуто Толстым и его беспощадным максимализмом. Внесение эстетической категории меры в этику для нас неприемлемо, и характерная для либералов фраза «моральная красота» потеряла для нас смысл и очарование.

Как писатель Кони был эпигоном Тургенева. Его воспоминания (*На Жизненном пути*) прямые потомки *Литературных Воспоминаний* и *Казни Тропмана*. Их, вполне заслуженный, успех объясняется, помимо эстетического очарования его личности, между прочим и тем, что в век бурных новшеств, Кони один умел (и действительно *умел*) писать как писали «классики». Но память о Кони связана не с писаниями его, а прежде всего с одним знаменитым действием — председательское резюме повлекшее за собой оправдание Веры Засулич, самый героический эпизод в героической легенде судебного либерализма.

* * *

В Лондоне вышла *Книга о Медведе* (The Book of the Bear, Nonesuch Press), Jane Harrison и Hope Mirrlees. Книга состоит из стихов и сказок о медведях переведенных с русского. В нее вошли сказки Афанасьева, басни Крылова, *Генерал Топтыгин*, пушкинский отрывок о мужике и медведице, сказки Ремизова. Составительницы занимают одно

*) *Книга о Смерти* Андреевского, напечатанная в 1921, и почти никем незамеченная, содержит страницы и целые части очень большой художественной силы (особенно первая часть).

из самых первых мест среди английских друзей русского. Им двоим принадлежит английский перевод *Жития* Аввакума (Hogarth Press, 1924); мисс Харрисон — интересные заметки о русском глаголе; мисс Меррлиз — тонкая статья о Ремизове (в Revue de Psychologie normale et pathologique). Но независимо от этого они очень заметные величины современной английской культуры. Мисс Харрисон выдающийся историк религии, одна из главных сил движения двинутого Фрезером, и сыгравшего огромную роль в духовной жизни Англии. Теории Фрезера и мисс Харрисон, концепция «симпатической магии», натуралистическое об'яснение первобытных культов из явлений вегетационного цикла были мощными орудиями разрушения «Викторианского» миросозерцания и освобождения пуританской мысли. Они несли с собой реабилитацию плоти и признание исторической относительности социальных ценностей. Для понимания современной Англии необходимо знакомство с «библией антропологии» (как англичане зовут науку о первобытной культуре) *Золотой Веткой* Фрезера, и в почти такой же мере с *Фемидой* мисс Харрисон (вышедшей только что новым изданием). Достаточно отметить влияние этого круга идей и связанной с ним символики на великую поэму Элиота, *Бесплодная Земля*. Мисс Харрисон отличается от других своих товарищей по антропологии особой интимностью и душевностью подхода к понятиям первобытного человека. Она не скрывает своего глубокого сочувствия его тотемизму, и самая мысль о *Медвежьей Книге* связана у ней с личным «тотемистическим» отношением к этому самому человечьему из животных.

Мисс Меррлиз ученица мисс Харрисон по Кембриджу, и в ее романах ясно заметно влияние ее учительницы. Рядом с ним не менее сильно влияние Фрейда. Фрейд и Фрезер, психоанализ и антропология действовали в одном направлении на английское сознание, освобождая и реабилитируя плоть «взрывая» и «возмущая ключи» подсознания, наполняя мир безличными, неодолимыми биологическими силами. И Фрейд, и антропология давали почву для мифологизации этих сил, и *Тотем и Табу* стало рядом с *Золотой Веткой* «символической» книгой английской литературы. (В том же направлении, хотя и независимо от этих влияний и на другой почве, ведет — как я указываю в другом месте — творчество великого ирландца Джойса).

Романы мисс Меррлиз чрезвычайно характерны для современной Англии, и свидетельствуют о совершенно исключительных поэтических данных. Богатство «внутренней фауны» мисс Меррлиз даже слишком велико, и в вышедших до сих пор ее книгах она еще не получила завершающего оформления. В C o u n t e r p l o t (1924) это особенно ясно сказывается. Роман этот замечательный по богатству своей «фауны» и словесной насыщенности, любопытен по своей композиции: угнетенная комплексами героиня, чтобы от них освободиться пишет драму в которой творчески транспонирует свое неудовлетворенное подсознание. Нельзя отделаться от впечатления, что и для автора эта драма о средневековой испанской монахине — главное. Удивительная полнокровность и биологическая напряженность диалога, не останавливающегося перед большой физиологической откровенностью делает ее произведением исключительным в женском творчестве. Последний роман мисс Меррлиз L u d - i n - t h e - M i s t (1926) более закончен, чем C o u n t e r p l o t. Подобно испанской драме он транспонирован — в выдуманную землю. Это сказка с детективным сюжетом, и в то же время психоаналитическая аллегория. Трудная задача примирения авантюрного рассказа с аллегорией удалась мисс Меррлиз сверх всякого ожидания: книгу можно

читать безо всякой мысли о смысле ее символов, и в то же время символизм облегает ее с совершенной гибкостью. «Феи» (fairies) соседящие с буржуазной страной Доример, проникающие ее во все щели и пронизывающие ее атмосферу — символизируют, конечно, подсознание, сладкие зазывы которого, как говорит эпиграф из мисс Харрисон, древние мифологизировали в пение сирен. Но атмосферическая сказочность книги, неразрывная с убедительнейшим, полновесным реализмом в изображении Доримерцов и насыщенная словесной и вещественной поэзией, почти напоминает сказочные миры Шекспира.

* * *

Среди современных французских журналов совершенно особенное место занимает «Commerce», вступающий теперь в четвертый год своего существования. Это как бы цитадель французской литературной культуры, не старой академической, а живой, современной. «Commerce» не revue d'avangarde, а орган зрелых и взрослых, но он смотрит вперед, а не назад, и среди его сотрудников встречаются имена сюрреалистов Арагона и Витрака (главное ядро сюрреалистов не участвует в нем по соображениям партдисциплины). Ближайшие участники Commerce'а Поль Валери, Леон-Поль Фарг и Валери Ларбо — писатель небольших творческих сил, но огромного понимания, может быть самый открытый, чуткий и передовой критик современного Запада. Из произведений Валери в Commerce'е напечатано одно из самых удивительных, Lettre d'Emilie Teste. Но главное украшение последних номеров журнала поэмы (в прозе) Леона-Поля Фарга, которого эти произведения (особенно Esquisse pour un Paradis и La Drogue) делают одним из самых первых французских поэтов. Два других первостепенных поэта Поль Клодель и С.-Ж. Перс тоже принимают близкое участие в Commerce'е. Большое внимание обращено на иностранную литературу, особенно английскую, (между прочим отрывки из Ulysses Джойса в переводе Ларбо, и стихи Элиота в переводе Перса). В выборе иностранного материала журнал не ограничивается близким и современным: в последнем (XII) номере даны отрывки из византийской хроники Пселла. Из русских были напечатаны *Арап Петра Великого*, и стихи Мандельштама и Пастернака в переводах нашей сотрудницы Елены Извольской.

Кн. Д. Святополк-Мирский

«Mont-Cinère». Adrienne Mesurat. par Gulien Green. (Plon editeur).

Читатель, хотя бы бегло знакомый с Англией, охотно сравнивает произведения Жюльяна Грина со знаменитым романом Эмили Бронта «Wuthering Heights». Это сравнение не случайно.

Ж. Грин — американского происхождения и в его романах то и дело встречаются отголоски английской литературы. Грин слишком талантлив и самобытен, чтобы его можно было винить в слепом подражании. Но несомненно, что в его книгах мы встречаем образы, напоминающие нам героев Эмили Бронта, как бы облеченных в новую одежду и вошедших в несколько иные рамки — рамки французского романа.

Необходимо сразу же отметить разницу между творчеством Эмили Бронта и творчеством Грина.

«Wuthering Heights», — книга о любви, о любви бурной и сокрушительной, хотя она и заключена в строгие рамки английского пуританского быта.

Такой интенсивности, такого исключительного полета, Грин едва ли смог достигнуть. Более того, его романы совершенно

«чужды любви». Даже в «Adrienne Mesurat», где на первом плане выставлена страсть героини к незнакомцу, эта страсть является лишенной всех признаков человечности и вообще «человеческого». Это — чистая абстракция.

У Эмили Бронта все герои, любящие или ненавидящие друг друга, связаны таинственной нитью, не могут отойти друг от друга, живут под одним проклятием. У Грина, действующие лица связаны друг с другом только постольку, поскольку это необходимо для повествования. Но мы постоянно чувствуем их отчужденность, их сиротливость. Они томятся в одиночном заключении.

В «Mont Cinère» (первый роман Грина, появившийся в 1926 г.), главное действующее лицо — дом, усадьба, которая является как бы одухотворенным свидетелем всего происходящего.

«Mont-Cinère», — американский помещичий дом, выстроенный из серого камня, похожий на «тюрьму», он окружен «гигантскими деревьями и черными скалами».

В нем томится героиня — Эмили Флетчер, которая мечтает о блаженном дне, когда, освободившись от ненавистной матери (ей снится по ночам, что она ее убивает собственными руками) она сделается хозяйкой «Mont-Cinère»'а.

«Милая Эмили», пишет она в воображаемом письме к себе самой: «как Вы должны быть счастливы! такой прекрасный дом, и так благородно расположенный! Подумайте, как трудно не позавидовать Вам, хозяйке Mont-Cinère»'а.

Эмили, жертва скупой семьи, сама скупая, ожесточенная, угрюмая и хитрая девушка, выходит замуж за садовника с целью поселить сильного мужчину в усадьбе, и таким образом отнять дом у матери.

Она обращается с мужем как со слугой, которого она наняла, чтобы стеречь свое состояние. Но и для него этот брак был только средством, чтобы завладеть имением и поселиться в нем со своим ребенком от первой жены. Этот молчаливый, глуповатый и злой слуга делается законным хозяином «Mont-Cinère»'а.

«Все это наше, — говорит он своему ребенку: ты будешь всегда жить со мной тут, среди этой великолепной мебели».

В «Adrienne Mesurat», *) тема отцеубийства «намеченная в «Mont Cinère» (сон Эмили) выступает на первый план. Это как бы лейтмотив, преследующий автора. Перед нами снова жуткая, скупая, «чудовищная» семья.

Образ старика Мезюра мастерски набросан:

«Этот старик был воплощением спокойного довольства. Он был высокого роста и крепкого телосложения. У него было спокойное, упрямое лицо человека не дающего жизни нарушить свой мир и держащегося за свое счастье, как скупые за свое богатство».

«Глаза старого Мезюра не выражали ни малейшего чувства, и пустота его зрачков, была поразительна. Эти зрачки были ярко голубого цвета, и проливали свет на красные скулы, на виски и лоб».

Антуан Мезюра, бывший учитель чистописания в Парижском училище, поселился на старости лет в провинциальном городке. Он давно овдовел, «о жене говорил редко, и не оплакивал ее».

«Он был несомненно счастлив» замечает автор. Его жизнь была самой обыкновенной, но привычки, из которых она сложилась, были дороги его сердцу. Ежедневная прогулка по городу, появление вечерних газет, часы завтрака и обеда, все это были минуты приятные.

Желание соблюдать полное спокойствие настолько сильно, что старик отказывается признать болезнь старшей дочери Жермэны, которая умирает от чахотки. И несчастная мстит

*) Книга вышла в 1927 г.

жизни тем, что притесняет младшую сестру Адриенну. Последняя живет в полном одиночестве, без любви, без ухода. Она вся ушла в фантастический мир, созданный ее воображением. Раз, во время прогулки, Адриенна увидала доктора Мерикура: эта встреча с незнакомым мужчиной оставила в ее сердце неизгладимое впечатление и показалась ей исполненной таинственного предназначения. Она влюбилась в доктора.

С тех пор Адриенна стала проводить все свободные минуты у окна, из которого был виден дом Мерикура. Догадавшись, что у сестры зародилось любовное чувство, Жермена предупреждает отца. За Адриенной стали следить, запретили ей выходить. Жизнь ее сделалась еще более нестерпимой. Но, в то время, как Адриенна, лишена свободы, Жермена сама мечтает о побеге. Старик Мезюра и слышать не хочет о ее болезни, не дает ей ни лечь в постель, ни лечиться. С помощью сестры, больная уходит из дому, чтобы иметь возможность умереть спокойно.

Такова трагическая атмосфера, в которой живет Адриенна. С первых страниц романа читатель задыхается.

Фантастическая, абстрактная любовь Адриенны, ея ненависть к отцу, отвращение к умирающей сестре, все смешивается в жуткую симфонию.

И когда Адриенна, преследуемая угрозами отца, сталкивает последнего с лестницы, нас нисколько не удивляет это дикое убийство. Правда, что оно едва-ли смущает убийцу. Она толкнула отца, как свергают препятствие, как ломают глухую стену.

Ее движение было почти бессознательным, не вызвало в ней ни сожалений ни раскаяния.

Оставшись одна в опустевшем доме, она всецело отдается своему чувству к доктору. Между тем, знакомство и дружба с некой Мадам Легра, соседкой с темным прошлым, (опытной шантажисткой) грозит ей неминуемой опасностью. Адриенна и не подозревает, что в городе начались недобрые толки о смерти старого Мезюра.

Она живет мечтой о Мерикуре. Она уверена, что рано или поздно судьба соединит их, что они будут счастливы. Мы уже говорили об абстрактности, «бесчеловечности» этой страсти.

Она соткана не из живой ткани любви, она эгоцентрична и похожа не на чувство, а на исступление. Так мечтала Эмили Флетчер о блаженном дне, когда она будет «хозяйкой» Mont Cinère'a. И эта мечта превращается в нечто всесильное, исключительное, сверхреальное, это исступленное тяготение, опять таки звучит как «лейтмотив» во всем творчестве автора.

И вот наконец Адриенна встречается с доктором. Он уже знал о ее преступлении, он узнает о ее любви.

Он говорит с ней спокойно, мягко, может быть даже с жалостью, но слова его пронизаны какой-то ледяной трезвостью. Он говорит с ней, об убийстве и в первый раз Адриенна открывает свою душу. Но едва она касается своего чувства к нему, как доктор ее останавливает. Их разделяет разница лет; притом он тяжело болен и ему не суждено прожить более двух лет. «Наконец, говорит он в заключении, я не люблю Вас».

Одна из главных заслуг автора «Адриенны Мезюра» это простота его художественных приемов. Сцена с доктором, изложенная в обыденных, холодных словах, производит глубочайшее впечатление. Едва намеченный образ Мерикура и его встреча с Адриенной настолько трагичны, что читатель ясно чувствует ледяное дыхание рока.

Нам кажется, что этот элемент трагичности и есть самое существенное в романах Грина. Этот еще совсем молодой писатель продумал и разрешил одну из самых сложных и многозначительных задач творчества.

Удастся ли Грину освободиться

от призраков и «чудовищ» описанных им в его двух первых книгах, или ему суждено жить и творить под их гнетом? Это другой вопрос. Нам кажется, что слишком частое повторение одних и тех же «лейтмотивов» может грозить автору оскудением. Но, что несомненно, это, что Грин обладает истинно-творческим и трагическим дарованием.

В наши дни, когда литература слишком часто строится на форме, на стилистических фокусах, чисто интеллектуальных приемах, романы Жюльяна Грина могут быть встречены, как исключительно ценное и значительное явление.

Елена Извольская

А. Ф. Лосев. Философия имени. Москва. 1927 г. 254 стр. издание автора.

А. Вейдеман. Мышление и бытие (Логика достаточного основания). 327 стр. Рига 1927 г.

Если на рубеже 19-го и 20-го веков в философском мышлении преобладало враждебное рационализму направление, то за последнее десятилетие намечается как будто поворот в обратную сторону: среди новых течений мысли все определеннее вырисовываются также, которые явно тяготеют к рационализму и пытаются восстановить его в правах. Это показывает, что рационализм далеко еще не преодолен и не изжит философией и что в нем таятся еще не использованные возможности, имеющие существенное значение для всестороннего развития философского умозрения. — Правда, этот неорационализм есть рационализм особой формации: менее всего он похож на классический рационализм эпохи Просвещения. Почву подготовил для него отчасти тот логический априоризм который вырос из недр неокантианства (Марбургская школа); отчасти феноменология Гуссерля. Но своеобразие неорационализма заключается в том, что в утверждении рационального начала он идет гораздо дальше указанных концепций, кладя в основу своей систематики именно то, что чуждо классическому рационализму, — *антиномику и диалектику* чистой мысли. В этом сказывается возврат к панлогизму Гегеля или же — попытка воскресить античный идеализм в той его форме, которая была выработана платонизмом и в особенности неоплатонизмом. — Знаменательно, что это рационалистическое течение нашло отклик в русской философии. Об этом свидетельствуют последние две ее новинки: «Философия имени» — А. Ф. Лосева и «Мышление и бытие» — А. В. Вейдемана.

Особенно интересен труд Лосева, интересен именно потому, что представляет оригинальный синтез подлинного Платонизма и живых тенденций современного умозрения. Автор — тонкий знаток античной философии, но вместе с тем он остро ощущает и проблематику современной мысли. Отливая ее в формы античной диалектики он не только не мертвит ее, а сообщает ей, наоборот, особенную жизненную напряженность. —

«Философия имени» не есть философская теория имени (слова) как особой философской проблемы: это, по признанию самого автора, целая философская система, «единственно возможная философия», центральным понятием которой и является понятие мысли. Почему именно имени отводится руководящая роль, это выясняется из самого хода диалектических рассуждений автора, которые вкратце сводятся к следующему: Существо имени (слова) заключается не в его звуковом составе (фонеме), а в его значении (семеме), т. е. той мысли, которую оно обозначает и выражает. Но всякая мысль есть мысль о предмете, о сущем. Значит исходной точкой всякого значения и всякой философии должно служить понятие сущего (предмета). Но предмет есть нечто, есть сущее, лишь

поскольку он отличается от иного. Отличаться же он может только тогда, когда у него есть определенная форма, определенные очертания. Различие между сущим и «иным» коренное, принципиальное. Иное не должно быть понимаемо как иное сущее, — иначе сущее и иное были бы не всецело различны и имели бы нечто общее, — а как не-сущее, как *меон*, т. е. как тот общий фон, на котором обрисовывается сущее, как таковое, и которым обусловлена его определенность. Стало быть, «иное» как несущее, представляет собою лишь необходимый момент в самом сущем, это — лишь утверждение его оформленности и определенности, но отнюдь не самостоятельное начало, которое обладало бы бытием и значением и помимо и независимо от самого сущего. Такое превратное понимание «несущего» неизбежно ведет к натуралистической метафизике. «Несущее» диалектически связано с сущим. Они взаимно определяют друг друга также, как свет и тьма. Также как световой образ существует, лишь поскольку он выступает из окружающей тьмы, т. е. поскольку в его оформлении участвует и тьма, также и оформленность сущего обусловлена его соотнесенностью с несущим. Противоположность между сущим и несущим может быть освещена еще с другой стороны. Сущее, как определенное полагание, есть «полагание определенного *смысла»*; оно — «последнее основание смыслового, рационального». Поэтому меон, как иное сущего, есть и иное полагания или смысла. Иначе говоря, оно есть иррациональное, и в качестве такового составляет необходимый момент в рациональности (осмысленности) самого сущего. Рациональное и иррациональное также взаимоопределяют друг-друга, как сущее и несущее. — Спрашивается: какое значение имеет эта необходимая соотнесенность сущего с несущим для структуры самого сущего? — Автор различает дв вида меона, или вернее, две ег функции, которые оно выполня ет по отношению к сущему С одной стороны оно *имманент но* сущему и участвует в установлении его определенност (это — внутрисущностный меон) с другой — оно противостоит ем как иное, как та среда, в которс сущее проявляет себя вне себ самого (абсолютный или внесущ ностный меон). Меон въ это втором значении и есть то начало, через посредство которог осуществляется связь межд разными «смыслами», та сред в которой приходит их «встре ча», их общение. Ведь связ одного смысла (сущего) с други (и прежде всего одной категори бытия с другой) означает, чт он есть бытие не только для себя но и для другого, что он «яв ляется» не только себе, но другому. Явленная сущност поэтому есть не что иное ка «инобытие» сущего, проявлени или выражение его в ином Поскольку же это выражени или проявление сущего осуществляется в меоне и чере него, инобытие сущности вмест с тем знаменует собою, пребыва ние ее в несущем или «меониза цию» сущего. —

Таким образом соотнесенност сущего (смысла) и несущег определяет собой и диалектич скую связь между сущность и явлением, или между сущ ностью в ее «для себя быти и в ее меональном «вне се бытии» (инобытии). Сущност и тут и там одна и таже и вмес с тем различна, поскольку о в явленности своей выш из себя и подверглась мониз ции. В этом сказывается диале тический характер жизни су ности.

В пределах процесса ме низации развертывается все к чественное и количественное мн гообразие мира действительн сти. Многообразие это обусловл но прежде всего тем, что хара тер меонизации зависит в кажд отдельном случае от той сущн сти, которая подвергается ме

..изации (поэтому меонов столько, сколько существует категорий бытия); а кроме того и тем что степень явленности или выраженности сущности может быть различной.

Но меонизация, погружение сущего в иное имеет еще другое значение: это переход от сущности (чистого «эйдоса», идеального бытия) в сферу действительности (мир «фактов»). Ибо, действительно существующее всегда сочетает в себе и сущее и несущее. Если же сущность (эйдос) есть устойчивость, определенность (рациональность), то несущее, — наоборот, начало неустойчивости, иррациональной неопределенности, изменения. Стало быть, все действительное (эмпирическое), т. е. сущность, подвергнутая меонизации (мир «явлений») есть необходимо нечто текучее, меняющееся, становящееся. И в логическом становлении ее раскрывается качественное и количественное многообразие ее проявлений.

Этим определяется значение двух основных понятий, играющих в философии имени руководящую роль: понятия *энергии* сущности и понятия *символа* (символического бытия). — Энергия сущности — это сущность в ее обращенности к меону, сущность, выражающая себя в ином». Она проявляется в многообразии своих «энергем», т. е. воплощений в меоне. Но воплощения эти никогда не исчерпывают сущности целиком, а выражают лишь те или иные аспекты или стороны. Поэтому сущность всегда заключает в себе некоторый «апофатический» момент, не находящий себе адекватного выражения в мире явлений (в доступной опыту действительности). С другой стороны вся действительность — как выражение явленной сущности, есть бытие символическое, не довлеющее себе, а имеющее свой источник и свое основание в том бытии, которое им знаменуется, — т. е. в сущности в ее в-себе-бытии.

Какие же выводы вытекают из этой диалектической структуры сущего для природы бытия и знания?

Если действительное бытие обусловлено взаимоопределением и взаимообщением сущего и несущего, и если многообразие мира действительности зависит от степени проявления смысла в ином (или что то же от степени осмысления иного), то очевидно в результате меонизации смысла (сущности, эйдоса) получается «целая лестница восходящих по своей осмысленности типов оформления меона (просветления бессмыслия)». На низшей ступени этой лестницы возникает то, что принято называть неживой, неодушевленной природой — физической вещью. Здесь преобладает меональное начало дискретности, внеположности всего всему. Смысл проявляется лишь как чисто внешнее, механическое об'единение частей. Это — смысл в чистом своем вне себя бытии. Все дальнейшие высшие ступени взаимоопределения сущего и несущего отличаются от низшей тем, что смысл постепенно начинает преодолевать меон и проявляется не только в своем вне себя бытии, но и в своем для себя бытии. А для себя бытие смысла — нечто иное как сущность знания или *«интеллигенции»*. Поэтому все высшие ступени процесса меонизации смысла знаменуют вместе с тем и последовательные стадии в развитии знания или интеллигенции.

Растительному организму соответствует как форма знания — раздражение, животному организму — ощущение, наконец, человеческому суб'екту — мышление в трех его последовательных стадиях, т. е. восприятие, внутренний образ (представление) и чистая без'образная мысль. Переход от каждой данной ступени к следующей высшей характеризуется все большим и большим выявлением для себя бытия смысла, т. е. постепенным ростом сознательно-

сти, осознанности самого знания. Так низшую ступень знания, свойственную растительному организму, представляет раздражение, — т. е. неосознанное знание «иного» без знания самого себя. На следующей ступени, необходимо возникающей из предыдущей, знание внешнего предмета пополняется знанием себя; это — ощущение, которое, однако столь же бессознательно, как раздражение. Наконец, в мышлении знание впервые достигает сознательности, т. е. оно осознает самую противоположность суб'екта и об'екта (внутреннего и внешнего) и становится благодаря этому раздельным и отчетливым как по отношению к об'екту (в восприятии), так и по отношению к суб'екту (в умственном образе). Но только в чистой без'образной мысли, смысл приходит к самому себе, он становится подлинным самосознанием, которое «вращается в самом себе; ибо только в чистой мысли и познающая сила и познаваемый материал принадлежат самому суб'екту». Иначе говоря: смысл на этой ступени не искажен меоном, он мыслит только себя и поскольку содержанием его может быть только чистое.

Однако процесс развития самосознания (у Плотина) еще не завершается чистою мыслью. В ней еще сохраняется противоположность суб'екта, знающего и знаемого, которая есть, являющаяся результатом погружения смысла (эйдоса) в меон. Вершины своего развития мышление достигает в том сверхумном созерцании, в котором исчезает раздельность суб'екта и об'екта, и в котором оно непосредственно сознает свою полную тожественность с первосущностью (Абсолютом), с первоначальным немеонизированным смыслом. Это сверхумное созерцание воплощается в состоянии экстаза. В человеческом суб'екте все указанные ступени знания (за исключением последней) обычно сосуществуют, и поэтому ни одна из них не проявляется здесь в чистом виде. Так, напр., нет мышления, которое не сопровождалось бы ощущениями или чувственными наглядными образами и т. д.

Во всей изложенной схеме процесса меонизации сущего уже заключается об'яснение того, почему автор видит в имени или слове ту узловую точку, в которой сходятся все основные проблемы гносеологии и онтологии (т. е. вообще философии).

Слово со стороны своей внутренней сущности есть постигаемый, разумеваемый предмет, т. е. предмет (смысл) в некотором особом инобытии, — а имени о в его явленности сознанию. Но мы уже видели, что все действительное бытие, необходимо заключая в себе момент меональности, есть бытие символическое, т. е. смысл в состоянии явленности или инобытия. Вот почему в этом широком смысле (т. е. в смысле явленности, инобытийности) всякое действительное бытие есть не что иное как слово. «Космос — лестница разной степени словесности. Человек — слово, животное — слово, неодушевленный предмет — слово. Ибо все это — смысл и его выражение. Мир — совокупность разных степеней живленности или затверделости слова. Все живет словом и свидетельствует о нем». (стр. 166)

Эта универсальность слова прежде всего обнаруживается не перехода его в инобытие. Средой инобытия служит в данном случае не абсолютный меон, а суб'ективная стихия сознания, в которую погружается эйдос. Результатом этого погружения и является мысль «ноэма» — т. е. внутренний момент слова. Ноэма, однако, не тождественна с самой предметной сущностью (чистым эйдосом), ибо в структуре своей обусловлена и природой суб'ективной стихии, изменяющей и искажающей погруженный в нее эйдос. Эти изменения и искажения не зависят только от индивидуальных черт (психической природы) каждого отдельного конкретного суб'ек

та, но также и от социальной среды, национальных и языковых особенностей и т. п. Ноэма представляет поэтому обычно лишь тот или другой, более или менее адэкватный аспект предметной сущности (Так напр. грек понимает истину как незабываемое — aletheia, римлянин — как предмет веры или доверия — veritas). — Тем не менее в ноэме есть и момент адэкватности познаваемой сущности; иначе она вообще не была бы знанием. Лишь в устремленности своей к полной адэкватности т. е. к *идее*, ноэма выполняет свою познавательную функцию. Осуществляемое в знании тожество бытия и мышления только и может быть правильно понято, если принять во внимание взаимоотношение между идеей и адэкватно в ней познаваемой предметной сущностью (эйдосом). По смыслу — идея тожественна с предметной сущностью; ибо, будучи адэкватным знанием, она не содержит в себе ничего, чего бы не было в предметной сущности. Но с другой стороны — по факту — она отлична от нее, так как являет собой эйдос, погруженный в инобытие сознания. — Что же касается отношения эйдоса (или идеи) к его конкретным воплощениям в тех или других ноэмах, то это — по существу — то же отношение, в котором находится эйдос физической вещи (напр. «карандашность») к своим реальным воплощениям в отдельных конкретных экземплярах (напр. карандашах черных, белых, больших, маленьких и т. п). Разница лишь в том, что в первом случае эйдос воплощается в психической материи, во втором — в материи физической. — В чистой идее меональный момент дан в человеческом слове. Оно совмещает в себе все вышеуказанные степени знания или выраженности смысла. Оно обладает физической оболочкой (фонемой). но вместе с тем представляет собой и «биологическую величину», нуждающуюся во многих анатомических и физиологических условиях: на ступени животного организма оно проявляется как животный крик и, наконец, у человека оно становится членораздельным разумным словом, носителем самосознающего себя мышления, способным служить символическим выражением и высших духовных смыслов. На этой ступени слово — «фактор общения данного существа со всем иным». «Приходя в слове к самосознанию, человек впервые приходит и к подлинному знанию и того, что есть кроме него». — Поскольку же в слове и через слово осуществляется знание мира и общение с ним, оно обладает *магической* природой. «Ибо слово (имя) есть сама вещь в аспекте своей понятности для других, в аспекте своей общительности со всем прочим». —

Мы не будем здесь касаться всех остальных сторон «философии имени» диалектически и систематически связанных с только что изложенной концепцией имени и взаимоопределения сущего и несущего. Такова, напр., диалектическая дедукция основных категорий бытия и различение эйдоса (смысла в его интуитивной цельности) и логоса (смысла в его дискурсивной расчлененности) во II-й главе, классификация наук (науки о смысле и науки о факте) в IV гл. и др. Понимание этих глав затруднено крайней сжатостью и отвлеченностью изложения; надо надеяться, что автор в дальнейших своих исследованиях подробнее разработает именно эти стороны своего учения (отчасти это быть может уже сделано в другой работе Л. «Античный космос и современная наука», которая нам неизвестна).

Сейчас остановимся только на двух пунктах, которые, как нам думается, заслуживают особого внимания в «философии имени». Это прежде всего — развиваемая автором концепция познания.

И познание он рассматривает как процесс меонизации смысла, суб'ект познания сведен до минимума; он сказывается лишь в том, что сохранилось еще противостояние суб'екта и об'екта. Но и этот последний след меональности исчезает в «сверхумном обстоянии» — в экстазе, когда в суб'екте нет ничего кроме самой познаваемой предметной сущности. Именно поэтому сверхумное созерцание не выразимо адэкватно ни какими словами; ведь и человеческое слово еще связано своей физической оболочкой (фонемой), свидетельствующей о его меональной обусловленности.

Не менее интересно и глубоко толкование, которое Л. дает проблеме сущности и явления. Проблема эта, которая в античном умозрении занимала центральное положение в новой философии была истолкована чисто суб'ективистически (явление — как явление сознанию), и благодаря этому утратила в значительной мере свое метафизическое значение. Л. возвращается к античной традиции и устанавливает не только возможность, но и правомерность онтологического понимания проблемы сущности и явления. Главным методическим рычагом и в данном случае служит ему понятие меона (несущего. Нельзя не признать крупной заслугой автора, что он вновь выдвинул этот принцип античного умозрения и показал его систематическую плодотворность.

Правда, в понятии меона кроются и серьезные трудности которые, как нам кажется, не удалось устранить и нашему автору. Трудности эти — в многозначности понятия меона. С одной стороны, несущее есть *только* иное сущего, отрицательный момент в самом сущем, негативное условие его оформленности. А с другой стороны, — это — нечто большее, это — начало, определяющее собою инобытие сущего и степени его выраженности или явленности; и только в этом смысле меону может быть присвоено значение материи, той среды, в которую погружается, и которой видоизменяется и искажается смысл (сущее). Если же инобытие сущего — при таком понимании меона — определяется не только самим сущим, но и несущим, то несущее неизбежно приобретает некоторую бытийность и само становится особого порядка сущностью (как это и случилось в платонизме и неоплатонизме). Аналогия со светом и тьмою—несмотря на всю свою внешнюю убедительность, не разрешает затруднения, ибо не затрагивает его существа. Тьма, конечно, есть отсутствие света, его меон, но она — не только это, иначе, она была бы просто ничто. В построениях Лосева эта многозначность или внутренняя неоднородность меона сказывается уже в том, что он вынужден различать два типа меона, выполняющих совершенно разные и внутренне как будто не связанные между собою функции: одно внутрисущностное, а другое внесущностное или абсолютное меон. Но даже если признать это различение правомерным, то все же остается неясным, на каком основании меону присваивается еще третье значение—начала текучести и изменения. Одного указания на то, что текучесть, изменение есть отрицание устойчивости, свойственной сущему, для этого еще недостаточно, ибо текучесть, изменение — не есть чисто отрицательное понятие. — Неясность в понятии меона несомненно обусловлена и некоторой двойственностью в понимании той диалектики сущего (меонизации смысла), которая лежит в основе философии имени. Она имеет одновремено и онтологическое и гносеологическое значение. Но которому из них принадлежит первенство? Казалось бы, что — онтологическому значению, ибо в познании автор видит лишь частный случай онтологического процесса меонизации сущего. Однако, читая «философию имени», трудно отделаться от впечатления, что Л.

риентируется на гносеологическую проблему, но результаты гносеологического анализма истолковывает и в онтологическом мысле.

На религиозные и богословкие взгляды, связанные с «философией имени», мы находим в астоящем труде лишь немногие амеки. Но для внимательного итателя не может быть сомнения, то диалектика сущего и есущего служит оправданием для христиански-платонического онимания отношения между Богом и миром (первосущность — меонизированная тварная сущность) и, в частности, должна илософски обосновать имяславтво.

Исследование А. Вейдемана Мышление и бытие (логика остаточного основания)» дает ольше, чем обещает его заглаие. Это целая система философии, не только охватывающая носеологию (логику), этику и стетику, но и намечающая применение этих теоретических дисиплин к конкретным проблемам ультуры (напр., к проблеме воситания и др.). Правда подобно разработана только первая логическая часть системы, о именно эта часть является сновополагающей, предопределяющей собою структуру всей истемы в целом. — Автор — равоверный последователь традиций немецкой идеалистической философии; его система, о его собственному признаию, представляет попытку восолнить критицизм Канта онологической диалектикой Гегеля и исправить метафизику егеля критицизмом Канта. сновной недостаток учения анта, по мнению В., в том, то Кант недостаточно радиально поставил проблему нания, ограничившись лишь опросом о возможности математики и естествознания и не одвергнув исследованию саую сущность знания как таково. Этот методологический едостаток и привел его к непримимому дуализму мышления бытия, разума и опыта. Разум не имманентен знанию о действительности, а критикует его как бы извне. Гносеология оказывается оторванной от онтологии (метафизики) и становится беспредметной и потому критицизм в конечном итоге неизбежно упирается или в беспринципный позитивизм или в скептицизм и агностицизм. Гегелю удалось преодолеть этот коренной порок учения Канта: он признал торждество бытия и мышления и тем восстановил внутреннее единство системы философии. Но он впал в противоположную крайность, оторвав метафизику от гносеологии, знание от его суб'ективной основы — самого мыслящего суб'екта. Благодаря этому его метафизика снова впала в догматизм. А с догматизмом ее связаны и другие существенные ее недостатки: с одной стороны ее логический эволюционизм, отождествляющий историческое развитие с логическим (историю философии с системою философии), с другой — ее натурализм, уничтожающий границы между миром природы и миром культуры. Освободить систему Гегеля от погубивших ее ошибок можно, по мнению автора, лишь в том случае, если признать необходимую коррелятивную связь гносеологии и метафизики, суб'ективного и об'ективного начала знания, сохраняя при этом, однако, положение о принципиальном тожестве бытия и мышления. Мышление не может иметь никакого другого содержания кроме бытия, но с другой стороны и необходимою формою этого содержания может быть лишь форма самого мышления. Форма и содержание знания связаны необходимою корреляцией; но вместе с тем они непрерывно переходят друг в друга; форма порождает из себя содержание, т. е. содержание есть не что иное как развитие и раскрытие самой же формы. Иначе говоря: мышление не постигает какой-то трансцендентный ему предмет; оно и не реконструирует нечто данное

ему извне; оно строит или порождает об'ект из своих собственных недр и на основании своей собственной закономерности. Для концепции знания это понятие порождения имеет двоякое значение: во первых оно обеспечивает автономность мышления, его самодовлеющий характер; мышление не зависит ни от какой вне его лежащей данности. Об'ект (бытие) ему не дан, а задан; он составляет проблему, которую само мышление ставит и само же мышление разрешает. Но порождение означает еще и нечто другое: не только внешнюю, но и внутреннюю автономию. И само мышление не есть нечто данное, оно не сковано какими либо естественными стоящими над ним законами. Оно само устанавливает эти законы в своем внутреннем развитии т. е. процесс его развития есть процесс самотворчества, самопорождения. В этой изначальности мышления сказывается его свобода, но свобода не в смысле произвола, а в смысле начала той закономерности или, точнее той систематичности, которая определяет собой процесс познания во всех его стадиях. Система знания приобретает благодаря этому не статический, а динамический характер; не только в историческом, но и в логическом аспекте. И только этот динамический характер обеспечивает знанию с одной стороны его внутреннее принципиальное единство, а с другой неограниченную свободу бесконечного развития и расширения. Иначе говоря: — система, руководящая развитием знания идея, которая воплощается в каждой его стадии, но вместе с тем и возвышается над каждой из них. В динамическом своем аспекте она проявляется как направляющий знание метод. Развитие знания имеет поэтому телеологический характер; его конечная цель — об'ективная истина, т. е. об'ект в его систематическом единстве.

Если мышление довлеет себе
и автономно, оно и критери
своей истинности должно чер
пать не из другого источника, а
находить его в самом себе
Это значит: оно должно быть са
модостоверным. Но самодостовер
ностью оно может обладать лиш
в том случае, если оно непосред
ственно созерцает истину в са
мом себе, т. е. если оно по самом
существу своему *интуитивно*
Интуитивностью определяется ос
новополагающее значение мыш
ления для знания: ею преодоле
вается Кантовская противопо
ложность между дискурсив
ностью рассудка и созерцатель
ным, характером чувственности
В силу своей интуитивности мыш
ление способно породить и
себи и начала чувственног
познания. Но помимо этог
интуитивность обусловливае
и диалектическую структур
мышления.

С одной стороны мышлени
непосредственно находя в себ
самом истину, в своем самосозер
цании не выходит из себя и
этом смысле аналитично. Н
это самосозерцание не пассивн
оно есть творческий акт само
утверждения или самополагани
мышления и потому оно — с дру
гой стороны — синтетично. Син
тетичность мышления не про
тиворечит, однако, аналитичн
сти, а наоборот проистекает и
нее, как необходимый ее корре
лат. Из аналитически-синтет
ческой природы мышления вы
растает непосредственно вн
внутренняя диалектика чисто
знания. Все его принципы и ка
тегории связаны между собо
соотношениями коррелятивн
сти и тождества. Каждая по
следующая категория возникае
из предыдущей как противосто
щий ей и необходимо допол
няющий ее коррелат; но вмес
с тем она раскрывает и утве
ждает лишь то, что потенциал
но, в зародыше уже содержит
в предыдущей. В этом смысл
оба члена корреляции лиш
разные аспекты об'единяюще
тожества. Так, напр., меж
собою связаны основные лог
ческие принципы — тождеств

противоречия и исключенного третьего. Принцип тожества лежит в основе самополагания мышления. Но определенность этого самополагания возможно лишь при условии противопоставления полагаемому А отличного от него не — А. Это условие устанавливает принцип противоречия. Вместе с тем необходимость корреляция А и не — А, показывает, что первичный акт самополагания мышления охватывает одинаково А и не-А и в полном своем раскрытии знаменует их систематическое единство (и тождество). Этот третий об'единяющий момент и выражает, в толковании автора, принцип исключенного третьего. Все три принципа, являясь категориями качества, очерчивают сферу логики. Им противостоят, как их диалектическое отрицание категории количества, характеризующие область математики. К систематическому единству качество и количество приводятся в категориях отношения, определяющих их собой структуру естествознания. Каждой из этих областей знания, логически развивающихся одна из другой свойственно свое особое систематическое единство и свой особый метод (логике — дедукция, математике — «традукция», естествознанию — индукция).

Отсюда уже явствует, что процесс диалектического развития мышления не ограничивается переходом от одной группы категорий к другим логически с ним связанным, но и ведет от общего к конкретному, т. е. что он характеризуется постепенным усложнением, обогащением и расчленением содержания знания. Математика конкретизирует логику, а математику — естествознание (понимаемое, как описательное естествознание или учение об органической природе). Этим трем ступеням конкретизации научного знания соответствуют в интерпретации В., модальные категории: возможности, действительности и необходимости, или в ином аспекте: начала логичности (аналитичности), «достаточности» (синтетичности) и достаточного основания.»*) Но достаточное основание — по отношению к знанию в его целом — означает не последнюю предпосылку знания, а идею систематического единства, определяющую, собою как безусловная цель, и самую структуру и диалектическое развитие знания.

Естествознание завершает собою построение мира как об'екта познания. Но об'ект необходимо предполагает познающий его суб'ект. Поэтому вторая основная проблема философии — это построение мира как суб'екта. Решение этой задачи берет на себя этика. Посредствующим звеном между теоретической и практической философией служит психология. Она изучает об'ект, поскольку он приходится к сознанию самого себя, т. е. становится суб'ектом. Но в логике суб'ект, как суб'ект познания, остается лишь одной возможностью, лишь необходимою предпосылкою, которая в пределах логики не находит своего оправдания. Действительно, самотворчество мышления, порождающее мир об'екта возможно лишь в том случае, если мышление обладает самочинною активностью. Эта активность и есть не что иное как воля. Поэтому суб'ект познания необходимо укоренен в суб'екте действования; а постольку и этика обосновывает собою логику. Этика строит мир нравственный, мир культуры, который характеризуется противоположностью бытия (природы) и долженствования. Природа, как зло, должна быть преодолена, для того, чтобы мог осуществиться абсолютный идеал добра. Но идеал этот в силу своей абсолютности бесконечен и потому в эмпирии никогда не может быть реализован. В пределах этики

*) На языке формальной логики этим ступеням соответствуют: понятие — суждение и умозаключение.

противоположность природы и долженствования остается поэтому непримиренной. Примирить ее может только та область, в которой абсолютный идеал перестает быть только нормой и становится реальностью. Это — область эстетики. Красота и есть воплощенный в действительности идеал. Суб'ективно мир красоты выражается как чувствование, об'ективно — как целесообразность. Моментом целесообрзности эстетика связывается с логикой, моментом идеальности — с этикой. Таким образом эстетика завершает собой систему идеализма. В толковании автора, она знаменует собой не только философию искусства, но и философию религии. Эта связь искусства и религии особенно ярко обнаруживается в трагедии, как высшей форме художественного творчества. Разрешение трагического конфликта сводится в конечном итоге к религиозной идее искупления через страдания и смерть. В акте самоотречения человек преодолевает конечность и несовершенство своей природы и, утверждая абсолютность идеи, сам приобщается к ее бесконечности и совершенству. В этом высший смысл не только отдельного человека, но и исторического бытия народов и всего человечества.

Общая философская концепция В. отличается архитектонической стройностью и логической согласованностью всех ее структурных элементов. Диалектическая связь отдельных частей системы проведена с строжайшей последовательностью. В развитии научного идеализма и априоризма, выросшего на почве неокантианства Марбургского толка, она знаменует новый этап, который характеризуется преодолением узкого методологизма Когена и Наторпа и преобразованием его в идеалистическую метафизику. Нам кажется только, что и на этом этапе остановиться нельзя. Автор совершенно прав, настаивая на неразрывной связи гносеологии и метафизики (онтологии). Но признание этой связи обязывает его выйти за пределы той гносеологической и логической установки, на которую опирается научный идеализм. Принцип тождества бытия и мышления вполне правомерен в пределах логической теории науки: для научного мышления реально только то, что запечатлено в понятиях. Но в метафизической теории оно не может быть принято без предварительного критического анализа, иначе философия рискует впасть опять в тот самый догматический рационализм, в котором автор справедливо упрекает Гегеля. Между тем именно этого критического анализа понятий мышления и бытия и их взаимоотношения мы в системе В. не находим. Вследствие . неразличения гносеологической и онтологической проблемы недостаточно выясненным остается и целый ряд других понятий, которыми пользуется автор: таковы, напр., понятия аналитичности, интуиции, истины и др. Общая концепция автора несомненно выиграла бы в определенности и отчетливости, если бы он выявил свое отношение к другим современным философским теориям, стремящимся одинаково к возрождению критической метафизики: в особенности к феноменологической школе и всем близким к ней течениям.

В. Сеземан

Валериан Муравьев. Овладение временем. Издание автора. Москва 1924. 120 стр.

Автор задается целью исследовать вопрос о времени не только теоретически, но осветить его и с практической стороны, т. е. выяснить те пути и средства, которые дадут человечеству возможность управлять по своему усмотрению временем. Вопрос этот по мнению автора имеет решающее значение для судьбы человечества и решение его должно составить главную задачу

той грядущей культуры, которая «идет на смену гибнущей европейской культуре». — Власть природы и ее стихий над человеком сказывается прежде всего в том, что он во всем своем бытии подчинен времени и протекающим в нем физическим, органическим и психическим процессам. Необратимость времени — вот основная причина обреченности человека смерти, его бессилия управлять процессом жизни. Победа над смертью достижима лишь путем овладения временем, т. е. путем преодоления его необратимости.

Если на первый взгляд эта мысль кажется утопической, то только потому, что мы привыкли смотреть на время, как на некоторую абсолютную, первичную сущность, которой подчинено все реальное бытие. Между тем новейшие теоретические исследования (в особенности Эйнштейна) выяснили, что время есть нечто производное, что оно воспринимается нами лишь как движение или изменение вещей и поэтому должно быть рассматриваемо как функция их множественности и распорядка. Власть над временем поэтому сводится в конечном итоге к мощи или способности производить изменения в реальном мире. В сущности вся человеческая культура является такой времяобразующей и времяопределяющей деятельностью; ее цель всегда в том, чтобы либо продлить, увековечить человеческое существование и окружающую его обстановку, либо же воскресить к новой жизни путем воспроизведения того, что умерло и отошло в прошлое. Но до настоящего времени достижения человека в этой области были весьма скромны; об'ясняется это главн. образом двумя причинами, тесно между собою связанными: отчасти тем, что до сих пор культурная деятельность протекала слепо, стихийно, хаотично и не была руководима организующим ее разумным планом; отчасти же потому, что между культурой «символической», устанавливающей общие формулы или законы действия (сюда относятся наука, философия, искусство) и культурой реальной (обнимающей политическую, социальную и экономическую жизнь) нет согласованного сотрудничества и потому вырабатываемые символической культурой «проекты» не находят соответствующего осуществления в культуре реальной. Для всестороннего овладения временем необходимо устранить эти коренные недостатки современной культуры и «приступить к такому культурному деланию, в котором бы сочетались и символическая и реальная деятельность как отдельных людей, так и человеческих групп». Эта планомерная организация культуры должна исходить из того положения, что каждый отдельный процесс, каждая отдельная совокупность вещей не есть нечто самодовлеющее, а зависит от более обширной охватывающей ее совокупности вещей или процессов; что эта последняя в свою очередь входит в состав еще более обширной системы и т. д., и что в последнем счете каждый реальный процесс и каждая совокупность вещей обусловлена мировым процессом в его целом. Обычно человеческое познание природы и воздействие на ее распространяется только на строго ограниченные группы вещей и явлений. Поэтому и власть человека над этими вещами и явлениями может быть только ограниченной; он может ими управлять и распоряжаться лишь в той мере, в какой они зависят от взаимоотношений образующих данную систему элементов или факторов. Поскольку же они определяются условиями, лежащими вне этой системы, они ускользают от нашей власти. Отсюда ясно, что человек может расширить свою власть над окружающим миром, лишь путем распространения своего знания и своей деятельности на все более обширные системы или группы явлений и вещей. Неограниченную же власть над

природой может обеспечить только деятельность, руководимая познанием мира в его целом. Вот почему постепенное осуществление «космократии» — единственный путь к полному овладению временем, а поскольку и к решительной победе над смертью. В грядущей общемировой культуре, призванной реализовать эту цель, прежде всего должны быть так согласованы все ее символические проявления, чтобы образовать стройную довлеющую себе систему, которая охватывала бы все стороны мировой жизни и вместе с тем была бы приспособлена к непосредственному практическому применению. А кроме того само человечество в целом должно получить такую организацию, в силу которой вся его деятельность и в социальных и в индивидуальных ее проявлениях будет служить исключительно этой единой определяющей смысл человеческой жизни задаче. На этой будущей организации человеческой культуры автор подробнее останавливается в последних главах своей книги. Из отдельных видов человеческой деятельности господствующее значение в ней должна приобрести та, которая в современной культуре протекает еще большею частью «полубессознательно» и почти не поддается разумному регулированию: это генетика — т. е. созидание жизни либо в виде сотворения новых живых существ, либо в виде воскрешения старых. Такое созидание жизни сделается возможным, как только человечество овладеет основными факторами мирового процесса и научится комбинировать их по своему усмотрению. Ибо всякая вещь, не исключая и живого индивида, представляет собою известную более или менее сложную комбинацию множества элементов. Воскресить вещь (или живого индивида) поэтому значит не что иное как воспроизвести определяющую ее комбинацию элементов. Если же науке удастся воспроизводить все данные в природе органические комбинации, то тем самым ей откроется и путь к нахождению и созиданию таких новых комбинаций элементов, которые приведут к усовершенствованию человеческого типа. Словом, евгеника найдет себе применение не только в экономике (как способ улучшения полезных человеку пород животных и растений), но и в исторической жизни самого человечества.

Овладение временем положит таким образом начало новой эре в бытии не только человека, но всего космоса, эре знаменующей торжество качества над количеством, разумной целесообразности над слепой причинностью. Книга В. Муравьева не может претендовать на серьезное философское и научное значение. Это — рассуждения умного и не лишенного начитанности дилеттанта о возможностях, которые в будущем откроются культурному творчеству человечества. Дилеттантизм сказывается в крайнем упрощении проблемы овладения временем. Автор упускает из виду, что одною возможностью повторения тех или других явлений и процессов вовсе еще не преодолевается необратимость времени. Современная физика отдает себе вполне ясный отчет в том, что обратимость физических и других процессов, строго говоря, существует лишь in abstracto, — и что каждый процесс, взятый в конкретной своей полноте, т. е. в соотношении ко всем остальным процессам природы, есть нечто единственное и неповторимое. В этом отношении и теория Эйнштейна не меняет ничего по существу; она не касается существа времени, а лишь определяет условия его измеримости. Но основной порок рассуждений автора в том, что он ничтоже сумняшеся применяет механистическую точку зрения к явлениям духовного и физического порядка, предполагая, что и индивидуальность человека определяется той или другой комбинацией образующих ее элементов и

потому может быть воспроизведена, поскольку повторимо данное сочетание элементов. Он даже не замечает, насколько чудовищна мысль о воспроизведении какой-либо индивидуальности, напр. Сократа, в целом множестве экземпляров. Такая «победа над смертью» означала бы не воскрешение, а уничтожение, убиение индивидуальности. Недаром в представлении двойника ощущается всегда нечто дьявольское.

Однако, несмотря на все эти недочеты, книга В. Муравьева читается не без интереса. Автору нельзя отказать в известной тонкости и остроте мысли. Это доказывают его рассуждения о диалектической связи единства и множества (целого и частей). Но главное, пожалуй, в том, что книга эта симптоматична для господствующих в России умственных течений и настроений. Она свидетельствует о том, что тот организационный пафос и активизм мысли, которым были заражены идейные руководители революции, продолжает и теперь еще жить в России и захватил даже такие круги мыслящих людей, которые стоят в стороне от узко-партийной революционной борьбы.

В. Сеземан

«Путь» орган русской религиозной мысли № 5 (октябрь-ноябрь 1926 г.) и № 6 (январь 1927 г.).

Последние два номера «Пути» не менее содержательны чем предыдущие; они дают целый ряд интересных статей, затрагивающих наиболее актуальные вопросы современного религиозного сознания. Физиономия журнала теперь окончательно определилась. Это орган религиозно мыслящей и религиозно заинтересованной интеллигенции. Представители Православной церкви в нем почти не участвуют; а поскольку участвуют, участие их случайно и для общего облика журнала несущественно. Исключение представляет только один из постоянных сотрудников отец С. Булгаков, но ведь и он всем своим прошлым связан с традициями (и даже антирелигиозными) русской интеллигенции. Правда, о. Булгаков в последних своих произведениях как будто пытается порвать всякую связь с этой традицией и не признает в ней ничего ценного. Особенно ясно это сказывается в его речи на годичном акте Парижского Богословского Института 7 июня 1926 г. напечатанной в 5-ом номере «Пути» под заглавием: «Благодатные Заветы Преп. Сергия Русскому Богословствованию». Речь эта не только по духу и своему идейному содержанию не выходит за пределы традиционного богословского мышления, но и всем своим стилем, своим витиеватым и несколько напыщенным слогом напоминает обычное семинарское красноречие. Нельзя сказать, чтобы речь от этого выиграла, и не совсем понятно, почему о. Булгакову понадобилось произвести такое насилие над собственным стилем. Но это, в конце концов, дело вкуса. Более существенно, однако, другое недоумение, которое вызывает эта речь, да и некоторые другие писания автора. О. Булгаков повидимому понимает и принимает в точном, буквальном смысле все факты и события, о которых повествует священное предание в Библии и в Житиях Святых. Если это действительно так, то такая точка зрения требует со стороны ее защитника своего обоснования и оправдания почему, в каком смысле и в каких пределах священное предание неприкосновенно для научной критики? Разве признание ее правомерности неизбежно связано с отрицанием религиозного смысла Предания или реальности мистического опыта и чудес? Именно теперь, когда среди интеллигенции вновь оживает религиозное чувство и религиозная мысль, в таких вопросах необходима полная ясность и

определенность. Этого требует религиозная искренность. Иначе безоговорочное и некритическое признание Предания может стать опасным соблазном.

Мало убедительной нам кажется также концепция Троицы, которую автор развивает в этой же статье, исходя из духовного смысла взаимоотношений между первым, вторым и третьим лицом («я» «ты», и «он»). Если первое и второе лицо (я и ты) действительно образуют вместе некоторое высшее единство, составляющее необходимую основу всякой духовной жизни, то третье лицо (он) для структуры этого единства никакого значения не имеет; это не что иное как то же «ты», но взятое в чисто объективной, предметной установке.

Что вопрос об отношении исторической критики к религиозному преданию является актуальным и насущным именно в наше время и именно для Православного богословия, — это показывает весьма убедительно статья Н. А. Бердяева в 6-ом номере «Пути» «Наука о религии и христианская апологетика». Б. справедливо настаивает на том, что история религии должна быть столь же беспредпосылочной наукой, как и всякая другая наука; ей не могут быть поставлены никакие внешние цели: ни апологетические, ни полемически-обличительные. Для нее и священное предание может быть только явлением историческим не больше. Но вместе с тем задача ее строго определена применяемым ею методом и лежащей в ее основе научно-позитивной установкой. Поэтому вопрос о религиозном смысле изучаемых ею явлений не подлежит ее ведению. Каждый раз, когда она берется за его решение, она выходит за сферу своей компетенции, перестает быть строгой наукой. Вопрос этот может обсуждаться и решаться лишь с точки зрения, имманентной самому религиозному сознанию. Н. Бердяев иллюстрирует эту мысль на двух проблемах истории рел[...]гии, представляющих для хр[...]стианской апологетики особы[...] интерес — это проблема отнош[...]ния языческих религий к хр[...]стианству и проблема жизн[...] Иисуса Христа.

Если современная истор[...] религии обнаружила, что мн[...]гим языческим религиям бы[...] присущи те же самые предста[...]ления об искуплении, о страда[...]щем боге, о благодати и д[...] которые раньше считались и[...]ключительным достоянием хр[...]стианства, то это обстоятельст[...] не может умалить религиозно[...] значения христианства; оно ли[...] свидетельствует о том, что языческие религии были «р[...]лигиями» в настоящем смыс[...] слова, и что им не чужды осно[...] того религиозного откровени[...] которое во всей полноте св[...] проявилось в христианстве. Ср[...]ство христианства с другими р[...]лигиями не доказательство е[...] исторической условности, а д[...]казательство его универсальн[...]сти.

Не иначе обстоит дело и с вт[...]рой проблемой. В научном исс[...]довании ее, как справедливо [...]мечает автор, можно установи[...] два противоположных течени[...] из которых одно привело к [...]рицанию реальности Христ[...] т. е. божественной природы, [...] готовностью признать умале[...]ную реальность человека Иис[...]са (либеральное, протестантск[...] богословие). Другое, наобор[...] привело к отрицанию реальн[...]сти Иисуса, т. е. человеческ[...] природы, с готовностью пр[...]знать Христа, как Бога, «ник[...]да на земле ни жившего» (Р[...]бертсон, Смит, Древс, Кушу[...] Ни то, ни другое направлен[...] «загадки Иисуса» решить [...] может, ибо и то и другое про[...]дит мимо того понятия, котор[...] определяет собой духовный [...] христианства: понятия Бого[...]ловечества. — Смысл этого [...]нятия не доступен эмпири[...]ской науке и при помощи т[...] данных, которые находятся [...] ее распоряжении, обоснов[...] быть не может. — Этими указани[...]

ми, конечно, не разрешаются все трудности, на которые наталкивается христианская апологетика при анализе проблемы Христа, но общее направление, в котором следует искать решение вопроса, намечено правильно и, во всяком случае, постановка проблемы, отличается той ясностью и определенностью, которая одна только может обеспечить плодотворность как научного, так и религиозно-философского исследования.

Вполне естественно, что редакция «Пути» отозвалась и на самый тревожный для церковной жизни русской эмиграции вопрос — на спор между Православными иерархами и на постановления последнего Карловацкого Собора, приведшие, как и следовало ожидать, к церковному расколу. Вопросу этому посвящена статья самого редактора в 5-м номере «Пути», под заглавием «Церковная смута и свобода совести».

В позиции, занятой архиерейским собором, Б. усматривает опасный уклон в сторону клерикализма, который чужд духу Православия и грозит уничтожить самое ценное , что в нем есть, и что составляет его духовную основу, — свободу совести. Уклон этот особенно опасен тем, что последние мотивы его не религиозно-церковные, а политические, что он вызван монархически-реставрационными устремлениями правой эмиграции, добивающейся восстановления прежнего дореволюционного строя, при котором церковь находилась в полном подчинении у Государства.

Из этого политического ослепления и полного непонимания тех задач, которые современность ставит и политическому церковному строительству, и проистекает враждебное отношение Карловацких епископов к новым творческим движениям в Православии и незаконные их поползновения присвоить себе «исключительные харизматические привилегии в учении и учительстве», поползновения противоречащие началу соборности, которое лежит в основе Православной Церкви. — Но болезнью клерикализма больны не только представители старого отмирающего церковного строя, но и значительная часть русской православной молодежи; захваченная реакцией против религиозного и церковного индиферентизма дореволюционного поколения, молодежь эта испытывает потребность в твердом авторитете и готова приписать высшим представителям церкви чуть ли не папскую непогрешимость. — Но эта «детская болезнь» православного ренессанса должна быть преодолена.

Печальные события на последнем архиерейском собрании должны, по мнению Б., освободить русскую молодежь от иллюзий и соблазнов клерикализма и напомнить ей, что «вне свободы духа невозможно христианское возрождение». — Статья Б. подняла целую бурю в церковно-заинтересованных кругах русской эмиграции; особенно резкий отпор она встретила среди молодежи, участвующей в религиозном движении. Возражения эти вызваны, повидимому, не только резким боевым тоном статьи, в котором могли усмотреть недостаточно почтительное отношение к авторитету церкви и ее представителей, но и некоторым разногласием по существу. Против общих положений статьи Н. Бердяева трудно спорить. И он, конечно, прав, утверждая что принципиально свободе совести в христианстве принадлежит примат перед авторитетом. Но если он объясняет готовность молодежи признать внешний авторитет «страхом перед свободой совести, робостью, нежеланием взять на себя бремя свободы, бремя ответственности», то это объяснение навряд ли можно принять без оговорок; во всяком случае оно не вскрывает более глубоких и, как нам кажется, законных мотивов той клерикальной настроенности молодежи, которую осуждает Бердяев.

Ведь свобода совести неразрывно связана со свободой мысли, свободой суждения в вопросах религии. А свобода мысли может быть осуществляема в этой области и может иметь положительную ценность лишь в том случае, если она вырастает из подлинного религиозного опыта. Там, где этого опыта нет, свобода мысли неизбежно принимает форму субъективного произвола, предметно необоснованной отсебятины.

Поэтому именно уважение к религиозной истине может привести внутреннее еще невполне окрепшего человека к признанию внешнего авторитета представителей церковной иерархии: сознание того, что свобода суждения в религиозных вопросах предполагает известный религиозный, не всякому доступный, «стаж». Конечно, в этом отказе от собственных суждений есть серьезная опасность, но вместе с тем нельзя не признать, что в нем сказывается такая серьезность и зрелость религиозной настроенности, которая до сих пор даже религиозно неиндифферентной русской интеллигенции была чужда. Вот почему, как нам думается, русская христианская молодежь теперь особенно чувствительна ко всему, что могло бы поколебать столь ценимый ею авторитет церковной иерархии.

Лишь попутно затрагивает Церковную Смуту чрезвычайно содержательная и глубокая по своим религиозно-философским мотивам статья Л. Карсавина «Об опасностях и преодолении отвлеченного христианства». Под отвлеченным христианством автор разумеет христианство дуалистическое, которое проводит абсолютную грань между религиозным и нерелигиозным бытием, церковною и нецерковною жизнью, относя к области последней все земное и эмпирическое, а потому и всю человеческую культуру во всем ее конкретном историческом многообразии. С точки зрения отвлеченного христианства все эмпирическое бытие низводится на степень преходящего средства, лишенного всякой самостоятельной ценности. Отвлеченное христианство — при последовательности в своем проведении, — неизбежно ведет к полному отрицанию мира, к отрицанию всякого самостоятельного смысла в исторической жизни и в культурном развитии человечества. По существу все эмпирическое подлежит уничтожению и терпится лишь как уступка человеческой немощи. Этому отвлеченному христианству, наиболее ярко выраженному, по мнению автора, в нивелирующем универсализме римского католичества, он противопоставляет Православие, как конкретную полноту вселенской Церкви Христовой. Православие признает существенную святость всего сотворенного Богом; оно исходит из идеи единства Бога и мира, Бога и человека (Богочеловечество) и кладет в основу христианского миросозерцания не идею спасения от мира, обесценивающую все земное и нецерковное, идею преображения и обожения всего мира, всего эмпирического бытия во всем многообразии его культурных, национальных и лично-индивидуальных проявлений. Конкретное христианство, в лице Православия, признает поэтому абсолютную значимость и неуничтожимость, постольку и идеальную церковность всякого народа и всякой культуры. Церковь должна быть конкретною, т. е. она должна быть и национально-культурным организмом. Она должна оцерковить и нецерковную мирскую жизнь во всей ее конкретной полноте; это не значит, что она должна взять в свои руки светскую власть и притязать на непосредственное руководство политической и общественной деятельностью. Это значит лишь, что «религиозно просветляя конкретное бытие, она вызывает его свободное самооцерковление». В этом направлении и шла деятельность Патриарха

Тихона: и в этом смысле, по мнению автора, должно быть истолковано его завещание. Уклонившись от заветов Патриарха, карловацкие архиереи обнаружили, что они неправильно понимают сущность Православия: домогаясь автокефалии и связывая Православие с анархической ориентацией, они забыли, что русская заграничная церковь может быть истинно-православной лишь поскольку она национальна и сохраняет связь с Россией, и что церкви в мирских делах принадлежит лишь нравственно-религиозное водительство. Однако, и в этих заблуждениях (также как и в живоцерковничестве) проявляется, правда искаженная, но по существу правильная тенденция: это — убеждение в неразрывной связи бытия Церковного с полнотой национально-культурного бытия. — Поэтому полное отделение Церкви от Государства несовместимо с духом Православия: приветствовать его можно было в России, только с отрицательной стороны: как освобождение церкви от светской власти императоров и обер-прокуроров.

Дополнением к статье Карсавина является статья Н. Клепинина в том же номере Пути, которая подробнее развивает мысль о религиозной ценности национальности и национальной культуры.

В конкретных своих выводах с положениями Л. Карсавина сходится и статья В. Ильина «О небесной и земной соборности». Исходя из христианского учения о Св. Троице, автор доказывает, что соборность Православной вселенской церкви есть образ той соборности, которая присуща Самому Троичному Богу. Соборностью этой по этому должно определяться и внутренее строение церкви и отношение ее к светской власти. Нарушение соборности происходит либо вследствие того, что авторитет первого епископа чрезмерно возрастает, поглощая значение прочих», тогда на лицо папизм, который в силу внутренней логики переходит в папо-цезаризм — претендующий и на мирскую власть и смешивающий церковные цели со светскими. В этом нарушении повинно католичество. Но возможно и другое нарушение соборности, когда светская власть узурпирует права епископов и подчиняет церковь государству. Тогда на лицо цезаре-папизм, от которого пришлось страдать Византийской и русской Православной церкви. Одним из положительных результатов современной эпохи является то, что она сокрушила на ряду с другими кумирами и кумир цезаря и этим проложила путь к правильному пониманию взаимоотношений между властью небесной и властью земной, и тем самым и между Церковью и Государством. Что не только цезарепапизм, но и вообще монархизм не связан с учением христианства, очень убедительно доказывает на основании богатого исторического материала Н. Алексеев в двух своих интересных статьях: «Идея земного Града в христианском вероучении» и «Христианство и идея монархии». Вывод первой статьи автор формулирует следующим образом: «если признать библейские, пророческие и апокалипсические воззрения основноположной частью христианского вероучения — то придется в большей мере ограничить значимость принципа христианской лояльности и признать, что христианство более совместимо с демократией, чем с монархией». — Во второй статье автор выясняет, что представление о религиозном значении монархической власти заимствовано христианскими народами у языческих народов древнего Востока и внутренне не связано с христианством. Если же монархизм до сих пор считается политической формой, освященной религиозной традицией, то это объясняется «близостью многих христианских народов, и в частности народа русского, к древне-языческому миру». — Поэтому

все попытки религиозно обосновать идею монархии, (как это делает Карпов в статье о «монархии») обречены заранее на неудачу. И прав Бердяев, если он в «дневнике философа» решительно осуждает такие попытки, как романтизм, непонимающий духа времени и неспособный уяснить себе подлинный смысл религиозно-общественного опыта последнего десятилетия.

Статья Г. Федотова «об Антихристовом добре», на первый взгляд, не имеет отношения к вопросам, возбужденным церковной смутой; она посвящена критике концепции «Легенды об Антихристе», предлагаемой в «Трех разговорах» В. Соловьева. Но в конечных своих выводах она вплотную подходит к этим вопросам, потому что автор пытается выяснить в какой степени Соловьевское понимание Антихриста соответствует современному религиозному сознанию.

Образ добродетельного Антихриста, как показывает сличение с текстами Свящ. Писания и Отцов Церкви, не принадлежит к составу церковного эсхатологического предания, которое склонно его рассматривать как чистое зло или же видеть в его добродетелях простое лицемерие, средство для захвата власти над миром. Но образ этот не только не каноничен он имеет и исторически чисто-условное значение: он вырос из тех представлений европейской цивилизации в ее развитии, которые сложились во второй половине XIX в. «Три разговора» направлены отчасти против внецерковного добра в уче нии и жизни Л. Толстого, отчасти против идеала социализма, как «позитивистского рая всеобщей сытости», завершающего мирный прогресс европейской ивилизации. Соловьев не предчувствовал надвигающегося кризиса. И потому для двадцатого века, после опыта мировой войны и революции, его образ Антихриста утратил свое актуальное значение. «Враждеб ная христианству цивилизаци становится антигуманистической бесчеловечной». Идеал пози тивной добродетели, говори автор, в наши дни никого соб лазнить не может. Гораздо опас нее другой соблазн, на которы указали и отцы церкви, — эт соблазн антихристовой свя тости «соблазн гордыни, лож ного смирения, тонкой эротик ложного аскетизма — церков без любви, христианство бе Христа — вот где предельны обман, предельная мерзость н Святом месте». Именно с это стороны, по мнению Г. Федото ва, в нашу эпоху интеллиген ской реакции и возрождени церковного сознания, грози Православию самая серьезна опасность. Отсюда проистекае нередко встречающаяся в цер ковных кругах подозрител ность к внецерковному добру отрицающая его нравственну ценность, подозрительность, ко торая неизбежно искажае отношение Церкви к миру и, конечном итоге, ведет к полно му разрыву между христиан ством и культурой. Между те именно примирение правосла вия с культурой, оцерковлени самой культуры — составля самую насущную и, быть може единственно существенную за дачу современного религиозно сознания. — В этом автор н сомненно прав. Христианство культура — центральная пробл ма современности. И в церко ной смуте — если отвлечьс от канонического момента, — принципиальная сторона во роса заключается именно отношении церковной иерархи к внецерковному миру. Пробл ма эта имеет решающее знач ние и для христианского дв жения среди студенческой м лодежи; это подтверждают п мещенные в пятом и шестом ном ре «Пути» отчеты о работе съ дов хр. молодежи в Дрездев на Балканах, в Клермонте Бервилле. И то, что объединя сотрудников «Пути» — несмот на их разномыслие в филосо-

ских и догматических вопросах — это стремление преодолеть разрыв между культурой и религией. — Ведь этой цели служит и рассказ А. Ремизова «Рождество». Вплетая в священное предание народно-бытовые черты, заимствованные из современности, Р. не нарушает эпического стиля легенды; напротив, этим художественным приемом он убедительно показывает, что и в двадцатом веке легенда может жить такой же полной и религиозно-значительной жизнью, какой она жила две тысячи лет тому назад. — Перед проблемой «христианство (православие) и культура» отступает на второй план и другая проблема, которая затрагивается в некоторых других статьях 5-го и 6-го номера «Пути». — (Письмо Г. Эренберга о православии и протестантизме и ответ прот. С. Булгакова, статья Г. Кульмана «Протестантизм и православие», «О скале Петровой» — Католика) — проблема взаимоотношения христианских вероисповеданий и единения Церквей.

Библиографический и информационный отдел в последних номерах «Пути» значительно богаче чем в предыдущих он содержит целый ряд подробных рецензий на самые интересные новинки в области философской и религиозной литературы.

В. Сеземан

Matila C. Ghyka: «Esthetique les proportions dans la nature et dans les arts».

Nouvelle Revue Française. Paris. 1927.

«Эстетика пропорций» Матила Гика не только опыт построения эстетической геометрии, но и сравнительно полная энциклопедия по этому вопросу, тем более ценная, что, наряду с основными положениями трудов эпохи Возрождения, являющихся музейными редкостями, в нее вошли и результаты работ современных исследователей. Сейчас, в связи с трудами Т. Кука, Д. Хэмбиджа и В.-Ф. Лунда, замечаем некоторое возобновление интереса к этой незаслуженно забытой «науке»).

Эпохой расцвета геометрии пропорций была несомненно эпоха Возрождения. Альберта, Леонардо да Винчи, Фра Лука Пагиоли, в Германии Альбрехт Дюрер (позднее Кеплер), специально занимались разработкой связанных с ней вопросов. Основным между дошедшими до нас трудами этой эпохи является трактат Пагиоли «О Божественной Пропорции». Известность Пагиоли в те времена была так велика, что Дюрер, посетивший в 1506 году Венецию, специально поехал в Болонью его навестить и научиться от него самого тайнам его науки.

Основоположением теории пропорций — и в этом Гика лишь повторяет Пагиоли — является принцип золотого сечения или, по терминологии итальянского геометра, — отношений «божественной пропорции». Напомним: наименование золотого сечения носит такое деление отрезка прямой на две части, при котором отношение большей части к меньшей равно отношению всего отрезка к большей. Если мы назовем большую и меньшую часть отрезка соответственно а и в, то получим следующее алгебраическое уравнение:

$$\frac{a}{b} = \frac{a+b}{a}$$

Уравнение это выражает наипростейшую из мыслимых пропорций, ибо относится к самой простой из протяженных фигур, к прямой, и представляет единственно взможное ея деление на две неравныя части, при котором эти части и сама прямая находились бы в пропорциональном отношении между собой

Отношенче *а* к *в* может быть высчитано и предстляет собой иррациональное число $\Phi = 1{,}618033....$, весьма важное для исследования сложных фигур. Метод Гики и других новейших исследователей заключается в том, что они пытаются разложить изучаемый предмет на

элементарные геометрические фигуры, осуществляющие в себе принцип золотого сечения (отношения между составными элементами которых выражается через число Фи или кратное ему). Таковыми являются, например, некоторые прямоугольники и спирали, а также равносторонний пятиугольник, могущий одновременно служить примером элементарной асимметрической симметрии, построенной на золотом сечении. Пятиугольник, а в пространстве додекаэдр (правильный двенадцатигранник, ограниченный пятиугольниками), всегда привлекали к себе внимание. Еще Платон видел в додекаэдре прообраз мировой гармонии (см. Тимей). А сам автор трактата о Божественной Пропорции изображен на дошедшем до нас портрете с высеченным из белого мрамора додекаэдром — обыкновеннейшим из всех правильных тел.

Неорганический мир не знает ни асимметрической симметрии пятиугольника, ни золотого сечения в чистом виде. Это особенно ясно выражено в строении кристаллов, где наблюдается тенденция к нормальной симметрии и отношениям, выражающимся через целые числа. Пропорция золотого сечения, повидимому, является спутницей жизни, принципом органической морфологии или человеческого творчества. В области искусства приводимый Гикой анализ наиболее известных архитектурных памятников (Большая Пирамида, Парфенон, готические соборы и др.) раскрывает принципы золотого сечения как основу их гармонического строения. Отсюда напрашивается вывод, к которому склоняется и Гика, что теория пропорций была хорошо известна зодчим Египта и Греции, а также составляла часть изустного предания средневековых строительных цехов, лишь в эпоху Возрождения обратившись из тайного учения в явное. Почти вся вдохновленная Ренессансом классическая архитектура, вплоть до построений Пиранези, зиждется на канонах, базой которых служит «божественная пропорция». Лишь полное забвение этого принципа привело современную архитектуру к ее полному упадку и разложению, которыми характеризуется XIX-тое столетие.

С выводами Матилы Гики можно не соглашаться. Приводимые им доказательства не всегда убедительны. В конечном итоге книга его никаких проблем не разрешает, но она раздвигает перед тем, кто ее прочел и освоил, часто неожиданные перспективы и мало исследованные глубины.

П. Б.

ПО АЗИИ

(Культурно - политический очерк Индии)

Sylvain Lévi. «L'Inde dans le Monde» chez Champion 1925. Andrzej Gawronsky. «Miedzi Wschodem i Zachodem», 1924, Krakow. Sir M. O'Dwyer, «India as I knew it», Constable, 1926. Independent Labour Party, «India to day», 1925. Manabendra Nath Roy, «What do we want», Target, Genève, 1922. Maurice Pernot. «Sur la route de l'Inde», Hachette, 1927. Madame D. Sylvain Lévi, «Dans l'Inde» (de Ceylan au Népal), Rieder, 1926.—

— «Мы находимся здесь в силу нашего нравственного превосходства, благодаря стечению обстоятельств и по воле Провидения. Это одно и является хартией нашего управления. Поступая как можно лучше с населением, мы о т в е ч а е м п е р е д с в о е й с о в е с т ь ю, не перед ним». —

Джон Лаурэнс

один из Вице-Королей Индии

— «Мы требуем независимости, т.е. такого образа правления, при котором мы будем в состоянии сами выработать нашу конституцию своими способами, без препятствий со стороны какой бы то ни было ч у ж е з е м н о й власти».

г. Дас,
вождь с в а р а д ж а, 1924.

— «Певец смолк, но его пальцы продолжали бегать по трепещущим струнам. С закрытыми глазами он прислушивался к своей игре. Последний аккорд и, подобно прощанию, слова — И н д и я б у д е т ж и т ь! — Она живет, ответил я.»

Морис Пэрно.

***

Беседуя недавно с одним из друзей об общем нам евразийстве мы остановились на недостаточно еще сознанной его особенности, — на привлечении им внимания нашей общественности к вопросам до сих пор оставлявшим ее безучастной, к Азии. Если вообразить мысленно некую окружность, как бы охватывающую географически горизонт возможной заинтересованности, исходящей из духовного центра, Москвы, то славянофильство выразится на этой окружности уже некоторым отклонением к юго-востоку, по сравнению с преобладанием почти исключительно западной заинтересованности в пушкинскую, в декабристскую эпоху. Звучат, но очень слабо, отраженно и по диллетантски, некоторые азийские ноты у Хомякова. Вл. Соловьев ставит позже вопрос о Востоке Ксеркса иль Христа, самая формулировка которого показывает, что Азия ощущается им все же упрощенно. Евразийство с первого же своего выступления круто повернуло направленность нашего внимания на Восток. С нами можно не соглашаться, ожесточенно спорить с нашими положениями, вести атаки и справа, и слева, но введенные нами в обращение евразийские ценности, — место Азии в сознании России, ощущение органической связи проходящей по неот'емлемой от нашей жизненной среды своего рода капиллярной системе часто бессознательного (духовного и материального) обмена с Востоком, — ценности эти более неустранимы. Уклон заинтересованности на Восток по воображаемой периферии, расширение горизонта, являются одним из достижений евразийства, под которое мы общими усилиями будем подводить все более широкую фактическую базу, всматриваясь в то, что происходит в Азии.

***

Есть что-то волнующее нас, несмотря на некоторую ее итальянскую слащавость, в П е с н е и н д и й с к о г о г о с т я. Переливы напоминающие звуки флейты заклинателя змей; Мелодическая недосказанность, замирающая от бессилия рассказать нам о чем-то непохожем, нездешнем.

Пытаясь отдать себе отчет в сложном, многогранном понятии, Индия,*) мы невольно вспомин-

*) Несколько цифр. — Индия имеет 4.844.670 кв. клм. (61% англ. влад., 39 % инд. туз. влад.); 318.942.480 чел. насел. по переписи 1921 г. (около 70 мил. мусульман, 3 с лишним мил. Сикхов, остальн. различные индуистские секты). Средняя плотность на 1 кв. милю 177 ч. 10,1% городского и 89,9% сельского населения. По роду занятий 72,98% землед. и скотов.; 10,49% промышленн.; 1,37% трансп. 5,73% торг. — Средний доход инд. крестьянина около 4,5 пенни в день. Смертность — 30,9 на тысячу (в 1882 г. — 24), самая высокая в мире. Средняя продолжительность жизни — 23,5 года (в 1881 г. 30,75 л.) Средний размер земельн. участка 2,2 акра. Две трети населения имеют постоянно только ¾ зер-

ли эту песню, сознали свое бессилие. В данном обзоре мы можем лишь постараться наметить общие контуры, набросать предварительную зарисовку, намекнуть на неисчерпаемые богатства этого своеобразного культурного мира, пробуждающегося на наших глазах к какой-то новой жизни. В стремлении теперешней Индии (в которой пытаемся рассмотреть черты Индии вчерашней, Индии всегдашней) к самопознанию, в поисках ею своего пути, мы не можем не быть с нею, не можем не следить сочувственно за ее попытками, за ее борением. Лучшим доказательством действенного интереса считаем желание ближе ознакомиться с нею.

В этом нам помогут специалисты и прежде всего известный французский индианист Сильвен Леви. Года три тому назад Рабиндранат Тагор, идеалом которого является примирение Востока и Запада через гармоническое слияние того, что есть лучшего у обоих, пригласил С. Леви к себе для прочтения лекций на тему о связи Индии с остальным миром. L'Inde dans le Monde, так озаглавил потом С. Л. написанную им по возвращении из Индии книгу, а жена его дает нам живую запись ими в Индии пережитого в параллельной книжке: Dans l'Inde.

***

С. Л. начинает с утверждения цивилизации как коллективного творчества. Нет обособленности культурного развития у каждого народа. Национальная особенность каждой данной цивилизации выражается в ея способности поглощать привходящее в нее извне. В результате взаимодействия получается как бы осадок коллективных предпочтений, т.е. национальная одаренность рассматривается им как функция чисто-критическая.*) На первый взгляд Индия оказывается как-бы вне общего закона взаимодействия. Браминская литературная традиция не знает ничего о внешнем мире. Горы, зыбучие пески, море отрезывают Индию от остального света. Кастовый строй органически исключает чужеземцев. Индия лишена этнического и языкового единства, но тем не менее неотрицаемо существование индийской цивилизации. От Гималаев до Цейлона, огромное большинство принимает единый трансцедентный закон вечно длящихся перевоплощений (самсара) и возмездия за содеянное в одном из последовательных существований (карман). Небытие личности, призрачная суета вещей общи всем индийским религиям и философиям.

Язык богов, Санскрит, все так же силен своим обаянием. Творения Вияса, Вальмики, Калидаса и по сейчас являются

на небходимого для пищи, т. е. живут в проголодь. —

В текстильн. промышл. — хлоп. бум. — работает 347.380 ч. на 7.927.738 веретенах и 144.794 станках (1923 г.); зараб. пл. 1 шил. 11 п. за 11 час. раб. день; — джут — 399.500 раб., 47.000 станков и 985.000 веретен (1924), *недельная* зарплата от 3 ш. до 4 ш. 9 п., Рудники — 229.511 раб. (около 80 тыс. женщин), зарпл. 8 п. — 11,5 п. в день). Плантации — средн. зарпл. в неделю — 3-4 шл. мужч., 1 ш. 6 п. женщ., 1,5-2 ш. ребенок. Дивиденды акц. общ. — Стандарт Ойль 80%; некот. джутовые предприятия дают от 160 до 165%, средн. дивид., за 10 л. — 110%. Хлоп. бум. пром. — средн. див. 120%, а наиболее высокий 365%. Уголь — до 110%. — Всего в Индии около 2 миллионов рабочих, из них 250.000 чел. в синдикатах. —

*) Эта критическая функция, отбрасывание одного, осваивание другого, и есть то «абсолютно новое и специфическое, что мы выражаем, когда говорим об *идее* или *духе* данной культуры» (Евразийство, стр. 33).

единогласно признанными образчиками вкуса, слога, языка. Брамин и сегодня какое-то земное божество. Но несмотря на наличность этой общей цивилизации Индия (С. Л. говорит только о прошлом) не создала нации.*) Подобно личности и нация имеет свое сердце, свой ум. В них сходятся, преломляются, из них излучаются акты коллективного творчества. У Индии нет «синтетических» имен, культурных центров, подобных Лондону, Парижу. Бенарес, очаг яркой религиозной жизни, не играл никакой политической роли. Ряд других городов блистал скоропреходящим блеском. Более того, С. Л. касается черты самой прискорбной: громадная масса Индии не знала спаянности. У Индии нет истории, у нее отсутствуют национальные герои. Такие великие имена как Самкара (сравниваемого С. Л. одновременно с Франциском Ассизским и Лютером), Калидаса лишены в памяти Индии хронологического прикрепления. Пробуждением своего сознания Индия обязана Европе: Бюрнуф, Ходгсон — вернули ей Будду; Принсеп, расшифровавший надписи той эпохи, установил историческую роль величайшего из властителей Индии, Асока, при котором индийская политика, вдохновляемая единой действенной верой, простирала свое влияние до Эпира и Киренаики; гениальная личность Асвагоша (зараз Мильтон и Гете, Кант и Вольтер), в начале христианской эры оказавшая решающее влияние на все течения обновившие и преобразовавшие тогдашнюю Индию, еще лет 30 т. наз. не была известна в Индии.

Обособленность Индии кажущаяся, сказано было выше. Начиная с XI в. (вторжение Махмуда Газневийского) она приходит в прямое соприкосновение с Исламом, через него с Европой. Более седая древность дает указания на связь Индии с остальным миром уже тогда. Наиболее ранний эпиграфический документ о ней нам дан клинописной надписью на границе Армении; далее идут вавилонские и персидские данные, но наиболее ценный материал, дан утверждает С. Л. «лучезарным гением Греции». Индийская хронология имеет отправной точкой отожествление индийского Чандрагупта с Сандрокоттос'ом греческих историков Александра. Длительное, в течение целого тысячелетия, соприкосновение Индии с Грецией ставит интересную задачу взаимных влияний, оттеняет своеобразие индийской одаренности. В начале нашей эры Китай также входит в сношения с Индией. Обмен религиозный и торговый, длившийся тысячелетие, шел двумя путями: по сухопутью — огибая Памир или переваливая через него и, от одного оазиса к другому, следуя по пескам Китайского Туркестана; по морю — рейсами связывавшими, индийские порты с Китаем.

Остановимся тут, чтобы подчеркнуть связанность евразийского океана — континента с Индией этими путями караванного обмена идей и вещей, которые утратили позже свое культурное значение, но в потенции продолжают существовать и могут возродиться в наши дни лишь в иной, технически соответствующей времени, форме. Мы имеем здесь в виду железнодорожную политику России в Ср. Азии, историко культурная сущность которой не должна от нас ускользать.

С. Л. метко называет эту область, скажем русско-китайского Туркестана, «зоной неустойчивого равновесия между двумя языками, двумя соперничающими типами общества» (Сериндия, т. е. Китае-Индия, сухопутноевразийского мира, которой соот-

*) Сами интеллигентные индусы отдают себе отчет в этом, как видно из заявления Даса М. Пэрно: «Индусы еще не образуют нации, но они стремятся стать ею». (М. Пэрно. стр. 146).

ветствует океанический Индо-Китай). Сравнительно недавние открытия (Турфан, Куча) обнаружили в этой зоне следы культурного влияния Индии. Так же и в Инсулиндии открыты индийские культурные гнезда, для изучения которых группа молодых ученых-индусов недавно образовала общество «Бóльшая Индия» (Greater India). — В XII в., наконец, буддизм проникает в Тибет, откуда его получат Монголы при Хубилае.

* * *

Указав участие Индии в обмене, в органической жизни всего человечества, С. Л. обращается к характеристике буддийского «гуманизма». Рассмотрение религии для него является методологическим приемом. В создании всеобщей истории человечества, говорит он, удобно опираться на религии универсального типа, около которых можно сосредоточить все изобилие исторического материала. Роль христианства в истории Запада не нуждается в доказательствах. — В пользу монолитного характера религии, — создающих и развивающих цивилизацию если не всеобщую, то международную, — С. Л. приводит географические аргументы: христианство, как государственная религия, не пошло на Востоке дальше Малой Азии; Ислам (однородность блока которого ощущается среди паломников Мекки) никогда не затронул Европы (связь его с Евразией, наоборот, ясна и ей интересно заняться В. Н.); Буддизм на Запад не мог дойти до Тигра и Евфрата. — С. Л. считает, что Д. Восток, вне христианства и Ислама обладает своей буддийской цивилизацией, изучение которой могло бы послужить очагом нового гуманизма, азиатского, который явился бы «дополнением» нашего европейского гуманизма. Нельзя не приветствовать этого мнения, поскольку оно открывает брешь в романогерманском шовинизме.

С. Леви набрасывает как-бы схему изучения этого буддийского гуманизма, родившегося в Индии. Хотя буддизм и ушел из Индии десять веков т. н., в отличие от джайнизма, возникшего одновременно и д. с. исповедуемого некоторыми слоями в Индии, — но все же около его изучения группируются все основные вопросы индийской культуры. В связи с первым же собором после Нирваны (460 или 370 г. г. до Р. Х.) давшим издание буддийской библии (Трипитака), возникает вопрос об индийской письменности, алфавите. Древнейшим алфавитом был введенный писцами Дария, когда страна по Индусу являлась ахеменидской сатрапией. Нельзя ли, спрашивает себя С. Л., расширить эту связь с Ираном? связать буддизм и джайнизм с зороастризмом? Индийская Веда, иранская Авеста, написаны на почти одинаковых языках, упоминают некоторых общих богов. Зороастризм провозгласил очищенный культ, свободный от кровавых жертв, остающихся еще у других арийцев. Это уважение к жизни, утверждаемое Зороастризмом, получает в буддизме дальнейшее развитие. Провозглашенное им равенство людей (вызвавшее ожесточенную реакцию браминов) исходит из того, что если жизнь сама по себе заслуживает уважения, то ценность этого уважения распространяется на то лицо, которое ею обладает, независимо от его положения в обществе.

При внуке современника Александра, царе Асока, называемом «Константином буддизма», последний становится государственной религией.

Надписи царя Асока, по форме отражающие влияние стиля Ахеменидов, по содержанию резко от них отличаются, гласят не о победах, а о лучшем устроении жизни силою добра и примера. Его миссионеры проникают в эллинскую Сирию и дальше. На границе Ирана, Турана и Индии, в Бактрии

(Балх) возникает очаг своеобразной культуры, где переплетаются указанные влияния. Когда на месте Бактрии в начале I. в. до Р. Х. возникает индоскифское государство, простиравшееся и на Сев. Индию, то под прикрытием его мощного престижа миссионеры буддизма проникают в Ср. Азию и Китай. С другой стороны устанавливается, благодаря открытию муссонов, обмен между эллинистическим Востоком через порты Перс. Залива и Красного Моря и побережьем Индии (Катиявар, Гуджерат; архитектура в пещерах, предвосхищавшая готику, развилась не без эллинского влияния поселившихся там и принявших буддизм греков-купцов). С. Л. думает, что буддизм выработался в стройную систему под влиянием требований греческого разума. При бактрийском дворе буддийское искусство подпадает под влияние греческого и принимает чуждые ему каноны. С. Л. упоминает мимоходом, — не придавая им большого значения, вследствие трудности критической проверки из-за недостатка сведений об Иране того времени, через который ведь должны были проходить эти влияния, — известные христианско-буддийские сближения; Гондофарэс, индоскиский царь, один из 3 магов, он же выписал к себе Апостола Фому; отражение буддийских легенд и литературы в Евангелии; Христос — Кришну (в обоих случаях рождение от Девы, ясли, бегство Св. Семейства, избиение младенцев); буддийское происхождение секты Ессениян; Бхагавадгита, — изложение доктрины Кришны, — и Новый Завет; «бродячий сюжет» — Боддисатва-Иоасаф. Относительно Китая определенно известно, что он получил буддизм в 65 г. нашей эры при помощи одного китайского посланца ко двору Юэчи, в индоскифском государстве. Известны бесчисленные богатства буддийской литературы на китайском языке.

***

Буддизм распадается на два периода. Первый, т. наз. Малая Колесница, Хинайяна, имеет отшельнический, аскетический характер. Около начала нашей эры резкая перемена; буддизм становится действенным. Доступ к высшему знанию. Бодди, открывается для всех. Оно имеется в каждом, но скрыто под скверной; как зеркало под пылью. Появляется понятие о Боддисатве, святом, действенно совершенствующемся в течение бесконечных существований. Мир наполняется бесчисленными Буддами, деятельное сострадание которых постоянно проявляется. Один из них покоится на троне в раю «свет безпредельный» — Амитаба, духовным сыном которого является Боддисатва Авалокитесвара, образец действенного милосердия, и наряду с ним Боддисатва Маитрейя, «происшедший от Митры», как бы Мессия, первый из Будд имеющий явиться. Все эти идеи буддизма второго периода, т. наз. «большой колесницы», Магайяна, близки иранскому Зороастризму, откуда перешли в юдаизм и христианство. Первая добродетель, которую должен постичь Боддисатва, есть «совершенство мудрости», П р а ж н а т р а м и т а, что наводит на сближение с гностиками. Сотрудничание религиозной мысли Ирана и Индии ярко выразилось в учении Мани, сочетавшем Зороастризм, буддизм и христианство. — В упомянутых нами выше о-азисах, — Хотан, Куча, Карашар, Турфан, — раскопки показали сильное влияние буддийских миссионеров. Весьма вероятно, что Турки обязаны им же первой обработкой своего языка. —

Для евразийского миросозерцания важно лишний раз ощутить как, в путях междуазийского обмена идей, сближаются различные религиозные системы, легшие в основу культурного развития стран входящих в Евразию или ей сопредельных. Краткая формула евразийства о

потенциальном христианстве восточных религий имеет глубокое, исторически оправдываемое содержание, ускользающее от наших критиков, враждебность которых пугает нас меньше, чем их поразительное невежество во всем, что касается Азии.

В XI в. Ислам заливает Сев. Индию и буддизм, никогда не бравший меча, исчезает, даже без агонии. Это полное исчезновение буддизма, тогда как не меньше его преследовавшийся браминизм выжил, об'ясняется тем, что буддизм, став религией общечеловеческой, потерял национальный характер, упор на определенную среду. Буддизм зародился как некий монастырский орден, в социальной среде, где верования не отличались от учреждений. В дальнейшем развитии социальные формы его не интересуют, он становится религией в исторически широком смысле слова, оставляя за собой только заботу и наблюдение за отношением верующих к трансцендентному, святому. Земное же попечение он охотно предоставляет светской власти. Наоборот браминизм остался исключительно индийской религией. В многоязычной, многорасовой стране он был единственным символом об'единения. Угрожаемая Исламом Индия инстинктивно скрылась под защиту браминов.

Каста оказалась сильнее меча.

Нет цивилизации, утверждает совершенно верно С. Л., переходя к рассмотрению браминизма, без некоторого национализма, чувства превосходства и, наряду с ним, пренебрежения к чужому. По определению С. Леви цивилизация есть присущее данной человеческой группе в развитии ее исторического бытия коллективное осуществление — путем верований, навыков и учреждений, — счастья в особой форме, которая и считается наиболее подходящей.

Нигде в мире это понятие о счастии, summum bonum не получило столь специфическаго выражения, не про- питало так глубоко всю жизнь, не воспитало столь откровенного презрения к иностранцу, как в Индии.

Основным верованием Индуса является убеждение в нереальности мира окружающих его явлений. Чувства способны лишь ввести в заблуждение и ошибки. Единственная неоспоримая реальность дается внутренним сознанием. Под обманчивыми аспектами Я, индийская интуитивность раскрывает абсолютное. В положительном выражении это есть существо в себе; в отрицательном — небытие. Мир феноменов, лживый и ненавистный, управляется роковым законом: всякий поступок есть нравственное завершение бесконечного ряда предыдущих поступков и точка отправления другого такого же ряда и его преобразующихся последствий. Система поступков, образующих данную преходящую личность преобразуется в другую систему, ее продолжающую и составляющую новую, опять таки преходящую личность. И так без конца, в вечности времен. Рассматриваемая в таком аспекте жизнь есть самое ужасное из наказаний: вечная повторяемость ложных личностей, безустанно обретаемых и утрачиваемых. Высшим благом является Освобождение, возвышенный акт, из которого из'яты все причинные силы, и который навсегда, для данной системы (одним из моментов которой есть личность), уничтожает созидательное могущество иллюзии.

***

Кастовый строй общества есть социальное выражение этой философии. Общество не может изменить цепи поступков, данная в настоящий момент комбинация коих есть личность, оно и закрепляет факт рождения. Освящаемая кастой «нравственная наследственность» непреклонее нашей физиологической. Место каждой касты определяется в иерархии этих замкнутых

групп признаваемым за нею с общего согласия — вернее общей необходимости — уважением. Вне касты (out caste) человек в Индии ничто, отброс. Внутри касты — свое обычное право, суд, приговоры. женитьба, принятие пищи и т. д. — допустимы только с членами своей касты, иначе одно прикосновение, одна капля воды, оскверняют. Не удивительно, что не только в древний, Ведийский период, иностранец и разбойник назывался одним словом, но и теперь он м л е х а, — тот кто бормочет («варвар» греков). Каст не четыре, как обычно говорят, а безконечно много, складывавшихся, распадавшихся, соперничавших в течение тысячелетий. Первые три, брамины, кшатрии (воины), в а и с и и (купцы), считаются, благодаря обязательному религиозному их образованию, «дважды родившимися» (д в и ж а). Общество, оканчивается кастой с у д р а, земледѣльцы. Вне каст, вне общественного строя — парии. Превосходство браминов есть основная догма. Длящаяся привилегия создала и фактически средний тип выше общего уровня, особенно по духовному развитию. Род Рабиндранат Тагора, исключенного из касты и борющегося в своемь университете с кастовым духом, восходит в очень почтенную древность и насчитывает ряд писателей (см. о нем брошюру «A brief account of the Tagore family», by Bungshidhur, Calcutta, Bose, 1868, В. Н.). Некоторые из его членов отпали в мусульманство, один из предков «осквернился». Первенствующую роль брамины обезпечили за собой после долгой борьбы с воинами,

Начиная с Веды она отражается в литературе Индии. Будда, рожденный Кшатрией, обязан был сражаться, а не проповедывать сострадание, указывать путь Освобождения, упрекает его тысячу лет спустя один брамин. Каждому свой долг, — с в а д а р м а, — таково основное правило индуизма. Социальный строй есть ни что иное как иерархизованная система этих «своих долгов». Во всякой касте каждый исполняет свой долг. Кто притязает на добродетель неприличествующую его касте, нарушает общеѣственный порядок. А так как, общественный порядок есть функция порядка религиозного, то и совершает вдобавок грех.

Эта исключительность, эта аристократическая концепция, проходит красной нитью через все проявления индийской культуры. Так «индийского языка» нет. Есть общий литературный язык, никогда не бывший живым, но не мертвый. С а н с к р и т значит изысканный, но не в смысле академического языка, закрепленного авторитетом соотвествующего учреждения. Слово с а м с к р и т а связано с идеей религиозной: делающиее совершенным — с а м с к р и т а — человека, вещь, — о действия, — с а м с к а р а — можно уподобить нашим «таинствам». Санскрит и есть священный язык, язык молитвы. Как со всем, что свято, с ним трудно обращаться. Он может обратиться против пользующегося им неумело.*) Язык богов на земле, им могут пользоваться брамины, земные боги, и цари. Как тип аристократического, религиозного языка санскрит может быть сравним с знакомым нам в примитивных обществах священным языком, обязательным при определенных церемониях и т. п. Применение санскрита в литературе не лишает его его божественного характера он дает умственную пищу избранным, которые одни лишь и способны ее оценить.

Аристократическая концепция в области Индийской эстетики, — прекрасное доступно

*) Мы имели случай, в другой связи, отметить эту характерную черту азиатской психики, приписывающей эсотерическое значение начертаниям букв, языку. В.Н.

не всем, — связана с перевоплощением. Эстетическая эмоция, способность наслаждаться прекрасным, есть как бы автоматическое вознаграждение заслуг, приобретенных в предшествовавших бытиях. От предыдущих воплощений душа сохраняет особую чувствительную отзывчивость на намеки. Настоящее искусство состоит в выборе, в выделении минимума деталей, способных вызвать определенное душевное настроение.*) Прямое непосредственное выражение для индийского артиста и эстета есть одна грубая, презренная форма. Подражание природе не имеет с красотой ничего общего. Благородно в одном символе и именно в той мере, в какой из него устранены позитивные элементы, оставлен лишь наименее материальный субстрат. Отсюда преимущественно — лирический характер индийского творчества.

Понятно, что литература имела вдохновение в тиши, в феодальном замке, бежит от вульгарного. Постоянного литературного центра Индия не имела, в процессе своих распадений и воссозданий в плане совершенном.

Сильвен Леви делает тут интересное сближение. И религиозно, и политически Индия, по его мнению, есть страна анархии. Довольствуясь крайне строгой на вид, но на деле очень гибкой иерархией, где консерватизм сочетается прекрасно с новаторством, Индия пользуется соблюдением форм для прикрытия смелых изменений. Принятие обязательности ведической догмы оставляет свободу исповедания полнейшего атеизма, тем более что канонический текст Веды не был никогда установлен.

В среде индийских богов та же анархия, то же постоянное разложение и воссоздание, что в среде их священнослужителей. Это не политеизм, не монотеизм. К какой бы категории не принадлежало божество оно является главным для верующего в него. Обычная схема — Брама, Вишну, Сива (ниже) — второстепенные боги, еще далее — бесчисленное множество низших богов, — неверна. С Брамой не считается вовсе ни религия, ни культ; он не имеет ни храма, ни паствы. Сива и Вишну есть вывески, скрывающие множество местных форм, которым поклоняются в отдельности, форм нередко враждебных одна другой. Доктрина воплощений применяемая к Вишну, позволившая дать место Будде в вишнуизме, пытается ввести известный порядок, но, например, Рама и Кришну отличаются между собой настолько же, насколько оба отличны от Будды.

Индийская литература имеет созерцательный и рыцарский характер. Ряд философских систем указывает на созерцательность: идеализм Веданты, для которого существование мыслимо как существо в себе; дуализм материи и духа в Санхии, материальный мир развивающийся путем некоей «психофизической химии»; Вайсешика — мир сведенный качественно и количественно к комбинации атомов, обладающих различными свойствами; Нийя — установление логического рассуждения. — Наука грамматики достигла в Индии высокого совершенства, неизвестного на Западе вплоть до новейших изысканий; язык рассматривался как феномен внутреннего духовного порядка, имел, как мы видели, религиозное значение.

Вкусы феодального читателя создали в Индии целый мир фантастических эпопей, драма, романов. Эпопея Магабхарата есть как бы энциклопедия рыцарства. К общечеловеческим литературным творениям следует отнести эпопею Рамаяна, драму Сакунтала и поэму Бхагаваджита (эпизод из Магабхараты). Остальное же ее твор-

*) Персидской мистике (не следует ли тут видеть влияние Индии?) знакомо понятие об «языке настроений» (*зебанэ халь*), т. е. об известных положениях как бы говорящих определенным языком. — В. Н.

чество слишком своеобразно чтобы войти в общий оборот.

***

Набросав рукою мастера эту общую картину цивилизации Индии, С. Леви предостерегает от опрометчивого суждения о ней, как о не сумевшей подняться выше чисто местного взгляда на человека и человечество.

Нужно дать себе отчет в каких условиях она развивалась.

Горсточка Ариев, родственных персам Ирана, предков греков, римлян, кельтов, германцев и славян, проникают за тысячу лет до Р. Х. на берега Индуса, по долине Кабула. Носители учреждений, верований, навыков, выработанных путем долгих усилий в семье арийцев, они попадают здесь в громадную страну с полудиким населением темнокожих Коларийцев, Дравидин. Вплоть до наших дней вся история Индии обусловлена стремлением сохранить и передать потомкам принесенную арийцами более разработанную культуру. Арийцы-завоеватели никогда не пытались разрешить трудности путем уничтожения туземцев. Они старались найти методы сотрудничества. Касты, как это явствует из обозначения их санскритским словом в а р н а, цвет, есть так. обр. орудие защиты от окружающей среды. До сих пор цветные живут рядом с арийцами. В своей книге Мадам Леви очень живо описывает образ жизни примитивного населения Санталов, живущих около университета Рабиндранат Тагора так, как они жили вероятно три тысячи лет т. н. Арийцы должны были также защищаться и от тяжелых природных условий. Какая масса усилий должна была быть ими затрачена для преодоления всех этих условий и создания богатейшей культуры.*)

Понятно, что вопросы жизни и судьбы получили в Индии столь своеобразное разрешение. Повсюду люди созерцали и наблюдали в умеренном климате. Одна лишь индийская цивилизация сложилась между тропиком и экватором, в преоборении необузданной природы, которая делает человеческую жизнь одной только грустной случайностью среди бесконечного творческого разнообразия окружающей жизни.

***

Иначе подходит к пышному индийскому многообразию, так хорошо, между прочим, прочувствованному Кейзерлингом, пр. Гавронский. Его специальный подход имеет для нас особый интерес.

Проф. Гавронский напоминает нам рассказ Киплинга из «Второй книги Джунглей» о воспринявшем все что могла дать ему наука на его родине и в Европе, осыпанном отличиями английском баронете-индусе, брамине, который внезапно бросает все это знание, почести, богатство, пропадает без вести и конец дней своих проводит где-то на склонах Гималаев, оставаясь с лесным зверьем, да со своими мыслями. Непонятная восточная ду-

---

*) Все понять, все простить? Даже вне такой позиции, безопасной лишь для избранных умов, кастовый вопрос можно рассматривать не только как явление отрицательное. М. Пэрно описывает посещение им в Пуне крайне интересного центра индийской культурной работы, организованного подлинным интеллигентским «Орденом», именующимся «The Servants of India», служба родине, отречение от личных интересов. «Орден» развил между пр., успешную деятельность по кооперации. Читаются лекции, издается журнал, есть музей, библиотека, где обработкой редких рукописей заняты специалисты, и т. д. И вот в этой обстановке молодой профессор-индус, ученик С. Леви, сказал Пэрно — «без браминов Индия стала бы английской». Судя по Пэрно позиция Ганди в этом вопросе также не безусловно отрицательна. —

ша! Доктор обеих философий, индийской и европейской, баронет Соединенного Королевства, и так вдруг — из одной крайности в другую? В Индии таких примеров бывало много. Ученый грамматик и философ VII в., Бхаритхари, семь раз уходил из мира и вновь в него возвращался, подчиняясь мощным колебаниям колыхавшим его душу от одной крайности к другой. Трудно себе представить как это один и тот же человек от проявления самой беспутной чувственности мог переходить к самым напряженным тонам оторванности от всего земного. Нас с детства учили, что метание из одной крайности в другую есть ненормальное, нездоровое явление. Лозунгом культурного творчества должна быть уравновешенность.

Но в Индии было иначе.

В VI в. до Р. Х. заканчивается там период старейших Упанишад, т. е. первичных памятников индийской философии, и начинается буддизм. В общих чертах индийское мировоззрение, которое окончательную отделку получит столетиями позже Христа, тогда уже сложилось. Все оно, все его действительно пышное развитие есть одно непрестанное колыхание меж крайностями. В литературе — гигантские, нигде кроме Индии не виданные эпопеи, а на другой оконечности до тонкости выработанный, крайне сжатый научный стиль, который выражает на нескольких листках то, для чего в Европе нужны томы. В искусстве — скалы превращенные в обитель божию, истуканы в 40-60 футов вышиной. И тут же самая мелочная отделка, любование деталями. Эта фантазия без предела отталкивает европейца, заставляет пожимать плечами. То же и в индийском мировоззрении, будь то метафизика или космогония. Мысль индуса первая сумела вознестись высоко над земными делами и по сей день сохранила эту вышину полета. Среди индийских мыслителей не найти наивных реалистов

и даже современный физик и химик-индус охотно рассматривает свою науку под трансцендентным углом зрения. Да для простого смертного жиз не есть нечто tout court, а ли звено в бесконечной цепи сутствований. Мир не вращается в тесных границах от шестидневного творения до вечного су но переваливается в исполинских эонах, вне цифр. Вместе с т индийские ученые умеют бы мелочны, скучны, безнадеж педантичны. А топтание это народа, обнимающего безпредельность бытия, в тесной клетке кастовых суеверий?

Все многообразие жизни в Индии подразделено на: фактор материальный — арта, чувственный — кама и религиозный — дарма. И с ному из них отдавались возмож полнее, на многие годы. Особо но последнему. Жизнь делит на периоды, ашьрама: учение, потом семья, общест. Но на склоне жизни, уход семьи, размышление в одиночестве, или с подобными себ о вещах предельных. Наконец, ожидание смерти приближающ к Освобождению от непрестанного круговращения бытий. Нирвана, переход из эмпирии в область абсолютной действительности. Конечно не все индус жили и живут по этому прави. Но наряду с массами, влачащими как везде жалкое существование, мы видим в Инд нескончаемые ряды лиц отдавшихся со зрелого возраста созерцательности. Идеал жизни колебался между домом и бездомностью. Подобные скачки в Индии никого не удивляли, бы делом обычным. История хранит имена королей, жизнь св кончавших в лесной глуши.

Таковы отличительные черты индийского умственного скла. Если подвергнуть психологическому разбору умственный скл Европы и Индии, то основные элементы их окажутся теми же. соединяются они очень раз, напряжение их не равное и взаимоотношение иное. Это разе

и является особенностью духовной культуры. В Индии умственное равновесие т. е. и культурное, получается через колыхание меж крайностей. Отсюда особый отпечаток и склада ума и культуры. Первоначальное учение Будды говоритъ что для достижения Освобождения нужно итти «средним путем» между излишним наслаждением радостями жизни и крайним умерщвлением тела. Эта уравновешенность на наш вгляд уже кажется крайностью. Но буддизм пошел дальше. Идеалом было провозглашено не стремление к личному Освобождению, а к тому, чтобы каждый, без исключения, вся живая тварь, стал со временем Буддой и вел по пути спасения все что еще не освободилось. Как это отлично от склада ума и цивилизации в Европе. Aurea mediocritas, medio tutissimus ibis. Греческое искусство, римское право, во всем мера. Эта же мера, в теории допускающая делать любые выводы из всех явлений, на практике признается только такой их уклад, который умеет укрепить духовную культуру на наиболее подходящей материальной базе. Да, материально, в смысле большей возможности равномерного использования всех сил цивилизация европейская, конечно, выше; но индийская, до сих пор оказавшаяся слабее в борьбе за существование — духовно несомненно выше.

Тут Гавронский оговаривается. Противопоставляя Индию Европе он разумел западную Европу, греко - римско - христианскую. Россия к ней не принадлежит. Это знают все. Знакомы и главные черты отличающие русский склад ума от зап. европейского. Москаль отличается принципиальностью, максимализмом и т. п. Но этот максимализм напоминает часто те черты, которые отмечены выше в Индии. Насколько же эта русская склонность к крайности напоминает индийскую, какова их разница? Есть ли между ними к. н. связь? На все эти вопросы, раз я их поставил, говорит Гавронский, я должен попытаться ответить. Как, наконец, — этот склонный к крайностям русский духовный склад относится к своей культуре? Иначе нежели в Индии? Никто до сих пор на такую широкую почву вопроса не ставил. Европейские индианисты о России не имеют понятия, русские мыслители еще меньше знают об Индии: наконец, немногочисленные русские индианисты не смотрели ни на Россию, ни на Индию под таким углом зрения.

Пробуя ответить, Гавронский обращается почти исключительно к духовному русскому творчеству. В политике, напр., явления могущия иметь общий источник (с Азией? В. Н.) уже отмечались. Русская государственность впитала слишком много явно чуждых элементов (татарских, немецких), чтобы ее можно было принимать за чистое выражение русской души.

Максимализм у русских заключается в том, что дойдя, до абсурда в своем желании сделать все решительно выводы из данной посылки, они предпочитают утверждать этот абсурд, нежели пойти на компромисс с житейской практикой. Русский максимализм не умеет сохранить равновесия между крайностями, отчего ему и не достает чувства действительности. Он видит перед собой только одну крайность. В безудержном разбеге своем, как герой рассказа Андреева, становится перед стеной и бьется лбом о нее: нет выхода. Возьмем «Воскресение» Толстого. Посылка: судебная ошибка, может быть даже судебное преступление. Выводы: долой судей, суд, правосудие. Но если отбросить принцип суда, то что остается? Кажется теперь мы знаем: Чрезвычайка. Трезвый римлянин прекрасно знал, что summum jus summa injuria, но предпочел, не делая отсюда крайних выводов, создать кодекс, самим фактом своего существования обезпечивающий наибольшему

числу людей наибольшую справедливость. Другая тема: в супружестве что-то не ладно. Вывод: долой брак, долой все соединения — мужчина — женщина, — долой человечество, не сумевшее найти другого способа размножаться. Все это художественно развито, прекрасно, от изложения дышет такой серьезностью взглядов и таким искренним ощущением всего нехорошего в браке, что если крупицу этой серьезности внести в супружеские отношения, то мир на много бы исправился. Но это было бы сделкой с нравственностью, на что русская душа не пойдет. Лучше с тяжелым сердцем сделать уступку жене и плодить детей, сознавая на шаг отступить от принципиальной правильности теории, в истинность которой я, добавляет Гавронский, верю больше чем кто-либо.

Еще один пример. Сильный народ угнетает слабый. Долой патриотизм, т. е. всякий патриотизм в существе своем есть зло, так сказать. Греет ли он только или вспыхивает пожаром. Так говорит об огне Толстой в письме Пр. Здеховскому (автору книги о «Русских влияниях на польскую душу», Краков 1920). Европеец же знает, что без огня не было бы цивилизации и он его считает очень полезным и необходимым*). И вот тут, например, Индус стоит на европейской точке зрения. Друг есть

*) Гавронский приводит обе цитаты эпиграфом своей статьи. Толстой. Письмо к поляку о патриотизме: «Огонь будет все такой же, жгучий и опасный огонь, будет ли он пылать костром или теплиться спичкой». Бокачіо, Декамерон: «Chi non sa che l'fuoco e utilissimo, anzi necessario a mortali? direm noi, percio che egli arde le case e le ville e le citta, che sia malvagio? (кто не знает что огонь весьма полезен, необходим смертным: разве потому, что он сожигает дома и города мы скажем, что он вреден?)

друг и все тут, хотя его и мож
уловить на недружелюбном п
ступке: кто перестанет цени
огонь оттого, что он ему сж
дом и имущество? (Хитоп
деса, 2,233). Потому что и
дийский ум, с наслаждени
колышущийся меж крайносте
в силу этого самого обладает чу
ством равновесия. У Толсто
нет ни на грош чувства действ
тельности, а у Ганди оно имеет
в высшей мере. Но понятн
почему Ганди, познакомивши
с Толстым по его сочинения
заявил себя его поклоннико
Его привлекает то общее, что ес
у России и Индии. На то ж
что у них разное у него закры
глаза, нет понимания.

Взгляды Толстого воплоще
ные в действие обозначали б
конец всякой цивилизации, н
смотря на всю нравственную с
рьезность его личности. Ибо с
рьезность эта граничит с то
узостью, которая выражена
девизе: pereat mundu
fiat justitia. Так
justitia, какой ее себе предста
вляет любой N.N., т. е. сегодн
на практике, большевики
Между тем пресловутая инди
ская пессимистическая филос
фия всегда и без исключения ст
вила великую оптимистическу
цель: найти и указать пу
спасения от проклятого круговр
щения страданий. Тогда к
плеяда русских литературны
талантов XIX в. не указала ц
ли, которую можно достигнут
для которой стоит жить. До
тоевщина, Толстовщина, кар
мазовщина, передоновщина, ана
хизм, нигилизм, наконец, бол
шевизм, выбивший из-под н
единственный устой — обломо
щину, — вот что тяготело на
русской душой *). Гавронск
не считает этот максимали
какой-то «монгольской» особе
ностью привитой России. С

*) Пишущий эти строки гл
боко уважает память недав
скончавшагося глубокого учено
и мыслителя Пр. Гавронског
Его взгляд приведен тут не дл
полемики. Постановка его в т

указывает, что неправильно этим термином покрывать стихию финскую и тюрко-татарскую, с собственно же монголами европейская Россия, как народ с народом, соседом не была. Кроме того и финны, и тюрко-татары очень трезвы, умеренны и далеки от максимализма. Так может быть это восточно-европейская особенность, спрашивает себя Гавронский. И в таком случае тут была бы связь с Индией? Может быть. Но доказать это нельзя. Можно лишь констатировать некоторую правдоподобность общего основания, Гавронский делает здесь краткое историко-филологическое отступление, того же порядка как более подробно развитая кн. Н. С. Трубецким мысль о родстве наших языковых данных с Азией. Этот экскурс дает ему основание заключить, что на почве этого отчасти общего происхождения, хотя о праиндоевропейском языке мы знаем мало, можно было бы найти более близкую связь между индийским и русским складом ума.

Выразившееся по Гавронскому лишь начиная с XIX в. русское творчество с несравненным размахом открыло миру именно ту особенность, которая была выше сравнена с отличительной чертой творчества в Индии. Допуская следовательно принципиальную возможность этой близости, Гавронский, однако, на ней не настаивает. Его больше интересует вопрос почему эти особенности, столь схожие, получили столь отличное выражение и принесли разные плоды в обеих странах? По мнению Гавронского суть вопроса в внешнем выражении духовной сущности данного народа, в соответствии между формой и духом. В Индии цивилизация всегда была в согласии [со складом ума. Душа индийская всегда говорила своим языком. Он менялся в течение тысячелетий, но он никогда не был чужим. Индусы творили такую культуру, которая лучше всего отвечала их потребностям. Склонность к крайности нашла в этой культуре нормативное выражение. Наиболее ярким примером служит ставшее в Индии всеобщим убеждение что люди, да не одни они, а все тварное, являются не только ближними или братьями, но попросту проявлением одного и того же метафизического принципа, а значить я = ты, а ты = я, и мы обманываем себя говоря о двух лицах. С другой стороны, тут же, деление на тысячи каст, в которых не только не может быть перехода из одной в другую, но самое прикосновение к члену низшей касты оскверняет. Между тем эта антиномия, на наш взгляд ужасная, никого в Индии не поражала. То есть, опять таки: равновесие получалось через колыхание меж крайностей. В России было не то. Пр. Гавронский определенно становится на точку зрения тех, кто в деле Петра видит пагубное влияние на будущность России. Та же мысль, что мы видим у Руссо: Les Russes ne seront jamais civilisès, ils l'ont été trop tôt. Тот *разрыв*, о котором евразийцы сказали так много верного. Сравнивая русских с поляками, Гавронский не согласен со своим соотечественником Пр. Брюкнером, автором истории русской литературы, когда тот, проводя параллель, между эпохой Станислава в Польше и Екатерины в России, считает, что у нас были одни плюсы, что мы опередили тогда Польшу и темп взяли ускоренный. Вот в этом-то и есть зло. Плюс оказывается на польской стороне. В Польше возрождение пошло из глубины народного духа, а в России по указке, по инициативе извне. «Народ, который мог быть первым в Азии, стал последним в Европе». Те самые духовные особенности, которые в Индии создали громад-

---

ной плоскости нам представляется новой и нужной, способной вызвать с русской стороны такой же серьезный подход. Между русской и польской душой будем искать не одно их отличающее.

ную культуру, в России проявились стихийно, но только затем, чтобы всюду найти дорогу заграждённую рогатками западных норм, принципиально отличных. Отсюда — головой о стену. Отсюда размах, с которым русская мысль бросается на все вопросы и та мука, с которой она бьется в силках действительности. Трагедия осложняется тем обстоятельством, что в сущности и русские не отдают себе сами отчета. Им кажется, что эта именно мука и указывает на какое то бесконечное превосходство русской души над *гнилым* и *пошлым* Западом. Они готовы самую бесцельность усилий поставить как идеал и наслаждаться какой то своей неуловимой идейностью. Так также и делают. На самом же деле это есть результат несоответствия между формой и содержанием.

Пр. Гавронский считает, наконец, что в низших, народных слоях психические особенности, общие России и Индии, легче находят себе выражение. Чувственность (одна из крайностей) некоторых русских сект найдет в Индии много сходнаго. Мистицизм и аскетизм (другая крайность) вызвали в России искание града, что есть ни что иное как указанный выше уход из мира. На высших ступенях общественности это влечение вылилось в максимализм с худшими результатами. Жизнь и смерть Толстого является лучшим примером того, как восточная душа бьется в сетях западной цивилизации. Достоевский понял это противоречие, когда у него таким же образом умирает Степан Трофимыч. Но в такой смерти нет того успокоения, которое в ней же находит индийский отшельник, *санньясин*.-

В Европе, в Индии мысль тяжело борется, вырабатывая новые формы, но она их вырабатывает подходящими себе, отсюда радость в борьбе. В России она бьется без цели и без надежды. ибо как подчинить свою сущность столь чуждой и другой форме?

***

Таким образом, если согласиться во всем с Пр. Гавронским, следовало бы притти к выводам для нас безотрадным. Даваемая им характеристика, конечно, не нова. Есть и русские мыслители, которые дают себе отчет в известном трагизмѣ русских судеб. Говорить по существу поднимаемых этим вопросов значило бы уклониться далеко от основной темы данного обзора. Единственное, что хочется все же отметить, это отсутствие у Гавронского знакомства с религиозной сущностью русской души. В силу этого пробела его интересно и своеобразно трактуемый набросок страдает односторонностью, заштрихова[н] недостаточно рельефно. Черты русской религиозности, о которыхъ как раз кн. Н. С. Трубецко[й] говорит именно в связи с индийской религиозной настроенностью (в одном из евразийски[х] сборников), смягчили бы зарисовку нашего духовного типа сделали бы его более рельефным и просветленным, вывели бы его из тупика, показали бы что он также знает удовлетворенность, несмотря на всю страстность его исканий. Для русского сознания в евразийском его разрезе нет и не может быт[ь] стены, тупика, о которую толь[ко] и остается, что колотить лбом.

В отличие от того, что говорится у Гавронского, психическая жизнь началась для Росси[и] не в XIX веке, когда она стал[а] очевидной миру благодаря творениям наших литературны[х] гениев. Весь предшествовавши[й] период не есть одно рабство, н[о] воспитывание и накопление духовных богатств выразившихс[я] в жизни и подвижничества ру[с]ских в миру и в уходе из мир[а]. Гавронский вскользь касаетс[я] сектантства (тут, между прочим в отношении радения напраш[и]ваются параллели с ... тура[ми]

ским шаманством и с иранским *сэма* у суфиев), но оставляет вне поля зрения все старообрядчество, один из любопытнейших и ярких примеров своеобразно-русского *сочетания крайностей*, а не трагического доведения одной из них до абсурда. Преданность вере до самосожжения, т. е. предельного отрыва от всего плотского и земного, и наряду с этим какой-то американизм, дающий цельный тип крепкого, кондового хозяина, купца и насельника, осуществляющего тот «практицизм в оторванности», на который намекает П. Н. Сувчинский (см. Версты, № 2), и что он развиваетъ в «Временнике», V.

Наличность такого исконно-русского духовного типа дает нам спокойную уверенность в конечной устойчивости нашей родной народной массы.

Тут же следует вспомнить и о старчестве. Гавронский сравнивает уход Толстого из мира с индийским отшельничеством и у первого не видит спасительной цели, которая обретается во втором. Думается, что иные результаты дало бы продуманное сравнение какого нибудь обладающего абсолютным религиозным пафосом *старца* с индийским *санньясин'ом*.

Повторяем все же, что Гавронский талантливо затрагивает глубоко звучащие струны нашего душевного лада.

***

С. Леви и Гавронский показали нам культурную сущность подлинной Индии, то, что мы позволим себе назвать *душой*. От *души* Индии, от этого единственно верного признака, которым должно руководиться во избежание близоруких суждений, приходится перейти к рассмотрению тех условий, которые поставлена современная Индия, сделать политический обзор. Мы выбрали для этого недавно вышедшую книгу India as I knew it, 1885-1925, by Sir Michael O'Dwyer, принадлежащую перу англичанина, прошедшего по всем ступеням административной карьеры в кадрах знаменитой Indian Civil Service, и закончившего ее на посту Ген. Губернатора Пенджаба*) в момент вспыхнувших там кровавых событий 1919 года. Эта книга нам показалась характерной и интересной по цельности представляемого ею мировоззрения и насыщенности ее фактическим жизненным материалом. Основная мысль автора, являющаяся программой «Старой Гвардии» отходящего в прошлое поколение англо-индийского чиновничества, весьма проста: реформы преждевременны для Индии, которая нуждается еще в подготовке масс прежде чем осуществлять представительный образ правления. Индийские политиканы, — попугаи — являются сравнительно ничтожной кучкой вредных болтунов. Народ политикой заниматься не желает, английское управление во многом для него благодетельно. Все симпатии автора на стороне индийских деревенских масс и воинственной части населения, — орлов, — противопоставляемых попугаям. Уйди из Индии Англия, как сразу же обострится не только социальная борьба кастового характера, но *орлы* не захотят подчиняться *попугаям* и народности Индии вступят в общую свалку. Автор жестоко критикует теперешнюю английскую политику в Индии и является сторонником крутых мер. Последнее им, впрочем, применено было в жизни во время пенджабских волнений 1919 г. Значительная часть книги посвящена как раз оправданию жестокого подавления восстания и защите действий генерала Дайера, приобретшего столь зловещую известность расстрелами безоружной толпы в Амритсаре. Кто бывал на выступлениях в Париже в 1921 г. братьев Али, руководителей Халифатского Комитета в Ин-

*) Т. е. «Пятиречие», провинция С. В. Индии, по Индусу и Сеттледжу с притоками.

дии, клеймивших антимусульманскую политику Г. Дайера, помнит игру слов основанную на значении фамилии этого генерала *(дайер значит красильщик*, намек на кровь пролитую в Амритсаре). Подробно останавливается автор поэтому на своем процессе с членом Индийского Правительства, Сэром Санкаран Наир, написавшим книгу, осуждающую ненужную жестокость мер, принятых в Пенджабе. Мы не можем, конечно, останавливаться на всех этих частностях и личных счетах, так как обозреваем положение в Индии с более общей точки зрения. Но книга имеет в этой именно своей специфической части несомненный интерес как документ переходной эпохи переживаемой теперь Индией. Старая точка зрения о благодетельной и попечительной английской власти осуждена. Английское общественное мнение, за ним парламент, ищут новые решения. В этом отношении отчет Independent Labour Party, озаглавленный India to day, является полной противоположностью только-что названного мнения О'Дуайера, признавая за Индией право на самоопределение (в рамках Империи, т. е. сравнивая ее в правах с остальными доминионами. Если этими двумя крайними точками — английское попечительство над Индией, ее способом управляться, или равноправие с самоуправляющимися частями британской «Лиги Наций» — определяется амплитуда государственной английской мысли, то в брошюре индуса-коммуниста Манабендра Нат Рой «Чего мы желаем», мы имеем дело с требованием полной самостоятельности, формулированным по поверхностному шаблону III Интернационала и производящим тяжелое впечатление примитивностью этой шаблонизированной логики, которая всюду оперирует над каким-то обескровленным и обездушенным материалом, где живая жизнь выжата в столбцы цифр и где мысль загнана в какие-то геометрические построения. Прибегая к другому сравнению, скажем, что во всех этих не трогающих ни ума, ни сердца писаниях, носящих безталанную и мертвящую печать III Интернационала, даже правильная, человечная, иногда, в основе своей, мысль звучит не убедительно, режет ухо как красивая мелодия, которую играют на заведомо фальшивом, *в силу неправильной своей конструкции*, инструменте. Фальшь эта ощущается, верим мы, еще лучше в самой Индии, имеющей такое тонкое эстетическое чувство. — Заимствуем однако у Норио (с. с. 162-165) некоторые указания на роль большевизма в Индии. Он получил их из уст одного военного. Туземцы, по его словам, отрицают всякую связь с большевизмом, ссылаясь на неприменимость его доктрины. Администрация, наоборот, все зло в Индии приписывает большевизму, отсылая для вящей убедительности к процессу в Каунпоре, пролившему яркий свет на связь между большевиками и индийскими террористами. Приводимая Норио военная точка зрения нам давно знакома: охрана подступов к Индии, понимаемая весьма распространительно. «Афганистан, Бухара, Персия: все это нас касается непосредственно». Все большевицкие консула в Азии — агенты пропаганды. Деньги и оружие доставляются в Индию. Если в Калькутте, Бомбее наблюдение не трудно, на северной и северо-вост. границе оно не возможно. «Это не русские ее переходят, а жители Средней Азии, на службе у Москвы. Они пересекают Афганистан с караванами и проникают к нам когда им заблагорассудится. Иногда для пересылки денег, прокламаций, инструкций прибегают к двум членам одной семьи, живущим по обе стороны границы, частые сношения между которыми не привлекают внимания. Впрочем полиция организована англичанами не хуже чем пропаганда большевиками. «Вряд ли последнее сло-

во останется за ними». — Нэрно проверил эти заявления при пребывании на севере, в Лагоре, Кохате, Пешавере. По его мнению пропаганда большевицких агентов прибегает к аргументам порядка сентиментального и интеллектуального. Указывается на черты общие русской и индийской душе и на неприемлемые обеими некоторые формы Западной цивилизации. Нэрно подчеркивает: «Эти, весьма реальные черты сходства, не ускользнули от внимания Гр. Кайзерлинга, который при виде набожных богомольцев на берегу Ганга думал о паломниках в Св. Сергиевской Лавре и писал: — во многих отношениях русская душа бьется в унисон с древней душой Индии: оба народа имеют по существу то же отношение к Богу и Природе».

Кроме этой аргументации употребляются; и соображения экономические: и Индия, и Россия являются жертвами капитализма. Тут Нэрно отсылает к сочинениям Трояновского, Восток и Революция, Индия Индусам, Москва, 1918 г.; Павловича и Ванина — Советская Россия и капиталистическая Англия, Факты и впечатления в Индии после войны, Москва 1922. Французский публицист под всей этой аргументацией, играющей на чувствах и человеколюбии, видит «весьма ловкую и методическую политическую и империалистическую работу». На вопросы, обращаемые им к индийским националистам о разнице, которую они проводят между английским и московским игом, те никогда не умели ему дать ответа.

Вероятно, как все восточные люди, они надеются, догадывается Нэрно, воспользоваться одними, чтобы прогнать других, а затем торжествовать над обоими.

* * *

Посмотрим теперь что можно извлечь изъ фактическаго материала у О'Дуайэра.

Прежде всего отметим у него тот важный факт, что английская университетская молодежь все менее стремится служить в Индии. Если в восьмидесятых годах пять, шесть десятков кандидатов готовилось к этой служебной карьере, доступ к которой открывался через довольно строгий конкурс, то в настоящее время в Англии набирается с трудом 10-11 чел., из которых трое англичан, остальные индусы, в числе же этих англичан только два оксфордца. Какой упадок для этого питомника высших чинов англоиндийской администрации. «Стальная рама» (по определению Л. Джорджа) английской администрации в Индии изогнута, избита и внушает опасения в ее прочности. Это дезертирство послужило предметом исследования особой комиссии в 1924 г., указавшей на необходимость срочных мероприятий, если Англия желает сохранить за собой в Индии хотя бы гражданский и полицейский аппарат. Остальные отделы управления — лесное ведомство, общественные работы, медицина, земледелие, образование — обречены на неминуемую «провинциализацию», т. е. перейдут на пополнение их индусами.

Как раз к моменту приезда автора в Индию, там впервые собрался в Бомбее в декабре 1885 Национальный Конгресс, которому суждено было потом сыграть существенную роль в освободительном движении Индии. Собралось меньше 100 делегатов, в том числе только 2 мусульманина. Инициатива созыва принадлежала небольшой, но постепенно растущей группе лиц, получивших английское образование под влиянием «злополучного» Ильберт Билля, предоставившего индусам — судьям право судить дела, в которых европейцы являлись ответчиками.

О'Дуайэр особенно настаивает на том обстоятельстве, что переходу земель в Пенджабе, за долги мусульман-крестьян к их кредиторам-индусам был положен предел законом 1900 г. при лорде Керзоне (Punjab Alienation of Land Act). Город-

ские, образованные индусы сопротивлялись проведению этого закона и в печати, и в законодательном совете. Этот средний класс индусской буржуазии, который теперь господствует в индийской политике, никогда не мог простить английскому правительству этой меры, помешавшей его усилению и укрепленной затем кооперативным движением крестьянства. У французского наблюдателя Индии, Нарно, мы читаем, однако, что, по словам Даса (лидера свараджистов), политические вожди Индии прилагают усилия для улучшения положения крестьян и организации этого класса, являющегося социальной базой страны.

Уменьшение преступности; развитие образования; замечательный план орошения и поселения, который за время О'Дуайера увеличил в Пенджабе орошенную площадь с 2 до 12 миллионов акров и утроил земледельческий капитал; разверстка поземельного дохода на справедливом основании — всем этим широкие массы деревенского населения обязаны также Англии. Автор подробно и с большим увлечением описывает работу во время первых лет своей карьеры по землеустройству и разверстке налога. Непосредственное общение с крестьянами, с которыми приходилось изо дня в день иметь дело 6-8 мес. в году, оставило у него наилучшие воспоминания. Он отмечает, что чем меньше вносилось юридической строгости, формальности, тем быстрее разрешались иногда сложные споры. Индус-крестьянин теряющийся в обстановке суда и заведомо иногда лгущий, никогда почти не солжет перед односельчанами, на деревенской площади. Путем такого упрощенного делопроизводства автору удалось за свою пятилетнюю кампанию разрешить около 40 тысяч дел (наследство, раздел, залог, межа и т. п.). Что касается налоговой разверстки на общую сумму 100.000 ф. ст., то только 52 решения было обжаловано. Разверстка эта введенная впервые в Индии Акбаром, императором монгольской династии, восходит по мнению автора, до Юлия Цезар через Византию, Сассанидску Персию. До водворения английской власти в Индии положение крестьянства было очен тяжелым, откуда приводима автором пословица почти аналогичная нашей — «до Бога высоко». Сравнение освещения земельного вопроса, даваемого О'Дуайером, с данными доклада Labou Party заставляет думать, однако что наш автор склонен идеализировать благодетельность английской администрации. Верно, повидимому, что положени крестьянства, лучше в провинциях под английским управлением, чем в туземных владениях Тут не место останавливаться н подробностях, но доклад устанавливает такие факты, как существование безземельного пролетариата (около 40 миллионов душ), крайнюю задолженность крестьянства (в том ж Пенджабе только 17 проц. свободно от долгов и из 25 миллионов населения там 40 тысяч ростовщиков) и все больше дробление хозяйств. Нищета, невежество и растущая смертность — такова печальная общая картин деревни в Индии. Что это н один политический прием подгоняющий факты к заранее поставленному принципу, мы знаем из того, что само английско правительство решило серьезн исследовать вопрос, для чего пр. году назначена была особа аграрная комиссия, еще н закончившая своих работ.

***

Интересны данные приводимые автором о панисламско движении и мусульманских заговорах в Индии. Не нужн забывать, что если у нас в России мусульманство является заметной частью населения и играет роль не только в наши пределах но и вне их, то индийское мусульманство обладае весьма крупным удельным ве

сом в мире ислама. Работа индийской мусульманской мысли не может не интересовать нас.

Под влияние панисламской пропаганды Султана Абдул Хамида подпали в Индии исключительно мусульмане-горожане. Позиция, занятая Англией в итало-турецкой и балканских войнах, вызвала в этих кругах известное озлобление. Англия заняла враждебную Исламу позицию по их мнению. Эти идеи развивались в газете *Заминдар*, издававшейся неким Зафар Али Ханом, который в 1912 г. открыл подписку в пользу турецкого красного полумесяца и отвозил сам в Константинополь собранные им суммы. В начале 1914 г. турецкий ген. консул приехал в Лагор с подарком от Султана, ковром в мечеть Падишахи. В Дели панисламским движением руководили братья Али, один из которых, окончивший курс в Оксфорде, издавал газету The Comrade (Hamdard на орду). Когда началась война с Турцией, панисламски настроенные мусульмане не скрывали своих симпатий, но большинство пенджабских мусульман стали на лояльную в отношении англичан точку зрения. Всего в Пенджабе было набрано в войска 180.000 мусульман. — В декабре 1914 г. в г. Рауаль Пинди состоялся Мусульманский С'езд по Образованию. Попытки пропаганды со стороны братьев Али, Абу Калям Азада (бенгальского деятеля) и др., не имели успеха на самом с'езде, но повидимому в связи с ним стоит исчезновение в феврале 1915 года пятнадцати мусульман-студентов из Лагора, а также нескольких других из Пешавера и Кохата. В Кабуле они встретились с двумя президентами «Временного Индийского Правительства», Махэндра Пертабом и Беркетуллой, сотрудничавшими с Германией. Первый из них, богатый помещик, в начале войны выехал в Европу, попал под влияние индийского революционера Хар Дайяля (о нем ниже), был представлен Вильгельму, от которого и получил миссию в Кабул вместе с Беркетуллой, куда и прибыл в составе целой германотурецкой экспедиции, один из участников и руководителей которой (Нидермайер) написал о своих приключениях весьма увлекательную книжку. — Что касается упомянутых студентов, то некоторые из них умерли в Кабуле, другие были посланы с ответственными поручениями в Ср. Азию, Японию и Персию, а также приняли участие в заговоре, известном под именем «Письмо на Шелке», первые сведения о котором англичане получили в Августе 1916 г. Согласно этому плану, разработанному в Кабуле, Турки, Арабы с Шерифом Мекки, Афганцы и индийские мусульмане имели об'единиться против англичан. Атака должна была быть начата пограничными племенами вдоль афганской границы и поддержана общемусульманским восстанием в Индии. Надеялись также, что индусы и Сикхи*) присоединятся к движению. Деятельность заговорщиков развивалась успешно в Индии, Ср. Азии, Геджасе и Месопотамии. Сношения велись через эмиссаров секретным путем. Одно из писем написанных на шелковой подкладке костюма одного из эмиссаров попало в руки англичан. Оно предназначалось одному из влиятельнейших мусульманских ду-

*) Возникновение этой религии, насчитывающей в Индии более 3 миллионов последователей, из них $2^1/_4$ в Пенджаде, относится к XVI в. и объясняется ии дуистической реакцией против Ислама. Основатель секты, Нанак, умер в 1539 г. Секта имела своеобразную военную организацию, Хальса, успешно противостоявшую мусульманским правителям Дели. Она была покорена англичанами в начале XIX в. при Ранджит Синге. «Акали» упоминаемые теперь довольно часто в прессе являются реформаторским течением у Сикхов.

ховных лиц, в нем были сведения о деятельности германо-турецкой миссии и «Временного Правительства» — в Кабуле. Предлагался план действий для вербовки сил для Священной Войны. О'Дуайер рассказывает, между прочим, что «Временное Правительство» послало в 1916 г. письмо из Кабула, подписанное Махендра Пертабом, Ташкентскому Ген. Губернатору и даже Царю (гравированное на золотой пластинке), приглашавшее к вторжению в Индию. Императорское Правительство оставило это предложение без последствий. Большевики, говорит О'Д., не упустили возможности «вонзить нож в спину» Англии. Напомним здесь читателю, что в № 1 «Востока» нами разобрана была книга английского Ген. Консула в Кашгаре, из которой видно какие меры принимались для охраны Индии от большевистской пропаганды. Впрочем еще до большевистской опасности Германское Правительство отправило, при помощи «индийских изменников», написанные на безупречном урду (одно из широко распространенных наречий в Индии) роскошно переплетенные письма, подписанные Имперским Канцлером фон Бетман-Гольвегом, главным индийским принцам, обещая им золотые горы, если он свергнут английское иго. Документы эти были захвачены англичанами при аресте германской миссии в Сев. Персии.

Столь тревожащее теперь европейскую дипломатию «пробуждение Азии», помимо ряда чисто объективных причин, не есть ли в сильной степени дело рук этой же дипломатии во время войны, когда воюющие стороны соперничали друг с другом в Азии, не жалея никаких чисто-демагогических обещаний, лишь бы склонить на свою сторону азиатов? Некоторые нарекания, а также призывы к общему фронту, равно как наивное желание придавать большевикому влиянию в Азии чуть ли не решающее значение могут поэтому вызывать лишь улыбку у тех, кто смотрит на положение вещей по существу. — Возвращаясь к «письму на шелке» укажем, что его адресат, влиятельнейший «маульви» (мусульм. дух. лицо) вошел в Мекке в сношения с Турецким Генералом Галиб Пашой, от которого получил воззвание к Священной Войне (Джихад) для индийских мусульман. Воззвание это, под названием *галибнаме* (т. е. послание Галиба), получило широкое распространение. Наряду с практически осуществимыми частями план заговора впадал и в фантастику, когда, например, главный штаб движения помещался в Медине, а указанный выше «маульви» назначался ..... главнокомандующим и т. д. Благодаря открытию заговора англичане приняли меры, был произведен арест около десятка лиц, известных своими симпатиями к туркам, но главным поводом, лишившим шансов на успех панисламское движение в Индии, был весьма ловкий «ход» английских агентов, вернее главного инициатора «панарабизма» полк. Лауренса, сумевшего вызвать в июне 1916 г. восстание шерифа Мекки против Турции. Но это, как говорит Киплинг, уже другая история, изучение которой обязательно, однако, если мы хотим понять сегодняшнюю обстановку в Передней Азии. Книга Лауренса, вышедшая сначала по подписке для ограниченного круга лиц, недавно появилась в общедоступном издании.

По мнению О'Дуайера мусульманское движение в Индии, до и во время войны, за исключением Кабула, где был контакт между индусами и мусульманами, есть нечто совершенно отличное от одновременного революционного движения Индусов и Сикхов. Среди сотен лиц, арестованных и осужденных в связи с последним, было не больше одного-двух мусульман. Нет связи также между мусульманами и террористами действующими теперь в Бенгалии. —

Гораздо подробнее, чем на

анисламском движении, О'Д. станавливается на противуанглийских заговорах, исходивших из кругов Индусов и Сикхов. Первой серьезной вспышкой были безпорядки в Пенджаба, вызванные обществом *Ария амадж* в 1907 г., быстро впрочем прекращенные высылкой ождей движения, Ладжапат ай и Аджит Синг. Это общество, основанное в 80 г. г., поставило себе целью религиозную социальную реформу, имело орошо выработанную организацию, свои школы и органы печати. Его вожди отрицали ответственность общества за безпорядки 1907 г., но английские асти не доверяли им. В освещении нашего автора, *Ария амадж* является националистическим возрождением, отрицающим западное влияние. го доктрина изложена в книге *атиярт Паркаш*, написанной еким Дайя Нандом, который ризывает вернуться к ведийскому идеалу и искать светлое будущее в светлом (воображаемом, одчеркивает О'Д.) прошлом рийства. В этом же сочинении азвита аргументация против ужеземного правительства и дин из главных органов печати рия Самадж утверждал даже, то этому движению обязана своим происхождением *вариэжсия* торонников независимой Индии. Іеры, принятые в 1907 г., не рекратили пропаганды. Ладжаат Рай через посредство профессора в Лагорском колледже рия Самадж, Бхаи Парма Ганда, бывшего в Европе, получил деньги и книги от некоего Кришна Варма, видного деятеля лондонского India House Управление Верховного комиссара по делам Индии). Бхай Парма Нанд был позже, в 1915 г. осужден на смерть, но помилован, за участие в одном из восстаний. Что касается второго ожака движения, Сикха Аджит инга, то в 1909 г. он скрылся з Индии и через Персию пробрался в Париж, Женеву, отуда, в начале войны, переехал Рио-Жанейро, где и установил тесную связь с революционной партией *Гадр*, имевшей свою штаб-квартиру в Сан-Франциско. Эта партия обязана своим возникновением «самой мрачной фигуре революционного движения», Хар Дайялю. Уроженец Дели, Хар Дайяль отличился своими школьным успехами в Дели, где его учителем был Амир Чанд, и Лагоре. В 1905 г., как стипендиат Правительства он отправляется в Оксфорд. Но в 1907 он бросает университет и посвящает «свои несомненный талант» революционной работе. Вернувшись в 1908 г. в Лагор, он, вместе с Ладжапат Райем, организует среди молодежи группу, которой проповедует пассивное сопротивление и бойкот, предвосхищая идею Ганди на десять лет. После новой поездки в Европу (Лондон, Париж, Женева) он в 1910 г. возвращается в Индию. В Женеве он издавал революционный орган *Бенде Матарам*, а в Париже был вместе с Кришна Вармой, бежавшим туда после убийства в Лондоне Сэра Керзон Уилли пенджабцем-студентом Дингра. Прибыв в Соединенные Штаты в начале 1911 г., Хар Дайяль поселился в Калифорнии и посвятил себя пропаганде среди индийских эмигрантов, гл. обр. Сикхов, несколько тысяч которых находилось тогда вдоль тихоокеанского побережия, от Ванкувера до С. Франциско. — Х. Дайяль приписывал своему влиянию покушение на В. Короля, Лорда Гардинга. Он призывал к избавлению Индии от «британского вампира» и в 1913 г. начал издавать свой орган *Гадр*, содержавший открытые призывы к убийству и восстанию. Его помощниками явились Рам Чандра и Беркетулла. Последний, уроженец Бопала, был ярым проповедником антианглийского панисламизма. В 1909 г. он был профессором в университете в Токио, где издавал газету Islamic Fraternity. В 1911 г. он посетил Каир, Константинополь и Петербург. По возвращении в Токио, тон

его газеты стал настолько антибританским, что Японское Правительство закрыло ее в 1912 г. Лишившись в 1914 г. своей кафедры в Токио, он переехал в Америку, где и примкнул к движению, группировавшемуся около *Гадр*. Этот орган в переводе на различные индийские наречия свободно обращался в Америке и контрабандным путем проникал в Индию накануне войны. В 1914 г., в марте, Х. Дайяль был арестован для высылки, как «нежелательный иностранец». Выпущенный на поруки, он вместе с Беркетуллой скрылся в Швейцарию, оставив Рам Чандру для продолжения издания *Гадр* и пропаганды среди Сикхов. Связь Х. Дайяля с Германией кажется очевидной. На одном митинге 31 дек. 1913 г. он **заявил, что Германия готовится** к войне с Англией и что нужно быть наготове ехать в Индию, где предстоит революция. На самом деле, замечает наш автор, семь **месяцев спустя после начала войны** в Индии вспыхнуло серьезное революционное движение Сикхов.

Для нас в данном случае **интересно констатировать** насколько хорошо были осведомлены в Германии о всех революционных движениях и насколько ясно возможное их входило в планы генерального штаба. (См. книгу Бернгарди о будущей войне и Германии, изд. в 1911 г.). Новая тактика гражданской войны, о которой так много говорится теперь при изучении **красной армии**, быть может не так уж *нова* и генезис ея может быть прослежен (как генезис и многого другого с коммунизмом связанного?) в военное время. Не следует также думать, что в настоящее время Берлин перестал быть, во многих отношениях, тем центром, деятельность которого мы, желающие дать себе ясный отчет в факте «пробуждения Азии», могли бы игнорировать.

Итак, к началу войны мы видим двух главных индийских заговорщиков, Хар Дайяля и Беркетуллу в Берлине. Вместе с бенгальцем Чакрабарти и Чаттопадайя и мадрасцем Пилляи и др. революционерами-индусами они входят в индийскую секцию генерального штаба, а также являются лидерами «Индийского Революционного Общества». Вот в каких чертах обрисовывается деятельность этого общества английским следственным материалом (после восстаний в Индии). «Это общество, целью которого было учреждение республики в Индии, устраивало постоянные заседания, посещавшиеся Турками, Египтянами, немецкими чиновниками и, что заслуживает больше всего быть отмеченным, немецкими экс-профессорами и экс-миссионерами, которые в свое время пользовались гостеприимством английского правительства в Индии. Хар Дайяль и Чаттопадайя находились в ежедневных сношениях с Министерством Иностр. Дел. Для осуществления революции в Индии имелось Ориенталистическое Бюро для перевода и распространения зажигательной литературы среди индийских военнопленных в Германии (иначе одинаково разве не то же делалось с украинцами? Эту литературу можно изучить в Музее Войны в Венсен). Зажигательные письма, скреплявшиеся Германским Правительством и адресованные индийским принцам, переводились и печатались; устраивались заседания, на которых развивались общие цели Германии и Индии и которые председательствовались иногда высокопоставленными немецкими чиновниками. — «Как должны были себя чувствовать в этой атмосфере индийские революционеры с их чрезмерным тщеславием, врожденной способностью к интригам, суесловием!» восклицает О'Дуайэр.

Как было уже указано выше, Махэндра Пэртаб присоединился к этому обществу и, так обр., в первые годы войны центр индийского антианглийского движения сосредоточивается в Берлине и возглавляется Хар

Дайялем. Он связан со своими отделами в Лагоре, Дели, Калькутте, через сообщниковъ в Пенджабе и Бенгалии, в Канаде и Соед. Штат., через организацию *Гадр*, на Д. Востоке, через Беркетуллу и др., в Кабуле, наконец, с. М. Пэртабом и Беркетуллой.

Мы не можем утомлять внимание читателя изложением того, как, в начале войны, английская власть в Индии была серьезно встревожена революционным движением, подготовленным разобранной нами выше организацией, использовавшей в своих видах возвращавшихся в Индию из Америки сотни и тысячи распропагандированных там Сикхов. Движение должно было охватить не только Пенджаб, где оно и имело место, но также и Бирманию, где почти не осталось войск кроме милиции из тех же Сикхов. Главное руководство принадлежало Германскому Ген. Консулу в Шанхае. Оружие доставлялось через Батавию и Сиям.

* * *

Английские власти справляются с этими революционными вспышками в начале войны. Индия отчасти под влиянием обещаний и в уверенности, что она сражается за улучшение и своего положения, лойяльно помогает своей метрополии и людьми и средствами (данные о наборах в Пенджабе см. у О. Д.). Горючий материал не перестает, однако, тлеть и тотчас почти по окончании войны подымается новая волна восстаний. Этим нам и нужно теперь заняться.

* * *

Поворотным моментом новейшей истории Индии следует считать заявление в Палате Общин Статс-Секретаря по делам Индии, Эдвина Монтэгю, 20 августа 1917 г.

«Политика правительства Его Величества, всецело принимаемая правительством Индии, стремится привлекать индусов все более и более ко всем отраслям Правления и постепенно развивать автономные учреждения, дабы последовательно учредить ответственное правительство в Индии, рассматриваемой как неот'емлемая часть Британской Империи».

Далее говорится, что английское и индийское правительства, на которых лежит ответственность за благосостояние и развитие народов Индии, явятся судьями в выборе подходящего момента в постепенном осуществлении реформ. Эта часть декларации вызвала ожесточеньую критику индийских политиков.

После поездки Монтэгю в Индию в апреле 1918 г. был опубликован рапорт Монтэгю-Челмсфорд, в котором были слиты в одно проекты Ст. Секретаря и Вице-Короля. Авторы этого документа, запоздавшего по мнению Нэрно на два года, писали, что повод к реформам заключается в ощущаемой ими «вере». Время попечительства в Индии прошло. «Покорная и жалкая удовлетворенность» масс не может быть почвой, на которой вырастет индийская нация. «Сознательно нарушая» эту удовлетворенность мы работаем для блага Индии.

Конституция Индии вошла в силу законом 1919 г. (Акт о Правительстве Индии). В 1920 г. начали впервые действовать новые выборные законодательные советы. Схема управления Индией такова.

Ген. Губ. Индии, именуемый обычно Вице-Королем, назначается Короной по выбору английского правительства. Высшая власть в Индии принадлежит Ген. Губернатору с его Советом. Последний, в числе 6 членов (7 с главнокомандующим) также назначается Короной. Ген. Губернатор с Советом действует по инструкциям Ст. Секр. по делам Индии, члена английского Правительства, ответственного перед английским парламентом.

Высшими законодательными учреждениями в Индии яв-

ляются Государственный Совет и Законодательное Собрание. Из 240 миллионов населения выборное право принадлежит 5 миллионам. Гос. Совет, роль которого приближается к роли Сената в двухпалатной системе, насчитывает 60 чл., из них около половины по назначению. Законодательное Собрание имеет 140 членов, из которых [illegible] по выборам, остальные по назначению. Кроме этих 2 палат имеется еще Палата Принцев с совещательным голосом, собирающаяся раз в год под председательством В. Короля и состоящая из Принцев туземных, самоуправляющихся владений. В ней обсуждаются вопросы отношений этих владений между собой и с территориями, управляемыми английской администрацией. Законодательная власть упомянутых выше палат ограничена: [illegible] [illegible] Законод. Собранием [illegible] может быть [illegible] В. Королем в [illegible] Государственный Совет, [illegible] Законод. Собранием, может [illegible] отбросить мероприятие Законод. Собрания.

Наряду с названными законодательными учреждениями в каждой провинции, число которых 9 — Бенгалия, Мадрас, Соединенные Пров., Бомбей, Бихар и Орисса, Пенджаб, Центр. Провинции и Ассам — местное законодательство осуществляется провинциальными советами, в которых 70 проц. членов по выбору (из них не больше 20 проц. чиновников). Избирательная база и тут очень узка: около 3 проц. населения имеет право голоса. Компетенция законодательных учреждений основана на принципе *диархии*, раздвоения. Вопросы, касающиеся всей Индии, напр., силы морские и сухопутные, авиация, международные сношения, сношения с туземными владениями, жел. дороги, почта и телеграф, подоходный налог, кадастр и т. д. зависят непосредственно от правительства И дии, тогда как местные вопрос провинциального управлени народное просвещение, поземел ный налог, правосудие, (у ловное судопроизводство в р ках англичан) и т. д. входят компетенцию губернаторов с с ветом, в выше названных гу бернаторских провинциях. С трудниками губернатора являю ся исполнительные советни и министры. Первые назначают Ст. Секретарем из Лондона и ведают т. наз. «забронированными» (reserved) делами: правосуд полиция, налоги, финансы, са (кроме Бомбея) и орошени Министры являются выбранн ми по парламентскому принци среди членов Закон. Совета и занимаются «перенесенными» (transferred) делами: местн управлением, образованием (ч части), промышленностью, гигиеной, акцизом (кроме Ассам земледелием, рыбными промы лами и кооперацией. Впроч даже в отношении «перенесе ных» дел парламентский ко роль мало действителен, преж всего потому, что «заброниро ванные» дела имеют преимущ ство в отношении денежн ресурсов. Затем в обеих ка гориях дел, безразлично, то ринами министров или сове ников являются чины англи ской гражданской службы в И дии, которые пользуются в можностью сноситься с губе натором помимо министров. В конец, министры не имеют н какой власти в отношении по чиненных им опять таки англи ских чиновников. Ниже мы ве немся еще к недостаткам диарх тут отметим только еще относ тельно этой сложной систе управления, что на первой в борной ступени, в община применены вероисповедные к рии, обострившие особенно и дусско-мусульманскую роз выражающуюся зачастую в к вавых столкновениях. —

Описанная нами в общих че тах реформа не удовлетвори Индии. В 1919 г. вспыхнули бе порядки, о которых подроб

говорятся в сочинении О'Дуайэра и которые были вызваны применением по окончании войны исключительных законов, основанных на Акте Защиты Индии, действовавшем во время войны и весьма непопулярном. Передовая часть индийского общества не могла примириться с подобными действиями Вице-Короля, после всех жертв понесенных Индией в деле ведения войны: мобилизация 1.500.000 строевыхъ и нестроевыхъ чинов; 130 миллионов ф. ст. Home Rule League, основанная в 1919 г. А. Безант; несколько недель спустя воззвание 19 членов всеиндийского законодательного совета о немедленных реформах; соглашение в дек. 1916 г. Национ. Конгреса и Мусульманской Лиги об общей программе, включающей и поддержку пропаганды Home Rule'a — все это под влиянием вильсоновских принципов и уверенности в поддержке со стороны значительной части английских политиков способствует росту движения. Кроме того Севрский мир и вся политика Лойд Джорджа в отношении Турции вызвала возмущение весьма активной мусульманской части населения, образовавшей во главе с упомянутыми уже братьями Али (Шевкет и Мохаммед) Комитет Халифата, поведший энергичную антианглийскую пропаганду в Индии и за ея пределами. В начале Сентября 1920 г. в Калькутте на особой сессии Индийского Национального Конгресса была провозглашена политика отказа от сотрудничества (non-cooperation) с англичанами. Путем этого отказа предполагалось заставить Правительство отменить исключительные законы, изменить политику в отношении Турции, и, наконец, ввести действительное самоуправление — *свараджс*. Программа действия обнимала следующие пункты: 1) отказ от всех титулов, знаков отличия и должностей занимаемых по назначению в местных учреждениях; 2) отказ от участия в приемах и «выходах» (*дурбар*'ах) губернатора; 3) удаление детей из правительственных школ и университетов и устройство национальных школ; 4) бойкот английских судов и устройство для решения дел арбитражных комиссий; 5) солдатам, писарям, рабочим — отказ от отправки в Мессопотамию; 6) не выставление кандидатур в Советы; воздержание от голосования; 7) бойкот всех заграничных товаров.

Эта программа стала осуществляться с особенным энтузиазмом школьной молодежью. Было открыто много национальных школ. Сотни адвокатов, во главе их Дас и Пандит Мотилаль Неру, отказались от своей практики и занялись организацией арбитража. Наряду с указанным планом началась пропаганда против кастовой нетерпимости и за возрождение кустарного ткачества. Со всем этим движением отказа от сотрудничания, которое должно было протекать в мирных формах, без какого бы то ни было насилия, связано имя Ганди, в глазах своих соотечественников являющегося чем-то большие политического деятеля, почти святым. Движение разрасталось. Членами конгресса записалось от 4 до 5 миллионов; 10 миллионов рупий поступило по подписке в фонд; около миллиона прялок было пущено в ход. — 8 июля 1921 г. в Карачи мусульмане об'являют под запретом военную службу. В этом смысле издается религиозное предписание . *фетва*, выработанное 500 *мульви* (проповедник). Положение обострилось к моменту приезда в Индию наследного принца, высадившегося 17 ноября 1921 г. в Бомбее. В этот день Ганди держал речь перед многотысячной толпой и зажег огромную кипу ввозных тканей и одеяния. Во многих местностях вспыхнули безпорядки, войска стреляли. Ганди об'явил трехдневный пост в знак отвращения перед насилием к которому прибегнули его последователи . Правительство об'явило незаконными добровольческие организации конгресса питавшие

агитацию. Тогда несколько видных вожаков *сварадэкия* умышленно вступили в указанные организации, чтобы быть арестованными. Их примеру последовало около 25.000 мужчин и женщин. Конгресс 1921 г. собрался в Ахмед-Абаде в этот критический момент, когда его председатель Дас, находился в тюрьме. Были предложены крайние меры, гражданское неповиновение, отказ платить налоги. Индийское выборгское воззвание. В этой сгущенной атмосфере следовало ожидать разряда. Он произошел в Чаури Чаури (Соедин. Провинции), где, под водительством лиц не входивших в движение, восставшее население перебило жандармов. Тогда Ганди приказал остановить движение, заявил, что для осуществления программы ему необходима атмосфера покоя и что страна не созрела для гражданского неповиновения. Вскоре (10.3.1922) он был арестован, обвинен в восстании и приговорен к 6 г. тюрьмы. Движение возглавлявшееся им замерло, но оно заслуживает нашего самого внимательного отношения не столько может быть в аспекте протеста Индии против английского владычества, в плоскости чисто политической, сколько как весьма своеобразное явление с оттенком непротивленчества, в котором отразился особый художественный и душевный склад Индии. Недавно в Париже одна женщина-адвокат посвятила свою восторженную лекцию теме о Ганди. Политика идеализма в XX веке. Образ М. Ганди должен иметь особое обаяние в глазах Запада, забывшего о возможности святости.

* * *

Переходя к судьбам реформы следует указать, что многие индусы отказались от участия в выборной кампании 1919-1920 г.г., так что в Советы прошли одни лишь умеренные, т. наз. либералы, среди которых было не мало весьма талантливых личностей, но которые не имели влияния ни среди интеллигенции, ни в массах. Первое трехлетие существования диархии встретило единодушное осуждение этой системы. Как прием воспитания в парламентском методе диархия нарушала прежде всего принцип солидарности министерства, расколотого на двое, причем губернаторы не пытались созывать обе половины для совместного обсуждения. В отношении исполнительных функций система страдала неясностью их разграничения; сплошь и рядом дела пересылались из одного отдела в другой и обратно «перебрасывание мячем». Английские чиновники зачастую проявляли весьма мало рвения в исполнении приказаний министров-индусов. Назначенная для расследования комиссия выработала рапорт, с двумя мнениями. Большинство находило, что диархия не является окончательным провалом и что до 1929, когда должна собраться предусмотренная законом королевская комиссия, ничего в конституции менять не следует. По мнению же меньшинства, подписанному четырьмя из наиболее даровитых индусов-либералов, конституция должна быть сохранена, но с оговоркой, что в нее автоматически будут вноситься поправки (ранее 1929) «дабы обеспечить устойчивость правительства и сотрудничество населения». В августе 1925 в Симле мнение большинства было принято Законодат. Собранием. Наряду с этими, с одной стороны Анна Безант с несколькими видными индусами-либералами выработала свой проект конституции «билль о республике» (Commonwealth), служащий предметом обсуждения передового английского общественного мнения. Labour Party в частности, находит, что ее недостатком является двухпалатная система; образовательный ценз требуется слишком высокий, университетский, равно как и имущественный; средний годовой доход в Индии очень дал

от нормы проекта, в 40 ф. стерл. «Конституция, основанная на подобных началах, обозначала бы долгий период классового правительства, за которым последовала бы ожесточенная классовая борьба».

Партии *сваражджия* и независимая внесли следующую поправку, принятую Законодат. Собранием 7 сент. 1925 г.: Ген. Губ. должен быть ответствен перед Законод. Собр.; Совет Ст. Секр. по делам Индии уничтожается; Ст. Секр. получает функции Ст. Секр. колоний; члены по назначению в Централы. и Провинц. Законодат. Собр. уничтожаются; избирательное право должно быть возможно шире; Центр. Законодат. Собрание должно быть ответственно по всем вопросам управления, за исключением военных, иностранных и политических (т. е. сношения с индийскими туземными владениями) и то на ограниченный срок; армия должна быть индианизована.

* * *

Так или иначе, но Национальный Конгресс после ожесточенной борьбы снял запрещение и *сваражджия* во главе с Дас'ом и М. Нэру приняли участие в выборной кампании 1923 г. Несмотря на полное поражение либералов, благодаря некоторым особенностям в распределении мест, *сваражджия* не получили нигде большинства, кроме Центр. Провинций. Их тактикой было — не принимать никаких мест в министерствах, не работать в комиссиях, голосовать всегда против правительства, особенно в бюджете. Они вступили в блок с новой партией независимых, причем последние оставляли, однако, за собой широкую свободу действий. Несколько месяцев спустя после выборов 1923, Ганди был освобожден из тюрьмы из-за состояния здоровья.. По совещании с ним Дас и Нэру опубликовали воззвание, в котором принцип их партии определен как «доверие ко всем формам деятельности, которые способствуют нормальному нарождению нации, сопротивление бюрократии виновной в преградах прогрессу нации по пути *сварадж'а*».

При помощи независимых *сваражджия* удалось в Бенгалии фактически уничтожить диархию, но в общем эта коалиция имела результатом ослабление их непримиримости. Так М. Нэру заседал в комиссии по протекционизму в металлургии, а теперь является членом комиссии по индианизации армии. Со стороны либералов наметилось также стремление к сближению, при условии, что *сваражджия* откажутся от обструкции, непринятия должностей по назначению от правительства и вычеркнут из своей программы угрозу неплатежа налогов. Не следует забывать, что Национальный Конгресс, в котором в последние годы взяли было верх крайние и непримиримо настроенные элементы, был 35 лет тому назад создан и развивался именно при помощи либералов, которые вышли из него не без борьбы только в момент реформ Монтэгю. Иначе говоря, цели у всех партий Индии во многом сходятся, разнятся методы достижения их. Выборная кампания 1926 дала, как известно значительное большинство сваражджия. В Индии нет партий в зап. европейском смысле, с заостренными программами, борьбой за их существование. Кое-кем высказываются опасения, что партийная борьба, деление могут совпасть с делениями кастовыми и религиозными. На самом деле многие лидеры, министры, являются по существу главарями конфессиональных групп. Было указано выше, что это явление определенно наблюдается в области общинного самоуправления вследствие выборов по вероисповедным куриям, начало чему положили требования мусульман, думавших так. обр. освободиться от засилия индусов, ростовщиков и

мелких базаров в Пенджабе, где основная земледельческая масса населения мусульманская. Мы тут видим совпадение религиозных, социально-экономических и политических моментов, один из многих примеров индийской сложности. Со времени своего освобождения в 1924 г. Ганди предпринял усилия для улаживания мусульмано-индусских отношений. Его четырехпунктная программа заключалась в: 1) [illegible] 3-х [illegible] работе для объединения индусов и мусульман; 2) [illegible] 3) [illegible] [illegible] *[illegible]* [illegible] 7 [illegible] [illegible] в Сингапуре [illegible] [illegible] Неот ставит целью этой своей республики [illegible] вдохнуть движение жизни в создание нового человека, одновременно духовного и материального, [illegible] социальными благами, но стремящегося к духовной свободе и конечному совершенству.

* * *

Действительность еще, конечно, очень далека от этого высокого идеала. Вот что мы читаем в социально-политической [illegible] Индии у О'Дуайера.

Идея общественного служения для поднятия уровня сограждан еще чужда индийскому уму, что следует приписать влиянию кастовой системы, в силу которой находящийся вне касты не имеет никакой личной ценности. Реформаторское движение *Арья Самадж*, пустившее глубокие корни среди образованных индусов, сознает этот недостаток социального строя и, по крайней мере декларативно, провозгласило отмену кастового начала, как одного из главных препятствий к политическому развитию, чуждого учению Вед в его начальной чистоте. Начатая в этом направлении деятельность вызвала, однако, [illegible] сопротивление у ортодоксальных индусов, тогда как мусульмане не допускают возвращения из Ислама [illegible] с браманизмом. Отсюда осложнение религиозной борьбы. Если О'Дуайер прав, то и Ганди сам очутился в двусмысленном положении в отношении кастового вопроса. Попытка *[illegible]* дать доступ в некоторые [illegible] [illegible] [illegible] ортодоксальных индусов, тогда же Ганди [illegible] [illegible] это вызывает [illegible] *Арья Самадж* [illegible] из [illegible] Нехру, с которой трудно было [illegible] англо-индийское [illegible], автор указывает [illegible] взяточничество, вошедшее в нравы. Много места посвящено автором описанию [illegible] английской власти в туземных княжествах, где ему также пришлось служить (Пенджаб, Центр. Провинции). Он считает, что после реформ 1920 г. туземные магараджи и т. п. расходуют больше, чем прежде, произволом в отношении их подданных.

Новые министры были главным образом адвокаты или новые журналисты, имеющие мало административного опыта и понимания действительных нужд населения; с незначительной поддержкой вне мелких политич

ских групп и неспособные или нежелавшие помогать правительству во все более трудной задаче поддержания общественного порядка.

Первой созидательной мерой индийской олигархии, политически активная часть населения противопоставляемая О'Дуайером массе, было принятие протекционного тарифа, который бьет кровью из бедного индийского потребителя, особенно деревенского, составляющего 90 проц. населения, в пользу нескольких тысяч фабрикантов и заводчиков. Но для патриота очень выгодна, если она дает возможность бойкотировать английские товары как сатанинские и продавать свой товар по какой угодно цене. Это может быть и объясняет почему бомбейские фабриканты пожертвовали около 50 лаков (лак — сто тысяч рупий) на движение Ганди.

«Ответственное правительство не имеет никакого смысла в представлении индийских народностей; подходящего выражения нет ни в одном из местных языков. Что же касается «самоуправляющихся учреждений», поскольку это вообще было понято массами, оно для них, что Англия устала управлять и устраняется от ответственности.— Реформа должна была быть провозглашена от имени императора. Народ в Индии, как везде на Востоке, не понимает власти безличного «правительства», но признает личность суверена.

«Цивилизаторская» миссия Англии в Индии выразилась в уничтожении обычая сожжения вдов, человеческих жертв, рабства, убийства детей женского пола, повышения брачного возраста до 12 лет, смягчения кастовой непримиримости.

Было непростительной ошибкой наших политиков, говорит О. Д., принять требования маленькой, миллиона в два, кучки политически мыслящих лиц, повторяющих западные демократические формулы, за взгляды массы остающихся 318 миллионов. Индийские политиканы стараются скрыть пропасть, отделяющую их программу от отсталого социального строя Индии, особенно в отношении низших каст, одно прикосновение к членам которых считается оскверняющим. Попытки социальных реформаторов, особенно в Южной Индии встречаются с яростным сопротивлением правоверных индусов, готовых пожертвовать скорее своею жизнью, чем кастовыми предрассудками. Если можно говорить о каком нибудь улучшении в этом вопросе, то оно объясняется английским влиянием. Прежде всего тут сыграл роль принцип равенства всех людей перед судом; далее личное отношение английских чиновников, видящих человека и в out-caste'е (т. е. исключенном из касты), принимающих от него личное прошение, тогда как брамины-чиновники этого не сделают; миссионерская работа среди этих жертв социального строя также должна быть упомянута.

Жестокая антиномия заключается в том, что брамины и другие образованные классы, наиболее настойчиво требующие демократических реформ, в то же время наиболее непримиримы в кастовом вопросе. По мнению О'Дуайера насчитывающие в Индии около 120 миллионов низшие касты и out-caste'ы знают, что с исчезновением английской власти их цепи были бы более чем когда-либо крепко склепаны браминами. Когда наследный принц совершил торжественный въезд в Дели в 1921 г., депутация от этих обездоленных загородила ему путь и умоляла не лишать их покровительства английской власти. Руководители свараджа видят (см. у Чирола) в этом покровительстве низшим кастам лишь прием управления.

Политические группировки в Индии весьма сложны и непримиримы между собой. Согласно одному индийскому органу

печати, цитируемому О'Двайэром: «...у нас сегодня есть лойялисты, кооператоры (в смысле согласия сотрудничать с англичанами), оппозиционисты, обструкционисты, свараджисты, унионисты не-кооператоры, крайние не-кооператоры и анархисты. Ничто ... не в состоянии заставить их стать на одну общую платформу. У наш эгоизм скрывается под маской лидерства, патриотизм стал уделом темных личностей и т. д.»

Со времени введения реформ Индия еще более безнадежно распалась по признакам расового, религиозного и политического антагонизмов. По словам самого Дяса, анархическое движение серьезнее, чем думает Правительство и если движение свараджиса потерпело-бы неудачу, то с анархией трудно будет справиться. Индусы опасаются засилья мусульман и обратно, если исчезнет умиротворяющее влияние Англии.

О'Двайэр считает, что индийское *общественное мнение*, о котором принято говорить, не существует. Нет даже и мнения Индусов, Мусульман, Сикхов по какому либудь вопросу общего политического или социального характера. Разногласие тут поразительное. Так среди Индусов резко разнятся мнения браминов и не-браминов, горожан и селян, грамотных и безграмотных, более или менее ортодоксальных и т. д. Среди самих браминов большая разница между ортодоксальными и неортодоксальными, получившими западное или индийское образование, склонными к социальным реформам и непримиримыми, браминами — землевладельцами и браминами (большинство) презирающими земледелие и всякий физический труд. Все брамины, все Индусы объединяются на одном, на культе коровы (мы бы прибавили — и ненависти к англичанам. В.П.) — Мусульмане также подразделяются по принадлежности к той или иной секте. Сунниты и шииты ненавидят друг-друга, но обе эти ветви смотрят как на не-мусульман на секты Ахмедийе, на последователей Ага Хана. Когда в Кабуле в 1925 г., по приказанию Эмира был побит камнями один интеллигентный приверженец секты Ахмедийе, то суннитские улемы приветствовали это решение. — Религия является в Индии единственной жизненной силой, свидетельствует О'Двайэр. Как могут 50-60 индусов-политиков, избранных в законодательное собрание самое большее сотней тысяч избирателей, притязать на представительство от лица 250 миллионов различных рас, каст и верований Индии? Пора снять маску с того, что наши политики называют демократией по введении реформ в Индии. Так же ошибочно, утверждает О'Двайэр, думать, что в Индии есть *пресса*, выражающая общественное мнение. Она представляет разве часть городского (6 проц. всего населения) и незначительную долю грамотного сельского населения. Эта пресса не имеет никакого контакта со всей сельской массой и либо безразлична, либо враждебна ее интересам, которые зачастую противуположны интересам горожан (отчуждение земли за долги; кооперативное кредитное движение; свободная торговля и т. д.). Индийская пресса претендует на отражение всех оттенков политической мысли. Но, за малыми исключениями в крупных центрах, газеты лишены и финансовой и политической устойчивости. В этом можно было убедиться, несколько наивно говорит наш автор, когда вся пресса единодушно протестовала в 1919 г. против применения особого положения (т. н. *Раулетт Акт* 1919 г.), и позже против мер, принятых в Бенгалии. Указывает О'Д. и на подкупность индийской прессы. Это вызвало надобность в законе 1923 г. (Prince's Protection Act) имеющего целью оградить туземных владетелей от шантажа. — Находим мы у нашего автора указания и на антиан-

глийскую пропаганду путем учебников в школах.

Вывод, к коему приходит О'Дуайэра в заключение своей книги: воспроизводит мнение высказанное в 1895 г. Сэром О. Колвином, принадлежавшим также к англо-индийской администрации «... Уроки 1857 года (т. наз. Great-Mutiny) не должны быть забыты. Что бы ни было предпринято в отношении образованного меньшинства, настоящая Индия может быть найдена только в ее невежественных миллионных массах. Чтобы управлять этой *настоящей Индией*, нужно иметь в виду прежде всего авторитет и правосудие; значительная сила необходима в резерве. Это единственный метод, который массы всегда уважали при их собственном управлении и, даже если того пожелает Британское Правительство, они не охотно согласятся на какой-либо *другой*».

Мы видели выше, что реформаторы 1919 года пошли сознательно на пробуждение этого «безучастного довольствия» масс, стремясь создать из них нацию.

***

Наш подход к индийскому вопросу определяется основным взглядом на примат культуры. Государство есть лишь форма личного бытия культуры (Л. П. Карсавин) и самостоятельной ценности, вне такого понимания, не имеет. С этой точки зрения период царя Асока, когда религия совпадала в пределах почти всей Индии с государственным устройством, по своей цельности является в наших глазах самым показательным, самым «индийским» в индийской истории.

В данный же момент Индия болеет именно потому, что хотя она представляет собой единую политическую личность, но об'единение это произошло в путях ей чуждых и органически с ней не сродных: английский язык, школа, экономическое сцепление, армия — все это воссоздало единство Индии, но не проросло в толще ее культурной целины. Чужеродно.

Важно вовсе не то, на что так старательно указывает О'Дуайэр, который из неспособности Индии к представительному образу правления по английскому образцу выводит право Англии, данное ей Провидением, устраивать судьбы страны и оказывать благодеяния населению даже против его желания.

Оставим на мгновение Англию в стороне. Допустим, что ее в Индии нет. Разве это помешало бы проникновению в Индию бродильного грибка западных демократических идей. Видели же мы, что замкнутость индийского культурного мира была кажущейся. А раз это так, то существо болезненности процесса не в Англии, хотя она его одновременно и осложняет (навязывая свои методы) и облегчает (удерживая единство Индии). Болезненность процесса в основной антиномии, которую представляет решение национального вопроса в рамках индийской культуры. Вопрос национального самоопределения есть на Западе лишь развитие вопроса свободы личности в плане национальном. Нация вне свободной личности, говорят нам, была бы лишь механической бездушной конструкцией. Между тем в Индии понятие личности, как мы видели из об'яснений Леви и Гавронского, совершенно расходится с западноевропейскими представлениями. Личности нет, я равно ты, и оба являются переходными моментами в бесконечной цепи поступков и возмездий. В этой особенности индийского мировозрения, а не в касте, лежит на наш взгляд основное препятствие к усвоению Индией демократического образа правления и осознания себя нацией. Поскольку культура Индии определяется сказанной особенностью, мы не представляем себе ее демократиче-

свои [illegible]. Нам кажется вообще, что Индия может быть [illegible] в основных своих [illegible] формой [illegible], а развитие [illegible] Индии 1920 г. (Mayhew Arthur. The Education of India, [illegible]) [illegible]

*) У Нарио (стр. 17) мы находим [illegible] Р. Тагора [illegible] Индии [illegible] утверждает свое бытие, прогрессирует и никто не может удерживать развитие им своей национальности. — Эта теория национальности напоминает взгляды Вл. Соловьева. Есть в ней и точки соприкосновения с евразийством. —

В то же время нельзя закрывать глаза на экономическое развитие Индии и на успехи, достигнутые в этом направлении, с которым начинает понемногу считаться английский капитал. Нам кажется что в наше время говорить безоговорочно о полной эксплуатации им Индии было бы не точно. Так, напр., вся почти экономика Бомбея в руках туземцев. (см. Нарио, с. [illegible]).

Можно предполагать, что развитие событий в Индии, не без [illegible] вызываемых [illegible] демократических [illegible], пойдет приблизительно [illegible] двух стремлений: 1) возможно большего освобождения от английской зависимости; 2) сотрудничества с английским капиталом. По мере все большей индустриализации страны станет увеличиваться в ней и удельный вес, пока еще слабо чувствующийся, организованного пролетариата. Что касается крестьянства, то его организация проходит пока в формах одной только кооперации, могущей явиться, впрочем, переходной ступенью к иным формам общественной [illegible].

Мы отдаем себе отчет в неполноте рассмотренных нами данных и особенно сожалеем, что нам пока не удалось ознакомиться с мнением самих индусов по их сочинениям. Приведенный нами материал, надеемся, позволит все же читателю [illegible] разобраться в сложности задач, которые поставлены к разрешению в этом особом и привлекательном мире, где далеко не все нам чуждо. —

В. Н. Никитин

26 Апреля 1927 г.
Париж

К ПОЗНАНИЮ РУССКИХ СТЕПЕЙ

(Географический очерк)

Настоящий очерк имеет целью познакомить с новейшими данными по изучению русских степей, преимущественно Центрально-Черноземной Области.

Реферирование будет вестись не только и даже не столько с точки зрения *специальных* ботанико-географических понятий, сколько в повороте *общего* географического познания России-Евразии.

География России, как система, — вот познавательная мета, предлежащая русской географической науке, в этапе современного ее развития (см. П. Н. Савицкий, Географические особенности России, часть 1-ая, Растительность и почвы, 1927, сокращенно: Г. О. Р.). География России, построенная, как система, составит, тем самым, *систематическую основу краеведения* (т.е. изучения всякой относительно небольшой территории», см. «Известия Центрального Бюро Краеведения», январь 1926 г.); составит эту основу, в обоих возможных понятиях краеведения: одинаково, при понимании его, как всестороннего изучения местного края, без какой-либо целевой установки, и при понимании его, как «изучения, которое подчинено жизненно насущным культурным и хозяйственным нуждам... территории... имеет своим отправным пунктом производительные силы края»...: каждому *систематически - географическому* делению отвечает особый состав экономических фактов и хозяйственных возможностей. Если является современным географию России строить, как систему — то не менее «современно» другое задание: чрез широкое развитие краеведения привлекать рядового («массового») работника-краеведа к ознакомлению с *систематическими* основами географической науки. В процессе такого ознакомления многое, что в ином случае осталось бы для изучающего пустым звуком — становится живым и внятным, облекаясь в наблюдение и факты окружающей обстановки, вплетаясь в ткань изучения родного края... В изучении этом, каждая роща, каждое болотце, каждый участок степи повествуют о целом, к которому принадлежат, и конкретное видение приводит к *теоретическому охвату*..

I

В разборе новейших данных относительно растительности русских степей воспользуемся, как отправным пунктом, различением растительности зональной и экстразональной. Почитаем «зональной» растительность равнинных (т. наз. «плакорных») местоположений (преимущественно на водоразделах). В понятии же «экстразональности» (термин предложен И. К. Пачоским) «имеется в виду растительность и отдельные виды, находящиеся вне пределов своего зонального (плакорного) произрастания. Так, растительность южных степей (зональные условия) в области северных степей в плакорных условиях расти не может, но может поселяться на южных склонах («экстразональные условия»)» (Г. О. Р.) От себя (П. Н. С.) выдвинем нижеследующее положение: в зависимости от того, *какого рода* растительность приносится экстразональными условиями в состав данной зоны, будем различать *«югоносные»* и *«североносные»* явления; если экстразональные условия приносят в состав данной зоны, по сравнению с зональной ее растительностью, растительность *более*

южных зон, будем говорить о «югоносном» явлении; когда экстразональные условия способствуют появлению, в составе данной зоны, растительности *более северных* зон, — будем считать, что пред нами явление *«североносное»* *) *Болота* составляют особую зону на крайнем севере России-Евразии, в тундре и прилегающих частях **); и отсюда, в виде «экстразональных» включений, проникают на юг. В *пределах равнинных частей России-Евразии* распространение болот в направлении юга есть *«североносное»* явление. — На юге же, в пустыни и южной степи, образуют особые зоны своеобразные *растительно*-почвенные комплексы, т. наз. «солончаков» и «солонцов»; южнее располагается зона солончаков; несколько севернее ее сменяется солонцовою зоною ***). Распространение солончаков и солонцов к северу от их зональных пределов можно характеризовать, как «югоносное явление».

1) Болота среди боров вносят с собой в... Воронежский край много черт и элементов более северной таежной и ... тундровой растительности» (В. Г.) Для болот Воронежской губ. Б. А. Келлер упоминает «пушицу (Eriophorum), растение из семейства осоковых... На дальнем севере в тундре по болотистым местам кисточки пушицы представляют в известное время заметный элемент ландшафта».

2) «На столбчатых солонцах... мы встречаем... в нашем степном (Воронежском, П. Н. С.) крае первые, вышедшие вперед колонии растительности, характерной для более сухих и богатых засоленными почвами полупустынь юго-востока».

3) «В сочетании с солонцами... встречаются... солончаки. Последние, кроме того, нередки в заливных долинах рек *въ южной и юго-восточной части губернии*... (курсив наш, П. Н. С.) солончаки вносят в наш край свою струю растений, характерных

---

*) Понятия «североносности» и «югоносности» можно применить к явлениям *почвенным*, поскольку и они подчиняются «закону» зональности и «экстразональности».

**) (См.: К. Д. Глинка, «Почвы России и прилегающих стран», Москва-Петроград, 1923, стр. 21. — Почвенному «болотному типу» отвечает болотная растительность. Термин «болото» употребляем для обозначения одновременно и ботанического и почвенного понятия. То же относится к терминам «солонец» и «солончак» (см. ниже).

***) *«Солонцы»* прежде всего, характеризуются своеобразным строением. В них, на небольшой глубине, всего, напр., в 10-15 сант. под мягким верхним слоем присутствует плотный столбчатый слой, который является до известной степени водоупорным... Близко под столбчатым слоем рассматриваемые почвы являются засоленными, т. е. содержат в себе заметные количества легко растворимых солей... Благодаря упомянутому водоупорному действию своего столбчатого слоя, солонцы весной после таяния снега, а также и летом после больших дождей задерживают в верхней своей части много влаги, но в жаркое летнее время могут сильно высыхать, и тогда *растительность испытывает на самых почвах совместное влияние сухости и засоления*)...» — «*В солончаках*, снизу из глубины почвы подтекают грунтовые воды и, испаряясь на поверхности, оставляют здесь приносимые с собой соли. В результате, накопление солей происходит особенно интенсивно в самом верхнем почвенном слое. На поверхности почвы присутствуют солевые выцветы или даже целые белые корки солей... *большое засоление сочетается здесь с сильной влажностью даже... в сухое и жаркое летнее время.*» (Б. А. Келлер).

для засоленных почв пустынь нашего юго-востока...» (В.Г.) *).

Засоленные площади юга аналогичны болотам севера; площади эти, в определенном смысле, можно назвать «болотами юга»... Г. О. Р., стр. 100-101) **). В этом отношении — засоленные площади юга «симметричны» северным болотам. Солончаки и солонцы, распространяясь с юга, встречаются, на некотором зональном пределе, с болотами, проникающими с севера... Тот предел, на котором происходит эта «встреча», и будет, *по данному признаку*, осью той грандиозной «симметрии», в качестве которой, по *многим признакам*, вырисовывается Россия-Евразия, в ее равнинном ботанически-почвенном сложении... Где же происходит эта встреча?... Б. А. Келлер, в реферируемой работе, дает материал для ответа на этот вопрос, применительно к тем долготам (близким к *«срединному меридиану Доуральской России»*), которых касается его работа.

1) Картину встречи солонцов и болот мы наблюдаем около ст. Хреновое, в южной части Бобровского уезда (на р. Битюге, в нескольких десятках верст от левого берега Дона!) Картину «встречи» дает «знаменитая... непаханная... Хреновская степь...» с имеющимся на ней сочетанием — *«почв солонцового, солончакового и болотистого характера»* (курсив наш, П. Н. С.) *). К тому

---

*) В пределах России-Евразии не только «пустыни... юго-востока», но также некоторые *приморские места севера* характеризуются присутствием солончаков и приносимой ими своеобразной растительности. Специфическая «прибрежность» упоминаемого явления исключает его из системы зональных делений, присущей континентальным пространствам...

**) Относительно солончаков то очевидно. К. Д. Глинка «Почва»..., 3-е изд. 1925 г.) включает солончаки в состав болотного типа». Однако, также и солонцы занимают, в области своего распространения, по преимуществу, места такого характера и «экспозиции», которые в более северных зонах заняты болотами. На севере в западинах» залегают болота; южнее — к западинам приурочены солонцы. К. Д. Глинка отмечает, что в черноземной зоне солонцы «почти независимо от рельефа, присутствуют там, где на небольшой глубине лежит очень вязкая, *водонепроницаемая* порода». Для *подзолистой зоны* А. Г. Дояренко («Теоретические основы агрономии на службе практики сельского хозяйства», Москва 1921) считает нормальным заболоченность тех местоположений, где почва подстилается «валунной моренной глиной, *весьма слабо проницаемой для воды*». Иными словами, также и в этом случае, в тех условиях, где на севере развивается *болото*, южнее залегает *солонец*...

*) Село Хреновое известно тем, что из размещенного здесь в 1778 г. гр. А. Г. Орловым-Чесменским, существующего доселе, теперь государственного — конского завода вышла «орловская» порода рысаков. Интересно отметить, что один из центров *венгерского* коневодства, Hortobagyer Puszta, степь Хортобади, в окрестностях Дебрецена, по своим естественно-историческим условиям, представляет, повидимому, сочетание, несколько аналогичное степным копмлексам Хренового. Нельзя ли видеть некоторую хозяйственно-географическую закономерность в приуроченности обоих коневодческих центров к болотисто-солонцово-степным местам?... (знойное солнце Хренового и Хортобади над степью, одновременно влажной и сухой!). — Нужно заметить, что степь Хортобади, подобно Хреновской, повидимому, «не годится для распашки». — Степь эта расположена как бы «на

ному ботанико-географическому рубежу, но также границе между названными подзонами черноземной зоны *). — Правда, на карте «растительных зон Европейской России» (1921 г.) границу между «луговой» и «ковыльной» степью (соответствующую указанному ботанико-географическому рубежу) В. В. Алехин намечал значительно *севернее;* но позже В. В. Алехин отказался, видимо, от намеченного им варианта. Во всяком случае, в работах 1924 и 1925 г.г. (Н. Д. 32-34, Степи, 23, 66-67)—растительность «рооповской» и Хреновской степей, лежащих *к югу* от намеченной в 1921 г. границы, он относит к подзоне северных «дернисто-луговых» степей**). Согласно новейшей (1924 г.) терминологии В. В. Алехина, рассматриваемая граница определяется, как граница между «северными степями» или «красочным *разнотравием*» и «степями южными» или «красочным *ковыльником*». В соответствии с предыдущим, можно сказать, что на срединном меридиане Доуральской России «встреча» «тундры» и «пустыни», площадей заболоченных и засоленных, происходит недалеко от рубежа между названными типами степей или иначе — на границе между подзонами мощного и обыкновенного чернозема. *Эта граница, по данному признаку, есть «ось симметрии».* В России-Евразии не везде это так; и, напр., в других местах, одинаково запада и востока, «встреча» происходит несколько севернее (в зональном смысле), — не на границе между названными *полосами степной зоны,* но на рубеже между *зонами степной и лесной*...*). Так, напр., в пределах Нежинского уезда, Черниговской губ., «обширные болотные системы» его северной части сопряжены с солончаками более южных мест; через Нежинский уезд проходит граница между лесом и степью... (иными словами, засоленные площади проникают здесь почти до южной границы *лесной* зоны; на срединном меридиане Доуральской России только на незначительное расстояние они проходят к северу от южной границы *луговой степи*). Недалеко от границы между лесом и степью происходит «встреча» заболоченных и засоленных площадей также и в Западной Сибири: напр. в Барабинской «*лесостепи*», болота, с одной стороны, солонцы и солончаки, с другой, сочетаются в самых разнообразных комбинациях... В пределах Евразии «ось симметрии», по данному признаку, колеблется, видимо, между двумя зональными пределами, совпадающими (приблизительно) с южным и северным рубежами «луговой» степи... (для других признаков рубежи нужно расставить шире; и говорить, напр. о южном и северном пределе *черноземных* почв)...

Крупнодерновинные ковыльные степи Б. А. Келлер описывает в следующих выражениях: «В этих степях... резко господствующее значение имеют ковыли. Они растут дерновинами, представляющими по внешнему виду как будто пучек или султан многочисленных скученных узких щетинистых листьев. В... степях, характерных для обыкновенных черноземов, эти дерновины особенно об'емисты и при большой плотности, напоминают кочки... Ковыльные

---

*) В целях большей точности, нужно отметить, что, согласно данным воронежских исследователей, Хреновое находится на самой границе между названными подзонами, Новохоперск же верст на 40 южнее ее.

**) Алехинский вариант границы 1921 г. был *несогласуем* с предположением о вхождении «луговой степи», как особой зональной единицы, в «периодическую систему зон» (Г. О.-Р., 82-83) Теперь эта несогласованность, видимо, отпадает.

*) Этому рубежу отвечает граница между почвами «степного» и «лесного» типа...

степи на обыкновенных черноземах представляют два главных видоизменения: 1) узколистно-перисто-ковыльные, где господствующим растением является Stipa stenophylla и 2) тырсовые, в которых господствует Stipa capillata...*) К северу... Stipa stenophylla — этот столь ярко и мощно выраженный тип дерновинного степного злака — постепенно теряет гармонию с внешней жизненной обстановкой... Stipa stenophylla по направлению к северу постепенно заменяется другой формой перистого ковыля Stipa Ioannis penicillifera с очень характерными отличиями — у этой последней листья с более широкими пластинками, которые способны развертываться и вообще представляют значительно большую испаряющую поверхность». Stipa Ioannis — ковыль «кисточконосный»: на кончиках некоторых нижних листьев — кисточка из белых волосков. «Увеличение влажности почвы и ослабленные условия для испарения воды над почвой создают теперь более благоприятную обстановку для двудольных растений, которые выносят свои ассимилирующие органы в значительной степени выше злакового дерна, образуя над ним сравнительно... густой ярус...» *К югу* от подзоны крупнодерновинных ковыльных степей Б. А. Келлер предполагает существование таких же *мелкодерновинных* степей. «Узколистный перистый ковыль заменяется ковылем Лессинга (Stipa Lessingiana). Последний вид ковыля имеет узкие щетинистые листья, которые своих пластинок, сложенных в подобие трубки, не могут распрямлять; но дерновины его заметно меньше, чем у Stipa stynophylla (и листья короче, П. Н. С.)... Степи со Stipa Lessingiana характерны для подзоны южного чернозема. Однако, в Воронежской губ. упомянутая подзона не выражена: на южной окраине...губернии встречаются только переходы к указанному типу чернозема».

Характеристики «крупнодерновинных ковыльных» и «дернистолуговых» степей, намеченные Б. А. Келлером, являются как бы *тезисом* относительно которого ориентируются описания и классификации других исследователей, работавших в последние годы над изучением русских степей. В частности, В. В. Алехин весьма настойчиво и выразительно оспаривает экологическую (т. е. применительную к условиям «местопроизрастания») характеристику узколистного ковыля, данную Б. А. Келлером. В. В. Алехин отрицает, что ковыль узколистный «по направлению к северу постепено заменяется» кисточконосным ковылем. (К. Г., Н. Д. Степи, посюду). В. В. Алехин показывает, что на многих участках северных степей Stipa stenophylla произрастает *совместно* со Stipa Ioannis (К. Г.) 102, Н. Д. 28, 33, 35), встречается в одинаковых с этим видом количествах и местами чаще, чем он... (Н. Д. 33) Тем самым отпадает или во всяком случае, видоизменяется экологическая характеристика, даваемая узко-

*) Согласно описанию, данному В. В. Алехиным, *ковыль узколистный* (Stipa stenophylla) характеризуется «пластинкою листьев, в живом состоянии свернутой, узкою, щетиновидною, не развертывающейся в сырую погоду... листья длинные, часто опускающиеся на землю», *ковыль же волосатик* (Stipa capillata) отмечен «пластинкою листьев, в живом состоянии плоскою, но в полдень и в сухую погоду временно свертывающейся... листья на верхней поверхности покрыты волосками (когда пластинка свернута, то весь желобок заполнен волосками)». Этот ковыль некоторые авторы называют также ковылем «волосовидным» или «тырсою» (см. текст).—Дальнейшее изложение подразумевает в читателе знание как латинских, так и русских названий важнейших разновидностей ковыля.

листному ковылю Б. А. Келлером... Северные «разнотравные» степи, в равной степени, характеризуются, по В. В. Алехину, присутствием [illegible] и *узколистного* ковыля...

«Везде белые султаны, как степной ковыль»...

В русской науке изучение *ковыля* стало важным фактором географического познания степи.

III

Ботанико-географические исследования последних десятилетий обнаружили в Центрально-Черноземной Области ряд ценных реликтовых степных участков. Изучение этих участков В. В. Алехин положил в основу изображения растительного покрова степей Ц. Ч. О. В частности, он разрабатывает данные по нижеследующим степям.

1) «Хуторская степь» под Тамбовом (в 10 верстах от города) занимает ок. 100 десятин... расположенных в ... условиях, ... с равной плоскостью.

2) «Лотаревская степь» б. имения кн. Гагемейстер в Усманском уезде, ст. Хреновое Грязе-Царицынской ж. д., расположена на совершенно ровном месте, представляет площадь в 150 дес. превосходной сохранности... Расположенная на плоском водоразделе, степь совершенно лишена балок и склонов, но в связи с присутствием на ней западин то большей, то меньшей глубины, понижений, ложбин и пр., комплексность выражена очень хорошо: *) к тому же некоторые западины поросли осиной (осиновые кусты). Местами въ этом районе, осиновые кусты «располагаются так часто, что издали сливаются ...в один сплошной лес»... «осиновые кусты»... то сухие, то содержат в центре непроходимое болото с водной поверхностью...» Описанный ландшафт характерен для тамбовских и воронежских степей «Тамбовской равнины»: В. В. Алехин определяет его, как «степной плакорный комплекс с осиновыми кустами». Западины, поросшие осиной, представляют собой «североносное» явление: они приносят «лес» в состав степной зоны... Описания, даваемые В. В. Алехиным (Степи, 30-36), не оставляют сомнений, что также растительность прочих «западин», понижений, ложбин и пр. в районе Лотаревской степи, хотя бы и не поросших осиной, — являет собой «североносное» явление: приносит в разнотравные степи «северной половины мощного чернозема» (такова растительность плакорных участков Лотаревской степи) — элементы *более северных*, влаголюбивых формаций... В числе прочего находим упоминания о ряде западин, в центре которых отмечается «присутствие многих болотных форм», а также «сфагнового болота»... Нужно заметить, что в Лотаревской степи и окружающих местностях — «засоления и солонцов в связи с кустами нигде отмечено не было». Для районов же, лежащих непосредственно *к югу* от района Лотаревской степи (в пределах южной половины мощного чернозема) солонцы являются «обычным явлением» («комплекс с осиновыми кустами и солонцами»: южная часть Усманского и прилегающие части Воронежского и Бобровского уездов). Во многих случаях также и солонцы приурочены — *к западинам*... Нельзя резче вскрыть существование *переломной* оси (некоторой линии, на которой явления, проникающие с севера, встречаются и сменяются процессами, идущими с юга), чем это вскрывается и уясняется при сопоставлении Лотаревской степи с несколько более южными местами. В Лотаревской степи — западина всегда «североносна»; несколько южнее, наряду с «североносными» западинами, по-

*) «Комплексом» в ботанической географии именуется «собрание на небольшом пространстве многих экологически разнородных сообществ».

являются западины югоносные, а именно западины с солонцами. Иначе говоря, *одна и та же форма рельефа (западина) является «североносной» к северу от зональной оси, к югу же от нее становится «югоносной»*... *)

В связи с этим необходимо указать еще на одно поучительное явление, наблюдаемое в этих местах: *на переход в известных условиях, югоносного явления в североносное*, отмечаемый нами (Н. Н. С.), в данном случае, *для частей симметрии, близких к ее оси*. Т. И. Попов нижеследующим образом изображает образование «осиновых кустов» описанного района: «в западинах могут формироваться столбчатые солонцы (явление югоносное! (Н. Н. С.), которые, въ дальнейшем, вследствие присутствия особого уплотненного горизонта начинают задерживать стекающую влагу; последняя... промывает почву, разрушая столбчатый солонец... В этот момент создаются условия для поселения ив.» Ивы, «способствуя еще большему выщелачиванию почвы, подготовляют условия для поселения осины и развития осинового куста. Этот последний имеет выщелоченую, ясно подзолистого характера, почву...» Явление «югоносное» перешло, таким образом, в явление «североносное»: по сравнению с растительностью и почвой окружающих «разнотравных» степей, — осиновая заросль и подзолистая почва — это признаки севера..**) С аналогичным процессом Т. И. Попов имеет дело и в том случае, когда при рассмотрении «различного характера растительности... солонцов» — описывает «разные стадии эволюции западин, которые в дальнейшем превращаются *в мочежины и болотца*». Существуют процессы, противоположного характера. Все так же для частей симметрии, *близких к ее оси*, можно отметить *переход, в известных условиях, североносного в югоносное явление*... Об этом скажем в дальнейшем... *)

---

*) Дело заключается в том, что в области, близкой к «оси симметрии», *наряду* с «североносными» западинами, *впервые* (продвижение севера на юг) появляются «югоносные» западины. Нужно заметить, что также далеко на юге, наряду с «югоносными», все еще встречаются «североносные» западины...

**) С описанным явлением сопоставим указываемые К. Д. Глинкой («Почвы России...», 179) в северо-западной части Кустанайского района (за Уралом, в Тургайской области) глубокие западины, занятые «деградирующимися солонцами... Здесь, в отличие от плакорных мест, наблюдается сплошной ярко-зеленый травяной покров, образующий дерновой горизонт. Растительность состоит из лугово-степных форм... В этих котловинках встречаются часто в больших количествах кустарник ивы... иногда молодая поросль осины.» Также и тут «югоносное явление» (солонец) переходит, видимо, в явление «североносное» и даже, в частности, в «осиновый куст». *В зональном смысле*, кустанайский район расположен, как кажется, *южнее* воронежско-бобровского района: в последнем «лугово-степные» формы господствуют в плакорных условиях, здесь же они приурочены к «североносной» западине. Интересно, что *в широтном смысле*, Кустанай (53 гр. с.ш.) расположен севернее Воронежа (52 гр.).

*) Процессам, подобным тому, который описывает Т. И. Попов (см. выше), — отводит видное место в классификации почв известный исследователь К. К. Гедройц. Почвы, по морфологии своей «похожие на подзолистую почву», но образовавшиеся именно в результате деградации солонцов и солонцеватых почв, — он выделяет в особую рубрику «солодей» (Осолодение почв, изд. Носовской С. Х. Опытной Станции, 1926). В терминах устанавливаемых нами понятий, каждая

3) «Рооповская степь в быв. имении бар. Роопа... площадью до ... 300 десятин (недалеко от ст. Рождественская Хава на востоке Воронежского у.); степь находится отчасти в плакорных условиях, отчасти представляет пологий склон к балке (северный). Поверхность совершенно ровная, лишь очень редко попадаются понижения, западин почти нет, равным образом и осиновых кустов... Водятся сурки, насыпающие холмики» (большая редкость в нынешнем состоянии Центральной Черноземной области! Н. Н. С.).

....

Далее, из пределов «*Тамбовской равнины*» переходим на *средне - русскую возвышенность* (восточный предел которой отмечен обрывом Донского Правобережья)

4) «Ямская степь» в С. Оскольском уезде... к юго-западу от С. Оскола... тянется по водоразделу между двумя логами... занимая площадь в... 1100 десятин. Благодаря присутствию мелких логов, отходящих от указанных в степь, мы находим крайне разнообразные по экологии местообитания... (отличный от «плакорного комплекса» Тамбовский равнины — «балочный комплекс»!)

5) Замечательная «Стрелецкая степь» на юге Курского уезда... занимает около... 1300 десятин... тянется по узкому водоразделу... спускаясь по склонам в прорезывающие ее лога... по.. рельефу представляет... большое разнообразие... плакорные участки и местообитания самой различной экспозиции — склоны южные, северные, восточные, западные со всеми переходами, при этом склоны то более, то менее пологие... — Не менее замечательна «Казацкая степь», тоже на юге Курского уезда... около 1200 десятин... находится в плакорных условиях... С этими степями граничат: Петрин лес, соседящий со Стрелецкою степью и «Казацкий» примыкающий к Казацкой степи: «чистые дубовые леса... совершенно без примеси других древесных пород... лишенные какого либо подлеска: участки более тенистого леса чередуются с большими полянами, покрытыми сплошным покровом травянистой растительности»... Дубовые леса произрастают здесь в зональных или близких к зональным условиях.

6) «Саянская» степь на самом севере Курского уезда ... находится на водоразделе (в плакорных условиях) и прорезывается небольшой балкой, начинающейся на степи и здесь распадающейся на три вершины; в общем степной участок представляет как бы кольцо , окружающее эти вершины, поросшие густым дубняком» («степной балочный комплекс с дубом»). Степь — площадью 100-120 десятин...»

7) «Орловские степи» открытые в 1923-24 г. г. *орловским крае-*

«солодь» есть свидетельство о происшедшем переходе «югоносного» в «северопосное» явление. К. К. Гедройц полагает, что «лесные массивы в черноземной зоне (напр. Шипов лес Ворон. губ.) обязаны своим существованием именно осолодению солонцеватых почв, подготовившему почву для заселения лесом, совершенно подобно тому, как осолодение солонцевых пятен дало возможность появлению лесных колков, осиновых кустов и т. п., только здесь мы имеем дело с явлением, происходившим в гораздо большем масштабе». Если бы предположение К. К. Гедройца подтвердилось, — переход «югоносного» в «северопосное» явление, в этих случаях, был бы несомненен. — К. К. Гедройц дает об'яснение возникновению солодей. Солонец или солонцеватая почва отличается, согласно К. К. Гедройцу, «от всех остальных почв присутствием в поглощающем комплексе поглощенного натрия» Поглощенный же натрий «способствует растворяющему и разрушающему действию воды на почвенный поглощающий комплекс».

ведом А. Н. Куренцовым... Ближайшая к Орлу «Лавровская степь» находится от него на расстоянии менее 10 верст; другие степи идут далее на юго-запад, в общем, занимая площадь на водоразделах между рр. Рыбницей, Кнубрью и Окой. Здесь находятся пять степей: Лавровская и Фоминская, (вместе около 500 дес.), Бобринская (250-300 дес.), Черкасская (около 900 дес.) и Хомутовская (размеры неизвестны)... на другом (левом) берегу Оки находится... небольшой водораздельный островок степи «Стрелецкая степь» в 7 верстах от г. Кромы .... Степи не всегда представляют сплошные травянистые пространства, но нередко связаны с дубовыми рощами и кустарником, так, на Лавровской степи встречаются островки дубовых кустарников, а Черкасская степь почти наполовину занята лесом; однако, лес не представляет сплошного массива, а разбросан колками, при чем собственно степь то врезывается языками в лес, то большими полянами раскинута по лесу, кроме того, небольшие степные пятна рассеяны всюду среди леса». Это сочетание П. П. Семенов именует «чернью с переполяньями»; такой и была повидимому первоначальная растительность рассматриваемой части Черноземной области. Ландшафт Орловских степей интересно сопоставить с ландшафтом «осиновых кустов» степи Потаревской. На Орловских степях встречаются западины с кочковатыми болотцами, понижения, лога и пр. *).

Все перечисленные степи по характеру, их растительности, В. В. Алехин относит к степям «разнотравным». Однако, перечисленные степи представляют ряд вариантов названного типа, дающих возможность расположить эти степи в закономерный ряд, знаменующий переход от более южных (в зональном смысле); к более северным условиям . «... Степное сообщество, как таковое, изменяется в своей общей структуре совершенно постепенно и... медленно, и... лишь выпадение тех или иных элементов, с одной стороны, и появление новых, с другой, дает известные точки опоры для установления необходимых подразделений.» — Представим себе участок, заключающий на своем пространстве, с одной стороны, разного рода понижения (западины, ложбины и т. д.), а также возвышения (холмики), — с другой стороны, склоны разных экспозиций. Такой уча-

*) Некоторые небезынтересные для ботанико-географа указания можно извлечь из очерка Н. Д. Садовского, «Как я делил землю» (1923-1924). Дело идет о Призначном, Корочанского уезда, расположенном в северной высокой, водораздельной части уезда, (здесь получают начала Семица, Донец и Псел). «Когда то первое поселение нашего общества стояло на окраине большого леса, который после был сведен. Окончательно лес исчез во время постройки ж. д. линии Курск-Харьков». Однако, как видно из описания, в усадьбах *по логам* сохранялось до 1918 года (к которому относится рассказ) немало столетних дубов и прочего «древа». «На двух коротких частях... усадьбы стояли старые дубы, сохранившиеся от времен прадедовских. Секция решила нарезать прямые усадьбы... Хозяин не протестовал... Дубы на отрезанных клетках... они срубили в течение следующей недели». Во многих местах дубы стояли неподалеку от «конал.цев», прудов и родников, При дележе усадеб, из-за каждого дерева шла борьба. Некоторые деревья удалось отстоять, и они сохранились. Очерк выясняет контрастирующую с *об'ективной судьбой* лесов Центральной Черноземной области, — *народную любовь к «древу»*. На основе этой любви, в определенных условиях, могло бы удаться, пожалуй, выделение *заповедных деревьев*, — о чем говорит Б. А. Келлер.

стов дает представление не только о растительности, произрастающей в этих местах в зональных условиях, но также о сообществах, свойственных зональным условиям непосредственно к *северу* и непосредственно *к югу* от рассматриваемой полосы. В условиях срединной части степной зоны растительность одних из перечисленных выше форм рельефа дает *отображение* плакорных степей более *северных* местностей, а растительность других форм рельефа представляет собой *предварение* более *южных* степей. Безразлично, в каком направлении мы будем мысленно изучать растительность: с севера на юг или с юга на север. Важно только, чтобы изменения, связанные с продвижением на север, — *далее тер-*[illegible], мы отличали от изменений, связанных с продвижением на юг. С этой целью мы принимаем предложенную выше терминологию, подчеркивая, что принимаем ее [illegible]. Условность заключается в том, что с [illegible] *точки зрения* с равным успехом можно было бы говорить о «предварении» растительностью одних форм рельефа более северных условий и «отображении» растительностью других форм условий более южных. Задача состоит в том, чтоб условиться об единообразном словоупотреблении...

Идея экстразональности, по словам В. В. Алехина, «имеет огромное значение, т. к. пользуясь ею, мы можем *теоретически* предсказать, что нужно встретить на водоразделах к северу или к югу от данного места, раз известна растительность последнего в *различных условиях экспозиции*. Для нас это важно потому, что от степей сохранились, как мы знаем, лишь ничтожные участки, разбросанные... к тому же неравномерно... и мы должны восстанавливать, реставрировать растительность там, где ее в настоящее время нет».

Мы видели, что растительность *западин*, в пределах рассматриваемой области, в одних случаях, дает отображение более северных условий (западина с болотцем), в других предваряет растительность более южных мест (западина с солонцем). В этих случаях отображение и предварение являются «дальними», т. к. заболоченные и засоленные пространства получают наибольшее распространение на *дальнем* расстоянии от рассматриваемой области (соответственно на север и на юг). Однако, можно выделить разряд *более мелких* понижений, которые дают *ближнее отображение северных* условий — В. В. Алехин устанавливает, что «небольшие возвышения, слабо приподнимающиеся холмики, растительность которых несколько отличается от окружающей степи, сказываются с изменении растительности так же, как и южные экспозиции, так же, как положение степи в более южных широтах». *) Иначе говоря, холмики эти дают *предварение* южных условий и подлежат определению, как *югоносное* явление. «... Склоны, смотрящие на юг... нагреваются гораздо лучше плакорной степи и лучше дренированы, что создает условия... большей сухости». Здесь «мы имеем как бы отражение более южных степей с их... засушливыми условиями... почвенный покров нередко развит очень слабо в связи с тем, что нагревание... очень сильное, а растительность не образует сплошного покрова...» Южные склоны дают предварение южных условий и определимы, как югоносное явление. «...В то время, как на южных склонах уже начинает зеленеть, северные — нередко покрыты еще сугробами снега... северные склоны нагреваются значительно слабее... в связи с этим стоит их большая влажность. Влаж-

*) «... описанные... холмики представляют собою успокоившиеся сурчины...»

ность усиливается еще от того, что они являются более пологими, сравнительно с южными склонами... почвенный покров выражен вполне типично... растительность северных склонов представляет полную противоположность южным... Здесь — господство влаголюбов». Северные склоны несут на себе *отображение* северных условий: они представляют *азональное* явление. «Западные склоны сильно приближаются по своей растительности к южным, а восточные к северным».

Из числа поименованных в предыдущем степей наиболее южное (в зональном смысле) положение занимают, повидимому, степи Лотаревская и Ямская под Старым Осколом. Алехин делает нижеследующее замечание о ковыле-волосатике или «тырсе» (Stipa capillata: см. выше) *) «Особенно интересным является *тырса*, это типичное ландшафтное растение южных степей, где оно массами встречается в плакорных условиях, у нас же оно появляется лишь тогда, когда замечается некоторый наклон к югу.» Примечание: «Впрочем, на Лотаревской степи... тырса встречается и в плакорных условиях: то же наблюдается и на Ямской степи под С.-Осколом. Однако эта последняя имеет более южное положение». Утверждение, заключающееся в этой фразе, будет правильно, по преимуществу в *широтном смысле*: действительно, С.-Оскольская степь, по широте, приблизительно на один градус *южнее* степи Лотаревской: 51 гр. (с минутами) с. ш. против 52 гр. (с минутами). В *зональном* же смысле обе степи являются, повидимому, в одинаковой степени «южными» (или, наоборот, «северными»): обе относятся к северной половине мощного чернозема. Относительно почв Лотаревской степи, В. В. Алехин, руководствуясь указаниями Г. М. Тумина, непосредственно это утверждает (Степи, 37); утверждение это соответствует также карте «Почвенных областей...» Л. И. Прасолова (1920 г.). К северной половине мощного чернозема относится, согласно той же карте, и местоположение Ст.-Оскольской степи... — Поставление на одну зональную доску местностей, с разницей в широте около градуса, объясняется тем, что в этих местах зональные полосы, в продвижении с востока на запад, несколько *склоняются к югу*: Ст. Оскольская степь — западнее Лотаревской и обе они — западнее «основного меридиана Доуральской России», иными словами, обе принадлежат «западной стороне Доуральской России». (Г. О. Р., 45-46). Именно здесь *широтное* (в грубых чертах) пролегание степных рубежей сменяется, в продвижении с востока на запад, *направленным к югу*... *Понятия «южности» и «северности», в зональном смысле, нужно обязательно отличать от таких же понятий в смысле широтном*. Для ботанико-географа существенны, по преимуществу, понятия *зонального* смысла... — К группе Лотаревской и Ст. Оскольской степи нужно отнести, повидимому, и степь Роповскую. Согласно имеющимся в нашем распоряжении почвенным картам (Б. Л. Брука, Б. А. Келлера и Л. И. Прасолова), она также помещается «в северной половине мощного чернозема» — а по замечанию В. В. Алехина (Н. Д. 33), *несет* S. capillata *в плакорных условиях*. Таким образом, *почвенный* признак согласуется здесь с указанным ботанико-гео-

*) Ковыль-волосатик «тырсу» одних авторов нужно отличить от Stipa Tirsa («тырсы» других авторов) — «наиболее ксерофитного (сухолюбивого) ковыля из всех ковылей южно-русских степей, присущего... местностям полупустынного характера». S. Tirsa имеет пластинку листьев сходную с пластинкой листьев S. Stenophylla и S. Lessingaina (см. выше); притом — «язычек листа длинный».

графическим... — Степи южной части Курского уезда — Стрелецкая и Казацкая — в зональном смысле являются более северными, хотя в *широтном смысле* они все еще южнее Лотаревской степи. В названных Курских степях (К. Г. 104). S. capillata — «как правило... встречается... на южных склонах. Лишь в одном месте Стрелецкой степи было замечено значительное восхождение этого растения на водораздел, почти что на места ровные». — На Лотаревской степи (Н. Д. 28), было отмечено присутствие Hierochloa odorata (зубровка), Poa bulbosa (мятлик луковичный) и Triticum cristatum (житняк). Два первые из названных злаков В. В. Алехин, следуя за А. И. Малеевым, называет «ксерофитными», т. е. «сухолюбивыми» *южными* злаками. Житняку он посвящает особую характеристику (Степи, 41), в общем, того же смысла. *Все три злака на курских степях отсутствуют* (Н. Д. 30) — два первые вовсе, а житняк отсутствует в плакорных условиях, произрастая на *южных* склонах. Согласно Прасолову, курские степи расположены как раз по середине (в юго-северном сечении) той полосы, где происходит «смена черноземов выщелоченных (т. е. более северной разности черноземов' Н. Н. С.) черноземами тучными или мощными». По сравнению с «однородной полосой тучных черноземов», к которой принадлежат Лотаревская и Ст. Осокольская степь, присутствие *выщелоченных* черноземов указывает, конечно, на большую зональную *северность*... Интересно, что Hierochloa odorata и Poa bulbosa, попадающиеся, как сказано, в типичной мощно-черноземной Лотаревской степи и не встречающиеся в «выщелоченно-мощных» степях курских, отмечены для Корочанского уезда (А. И. Малеев). Согласно Прасолову, весь (или почти весь) Корочанский уезд занят той же однородной полосой тучных черноземов», что и Лотаревская степь. — В рассматриваемых отдельных признаках почвенные и ботанико-географические факторы, являют, как видим, *строжайший параллелизм*.

В. В. Алехин отмечает, что в рассматриваемых курских степях «прибавляются в плакорных условиях некоторые влаголюбивые виды...» Зато Bromus erectus (костер прямой), очень характерный, по заявлению Алехина, для Лотаревской степи, в названных «курских степях держит себя как то странно: листья его везде попадаются во множестве, цветущих же стеблей местами совершенно не встречается, только там и сям мы находим участки с большим числом цветущих стеблей». В более северной Саянской степи костер прямой «значительно отступает на второй план...» На большую зональную «северность» курских степей (в данном случае *особенно резко* контрастирующую с их большею широтною южностью!) указывает и то, что «осень» здесь наступает *раньше*, чем в Тамбовских степях. «Здесь отсутствуют все те сложноцветные и, в частности, почти все полыни, которые... указывались для Лотаревской степи... вегетационный период или правильней период ... цветения здесь несколько укорочен...» В. В. Алехин отмечает для курских степей выпадение августовской фазы, в которой на Лотаревской степи, «среди цветущих особенно характерны *полыни* — целых четыре вида...» Появление полыней на тамбовских степях В. В. Алехин возводит к «влиянию востока», противополагая ему «*на курских степях*... некоторые растения западного происхождения.» Влияния востока и запада, в пределах русских степей, суть конечно, реальные факты; в связи с фазами нарастания одного из этих влияний (восточного — в направлении к востоку и западного — в направлении к западу) и ослабления другого широтные полосы можно под

разделить на особые районы, сочетанием своим дающие графику, близкую к графике шахматной доски: «восточная половина области имеет иные комплексы, иные ландшафты, намечая как бы *продольные* полосы, перпендикулярные к поперечным полосам — зонам». Однако, в данном случае остается открытым вопрос: не является ли наличие в Лотаревской степи особой полынной фазы не только и даже не столько признаком «восточности» этой степи, как показателем ее *южности?* Полыни (Artemisia armineaca и A. latifolia), в отдельных экземплярах, *не дающих особой фазы*, мы находим и на степях курских. По экологической же своей природе, полынь, как известно, является в пределах России-Евразии, по преимуществу, признаком *южных* степей...

Саянская степь «лежит от рассмотренных выше Казацкой и Стрелецкой степей верстах в 50-ти к северу и этого оказывается достаточно, чтобы растительный покров получил значительный сдвиг в сторону влаголюбивых растений. Из злаков наиболее распространенными является трясунка (Briza media), на Стрелецкой степи характерное растение только северных склонов.» Linum catharticum (слабительный лен) характеризует на Стрелецкой степи *северный склон и западины*, на ровной степи не встречаясь. «Отображение» оказывается точным. На Саянской степи мы *нередко* встречаем его в плакорных условиях. — В. В. Алехин посвящает несколько строк экологической обрисовке типчака (Festuca sulcata = F. ovina) и степной келерии (Koeleria gracilis — K. cristata). В северных степях «оба... злака представлены небольшими мелкими дерновинками и почти что не выходят из подседа, так как, очевидно, заглушаются другими... растениями, главным образом, двудольными... На южных же степях растения эти «местами сплошь покрывают степь и придают ей особую физиономию... Однако, по сравнению с типчаком «степная келерия является несколько более ксерофитным видом» и на степях Стрелецкой и Казацкой (в Курском у.) «*на северных склонах*, как кажется, не встречается *совершенно*, равным образом, как и по степным западинкам и понижениям. Но необычайно интересно, что здесь K. gracilis замещается сейчас другим видом келерии, именно K. Delavignei (луговая келерия). Вообще эти два вида поразительно чутки к условиям влажности: самая небольшая западинка на степи, и K. gracilis пропадает, а появляется K. Delavignei. Последнее растение является прямотаки руководящим для западин (степных) и северных склонов. В зональных условиях на описываемых степях K. Delavignei если и встречается, то как очень большая редкость». Также и в этом случае отображение более северных условий растительностью северных склонов и западин оказывается надежным. В Саянской степи луговая келерия «встречается... в плакорных условиях в равных количествах со степной келерией... а, м. б., даже более обильно».

Большая зональная «северность» Саянской степи, по сравнению со степями Стрелецкой и Казацкой (Курск. у.), не подлежит сомнению. Существенно указать, что обстоятельству этому, установленному на основании ботанико-географических фактов, — отвечает такое же изменение *почвенной* обстановки. Если степи Стрелецкая и Казацкая располагались *по середине* той полосы, где по Прасолову происходит «смена черноземов выщелоченных черноземами тучными (или мощными)», то Саянская степь находится на *северной окраине* этой полосы, в местах, где полоса эта соприкасается со следующей, отмеченной «чередованием выщелоченных (деградированных) черноземов и серых лесных земель (северных черноземов)». Большей

«северности» ботанико-географической обстановки (по Алехину) отвечает большая «северность» почвенных условий (по Прасолову)...

В одном месте (Н. Д., 30) отличия покрова Курских степей от растительности степи Лотаревской В. В. Алехин называет «мелкими», и это, конечно, правильно, если иметь в виду тождество основного типа «разнотравной» степи, который представляют и курские и Лотаревская степь. Нужно, однако, заметить, что «мелкие отличия» эти имеют большое *диагностическое* значение. Приводя указанные выше данные, В. В. Алехин не делает ударения на большей зональной «северности» Стрелецкой и Казацкой степи, по сравнению с Лотаревской степью. Впрочем, В. В. Алехину, в чисто ботанико-географическом смысле, было бы нелегко делать такое ударение, в виду того, что понятия «*зональной*» «северности» и «южности» он не знает: *в широтном же смысле* (как мы указывали неоднократно) Лотаревская степь расположена *северней* курских! Мы же, *пользуясь этим сочетанием*, — [illegible] хотим подчеркнуть большую зональную «северность» курских степей. В то же время рассмотренные ботанико-географические явления мы сопоставляем с почвенной обстановкой. Возникает ряд (в последовательности перехода от более южных к более северным условиям): 1) Лотаревская степь, 2) степи Стрелецкая и Казацкая, 3) Саянская степь (другие упомянутые степи оставляем в стороне, ввиду их меньшей обследованности). В пределах этого ряда намечается соотношение между вариантами «разнотравных» степей и подзонами черноземной зоны. Даже небольшим отличиям ботанико-географических условий отвечают, как видим, определенные изменения почвенных признаков. Тем самым устанавливается соответствие *(по месту)* между ботанико-географическими и почвенными зональными делениями, получает силу теория «синхорологии зон»...

Как было отмечено выше, в курских степях степная келерия *на северных склонах* «не встречается совершенно». В этих условиях, основные закономерности юго-северного (в зональном смысле) изменения растительного покрова дают основания для *абстрактно-теоретического* «предсказания», что в более северных условиях *степная келерия должна отсутствовать вовсе*. И, действительно, на орловских степях, отстоящих от Стрелецкой и Казацкой на какие-либо 150, а от Саянской на 100 верст к северу — отсутствие степной келерии в плакорных условиях было констатировано Т. Б. Вернандер (1925 г.). «Наоборот, луговая келерия не только вошла на водоразделы (как на севере Курской губ. — на Саянской степи, например), но она уже заняла (среди злаков) чуть ли не первое место». Костер прямой (Bromus erectus), которым изобиловала Лотаревская степь и который «держал себя странно» в степях курских — *в орловских степях отсутствует вовсе*... На Саянской степи В. В. Алехин нашел «несколько экземпляров манжетки (Alchemilla pastoralis), растение, которое в степях под Курском встречается только в степных логах». На орловских степях манжетка — «обычное явление». — В почвенном отношении орловские степи (как то выясняется при сопоставлении с картою Прасолова) принадлежат всецело полосе «чередования выщелоченных... и... северных черноземов» (см. выше), располагаясь скорее на *северной* окраине этой полосы...

Сопоставляя с ботанико-географическими данными указания Тумина о почвах *Курской* губ., В. В. Алехин восклицает: «Если почвы Курской губ. действительно таковы, как их указывает Тумин... *то расхождение между почвенными* и геоботаническими картами может

быть огромно!» (Степи, 100). Произведенное нами сопоставление *ботанико-географических* данных В. В. Алехина, касающихся Тамбовской, Курской и Орловской губ., — с соответствующими почвенными указаниями Л. И. Прасолова обнаружило, наоборот, теснейшую увязку между теми и другими. В чем же тут дело? — Согласно карте Г. М. Тумина (1925 г.), «напр. юго-восточ. уезды Курск. губ. (Белг., Н.-Оскольский, Корочанский) по своим почвам (комплекс мощного и выщелоченного чернозема) лежат в одной полосе с Козловским, Моршанским и др. уездами Тамб. губ., но что общего между растительностью хотя бы Н.-Оскольского уезда и Моршанского?» Вопрос разъясняется. Цитируемые указания Тумина *не согласованы* с совокупностью имеющихся почвенно-географических данных. Согласно карте Л. И. Прасолова, Ново-Оскольский уезд с примыкающими местами занят всецело «однородной полосой тучных черноземов». Между тем, нам приходилось указывать (Г. О. Р., 78-80), что в рубрику «тучных (мощных)» черноземов Л. И. Прасолов включает также и более *южную* разность обыкновенного чернозема других исследователей: (напр., К. Д. Глинки, А. М. Панкова и др.). Согласно почвенным картам Воронежской губ. Б. Л. Брука и Б. А. Келлера (1921 г.), полоса обыкновенного чернозема подходит к границам Ново-Оскольского и Корочанского уездов и вероятно в них проникает (см. указание К. Д. Глинки, «Почвы России»... 140). Таким образом, есть основания думать, что почвенный покров ю.-вост. части Курск. губ. определяется сочетанием мощного и более *южного* обыкновенного чернозема, в то время, как почвы Козловского и черноземной части Моршанского уезда (уезд этот рассечен надвое полосою лесистых песков по Цне) дают комплекс мощного и более *северного* выщелоченного чернозема... Отмечаемому Алехиным ботаническому отвечает, как видим, почвенное различье!... Можно думать, что источником неувязки, поразившей В. В. Алехина, явилось, в данном случае, *не реальное обстояние признаков, но неточное* (на этот раз!) *указание Г. М. Тумина*. Также и в этом случае не заключается ничего, что опровергало бы возможность *систематически ставить и удовлетворительно разрешать* (в отношении ботанико-географических и почвенных делений) (проблему «синхорологии зон»...*)

Нам остается рассмотреть растительность Ямской степи под Тамбовом, расположенной (в широтном смысле) к северо-востоку от Лотаревской степи. Ямская степь, при сравнении с этой последней, дает крайне интересные указания. Так, по Смирнову, некоторые формы, характерные для степных западин *уже выходят на водоразделы*... В общем ... мы видим из анализа растительного покрова *некоторое*

*) В описании растительности Курской губ., даваемом В. В. Алехиным (К. Г.), можно найти указания на теснейшую связь между ботаническим и почвенным фактором *в лесных насаждениях Льговского уезда. Дубовые* леса приурочены здесь к *черноземным* почвам, *ясеневые* — к *серым лесным*. Интересно, что в подзоне ясеневых лесов *на южных склонах* развиваются преимущественно *дубовые* леса, при чем ясень совершенно отступает на задний план... что же касается склонов *северной* экспозиции, то здесь мы встречаем леса с преобладанием, гл. обр. *березы*... очень напоминающие леса более северных губерний, находящихся там уже в зональных условиях (здесь условия экстразональные)». Таким образом, не только в степных, но и *в лесных* сообществах наблюдается «предварение» южных условий растительностью южных и «отображение» северных условий растительностью северных склонов.

смещение последнего в сторону северных склонов, т. е. большей влажности». Между тем, согласно почвенной карте Л. И. Прасолова, Ямская степь точно так же расположена на крайне северном (в зональном смысле) пределе мощных черноземов, как и степь Лотаревская. При наличии упомянутой выше, на ряде случаев проверенной — закономерной и тесной связи ботанико-географических и почвенных признаков можно думать, что в данном случае в карту *Прасолова вкралась неточность:* или Лотаревская степь лежит в *глубине* северной половины мощных черноземов, — и граница их, в этих местах, пролегает несколько иначе, чем показано у Прасолова (Ямская же степь, в этом случае, лежит действительно, на крайне-северном их пределе) — *или* Ямская степь лежит *вне* однородной полосы мощных черноземов, несколько *к северу* от нее. . . .

В. В. Алехин ставит вопрос о причинах сохранности рассмотренных целинных участков. Ведь обычно в Центрально-Черноземной области «каждый годный клочек земли используется под сельско-хозяйственные культуры». «Прежде всего, ряд участков — особенно в Тамбовской губ. — принадлежал крупным землевладельцам и служил в качестве сенокосов или выпасов в связи с развитым там коннозаводством; но вместе с тем иногда целины сохранялись, как... «памятники природы» (напр., «Лотаревская степь», в имении кн. Вяземского). Другие участки, как Хреновская степь, принадлежали государству и опять таки использовались в целях коннозаводства (казенный Хреновской конский завод). С другой стороны и еще иные причины способствовали сохранности степей, так степи «Стрелецкая», «Казацкая», «Ямская», Курск. губ. и «Ямская» Тамбов. губ. принадлежали обществам пригородных слобод того же имени гг. Курска, С.-Оскола и Тамбова и использовались исключительно, как сенокосные угодия (степи эти были пожалованы за те или иные услуги Екатериной II). Так как главное занятие жителей пригородных слобод или извоз («Ямские» слободы при большинстве городов) или огородничество, то, естественно, степи не распахивались, к тому же ямщики были обеспечены собственным сеном... Сохранность степей данной категории зависела, быть может, еще и от того, что они располагаются по большей части на далеком расстоянии от города и, следовательно, находятся в крайне неудобном положении для сельско-хозяйственной обработки; так, напр., «Стрелецкая» отстоит от Курска в 12-ти верстах, «Казацкая» — в 20-ти, «Ямская» от С.-Оскола — в 15 верстах. Дальность расстояния от поселения предотвратила, повидимому, распашку и Саинской степи находящейся в крестьянском владении. П.Н.С.). Ко всему сказанному нужно добавить, что степи служили для городов единственным источником высоко-ценимого «степного» сена... — Как же дело обстоит в данный момент и как мыслится в будущем? Мы полагаем, что, б. м., наиболее крупные участки сохранятся и в дальнейшем, т. к. они сейчас представляют государственный фонд и используются для нужд армии... Но, как бы то ни было, сейчас самое подходящее время для того, чтобы поднять кампанию в пользу создания в области планомерной сети степных заповедников, как станций научно-практической работы и как памятников первобытной природы».

Обращение описанных степей в заповедники облегчается, казалось бы, тем, что многие из них расположены в *окрестностях крупнейших городских средоточий края:* в окрестностях Тамбова (72 тыс. жит. в 1923 г.), Воронежа (95 тыс. жит.,), Курска (85 тыс. жит.) и Орла (74 тыс. жит.). Степям этим естественно стать как бы одной из «достопримечательностей» каждого из этих городов...

IV

Критика, обращаемая Алехиным против классификации степей Б. А. Келлера, кроме рассмотренной выше, имеет и еще одну сторону. В противоположность воззрениям Б. А. Келлера, В. В. Алехин, с одной стороны, устанавливает, что северные «разнотравные» степи, в равной степени, характеризуются присутствием кисточконосного и *узколистного* ковыля; с другой стороны, ставит под сомнение существование, *южнее* полосы «*разнотравья*» — степей, где господствующим растением является S. stenophylla (ковыль узколистный). Б. А. Келлер, в подтверждение факта существования такой подзоны (в пределах, в частности, Воронежской губ.) ссылается на два участка: 1) На востоке губернии в Новохоперском уезде в быв. имении Раевских около хутора «Паника»... по наблюдениям Т. И. Попова... *на склонах* (курсив наш, П. Н. С.) с... глинистыми черноземами встречаются заросли узколистного перистого ковыля», 2) «На западе губернии в Валуйском уезде узколистно-перистоковыльные степи сохранились... в виде клочков в бывшем имении граф. Паниной (около с. Вейделовки, П. Н. С.)... напр., на пастбище, занимающем не один десяток десятин по отлогим *склонам* (курсив наш, П. Н. С.) водораздела у балки Грачев Яр. Крупные дерновины узколистного перистого ковыля... то растут на этом пастбище более или менее разбросанно, оставляя как бы лысинки с сильно потравленной растительностью, то сгущаются в более тесные группы, давая редкую теперь картину ковыльной степи. Последняя с некоторого отдаления часто имеет вид словно кочкарника... Отметим, как характерную черточку, что в той же местности... была встречена крупная степная птица — дрофа». — Наряду с узколистно-перистоковыльными степями, Т. И. Попов отмечает около хут. «Паника» «значительные участки тырсовых (S. capillata, П. Н. С.), степей; последние... приурочены, здесь к открытым возвышенным равнинным местам»... Как имение Раевских в Новохоперском уезде, так имение Паниной в Валуйском, согласно большинству ботанико-географических карт, расположены (в зональном смысле) *южнее* границы распространения «разнотравных» степей. В Каменной степи Бобров. у.(около ст. Таловой). находящейся, согласно тем же ботанико-географическим картам, у самой границы «разнотравной» и ковыльной степи — появляется «в больших количествах, давая особый период, крупнодерновинный злак тырса» (А. И. Мальцев). Поведение же в этих местах узколистного ковыля не согласуется, по мнению В. В. Алехина, с предлагаемой Б. А. Келлером схемой: на Каменной степи S. stenophylla ... *тяготит* к местам *большего* увлажнения, встречаясь... даже по дну мелких овражков и лощин. Таким образом, несмотря на то, что мы находимся буквально в двух шагах от подзоны узколистного ковыля (а по Келлеру даже в пределах этой подзоны) все поведение этого ковыля не дает нам никаких точек опоры». Южные же склоны Каменной степи («хорошо сохранившиеся целинные... склоны» с господством ковыля Лессинга и тырсы (S. Lessingiana и S. Capillata), дают по мнению В. В. Алехина, «одно крайне важное указание, именно, мы наблюдаем массовое развитие ковыля Лессинга... что, по закону экстразональности, предвещает далее на юге степи господство этого ковыля. И в самом деле, в южных частях Харьковской губ., в Екатеринослав., Таврич. и друг. мы находим именно этого рода степи, или вернее, степи Stipa Lessingiana + S. capillata. Каменная степь дает таким образом прекрасное предварение степей со S. Lessingiana, но не степей крупно-дерновинных Келлера.

Так дело обстоит с крупно-дерновинными степями, которые нам *не удается связать* с всем, изложенным выше, обширным материалом по степям области». Последнее суждение В. В. Алехина нам кажется *не точным*. Сопоставляя данные А. И. Мельцева о массовом развитии *крупнодерновинной* тырсы на степи Каменной с указаниями Т. И. Попова о существовании *в плакорных условиях* «значительных участков тырсовых степей» около хут. «Ланиные» (см. выше), мы можем считать, что в рассматриваемых частях Воронежской губ. мы *уже* находимся в подзоне крупнодерновинных тырсовых степей... И сам же В. В. Алехин приводит данные, указывающие, что в местах *к северу* (в зональном смысле) от этой подзоны мы находим также и ее «предварение», отвечающее «закону экстразональности». В. В. Алехин не размещает указываемых им данных *в систематический ряд и потому* не замечает увязки, сопрягающей разрозненные факты. И Каменная, и Стрелецкая степи (хут. «Ланинкое») расположены, согласно данным воронежских исследователей-почвоведов, в пределах *подзоны обыкновенного чернозема*. Ст. Оскольский уезд, соседящий с Воронежской губ. отходит, при «экстраполяции» данных воронежских исследователей (а также согласно Л. И. Прасолову), к более *северной* ее зоне *мощного чернозема*. В этом уезде самому В. В. Алехину «приходилось наблюдать сплошные заросли тырсы... б. д. Авериной по степному склону с меловой подпочвой... Сплошные заросли тырсы мы встречали также у д. Барыкаловки того же уезда на закругленных вершинах меловых холмов»... Упомянутая выше подзона крупнодерновинных степей вполне закономерно» «предваряется» этими склонами.

Распространение ковыля-волосатика («тырсы») *нельзя отождествлять* с распространением ковыля Лессинга. Сплошные заросли тырсы имеются, как видим, в Ст.-Оскольском уезде. Ковыль же Лессинга появляется впервые в зонально *более южной* Каменной степи (ковыль этот отмечен также в крайних юго-восточных уездах Курской губ.). Однако, и ковыль-волосатик проникает далеко к югу и, *вместе с ковылем Лессинга*, составляет растительность более южных степей. Поскольку Каменная степь относится к подзоне крупнодерновинных степей, вполне естественно, что *южные* ее склоны «предваряют» не эту подзону, но *более южную*, а именно ту, где ковыль-волосатик сочетается с ковылем Лессинга...

Относительно упоминаемых Б. А. Келлером степей со S. stenophylla В. В. Алехин выражается так: «южные... степи со S. stenophylla являются для нас экологической загадкой... тем более, что и из других губерний мы пока не имеем соответствующих конкретных описаний, эту подзону подтверждающих». Мы же (И. Н. С.) допускаем возможность разрешения этой «загадки» и имеем авторитетное указание, подтверждающее «эту подзону». Допущение наше мы основываем на данных, главным образом, самого же В. В. Алехина, данных, которым он не придает обобщенного вида и потому наталкивается на «загадку», где ее, может быть, и нет... В. В. Алехин весьма убедительно доказывает факт «необычайно широкой экологической амплитуды S. stenophylla» (Н. Д. 30). В силу этой «необычайной широты... амплитуды», S. stenophylla проникает *к северу* от подзоны, отмеченной *совместным* распространением ковыля «кисточконосного» и узколистного (т. е. севернее подзоны «разнотравных» степей. Н. Д. 35–36). Но благодаря этой же «широте... амплитуды» — не может ли ковыль узколистный проникать также и к югу от этой подзоны?... Если в первом случае «местопроизрастания» его приурочены, по преимуществу, к южным склонам, то во втором,

в силу основной закономерности зонального ряда, мы могли бы с некоторым вероятием искать его *на северных склонах*. И, действительно, описания южных зарослей узколистного ковыля, данные Б. А. Келлером и Т. И. Поповым для имений Паншиной и Раевских (Валуйского и Новохопер. уездов), — говорит о распространении этого ковыля именно *по склонам*. Согласно описанию, склоны эти являются *пологими*. При наличии той классификации склонов Центральной Черноземной области, которую дает В. В. Алехин (см. выше), можно думать, что склоны эти, по преимуществу, *северные* — или аналогичные им... *) При пологости склонов, растительность их может быть *типична* для ландшафта подзоны. Обстоятельство это подтверждается тем, что И. В. Новопокровский (С. К., 4) для «степи района Донецкого кряжа» указывает, в качестве наиболее характерного, «перистый ковыль узколистный, отличающийся от перистого ковыля тырсовидного более длинными листьями и едва развитым язычком (незаметным)» т. е. несомненно S. stenophylla. Ковылю узколистному он противополагает в этих словах S. Tirsa. «Степь ... Донецкого кряжа» располагается на *обыкновенных черноземах*, приносимых, в среду окружающих южных, вертикальной зональностью Донецкого кряжа (Т. О. Р., 80). Указание И. В. Новопокровского подтверждает отмеченную Г. А. Келлером *предоставленность узколистного ковыля в степях на обыкновенном черноземе*. Таким образом, есть основания думать, что упомянутые выше местности Воронежской губ. принадлежат подзоне крупнодерновинных степей с *преобладанием в плакорных местах* S. capillata и *характерным развитием* S. stenophylla *на северных и аналогичных им склонах*.... Такая конкретизация есть, конечно, *видоизменение* схемы Б. А. Келлера, однако же, вполне учитывающее указываемые им факты. Говорить же в этом случае об «экологической загадке», как нам кажется, нет оснований. Упоминаемые самим же В. В. Алехиным *южные* склоны, с представленностью узколистного ковыля, на зонально более северных курских степях (К. Г. 102) дают вполне закономерное *дальнее предварение северных* (и аналогичных им) склонов, с зарослями этого же ковыля, в степях более южных... — За известным пределом, при продвижении к югу, ковыль узколистный исчезает из растительности степей. Это наблюдается, повидимому, в местностях, отвечающих «южным мелкодерновинным степям» Б. А. Келлера. Для «Приазовского» района, «к югу от Донецкого кряжа», И. В. Новопокровский прямыми словами указывает на отсутствие здесь на «ровной степи... ковыля узколистного и Лессингова.» Можно думать, что ковыли эти встречаются в упомянутых степях исключительно в глубоких западинах, дающих *дальнее отображение* северных степей...

---

*) Это предположение следовало бы, конечно, *проверить в натуре*.

V

Замечательные «североносные» явления приурочены в Центральной Черноземной области к тем местам, где на левой своей стороне (считая, конечно, по течению) заливная долина переходит в несколько возвышенную так называемую надлуговую террасу, занятую песками. Эти пески, отложенные здесь в свое время потоками талых вод ледника и получившие отсюда название флювиогляциальных, обсохнув, испытали на себе влияние развевания и приняли в верхних своих слоях дюнный характер. Позднее их заняли сосновые боры. До сих пор еще большие участки сосновых боров сохранились в Воронежской губернии около станции Графская и Хреновая,

на песках по левому берегу р. Воронежа и Битюга. Блуждая по этим борам, чувствуешь себя как бы перенесенным из степной области в более северную зону хвойных таежных лесов. Вместе с сосной здесь поселилось и много других сопровождающих ее северных растений.(Б.А.Келлер). лер. Далее, на нескольких страницах, Б. А. Келлер ведет перечисление этих растений. Нужно заметить, что также и *болота*, проникающие в пределы степной зоны, приурочены обычно к *песчаным надлуговым террасам* -- Иными словами, на основании материала по Центрально-Черноземной Области мы можем установить существование не только «северозносных» форм рельефа, но также «северозносного» субстрата, «флювиогляциального» песка...

Песчаные террасы по р. р. Воронежу и Битюгу в большей степени сохранили свой лесной характер, чем такие же террасы важнейших рек Курской губ. Так, В. В. Алехин (К. Г.) полагает, что сосна была когда-то распространена по песчаным террасам реки Сейма *между* городами Льговом и Курском. Здесь теперь сосны нет, а только «находится болотца с растительностью, предполагающей... прежнее произрастание сосны». На высокой же песчаной террасе р. Сейма в *окрестностях* городов Льгова и Курска сохранялись до последнего времени (а. м. б., отчасти существуют и сейчас). «острова» сосновых насаждений. Так под г. Курском (верстах в 10-12) «сосна встречается... двумя островками (... оба эти острова в настоящее время уже уничтожены, осталось всего несколько деревьев...): один на песчаном выгоне как раз у с. Канарева (левый берег реки Сейма) -- деревьев до 50 ш. . -- другой близ дер. Клюквы (правый берег реки Сейма), среди большого лиственного леса (дуб, осина, береза) на песчаной почве». Здесь насчитывалось до 100 сосен, самые старые из которых имели около 120-150 лет... Тут же по соседству под самим «Курском» также и болота «приобретают *исключительный интерес* по составу своей растительности, и можно сказать, что здесь мы имеем *один из интереснейших в губернии уголков*. Самое интересное болото находится в нескольких верстах от города... среди песков 2-ой террасы р. Сейма... Болото по своей растительности необычайно разнообразно, распадаясь на многочисленные сообщества, как исключительно травянистые, так кустарниковые и лесные... мы встречаем участки, сплошь одетые *сфагновым* ковром... интересны и прямо-таки неожиданны участки с кочками из Nardus stricta (белоус) и... участки с кочками кукушкина льна(Polytrichum), на которых в изобилии растут... растения... северного характера... Описываемое болото подходит очень близко к тому сосновому острову, о котором было сказано выше и с которым оно составляет одно *связное целое*. Северно-боровой характер болота, непосредственная близость песчаного соснового острова, -- все это заставляет признать, что наше болото *раньше было или покрыто, или окружено сосной*. Как бы то ни было, этот уголок борового характера, с одной стороны, и степи Стрелецкая, Казацкая и Саянская — с другой, заставляют признать Курский уезд одним из интереснейших уездов губернии как в фактическом, так и в *теоретическом* отношении».

Совершенно справедливо замечено (Н. Н. Сукачевский), что факт *тем значительней*, чем исходно более далекие друг от друга ряды скрещиваются в нем. В этом смысле, сочетание в окрестностях Курска характерных степей с характерною северной болотно-боровою растительностью представляет собою *замечательное скрещенье*. — Сохранившиеся сборы ревностного исследователя курской флоры К. С. Горникого (учителя в г. Нов.-Осколе в 1860-х годах, К. Г. 123), заставляют пред-

олагать существование также на крайнем юго-востоке Курской губ., в Н.Оскольском езде «моховых (сфагновых) олот». В Н.-Оскольский уезд роникает (см. выше) представитель такой относительно *южной* почвенной подзоны, как быкновенный чернозем. Если ы подтвердилось существование в Н. Оскольском уезде упомянутых выше сфагновых болот, них можно было бы видеть такой же *выход сфагновых олот к пределам обыкновенного ернозема*, какой наблюдается, апр., в Хреновском бору (см. выше). Весьма вероятно, что в Ново-Оскольском уезде или гденибудь по близости от его границ ожно наблюдать и аналогичную реновской «встречу» *болота засоления*. Ведь Н.Оскольский езд граничит с *южною* частью Воронежской губ. А для южной асти этой губернии Б. А. Келлером и В. В. Алехиным отмечаются и *солончаки . и солонцы*...*)

Северный ягодник, широко распространенный и в тундре — клюква—отмечен В. Н. Сукачевым в болотах «Кружок» и «Молчь», около с. Теткина, на границе Путивльского и Рыльского уездов.. Согласно карте Л. И. Прасолова, в этих местах на водоразделах наблюдается «чередование выщелоченных... и... северных черноземов». Укажем от себя (Н. Н. С.), что название деревни «Клюква» (под Курском), около которой находится описанный выше боровой сосновый остров, дает основание полагать, что клюква встречалась (или встречается) также и в том болотно-боровом комплексе под Курском, о котором говорит Алехин. В этих местах на водоразделах происходит, по Прасолову, «смена черноземов выщелоченных черноземами тучными (или мощными)». Но также и там, где водоразделы заняты «однородной полосой тучных черноземов» — «около станции Сомовой (в борах по р. Воронежу, Н. Н. С.) Л. Ф. Рунер в своем списке растений для окрестностей Воронежа указывал даже клюкву, которую, однако, потом ботаники в Воронежской губернии опять не могли найти. Только в 1920 году Т. И. Попов снова разыскал этот северный ягодник в упомянутой выше местности около с. Сомовой в урочище Маклок».

Здесь, от этапа к этапу, возрастает *примечательность* нахождения клюквы,—по мере того, как растет *исходное отстояние тех географически-экологи-*

---

*) В более северных частях Курской губ., и вообще в курско-орловской части Средне-русской возвышенности, солончаки и солонцы *отсутствуют*. Отсутствует, ем самым, и приносимое этими бразованиями предварение южных условий. На срединном меридиане и в западной стороне Доуральской России, по *низменостям* солонцы и солончаки роникают далее на север, чем о возвышенным местам. Это становимо при сопоставлении словий Курско-Орловской возвышенности с условиями как Тамбовской, так и *Днепровской* падины. К. К. Гедройц дает тому явлению нижеследующее об'яснение (применительно, в астности, к Днепровской впадине. Почва, как среда для сельско-хозяйственных растений, Кив 1926): «... устройство поверхности могло быть причиной бокового стока в эту впадину легкорастворимых солей, образовывающихся в процессе почвообразования в повышенных западных восточных боках этой впадины; грунтовые воды должны были поэтому здесь засоляться; а так как, вследствие пониженного рельефа, стояние их в этой впадине было сравнительно близкое к поверхности, то капиллярным поднятием могла засолиться в соответствующих местах и почва... впадины».

Эти и аналогичные им соображения можно, вероятно привлечь и для об'яснения значительной засоленности *западно-сибирской* равнины.

ческих рядов, которые сопрягаются фактом ее нахождения...

Интересно, что ст. Сомов и г. Курск находятся приблизительно на одной и той же географической широте, а с. Теткино (в смысле широтном) расположено несколько *южнее*..

Человеческая культура в ее отношении к внешней природе, — говорит между прочим, [illegible] *[illegible] разнообразия форм.* Стремление [illegible] *разнообразие* было тем, которое побудило нас воспроизвести описания, данные В. В. Алехиным, Б. А. Келлером и др. — сосновым, лиственным, солонцеватым, дубравам, степным кустам, борам и болотам Центральной Черноземной Области. Изменчивая культура [illegible] России [illegible] меняет, в одной из своих сторон и потребностей. [illegible] *боры на надлуговых террасах*, [illegible] степных, [illegible] и болотных ландшафтов [illegible] среди [illegible] [illegible] [illegible]...

Сосновые леса в Воронежской губернии, кроме песчаных почв, встречались еще на почвах каменистых. На правых возвышенных берегах речек Воронежской [illegible] Дона, Оскола, [illegible] мелые обнажения, которые раньше были, по крайней мере, в значительной степени прикрыты почвой и увенчаны темной зеленью сосновых боров. Но последние были вырублены, почва смыта, развились белые обнажения мела с крайне скудной разреженной и низкорослой растительностью..»

Сосна на мелу («горные сосняки») известна в Белгородском и Корочанском уездах. Курск. губ. (К. Г. 113). В противоположность тому, что мы видели относительно лесных площадей на надлуговых *песках*, — согласно данным, имеющимся к настоящему времени, на *меловых почвах* Курской губ. в большей степени сохранились леса, чем на таких же почвах Воронежской губ. *)

Меловой субстрат, в указанном значении, есть определенно *«североносный» субстрат.*

«Североносность» песчаного и мелового субстрата надлежит сопоставить с нижеследующим обстоятельством:

«Пусть у нас две почвы — одна — глинистая и другая песчаная. Если влажность у них одинаковая, то все таки корни растений у песчаной почвы будут в состоянии больше отнять влаги, чем у глинистой. Вообще почвы с крупными частицами или иначе грубозернистые (песчаные, каменистые) отдают растениям свою воду полнее, чем тонкозернистые — глинистые. Значит при одинаковой «физической» влажности глинистые почвы для леса «физиологически» будут более сухими, чем песчаные» (Б. А. Келлер).

В Центральной Черноземной области, по [illegible] расположению своих б л и з к о й к [illegible] о с и, — песчаные и меловые почвы дают [illegible] примеры *пере*[illegible], в известных условиях, североносных в югоносные *явления*. — Бор на песках, в этой области, есть явление североносное. Однако, «благодаря тому, что рассматриваемые боры находятся в степном крае, в условиях степного климата, —

*) Н. П. и В. П. Семеновы («Россия», II) описывают «обширное лесное пространство», лежащее к северо-востоку от течения р. Донца (ниже Белгорода) и охватывающее ныне водоразделы между реками сев. Донцом, Коренью, Корочей и Нежеголью и простирающееся до г. Корочи и границы Ново-Оскольского уезда... Лесная площадь эта занимает не менее 100 тыс. десятин в Белгородском и Корочанском уездах, а леса растут преимущественно на меловой почве».

Повидимому, только незначительная часть этого пространства занята сосной.

там, — где лес разрежен, — на порубках, полянах, по дорогам и т. п., он легко наводняется степными видами, среди которых многие особенно характерны именно для песчаного субстрата. А где на месте истребленного соснового бора мы имеем... сыпучие пески, развивается скудная разреженная растительность песчаных степей, и можно встретить виды, которые характерны и широко распространены на открытых песках сухого и знойного юго-востока, в области отдаленных полупустынь». (Б. А. Келлер).

Иначе говоря, *человеческое вмешательство* (вырубка) *переводит здесь североносное в югоносное явление*... То же касается боров на меловой почве.

«По меловым обнажениям проникают к нам многие виды, характерные и распространенные дальше к югу или юго-востоку, где почвы вообще носят сильно известковый характер... Несомненно, что во многих случаях самые меловые обнажения создались благодаря невольному содействию со стороны человека.. Человек вырубал леса. По склонам производилась пастьба скота. В результате смывался водой и сбивался скотом почвенный слой... обнажалась меловая порода». *Североносное явление бора переходило в югоносное явление мелового обнажения*.

«В. Н. Талиев в своих работах указывал, что во многих случаях меловые обнажения развивались на месте уничтоженных сосновых лесов, и редкие растения, свойственные этим обнажениям, являются здесь следовательно позднейшими пришельцами. Притом в ряде случаев особенно богатые колонии таких редких растений оказываются приуроченными к местам с большим историческим прошлым — древним поселениям, защитным и сторожевым пунктам, старым шляхам, по которым совершались набеги татар и т. д. Нет ничего невероятного, напр., в том, что крымские татары во время своих набегов на московский край к нам могли занести некоторые растения крымских гор» (Б. А. Келлер).

Татарские орды выступают здесь в качестве *кораблей степи*. *Через океан* заносят растения именно *корабли* (см. многочисленные примеры непредвиденного переноса растений через океан, приведенные у Б. А. Келлера, В. Г. также у Г. И. Танфильева. Очерк географии и истории главнейших культурных растений, Одесса, 1923, стр. 5). Между тем, напр., «степная часть Крыма, соединяющаяся с материковыми степями солончаковой зоной, является для большинства растительных видов не меньшей преградой, чем волны океана» (Е. В. Вульф).

Закончим наш очерк нижеследующими выписками из работы Б. А. Келлера (В. Г.):

«Флора травяных степей на равнинах Европейской России в главной массе своей восточного происхождения. Удивительно, до чего сходны степи, напр., в нашей Воронежской губернии и в Западной Сибири, конечно, при сравнении соответствующих подзон. Упомянутое сходство распространяется не только на видовой состав растительности, но и на самое ее сложение. Напр., в Западной Сибири мы находим тот же тип ковыльных степей с преобладанием узколистного перистого ковыля, либо тырсы... Даже формы более мелкого систематического значения оказываются тождественными в столь отдаленных местах... С Востока переселялись не только степные растения, но естественно также и степные животные. Это великое переселение совершалось в послетретичное время — в ледниковый период или ближе к нему примыкающую послеледниковую эпоху...» «В таежных моховых борах характерный для них сплошной почвенный покров из мхов образован по преимуществу 5 видами последних. Эти мхи встречаются вместе, слившись в тесную группу, на далеких расстояниях, напр., где-нибудь на Оби или на Алтае, с одной стороны, и в окрестно-

стях Казани или на севере Саратовской губернии — с другой. Все эти мхи есть и в наших (Воронежских, П. Н. С.) борах около станции Графской и с. Чертовицкого»...

Поскольку дело обстоит указанным образом, наблюдения, касающиеся растительности Ц. Ч. О., имеют значение для познания *не только этой области, но и всей России-Евразии*, в составе доуральских и зауральских частей, в составе *многих* степных просторов и *многих* лесных пространств... *)

И напрасно В. В. Алехин очерчивает «*район осиновых кустов*» пределами исключительно средних и южных частей Тамбов. губ., северо-восточных — Воронежской, северо-западных — Саратовской и юго-западных — Пензенской... *Осиновые кусты, под именем «осиновых колков», имеются также в Зауралье*. (см. напр., А. Н. Седельников. Растительный мир Киргизского края, стр. 101). И многое, что установлено, напр., относительно происхождения осиновых кустов в Бобровском и Воронежском уездах (Т. И. Попов) — *применимо также к условиям Зауралья*. Это обстоятельство, в числе других, уясняет и подтверждает *единство Евразии*, в пределах соответствующих подзон.

VI

Итак, «*в целях классификации и систематизации* «экстразональных» явлений, мы установили в предыдущем понятия «*североносных*» и «*югоносных*» явлений. Болотные пространства, проникающие с севера, и засоленные площади, идущие с юга, дали нам примеры одних и других. Те места, где в *пределах экстразональных местоположений*, процессы заболачивания «встречаются» с процессами засоления — мы обозначили, как *ось симметрии*. Из числа факторов, способствующих «североносности» и «югоносности», были подвергнуты рассмотрению формы рельефа и почвенные субстраты (песчаный и меловой). Было отмечено, что в частях симметрии, близких к ее оси (только этих частей коснулось обозрение: для других — у нас не было под рукой достаточных материалов) югоносные явления, в соответствующих условиях, переходят в североносные, и наоборот... Здесь наблюдается *сопряженность противоположностей*. Экстразональное явление, изменяя свой первоначальный характер, не перерождается в зональное, но переходит в другое экстразональное явление, но только противоположного характера. Этой формулой, в пределах рассмотренного материала, могут быть охвачены равно: переход югоносного солонца в североносный «осиновый куст»; превращение солонца же — в болотце; переход, при вырубке, североносного соснового бора на песчаной террасе — в югоносную формацию сыпучих песков; превращение североносного «горного сосняка» на меловой почве в югоносное сообщество меловых обнажений... — Что касается форм рельефа, то в обычных условиях, в любой местности «североносные» формы представляют *отображение* зональных условий более северных мест, «югоносные» — дают *предварение* более южных условий. Таким образом, выделяя растительность разных экспозиций, возможно, по сообществам данной местности «*предсказать*» растительность более северных и более южных районов... Следуя

*) Передовая вышеприведенные слова Б. А. Келлера, мы допускаем, что некоторые положения автора будут опровергнуты (или уже опровергнуты) другими исследователями. Так, мы имели указание, что для Сибири окончательно установлено отсутствие узколистного ковыля (S. Stenophylla). Здесь перед нами — другие виды (В. В. Алехин). Полагаем, что общий смысл утверждений автора все же остается в силе.

В.В. Алехину, мы совершили мысленно странствие по сохранившимся целинным степям Центральной Черноземной области. И на многочисленных примерах убедились в правильности только что приведенного (выставленного В. В. Алехиным) положения. И даже та «экологическая загадка», которая осталась неразрешенной В. В. Алехиным, показалась нам разрешимой, на путях *систематического упорядочения и теоретического осознания* фактов, приводимых (или упоминаемых) В. В. Алехиным... Наши выводы, в этом отношении, нуждаются, однако, *в проверке на месте*...

Хотя в мысленном странствии по *разнотравным* степям Центральной Черноземной Области мы шли вначале, *в широтном смысле*, на юго-запад, потом на северо-запад и только в конце на север, — *в зональном смысле* мы продвигались все время *на север*, в сторону более влажных условий. Нужно всячески подчеркнуть различие между понятиями «севера» и «юга» в смыслах: 1) широтном и 2) зональном. Для ботанико-географа имеет важность, по преимуществу, второе значение. *Именно к понятиям «севера» и «юга», в смысле зональном, обращены представления о североносных и югоносных явлениях, о «предварении» южных и «отображении» северных условий. Вне указанного различения, понятия эти могли бы вносить путаницу.* Различение же помогает, напр., более определенно, чем делает В. В. Алехин, оттенить «северность» курских степей, по сравнению с тамбовской «Лотаревской» степью, — хотя *широтно* курские степи южнее Лотаревской. Вообще, при определении места той или иной формации в зональной системе, различение это может помочь более резкому наложению «света и тени», более точному определению места...

Растительность степных участков, произрастающая в *зональных условиях*, дала возможность *установить параллелизм между рядами ботанических и почвенных изменений.* Есть основания думать, что сомнения по этому поводу В. В. Алехина (его предположение о возможности *огромного* расхождения «между почвенными и геоботаническими картами») едва ли всецело основаны на почвенно-географическом *недоразумении*.

Приведенные факты во многих случаях показывают *теснейшую увязку* ботанических и почвенных признаков. И тем обосновывают «синхорологическую теорию» т. е. систему взаимо соответствий (по месту) ботанико-географических и почвенных зональных делений. Конечно, и ботанические, и почвенные данные нуждаются в проверке. Обладая по данной местности *достоверными* указаниями, напр., о растительности, — по ним с большим вероятием можно *исправлять данные о почвах;* и наоборот, по данным о почве можно судить о достоверности ботанических данных... Прием этот следовало бы сделать *постоянно применяемым* в русской науке, — конечно, не отрывая его от *проверки в натуре*, но наоборот — проверкой в натуре обогащая «*синхорологическую теорию*»...

В совокупности своей, замечания наши, в конкретных положениях, всецело опираются на материал В. В. Алехина, Б. А. Келлера и др., а в идейной части подчеркивают необходимость *географию России строить, как систему*, схватывающую и проникающую *многое* разрозненное *единым* конструктивным принципом...

Петр Н. Савицкий

10-V-1927.

ДОПОЛНЕНИЕ

После окончания статьи автор ее получил возможность ознакомиться с работами И. И. Спрыгина: 1) Материалы к описанию степи около д. Поперечной Пензенского уезда и заповедного участка на ней, Пенза 1923 и 2) О некоторых редких растениях

Пензенской губ., Пенза 1927. Для предмета статьи, в особенности, существенна первая работа. Поперечинская степь занимает высокий водораздел (120-140 с.) На ней находятся вершины нескольких балок. Почвенный разрез дает картину черноземной почвы, значительно более северной, чем мощный чернозем Б. Д. Глинки (ниже гумусового здесь намечается горизонт, в котором все еще нет карбонатов, а следовательно — нет и вскипания; безгумусный и бескарбонатный горизонт [illegible], а в [illegible] чернозема такого горизонта не наблюдается) однако, описываемая почва является, по-видимому, переходной к этому [illegible] типу. И. И. Спрыгин характеризует ее [illegible] выщелоченного [illegible] мощного чернозема. — На степи имеется [illegible] (слой [illegible] мощностью около 2 см.). Раньше она была занята [illegible] кустом ([illegible]) [illegible] растительности [illegible] форм, [illegible] мелким [illegible] и пр.). Растительность Поперечинской степи интересно сопоставить с растительностью степи Лотаревской, расположенной в районе типичного мощного чернозема. В сравнении с нею, растительность Поперечинской степи носит более северный характер (в то же время ряд признаков сближает ее с растительностью степей Курского уезда, расположенных севернее [illegible] мощного чернозема). Так, Stipa capillata, преобладающая в Лотаревской степи в плакорных условиях, в степи Поперечинской (как и вообще в Пензенской губ.) встречается только по возвышениям (сурчинам) и склонам южной экспозиции (как то наблюдается также в степях курских). Ястребинки (Hieracium virosum и H. umbellatum), отмеченные в равнинных местопроизрастаниях Лотаревской степи, найдены в пензенской степи только на южных склонах). Так же обстоит дело с козлобородником, Tragopogon brevirostris, и однолетником Arenaria serpyllifolia). Наоборот, горицвет (Adonis vernalis), весьма характерный для курских степей, а в Лотаревской степи попадающийся «довольно редко», указывается для Поперечинской степи с отметкой «обильно»... Между прочим, отмечены И. И. Спрыгиным для этой степи (хотя и в роли одиночных экземпляров) Salvia pratensis (шалфей), Tragopogon pratensis, Delphinium rossicum, не фигурирующие в описании вегетационных фаз Лотаревской степи, но играющие видную роль в степях курских... (можно думать, что Поперечинская степь, в смысле зональном, как бы несколько южнее курских. В смысле широтном отношение носит обратный характер). В. В. Алехин пишет: «крайне странно отсутствие в курских степях Alopecurus pratensis (растет лишь по балкам)». То же явление наблюдается в пензенской степи: Alopecurus pratensis (лисохвост), встречающийся в Лотаревской степи, для ровных мест Поперечинской степи не упомянут (не встречен в [illegible]). Чина (Lathyrus pisiformis), кровохлебка (Sanguisorba officinalis) и молочай (Euphorbia procera), указанные В. В. Алехиным в подзоне северного мощного чернозема в составе «северолесных» сообществ (осиновых кустов и западин), встречены в Поперечинской степи в плакорных местопроизрастаниях (отметки «рассеянно» и «одиночно»). Посреди разнотравья плакорных местообитаний Поперечинской степи, южные склоны дают картину крупнодерновинной ковыльной и ковыльно-типчаковой степи. Здесь преобладает Stipa stenophylla. Почва напоминает обыкновенный чернозем (вскипание начинается в нижней части гумусового горизонта). Эти склоны могут считаться «дальним предварением» Келле-

ровских «крупнодерновинных степей со S. Stenophylla» (гл. IV).

Ковыль Лессингов, лядвинец, мятлик луковичный и житняк в Попереченской степи отсутствуют, как то и полагается для мест, северной подзоны типичного мощного чернозема (гл. III). В совокупности, данные И. И. Спрыгина представляют некоторое дополнительное обнаружение параллелизма ботанических и почвенных явлений («стихорология зон»). В смысле зональном, Попереченская степь, и в ботаническом, и в почвенном отношении, представляет, видимо, промежуточное звено между степями Лотаревской и курскими. В то же время наблюдения И. И. Спрыгина вносят поясняющую черту к разрешению той «экологической загадки», перед которой остановился В. В. Алехин (см. текст)...

* * *

Новый труд по географии России

(П. Н. Савицкий. «Географические особенности России». Часть I. Растительность и Почвы; 1927. Евразийское Книгоиздательство. Прага).

Русская научная литература в области географии обогатилась новым оригинальным научным трактатом. Евразийским книгоиздательством в текущем году выпущена в свет первая часть труда П. Н. Савицкого — «Географические особенности России» с подзаголовком: «Растительность и Почвы». Сам автор понимал свою работу, как введение ко второй, задуманной им части, под заглавием «Хозяйство», в котором явления и районы, установленные автором по признакам растительности и почв, будут сопоставлены и поставлены в связь с такими же явлениями и районами по признакам сельского хозяйства. Уже и сейчас в текущей прессе труд П. Н. Савицкого получил, в общем, высокую оценку и у ученых специалистов-географов, гео-ботаников и почвоведов. Правда, чтение книги П. Н. Савицкого не совсем под силу рядовому читателю — интеллигенту, ибо для ее чтения, понимания и оценки нужна предварительная школа географического мышления.

В настоящей нашей статье мы делаем попытку трактовать глубокие проблемы географического познания нашей родины языком и в терминах, доступных пониманию среднего читателя. Это нам кажется тем более нужным, что имя П. Н. Савицкого как основоположника модного сейчас течения мысли, окрещенного наименованием «евразийства», стало достаточно популярным и за пределами группы евразийцев. Мы сразу однако, должны оговорить, что не разделяем «утверждений» евразийцев ни в их общем учении, ни в их частных попытках доказать «особенности» России на путях ее культурной эволюции. В органическом мире нет двух индивидуумов тождественных друг другу и первобытные скотоводы отличают каждую данную овцу или корову среди тысяч других голов одноименной породы. Тем более индивидуальных «особенностей» мы найдем в сложных социальных и антропологических комплексах с их индивидуальной эволюцией. И однако же законы онтогенетического и филогенетического развития, такие, какими раскрывает их нам современная биология, остаются за-

---

*) Разделяя основные географические концепции П. Н. Савицкого — Редакция дает, однако, место нижеследующему критическому разбору этих концепций, как критике «по существу», и научной. Разбор этот принадлежит перу видного специалиста географа П. М. Могилянского.

конами общими и такими же общими останутся и для развития нашей родины законы социального, экономического и исторического развития, далеко еще не раскрытые до конца современной нам наукой. Существование же «особенности» в столь сложном комплексе, как Россия, особенностей в индивидуальных чертах характера географического, антропологического, этнографического и, в конечном счете, социального не подлежат, конечно, сомнению, иначе Россия не была бы Россией, Германия — Германией, Китай — Китаем. Раскрыть же эти «особенности» — индивидуальные черты, уловить их и точно характеризовать, наконец, в идеале найти их происхождение, дать рациональное научное их об'яснение — такова задача научного исследования. И в этом отношении каждый факт, каждая черта, научно освещенные, являются, несомненно, ценным приобретением для науки.

В дальнейшем нашей критике, изложению и рассмотрению подлежит исключительно научная сторона работы П. Н. Савицкого, как ученого географа, а не философа, апологета евразийской теории.

* * *

Прежде всего читатель должен освоиться с терминологией автора. Всякий термин является, по существу, условным. Развитая, рациональная научная терминология есть условный научный язык, созданный для избавления от многословия и для удобства, ибо при точности условной терминологии избегается смешение понятий, особенно когда ученые говорят на разных языках. Многие термины, особенно удачные, стали интернациональными, введены в научный язык всего мира. Устанавливая новую терминологию необходимо обнаруживать особую осмотрительность, ибо неудачная терминология ведет к смешению понятий и к путанице, в которой потом не легко разобраться.

В своей терминологии П. Н. Савицкий исходит из неудовлетворяющего его старого деления основного материка старого света — Евразии Гумбольдта — на Европу и Азию, принятую до сих пор географами всего мира, причем он делит этот материк на три географические отдельности, называя их «географическими мирами»: Европу, Евразию и Азию, причем *схематически* (курсив автора) границами мира евразийского автор считает пределы России. То что лежит к западу от них — есть Европа, то что лежит к югу и юго-востоку — есть Азия. И работа автора посвящена в значительной мере доказательству географической целостности евразийского мира. Понятно, что при такой схеме, обычный русский термин «западная Европа» вовсе упраздняется, ибо то, что так до сих пор называлось в русской терминологии — есть просто «Европа» в терминологии П. Н. Савицкого, «восточная» же Европа нашей старой географии уже вовсе не Европа, а лишь часть Евразии. Понятно поэтому почему автор обозначения: «европейская» и «азиатская» Россия заменяет именами России Доуральской (к западу от Урала) и Зауральской или короче: Доуралья и Зауралья. Кроме того он выделяет Закавказье и Туркестан.

Нет ничего законнее для русского географа, как искание и об'яснение в географических ординатах факта создания государственно-этнического монолита — имя, которому Россия. И вот думается, вопреки утверждению П. Н. Савицкого, что одних лишь строго географических фактов и взаимоотношений здесь мало, ибо в его границах «Евразия» все же является комплексом гетерогенным, ибо, если Доуральская русская равнина с западно-сибирской являются продолжением друг друга, причем их целость

не нарушается невысокой складкой Уральского хребта, то нельзя уже того же сказать о Сибири Восточной, географически глубоко отличной по своей физико-географической природе от западно-европейской низины, и в этом смысле река Енисей является настоящей границей, отделяющей друг от друга области по своей географической природе более несходные между собой, чем те, которые лежат по обе стороны Урала. Здесь сыграли свою роль факторы не только географические, но и этнологические, культурные и исторические. Вот почему с нашей точки зрения стремление уложить Россию в ложе вновь создаваемой П. Н. Савицким географической отдельности, его «Евразию», нельзя назвать ни вполне удачным, ни достаточно оправданным, тем более, что старый термин Гумбольдтовской «Евразии» получил давно права гражданства в географии и введение новой «Евразии» ведет к смешению понятий и едва ли будет когда либо признано международно. Ведь научная терминология все более становится интернациональной. Подведение географического фундамента под философию евразийства не обошлось таким образом без некоторого насилия над географией.

Еще менее, пожалуй, обоснованным является введение П. Н. Савицким термина — — Икумены.

«Азия, Евразия и Европа, в нашем определении составляют одну «часть света». Этой части света («Евразии» А. Фон Гумбольдта) в русской терминологии приличествует имя Икумены. Это греческое слово, означающее «вселенную», латинский orbis terrarum доныне не имело применения в русской терминологии. Ныне им можно обозначать «вселенную» русской истории, тот материковый массив, на котором развертывалась и развертывается русская история, основной континентальный массив Старого Света». (стр. 8).

Дело в том, что покойным немецким географом, профессором Лейпцигского Университета Фридрихом Ратцелем уже более четверти века тому назад был введен термин «Ойкумена» — понятие антропогеографическое, в буквальном смысле *вселенная*, т. е. обитаемая человеком земля, а не латинский orbis terrarum, из которого исключаются земли необитаемые человеком: некоторые острова, пустыни, высокогорные области и приполярные не заселенные пространства суши.

Термин Ойкумена или обитаемая земля приобрел права гражданства в науке, в частности и русские ученые им пользовались, а потому введение Икумены П. Н. Савицкого для обозначения Евразии А. Гумбольдта, едва ли имеет шансы на упрочение в науке. Да и по существу, многое ли он даст если не считать того, что узурпировав «Евразию» Гумбольдта, П. Н. Савицкий, чтобы не оставить лакуны в географической терминологии, ее место замещает Икуменой?

Вот вкратце существенные, необходимые замечания, без которых трудно обойтись при анализе солидного географического трактата, каким, по существу, является труд П. Н. Савицкого.

* * *

Трудами русской школы почвоведения и геоботаники, заложенной гением русской науки, профессором В. В. Докучаевым, его учениками Н. М. Сибирцевым, Г. И. Танерильевского и др. открыт был закон зональности распределения ботанических и почвенных факторов. Этот закон дал возможность уловить определенный конструктивный принцип которому подчиняется на низменных равнинах Евразии (П. Н. Савицкого) распределение указанных выше факторов: это принцип широтно-полосовой зоны.

Автор и рассматривает огромный ареал трех евразий-

ских изменчивостей [illegible] в десятках миллионов [illegible] [illegible] область [illegible] разностями рельефа, [illegible] больших и [illegible] под [illegible] [illegible] [illegible] форм [illegible] [illegible] — [illegible] [illegible] [illegible] формами [illegible].

В [illegible] русской географической литературы [illegible] лет, [illegible] в Европе, таковы, например, труды А. Д. Архангельского, А. А. Борисяка, В. В. Алехина, [illegible] и др., [illegible] более крупных исследований. [illegible] большой заслугой.

[illegible] частности (например, [illegible] Урала) то [illegible] — [illegible] как областей [illegible] рельефа [illegible].

В области же географической [illegible] П. Н. Савицкого мы уже отметили ту особенность в работе его, которой не могла бы избежать [illegible] упрека его [illegible], состоящую в том, что автор [illegible] в стороне тектонику и климатологию России — Евразии, в которых, по-видимому, наиболее резко сказываются основные различия, влияющие на весь комплекс географических явлений между Европой и Евразией, по терминологии П. Н. Савицкого, или между Западной Европой и Россией. Впрочем автор не мог конечно вовсе избежать трактовки вопросов геоморфологии и климатологии и ему осталось сжать их до крайнего минимума. Мы настойчиво желали бы видеть в работе доведенной автором до конца и эту часть развитою до необходимого минимума.

Впрочем, автор сознательно избирает свой путь в связи с общим по его мнению, уклоном западно-европейской науки в область геоморфологии и русской в область глобальной. Нам думается, что здесь автор не совсем прав, ибо классические работы русских ученых, как работы академиков А. П. Карпинского, Н. И. Андрусова и И. В. Мушкетова, именно много содействовали выяснению причин особенностей в географической структуре нашего отечества. И еще более укрепляет его на этом пути представление о русской географической науке, как об особом научном мире.

* * *

«Русская географическая наука есть своеобразный мир идей. И в одном из углов этого мира помещается «докучаевская школа» — пишет П. Н. Савицкий. В. В. Докучаев создал научное почвоведение, создал целую школу ученых, которые шли по проложенному им пути и русская наука справедливо гордится им, как создателем науки почвоведения, целой школы, которая плодотворно продолжала работу своего учителя, внеся стройную систему знания в область, где до Докучаева царил полный хаос и мрак, в котором ощупью бродила мысль ученых. И этого достаточно для славы имени В. В. Докучаева. Несколько витиеватая фраза П. Н. Савицкого, выше нами выписанная, может к сожалению, зародить известного рода недоумение. В чем собственно говоря «своеобразность» мира идей В. В. Докучаева? У П. Н. Савицкого

не находим об'яснения недоумения. Русский ученый пользовался научным методом исследования, также как и его старший современник: Д. И. Менделеев и гений их сказался лишь в том, что они оба с'умели, вопрошая мертвую природу и материю, найти законы управляющие их бытием. Никакое «своеобразие» в порядке и форме мышления не отличало наших великих ученых, принадлежащих к одной великой мировой семье научных работников. Это-же вытекает из всего сказанного П. Н. Савицким о В. В. Докучаеве в указанной главе и фраза, сказанная очевидно в порыве ораторского вдохновения, осталась неоправданной.

***

Ядро книги П. Н. Савицкого составляет шесть глав его умещающиеся на ста страницах. Главу пятую, под заглавием «периодическая система зон» необходимо читать, рассматривая одновременно данную автором таблицу, а потому мы можем говорить здесь лишь о результатах кропотливых сопоставлений по признакам метеорологического характера (по признаку средне-годовой относительной влажности и по признаку «наименьшей месячной») отдельных станций, характеризованных в таблице, причем они распадаются на четыре группы, занимающие каждая территорию, протянувшуюся «поперек, с запада на восток» и при том «более или менее параллельно широте», т. е. образуют подобие широтно-полосовых зон. Линии, соединяющие на карте пункты с одинаковой влажностью в час дня, которые автор называет «изолиниями Каминского», в честь исследователя, который настаивал на значении этого признака и собрал по этому вопросу большие материалы. Намеченные в предыдущем изложении автора правильности резюмируются так: годовая изолиния Каминского 79½ проц. отделяет тундру от леса, годовая 67½ проц. лес от степи, и, наконец, годовая 55½ проц. — степь от пустыни. Словом в географическом мире России-Евразии есть область, где в непрерывной последовательности и постепенности переходов, залегли с юга на север все четыре названные зоны: пустыня, степь, лес и тундра, причем каждая из означенных зон залегает сплошной полосой.

«Пролегание ботанико-географических зон в рассматриваемой нами области можно уподобить расположению полос горизонтально подразделенного четырехполосного флага: как на флаге чередуются цвета, здесь чередуются зоны», — делает отличное сравнение П. Н. Савицкий. И он дает название *долготного дера континента* той области, где с юга на север простерлись одна за другою, широтными сплошными поясами названные четыре зоны. Восточным пределом этой области является приблизительно 55° восточной долготы от Пулкова (меридиан Бийска), а именно та линия, на которой выклинивается в сторону востока степная зона, как непрерывная полоса. Западный предел этой области совпадает приблизительно с 15° восточной долготы от Пулкова (меридиан Царева) далее которого не распространяется к западу, в качестве сплошной полосы, зона пустынь.

К западу и востоку от Урала сложение четырехзонально. Область трехзонального сложения (за выпадением зоны пустынь) П. Н. Савицкий именует долготною осью Доуральской России. Десятый же градус восточной долготы от Пулкова, проходящий приблизительно через Архангельск, Владимирскую губ., Козлов и Новочеркасск, он называет *срединным меридианом Доуральской России*. Тундровая зона, как зона горизонтальная, выклинивается приблизительно на меридиане Пулкова, а прибли-

зительно около 5° западной широты от Пулкова, не доходя до гор. Львова, выклинивается и зона степная, тянущаяся сплошной полосой от предгорий Алтая. «Здесь то по долготе выклинивания тундры, как зоны «горизонтальной» (норвежские напр. «тундры» приурочены к возвышенностям — там «тундры» — вертикальная зона,) на долготе выклинивания степи как сплошной полосы пролегает граница Евразии, как особого географического мира. К западу лежит Европа». Здесь мы имеем решение научной проблемы определения границы восточной и западной Европы, границы физико-географической, конечно, а не политической.

Одним из важнейших ботанико-географических отличий Западной Европы или просто Европы, по терминологии П. Н. Савицкого, как показывает автор, заключается в том, что здесь область северных лесов непосредственно смыкается с областью южных лесов, тогда как мир «евразийский» низменностей отличается отсутствием этой смычки; здесь южные леса отделены от лесов северных сплошной и непреодолимой для древесной растительности безлесной пустынью, степной областью.

Физико-географический монолит России-Евразии является, однако нарушенным фактом, который упоминается и П. Н. Савицким, что на Дальнем Востоке — «восточном краю Икумены» (на остр. Сахалине, Приморской и Амурской областях) «южные» леса снова смыкаются с «северными».

В общем «флагоподобному широтно-полосозому зональному сложению евразийских низменностей — равнин противостоит мозаичное, дробное зональное сложение Европы».

* * *

Седьмая глава труда П. Н. Савицкого посвящена вопросам синхорологии зон. Глава эта наибольшая по об'ему труднее других поддается краткому, конспективному обзору.

Дело в том, что понятие «ботанической зоны», являясь само по себе понятием несколькопризнаковым, может однако рассматриваться как понятие «однопризнаковое», если признак ботанический трактовать, как некоторое единство, по отношению к понятию зон почвенных, сельско - хозяйственного быта, «агрономических возможностей» и т. д. (Автор дает характеристику этого рода зон в дальнейших частях своей работы.) Автор и пытается установить соотношение между пролеганиями делений разного рода, установить каким зональным делениям одного рода соответствуют определенные зональные деления другого рода, вскрыть явления «одноместности» или «сопространственности» зон. Автор считает одной из важнейших задач синтетического расчленирования — установление «синхорологии» зон.

Главу эту необходимо читать, имея перед глазами составленную П. Н. Савицким карту, где сопоставлены данные геоботанических работ академика С. Коржинского, Г. Танфильева, Н. Буша, и В. Алехина. Необходимо отметить широкое, критическое использование значительной по об'ему и содержанию литературы предмета, причем автор настойчиво проводит линию своего «евразийского» мировоззрения, оставаясь однако на почве географических фактов и категорий. Работа кропотливая, требующая самого усидчивого труда и внимательного анализа, проделана П. Н. Савицким с образцовой старательностью и напряженным вниманием к мельчайшим деталям. Дальнейшие продолжатели работ в этом направлении должны будут постоянно обращаться к труду П. Н. Савицкого.

Раскрывающаяся картина зональных делений дает автору основание говорить о совокуп-

ности рассматриваемых явлений как о «периодической системе зон» России-Евразии.

Укажем еще, что проблему синхорологии зон автор ставит как изучение систематическое, что отличает его постановку этой проблемы от других авторов, которые занимались фактически вопросами синхорологии, не выделяя этих вопросов в особую группу. «Проблема синхорологии есть проблема особая» — пишет П. Н. Савицкий: «ее нужно принять во внимание между прочим и для того, чтобы выработать рациональную систему ботанических и почвенных терминов».

Автором дана весьма наглядная таблица одноместности (или синхорологии) ботанических и почвенных зональных явлений.

* * *

В главе восьмой автор подвергает систематическому обзору «явления симметрии». Примером «симметрических» явлений может служить безлесие пустынь-степи и тундры — один из основных вопросов русской геоботаники. Мы не можем входить здесь в существо вопроса. Ботанико географические «симметрии» возможно установить по ряду признаков. Таково, например, сопоставление лесостепи и лесо-тундры, часто повторяемое в ботанико-географической литературе. Также и почвенные явления по некоторым признакам охвачены порядком симметрии. И автор отмечает, прежде всего, схождение крайних звеньев цепи. Болотная зона «симметрична» зоне солончаков: солончаки — болота юга. Здесь дело идет о перенасыщенности влагой поверхностных горизонтов болот и солончаков. Симметрия замечается и в распределении гумуса в почвах.

Также симметричны изменения почвенной окраски. Автор вопросу об окраске почв уделяет много внимания и рассматривает его в «обще-евразийском масштабе». В результате при схематическом изображении на карте «пред нами развертывается разнообразно-окрашенный семиполосный флаг. Снизу вверх белая, бурая, коричневая, черная, коричневая, белая, черная полосы — семиполосный флаг почвенной России-Евразии». И, согласно с общей своей концепцией России-Евразии, автор говорит: «Каков бы ни был генезис намечаемых симметрий и циклов — *порядок симметрических циклических изменений и образ «замкнутого круга» онтологически отличительных для России*, входят определяющей чертой не только в ее ботаническую и почвенную, но также экономическую, историческую и пр. характеристики: ***Россия-Евразия по многим признакам есть «замкнутый круг», завершенный материк и «мир в себе»*** (курсив везде автора). Здесь гео-ботанические факты целиком привлечены для формулировки обще-евразийской концепции автора, выраженной в его ранней статье «Континент — Океан» в сборнике «Исход к Востоку» 1921 г.

* * *

Последние главы посвящены «ботанико-почвенным отличиям зауральской России» и «явлениям» «одноместности» в вертикальной зональности. Как ни важны сами по себе задетые здесь вопросы и детали, мы не последуем далее за талантливым автором-географом в его кропотливых изысканиях, так как и без того заметка наша уже сильно разрослась.

Необходимо подвести некоторые итоги: если бы читателю показались некоторой мелочностью наши замечания сделанные особенно в начале этой статьи, то об'ясняется это исключительно общим отношением автора этой статьи к работе П. Н. Савицкого, как к серьезному, оригинальному, научному труду,

к которому пред'являешь самые строгие требования. А труд П. Н. Савицкого есть значительный вклад в сокровищницу русской науки. Мы полагаем, что некоторые из определений автора имеют все шансы остаться в научной литературе как установленные приобретения и как установленные понятия. Таково например определение границы между Европой и Евразией или границы между Западной и Восточной Европой, понимаемой в физико-географическом смысле. Таково далее понятие о «долготной оси зауральской России».

Как ученый географ П. Н. Савицкий оперирует научными понятиями, определениями и научным методом, в результате получается ценный новый материал к познанию необ'ятной нашей родины. Переходя далее к вопросам связи природы страны с ее хозяйством, автор берется за проблемы антропогеографии в новом понимании этой новой отрасли географической науки, и мы в праве ожидать от этого внимательного и талантливого преподавателя новой работы большого интереса и значения. Но заранее приходится учитывать и то, что автор — основоположитель евразийства, и в будущем не откажется от *своей* концепции России-Евразии и нам, конечно, придется считаться и с его новой терминологией и с его «своеобразным» евразийским уклоном и мышлением. Но в результате его работы — углубляется познание нашей родины — России. Это уже большая заслуга.

П. Могилянский

ДЯГИЛЕВ И ЕГО РАБОТА

Мы обманываем самих себя, когда постоянны; мы верней верного, когда изменяем. Верность бесцельна, если не окрашена изменой.

Это лишний раз подтверждено жизнью и деятельностью Сергея Павловича Дягилева.

Созданный им балет есть вместилище им пройденных или проходимых увлечений; здесь, как и в самом человеке, столкнулись и, тем не менее, ужились противоположные и даже враждебные друг другу элементы. В его работе — безпрерывная смена кажется единственным принципом: приятие, затем отбрасывание временно-нужных ингредиентов, каждодневная переоценка ценностей. Это не снобизм и не прихоть; здесь нет и речи о парении над искусством, а истинное претворение и отражение его в едва-ли не единственном верном зеркале.

«Ты единственный человек, умеющий мой товар лицом показать» писал однажды Чайковский Николаю Рубинштейну. С подобными словами мог-бы обратиться к Дягилеву каждый из «показанных» им музыкантов и художников.

Приступая к обзору работы С. П. я испытываю странное чувство неловкости перед казалось бы несуществующей, но весьма ощутимой цензурой; — цензура эта заключается в своеобразном своде понятий, выработанных в недавние дни теми китами, на которых стоит Париж. Разделяя творчество современников на «des choses bien» и «des choses mal» они об'яснений, по большей части не дают, но возражений не допускают. Тем труднее искренность. Люди непрестанно искренние — величайшая загадка; мудрая простота Дягилева в его подчеркнутой замкнутости. Ина-

---

От Редакции: Статья ввиду ее позднего поступления не могла быть помещена в соответствующем отделе.

че нельзя человеку, вся жизнь которого в тайных поисках неоткрытых Америк.

Париж летом 1924 и встреча с Дягилевым были началом моей музыкальной жизни — знаю, я не один, способный на такое признание; и поэтому да не покажется неблагодарностью мое удивление неизменной ориентации С. П. на Париж. Париж, где что ни улица, то законодательство, что не угол, то Моисей.

Призыв к порядку, о котором когда-то твердил Кокто, ничего не упорядочил: все осталось по прежнему, с той разницей, что ни законы, ни законодатели никому уже больше не нужны.

Дягилев, в начале своей работы, насаждал т. н. русское искусство: это было в пору «Игоря», «Шехеразады», «Клеопатры». Очевидность этих вещей — та самая очевидность, которая теперь кажется почти грубостью — прорезала глаза у незрячих и заставила их сложить руки в молитвенном трансе. Русский балет! Как многочисленны люди, которые и в 1928 хотели бы видеть только дюжину разнокалиберных Шехеразад.

Тем не менее огромность совершенного в те дни несомненна. Вывези Дягилев стереотипные заветы Петипа, к которым порой прибегает теперь, Европа осталась бы равнодушной. Яркость, подчеркнутость, «крупичатость» Корсакова, Бородина и их сценических толкователей — Бенуа, Бакста и Фокина — были одной из немногих шапок, которыми хотя на время закидали мы Запад.

Пробив окно в Европу, Дягилев от блестящей реконструкции перешел к настоящему и могучему строительству. Главным его сотрудником в этот своего рода «золотой» век балета был, конечно, Стравинский. Я не пишу музыкального этюда, иначе само упоминание этого имени заставило бы меня пространно изложить свой взгляд на взаимоотношение этапов его гигантской деятельности. Пока ограничусь тем, что скажу — в балете Дягилева поворот от основного задания определился лишь с «Весной Священной» (1913): и «Жар-Птица» и «Петрушка» были неслыханно ослепительным завершением поры «внешнего» руссизма, который ведет свой род от Балакирева и Корсакова, а не Глинки и Чайковского.

Итак первый период балета (1909-1913) означен давлением личной силы Дягилева, сумевшего (за исключением двух вышеназванных вещей Стравинского) поразить и потрясти Европу е уже сравнительно знакомым материалом («Шехеразада», «Игорь»). Десятилетие 1913-1923 — отмечено таким же давлением личност

Стравинского: стихийная мощь «Весны», через «Лисичку» (шедевр, до сих пор неоцененный) приведшая к титаническому самоутверждению «Свадебки» — свела чары зрелища «театрального» к предельному минимуму. Кто, в самом деле, помнит ничтожную работу Рериха для «Весны» или несравненно высшую по качеству, но ассимилированную соседством Стравинского, постановку «Свадебки» Гончаровой?

Не так в балетах того же времени, заказанных другим композиторам; выбор последних был, по большей части, неудачен (Штейнберг, Шмит, Штраус, Рейнальдо Ган) или за исключением превосходной «Треуголки» де Файя, представлял из себя гл. образом, музыкальное восстановление — Гимароза, Скарлатти, Россини — и давал большой простор хореографической и живописной выдумке.*)

Эта эпоха ознаменована рассветом Мясина (в работе Нижинского, мне кажется, играло крупную роль его личное обаяние как танцовщика) и художников Матисса, Дерэна и Пикассо. Сверхнациональное значение Стравинского указало на необязательность русских работников; отсюда, отчасти, пошла та «интернационализация» балета, которая вывела одних на свежий воздух и нестерпимо колет глаза другим.

Вначале сотрудничество «иностранцев» казалось эфемерным: ни большой Дебюсси, ни маленький Равель не оставили значительного следа на деятельности Дягилева. Постановка «парада» Сати, значение которого сильно преувеличено, была тріумфом Пикассо и откровением для молодых французских музыкантов, только что познавших прелести Music Hall'а и подстрекаемых нравоучениями Кокто.

Мы должны быть, тем не менее, благодарны Сати и Кокто, т. к. лукавыя их семена дали, вопреки ожиданиям, благодатные всходы. Циническая, но острая и жизнерадостная резкость Орика («Les Facheux», «Les Matelots», гораздо тусклее в «La Pastorale») и приятная свежесть Пуленка («Les Biches») были еще одним ударом сгнившему пост-импрессионизму (ублюдки Дебюсси) в гораздо большей степени, нежели намеренно простецкое кувыркание Сати. Успех молодых французов породил (чего следовало ожидать) новую и серьезную опасность: он открыл дорогу фаль-

*) Сюда не следует причислять сотворчество Перголезе и Стравинского в «Пульчинелле»; успешность реставрации не мешала здесь проявлению характерных черт реставратора.

шикой легкости, бесцельному и, в сущности, сухому и рассудочному легкомыслию. Страсть к искусству «веселому и приятному» оказалась после сокрушающей хватки Стравинского, упадком и разложением. Запоздалая молодость обернулась преждевременной старостью.

Беда в том, что под этим мировоззрением не оказалось фундамента методического дерзания Пуленка не хватило для вещей иного калибра, [illegible] и [illegible] Орика вскоре [illegible] и пошли на [illegible] «белизну» («Pastorale»). Я [illegible] поворот отсюда, но куда? Ни Пуленк, ни Орик этого пока не решили.

[illegible] (Laurencin, Pruna) [illegible] публику, зараженную [illegible] снобизмом [illegible] парижского успеха, что облегчило работу ряда молодых композиторов (Ламберт, Соге, [illegible] и Рьети, Лорд Бернерс).

Я не отрицаю достоинств двух последних: их техническое мастерство, находчивость и в особенности театральное чутье несомненны. Но все же эта музыка, жонглирующая общепризнанными ценностями, [illegible] весела ненастоящим весельем, горит [illegible] огнем. Это становится ясным при слушании, например, невозможно монотонной, в своей тупой смешливости партитуры «Ромео» Ламберта, наиболее слабого балета этого направления.

Однообразие музыкальных приемов (постоянная «четырехдольность» Рьети) в последнее время возведено в настоящий культ, но ни на какое «возрождение» не указывает.

Хореография Нижинской (особенно в «Ромео») сознательно отразила в своей рассчитанной беспомощности — и небрежности — всю шаткость — а, временами, и прелесть — поставленных его вещей. Несмотря на сказанное, в пройденной «веселой» полосе есть истинный и большой смысл: этот смысл в уравновешивании составных частей балета, как театрального зрелища.

Незначительность, иной раз просто незаметность, музыкального остова (Соге), при наличии «театральных» способностей у композитора, раскрывает, как это ни странно широкие горизонты хореографу. Вот в чем непреодолимая слабость балета: взгляните на сравнительную скудость выдумки в движениях, соответствующих гениальнейшим моментам «Свадебки»! И рядом как убедительны и ярки головоломные измышления Баланчивадзе,

вызванные элементарными тактами Согэ. Вывод, казалось бы, один; и акробатизм Балангивадзе, — и хореографический контрапункт Мясина («Salade»)—замкнуты в самих себя, независимы от музыки. Хорошо, все-таки, помнить, что замечательны те вещи, где музыка перетягивает, а не дополняет остальное.

Это напоминание кажется особенно своевременным в примере последнего (в прошлом сезоне) творения Дягилева, сдвинувшего всю жизнь балета с того, что грозило стать мертвой точкой. Я говорю о «Стальном Скоке» Прокофьева*).

Не побоимся сказать, что со времени «Свадебки» не было ничего равного этой вещи по силе и по чисто-качественной значительности. На первом же представлении стало ясно — отсюда возвращаться к МУЗЫЧКЕ («musiquette») немыслимо.

Много говорилось о бес'сознательности, беспочвенности (я не привожу более сильных выражений) музыки Прокофьева; пусть так — именно эта органическая непосредственность, отсутствие всякой ДИДАКТИКИ и предвзятости есть залог громадной потенции его дарования. Динамический размах, порой неистовый разбег, при редком богатстве мелодики (а не мелизмов) — не привлекательнее-ли это того пиэтического педантизма, что под различными масками просачивается в современную музыку?

Леонид Мясин в «Стальном Скоке» нашел, наконец, применение своей последней, слегка назойливой («семафорной») манере и в финале, дал ряд незабываемых построений, что вкупе с удачной работой Якулова, лишь подчеркнуло эпическую мощь прокофьевской музыкальной речи.

Сергей Павлович Дягилев — самый «весенний» человек на земле; от весны и измены и уклонения. Но эта последняя весна — настоящая.

Закончим этот обзор надеждой на дальнейшие сюрпризы такого-же рода и порадуемся выглянувшему (пора!) из-за тюка модных товаров лицу России.

Владимир Дукельский

— 1927 . Лондон

*) Шут мною намеренно здесь опущен. Я знаком лишь с музыкой того балета, и отсутствие его в Дягилевском репертуаре создает невозможность всякого отзыва с моей стороны.

МАТЕРИАЛЫ

КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ СТРОЙ В ИЗОБРАЖЕНИИ Н. Ф. ФЕДОРОВА*)

Кроме социалистических учений и научного марксизма мы не айдем в учениях XIX века сколько нибудь решительной критики современнюго капиталистического строя. Философы и моралисты в той области оказываются весьма слабыми. Главную роль в их ргументации играют развиваемые ими этические построения от морали идущая критика. Если же взять критику, исходящую т мыслителей, стоящих на религиозной почве, то их взоры обычно казываются обращенными назад и весь их критический пафос аправлен, преимущественно, к восстановлению исторически тживших хозяйственных форм. Причина этого явления лежит несомненностью в том, что авторы всех подобных построений ичего не видят впереди. Будущее не освещено для них таким деалом, который мог быть действенно воплощен в жизнь, преобразуя и освящая действительность. Будущее для них в лучшем лучае темно и неизвестно, а в худшем безотрадно.

Несомненно что учения Н. Ф. Федорова не могут быть отноимы к числу таких безнадежных попыток. Его критика противоюставляет современности действенный и подлежащий осуществ-

---

От Редакции: Настоящая статья является перепечаткой брошюы Н. А. Сетницкого «Капиталистический строй в изображении Н. Ф. Федорова.Харбин 1926 г.

*) Настоящая статья представляет главу из подготовляемой печати работы «Эксплоатация или Регуляция?»

Н. Ф. Федоров, мало известный русский мыслитель (1828-1903), ри жизни почти не публиковал своих произведений. Значительная асть написанного им было напечатано после его смерти Н. П. Оерсоном и В. А. Кожевниковым, под заглавием — «Философия Общего Дела. Статьи, мысли и письма Николая Федоровича Федороа». — Первый том издан в г. Верном в 1906 г., «не для продажи» ом второй — в Москве в 1913 г. Третий том готовится к печати.

Идеи Н. Ф. Федорова до сего времени известны сравнительно есьма ограниченному кругу лиц. Несмотря на исключительный нтерес всех развиваемых им построений, одних (правых) отпугивает го идейный радикализм, равного которому нет ни у одного из мысителей современности, а других (левых) — религиозный преобра-

лению идеал, идеал настолько высокий, что все положительные достижения нашего времени оказываются для него лишь жалкой ступенью к возможному будущему, а все отрицательные черты нашего строя становятся невыносимым, неприемлемым и совершенно неизвинительным злом.

Построения этого мыслителя до сего времени изучались только религиозными философами, но и они должны были отметить в его мышлении ту мощную струю активного преобразовательного отношения его к миру, которое возможно только там, где есть налицо конкретный проект будущего и где идеал мыслится не как что-то отдаленно неопределенное и по самой природе вещей недостижимое, а как план преобразования мира трудовым напряжением осуществляемый.*)

Отсутствие систематического изложения делает очень трудной задачу выделения из произведений Н. Ф. Федорова тех или иных конкретных проблем. Будучи многообразно связаны с основными его идеями, отдельные соображения, утверждения и критические замечания разбросаны в разных частях его книг. В частности, что касается его положительных взглядов на хозяйство и хозяйственный строй, то они развиваются преимущественно в статье «В чем наша задача?» (Философия Общего Дела т. I, стр. 248-352), где трактуется вопрос о разделении на «бедных и

зовательный пафос. В том же направлении действует и его язык. Н. Ф. Федоров является одним из наиболее трудно читаемых авторов. Для того, чтобы составить себе о нем некоторое представление достаточно привести следующую строку из книги Н. А. Бердяева: «Смысл Творчества»: «Есть в России гениальный и дерзновенный мыслитель Н. Ф. Федоров, автор «Философии Общего Дела». (стр. 342).

Подобного рода оценки можно услышать не только из уст наших современников. Не менее высоко Н. Ф. Федорова ценили лично знавшие его Л. Н. Толстой и В. С. Соловьев. Нам известны исследования (находящиеся в рукописях), где доказывается, что Ф. М. Достоевский писал «Братьев Карамазовых» под непосредственным впечатлением письма, в котором излагалось учение Н. Ф. Федорова. В книге А. К. Горностаева «Тяга земная», частично напечатанной в вышедшем в свет в 1914 г. сборнике «Вселенское дело», доказывается, что В. С. Соловьев в течение ряда лет был связан весьма крепкими узами с Н. Ф. Федоровым и считал себя его единомышленником.

*) В той же выше цит. работе Н. А. Бердяева мы находим следующие слова: «Огромно значение Федорова и его требования имманентной активности человека». (стр. 343), и несколько далее: «Радикальное и революционное сознание активного характера философии можно найти у Н. Ф. Федорова. Для активной философии мир есть проект. Для Федорова философия не есть пассивное отражение мира, а есть один из путей активного его преображения. Созерцательная метафизика ему совершенно чужда».

богатых» и рассматриваются два вопроса: «продовольственный» и «санитарный». Имеются они в статье «Супраморализм» в поставленном здесь первом «пасхальном вопросе» (Там же т. I, стр. 402). Критические взгляды Н. Ф. Федорова на современный хозяйственный строй и интересующая нас критика капиталистического хозяйства наиболее полно изложены в статье «Выставка 1889 года» (там же т. I, стр. 493) и в посвященной вопросу о разоружении статье: «Задача Конференции Мира» (Там же, т. II стр. 323)-

Первый возникающий перед нами вопрос сводится к тому, каким образом обе эти частные темы связаны с критикой капиталистического строя. В отношении первой ответить относительно нетрудно и нужное раз'яснение дает сам автор, в подробном подзаголовке этой статьи*) указывающий на то, что Всемирную выставку 1889 года «можно признать последнею, или — точнее — полным выражением «господства третьего сословия, городского по преимуществу, апогеем, кульминационным пунктом господства этого сословия» (там же т. I., стр. 492).

Что касается второй темы, то ее связь с критикой капиталистического строя требует некоторых пояснений. Н. Ф. Федоров с созывом Конференции Мира и с фактом инициативы, проявленной в этом деле русским императором, связывал ряд надежд на выполнение дела, которое он считал задачей своей жизни. Его не удовлетворяла постановка, которую придавала этому вопросу печать. В созываемой циркуляром 12 августа 1898 года конференции он видел нечто большее, чем попытку договориться о частичном разоружении. Он подчеркивал, что речь идет не о разоружении, а о конференции Мира и, благодаря ударению на слове «мир», ему представлялось необходимым поставить все вопросы на совершенно новую почву. В частности, по его мысли, работы подобной конференции не должны ограничиваться только юридической

*) Н. Ф. Федоров обычно своим статьям давал длинные заглавия, которые должны были по его мысли охватывать в сжатом виде, все содержание произведения. Разсматриваемая статья носит следующий заголовок: «Выставка 1889 года — или наглядное изображение культуры, цивилизации и эксплоатации — юбилей столетнего господства среднего класса буржуазии или городского сословия; и чем должна быть выставка последнего года XIX века или первого года XX, — точнее же выставка на рубеже этих двух веков; что XIX век завещает XX-му? (К проекту юбилейной столетней выставки).

Статья эта, сколько можно судить по переписке Н. Ф. Федорова, составилась из ряда статей под разными заглавиями, предназначавшихся для публикации в разное время. Закончена она была повидимому в 1899 году.

стороной дела, взаимными обязательствами по вопросу о военных и морских контингентах и т. п. Для успешности выполнения своего дела конференция Мира «стоящая на высоте своего призвания» должна была поставить перед человечеством новые задачи, осуществление которых займет все свободные силы, в настоящее время направленные на взаимную борьбу и раздор. По его словам: «конференция должна воинскую повинность, т. е. повинность взаимного истребления» превратить в повинность об'единения людей, обращенную на преобразование мира, на борьбу «против слепой силы природы, которая является основной, коренной причиной раздора, частным случаем которой и является война». (Там же т. II стр. 324). Эта задача примирения есть основное дело XX века. «Девятнадцатый же век смотрит на это дело чисто по ребячьи, думая, что можно уничтожить войну, не устранив причин вражды, причин в высшей степени законных». Постановка этих вопросов привела нашего автора к анализу природы современного милитаризма, который противополагается им старому священному милитаризму, защищающему прах отцов, обороняющему кремли (кладбища, гробницы предков) и оставляющему на произвол судьбы посады, в то время, когда «новый милитаризм защищает именно города с их богатствами, фабриками, торговыми складами, магазинами и оставляет без защиты кремли» (там же, т. II стр. 331). Таким образом новый милитаризм есть создание нового индустриализма, а этот вывод заставляет Н. Ф. Федорова спросить: «Что же такое промышленность?» На это он и отвечает в рассматриваемой статье, частично повторяя в ней соображения, высказанные им более подробно в первой работе, посвященной выставке 1889 года.

Выставка 1889 г. по мысли Н. Ф. Федорова, является особенно примечательным фактом потому, что в ней полностью отразилось столетнее господство буржуазии. Первый вопрос, который он ставит по поводу ее, формулируется так: чем же должна быть выставка подводящая итоги XIX веку? Ответ на него необходимо получить хотя бы уже потому, что к началу XX века «XIX век, о т р е к с я от веры в небесное царство, от Града Божия, о т к а з а л с я , можно сказать, от надежды и на земное счастье, от веры в царство земное, в град человеческий (пессимизм)». А такое двойное отречение, двойной отказ от всех чаяний, выдвигавшихся на заре вступления на историческую арену нового класса буржуазии, позволяет говорить, что выставка,

подводящая итоги XIX-му веку «должна быть критикою, а не панегириком его». Это отречение и отказ должны быть поняты и должно быть выяснено то начало, которое заменило и веру в Град Божий, и надежду на осуществление земного царства. По словам Н. Ф. Федорова все последующие выставки будут выражать уже вырождение и вымирание буржуазии, «а потому выставке 1889 года, которая есть лишь непосредственное и бессознательное выражение духа времени, — т. е. господствующего класса, — нужно обратиться из временного в постоянный памятник буржуазной эпохи, в музей, как сознательное воспроизведение отходящего времени, — такое воспроизведение, из которого можно было бы понять, кому и чему служило третье сословие».

Это предложение превратить периодическую выставку в музей, по которому можно было бы судить в будущем о буржуазной эпохе, обуславливает две стороны дальнейшего изложения. Вся рассматриваемая нами статья, таким образом; разделяется на две части: с одной стороны на определение и характеристику того импульса, на котором держится буржуазный строй и с другой — на проект выставки-музея, которая должна составить постоянный памятник буржуазной эпохи.

Что касается первой задачи, то «запад слишком хитер», чтобы откровенно сказать о том, во имя чего и для чего он существует. Раскрытие и прямая формулировка принципа современной хозяйственной деятельности не в интересах строя, все основания которого держатся на взаимных внутренних противоречиях и противоборствах. Строй, который утверждает о себе, что он существует, ради материального и нравственного (?!) благополучия б о л ь ш и н с т в а («большинство» прибавлено для того, чтобы придать некоторое нравственное значение промышленности, не сказано «в с е х» — из боязни впасть в утопию)», не может, сам явно выразить и указать, то начало, которому он служит и тот идеал, которым он живет и движется. Естественно поэтому, что такого рода разоблачение оказалось возможным для более простой и менее промышленной страны, где промышленность есть лишь результат поздней сравнительно прививки. По словам Н. Ф. Федорова сделано это было русскими:

«Наша местная всероссийская мануфактурно-художественная выставка 1862 года была близка к истине, она почти открыла кому служило и служит то общество, выражением, которого была всемирная выставка 1889 года, она открыла это, поставив при

самом входе на выставку изображение женщины, (или лучше — дамы, барыни, гетеры, — будет ли это наследница Евы, Елены, Пандоры, Европы, Аспазии...) в наряде, поднесенном ей промышленностью всей России из материй признанных вероятно, наилучшими из всех, представленных на выставку, — изображение женщины, созерцающей себя в зеркале и, кажется, сознающей свое центральное положение в мире (конечно, европейском только) сознающей себяк онечною причиной цивилизации и культуры».

Таким образом, обнаруживается то, что лежит в основе современного строя и становится ясным, что «вся культура есть культ того идола, который поставлен был при входе». Такая характеристика, данная Н. Ф. Федоровым вопросу об основе нашей современной хозяйственной жизни, рассматривающего ее, как продукт гипертрофированного, вследствие не надлежащего направления всей жизни, и доведенного до высокого напряжения полового влечения, выдвигает вопрос о роли и значении этой потребности хозяйственной жизни и· в экономическом строительстве. Из двух двигателей человеческой жизни, которыми являются, по словам Шиллера, голод и любовь, наш автор подчеркивает, что любовь и любовь половая (похоть), является тем фактором, который приводит к построению современного общества и созидаемого им строя. Таким образом, говоря о построении музея, долженствующего быть памятником протекшего столетия, музея столетнего господства буржуазии, он говорит о том, что в основу его должна быть положена книга или литература возможно полно выражающая существо этой эпохи, связанной с культом женщины. Такою книгой является энциклопедия, «которая прежде чем, «сделаться книгою», была остроумным, банкетным разговором, была «проектом промышленного государства, т. е. земного счастья, проектом царства женщин, и создавалась под влиянием женщин».

Но, если такова основа, таков проект, то самый музей третьего сословия должен быть возможно полным изображением и истолкованием этого царства женщин, их господства, «господства не тяжелого, но губительного». При этом самое изображение должно быть наглядным, ибо будущие поколения, которые должны будут знакомиться с подобным музеем окажутся не в силах понять многое, что им будет показано и представлено. Поэтому такой музей нельзя строить в форме склада и магазина, как сейчас построя-

ются выставки. Он должен быть построен так, чтобы все предметы, которые будут там выставлены, были показаны исполняющими свое назначение; они должны быть представлены «влияющими на человека, подчиняющими его себе, держащими его в вечном детстве, несовершеннолетии, расслабляющими его тело, уродующими его душу».

Такое расположение должно выдвинуть в центр рассмотрения изображение того явления в жизни буржуазии, в котором наиболее отчетливо обнаруживается и раскрывается все то, для чего весь этот строй существует, цель и конец всего хозяйственно-производственного процесса, цель и конец, которые одновременно являются началом, побуждающим к деятельности, началом, приводящим в движение всю сложную машину современного капиталистического строя. Таким моментом является для буржуазного общества бал, собрание (ассамблея) лиц, принадлежащих к правящему классу или связанных с ним.

«Ассамблея — бал, как введение, приготовление к брачному пиру, — со всею их обстановкою, есть произведение промышленности, ее цвет, корни которого кроются в глубоких рудниках и шахтах — это всемирная промышленность в ее потреблении». Этот потребительный момент тем более характерен, что в нем проявляется и осуществляется основное искусство созданное эпохой. «Это высшее, основное европейское искусство есть искусство одеваться — искусство половой борьбы, полового подбора, которое и создало промышленное государство».

В противоположность Греции, где центром жизни, ее вершиною и целью было: «искусство эллинское, парнасское, или олимпийское, гимнастическое (безодежное, нагое)», для буржуазной Европы искусство одеваться и тем самым скрывать и укрывать особенности и дефекты своего тела является завершением и смыслом всего производственного процесса, при чем этот процесс не только захватывает все существо, но и переносится на вещи. «Греки дорожили красотой тела, а европейцы дорожат красотой одежды; наши выставки заменили греческие игры, но только ассамблеи и балы служат поприщем для высшего проявления искусства одеваться».

При этом одеванье в буржуазном обществе распространяется на все: одеваются не только люди, но и предметы : книги (в роскошные переплеты), мебель (обойное дело), посуда (раскраска)

и так далее. И в этом виде и с этим качеством одетости, по мысли Н. Ф. Федорова, все соответственные предметы должны быть представлены в действии и потреблении, составляя отделы музея. На ассамблею - бал не ходят, а ездят, и собрание экипажей, столь же прекрасных, как игрушки, у помещения, где происходит бал, должно составить экипажный отдел выставки. Остальные отделы должны быть построяемы по тому же принципу.

Таким должен быть изображен центр выставки-музея, - бал-ассамблея, являющаяся поприщем полового подбора, где совершенствуется и достигает своих пределов уменье одеваться, соответствующее оперению в царстве животных и где женщина, пользуясь всеми «произведениями фабрик и заводов для соблазна мужчин, заставляет и сих последних пользоваться произведениями тех же фабрик и заводов, чтобы, в свою очередь путем соперничества друг с другом, действовать на нее, на женщину».

Все это, конечно, ведет к торжеству женщины и поражению мужчины и, в качестве своего следствия, влечет за собой изнеживание и вымирание. Усматривая высшее счастье в сближении полов, буржуазный строй совершенно отделяет его от рождения, т. е. признает брак союзом для наслаждения, наслаждения, боящегося смерти и уверяющего ради самоуспокоения, что смерти нет. Таким образом «ассамблеи - костюмами, своею женеподобною наружностью, романтической литературой, эротической поэзией, танцами, знанием и всеми искусствами, прилагаемыми к ассамблейному делу - возбуждают половые страсти, приводят к преждевременной зрелости, к истощению».

Но, если таков центр и вершина, завершительно-потребительный момент буржуазного общества, то какова же его основа, база и окружение? На это Н. Ф. Федоров отвечает, помещая под ассамблеей изображение фабрики и завода, что даст по его мысли изображение «всей индустрии в ее производстве и добывании». Таким образом, нижний этаж выставочного здания, поставленный под ассамблею, занимает четвертое сословие, пролетариат, и тем самым ассамблея, являющаяся пиром третьего сословия, оказывается пиром над вулканом. «В таком положении четвертого и третьего сословий выражается взаимное их отношение» и нижний этаж — надземная фабрика и подземная шахта грозят пирующей верхушке постоянными беспокойствами, стачками и восстаниями. «Этих изображений, замечает Н. Ф. Федоров, и

ает обыкновенно на выставках, хотя копи составляют основу, корень, глубочайший фундамент промышленных государств, — но основу вулканическую, а потому изображение этой основы, в связи со всем остальным, дало бы надлежащее представление о всей непрочности современных государств».

Но фабрикой и заводом не ограничивается характеристика буржуазного строя. По словам Н. Ф. Федорова, «фабрики, подчиняясь женщинам, имеют и у себя рабов». Это — науки и искусства, науки в лице их представителей и учреждений, которые обслуживают производство со всех сторон. Нет отрасли знания, которая не была бы привлечена к выполнению этого рода работы. На первом месте по степени своей полезности ставятся общества естествознания, но «фабрика заставляет даже археологов извлекать из старых рукописей и памятников орнаменты, которые и употребляются так же, как орудия полового подбора».

Но все это подчиненные и второстепенные с точки зрения господствующего строя учреждения. В царстве женщин академии и университеты равно, как и другие учреждения, связанные с наукой, не могут быть поставлены на одном уровне, с ассамблеей или в одном ряду с фабрикой. Им место на заднем дворе, ниже первой и сзади последней. Любопытно отметить ту градацию, которую стремится установить рассматриваемый нами автор в среде наук и искусств, представленных на подобного рода выставке-музее:

«Самую нижнюю и заднюю часть займут ч и с т ы е, т. е. н е п р и к л а д н ы е науки; ближе к фабрике станут прикладные науки: а самое высшее место на заднем дворе наук и искусств должно быть отведено опере и балету... Самое последнее место (в этом царстве) занимают музеи, которым... остается быть лишь собранием ветоши»...

Указывая на то, что этот род деятельности собирание и хранение ветоши представляется анахронизмом нашему веку, где живое дело и высшее искусство сводится к тому, чтобы одеваться в тряпки, Н. Ф. Федоров замечает—«как не сказать нынешнему поколению: не гордись, тряпка, — завтра будешь ветошкою». Действительно, и деятели революции 1789 года уже поглащены кладбищем, а весь период с 1789 по 1889 год уже стал достоянием истории и сдан в архив, а изучение и сохранение памяти о нем стало делом музея. Эта гибель и смерть заставляет его поставить вопрос о роли погребального искусства в буржуазном строе.

Место ему он отводит при самом выходе с выставки. «Если женщине дано место при входе на выставку, то почему бы обществу похоронных процессий, не отвести место при выходе, и притом тотчас за медицинским и хирургическим отделами, указывающими на вечность болезни и смерти, что по учению прогресса считается явлением естественным, неизбежным, нормальным?»

В этом современном искусстве достигает крайних пределов стремление всего строя к фальсификации и извращению естества. Оно пытается, «самой смерти придать образ жизни, обманывая не только обоняние, но пытается обмануть и зрение, подкрашиванием и подбеливанием мертвеца, стараясь представить его не только живым, но и цветущим.»

Но, если такова организация современного общества на его вершине, в его командующем слое, то каково же место, занимаемое в нем другими общественными группами? Таких групп, существующих наряду с третьим сословием, Н. Ф. Федоров насчитывает две: это — четвертое сословие, пролетариат, фабрично-заводские, промышленные рабочие, и жители села — крестьянство — пятое сословие, если не считать промежуточного ученого сословия — интеллигенции.

Четвертое сословие в выставочном здании занимает нижний этаж, находится под ассамблеею и является взрывчатой вулканической силой, лежащей в подпочве всего торгово-промышленного строя. Но определения взаимоотношения путем такого расположения помещений между четвертым и третьим сословием недостаточно для того, чтобы судить о характере самого четвертого сословия. В капиталистическом строе оно тянется за третьим, поэтому то при этом порядке оказывается, что «ассамблея для третьего сословия то же, что для четвертого трактир и дом проституции».

Этой формулой определяет Н. Ф. Федоров взаимоотношение между обоими названными общественными группами. В ней с одной стороны указывается то конечное место, где находят себе лучшие устремления четвертого сословия, а с другой — подчеркивается, что это является не чем-либо внешним, а органически присущим буржуазному порядку, где социальные верхи подают пример низам и увлекая, побуждают их к подражанию себе в самом основном и главном стремлении. Но четвертое сословие всецело зависит от наличности фабричного производства, а рост последнего, открытие каждой новой фабрики, что, конечно

одобряется обществом в целом, влечет за собой автоматический рост пьянства, и разврата, что доказывается статистикой. Конечно, такое расширение производства одобряется и правительством, ограждающим интересы правящего сословия, причем это правительство, учитывая все результаты этого расширения, не преминет обычно: «усилить полицию, увеличить мирный состав войск, не оставит без увеличения и судебные трибуналы», и, с помощью статистики, точно определит необходимую степень увеличения всего этого.

При таком положении естественным становится то распределение мест в нижнем этаже выставочного здания (под ассамблеей), которое рисует Н. Ф. Федоров. Центральное место здесь будет принадлежать фабрике и заводу с их придатками: трактиром и публичным домом. Фасад этого помещения должен быть представлен магазином, где товар выставляется, показывается лицом, а фабрика с ее дополненьями должна представлять изнанку, тыльную сторону этой постройки.

При этом среди построек, характеризующих третье и четвертое сословия в том же здании или среди той же группы зданий помещаются университет и концентрируются ученые, художественные и учебные заведения. Все учреждения эти должны быть сосредоточены на задворках центральных сооружений капиталистического строя. Их положением должно быть обозначено место в этом строе «ученого сословия», т. е. интеллигенции, той группы, которая оказывается занимающей какое-то промежуточное место между обоими основными группами: торгово-промышленным классом и фабричным пролетариатом. Ниже мы приводим в выдержке исчерпывающую характеристику этого слоя, от которой трудно что либо убавить.

«Ученое сословие, — деля барыши с третьим сословием, т. е. участвуя в обращении принадлежащих к четвертому сословию фабричных рабочих, — в машины, в клапаны, — так сказать, обезглавливая их на все шесть дней недели, — показывает вид, будто принимает горячее участие в рабочих и в седьмой день занимает их популярными чтениями, т. е. как бы возвращает им на этот день голову, которая для рабочих, таким образом, то же, что шляпа, которую надевают по праздникам. Участвуя в действительном порабощении, в действительном обезглавливании людей четвертого сословия, ученые дают им мнимое поддельное популярное просвещение, вместо действительного

участия в познании, и, вместе с тем освобождают от предразсудков, т. е. от религии, заменяя авторитет духовенства своим собственным. Те же ученые, которые не успели еще войти в долю с третьим сословием, те стараются вооружить «четвертое сословие против третьего».

Роль ученого сословия в капиталистическом строе, с точки зрения Н. Ф. Федорова, тем возмутительнее, что оно есть та сила, единственная сила, которая могла бы при правильном понимании своего значения направить общественную жизнь по другому руслу. Занявшись исследованием коренных причин, ведущих мир к розни и гнету, оно могло бы разрешить все мучащие человечество вопросы, тогда как в настоящее время члены этого сословия, в руках которого находится все разумение, не только не выполняют своего долга, «но в угоду женской прихоти, создав и поддерживая мануфактуру, этот корень неродственности, изобретают все новые и новые средства ее, т. е. изобретают орудия истребления для защиты порожденной женской прихотью мануфактуры». (Фил. Общ. Дела т. I. стр. 6).

Все разделение общества на противоборствующие классы, согласно мысли Н. Ф. Федорова, являются не чем иным, как результатом разделения его на людей мысли и людей дела, на ученых и неученых. «Это разделение составляет самое великое бедствие, несравненно большее, чем распадение на богатых и бедных», причем разрешение вопроса об этом втором распадении всецело зависит от разрешения первого. А устранение его зависит не от распространения популярного образования, а только от участия в знании и участия всеобщего. Доколе не будет участия в знании всех, до тех пор «чистая наука останется равнодушною к борьбе, к истреблению, а прикладная не перестанет помогать ему, помогать и прямо — изобретеньем орудий истребления, и косвенно, придавая соблазнительную наружность вещам, предметам потребления».

Возвращаясь к выставке и заканчивая описание центрального здания проектируемой выставки, где об'единены ассамблея — фабрика со своими придатками и учреждениями, связанными с наукой и искусством, мы услышим, что «описанная группа зданий будет служить выраженьем «политико-экономической мудрости посада, эксплоатирующего село». Против этих зданий, как отражение их в другой сфере отношений, должны быть воздвигнуты иные постройки,

являющиеся необходимым дополнением к первой группе. Сюда должны быть вынесены, казармы, полицейские части, будки, суд, тюрьмы и т. под. здания, являющиеся «выражением п о л и т и к о-ю р и д и ч е с к о й м у д р о с т и п о с а д а». Здесь будут, таким образом, представлены все учреждения, помогающие «торгово-промышленному классу совокупно с рабочим классом в эксплоатации села или пятого сословия, потому что город относится к селу, как хищник, или как плотоядное к травоядному».

Таков современный город, как нечто целое, где сосредоточена вся жизнь правящего класса и обслуживающих его групп населения. Характеристика его должна быть дополнена описанием тех взаимоотношений, которые развиваются в городской среде не только между отдельными группами, но и между всем городом и отдельным лицом. Душу этого города составляет: «п р о г р е с с п р о м ы ш л е н н о-т о р г о в ы й, постоянно усиливающий внутреннюю борьбу» и «п р о г р е с с п о л и ц е й с к о-с у д е б н ы х у ч р е ж д е н и й, обязанных сдерживать борьбу», предупреждать столкновения путем постоянного наблюдения, путем наказания тех, «которые выходят за пределы личной свободы, допускаемой законом».

Таким образом, надзор, кара, страх наказаний, пресечений и предупреждений и, как символ всего этого, острог и тюрьма «где собраны всевозможные орудия наказаний» — такими чертами должна быть представлена внутренность современного города. Извне же такой город будет изображен крепостью «представляющей все усовершенствования в наступательных и оборонительных орудиях войны — это п р о г р е с с в о е н н ы й». Но этот военный прогресс является только внешним и искаженным. Индустриализм внутри и милитаризм вне не обеспечивают прочности промышленно-торгового государства, которому грозят не только внутренние взрывы. «Милитаризм на подкладке индустриализма оказывается бессильным для защиты: оружие улучшается, а войско ухудшается... население становится интернациональным, земля для такого населения не прах предков, а богатство, только не ему, большинству, принадлежащее». Это положение чревато всяческими поражениями и верная действительности выставка должна показать, как оружие, приготовленное промышленной страной для своей защиты, обращается против нее же и «оказывается приготовленным на свое поражение и погибель». Такое соотношение между внутренностью и внешностью ведет к тому, что

выставка с одной стороны «показывает богатство, как приманку, а с другой стороны показывает оружие, которым это богатство будет отнято». Так Н. Ф. Федоров оценивает выставку 1867 года, где Франция показывала свои богатства, даже стремясь показать их больше, чем их было. Это была одна из приманок, возбудивших аппетит Германии «и особенно Пруссии, которая в 1866 г. показала свою силу».

Выставка 1889 годе должна таким же образом показать, что пять миллионов контрибуции для Франции ничего не значат и она может уплатить какую угодно новую контрибуцию. Но такое демонстрирование своих богатств, и связанные с ним провоцируемые войны, ведет не только в внешним международным столкновеньям. «Аппетит к богатствам», таким образом, побужден не только в Германии, но и в самой Франции.«Четвертое сословие самой Франции увидало богатства третьего сословия и быть может в конференции по рабочему вопросу, «собранной императором Вильгельмом, можно видеть начало союза между Германией и четвертым сословием самой Франции».

Таков строй, представленный выставкой 1889 года, заключающий в себе отрицание цели и смысла жизни, нарушение и отрицание всех 10 заповедей, а первой и пятой в особенности, строй, который в качестве единой религии признает мамонизм («религия американцев — этих истинных представителей нашего века»), где Вандербильды и Ротшильды единственные святые. В этом строе мы наблюдаем три вида прогресса: милитарного, юридического и индустриально-экономического, причем последний, влекущий за собой внутреннюю войну, являясь, т. с., гражданским милитаризмом, представляет зло еще больше чем, милитаризм международный. Но результат этого тройного милитаризма в том, что он превращает человечество в то состояние, когда каждый каждому волк. «Самое же величайшее проклятие, зло это наше постоянное сторожевое положение, страх или опасение покушений на плоды наших личных трудов, на наши личные права, — этот наш внутренний д у ш е в н ы й м и л и т а р и з м, это первая заповедь п а и ц и з м а, светского катехизиса, на котором только и может держаться социализм. Этот внутренний милитаризм вызывает также необходимость и постоянного высшего надзора».

Таким образом, все построения Н. Ф. Федорова заостряются в трех положениях, которые связаны со всей системой его уче-

ний. Современные разделения в среде человечества он сводит не к экономическому, а к интеллектуальному фактору. Классовое, сословное и всякое другое расслоение не есть первичное и самостоятельное явление, а лишь результат предшествующего ему разделения человечества на людей мысли и дела. Расчленение, родственной первоначально среды на группы, занятые исключительно проэктивно-организационной и символической деятельностью с одной стороны, а с другой — оставление за большинством только исполнительно трудовых деятельностей и напряжений влечет за собой все дальнейшие общественные дробления, наслаивающиеся на это основное.

Нашей современностью выдвинут на очередь вопрос социальный, вопрос о бедности и богатстве, но это вопрос второстепенный, симптом некоторого более глубокого разделения, а потому лечение его не ведет к цели и вне излечения человечества от основных противоречий невозможно достичь сколько-нибудь удовлетворительного разрешения социального вопроса. Современный город, современное государство и общество являются крайним, и, если не последним осуществлением, то ближайшим этапом к такому осуществлению этого последнего разделения. Построенное по образцу организма капиталистическое общество, хищнически-паразитарное по своей природе, замкнуто в круге безысходных противоречий, угрожающих ему и извне и изнутри. Гнет и рознь, характерные черты его, с течением времени, нетолько не смягчаются, но принимают все новые и новые формы. Конечное завершительное устремление всего этого строя есть смерть и сам он представляется самому себе на своей социальной вершине и в качестве осуществляемого идеала: брачным торжеством и пиршеством, праздником непрерывным и вечным, постоянной ярмаркой и развлечением, но в то же время извне все это является пиром смерти, непрекращаемой борьбой и схваткой противоборствующих, неразумно-влекущихся к столкновению слепых стихий, укорененных в среде самого человечества.

Строй этот в двух направлениях несет и осуществляет собой смерть. Своей жестокой эксплоатацией природы он истощает ее относительно небольшие рессурсы, приводит к расстройству организм и без того падающего мира, добавляя к стихийным противоборствам слепой и умерщвляющей природы, не получающей от человека руководства, еще и внутри человеческую борьбу и разлад. При этом смерть от истощения природы и самоубийствен-

ная борьба в человечестве — таковы итоги этого строя, который, если не сам доведет мир до подобного конца, то только потому, что ему самому предстоит пасть раньше в силу борьбы внешней и внутренней, борьбы безнадежной для него уже потому, что, будучи паразитарно-хищническим по своей природе, он должен будет отступить перед строем определенно и принципиально хищническим.

Наконец, жизненным импульсом, вызывающим к существованию весь этот строй, движущим его и характеризующим его в основных устремлениях, является не какая-либо сознательная задача, поставленная человечеству кем-либо или осознанная им самим, а стихийное стремление к наслажденью, выражающемуся в элементарном половом удовлетворении. Женщина и провоцируемая ею раздраженная половая сила мужской половины человечества является тем импульсом, который создает этот строй, изнеживающий и развращающий человечество, ведущий его к вырождению и вымиранию. Новая заповедь прелюбодеяния (проституция), заповедь полового удовлетворения, как основного метода обеспечивающего жизнь и здоровье молодого поколения, ведет к заповеди нерождения и Франция на себе показывает результаты проведения в жизнь этого закона. Рознь, смерть и похоть таковы — основа, венец и путь, которыми движется, держится и завершается современный капиталистический строй.

Вся система учений Н. Ф. Федорова исходит из стремления к пересозданию этого строя, к восстановлению в человечестве родства и единства, осуществляемого по образу совершеннейшего соединения, в котором нет ни розни, ни гнета. Не касаясь тех частных вопросов, которые он поднимает в своих статьях, посвященных выставке 1889 года, — чем заменить эту выставку, — а именно, вопроса о музее, как противоположном выставке учреждении, осуществляющем в себе восстановление и сохранение, воскрешение прошлого, не останавливаясь на вопросе о том, каково значение французской выставки для России, нам надлежит указать лишь, по возможности кратко, какие принципы конкретно противопоставляет рассматриваемый нами автор тем началам, на которых зиждется современный ему и нам строй.

По основной мысли Н. Ф. Федорова, разделение человечества не может быть преодолено вне упразднения деления человечества на ученых и неученых, вне уничтожения коренного распада: сознанья и дела, мысли и труда. Это положение связано не с обыч-

ным представлением о всеобщем образовании или обучении и о приобщении всего человечества к грамотности или к популярному знанию. Об'единение такое может быть достигнуто не путем принижения и приспособления знания или более широкого его распространения, а исключительно путем поднятия всего человечества на вершины исследования и науки. «Все должны быть познающими и всё предметом познания» — таков выдвигаемый Н. Ф. Федоровым лозунг. Об'единение человечества в труде познанья и исследования мыслится им не в форме выработки и воспитания кадра специалистов, ведущих человечество к тем или иным, хотя бы и высоким целям, а сначала в форме всеобщей трудовой повинности исследования и изучения, а затем управления и преобразования стихийных сил, бушующих во внешнем природном мире, в современной социальной среде и в слепом неуправляемом разумом организме самого человека. Всеобщий труд познанья, непрерывный, преобразовательный, воссоздающий труд противопоставляется здесь «шестнадцати часовой праздности социалистов» и не только шестнадцати-часовой, а «двадцати-трех часовой, если будут осуществлены все социалистические планы в этой области». Труду познания противопоставляется им бессознательное использование дарового и выдвигается лозунг, согласно которому в жизни человечества ничего не должно быть дарового, а все должно быть трудовым, благоприобретенным. Это «ничего» понимается Н. Ф. Федоровым в самом широком смысле этого слова: не должно быть ни одного процесса и акта ни в самом человеке, ни в обществе, ни во внешней природе, которые осуществлялись бы вне познания и сознания человека. По самой природе своей человек есть осуществитель разума и регулятор стихийных сил в мире.

Борьбе в современном строе и, как конечному завершению ее, смерти, Н.Ф. Федоров противопоставляет жизнь и ее осуществление. Вопросу социальному «о бедности и богатстве» противопологается вопрос естественный: «вопрос жизни и смерти». С разрешением этого первичного вопроса, вторичный и производный разрешится автоматически, ибо он есть лишь симптом, второстепенное явление, лежащее на переферии и зависящее от более глубоких и подпочвенных причин. Естественным и существенным является найти и дать ответ на вопрос: почему живущее умирает? С разрешением его решится и все остальное. Ре-

шение же это может быть осуществлено только на почве соединения ученого сословия, современных людей мысли, с пятым сословием (крестьянством) сословием непосредственного производства, с той социальной группой, которая в наибольшей степени заинтересована в решении вопроса о жизни. Союз интеллигенции и крестьянства, союз не словесный, а деловой и трудовой, направленный на познание и управление умерщвляющих сил природы, от которых непосредственно зависит жизнь земледельца, этот союз представляется Н. Ф. Федорову во много раз естественнее, чем союз ученых с буржуазией или с пролетариатом, которые самой стеной города отгорожены от внешней природы и тем поставлены в условия, делающие их неспособными понять все значение и всю глубину вопроса о жизни и смерти. Для города смерть представляется случайным явлением, изредка средь торговой сутолоки привлекающим его внимание и самые мертвецы его, выгнанные за пределы, на окраины не напоминают горожанину о той связи, которая существует между смертью и всякого рода стихийным внеразумным процессом.

Поэтому то легче в среде селян выяснить, понять и поставить вопрос о жизни и смерти, легче можно заменить строительство соблазнительных «мануфактурных игрушек», познанием слепой умерщвляющей силы природы и управлением ее, при том таким управлением, при котором обеспечивалась бы самая жизнь, заменяя на этом пути городскую паразитарно-хищническую утилизацию и эксплоатацию природы регуляцией всех естественных природных процессов сознательными, протекающими под контролем человеческого разума действиями и мировыми, хоровыми, согласованными, построительно-творческими деятельностями.

Господство женщины, зиждущееся на гипертрофированном половом влечении горожанина, освобожденного от познавательно преобразовательного труда, и в свою очередь созидающее современный строй и влекущее эффеминацию человечества, таким образом, должно направиться в другую сторону. Опознанная и регулируемая половая сила человечества вместо стихийного рассеивания и связанного с ним истощения и вымирания должна превращаться в высшие энергии человека, направленные на познание мира, управление ими и воссозданье всего утраченного. При этом женщина, нынешний центр устремления городского человечества, должна стать тем, что она есть по самому существу: «дочерью человеческою», заботящейся и поддерживающей жизнь

отцов, укрепляющей, восстанавляющей изначальное родство человечества и вдохновляющей живущие поколения в общем деле всего человечества, в деле имманентного восстановления его целости, нарушенной слепыми силами природы.

Существенно то, что все эти построения Н. Ф. Федорова не являются продуктом какой-либо мистической или метафизической системы, отвлеченным и отрешенным построением, неимеющим жизненных корней и не представляются туманным идеалом, который будет выполняться и осуществляться далекими будущими поколениями. Все это — практические построения, которые он стремится связать с каждым встречающимся на его пути жизненным событием. Лучшей характеристикой отношения его ко всем вопросам, связанным с представлением о недостижимых идеалах являются сказанные им слова относительно мировоззрения и миросозерцания, необходимость и наличность которых считалась в его время (конец XIX века) необходимым признаком каждого культурного человека. «Мир дан не на погляденье и не на созерцанье», говорил он, проповедуя общее дело об'единенного человечества и отвергая толстовское «неделание». Он строил практическую систему, а не высказывал только свои теоретические взгляды, созерцания и постиженья.

До сего времени, если не считать ближайших его последователей: В. А. Кожевникова и Н. П. Петерсона, о Н. Ф. Федорове и его учении писали преимущественно философы и богословы, поэтому останавливавшиеся преимущественно на богословских и философских сторонах его построений, но и они признают, как это было упомянуто выше в лице Н. А. Бердяева,*) что «для Федорова философия не есть пассивное отражение мира, а есть один из путей активного его преображения. Созерцательная метафизика ему совершенно чужда».

Н. А. Сетницкий

*) Ср. выше цитированное соч. «Смысл Творчества» стр. 336.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ Н. Ф. ФЕДОРОВА С В. А. КОЖЕВНИКОВЫМ

О Туркестане

Печатаемые три письма Н. Ф. Федорова о Туркестане относятся к числу материалов, подготовлявшихся к печати покойными ныне В. А. Кожевниковым и Н. П. Петерсоном в качестве третьего тома «Философии Общего Дела». Этот третий том, где должна была быть собрана переписка Николая Федоровича и разные материалы, не попавшие в первые два тома, был почти подготовлен к печати в 1915 году, но в это время не мог быть напечатан в связи с падением валюты и денежными затруднениями занятого этим делом В. А. Кожевникова. Последовавшая за этим смерть обоих редакторов «Философии Общего Дела» (Кожевников — в 1917 г. 3 июля, а Петерсон — в 1919 г., 4 марта н. ст.) задержала публикацию литературного наследства Н. Ф. Федорова и только теперь начинает просачиваться в печать отдельные обрывки из того, что должно было увидеть свет еще десять лет тому назад...

Публикуемые письма относятся к 1899 году, когда Николай Федорович, по настоянию своих друзей, делал ряд попыток продвинуть в умы современников свои идеи в периодической прессе и совместно с Петерсоном и Кожевниковым приготовлял к печати одновременно несколько статей, а также работал над систематизацией материалов, впоследствии вошедших в I-й том «Философии Общего Дела». Эта работа проводилась им совместно с Н. П. Петерсоном, у которого Н. Ф. Федоров проводил обыкновенно летние вакационные месяцы и с которым работал все свободное время, причем Петерсон выполнял весьма часто работу секретаря Николая Федоровича. В этом 1899 году Н. П. Петерсон был переведен по своей службе в качестве члена Окружного Суда в г. Асхабад, куда в конце лета приехал к нему Николай Федорович. Печатаемые письма представляют интерес не только, как впечатления весьма вдумчивого наблюдателя, попавшего в новую для него страну. Они своим содержанием входят, как составная часть, в исторические концепции Н. Ф. Федорова и с этой именно точки зрения должны оцениваться. Построения Николая Федоровича в этой области еще не имеют своего исследователя и еще не

привлекли к себе достаточно серьезного внимания. В то же время проблема Востока и Запада и отношения к ним России, концепция задач и целей России, выполняемых ею в процессе ее истории, поставлены Николаем Федоровичем Федоровым с необычайной отчетливостью и если в свое время они не привлекли достаточного внимания, то сейчас можно думать, что это время настало и всякий, кто пробует теперь писать по этому вопросу, должен посчитаться с точками зрения, выдвинутыми автором «Философии Общего Дела». **«S»**

Глубокоуважаемый и дорогой Владимир Александрович.

Посылая Вам «Введение», я полагал, что Вы присоедините его к оставленной у Вас статье «О всемирной Выставке». Напечатанное отдельно, В в е д е н и е представлялось бы нелепой выходкою. Статья же «О В с е м и р н о й В ы с т а в к е», к коей можно бы присоединить заметку «О м е с т н ы х ш к о л а х-в ы с т а в к а х», была бы не только уместна, но даже и необходима после вставки в статью о храмах обыденных нескольких слов о ш к о л а х-х р а м а х, если, конечно, смысл этих последних показан. Школы-храмы, созидаемые сынами человеческими, означают примирение знания с верою или верностью и любовью к Богу отцов, т. е., если вера есть осуществление чаемого, то з н а н и е б у д е т с р е д с т в о м, н е-о п р о в е р ж е н и я с о м н е н и й к а к т е п е р ь, а с р е д с т в о м о с у щ е с т в л е н и я с а м ы м д е л о м-ч а е м о г о. Предмет же чаемого указан в Символе Веры.

Школы-выставки, как созидаемые сынами, забывшими отцов, должны указать и показать, что нет иного блага, кроме производимого фабрикою. Эти то блага будут показаны в школах, выставках для образования отожествляемого с расширением потребностей, признаваемых в школах-храмах соблазнами. И на местной выставке при школе можно поставить, с соответствующею обстановкою, манекен девицы на самом видном месте, одетой в те материи (гниль), которые вырабатывались фабрикантами для соблазна крестьянских баб, словом, разодетой в пух и прах. Фабриканты, конечно, весьма охотно снабдят образцами на платья куклам для школ выставок. Когда проект повсеместного устройства таких школ, которым нужно представить на Парижскую Выставку будет осуществлен, тогда уже нельзя будет сказать (Вестн. Европы №2 стр. 735-я): «Крестьянские потребности крайне ограничены, обстановка жалка. Духовный мир узок и беден», как говорит это бесстыдный Головачев, хорошо зная, что этот духовный мир и совсем исчезнет (как его уже нет и у Головачева, если не считать

уничтожение всего вне фабричного за широту воззрений). Духовный мир, конечно, исчезчет, когда эти дети, согласно с Головачевым, будут думать, что умеренность есть добродетель баранов, а забудут, что неумеренность есть добродетель свиней. Школы Выставки именно назначены для сманивания населения в города, на фабрики. В видах пояснения выставки нужно осмеять привязанность к праху отцов. Сказать что-нибудь вроде «глупой луны на глупом небосклоне», тем, которые еще видят в небе Бога и души отцов.

Ваше обещание приехать весною очень меня обрадовало, но до весны так долго...

Янчуку не отдавать, а только показать или дать только для прочтения. Редакция Туркестанских Ведомостей не высылала ни одного экземпляра, хотя послано на 50 коп.

Глубокоуважаемый и дорогой Владимир Александрович. Я очень опасаюсь, что ничего не сумею сказать для Вас любопытного о Туркестане, об этой в высшей степени, впрочем, замечательной стране, замечательной своей пустынностью, требующею наибольшей (наверху, карандашем: «высшей») деятельности от человека. — Красноводск служит достойным входом в безводный Туркестан. Этот к р а с н ы й водою город не имеет, оказывается, своей воды, а пользуется привозною, цена которой, как я слышал, доходит иногда до 50-и копеек и даже, будто бы, до рубля за ведро. Есть в Красноводске «опреснитель» но вода этого опреснителя имеет, говорят, очень неприятный вкус. Туркестан, после всего, что я видел, читал и слышал об нем, представляется мне в виде высокой парамиды, сложенной из черепов и поставленной под безоблачным небом среди безводной песчаной пустыни. Такое изображение символа смерти, умерщвления и безжизненой пустыни могло бы служить даже г е р б о м Т у р к е с т а н а. В этом гербе была-бы вся и география и история Турана,*) указывающая не на прошедшее только, но и на будущее, т. е. на то, что должно бы быть, ибо нигде так не очевидна необходимость обращения орудий истребления от бездождия и безводия, как в этой центральной на всем земном шаре пустыне. В Закаспийской области, равняющейся по величине Франции, более 1/ занимает необработанная земля (пустыня) и лишь 1/ обработанной, причем еще вместе с горами, почти лишенными всякой растительности. Чтобы обратить внимачие людей науки на эту пустыню, которая, как говорят, более и более разрастается и грозит поглотить всю Россию, была составлена Записка, в которой указывалось на необходимость сделать Туркестан, а именно Самарканд, местом будущего С'езда Естествоиспытателей и врачей, а также

*) Построенные нами в Туркестане скудельные (т. е. из глины) города, очевидно не долговечны. Что-то вроде миража (марева) в пустыне. Н. Ф. Ф.

и археологического С'езда. Самарканд же лежит у подножья Памира,**) столько же важного в естественном, как и в историко-археологическом отношениях.

Записка эта была представлена Вице-Президенту Археологического Кружка в Ташкенте, Николаю Петровичу Остроумову, и принята им, повидимому, очень благосклонно, хотя в этой записке то, что многие считают фантастичным не отсутствует. В столице Тимура пробыл только день, потому буду говорить не о том, что видел, а о том, что по краткости времени не мог видеть и что Вы рассмотрите поподробнее, если будете в Туркестане. В 10-ти верстах на юг от Самарканда находятся развалины Кяфир-Коль, последней крепости христиан в Туркестане, — тут то бы и следовало быть русскому Самарканду. Недалеко от этих развалин находится пещера — Кяфир-мола (могила неверных), т. е. христиан. Это та пещера, в которой исполнители воли Тимура задушили дымом последние остатки несториан — чтителей пророка Ионы и ап. Фомы. Несториане в настоящее время присоединяются к православию, потому, кажется, следовало бы у этой пещеры поставить Новопечерский монастырь-памятник и сделать его лаврою всего Туркестана, назначить день памяти этих мучеников, сделать его местным или даже всероссийским праздником. В русском Самарканде, за неимением других святынь, чтут мифическую могилу Даньяра, т. е. пророка Даниила. — По восточному обычаю, заменяющему там поклон, прижимаю руку к сердцу, находя, что таким знаком лучше можно выразить приязнь, благодарность, с коими и остаюсь Н. Федоров.

3 сентября 1899. Прилагаю 1-ый лист к статье «О храмах обыденных».

15 сентября 1899 г.

Дорогой и глубокоуважаемый Владимир Александрович. Спешу дать ответ на ваш вопрос о выписках из статьи о храмах обыденных. Чем более будет этих выписок сделано Вами, тем лучше. Если вся эта статья вошла в Ваше сочинение, то было бы очень хорошо, и, конечно в дословных выражениях, если эти выражения точны, и в измененных, если они не очень точны и ясны в статье о храмах обыденных. Прилагаю при сем три листа продолжения статьи «О храмах обыденных» и два письма, которые вошли в статью, а в Вашем экземпляре их нет. Эти письма набело не переписаны, потому, что спешили отправкою, согласно Вашему желанию. Можно сказать кое-что и о храмах туркестанских. Создание каменных храмов в Туркестане так же требовало соединения множества человеческих сил, как у нас строение дере-

**) Запрос же о Памире был сделан к Х-му археологическому С'езду, на то и было указано в записке. Н. Ф. Ф.

вянных храмов в один день. Обыденный храм — торжество над временем. Каменный храм Туркестана, воздвигнутый в лишенной камня местности торжество над пространством и тем большее, чем дальше место застроения от места добывания камня. Добровольное у нас, здесь заменялось принудительным. Легенда приписывает построение огромных мечетей-памятников эмирам султанам, употребляющим свои громадные полчища на эти постройки, расставляя их от мест каменоломень до места сооружения этих храмов.

В № 33 газеты «Неделя» напечатано письмо из Рима под заглавием: «Уничтожение града». Листок с этой статейкой прислал Е. Л. Марков из Воронежа в Асхабад Ник. Пав. Петерсону с надписью над заметкою о граде «Прямо таки Ваши чаяния». По поводу письма из Рима составлена была небольшая записка и препровождена к Евгению Львовичу*) с просьбою переслать ее, если он найдет это возможным, в редакцию «Неделя», коей он кажется состоит сотрудником. — Записка начинается словами, взятыми из лекции Наццари, отставного офицера, читанной им пред многочисленной публикой. «Если бы», сказал бывший офицер — «**пушки были направлены вместо груди** людей на тучи, несущие раззорение бедным крестьянам, то это было более достойно человечества**)». Сказав верно, высказав истину, как говорится в записке, он не остался верен этой мысли, а тотчас же изменил. Вместо того, чтобы говорить об обращении орудий истребления, огненного боя, в руках войск находящегося, в орудия спасения, хотя бы от града лишь, он заговорил о другой артиллерии, заводимой сельскими хозяевами. «Неделя», говоря о лекции Наццари думает, ознакомить Россию с совершенно в ней будто-бы неизвестным вопросом. Записка же, приводя выписки из газет и журналов, доказывает, что не только этот вопрос известен, но даже имеет с одной стороны ожесточенных противников (архиеп. Амвросий)***), а с другой возведен даже в теорию в общий вопрос об отношении разумных существ к слепой безчувственной природе не как двух сил от века существующих (как Ормузд и Ариман, белбог и чернобог), а как временное лишь

---

*) Е. Л. Марков, воронежский помещик отец известного г. Маркова II-го. S.

**) Лекция читана в Фраскати. Любопытно бы знать, что скажет либеральный Папа по поводу пушек, направленных на тучи. Найдет ли он , подобно Амвросию Харьковскому, в пушечной салютации небу оскорбление Божеству. Н. Ф. Ф.

***) Высказавшийся в проповеди о противоградовой пальбе в тучи, как об действии нечестивом. Н. Ф. Ф.

раздвоение силы, которая делается тем более слепа, чем больше воздействует разумная. Россия, как продолжательница Ирана, делаясь орудием Безусловного Существа, т. е. делаясь христианскою, об'единив всех, устраняет обусловленное бездействием разумной силы зло, т. е. смерть и восстановляет благо, т. е. жизнь. Впрочем, в самой записке не говорится ни об Иране и Туране, ни об Ормузде и Аримане, а говорится о высшей нравственности, в которой добро не обусловливается существованием зла и не обречена она как нынешняя мораль, делать добро, не искореняя никогда зла. В «Записке» это изложено полнее, а потому и яснее. Приготовлено письмо к Вам, в котором излагается программа наиболее плодотворного путешествия по Туркестану и будет вскоре послано к Вам... Пожелав всякого блага, остаюсь преданный Вам Н. Федоров. 15 сентября 1899 г.

У подошвы Парапомиза, на рубеже Ирана и Турана.
19 сентября 1899 г.

Глубокоуважаемый и дорогой Владимир Александрович. До сих пор все путешественники, приезжавшие сюда, были или специалисты, или же люди, мало понимавшие всемирно историческое значение той страны, куда приезжали. Чувству их ничего не говорили, ничего священного не представляли ни Памир, ни Иран, ни Туран; они, эти путешественники, ничем, можно сказать, не отличаются от живущих здесь русских приказчиков, чиновников, офицеров, людей, конечно, очень либеральных, но совершенно чуждых истории страны, имеющей мировое значение, и потому их нисколько не поражает в стране Заратуштры, Джемшиды, Афросиабов, Гистаспов, Искандер-Душаха, Тимура, — название улиц именами Пушкина, Белинского, Добролюбова, Салтыкова-Щедрина, этих карликов перед такими исполинами. — Новая, секулярная Русь не может понять величия Ирана и Турана, она не чувствует пульса исторической жизни, который бьется в этой стране. Равным по значению этому пункту можно признать только лишь Китайское побережье Великого океана, где Россия, сойдясь с Китаем, встретилась соединенными силами Запада, встретилась с передовым его (Запада) отрядом (Англией) еще ранее на Памире, также Русско-Китайском. В этих двух пунктах, можно сказать, наисильнее бьется в настоящее время пульс истории, здесь решаются к о р е н н ы е, о с н о в н ы е вопросы жизни рода человеческого, кроющиеся под политическими. Еще вопрос, который из этих пунктов важнее, еще вопрос — китайское ли дело служить диверсиею, отвлекающею от индийского или индийское отвлекает от дела китайского. Во всяком случае нельзя же не признать, что в этих пунктах встретились, наконец два обходных движения, сухопутное и морское. Внутренний смысл этих движений и нужно понять. — Вам предстоит завидная роль — первому взглянуть на эту страну, на это, по Вашему выражению, сердце мира, не

с приказчицко-либеральной, а всемирно-исторической; с нравственно-религиозной точки зрения.

Туркестан был местом борьбы севера с югом, Турана с Ираном, земледельца с кочевником, ближнего Востока с дальним, и это тогда еще, когда не было не только дальнего Запада, но и ближний едва зарождался; это — доисторическое еще время, или эпоха, если история начинается борьбой Востока с Западом, тогда на историческую сцену выступают страны приморские, а потом океанические; но это история лишь океаническая, односторонне принимаемая за всемирную. Есть и другая история, которая начинается борьбою Ирана с Тураном, — это история континентальная, и только встреча сил океанической и континентальной делает историю истинно всемирною.

Но что такое Туркестан или Туран и где его границы? А также и что такое Иран? Не всегда Туркестан был станом турок, был он станом и монголов, принадлежал китайцам, был буддийским, крестьянским, потом магометанским, прежде чем стал русским или зендо-славянским; не всегда он был пустынным, даже и тогда, когда владел им Иран, враг пустынь и безжизненности. И этот Туран, как Западный — ныне русский, так и Восточный, китайский составляет лишь центральную часть полосы пустынь и степей, которая тянется от Западного Океана до Восточного через весь старый Памирский материк. Если пустынность есть существенное свойство Туркестана в физическом отношении, то трудно определить физическую границу Турана, как к Югу, так и к Северу, потому что пустыня распространяется все дальше и дальше, и к северу и к югу, как и Памир поднимается все выше и выше, становясь все холоднее и холоднее. Итак, Туркестан нужно признать пустынею, которая образовалась там, где два северных материка спаялись и образовалась страна наиболее, с одной стороны отделенная от океана, а с другой закрытая высокими горами от теплого и открытая к студеному морю, — страна, откуда пустыня и бесплодие распространяется во все страны. Если же пустынность есть существенное свойство Турана и если верна пословица, сказанная о турках: «где ступит Османова нога, там не растет трава», в том случае название его Туркестаном, станом турок, совершенно верно, причем северною границею тюркского племени нельзя поставить ни Урал, ни даже Волгу и Оку. Точно так же нужно признать близким к истине и отожествление пустыни с фаталистическим Исламом, а в таком случае и восточная граница Туркестана отодвигается все на восток, и Туркестан теснит, а, может быть, и вытесняет китайцев. Итак, союзником пустыни является Ислам, как религия и турецкое племя, как воспитанник пустыни и фаталистического Ислама слепой силе и не воспрещает отдаваться слепым влечениям (газават и многоженство). Если же действительная победа над язычеством выражается не в разрушении или истреблении идолов, а в управлении всеми силами, которые олицетворялись в

языческих богах, то и Ислам вместе со своим носителем, турецким племенем, может быть побежден лишь в той пустыне, которая его породила, а пустыня может быть побеждена лишь низведением на нее вод с неба, обращением пустыни в поле, ниву, в чем и должна заключаться задача северного преемника Ирана, но для этого ему необходим союз с Западом, с двумя Британиями, а между тем Запад в борьбе Ирана с Тураном был всегда союзником Турана, как в древнем, так и в новом мире. Благодаря этому союзу, погиб древний Иран, но если с помощью этого союза, будет побежден и новый Иран, обзываемый Западом Тураном, тогда Запад увидит у себя настоящих туранцев, как это и предсказывал в известной картине (желтая опасность) Черный царь (Германский Император) до своего еще путешествия на восток. Низведение воды с неба, победа над грозною силою есть победа разумного существа над слепой безчувственной силой, победа Ормузда над Ариманом, Белбога над черным Богом, Белого царя (Ах-падишаха) над черным царем (кара падишахом), христианства над антихристианством, победа добра над злом, т. е. Ирана над Тураном. Иран и Туран это не символы добра и зла, а синоним, и не в отвлеченном или произвольном смысле, а в конкретном, связанном со всею историею мира, где добро есть жизнь, а зло есть смерть; торжество добра над злом есть победа жизни над смертью, возвращение жизни, воскресение, так, что Туран совпадает с антихристианством, а Иран с христианством, с истинным, активным христианством. Черный пророк Черного царя, союзника трехсот миллионов мусульман, т. е. Турана, этот черный пророк (Ницше) и есть анти-Зара-туштра, лже Заратуштра, который не может не признать в строителях пирамид и столбов из черепов «с в е р х ч е л о в е к о в», стоящих за пределами добра и осуществляющих идеал зла.

Вся ли земля (небесное тело) станет покорной слепой силе, станет Тураном, т. е. пустынею, кладбищем, бесцельно носящимся среди бесчисленных миров, разумом неуправляемых, и потому к падению, к гибели идущих? Или же вся земля станет Ираном, раем, эдемом? Но последнее возможно лишь тогда, когда разумная, чувствующая сила на земле, прах отцов носящей, делаясь орудием Бога света и добра, возвратит праху (отцов) сознание и жизнь, чтобы населить воскрешенными поколениями разумных, чувствующих существ бесчисленные миры, разумных существ не имеющие, и тем спасти их от падения и гибели. Парапомиз, стоящий между Ираном и Тураном, и предлагает этот вопрос, — чем же будет земля, Ираном или Тураном? Туран — міp, т. е. борьба, или иго (гнет). Иран же не может быть миром, пока Туран вооружен, пока Туран есть міp, а не мир. Иран может быть миром лишь в мысли или в проекте обращения невежественного Турана и злоупотребляющего знанием, т. е. нечестивого Запада к исполнению путем познания долга благочестия. Как ни обширен, как ни могуч злой Туран в его союзе с Западом, признавшим себя

орудием слепой силы природы, но Иран, как орудие Бога света может и должен стать безграничным, всемогущим, потому что сила Турана — в розни и бездействии разумной силы (Ирана).

Но чтобы проникнуться надлежащим чувством в стране у подошвы — перед лицом Памира, недостаточно прокатиться по железной дороге, в вагонах с буферами, кафе-шантанами*) и т. п. а необходимо совершить и не путешествие даже, а паломничество потому, что после Палестины нет более священного места, как Памир. Поэтому, если вы приедете в Асхабад, то, чтобы поездка Ваша была плодотворна, надо будет пробыть здесь несколько дней, минимум три дня, потому что отсюда необходимо устроить хотя небольшую поездку, не в вагоне, а на корабле пустыни и на ишаках, взяв и ишакчи, если возможно, знающего и по русски Лучше всего эту поездку предпринять в Анау, где находятся развалины древней большой мечети, не уступающей Самаркандским. До Анау не более десяти верст и это первая железнодорожная станция на пути в Самарканд. Без такой поездки верного представления о Туране составить нельзя: расстояние здесь не большое, но достаточное для того, чтобы здешний край представ таким, каким он был задолго до магометанства, в самой глубокой древности. Верблюда для поездки следует взять не такого, каких больше всего встречаются в Асхабаде, и какими они вероятно не были в древние времена, а такого, какого мы видели в Ташкенте Асхабадский верблюд имеет жалкий вид, а ташкентский величавый. Дорога идет при подошве Копет-Дога, древнего Парапомиза, на самой границе Турана и Ирана. К сожалению, мы не знаем как называется он в Зенда-Весте, если есть там название этого хребта, здесь и справиться об этом нет возможности, а в Москве Вы можете узнать это у Риттера: Иранский мир (по-русски Иран) у Дармстеттера, новое издание Зенда-Веста. Эти горы видны и из вагона, а караванный путь идет еще ближе к подошве, и вы увидите еще ясней эти черные хребты, причудливые, как мечты по крайней мере они нам такими кажутся, не видавшим никаких других гор. Здесь почти самый южный пункт наших владений, здесь в июне тени в полдень можно сказать совсѣм не бывает, даже самые высокие деревья не дают ее, потому что солнце кажется почти в зените, ночью же при ясном небе (а не ясным мы его еще не видали), сидя на верблюде, можно наблюдать неизвестное на севере явление, захождение Большой Медведицы, хотя еще и неполное. Поездку нужно устроить так, чтобы она часть дня занята и часть ночи; нужно обставить это путешествие вполне по восточному на верблюде с барабаном, с погонщиком в костюме который он не менял со времен Авраама, а может быть и со вре

---

*) Кафе-шантанов в поездах еще нет, но господствующие ныне либеральные приказчики не замедлят, конечно, устроить их так что едущий в таком поезде даже и в глуби Азии будет чувствовать себя точно в Париже. Н. Ф. Ф.

мен Адама, и притом так, чтобы это путешествие напоминало и как бы переносило нас в библейские и в добиблейские времена. Близость железной дороги, новаго способа передвижения, только усилит впечатление от старого. Железная и караванная дорога!.. Сколько тысячелетий лежат между этими, идущими дорогами!... Звон цилиндрического колокола на шее верблюда и пронзительный свисток паровоза в этой пустыне! Но, чтобы получить общее впечатление в таком путешествии, необходимо предварительное детальное изучение. В первый день Вашего пребывания в Асхабаде предполагается осмотр нового русского Асхабада, этого восемьнадцатилетного молодого человека, построенного из бревния, вернее из пыли, ибо пыль здесь строительный материал, пятая стихия, можно сказать. Может быть, Вам не придется видеть, в таком случае мы скажем Вам, как легко был воздвигнут этот скудельный город: на самой улице, с пылью по колена, наливается вода, делается вроде теста, прибавляется мелкой рубленной соломы, и строительный материал для простейших простенок готов. Не все однако постройки так воздвигнуты, менее простые сложены из кирпича сырца, обожженого туркестанским солнцем, а иные и на фундаментах из камня, который во множестве разбросан между горами и городом, кирпич, обожженый не солнцем, а огнем, употребляется только для облицевания, для украшения, как что-то ценное. В городе, говорят, два сада и парк, на самом же деле он весь стоит в саду, древние греки назвали бы его Пантикапеею. Улицы имеют тенденциозные названия и народ их не знает. Постройки так однообразны и улицы так похожи одна на другую, что по виду трудно узнать, где находишься и т.д. и т.п. Асхабад старых городов русских не напоминает: церквей на такой город мало, всего четыре, считая с армянской и кладбищенской, пятая строится. На главной площади , справедливо названной Скобелевской, собор одноглавый с пятиглавой колокольней, что нам нигде не приходилось видеть. Асхабад имеет музей, два памятника, третий строится... Впрочем, всего описать нельзя, пришлось бы для этого «Киев продать на бумагу, Чернигов на чернила», приезжайте и сами увидите. — На другой день Вашего пребывания утром предполагается экскурсия к горам и в аулы: это тоже путешествие в древнюю, в ветхозаветную историю. Вечером в тот же день прогулка по трехверстной аллее в Кеши, в растительный питомник, где можно будет ознакомиться с флорою степей: там Вы увидите и саксаул (или сазак), почти безлистный, сазен, что-то вроде нашей березы с светлорозовой корой и с корнями в несколько сажен длины: кустарники черкес и кандыш, маленький бурджак, травы — эркен-селим и уркачи-селим, лучшие кормовые растения... Такие питомники существуют почти во всех построенных русскими городах: этим, как будто, хотят указать, что в противоположность туркам, где ступит русского нога, там растут лес и трава, хотят доказать, что мы не поляне только, но и древляне. — Продолжение проекта

Вашего пребывания в Асхабаде и путешествия от Красноводска до Самарканда, у подошвы Памира, будет в следующем письме. Будем ждать Вашей статьи об обыденных храмах, о которых было говорено в прошлом письме, в ответ на Ваше желание сделать выписки из известной рукописи, что было бы очень и очень желательно. В этом же письме писали Вам и о том, что послано Маркову, а затем была послана в Ташкент к Остроумову статья под заглавием — «Так называемые Каменные бабы, как первый надгробный памятник» с теми статьями, которые были напечатаны о Каменных бабах в газете «Дон», Вам известными. В Туркестане, где так часто встречаются выражения — Баба-Гамбер, Имам-баба по отношению — к кладбищам, как их названия, мы убедились, что нужно читать, или произносить, не каменная баба, т. е. по русски, а баба, по туркестански, что значит не женщина, а отец и писать следует не каменныя, а каменные бабы.

(Подписи на этом письме)

Аскакал (белобородый) так назвал себя Николай Федорович и Караскакал (чернобородый) Петерсон.

ОГЛАВЛЕНИЕ

МАТЕРИАЛЫ:

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1928 г.

НА ЕДИНСТВЕННЫЙ БОЛЬШОЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ

ВОЛЯ РОССИИ

выходящий под редакцией

В. И. Лебедева, М. Л. Слонима, Е. А. Сталинского, В. В. Сухомлина.

Журнал выходит толстыми книжками в 200 страниц. Каждый номер содержит в себе: рассказы, повести, стихотворения, переводы выдающихся произведений западно-европейской литературы, статьи по истории литературы, по вопросам культуры, искусства, политики, экономики,общественности и международной жизни, статьи иностранных авторов по вопросам международной политики, систематические обзоры жизни советской России, корреспонденции из России, воспоминания, исторические материалы и документы, жизнь славянства, литературные критику и отклики, обзоры новых книг и журналов, рецензии и библиографию.

«Воля России» откликается на всякое значительное событие в области политики и культуры. «Воля России» затрагивает почти все проблемы современной жизни. «Воля России» насчитывает в рядах своих сотрудников около 500 человек, из которых многие носят общеизвестные в Европе имена.

На страницах «Воли России» до сих пор помещались следующие автора:

Аполлинэр Г., Бальмонт К., Бласко-Ибаньес, Беней Э., Белый А Булгаков В., Вандервельде Э., Вильдрак Ш., Волошин М., Дюгамель Ж., Замятин Е., Зайцев Б., Зензинов В., Жорданиа Н., Кацкий К., Кочаровский К., Кускова Е., Керенский А., Леонов Л., Ляцкий Е Масарик Т., Макдональд Р., Минор О., Муратов П., Олар А., Осоргин М., Овсянико-Куликовский Д., Пастернак Б., Пильняк Б., Пешехонов А., Ремизов А., Ренодель П., Роллан Р., Святополк-Мирский, Тома А., Тодоров К., Туган-Барановский М., Франс А., Ходасевич В., Цветаева М., Чапек К., Чернов В., Шкловский В., Эррио Э., Юшкевич С., и др.

Кроме того «Воля России» широко предоставила свои страницы молодым талантливым писателям, живущим в эмиграции. Кто интересуется творчеством молодой эмиграции, пусть читает «Воле России».

ВЫШЕЛ И ПОСТУПИЛ В ПРОДАЖУ

ДВОЙНОЙ НОМЕР XI-XII

(Ноябрь-Декабрь 1927 г.)

Содержание:

МАРИНА ЦВЕТАЕВА. — Октябрь в вагоне (Записи тех дней)
АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ. — Чудо о Василии.
А. НЕСМЕЛОВ. — За 800 верст.
ГАЙТО ГАЗДАНОВ. — Общество восьмерки пик.
К. БАЛЬМОНТ. — Цыганская скрипка.

ЕВРАЗИЙСКОЕ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО

1) Кн. Н. С. Трубецкой. Европа и Человечество. Изд. 1920 г. (распродано).

2) Исход к Востоку. — Предчувствия и Свершения. **Утверждение Евразийцев (распродано).**

3) На путях. — Утверждение Евразийцев. Книга вторая *Содержание:* П. Савицкий — Два Мира. А. Карташев — «Реформа, реформация и исполнение Церкви». П. Сувчинский — «Вечный Устой»; «Знамение былого» (О Лескове); «Типы творчества» (памяти Блока). Кн. Н. С. Трубецкой — «Религии Индии и Христианство». Г. В. Флоровский — «О патриотизме праведном и греховном». Кн. Н. С. Трубецкой — «Русская проблема». П. М. Бицилли — «Восток и Запад в истории Старого Света». П. Савицкий — «Степь и Оседлость». Изд. 1922 года. 356 стр. 0.60

4) Евразийский Временник. Книга третья. *Содержание:* П. Савицкий. — «Подданство идеи». Кн. Н. С. Трубецкой — «У дверей (Реакция? Революция?»). П. Сувчинский — «К преодолению революции.» Н. Арсеньев — «Новые Камни». М. Шахматов — «Подвиг власти». П. Сувчинский — «Инобытие русской религиозности». Кн. Н. Трубецкой — «Вавилонская башня и смешение языков». П. Савицкий — «Производительные силы России». Я. Садовский — «Оппонентам евразийства.» Изд. 1923 года. 174 . . . . 0.70

5) Евразийский Временник. Книга четвертая. *Содержание:* А. Савицкий — «Евразийство». П. Сувчинский — «Идеи и методы». Кн. Н. Трубецкой — «Мы и другие». Л. Карсавин — «Уроки отреченной веры». В. Ильин — «Столб злобы богопротивной». В. Селеман — «Сократ и проблема самопознания». М. Шахматов — «Государство правды». В. Ильин — «К взаимоотношению права и нравственности». Г. Вернадский — «Два подвига Св. Александра Невского». Кн. Д. Святополк-Мирский. — «О московской литературе и протопопе Аввакуме». Кн. Н. Трубецкой — «О туранском элементе в русской культуре». Я. Садовский — «Изъ дневника Евразийца». П. Савицкий — «Хозяин и Хозяйство». Изд. 1925 года. 155 стр. 1.25

6) Евразийский Временник. Книга пятая. *Содержание:* П. Сувчинский — «К познанию современности». Л. Карсавин — «Феноменология революции». В. Никитин — «Иран, Туран и Россия». С. Пушкарев — «Россия и Европа в историческом прошлом». Г. Вернадский — «Монгольское иго в русской истории». Кн. Н. Трубецкой — «К украинской проблеме». Л. Карсавин — «Основы политики». Н. Алексеев — «Советский федерализм». С. Франк — «Собственность и социализм». П. Савицкий — «К вопросу о государственном и частном начале промышленности». Изд. 1927 года. Стр. 304 . . . . 1.25

7) Евразийская Хроника № 6. — *Содержание:* Е. Р. — «Письмо из России»; «Переписка с Азиатом В. Ивановым (автором Мы). Л. Карсавин — «Младороссы». Текущее. — Евразийцы в Бельгии. П. Савицкий — «К вопросу об экономической доктрине евразийства». — Библиография. Изд. 1926. г. стр. 50 . . . . 0.25

8) Евразийская Хроника № 7. — *Содержание:* Стрельцов — Письмо из России. Б. Ширяев — «Наднациональное государство на территории Евразии». П. Сувчинский — «О ликвидации и наследии социализма». А. — «События в Китае». — Текущее. — Библиография. Изд. 1927 г. Стр. 63 . . . . 0.25

9) Евразийская Хроника № 8. — *Содержание:* Кн. Н. Трубецкой — «О государственном строе и форме правления». П. Савицкий — «О внепартийности». В. Ильин — «Об евразийском патриотизме». В. Никитин. — «По Азии». В. Т. — Понятие Евразии по антропологическому признаку». Кн. Г. Чхеидзе — «Лига Наций

и государства материки». Н. Алексеев — «Народное право и задачи нашей правовой политики». — Текущее. — Библиография. Изд. 1927 года. Стр. 90 . . . . . . 0.25

10) Евразийская Хроника № 9. *Содержание:* Формулировка 1927 года. Записка по военному вопросу. Записка о суде. П. Сувчинский — «Монархия или сильная власть». Кн. Н. Трубецкой — «Общеевропейский национализм». Л. Карсавин — «Армия и революция». В. Никитин — «Ритмы Евразии». Вл. Иванов — «В защиту аналогий». — Обзоры — Библиография. Изд. 1927 г. 0.25

11) Россия и Латинство. Сборник статей. — *Содержание:* П. Савицкий — «Россия и Латинство». П. Сувчинский — «Страсти и опасность». П. Бицилли — «Католичество и Римская Церковь». Г. Вернадский — «Соединение церквей в исторической действительности.» Кн. Н. Трубецкой — «Соблазны Единения». А. Карташев — «Пути Единения». Г. Флоровский — «Два Завета». В. Ильин — «К проблеме литургики в Православии и Католицизме». Изд. 1923 г. Стр. 219 . . . . . . 0.50

12) П. Савицкий — Географические особенности России. *Часть I.* — Растительность и почва. Изд. 1927 г. 177 стр. + карта + таблица 1.50

13) Г. Вернадский «Начертание русской истории». — *Часть I.* Изд. 1927 г. Стр. 264 + карта. . . . 1.50

14) С. Франк «Религия и Наука». Изданіе 1925 года. 24 стр. 0.25

15) Л. Карсавин. «О сомнении, науке и вере» Три беседы. Изд. 1925 года. Стр. 32 . . . . . . 0.25

16) А. Хомяков. «О Церкви» (С примечаниями и предисловием Л. Карсавина) Изд. 1926 г. стр. 89 . . . . . . 0.45

17) Л. Карсавин. «Церковь, личность и государство» Изд. 1927 года. Стр. 30 . . . . . . 0.10

18) И. Р. «Наследие Чингис-Хана». Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока. Изд. 1925 г. Стр. 60 0.45

19) Евразийство. «Опыт систематического изложения» Изд. 1926 г. Стр. 74 . . . . . . 0.25

20) С. Франк. «Основы марксизма». Изд. 1926 года. 50 стр. 0.25

21) Комплектование Красной армии. Изд. 1926 года. Стр. 78 . . . . . . 0.15

22) П. Савицкий. «Россия особый географический мир» Изд. 1927 года. 68 стр. 0.35

23) Н. Алексеев. «На путях к будущей России». Советский строй и его политические возможности». Изд. 1927 г. Стр. 76 . . . . . . 0.15

24) Кн. Н. Трубецкой. «К проблеме русского самопознания». Изд. 1927 г. Стр. 94 и прил. 0.45

25) Н. Алексеев. «Собственность и социализм (находится в печати).

26) С. Франк. «О природе душевной жизни» (Критика материализма и обзор новейших течений психологии). (Готовится к печати).

27) Н. Алексеев «Теория Государства». (Готовится к печати).

АДРЕС ГЛАВНОГО СКЛАДА:

FRANCE. Clamart (Seine), 4, rue Brissard

Под редакцией
Кн. Д. П. Святополк-Мирского, П. П. Сувчинского и С. Я. Эфрона

При ближайшем участии
Льва Шестова, Алексея Ремизова и Марины Цветаевой

Содержание № 1.

Содержание № 2.

Imp. de Navarre, 5, rue des Gobelins. Paris XIII.

ОПЕЧАТКИ

стр.	*строчка*	*напечатано*	*следует*
24	1 снизу	октябрь	Октябрь
53	17 сверху	С. и К. Трубецкими	С. и Е. Трубецкими
56	примечание	Стоэн	Столп

Под редакцией
Кн. Д. П. Святополк-Мирского, П. П. Сувчинского и С. Я. Эфрона

ВЕРСТЫ

При ближайшем участии
Льва Шестова, Алексея Ремизова и Марины Цветаевой

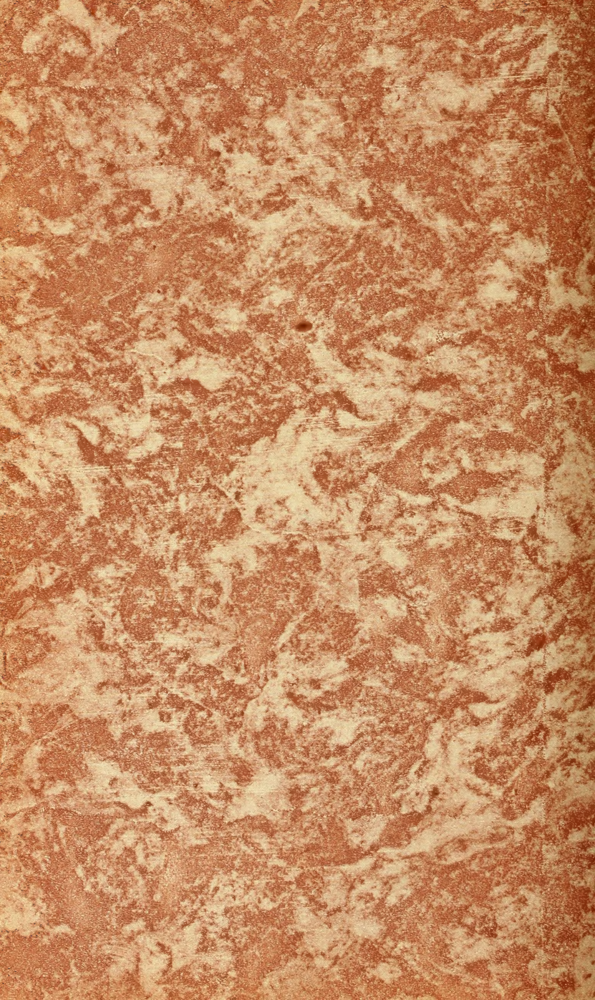
Содержание № 1

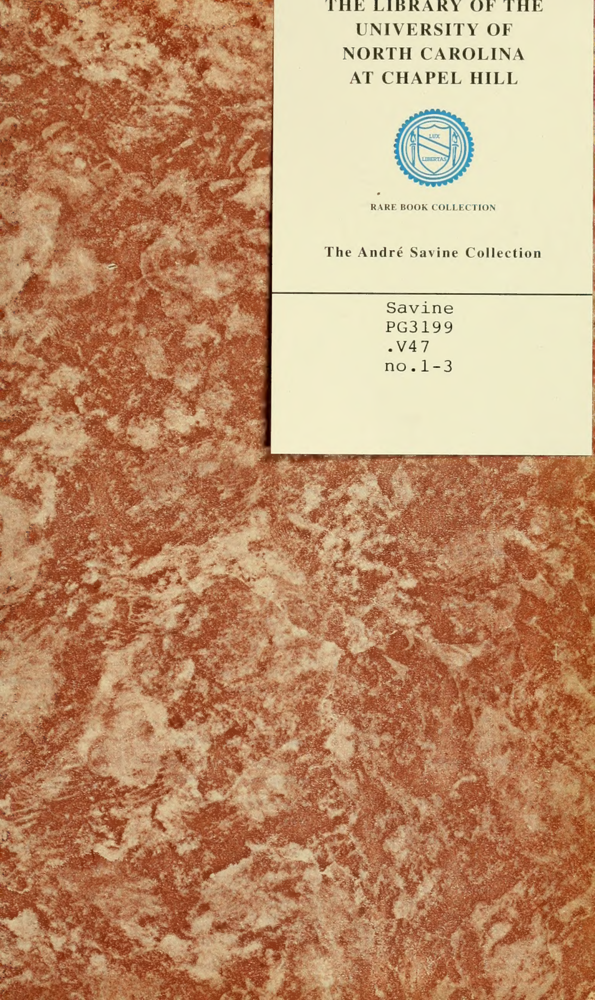
Imp. de Navarre, 5, rue des Gobelins. Paris XIII.

СКЛАД ИЗДАНИЯ

ÉDITIONS EURASIE

4, rue Brissard Clamart (Seine) France




THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF
NORTH CAROLINA
AT CHAPEL HILL
LUX
LIBERTAS
RARE BOOK COLLECTION
The André Savine Collection
Savine
PG3199
.V47
no.1-3